

Томас Карлейль

**ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
История**

Москва «Мысль» 1991

РЕДАКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

THE FRENCH REVOLUTION A HISTORY

by

Thomas Carlyle

London, 1903

*Перевод с английского части I выполнен: Ю. В. Дубровиным
и Е. А. Мельниковой; сверка — А. И. Петиновой (часть II)
и А. М. Баргом (часть III)*

*Комментарий в конце книги написан кандидатом исторических наук Л. А. Пименовой;
примечания, обозначенные звездочкой, написаны Ю. В. Дубровиным, Е. А. Мельниковой и Л. А.
Пименовой.*

Карлейль Т.

К23 // История Французской революции / Пер. с англ. Ю.В. Дубровина и Е.А. Мельниковой (ч. I). — М.; Мысль, 1991. — 575 [1] с., [48] л. ил.

ISBN 5-244-00420-4

Классический труд, написанный выдающимся английским историком в 1837 г., вышел на русском языке в 1907 г. и теперь переиздается к 200-летию Великой французской революции. Его сделало знаменитым соединение исторически точного описания с необычайной силой художественного изображения великой исторической драмы, ее действующих лиц и событий. Книга полна живых зарисовок быта, нравов, характеров, пронизательных оценок представителей французского общества. Это захватывающее и поучительное чтение, даже если сегодня мы не во всем соглашаемся с автором.

К 0503010000-080 ББК 63.3(4Фр)

004(01)41

© Перевод, послесловие, комментарии, иллюстрации. Издательство «Мысль». 1991

OCR – Alex Prodan

E-mail: alexpro@enteh.com

БАСТИЛИЯ

Смерть Людовика XV

Бумажный век

Парижский парламент

Генеральные штаты

Третье сословие

Консолидация

Восстание женщин

*Diesem Ambos vergleich' ich das Land,
den Hammer dem Herrscher; Und dem Volke das Blech,
das in der Mitte sich krümmt. Wehe dem armen Blech,
wenn nur willkürliche Schläge Ungewiß treffen,
und nie fertig der Kessel ercheint.*

Goethe

*Я уподоблю страну наковальне; молот — правитель,
Жесть между ними — народ, молот сгибает ее.
Бедная жесть! Ведь ее без конца поражают удары.
Так и саяк, но котел, кажется, все не готов.*

Гёте

Книга I СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XV

Глава первая

ЛЮДОВИК ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ

Председатель Эн^{*}, рассматривая вопрос о том, каковы были причины и обстоятельства, которыми могли быть обусловлены почетные королевские прозвища, признает, что вопрос этот труден, и при этом пускается в следующие «философические» рассуждения, обличающие в нем льстивого чиновника. «Король, носящий имя Возлюбленный^{**}, — говорит он, — вне всякого сомнения, не будет забыт следующими поколениями. В 1744 году он спешно выехал из Фландрии^{***}, где его войска добились значительных успехов, на помощь другим своим войскам в Эльзасе и на полпути, в Меце, был поражен недугом, который едва не пресек его дни. Весть об этом повергла Париж в такой ужас, словно город ожидал неприятельского штурма: в церквах звучали одни только молебны о здравии короля, то и дело прерываемые рыданиями прихожан и священников. Именно это всеобщее и искреннее сочувствие и породило имя Vienaimé (Возлюбленный), которое этот великий монарх ставил выше всех своих остальных титулов»¹.

^{*} Имеется в виду председатель парламента — высшего судебно-законодательного учреждения страны в Париже, а также в ряде больших городов Франции (по всей стране было 12 парламентов) с передававшимися по наследству должностями судей и советников; должности эти также можно было купить. В 1790 г. эти учреждения были упразднены и их заменили суды с выборными судьями. См. прим. на с. 64.

** Людовик XV (1710—1774) — с 1715 г. французский король из династии Бурбонов.

*** В войне за Австрийское наследство (1741—1748), в которой столкнулись интересы главных государств Европы, английские войска высадились во Фландрии и в союзе с войсками германских государств Гессена и Ганновера в 1743 г. при Деттингене-на-Майне нанесли поражение французам. В 1744 г. успехи сопутствовали Франции.

Вот, оказывается, что можно написать об этом событии 1744 года в назидание потомству. С тех пор прошло тридцать лет, и опять «великий монарх» сражен недугом, но обстановка теперь круто изменилась. Теперь Париж принял эту весть стоически равнодушно. Нет, вы не услышите в церквах рыданий, да и кто станет рыдать на казенных молебнах, которые оплачиваются по установленной таксе за час. Отец народа, пастырь, в очень тяжелом состоянии перевезен из Малого Трианона* к себе домой в Версаль**. Ну а стадо, которому он отец и пастырь, узнав о его болезни, не очень-то взволновано. Разумеется, в полноводном, как океан, потоке французской речи (звучащей изо дня в день и смолкающей, как океан, лишь в часы отлива, т. е. глубокой ночью) упоминается наряду с другими событиями и болезнь короля. Даже пари по этому поводу заключаются, и некоторые люди, «не стесняясь в выражениях, громко говорят об этом на улицах»². Но в общем-то в этот яркий майский день, согретый сияющим над зелеными лужайками и колокольнями Парижа солнцем, и в наступивший затем теплый майский вечер парижанам, занятым делом или бездельем, совершенно все равно, что Возлюбленный находится при смерти.

* Малый Трианон — королевский дворец в Версале со множеством скульптурных фигур, олицетворявших идиллию сельской жизни. Сооружен в 60-х гг. XVIII в.

** Версаль — город во Франции в 18 км к юго-западу от Парижа.

Графиня Дюбарри*, конечно, могла бы молиться о здравии короля, если б в ее душе имелась хоть малейшая склонность к этому. Вместе с ней мог бы молиться и герцог д'Эгийон** или Мопу*** вместе со своим «парламентом». Все эти высокопоставленные лица, которые обращались с Францией как извозчик со своей клячей, прекрасно понимали, чем они держатся. Что же касается тебя, д'Эгийон, будь отныне предельно осторожен, каким ты был тогда, когда, находясь на Сен-Кастской мельнице, что на полуострове Киберон, ты смотрел на высаживающийся на французской земле английский десант. Ведь тогда ты «покрыл себя если не славой, то уж мукой наверняка»!

* Графиня Мария Жанна Дюбарри (1746—1793) — последняя фаворитка Людовика XV.

** Герцог д'Эгийон (1720—1788) — пэр Франции, губернатор провинции Бретань, министр иностранных дел Людовика XV.

*** В 1771 г. в результате конфликта королевской власти с парламентами последние были распущены и на их месте созданы новые, получившие название «парламенты Мопу» — по имени их инициатора Рене Николя Мопу (1714—1792), занимавшего в 1768—1774 гг. пост канцлера.

Давно известно, что счастье переменчиво, и верно говорят в народе, что не миновать собаке палки.

Герцог д'Эгийон, губернатор забытой богом Бретани, покрыл себя, как мы уже сказали, мукой. Но не только — водились за ним грешки и похуже. Так, например, Ла Шалоте, член парламента Бретани, обвинял его в презренной трусости, тирании и лихоимстве. Такого рода обвинения в суд, конечно, не попадали, но пищу для разговоров они давали большую, а ведь известно: каждому рот не зажмешь, тем более мысль. В довершение всех бед этот близкий родственник самого великого Ришелье вызвал неудовольствие канцлера Шуазеля*, человека сурового, решительного и презирающего трусов и негодяев.

Бедному д'Эгийону ничего не оставалось, как, уйдя в отставку, умереть в своей постели в старом гасконском замке, который давно требовал ремонта³, либо свернуть себе шею, гоняясь по полям за зайцами. Но вот наступил 1770 год, и очень, очень многие были потрясены происходящими событиями. Одним из них был и возвращавшийся с Корсики молодой солдат Дюмурье**, который «с горечью наблюдал вместе со всей армией, как старый король, стоя с непокрытой головой под окном раззолоченной кареты, любезничал со своей новой...*** всем известной Дюбарри»⁴.

* Этьен Франсуа Шуазель (1719—1785) — министр иностранных дел при Людовике XV, в 1758—1770 гг. фактический глава государства. Изгнанием иезуитов (1764 г.) он восстановил против себя реакционные клерикальные круги и в результате их интриг был смещен и выслан из Парижа. После его смерти были опубликованы его мемуары (1790 г.).

** Шарль Франсуа Дюмурье (1739—1823) — впоследствии французский генерал и политический деятель, честолюбивый авантюрист. Здесь Карлейль неточен: Дюмурье был, уже капитаном французской армии. — *Примеч. пер.*

*** В тексте Карлейля прочерк, очевидно, выпущено слово. — *Примеч. пер.*

Вот тут-то и была зарыта собака! Теперь д'Эгийон мог оставить хлопоты, связанные с ремонтом старого замка, и заняться приумножением своего состояния. Дело в том, что гордый и решительный Шуазель не захотел идти на поклон к Дюбарри. К тому же он ни от кого не скрывал, что видит в ней всего лишь разряженную шлюху. Это, разумеется, повлекло за собой слезы и вздохи, так что La France (Франция) — так называла Дюбарри своего августейшего лакея — решил наконец призвать к себе Шуазеля и, хотя запинаясь и «с дрожащим подбородком» (*tremblement du menton*)⁵, все-таки потребовал, чтобы Шуазель подал в отставку. Ушел в отставку самый способный человек только лишь потому, что этого хотелось взбесившейся шлюхе! Вот каким образом д'Эгийону удалось сначала подняться, а затем и достичь вершины. Он потянул за собой Мопу, этого гонителя парламентов, похвалявшегося, например, что если строптивый председатель парламента в Кроэ, в Комбрэ, не станет сговорчивее, то он посадит его на вершину крутой скалы, куда ни одной козе не взобраться. А вслед за ним наверх поднялся и аббат Террэ*, этот беззастенчивый финансист, плативший восемь пенсов за шиллинг, что дало повод какому-то остряку в толпе перед театром воскликнуть: «Где же ты, аббат Террэ, почему ты не сократишь нас хотя бы на треть!» И вот эта троица (поистине с помощью черной магии) обосновалась во дворце Армиды**, в котором царила шлюха-волшебница, игравшая в жмурки с вновь испеченным канцлером Мопу, подарившим ей в благодарность за назначение карликов-негров. Ну а христианнейший король был наверху блаженства в этом дворце, совершенно не интересуясь тем, что происходит снаружи. Хотя однажды у него и вырвалось: «Конечно, мой канцлер — мерзавец, но что бы я без него делал!»⁶

А между тем этот роскошный волшебный дворец, убаюканный нежной музыкой лести, поистине висит на волоске. Разве не может наш христианнейший король серьезно заболеть или, не дай бог, умереть? Ведь пришлось же когда-то гордой красавице Шатору*** бежать из Меца в слезах и в гневе, когда король лежал без памяти в лихорадке и когда всем распоряжались пропахшие ладаном попы да монахи. И вот ведь что интересно: когда и лихорадка и монахи исчезли, она уже

* Жозеф Мари Террэ — аббат, генеральный контролер финансов.

** Армида — главная героиня поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», волшебница, влюбленная в героя поэмы Ринальдо. Силами чар и колдовства она удерживает его в своем волшебном замке.

*** Герцогиня де Шатору (Мари Анн де ла Турнелль) (1717—1744) — фаворитка Людовика XV.

больше не вернулась на свое прежнее место. А разве не пришлось Помпадур* собирать чемоданы, когда Дамьен** «легко ранил его величество под пятое ребро» и все боялись, что кинжал отравлен? Сколько она пережила, несясь в Трианон в карете, освещенной неверным светом факелов, слушая дикие крики охраны! И какое счастье, что ее дурные опасения не сбылись! Ну что ж, вероятно, все так хорошо обошлось потому, что его величество — человек верующий: он ведь верит... верит, ну, например, в дьявола. И вот снова грозное испытание, третье по счету. И снова никто не знает, что теперь будет. А доктора глядят как-то мрачно и всё пытаются выведать, не болел ли король раньше оспой, и, узнав, что болел, недоверчиво качают головами. Ну что ж, Мопу, хмурясь и щурь свои крысиные глазки, дело обстоит действительно серьезно. Кто не знает, что человек смертен, но ведь иногда бывает и так, что со смертью человека безвозвратно рушатся созданные волшебные чары, а саму волшебницу вихрь уносит куда-то далеко-далеко, в бесконечность. И вместе с нею навсегда исчезают и подземные духи, не оставив после себя ничего, кроме запаха серы.

Так пусть же эти люди и те, кто их поддерживает, станут молиться, ну хоть Вельзевулу*** или кому бы то ни было, кто захотел бы внимать их молитвам. Только вся остальная

Франция, как уже было сказано, молитв не возносит, разве что громко говорит на улицах, «не стесняясь в выражениях». Ведь не станут же в замках и гостиных, где в духе философии Просвещения принято подвергать беспощадному анализу любые вопросы,

* Маркиза де Помпадур (Жанна Ангуанетта Пуассон) (1721—1764) — фаворитка Людовика XV.

** Робер Франсуа Дамьен (1715—1757). В январе 1757 г. ранил перочинным ножом Людовика XV, желая «предупредить его, что Франция погибает». Был четвертован.

*** Вельзевул — в Новом завете Библии имя главы демонов.

молиться о здравии короля, тем более что, вспомнив о нем, сразу вспомнишь победу при Росбахе*, расстроенные Террэ финансы, ну и конечно же шестьдесят тысяч королевских указов об аресте (Lettres de Cachet)**, подписанных по просьбе Мопу. О каких, Эно, молитвах может идти речь? Может ли молиться страна, которую попирает нога шлюхи, которая истощена до такой степени, словно пережила несколько чумных эпидемий, которой стыдно глядеть в глаза соседям? Может быть, скитающиеся по всем дорогам Франции, подыхающие от голода, похожие на пугало люди станут молиться за короля? Или, может быть, это сделают миллионы забитых, отупевших от непосильного труда на пашнях и в мастерских людей, которые потому только спокойны, что, подобно слепой лошади в шахте, не сознают того, что происходит? Может быть, это сделают те, кто лежит в госпитале Бисетра*** по восемь человек на койке, кто ждет не дождется смерти — избавительницы от крепостного рабства? Нет-нет, не станет молиться тот, у кого в голове нет и проблеска мысли, у кого душа задыхается во мраке; не станет молиться тот, кому великий монарх известен как главный в стране скупщик хлеба. Ну а если до кого-нибудь из этих людей дойдет весть о болезни короля, то он только скажет мрачно: «Tant pis pour lui» (Тем хуже для него), а скорей всего спросит: «Неужто умрет?»

* Речь идет о времени глубоких внешних потрясений для Французского королевства: 5 ноября 1757 г., в период Семилетней войны, при Росбахе (в прусской Саксонии) прусская армия под командованием Фридриха II разбила французов.

** Леттр де каше — письмо с печатью. В феодально-абсолютистской Франции приказ, подписанный королем и скрепленный королевской печатью. Обычно этот бланк королевского приказа о заключении в тюрьму без суда любого человека выдавался полиции с пробелом в том месте, где должна быть указана фамилия обвиняемого. Леттр де каше могли также выдаваться по просьбе главы семьи, желавшего наказать кого-либо из родственников за безнравственное поведение.

*** Бисетр — тюрьма в Париже, «этот ужасающий вертеп пороков, безумия, нищеты и заразы» (см.: *Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции*. Т. I. Кн. первая. М., 1976. С. 333).

Да-да, неужто умрет? Вот главный, волнующий всю Францию вопрос. В этом вопросе таится надежда, что так оно и будет, и только поэтому болезнь короля вызывает хоть какой-то интерес.

Глава вторая

ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ИДЕАЛЫ

Вот какими представляются нам Франция и ее король. О да, конечно, очень многое изменилось, но это не сразу заметишь! Современному историку, окажись он в спальне больного Людовика, многое показалось бы очевидным, что, разумеется, отнюдь не очевидно для придворных короля. Напомним хорошо известное: «Любой предмет является неисчерпаемым объектом для познания, и глаз видит в предмете ровно столько, сколько смотрящий понимает в нем». Как, например, по-разному видят Вселенную Ньютон и его собака Дайэмонд! А между тем картинка на сетчатке глаза у них, весьма возможно, была одинаковой. Постарайтесь же, дорогой читатель, взглянуть на умирающего Людовика глазами разума.

В былые времена люди могли, так сказать, сделать себе короля из кого угодно, вознеся этого человека над собой и декорировав его соответствующим образом, как, например, это делают пчелы, и, что самое любопытное, люди покорно подчинялись ему. И вот этот соответствующим образом декорированный человек, отныне именуемый королем, несет на себе всю тяжесть управления. Вот, например, он «руководит военными операциями во Фландрии» — так

это все называют, а некоторые в это даже верят, в то время как на самом деле его просто привезли туда как какой-нибудь чемодан, причем чемодан отнюдь не легкий. Вместе с ним привезли и его фаворитку, бесстыжую Шатору, с ее картонками и банками для румян. На каждой остановке сооружают крытую галерею между ее покоем и покоем короля. Разумеется, едет также поварня и бесчисленная челядь, едет также актерская труппа со всем своим реквизитом, с барабанами, скрипками и с личной поклажей актеров. Актеры, конечно, едут в потрепанных экипажах или крытых двуколках. Все это шумит, гремит и, растянувшись на целую милю по дороге, едет, чтобы завоевать Фландрию. Не правда ли, изумительное зрелище! И такого рода зрелища все еще нередки. Хотя какому-нибудь нелюдимому философу все это и могло бы показаться довольно странным, но уж никак не необычным или из ряда вон выходящим.

И все-таки наш с вами мир постоянно меняется, равно как меняется и человек, пожалуй, самое пластичное из живых существ. Меняется в этом непостижимом и необъятном мире! Вот это-то непостижимое нечто, что не есть мы, чем мы пользуемся как рабочим инструментом, среди чего мы живем и, что самое потрясающее, модели чего мы создаем своим каким-то чудом работающим сознанием, именно это мы и называем миром. И если уж горы и реки, как учит нас метафизика, всего лишь наши ощущения, то что тогда говорить о явлениях нашей духовной жизни, о том, что мы называем достойным, авторитетным, греховным, священным! Причем явления нашего духовного мира в отличие от наших ощущений обязательно подвержены изменениям — они растут, они меняются. Ведь создает же темнокожий африканец из палочек, тряпья (быть может, привезенного когда-то в Африку с Монмут-стрит) и всего, что под руку попадет, идола, которого он называет Мамбо-Юмбо и которому он отныне молится, устремив на него взор, полный почтения и надежды на лучшее. Белый европеец, видя это, презрительно усмехается, разумеется не подумав о том, что у себя дома он делает почти то же самое, пожалуй, несколько умнее.

Скажем прямо, именно так все и было тридцать лет назад, во времена военных операций во Фландрии. Но теперь все обстоит совершенно иначе. Увы, теперь болен не только несчастный Людовик, французский король, теперь больно все Французское королевство, в котором многое поизорвалось и поизносилось, в котором вот-вот рухнут и подпорки. Да и мир вокруг тоже изменился: то, что выглядело сильным и крепким, постарело и обветшало; появилось много такого, чего вообще не было! Неужели слабеющий слух Людовика, короля милостью божьей, не различает этих глухих, но знаменательных звуков, доносящихся из-за океана? Посмотрите, в Бостонской гавани* вода почернела от брошенной в нее заварки, в Пенсильвании заседает конгресс, и всего год остается до того момента, как под Бэнкерс-Хиллом ружейные залпы, звездно-полосатый флаг и звуки «Янки-дудль» возвестят о рождении демократии, которая, подобно смерчу, охватит мир!

Умирают короли и королевства — всему приходит свой срок, ибо всё ведь только «временный фантом, пусть даже реально существующий!» Вот на парижских улицах появились запряженные волами повозки длинноволосых меровингских королей, медленно проехали по ним — и их навсегда поглотила вечность. Вот и Карл Великий** спит в Зальцбурге, сжимая свой жезл, и никто не верит словам легенды, будто он встанет из гроба. Карл Мартелл***,

* Имеется в виду освободительная война 13 английских колоний в Северной Америке (1775—1783), которая привела к созданию независимого государства — Соединенных Штатов Америки. Бэнкерс-Хилл — место одного из первых сражений в ходе войны за независимость США (17 июня 1775 г.). Янки-дудль — популярная американская песенка эпохи войны за независимость.

** Карл Великий (ок. 742—814) — франкский король с 768 г.; с 800 г. император из династии Каролингов.

*** Карл Мартелл (ок. 688—741) — фактический правитель Франкского государства (с 715 г.) при последних Меровингах, мажордом из рода Каролингов

Пипин Короткий*, где вы теперь, куда подевался ваш грозный взгляд, ваш голос, привыкший повелевать? Рольф Грабитель и его косматые норманны, корабли которых бороздили Сену, уплыли куда-то далеко-далеко. Волосам Пеньковой головы (Tête d'étoupes) не нужен больше гребень, Крушитель железа (Taille-fer) не разорвет даже паутинки, не слышны больше ужасные, охрипшие от грубой брани голоса Фредегонды и Брунгильды** — они уснули навеки, замерла бившая ключом жизнь. С черной Нельской башни*** уже не бросают в воды Сены

глухой ночью мешок с телом поклонника, потому что графине Нельской не нужны больше ухаживания, ей не нужно больше бояться скандала — графиню Нельскую саму поглотила ночь. Все они ушли и, хотя сильно шумели при жизни, тихо лежат теперь в земле и не слышат, как новые поколения, шумя и гремя, проходят над ними.

* Пипин Короткий (714—768) — франкский король с 751 г., основатель династии Каролингов.

** Фредегонда (543—597) — жена Хильперика I, короля Нейстрии (Франкония). Известна своей борьбой с Брунгильдой (год рождения неизвестен — 613), франконской королевой, фактически правившей одним из франкских королевств Австразией — после смерти своего сына Хильдеберга II. Эта борьба ознаменовалась многими злодействами с обеих сторон.

*** Нельская башня — одна из сторожевых башен в Париже, сооруженная в XII в. Находилась на левом берегу Сены, напротив Лувра. Здесь нередко происходили дуэли. История Нельской башни связана с именем жены французского короля Людовика X Маргариты Бургундской. Обвиненная в любовной связи с капитаном Буриданом, Маргарита была задушена по приказанию короля.

Неужели ничего не остается? Конечно, нет! Взгляните хотя бы на эти мощные каменные стены. Грязный пограничный город (*Lutetia Parisiorum* или *Barisiorum*) покрылся мостовыми и широко раскинулся на обоих берегах Сены, заняв даже острова. Он называется теперь Парижем и иногда хвастливо именуется новыми Афинами или даже столицей мира. Высокие древние башни мрачно хмурятся, глядя на вас из глубины тысячелетий. Воздвигнуты на вере (от нее, быть может, осталась лишь память) соборы, дворцы, ну и конечно же закон и государство. Видите, как все время поднимается к небу не то дым, не то пар, точно от дыхания живого существа, слышите, как тысячи молотков стучат по наковальням? Но самый чудодейственный труд совершается бесшумно — то работа не рук, а мысли. Хитроумные и искусные труженики всех профессий покорили и заставили служить себе все четыре стихии — ветер, например, послушно передвигает морские колесницы; звезды используются теперь в качестве морского хронометра; в Королевской библиотеке хранятся написанные ими книги, и среди них — древняя книга иудеев. И все это сделано руками людей, этих удивительных существ, существует только благодаря их искусству! Вот почему прошлое, каким бы оно ни было горьким и ужасным, не проходит бесследно.

Все-таки, посмотрев внимательно на все человеческие успехи и достижения, невольно отметишь благородство созданных человеком символов божества или символов того же рода. Именно благодаря этим символам человек выходит победителем в жизненной борьбе, именно эти символы мы и назовем его осуществленными идеалами. Из них мы рассмотрим только два: церковь, или духовное руководство, и институт королевской власти, т. е. его земное руководство. Церковь! Сколько заключено в этом слове такого самого дорогого, что гораздо дороже Голконды*, дороже всех сокровищ мира! Стоит где-нибудь далеко-далеко в горах маленькая церквушка, а вокруг нее покоятся под белыми плитами мертвые, и ждут они своего «блаженного воскресения». О читатель! Никогда я не поверю, будто ты настолько туп, что ни разу за свою жизнь (ну хоть в глухую полночь, когда все сущее погружено во мрак и когда увидишь вдруг в своем воображении такую вот церквушку) ты не обращался к ней и не получил от нее ответа, который нельзя выразить словами, который проникает в тайное тайных души твоей. Какую же силу дает она человеку, когда он опирается на нее! Не боится он тогда ни беспредельности, ни потока вечности; мужественно глядит он в глаза богу и людям, и неведомая, бескрайняя Вселенная становится знакомым городом или домом, в котором он живет. Вот какую силу дает Вера, вот как много заключено в одном искренне сказанном слове: Верую. И неудивительно, что люди прославляли свою Веру, воздвигали в честь нее величественные храмы, создавали глубоко чтимые иерархии и отдавали ей десятую часть своего имущества. Ради нее стоило жить, за нее можно было умереть.

* Голконда — государство в Индии, на Декане, в XVI — XVII вв. Славилось ткацким и другими ремеслами и добычей алмазов.

Отнюдь не тривиальным был и тот момент, когда дикари, потрясая оружием, подняли над собой человека, сидящего на сделанном из щитов троне, и под звон оружия и стук сердец торжественно поклялись: «Будь же отныне сильнейшим среди нас!» Этот акт выбора сильнейшего (как бы его ни называли: король, *Kön-ning*, *Can-ning*, т. е. человек, который может) был

глубоко символичен, велико было его значение для судеб всего мира. Это был символ руководства, которому можно довериться и с любовью повиноваться. Собственно говоря, это была самая первая потребность человека, хотя, быть может, он этого и не сознавал. Весьма возможно, что символ стали называть священным, поскольку нерушимая святость ведь и состоит в глубоком уважении к тому, что лучше нас. В свою очередь акт выбора сильнейшего повлек за собой так называемое божественное право; разумеется, тут многое зависело от самого сильного (не важно, избранного или нет), от его личных качеств. И вот в обстановке смут и неслыханных беспорядков (именно так все новое и появляется) возникла и росла королевская власть. Поддерживаемая верными людьми, действуя где силой, а где убеждением, так, как подсказывала жизнь, она стала наконец фактом мирового значения, одним из главных факторов современности. Потому-то так характерен ответ Людовика XIV* подавшему жалобу чиновнику: «L'État c'est moi» (Государство? Я и есть государство)**, после которого ничего не оставалось, как потупить взор и замолчать. То случай, то явная преднамеренность — вспомним хотя бы королей вроде Людовика XI***, носившего на шляпе отлитую из свинца фигурку богородицы и спокойно смотревшего на распятых на колесе, замурованных заживо; вспомним людей, поедавших от голода друг друга; вспомним и таких королей, как Генрих IV****, обещавших, что наступит счастливая и зажиточная жизнь, «когда каждый крестьянин будет есть суп из курицы», — вообще все, что так богато произрастает на этой богатейшей почве (на почве добра и зла, конечно), все вносило свою лепту, помогало развитию и усилению королевской власти. Но вот что самое потрясающее! Не правда ли, когда мы видим, как катится и растет эта огромная масса зла, нам невольно приходит мысль, что где-то внутри этой массы, запертая в ней, как в темнице, обязательно есть крупница добра, стремящаяся высвободиться и победить.

* Людовик XIV Солнце (1638—1715) — французский король с 1643 г.

** Перевод Карлейля французской цитаты.

*** Людовик XI Валуа (1423—1483) — французский король с 1461 г.

**** Генрих IV Великий (1553—1610) — французский король с 1589 г., первый король из династии Бурбонов.

Как такого рода идеалы осуществляются, как они каким-то чудесным образом появляются в этом вечно флюктуирующем хаосе действительности — в том-то и состоит мировая история, этому она и учит нас, если она вообще чему-нибудь учит. Посмотрите, как, возникнув, эти идеалы начинают бурно развиваться, достигнув зрелости, распускаются пышным цветом и (пора цветения кратка) быстро приходят в упадок — сохнут, увядают и превращаются в прах! Так приходится целый век ждать, когда кактус распустится и, покрасовавшись всего несколько часов, опадет. Точно так же с того дня, когда волосатый Хлодвиг* на глазах всего своего войска, собравшегося на Марсовых полях, размахнувшись, рассек секирой голову другому волосатому франку, злорадно прибавив: «Вот так ты разбил священный сосуд (св. Реми и мой) в Суассоне», до дней Людовика Великого**, заявившего: «L'État c'est moi», прошло тысяча двести лет, и вот в лице следующего за ним Людовика умирает не просто человек — умирает нечто гораздо большее! Точно так же в нашей английской истории эпоха феодализма и католицизма (они были то союзники, то враги) подготовила эпоху Шекспира, после которой пышный цветок католицизма увял.

* Хлодвиг (ок. 466—541) — король салических франков с 481 г., из рода Меровингов. Объединил почти всю Галлию под властью франков, в 496 г. принял христианство.

** Т. е. Людовика XIV.

Но как нам быть с эпохами упадка, когда пора развития и цветения миновала и место исчезнувших преданности и веры заняла лживая фразеология, когда торжества сменили, пышные спектакли, а принцип доверия к власти превратился в тупое равнодушие или же макиавеллизм? Увы! Такие эпохи не представляют для мировой истории интереса, в анналах человечества записи о них будут все короче и короче, пока не будут вычеркнуты совсем, как лживые и ненужные. Какое же несчастье родиться в такую эпоху! Родиться только для того, чтобы на собственном примере узнать, что миром правит не Бог, а лжя и Сатана и что на вершине общественной лестницы сидит Верховный Шарлатан! Вы только представьте себе, как безотрадно-мрачно мировоззрение нескольких (двух, иногда трех) живущих в такую эпоху поколений, с их точки зрения

живущих, на самом же деле в сущности уничтожающих себя и при этом сознающих, что второй жизни для них не будет.

Вот в такую-то эпоху и родился наш бедный Людовик. Надо сказать, что если уж Французскому королевству (по самой природе вещей) недолго оставалось жить, то наш Людовик был именно тем человеком, который мог только ускорить естественный ход событий. Когда он родился, пора расцвета королевской власти во Франции, подобно кактусу, была в самом разгаре. Например, в дни Меца еще ни один лепесток не упал из цветка, хотя, конечно, регентство герцога Орлеанского* и развратные министры и кардиналы много способствовали его увяданию, но вот к 1774 году все лепестки уже опали, и цветок почти что засох.

* Герцог Орлеанский — титул младшей ветви королевского дома Валуа — Бурбонов. Эпоха регентства — время правления Филиппа Орлеанского, который с 1715 по 1723 г. был регентом при несовершеннолетнем Людовике XV.

Посмотрите, как ужасно, уверяю вас, ужасно обстоит дело с теми самыми «осуществленными идеалами», причем всеми до единого! Церковь, которая семьсот лет тому назад была на вершине своего могущества и могла позволить себе, чтобы сам император три дня простоял на снегу босиком в одной рубашке, каясь и вымаливая себе прощение, вот уже несколько веков чувствует себя неважно и вынуждена, забыв прежние планы и распри, объединиться с более молодым и сильным организмом — королевской властью, надеясь тем самым задержать процесс старения, — теперь они поддерживают друг друга и если падут, то падут, вместе. Увы, но и несвязное, свидетельствующее о старческом маразме бормотание Сорбонны*, по-прежнему занимающей свой старинный особняк, никак нельзя принять за идеи, направляющие сознание людей. Отнюдь не Сорбонна, а Энциклопедия**, философия, бесчисленное (никто не знает, сколько их) множество готовых на все писателей, антирелигиозных куплетистов, романистов, актеров, спорщиков и памфлетистов приняли на себя духовное руководство обществом. Что же касается практического управления обществом, то его больше нет, точнее, оно перешло в руки довольно пестрой группы людей. Кто же те люди, с помощью которых король (человек, который может, именуемый также *roi, гех, т. е. руководитель*) управляет? Да это те, с кем он выезжает на охоту, его доезжачие. Ведь говорят же, когда нет охоты, то «*Le Roi ne fera rien*» (Его Величество сегодня ничего не делает)⁷. Медлительно-лениво влчаться его дни, и жизнь продолжается только потому, что никто не догадался оборвать ее.

Дворянство, подобно своему повелителю, не то чтобы управляет, скорее уклоняется от управления и так же, как и он, служит, пожалуй, лишь декоративным целям. Давно это было, когда дворяне резали друг друга или даже покушались на жизнь своего короля. Работники, получив защиту, ободряемые королевской властью, выстроили несколько сот лет назад обнесенные каменной стеной города и усердно занимаются в них своими ремеслами. Они не позволят больше какому-нибудь барону-грабителю делать на них набег, теперь они просто вздернут его на виселицу. Да и не принято теперь, после Фронды***, носить тяжелую боевую саблю — все при дворе обходятся легкой рапирой. Превратившись в лыстивого прислужника, дворянин не делит больше с королем награбленное с

* Здесь — теологический факультет Парижского университета. Сорбонна — первоначально богословская школа, основанная в 1253 г. Робером де Сорбонной. В 1808 г. указом Наполеона I была слита с университетом, которому и передала свое имя.

** Французские просветители, участвовавшие во главе с Дени Дидро в создании Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел, изданной в 1751—1780 гг. Энциклопедия представляла собой свод положительных знаний, освещенных с точки зрения передовых для того времени взглядов.

*** Фронда (франц. *fronde* — букв. праща) — общественное движение 1648—1653 гг. во Франции против абсолютизма, представленного правительством Мазарини.

помощью крови и насилия, довольствуясь попрошайничеством или жульничеством. И эти люди зовут себя опорой трона, да они всего лишь позолоченные картонные кариатиды в картонном здании! Кроме того, их привилегии теперь сильно урезаны. Так, например, депутат Лапуль требовал отмены закона⁸, позволявшего сеньору при возвращении с охоты убить не более двух крепостных, чтобы омыть их теплой кровью уставшие ноги. Хотя трудно поверить в существование такого закона, весьма очевидно, что он давно не применяется. И не было за последние

пятьдесят лет случая, чтобы новый Шаролуа проверял свое искусство стрельбы на кровельщиках, смотря, как они падают после выстрела с крыши⁹, — дворяне стреляют теперь только в куропадок и другую дичь. Если же посмотреть попристальнее, окажется, что они только тем и занимаются, только в том и преуспели, как бы хорошо поесть да приодеться. Что же касается распутства и разврата, то тут они превзошли самого Тиберия* или Коммода**. И тем не менее кое-кто все еще питает к ним чувство, которое хорошо выразила супруга маршала: «Имейте в виду, сэръ, что даже Богу надо дважды подумать, прежде чем проклясть человека нашего круга»¹⁰. Бесспорно, когда-то эти люди были необходимы и полезны, иначе бы их просто не было. Впрочем, одно необходимо и непременно требуется от дворянина (заметим, что каждому смертному необходима совесть) — он должен быть готов принять вызов и драться на дуэли. Вот каковы пастыри. Ну а что стадо? Ясно, что дела его плохи и с каждым днем все хуже и хуже. Пастыри о нем не заботятся, но стричь, конечно, не забывают. Стадо обязано трудиться, платить налоги, обязано участвовать в чуждых ему распрях, чтобы жирела земля на полях сражений (так называемых «ложах чести») от пролитой крови и мертвых тел, обязано обеспечивать все общество изделиями своего труда, а само пусть обходится лишь самым необходимым, ну а лучше всего — ничем. Жить в невежестве и голоде, жить в самых нечеловеческих условиях — вот удел миллионов людей, *peuple taillable et corvéable à merci et miséricorde****.

* Тиберий (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.) — римский император с 14 г.

** Коммод (161-7-192) — римский император со 180 г.

*** Народ, платящий подати и работающий на барщине по усмотрению и милости владельца (франц.)
— *Примеч. авт.*

В Бретани однажды стадо взбунтовалось, думая, что появление башенных часов приведет к повышению соляного налога. Париж необходимо периодически чистить от наводняющих его бродячих орд — истощенные от голода бродяги разбегаются от полиции кто куда. «В мае 1750 года, — говорит Лакретель, — полиция, проводя очередную чистку, решила заодно забрать и детей некоторых уважаемых лиц, надеясь получить за них выкуп. На площади стали собираться возбужденные толпы народа, слышались дикие крики обезумевших матерей. Многие тогда поверили отвратительной и нелепой басне, будто доктора прописали одной важной особе принимать ванны из детской крови, чтобы восстановить собственную, испорченную развратом. Некоторые из нарушителей спокойствия, — заканчивает Лакретель, — были затем повешены». Полиция, естественно, действовала, как и прежде¹¹. О, несчастные, нагие и нищие! Как бессловесное животное кричит под пыткой, не так ли и вы вопиете к небу, не умея даже выразить словами всю глубину вашей боли и оскорбления. Неужели ослепительно голубые небеса, этот мертвый кристальный свод, ответят на ваш вопль одним только эхом? Неужели ответ на этот вопрос так прост: «...были затем повешены»? Да нет же, так не может продолжаться вечно! Вас слышали на небесах. Придет и ответ, а с ним — ужас вечной тьмы и потрясения всего нашего мира, близка чаша страданий, которую придется испить всем народам.

И все-таки отметим, что в этой обстановке всеобщего распада и крушения появились новые силы, более подготовленные к новому времени и его задачам. Кроме старого дворянства, связанного с войной, теперь имеется также новое, всеми уважаемое дворянство, связанное с законом и находящееся в расцвете сил и энергии. Есть также люди торговые, кошелек которых туго набит, но которые не являются дворянами. И есть наконец далеко не всеми уважаемая литературная аристократия, не имеющая ни шпаги, ни золота в кармане, наделенная, однако, «великой, чудотворной способностью мыслить». Появилась на свет французская философия. Если бы вы знали, как много заключено в этих двух словах! В самом деле, ими можно выразить главный симптом весьма распространенной болезни — долой веру, да здравствует скептицизм! Зло растет и ширится, но у людей нет веры, чтобы противостоять ему и освободиться от него, начав с победы над ним в самом себе. Скажите, чем руководствоваться, что является несомненным, когда безделье и пустота — удел высших, нужда и голод — низших, когда несомненно одно только всеобщее отчаяние? А вот чем: нельзя верить в ложь! Это ответ философии, другая главная мысль которой — недопустима вера в то, что называют духовным, сверхчувственным. Какое печальное заблуждение! Хотя само по себе несогласие с ложью можно в какой-то мере назвать верой, но что останется, когда ложь будет сметена? Останутся пять требующих удовлетворения чувств, останется также шестое, никогда не получающее удовлетворения чувство (чув-

ство тщеславия), т. е. останется демоническая, дикая сама по себе природа человека, которая в слепой, бешеной злобе вырвется наружу во всеоружии изобретений и средств нападения, предоставленных цивилизацией, — невиданное зрелище в истории.

Вот в такой, похожей на пороховую башню, к которой подбирается непогашенный (теперь уже нечего и думать о том, чтобы погасить его) огонь, все застилающий клубами дыма, вот в такой Франции лежит на смертном одре король Людовик XV. Благодаря разным Помпадур и Дюбарри королевский флаг с лилиями* постыдно повержен на суше и на море; откупщики налогов, как ни стараются, уже ничего не могут больше выжать, и бедность не миновала даже королевской казны; вот уже двадцать пять лет тянется распря с парламентом — повсюду нужда, бесчестье, неверие, и только одни горячие, всезнающие головы знают, как излечить больное государство. Да, это зловещий час.

Вот в каком свете увидел бы все современный историк, окажись он в спальне умирающего Людовика, и вот чего не дано увидеть находящимся там придворным. Вот что писал в частном, отосланном по почте письме двадцать лет назад, на Рождество, лорд Честерфилд**, подводя итоги всему, что он увидел во Франции, и давайте обратим внимание на эти слова: «Буду краток: все признаки, которые я когда-либо встречал в истории и которые обычно предшествуют государственному перевороту и революции, существуют теперь во Франции и умножаются с каждым днем»¹².

* Лилии — геральдический цветок в гербе французских королей. Эмблема монархии.

** Филипп Дормер Стенхоп, граф Честерфилд (1694— 1773) — английский государственный деятель и писатель.

Глава третья

VIATICUM*

Вот какой главный вопрос занимает сейчас правящие круги Франции: надо ли соборовать (конечно, Людовика, не Францию)?

* Соборование (лат., церковн.).

Вопрос, несомненно, глубокий. Если, допустим, соборовать, то не поставить ли предварительным условием исчезновение ведьмы Дюбарри, причем без права на возвращение даже в случае выздоровления Людовика?

Вместе с ней исчезнет и герцог д'Эгийон с компанией, исчезнет дворец Армиды, и, как уже было сказано, хаос поглотит их всех, и ничего после них не останется, кроме запаха серы. Но с другой стороны, что скажут сторонники дофина* и Шуазеля? Что, наконец, скажет сам коронованный страдалец, если он будет отходить в твердом уме, без всяких признаков бреда? Сейчас он, например, целует руки Дюбарри (это мы видим из прихожей), но как дела пойдут дальше? Ведь говорится же во врачебных бюллетенях, как и положено выпускаемых регулярно, что болезнь «протекает в форме ветряной оспы» — кстати, говорят, разумеется, шепотком, что той же болезнью болеет и полногрудая дочь привратника, — да и Людовик XV не такой человек, чтобы умереть без причастия. Разве не он любил беседовать по вопросам веры с девицами, жившими в Оленьем парке (Ragc-aux-cerfs)**, молиться вместе с ними и за них, чтобы каждая из них сохраняла... верность святой церкви?¹³ Не правда ли, звучит довольно странно. Но ведь бывает же такое, тем более с таким странным животным, как человек.

В данный момент было бы неплохо, если бы архиепископ Бомон хоть подмигнул одним глазом. Догадался бы кто-нибудь убедить его, что это очень нужно. Впрочем, Бомон сделает это с удовольствием, потому что, подчеркнем это, и церковь и иезуиты висят на волоске, зацепившемся за фартучек той самой женщины, имя которой не принято упоминать. А как быть с «общественным мнением»? Как может строгий Кристоф де Бомон, всю жизнь преследовавший яansenистов***-истериков и безбожных противников исповеди (если не их самих, то их мертвые тела обязательно), как может он открыть сейчас райские врата и дать отпущение грехов, когда *corpus delicti***** у него под самым носом? Вот, например, раздающий милостыню священник Рош-Эмон не стал бы торговаться и не пустил бы коронованного грешника в рай, но кроме него

есть ведь и другие священники? Например, духовник короля, глупейший аббат Мудон — ведь фанатизм и понятия о приличии в добром здравии и не думают умирать. Ну а вообще, что же все-таки делать? Пока надо хорошенько охранять двери, исправлять врачебные бюллетени, а самое главное, как это всегда бывает, надеяться на время и случай.

* Дофин — титул старшего сына короля как наследника престола.

** Олений парк — так назывался принадлежавший Людовику XV дом в Версале, где жили его любовницы незначного происхождения. Существование Оленьего парка было обстоятельством, весьма компрометирующим абсолютистский режим.

*** Во Франции в XVII в. возникло религиозное течение янсенизма (по имени голландского богослова Корнелия Янсения), направленное против папства, церковной иерархии и клерикализма. Очагом янсенизма было аббатство Пор-Руаяль, превратившееся в XVII в. в своеобразную общину вольномыслия и борьбы с иезуитами.

**** Юридический термин (лат.), здесь состав преступления.

Двери действительно хорошо охраняются, и кто попало сюда не войдет. Да, собственно, никто и не стремится, тем более что эта вонючая зараза добралась даже до Oeil de Boeuf* — уже «заболело пятьдесят человек и десять умерло». Движимые естественным дочерним чувством жалости, у всеми покинутой и всеми презираемой постели умирающего дежурят принцессы Graille, Chiffe, Coche (Тряпка, Дешевка, Свинья — клички, которые он им дал). Четвертая, Loque (Пустышка), как вы, наверно, догадались, уже в монастыре и воссылает к небу молитвы за его здоровье. Бедная Graille, бедные сестры, вы никогда не знали отца — да, дорогой ценой достается величие. Вам разрешено было появляться лишь при Débotter (церемонии снятия королевских сапог) в шесть часов вечера.

* Oeil de Boeuf — фактически это передняя перед спальней короля в Версальском дворце. У Карлейля это означает разное в разных случаях: придворная аристократия, близкий круг людей, прислуживающих королю, окружение дофина. Ср.: «Chronique de l'Oeil de Boeuf» (Хроника увиденного сквозь дверной глазок) неизвестного автора, написанная в 30-е годы XIX в.

В огромных кринолинах, с длиннейшими шлейфами, в черных шелковых мантиях до самого подбородка, вы подходили к отцу и, получив поцелуй в лоб, возвращались в свои покои — к вышиванию, мелким ссорам, молитвам и праздности. Ну а если его величеству было угодно заглянуть к вам как-нибудь утром на то время, пока собак спускают со своры, и торопливо выпить с вами чашку кофе, специально для его величества приготовленного, это был праздник, милость Божия¹⁴. Бедные, преждевременно отцветшие женщины давно забытых лет! Судьба готовила вам ужасную встряску, хотела сломать и разрушить ваше хрупкое существование. И во всех испытаниях, во время бегства через чужие враждебные страны или по разбушевавшемуся морю, когда вы едва не оказались в руках турок; во время санкюлотского землетрясения*, когда не поймешь, где право, где лево, хранили вы в ваших душах дорогие воспоминания, полны были милосердия и любви! Нам кажется, что вы едва ли не единственный слабый лучик света в ужасной, завывающей тьме.

* Здесь имеется в виду Великая французская революция XVIII в. Санкюлоты — название трудовых масс города (ремесленников, подмастерьев, рабочих, лавочников) во время Великой французской революции XVIII в., носивших длинные штаны из грубой материи в отличие от дворян и буржуа, носивших короткие бархатные, отороченные кружевами штаны.

Однако что все-таки в этих, так сказать, деликатных обстоятельствах предпринять осторожному, беспристрастному придворному? Тут (а речь ведь идет не только о жизни и смерти, речь ведь идет о совершении или несвершении таинства), тут ведь и самого умного легко сбить с толку. Не все ведь могут позволить себе, как герцог Орлеанский или принц Конде, сидеть, запасшись летучими солями, в прихожей короля, послав в то же время сыновей (герцога Шартрского, впоследствии Egalité*, и герцога Бурбонского**, впоследствии Конде, известного своим слабоумием) обхаживать дофина. Кое-кто, конечно, уже принял решение: Jacta est aléa***. Старик Ришелье****, когда архиепископ Бомон все-таки решился под давлением общественности войти в спальню короля, хватает его за рукав рясы, тащит в угол и с елейной улыбкой на обвисшем, бульдожьим лице предлагает (а судя по изменившемуся цвету лица Бомона, даже настаивает) «не убивать короля напоминанием о примирении с Богом»! Герцог Фронсак, сын Рише-

лье, следует примеру отца: когда версальский кюре пискнул что-то о святых дарах, он грозитя «вышвырнуть его в окно, если он услышит от него что-либо подобное».

Вот они, всё решившие счастливицы, но каково остальным, мучительно раздумывающим, да так и не пришедшим к какому-либо решению? Тому, кто захотел бы понять то состояние, в котором оказался католицизм, да и многое другое — состояние, при котором священные символы стали игральными костями в руках бесчестных людей, надо прочитать описание событий у Безанваля*****, у Сулави***** и у других придворных хроникеров того времени. Он увидит, что версальская галактика рассыпалась, разбилась на группы новых, вечно меняющихся созвездий. Они обмениваются кивками и многозначительными взглядами; между ними как посредники скользят одетые в шелка вдовы — улыбка одному созвездию, вздох другому. И живет в сердцах одних трепет надежды, в сердцах других — трепет отчаяния. И всюду виден бледный, ухмыляющийся призрак смерти, впереди которой, точно слуга, вводящий гостя в зал, идет, ухмыляясь, этикет. И все покрывает своего рода механическая молитва, рокот органа, в жутком, похожем на адский хохот реве которого слышится: суета сует и прочая суета!

* Луи Филипп Жозеф Орлеанский (1747—1793) — представитель младшей ветви королевской династии Валуа. В 1791 г. вступил в Якобинский клуб и изменил фамилию на Эгалите (франц. Равенство). Вел сложные политические интриги, пытаясь проложить себе путь к власти. Гильотинирован в 1793 г.

** Принц Конде (Луи Жозеф де Бурбон) (1736—1818) — один из руководителей дворянской эмиграции в Кобленце, сражавшейся против Французской революции.

*** Жребий брошен (лат.).

**** Ришелье Луи Франсуа Арман Дюплесси (1696—1788) — внучатый племянник кардинала Ришелье (1585—1642), министра Людовика XIII.

***** Барон Пьер Виктор де Безанваль (1752—1791) — полковник швейцарской гвардии, военный комендант Парижа, автор «Мемуаров». Швейцарская гвардия — французские наемные войска, вербуемые в Швейцарии.

***** Сулави Жан Луи Жиро (1752—1813) — священник, литератор, участник Французской революции.

Глава четвертая

ЛЮДОВИК НЕЗАБВЕННЫЙ

Бедный Людовик! Для тех, о ком мы только что говорили, все это пустая фантазмагория, в которой нанятые за деньги мимы плачут, кривляются и произносят лживые слова, но для тебя — в этом-то и весь ужас — все происходит всерьез.

Все мы испытываем ужас при мысли о смерти, издревле известной под именем Царствующего Ужаса. А как же иначе, если наш маленький, замкнутый, удобный мирок, по поводу которого мы иногда плачемся и выражаем недовольство, наше существование заканчиваются мрачной агонией, уходят неизвестно куда, в какие-то чуждые дали, в великое, не терпящее отговорок «может быть». Вот языческий император обращается к своей душе: «Куда уходишь ты, зачем меня покидаешь?» На что король-католик должен ответить: «На суд Всевышнего!» Да, в такой момент подводятся жизненные итоги, ведь ничего уже не исправишь, не изменишь в «отчете о деяниях, совершенных тобой», и плоды этих деяний будут существовать вечно.

Людовик XV как истинный самодержец и презирал смерть, и боялся ее. Конечно, не в такой степени, как, например, набожный герцог Орлеанский, дед Egalité*, — заметим, что некоторые члены этой фамилии были не в своем уме, — который искренне верил, что смерти вообще не существует! Если правда то, что пишет придворный хроникер, он совершенно опешил, услышав от своего бедного секретаря слова: «*Feu roi d'Espagne*» (покойный король Испании). «*Feu roi, Monsieur?*» — весь побагровев от гнева и возмущения, спросил он. «*Monseigneur, — затрясся от страха, но быстро нашелся секретарь, — c'est un titre qu'ils prennent*» (Монсеньер, такой титул у них принят)¹⁵. Как мы уже сказали, Людовик не обладал такой счастливой чертой характера, по крайней мере он старался не замечать, что есть смерть. Он запретил всякие разговоры о смерти, терпеть не мог кладбища, надгробных памятников — всего, что напоминает о ней. Как это похоже на страуса, сунувшего свою глупую голову в песок и думающего, что если он не видит охотников, то и охотники не заметят глупого страуса. У всякой медали есть оборотная сторона, вот поэтому-то и на него накатывало иногда нечто вроде спазма, и тогда он приказывал остановить карету возле кладбища и посылал кого-нибудь (иногда шел сам) узнать, сколько сего-

дня было похорон. Бедная мадам Помпадур страдала в этих случаях ужасно — у нее к горлу подступала тошнота. Представьте себе, что подумал разодетый, едущий на охоту Людовик, когда вдруг из-за поворота на лесной тропинке показался оборванный крестьянин, несущий гроб. «Кому гроб?» — «Бедному брату во Христе, рабу, трудившемуся на своем участке, на которого его величество, быть может, случайно бросил взор». — «От чего он умер?» — «От голода». — Король пришпорил коня¹⁶.

* Жак Батист Гастон, герцог Орлеанский (1621— 1686).

Представим себе, что теперь думает он, когда безжалостная, неумолимая смерть вдруг стиснула ему сердце. Да, бедный Людовик, ты теперь во власти смерти! И ни дворцовые стены, ни стража, ни пышность, ни строгий церемониал не помешают ей войти. Да, она уже здесь — следит за твоим дыханием и ждет, когда можно будет оборвать его. Все твоё существование прошло как пышное театральное представление, как химерический сон, но вот пришло время, раздался страшный грохот — нет больше роскоши Версаля, рухнуло все, на что опиралась твоя душа, и ты летишь куда-то, нагой, как все люди, и не король уже больше, летишь в чудовищную пустоту, в отверстое царство бледного призрака, не в силах противиться тому, что предназначено тебе! Несчастный, о чем ты думаешь сейчас, ворочаясь на смертном одре? Что ждет тебя — ад, чистилище? Весьма возможно. А что в прошлом? Сделал ли ты хоть раз что-нибудь доброе, что зачтется тебе? Может быть, щедро помог какому-нибудь смертному? Может быть, милостиво облегчил чью-нибудь горькую участь? Или вокруг тебя в этот час одни только духи, пятьсот тысяч духов-призраков тех, кто позорно погиб на полях сражений от Росбаха до Квебека* только за то, чтобы твоя наложница могла отомстить за эпиграмму? Вспомни же свой гнусный гарем, проклятие матерей, слезы и бесчестье дочерей! Презренный! Ты «совершил столько зла, сколько было в твоих силах». Совершенно непонятно, зачем ты пришел в этот мир, какую принес пользу — все твоё существование кажется какой-то ошибкой природы, отвратительным выкидышем. Не был ли ты мифическим грифоном, пожирающим все, что создано рукой человека, которому каждый день нужна была девственница в его пещере. Чешую этого грифона нельзя было пробить копьем, но ведь от смерти, не правда ли, нет защиты? Да-да, ты кажешься нам грифоном, воплотившимся в человека! Ужасны твои последние минуты, и мы не станем нагнетать ужасы вокруг постели умирающего.

* Речь идет об англо-французском соперничестве в Канаде, которое завершилось победой Англии. Результаты Семилетней войны в Северной Америке были закреплены Парижским мирным договором 1763 г. С французским колониальным господством в Канаде было покончено.

Чем более низок и подл человек, тем приятнее ему бальзам лести. Вот, например, Людовик царствовал, но разве ты не царствуешь тоже? Посмотри на Францию, королем которой он был, с точки зрения неподвижных звезд (а ведь это еще далеко не бесконечность), видишь - - теперь эта огромная страна не больше кирпичного заводика, на котором ты трудишься в поте лица или, может быть, отлыниваешь от дела. О, человек, ты — «символ вечности, но ты заперт, как в тюрьме, в том времени, в котором живешь!». Не своими трудами, которые все проходящи и бесконечно малы, и совершенно независимо от того, велик ты или незначителен, но ценен ты лишь благодаря своему духу; лишь благодаря своему духу, который проникает всюду, ты и побеждаешь время.

Давайте только вообразим себе, какую задачу поставила жизнь перед бедным Людовиком в тот момент, когда он встал здоровым с постели в Меце, получив прозвище Возлюбленный! Как вы думаете, нашелся бы такой человек среди сынов Адама, который смог бы перестроить всю эту путаницу и неразбериху и привести ее в порядок? И вот слепой судьбе было угодно вознести нашего Людовика на вершину этой неразберихи, а он, плывя в ее неудержимом потоке, так же мало может перестроить ее, как плывущее в Атлантическом океане бревно может успокоить находящийся в вечном волнении под воздействием ветра и Луны океан. «Что я сделал, чтобы заслужить такую любовь?» — сказал он тогда в Меце. Теперь он мог бы спросить: «Что я сделал такого и почему меня все так ненавидят?» Твоя вина в том и состоит, что ты ничего не сделал. Да и что можно было сделать в его положении? Отречься от престола, так сказать умыть руки, в пользу первого встречного, который бы пожелал занять его место. Какое-

либо другое ясное и мудрое решение ему было неведомо. Вот стоит он, растерянный, ничего не понимающий в происходящей в обществе неразберихе, и единственное, что кажется ему вполне достоверным, — так это то, что он обладает пятью чувствами, т. е. что есть проваливающиеся сквозь пол столы (*Tables Volantes*), которые появляются снова, уже нагруженные яствами, и что есть *Parc-aux-serfs*.

Таким образом, перед нами снова исторический курьез, своеобразные обстоятельства, при которых человеческое существо отдалось на волю волн безграничного океана никчемности, причем плывущему кажется, что он плывет к некой цели. И это при всем при том, что Людовик в какой-то мере обладал даром прозорливости. Запомнила ведь ужинавшая с ним шлюха, как он сказал о человеке, вновь назначенном на пост морского министра и обещавшем, что теперь наступит новая эра: «Вот и этот тоже разложил товар и обещает все изменить чудесным образом, но ничего чудесного не произойдет, потому что он ничего не знает в своей области — он все это навоображал». Или вот еще: «Я слышал такие речи уже раз двадцать. Убежден, что у Франции никогда не будет флота». Как, например, трогательно слышать следующее: «Если бы я был начальником парижской полиции, я б запретил кабриолеты»¹⁷.

Да, конечно, он обречен, ведь не может же не быть обречен человек, представляющий один сплошной ляпсус! Причем это король нового типа, *roi-fainéant*, король-бездельник, у которого, однако, весьма странный мажордом. Нет, это не кривоногий Пипин, это пока скрытый за облаками, огнедышащий призрак, призрак демократии, появление которого нельзя было предвидеть, который затем охватит весь мир! Так неужели же наш Людовик был хуже любого другого бездельника или обжоры, каких много, или человека, живущего только ради своих удовольствий и зря обременяющего землю, творение Божие? Да нет, просто он был несчастнее! Потому что вся его похожая на ляпсус жизнь проходила перед глазами всего возмущенного общества. Само всемогущее забвение не может поглотить его без следа — на это потребуется по крайней мере несколько поколений.

Между тем отметим не без интереса, что вечером 4 мая видели, как графиня Дюбарри вышла из королевских покоев «с явно обеспокоенным выражением лица». Это происходило в лето Господне 1774, как мы уже сказали, 4 мая. Какие пересуды поднялись в *Oeil de Bœuf*? Значит, он при смерти? А что еще можно сказать, если Дюбарри, говорят, укладывается? Она в слезах бродит по своим раззолоченным будуарам, навсегда прощаясь с ними. Д'Эгийон с компанией израсходовали все свои козыри, но тем не менее игру бросать не собираются. Что же касается спора о причащении, то он уладился сам собой. На следующую ночь Людовик послал за аббатом Мудоном, прося о причастии, и исповедовался ему, говорят, в течение семнадцати минут.

А уже в полдень чародейка Дюбарри, прижав платочек к глазам, садится в фаэтон д'Эгийона и сразу же оказывается в объятиях утешающей ее герцогини. Больше она здесь уже не появится. Так исчезни же навсегда! Напрасно ты медлишь, остановившись в соседнем Рюэле, — нельзя вернуть того, что прошло. Ворота королевского дворца заперты для тебя навсегда. Всего лишь раз через много лет ты появишься здесь, пользуясь ночной темнотой, одетая в черное домино, похожая на случайно залетевшую ночную птицу, внеся смятение в ночной концерт, устроенный в парке прекрасной Марией Антуанеттой*, — твое появление так напугало райских птичек, что они замолкли¹⁸. Да, ты вышла из грязи, но ты незлобива, и ты не вызываешь в нас ничего, кроме жалости! Какую жизнь ты прожила, родившись от неизвестного отца на нищенской кровати (кстати, в тех же местах, что и Жанна д'Арк), брошенная затем в пучину проституции, из которой ты вынырнула на залитую солнцем вершину, чтобы быть затем брошенной под нож гильотины, тщетно вымаливая себе прощение! Мы не станем проклинать тебя, пусть твой прах мирно покоится. Спи, всеми забытая! Что еще ожидает таких, как ты?

* Мария Антуанетта (1755—1793) — королева Франции, жена Людовика XVI.

Между тем Людовик начинает сильно волноваться, ожидая причастия. Несколько раз он просит подойти к окну и посмотреть, не несут ли святые дары. Успокойся, если только можно успокоиться в твоём положении, — их уже несут. Часов в шесть утра появляется кардинал Рош-Эмон в полном епископском облачении. За ним несут дарохранительницы и все остальное, что нужно для этой церемонии. Он приближается к королевской подушке, поднимает облатку и что-то невнятно, тихо говорит, может быть, просто что-то бормочет (так описал нам эту цере-

монию аббат Жоржель). Итак, наш Людовик самым благородным образом «принес компенсацию» Богу — такое истолкование дают этой церемонии иезуиты. «Ва-ва, — простонал, прощаясь с жизнью, безумный Хлотарь*, — велик же Господь Бог, коли отнимает жизнь у самого короля!»¹⁹

* Хлотарь — франкский король в 558—561 гг. Перед смертью разделил государство между тремя сыновьями.

Пусть Людовик и принес компенсацию, назовем это «законными извинениями», Богу, но раз уж он был связан с такими людьми, как д'Эгийон, никакая компенсация людей удовлетворить не может. Между прочим, Дюбарри все еще находится в доме д'Эгийона в Рюэле — пока теплится жизнь, теплится и надежда. Кардинал Рош-Эмон, дождавшись, когда все принадлежности будут убраны (да и в самом деле куда торопиться?), удаляется с величественным видом, как будто сделал большое дело! Но тут навстречу ему бросается аббат Мудон, духовник короля, хватая его за рукав и с кислым выражением на лице что-то взволнованно шепчет ему на ухо. Бедному кардиналу приходится вернуться и во всеуслышание объявить, что «Его Величество раскаивается во всех содеянных им постыдных поступках и намеревается в будущем, с Божьей помощью, избегать чего-либо подобного». При этих словах бульдожье лицо старого Ришелье мрачнеет, и он громко произносит реплику, которую Безанваль не решается повторить. Старик Ришелье, завоеватель Минорки, товарищ короля на оргиях Летящих Столов²⁰, подглядывавший за королем в спальне через специально сделанную дырку, недалек и твой час!

Не переставая звучат в церквах органы, поднимают раку святой Женевьевы — но все напрасно. Вечером на богослужении присутствует весь двор во главе с дофином и дофиной. Священники охрипли от сорокачасового повторения молитв, во всех церквах непрерывно звучат органы. И вдруг (какой ужас!) собираются тучи, становится черным небо, начинается буря: грозные разряды заглушают звуки органа, вспышки молний затмевают свет свечей на алтаре, мощные потоки дождя низвергаются на город. Вот почему, читаем мы, большинство расходится после службы, «почти не разговаривая друг с другом, погруженные в глубокую думу (resueillement)»²¹.

Так продолжалось почти целую неделю после того, как уехала Дюбарри. Безанваль говорит, что все общество с нетерпением ожидало, que cela finît (чтобы это поскорее кончилось), когда бедный Людовик покончит счеты с жизнью. И вот на календаре 10 мая 1774 года. Сегодня он близок к тому.

Вот дневной свет падает наконец и на вызывающую у всех отвращение постель умирающего, но у тех, кто находится возле нее, свет давно померк в глазах, и они не замечают разгорающегося дня — тягостны эти последние часы, так колодезное колесо медленно, со скрипом поворачивается на своей оси, так загнанный боевой конь, хрипя, приближается к цели. Дофин и дофина стоят в своих покоях одетые, готовые в дорогу — грумы и конюхи в сапогах со шпорами ждут лишь сигнала, чтобы умчать их из зачумленного дома*. Чу! вы слышите грохот, раздавшийся из стоящего напротив, через дорогу, Oeil de Voeuf, «грохот ужасный и совершенно похожий на раскаты грома». Это весь двор, как один человек, бросился на колени, давая обет верности новым самодержцам: «Да здравствуют их величества!» Итак, дофин и дофина — король и королева! Обуреваемые сложными чувствами, в слезах, они падают на колени и обращаются к богу: «О боже! Направь, защити нас! Мы так еще молоды, чтобы царствовать!» Да, да, они правы — они в самом деле слишком молоды.

Итак, «грохот, совершенно похожий на раскаты грома», был грохотом пробивших Часов времени, известивших, что старая эпоха закончилась. То, что было Людовиком, теперь всеми покинутый, отвратительный прах, отданный в руки «каких-то бедняков и священников церкви Chapelle Ardente»***, затем «положенный в двойной свинцовый гроб и залитый винным спиртом». А новый

* Очень жаль, но нам приходится оспорить то прекрасное и драматическое место в мемуарах мадам Кампан** (1, 70), где она рассказывает о свече, погашенной в момент смерти. Версальский дворец так обширен, расстояние между ним и королевскими конюшнями составляет не менее 500—600 ярдов, и, кроме того, все происходит в два часа дня, поэтому, как ни жаль, «свече» ничего не остается, как погаснуть. Конечно, эта свеча есть плод воображения автора, что и проливает свет на многое в ее мемуарах. — *Примеч. авт.*

****** Жанна Луиза Кампан (1752—1822) — французская писательница. Служила лектрисой дочерей Людовика XV, а затем первой камеристкой Марии Антуанетты. При Наполеоне — директриса Института для дочерей офицеров Почетного легиона.

******* (букв.: пламенеющая часовня) — помещение в траурном убранстве, где установлен гроб с телом покойника перед церемонией погребения.

Людовик мчится в этот яркий летний полдень по дороге в Шуази*, и глаза его еще не просохли от слез, но вот монсеньер д'Артуа** неправильно произносит какое-то слово, вызывая общий смех, и плакать больше не хочется. О, легкомысленные смертные, не напоминает ли ваша жизнь менуэт, который вы танцуете на тонком слое льда, отделяющем вас от бездны!

Власти понимают, что устраивать слишком уж торжественные похороны не надо. Безанваль считает, что похороны были самые простые. Вечером 11 мая из Версаля выехали похоронные дроги, сопровождаемые двумя каретами (одну из которых занимал церемониймейстер и с ним еще несколько

* Шуази-ле-Руа — королевская резиденция к югу от Парижа.

** Граф д'Артуа (1757—1836) — внук Людовика XV, будущий король Франции Карл X (1824—1830), свергнутый Июльской революцией 1830 г.

дворян, другую — версальские духовные лица), двадцатью пажами верхом и пятьюдесятью грумами с факелами, причем без всякого траура. Процессия движется крупной рысью, не убавляя шага. Среди выстроившихся по обеим сторонам дороги в Сен-Дени* парижан находятся остряки, которые, «давая волю своему истинно французскому остроумию», советуют ехать еще быстрее. Около полуночи своды Сен-Дени принимают свою дань: никто не проливает слез, кроме презираемой им дочери, бедняжки Лоуе, монастырь которой находится неподалеку.

* Аббатство Сен-Дени — место паломничества и усыпальница почти всех королей Франции.

Поспешно опускают гроб в могилу и быстро его закапывают. Кажется, с ним погребена и эра греха, позора и тирании. Смотрите, наступает новая эра, и эта будущая эра затмит своими яркими лучами постыдное прошлое.

Книга II

БУМАЖНЫЙ ВЕК

Глава первая

ASTRAEA REDUX*

Перефразировав афоризм Монтескье**»: «Счастливы народы, чьи летописи производят скучное впечатление», один философ, любитель парадоксов, сказал так: «Счастливы народы, у которых отсутствуют летописи». Быть может, как ни опрометчиво выглядит это высказывание, в нем все-таки содержится крупица истины? Ведь сказано же в Писании: «Молчание от Бога». И нисходит с небес, добавим мы, вот почему во всем, что ни есть на Земле, содержится своего рода молчание, которое не выразишь никакими словами. Рассмотрим же это суждение хорошенько: вещь, событие, о которой или о котором говорят или что-то написано, не есть ли во всех случаях своего рода срыв, своего рода нарушение непрерывности? Ведь даже когда происходит какое-то радостное событие, оно все-таки несет с собой изменение, несет с собой убыток (хотя бы активной силы) — так было всегда, и раньше, и теперь, — оно несет с собой нерегулярность, несет с собой своего рода заболевание. Сохранять смиреннейшее упорство, настойчивость — вот в чем наше счастье, а не вывих, не деформация, которых, разумеется, надо избегать.

* Возвращение Астреи (лат.); Астрея, дочь Юпитера и Фемиды, — богиня справедливости, покинувшая Землю с наступлением железного века.

****** Монтескье Шарль Луи (1685—1755) — французский просветитель, правовед, философ, выступал против абсолютизма.

Растет где-нибудь в лесной глуши дуб, тысячу лет растет, но вот вдруг приходит человек с топором, и гулкое эхо далеко разносит по лесу весть о том, что дуб пал. Когда-то бросил празднующий ветер на землю желудь — пустил желудь корни, выросло в лесной тишине могучее дерево! Цвело оно и зеленело, радуясь жизни, без каких-либо хвалебных кликов, да и нужны ли они тут? Ну, быть может, какой-нибудь уж очень наблюдательный человек и выразил свое восхищение, увидев его. Ведь вещи такого рода не совершаются вдруг, в одночасье, они медленно становятся, и образуются они не за час-другой, для них нужен долгий бег дней. Вот потому-то и можно обойтись без слов, когда один час похож на другой и будущее ничем не отличается от прошедшего и настоящего.

Одна лишь глупая молва повсюду лепечет о том, что сделано неверно или вообще не сделано, но только не о том, что сделано, а глупой истории (она ведь в какой-то мере краткий конспект, синопсис того, о чем говорит молва) не так уж много известно о том, что считается известным. Ведь нашествие Аттилы*, крестовый поход Вальтера Неимущего**, Сицилийская вечерня***, Тридцатилетняя война**** и другие такого рода события, неся с собой страдания и горе, были лишь помехой на пути созидания! Из года в год зеленеет весной земля, чтобы принести золотой осенью добрый урожай; не знают устали рука труженика, ум мыслителя; несмотря ни на что, вопреки всему мы с вами живем в прекрасном, похожем на распустившийся под высоким голубым небом цветок мире, и бедная история, быть может, только спросит удивленно: откуда все это взялось? Об этом ей известно очень немного, гораздо больше она знает о том, что мешало или пыталось задержать его расцвет. Что тут поделаешь, если — то ли по необходимости, то ли вследствие глупой привычки — история придерживается таких правил, вот почему парадокс «Счастливы народы, у которых отсутствуют летописи» не так уж неверен, каким кажется.

* Аттила (— 453) — предводитель гуннов.

** Имеется в виду Вальтер Голяк — французский рыцарь, один из предводителей народного ополчения, которое во главе с Петром Пустынником двинулось в крестовый поход (1096 г.), не дожидаясь рыцарского ополчения.

*** Речь идет о восстании в Сицилии в 1282 г. против захвативших остров французов. На этот сюжет Верди написал свою известную оперу.

**** Тридцатилетняя война (1618—1648) — первая общеевропейская война между двумя большими группировками держав, принесшая огромные разрушения.

Кстати, сразу же отметим, что спокойная тишина беспрепятственного роста отнюдь не то же, что тишина бездеятельной инертности, обычного симптома неизбежной гибели. Такая тишина чревата для одних победой, для других — поражением. В такой тишине противостояние уже разрешилось: та сторона, что слабее, покорилась своей судьбе, та, что сильнее, бесшумно и быстро, неотвратимо надвигается, сохраняя боевой порядок, хотя, конечно, само падение надевает шума. Все, что возникает и развивается, имеет, подобно луговым травам, свой особый срок — годовой, столетний, тысячелетний! Благодаря этому годовому закону все, что рождается, через какое-то время умирает. Не составляют исключения из этого закона и явления духовного порядка. Но и для самого мудрого из мудрецов непостижимы законы развития, непредсказуемы сроки жизни. Когда вы смотрите на пышно разросшийся дуб, вы всегда можете сказать, что его сердцевина здорова, но разве можно сказать то же самое о человеке, об обществе или о всей нации в целом! Быть может, в этом случае здоровый внешний вид или даже внутреннее чувство силы и здоровья предвещают что-то недоброе. Ведь на самом деле разве не от апоплексии, возникшей от полнокровия и ленивого образа жизни, умирают частенько церкви, королевства и другие общественные институты? Печальное это зрелище, когда избыток сил и здоровья нашептывает какому-нибудь институту: «Не надо никуда спешить и беспокоиться, у нас ведь и так достаточно накоплено богатств». И вспоминается евангельская притча о безумце, которому было сказано: «В эту самую ночь отнимется у тебя жизнь!»

Так что же все-таки происходит во Франции в следующие пятнадцать лет, какого рода мир царит в ней, здоровый или нездоровый и зловещный? Историк может с легкостью пропустить этот период, ему тут не на чем задержаться — ни значительных событий, ни тем более

значительных дел. Быть может, назовем это время спокойной, залитой солнцем тишины новым Золотым Веком, как это и казалось большинству? Назовем его по крайней мере бумажным, ведь бумага так часто заменяет золото. Когда нет золота, на ней можно печатать деньги; еще на ней можно печатать книги, в которых содержатся теории, философские рассуждения, излияния чувств, — прекрасный способ не только выражать мысли, но и приучить нас обходиться вообще без каких-либо мыслей! Вот какие замечательные, поистине бесконечные возможности дает бумага, которая делается из старого, ни на что не годного тряпья. Но быть может, какой-нибудь мудрый, прозорливый философ, живший в этот тихий, бессобытийный период, догадывался о надвигающихся событиях, о мраке и смуте, которые они несут с собой? Говорят, что перед землетрясением стоит прекрасная, ясная погода, точно так же перед революцией люди полны надежд и благих ожиданий. Пройдет ровно пятнадцать лет с того дня, когда старый Людовик послал за святыми дарами, до того дня, когда в точно такой же майский день, тоже 5-го числа, новый Людовик, его внук, в самой торжественной обстановке перед лицом изумленной, опьяненной надеждами Франции откроет Генеральные штаты*.

Нет больше ни Дюбарри, ни д'Эгийона. Кажется, вся Франция помолодела, увидев на троне молодого, по-детски доверчивого, полного самых лучших намерений короля и молодую, прекрасную, щедрую и также полную самых лучших намерений королеву. Забыты, как тяжкий ночной кошмар, Мопу и его «парламент»; почитаемые в народе (ну хотя бы потому, что были противниками двора) парламентские чиновники спустились, не боясь расправы, «с крутых утесов Кроэ в Комбрэ» и из других такого рода мест, вознося хвалебные гимны благой перемене; Парижский парламент в своем старом составе возобновил свою работу. Вместо развратного и вороватого аббата Террэ пост генерального контролера финансов занимает высокодобродетельный, философски образованный Тюрго**, который надумал провести во Франции целый ряд реформ. Он постарается исправить все, что было дурно сделано в области налоговой политики или в других экономических вопросах, разумеется, насколько это возможно. Вы посмотрите, разве не сама мудрость теперь заседает и имеет голос в Королевском совете? Именно эти благородные мысли и высказал Тюрго в своей речи, когда принимал назначение, и был выслушан с тем благородным доверием, которое подобает королю¹. Правда, король сделал одно замечание: «Жаль, что он совсем не посещает мессу», но для либералов это отнюдь не недостаток, у них на это есть прекрасный ответ: «Аббат Террэ не пропускал ни одной». Поборники философии Просвещения рады видеть на высоком государственном посту если не философа, то хотя бы философски образованного человека. Они с восторгом приветствуют каждое его начинание. Ну а легкомысленный старец Морепе, едва ли способный оказать Тюрго какую-либо помощь, во всяком случае мешать реформам не будет.

* Генеральные штаты — высший орган сословного представительства в дореволюционной Франции (духовенства, дворянства, третьего сословия). Первыми принято считать Генеральные штаты 1302 г. До середины XV в. созывались регулярно. В последний раз созданы в 1789 г.

** Тюрго Анн Робер (1727—1781) — французский государственный деятель, философ-просветитель, экономист. На посту генерального контролера (министра) финансов провел ряд реформ, многие из которых задевали привилегированные сословия; в 1776 г. уволен в отставку, его реформа отменена.

Вы только посмотрите, как «смягчились» нравы — порок, «утратив все свое безобразие», приобрел приличные формы (т. е. действует по общепринятым правилам) и стал своего рода добродетелью, признаком «хорошего» тона! В отношениях между людьми ценится искусство вести беседу, блистать остроумием. Поборников философии Просвещения с радостью принимают в великосветских салонах и в салонах богачей, не желающих отставать от аристократов; и те и другие гордятся общением с философами, которые, иронизируя над всем, что олицетворяет Бастилия, проповедуют приход новой эры. Патриарх движения Вольтер приветствует из далекого Фернея* наступившую перемену; такие ветераны, как Дидро**, Д'Аламбер***,

* Ферней — деревня поблизости от швейцарской границы, где с 1758 по 1778 г. жил в своем поместье Вольтер (ныне департамент Эн). Место, где собирались единомышленники Вольтера, прибежище для гонимых, а для самого Вольтера пребывание в Фернее стало наиболее светлым периодом жизни.

** Дидро Дени (1713—1784) — французский философ-материалист, писатель, идеолог революционной французской буржуазии XVIII в., иностранный почетный член Петербургской Академии наук.

*** Д'Аламбер Жак Лерон (1717—1783) — французский математик и философ эпохи Просвещения. Редактировал вместе с Дидро Энциклопедию, для которой написал вводную статью.

счастливы, что дожили до этих дней; вместе со своими более молодыми коллегами Мармонтелем*, Морелле**, Шамфором***, Рейналем**** и другими они теперь необходимая приправа к столу богатой вдовы-филантропки или не чуждого философии откупщика. О эти ночи, эти ужины богов! Итак, давно доказанная истина вот-вот воплотится в жизнь: «Близится век революций!» (как писал Жан Жак)***** , но революций благословенных, несущих счастье. Посмотрите, люди, на восток, туда, где разгорается заря нового утра! Пробудитесь же от долгого сомнамбулического сна, гоните прочь тяготившие вас колдовские призраки. Пусть исчезнут они в лучах занимающейся зари, и пусть навсегда вместе с ними исчезнет на Земле все глупое и нелепое. Ведь отныне на Земле воцарятся истина и справедливость (Astraea Redux) — основные принципы философии Просвещения. Ибо можете ли вы себе представить какую-либо иную цель, кроме счастья, ради которой был создан человек? И непобедимый аналитический метод, и достижения науки — несомненная гарантия тому. Короли станут философами или же философы — королями. Надо только, чтобы общество было устроено

* Мармонтель Жан Франсуа (1723—1799) — французский писатель, автор ряда философско-просветительских романов.

** Морелле Андре (1727—1819) — литератор и философ, сотрудничал в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера, в годы революции занял контрреволюционные позиции.

*** Шамфор Себастьян Рош Никола (1741— 1794) — французский философ-моралист и писатель. Его основной труд — «Максимы, мысли, характеры и анекдоты», в котором бичуется упадок нравов аристократического общества во Франции XVIII в.

**** Аббат Рейналь Гийом (1713—1796) — известный писатель и публицист.

***** Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский революционный писатель эпохи Просвещения. Обличал пороки высших классов, отвергал цивилизацию и утверждал, что счастье — в возвращении человека к «естественному состоянию», к природе. Один из главных философских учителей якобинцев.

правильно, т. е. в согласии с непобедимым аналитическим методом. И тогда всякий сможет утолить пищу голод или жажду глотком доброго вина. Труд всех без исключения перестанет быть печальной необходимостью и станет приносить радость. Вы, конечно, сразу подумаете: хлеб сам не родится, и, значит, кто-то должен пахать землю, заниматься тяжелым крестьянским трудом — ну а почему бы нам в самом деле не механизировать его? Портные и владельцы ресторанов, всегда готовые к вашим услугам, не возьмут с вас ни гроша — впрочем, пока не ясно, как это все устроится. По-видимому, всеобщая благожелательность приведет к тому, что каждый будет считать своим долгом заботу об остальных, так что не будет больше людей заброшенных и несчастных. И кто знает, быть может, благодаря непобедимому аналитическому методу нам удастся «неограниченно продлить человеческую жизнь» и избавить людей от страха смерти, как это, например, удалось сделать по отношению к дьяволу? И тогда мы наконец добьемся счастья вопреки смерти и дьяволу. Вот о чем велеречиво проповедуют философы, нетерпеливо ожидая *Redeunt Saturnia regna**.

Эти просвещенческие гимны, конечно, доходят до ушей обитателей версальского *Oeil de Boeuf*, и те, будучи вежливыми людьми и понимая счастье как удовлетворение своих интересов, снисходительно отвечают: «Почему нет?» Всегда бодрый старец Морепя, занимающий пост премьер-министра, любящий шутку и веселье человек, разумеется, не в состоянии омрачить царящий в обществе оптимизм: довлеет дневи злоба его**. Добрый старый весельчак, беспечно порхающий в обществе и отпускающий свои шуточки, он хорошо умеет всем угождать и держать нос по ветру. Скромный молодой король, обычно нерешительный и неразговорчивый, хотя и подверженный иногда вспышкам раздражения, удалился в свои апартаменты, где и занимается под руководством некоего Гамена (придет день, когда он пожалеет, что связался с этим человеком)² слесарным искусством, т. е. учится делать замки. Известно также, что он обладает некоторыми познаниями в географии и, кажется, умеет читать по-английски. Все-таки как неудачно складывается его судьба: ведь, право же, он заслуживал лучшей участи, чем получить в качестве наставника этого старого глупца Морепя. Но друзья и враги, роковые обстоятельства и его собственное «я», кажется, все соединилось таким образом, чтобы погубить его.

* Лат., буквально: возвращение царства Сатурна, т. е. возврат Золотого Века. Вергилий. Буколики (Эклога IV. Поллион).

** Цитата из Евангелия.

Тем временем юная красавица-королева, приковывая к себе взоры, разгуливает по парадным покоем как какая-нибудь сошедшая с неба богиня, которой нет дела ни до государства, ни до будущего и которая, подобно богине, не испытывает страха перед ним. Вебер и Кампан³ живописали нам ее на фоне блистающих роскошью будуаров и королевских гобеленов, выходящей из ванны в пеньюаре или одетой для больших и малых приемов, когда все светское общество подобострастно ожидало одного только ее взгляда. Знаешь ли ты, юная прелестница, что в будущем ожидает тебя? Посмотрите, как это чудное видение — сказочная волшебница и в то же время земная женщина — грациозно движется во всем своем великолепии, между тем как мрачная бездна уже готова поглотить ее. Ее мягкое сердце сжимается при виде сирот или бесприданниц, и она усыновляет одних, дает приданое другим. Ей нравится помогать бедным (конечно, не всем подряд, а лишь случайно подвернувшимся живописным нищим), и она делает этот обычай модным — ведь, как мы уже говорили, наступило царство благожелательности. Похоже, что в лице герцогини Полиньяк или принцессы Ламбаль* она обрела своих лучших друзей. И вот после долгих семи лет у нее родилась дочь, а вскоре она родила королю наследника и может наконец сказать, что счастлива в браке.

* Ламбаль Мари Тереза Луиза (1749—1792) -приближенная королевы Марии Антуанетты.

Вы спросите, где же события? Их нет, их заменили благотворительные празднества (Fêtes des moeurs), на которых произносят речи, награждают премиями, которые завершаются процессией торговков рыбой к колыбели дофина, в основном их заменил флирт со всеми его фазами: завязкой, возникающим чувством, охлаждением и все завершающим разрывом. Упомянем еще снежные статуи королевы, воздвигаемые в суровые зимы бедняками в благодарность за топливо, которое она им дает; упомянем также маскарады, спектакли, новое украшение Малого Трианона, приобретение и переделку дворца в Сен-Клу*, переезды из летней резиденции в зимнюю; упомянем ссоры и размолвки с сардинскими невестками (их наконец-то удалось выдать замуж) и незначительные вспышки ревности, легко гасимые благодаря придворному этикету. Одним словом, жизнь бурлит, пенится и наполняет сердце беспечным весельем, как бокал шампанского!

Месье, старший брат короля, выбивается из сил, стремясь быть остроумным, и считает себя приверженцем философии Просвещения. Монсеньер д'Артуа, услышав от одной красавицы дерзость, сорвал с ее лица маску и вынужден был драться на дуэли, говорят, даже до пролития крови⁴. Он придумал панталоны какого-то совершенно невообразимого фасона. «Четверо здоровенных лакеев, — утверждает Мерсье**, который, по-видимому, был очевидцем этой процедуры, — подняв его, осторожно опускали так, чтобы на панталонах не было ни малейшей складочки, а вечером процедура проделывалась в обратном порядке, разумеется, с несколькими усилиями⁵. Всего три дня понадобилось, чтобы его участь была решена, и ныне этот седой, дряхлый старик в одиночестве коротает время в Гретце⁶. Как все-таки бесцеремонно обращается с бедными смертными судьба!

* Сен-Клу — замок в 9 км от Версаля, построен в начале XVII в., куплен Марией Антуанеттой у наследников брата короля Людовика XIV.

** Себастьян Мерсье (1740—1814) — французский писатель-просветитель. В романе «Год 2440-й, или Сон, каких мало» (1770 г.) рисует будущее Франции, исходя из идеалов Просвещения XVIII в. Автор известных мемуаров о жизни Парижа в предреволюционное и революционное время.

Глава вторая

ПРОШЕНИЕ, НАПИСАННОЕ ИЕРОГЛИФАМИ

Рабочий люд опять недоволен. Самое неприятное, пожалуй, то, что он многочислен — миллионов двадцать или двадцать пять. Обычно мы представляем его себе в виде какого-то огромного, но из-за отдаленности плохо различимого множества, своего рода кучи, которая зовется грубым словом «чернь». Это те, о ком говорят как о массах, если посмотреть на них с гуманной точки зрения. Капелька воображения, и вы увидите эти массы, рассеянные по всей необозримой Франции, ютящиеся на чердаках, в подвалах и лачугах, и тут вам, быть может, при-

дет в голову мысль, что массы состоят из отдельных лиц, что у каждого из этих лиц бьющееся, как и у вас, сердце сжимается от обид и невзгод, а из пореза течет такая же красная, как и у вас, кровь. О, вы, одетые в пурпур, величества, святейшества, преподобия! Начнем хоть с тебя, раздающий милостыню, одетый в бархатную мантию кардинал. Ты ведь не задаешься вопросом, кто вознес тебя так высоко над людьми, кому обязан ты властью и богатством. Тебя не посетила мысль, что любой представитель этого множества, этой массы, — такой же человек, как и ты, который борется (сознательно или бессознательно, это уж другой вопрос) за свои царские права в этом бесконечном мире, который, придя однажды в этот мир, получил в дар искру Божию — то, что ты называешь его бессмертной душой!

Тяжела, трудна борьба, которую ведут эти люди; невежественна среда, в которой они живут; безрадостны их жилища с потухшими очагами; скудна пища. Им не на что надеяться в этом мире, да едва ли и в будущем, у них одна надежда — что смерть все решит и принесет покой, в загробную жизнь они мало или совсем не верят. Темные, забитые, вечно голодные люди! Подобно глухонемым, они могут выразить себя лишь каким-то нечленораздельным мычанием. И нечего говорить о том, чтобы кто-нибудь представлял их в Королевском совете или в каких-либо общественных организациях. Иногда (как, например, теперь, в 1775 году) они, побросав свои заступы и молотки, собираются в толпы и могут броситься в бессмысленной ярости на кого угодно, к вящему изумлению мыслителей⁷.

Тюрго проводит реформу хлебной торговли и отменяет наиболее нелепые из тех законов, которые регулируют ее. Цены на хлеб поднимаются (быть может, это сделано намеренно; важно то, что хлеб купить очень трудно). Вот почему 2 мая 1775 года к Версальскому замку стягиваются толпы изможденных, одетых в рваное и грязное тряпье людей, на лицах которых тот, кто знаком с подобными иероглифами, прочитал бы их обиды и их негодование. Разумеется, ворота замка на запоре, но король соизволил выйти на балкон и говорить с ними. Эти люди наконец-то увидели короля в лицо. Значит, и король мог увидеть (смог ли прочитать?) прошение, написанное на их лицах. В ответ двоих из толпы повесили на «новой виселице высотой сорок футов». Итак, попытка подать жалобу оказалась неудачной, массы опять разогнали по их лачугам и берлогам, но ведь это только на время.

Ясное дело, что руководство массами самое трудное из всего того, чем занимается правительство, да, пожалуй, и самое главное, потому что все остальное по сравнению с этим жалкие пустяки и околичности, если не толчение воды в ступе! Пусть широко применяемые и вошедшие в привычку законы и хартии говорят все, что им будет угодно, массы — это миллионы личностей, каждая из которых создана по образу и подобию Божью, точно так же как им была создана и вся наша Земля. Но конечно, эти крепкие, мускулистые люди бывают иногда озлобленными и разъяренными. Давайте взглянем вместе с Другом Людей, маркизом Мирабо*, старым и сварливым человеком, на народный праздник, который он наблюдал, живя в отеле на морском берегу в Mont d'Or: «С гор, точно лавина, хлынули вниз толпы дикарей. Мы все сидим в отеле и не показываемся на улице. Для соблюдения порядка в город введены военные патрули с саблями наголо, за порядком наблюдают также священник в полном облачении и судья в напудренном парике. Заиграла волынка — начинаются танцы, но не проходит и четверти часа, как они прерваны начавшейся дракой — плач и крик детей, кто-то из толпы подзадоривает дерущихся, точно собак. Страшен вид этих людей, так и хочется сказать — зверей: рослые, они кажутся еще выше из-за деревянных башмаков (sabots) на высоких каблуках; одеты они в грубошерстные кафтаны, подпоясанные широкими кожаными поясами, которые для красоты обиты медными гвоздиками. Чтобы лучше разглядеть драку, они приподнимаются на носки, расталкивая друг друга локтями; кто-то топает в такт ногами. Длинные сальные волосы, худые, изможденные лица, которые искажены злобой и зверским хохотом. Да, да, эти люди платят налоги! А вы еще хотите лишить их соли! Да вы совсем не знаете тех, кого обдираете до нитки или, как принято у нас говорить, кем вы управляете, и, не зная их, вы, трусливые и равнодушные, воображаете, что безнаказанно, одним росчерком пера можете заставить их голодать. Всегда ли? Только до катастрофы! О мадам, спотыкающееся на каждом шагу, играющее в жмурки правительство кончит тем, что его просто сбросят (culbute générale)»⁸.

* Речь идет о маркизе Викторе де Мирабо (1715—1789), одном из видных представителей школы физиократов. Именовался Другом Людей по названию одной из его книг.

Несомненно, приведенный выше очерк несколько мрачноват на фоне Золотого Века, точнее, века бумаги и ожиданий! Ну зачем ты раскаркался, старый Друг Людей, разве ты не знаешь, что пророчества ничего не меняют и мир по-прежнему идет своим старым, извилистым путем!

Глава третья

СОМНЕНИЯ

Но не есть ли век ожиданий и надежд не более чем видимость, что нередко бывает с ожиданиями? Быть может, это всего лишь облако, парящее над Ниагарским водопадом, над которым висит в небе сияющая всеми цветами радуга? Ну что ж, в таком случае непобедимому аналитическому методу есть чем заняться.

О да, конечно! С точки зрения этого метода необходимо переделать все общество целиком, но это труд, который ему явно не по силам! Вы только посмотрите, как все кругом испортилось и, так сказать, свихнулось, что внутри — в духовной области, что снаружи — в области экономической, ум с сердцем не в ладу, и оба явно больны. По правде сказать, все горести и напасти в какой-то мере родня друг другу и обычно идут рука об руку. Подтверждается старая истина: телесный недуг, в особенности неизлечимый, есть следствие, есть порождение, причину же надо искать в грехе и преступлениях против морали. Посмотрев вместе с Мирабо на изможденные лица тружеников, которых в стране, придумавшей девиз «Человек человеку — брат» и именующей себя христианской, двадцать пять миллионов, невольно подумаешь, что это следствие копившейся веками бесчестности правителей и охранителей, как светских, так и духовных, для которых главным в жизни стало казаться, но не быть! И вот рождается мысль, своего рода общественная доктрина: лживое это состояние не может длиться вечно!

В самом деле, отбросив прочь радужные пары сентиментализма, филантропии и праздников морали, мы увидим довольно-таки печальное зрелище. Зададим себе такой вопрос: какими узами связаны люди между собой? какие силы удерживают их вместе? Ведь в основном это люди неверующие, которые руководствуются положениями и предположениями непобедимого аналитического метода, а в качестве веры, исповедуют принцип: мое желание — закон. Все они охвачены алчным стремлением к красивым вещам, и, по-видимому, нет никакого другого закона (вне или внутри их), которому бы они подчинялись!

В качестве короля у них королевский попугай, руководит ими правительство Море-па, которое, точно флюгер, повернуто в ту сторону, откуда дует ветер. В небесах для них нет больше Бога — его заменил телескоп. Правда, есть еще такой институт, как церковь, но она после недолгой борьбы с философией Просвещения совершенно покорилась своей судьбе — ее час пробил. А всего каких-нибудь двадцать лет назад уже известный вам архиепископ Бомон не позволил бы похоронить по христианскому обряду даже какого-нибудь беднягу янсениста, а Ломени де Бриенн* (человек, делающий карьеру, с которым нам еще предстоит встретиться) мог требовать от имени духовенства исполнения закона, осуждающего протестантов на смертную казнь за проповедь их учения⁹. Увы, теперь нельзя даже предать огню атеистические сочинения барона Гольбаха**, если, коне-

* Ломени де Бриенн Этьен Шарль (1727— 1794) — преемник Калонна на посту генерального контролера финансов.

** Гольбах Поль Анри (1723—1789) — французский просветитель, философ-материалист.

чно, вам не придет в голову воспользоваться страницами, заполненными философскими рассуждениями, для раскуривания трубки. Церковь, точно спутанный по ногам вол, нагибается лишь затем, чтобы достать корм (т. е. десятину*), и очень довольна своим положением — тупо равнодушная, она не ведает о приближении судного дня. А рядом более двадцати миллионов «изможденных лиц», которые в темноте и невежестве борются за существование, и указующим перстом в этой борьбе им служат «виселицы высотой 40 футов». В то же время возведен приход необыкновенного, поистине Золотого Века: кругом праздники морали, «смягчение нравов», гуманные учреждения, говорят также о вечном мире между народами. О мире? О пре-

краснодушные философы! Что общего у вас с миром, если ваша родоначальница — Иезавель? **
Гнусное порождение мерзостной заразы, вы погибнете вместе с нею!

* Церковная десятина, т. е. десятая часть дохода, взимавшаяся церковью с населения в средние века в Западной Европе. Тяжесть десятины падала прежде всего на крестьян. Была отменена во времена Французской революции XVIII в.

** Распутная, наглая женщина (библ.).

Между прочим, есть нечто удивительное в том, как долго держится прогнившее, если его не потрясти как следует. Поколения за поколениями видят, как оно продолжает держаться, «отвратительно притворяясь живым организмом», хотя жизнь и правда давно отлетели от него. И все из-за того, что люди неохотно бросают торные пути, чтобы вопреки лени и привычке к покою вступить на новую дорогу. Поистине, велика власть существующего, и не в том ли и весь вопрос, как часто ускользает оно от глубокомысленных теорий и является пред нашими глазами в виде какого-нибудь определенного, неоспоримого факта, благодаря которому живут и работают люди или жили и работали в прошлом. Что же тут удивительного, если стремятся люди продлить ему жизнь и неохотно, с сожалением с ним расстаются, когда становится оно злобным и ненадежным. Будь же предельно осторожен, безоглядный энтузиаст! Рассмотрел ли ты хорошенько, какую роль играет привычка в нашей жизни, какой дивный мост, образованный всеми нашими знаниями и достижениями, поддерживает нас над бездной неведомого и недоступного, подумал ли ты о том, какой бездной является само наше существо, которое, точно аркой, окружено тонкой корочкой привычек, заботливо и с трудом возведенной?

Но, если «каждый человек (писал один автор) заключает внутри себя сумасшедшего», как тогда рассматривать общество в целом — общество, которое в своем самом обычном состоянии зовется не иначе как «обыкновенное чудо нашего мира»? «Без этой коры привычек (продолжает тот же автор), лучше сказать системы привычек, то есть определенных путей, способов действия и убеждения, общество вообще не могло бы существовать. Только благодаря этой системе оно и существует, а уж худо или хорошо, это другой вопрос. Именно в этой системе привычек (благоприобретенных или унаследованных, как вам будет угодно) и заключается истинный кодекс законов и конституция общества. И пусть этот кодекс не писан, но ему нельзя не повиноваться. То же, что мы называем писаными законами, конституцией, формой правления и т. д., не есть ли все это миниатюрный слепок, напыщенно выраженное резюме этого неписаного кодекса? Есть? Увы, скорее, нет, и только стремится к тому, чтобы быть! Вот это-то расхождение и порождает бесконечную борьбу». Добавим в том же духе, что, к несчастью, иногда эта вечно продолжающаяся борьба заканчивается тем, что кора привычек, подобно земной коре, вдруг дает трещину, и из-под нее вырывается огненная лава, которая все затопляет и поглощает. Кора сметена и разрушена, и вместо цветущего и зеленеющего мира пред нами дикий, сумбурный хаос, который, пройдя через борьбу и смуту, должен затем преобразоваться в другой мир.

С другой стороны, допустимо следующее утверждение: если вы столкнулись с ложью, подавляющей вас и пытающейся господствовать над вами, вы обязаны уничтожить ее. Надо только хорошенько обдумать в каком состоянии духа вы станете это делать: очень важно, чтобы это были не ненависть или себялюбивое и безрассудное применение насилия, важно, чтобы это было благородное, святое горение, обязательно связанное с милосердием. А иначе вы бы заменили старую ложь новой, вместо старой несправедливости создали бы новую, по собственному образцу, а ведь несправедливость всегда рождает ложь. В конце концов дела обстояли бы еще хуже, чем вначале.

Так уж устроен наш с вами мир, что живут в нем одновременно нерушимая надежда на лучшее будущее и нерушимое стремление сохранить все, как было раньше, вечно спорят друг с другом новаторство и консерватизм, попеременно беря верх в этом споре. Между тем как то «демоническое», что таится в каждом из нас, только и ждет, чтобы хоть раз в тысячу лет вырваться наружу! Об одном только, пожалуй, приходится пожалеть, наблюдая этот старый спор, так напоминающий классическую битву «пылающих ненавистью амазонок и юношей-героев», которая, как известно, закончилась объятиями, — о том, что уж очень он порывистый и страстный! Ведь стоит только консерватизму одержать в этом споре победу (а что тут удивительного, если консерватизм находит мощную поддержку в нашей лени и стремлении к покою), как он уже намерен сидеть в кресле победителя целый век, тиранически подавляя всякую несговорчи-

вость, стараясь совершенно уничтожить своего противника. Вот и приходится погребенному под толщей земли противнику, подобно мифическому Энцеладу, потрясать всю Тринакрию* вместе с Этной, чтобы получить хоть один глоток свободы.

* В греческой мифологии один из гигантов, участвовавших в их борьбе с богами-олимпийцами; после поражения был погребен на Сицилии, которая в античности нередко называлась по своей треугольной форме Тринакрией.

И все-таки давайте не будем думать о «бумажном» веке неуважительно. Ведь это век ожиданий! И пусть именно в нем началось страшное восстание Энцелада, потому что совершалась необходимая и срочная работа, за которую добровольно не взялся бы ни один смертный, разве не сама благая Природа, обещая нам радость на предстоящем пути (не важно, сбылось это обещание или нет) и увлекая несколько поколений людей во тьму Эреба*, разбудила в людях надежду на лучшее будущее? Как хорошо кто-то сказал, «сами основы человека предполагают надежду, да и, собственно говоря, это единственное, чем он обладает. Мир, в котором он живет, есть обитель надежды».

* В греческой мифологии Эреб — персонификация мрака, сын Хаоса и брат Никты.

Глава четвертая

МОРЕПА

Как каждый француз на что-нибудь да надеется, так и старый граф де Морепа тоже надеется на то, что находчивость и остроумие позволят ему продолжительное время оставаться на посту премьер-министра. И разве эта надежда не обоснована? Этот шустрый старик, у которого с языка не сходят шутки и остроты, уверен, что благодаря своей легкости он, как пробка, даже в самом крайнем случае всегда окажется на поверхности. Главное для него то, что он наконец-то (ему скоро будет восемьдесят) занял одно из самых высоких в стране кресел, а до всяких там «само-совершенствований», «прогресса человечества» или *Astraea Redux* ему дела нет. Пожалуй, можно согласиться с надменной Шатору, которая называла его не иначе как мосье Faquinet (уменьшительное от слова «негодяй»). На жаргоне, который сейчас принят при дворе, его называют Нестором Франции*. Ну что ж, каков Нестор, такова и Франция!

Кстати, головоломным представляется вопрос: где в данный момент может находиться правительство Франции? В Версале находятся Нестор, королева, королева, министры и клерки с кипами бумаг — но правительство ли это? Ведь правительством мы называем институт, который управляет, наставляет и если надо, то заставляет. Такого института в данный момент мы во Франции не видим. Его заменило своего рода невидимое правительство: салоны, в которых собираются философы, галереи, *Oeil de Voeuf*, болтуны и памфлетисты. Появление Ее Величества в Опере было встречено аплодисментами — она сияет от радости. Но вот аплодисменты становятся жидкими или даже почти что прекращаются — королева расстроена и опечалена. Невольно подумаешь, что королевское достоинство похоже на воздушный шар братьев Монгольфье**; наполненный теплым воздухом, он раздувается и поднимается, а если его теплым воздухом не наполнить, он лежит на земле плоский и пустой и не думает подниматься. Долгое время французский деспотизм в какой-то мере ограничивали распространявшиеся всюду эпиграммы, в настоящее время эпиграммы, по-видимому, взяли над ним верх.

* Персонаж поэмы Гомера «Илиада». В литературной традиции — мудрейший советник.

** Монгольфье Жозеф Мишель (1740—1810) и Жак Этьен (1745—1799), братья, — изобретатели воздушного шара, наполненного сначала теплым воздухом, потом водородом.

Король Людовик Желанный был молод и полон надежд осчастливить Францию, но он, к сожалению, не знал, что для этого надо сделать, да и, кроме того, это оказалось весьма нелегким делом. Вокруг него все время кипят страсти: раздаются требования, протесты, носятся всевозможные слухи — одним словом, царит полная неразбериха, которую мог бы упорядочить и которой мог бы овладеть лишь сильный и мудрый человек. В такой обстановке лишь всегда умеющий отшутиться и держащий нос по ветру Морепа чувствует себя как рыба в воде. Провозгласив приход новой эры и имея под этим в виду необозримый круг вопросов, философы пробу-

дили в молчавшей, точно она немая, Франции желание говорить, и ее сильный, многозвучный голос уже слышен словно бы издали, но уже достаточно ясно. Со стороны же Oeil de Boeuf (а это ведь совсем рядом) слышится громкое и весьма назойливое требование придворных, составляющих опору трона, тянуть из казны, этого созданного для них рога изобилия, столько, сколько им вздумается: какое нам дело, что либералы придумали какую-то новую эру; пусть будет новая эра, но чтоб никаких урезываний средств, отпускаемых на содержание двора! Увы, именно это требование совершенно невыполнимо.

Как мы уже говорили, философам удалось выдвинуть на пост генерального контролера Тюрго в надежде, что он проведет все необходимые реформы. К сожалению, он занимал этот пост всего двадцать месяцев. Имея волшебный кошелек Фортуната*, он, конечно, продержался бы на этом посту подольше. Да и не ему одному — любому генеральному контролеру такой кошелек мог быть весьма полезен. Вы никогда не обращали внимания на то, как щедра природа, когда речь идет об ожиданиях? Сколько людей, один за другим, устремляются к авгиевым конюшням, как будто тот или другой способен их очистить, но даже самому честному, работавшему на пределе своих небольших возможностей удается совершить лишь кое-что. Вот, например, Тюрго, способный, честный, изобретательный и дальновидный, с сильной, как у героя, волей человек, но что он мог сделать, если у него нет кошелька Фортуната. О, сангвинический генеральный контролер! Задумав осуществить во Франции революцию мирным путем, ты не позаботился о том, чтобы найти средства для выплаты «компенсаций», которые - - это молчаливо подразумевалось — необходимы для ее осуществления. Более того, едва ты приступил к этому важному делу, ты вдруг заявляешь, что духовенство, дворяне и даже члены парламента будут платить налоги, как и все остальные простые люди!

* Или: Фортунатов мешок — самовосполняющийся мешок, распространенный мотив народных сказок европейских народов.

Какие негодующие, озлобленные крики раздаются в галереях Версальского дворца! Морепа крутится в этом вихре злобы, точно волчок, ну а бедному королю (всего несколько недель назад он писал Тюрго: «Il n'y a que vous et moi qui aimions le peuple») (Кроме вас да еще меня, нет никого, кто бы так близко принимал к сердцу интересы народа) ничего не остается, как подписать приказ о его отставке и ждать, когда разразится революция*.

Выходит, надежды не сбылись и, так сказать, отсрочены, не так ли? Отсрочены, это верно, но ведь не уничтожены, не аннулированы. Они снова оживают, когда в Париж приезжает после долгого отсутствия сам патриарх философов Вольтер**. Этот высохший старец «в огромном парике à la Lois Quatorze***, из-под которого сверкают горячие, как угли, глаза» вызывает в обществе необыкновенный подъем, своего рода взрыв. Оказалось, что Париж умеет не только смеяться и иронизировать; оказалось, что Париж может испытывать едва ли не религиозное поклонение к своим героям. Чтобы только взглянуть на него, дворяне передевались трактирными слугами, красивейшие женщины готовы были, кажется, устлать своими волосами путь, по которому ступала его нога. «Карета, в которой он едет, — это ядро кометы, и хвост ее заполняет целые улицы». Ему устраивают в театре настоящий апофеоз, точно он император, и, наконец, «душат под розами». Его нервы не выдержали, и старый Ришелье посоветовал принять опиум невоздержанный патриарх принял слишком большую дозу. Даже Ее Величеству пришла мысль послать за ним, но ее вовремя отговорили. Хорошо уже то, что Ее Величество до этого додумалась. А ведь этот человек поставил своей главной целью в жизни разрушение и уничтожение того фундамента, на котором покоятся их величества и их преподобия. Чем отплатил ему мир за это? Как глашатай и пророк, он мудро высказал то, о чем многие мечтали сказать, и мир откликнулся и короновал его. Правда, хоронили обожаемого и задушенного розами патриарха тайком. Ну что ж, самое замечательное во всем этом то, что Франция, несомненно, беременна (или, как говорят немцы, «в доброй надежде»); пожелаем же ей счастливо разрешиться от бремени и принести добрый плод.

* 3 мая 1776 г. — *Примеч. авт.*

** Февраль 1778 г. — *Примеч. авт.*

*** Времен Людовика XIV. — *Примеч. авт.*

Поговорим еще об одном человеке, о Бомарше*, который недавно закончил отчет о своем судебном процессе («Мемуары»)10**, сразу принесшем ему известность в обществе. Карон Бомарше (или де Бомарше, так как он был возведен впоследствии в дворянство), человек смелый и находчивый, имел, родившись в бедной семье, прекрасный аппетит, честолюбие и еще множество других талантов, среди которых не последним был талант интриги. Это был худой, если не сказать тощий, но крепкий, с несгибаемой волей человек. Удача и собственная ловкость открыли ему доступ к клавикордам наших добрых принцесс Loque, Graille, а затем и других сестер. Гораздо важнее было то, что придворный банкир Парис Дювернье почтил его своим доверием, которое простиралось до того, что Бомарше имел право вести некоторые операции наличными. Однако наследник Дювернье, человек из высшего света, решил, что это уж слишком, и организовал против Бомарше судебный процесс, в котором наш крепыш, потеряв деньги и репутацию, был наголову разбит. Таково было мнение судьи, докладчика Гёцмана, парламента Мопу да и всего остального света, как обычно безразличного и равнодушного. Пусть все так думают, но Бомарше не сдастся! Из-под его негодующего пера выходят (конечно, не стихи) сатирические памфлеты о процессе, с помощью которых, избрав своим оружием насмешку и неотразимую логику, он начинает отчаянную борьбу за пересмотр своего дела, против докладчиков, парламентов, властей, против всего света. Этот высохший учитель музыки неутомимо сражается, как опытный фехтовальщик, то отступая, то нападая, и наконец заставляет все общество говорить о себе. Спустя три года, пройдя через поражения и неудачи, проделав работу, которую, пожалуй, можно сравнить с подвигами Геракла, наш непокорный Карон в конце концов одерживает победу: выиграв все свои процессы, он тем самым срывает с докладчика Гёцмана судейскую мантию и навсегда одевает его в костюм подлеца; что же касается парламента Мопу (кстати, Бомарше помогал его разгону), других каких бы то ни было парламентов да и всей вообще системы правосудия во Франции, то его пример заставил многих крепко задуматься. Итак, судьбе было угодно бросить Бомарше в преисподнюю, и вот наш тощий французский Геркулес вышел из нее победителем, укротив адских псов. Отныне его имя принадлежит к числу знаменитостей своего века.

* Бомарше Пьер Огюстен Карон (1732—1799) — французский драматург. При его содействии была организована отправка французских офицеров и оружия в Америку, восставшую против Англии.

** 1773—1776. — *Примеч. авт.*

Глава пятая

ASTRAEA REDUX БЕЗ ДЕНЕГ

Взгляните, разве там, по ту сторону Атлантики, не зажглась заря нового дня? Там родилась демократия и, опоясанная бурей, борется за жизнь и победу. Во Франции с радостью и сочувствием поддерживают вопрос о правах человека, во всех салонах только и слышно: что за зрелище! И посмотреть действительно есть на что: сюда, к сентиментальным и легкомысленным, как дети, поклоняющимся языческим богам французам, которые живут в монархическом государстве, прибыли американские представители Дин и Франклин*, потомки пуритан, воспитанные на Библии и сохранившие издревле присущую англичанам выдержку и хладнокровие, вкрадчивый Сайлас** и вкрадчивый Бенджамин, явившиеся сюда лично, чтобы просить о помощи. В салонах над ними, естественно, зубоскалят и потешаются. Ну а, например, император Иосиф, которого спросили, как он к ним относится, высказался довольно неожиданно для человека, сочувствующего философии Просвещения: «По профессии я — роялист»*** (Mon métier à moi c'est d'être royaliste).

Такой же точки зрения придерживается и ветреный Морепа, но философы и общественное мнение поворачивают его в противоположном направлении. Правительство Морепа приветствует демократию, некоторые частные лица тайком изготавливают для нее оружие. Поль Джонс**** экипирует свой «Bon homme Richard», контрабандно провозит в Америку (конечно, англичане не дремлют и часто проводят конфискации) оружие и боеприпасы, причем за кулисами всего этого дела стоит Бомарше, теперь уже как великий организатор контрабандной доставки оружия, не забывающий, конечно, пополнить при этом свой тощий карман*****. Разумеется, Франции пора иметь военный флот. И разве теперь не самый подходящий момент для этого, ведь у гордой владычицы морей, этой английской мегеры, как раз сейчас связаны руки? Так-то оно так, но где взять деньги на его постройку, ведь казна пуста. Как по мановению

руки (Бомарше говорит, что его руки), то в том порту, то в этом торговцы начинают строить корабли и преподносят их в дар королю. На воду спущены прекрасные суда, и среди них настоящий левиафан — корабль «Ville de Paris».

* 1777 г. Дин немного раньше. Франклин оставался до 1785 г. — *Примеч. авт.*; Франклин Бенджамин (1706—1790) — американский ученый, дипломат и государственный деятель. В 1776—1788 гг. был представителем США во Франции, где пользовался большой популярностью как борец за независимость Америки.

** Т. е. Дин.

*** Здесь игра слов: роялист — сторонник королевской власти; в более узком значении роялист — сторонник британского владычества в Северной Америке.

**** Поль Джонс (1747—1792) — мореплаватель-авантюрист; одно время занимался контрабандой и работорговлей, позже служил в военном флоте различных стран.

***** Карлейль не прав. Бомарше помогал американцам совершенно бескорыстно.

На корме стоящих на якоре трехпалубных гигантов развеваются вымпелы, голоса подерживающих борьбу за свободу философов становятся все громче — разве может какой-нибудь Морепла устоять против такого ветра? За океан отправляются добровольцы. Суровые генералы-янки, такие, как Гэйтс или Ли, «носящие под шляпой шерстяные ночные колпаки», встают на караул при виде представителей французского рыцарства, а новорожденная демократия не без удивления видит, что «деспотизм, умеряемый эпиграммами» встал на ее защиту. Да, так это было. Рошамбо, Буйе, Ламет, Лафайет (одни служили раньше в королевской армии, другие нет) — все они обнажили шпаги, приняв участие в святой борьбе за свободу народа. Им предстоит сделать это еще раз, но уже по другому поводу.

С Уэссана доносится гром корабельных орудий. Ну а чем занимался в это время наш юный принц, герцог Шартрский, — «прятался в трюме» или, как герой, своими действиями приближал победу? Увы, во втором издании события описываются несколько иначе: оказывается, никакой победы не было, говоря точнее, победил англичанин Кеппель*. Громкие аплодисменты, которыми наш юный принц был встречен в Опере, сменились насмешливым шепотом и взрывами смеха, и это приносит принцу нескончаемые огорчения, ведь ему так хотелось стать адмиралом.

А тут еще беда, которая случилась с «Ville de Paris», левиафаном морей! Англичанин Родни захватил корабль, а с ним еще несколько других**, успешно применив «новый маневр прорыва неприятельской линии». Вспомним, что говорил Людовик XV: «У Франции никогда не будет флота». Храбрый Сюффрен*** вынужден возвратиться из Гай-дер-Али, покинув индийские воды. Единственная его заслуга в том, что он вернулся, не испытав горечи поражения. Если, однако, учесть поддержку, которая была ему оказана, то, надо сказать, он вел себя как герой. Теперь наш прославленный герой морей мирно отдыхает в своих родных Севеннах, выпуская кухонный, а не пороховой дым из труб старого замка Жолес, которому еще суждено приобрести иную славу, но в другое время и в связи с другим человеком. Храбрый Лаперуз снимается с якоря и отплывает в дальние моря**** для блага людей и своего короля, который интересуется географией. Увы, все и здесь кончается неудачей. Храбрый мореплаватель бесследно затерялся в голубых просторах морей, и все попытки найти его тщетны. Долго еще в умах многих людей будет жить его печальный и таинственный образ.

* 27 июля 1778 г. — *Примеч. авт.*

** 9 и 12 апреля 1782 г. — *Примеч. авт.*

*** Байи де Сюффрен (1726—1788) — французский адмирал, сражавшийся в Индии против англичан.

**** 1 августа 1785 г. — *Примеч. авт.*

Между тем война продолжается, но Гибралтар по-прежнему не сдается, и это несмотря на то, что среди осаждающих и Крийон, и Нассау-Зиген, которым помогают искусные военные инженеры и к которым в конце концов присоединяются принцы Конде и д'Артуа. Согласно франко-испанскому семейному договору, на воду спущены плавучие батареи. Крепости в галантной форме передан ультиматум, но Гибралтар отвечает на него, словно Плутон, тучей раскаленных ядер. Казалось, скала Кальпе превратилась в жерло ада. В грохоте пушек прозвучало столь решительное «нет», что этот ответ дошел до сознания каждого¹¹.

Итак, с этим последним взрывом прекратился шум войны, и, надо думать, теперь наступит век благожелательности. Из-за океана вернулись благородные волонтеры свободы и теперь всюду проповедуют ее. Не имеющий себе равных среди своих современников, Лафайет блистает в версальском *Oeil de Voeuf*, его бюст установлен в Парижской ратуше. Непобедимая и неприступная, гордо стоит демократия в Новом Свете во весь свой гигантский рост, занеся ногу уже и в Старый Свет. Отметим, что все случившееся отнюдь не пошло на пользу французским финансам, которые в настоящее время явно больны.

Что делать с финансами? Это, конечно, теперь самый главный вопрос, и никаким лучезарным надеждам не прогнать маленькую тучку, чернеющую на горизонте. Мы видели, как Тюрго прогнали с поста генерального контролера из-за того, что у него не было кошелек Фортуната. Еще меньше способностей проявил на этом посту де Клюньи, который, заняв «свое место в истории» (кто хочет, может обнаружить его скучающую бесполезную тень и сейчас на этом месте), предоставил делам идти как им заблагорассудится и исправно получал причитающееся ему жалованье. Но быть может, такой кошелек есть у женева Неккера? Во всяком случае он умен и честен, насколько это позволяет профессия банкира, и пользуется всеобщим уважением, поскольку является автором нескольких эссе, получивших премию Французской Академии. Он много сделал для индийской торговой компании, устраивал обеды в честь философов и «сумел в течение двадцати лет составить себе состояние». Это был очень серьезный, молчаливый человек — черты характера, свойственные как глупцам, так и мудрецам. Вероятно, селадон Гиббон* был очень удивлен, когда, встретившись в Париже в большом свете с мадам Неккер, узнал в ней мадемуазель Кюршо, за которой он когда-то ухаживал и брак с которой не состоялся потому, что его отец «и слышать не хотел о подобном союзе». Его удивление еще более усилилось, когда он узнал, что «Неккер** не знает чувства ревности»***.

Автор «Истории упадка и разрушения» весело играет с другой молоденькой девушкой, которая впоследствии прославится под псевдонимом мадам де Сталь****. Тем временем, пока мадам Неккер основывает больницы, дает торжественные обеды в честь философов, пытается таким образом развлечь утомившегося на службе супруга, дела идут все хуже и хуже — бедность, несмотря на советы философов и управление маркиза де Пезе, стесняет действия даже самого короля. И все-таки Неккер, подобно Атласу, поддерживает здание французских финансов в течение пяти лет, отказавшись от полагающегося ему жалованья и во всем получая поддержку своей благородной супруги. Полагаем, в его голове родилось множество идей, которые он из-за свойственной ему робости не высказал открыто. В его опубликованном с разрешения короля *Compte Rendu* (вот, кстати, еще один образчик новой эры) обещаны чудеса, осуществлению которых на практике мешает, очевидно, гениальность таких вот Атласов-Неккеров. Неккер, подобно другим, обдумывает план мирной революции во Франции, ведь в его глубокомысленной тупости или в неразговорчивом тупом глубокомыслии так много честолубия.

* Эдвард Гиббон (1737—1794) — выдающийся английский историк, автор знаменитой книги «История упадка и разрушения Римской империи». ** Неккер Жак (1732—1804) — женевакский банкир, переселившийся во Францию. С 1777 г. генеральный директор финансов. Как иностранец, министром он быть не мог. Приняв должность, Неккер отказался от всякого жалованья. Был на этой должности до 1781 г. В 1788 г. вновь сыграл видную роль в подготовке и созыве Генеральных штатов. В сентябре 1791 г. эмигрировал.

*** Письмо Гиббона от 16 июня 1777 г. — *Примеч. авт.*

**** Сталь Анна Луиза Жермен (1766—1817) — французская писательница, дочь банкира Неккера.

Ну а пока что его кошелек Фортуната оборачивается древним, как мир, режимом скаредной экономии. Более того, он додумался до всеобщего налогообложения, включая дворянство и духовенство, до создания собраний в провинциях и еще многого другого, до чего додумался и Тюрго! Умиравший Морепа волей-неволей поворачивается по ветру в который раз, и Неккер уходит, о чем многие сожалеют.

Оказавшись не у дел, в положении частного человека, Неккер ждет своего часа и внимательно наблюдает за происходящим со стороны. Восьмидесятитысячный тираж его новой книги «*Administration des finances*» расходуется в несколько дней. Он ушел, но он опять вернется (эта ситуация повторится), потому что его поддерживает возбужденное общественное мнение.

Не правда ли, удивительно интересная личность этот генеральный контролер финансов, начавший свою карьеру всего лишь банковским клерком в Теллоссоне!

Глава шестая

ПУСТОЗВОНЫ

Итак, общество вступило в бумажный век, или иначе в эру надежд. Разумеется, на его пути были препятствия и был даже грохот войны, который издали слышен едва ли не как веселый марш, и, конечно, молчаливо подразумевалось, что мрачный двадцатипятимиллионный хаос голода и невежества пока еще не разбушевался под ногами шествующих.

Взгляните только на Лоншан*: здесь, как обычно, в конце поста можно увидеть светских людей Парижа и даже всей Франции. Заканчивается страстная неделя, но они не посещают мессу, им больше нравится красоваться друг перед другом в лучах яркого весеннего солнца¹². Словно бесконечная гирлянда цветов (тюльпаны, георгины, лилии), едет в раззолоченных открытых каретах через Булонский лес толпа людей, считающих себя солью земли, цветом жизни! И никто из едущих не подумал о том, что твердая, по их мнению (каждый из них уверен — тверже алмаза), почва, по которой катятся кареты, всего лишь бумажка с геральдическими знаками, прикрывающая скрытое пока от глаз огненное озеро. О, глупцы! неведома для вас истина, да вы и не пытались найти ее. Вы и ваши отцы сеяли ветер, теперь вы пожнете бурю. Ведь давным-давно сказано: воздаяние за грех — смерть.

* Место в Булонском лесу, где находился средневековый монастырь. В XVIII в. приобрело популярность гуляние в Лоншане.

В Лоншане, да и в других местах тоже, бросается в глаза следующее: каждой даме или кавалеру прислуживает человеческое существо, не то эльф, не то чертенок, хотя и молодой, но уже со следами увядания, появляющимися всегда у тех, кто рано научился ловчить и развратничать, — без такого рода эльфов никак не обойтись во всяких непредвиденных случаях. Существо это зовется жокеем (слово пришло во французский язык из английского) и в связи с этим воображает, что оно английской породы. В самом деле, англomania прогрессирует в обществе все сильнее, что само по себе говорит о многом. Раз уж Франция встала на путь свободы, то в тишине, наступившей после безумия войны, само собой проснулось чувство любви к соседней стране, в которой свобода давно победила, не так ли? Ведь восхищаются же английской конституцией, английским национальным характером такие образованные мужи, как герцог де Лианкур или герцог де Ларошфуко*, стремящиеся перенести из Англии на французскую почву все, что можно.

* Герцог де Ларошфуко-Лианкур Франсуа Александр Фредерик (1747—1827) — известный политический и общественный деятель, член Академии наук, после 10 августа 1792 г. эмигрировал в Англию, вернулся во Францию после прихода к власти Наполеона.

Герцог де Ларош-Гийон и де Ларошфуко д'Анвиль Луи Александр (1743—1792) — политический деятель, член Академии наук, с начала революции одним из первых перешел на сторону третьего сословия, после восстания 10 августа 1792 г. подвергался преследованиям и был убит во время «сентябрьских избиений» в провинции.

Переносят же всегда то, что полегче, не правда ли? Именно такого рода деятельность пришла по сердцу не вышедшему в адмиралы герцогу Шартрскому (он пока еще не герцог Орлеанский и уж тем более не Эгалите), который, став близким другом принца Уэльского и то и дело бывая в Англии, пропагандирует во Франции английский образ жизни, т. е. прежде всего кареты, седла, сапоги с отворотами и рединготы, что по-английски всего лишь куртка для верховой езды. К образу жизни несомненно принадлежит и манера верховой езды, поэтому всякий, кто хочет быть с веком наравне, должен научиться ездить на лошади à l'Anglaise, приподнимаясь на стременах и презирая старую посадку, которая, по словам Шекспира, подобает лишь «маслу и яйцам», едущим на рынок. С бешеной скоростью мчится по улицам Парижа карета нашего храброго герцога, и никто из парижских кучеров не владеет бичом лучше, чем герцог-непрофессионал.

Оставим жокеев-эльфов и перейдем к настоящим йоркширским жокеям, которые тренируют скаковых лошадей и ездят на них во время скачек. Скачки также стали модными во Франции благодаря монсеньеру и, добавим, наущению дьявола. У принца д'Артуа, который тоже содержит скаковую конюшню, служит ветеринаром некий Жан Поль Марат*, швейцарец из Нёшателя, человек, много претерпевший и немного помешанный. Пари и судебные процессы сопровождают как в Лондоне, так и в Париже одну загадочную личность, некоего шевалье д'Эона, который одинаково элегантно носит и брюки и юбку. Златые дни контактов между народами! А также грязных дел и мошенничества, которые процветают, помогают и приветствуют друг друга, несмотря на разделяющий страны Ла-Манш. Видите запряженную четверкой английскую карету, которая появляется на скачках в Венсенне или Саблоне? В этой карете восседает рядом с их высочествами и их негодяйствами некий доктор Додд^{13**}, англичанин, в которого, к несчастью, влюбилась виселица.

* Жан Поль Марат (1743—1793) — выдающийся деятель Великой французской революции XVIII в., ученый, медик и физик, социолог и публицист. Владел семью языками. За теоретические изыскания и практическую деятельность врача Шотландский университет присудил ему звание доктора медицины, а город Ньюкасл — звание почетного гражданина за его самоотверженную и плодотворную работу по борьбе с эпидемиями, свирепствовавшими в то время. Бенджамин Франклин, Гёте и другие видные мыслители с уважением отзывались о научных трудах Марата. Был убит французской аристократкой Шарлоттой Корде.

** Додд Уильям (1729—1777) — английский священник, вел расточительный образ жизни, повешен за подделку ценных бумаг.

Герцог Шартрский, как и многие другие принцы, в юности подавал большие надежды, к сожалению совершенно не оправдавшиеся. Обладая громадными именьями Орлеанов, имея тестем герцога де Пентьева, он должен вскоре (умирает его шурина, молодой Ламбаль, ведущий нездоровый образ жизни) стать самым богатым человеком Франции. Предавшись уже в молодые годы, так сказать, трансцендентальным формам разврата, он довел себя до того, что полностью облысел, в его жилах течет больная, испорченная кровь. Его лоснящееся, красное, словно отполированная медь, лицо усеяно головками карбункулов. Этот юный принц — своеобразный символ надвигающейся катастрофы! Все здоровое в нем полностью выгорело, остался лишь пепел чувственности да еще разная дрянь, которая дурно пахнет; от всего того, что мы называем душой и что влияет на наше поведение и интуицию, осталась лишь привычка пускать пыль в глаза или совершать нелепые, вызывающие буйства, которая становится маниакальной и приведет в конце концов к мрачному хаосу. Парижане покатываются со смеху, видя его кучерское искусство, — он делает вид, что не замечает этого.

Им стало вовсе не до смеха в тот день, когда они узнали, что герцог ради наживы занес свою святотатственную руку на сад Пале-Руаяля^{14*}: он хочет уничтожить цветники, вырубить ставшие священными для парижан каштановые аллеи, под сенью которых так хорошо гулять с какой-нибудь оперной нимфой. Общий стон вырвался из груди парижан: в самом деле, куда теперь пойти бездельнику? Огорчен и Филидор**, который, бывая в кафе «Режанс», любил остановить свой взор на зелени парка. Напрасны сетования: беспощадный топор обрушился на деревья, бедные нимфы с плачем разбежались. Не плачьте, бедные нимфы, принц посадит новый сад, правда поменьше прежнего, но зато в нем будет фонтан, будет стреляющая ровно в полдень пушка, а вокруг него встанут пышные здания, и в них можно будет найти как предметы низкой пользы, так и предметы умственные, но также и такие, которые едва ли в состоянии представить бедное человеческое воображение. Итак, Пале-Руаяль стал и теперь останется навсегда тем местом нашей планеты, где устраиваются шабаши ведьм и где обитает сам Сатана.

* Пале-Руаяль — дворец, построен в 1629—1636 гг. Людовик XIV подарил его своему брату Филиппу Орлеанскому. В дальнейшем дворец переходил по наследству потомкам герцога. В 1781 г. герцог Орлеанский (будущий Филипп Эгалите) поручил перестроить однотипные, обрамляющие сад корпуса с галереями и аркадами для сдачи в наем под различные лавки, кафе.

** Франсуа Андре Даникен-Филидор (1726—1795) — великий шахматист и выдающийся композитор своего времени, любил бывать в кафе «Режанс», первом шахматном клубе Парижа, в котором бывал, между прочим, и Дидро.

До чего только не додумаются смертные! В далеком Анноне, в Виваре, братья Монгольфье поднимаются в воздух с помощью склеенного из бумаги шара, наполненного дымом от

тлеющей шерсти*. Провинциальное собрание в Виваре решило устроить в этот день перерыв в своей работе. Члены собрания и местные жители криками и аплодисментами приветствуют это событие. Быть может, оно свидетельствует о том, что непобедимый аналитический метод собирается взобраться на райские небеса?

Весть об этом событии взволновала весь Париж — он жаждет увидеть все своими глазами. И вот братья Монгольфье на улице Сент-Антуан (здесь находится известный писчебумажный магазин и склады Ревельона) поднимают на шаре в воздух сначала уток и кур, вслед за ними поднимутся в воздух и люди**. Но этим дело не кончилось, и вот химик Шарль***, выделив в лаборатории водород, догадывается заполнить им сделанный из глазированного шелка шар. Он вместе со своим товарищем поднимается на воздушном шаре из Тюильрийского сада — один из Монгольфье обрубаёт канат. Смотрите, смотрите, они поднимаются! Сто тысяч сердец трепещут от страха и восторга, и вдруг толпа кричит (крик этот подобен роко-ту моря), видя, как поднимающийся вверх шар становится все меньше и меньше. Смотрите, смотрите, он уже стал маленьким блестящим кружочком, напоминающим табакерку Тюрго (в просторечии пустячок Тюрго), а потом месяц на ярком дневном небе! Наконец шар опускается, и нет человека, который бы не приветствовал смельчаков. Герцогиня Полиньяк вместе с друзьями ожидает их в Булонском лесу, несмотря на ужасный холод (это было 1 декабря 1783 г.). Все французское рыцарство с герцогом Шартрским во главе несется галопом навстречу отважным воздухоплавателям¹⁵.

* 5 июня 1783 г. — *Примеч. авт.*

** Октябрь и ноябрь 1783 г. — *Примеч. авт.*

*** Шарль Жак Александр Сезар (1746—1823) — французский физик, который вместе с Никола Робером поднялся впервые в воздух на шаре, наполненном водородом. В 1787 г. открыл один из газовых законов — закон Шарля.

Какое великолепное изобретение, как это прекрасно подняться в воздух к самому небу! К сожалению, у него есть и недостаток — шар ведь совершенно неуправляем. Оно в достаточной мере символично — таков уж сам век благих ожиданий: он удивительно легко поднимается над поверхностью, парит над нею и вдруг кубарем падает вниз — всегда именно там, где повелела судьба. Вспомните Пилатра*, шар которого взорвался: легко подняться, но спуск иногда оканчивается трагически! Ну что ж, людям ведь нравится (хотя бы с помощью воздушного шара) взлетать в райские кущи.

Взгляните на доктора Месмера**, когда он в длинной, похожей на тогу древнего жреца одежде, глубоко задумавшись и возведя очи горе, проводит в огромном зале магнетический сеанс. Царящую в зале священную тишину нарушают лишь нежные музыкальные аккорды; вокруг обыкновенных чанов с водой (они, видите ли, помогают постичь тайны магнетизма) сидят, собравшись в кружок, великосветские красавицы, образуя как бы живой страстоцвет. Затаив дыхание, каждая ждет, когда дрогнет зажатый в ее руке пруттик, ждет этого сигнала магнетического озарения и осуществления рая на

* Пилатр де Розье Жан Франсуа (1756—1785) — химик, физик, воздухоплаватель. Погиб во время неудачной попытки пересечь Ла-Манш на воздушном шаре.

** Месмер Франц Антон (1734—1815) — немецкий врач, впервые заговоривший о «животном магнетизме» (или, как тогда говорили, «месмеризме»), т. е., выражаясь современным языком, о гипнозе.

земле. О женщины! О мужчины! Не пора ли задуматься, во что верите? Вместе с красавицами мы здесь видим одного из членов парламента Дюпора*, некоего Бергаса**, д'Эпремениля*** и, наконец, химика Бертолле****, присутствующего здесь по поручению герцога Шартрского.

Однако они боятся, как бы в это дело не вмешалась Академия наук со своими Байи*****, Франклинами и Лавуазье*****. Конечно, она вмешалась*****, и потому, набив карманы луидорами, Месмер исчез. Вот он прогуливается по набережной Боденского озера в старинном городе Костанца, сосредоточенно размышляя о случившемся, а может быть, о чем-то еще. А ведь в самом деле, в какие бы одежды вы ее ни рядили, рано или поздно откроется великая древняя истина: удивительное это существо — человек; изумительна в нем спо-

способность властвовать над себе подобными; богата и кипуча жизнь внутри его, богат и кипуч мир вне его, и никогда никакому непобедимому аналитическому методу, с его физиологиями, учениями о нервной системе, с его медициной и метафизикой, не понять его, а стало быть, и не объяснить. Вот почему в любую эпоху знахарь и шарлатан не останутся без денег.

* Дюпор Адриен (1759—1798) — лидер парламентской оппозиции накануне революции, депутат Учредительного собрания, член клуба фейянов, сторонник конституционной монархии. ** Бергас Никола (1750—1832) — адвокат, депутат Учредительного собрания, автор контрреволюционных брошюр.

*** Дюваль д'Эпремениль Жан Жак (1746—1794) — лидер парламентской оппозиции, во время революции оказался в контрреволюционном лагере, казнен.

**** Бертолле Клод Луи, граф (1748—1822) -французский химик, прославившийся работами по получению хлора.

***** Байи Жан Сильвен (1736—1793) — французский астроном и политик, изучал спутники Юпитера, написал пятитомную историю астрономии. В 1789—1791 гг. был мэром Парижа. Казнен во время якобинской диктатуры.

***** Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794) — открыл в 1772 г. закон сохранения вещества в химических реакциях, в 1779 г. открыл кислород. Казнен во время якобинской диктатуры

***** В августе 1784 г. — *Примеч. авт.*

Глава седьмая

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР

Как в пропущенном через призму свете один цвет в строгой последовательности сменяет другой, так и начавшийся век надежд и благих ожиданий, расцветивая всякий раз наш горизонт в какую-то определенную краску, должен непременно привести к исполнению этих надежд и ожиданий. Весьма сомнительно! В этом веке любят говорить о всеобщей благожелательности, о непобедимом аналитическом методе, об излечении от безобразных пороков, но ведь нельзя же в конце концов не замечать существование двадцати пяти миллионов темных, диких, умирающих от голода и непосильного труда людей, для которых иконой (ессе signum)* является «виселица высотой в сорок футов». Ведь в самом деле, подумав об этом, невозможно же не усомниться?

Во все времена, как в прошлом, так и в будущем, грех порождает страдание и муки, и, нам кажется, мы верно прочитали написанное на стене**. Франция именует себя христианнейшей державой, и в ней действительно много церквей и соборов, но среди первосвященников много таких, как Рош-Эмон или кардинал ожерелья*** Луи де Роган. Голос низов, похожий не то на стон, не то на вой, слышится давно (тому свидетельство — жакерии и голодные бунты), но слышит его только небо. Среди миллионов задавленных нищетой людей наберется несколько тысяч, которым, так сказать, не повезло и они попали в стесненные обстоятельства, но процветают (лучше, наверное, сказать, медленно разоряются) в стране буквально единицы. Похожая на пойманную арканом и взнузданную лошадь или на затравленного зверя, из мяса которого высокопоставленные охотники собираются вырезать лакомые кусочки, промышленность кричит своим высокооплачиваемым покровителям и руководителям: предоставьте же руководство мне самой, избавьте меня от вашего руководства! А что представляет собой французский рынок? Потребности населения, которые он удовлетворяет, двойкие: во-первых, он удовлетворяет потребности миллионов в продуктах питания, причем грубых и самых дешевых; во-вторых, потребности небольшой, но пестрой группы людей — от солистов Оперы до гонщиков и куртизанок, которым требуются предметы роскоши и разные деликатесы. В сущности такое положение дел нельзя назвать иначе как безумием.

* «Ессе signum» — «вот знак» (лат.). Речь идет о крестьянстве и городских низах, которым грозит виселица за бунты, вызванные голодом.

** Библейская аллюзия. Имеется в виду надпись: «Мене, текел, фарес».

*** История с ожерельем — история с кражей бриллиантов, в которую были замешаны авантюрист Калиостро и французская королева Мария Антуанетта, — произошла в канун революции 1789 г.

Исправить это положение и все переделать может только непобедимый аналитический метод! Честь и слава ему! Однако позволительно спросить (известно, что метод родился в мастерской и лаборатории): а за их пределами годится он на что-нибудь? С его помощью легко обна-

ружить логическую непоследовательность или поставить под сомнение доводы какого-нибудь спорщика. Но ведь давно известно: сомнение способно порождать духов, а вот справиться с ними ему не дано. И вот логические доводы растут, множатся, образуя своего рода «мощный логический вихрь», который втягивает в себя сначала слова, потом вещи, и они в нем бесследно исчезают. Обратите внимание на то, что все эти нескончаемые теоретические разглагольствования о человеке и его душе, о философии государства, о прогрессе человечества и т. д. и т. п., составляющие неотъемлемую часть (своего рода обиходную мебель) сознания каждого, не смогут служить опорой для благих ожиданий, потому что они обыкновенные предвестники состояния безысходности и отчаяния. Такие глашатаи, как Монтескье, Мабли* и многие другие, исследовали в своих сочинениях бесчисленное множество вопросов, теперь к ним присоединился Жан Жак Руссо, который в своем труде «Общественный договор», ставшем новым Евангелием, доказал, что правительство есть результат сделки, или договора, заключенного ради общего блага, и тем самым решил наконец загадку государственной власти. Еще одна теория? Да, но ведь были и другие и, вероятно, будут еще, как это всегда бывает во времена упадка. Каждая из них обладает определенными достоинствами и родилась на свет благодаря законам Природы, которая, двигаясь поступательно, ничего не делает напрасно на своем великом пути. И разве не является самой правильной та теория, которая рассматривает все теории (как бы они ни были серьезно и тщательно разработаны) по самой их сути неполными, вызывающими вопросы и сомнения, а иногда даже и ложными? Каждому надлежит знать, что Вселенная, в которой он живет, есть нечто бесконечное, о чем ведь она и сама открыто говорит. И надо оставить попытки постичь ее логически — надо быть довольным хотя бы тем, что удалось поставить в окружающем нас хаосе одну-две опоры, и то хорошо. Вот почему тот факт, что молодое поколение, отвергнув скептицизм отцов с их «Во что я должен верить?», страстно уверовало в Евангелие Жана Жака, представляет собой важный шаг в развитии общества и свидетельствует о многом.

* Аббат Мабли Габриель Бонно (1709—1785) - французский коммунист-утопист, брат известного французского философа-просветителя Кондильяка, автор «Исследований по истории Франции».

Будь же благословенна надежда! Ибо с самого начала истории человечества звучат пророчества о приходе новой эры (эры благочестия, например), и вот что замечательно, не было до сих пор пророчества об эре изобилия и ничегонеделания. Не верьте же, друзья мои, пророчествам о стране изобилия и ничегонеделания, в которой царят счастье, благожелательность и нет больше безобразных пороков! Ведь человек не из тех животных, что счастливы своей судьбой — аппетит к сладкой жизни у него огромен. Да и может ли бедный, слабый человек найти в этой бесконечной, грозно-гаинственной и яростно бушующей Вселенной, уж не говорю, счастье, а просто почву под ногами, чтобы существовать, не воспитав в себе терпения и неустанного, энергичного стремления к цели? Горе ему, если нет в его сердце горячей веры, а великое слово «долг» превратилось для него в пустяк! Что же касается сентиментального прекраснотушия, так необходимого при чтении романтической повести или в каком-нибудь патетическом случае, то во всем остальном оно просто ни на что не годно. Ведь если человек духовно здоров, он не станет этим хвастаться, ну а если станет, то, значит, роковая болезнь уже гложет его. Кроме того, сентиментальное прекраснотушие — близнец лицемерия, быть может, лучше сказать: не одно ли это и то же? И не является ли лицемерие той дьявольской первоматерией, которая породила все виды лжи, мерзости и глупости и которая абсолютно враждебна всякой правде? Ибо лицемерие по самой своей природе есть дистиллированная ложь, т. е. ложь в квадрате.

Ну а как быть, если вся нация, сверху донизу, пропитана лицемерием? В таком случае (и я это утверждаю с полной уверенностью) она очистится от него! Ибо жизнь ведь нельзя свести к одному лишь хитро придуманному обману или самообману: уже в том, что ты или я живем и дышим, имеем те или иные желания и потребности, уже в одном этом заключена великая истина, ведь нельзя же удовлетворить эти потребности с помощью какого-нибудь иллюзионистского фокуса, их можно удовлетворить только фактически. Так что давайте займемся фактами, благословенными или гнусными — это ведь во многом зависит от того, насколько мудры мы с вами. Ну а самый низкий и уж конечно совсем не благословенный из известных нам фактов, которому бедные смертные неукоснительно повиновались, есть примитивный факт каннибализма: я могу сожрать тебя. И что будет, если эта примитивная потребность вдруг пробудится в нас (и это наряду с самыми усовершенствованными методами науки) и мы начнем ее вновь удовлетворять!

Глава восьмая

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

Во Франции на все смотрят с практической точки зрения и потому, мало обращая внимания на предсказываемые теорией усовершенствования, видят пока только одни недостатки. Вами обещана так необходимая обществу перестройка, но что-то с ней не ладится? Очевидно, надо начинать ее, так кто же начнет ее с самого себя? Недовольство тем, что творится вокруг, а еще больше тем, что творится наверху, все возрастает, причем фактов для него более чем достаточно.

Не стоят упоминания ни уличные песенки (их пели и раньше, во времена умеренного деспотизма), ни рукописные газеты (*Nouvelles à la main*). Башомон* со своими приспешниками и наемниками может положить конец «гнусному ремеслу подслушивания» (между прочим, записи агентов составили тридцать томов), потому что печать, все еще не обладающая полной свободой, ведет себя довольно распушенно. «Изданные в Пекине» и распространяемые тайком памфлеты читает весь Париж. Некий де Моранд**,

* Де Башомон Луи Пти (конец XVII в. — 1771) — писатель, принадлежал к компании светских людей и литераторов, собиравшихся в салоне мадам Дюбле.

** Де Моранд Шарль Тевено (1748 — ок. 1803) — журналист. В течение ряда лет издавал в Англии сатирическую газету «Курье де л'Эроп». Вернулся во Францию во время революции, после 10 августа 1792 г. за защиту королевской власти был посажен в тюрьму. Ходили слухи, что он погиб во время «сентябрьских избиений». Эта версия нашла отражение у Карлейля.

который пока еще не попал под нож гильотины, издает в Лондоне регулярно выходящую газету «Европейский курьер». Или вот еще пример: некий бунтарь Ленге*, также пока незнакомый с гильотиной, выслан из Франции решением своих братьев-адвокатов, поскольку французский климат не гармонирует с его темпераментом. Он издает книгу (скорее, дикий вопль) под названием «Правда о Бастилии» («*Bastille Dévoilée*»). Словоохотливый аббат Рейналь осуществил наконец свое заветное желание: вышла в свет его «Философская история»** (она, говорят, написана его друзьями-философами, но издана под его именем и принесла ему известность). Книга пустая, велеречивая, со множеством уверток и уклонений от истины. Палач сжигает книгу на площади, а автор отправляется путешествовать, разумеется считая себя мучеником. Это произошло в 1781 году, и, вероятно, книге в последний раз оказаны столь высокие почести — даже палачу становится ясно, этим ничего не добьешься.

* Ленге Симон Никола Анри (1736—1794) — адвокат, публицист. Более двух лет отсидел в Бастилии. Написал мемуары о Бастилии (Лондон, 1783 г.). Впоследствии эмигрировал, вернулся в 1791 г. и принял деятельное участие в революции, казнен. Приписанное ему Карлейлем издание «*La Bastille dévoilée, remarques et anecdotes sur le château de la Bastille*» в действительности представляет собой опубликованное в 1789—1790 гг. собрание документов из архива Бастилии и мемуаров.

** Полное название — «Философская и политическая история европейских учреждений и торговли в обеих Индиях». Индиями именовались испанские колониальные владения в Центральной и Южной Америке.

Давайте заглянем в залы суда, где слушаются дела о разводах или решаются денежные споры, ведь каждое из них рассказывает о семейной жизни, и как рассказывает! В окружном парламенте Безансона и Экса (Aix) слушается дело молодого Мирабо — вся Франция с интересом следит за ним. Воспитанный Другом Людей, он, побывав за свои двадцать лет и в королевской тюрьме, и в пехотном полку, и еще во многих других местах, пожив и на чердаках, обычном местожительстве начинающего писателя, научился уже в эти молодые годы «противостоять деспотизму», представьте себе, даже деспотизму людей и богов. Как часто розовый флёр всеобщей благожелательности и *Astraea Redux* скрывает от глаз безрадостную, мрачную пустыню, вернее, настоящий ад свар и раздоров, в которые превратились семейные святыни! Например, старый Друг Людей сам ведет бракоразводный процесс и запирает иногда всю свою семью, конечно исключая себя самого, под замок. Он много писал о перестройке общества и об освобождении его от крепостного рабства и, однако ж, использовал в своих личных интересах

шестьдесят записок об аресте (Lettres de Cachet). В нем причудливо соединились пронизательность, решимость, мужественная принципиальность и неумение управлять собой, сварливая, какая-то сумасшедшая раздражительность. Черствость и жадность — как далеки они от того прекрасного, чем живет душа человеческая! О глупцы, как можно ожидать, что наступит новый, прекрасный, как молодая трава, век, который принесет любовь, изобилие, реки, полные вина, нежнейшую музыку в каждом дуновении ветра, и затаптывать в грязь чувственности (и, что ни день, все глубже и глубже) те самые качества души вашей, на которых только и держится ваше существование, — посмотрите, ведь вы неудержимо падаете в бездну!

Следовало бы заняться и преданным забвению делом об алмазном ожерелье. Как Сатана в Вальпургиеву ночь собирает ведьм, так и здесь, но только при ярком дневном свете образовался жуткий хоровод, в котором закружились и носящий красную шляпу кардинала Луи де Роган, и закоренелый преступник — сицилианец Бальзамо-Калиостро*, и придворная модистка госпожа де Ламот, «в лице которой было что-то пикантное», а вместе с ними и высокопоставленные прелаты, мошенники, предсказывающие будущее, карманники и проститутки. Какой смрад подняли они! Дело это было скандальным еще и потому, что трон здесь впервые столкнулся с уголовщиной. Девять месяцев по всей Европе только и было разговоров что о загадке ожерелья, и изумленная Европа вдруг увидела, как одна ложь сменяла другую, как язвы коррупции, жадности и глупости покрыли тела и высших и низших и что всюду царит одна лишь алчность. Впервые тебе больно и горько, и ты льешь слезы, прекрасная королева! Впервые твое честное имя заляпано грязью, от которой тебе уже не очиститься до самой смерти. Ни у кого из тех, кто живет в одно время с тобой, не шевельнулись в сердце любовь и жалость к тебе, они появятся лишь у будущих поколений, когда твое сердце, навсегда исцеленное от всех печалей, уснет холодным сном могилы. Отныне эпитафии становятся не просто злыми и резкими, они теперь отвратительно жестокие, гнусные и нецензурные. И вот наступает 31 мая 1786 года, когда из Бастилии выходит жалкий, ведавший ранее раздачей милостыни кардинал Роган, и толпа кричит ему: «Ура!», хотя давно не любит его (да и за что, собственно?), но он теперь в ее глазах важная персона, потому что двор и королева ненавидят его¹⁶.

* Калиостро Аллесандро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо) (1748—1795) — авантюрист, выдавал себя за медика, алхимика, натуралиста, мага, заклинателя духов. В 1784 г. приезжал в Петербург, имел огромное влияние в высшем обществе. Выслан из России как лицо, симпатизирующее масонам. В Риме был осужден на пожизненное заключение.

Пока что эра надежд дает лишь слабый, тусклый свет, а между тем небо уже обложили мрачные тучи, предвестники урагана и землетрясения! Да, да, вы видите обреченный на слом мир: ведь в нем исчезло именно то качество, которое делает людей свободными, — способность повиноваться; в нем постепенно исчезает и рабское послушание одного человека другому. Остается лишь рабское подчинение своим желаниям, причем наиболее греховным, которые неизбежно сменит скорбь. Взгляните только на эту гниющую кучу лжи и чувственности, над которой мерцает болотный, обманчивый огонек сентиментальной чувствительности и над которой (по их взаимному согласию) возвышается виселичный камертон «высотой в сорок футов», также сильно подгнивший. Добавим, что французам (в отличие от представителей других наций) в особенности свойственна способность к возбудимости как в хорошем, так и в самом дурном смысле. Именно поэтому следует ожидать мятежа, взрыва с самыми непредсказуемыми последствиями. Напомним еще раз слова Честерфилда: «Здесь налицо все признаки, которые мне известны из истории».

Поневоле подумаешь: будь проклята философия, которая разрушала здание религии, оправдываясь тем, что «необходимо уничтожить мерзость (écraser l'infâme)*». Будьте прокляты и те, кто осквернял святыни и довел их до того мерзкого состояния, когда сама собой появилась мысль об их уничтожении. И горе всем вам, живущим в это мерзостное и разрушительное время! Но придворные, конечно, возразят, что во всем виноваты Тюрго и Неккер с их безумным стремлением все переделать, или что во всем виновата королева с ее высокомерием, что виноват, например, он или она, или что всему причиной то-то и то-то. Друзья мои! Виноват во всем каждый негодяй, будь то вельможа или чистильщик сапог, который, мошеннически притворяясь деятельным и энергичным, совершенно никакой деятельности не обнаружил, нельзя же считать деятельностью регулярный прием пищи. Бездеятельность и ложь (знайте же, что ложь не исче-

зает бесследно, но, подобно брошенному в землю зерну, всегда приносит плод), накапливаясь со времен Карла Великого, т. е. вот уже тысячу лет, давно ждут, когда наступит день расплаты. Ужасен будет этот день, поистине день Страшного суда, ибо вырвется наружу в тот день копившийся веками гнев. О брат мой! Чем быть мошенником, уж лучше умереть! Но если ты и не последуешь этому совету, то все-таки подумай над тем, что, умерев, ты расплатишься наконец за всё и навсегда, что ремесло обмана проклято, как проклят на веки вечные и сам обманщик, даже после своей смерти, хоть и получил он выгоду от своего обмана при жизни. Еще древний мудрец сказал, что вечно оно, ибо сделана о том запись в книге судеб самого Господа Бога!

* Знаменитый призыв Вольтера: «Раздавите гадину!» относился не к религии, как пишет Карлейль, а к религиозному фанатизму и нетерпимости официальной католической церкви того времени.

Больно душе, когда не сбывается надежда. И все-таки, как уже было сказано, она всегда остается, ведь нельзя уничтожить надежду, ибо она неуничтожима. И наверное, самое замечательное и трогательное — это то, что всегда светил французам луч надежды, в какие бы мрачные лабиринты ни забрасывала их судьба. Всегда будет сиять нам надежда — и в дружеской беседе, и в криках гнева и озлобления. Струится ли с неба мягкий вечерний свет — то свет надежды; полыхает ли красное пламя пожарища — то свет надежды; царит ли вокруг темный ужас — и сквозь его мрачные тучи светит голубое пламя надежды; и никогда не кончается она, потому что даже отчаяние есть своего рода надежда. Как это ни горько и печально, но у нас теперь ничего не осталось, кроме надежды, потому-то мы и называем эру, в которую живем, эрой надежды.

Представьте себя на месте человека, перед которым лежит ящик Пандоры, и представьте, что вы хотите узнать, что в нем, не открывая его. Тогда вам надо будет обратиться к литературе данной эпохи, ибо ничто не представляет эпоху лучше, чем оставшаяся от этой эпохи литература. Едва словоохотливый, привыкший к околичностям аббат Рейналь сказал свое пустое, но громкое слово, а вечно спешащее поколение уже приветствует нового автора. Это Бомарше, автор комедии «Женитьба Фигаро», которая наконец-то (в 1784 году) после многих препятствий поставлена на сцене и выдержала уже сто представлений, вызывая всеобщее восхищение. Читателю наших дней довольно трудно представить, в чем магия и внутренняя сила этой пьесы, почему она привлекала к себе так много зрителей, но, приглядевшись попристальнее, он поймет, что, во-первых, комедия отразила страсть к любовным похождениям, так характерную для этого времени, а во-вторых, в ней прозвучало то, что все чувствовали и страстно хотели высказать. Содержание комедии не отличается широтой, сюжет вымученный, герои выражают свои чувства недостаточно ярко, сарказм тоже получился несколько натянутым, однако эта бедная и сухая пьеса всех захватила и увлекла, и каждый понял содержащиеся в ней намеки и увидел в ней самого себя и те положения, в которые ему приходилось попадать. Вот почему вся Франция аплодирует ей, и она уже прошла на сцене сто раз. Послушайте, что говорит в этой пьесе цирюльник. «Как вам удалось всего этого добиться, ваша светлость? — спрашивает он и сам же отвечает: — Вы дали себе труд родиться». И, слыша это, все хохочут, и громче и веселее всех хохочут дворяне, страстные лошадики и англomаны. «Неужели маленькая книжка представляет такую большую опасность?» — спрашивает господин Карон и льстит себя надеждой, что эта не очень удачная острота полна здравого смысла. Захватив при помощи с размахом поставленной контрабанды золотое руно, смилив адских псов в парламенте Мопу и ныне получив лавры Орфея в театре «Комеди Франсез», Бомарше взобрался на вершину земной славы и присоединился к небольшой кучке сидящих там полубогов. Нам еще предстоит говорить о нем, но это будет тогда, когда от его славы ничего уже не останется.

Особенно показательны две книги, вышедшие как раз накануне вечно памятного взрыва и жадно читавшиеся всеми образованными французами: книга Сен-Пьера «Поль и Виргиния»* и книга Луве «Кавалер де Фоб-лас»**. Каждую из них можно рассматривать как последнее слово уходящей феодальной Франции — это первое, что бросается в глаза. В первой будто слышится мелодическая скорбь погибающего общества: повсюду здоровая природа в неравной борьбе с больным, предательским искусством, и ей не скрыться от него даже в скромной хижине, построенной на острове где-то далеко-далеко в океане.

* Бернарден де Сен-Пьер (1737—1814) — французский писатель, естествоиспытатель, ученик Руссо. Во время Великой французской революции был далек от политики, занимал пост интенданта Ботанического сада в Париже. Автор широко известного романа «Полю и Виргиния», где рассказывается история трогательной любви дочери дворянина Виргинии и сына крестьянки Поля, выросших на лоне природы и свободных от сословных предрассудков.

** Луве де Кувре Жан Батист (1760—1797) — французский писатель, автор фривольно-авантюрного произведения в 13 томах «Жизнь и похождения кавалера Фобласа».

Гибель и смерть обрушиваются на возлюбленную, и, что самое примечательное, смерть здесь обусловлена не необходимостью, но — правилами этикета. Оказывается, что в самой что ни на есть возвышенной скромности все-таки содержится достаточно много разлагающей похотливости! В целом, конечно, наш добрый Сен-Пьер поэтичен и музыкален, хотя слишком впечатлителен и вряд ли является психически здоровым человеком. Эту книгу можно по праву назвать лебединой песней старой, умирающей Франции.

О книге Луве совершенно нельзя сказать, что она музыкальна. По правде говоря, если это предсмертное слово, то оно, конечно, произнесено не имеющим понятия о раскаянии уголовником-рецидивистом, стоя под виселицей. Это не книга, а клоака, хотя для клоаки она и недостаточно глубока! Какую «картину французского общества» нарисовал в ней автор? Собственно говоря, там никакой такой «картины» нет, но мысли и чувства автора, создавшего книгу, уже сами по себе образуют своего рода картину. Конечно, эта книга свидетельствует о многом, и прежде всего об обществе, которое могло рассматривать такую книгу как предмет духовной пищи.

Книга III

ПАРИЖСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Глава первая

НЕОПЛАЧЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ

В то время, когда повсюду распространяется невероятный хаос, бушующий внутри и прорывающийся на поверхность сквозь множество трещин серными дымами ада, возникает вопрос: сквозь какой же разлом или какой из старых кратеров или отверстий разразится основное извержение? Или же оно образует для себя новый кратер? В каждом обществе существуют такие глубинные разломы, ими служат различные институты; даже Константинополь не обходится без своих предохранительных клапанов, и здесь тоже недовольство может излиться в клубах пламени; в количестве ночных пожаров или повешенных пекарей правящая власть может прочитывать приметы времени и соответственно с ними изменить свои действия.

Нетрудно понять, что французское извержение, без сомнения, сначала испробует на своем пути все старые институты, потому что каждый из них имеет или по крайней мере имел некие сообщения с внутренними глубинами — именно поэтому они и являются национальными институтами. И даже если они стали институтами личными и отклонились, можно сказать, от своего первоначального назначения, все же сопротивление в них меньше, чем где бы то ни было. Так сквозь какой же? Исследователь может догадаться — сквозь законодательный парламент, более того — сквозь парламент Парижа.

Заседающие в парламенте мужи, никогда еще не обремененные столькими почестями, тем не менее не ограждены от влияния своего времени, особенно мужи, чья жизнь — это дело и кто при всех обстоятельствах, даже находясь в судейском кресле, приходит в соприкосновение с реальным движением жизни. Может ли позволить себе парламентский советник или сам председатель, купивший свое место за деньги ради того, чтобы ближние взирали на него снизу вверх, может ли он позволить себе заслужить репутацию обскуранта на философских вечерах и в светских элегантных салонах? Среди судейских мантий Парижа найдется не один патристически настроенный Мальзерб*, руководствующийся совестью и общественным благом, и не один горячий д'Эпремениль, в сумбурной голове которого любая громкая слава, вроде славы

Брута, представляется почетной. Разные Лепелетье** и Ламуайоны*** имеют титулы и состояния, но при дворе они не более чем «судейское дворянство». Есть и глубокомысленные Дюпоры и злоязычные Фретс и Сабатье****, вскормленные в большей или меньшей степени молоком «Общественного договора». Но разве вся эта патриотическая оппозиция не является для них борьбой за собственные интересы? Пробудись же, парламент Парижа, возобнови свои давние ратные труды! Не был ли с позором разогнан парламент Мопу? Но сейчас тебе нечего опасаться нового Людовика XIV, его свистящего хлыста и облика бога-олимпийца, нечего опасаться теперь и нового Ришелье и Бастилии: нет, за тобой — вся нация. Ты тоже (о, небеса!) можешь стать политической силой и кивком своего парика из конских волос сотрясать правительства и династии, как сотрясал их сам Юпитер кивком умашенных амброзией кудрей!

* Мальзерб Кретьен Гийом де Ламуаньон (1721—1794) — адвокат, министр Людовика XVI; гильотинирован.

** Лепелетье — семья «дворянства мантии». Лепелетье де Сен-Фаржо Луи Мишель (1760—1793) — видный деятель революции, якобинец.

*** Ламуаньоны — старинный дворянский род. У Карлейля речь идет о Кретьене Франсуа де Ламуаньоне (1735—1789).

**** Фрето де Сен-Жюст Эмманюэль Мари Мишель Филипп (1745—1794) и Сабатье де Кабр (ок. 1745—1816) — советники Парижского парламента, активные деятели парламентской оппозиции.

Беспечный старец месье де Морепе с конца 1781 года лежит на смертном одре. «Никогда больше, — сказал жалостливый Людовик, — не услышу я его шагов в комнате над моими покоями». Пришел конец его легким шуткам и пируэтам, и не удастся теперь скрыть назойливую реальность за изящной остротой, а сегодняшнее зло ловко отодвинуть в завтра. Завтра уже настало! И в скучной действительности возникает не кто иной, как тяжеловесный, флегматичный месье де Верженн*, словно пунктуальный тугодум-чиновник (каковым он раньше и был); он признает то, что нельзя отрицать, и принимает помощь, откуда бы она ни пришла. От него самого помощи быть не может — только чиновничье «отправление дел» в соответствии с рутинной. Бедный король, стареющий, но вряд ли приобретающий опыт, должен начать управлять сам, хотя он и лишен дара управления. Разве что его королева поможет ему. Блестящая королева, с быстрым ясным взором и ясными и даже благородными порывами, но слишком поверхностными, страстными и неглубокими для подобного дела!

* Граф де Верженн Шарль Гравье (1717—1781) дипломат, государственный деятель, противник Неккера, поддерживал Калонна.

Править Францией всегда так трудно, теперь же нелегко править даже Oeil de Boeuf: к воплям несчастного народа добавился вопль, и даже более громкий, потерявшего привилегии двора. Oeil de Boeuf не способен понять, как может истощиться рог изобилия в столь богатой Франции, разве не постоянно источает он поток богатства? Тем не менее Неккер, стремясь ограничить расходы, «упразднил более шестисот придворных должностей», прежде чем двор успел устранить его, этого скрягу и педанта-финансиста. А потом педант-военный Сен-Жермен, со своими прусскими маневрами, со своими прусскими понятиями о том, что поводом для продвижения по службе должны быть заслуги, а не герб, возбудил негодование военного сословия: мушкетеры, как и многие другие, были распушены, поскольку он также принадлежал к числу упразднителей и, смещая и перемещая, причинил немало зла Oeil de Boeuf. Множатся жалобы, нужды, заботы — Oeil de Boeuf переменялся. Безанваль говорит, что уже в эти годы (1781) такое уныние (tristesse) овладело двором по сравнению с прошлыми годами, что вид его стал удручающим. Неудивительно, что Oeil de Boeuf впал в уныние, видя, как упраздняются придворные должности! Невозможно упразднить ни одной должности, не облегчив чьего-то кошелька и не отяготив более, нежели одну душу, ведь политика экономии затрагивает и рабочих, мужчин и женщин, производящих кружева, парфюмерию и вообще предметы роскоши. Жалкая экономия, которую 25 миллионов даже не почувствуют! Однако сокращение расходов продолжается все так же, и конца ему не видно. Еще несколько лет, и будут ликвидированы своры для охоты на волков, на медведей, соколиная охота; отомрут, как осенние листья, многие должности. Герцог де Полиньяк, поправ логику управления, доказывает, что его должность не может быть упразднена, а затем, галантно обратившись к королеве, отказывается от должности, поскольку так желает

Ее Величество. Менее галантным, но не более удачливым оказался герцог де Куаньи. «Мы дошли до настоящей ссоры, Куаньи и я, — сказал король Людовик, — но даже если бы он ударил меня, я не мог бы его порицать»¹. В таких вопросах не может быть двух мнений. Барон Безанваль с откровенностью, свойственной независимым людям, уверяет Ее Величество, что положение ужасно (affreux): «Вы ложитесь спать, не имея никакой уверенности, что поутру не проснетесь нищим; это все равно что жить в Турции». И впрямь, собачья жизнь.

Как удивительно это постоянно расстроенное состояние королевской казны! Но как ни поразительно, этого отрицать нельзя. Прискорбно, но так оно и есть: вот камень преткновения, о который споткнулись все предшествующие министры финансов — и пали. Объяснять ли это «недостатком финансового гения» или каким-то совсем иным недостатком, но существует весьма осязаемое несоответствие между доходами и расходами, дефицит дохода, который необходимо восполнить (combler), чтобы он не поглотил вас! Тяжелая задача; видимо, столь же безнадежная, как квадратура круга. Контролер Жоли де Флери, преемник Неккера, не мог сделать ничего иного, кроме как предлагать займы, которые выплачивались с опозданием, и вводить новые налоги, приносящие мало денег, но много шума и негодования. Столь же мало, если не меньше, мог сделать и контролер д'Ормессон; Жоли продержался больше года, а д'Ормессон — всего несколько месяцев, пока «король не купил Рамбуйе, не посоветовавшись с ним»; д'Ормессон принял это как указание подать в отставку. И вот к концу 1783 года возникает угроза, что дела зайдут в тупик. Тщетной кажется человеческая изобретательность. Тщетно барахтаются наш новоучрежденный Совет финансов, наши интенданты финансов*, генеральный контролер финансов; беда в том, что контролировать нечего: финансов нет. Роковой паралич сковал движение общества; облака (слепоты или мрака) окутывают нас: неужели мы проваливаемся в темную бездну национального банкротства?

* В феодальной Франции интенданты — должностные лица, заведовавшие отдельными отраслями государственного управления.

Великое банкротство; огромная бездонная пропасть, в которой тонет и исчезает ложь, общественная и частная, которая уже с самого момента своего появления была обречена, потому что природа — это истина, а не ложь. Любая ложь, произнесенная или содеянная вами, неизбежно вернется после короткого или длительного обращения, как вексель, выданный на реальность природы и представленный к оплате с надписью: «Недействителен». Жаль только, обычно он так долго находится в обращении, что фальшивомонетчик, выдавший его, редко несет расплату! Порожденные ложь и бремя зла передаются, перекадываются со спины на спину и с сословия на сословие и, наконец, окончательно возлагаются на самое низшее, безгласное сословие, которое с лопатой и мотыгой, с ноющим сердцем и пустым кошельком изо дня в день соприкасается с реальностью, и некуда ему дальше передать эту ложь.

Присмотритесь, однако, как по справедливому закону равновесия ложь со своим бременем тонет (в этом бурлящем общественном водовороте) и погружается все глубже и глубже, а вызванное ею зло поднимается все выше и выше. В результате после долгих страданий и голода этих 20 миллионов герцог де Куаньи и Его Величество дошли до «настоящей ссоры». Таков закон справедливой природы: возвращать, пусть и через большой промежуток времени, вещи на круги своя, хотя бы путем банкротства.

Но сколь же долго может продержаться почти любая ложь, если у нее в кармане волшебный кошелек! Ваше общество, ваш семейный очаг, практически и духовные устои жизни лживы, несправедливы, оскорбительны для взоров как Бога, так и человека. Тем не менее очаг горяч, кладовая полна, неисчислимые стражи небес с врожденной преданностью соберутся и будут доказывать памфлетами и мушкетами, что это — истина, пусть не безупречная (таковой и не может быть на земле), а — что еще лучше — полностью сбалансированная (как порыв ветра для стриженной овцы) и приносящая пользу. Но как меняется взгляд на мир, когда кошелек и кладовая пустеют! Если ваше устройство общества так истинно, так соответствует предначертаниям природы, то почему же, каким чудом Природа допустила в своей бесконечной благодати голод? Для каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка неоспоримо, что ваше устройство лживо. Слава банкротству, которое по большому счету всегда справедливо, хотя и жестоко в частных проявлениях! Оно подрывает любую ложь подспудными ходами. Пусть

ложь вознесется до небес и накроет весь мир, но банкротство когда-нибудь сметет ее и освободит нас.

Глава вторая

КОНТРОЛЕР КАЛОНН

В таких прискорбных, стесненных и нездоровых обстоятельствах, когда отчаявшемуся двору кажется, что финансовый гений оставил людей, чье появление могло быть более желанным, чем появление месье де Калонна? Калонна, человека, неоспоримо гениального даже гениального финансиста в большей или меньшей степени, обладающего опытом в управлении и финансами и парламентами, потому что он был интендантом в Меце и в Лилле, королевским прокурором в Дуэ. Человека влиятельного, связанного с теми слоями населения, которые владеют деньгами; человека с незапятнанным именем, если не считать одного грешка (он показал письмо клиента) в старом и уже почти забытом деле д'Эгийона — Ла Шалоте*. У него есть родственники-толстосумы, имеющие вес на бирже. Наши Фулоны и Бертье плетут для него интриги: тот самый старый Фулон, которому больше нечего делать, как плести интриги, который известен и даже был пойман за руку как мошенник, но сказочно богат и который, как полагают некоторые, может надеяться стать однажды из министерского писца, каковым он некогда был, самим министром, если все пойдет хорошо.

* Герцог д'Эгийон подал в суд на Ла Шалоте, обвинившего его в трусости. Ла Шалоте Луи Рене (1701—1785) — генеральный прокурор Рейнского парламента, потребовал запретить деятельность иезуитов во Франции.

Вот такие у месье де Калонна поддержки и зацепки, да и какими природными достоинствами он обладает! Его лицо излучает надежду, уста источают убежденность. Он обладает целебными средствами от всех бед и заставит мир катиться как по маслу. 3 ноября 1783 года Oeil de Voeuf чувствует своего нового генерального контролера. Однако Калонна, как ранее Тюрго и Неккера, ждут испытания; Калонну также предстоит найти выход из положения, озарить своим блеском нашу свинцового цвета эру надежды и привести ее к изобилию.

В любом случае счастье Oeil de Voeuf велико. Бережливость покинула королевскую обитель, напряжение спало, ваш Безанваль может спокойно уснуть, не боясь проснуться поутру ограбленным. Как по мановению руки волшебника возвратилось сияющее изобилие и рассыпает блага из своего вновь наполнившегося рога. А какая утонченность манер! Сладкая улыбка не сходит с лица нашего контролера, он выслушивает всех с интересом и даже предупредительностью, проясняет всем их собственные желания и удовлетворяет их или по меньшей мере обещает удовлетворить при соответствующих условиях. «Я боюсь, что это затруднительно», — сказала Ее Величество. «Мадам, — отвечает контролер, — если это всего-навсего затруднительно, то оно уже сделано; если невозможно, то это придется сделать». И так во всем. Наблюдая его в вихре светских развлечений, в которых никто не принимает участия с большей охотой, можно спросить: а когда же он работает? И тем не менее дела никогда не задерживаются, как мы видели; более того, есть и плоды его труда — наличные деньги. Воистину этому человеку все дается легко: он с легкостью действует, произносит речи, мыслит; философская глубина блистает в его речах вместе с остроумием и искрящейся веселостью, а на вечерних приемах у Ее Величества он, несущий на своих плечах бремя целого мира, восхищает и мужчин и женщин! Каким волшебством делает он все эти чудеса? Единственным истинным волшебством — волшебством гения. Его называют Министром с большой буквы, да и был ли действительно другой, подобный ему? Он претворяет бесчестье в честь, колдобины в гладь, и над Oeil de Voeuf сияет неописуемо лучезарное небо.

Нет, серьезно, не позволяйте никому говорить, что Калонн не гений, гений убедительности, в первую очередь в получении займов. Ловко и расчетливо используя секретные фонды, он поддерживает биржу в цветущем состоянии, так что займы следуют один за другим. «Осведомленные кассиры» подсчитали, что он тратит на непредвиденные расходы «до миллиона ежедневно»², что составляет около 50 тысяч фунтов стерлингов, но разве он не приобретает на них нечто, а именно мир и благоденствие сегодняшнего дня? Мудрецы ворчат, каркают и рас-

купают 80 тысяч экземпляров новой книги Неккера; но несравненный Калонн в покоях Ее Величества в окружении блестящей свиты герцогов и герцогинь и просто восхищенных лиц может не обращать внимания на мудрецов.

Беда, однако, в том, что долго так продолжаться не может. Дефицит не покрыть ни расточительством, ни займами, так же как пожар не залить маслом — его можно лишь ослабить на время. Сам Несравненный, не лишенный проницательности, постоянно смутно ощущает, а временами и ясно понимает, что его образ действий преходящий, с каждым днем встречает все больше затруднений и недалек тот момент, когда потребуются пока еще неопределимые перемены. Помимо финансового дефицита появилось и совершенно новое расположение духа, в котором пребывает мир; все разболталось на старых основаниях, возникают новые проблемы и сочетания проблем. Нет ни одного карлика-жокея, подстриженного под Брута, ни одного англофильствующего всадника, приподнимающегося в стременах, который бы не ощущал грядущих перемен. Но что из этого? Как бы то ни было, сегодняшний день прошел в удовольствиях, а о завтрашних делах подумаем завтра — если завтра наступит. Высоко вознесенный (благодаря щедрости, дару убеждения, магии гения) в милостях Oeil de Bœuf, короля, королевы, биржи и, насколько возможно, всего света, несравненный контролер может рассчитывать, как и любой другой, продолжить свою карьеру и в грядущем каким-либо невообразимым образом.

На протяжении всех трех лет уловка нагромождалась на уловку, и наконец они образовали груды, столь высокую и шаткую, что она опасно заколебалась. К тому же чудо света, бриллиантовое ожерелье, привело двор на край пропасти. Даже гений не мог бы сделать больше; высоко ли мы вознеслись или нет, нам придется идти вперед. Едва бедный Роган, кардинал, участвовавший в деле с ожерельем, надежно укрылся в горах Оверни, едва госпожа де Ламот (ненадежно) скрылась в приюте Сальпетриер*, а прискорбное дело было притушено, наш энергичный контролер снова поражает свет. Он предлагает средство, неслыханное за последние 160 лет, которое благодаря его смелости, его самоуверенности и красноречию принимается, — это собрание нотаблей**.

* Сальпетриер — парижская больница для бедных.

** Собрание нотаблей — во Франции XIV—XVIII вв. собрание представителей высшего духовенства, придворного дворянства и мэров городов. В отличие от депутатов Генеральных штатов нотабли не избирались сословиями, а приглашались королем. Созывались нерегулярно, имели совещательный характер.

Пусть со всех концов Франции будут созданы нотабли, действительные и истинные управители областей; пусть они услышат убедительно изложенную правду о патриотических намерениях Его Величества и злосчастных финансовых преградах на пути их осуществления, а затем надо поставить вопрос: что нам делать? Разумеется, принять оздоровляющие меры — те, которые укажет волшебная сила гения, те, на которые, хоть и с неохотой, пойдут все парламенты и все люди после их одобрения нотаблями.

Глава третья

СОБРАНИЕ НОТАБЛЕЙ

И вот знамение и чудо напоказ всему свету, провозвестник многих несчастий. Oeil de Bœuf раздражается жалобными стенаниями: «Разве не было нам хорошо раньше, когда мы заливали огонь маслом?» Философы-конституционалисты трепещут в радостном изумлении и нетерпеливо ждут результатов. Государственный кредитор, государственный должник, вся думающая и вся бездумная публика получает разнообразные сюрпризы, радостные или печальные. Граф Мирабо, который поспешно и с большим или меньшим успехом завершил свои бракоразводный и другие процессы, работает сейчас в сумрачной атмосфере Берлина, сочиняя «Прусскую монархию», памфлеты «О Калиостро» и составляя — за плату, а не за почетную репутацию — бесчисленные депеши для своего правительства: издал ли чует или угадывает более богатую добычу. Подобно орлу или коршуну или тому и другому вместе, он расправляет крылья, чтобы лететь домой³. Месье де Калонн простер над Францией волшебный жезл Аарона* и вызывает к жизни вещи, которых сам не ожидал. Дерзость и надежда чередуются в нем со страхом, хотя его сангвиническая натура одерживает верх. То он пишет своему близкому другу: «Мне жаль самого

себя» (*Je me fais pitié à moi-même*), то приглашает какого-нибудь одописца или рифмоплета прославить «это собрание нотаблей и революцию, которую оно готовит»⁴. Готовит, конечно, и это стоило бы воспеть, но не ранее, чем мы увидим революцию и ее последствия. В темном, сумеречном беспокойстве все элементы общества так долго колебались и раскачивались; сможет ли месье де Калонн с помощью алхимии нотаблей соединить их вновь и найти новые источники доходов? Или, напротив, он разметет все врозь так, что не будет больше ни колебаний, ни раскачиваний, но только столкновения и борения?

* Библ. реминисценция: Исход, 7, 11—12; 8, 6—7 и др.

Пусть будет, что будет. И вот в эти свинцовые короткие дни мы видим, как люди с положением и влиянием вносят вклад в великий водоворот перемещений по Франции и стекаются — каждый по своему маршруту — со всех концов Франции к Версальскому дворцу, призванные волей короля (*de par le roi*). Там встречаются они февраля в 22-й день 1787 года и утверждают в должности: нотабли в количестве 137 человек, как мы подсчитали по именам⁵, и семь принцев крови — таково число нотаблей. Военные и судейские, пэры, духовные сановники, председатели парламентов; они разделены на семь бюро под председательством семи принцев крови: старшего брата короля, д'Артуа, Пентьева и других, среди которых нельзя забыть нового герцога Орлеанского (потому что с 1785 г. он уже не герцог Шартрский). Еще не ставший адмиралом, но уже перешагнувший свое сорокалетие, с испорченной кровью и будущим, он пресытился миром, который более чем пресытился им; будущее герцога крайне сомнительно. Он живет и воспринимает мир не в озарении, не в проникновении вглубь и вширь и даже не в горении, а, как было сказано, «в дыме и пепле перегоревшей чувственности». Пышность и скупость, мстительность и пресыщенность, честолбие, невежество, аморальность и ежегодный доход в триста тысяч фунтов стерлингов — если бы этот бедный принц однажды сорвался со своего придворного якоря, в какие только места, в какие события могло бы его занести и пригнать! К счастью, он пока еще «любит ежедневно охотиться» и заседает в собрании, поскольку он обязан заседать, председательствует в своем бюро с тупым выражением лица и пустыми, остекленевшими глазами, как будто для него все это бесконечно скучно.

Наконец мы видим, что приехал граф Мирабо. Он прибывает из Берлина прямо в гущу событий, вглядывается в нее искрящимся, сияющим взором и понимает, что ему здесь не пожить. Он полагал, что этим нотаблям понадобится секретарь. Им и впрямь нужен таковой, но они уже остановили свой выбор на Дюпоне де Немуре*, человеке не столь известном, но с лучшей репутацией, который, правда, часто жалуется друзьям, конечно, не на весь мир, но на то, что ему приходится «вести переписку с пятью королями»⁶. Перо Мирабо не может стать официальным, тем не менее оно остается острым пером. Не получив места секретаря, он принимается обличать биржевую игру (*Dénonciation de l'agiotage*), по обыкновению громким шумом обнаруживая свое присутствие и деятельность, пока, предупрежденный своим другом Талейраном и даже — втихую — самим Калонном, что он может накликать на себя «семнадцатый королевский указ об изгнании» (*Lettre de Cachet*), не отбывает своевременно за границу.

* Дюпон де Немур Пьер Самюэль (1739—1817) — экономист-физиократ, друг Тюрго, участвовал в разработке программы реформ Калонна. Во время революции депутат Учредительного собрания, в последние годы жил в США.

И вот в парадных королевских покоях, как изображается на картинах того времени, организованно заседают наши 144 нотабля, готовые слушать и размышлять. Контролер Калонн сильно запоздал со своими речами и приготовлениями, однако «легкость в работе» этого человека уже известна нам. Его речь на открытии собрания была непревзойденной по свежести стиля, ясности, пронизательности, широте кругозора — но вот содержание ее было ужасным! Размер дефицита (цифра различается в различных отчетах, но повсюду называется «огромной») да и сам отчет контролера подвергается обсуждению. Суть трудностей контролера ясна, а каковы могут быть средства их преодоления? Не более чем подражание Тюрго, потому что, похоже, к этому мы и должны были прийти в конце концов: провинциальные собрания, новые налоги и, сверх всего, самое странное — новый поземельный налог, который он называет «Земельное пособие» (*Subvention territoriale*) и от которого не должны получать освобождения ни привиле-

гированные, ни непривилегированные сословия, ни дворянство, ни духовенство, ни члены парламента!

Безумие! Привилегированные сословия привыкли взимать налоги, дорожные пошлины, подати, таможенные пошлины с любого и каждого, пока у него оставался хоть грош, но платить налоги самим? Да ведь сами нотабли, за очень небольшим исключением, принадлежат как раз к привилегированным сословиям. Опрометчивый Калонн, полагаясь на свой быстрый ум, удачу и красноречие, которые еще никогда не подводили его, не дал себе труда «отобрать состав», т. е. тщательнейше подобрать нотаблей, а пропустил всех тех, кто был истинным нотаблем. Опрометчивый генеральный контролер! Красноречие может сделать многое, но не всё. Красноречием, ритмическим и музыкальным, которое мы называем поэзией, Орфей исторг железные слезы из глаз Плутона, а каким волшебством поэзии или прозы исторгнешь ты золото из кармана Плутуса (Богатства)?

И вот буря, поднявшаяся и засвистевшая вокруг Калонна сначала в семи бюро, а затем пробужденная ими и распространяющаяся все шире и шире по Франции, набирает неукротимую силу. Дефицит огромен. Дурное управление и расточительность вполне очевидны. Намекают даже на хищения, а Лафайет и другие заходят так далеко, что говорят об этом открыто, пытаются представить доказательства. Вполне естественно, что наш отважный Калонн постарался переложить ответственность за дефицит с себя на своих предшественников, не исключая даже Неккера. Но Неккер яростно отрицает это, в результате чего завязывается «гневная переписка», которая проникает в прессу.

В Oeil de Voeuf и личных покоях Ее Величества красноречивый контролер со своим привычным «Мадам, простите за навязчивость» выглядел убедительным, но, увы, дело теперь решается в другом месте. Посмотрите на него в один из этих тяжелых дней в бюро старшего брата короля, куда присланы делегаты от всех других бюро. Он загнан в угол, одинок, открыт шквалу вопросов, запросов, упреков со стороны этих 137 «орудий, заряженных логикой», которых в буквальном смысле слова можно назвать «огненными зевами» (bouches à feu). Никогда еще, по словам Безанваля, или почти никогда человеку не приходилось проявлять столько ума, ловкости, самообладания, убедительного красноречия. Яростному шквалу столь многих «огненных зевов» он не противопоставляет ничего более грубого, нежели сияющие улыбки, самообладание и отеческие усмешки. С безмятежнейшим вежливым спокойствием на протяжении пяти долгих часов он отвечает на непрерывный град то яростных, то издевательских вопросов и укоризненных реплик словами, быстрыми, как молния, и ясными, как сияние света. Он отвечает даже на огонь перекрестных вопросов и реплик со стороны, на которые он (имея только один язык) мог бы в пылу сражения и не отвечать, но при любом затишье он обращается к ним и отвечает даже на них⁷. Если бы краткое и убедительное красноречие могло спасти Францию, она была бы спасена.

Как тяжело бремя контролера! Во всех семи бюро он встречает только препятствия: в бюро брата короля некий Ломени де Бриенн, архиепископ Тулузский, метящий на пост генерального контролера, подстрекает духовенство; происходят совещания, плетутся интриги. Извне тоже нет ни малейшего намека на помощь, или надежду. Потому что для народа (к которому сейчас присоединился Мирабо, гласом Стентора* «обличающий биржевую игру») контролер по сю пору не сделал ничего, если не меньше. Для философии он также не сделал практически ничего - разве только снарядил экспедицию Лаперуза или что-то в этом роде, но зато он состоит в «гневной переписке» с Неккером! Сам Oeil de Voeuf начинает колебаться, у контролера с пошатнувшимся положением нет друзей. Твердый месье де Верженн, который своей флегматичной благоразумной пунктуальностью мог бы многое сделать, умер за неделю до того, как собрались эти злосчастные нотабли. А теперь в Миромениле***, хранителе печати (Garde-des-Sceaux), подозревают предателя, интригующего в пользу Ломени-Бриенна! Чтец королевы аббат де Вермон, который не пользуется симпатиями, был ставленником Бриенна, его кратурой с самого начала; можно опасаться, что будет открыт черный ход и что прямо под нашими ногами будет сделан подкоп. По меньшей мере следует сместить этого предателя Миромениля; пожалуй, наиболее подходящим хранителем печати был бы Ламуаньон — нотабль с хорошо подвешенным языком, человек твердый, со связями и даже идеями, председатель парламента, но намеренный, однако, перестроить его. Так, во всяком случае, думает деловитый Безанваль и за обеденным столом сообщает об этом на ухо контролеру, который в свободные от выполнения обязанностей хозяина моменты слушает его с восхищенным видом, но не отвечает ничего определенного⁸.

* Персонаж «Илиады» с зычным голосом.

** Гю де Миромениль Арман Тома (1723—1796) — в 1774—1787 гг. хранитель печати.

Увы, а что отвечать? Давление частных интриг, а затем и давление общественного мнения нарастают с угрожающей и опасной скоростью. Философы громко издеваются, как будто Неккер уже восторжествовал. Уличные зеваки задерживаются перед гравюрами по дереву или меди, на которых, например, изображен крестьянин, созывающий всю птицу со двора и обращающийся к ней с такой речью: «Дорогие животные, я созвал вас, чтобы обсудить вопрос, под каким соусом вас подавать?», на что петух отвечает: «Мы не желаем быть съеденными», но его останавливают: «Вы уклоняетесь от темы обсуждения» (*Vous vous écarter de la question*)⁹. Смех и рассуждения, уличные песни, памфлеты, эпиграммы и карикатуры — что за разгул общественного мнения! Похоже, что разверзлась пещера ветров! Поздно вечером председатель Ламуаньон пробирается в покои контролера и застаёт его «ходящим большими шагами по комнате, как человек, вышедший из себя»¹⁰. В поспешных, путаных фразах контролер просит месье де Ламуаньона дать ему «совет». Ламуаньон чистосердечно признается, что не может взять на себя ответственность за советы, кроме одного — назначить его, Ламуаньона, хранителем печати, поскольку это могло бы принести пользу.

«В понедельник после Пасхи», 9 апреля 1787 года (дата требует проверки, потому что ничто не может превзойти небрежность и лживость всех этих «Историй» и «Мемуаров»), — «В понедельник после Пасхи, когда я, Безанваль, ехал верхом в Роменвилль к маршалу де Сегюру, я встретил на Бульварах знакомого, который сообщил мне, что месье де Калонн смещен. Чуть дальше на меня набросился герцог Орлеанский (ехавший рысью по-английски) и подтвердил это сообщение»¹¹. Оно оказалось верным. Хранитель печати предатель Миромениль смещен, а Ламуаньон назначен на его место, но выгодно это только ему самому, а не контролеру: «на следующий день» контролеру приходится уйти. Недолгое время он еще крутится на поверхности: его видят среди банкиров и даже «работающим в палатах контролера», где многое осталось незавершенным; но это не удержит его на плаву — слишком сильны удары и порывы бури общественного мнения и частных интриг, как будто вырвавшейся из пещеры ветров и уносящей его (по знаку свыше) из Парижа и Франции за горизонт, в невидимое или во внешний мрак.

Такую судьбу не всегда может предотвратить даже магическая сила гения. Неблагодарный *Oeil de Bœuf*! Разве Калонн какое-то время не изливал на тебя золото как манну небесную, так что один придворный имел возможность сказать: «Весь свет подставлял руки, ну а я подставил шляпу»? Сам он остался беден и был бы без гроша, если бы некая «вдова финансиста из Лотарингии» не предложила ему, невзирая на то, что ему шел шестой десяток, свою руку вместе с тугим кошельком. С тех пор его деятельность блекнет, хотя и остается неутомимой: письма королю, возвания, предсказания, памфлеты (из Лондона), написанные с прежней убедительной легкостью, которая никого уже не убеждает. По счастью, кошелек его вдовы не скудеет. Однажды, год или два спустя, его тень появится на севере Франции в попытке быть избранной в Национальное собрание, но будет отвергнута. Еще туманнее промелькнет он, занесенный в дали Европы, в смутных сумерках дипломатии, плетя интриги в пользу «изгнанных принцев»; много приключений произойдет с ним: он едва не утонет в водах Рейна, но спасет свои бумаги. Неутомимый, но не пожинаящий плодов! Во Франции он больше не будет творить чудеса и с трудом вернется сюда, чтобы обрести могилу. Прощай, легкомысленный, темпераментный генеральный контролер с твоей легкой, быстрой рукой, с золотыми сладостными устами; бывали люди и лучше, и хуже тебя, но и ты имел свое предназначение — поднять бурю; ты выполнил его, и буря поднялась.

Ну а теперь, когда бывший контролер Калонн, гонимый бурей, скрывается за горизонтом таким необычным образом, что стало с местом контролера? Оно пустует; можно сказать, оно исчезло, как луна в межлунные промежутки. Две промежуточные тени, бедный месье Фурке и бедный месье Вилледей, быстро сменяют друг друга — лишь бледное подобие контролеров; так новая луна иногда восходит с тусклым ореолом старой луны в своих объятиях. Не спешите, нотабли! Неизбежно придет и даже уже готов прийти новый, настоящий контролер, нужно только осуществить необходимые маневры. Предусмотрительный Ламуаньон, министр внутренних дел Бретей*, министр иностранных дел Монморен обменялись взглядами; дайте только этой троице собраться и поговорить. Кто силен милостями королевы и аббата Вермона? Кто

человек с большими способностями или по крайней мере 50 лет старавшийся, чтобы его считали таковым? Кто только что от имени духовенства требовал «исполнения» смертных приговоров для протестантов? Кто блистает в Oeil de Boeuf как весельчак и любимец мужчин и женщин, подбирающий удачные словечки даже у философов, ваших Вольтера и Д'Аламбера? Кто имеет среди нотаблей уже сложившуюся партию? Ну конечно, Ломени де Бриенн, архиепископ Тулузский! — отвечают все трое и с безмятежным и немедленным единодушием мчатся предложить королю его кандидатуру, «с такой поспешностью, — пишет Безанваль, — что месье де Ламуаньон вынужден был взять напрокат симарру» — очевидно, какую-то принадлежность туалета, необходимую для этого¹².

* Барон де Бретей Луи Огюст де Тоннелье (1733— 1807) — дипломат, государственный секретарь (министр) внутренних дел.

Ломени-Бриенн всю жизнь «ощущал свое предназначение для высоких постов» и наконец обрел их. Он управляет финансами, у него будет титул самого первого министра, и цель его долгой жизни будет достигнута. Жаль только, что получение поста потребовало стольких сил и таланта, что для исполнения обязанностей вряд ли остались талант и силы! Ища в своей душе способности выполнить новое дело, Ломени не без удивления обнаруживает, что не имеет почти ничего, только пустоту и растроченные возможности. Он не находит ни принципов, ни системы, ни навыков, внешних или внутренних (даже тело его изношено хлопотами и волнениями), и никаких планов, пусть и неразумных. В этих обстоятельствах весьма удачно, что у Калонна были планы! Планы Калонна составлены из проектов Тюрго и Неккера и по праву преемственности станут планами Ломени. Не зря Ломени изучал действие английской конституции — он избражает себя в некотором роде англофилом. Почему в этой свободной стране изгнанный парламентом один министр исчезает из окружения короля, а другой, порожденный парламентом, вступает туда?¹³ Разумеется, не ради простой перемены (что всегда бесполезно), но ради того, чтобы весь народ принял участие в том, что происходит. Таким образом борьба за свободу длится до бесконечности и не ведет ни к чему дурному.

Нотабли, умиротворенные пасхальными празднествами и принесением в жертву Калонна, находятся не в самом дурном расположении духа. Еще в то время, когда на посту контролера находились «межлунные тени», Его Величество провел заседание нотаблей и произнес со своего трона содержащую некоторые обязательства, примиряющую речь; «королева ожидала у окна, когда вернется его карета, и брат короля издали поаплодировал ей» в знак того, что все хорошо¹⁴. Речь произвела наилучшее впечатление, хорошо бы только, чтобы оно продлилось. А пока ведущих нотаблей можно и «обласкать»: новый блеск Бриенна и пронизательность Ламуаньона принесут известную пользу, да и в примиряющем красноречии не будет недостатка. В целом же разве не ясно, что изгнание Калонна, с одной стороны, и принятие планов Калонна — с другой, — это мера, на которую — чтобы дать ей положительную оценку — лучше смотреть с некоторого расстояния и поверхностно, а не исследовать вблизи и детально? Одним словом, самая большая услуга, которую могут оказать нотабли, — это разойтись каким-либо приличным образом. Их «Шесть предложений» относительно предварительных собраний, отмены барщины и тому подобного могут быть приняты без возражений. «Пособие», или поземельный налог, и многое другое следует как можно быстрее позабыть — ныне и здесь безопасны только перлы примиряющего красноречия. Наконец 25 мая 1787 года на торжественном заключительном заседании раздражается, можно сказать, взрыв красноречия: король, Ломени, Ламуаньон и их приближенные сменяют друг друга, число речей достигает десятка, и Его Величество завершает долгий день; на этом — все в целом напоминает хорал или бравурную арию благодарностей, восхвалений, обещаний — нотабли, так сказать, отпеты и распущены по своим обителям. Они прозаседали и проговорили девять недель — первое после 1626 года, со времен Ришелье, собрание нотаблей.

Некоторые историки, удобно расположившиеся на безопасном расстоянии, упрекают Ломени в том, что он распустил нотаблей; тем не менее для этого уже настало время. Известно, что есть вещи, которые не поддаются скрупулезному анализу. Да и о каком анализе может идти речь, когда вы сидите на раскаленных углях. В этих семи бюро, где нельзя было осуществить ни одного дела, если не считать делом разговоры, начали возникать скользкие вопросы. Например, в бюро месье д'Артуа Лафайет решился произнести не одну обвинительную речь — и

по поводу королевских указов об изгнании, и по поводу свободы личности, и биржевой игры, и по многим другим; когда же монсеньер попытался заставить его замолчать, то получил в ответ, что нотабли, созванные, чтобы высказать свое мнение, должны его высказать¹⁵.

Мало того, когда его милость архиепископ Экский однажды с кафедры плачущим тоном произнес слова о том, что «церковная десятина — это добровольное приношение благочестивых христиан», то герцог де Ларошфуко прервал его холодным деловитым голосом, которому он научился у англичан: «Церковная десятина — это добровольное приношение благочестивых христиан, из-за которого сейчас в этом королевстве ведется сорок тысяч процессов»¹⁶. Наконец Лафайет, высказывая свое мнение, дошел до того, что однажды предложил созвать Национальное собрание. «Вы настаиваете на созыве Генеральных штатов?» — переспросил д'Артуа с угрозой и удивлением. «Да, монсеньер, и, более того, требую». «Запишите», — приказал монсеньер писцам¹⁷. Соответственно предложение записано, но, что более странно, оно постепенно будет исполняться.

Глава четвертая

ЭДИКТЫ ЛОМЕНИ

Итак, нотабли вернулись по домам, разнося по всей Франции такие понятия, как дефицит, обветшалость, распри, и представление о том, что Генеральные штаты все это исправят или если не исправят, то уничтожат. Каждый нотабль, как можно вообразить, похож на погребальный факел, освещающий грозные пропасти, которым лучше бы оставаться скрытыми! Беспокойство овладевает всеми людьми; брожение ищет выхода в памфлетах, карикатурах, проектах, декламациях, пустом жонглировании мыслями, словами и поступками.

Духовное банкротство наступило уже давно, но оно перешло в банкротство экономическое и стало невыносимым. От самых нищих, безгласных слоев общества неизбежная нищета, как и было предсказано, поднялась вверх. В каждом человеке присутствует смутное ощущение, что его положение, угнетающего или угнетаемого, ложно; каждый человек, говорящий на том или ином диалекте, нападающий или защищающийся, должен дать выход внутреннему беспокойству. Не на таком фундаменте основываются благоденствие народа и слава правителей! О, Ломени, какой беспорядочный, разоренный, голодный и раздраженный мир вверен тебе на том посту, которого ты домогался всю жизнь!

Первые эдикты Ломени носят чисто успокоительный характер: создание провинциальных собраний для «распределения налогов», когда у нас появятся таковые, отмена барщины, или уставного труда, сокращение соляного налога — успокоительные меры, рекомендованные нотаблями и давно требуемые всеми либерально настроенными людьми. Известно, что разлитое по волнам масло дает прекрасный результат. Прежде чем отважиться на более существенные меры, Ломени хочет несколько ослабить этот неожиданный «подъем общественного духа».

И правильно. Но что, если этот «подъем» не таков, чтобы его можно было ослабить? Бывают подъемы, вызванные бурями и порывами ветра на поверхности. Но бывают и подъемы, вызванные, как говорят; заключенными в подземных пустотах ветрами или даже внутренним разложением и гниением, которое приводит к самовозгоранию; так, в античной геологии Нептуна и Плутона считалось, что весь мир распадается на мелкие частицы, затем взрывается и создается заново! Подъемы последнего рода не ослабить маслом. Глупец говорит в душе, почему завтра не может быть похожим на вчера и на все дни, которые тоже некогда были завтрашними. Мудрец, глядя на Францию и ее моральную, духовную и экономическую жизнь, видит «в общем все симптомы, которые встречались ему в истории», и бесполезность всех успокоительных эдиктов.

А пока, ослаб подъем или нет, необходимы наличные деньги, для чего требуются совсем иные эдикты, а именно денежные, или фискальные. Как легко было бы издавать фискальные эдикты, если бы знать наверняка, что парламент Парижа, так сказать, «зарегистрирует» их. Право регистрировать, собственно, просто записывать эдикты парламент приобрел давно, и, хотя он и является не более чем судебным учреждением, он может вносить поправки и заставлять изрядно торговаться с собой. Отсюда проистекает множество споров, отчаянные увертки

Мопу, победы и поражения — все это один спор, продолжающийся уже 40 лет. Именно поэтому фискальные эдикты, которые сами по себе не представляют сложности, становятся такой проблемой. Например, поземельный налог Калонна, всеобщий, не делающий исключений, не является ли якорем спасения для финансов? Или разработанный самим Ломени, чтобы показать, что и он не лишен финансового таланта, эдикт о печатях, или гербовый сбор, — конечно, тоже заимствованный, правда, из Америки — будет ли он более успешен во Франции, чем на родине?

У Франции есть, конечно, свои средства спасения, тем не менее нельзя отрицать, что этот парламент имеет сомнительный вид. Уже в заключительной симфонии роспуска нотаблей в речи председателя Парижского парламента прозвучали зловещие нотки. Очнувшись от магнетического сна и включившись в жизненную суету, Адриен Дюпор угрожает впасть в столь же сверхъестественное бодрствование. Менее глубокий, но более шумный намагниченный д'Эпремениль с его тропическим темпераментом (он родился в Мадрасе) и мрачной бестолковой вспыльчивостью. Он увлекается идеями Просвещения, животным магнетизмом, общественным мнением, Адамом Вейсгауптом*, Гармодием и Аристокитоном** и всякими другими беспорядочными, но жестокими вещами; от него тоже хорошего ждать не приходится. Даже пэры Франции затронуты брожением. Наши пэры слишком часто опрометчиво снимали кружева, шитье и парики, прохаживаясь в английских костюмах и разъезжая верхом, приподнявшись в стременах, по-английски; в их головах нет ничего, кроме неповиновения, мании свободы, беспорядочной, бескрайней оппозиции. Весьма сомнительно, что мы можем на них положиться, даже если бы они обладали волшебным кошельком! Но Ломени прождал весь июнь, вылив в волны все имеющееся масло, а теперь будь что будет, но два финансовых эдикта должны быть изданы. 6 июля он вносит в Парижский парламент свои предложения о гербовом налоге и поземельном налоге, причем гербовый налог идет первым, как будто Ломени стоит на собственных ногах, а не на ногах Калонна.

Увы, парламент не хочет регистрировать эдикты: парламент требует «штаты расходов», «штаты предполагаемых сокращений расходов» и массу других штатов, которые Его Величество вынужден отказаться представить! Разгораются споры, гремит патриотическое красноречие, созываются пэры. Неужели Немейский лев*** ошетинивается? Разумеется, идет дуэль, на которую взирают Франция и весь мир, молясь, по меньшей мере любопытствуя и заключая пари. Париж зашевелился с новым воодушевлением. Внешние дворы Дворца правосудия заполнены необычными толпами, то накатывающимися, то отступающими; их громкий ропот, доносящийся снаружи, сливается с трескучим патриотическим красноречием, раздающимся внутри, и придает ему силы. Бедный Ломени издали взирает на все это, потеряв покой, и рассылает невидимых усердных эмиссаров, но без успеха.

* Вейсгаупт Адам (1748—1830) - основатель ордена иллюминатов, тайного общества, ставившего перед собой просветительные цели.

** Двое афинских юношей, убившие Гиппарха (VI в. до н. э.), считались восстановителями свободы Афин.

*** В греческой мифологии лев, которого победил Геракл, совершив один из своих двенадцати подвигов.

Так проходят душевные жаркие летние дни в наэлектризованной атмосфере — весь июль. И тем не менее в святилище юстиции не звучит ничего, кроме разглагольствований в духе Гармодия — Аристокитона под шум толпящегося Парижа, — регистрация эдиктов не осуществлена, никакие «штаты» не представлены. «Штаты? — говорит один остроумный парламентарий. — Господа, по моему мнению, штаты, которые нам должны представить, — это Генеральные штаты». Этот весьма уместный каламбур вызывает хохот и шумок одобрения. Что за слово прозвучало во Дворце правосудия! Старый д'Ормессон (дядя бывшего контролера) качает выдавшей виды головой: ему совсем не смешно. Но внешние дворы, Париж и Франция подхватывают удачное словцо и повторяют и будут повторять его; оно будет передаваться и звучать все громче, пока не вырастет в оглушительный гул. Совершенно ясно, что нечего и думать о регистрации эдиктов.

Благочестивая пословица гласит: «Лекарства есть от всего, кроме смерти». Раз парламент отказывается регистрировать эдикт, есть давнее средство, известное всем, даже самым простым людям, — заседание в присутствии короля. Целый месяц парламент провел в пусто-

словии, шуме и вспышках гнева; гербовый эдикт не зарегистрирован, и не похоже, чтобы он был зарегистрирован, о поземельном эдикте лучше не вспоминать. Так пусть 6 августа весь упрямящийся состав парламента будет привезен в каретах в королевский дворец в Версале, и там, проводя заседание, король прикажет им своими собственными королевскими устами зарегистрировать эдикты. Пусть они возмущаются про себя, но им придется повиноваться, иначе — тем хуже для них.

Так и сделано: парламент приехал по приказу короля, выслушал недвусмысленное повеление короля, после чего был отведен обратно при всеобщем выжидающем молчании. А теперь, представьте себе, поутру этот парламент собирается снова в своем дворце, «внешние двory которого заполнили толпы», и не только не регистрирует эдикты, но (что за предзнаменование!) заявляет, что все происходившее в предыдущий день — ничто, а королевское заседание — не более чем пустяк! Воистину нечто новое в истории Франции! Или еще того лучше: наш героический парламент вдруг осеняет несколько других мыслей, и он заявляет, что вообще регистрация эдиктов о налогах не входит в его компетенцию — и это после нескольких столетий принятия эдиктов, видимо, по ошибке! — и что совершать подобные акции компетентна только одна власть — собрание трех сословий королевства!

Вот до какой степени общее настроение нации может овладеть самой обособленной корпорацией; вернее сказать, вот каким человекоубийственным и самоубийственным оружием сражаются корпорации в отчаянных политических дуэлях! Но в любом случае разве это не настоящая братоубийственная война, где грек выступает против грека и на которую люди, даже совершенно не заинтересованные лично, взирают с несказанным интересом? Как мы говорили, сюда бурно стекаются наводняющие внешние двory толпы молодых, охваченных манией свободы дворян в английских костюмах и привносящих дерзкие речи, прокуроров, судейских писцов, которые ничем не заняты в эти дни, празднующихся, разносчиков сплетен и другой неопишуемой публики. «От трех до четырех тысяч людей» жадно ждут чтения Резолюций (Arrêtés), которые должны быть приняты внутри, и приветствуют их криками «Браво» и аплодисментами шести — восьми тысяч рук! Сладок мед патриотического красноречия, и вот вашего д'Эпремениля, вашего Фрето или Сабатье, спустившихся с демосфеновского Олимпа, когда смолкли грома этого дня, приветствуют во внешних дворах криками из четырех тысяч глоток, проносят на плечах по улицам до дома, «осыпаемых благословениями», и они задевают звезды своими гордыми головами.

Глава пятая

МОЛНИИ ЛОМЕНИ

Восстань, Ломени-Бриенн, теперь не время для «Lettres of Jussion»* — для колебаний и компромиссов. Ты видишь весь празднующийся, «текучий» парижский люд (всех, кто не жестко ограничен работой), наполняющий эти внешние двory, как грохочущий разрушительный поток; даже сама «Базош» — сборище судейских писцов, кипит возмущением. Низшие слои, насмотревшись на борьбу власти с властью, на удушение грека греком, потеряли уважение к городской страже: на спинах полицейских осведомителей нарисованы мелом буквы «М» (первая буква слова «mouchard» — шпион), их преследуют и травят, как диких зверей (ferae naturae). Подчиненные парижскому, сельские суды посылают своих представителей с поздравлениями и выражениями солидарности. Источник правосудия постепенно превращается в источник восстания. Провинциальные парламенты, затаив дыхание, пристально следят за тем, как их старший парижский собрат ведет сражение, ведь все двенадцать — одной крови и одного духа, победа одного — это победа всех.

* Т. е. приказные письма. В них король повелевал членам парламента зарегистрировать тот или иной эдикт.

А дальше становится еще хуже: 10 августа предъявляется «жалоба» касательно «расточительства Калонна» с требованием разрешить «судебное преследование». Какая там регистрация эдиктов — вместо нее составляются обвинения: в расхищении, взяточничестве; и все слышнее раздается припев: «Генеральные штаты!» Неужели в королевском арсенале не осталось

молний, которые бы ты, о Ломени, мог метнуть обгащенной кровью десницей в эту подемосфеновски театральную пороховую бочку (правда, она по преимуществу начинена смолой и шумом), разнести ее на куски и повергнуть в молчание? Вечером 14 августа Ломени мечет молнию, и даже не одну. За ночь разослано необходимое количество, т. е. около 120, Указов об изгнании, так называемых Указов печати (de cachet). И вот на следующее утро весь парламент, снова посаженный в экипажи, безостановочно катит к Труа в Шампани, «напутствуемый, как свидетельствует история, благословениями всего народа»; даже хозяева постоялых дворов и фореиторы не взимают денег за выражение своего почтения¹⁸. Это происходит 15 августа 1787 года.

Чего только не благословит народ, находясь в крайней нужде! Парижский парламент редко заслуживал, а тем более получал благословение. Эта обособленная корпорация, которая лучше или хуже, как любая корпорация, спаялась на основе давнишних неурядиц (когда сила шпаги беспорядочно боролась с силой пера) для удовлетворения неоформленных потребностей общества и вполне осознанных потребностей отдельных личностей; она взрастала на протяжении столетий на уступках, приобретениях и узурпациях, чтобы стать тем, что мы видим: процветающей общественной аномалией, выносящей приговоры по судебным делам, принимающей или отвергающей законы и при этом продающей за наличные свои места и посты, — впрочем, милый председатель Эно* по размышлении признает, что этот метод распределения должностей оптимален¹⁹.

* Эно Шарль Жан Франсуа (1685—1770) — французский поэт и историк, председатель первой следственной палаты Парижского парламента.

В корпорации, которая существует продажей мест за наличные, не может быть избытка общественного духа, зато должен быть избыток алчности при дележе общественного достояния. Мужики в шлемах делили его шпагами, мужики в париках делят его перьями и чернильницами, причем последние делают это более мирно, но зато и более отвратительно: средства париков в одно и то же время неодолимы и низменны. Долгий опыт, говорит Безанваль, показал, что бесполезно возбуждать судебное дело против парламентария: ни один судья не пошлет ему вызова в суд, его парик и мантия составляют его броню Вулкана*, его волшебный плащ-невидимку.

Парижский парламент, можно считать, не пользуется любовью, а в политическом отношении мелочен, не великодушен. Если король слаб, его парламент всегда (в том числе и сейчас) облаивает его, как шавка, опираясь на любой голос из народа. Если король силен, парламент облаивает других, изображая верную гончую короля. Неправедное учреждение, где бесчестные влияния не раз позорно извращали правосудие. Ведь и в эти дни разве кровь убитого Лалли не вопиет об отмщении? Затравленное, обманутое, доведенное до безумия, как пойманный лев, достоинство пало жертвой мстительной клеветы. Взгляните на него, на этого беспомощного Лалли, дикая, мрачная душа которого отражена на его диком, мрачном лице; его везут на позорной повозке смертников, а голос его отчаяния заглушен деревянным кляпом! Необузданная, пламенная душа, которая знала только опасности и труд и в течение шестидесяти лет боролась с ударами судьбы и людским коварством, как гений и мужество — с трусостью, подлостью и пошлостью; она выносила все и стремилась вперед. О Парижский парламент, и ты наградишь ее виселицей и кляпом?^{20**}

* В греческой мифологии бог огня, бог-кузнец.

** 9 мая 1766 г. — *Примеч. авт.*

Перед смертью Лалли* завещал своему сыну восстановить свою честь; молодой Лалли выступил и требует во имя Бога и людей восстановления справедливости. Парижский парламент делает все возможное, защищая то, что не имеет оправдания, что омерзительно; и странно, что оратором по этому вопросу избран мрачно-пламенный Аристокитон -д'Эпремениль.

* Граф де Лалли Тома Артур, барон де Толандаль (1702—1766) — губернатор французских владений в Индии. Во время Семилетней войны потерпел поражение от англичан и был взят в плен. По возвращении во Францию был заключен в Бастилию, а затем обезглавлен по обвинению в измене. В 1778 г. посмертной реабилитации Лалли добился его сын Трофим Жерар, граф де Лалли Толандаль (1751—1830), впоследствии известный публицист, депутат Учредительного собрания, сторонник конституционной монархии.

Такова та общественная аномалия, которую сейчас благословляет вся Франция. Грязная общественная аномалия, но она сражается против еще более дурной! Изгнанный парламент чувствует себя «покрытым славой». Бывают такие сражения, в которых сам Сатана, если он приносит пользу, принимается с радостью, и даже Сатана, если он мужественно сражается, может покрыть себя славой, пусть временной.

Но какое волнение поднимается во внешних дворах Дворца правосудия, когда Париж обнаруживает, что его парламент вывезен в Труа, в Шампань, и не осталось никого, кроме нескольких безгласных архивистов, а демосфеновские громы стихли и мученики свободы исчезли! Вопли жалоб и угроз вырвались из четырех тысяч глоток прокуроров, судейских писцов, разномастной публики и англоманов-дворян; подходят и новые праздношатающиеся посмотреть и послушать, что происходит; чернь во всевозрастающем количестве и со всевозрастающей яростью охотится за «шпионами» (mouchards). В этом месте образуется грохочущий водоворот, однако остальная часть города, занятая работой, не принимает в нем участия. Появляются плакаты со смелыми лозунгами, в самом дворце и вокруг него раздаются речи, которые не назовешь иначе как подстрекательскими. Да, дух Парижа изменился. На третий день, 18 августа, брата короля и монсеньера д'Артуа, прибывших в государственных каретах, чтобы «вычеркнуть» по обыкновению из протоколов последние возмутительные резолюции и протесты, приняли весьма примечательным образом. Брата короля, который, как считается, находится в оппозиции, встретили приветственными криками и осыпали цветами; монсеньера, напротив, молчанием, а затем ропотом, перешедшим в свист и негодующие крики, а непочтительная чернь начала наступать на него с таким бешеным свистом, что капитан гвардии вынужден был отдать приказ: «В ружье!» (Haut les amies!) При этих громоподобных словах и блеске начищенных стволов толпы черни распались и с большой поспешностью растворились в улицах²¹. Это тоже новая примета. И впрямь, как справедливо замечает месье де Мальзерб, «это совершенно новый вид борьбы парламента», который похож не на временный грохот двух столкнувшихся тел, а скорее «на первые искры того, что, не будучи потушенным, может перерасти в большой пожар»²².

Этот добропорядочный Мальзерб снова после десятилетнего перерыва оказывается в совете короля: Ломени хочет воспользоваться если не способностями этого человека, то хотя бы его добрым именем. Что же касается его мнения, то оно никого не интересует, и потому вскоре он подаст в отставку во второй раз и вернется к своим книгам и растениям, ибо что может сделать полезного добропорядочный человек в таком королевском совете? Тюрго даже и не требуется второго раза: Тюрго оставил Францию и этот мир несколько лет назад, и его покой не тревожим ничем. Примечательно, кстати, что Тюрго, наш Ломени и аббат Морелле некогда, в молодости, были друзьями — они вместе учились в Сорбонне. Как далеко разошлись они за сорок истекших лет!

Тем временем парламент ежедневно заседает в Труа, назначая дела к слушанию и ежедневно откладывая их, поскольку нет ни одного прокурора, чтобы выступить по ним. Труа настолько гостеприимен, насколько этого можно желать; тем не менее жизнь здесь сравнительно скучна; здесь нет толп, которые вознесли бы вас на плечах к бессмертным богам, с трудом собираются издалека один-два патриота, чтобы заклинить вас быть мужественными. Вы живете в меблированных комнатах, вдали от дома и домашнего уюта, вам нечего делать, кроме как слоняться по неприветливым полям Шампани, любоваться созревающими гроздьями винограда и, смертельно скучая, обсуждать обсужденное уже тысячу раз. Есть даже опасность, что Париж забудет вас. Приезжают и уезжают посланцы; миролюбивый Ломени не ленится вести переговоры и давать посулы, д'Ормессон и осторожные старшие члены королевской семьи не видят ничего хорошего в этой борьбе.

После тоскливого месяца парламент, то уступая, то сопротивляясь, заключает перемирие, как положено любому парламенту. Эдикт о гербовом сборе отозван, отозван и эдикт о поземельном налоге, но вместо них принят так называемый эдикт «О взимании второй двадцатины» — нечто вроде поземельного налога, но не столь обременительного для привилегированных сословий и лежащего в основном на плечи безгласного сословия. Более того, существует тайное обещание (данное старшими), что финансы будут укрепляться путем займов. Отвратительное же слово «Генеральные штаты» больше не упоминается.

И вот 20 сентября наш изгнанный парламент возвращается; д'Эпремениль сказал: «Он выехал, покрытый славой, но вернулся, покрытый грязью». Да нет, Аристокитон, это не так, а если и так, то ты как раз тот человек, которому придется очищать его.

Глава шестая

ИНТРИГИ ЛОМЕНИ

Мучили ли когда-нибудь незадачливого первого министра так, как мучат Ломени-Бриенна? Бразды государства он держит уже шесть месяцев, но нет ни малейшей движущей силы (финансов), чтобы стронуться с места в ту или иную сторону! Он размахивает бичом, но не двигается вперед. Вместо наличных денег нет ничего, кроме возмутительных споров и упорства.

Общественное мнение совсем не успокоилось: оно накаляется и разгорается все сильнее, а в королевской казне при постоянно растущем дефиците почти забыли, как выглядят деньги. Зловещие приметы! Мальзерб, наблюдая, как истощенная, отчаявшаяся Франция накаляется и накаляется, говорит о «пожаре»; Мирабо, не говоря ничего, снова вернулся, насколько можно понять, в Париж прямо по стопам парламента²³, чтобы уже никогда больше не покидать родную землю.

А за границей только посмотрите: Голландия захвачена Пруссией^{24*}, французская партия подавляется, Англия и штатгальтер торжествуют, к скорби военного министра Монморена и всех других. Но что может сделать первый министр без денег, этого нерва войны да и вообще всякого существования? Налоги приносят мало, а налог «второй двадцатины» начнет поступать только в следующем году, да и тогда со своим «строгим разграничением» даст больше споров, нежели денег. Налоги на привилегированные сословия невозможно зарегистрировать — их не поддерживают даже сторонники Ломени, налоги же на непривилегированных не приносят ничего: нельзя добыть воды из высохшего до дна колодца. Надежды нет нигде, кроме старого прибежища — займов.

* Октябрь 1787 г. — *Примеч. авт.*

Ломени, которому помогает проницательный Ламуаньон, углубившийся в размышления об этом море тревог, приходит в голову мысль: почему бы не заключить продолжающийся заем (*Emprunt successif*) или заем, получаемый из года в год, пока это необходимо, скажем, до 1792 года? Трудности при регистрации такого займа те же самые, но у нас тогда была бы передышка, деньги для неотложных дел или по крайней мере для жизни. Следует представить эдикт о продолжающемся займе. Чтобы успокоить философов, пусть перед ним пройдет либеральный эдикт, например о равноправии протестантов, и пусть сзади его подпирает либеральное обещание — по окончании займа, в том конечном 1792 году, созвать Генеральные штаты.

Либеральный эдикт о равноправии протестантов, тем более что время для него давно пришло, приносит Ломени столь же мало пользы, как и эдикт о «приведении приговоров в исполнение». Что же касается либерального обещания Генеральных штатов, то его можно будет выполнить, а можно и нет: до его исполнения пройдет пять лет, а мало ли что случится за пять лет. А как с регистрацией? И впрямь, вот она, сложность! Но есть обещание, тайно данное старейшинами в Труа. Искусное распределение наград, лесть, закулисные интриги старого Фулона, прозванного «беззаветно преданным (*âme damnée*), домовым парламента», возможно, сделают остальное. В самом худшем и крайнем случае королевская власть имеет и другие средства — и не должна ли она использовать их все до конца? Если королевская власть не сумеет найти деньги, она практически умерла, умерла самой верной и самой жалкой смертью — от истощения. Рискнем и победим, ведь если не рискнуть, то все погубило! Впрочем, поскольку во всех важных предприятиях полезна некоторая доля хитрости, Его Величество объявляет королевскую охоту на ближайшее 19 ноября, и все, кого это касается, радостно готовят охотничьи принадлежности.

Да, королевская охота, но на двуногую и бесперую дичь! В одиннадцать утра в день королевской охоты 19 ноября 1787 года внезапный звук труб, шум колес и топот копыт нарушили тишину обители правосудия — это прибыл Его Величество с хранителем печати Ламу-

аньоном, пэрами и свитой, чтобы провести королевское заседание и заставить зарегистрировать эдикты. Какая перемена произошла с тех пор, когда Людовик XIV входил сюда в охотничьих сапогах, с хлыстом в руке и с олимпийским спокойствием повелевал произвести регистрацию — и никто не осмеливался воспротивиться; ему не требовалось никаких уловок: он регистрировал эдикты с той же легкостью и бесцеремонностью, с какой и охотился!²⁵ Для Людовика же XVI в этот день хватило бы и регистрации.

Тем временем излагается цель королевского визита в подобающих случаю словах: представлены два эдикта — о равноправии протестантов и о продолжающемся займе; наш верный хранитель печати Ламуаньон объяснит значение обоих эдиктов; по поводу обоих эдиктов наш верный парламент приглашается высказать свое мнение — каждому члену парламента будет предоставлена честь взять слово. И вот Ламуаньон, не упуская возможности поразглагольствовать, завершает речь обещанием созвать Генеральные штаты — и начинается небесная музыка парламентского краснбайства. Взрывы, возражения, дуэты и арии становятся громче и громче. Пэры внимательно следят за всем, охваченные иными чувствами: недружелюбными к Генеральным штатам, недружелюбными к деспотизму, который не может вознаградить за заслуги и упраздняет должности. Но что взволновало его высочество герцога Орлеанского? Его румяное лунообразное лицо перекашивается, темнеет, как нечищенная медь, в стеклянных глазах появляется беспокойство, он ерзает на своем месте, как будто хочет что-то сказать. Неужели в нем — при его невыразимом пресыщении — пробудился вкус к какому-то новому запретному плоду? Пресыщение и жадность, лень, не знающая покоя, мелкое честолюбие, мнительность, отсутствие звания адмирала — о, какая мешанина смутных и противоречивых стремлений скрывается под этой кожей, покрытой карбункулами!

В течение дня «восемь курьеров» скажут из Версаля, где, трепеща, ожидает Ломени, и обратно с не самыми добрыми вестями. Во внешних дворах дворца царит громкий рокот ожидания; перешептываются, что первый министр за ночь потерял шесть голосов. А внутри не разносится ничего, кроме искусного, патетического и даже негодующего красноречия, душещипательных призывов к королевскому милосердию: да будет Его Величеству угодно немедленно созвать Генеральные штаты и стать Спасителем Франции; мрачный, пылающий д'Эпремениль, а еще в большей степени Сабатье де Кабр и Фрето, получивший с тех пор прозвище Болтун Фрето (Commère), кричат громче всех. Все это продолжается шесть бесконечных часов, а шум не стихает.

И вот наконец, когда за окнами сгущаются серые сумерки, а разговорам не видно конца, Его Величество по знаку хранителя печати Ламуаньона еще раз отверзает свои королевские уста и коротко произносит, что его эдикт о займе должен быть зарегистрирован. На мгновение воцаряется тишина! И вдруг! Поднимается монсеньер герцог Орлеанский и, обратив свое луноподобное лицо к помосту, где сидит король, задает вопрос, прикрывая изяществом манер невыносимое содержание: «Что есть сегодняшняя встреча: парламентское заседание или королевское собрание?» С трона и помоста на него обращаются испепеляющие взоры; слышится гневный ответ: «Королевское собрание». В таком случае монсеньер просит позволения заметить, что на королевском собрании эдикты не могут регистрироваться по приказу и что он лично приносит свой смиренный протест против подобной процедуры. «Вы вольны сделать это» (Vous êtes bien le maître), — отвечает король и, разгневанный, удаляется в сопровождении своей свиты; д'Орлеан сам по обязанности должен сопровождать его, но только до ворот. Выполнив эту обязанность, д'Орлеан возвращается от ворот, редактирует свой протест на глазах у аплодирующего парламента, аплодирующей Франции и тем самым перерубает якорную цепь, связывавшую его со двором; отныне он быстро поплывет к хаосу.

О, безумный д'Орлеан! О каком равенстве может идти речь! Разве королевская власть уже превратилась в воронье пугало, на которое ты, дерзкий, грязный ворон, смеешь с наслаждением садиться и клевать его? Нет, еще нет!

На следующий день указ об изгнании отправляет д'Орлеана поразмышлять в его замок Вилле-Коттере, где, увы, нет Парижа и его мелких радостей жизни, нет очаровательной и незаменимой мадам Бюффон, легкомысленной жены великого натуралиста, слишком старого для нее. Как говорят, в Вилле-Коттере монсеньер не делает ничего и только прогуливается с растерянным видом, проклиная свою звезду. И даже Версаль услышит его покаянные вопли — столь

тяжек его жребий. Вторым указом об изгнании Болтун Фрето отправлен в крепость Гам, возвышающуюся среди болот Нормандии; третьим — Сабатье де Кабр брошен в Мон-Сен-Мишель, затерянный в зыбучих песках Нормандии. Что же касается парламента, то он должен по приказу прибыть в Версаль с книгой протоколов под мышкой, чтобы вымарать (*biffé*) протест герцога Орлеанского, причем не обходится без выговоров и упреков. Власть употреблена, и можно надеяться, что дело уладится.

К сожалению, нет; эта мера подействовала, как удар хлыста на упрямого коня, который заставляет его подняться на дыбы. Если упряжка в 25 миллионов начинает подниматься на дыбы, что может сделать хлыст Ломени? Парламент отнюдь не расположен покорно уступить и приняться за регистрацию эдикта о протестантах и за другие дела, в спасительном страхе перед этими тремя указами об изгнании. Совсем напротив, он начинает подвергать сомнению сами указы об изгнании, их законность, непререкаемость; испускает жалобные упреки и посылает петицию за петицией, чтобы добиться освобождения своих трех мучеников, и не может, пока это не выполнено, даже думать об изучении эдикта о протестантах, откладывая его «на неделю»²⁶.

К этой струе обличений присоединяются Париж и Франция, или, скорее, они даже опередили парламент, но все вместе они образуют наводящий ужас хор. А вот уже и другие парламенты раскрыли рот и начинают объединяться с Парижем, причем некоторые из них, как, например, в Гренобле и в Ренне, со зловещим пафосом угрожают воспрепятствовать сборщикам налогов исполнять их обязанности²⁷. «Во всех предыдущих столкновениях, — замечает Мальзерб, — парламент поднимал общество на борьбу, теперь же общество поднимает парламент».

Глава седьмая

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК

Что за зрелище являет собой Франция в эти зимние месяцы 1787 года! Сам *Oeil de Bœuf* скорбен, неуверен, а среди угнетенных распространяется общее чувство, что было бы лучше жить в Турции. Уничтожены своры для охоты на волков, и на медведей тоже; замолкли герцог де Куаньи и герцог де Полиньяк; в маленьком рае Трианона однажды вечером Ее Величество берет под руку Безанваля и просит высказать свое искреннее мнение. Неустрасимый Безанваль, надеющийся, что уж в нем-то нет ничего от льстеца, прямо высказывает ей, что при восставшем парламенте и подавленности *Oeil de Bœuf* королевская корона находится в опасности; странная вещь, Ее Величество, как будто обидевшись, переменяла тему разговора «и не говорила со мной больше ни о чем» (*et ne me parla plus de rien*)²⁸.

А с кем, в самом деле, говорить этой бедной королеве? Ей более, чем кому-либо из смертных, необходим мудрый совет, а вокруг нее раздается только рокот хаоса! Ее столь блестящие на вид покои омрачены смятением и глубокой тревогой. Горести правительницы, горести женщины, вал горестей накрывает ее все плотнее. Ламот, графиня, связанная с делом об ожерелье, несколько месяцев назад сбежала, возможно была заставлена бежать, из Сальпетриера. Тщетной была надежда, что Париж потихоньку забудет ее и эта всевозрастающая ложь, нагромождение лжи прекратится. Ламот с выжженной на обоих плечах буквой «V» (от *voleuse* — воровка) добралась до Англии и оттуда распространяет ложь за ложью, пятная высочайшее имя королевы; все это безрассудное вранье²⁹, но в своем нынешнем состоянии Франция жадно и доверчиво подхватывает его.

В конце концов совершенно ясно, что наш последовательный заем не найдет размещения. Да и впрямь, при таких обстоятельствах заем зарегистрированный, невзирая ни на какие протесты, вряд ли может быть размещен. Осуждение указов об изгнании и вообще деспотизма не смягчается: двенадцать парламентов не унимаются, как и двенадцать сотен карикатуристов, уличных певцов и сочинителей памфлетов. Париж, говоря образным языком, «затоплен памфлетами» (*regorge de brochures*), волны которых то приливают, то отливают. Потоп гнева, изливаемого таким количеством патриотов-борзописцев, страсти которых достигли точки кипения и вот-вот взорвутся, как гейзер в Исландии! Что могут сделать с ними рассудительный друг Морелле, некий Ривароль*, некий бесшабашный Ленге, хотя им и хорошо платят, — окатить их холодной водой?

Наконец наступает черед обсуждения эдикта о протестантах, но оно ведет только к новым осложнениям в форме памфлетов и контрпамфлетов, которые подогревают страсти. Даже ортодоксальная церковь, казавшаяся ослабленной, хочет приложить к сумятице руку. В лице аббата Ланфана, «которому затем прелаты наносят визиты и поздравляют», она еще раз поднимает шум с высоты кафедры³⁰. Или обратите внимание, как д'Эпремениль, всегда ищущий собственных кривых путей, в подходящий момент своей парламентской речи вытаскивает из кармана небольшое распятие и провозглашает: «Вы хотите снова распять его?» Его! О, неразборчивый в средствах д'Эпремениль, подумай, из какого хрупкого материала он сделан — слоновой кости и филиграни!

Ко всему этому добавляется болезнь бедного Бриенна: сколь неумеренно тратил он силы в своей грешной молодости, столь бурно, постоянно волнение его безумной старости. Затравленный, оглушенный лаем стольких глоток, его милость лежит в постели, соблюдая молочную диету, у него начинается воспаление, он в огорчении, почти в отчаянии: ему в качестве необходимого лекарства предписан «покой», но именно покой и невозможен для него³¹.

В целом же что еще остается злосчастному правительству, как не отступить еще раз? Королевская казна исчерпана до дна, Париж «затоплен волной памфлетов». Во всяком случае хоть последнее надо немного унять. Герцог Орлеанский возвращается в Рэнси, который находится неподалеку от Парижа, и к красавице Бюффон, а затем и в сам Париж. Да и Сабатье и Фрето наказаны не пожизненно. Эдикт о протестантах зарегистрирован, к великой радости Буасси д'Англа* и добропорядочного Мальзерб; вопрос о последовательном займе, все протесты против которого не приняты во внимание или взяты обратно, остается открытым именно потому, что нет или очень мало желающих дать его. Генеральные штаты, которых требовал парламент, а теперь требует вся нация, будут созваны «через пять лет», если не раньше. О парламент Парижа, что это за требование! «Господа, — сказал старый д'Ормессон, — вы получите Генеральные штаты и пожалеете об этом», как тот конь из басни, который, чтобы отомстить врагу, обратился к человеку; человек вскочил на него, быстро расправился с врагом, но уже не спешился! Вместо пяти пусть пройдет всего лишь три года, и этот требовательный парламент увидит поверженным своего врага, но и сам будет заезжен до изнеможения или, вернее, убит ради копыт и кожи и брошен в придорожную канаву.

* Буасси д'Англа Франсуа Антуан (1756—1826) — адвокат, депутат Генеральных штатов, а затем депутат Конвента.

Вот при таких знаменьях подходит весна 1788 года. Правительство короля не находит путей спасения и вынуждено повсеместно отступать. Осажденное двенадцатью восставшими парламентами, которые превратились в органы возмущенной нации, оно не может пошевелиться, чего-либо добиться, получить что-либо, даже деньги на свое существование; оно вынуждено бездействовать, вероятно, в ожидании, когда будет пожрано дефицитом.

Так неужели переполнилась мера гнусностей и лжи, которые накапливались на протяжении долгих столетий? Мера нищеты по крайней мере полна! Из лачуг 25 миллионов нищета, распространяясь вверх и вперед, что закономерно, достигла самого *Oeil de Boeuf* в Версале. Рука человека, ослепленного страданиями, поднялась на человека, не только низшего на высшего, но и высших — друг на друга; местное дворянство раздражено против придворного, мантия — против шпаги, стихарь — против пера. Но кто не раздражен против правительства короля? Теперь этого нельзя сказать даже о Безанвале. Врагами правительства стали все люди, как по отдельности, так и все их сообщества, оно — центр, против которого объединяются и в котором сталкиваются все разногласия. Что это за новое всеобщее головокружительное движение учреждений, социальных установлений, индивидуальных умов, которые некогда действовали слаженно, а теперь бьются и трутся друг о друга в хаотичных столкновениях? Это неизбежно, это крушение мирового заблуждения, наконец-то износившегося вплоть до финансового банкротства! И потому злосчастный версальский двор, как главное или центральное заблуждение, обнаруживает, что все другие заблуждения объединились против него. Вполне естественно! Ведь человеческое заблуждение, личное или общественное, всегда нелегко вынести, и если оно прибли-

жается к банкротству, то приносит несчастье; когда какое-либо самое маленькое заблуждение соглашалось порицать или исправлять самое себя, если можно исправлять других?

Эти угрожающие признаки не страшат Ломени и еще менее учат его. Ломени хоть и легкомыслен, но не лишен мужества своего рода. Да и разве мы не читали о самых легкомысленных существах — дрессированных канарейках, которые весело летают с зажженными фитилями и поджигают пушку или даже пороховые склады? Ожидать смерти от дефицита не входит в планы Ломени. Зло велико, но не может ли он победить его, сразиться с ним? По меньшей мере он может сразиться с его симптомами: он может бороться с этими мятежными парламентами, и не исключено, что усмирит их. Многое неясно Ломени, но две вещи понятны: во-первых, парламентская дуэль с королевской властью становится опасной, даже смертельно опасной; во-вторых, необходимо достать деньги. Ну, соберись с мыслями, отважный Ломени, призови своего хранителя печати Ламуаньона, у которого много идей! Вы, которые так часто бывали повержены и жестоко обмануты, когда, казалось, уже держали в руке золотой плод, соедините свои силы для еще одного, последнего сражения. Обуздать парламент и наполнить королевскую казну — это теперь вопросы жизни и смерти.

Уже не раз обуздывались парламенты. Поставленный на край пропасти, любой парламент обретает благоразумие. О Мопу, дерзкий негодяй! Если бы мы оставили твое дело в покое! Но кроме изгнания или другого насилия, не существует ли еще одного способа обуздания всего, даже львов? Этот способ — голод! Что, если урезать ассигнования на парламент, точнее, на судебные дела!

Можно учредить второстепенные суды для разбирательства множества мелких дел; мы назовем их судами бальяжей (Grand Bailliages). Пусть парламент, у которого они отнимут часть добычи, зеленеет от злобы, а вот публика, обожающая грошовую справедливость, будет взирать на них с благосклонностью и надеждой. Что касается финансов, регистрации эдиктов, почему бы не создать из сановников нашего собственного Oeil de Voeuf, принцев, герцогов и маршалов, нечто, что мы назовем Пленарным судом, и там проводить регистрации, так сказать, для себя самих? У Людовика Святого* был свой Пленарный суд, состоявший из владетельных баронов³², который принес ему много пользы; и у нас есть свои владетельные бароны (по крайней мере титул этот сохраняется), а нужда в таком учреждении у нас значительно больше.

* Людовик Святой — французский король Людовик IX (1226—1270). В 1248 г. отправился в крестовый поход в Египет и попал в плен. Откупившись, он еще четыре года оставался в Сирии, дожидаясь новой партии крестоносцев.

Таков план Ломени—Ламуаньона. Королевский совет приветствует его, как луч света во мраке ночи. План представляется исполнимым, он настоятельно необходим; если его удастся как следует провести в жизнь, он принесет большое облегчение. Молчите же и действуйте, теперь или никогда! Мир увидит еще одну историческую сцену, поставленную таким исключительным режиссером, как Ломени де Бриенн.

Посмотрите, как министр внутренних дел Бретей самым мирным образом «украшает Париж» этой полной надежд весной 1788 года; старые навесы и лавки исчезают с наших мостов; можно подумать, что и для государства наступила весна и у него нет иной заботы, кроме как украшать Париж. Парламент, похоже, считает себя общепризнанным победителем. Бриенн не заговаривает о финансах, а если и упоминает о них, то отмечает, устно и письменно, что все идет хорошо. Как же так? Такой весенний покой, хотя продолжающийся заем не размещен? В победоносном парламенте советник Гуалар де Монсабер* даже восстает против сбора «второй двадцатины при строгом распределении» и добивается декрета о том, чтобы распределение не было строгим — во всяком случае для привилегированных сословий. И тем не менее Бриенн все это сносит и не издает указов об изгнании. Как же так?

Ясная погода весной бывает обманлива, изменчива, неожиданна! Сначала шепотом разносится слух, что «все интенданты провинций получили приказ быть на своих местах в определенный день». Еще более настораживающая весть: в королевском дворце, под замком, непрерывно что-то печатается. У всех дверей и окон стоит стража, печатников не выпускают, они спят в рабочих помещениях, даже пища передается им внутрь!³³ Победоносный парламент чувствует

опасность. Д'Эпремениль заложил лошадей, уехал в Версаль и бродит вокруг усиленно охраняемой типографии, выпытывая, разнюхивая, надеясь умом и проницательностью разгадать загадку.

Почти все проницаемо для золотого дождя. Д'Эпремениль опускается в виде «пятисот луидоров» на колени некоей Данаи**, жены наборщика; муж Данаи передал ей глиняный шар, который она в свою очередь отдала осыпавшему ее золотом советнику парламента. Внутри шара находились печатные листы — господи! — королевского эдикта о том самом самостоятельно регистрирующем эдикты Пленарном суде, об этих судах бальяжей, которые должны отнять у нас наши судебные дела! Эту новость необходимо распространить по всей Франции за один день.

* Гуалар де Монсабер — лидер парламентской оппозиции.

** Аллюзия на греческий миф о Данае, к которой Зевс проник в виде золотого дождя.

Так вот чего было приказано ожидать интендантам на своих местах, вот что высиживал двор, как проклятое яйцо василиска*, вот почему он не пошевелился, несмотря на вызовы, — он ждал, пока из яйца вылупится детеныш! Спешите с этой вестью, д'Эпремениль, назад, в Париж, немедленно созывайте собрание — пусть парламент, пусть земля, пусть небеса узнают об этом!

* Мифическая змея, одним своим взглядом убивающая людей и животных.

Глава восьмая

АГОНИЯ ЛОМЕНИ

Наутро, т. е. 3 мая 1788 года, созван недоумевающий парламент; он, онемев, выслушивает речь д'Эпремениля, разоблачающую безмерное преступление, мрачное деяние, вполне в духе деспотизма! Раскрой его, о парламент Парижа, пробуди Францию и мир, разразись громами своего красноречия, ведь и для тебя тоже поистине теперь или никогда!

В подобных обстоятельствах парламент должен быть на посту. В минуту крайней опасности лев сначала возбуждает себя ревом и хлещет хвостом по бокам. Так и парламент Парижа. По предложению д'Эпремениля единодушно произносится патриотическая клятва во взаимной солидарности — прекрасная и свежая мысль, которая в ближайшие годы не останется без подражаний. Затем принимается смелая декларация, почти Декларация прав человека*, но пока декларация прав парламента, призыв ко всем друзьям свободы во Франции ныне и во веки веков. Все это или по крайней мере суть всего этого заносится на бумагу, несколько жалобный тон умеряет героическую мужественность. Так парламент звонит в набат, который слышит весь Париж, который услышит вся Франция, и, бросив вызов Ломени и деспотизму, парламент расходится, как после дня тяжелой работы.

* Декларация прав человека и гражданина — программный документ, провозгласивший основные принципы нового, созданного революцией общества. Принята Учредительным собранием 26 августа 1789 г.

Как чувствует себя Ломени, обнаружив, что его яйцо василиска (столь необходимое для спасения Франции) разбито преждевременно, пусть догадается сам читатель! В негодовании он хватает свои молнии (de cachet) и мечет две из них: в д'Эпремениля и в деловитого Гуалара, чьи услуги в проведении «второй двадцатины» и «строгости распределения» не забыты. Эти молнии, поспешно заготовленные ночью и выпущенные рано утром, должны поразить возбужденный Париж и если не успокоить его, то вызвать полезное ошеломление.

Молнии министра могут быть посланы, но поразят ли они цель? Предупрежденные, как полагают, какой-то дружеской птичкой, д'Эпремениль и Гуалар, оба, ускользают от сержантов Ломени, бегут, переодевшись, через слуховые окна, по крышам, к себе во Дворец правосудия — молния пронеслась мимо. Париж (слух разлетелся моментально) потрясен, но не только от удивления. Два мученика свободы сбрасывают одежды, в которых они бежали, надевают свои длинные мантии; обратите внимание, уже через час при помощи сторожей и курьеров парламент снова созван, со всеми его советниками, президентами и даже пэрами. Собравшийся парламент объявляет, что два его мученика не могут быть выданы никакой в этом подлунном мире власти,

более того, «заседание будет непрерывным», без каких-либо отсрочек, пока преследование не будет прекращено.

И вот парламент ждет исхода, находясь в состоянии непрекращающегося ни днем ни ночью извержения горячих речей, жалоб, протестов, принимая и отправляя курьеров.

Пробудившийся Париж снова наводняет внешние дворы, кипит и еще более буйно, чем прежде, разливается по улицам. Повсюду сумятица и неразбериха, как в Вавилоне, когда строителей башни вдруг охватил ужас непонимания, но они все еще держались вместе, не думая разбегаться.

Ежедневно Париж переживает смену периодов работы и сна, и сейчас большинство европейцев и африканцев спит. Но здесь, в вихре слов, сон не приходит; тщетно простирает ночь над дворцом свой покров темноты. Внутри шумит необоримая готовность принять мученичество, умеряемая несколько жалобным тоном. Снаружи слышится неумолчный гул выжидания, становящийся чуть сонливым. Так продолжается 36 часов.

Но послушайте! Что за топот раздается в глухую полночь? Топот вооруженных людей, пеших и конных; это французская гвардия и швейцарские гвардейцы движутся сюда молчаливым строем при свете факелов! Здесь и саперы с топорами и ломачами: вероятно, если двери не будут открыты, их взломают! Вот капитан д'Агу, посланный Версалем. Д'Агу известен своей решительностью: однажды он вынудил самого принца Конде — всего-навсего пристальным взглядом — дать ему удовлетворение и драться на дуэли³⁴; и вот он приближается с топорами и факелами к святилищу правосудия. Это кощунство, но что же делать? Д'Агу — солдат, он признает только приказы и движется бесстрастно, как бездушная машина.

Двери отворяются по его требованию одна за другой, в топорах нужды нет. Вот распаивается последняя дверь, и перед ним сенаторы Франции в длинных мантиях: 167 по списку, 17 из них — пэры, они величественно проводят «непрерывное заседание». Не будь этот человек военным, закованным в броню, это зрелище, эта тишина, нарушаемая только стуком его собственных сапог, могли бы поколебать его! Потому что 167 человек встречают его гробовым молчанием; некоторые уподобляют его молчанию римского Сената при нападении Бренна*, другие — тишине в логове фальшивомонетчиков, застигнутых полицией³⁵. «Господа, — сказал д'Агу, — именем короля!» (Messieurs, de par le roi!), специальным приказом на него, д'Агу, возложена прискорбная обязанность арестовать двух человек: месье Дюваля д'Эпремениля и месье Гуалара де Монсабера, каковых двух почтенных господ он призывает «именем короля» отозваться самим, поскольку он не имеет чести их знать. Глубокое молчание! Шумок перерастает в ропот. «Мы все д'Эпременили!» — отваживается один, другие голоса поддерживают его. Председатель вопрошает, применит ли д'Агу силу? Капитан д'Агу, которому оказана честь исполнить приказ короля, должен исполнить приказ короля; он бы с удовольствием обошелся без насилия, но если придется, то применит; он дает высочайшему сенату время обсудить, какой из способов предпочтительнее. После чего д'Агу с солдафонской любезностью удаляется на некоторое время.

* Предводитель галлов, вторгшихся около 390 г. до н. э. в Италию и захвативших Рим.

Но какая от этого польза, достопочтенные сенаторы? Все выходы перекрыты штыками. Ваш курьер скачет в Версаль сквозь ночной туман и вернется назад с известием, что приказ подлинный, что он не будет отменен. Внешние дворы кишат празднующими, но гренадеры д'Агу стоят несокрушимой стеной, никакое восстание не освободит вас. «Господа, — произносит тогда д'Эпремениль, — когда победоносные галлы вошли во взятый приступом Рим, римские сенаторы, облаченные в пурпур, остались сидеть в своих курульных креслах с гордым и спокойным видом, ожидая рабства или смерти. Таково и то возвышенное зрелище, которое вы в этот час являете миру (à l'univers), после того как великодушно...» — и еще много подобного, что можно прочесть и сейчас.

О д'Эпремениль, все тщетно! Вот возвращается непробиваемый капитан д'Агу со своими бесцеремонными солдафонскими манерами. Деспотизм, насилие, разрушение олицетворяет его колеблющийся султан. Д'Эпремениль вынужден замолчать и героически сдаться, пока не случилось что-либо похуже. Ему героически подражает Гуалар. С очевидным, но не воплощен-

ным в слова волнением они бросаются в объятия своих братьев-парламентариев для прощального поцелуя, и вот среди протестов и стенаний из 165 уст, среди стонов и пожатий рук и бури парламентских излияний чувств их выводят по извилистым коридорам к задней двери, где в серых рассветных сумерках их ожидают две кареты с жандармами (Echempts). Жертвы должны подняться в кареты под угрозой штыков. На вопрос д'Эпремениля, обращенный к толпе, имеют ли они мужество, последовало молчание. Они садятся в кареты и отъезжают, и ни восходящее майское солнце (а было это утром 6 мая), ни заходящее солнце не радует их души; они безостановочно едут все дальше: д'Эпремениль — к самому далекому острову Св. Маргариты, или Иерро* (некоторые полагают, что это остров Калипсо**, но это слабое утешение); Гуалар — в замок Пьер-ан-Сиз, который существовал тогда неподалеку от Лиона.

* Самый западный из Канарских о-вов.

** В греческой мифологии нимфа Калипсо, царица о-ва Огигия, куда приплыл Одиссей; локализация острова неопределенна.

Капитан д'Агу может ожидать теперь повышения в чин майора и должности коменданта Тюильри³⁶ и на этом покинуть историческую сцену, на которой все же ему было суждено исполнить значительное дело. Ведь не только д'Эпремениль и Гуалар целыми и невредимыми отправляются на юг, но и — по тому же неумолимому приказу — сам парламент должен очистить помещение. Подобрав полы своих длинных мантий, все 165 парламентариев проходят сквозь строй враждебных гренадеров — зрелище, достойное богов и людей. Народ не восстанет, он удивляется и ворчит; заметит, что враждебные гренадеры — это французская гвардия, которая в один прекрасный день перестанет быть враждебной! Одним словом, Дворец правосудия очищен, двери заперты, и д'Агу возвращается в Версаль с ключом в кармане, заслужив, как уже было сказано, повышение.

Что же касается Парижского парламента, выгнанного на улицу, мы без сожалений расстанемся с ним. Через две недели он будет переведен в Версаль на особые заседания для регистрации или, скорее, для отказа зарегистрировать только что изданные эдикты; будет собираться там в тавернах и кабаках с целью сформулировать свой протест³⁷ или будет обескураженно бродить в развевающихся мантиях, не зная, где собраться; будет вынужден заявить свой протест «у одного нотариуса» и в конце концов усядется сложа руки (ему навяжут «вакации»), чтобы ничего не предпринимать; все это вполне естественно, так же как похороны мертвых после сражения, и не интересует нас. Парламент Парижа исполнил свою роль: он сделал или не сделал все, что мог, и вряд ли в будущем сумеет всколыхнуть мир.

Так что же, Ломени устранил зло? Совсем нет, в лучшем случае — симптомы зла, да едва ли и двенадцатую часть этих симптомов, возмущив при этом одиннадцать других частей! Интенданты провинций и военные коменданты находятся на своих постах в назначенный день 8 мая, но ни в одном парламенте, за исключением парламента Дуэ, зарегистрировать новые эдикты оказывается невозможным. Нигде не состоялось мирного подписания чернилами, но произошло повсеместно пролитие крови, прозвучали угрозы, обращения к простому праву кулака! Разгневанная Фемида обращает к бальяжам, к Пленарному суду лик войны; местное дворянство на ее стороне, а также все, кто ненавидит Ломени и плохие времена; через своих адвокатов и судебных приставов она вербует себе низшие слои общества. В Ренне, в Бретани, где интендантом служит известный Бертран де Мольвиль, постоянные кровопролитные драки между военными и штатскими переросли в уличные столкновения, сопровождаемые метанием камней, стрельбой из ружей, а эдикты так и остаются неподписанными. Обеспокоенные бретонцы посылают к Ломени депутацию из 12 человек с протестом; однако, выслушав их, Ломени заключает их в Бастилию. Вторую депутацию, более многочисленную, он посылает встретить по дороге и угрозами заставляет ее повернуть обратно. И вот теперь третья, самая многочисленная депутация с возмущением послана по разным дорогам; ей отказывают по прибытии в приеме, она собирается на совещание, приглашает Лафайета и всех патриотов-бретонцев, находящихся в Париже; депутация приходит в волнение и превращается в Бретонский клуб*, первый росток Общества якобинцев³⁸.

* Бретонский клуб — первый политический клуб, созданный в июне 1789 г. группой депутатов Национального собрания из Бретани.

Восемь парламентов отправлено в изгнание³⁹, другим тоже не помешало бы это лечение, но его не всегда легко применить. В Гренобле, например, где Мунье и Барнав не тратили времени зря, парламент получил соответствующий указ (Lettres de Cachet), повелевающий ему самому удалиться в изгнание, а поутру, вместо того чтобы закладывать кареты, зловеще бьют в набат, и весь день он взывает и грохочет, с гор спускаются толпы крестьян с топорами и даже с огнестрельным оружием, но солдаты не выражают желаний (и это чревато многим) иметь с ними дело. Бедный генерал, над головой которого «занесен топор», вынужден подписать капитуляцию: обещать, что «указ об изгнании» не будет приведен в исполнение, а драгоценный парламент останется там, где он есть. И Безансон, и Дижон, и Руан, и Бордо совсем не те, какими им бы следовало быть! В По, в Беарне, где старый комендант отказался от своего поста, нового коменданта (Граммона, уроженца этих мест) встречает процессия городских жителей, несущих люльку Генриха IV, святыню города, и закликает его в то время, когда он преклоняет колено перед этим черепаховым панцирем, в котором качали великого Генриха, не попирая беарнскую свободу, а также сообщает ему, что в общем и целом пушки Его Величества будут находиться в полной сохранности — под надзором преданных Его Величеству горожан По; и вот пушки стоят, нацеленные на стены крепости и готовые к действию⁴⁰.

По-видимому, у ваших «судов бальяжей» будет бурное детство. Что касается Пленарного суда, то это учреждение в прямом смысле мертворожденное⁴¹. Даже придворные относятся к нему недоверчиво; старый маршал Брольи отклонил честь заседать в нем. Под напором всеобщих насмешек, граничащих с ненавистью, этот злополучный Пленарный суд собрался всего один раз, второго раза уже не было. Несчастливая страна! Гидра разлада шипит, высовывая свои раздвоенные языки, повсюду, где только Ломени поставит ногу. «Едва комендант или королевский комиссар, — пишет Вебер, — входит в один из этих парламентов, чтобы зарегистрировать эдикт, весь трибунал испаряется, и комендант остается один на один с писцом и первым президентом. Когда же эдикт регистрируется и комендант уходит, весь трибунал спешит обратно и объявляет эту регистрацию недействительной. Дороги заполнили большие депутации парламентов, едущие в Версаль добиваться, чтобы король собственноручно вычеркнул их регистрации, или возвращающиеся домой, чтобы покрыть новую страницу новыми резолюциями, еще более дерзкими»⁴².

Такова Франция 1788 года. Это уже не Золотой или бумажный век надежды со скачками, воздушными шарами и тонкими сердечными порывами; ах, это все ушло безвозвратно! Золотой блеск потускнел, помраченный всходящими семенами необычайной бури. Как в «Поле и Виргинии» Сен-Пьера изображается штормовое море: «Огромная неподвижная туча (скажем, гора и негодования) закрыла весь наш горизонт; она простирается по свинцовому небу, косматая, окаймленная медными отблесками». Сама она неподвижна, но «от нее отрываются небольшие облака (скажем, изгнанные парламенты и тому подобное) и летят над головой, как птицы», пока с громким завыванием не поднимутся все четыре ветра и не сольются воедино, так что весь мир воскликнет: «Так ведь это ураган!»

В такой ситуации, что вполне естественно, последовательный заем разместить не удастся, также ничего не выходит и со сбором налога «второй двадцатины», по крайней мере при «строгом распределении»: Вебер со свойственной ему истерической горячностью говорит: «Займодавцы испугались разорения, сборщики налогов — виселицы». Даже духовенство отворачивается: созванное на чрезвычайное собрание, оно не приносит добродетельного даяния (don gratuit) в иной, нежели совет, форме; вместо наличных денег оно преподносит пожелание созвать Генеральные штаты⁴³.

О Ломени-Бриенн, с твоим слабым, бедным, растерянным умом, а теперь и с «тремя ранами» от прижиганий на твоём изношенном теле, близком к смерти от воспаления, раздражения, молочной диеты, лишаев и *maladie* (лучше оставим это слово непереверденным)⁴⁴, ты управляешь Францией, которая тоже страдает от неисчислимых прижиганий и тоже умирает от воспаления и всего прочего! Благоразумно ли было покидать тенистые луга Бриенна и только что отстроенный замок и все, что в нем есть, ради этого? Как хороши были эти рощи и луга, как сладки были песнопения стихоплетов и нежны ласки нарумяненных граций!⁴⁵ И всегда тот или другой философ, вроде Морелле, ничем не омрачавший ни себя, ни тебя, так сказать, шаман-непрофессионал, по-видимому, был счастлив, создавая вокруг себя счастливых (что тебе, ко-

нечно, известно). И совсем близко от тебя (если бы ты знал это!) в военной школе сидел, изучая математику, смуглый неразговорчивый юноша, имя которого — Наполеон Бонапарт! На что же ты променял все это — на 50 лет усилий, приведших к отчаянной борьбе! Ты получил мундир министра, как Геркулес рубашку Несса*.

* В греческой мифологии рубашка кентавра Несса, отравленная ядом, послужила причиной смерти Геракла.

13 июля того же 1788 года, накануне жатвы, выпадает страшнейший град, уничтоживший урожай этого года, который и так пострадал от засухи. На 60 лиг вокруг Парижа почти все посевы погибли⁴⁶. Ко многим другим бедам приходится добавить еще одну — неурожай, а возможно, и голод.

За несколько дней до этого града, 5 июля, и — еще решительнее — через несколько дней после него, 8 августа, Ломени объявил, что Генеральные штаты будут созданы в мае будущего года. До этого времени заседания Пленарного суда и прочих будут отложены. Далее, поскольку у Ломени нет представления, как образовывать или формировать эти вождельные Генеральные штаты, «думающие люди приглашаются» представить ему свои соображения — путем обсуждения в общественной печати!

А что было делать бедному министру? Он еще оставляет себе 10 месяцев передышки; тонущий лоцман выбрасывает за борт все вещи, даже мешки с сухарями, балласт, топливо, компас и квадрант, прежде чем выброситься самому. Именно этим принципом, принципом кораблекрушения, и начинающимся бредом отчаяния можно объяснить совершенно невероятное «приглашение думающих людей». То же самое, что пригласить хаос быть столь любезным, чтобы построить для него, Ломени, ковчег спасения из беспорядочно плавающих бревен! В таких случаях пользу приносят приказания, а не приглашения. В этот вечер королева стояла у окна, выходящего в сад. Кафешенк (Chef de Gobelet) последовал за ней, подобострастно подавая ей чашку кофе, и удалился, ожидая, пока кофе будет выпит. Ее Величество сделала знак г-же Кампан приблизиться. «Великий Боже! — прошептала она, держа в руке чашку. — Какая новость будет сегодня обнародована! Король разрешает созвать Генеральные штаты». И, воздев взор к небесам, она (если г-жа Кампан не ошибается) добавила: «Это первый удар набата, дурное предзнаменование для Франции. Дворянство погубит нас!»⁴⁷

Пока длилось все это заседание Пленарного суда, а Ламуаньон хранил загадочный вид, Безанваль не раз задавал ему один вопрос: есть ли у них наличные деньги? Так как Ламуаньон всегда отвечал (доверяя Ломени), что с деньгами все в порядке, то рассудительный Безанваль утверждал, что все в порядке вообще. И тем не менее грустная действительность состоит в том, что королевская казна в буквальном смысле пустеет. Помимо всего прочего «приглашение думающих людей», так же как и происходящие великие перемены, способно только «остановить обращение капитала» и содействовать обращению памфлетов. Несколько тысяч луидоров — вот все деньги или денежные ценности, еще остающиеся в королевской казне. Еще один отчаянный шаг — Ломени приглашает Неккера занять пост министра финансов! Неккер хочет отнюдь не управления финансами для Ломени; послав сухой отказ, он продолжает молча выжидать свое время.

Что же делать павшему духом первому министру? Он уже прибрал кассу Королевского театра; в пользу пострадавших от града были устроены лотереи — находясь на краю пропасти, Ломени наложил лапу даже на их выручку⁴⁸. Скоро станет невозможно никакими средствами обеспечить нужды хотя бы сегодняшнего дня. 16 августа бедный Вебер услышал на улицах Парижа и Версаля разносчиков, выкрикивающих глухими, сдавленными голосами (voix étouffée, sourde) эдикт о платежах (это мягкое название для него придумал Ривароль): все платежи в королевскую казну отныне должны состоять на три пятых из монеты, а остальные две пятых — из бумажных денег! Бедный Вебер чуть не лишился чувств при звуках пронзительных голосов с их пророческим карканьем; он никогда не забудет этого впечатления⁴⁹.

А каково впечатление, произведенное на Париж, на весь мир? Из нор менял, с высот политической экономии, неkkerизма и философизма, из всех глоток поднимаются такие вопли и вой, членораздельные и нечленораздельные, каких еще не слыхивало ухо. Мятеж может стать неизбежным! Монсеньер д'Артуа по настоянию герцогини де Полиньяк считает своим долгом

пойти к Ее Величеству и объяснить откровенно, в каком кризисном состоянии находятся дела. «Королева плачет», плачет и сам де Бриенн, ведь теперь несомненно, что он должен удалиться.

Остается только надеяться, что двор, которому всегда нравились манеры и болтовня Ломени, чем-либо скрасит его падение. Алчный старик уже обменял свое архиепископское место в Тулузе на более богатое в Сансе, а теперь, в этот час скорби, он получает место коадьютора для своего племянника (который еще не достиг нужного возраста), придворной фрейлины для своей племянницы, полк для ее мужа, а для себя самого — красную тиару кардинала, право рубки леса в королевских владениях (*coupe de bois*) и, кроме того, «от пяти до шести тысяч ливров дохода»⁵⁰; наконец, его брат, граф де Бриенн, остается военным министром. Пусть же, обложенный со всех сторон подушками и перинами милостей, он упадет как можно мягче!

И вот Ломени удаляется, он богат, если придворные титулы и деньги могут обогатить его, а если нет, то он, возможно, беднейший из людей. «Освистанный версальцами», он едет в Жарди, потом в Бриенн для восстановления здоровья. Затем в Ниццу и в Италию, но он возвратится, будет тыкаться то туда, то сюда, весь трясущийся и почти не в своем уме; переживет ли он ужасные времена, или гильотина оборвет его жизнь? Увы, еще хуже: его существование будет гнусно прервано, растоптано на пути к гильотине! В его дворце в Сансе грубая якобинская стража заставит его пить вместе с нею вино из его собственных подвалов и пировать его собственными запасами, а наутро несчастный старик окажется мертвым. Таков конец первого министра, кардинала и архиепископа Ломени де Бриенна. Редко бывало суждено столь ничтожному смертному принести столь великое зло, прожить жизнь, возбуждающую презрение и зависть, и умереть столь страшной смертью. Обуреваемый честолюбием, он, как горящий лоскут, метался по ветру в разные стороны, но угодил прямо в пороховой погреб — и поджег его! Пожалеем же несчастного Ломени, простим ему и как можно скорее забудем о нем.

Глава девятая

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Во время всех этих чрезвычайных событий, выплаты двух пятых бумажными деньгами и смены первого министра, Безанваль объезжал свой военный округ и последние месяцы спокойно попивал контрексевильские воды. Теперь, в конце августа, возвращаясь в Мулен и «не зная ничего», он въезжает однажды вечером в Лангр и застаёт весь город охваченным волнениями (*grande rumeur*), Несомненно, начинается мятеж, обычная вещь в эти дни! Он выходит тем не менее из экипажа и спрашивает одного «сносно одетого человека», что происходит. «Как! — восклицает человек. — Неужели вы не слышали новости? Архиепископ свергнут, а месье Неккер призван, и все теперь пойдет хорошо!»⁵¹

Какой шум и крик одобрения поднялся вокруг месье Неккера «с того дня, как он, назначенный министром, вышел из покоев королевы». Это случилось 24 августа. «Галереи замка, дворы, улицы Версаля, через несколько часов столица и, по мере того как распространялась новость, вся Франция огласилась криком: «Да здравствует король! Да здравствует месье Неккер!»»⁵² В Париже радость, к несчастью, вылилась в «буйство». На площади Дофина взлетело больше петард и ракет, чем следовало бы. Чучело в облачении архиепископа, символически сделанном на три пятых из атласа, а на две трети из бумаги, проносится — отнюдь не в молчании — к месту судилища и приговаривается к смертной казни; чучело шуточно исповедуется аббатом Вермоном, а затем торжественно предается огню у подножия статуи Генриха на Новом мосту. Все это совершается среди такого грохота петард и рева толпы, что кавалер Дюбуа и его городская стража находят полезным дать залп (более или менее бесполезный); при этом сжигается несколько сторожевых будок, подвергается разгрому несколько гауптвахт, а «мертвые тела ночью сбрасываются в Сену», чтобы избежать новых волнений⁵³.

Соответственно парламенты должны вернуться из изгнания. Пленарный суд и выплата двух пятых бумажными деньгами забыты, они взлетели вместе с дымом костра у подножия статуи Генриха. Генеральные штаты теперь (когда в политике наступил Золотой Век) наверняка будут созваны, более того, будет объявлено (как мы любим спешить!), что они назначены на следующий январь, и все, как сказал человек в Лангре, «идет хорошо».

Для пророческого взгляда Безанваля совершенно очевидно другое: друг Ламуаньон не способен выполнять свои обязанности министра юстиции. Ни он, ни военный министр граф де Бриенн! Да и старый Фулон, завистливо поглядывающий на кресло военного министра, потихоньку интригует. Это тот самый Фулон, прозванный парламентским домовым, человек, посевший, занимаясь предательством, мздоимством, прожектерством, интриганством и беззакониями; человек, который однажды в ответ на возражение против одного из его финансовых проектов «А что будут есть люди?» ответил: «Пусть люди жрут траву» — неосторожные слова, которые далеко и безвозвратно разлетелись и вызовут когда-нибудь прискорбную для Фулона реакцию!

На этот раз Фулон, к общему облегчению, не достиг цели и никогда ее не достигнет. Но от этого Ламуаньону не легче. Обреченному, ему не легче оттого, что он имеет встречи с королем и возвращается после них, «сияя» (radieux). Парламенты ненавидят Ламуаньона за то, что граф де Бриенн — «брат» кардинала-архиепископа. 24 августа прошло, но еще не настало 14 сентября, когда оба они, как и их великий покровитель, падут, причем столь же мягко, как и он.

Теперь, словно последнее бремя снято с души и воцарилась полная уверенность в будущем, Париж разражается величайшим ликованием. Судебные писцы громко радуются тому, что враг парламентов пал; дворянство, буржуазия, народ веселились и веселятся. И даже сама чернь с новыми силами внезапно подымается из своих темных логовищ и радуется, так как новое политическое евангелие в том или ином упрощенном варианте проникло и к ней. Понедельник 14 сентября 1788 года; чернь собирается снова в большом количестве на площади Дофина, запускает петарды, стреляет из мушкетов непрерывно в течение 18 часов. Снова появляется чучело из ивовых прутьев, вокруг которого разносятся бесконечные крики. Здесь же на шесте с приветственными криками несут портрет Неккера, сорванный или купленный в какой-то лавке; и этот пример не надо забывать.

Но толпа собирается в основном на Новом мосту, где высоко над людьми скачет бронзовый Великий Генрих. Всех прохожих принуждают останавливаться перед статуей, чтобы поклониться народному королю и громко сказать: «Да здравствует Генрих IV! К черту Ламуаньона!» Они не пропускают ни одного экипажа, даже карету его высочества герцога Орлеанского. Дверцы вашей кареты отворены, не соблаговолит ли монсеньер высунуть голову и поклониться или если он упрямится, то выйти из кареты и преклонить колено; от дамы достаточно кивка плюмажа, улыбки на прекрасном лице с того места, на котором она сидит; ну и, конечно, не повредит монета-другая (на покупку ракет — fusées) от высших сословий, друзей свободы. Эта грубая возня продолжается несколько дней, и тут, разумеется, не обошлось без кулачной драки. Городская стража ничего не может сделать и едва спасает собственную шкуру, так как за последние 12 месяцев охота на городскую стражу стала любимым времяпрепровождением. Правда, Безанваль держит солдат под рукой, но им отдан приказ избегать стрельбы, и они не очень-то спешат что-либо делать.

Утро понедельника началось со взрывов петард, а теперь уже близится полночь среды, следует похоронить чучело — очевидно, на античный манер. Длинные ряды факелов следуют за ним, направляясь к дому Ламуаньона, но «мой слуга» (Безанваля) побежал с предупреждением, и туда направлены солдаты. Мрачному Ламуаньону суждено погибнуть не в пожаре и не этой ночью, а только через год и от выстрела (было ли это самоубийство или случайность, так и осталось неизвестным)⁵⁴. Обманутая чернь сжигает свое чучело под его окнами, «громит сторожевую будку» и откатывается, чтобы заняться Бриенном или капитаном стражи Дюбуа. Однако теперь уже все охвачено смутой: французская гвардия, ветераны, конные патрули; факельное шествие встречено ружейными выстрелами, ударами штыков и сабель. Сам Дюбуа со своей кавалерией бросается в атаку, жесточайшую атаку: «множество народа было убито и ранено». А затем начались протесты и жалобы, судебные процессы и сердечные приступы у официальных лиц!⁵⁵ Так железной рукой чернь загнана обратно в свои темные логовища, а улицы очищены.

Полтора столетия чернь не осмеливалась выступать таким образом, никогда за все это время не показывала она свою грубую личину при свете дня. Все это удивительно и ново, пока еще игра, неуклюжая и странная игра в Бробдинега*; в ней нет еще гнева, и все же в ее грубом, полусознанном смехе таится тень надвигающегося ужаса!

Тем временем «думающие люди», приглашенные Ломени, далеко зашли со своими памфлетами; Генеральные штаты по тому или иному плану будут созваны неизбежно, если не в январе, как надеялись одно время, то самое позднее в мае. Старый граф Ришелье, умирающий в эти осенние дни, еще раз открывает глаза, шепчет: «Что бы сказал Людовик XIV!» (которого он еще помнит) — и закрывает их вновь, уже навсегда, не дожив до худых времен.

Книга IV

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ

Глава первая

СНОВА НОТАБЛИ

Итак, всеобщая молитва услышана! И раньше в дни национальных бедствий, когда жизнь изобиловала злом, а помощи ждать было неоткуда, приходилось прибегать к испытанному средству — созыву Генеральных штатов; созыва требовал Мальзерб, даже Фенелон¹, а парламенты, настаивавшие на этом требовании, «были осыпаны благословениями». И вот они дарованы нам, Генеральные штаты действительно соберутся!

Сказать «Да будут Генеральные штаты!» легко, а вот сказать, какими они должны быть, не так-то просто. Генеральные штаты не собирались во Франции с 1614 года, их следы изгладились из сложившихся привычек людей. Их состав, прерогативы, процедура работы, которые никогда не фиксировались, совершенно неопределенны и смутны. Это глина, которой горшечник может придать любую форму, ту или эту, — лучше сказать, 25 миллионов горшечников, потому что именно столько людей имеют сейчас, в той или иной степени, право голоса! Так какую же форму придать Генеральным штатам? Вот вопрос! У каждой корпорации, каждого привилегированного, каждого объединившегося сословия имеются свои тайные надежды и свои тайные опасения, ведь, обратите внимание, это чудовищное двадцатимиллионное сословие — доселе безгласная овца, как стричь которую решали другие, — тоже лелеет надежду и поднимается! Оно перестало или перестает быть безгласным, оно обрело голос в памфлетах или по меньшей мере мычит и ревет в унисон с ними, поразительно увеличивая силу их звучания.

Парижский парламент уже однажды высказался в пользу «старой формы 1614 года». Эта форма имела то достоинство, что третье сословие*, или общины, играло по преимуществу роль статиста, тогда как дворянству и духовенству оставалось только не перессориться между собой и договориться о том, что именно они считают наилучшим. Таково ясно выраженное мнение Парижского парламента. Но, встреченное шквалом возмущения и негодования, это мнение было сметено, как и популярность самого парламента, которая больше не вернулась. Роль парламента, как мы уже сказали, практически сыграна. В связи с этим, однако, стоит отметить одну вещь — близость дат. 22 сентября парламент вернулся после «вакаций», или «изгнания в свои поместья», и водворился во дворце при безграничном ликовании всего Парижа. Тут же, на следующий день, этот самый парламент пришел к своему «ясно выраженному мнению», а уже наутро после этого вы видите, как его «осыпают оскорблениями», внешние дворы оглашаются свистом и слава навсегда покидает его².

* Во Франции до революции 1789—1794 гг. население страны было разделено на три сословия: духовенство, дворянство и остальное население, составлявшее третье сословие, — от крупного буржуа до нищего крестьянина. Таким образом, третье сословие было неоднородным по своему составу, но руководящую роль в нем играла сильная, более организованная, создавшая свою идеологию буржуазия.

С другой стороны, каким излишним было приглашение Ломени, приглашение думающих людей! Думающие и недумающие люди тысячами устремились по собственному побуждению к общественной деятельности, выкладываясь до конца. Заработали клубы: Société Publicole, Бретонский клуб, Клуб бешеных (Club des Enragés). Начинаются обеды в Пале-Руаяле; там обедают Мирабо, Талейран в компании с разными Шамфорами, Морелле, с Дюпонами и возбужденными парламентариями, причем обедают не без специальной цели! Собираются у одного из неккеровских подхалимов, имя которого хорошо известно. Собственно говоря, собирать никого не надо, даровой стол сам по себе достаточно привлекателен. Что же касается памфлетов, то, фигурально выражаясь, они «сыплются как снег, который, кажется, может засыпать правительству все дороги». Наступило время друзей свободы, разумных и неразумных.

Граф д'Анрег, или он только именуется графом, молодой дворянин из Лангедока, которому, кажется, помогает циник Шамфор, впадает в ярость, почти равную ярости пифии, превосходя всех³. Глупый молодой дворянин из Лангедока, ты сам очень скоро, «эмигрируя в числе первых», должен будешь бежать, негодую и пряча «Общественный договор» в кармане, за границу, во внешний мрак, где ждут тебя бесплодные интриги, обманчивые иллюзии (ignis fatuus) и смерть от стилета! Аббат Сиейес покинул Шартрский собор, должность каноника и книжные полки, дал зарости тонзуре и прибыл в Париж, бесспорно, со светской прической, чтобы задать три вопроса и самому же ответить на них.

Что такое третье сословие? — Все. Чем оно было до сих пор при нашей форме правления? — Ничем. Чего оно хочет? — Стать чем-то*.

Герцог Орлеанский — разумеется, он по пути к хаосу находится в гуще событий — издает «Рассуждения»⁴, «усыновленные им», хотя и написанные Лакло**, автором «Опасных связей» («Liaisons dangereuses»). Вывод в них прост: «Третье сословие — это нация». С другой стороны, монсеньер д'Артуа и другие принцы заявляют в торжественном Адресе королю, что если выслушивать подобные вещи, то привилегии, дворянство, монархия, церковь, государство и денежные сундуки окажутся в опасности⁵. Верно, в опасности; только, если их не выслушивать, уменьшится ли опасность? Голосом всей Франции является народившийся звук, безмерный, многоголосый, как звук воды, прорывающей плотину; и мудр тот, кто знает, что надлежит делать, оказавшись в этом потоке, — не бежать же и прятаться в горы?

* Цитируется изданная накануне революции и сразу завоевавшая популярность брошюра аббата Сиейеса «Что такое третье сословие?».

** Шодерло де Лакло Пьер (1741—1803) — писатель, был личным секретарем герцога Орлеанского

Неизвестно, как поступило бы в новых условиях и при подобных настроениях руководствующееся подобными принципами идеальное и прозорливое версальское правительство, если бы таковое имело место. Это правительство ощутило бы, что его существованию приходит конец, что под видом уже неизбежных Генеральных штатов нарождается нечто всемогущее и неведомое — демократия, при которой никакое версальское правительство не может и не должно продолжать свою деятельность, кроме учредительной. И будет хорошо, если у него хватит сил для проведения столь важной учредительной деятельности. Выходом было бы мирное, постепенное, разумно организованное отречение, а также молитва об отпущении грехов.

Это прозорливое, идеальное версальское правительство. А как поступит реальное, неразумное версальское правительство? Увы, это правительство существует только для собственной выгоды, не имея иных прав, кроме права собственности, а теперь не имея и силы. Оно ничего не предвидит и ничего не видит, не имеет даже цельного плана, а только отдельные мелкие наметки да инстинкт самосохранения: все живущее борется, чтобы выжить. Оно подобно смерчу, в котором кружатся бесполезные советы, видения, ложь, интриги и глупости, как кружится поднятый ветром мусор! Oeil de Voeuf лелеет несбыточные надежды, а также страхи. Поскольку до сих пор Генеральные штаты ни разу не приносили плодов, то почему теперь они станут плодоносить? Конечно, в народе зреет нечто опасное, но разве в принципе может произойти мятеж? Такого не было уже пять поколений. При известной ловкости три сословия можно восстановить друг против друга, третье сословие, как и прежде, присоединится к королю и будет, хотя бы из зависти и собственных интересов, стремиться облагать налогами и дразнить два других.

Соответственно два других окажутся связанными по рукам и ногам и отданными в наши руки, а мы получим возможность стричь их. Таким образом мы получим деньги, распустим все три передравшихся сословия и предоставим будущему идти своим чередом! Как имел обыкновение говорить добрый архиепископ Ломени, «происходит столько событий, но довольно одного, чтобы спасти нас». Да, конечно; а сколько событий требуется, чтобы погубить нас?

В этой анархии бедный Неккер делает все возможное. Он вглядывается в нее с упрямой надеждой; он восхваляет общеизвестную прямоту суждений короля; он снисходительно выслушивает общеизвестные лживостью суждения королевы и двора; он выпускает прокламации, или регламенты, среди которых одна — в пользу третьего сословия; но он не решает ничего по существу, остается далек от реальности и ожидает, что все сделается само собой. Основные вопросы сейчас сводятся к двум: о двойном представительстве и о поголовном голосовании. Будет ли народ иметь «двойное представительство», т. е. направлять в Генеральные штаты такое же количество депутатов, как дворянство и духовенство, вместе взятые? Будут ли собравшиеся Генеральные штаты голосовать и обсуждать все вопросы совместно или тремя отдельными палатами, т. е. «голосовать по головам или голосовать по сословиям», *ordre*, как говорится? Вот те неясные пункты, по которым Франция спорит, сражается и проявляет свободомыслие. Неккер задумывается: не лучше ли было бы покончить со всем этим, созвав второе собрание нотаблей? И принимает решение о втором собрании нотаблей.

6 ноября 1788 года, через каких-то восемнадцать месяцев, нотабли собираются вновь. Это старые нотабли Калонна, те же 144 человека, что доказывает беспристрастность выборов, а также бережет время. Они снова заседают в своих семи бюро, на этот раз в суровые зимние морозы; это самая суровая зима с 1709 года: термометр показывает ниже нуля по Фаренгейту, Сена замерзла⁶. Холод, неурожай и одержимость свободой — так изменился мир с тех пор, как нотабли были распущены в мае прошлого года! Они должны разобраться, можно ли в их семи бюро под председательством семи принцев крови разрешить спорные пункты.

К удивлению патриотов, эти нотабли, бывшие некогда вполне патриотичными, ныне, как кажется, склоняются в другую сторону, антипатриотическую. Они колеблются по поводу двойного представительства, поголовного голосования и не принимают никакого твердого решения; идут всего лишь дебаты, да и те не слишком хороши. А как же иначе, ведь эти нотабли сами принадлежат к привилегированным сословиям! Некогда они бурно протестовали, теперь же имеют свои опасения и ограничиваются скорбными представлениями. Так пусть же они, бесполезные, исчезнут и больше не возвращаются! Прозаседав месяц, они исчезают (это происходит 12 декабря 1788 года) — последние земные нотабли, никогда более они не появятся на сцене мировой истории.

Итак, протесты и памфлеты не прекращаются, со всех концов Франции на нас продолжает извергаться поток патриотических посланий, становящихся все решительнее и решительнее. Сам Неккер еще за две недели до конца года вынужден представить доклад, рекомендуемый — на свой страх и риск — двойное представительство, более того, настаивающий на нем; вот что сделали безудержные болтовня и одержимость свободой. Какая неуверенность, какое блуждание вокруг да около! Разве все эти шесть шумных месяцев (потому что все началось еще при Бриенне, в июле) один доклад не следовал за другим, а одна прокламация не тащила за собой следующую?⁷

Ну что ж, с первым спорным вопросом, как видим, покончено. Что же касается второго, голосовать по мандатам или по сословиям, то этот вопрос все еще висит в воздухе и в отличие от первого он стал водоразделом между привилегированными и непривилегированными сословиями. Тот, кто победит в споре по этому вопросу, выиграет битву и водрузит свой победный стяг.

Как бы то ни было, с королевским эдиктом 24 января нетерпеливо ожидающей Франции становится ясно не только то, что национальные депутаты действительно соберутся, но и то, что разрешается (королевский эдикт дошел до этой точки, но не дальше) начать выборы.

Глава вторая

ВЫБОРЫ

Вперед же, за дело! Королевский эдикт проносится по Франции, как порыв могучего ветра в лесной чаще. В приходских церквах, в ратушах, в каждом зале собраний бальяжей и сенешальств, везде, где сходятся люди для любых целей, происходят беспорядочные первичные собрания. «Для избрания ваших выборщиков» — такова предписанная форма, а кроме того, для составления наказов — «списка жалоб и нужд» (*cahier de plaintes et doléances*), недостатка в которых нет.

С каким успехом проводится в жизнь этот январский королевский эдикт, по мере того как он быстро катится в кожаных почтовых сумках по замерзшим дорогам во все концы Франции! Он действует, как призыв «Fiat» — «Да свершится!» — или какое-нибудь волшебное слово! Его читают «на базарной площади у креста» под звуки труб, в присутствии судьи, сенешаля или другого мелкого чиновника и стражников; его читают в сельских церквах монотонными голосами после проповеди (*au prône des messes paroissiales*); его регистрируют, сдают на почту и пускают лететь по всему миру. Обратите внимание, как разношерстный французский народ, столь долго вскипавший и роптавший в нетерпеливом ожидании, начинает стягиваться и сколачиваться в группы, которые впитывают в себя более мелкие. Нечленораздельный ропот становится членораздельной речью и переходит в действие. Через первичные, а затем вторичные собрания, через «последовательные выборы», через бесконечные уточнения и изучения предписанных процедур в конце концов «жалобы и нужды» будут изложены на бумаге, и подходящий представитель народа будет найден.

Как встряхнулся народ! Он как будто живет одной жизнью и тысячеголосым ропотом дает знать, что внезапно пробудился от долгого мертвого сна и больше спать не желает. Наконец наступило то, чего так долго ждали: чудотворная весть о победе, освобождении, предоставлении гражданских прав находит волшебный отклик в каждом сердце. Она пришла к гордому и могучему человеку, сильные руки которого сбросят оковы и перед которым откроются безграничные непокоренные пространства. Эта весть дошла и до усталого поденщика, и до нищего, корка хлеба которого смочена слезами. Как! И для нас есть надежда, она спустилась и к нам, вниз? Голод и несчастья не должны быть вечными? Значит, хлеб, который мы взрастили на жесткой ниве и, напрягая силы, сжали, смолотили и замесили, будет не весь отдан другим, но и мы будем есть его вдоволь? Прекрасная весть (говорят мудрые старики), но это невероятно! Как бы то ни было, но низшие слои населения, которые не платят денежных налогов и не имеют права голоса⁸, настойчиво толпятся вокруг тех, кто его имеет, и залы, где происходит голосование, оживленны и внутри, и снаружи.

Из всех городов только Париж будет иметь своих представителей в количестве 20 человек. Париж разделен на шестьдесят округов, каждый из которых (собравшись в церкви или в подобном месте) избирает двух выборщиков. Официальные депутатии переходят из округа в округ, поскольку опыта нет и требуются постоянные консультации. Улицы заполнены озабоченным народом, мирным, но беспокойным и говорливым; временами посверкивают мушкеты, особенно около Palais, где еще раз заседает парламент, враждебный, трепещущий.

Да, французский народ озабочен! В эти великие дни какой даже самый бедный, но мыслящий ремесленник не бросит свое ремесло, чтобы пусть не голосовать, но присутствовать при голосовании? На всех дорогах шум и сутолока. На широких просторах Франции то здесь, то там в эти весенние месяцы, когда крестьянин бросает семена в борозды, разносится гомон происходящих собраний, шум толп, обсуждающих, приветствующих, голосующих бюллетенями и криками, — все эти нестройные звуки возносятся к небу. К политическим событиям добавляются и экономические: торговля прекратилась, хлеб дорожает, потому что перед суровой зимой было, как мы говорили, суровое лето с засухой и опустошительным градом 13 июля. Какой был ужасный день! Все рыдали, пока бушевала буря. Увы, первая его годовщина будет еще хуже⁹. Вот при каких знаменьях Франция избирает представителей нации.

Мелкие детали и особенности этих выборов принадлежат не мировой, а местной или приходской истории, поэтому не будем задерживаться на новых беспорядках в Гренобле или Безансоне, на кровопролитии на улицах Ренна и — в результате него — шествии «бретонских

юношей» с воззванием от своих матерей, сестер и невест, на других подобных происшествиях. Повсюду повторяется одна и та же печальная история с незначительными вариациями. Вновь созванный парламент (как в Безансоне), оторопевший перед машиной Генеральных штатов, которую сам же и вызвал к жизни, бросается с большей или меньшей отвагой вперед, чтобы остановить ее, но, увы! тут же оказывается опрокинутым, выброшенным вон, потому что новая народная сила умеет пользоваться не только словами, но и камнями! А иначе — а может быть, и вместе с тем — дворянское сословие, как в Бретани, заранее свяжет третье сословие, чтобы оно не нанесло вреда старым привилегиям. Но связать третье сословие, как бы это дело ни было хорошо подготовлено, невозможно, потому что эта машина Бриарей* рвет ваши веревки, как зеленый тростник. Связать? Увы, господа! Что будет с вашими рыцарскими рапирами, отвагой и турнирами; подумайте, чему и кому они будут служить? В сердце плебея также течет красная кровь, и она не бледнеет при взгляде даже на вас; шестьсот «бретонских дворян, собравшихся с оружием в руках во францисканском монастыре в Ренне» и просидевших в нем 72 часа, вышли более благоразумными, чем вошли. Вся молодежь Нанта, вся молодежь Анжера, вся Бретань всколыхнулась, «матери, сестры и невесты» кричали им вслед: «Вперед!» Но даже бретонское дворянство вынуждено разрешить обезумевшему миру идти своим путем¹⁰.

* В греческой мифологии сторукий великан, сын Урана. В переносном смысле: сильный, активный, на многое способный человек.

В других провинциях дворянство с такой же готовностью предпочитает придерживаться тактики протестов, составляет хорошо отредактированные «наказы о жалобах и нуждах», пишет и произносит сатирические памфлеты. Так идут дела в Провансе, куда помчался из Парижа Габриель Оноре Рикетти, граф де Мирабо, чтобы вовремя сказать свое слово. В Провансе привилегированное сословие, поддержанное своим парламентом в Эксе, обнаруживает, что подобные нововведения, пусть и предписанные королевским эдиктом, наносят вред нации и, что еще более бесспорно, «унижают достоинство дворянства». А когда Мирабо громко протестует, это самое дворянство, невзирая на ужасный шум снаружи и внутри, просто решает изгнать его из своего собрания. Никаким другим способом, даже удачной дуэлью, не удалось бы разделаться с этим неистовым и гордым человеком. Итак, он изгнан.

«Во всех странах во все времена, — воскликнул он, выходя, — аристократы безжалостно преследовали любого друга народа и десятикратно безжалостнее — аристократа по рождению! Именно так погиб последний из Гракхов от рук патрициев. Он пал, предательски сраженный ударом клинка в спину, и это вызвало такое негодование, такую жажду мести бессмертных богов, что это негодование породило Мария, который известен не только тем, что он уничтожил кимвров, но более тем, что он сверг тираническую власть патрициев»¹¹. Сея негодование с помощью прессы и надеясь на будущие плоды этого негодования, Мирабо гордо шествует в рядах третьего сословия.

«Открыл ли он впрямь суконную лавку в Марселе», чтобы влиться в третье сословие, сделался ли на время продавцом готового платья, или это только легенда — все равно для нас это останется достопамятным фактом эпохи. Никогда более странный суконщик не держал в руках аршина и не отмерял ткани для покупателей. Приемный сын (*filis adoptif*) третьего сословия с негодованием отверг эти сказки, но им многие в то время верили. Да и в самом деле, почему бы Мирабо не встать за прилавок, если уж сам Ахилл работал в лавке мясником?

Более достоверны его триумфальные шествия по этому мятежному округу: толпа ликует, горят факелы, «окна сдаются по два луидора», добровольная стража составляет 100 человек. Он — депутат, избранный одновременно в Эксе и Марселе, но сам он предпочитает Экс. Он возвысил свой звучный голос и отворил глубины своей всеобъемлющей души; он может укротить (такова сила произнесенного слова) высокомерный ропот богачей и голодный ропот бедняков; многолюдные толпы сопровождают его, как морские волны — Луну; он стал властелином мира и повелителем людей.

Отметим другой случай и другую особенность, представляющие совсем иной интерес! Они касаются Парижского парламента, который, как и другие парламенты (только с меньшей дерзостью, так как он лучше представляет себе обстановку), пытается остановить машину Генеральных штатов. Почтенный доктор Гильотен*, уважаемый парижский врач, выдвинул свой

небольшой проект «наказа о нуждах» — разве не имел он на это права при его способностях и желании? Он собирает подписи под ним, за что рассерженный парламент потребовал от него отчета. Он приходит, но вслед за ним приходит и весь Париж, который наводняет внешние дворы и спешит подписать «наказы» даже здесь, пока доктор дает объяснения внутри! Парламент попытается отпустить его, осыпав комплиментами, и толпа на плечах относит его домой¹². Этого достопочтенного Гильотена мы встретим еще раз, возможно один только раз; а вот парламента мы не встретим больше ни разу — и пусть он провалится в тартарары!

* Гильотен (1738—1814) — доктор медицины Парижского медицинского факультета, выборщик, депутат третьего сословия от города Парижа и Парижского округа.

Однако, как бы мы ни радовались, все это отнюдь не веселит национального кредитора и вообще любого кредитора. Среди всеобщей зловещей неуверенности что может быть надежнее, чем деньги в кошельке, и что может быть мудрее, чем держать их там? Производство и торговля всех видов дошли практически до мертвой точки, и руки ремесленника праздно скрещены на груди. Это страшно, к тому же суровое время года сделало свое дело, и к нехватке работы прибавилась нехватка хлеба! В начале весны появляются слухи о спекуляции, затем издаются королевские эдикты против спекуляции, подаются жалобы булочников на мукомолов, и, наконец, в апреле на улицы выходят шайки оборванных нищих и слышатся злобные крики голода! Это трижды знаменитые разбойники (brigands), они действительно были, но в небольшом числе; однако, длительное время воплощаясь и преломляясь в головах людей, они превратились в целый разбойничий мир, который, как чудесный механизм, порождает эпос революции. Разбойники здесь, разбойники там, разбойники приближаются! Как напоминают нам эти крики звук натянутой тетивы серебряного лука Феба-Аполлона, стрелы которого сеяли повсюду смерть, ибо эти крики предвещают приход бесконечной, полной ужасов ночи!

Но обратите ваше внимание по меньшей мере на первые ростки удивительного могущества подозрений, появившиеся в этой стране и в эти дни. Если голодающие бедняки перед смертью собираются в группы и толпы, как бедные дрозды и воробьи в ненастную погоду, хотя бы для того, чтобы печально пощebetать вместе и чтобы нищета взглянула в глаза нищете; если голодающие обнаружат (чего не могут сделать голодающие дрозды), собравшись, что они не должны умирать, когда в стране есть хлеб, а их так много, и хотя у них пустые желудки, но зато умелые руки, — неужели для всего этого требуется какой-то чудесный механизм? Для большинства народов — нет, а вот для французского народа во время революции... Этих разбойников всегда пускали в ход в нужный момент (как и при Тюрго, 14 лет назад), их вербовали, хотя, конечно, без барабанного боя, аристократы, демократы, герцог Орлеанский, д'Артуа и враги общественного блага. Некоторые историки приводят в качестве доказательства даже следующий аргумент: эти разбойники говорили, что им нечего есть, но находили возможность пить, и их не раз видели пьяными¹³. Беспрецедентный факт! Но в целом нельзя ли предсказать, что народ, обладающий такой глубиной доверчивости и недоверия (нужное сочетание того и другого и создает подозрительность и в целом безрассудство), увидит в своих рядах на поле брани достаточно теней бессмертных и ему не потребуются эпический механизм?

Как бы то ни было, разбойники наконец добрались до Парижа, и в немалом числе; у них исхудавшие лица, спутанные, длинные волосы (вид истинных энтузиастов), они облачены в грязные лохмотья и вооружены большими дубинами, которыми сердито стучат по мостовой! Они вмешиваются в суматоху выборов и охотно подписали бы «наказы» Гильотена или любые другие наказания или петиции, если бы умели писать. Их подвижнический вид, стук их дубин не обещают ничего хорошего кому бы то ни было, и меньше всего богатым мануфактурщикам Сент-Антуанского предместья, с чьими рабочими они объединяются.

Глава третья

ГРОЗА НАДВИГАЕТСЯ

Депутаты нации наконец со всех концов Франции прибыли в Париж со своими наказами, которые они называют полномочиями (pouvoirs), в кармане; они задают вопросы, обмениваются советами, ищут жилье в Версале. Именно там откроются Генеральные штаты если не первого, то четвертого мая большим шествием и торжествами. Зал малых забав (Salle des Menus)* заново отделан и декорирован для них; определены даже их костюмы: договорились и о том, какие шляпы, с загнутыми или отогнутыми полями, должны носить депутаты общин. Все больше новых приезжих: это праздные люди, разношерстная публика, отпускные офицеры вроде достойного капитана Даммартена, с которым мы надеемся познакомиться поближе, — все они собрались из разных мест, чтобы посмотреть на происходящее. Наши парижские комитеты в 60 округах еще более заняты, чем когда бы то ни было; теперь уже ясно, что парижские выборы в срок не начнутся.

* Menus plaisirs — один из версальских дворцов.

В понедельник 27 апреля астроном Байи замечает, что господина Ревельона нет на месте. Господин Ревельон, «крупный бумажный фабрикант с улицы Сент-Антуан», обычно такой пунктуальный, не пришел на заседание комитета выборщиков, и он никогда уже не придет сюда. Неужели на этих гигантских «складах атласной бумаги» что-нибудь случилось? Увы, да! Увы, сегодня там поднимается не Монгольфье, а чернь, всякая сволочь и рабочие предместий! Правда ли, что Ревельон, который сам никогда не был рабочим, сказал как-то, что «рабочий может прекрасно прожить на 15 су в день», т.е. семь пенсов с полтиной, — скудная сумма! Или только считается, что он так сказал? Долгое трение и нагревание, как кажется, воспламенили общественный дух.

Кто знает, в какую форму может отлиться это новое политическое евангелие внизу, в этих мрачных норах, в темных головах и алчущих сердцах, и какое «сообщество бедняков», быть может, готово образоваться! Довольно, разъяренные группки превращаются в разъяренные толпы, к ним присоединяются еще и еще массы людей, они осаждают бумажную фабрику и доказывают недостаточность семи с половиной пенсов в день громкой, безграмотной речью (обращенной к страстям, а не к разуму). Городской страже не удастся разогнать их. Разгораются страсти. Ревельон, потеряв голову, обращается с мольбой то к черни, то к власти. Безанваль, состоящий теперь на действительной службе в качестве коменданта Парижа, посылает к вечеру по настоятельным просьбам Ревельона около 30 французских гвардейцев. Они очищают улицу, к счастью, без стрельбы и устанавливают здесь на ночь свой пост, надеясь, что все кончено¹⁴.

Если бы так! Наутро дело становится намного хуже. Сент-Антуанское предместье, еще более мрачное, снова поднялось, усиленное неведомыми оборванцами, имеющими подвижнический вид и большие дубины. Весь город стекается туда по улицам, чтобы посмотреть; «две тележки с камнями для мостовой, случайно проезжающие мимо», захвачены толпой как явный дар небес. Приходится послать второй отряд французских гвардейцев. Безанваль и полковник озабоченно совещаются еще раз и высылают еще один отряд, который с великим трудом, штыками и угрозой открыть огонь прокладывает себе путь к месту. Что за зрелище! Улица загромождена разным хламом, наполнена гамом толпы и сутолокой. Бумажная фабрика уничтожена топорами и огнем, безумен рев мятежа; ответом на ружейные залпы служат вопли и сыплющиеся из окон и с крыш куски черепицы, проклятия, есть и убитые!

Французским гвардейцам это не нравится, но они вынуждены продолжать начатое. Так длится весь день, волнение то нарастает, то стихает; уже заходит солнце, а Сент-Антуанское предместье не сдаётся. Весь город мечется; увы, залпы мушкетов слышны в обеденных залах Шоссе-д'Антен и меняют тон светских сплетен. Капитан Даммартен отставляет бокал с вином и идет с одним-двумя друзьями посмотреть на сражение. Грязные люди ворчат ему вслед: «Долой аристократов!» — и наносят оскорбление кресту св. Людовика! Даммартена теснят и толкают, но в карманы к нему не залезают, как, кстати говоря, и у Ревельона не было украдено ни одной вещи¹⁵. С наступлением ночи мятеж не прекращается, и Безанваль принимает решение: он приказывает выступить швейцарской гвардии с двумя артиллерийскими орудиями. Швейцарская гвардия должна прийти на место и потребовать именем короля, чтобы чернь разошлась. В случае неповиновения они должны на глазах у всех зарядить пушки картечью и снова призвать толпу разойтись; если и снова будет выказано неповиновение, стрелять и продолжать стрелять, «пока они

не сметут всех до последнего человека» и не очистят улицы. Надеются, что такая твердая мера возымеет действие. При виде зажженных фитилей и швейцарцев в иностранных красных мундирах Сент-Антуанское предместье быстро рассеивается в темноте. Остается загроможденная улица с «четырьмя-пятью сотнями убитых». Злосчастный Ревельон нашел убежище в Бастилии, где, укрывшись за ее каменными стенами, пишет жалобы, протесты, объяснения весь следующий месяц. Отважный Безанваль принимает выражения благодарности от всех почтенных граждан Парижа, но Версаль не придает этому событию особого значения — что же, к неблагодарности должен привыкнуть любой достойный человек¹⁶.

Но как возник этот электрический разряд и взрыв? Из-за герцога Орлеанского! — кричит партия двора: он нанял на свое золото этих разбойников, разумеется тайно, без барабанного боя; он набрал их из всех трущоб, чтобы разжечь пожар; он находит удовольствие в зле. Из-за двора! — кричат просвещенные патриоты: разбойники завербованы проклятым золотом и хитростью аристократов и натравлены ими, чтобы погубить невинного господина Ревельона, запугать слабых и отвратить всех от свободы.

Уклончивый, неискренний Безанваль считает, что во всем виноваты «англичане, наши исконные враги». А может быть, во всем виновата богиня Диана, принявшая облик голода? Или близнецы Диоскуры*, или тиранство и месть, без которых не обходятся общественные битвы? Обездоленные нищие, обреченные бедностью, грязью, принудительной работой на вымирание, но и в них Всемогущий вдохнул нетленную душу! Им только теперь стало ясно, что сражающиеся за свободу философы пока еще не пекут хлеба, что заседающие в комитетах патриоты не снизойдут до их нужд. Разбойники они или нет, но для них это дело серьезное. Они хоронят своих мучеников как «защитников Отечества» (*défenseurs de la Patrie*), мучеников за правое дело.

* В греческой мифологии близнецы Кастор и Полидевк, прославившиеся доблестью и неразлучной дружбой.

Ну что ж, перед нами лишь начало мятежа, так сказать, фаза ученичества, что называется первые его пробы, впрочем отнюдь не бездоказательные. Впереди у него фаза зрелого мастерства, когда будут созданы шедевры, изумившие мир. Так будь же бдительна, следи за своими пушками, Бастилия, ведь твои каменные стены поистине оплот деспотизма!

В таких вот условиях, на первичных и вторичных собраниях, в подготовке наказов, в движении предложений на различных сборищах, в нарастающих раскатах красноречия, наконец, в громе мушкетных залпов, взволнованная Франция проводит свои выборы. Хоть и в беспорядке, но просеяв и провеяв с таким шумом урожай, она уже (за исключением некоторых округов Парижа) отделила зерна от плевел, выбрала 1214 депутатов нации и готовится открыть свои Генеральные штаты.

Глава четвертая

ШЕСТВИЕ

В первую субботу мая* в Версале торжество, а понедельник 4 мая будет еще более знаменательным днем. Депутаты уже собрались и нашли жилище и теперь, выстроившись в длинные, правильные ряды во дворах дворца, целуют руку Его Величества. Обер-церемониймейстером де Брезе довольны далеко не все; мы не можем не заметить, что, вводя дворянина или церковника пред лицо помазанника, он широко распахивает обе створки двери, а вот для представителей третьего сословия открывает только одну! Однако для прохода места достаточно, и Его Величество улыбается всем.

* 1789 г. — *Примеч. авт.*

Людовик доброжелательно приветствует почтенных членов улыбками надежды. Он приготовил для них Зал малых забав, самый большой из имеющихся поблизости, и часто наблюдал за идущей работой. Просторный зал, в нем построили помост для трона, двора и членов

королевской семьи, перед помостом — место для шестисот депутатов от общин; по одну руку разместится вдвое меньшее количество духовных лиц, по другую — столько же дворян. В зале есть верхние галереи для придворных дам, блистающих в платьях из газа, для иностранных дипломатов и других господ в расшитом золотом платье и белых жабо; на галереях могут сидеть и смотреть до двух тысяч человек. Широкие проходы пересекают зал и окружают его вдоль наружной стены. Здесь есть помещения для заседания комитетов, для стражи, гардеробы; это действительно великолепный зал, где искусство обойщика при помощи других изящных искусств сделало все возможное; нет недостатка и в малиновых драпировках с кистями, и в символических лилиях.

Зал готов, даже костюмы депутатов регламентированы: депутатам общин запрещено носить эти ненавистные шляпы с опущенными полями (*chapeau clabaud*), а разрешено слегка приподнять (*chapeau rabattu*) поля. Что же касается процедуры заседаний, после того как все облачатся в требуемые одежды, — «голосования поголовного или посословного» и прочего, то и это пора бы решить, ведь через несколько часов уже будет поздно. Решение так и не принято, и это наполняет сомнением сердца тысячи двухсот человек.

Но наконец восходит солнце понедельник; 4 мая, безучастное, как будто это совсем обыкновенный день. И если его первые лучи могли извлечь музыку из статуи Мемнона*, то какие же трепещущие, полные ожиданий и предчувствий звуки должны были пробудить они в душе каждого находящегося в Версале! Весь огромный Париж в мыслимых и немыслимых экипажах стекается сюда, все города и деревни сбегают сюда ручейками — Версаль представляет собой море людей. А от церкви Святого Людовика до церкви Богородицы движутся широкие живые волны, брызжа пеной до самых дымовых труб. На трубах, на крышах, на каждом фонарном столбе, на каждой вывеске и каждом удобном выступе пристроились отважные патриоты, а в каждом окне блистает красавица-патриотка: депутаты собираются в церковь Святого Людовика, чтобы пройти торжественным шествием в церковь Богородицы и там выслушать проповедь.

* В греческой мифологии прославленный герой в послегомеровском эпосе, культ которого проник в Египет, где ему был воздвигнут гигантский памятник, сохранившийся до сих пор и знаменитый тем, что на восходе солнца издает звук, похожий на звук лопающейся струны.

Ну что ж, друзья, смотрите: хотите мысленно, хотите очами, а вместе с вами пусть смотрят вся Франция и вся Европа — ведь дней, подобных этому, мало. О, хочется рыдать, как Ксеркс*, от восторга! Все уголки облепили люди, как крылатые существа, слетевшие с небес; а сколько придет вслед за ними; и все они должны потом улететь ввысь, исчезнув в голубой дали, но память об этом дне все еще будет свежа. Это день крещения демократии, ее родило измученное время по истечении положенного срока. Это же и день собороваания феодализма перед смертью! Отжившая система общества, подорванная тяжким трудом (ведь и она сделала многое: хотя бы произвела на свет вас и все то, что вы знаете и умеете!), поборами и хищениями, которые называют славными победами, излишествами, чувственностью и вообще впадшая в детство и одряхлевшая, должна теперь умереть, и в муках смерти и муках родов появится новая система. Сколько труда, о земля и небо, сколько труда! Битвы и кровопролития, сентябрьские убийства**, мосты Лоди***, отступление из Москвы, Ватерлоо****, Питерлоо*****, десятифунтовые привилегии, пороховые бочки и гильотины — и, можно предсказать, еще около двух столетий борьбы, начиная с этого дня! Два столетия, вряд ли меньше, истечет, прежде чем демократия, пройдя через неизбежные и гибельные этапы знахарства и шарлатанства, возродит этот зачумленный мир и появится новый мир, молодой и зеленый.

* Ксеркс — персидский царь (V в. до н. э.).

** Имеются в виду события в сентябре 1792 г.

*** Город в Северной Италии, где 10 мая 1796 г. Наполеон разбил австрийцев.

**** Имеются в виду войны, которые вела Франция при Наполеоне Бонапарте.

***** Питерлооская битва — кровавая расправа с участниками митинга, требовавшими реформы английского парламента, в Питерсфилде возле Манчестера 16 августа 1819 г.

Радуйтесь тем не менее, версальские толпы! Для вас, от которых будущее сокрыто, есть только славный конец. Сегодня произнесен смертный приговор обману, над действительностью совершается Страшный суд, хотя он не будет окончен. Трубный глас Страшного суда объявляет сегодня, что нет больше веры обману. Верьте в это, стойте на этом, пусть не будет ничего больше, и вещи пойдут своим чередом. «Вы не можете иначе, и да поможет вам Бог!» — так говорил тот, кто выше вас, открывая свою главу мировой истории.

Но посмотрите! Двери церкви Святого Людовика широко распахнулись, и шествие шествий двинулось к церкви Богородицы! Воздух оглашают клики, от которых Греческие Птицы могли бы упасть мертвыми. Это действительно величественное, торжественное зрелище. Впереди избранники Франции, затем следует двор Франции; они идут строем, каждый на своем месте и в соответствующем костюме. Депутаты от общин — «в простых черных плащах и белых галстуках», дворяне — в расшитых золотом ярких бархатных камзолах, сияющих, шуршащих кружевами, с развевающимися плюмажами; духовенство — в епитрахиях, стихарях, других лучших церковных одеяниях (pontificalibus); последним шествует сам король и семья короля, также в своих парадных блестящих одеждах — самых блестящих и новых. Около 1400 человек, сбитых вместе начавшейся бурей и обремененных важнейшим делом.

Да, в этой безмолвной движущейся массе людей всходит росток будущего. Они несут не символический Ковчег Завета, как древние евреи, но свой собственный Новый завет, они тоже присутствуют при рождении новой эры в истории человечества. Все наше будущее скрыто здесь, и судьба размышляет о нем; неведомое, но неизбежное будущее заложено в душах и смутных мыслях этих людей. Странно подумать: оно уже находится в них, но ни они сами, ни один смертный не может прочитать его, кроме Всевидящего Ока; оно разверзнется в огне и громе осадных и полевых орудий, в шелесте боевых знамен, в топоте орд, в зареве пылающих городов и в крике удушаемых народов! Вот что скрыто, надежно схоронено в этом четвертом дне мая — вернее, было заключено в других, оставшихся неизвестными днях, последний же день — только их зримый плод и результат. И впрямь, сколько чудес содержит каждый день; если бы мы только обладали провидением (которого, к счастью, не имеем), чтобы понять их: ведь каждый день, самый незначительный день — это «слияние двух вечностей»!

Тем временем представим себе, дорогой читатель, что мы тоже задержались в каком-то укромном уголке — что позволяет муза Клио*, — окидываем взором шествие и житейское море и делаем это совсем иными глазами, чем все собравшиеся, — провидческим взором. Мы можем постоять там, не опасаясь упасть.

Что касается житейского моря и бесчисленного множества зевак, то они покрыты туманной дымкой. И все же, если хорошенько присмотреться, то не обнаружим ли мы в действительности или в воображении безымянные фигуры, и в немалом числе, которые не всегда будут безымянны! Юная баронесса де Сталь — она, вероятно, выглядывает в окно среди других, старших и почтенных дам¹⁷. Ее отец — министр и один из участников торжества, по его мнению важнейший. Молодая умная амазонка, не здесь найдешь ты успокоение, и твой любимый отец тоже; неверно изречение: «Как Мальбранш** видит все сквозь Бога, так и месье Неккер видит все через Неккера».

* В греческой мифологии покровительница истории.

** Мальбранш Никола (1638—1715) — французский философ-богослов. Считал, что в боге содержится бесконечная полнота бытия и познание мира есть познание бога.

А где же темнокудрая, легкомысленная, страстная мадемуазель Теруань? Смуглая, прекрасно владеющая словом красавица, вдохновенные речи и взгляды которой приводят в трепет грубые души, целые стальные батальоны и способны убедить самого австрийского императора! Тебе суждены пика и шлем, но и, увы! смирительная рубашка и долгое пребывание в Сальпетриере! Лучше бы тебе было остаться в родном Люксембурге и стать матерью детей какого-нибудь честного человека; но не такова была твоя участь, не таков твой жребий.

Язык немеет, перо падает из рук — так трудно перечислить одних только знаменитостей, представителей сильного пола. Разве маркиз Валади* не оставил поспешно свою квакерскую шляпу, свой пифагорейский греческий язык из Уэппинга и город Глазго?¹⁸ А де Моранд из «Courrier de l'Europe» и Ленге из «Annales», разве не вглядывались они в происходящее сквозь

лондонские туманы и не стали экс-издателями, чтобы дать пищу «гильотине и получить по заслугам»? Не Луве ли (автор «Фобласа») приподнялся на цыпочки? И не Бриссо ли там, прозванный де Варвиллем, другом чернокожих? Он вместе с маркизом Кондорсе и швейцарцем Клавьером основали газету «Монитор» или готовы основать ее. Писать отчеты о сегодняшнем дне должны умелые редакторы.

* Маркиз де Валади Годфруа-Изарн (1766— 1793) — гвардейский офицер, во время революции депутат Конвента, близок к жирондистам, казнен.

А не разглядишь ли ты, вероятно где-то совсем внизу, а не на почетных местах, некоего Станисласа Майяра, конного пристава (*huissier à cheval*) из Шатле, одного из хитрейших людей? Вон капитан Юлен из Женевы и капитан Эли из полка королевы, оба имеют вид людей, получивших лишь половину жалованья. Вон Журдан, с усами цвета черепицы, но пока еще без бороды, нечестный торговец мулами. Через несколько месяцев он превратится в Журдана-головореза и получит иную работу.

Несомненно, на таком же далеко не почетном месте стоит или, ворча, поднимается на цыпочки, чтобы, невзирая на маленький рост, видеть происходящее, самый отвратительный из смертных, пахнувший сажей и конскими лекарствами, — Жан Поль Марат из Нёшателя! О Марат, создатель новой науки о человеке, учитель оптики, о ты, некогда наилучший из ветеринаров в конюшнях д'Артуа, что видит твоя изъязвленная душа сквозь твое изъязвленное, хмурое, изборозженное горестями лицо, когда ты смотришь на все это? Быть может, чуть брезжущий луч надежды, похожий на первый весенний день после ночи на Новой Земле? Или же голубоватый сернистый свет и призраки, горе, подозрения и месть без конца?

Едва ли стоит говорить о торговце сукном Лекуэнтре, который запер свою лавку и отправился в путь, не обмолвившись словечком со своими близкими, как и о Сантере, зычном пивоваре из Сент-Антуанского предместья. Назовем еще две фигуры, и только две. Одна — высокая, мускулистая, с грубым, плоским лицом (*figure écrasée*), на котором запечатлена не находящая выхода энергия, как у еще не разъярившегося Геркулеса, — это испытывающий нужду адвокат без практики по имени Дантон; запомните его. Другая — его товарища и собрата по ремеслу, хрупкого телосложения, с длинными вьющимися волосами, с оттенком озорства на лице, светящемся гениальностью, как будто внутри его горит свеча; это — Камиль Демулен, одаренный неистощимой находчивостью, остроумием, юмором, одна из умнейших и проницательнейших голов среди всех этих миллионов. Бедный Камиль, пусть говорят о тебе, что угодно, но было бы ложью уверять, что можно не любить тебя, неистовый, искрометный человек! А мускулистая и пока еще не разъяренная фигура принадлежит, как мы сказали, Жаку Дантону, имя которого «достаточно известно в революции». Он — председатель или будет председателем избирательного округа Кордельеров в Париже и скоро заговорит своим мощным голосом.

Не будем долее задерживаться на этой пестрой, возбужденно кричащей толпе, потому что — смотрите! — подходят депутаты общин!

Можно ли угадать, кто из этих шестисот личностей в простых белых галстуках, пришедших, чтобы возродить Францию, станет их королем? Ведь они, как всякая корпорация, должны иметь своего короля или вождя; каково бы ни было их дело, среди них есть человек, который по характеру, дарованиям, положению лучше других пригоден к этому; этот человек — будущий, пока еще не избранный король — шагает пока среди других. Не этот ли — с густыми черными волосами, с «кабаньей головой», как он сам говорит, как будто созданной, чтобы «кивать» ею в сенате? Во взгляде из-под нависших густых бровей и в рябом, покрытом шрамами, угреватом лице проглядывает природная несдержанность, распушенность — и горящий факел гениальности, подобный огню кометы, мерцающей среди темного хаоса. Это Габриель Оноре Рикетти де Мирабо, владыка мира, вождь людей, депутат от Экса! По словам баронессы де Сталь, он идет гордо, хотя на него и косо посматривают здесь, и сотрясает своей львиной гривой, как бы предвидя великие деяния.

Да, читатель, таков типичный француз этой эпохи, так же как Вольтер был типичным французом предшествующей. Он француз по своим помыслам и делам, по своим добродетелям и порокам, может быть, больше француз, нежели кто-либо другой, и, кроме того, как он мужест-

вен! Запомните его хорошо. Национальное собрание без него протекало бы совсем по-иному, воистину он может сказать, как древний деспот: «Национальное собрание? Это я».

Он родился на Юге, и в его жилах течет южная буйная кровь: Рикетти, или Арригетти, бежали из Флоренции при Гвельфах* несколько столетий назад и поселились в Провансе, где из поколения в поколение они заявляли о себе как об особом племени: вспльчивом, неукротимом, резком, но твердом, как сталь, которую они носили, проявляя силу и энергию, граничащую подчас с безумием, но не переходящую в него. Один из старых Рикетти, безумно выполняя безумный обет, сковал цепью две горы, и цепь с «железной пятиконечной звездой» сохранилась по сю пору. Не раскует ли теперь новый Рикетти такие же громоотводы и не пустит ли на волю волн? И это нам суждено увидеть.

* Политическое направление в Италии XII—XV вв., возникшее в борьбе за господство над нею Священной Римской империи и папства.

Судьба приуготовила для этого смуглого, большеголового Мирабо великое дело, следила за каждым его шагом, исподволь готовя его. Его дед, по прозвищу Серебряная Шея (Col d'Argent), распростерся на мосту Кассано*, иссеченный и избитый, с двадцатью семью ранами, полученными в течение одного жестокого дня, и кавалерия принца Евгения скакала через него взад и вперед; только один сержант на бегу прикрыл походным котелком эту любимую многими голову; герцог Вандомский выронил свою подзорную трубу и простонал: «Значит, Мирабо мертв!» Тем не менее Мирабо не был мертв, он очнулся для жизни и для чудесного исцеления, так как еще должен был родиться Габриель. Благодаря серебряной шее он еще долгие годы прямо держал свою израненную голову, женился и произвел на свет маркиза Виктора — Друга Людей. Наконец в предначертанном 1749 году увидел свет долгожданный, грубо скроенный Габриель Оноре, самый дикий львенок из всех, когда-либо рождавшихся в этой дикой породе. С каким удивлением старый лев (ибо наш старый маркиз тоже был подобен льву, непобедимый, царственно-гениальный и страшно упрямый) смотрел на своего отпрыска; он решил дрессировать его так, как никогда не дрессировали ни одного льва! Зря все это, о маркиз! Этот львенок, хоть снимай с него шкуру или дави его, никогда не впряжется в собачью упряжь политической экономии и не станет Другом Людей; он не будет подражать тебе, а станет самим собой, отличным от тебя. Бракоразводные процессы, «целая семья, за исключением одного, находящегося в тюрьме, и шестьдесят указов об изгнании (lettres de cachet)» только для своего собственного употребления — все это удивит свет, но не более того.

* Речь идет о военных действиях в Италии во время войны за испанское наследство (1701—1714). Австрийскими войсками командовал Евгений Савойский, французскими — маршал Вандом.

Наш невезучий Габриель, грешивший сам и терпевший прегрешения других против него, бывал на острове Ре и слушал из своей башни рокот Атлантики, бывал он и в замке Иф и слушал рокот Средиземного моря около Марселя. Он побывал в крепости Жу и — в течение 42 месяцев, почти без одежды — в Венсенской башне, и все благодаря указам об изгнании своего отца-льва. Он сидел в тюрьмах Понтарлье (добровольно сдавшись в плен); видели, как он перебирался через морские лиманы (при отливе), скрываясь от людей. Он выступал в судах Экса (чтобы вернуть свою жену), и публика собиралась на крышах, чтобы увидеть, раз уж нельзя услышать, Пустомелю (Claguedents), как прозвал сына старый чудак Мирабо, видевший в защитительных речах сына, вызывавших восхищение, только хлопанье челюстями и пустую, звонкую, как барабан, голову.

Что только не видел и не испытал сам Габриель Оноре во время этих странных приключений! Он повидал всяких людей — от сержанта до первого министра, иностранных и отечественных книгопродавцев. И он привлекал к себе разных людей, потому что в сущности у этого неукротимого дикаря было общительное и любящее сердце; особенно легко он очаровывал женщин, начиная от дочери надзирателя в Сайте до прекрасной юной Софи, мадам Моннье, которую он не мог не «похитить», за что и был обезглавлен — заочно! Потому что и впрямь едва ли с тех пор, как умер арабский пророк, существовал другой герой-любовник, обладавший силой тридцати мужчин. Он отличился и в военное время: помогал завоевать Корсику, дрался на дуэлях и впутывался в уличные драки, наконец, бил хлыстом клеветников-баронов. Он

оставил след в литературе, написав о «Деспотизме», о «Леттр де Каше»; эротические стихи в стиле Сафо и Вертера, непристойности и святотатства; книги о прусской монархии, о графе Калиостро, о Калонне, о снабжении водой Парижа, причем каждая его книга сравнима, можно сказать, со смоляным сигнальным огнем, внезапным, огромным и чадящим! Жаровня, горячее и смола принадлежали ему самому, но кучи тряпья, старого дерева и всевозможного не имеющего названия хлама (потому что у него загоралось все что угодно) были заимствованы у разных разносчиков и тряпичников, каких только можно было найти. Именно поэтому тряпичники временами кричали: «Прочь отсюда, огонь мой!»

Именно так; если посмотреть шире, то вряд ли у кого-нибудь был больший талант на заимствования. Он умел сделать своими идеи и способности другого человека, более того, сделать его собой. «Все это отражение и эхо!» (tout de reflet et de réverbère) — ворчит старый Мирабо, который мог бы понять, в чем дело, но не хочет. Угрюмый старый Друг Людей, это проявление общительности, собирательной натуры твоего сына, именно они теперь станут его важнейшими достоинствами. В своей сорокалетней «борьбе против деспотизма» он приобрел великую способность самопомощи, но при этом не утратил и великого природного дара общительности и умения пользоваться помощью других. Редкое сочетание: этот человек может довольствоваться самим собой, но живет жизнью других людей; он может заставить людей любить себя и работать на себя — прирожденный король!

Но посмотрите на вещи шире, продолжает ворчать старый Мирабо, он «разделался (humé — проглотил) со всеми формулами»; если задуматься, то в наши дни подобное достижение стоит многого. Он — человек не системы, он — человек инстинктов и откровений, человек тем не менее, который смело смотрит на каждый предмет, прозревает его и покоряет, потому что он обладает интеллектом, он обладает волей и силой большими, чем у других людей. Он смотрит на мир не через очки логики, а трезвыми глазами! К несчастью, он не признает ни десяти заповедей, ни морального кодекса, ни каких бы то ни было окостеневших теорем, но он не лишен сильной живой души, и в этой душе живет искренность, реальность, а не искусственность, не ложь! И вот он, «сорок лет сражавшийся с деспотизмом» и «разделавшийся с формулами», должен теперь стать глашатаем народа, стремящегося сделать то же самое. Ведь разве Франция борется как раз не за то, чтобы свергнуть деспотизм, разделаться со своими старыми формулами, обнаружив, что они негодны, отжили свой век, далеки от реальности? Она покончит с такими формулами и даже будет ходить голая, если это нужно, до тех пор, пока не найдет себе новую одежду в виде новых формул.

И вот он приступает, этот удивительный Рикетти-Мирабо, к подобной работе и подобными способами. Он появляется перед нами, эта огненная и суровая личность, с черными кудрями под шляпой с опущенными полями, это огромное чадящее пламя, которое ни затоптать, ни погасить и дым от которого окутает всю Францию. Теперь оно получило доступ к воздуху и разгорится, сжигая свое содержимое и всю свою атмосферу, и наполнит Францию буйным пламенем. Странная участь! Сорок лет тления, сопровождаемого вонючим дымом и испарениями, затем победа над ним — и вот, как вулкан, он взлетает к небесам и в течение двадцати трех блестящих месяцев извергает пламя и огненные расплавленные потоки, все, что есть в нем, служа маяком и дивным знамением для изумленной Европы, а затем падет безжизненным, охладевшим навеки! Проходи, загадочный Габриель Оноре, величайший из всех депутатов нации; среди всего народа нет никого, равного тебе, и нет никого, кто мог бы приблизиться к тебе.

А теперь если Мирабо — величайший, то кто же из этих шестисот самый незначительный? Не этот ли невысокий, невзрачный, незадачливый человечек лет тридцати, в очках, с беспокойным, озабоченным взглядом (если снять с него очки); его лицо приподнято вверх, словно он старается учуять непредсказуемое будущее; цвет его лица желчный, скорее бледно-зеленоватый, как цвет морской воды¹⁹. Этот зеленоватый субъект (verdâtre) — адвокат из Арраса, его имя — Максимилиан Робеспьер*. Он сын адвоката, его отец был основателем масонских лож при Карле-Эдуарде, английском принце или претенденте. Максимилиан, старший сын, воспитывался на скудные средства; его школьным товарищем в коллеже Людовика Великого в Париже был Камиль Демулен. Но он просил своего покровителя Рогана, кардинала, связанного с делом об ожерелье, позволить ему уехать и уступить место своему младшему брату. Суровый даже в мыслях, Макс уехал домой в родной Аррас, вел там судебные дела и выступал в суде не без успеха «в защиту первого громоотвода». Со своим строгим, точным умом, с ограниченным, но

ясным и быстрым пониманием он завоевал благосклонность официальных лиц, которые видели в нем превосходного делового человека, по счастью совершенно лишённого гениальности. Поэтому епископ, посоветовавшись, назначил его судьёй своего диоцеза, и он добросовестно судил народ, пока однажды не попался преступник, вина которого заслуживала повешения, и прямолинейный Макс должен был отказаться от должности. Его совесть не позволяла ему осудить на смерть сына Адама. Непреклонный ум, связанный принципами! Пригоден ли этот человек для революции? Или его мелкая душа, прозрачная, как жидкое пиво, может в определенных условиях перебродить и превратиться в крепкий уксус, постоянно порождающий новый уксус, пока им не пропитается вся Франция? Посмотрим.

* Робеспьер Максимилиан Мари Изидор (1758—1794) — выдающийся деятель Великой французской революции, вождь якобинцев. Карлейль рисует субъективный портрет известного якобинца, всячески раздувая и обыгрывая легенду о Зеленом Робеспьере.

Между этими двумя крайностями — величия и ничтожества — сколько великих и ничтожных проходят мимо нас в этой процессии на пути к своей собственной судьбе! Вот Казалес, молодой ученый и военный, который станет ярким оратором в пользу роялизма и приобретет ореол известности. Вот опытный Мунье*, опытный Малуэ**, председательско-парламентский опыт которых скоро потерпит крушение в бурном потоке событий. Петион оставил свою мантию и бумаги в Шартре, сменив их на более бурные защитительные речи, но, будучи любителем музыки, не забыл своей скрипки. Его волосы седеют, хотя он еще молод; в этом человеке живут неизменно ясные убеждения и верования, и не последнее из них — вера в себя. Вот протестантский священник Рабо Сент-Этьенн, вот стройный, молодой, красноречивый и энергичный Барнав; все они будут способствовать возрождению Франции. И среди них столько юных! Спартанцы не позволяли своим гражданам жениться до тридцати лет, но сколько здесь людей, не достигших тридцати, которые должны произвести на свет не одного полноценного гражданина, а целую нацию, целый мир граждан! Старые должны чинить прорехи, молодые — убирать мусор, и разве последняя задача не главная сейчас?

* Мунье Жан Жозеф (1758—1806) — адвокат, видный деятель начального этапа революции, депутат Учредительного собрания, сторонник конституционной монархии.

** Малуэ Пьер Виктор, барон (1740—1814) — государственный деятель, писатель, депутат Учредительного собрания, сторонник конституционной монархии, после восстания 10 августа 1792 г. эмигрировал в Англию, вернулся в 1801 г.

Заметил ли ты депутацию из Нанта, слившуюся воедино на таком расстоянии, но действительно находящуюся здесь? Для нас они выглядят простыми манекенами в шляпах с опущенными полями и плащах, но они несут с собой «наказы о горестях» с таким вот необычным пунктом, и подобных ему не один: «чтобы мастера-цирюльники в Нанте не страдали более от новых собратьев по корпорации, так как ныне существующее их количество — 92 — более чем достаточно!»²⁰ Народ в Ренне избрал крестьянина Жерара, «человека честного, от природы рассудительного, но без всякого образования». Он шествует твердым шагом, единственный «в крестьянском костюме», который он всегда и будет носить, его не интересуют плащи и камзолы. Имя Жерара, или Отца Жерара (Père Gérard), как землякам нравится его называть, станет широко известно, разнесется в бесконечных шутках, в роялистских сатирах, в республиканских назидательных альманахах²¹. Что касается самого Жерара, то, когда его однажды спросили, что он может честно сказать о парламентской деятельности, познакомившись с ней, он ответил: «Я считаю, что среди нас слишком много негодяев». Так шествует Отец Жерар, твердо ступая грубыми башмаками, куда бы ни лежал его путь. А где почтенный доктор Гильотен, которого мы надеялись встретить еще раз? Если его и нет, он должен был бы быть здесь, и мы видим его нашим внутренним взором, потому что и впрямь парижская депутация немного запоздала. Странный Гильотен, уважаемый врач, обреченный насмешкой судьбы на самую странную посмертную славу, которой только удостаивался скромный смертный, потревоженный в месте своего успокоения, в лоне забвения! Гильотен может улучшить вентиляцию зала, оказать серьезную помощь во всех делах санитарии и гигиены, но, что гораздо важнее, он может написать «Доклад об Уложении о наказаниях» и описать в нем искусно придуманную машину для обезглавливания, которая станет знаменитой во всем мире. Таково творение Гильотена, созданное не без размыш-

лений и чтения, творение, которое народная благодарность или легкомыслие окрестили производным именем женского рода, как будто это его дочь, — гильотина! «С помощью моей машины, господи, я отрубаю вам голову (je vous fais sauter la tête) в мгновение ока, и вы не почувствуете никакой боли» — эти слова вызывают у всех смех²². Несчастный доктор! На протяжении 22 лет он, негильотинированный, не будет слышать ни о чем другом, как о гильотине, не будет видеть ничего другого, кроме гильотины, а после смерти будет блуждать многие столетия безутешной тенью по сю сторону Стикса и Леты*.

* Стикс (греч.) — река, окружающая подземное царство. Река эта протекала в Аркадии и падала с высокой скалы в глубокое ущелье; вода Стикса считалась ядовитой. Это, по-видимому, стало основанием для легенды о Стиксе как одной из рек царства мертвых. Лета — река забвения в подземном царстве, глоток воды которой заставляет забыть землю и жизнь на ней.

Глядите, вот Байи, тоже от Парижа, почтенный, престарелый историк античной и современной астрономии. Бедный Байи, твое ясное и спокойное, прекрасное мироощущение, подобное чисто льющемуся лунному свету, приведет к смрадному хаосу смуты, т. е. к председательствованию, мэрству, официальным дипломатическим постам, торжеству пошлости и в конце концов к зияющей бездне мрака! Нелегко тебе было спуститься с галактических небес к красному флагу (drapeau rouge), поднятому по воле рока над навозной кучей, возле которой ты будешь в тот злосчастный адский день трястись от холода (de froid). Мысль — не дело. И если ты слаб — это еще не так плохо; плохо, когда ты слаб в достижении цели. Будь проклят тот день, когда они водрузили тебя, мирного пешехода, на дикого грифона демократии, который, оттолкнувшись от земли, поднялся до самых звезд, и не было еще Астольфо, который бы на нем удержался! Среди депутатов общин есть купцы, художники, артисты, литераторы, 374 законоведа и по крайней мере один священник — аббат Сиейес. Его также посылает Париж в числе своих 20 депутатов. Посмотрите на этого легкого, худощавого человека, холодного, но гибкого, сочетающего инстинкт с гордостью логики, он чужд страстей, кроме одной — самомнения, если только можно назвать страстью то, что в своем личном, сосредоточенном величии он поднимается до трансцендентности и взирает оттуда с равнодушием богов на людские страсти! Настоящий человек — это он, и мудрость умрет вместе с ним. Таков Сиейес, который станет конструктором систем, главным конструктором конституций, возводящий их (столько, сколько потребуется) до небес, но, к несчастью, они все упадут прежде, чем с них снимут леса. «Политика, -сказал он Дюмону, — это наука, которую, мне кажется, я превзошел (achevée)»²³. Но какие вещи, о Сиейес, было суждено увидеть твоим зорким очам! Было бы интересно узнать, как ныне, в наши дни (говорят, он все еще жив)²⁴, Сиейес смотрит на все эти конституционные построения трезвым взглядом глубокой старости? Можно ли надеяться, что он сохранил старый, непобедимый трансцендентализм? Победоносное дело угодно богам, побежденное — Сиейесу*.

* Лат.; парафраз «Фарсалий» Лукана I, 128: «Мил победитель богам, побежденный любезен Катону».

Так шествовала процессия депутатов общин среди сотрясающих воздух приветственных кликов и благословений.

За ними следует дворянство, затем духовенство; относительно обоих сословий можно было бы спросить: зачем, собственно, они сюда пришли? Для того — хоть они сами об этом и не помышляют, — чтобы ответить на вопрос, заданный громовым голосом: что вы делаете на прекрасной Божьей земле, в саду труда, где тот, кто работает, просит милостыню или ворует? Горе, горе им всем, если у них только один ответ: мы собираем десятину и охраняем дичь! Обратите-ка внимание, как ловко герцог Орлеанский ухитряется идти впереди своего сословия и замешаться в ряды депутатов общин. Его приветствуют криками, на долю же других достается мало приветствий, хотя все покачивают плюмажами «на шляпах старинного покроя» и имеют сбоку шпаги, хотя среди них идет д'Антрег, молодой лангедокский дворянин, и, кроме того, несколько пэров, более или менее заслуживающих внимания. Здесь Лианкур и Ларошфуко, либеральные герцоги-англомены. Здесь Лалли с сыновней преданностью, оба либерала Ламета. Но, главное, здесь Лафайет, которого назовут Кромвелем-Грандиссоном и которого оценит весь мир. От многих формул Лафайет уже освободился, однако не от всех. Он придерживался и будет придерживаться формулы Вашингтона*, как надежный боевой корабль, который стоит и качается на якоре, выдержав все перемены яростной непогоды и волн. Его счастье не зависит от того, при-

носит оно славу или нет! Единственный из французов, он создал для себя картину мира и обладает верным умом, чтобы сообразоваться с нею; он может стать героем и идеалом, пусть и героем одной идеи. Обратите внимание далее и на нашего старого друга, члена парламента Криспена д'Эпремениля, своего рода Катилину. Он вернулся с островов Средиземноморья ярким роялистом, раскаивающимся до глубины души; ему как будто неловко; блеск его, и так довольно тусклый, теперь едва мерцает. Скоро Национальное собрание, чтобы не терять времени, все чаще и чаще станет «считать его находящимся в состоянии умопомешательства». Отметьте, наконец, этого округлого младшего Мирабо, негодующего, что его старший брат находится среди депутатов общин; это виконт Мирабо, чаще именуемый Бочкой Мирабо из-за его толщины и количества выпиваемых им крепких напитков.

* Вашингтон Джордж (1732—1799) — первый президент США.

Так проходит перед нами французское дворянство. Оно сохраняет прежнюю рыцарственную пышность, но, увы, как изменилось его положение! Оно отнесено далеко от той широты, на которой родилось, и быстро тает, как арктические айсберги, занесенные в экваториальные воды! Некогда эти рыцарственные герцоги (и титул *duces* — *dukes* сохранился до сих пор) действительно повелевали миром, пусть это и была только военная добыча, которая была наилучшим в мире доходом; более того, они, эти герцоги, были действительно самыми способными вождями и потому получали львиную долю добычи, которую никто не смел оспаривать. Но теперь, когда изобретено столько станков, улучшенных плугов, паровых машин и векселей, когда даже для обучения солдат военному делу нанимают сержантов за 18 су в день, что значат эти рыцарские фигуры в раззолоченных камзолах, проходящие здесь «в черных бархатных плащах», в шляпах старинного покроя с развевающимся плюмажем? Тростник, колеблемый ветром?

Теперь подошло духовенство с наказаниями, требующими уничтожить совместительство в пользовании приходами, назначать местопребывание епископа, лучше выплачивать десятину²⁵. Мы видим, что высшие духовные лица величественно выступают отдельно от многочисленных духовных лиц невысокого сана, которые мало чем, кроме рясы, отличаются от депутатов общин. В их среде, хотя и очень странным образом, исполнится заповедь: и те, которые были первыми, к своему великому удивлению, станут последними. Как на один из многих примеров укажем на благообразного отца Грегуара; придет день, когда Грегуар станет епископом, тогда как те сановники церкви, которые сейчас так величественно выступают, будут рассеяны по земле в качестве епископов в чужих странах*. Отметьте, хотя и в ином ключе, также аббата Мори: у него широкое, смелое лицо, правильные очертания губ, большие глаза, светящиеся умом и хитростью — тем видом искушенности, которая бы поразилась, если бы вы назвали ее искушенной. Он искуснейший штопальщик старой, гнилой кожи, которой придает вид новой; это человек, постоянно идущий в гору; он обыкновенно говорил Мерсье: «Увидите, я буду в Академии раньше вас»²⁶. И вполне вероятно, ловкий Мори; мало того, ты получишь кардинальскую тиару и плис, и славу, но, увы, в конечном счете забвение, как и все мы, и шесть футов земли! Что проку латать гнилую кожу, если таков конец? И поистине славной надо назвать жизнь твоего доброго отца, который зарабатывает, и, можно надеяться, достаточно, шитьем сапог. У Мори нет недостатка в смелости; скоро он начнет носить пистолеты и на роковые крики «На фанарь!» холодно ответит: «Друзья мои, разве от этого вы будете лучше видеть?»

* *In partibus (infidelium)*, т. е. в странах неверных; этот сан давался в средние века миссионерам, отправлявшимся с проповедью христианства к язычникам. Позднее употреблялся в переносном значении: «в чужих краях», «за границей».

А там, дальше, замечаешь ли ты прихрамывающего епископа Талейрана-Перигора, его преподобие из Отена? На лице этого непреподобного преподобия из Отена лежит отпечаток сардонической жестокости. Он совершит и претерпит странные вещи и сам, несомненно, станет одним из самых странных явлений, которые кто-либо видел или может увидеть. Это человек, живущий ложью во лжи, и тем не менее вы не назовете его лжецом, и в этом его особенность! Он, можно надеяться, будет загадкой для грядущих веков, потому что такое сочетание природы и искусства возможно только в наше время, плодящее или сжигающее бумагу. Смотрите на епи-

скопа Галейрана и на маркиза Лафайета как на высшие проявления этих двух сословий и повторите еще раз, глядя на то, что они совершили и чем они были: «О плодоносное время дел!» (O tempus ferax rerum!)

В целом же разве это несчастное духовенство не было также увлечено потоком времени, отнесено вдаль от той широты, на которой оно возникло? Это неестественное скопище людей, и мир уже начал смутно подозревать, что понять смысл его он не сможет. Когда-то эти люди были пастырями, толкователями премудрости, открывающими то, что есть в человеке святого, — словом, настоящим клиром (clerus (греч.) — наследие бога на земле), а теперь? Они молча проходят со своими наказаниями, которые они составили, как умели, и никто не кричит им: «Да благословит вас Бог!»

Король Людовик со своим двором завершает шествие; он весел, в этот вселяющий надежду день его приветствуют рукоплесканиями, но еще больше рукоплещут его министру Некеру. Иное дело — королева, для которой надежды более нет. Несчастливая королева! Ее волосы уже седеют от горестей и забот, ее первенец смертельно болен последние недели; гнусная клевета запятнала ее имя и несмываема, пока живо это поколение. Вместо «Да здравствует королева!» звучит оскорбительное «Да здравствует герцог Орлеанский!». От ее царственной красоты не осталось ничего, кроме величавости, она уже не грациозна, а высокомерна, сурова, молчалива в своих страданиях. С противоречивыми чувствами — среди них нет места радости — она смиряется с этим днем, которого она надеялась не увидеть. Бедная Мария Антуанетта, у тебя благородные инстинкты, зоркий взгляд, но слишком узкий кругозор для того дела, которое было приурочено тебе! О, тебя ждут слезы, горькие страдания и тихое женское горе, хотя в груди у тебя бьется сердце дочери императрицы Марии Терезии. О ты, обреченная, закрой глаза на будущее!

Итак, в торжественном шествии прошли избранники Франции. Некоторые — к почестям и неукротимой деятельности; большая часть — к бесчестию, немалое число — к насильственной смерти, смутам, эмиграции, отчаянию, и все — к вечности! Сколько разнородных элементов брошено в сосуд, где происходит брожение, чтобы путем бесчисленных реакций, контрреакций, избирательного притяжения и всплеск создалось лекарство для смертельно больной системы общества! Вероятно, присмотревшись, мы найдем, что это — самое странное сборище людей, которое когда-либо встречалось на нашей планете для выполнения такого действия. Невероятно сложное общество готово взорваться, а эти люди, его правители и врачеватели, не имеют жизненных правил даже для самих себя, иных правил, кроме евангелия по Жан Жаку! Для мудрейшего из них, того, которого мы называем мудрейшим, человек, собственно говоря, есть только случайность. У человека нет иных обязанностей, кроме обязанности «создать конституцию». У него нет неба над головой и ада под ногами, у него нет Бога на земле.

Какое иное или лучшее убеждение может быть у этих 1200 человек? У них есть вера в шляпы старинного покроя с высоким плюмажем, в геральдические гербы, в божественное право короля, в божественное право истреблять дичь; есть вера, или, еще хуже, лицемерная полувера, или, что самое дурное, притворная, по Макиавелли, показная вера в освященные облатки теста и в божественность бедного старого итальянца! Тем не менее во всем этом безмерном хаосе и разложении, которые отчаянно борются, чтобы стать менее хаотичными и разложившимися, различим, как мы говорили, один признак новой жизни — глубоко укоренившаяся решимость покончить с ложью. Решимость, которая сознательно или неосознанно укоренилась и делается все определеннее — до безумия, до навязчивой идеи; и в том воплощении, которое только и возможно ныне, будет быстро проявляться в жизни в ужасных, чудовищных, непередаваемых формах, которые будут новыми еще тысячу лет! Как часто небесный свет здесь, на земле, скрывается в громах и грозových тучах и опускается в виде расплавленной молнии, разрушительной, но и очищающей! Но ведь не сами тучи и не удушливая атмосфера порождают молнию и свет? Неужели новое евангелие, как в свое время старое, должно привести к разрушению мира?

Пусть читатель сам вообразит, как присутствовали депутаты на торжественной мессе, выслушивали проповедь и аплодировали, хоть и находились в церкви, проповеднику каждый раз, когда он говорил о политике; как на следующий день они столь же торжественно были впервые введены в Зал малых забав (ставший отныне залом отнюдь не для забав) и преврати-

лись в Генеральные штаты. Король, величественный, как Соломон во всей славе его, со своего помоста обводит глазами великолепный зал: в нем столько плюмажей, столько глаз, зал, где в галереях и боковых ложах, переливаясь всеми цветами радуги, восседает красота во всем блеске своего влияния. На его широком простом лице написано удовлетворение, как у человека, достигшего гавани после долгого пути: наивный король! Он встает и звучным голосом произносит речь, которую нетрудно себе представить. Не будем испытывать терпение читателя, потому что часовые и двухчасовые речи хранителя печати и месье Неккера наполнены призывами к патриотизму, надежде и вере, в то время как страна стоит на пороге финансового краха.

Заметим только, что, когда Его Величество, завершив свою речь, надел шляпу с плюмажем, а дворянство последовало в соответствии с этикетом его примеру, наши депутаты от третьего сословия сделали то же самое: они как-то свирепо натянули шляпы с опущенными полями и даже примяли их, а затем встали, ожидая дальнейшего²⁷. В их среде поднимается шум, большинство и меньшинство перешептываются: «Снимите шляпы!», «Наденьте шляпы!», но Его Величество кладет этому конец, снова сняв свою королевскую шляпу.

Заседание окончилось без каких-либо других инцидентов или предзнаменований, кроме упомянутого, которым Франция достаточно многозначительно открыла свои Генеральные штаты.

Книга V

ТРЕТЬЕ СОСЛОВИЕ

Глава первая

INERTIA

Несомненно, что отчаявшаяся Франция в лице своего Национального собрания получила нечто; более того, нечто великое, важное, необходимое. Но что именно, остается вопрос. Вопрос, трудноразрешимый даже для позднейшего трезвого наблюдателя и совершенно неразрешимый для действующих лиц, находившихся в гуще событий. Генеральные штаты, созданные и спаянные страстным усилием всей нации, выросли и поднялись. Ликующая надежда провозгласила, что они окажутся тем самым чудотворным медным змием в пустыне, который исцеляет от болезней и змеиных укусов каждого, кто с верой и смирением взирает на него*.

* Библ. аллюзия; Числа 21, 8—9.

Ныне мы можем сказать, что Генеральные штаты действительно оказались символическим знаменем, вокруг которого смогли сплотиться и действовать доступными им способами 25 миллионов отчаявшихся, стонущих, но без них разобщенных и безвластных. Если действием должна была стать борьба — чего нельзя было не ожидать, — пусть будут они боевым знаменем (как итальянский стяггонфалон в старых республиканских ополчениях), взмывающим, влекомым колесницей, развевающимся по ветру, и пусть гремят они железным языком набата. Это первоочередное дело; а потом уже каждый, в первых или последних рядах, ведущий или ведомый и влекомый, приносит борьбе неисчислимое множество жертв. Сейчас же находящееся на переднем крае, более того, одиноко возвышающееся в ожидании того, соберутся ли вокруг него силы, национальное ополчение и его набатные призывы являются главным предметом нашего описания.

Эпизод, известный как «надевание шляп с опущенными полями», знаменовал решимость депутатов третьего сословия в одном пункте: преимущества перед ними не будет иметь ни дворянство, ни духовенство, ни даже сам монарх, столь далеко завели нас «Общественный договор»* и сила общественного мнения. Ибо что есть монарх, как не делегат нации, которая наделила его полномочиями и с которым она торгуется (и ожесточенно) в тех чрезвычайных обстоятельствах, время которых Жан Жак так и не назвал.

* Речь идет о социально-политическом произведении Жан Жака Руссо «Общественный договор», точнее, «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762 г.).

И вот, входя поутру в свой зал разрозненной массой из шести сотен индивидов, эти депутаты осознали, не впадая в ужас, что все зависит от них. Их зал — это также и большой или общий зал для всех трех сословий. Однако выяснилось, что дворянство и духовенство уже удалились в свои собственные апартаменты или залы и там «проверяют свои полномочия» самостоятельно, не объединяясь с другими. Но тогда они должны образовать две независимые, возможно даже раздельно голосующие, палаты? Было похоже, что дворянство и духовенство молчаливо приняли как нечто само собой разумеющееся, что таковыми они и являются. Две палаты против одной — и третье сословие должно всегда оставаться в меньшинстве?

Многое может быть нерешенным, но то, что этого не будет, решено и в головах, покрытых шляпами с опущенными полями, и в голове французской нации. Двойное представительство, или все, что было достигнуто, пропадет, обесценится. Конечно же «полномочия должны быть проверены»; конечно же мандаты, выборные документы нашего депутата, должны быть освидетельствованы собратьями-депутатами и найдены правомочными — это необходимое предварительное действие. Сам по себе вопрос, делать это отдельно или совместно, не столь уж важен, но что из этого выйдет? Иногда необходимо оказать сопротивление — ведь мудрая максима гласит: противься начинаниям. Но если открытое сопротивление безрассудно и даже опасно, то, разумеется, выжидание вполне естественно, а выжидание при поддержке 25 миллионов — весьма серьезное сопротивление. Разобщенная масса депутатов третьего сословия ограничится «системой бездействия» и на ближайшее будущее останется разобщенной.

Именно этот метод, продиктованный как прагматизмом, так и трусостью, приняли со всевозрастающим упрямством депутаты общин и день за днем, неделя за неделей не без ловкости придерживались его. На протяжении шести недель их деятельность в определенном смысле бесплодна, что на самом деле, как утверждает философия, нередко дает наиболее плодотворные результаты. Это все еще были дни творения, в течение которых они созревали. Фактически то, чем они занимались, было ничегонеделанием — самый здравомыслящий способ деятельности. Но с каждым днем разрозненная масса консолидируется, сожалеет, что депутаты общин не могут организованно провести «совместную проверку полномочий» и начать возрождение Франции. Скоропалительные действия возможны, но пусть от них воздержатся: только инертность в одно и то же время и ненаказуема, и непобедима.

Хитрость следует встречать хитростью, заносчивые притязания бездействием, тихой патриотической скорбью, тихой, безутешной и неизгладимой. Мудры, как змеи, кротки, как голубицы, — что за зрелище для Франции! Шесть сотен разобщенных личностей, необходимых для ее возрождения и спасения, сидят в зале Дворца малых забав на полукруглых скамьях, алчут кипения жизни и мучительно выжидают, как еще не рожденные души. Произносятся речи, яркие, слышные в зале и за его пределами. Ум оттачивается об ум, нация взирает на них со всевозрастающим интересом. Так вызревают депутаты общин.

Происходят тайные частные совещания, вечерние застолья, консультации; возникают Бретонский клуб, клуб Вирофлэ, зародыши многих других клубов. Однако можно ожидать, что в этом хаосе беспорядочного шума, тумана, гневного пыла яйцо Эроса, хранимое при подобающей температуре, вызреет нетронутым. Для этого у ваших Мунье, Малуэ, Ле Шапелье* достаточно мудрости, а у ваших Барнавов и Рабо достаточно пыла. Временами требуется вдохновение царственного Мирабо — разумеется, он еще ни в коей мере не признан царственным, более того, впервые произнесенное, его имя вызвало ропот, но он борется за признание.

* Ле Шапелье — адвокат из Ренна, игравший важную роль в первые годы революции. В 1791 г. он эмигрировал в Англию, но, опасаясь, что его имущество будет конфисковано, вернулся во Францию и был гильотинирован в феврале 1794 г.

Через неделю, призвав на председательское место своего старейшину и снабдив его молодыми горластыми помощниками, общины смогли высказаться и жалобно, но членораздельно и во всеуслышание объявить, как мы говорили, что они являются разобщенной массой, стремящейся стать единым целым. Приходят письма, но разобщенная масса не может вскры-

вать письма, и они лежат на столе нераспечатанными. Самое большее, что может старейшина, — это добыть для себя нечто вроде реестра или списка депутатов для проведения голосований и ожидать, что будет дальше. Дворянство и духовенство заседают в других местах. Однако заинтересованная публика толпится на всех галереях, на всех свободных местах, и это утешительно. Со скрипом, но принято решение не о том, что будет послана... депутация — ибо как может механически составленное тело посылать депутацию? — а о том, что несколько представителей общин совершенно случайно, как бы прогуливаясь, зайдут в зал духовенства, а затем и в зал дворянства и напомнят там о том, что они оказались здесь, поскольку община дожидается того момента, когда будут проверены их полномочия. Вот в этом-то и состоит мудрый метод действий!

Духовенство, среди которого множество приходских священников, этих простолюдинов в рясах, тотчас направляет почтительный ответ, что они глубочайшим образом — а с настоящего момента еще более тщательно — изучают именно этот вопрос. Дворянство, напротив, в свойственной ему непринужденной манере, отвечает — через четыре дня, — что оно со своей стороны уже закончило проверку полномочий и конституировалось и было уверено, что то же сделали и общины; такая раздельная проверка является очевидным, правильным с точки зрения конституции и завещанным предками способом, и оно, дворянство, будет иметь чрезвычайное удовольствие представить через комиссию сведения о количестве депутатов, если общины встретятся с ней — комиссия против комиссии! Немедленно вслед за ответом дворянства является делегация духовенства, повторяющая в коварной умиротворяющей манере то же предложение. Возникает затруднение, что на это скажут мудрые члены общин?

Осторожно и вяло мудрые члены палаты общин, полагая, что если они и не являются французским третьим сословием, то по меньшей мере представляют собой совокупность индивидов, претендующих на какое-то наименование подобного типа, решают после пятидневного обсуждения выбрать соответствующую Комиссию, хотя и с условием не поддаваться на убеждения; шестой день уходит на ее выборы; седьмой и восьмой — на согласование форм встречи, места, часа и т. п.; таким образом, лишь к вечеру 23 мая Комиссия дворянства впервые встречается с Комиссией общин, причем духовенство играет миротворческую роль и принимается за невыполнимую задачу — убедить членов Комиссии от палаты общин. Второй встречи, 25 мая, оказалось достаточно: общины не склоняются на убеждения, дворянство же и духовенство стоят на своем. Комиссии расходятся, каждая из палат настаивает на своих требованиях¹.

Так прошло три недели. В течение трех недель ополчение третьего сословия с видным издалека знаменем-гонфалоном стояло как скала, неколебимое ветрами и ожидающее, какие силы сплотятся вокруг него.

Можно представить себе, какие чувства охватили двор, как совет сменялся советом и как вихрилась безумная суета, лишенная животворной мысли. Искусная налоговая машина была уже собрана, воздвигнута с невероятным трудом, а теперь стоит с приведенными в готовность тремя элементами — двумя маховиками, дворянством и духовенством, и огромным рабочим колесом, третьим сословием. Оба маховика плавно вращаются, но — поразительное зрелище! — огромное рабочее колесо стоит неподвижно, отказывается пошевелиться! Искуснейшие конструкторы ошиблись. Да и, придя в движение, как будет оно работать? Это ужасно, друзья мои, ужасно во многих отношениях, ведь можно заранее сказать, что никогда оно не станет собирать налоги или молоть придворную муку. Неужели мы не могли продолжать платить налоги вручную? Монсеньеры д'Артуа, Конти, Конде (их прозвали дворцовым триумвиратом), авторы антидемократического «Мемуара королю» (*Mémoire au Roi*), разве не сбылись ваши предсказания? Пусть они с упреком качают гордыми головами, пусть выхолостят свои скудные мозги, но искуснейшие конструкторы сделать ничего не могут. Сам Неккер, даже когда его выслушивают, начинает мрачнеть. Единственное, что представляется целесообразным, — это вызвать солдат. Два новых полка и один батальон третьего уже пришли в Париж; другие можно поднять на марш. Да и вообще при всех обстоятельствах хорошо иметь под рукой войска; хорошо бы и командование отдать в надежные руки. Пусть будет назначен Брольи, старый маршал герцог де Брольи, ветеран и приверженец строгой дисциплины с твердыми устоями фельдфебеля — на такого можно полагаться.

Потому что, увы! ни духовенство, ни даже дворянство не являются тем, чем они должны были бы быть — и могли бы быть, когда опасность угрожает со всех сторон, — едиными, цельными. Дворянство же имеет своего Катилину, или Криспена д'Эпремениля, мрачно пылающего жаром отступничества; своего неистового Бочку-Мирабо; но, кроме того, оно имеет и своих Лафайетов, Лианкуров, Ламетов, наконец, своего герцога Орлеанского, навсегда порвавшего с двором и лениво размышляющего о крупных и крупнейших трофеях (разве и он не потомок Генриха IV и возможный наследник престола?) на пути к хаосу. И у духовенства, где столь многочисленны приходские священники, тоже есть перебежчики — уже две небольшие группки, во второй из них — аббат Грегуар. Более того, поговаривают, что целых 149 человек из их числа готовы переметнуться всем скопом, их удерживает только архиепископ Парижский. Похоже, что игра проиграна.

Посудите же, могла ли Франция, мог ли Париж оставаться равнодушными все это время! Из дальних и ближних мест идет поток обращений, и наша палата общин наконец консолидировалась настолько, чтобы вскрывать письма и даже придираться к ним. Например, бедный маркиз де Брезе*, старший камергер, церемониймейстер или как там называлась его должность, примерно в это время пишет о каком-то деле, связанном с этикетом, и не находит ничего дурного в том, чтобы заключить письмо словами: «Монсеньер, искренне преданный Вам...» «К кому относится эта искренняя преданность?» — вопрошает Мирабо. «К старейшине третьего сословия». «Во Франции нет человека, имеющего право писать так», — возражает Мирабо, и галереи и мир не удерживаются от рукоплесканий². Буйный де Брезе! Эти члены палаты общин вынашивают давнюю неприязнь к нему, да и он с ними еще не рассчитался.

* Де Брезе (1766—1829) — главный церемониймейстер с 1781 г. Ему по должности было необходимо организовать церемониал Генеральных штатов.

Иным способом пришлось Мирабо бороться с неожиданным закрытием своей газеты «*Journal des Etats généraux*» и продолжить ее издание под другим названием. Этот акт мужества не могли не поддержать парижские выборщики, все еще занятые редактированием своих Наказов, и не направить обращение к Его Величеству: они требуют полнейшей «временной свободы печати», они заговорили даже о разрушении Бастилии и воздвижении на ее месте бронзовой статуи Короля-Патриота. И это пишут богатые горожане! А представьте себе, чего можно ожидать, например, от той распущенной толпы, помешавшейся теперь на любви к свободе, от этих бездельников, бродяг, люмпенов (от всех этих представителей отборнейшего негодяйства нашей планеты), которыми кишит Пале-Руаяль, или представьте тот тихий, нескончаемый стон, быстро переходящий в ропот, который раздается из Сент-Антуанского предместья и от тех 25 миллионов, которым угрожает голодная смерть!

Неоспоримо, что зерна не хватает — в этом году из-за заговора аристократов или заговора герцога Орлеанского, в прошлом году — из-за засухи и града; в столице и в провинции бедняки с тоской ожидают неведомого будущего. А те самые Генеральные штаты, которые могли бы обеспечить нам Золотой Век, принуждены к бездействию и даже не могут проверить свои полномочия! Вся производительная деятельность, если не считать внесения предложений, естественно, приходит в упадок.

В Пале-Руаяле воздвигнуто, видимо по подписке, нечто вроде деревянного навеса (*en planches de bois*)³ — крайне удобно! Здесь избранные патриоты могут редактировать резолюции, с удобством разглагольствовать, невзирая на погоду. Это оживился домашний дьявол. В каждом кафе на столе, на стуле возвышается оратор-патриот; толпа окружает его внутри кафе, толпа, разинув рот, внимает снаружи через распахнутые двери и окна, встречая «громом рукоплесканий каждое проявление недюжинной твердости!» Рядом, в лавке Дессена, торгующего памфлетами, нельзя добраться до прилавка, не поработав локтями; каждый час порождает свой памфлет или ворох памфлетов: «сегодня — 13, вчера — 16, на прошлой неделе — 92»⁴. Подумайте о тирании и нужде, о страстном красноречии, слухах, памфлетах, *Société Publicole*, Бретонском клубе, Клубе бешеных — да разве не покажется Клубом бешеных любая харчевня, кофейня, общественное собрание, случайная группа прохожих по всей Франции!

Ко всему этому депутаты общин лишь прислушиваются, храня возвышенное и скорбное бездействие, — они вынуждены заниматься «своими внутренними делами». Никогда и никакие

депутаты не занимали более выгодного положения, если, конечно, они умело сохраняют его. Только бы страсти не накалились чрезмерно, только бы яйцо Эроса не лопнуло до того времени, когда оно вызреет и лопнет само собой! Возбужденная публика толпится на всех галереях и во всех свободных местах, «не в силах удержаться от рукоплесканий». Пусть оба привилегированных сословия — а дворянство уже проверило полномочия депутатов и конституировалось как отдельная палата — смотрят на это как им угодно, но не без тайной душевной дрожи. Духовенство, вечно играющее роль миротворца, пытается завоевать галереи и их популярность — но тщетно. Прибывает делегация духовенства с печальным посланием о «недостатке зерна» и необходимости отбросить суетные формальности, чтобы обсудить этот вопрос. Коварное предложение! Однако общины, подстегиваемые облаченным в зеленое Робеспьером*, немедля принимают его, усматривая в нем намек или даже залог того, что духовенство и дальше будет являться к ним, образует Генеральные штаты и таким путем удастся снизить цены на зерно!⁵ Наконец мая 27-го дня, полагая, что время почти пришло, Мирабо предлагает «покончить с выжиданием», т. е., игнорируя дворянство с его жестким образом действий, призвать духовенство «во имя Бога Миротворца» присоединиться к палате общин и начать работу⁶. Если же они останутся глухи к этому призыву — ну что ж, там посмотрим! Ведь 149 представителей духовенства готовы дезертировать.

О триумвират принцев, и ты, новый хранитель печати Барантен**, и ты, министр внутренних дел Бретей, герцогиня Полиньяк и чутко прислушивающаяся королева, что же теперь делать? Это третье сословие, собрав силу всей Франции, придет в движение, маховик духовенства и маховик дворянства, которые мыслились как прекрасный противовес и тормоз, будут постыдно разобраны, утащены вслед за третьим сословием — и загорятся вместе с ним. Что же делать? Oeil de Voeuf теряет почву под ногами. Шепотки и контршепотки, буря шепотков! Вожди всех трех сословий собираются как призраки, среди них много обманщиков, но причем здесь обманщики? Да и Неккер, если бы мог вмешаться с пользой, был бы хорошо встречен.

* Робеспьер носил фрак оливкового цвета.

** Барантен (1736—1819) — хранитель печати в 1788 г., сторонник сопротивления требованиям третьего сословия 5 мая 1789 г. Изобличенный Мирабо, он 23 июня покинул свой пост, эмигрировал в конце 1789 г., вернулся из Англии в 1814 г.

Так пусть же Неккер вмешается, и вмешается именем короля! К счастью, на подстрекательское послание о Боге Миротворце еще нет ответа. Пусть три сословия снова соберутся для совещания: под руководством их министра-патриота, может быть, кое-что будет подправлено, подштопано, а мы тем временем стянем швейцарские полки и «сотню орудий полевой артиллерии». Вот на чем останавливается со своей стороны Oeil de Voeuf.

Ну а что касается Неккера — увы тебе, бедный Неккер! твое упрямое третье сословие имеет лишь одно — и первое и последнее — слово: «совместная проверка полномочий» как гарантия совместного голосования и обсуждения! На половинчатые предложения столь испытанного друга оно отвечает удивлением. Запоздалые совещания быстро прекращаются, и третье сословие, теперь уже собранное и решительное, возвращается в зал трех сословий, имея за собой поддержку всего мира, а Неккер — к Oeil de Voeuf, обманутый обманщик, созревший для отставки⁷.

Так что же, депутаты палаты общин наконец тронулись в путь, полагаясь на собственные силы? Вместо председательствующего или старейшины они теперь имеют председателя — астронома Байи. Они тронулись в путь, алчущие отмщения! После бесконечного, то бурного, то умеренного, витийствования, разнесенного на крыльях газет по всем странам, теперь, в 17-й день июня, они решили, что имя им будет не третье сословие, а Национальное собрание!* Значит, они — нация? Триумвират принцев, королева, упрямые дворянство и духовенство, кто же тогда вы? Сложный вопрос — и вряд ли на него можно найти ответ в существующих политических языках.

* 17 июня 1789 г. Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием, т. е. не сословным, а общенациональным институтом.

Не обращая внимания на все это, наше новое Национальное собрание приступает к назначению Продовольственного комитета, дорогого сердцу Франции, но не способного найти хоть

немного зерна. Затем, как будто наше Национальное собрание прочно стоит на ногах, оно переходит к назначению «четырех других постоянных комитетов», затем — к обеспечению государственного долга, затем — к установлению годового налогообложения; все это в течение 48 часов. Все идет с такой скоростью, что обманщики из Oeil de Voeuf могут с полным основанием спросить себя: куда?

Глава вторая

ДЕ БРЕЗЕ В РОЛИ МЕРКУРИЯ

Вот и наступило время для внезапного появления бога*: достойный его конфликт налицо. Единственный вопрос — которого из богов? Марса — де Брольи с его сотней пушек? «Нет еще», — отвечает Осторожность: столь кроток, нерешителен король Людовик. Пусть это будет посланник Меркурий, наш обер-церемониймейстер де Брезе!

* Deus ex machina (досл. «бог из машины») — В античной и средневековой драматургии неожиданное появление бога, разрешающего коллизию и устанавливающего справедливость.

Полтру 20 июня 149 изменников-кюре, которых архиепископ Парижский больше не может удержать, хотя коллективно дезертировать; так пусть вмешается де Брезе и противопоставит им закрытые двери! Заседание с участием короля должно состояться в том самом зале Дворца малых забав, поэтому до него здесь запрещено проводить заседания и вести какую-либо работу — исключение составляют плотники. Ваше третье сословие, самозванное Национальное собрание, внезапно обнаруживает, что оно ловко изгнано плотниками из своего зала и обречено на бездействие; они не могут даже собраться и членораздельно выплакаться, пока Его Величество со своим королевским заседанием и новыми уловками не будет во всеоружии! Вот теперь-то и пора вмешаться де Брезе как Меркурию и, если Oeil de Voeuf не совершит ошибки, разрубить узел.

Надо заметить, что бедный де Брезе по сю пору еще ни разу не преуспел в своих переговорах с представителями общин. Пять недель назад, когда при присяге они целовали руку Его Величества, церемония не вызвала ничего, кроме осуждения, а его «искренняя преданность» — с каким презрением она была отвергнута! Этим вечером перед ужином он пишет от имени короля новое письмо председателю Байи, которое должно быть вручено на рассвете. Однако Байи, гордый своей должностью, комкает письмо и сует его в карман, как счет, который он не намерен оплатить.

Соответственно воскресным утром 20 июня пронзительные голоса герольдов объявили на улицах Версаля, что заседание под председательством короля состоится в ближайший понедельник, а Генеральные штаты не должны заседать до этого времени. И все же мы видим, как под эти крики председатель Байи с письмом де Брезе в кармане направляется, сопровождаемый Национальным собранием, к привычному залу Дворца малых забав, как будто де Брезе и глашатаи — пустое место. Однако зал заперт и охраняется французской гвардией. «Где ваш капитан?» Капитан демонстрирует королевский приказ; он весьма сожалеет, но рабочие всюду воздвигают помост для заседания Его Величества; к глубокому сожалению, вход воспрещен; в самом крайнем случае могут войти председатель и его секретари, забрать бумаги, чтобы их не уничтожили плотники! Председатель Байи входит со своими секретарями и возвращается, неся бумаги; увы, в помещении вместо патриотических речей раздаются лишь стук молотков, визг пилы и грохот стройки! Беспрецедентная профанация!

Депутаты толпятся на Парижской дороге, на этой тенистой «Версальской аллее», громко сетуя на оскорбление. Придворные, глядя на это из окон, по-видимому, посмеиваются. Утро далеко не самое приятное: сыро, даже накрапывает⁸. Но все прохожие останавливаются, патриотически настроенные посетители галерей и праздные зрители собираются группами. Выдвигаются разнообразные предложения. Наиболее отчаянные депутаты предлагают провести заседание на большой наружной лестнице в Марли, под самыми окнами короля, который, кажется, перебрался туда. Другие поговаривают о том, чтобы превратить Шато-Форекур, который они называют Place d'Armes — Плацдармом, в Раннимид и новое Майское поле свободных францу-

зов, и даже о том, чтобы звуками негодующего патриотизма пробудить эхо в самом Oeil de Voeuf. Приходит известие, что председатель Байи с помощью изобретательного Гильотена и других нашел место в Зале для игры в мяч на улице Св. Франциска. Туда и направляются длинными рядами, как летящие журавли, рассерженные депутаты общин.

Что за странное зрелище на улице Св. Франциска в Старом Версале! Пустой Зал для игры в мяч, как видно на картинах того времени: четыре голых стены, и только высоко наверху нависает какая-то убогая деревянная надстройка или галерея для зрителей, а внизу раздаются не какие-то праздные крики игроков, стук мячей и ракеток, но громкий ропот представителей нации, изгнанных сюда самым скандальным образом. Однако с деревянной надстройки, с верха стены, с прилегающих крыш и дымовых труб над залом тучей скопились зрители, стекающиеся со всех сторон и страстно благословляющие депутатов. Где-то добывается стол, чтобы писать, и несколько стульев — не сидеть, а становиться на них. Секретари развязывают папки, Байи открывает заседание.

Закаленный в виденных или слышанных парламентских битвах, Мунье, для которого это не в новинку, полагает, что было бы хорошо в этих прискорбных и опасных обстоятельствах связать себя клятвой. Всеобщие бурные одобрения, как будто в стесненные груди проник воздух! Клятва редактируется и провозглашается председателем Байи таким звучным голосом, что толпы зрителей даже на улице слышат ее и отвечают на нее ревом. Шесть сотен правых рук вздымаются вслед за рукой председателя Байи, чтобы призвать в свидетели Бога там, наверху, что они не разойдутся ни по чьему приказу, но будут собираться повсюду при всех обстоятельствах, хотя бы по два или по три, до тех пор, пока не выработают конституцию. Выработать конституцию, друзья! Это долгая задача. Пока же шесть сотен рук подписывают то, в чем они поклялись; шесть сотен без одной: богобоязненный Авдий*, который лишь один раз появляется на исторической сцене, имеет имя — это бедный «месье Мартен Дош, депутат от Кастельнодари в Лангедоке». Они позволяют ему подписать или удостоверить свой отказ и даже спасают его от зрителей, объявив о его «умственном расстройстве». К четырем часам все подписи проставлены, новое заседание назначено на утро понедельника, ранее того часа, когда должно открыться королевское заседание, чтобы наши 149 духовников-дезертиров не пошли на попятный: мы соберемся в «францисканской церкви Recollets или где-нибудь еще» и будем надеяться, что наши 149 присоединятся к нам. А теперь пора обедать.

* Библ. аллюзия; Авдий, начальник дворца царя Ахава, послан пророком Илией сообщить о его приходе; несмотря на смертельную опасность, выполняет поручение. См.: 3-я Книга царств, 18.

Это и есть то знаменитое «заседание в Зале для игры в мяч», слава о котором разнеслась по всем землям. Это и есть плод появления де Брезе в роли Меркурия! Смешки придворных на «Версальской аллее» смолкли в тягостном молчании. Неужели растерявшийся двор во главе с хранителем печати Барантенем, триумвиратом и К^о полагали, что могут рассеять черным или белым жезлом обер-церемониймейстера шестьсот депутатов нации, одушевленных идеей национальной конституции, как безмозглых цыплят на птичьем дворе? Цыплята бы с писком разлетелись, но депутаты нации, как львы, оборачиваются, воздевают десницу, и приносят клятву, которая сотрясает всю Францию.

Председатель Байи увенчал себя славой, которая стала ему наградой. Национальное собрание теперь дважды и трижды собрание нации, не только воинствующее и мученическое, но и торжествующее*, оскорбленное, но чувствующее себя выше оскорблений. Париж снова стекается в Версаль, чтобы следить «мрачным взором» за Королевским собранием⁹, которое вновь, и весьма удачно, откладывается до вторника. 149 — среди них есть даже епископы — имеют время величественной процессией прошествовать к церкви, где их ожидают депутаты общин, и торжественно присоединиться к ним. Депутаты приветствуют их кликами, объятиями и даже слезами умиления¹⁰, потому что теперь речь идет о жизни и смерти.

* Все три определения — средневековые обозначения церкви в ее отношении к миру.

Что касается самого заседания, то плотники как будто завершили возведение помоста, но все остальное не завершено. Бесплодное, можно сказать роковое, дело. Король Людовик шествует сквозь море людей, угрюмых, безмолвных, раздраженных многим, в том числе проливным

дождем; он входит к третьему сословию, также угрюмому и безмолвному, которое промокло, ожидая под узкими арками заднего входа, пока двор и привилегированные сословия не войдут через парадный вход. Король и хранитель печати (Неккера здесь не видно) в многословных выражениях оповещают о решениях, принятых королем. Три сословия должны голосовать раздельно. С другой стороны, Франция может ожидать значительных конституционных благодеяний, как определено в 35 статьях¹¹, читая которые хранитель печати осип. «Каковые 35 статей, — добавляет Его Величество, снова вставая, — я сам буду претворять в жизнь (*seul je ferai le bien de mes peuples*) на благо моих подданных», если три сословия, к несчастью, не смогут согласиться между собой об их проведении. В переводе это означает: «Вздорные депутаты Генеральных штатов, вы, вероятно, недолго пробудете здесь! В общем, на сегодня все расходится и соберитесь завтра поутру, каждая палата в своем помещении, и беритесь за дело». Таково решение, принятое королем. Коротко и ясно. И на этом король, придворные, дворянство и большинство духовенства удаляются, как будто все дело удовлетворительно решено.

Они удаляются сквозь море угрюмо безмолвствующих людей. Не удаляются только депутаты общин, они остаются на месте в мрачной тишине, не уверенные в том, что они должны предпринять. Уверенность есть лишь у одного из них, лишь один понимает и дерзает! Именно теперь «король» Мирабо направляется к трибуне и возвышает голос до львиного рыка. Воистину его слово кстати, потому что в таких ситуациях мгновение определяет ход столетий. Если бы не присутствие Габриеля Оноре, вполне можно представить себе, как депутаты общин, перепуганные опасностями, надвигающимися на них со всех сторон, и бледнеющие при виде бледности соседа, один за другим выскальзывают из зала, а весь ход европейской истории меняется!

Но он здесь. Вслушайтесь в раскаты голоса этого царя лесов, поначалу скорбные и приглушенные, но быстро нарастающие и переходящие в рычание! Глаза загораются при встрече с его взором: «Национальные депутаты были посланниками нации; они произнесли клятву; они...» Но что это? Львиный рык достиг предела, и вдруг что за явление? Явление бормочущего нечто де Брезе в роли Меркурия! «Громче!» — кричит кто-то. «Господа! — взвизгивает де Брезе, повторяя свои слова. — Вы слышали приказ короля!» Со вспыхнувшим лицом Мирабо вперяет в него горящий взор и сотрясает черной львиной гривой: «Да, месье, мы слышали то, что было внушено королю; вы, кто не может передавать его приказы Генеральным штатам; вы, кто не имеет права ни находиться, ни говорить здесь, вы не тот человек, который может напоминать нам об этом. Идите, месье, и скажите тем, кто вас послал, что мы находимся здесь по воле народа и ничто, кроме силы штыков, не изгонит нас отсюда!»¹² Бедный де Брезе, содрогаясь, покидает Национальное собрание, а также — если не считать одного маленького эпизода месяцы спустя — страницы Истории!

Несчастный де Брезе, обреченный жить многие века в памяти людей слабым, с дрожащим бедным жезлом! Мученик поклонения высоким особам, он был верен этикету, заменившему ему здесь, на земле, веру. Короткие шерстяные плащи не могут целовать руку Его Величества, как длинные бархатные... Более того, когда позже бедный маленький дофин был мертв и явилась какая-то официальная делегация, разве он со свойственной ему пунктуальностью не объявил мертвому телу дофина: «Монсеньер, депутация Генеральных штатов!»¹³ *Sunt lacrimae rerum**.

* Слезы сочувствия (лат.). — *Вергилий. Энеида*, I, 462.

Что же теперь сделает *Oeil de Voeuf*, когда де Брезе, содрогаясь, возвратится туда? Выставит пресловутую силу штыков? Нет-нет, море людей все еще слишком многоводно и слишком напряженно следит за происходящим, и даже, волнуясь, оно врывается и вкатывается во дворы самого замка, потому что пронесся слух, что Неккер уволен в отставку. Хуже того, французская гвардия, похоже, не расположена действовать: «две роты не стреляют, когда приказано стрелять!»¹⁴ Неккера, который не явился на Королевское заседание, вызывают кликами и торжественно относят домой — ему не следует давать отставку. Напротив, архиепископ Парижский вынужден бежать в карете с разбитыми стеклами и обязан жизнью бешеной скачке. Лейб-гвардию, которую вы было выставили, лучше убрать обратно¹⁵. Даже думать нечего о посылке штыков.

Вместо солдат Oeil de Voeuf высылают... плотников, чтобы разобрать помост. Не слишком полезный шаг! Через несколько минут плотники перестают стучать и разбирать помост, а замирают на нем с молотками в руках и слушают с разинутыми ртами¹⁶. Третье сословие принимает декрет: оно было, есть и будет не чем иным, как Национальным собранием, и более того, будет обладать неприкосновенностью, причем все члены его также неприкосновенны: «Признаются бесчестными, изменниками нации и виновными в преступлении, караемом смертной казнью, любой человек, корпорация, трибунал, суд или комиссия, которые отныне и впредь, во время этой сессии или последующей, осмелятся преследовать, допрашивать, арестовывать или санкционировать арест, задерживать или санкционировать задержание и т. д. и т. п., от кого бы ни исходил этот приказ»¹⁷. Написав это, можно и успокоиться, тем более аббат Сиейес говорит: «Господа, сегодня вы те же самые, что и были вчера».

Пусть визжат царедворцы, но так есть, и так будет. Заряженный ими патрон разорвался в патроннике, покрыв их ожогами, позором и невыносимой грязью! Бедный триумвират, бедная королева и особенно бедный муж королевы, который имел самые добрые намерения, если вообще у него были определенные намерения! Невелика та мудрость, которая проявляет себя задним числом. Несколько месяцев назад эти 35 уступок вызвали бы во Франции ликование, которое могло бы продлиться несколько лет. Теперь же они ничего не стоят, само упоминание о них встречается презрением, прямые приказы короля — пустой звук.

Вся Франция кипит, море людей, оцененное в «десять тысяч», клопочет «весь этот день в Пале-Руаяле»¹⁸. Оставшаяся часть духовенства и около 48 дворян, в том числе герцог Орлеанский, отныне и впредь перешли к победоносной палате общин, которая встретила их, что естественно, «приветственными кликами».

Третье сословие торжествует, город Версаль приветствует его, десять тысяч человек весь день крутятся в Пале-Руаяле, и вся Франция, привстав на цыпочки, готова закружиться в этом водовороте. Пусть ка Oeil de Voeuf попробует не заметить этого. Что же касается короля Людовика, то он проглотит обиды, будет выжидать и молчать, будет поддерживать существующий мир любой ценой. Был вторник 23 июня, когда он изрек свой окончательный королевский приказ, но не истекла и неделя, как он предписал упорствующей части дворянства, чтобы она также была любезна уступить. Д'Эпремениль рвет и мечет; Бочка-Мирабо «ломает шпагу» и произносит обет, который было бы неплохо и сдержать. «Тройственное семейство» теперь полностью в сборе, когда третий заблудший брат, дворянство, присоединился к ним, заблудший, но заслуживающий прощения и умиротворенный, насколько это возможно, сладкоречием председателя Байи.

Так восторжествовало третье сословие. Генеральные штаты действительно становятся Национальным собранием, и вся Франция может петь: «Тебя, Бога, хвалим»*. Мудрым выжидающим и мудрым прекращением выжидания была выиграна великая победа. Всю последнюю ночь июня на улицах Версаля не встретишь никого, кроме «людей, бегущих с факелами», с криками и ликованием. От 2 мая, когда они целовали руку Его Величества, до 30 июня, когда люди носились с факелами, мы насчитываем 8 недель и 3 дня. За восемь недель национальное ополчение поднялось, забило в набат и собрало вокруг себя столько людей, что может надеяться выстоять.

* Начальные слова молитвы «Te Deum laudamus» («Тебя, Бога, хвалим»).

Глава третья

БРОЛЫ, БОГ ВОЙНЫ

Двор негодует, что был побежден, но что за беда? В другой раз он поступит умнее. Меркурий сошел напрасно, теперь пришло время Марса. Боги Oeil de Voeuf удалились во тьму своей туманной Иды* и затаились там, чеканя и куя то, что может потребоваться, будь то «билеты нового Национального банка», боевые припасы или вещи, навеки сокрытые от людей.

Но что означает этот «сбор войск»? Национальное собрание не может получить поддержки для своего Продовольственного комитета и слышит только, что в Париже пекарни находятся в осаде, что в провинции люди «живут на хлебе из мякины и на вареной траве». Но на всех дорогах клубится пыль от марширующих полков, от катящихся пушек: к Парижу и Версалю

двигаются иностранные пандуры** свирепого вида, немецкие полки Сали-Самада, Эстергази, швейцарские гвардейцы, большинство из них — чужаки, их число достигает тридцати тысяч, а страх увеличивает его до пятидесяти. Уже на склонах Монмартрского холма роят и копают, что очень напоминает сооружение эскарпов и траншей. Потоку из Парижа в Версаль преграждает путь артиллерийская застава на Севрском мосту. На сам зал заседаний Национального собрания наведены пушки, стоящие в конюшнях королевы. Сон депутатов Национального собрания прерывается топотом солдат, бесцельно, или на первый взгляд бесцельно, толпящихся и перемещающихся глухими ночами «без барабанного боя и слышимых команд»¹⁹. Что это значит?

* Гора возле Трои.

** Пандуры — нерегулярные пехотные отряды, формировавшиеся в подвластных Габсбургам Венгрии и Хорватии для участия в войнах.

Неужели восемь, неужели двенадцать депутатов во главе с нашими Мирабо и Варнавами будут внезапно брошены в замок Гам, а остальные позорно развеяны ветром? Ни одно Национальное собрание не может создавать конституцию под дулами пушек, стоящих в конюшнях королевы! Что означает это молчание *Oeil de Voeuf*, нарушаемое только кивками голов и пожиманием плеч? Что они чеканят и куют в потаенных пещерах туманной Иды? Растерявшиеся патриоты не перестают задавать подобные вопросы, но ответом им — только эхо.

Вопросы и эхо в ответ на них — это уже достаточно скверно, а теперь еще, по мере того как скудный сельскохозяйственный год, который тянется от августа до августа, подходит к концу, подступает голод. Сидя «на хлебе из мякины и на вареной траве», грабители и впрямь могут собираться толпами и окружать фермы и замки с яростными воплями: «Хлеба! Хлеба!» Посылать солдат против них бесполезно: при одном виде солдат они рассеиваются, проваливаются сквозь землю и тут же собираются в другом месте для нового бунта и грабежа. Страшно смотреть на это, а главное — как это преломляется в 25 миллионах подозрительных голов! Грабители и Брольи, открытые мятежи, невероятные слухи сводят с ума большинство голов Франции. Каковы же будут последствия?

В Марселе уже много недель назад горожане вооружились для «подавления» грабителей и для других целей: пусть военный комендант думает что угодно. В других местах, собственно повсюду, разве нельзя сделать то же? В смятенном воображении патриота смутно всплывает как последнее средство некий прообраз Национальной гвардии. Но представьте себе над всем этим деревянную сень в Пале-Руаяле! Здесь царит общий хаос, как будто рушатся миры; здесь громгласнее звучит безумный и повергающий в безумие голос молвы; здесь острее вонзается взгляд подозрения в бледный, туманный мировой водоворот; здесь отчетливо различимы призраки и фантомы: надвигающиеся кровожадные полки, расположившиеся на Марсовом поле, распущенное Национальное собрание, докрасна раскаленные пушечные ядра, сжигающие Париж, — безумный бог войны и свистящие плети Беллоны!*. Даже для самого миролюбивого человека становится совершенно ясно, что сражение неизбежно.

* В римской мифологии богиня, связанная с Марсом (от *bellum* — война), его мать или сестра, кормилица или спутница.

Неизбежно, молчаливо кивают монсеньеры и Брольи, неизбежно и близко! Ваше Национальное собрание, конституционная деятельность которого внезапно прервана, утомляет королевское ухо своими обращениями и протестами: ведь это наши пушки наведены и это наши войска стоят наготове. Декларация короля с ее 35 слишком щедрыми статьями была оглашена, но не выслушана, тем не менее она остается в силе: он сам приведет ее в действие.

Что касается Брольи, то его штаб расположился в Версале; тут все как на театре войны: писцы пишут, важные штабные офицеры склонны к молчанию, адъютанты с плюмажами на шляпах, ординарцы, курьеры мечутся взад и вперед. Сам Брольи выглядит важным, непроницаемым, с легкой улыбкой выслушивает предостережения и серьезные советы коменданта Парижа Безанваля, уже который раз приезжающего с этой целью²⁰. Парижане сопротивляются! — с укором восклицают монсеньеры. Да, так, как только может чернь! Пять поколений она помалкивала, подчиняясь всему. Их Мерсье именно в эти годы провозгласил, что восстание в Париже отныне «невозможно»²¹. Будем же стоять за королевскую декларацию 23 июня.

Французское дворянство, доблестное, рыцарственное, как в старину, сплотится вокруг нас, а что касается тех, кого вы называете третьим сословием, а мы называем сбродом (*canaille*) грязных санкюлотов, сволочей, писак, бунтующих краснобаев, то храбрый Брольи «одним пушечным залпом» (*salve de canons*), если потребуется, быстро рассеет их. Так рассуждают они на вершине своей туманной Иды, скрытые от людей; правда, и люди скрыты от них.

Пушечный залп, монсеньеры, хорош при одном условии: пушкарь также должен быть сделан из металла! Но к сожалению, он сделан из плоти; под кожаным камзолом и перевязями у вашего наемного пушкаря есть инстинкты, чувства и даже мыслишки. Это его сородич, плоть от плоти его, тот самый сброд, который надлежит рассеять; среди этого сброда его брат, отец и мать, живущие на хлебе из мякины и на вареной траве. Даже его подруга, если она еще «не померла в больнице», толкает его на путь военного отступничества, утверждая, что если он прольет кровь патриотов, то будет проклят людьми. И солдат, который видел, как хищные Фулоны разворовали его жалованье, как Субизы и Помпадуры расточали его кровь, как неумолимо закрыты для него пути к продвижению только потому, что он не родился дворянином, тоже таит на вас зло. Ваше дело не станет делом солдата, а будет только вашим собственным: оно не касается ни Бога, ни человека.

Например, мир уже мог прослышать, как недавно в Бетюне, где возник такой же «хлебный бунт», как и во многих других местах, когда солдаты были выстроены и прозвучал приказ «пли!», не щелкнул ни один курок, и раздался только сердитый стук прикладов ружей о землю; солдаты стояли мрачные со странным выражением лица, пока они не были «подхвачены под руки хозяевами-патриотами» и уведены для угощения, а жалованье им было увеличено по подписке!²²

В последнее время даже французская гвардия, лучший линейный полк, не обнаруживает склонности к уличной стрельбе. После разгрома дома Ревельона она вернулась, ропща, и с тех пор не истратила ни одного патрона, даже, как мы видели, когда получала на то приказ. Опасные настроения царят в среде этих гвардейцев. А взять приметных людей! Валади-пифагорец был когда-то их офицером. Да и под треуголками с кокардой, сколько ни будь в строю твердолобых, могут возникнуть сомнения, неведомые публике! Одну из наиболее твердых голов мы видим на плечах некоего сержанта Гоша*. Лазар Гош — таково его имя — прежде работал в королевских конюшнях Версаля, племянник бедной зеленщицы, проворный юноша, страстный книголюб. Теперь он сержант Гош, но дальше подняться по службе не может; он тратит жалованье на свечи и дешевые издания книг²³.

* Гош Лазар Луи (1768—1797) — выдвигенец Французской революции, вышедший из низов, совершенно необразованный, но благодаря способностям добившийся генеральского звания.

Вообще же самое лучшее, похоже, запретить эту французскую гвардию в казармы. Так думают Безанваль и другие. Но запертая в казармах французская гвардия образовывает не что иное, как «тайное общество», обязывающееся не принимать мер против Национального собрания. «Они развращены пифагорейцем Валади, они развращены деньгами и женщинами!» — кричат Безанваль и множество других. Чем угодно развращенные или не нуждающиеся в развращении вообще, вот они длинными колоннами, вырвавшись из-под замка, возглавляемые своими сержантами, прибывают 26 июня в Пале-Руаяль! Их приветствуют криками «Виват!», подарками и патриотическими тостами; следуют взаимные объятия и заявления, что дело Франции — это и их дело! Так продолжается на следующий и в последующие дни. И что поразительно помимо этого патриотического настроения и нарушения запрета, так это их «строжайше пунктуальное» поведение во всем остальном²⁴.

Сомнения охватывают их все больше, этих гвардейцев! Одиннадцать вожаков посажены в тюрьму Аббатства, но это несколько не помогает. Заключенным достаточно всего-навсего «рукой одного лица» послать к вечеру одну строчку в Кафе-де-Фуайе, где на столах произносятся самые громовые патриотические речи. И сейчас же толпа в «две сотни молодых людей, быстро возросшая до четырех тысяч», вооружившись ломом, катится к Аббатству, разносит в щепки соответствующие двери и выносит одиннадцать заключенных, а вместе с ними и другие военные жертвы, кормит их ужином в саду Пале-Руаяля, устраивает на ночлег на походных кроватях в театре «Варьете» — другого национального Притания* еще не имеется. Все

происходящее вполне продуманно! Эти молодые люди столь строги в выполнении своих общественных обязанностей, что, обнаружив среди освобожденных заключенного за совершение гражданского преступления, они возвращают его в камеру.

* Prytaneum (греч.) — общественный зал, предназначенный для приема почетных гостей.

Почему же не вызваны подкрепления? Подкрепления были вызваны. Подкрепления прибыли галопом, с саблями наголо, но народ мягко «взял лошадей под уздцы», драгуны вложили сабли в ножны, подняли кепи в знак приветствия и замерли, как статуи драгунов, отличаясь от статуй лишь тем, что опрокидывали чарки «за короля и народ от всего сердца»²⁵.

А теперь спросим в ответ, почему монсеньеры и Брольи, великий бог войны, видя все это, не остановились, не нашли какой-то другой путь, любой другой путь? К несчастью, как мы сказали, они не могли ничего видеть. Гордыня, которая ведет к падению, гнев, хотя и неразумный, но прощительный и естественный, ожесточил их сердца и затуманил их головы; потеряв разум и алча насилия (прискорбное сочетание), они очертя голову ринулись навстречу судьбе. Не все полки — французская гвардия, не все развращены пифагорейцем Валади; призовем неразвращенные, свежие полки, призовем немецкую гвардию, Сали-Самада, старую швейцарскую гвардию, которые умеют сражаться, но не умеют говорить, кроме как на своих германских гор-таных языках; пусть солдаты маршируют, дороги сотрясаются от артиллерийских повозок — Его Королевское Величество должен созвать новое королевское заседание и совершить на нем чудеса! Картечный залп может, если это необходимо, перерасти в вихрь и бурю.

В этих обстоятельствах, до того как начали падать раскаленные ядра, не стоит ли 120 парижским выборщикам, хотя их Наказы давно уже даны, снова ежедневно встречаться в качестве Избирательного клуба? Сначала они собираются «в одной таверне», где им с готовностью уступает место «большая свадебная компания»²⁶. Позднее они перемещаются в Отель-де-Виль, в Большой зал самой Ратуши. Купеческий старшина Флессель со своими четырьмя эшевенами (помощниками) не могут помешать — такова сила общественного мнения. Лучше бы он со своими эшевенами и 26 городскими советниками — все они назначены сверхху — тихо сидели в своих длинных мантиях, размышляя с ужасом в глазах о том, к чему приведут эти потрясения снизу и какова будет при этом их собственная судьба.

Глава четвертая

К ОРУЖИЮ!

Нечто неопределенное, роковое нависло над Парижем в эти душные июльские дни. Публикуется страстный призыв Марата воздержаться при всех обстоятельствах от насилия²⁷. Тем не менее голодные бедняки сжигают городские таможенные заставы, где взимаются пошлины с продовольствия, и требуют хлеба.

Утро 12 июля, воскресенье; улицы завешаны огромными плакатами, которые именем короля (De par le Roi) «призывают мирных горожан оставаться в домах», не волноваться и не собираться толпами. Зачем? Что означают эти «плакаты огромного размера»? А самое главное, что означает этот войсковой шум, стягивающиеся со всех сторон к площади Людовика XV драгуны и гусары, лица которых серьезны, хотя их осыпают бранью и даже кидают в них всякую всячину?²⁸ С ними находится Безанваль. Его швейцарские гвардейцы уже расположились с четырьмя пушками на Елисейских Полях.

Неужели все-таки погромщики добрались до нас? От Севрского моста до самого Венсenna, от Сен-Дени до Марсова поля мы окружены! Тревога смутной неизвестности наполняет каждую душу. В Пале-Руаяле изъясняются испуганными междометиями и кивками: можно представить себе, какую душевную боль вызывает полуденный залп пушки (она стреляет, когда солнце пересекает зенит), напоминающий неясный глас рока²⁹. Все эти войска и впрямь призваны «против грабителей»? Но где же тогда грабители? Что за тайна носится в воздухе? Слушайте! Человеческим голосом внятно возвещаются вести к Иову*: Неккер, народный министр, спаситель Франции, уволен в отставку. Невозможно, невероятно! Это заговор против общественного спокойствия! Этот голос следует задуть в зародыше³⁰, если бы его обладатель не поспешил

скрыться. Тем не менее, друзья, думайте что хотите, но новость соответствует действительности. Неккер ушел. Со вчерашней ночи Неккер безостановочно гонит лошадей на север, покорно сохраняя тайну. Мы имеем новое министерство: Брольи, этого бога войны, аристократа Бретейя, Фулона, сказавшего: «Пусть народ жрет траву!»

* Библ. аллюзия (см.: Книга Иова I, 14—18), т. е. известие о грядущих несчастьях.

В Пале-Руаяле и по всей Франции поэтому растет ропот. Бледность залила все лица, всех охватили смутный трепет и возбуждение, вырастающие до огромных раскатов ярости, подстегиваемой страхом.

Но взгляните на Камиля Демулена с лицом пророка, стремглав выбегающего из Кафед-Фуайе: волосы развеваются, в каждой руке по пистолету! Он взлетает на стол; полицейские прихвостни поедают его глазами: живые живым они не возьмут его, но, и умерев, не возьмут его живым. На этот раз он не заикается: «Друзья! Неужели мы умрем, как затравленные зайцы? Как овцы, гонимые на бойню, блеющие о пощаде там, где пощады нет, а есть только острый нож? Час пробил, великий час для француза и человека, когда угнетатели должны помериться силой с угнетенными. Наш лозунг: скорая смерть или освобождение навеки! Встретим же этот час как подобает! Мне кажется, нам пристал лишь один клич: «К оружию!»» Пусть по всему Парижу, по всей Франции пронесется ураганом и звучит «К оружию!». «К оружию!» — взрываются в ответ бесчисленные голоса, сливающиеся в один громовый демонический глас. На лицах загораются глаза, все сердца воспаляются безумием. Такими или еще более подходящими словами Камиль пробуждает стихийные силы в этот великий момент. — «Друзья, — продолжает Камиль, — нам нужен опознавательный знак! Кокарды, зеленые кокарды — цвета надежды!» Как при налете саранчи погибает зеленая листва, так же исчезают зеленые ленты из соседних лавок, все зеленые вещи изрезаны и пушены на кокарды. Камиль сходит со стола, «его душат в объятиях, орошают слезами», ему протягивают кусок зеленой ленты, который он прикрепляет к шляпе. А теперь — в картинную лавку Курциуса, на Бульвары, на все четыре стороны. Покоя не будет, пока всю Францию не охватит пожар!

Франция, уже давно сотрясаемая общественными бурями и иссушенная ветрами, вероятно, и так находится в точке возгорания. А бедный Курциус, который, к прискорбию, вряд ли получит полную цену, не может связать и двух слов в защиту своих «образов». Восковой бюст Неккера, восковой бюст герцога Орлеанского, спасителей Франции, выносятся толпой на улицу, накрываются крепом, как в похоронной процессии или по образцу просителей, взывающих к небесам, к земле, к самому Тартару. Это символы! Ведь человек с его исключительными способностями к воображению совсем или почти совсем не может обходиться без символов: так турки глядят на знамя Пророка, так было сожжено чучело из ивовых прутьев, а изображение Неккера уже недавно побывало на улицах — высоко на шесте.

В таком виде они проходят по улицам, смешанная, постоянно возрастающая толпа, вооруженная топорами, дубинами, чем попало, серьезная и многозвучная. Закрывайте все театры, прекращайте танцы и на паркетных полах, и на зеленых лужайках! Вместо христианской субботы и праздника кушей* будет шабаш ведьм, и обезумевший Париж будет плясать под дудку Сатаны!

* Священный день отдохновения в иудаизме, воскресенье — в христианской обрядности (Левит 23, 34—36).

Однако Безанваль с конницей и пехотой уже находится на площади Людовика XV. Жители, возвращаясь на исходе дня после прогулки из Шайо или Пасси, после небольшого флирта и легкого вина, плетутся более унылым шагом, чем обычно. Будет ли проходить здесь процессия с бюстами? Смотрите на нее; смотрите, как бросается к ней принц Ламбеск со своими немецкими гвардейцами! Сыплются пули и сабельные удары, бюсты рассечены на куски, а с ними, к сожалению, и человеческие головы. Под сабельными ударами процессии не остается ничего иного, как развалиться и рассеяться по подходящим улицам, аллеям, дорожкам Тюильри и исчезнуть. Безоружный изрубленный человек остается лежать на месте — судя по мундиру, это французский гвардеец. Несите его, мертвого и окровавленного (или хотя бы весть о нем), в казарму, где у него еще есть живые товарищи!

Но почему бы победителю Ламбеску не атаковать аллеи сада Тюильри, в которых прячутся беглецы? Почему бы не показать и воскресным гулякам, как сверкает сталь, орошенная кровью, чтобы об этом говорили до звона в ушах? Звон, правда, возник, но совсем не тот. Победитель Ламбеск в этой второй, или тюильрийской, атаке имел только один успех: он опрокинул (это нельзя даже назвать ударом сабли, поскольку удар был нанесен плашмя) бедного, старого школьного учителя, мирно трусившего по аллее, и был вытеснен баррикадами стульев, летящими «бутылками и стаканами» и проклятиями, звучащими как в басах, так и в сопрано. Призвание укротителя черни все-таки весьма щекотливо: сделать слишком много столь же плохо, как и сделать слишком мало, потому что каждый из этих басов, а еще более каждое из этих сопрано разносятся по всем уголкам города, звенят яростным негодованием и будут звенеть всю ночь. Десятикратно усиливается крик: «К оружию!»; с заходом солнца гудят набатным звоном колокола, оружейные лавки взломаны и разграблены, улицы — живое пенящееся море, волнуемое всеми ветрами.

Таков результат атаки Ламбеска на сад Тюильри: она не поразила спасительным ужасом гуляющих в Шайо, но полностью пробудила Безумие и трех Фурий, которые, правда, и так не спали! Ведь, затаившись, эти подземные Эвмениды* (мифические и в то же время реальные) не покидают человека даже в самые унылые дни его существования и вдруг взмываются в пляске, потрясая дымящимися факелами и развевающимися волосами-змеями. Ламбеск с немецкой гвардией возвращается в казармы под музыку проклятий, затем едет обратно, словно помешанный; мстительные французские гвардейцы, со сведенными бровями, ругаясь, бросаются за ним из своих казарм на Шоссе-д'Антен и выпускают по нему залп, убивая и раня окружающих, но он проезжает мимо, не отвечая³¹.

* В греческой мифологии богини проклятия, мести, кары (также Эринии). В римской мифологии им соответствуют Фурии.

Спасительная мысль не скрывается под шляпой с плюмажем. Если Эвмениды пробудились, а Брольи не отдает приказов, что может сделать Безанваль? Когда французские гвардейцы вместе с волонтерами из Пале-Руаяля, горя от мщением, врываются на площадь Людовика XV, они не находят там ни Безанваля, ни Ламбеска, ни немецкую гвардию и вообще каких-либо солдат. Весь военный строй исчез. В дальний конец Восточного бульвара в Сент-Антуанском предместье вступают нормандские стрелки, пропыленные, томимые жаждой после тяжелого дня верховой езды; но они не могут найти ни квартирмейстера, ни дороги в этом городе, объятom беспорядками; они не могут добраться до Безанваля или хотя бы выяснить, где он находится. В конце концов нормандцы вынуждены стать биваком на улице, в пыли и жажде, пока какой-то патриот не подносит им по чарке вина, сопровождая ее полезными советами.

Разъяренная толпа окружает Ратушу с криками «Оружия!», «Приказов!». 26 городских советников в длинных мантиях уже нырнули в бешеный хаос, из которого не вынырнут уже никогда. Безанваль с трудом пробирается на Марсово поле и вынужден оставаться там «в ужасающей неопределенности»; курьер за курьером скачет в Версаль, но ни один не приносит ответа, да и сами они возвращаются с большим трудом, потому что на дорогах заторы из батарей и пикетов, потоков экипажей, остановленных — по единственному приказу, отданному Брольи, — для осмотра. Oeil de Voeuf, слыша на расстоянии этот безумный шум, который напоминает о вражеском нашествии, в первую очередь старается сохранить в целости свою голову.

Новое министерство, у которого только одна нога вдет в стремя, не может брать барьеры. Безумный Париж предоставлен самому себе.

Что являет собой этот Париж после наступления темноты? Столица Европы, внезапно отринувшая старые традиции и порядки, чтобы в схватках и столкновениях обрести новые. Привычки и обычаи больше не управляют человеком, каждый, в ком есть хоть капля самостоятельности, должен начать думать или следовать за теми, кто думает. Семьсот тысяч человек в одно мгновение ощущают, что все старые пути, старые образы мысли и действия уходят из-под ног. И вот устремляются они, охваченные ужасом, не зная, бегут ли они, плывут или летят, стремглав в новую эру. Звоном оружия и ужасом, своими раскаленными ядрами угрожает сверху разящий бог войны Брольи, а разящий мир бунтовщиков — снизу — грозит кинжалом и пожарами: безумие правит свой час.

К счастью, вместо исчезнувших 26 собирается избирательный клуб и объявляет себя Временным муниципалитетом. Поутру он призывает старшину Флесселя с одним-двумя эшевенами для оказания помощи в делах. Пока же он издает одно постановление, но по наиболее существенному вопросу — о немедленном образовании парижской милиции. Отправляйтесь, вы, главы округов, трудиться на благо великого дела, в то время как мы в качестве постоянного комитета будем бодрствовать. Пусть мужчины, способные носить оружие, всю ночь несут стражу, разделившись на группы, каждая в своем квартале. Пусть Париж заснет коротким лихорадочным сном, смущаемым такими бредовыми видениями, как «насильственные действия у Пале-Руаяля», чтобы время от времени при нестройных звуках вскакивать в ночном колпаке и вглядываться, вздрагивая, в проходящие взаимно несогласованные патрули, в зарево над отдаленными заставами, багрово взметающееся по ночному своду.

Глава пятая

«ДАЙТЕ НАМ ОРУЖИЕ!»

В понедельник город проснулся не для повседневной деятельности, а совсем для иного! Рабочий стал воином, и ему не хватало только одного — оружия. Работа прекратилась во всех ремесленных мастерских, кроме кузнечных, где без усталости куются пики, и частично продуктовых, где готовят на ходу продовольствие: ведь есть все-таки нужно. Женщины шьют кокарды, но теперь не зеленые — это цвет графа д'Артуа, и Отель-де-Виль должен был вмешаться, — а красные и синие, наши старые парижские цвета. Наложённые на конституционный белый фон, они образуют знаменитый триколор, который (если верить пророчествам) «обойдет весь мир»*.

* Белый цвет был цветом королевского знамени, так что трехцветная кокарда должна была символизировать единение короля с народом.

Все лавочки, кроме булочных и винных, закрыты. Париж на улицах, он кипит и пенится, как вино в венецианских бокалах, в которое подсыпали яд. Набатный звон в соответствии с приказом несется со всех колоколен. «Эй, вы, городские выборщики, оружия! Дай нам оружие, эй, Флессель и твои эшеваны!» Флессель дает то, что может: обманчивые, а может быть, и предательские заверения выдать оружие из Шарлевиля, приказы искать оружие здесь, искать оружие там. Новые члены муниципалитета отдают все, что у них есть: около трехсот шестидесяти плохих ружей — снаряжение городской стражи; «какой-то человек в деревянных башмаках и без камзола тут же хватается одно из них и становится на часах». Кроме того, намекают, что кузнецам дан приказ приложить все силы для изготовления пик.

Губернаторы бурно совещаются; патриоты, находящиеся под их началом, блуждают в поисках оружия. До сих пор из Отель-де-Виль получено лишь то небольшое количество плохих ружей, о котором мы знаем. В так называемом Арсенале не хранится ничего, кроме ржавчины, грязи и селитры, более того, на него направлены пушки Бастилии. Оружейная Его Величества, которую они называют *Garde mouble*, взломана и разграблена: в ней немало тканей и украшений, но весьма ограниченное количество боевого оружия: две посеребренные пушки — старинный дар Его Величества короля Сиам Людовику XIV, позолоченный меч Генриха Доброго*, вооружение и латы древних рыцарей. За неимением лучшего бедные патриоты жадно расхватывают и эти, и им подобные вещи. Сиамские пушки катятся на дело, для которого они не предназначены. Среди плохоньких ружей видны турнирные копыя, рыцарский шлем и кольчуга сверкают среди голов в рваных шляпах — прообраз времени, когда все времена и их атрибуты внезапно смешались.

* Имеется в виду Генрих IV.

В Сен-Лазаре, доме св. Лазаря, где когда-то помещалась больница для бедных, а теперь находится исправительный дом на попечительстве монахов, нет и следов оружия, зато есть хлеб, прямо-таки в преступном количестве. Вытащить его — и на рынок! И это при теперешней нехватке хлеба! О небо! Удастся ли 52 телегам, вытянувшимся в длинный ряд, вывезти его в Halle

аих Blés? Да, преподобные отцы, ваши кладовые куда как полны, обильны ваши ледники, переполнены винные погреба, вы, заговорщики, доводящие бедняков до отчаяния, предатели, загибающие хлеб!

Напрасны протесты, коленопреклоненные мольбы: в Сен-Лазаре много добра, которое уплывает, несмотря на протесты. Смотрите, как извергаются из каждого окна целые потоки барахла под рев и гам, а из погребов сочится вино! И вот — как и следовало ожидать — подымается дым, пожар разожжен, как говорят, самими отчаявшимися обитателями Сен-Лазара, потерявшими надежду на иное избавление. И заведение исчезает из этого мира в клубах пламени. Отметьте тем не менее, что «вор (подосланный, а может быть и нет, аристократами), пойманный там, был немедленно повешен».

Посмотрите также на тюрьму Шатле*. Долговая тюрьма Ла-Форс взломана снаружи, и те, кто задолжал аристократам, освобождены; услышав об этом, заключенные в Шатле делают то же самое, вырывают из мостовой булыжники и готовятся к наступлению; у них много шансов на освобождение, но проходящие патриоты «дали залп» по скопищу заключенных и загнали их обратно в камеры. Патриоты не имеют дела с ворами и уголовниками: и в эти дни, как и всегда, наказание ковыляло (если оно все еще ковыляет) за преступлением с удручающей быстротой! «Одна-две дюжины» несчастных, мертвецки пьяными свалившихся у погребов Сен-Лазара, с негодованием были водворены в тюрьму, но у тюремщика не нашлось для них места, вследствие чего — за неимением другого надежного помещения, как написано, — они были повешены (on les pendit)³². Короткое, но не лишенное значительности сообщение, независимо от того, было ли это на самом деле или нет.

* Шатле — старинная крепость в Париже, служившая в XVIII в. тюрьмой.

В этих обстоятельствах аристократам и непатриотически настроенным богачам лучше всего укладывать вещи и уезжать. Но им не удастся уехать. Сила, обутая в деревянные сабо, захватила все заставы, и сожженные, и уцелевшие; всех, кто въезжает, и всех, кто порывается уехать, задерживают и тащат в Отель-де-Виль: кареты, телеги, утварь, мебель, «множество мешков муки», по временам даже «стада коров и овец» загромождают Гревскую площадь³³.

И вот все ревет, бурлит и вопит; бьют барабаны, звонят колокола, носятся глашатаи с колокольчиками: «Ойе, ойе, все мужчины — в свои округа, вступайте в ополчение!» Округа собираются в садах, на площадях, формируют отряды волонтеров. Из лагеря Безанваля еще не упало ни одного раскаленного ядра; напротив, оттуда постоянно приходят дезертиры с оружием, более того — о, верх радости! — в два часа дня французская гвардия, которой было приказано направиться в Сен-Дени и которая решительно отказалась это делать, пришла в полном составе! Это стоит многого: 3600 отличных солдат с полной амуницией, с канонерами и даже пушками! Их офицеры остались в одиночестве и даже не успели «заклепать пушки». Можно даже надеяться, что швейцарцы, старая дворцовая гвардия и другие подумают, прежде чем браться за оружие.

Наша парижская милиция, которую, по мнению некоторых, было лучше назвать Национальной гвардией, процветает. Пред полагалось, что в ней будет 48 тысяч человек, но через несколько часов это число удваивается и утраивается: непобедимая сила, если бы у нас было оружие!

Но вот и обещанные шарлевильские ящики, помеченные надписью: «Артиллерия». Ящики и здесь и там, так что оружия будет достаточно! Представьте себе вытянувшиеся лица патриотов, когда они обнаружили, что ящики набиты тряпками, грязными лохмотьями, огарками свечей, древесными опилками! Купеческий старшина, как же так? И в монастыре картезианцев, куда нас послали с подписанным им приказом, не оказалось, да и никогда не было боевого оружия. А вот на Сене стоит корабль, на котором под брезентами спрятано 5 тысяч пудов пороха, и если бы не тончайшее чутье патриотов, то они не ввозились бы, а тайком вывозились. Что ты по этому поводу думаешь, Флессель? Опасная игра — «дурачить» нас. Кошка играет с пойманной мышью, но может ли мышь играть с разъяренной кошкой, с разъяренным тигром-нацией?

Пока же вы, кузнецы в черных фартуках, куйте быстрее, твердой рукой и горячей душой. И этот и тот бьют изо всех сил, удар следует за ударом, и опускается большой кузнечный молот, наковальня вздрагивает и звенит, а над их головами отныне и впредь грохочет сигналь-

ная пушка — теперь у города есть порох. Пики, пятьдесят тысяч пик изготовлено за 36 часов: судите сами, бездельничали ли черные фартуки? Ройте траншеи, разбирайте мостовые, вы, другие, работайте прилежно, мужчины и женщины; насыпайте землю в бочки для баррикад и на каждой выставляйте добровольца-часового; складывайте на подоконниках в верхних этажах булыжники. Держите наготове кипящую смолу или на худой конец кипятки, вы, старухи, чтобы слабыми костлявыми руками лить ее и кидать камни на немецких гвардейцев, а ваших пронзительных ругательств конечно же будет в избытке! Патрули новорожденной Национальной гвардии всю ночь обходят с факелами улицы, на которых, кроме них, нет ни души, но которые ярко освещены зажженными по приказу огнями в окнах. Странное зрелище! Оно напоминает освещенный факелами Город Мертвых, по которому здесь и там бродят потревоженные Духи.

О несчастные смертные, сколь горьким вы делаете этот мир друг для друга, эту страшную и прекрасную жизнь страшной и ужасной, и Сатана живет в каждом сердце! Какие страдания, и страсти, и рыдания переносите и во все времена переносили вы, чтобы быть погребенными в молчании, и соленое море не переполнилось вашими слезами!

И тем не менее велик час, когда весть о свободе приходит к нам, когда подымается порабощенная душа из оков и презренного застоя, пусть в слепоте и смятении, и клянется Тем, кто сотворил ее свободной. Свободной? Поймите, что быть свободным — это глубокая, более или менее осознанная потребность всего нашего естества. Свобода — это единственная (разумно ли, неразумно ли преследуемая) цель всей человеческой борьбы, трудов и страданий на этой земле. Да, это самая возвышенная минута (если ты знал ее), как первый взгляд на гору Синай, объятую дымом*, в нашем исходе через пустыню**, — и отныне не нужны облачный столп днем и огненный ночью!*** Как важно, как необходимо, когда оковы проржавели и разъедают тело, освободиться «от угнетения нашими ближними»! Вперед, иступленные сыны Франции, навстречу судьбе, какой бы она ни была! Вокруг нас лишь голод, ложь, разложение и погребальный звон. Нет для вас иного исхода.

* Библ. аллюзия на сошествие Саваофа к Моисею на горе Синай. — Исход 19, 16—19.

** Библ. аллюзия; исход иудеев из Египта и сорокалетнее скитание в пустыне. — Исход, Числа.

*** Библ. аллюзия; выводя иудеев из Египта, Саваоф указывал им путь в виде движущихся столпов. — Исход 13, 21—22.

Воображение может лишь весьма несовершенно нарисовать, как провел эти горестные часы на Марсовом поле комендант Безанваль. Вокруг буйствует мятеж! Его люди тают! Из Версаля на самые настоятельные послания ответ не приходит, или один раз несколько невнятных слов, которых лучше бы и не было. Совет офицеров может вынести решение только о том, что решения нет; полковники «в слезах» докладывают ему: они не думают, что их люди будут сражаться. Царит жестокая неуверенность: бог войны Брольи недосыгаем на своем Олимпе, он не спускается, наводя ужас, не дает картечных залпов и даже не посылает распоряжений.

Воистину в Версальском дворце все выглядит загадочно: город Версаль — будь мы там, то увидели бы воочию — полнится слухами, тревогой и возмущением. Верховное Национальное собрание заседает, видимо, с опасностью для жизни, силясь не поддаваться страху. Оно постановило, что «Неккер уносит с собой сочувствие нации». Оно направило во дворец торжественную депутацию с мольбой о выводе войска. Тщетно. Его Величество с редким спокойствием советует нам заняться нашим собственным делом — составлением конституции! Иностранцы пандуры и прочие подобные им прихорашиваются и гарцуют с заносчивым видом, поглядывая на Зал малых забав, но все подходы к нему забиты толпами людей «мрачной наружности»³⁴. Будьте тверды, сенаторы нации, путеводная звезда твердо, мрачно настроенного народа!

Верховные сенаторы нации решают, что по меньшей мере заседание будет постоянным, пока все это не кончится. В связи с этим представьте себе, что достопочтенный Лафранк де Помпиньян, наш новый председатель, которого мы назвали преемником Байи, — старик, утомленный жизнью. Он брат того Помпиньяна, который грустно размышлял по поводу книги «Сетований»*:

* Savez vous, pourquoi Jйrйmie

Se lamentait toute sa vie?

C'est qu' il prйvoyait

Знаете ли вы, почему Иеремия Жаловался всю свою жизнь? Потому что он предвидел, Что Помпиньян переведет его!

Бедный епископ Помпиньян удаляется, получив Лафайета в помощники или заместители; последний в качестве ночного вице-председателя бодрствует вместе с поредевшей палатой в унылом расположении духа при свечах, с которых никто не снимает нагара, и ожидает, что принесут бегущие часы.

Так обстоят дела в Версале. Но в Париже взволнованный Безанваль, прежде чем удалиться спать, отправился в Дом инвалидов нажать на старого месье де Сомбрейя. Это большой секрет: у месье де Сомбрейя в подвалах хранится около 28 тысяч ружей, но настроению своих инвалидов он не доверяет. Сегодня, например, он послал двадцать человек развинтить эти ружья, чтобы ими не овладели бунтовщики. Но за шесть часов они вывинтили курки едва ли у двадцати ружей — по ружью на человека. Если им приказать стрелять, то, он полагает, они направят свои ружья на него.

Несчастные старые ветераны, это не ваш звездный час! В Бастилии старый маркиз Делонэ* тоже уже давно поднял подвесные мосты и «удалился в свои покои», выставив на бастионах под ночным небом часовых — высоко над огнями освещенного Парижа. Национальный патруль, проходя мимо них, имеет дерзость стрелять по ним: «семь выстрелов около полуночи», но безрезультатно³⁵. Это был 13-й день июля 1789 года, худший, как говорили многие, нежели предшествующее тринадцатое число: тогда с небес падал только град, теперь же безумие подымалось из преисподней, сокрушая далеко не только урожай.

* Делонэ — последний комендант Бастилии.

В эти самые дни, как свидетельствует хронология, старый маркиз Мирабо лежал в жару в Аржантейе, и звуки сигнальных пушек не достигали его ушей, поскольку уже не он сам был тут, а лишь его тело, глухое и холодное. В субботу вечером он принял последний вздох и испустил дух, покинув этот мир, который и никогда-то не следовал его представлениям, а теперь и вообще впал в горячку и полетел кувырком (*culbute générale*). Но что это все значит для него, отправляющегося в иные края, в дальнее странствие? Старый замок Мирабо тихо возвышается вдалеке на крутой скале, «разделяющей две извилистые долины», бледный, исчезающий призраком замка; и эта гигантская мировая круговерть, и Франция, и сам мир — все исчезает, как тень на гладком зеркале моря; и все будет, как судил Бог.

Молодой Мирабо с тяжелым сердцем, потому что он любил своего честного, храброго старика отца, с тяжелым сердцем и погруженный в тягостные заботы, отстранен от исторической сцены. Великий кризис произойдет без него³⁶.

Глава шестая

БУРЯ И ПОБЕДА

Для живых же и сражающихся рассветает новое утро 14 июля. Под всеми крышами бурлящего города назревает развязка драмы, не лишенной трагизма. Сколько суеты и приготовлений, страхов и угроз, сколько слез пролито из стареющих глаз! В этот день, сыны мои, будьте мужчинами. В память о страданиях ваших отцов, ради надежды на права ваших детей! Тирания угрожает неистовой злобой, и ничто не поможет вам, кроме ваших собственных рук. Сегодня вы должны погибнуть или победить.

На рассвете не сомкнувший глаз Постоянный комитет услышал знакомый крик, выросший до яростного, возмущенного: «Оружия! Оружия! Пусть старшина Флессель и другие предатели, какие у вас там есть, подумают о шарлевильских ящиках. Нас сто пятьдесят тысяч, но лишь один из трех вооружен хотя бы пикой! Оружие — это единственное, что нам нужно: с оружием мы — непобедимая, грозная Национальная гвардия, без оружия мы — чернь, которую сметет залп картечи».

По счастью, разносится слух — ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным, — что в Доме инвалидов лежат мушкеты. Скорее туда! Королевский прокурор месье Эти де Корни и каждый обладающий властью, кого может отпустить Постоянный комитет, пойдет с нами. Там расположился Безанваль, возможно, он не станет стрелять в нас, ну а если он убьет нас — умрем.

Увы, у бедного Безанваля войска редеют и нет ни малейшего желания стрелять! В пять часов утра, когда он в забытьи еще видит сны, в Военной школе у его изголовья вырастает фигура «с лицом довольно красивым, горящими глазами, речью быстрой и краткой, видом дерзким»; такая фигура отдернула завесы у ложа Приама!* Фигура предупредила,

* Илиада, XXIV, 682.

что сопротивление бесполезно, и если прольется кровь — горе тому, кто будет в этом повинен. Так сказала фигура и исчезла. «Во всем сказанном было некое красноречие, которое поражало»³⁷. Безанваль признает, что следовало бы арестовать его, но сделано это не было. Кто мог быть этой фигурой с горящими глазами, быстрой и краткой речью? Безанваль знает это, но не раскрывает тайну. Камиль Демулен? Пифагореец маркиз Валади, одушевленный «бурным движением в Пале-Руаяле, продолжавшимся всю ночь»? Молва называет его «молодым месье Майяром»^{38*}, но больше никогда не упоминает его.

* Майяр Станислас Мари (1763—1794) — деятель революции по прозвищу Крепкий Кулак, участник штурма Бастилии, арестовавший коменданта крепости. Гильотинирован, привлеченный по делу Эбера.

Как бы то ни было, около девяти часов утра наше национальное ополчение катится на юго-запад широким потоком к Дому инвалидов в поисках единственно необходимого. Королевский прокурор месье Эти де Корни и другие представители власти уже там; кюре прихода Сент-Этьен Дюмон отнюдь не миролюбиво возглавляет свой воинственный Париж. Мы видим марширующих судейских в красных камзолах, ставших теперь судейским ополчением; волонтеров из Пале-Руаяля, единых духом и мыслью, ставших национальными волонтерами, число которых исчисляется десятками тысяч. Королевские ружья должны стать ружьями нации; подумайте, месье де Сомбрей, как в этих обстоятельствах вы откажете им! Старый месье де Сомбрей готов начать переговоры, выслать представителей, но это ни к чему: несколько человек перелезают через стены, чтобы открыть ворота, и ни один инвалид не выпускает ни пули. Патриоты шумно устремляются внутрь, растекаются по всем комнатам и коридорам от подвала до кровли в поисках оружия. Ни один погреб, ни один чердак не избежит обыска. Оружие найдено — все в целости, упакованное в солому, — не для того ли, чтобы сжечь его! Толпа бросается на него яростнее, чем голодные львы на мертвую добычу, с лязгом и руганью; толкотня, свалка, драка вплоть до того, что давят, топчут — возможно, даже насмерть — наиболее слабосильных патриотов³⁹. И вот под этот оглушительный рев и грохот не сыгранного еще оркестра сцена меняется, и 28 тысяч хороших ружей подняты на плечи такого же количества национальных гвардейцев, вынесены из мрака на ослепительный свет.

Пусть же Безанваль посмотрит на сверкание этих ружей, когда они проплывают мимо него! Говорят, что французская гвардия навела на него пушки с другого берега реки, чтобы в случае необходимости открыть огонь⁴⁰. Он пребывает в нерешимости, «пораженный», как они льстят себе, «неустрасимым видом (*fière contenance*) парижан». А теперь к Бастилии, неустрасимые парижане! Там все еще есть угроза картечных залпов, туда устремляются мысли и шаги всех людей.

Старый Делонэ, как мы уже говорили, удалился «в свои покои» за полночь в воскресенье и с тех пор остается там в замешательстве, как и все старые военные, из-за неопределенности положения. Отель-де-Виль «предлагает» ему впустить солдат нации, что в мягкой форме означает сдачу крепости. Но с другой стороны, у него есть твердые приказы Его Величества. Конечно, его гарнизон составляют всего 92 ветерана-инвалида и 32 молодых швейцарца, но зато стены толщиной 9 футов; конечно, у него есть пушки и порох, но, увы, всего однодневный запас продовольствия. Кроме того, город населен французами, и гарнизон состоит по преимуществу из французов. Суровый, старый Делонэ, подумай, что тебе делать!

Начиная с девяти часов все утро повсюду раздаются крики: «К Бастилии!»* Здесь побывало несколько «депутаций горожан», ищущих оружия, от которых Делонэ отделялся мягкими речами, произносимыми через бойницы. Ближе к полудню выборщик Тюрио де ла Росье получает разрешение войти и обнаруживает, что Делонэ не намерен сдаться и готов скорее взорвать крепость. Тюрио поднимается с ним на бастионы: груды булыжников, старых железок и снарядов собраны в кучи, пушки направлены на толпу, в каждой амбразуре по пушке, лишь немного отодвинутой назад! Но снаружи, смотри, о Тюрио, толпы стекаются по каждой улице, набаты яростно бьют, все барабаны выбивают общий сбор; Сент-Антуанское предместье все, как один человек, катится сюда! Это видение (призрачное и тем не менее реальное) созерцаешь ты, о Тюрио, в этот момент со своей горы Видений: оно пророчит другие фантазмагии и яркие, но невнятные, призрачные реальности, которые ты пока не осознаешь, но скоро увидишь! «Que voulez vous?» (Что вам угодно?) — вопрошает Делонэ, бледнея при виде этого зрелища, но с укоризной, почти с угрозой. «Милостивый государь, — отвечает Тюрио, возносясь в выси мужества, — что вы собираетесь делать? Подумайте, ведь я могу броситься вместе с Вами вниз с этой высоты» — всего-то сотня футов, не считая рва под стеной! В ответ Делонэ умолкает. Тюрио показывается с какой-то башни, чтобы успокоить толпу, которая волнуется и подозревает неладное, затем он спускается и удаляется, выражая протест и предупреждения, адресованные также и инвалидам, на которых, однако, это производит смутное, неопределенное впечатление: ведь старые головы нелегко воспринимают новое, да и, говорят, Делонэ был щедр на напитки (*prodigua des boissons*). Они думают, что не будут стрелять, если в них не будут стрелять и вообще если удастся обойтись без этого, но в целом они будут руководствоваться обстоятельствами.

* Бастилия — крепость и государственная тюрьма в Париже, сделавшаяся символом французского абсолютизма. Взятие Бастилии восставшим народом 14 июля 1789 г. явилось началом революции. С 1880 г. День взятия Бастилии — национальный праздник Франции.

Горе тебе, Делонэ, если в этот час ты не можешь, приняв некое твердое решение, управлять обстоятельствами! Мягкие речи бесполезны, жесткие картечные залпы — сомнительно, но метание между тем и другим невозможно. Все сильнее накатывают людские волны, их бесконечный рокот все громче и громче, в нем различимы проклятия и треск одиночных выстрелов, которые безвредны для стен толщиной девять футов. Внешний подъемный мост был опущен для Тюрио, и этим путем воспользовалась третья, самая горластая депутация, проникшая во внешний двор; поскольку мягкие речи не производят впечатлений, Делонэ дает залп и поднимает мост. Слабая искра, но она поджигает горючий хаос и превращает его в ревуший хаос пожара! При виде собственной крови мятежники бросаются вперед (потому что эта искра вызвала несколько смертей), бесконечно перекатываются ружейные залпы, всплески ненависти и проклятий. В это время из крепости над головами выпаливает с грохотом залп картечи из орудий и показывает, что мы должны делать. Осада Бастилии начата!

Встань, каждый француз, в ком есть душа! Сыны свободы, пусть вопят ваши луженые глотки, напрягите изо всех сил все способности ваших душ, тел и умов, потому что час настал! Бей, Луи Турне, каретник из Маре, ветеран полка Дофине, бей по цепи наружного подъемного моста среди огненного града, свистящего вокруг тебя! Никогда твой топор не наносил такого удара ни по ободам, ни по ступицам колес. Снести Бастилию, снести ее в царство Орка*, пусть провалится туда все это проклятое сооружение и поглотит навеки тиранию! Стоя, как говорят одни, на крыше кордегардии или, как говорят другие, на воткнутых в щели стены штыках, Луи Турне бьет по цепи, а храбрый Обэн Боннемер, тоже ветеран, помогает ему, и цепь поддается, разбивается, огромный наружный мост с грохотом (*avec fracas*) падает. Великолепно! И все же, увы, это только наружные укрепления. Восемь мрачных башен с вооруженными инвалидами, булыжниками и жерлами пушек все еще вздымаются неповрежденные; мощный камнем, зияющий ров непреодолим, внутренний подъемный мост обратил к нам заднюю сторону; Бастилию еще предстоит взять!

* В римской мифологии Орк — царь мертвых, соответствует греческому Аиду.

Думаю, что описать осаду Бастилии — одно из важнейших событий в истории, вероятно, не под силу кому-либо из смертных. Может ли кто-нибудь, даже бесконечно начитанный, хотя бы представить себе внутренний план здания! В конце улицы Сент-Антуан находится открытая эспланада, есть ряд наружных дворов, сводчатые ворота (где сейчас сражается Луи Турне), затем новые подъемные мосты, постоянные мосты, укрепленные бастионы и зловещие во семь башен: лабиринт мрачных помещений, первое из которых было построено 420 лет назад, а последнее — всего 20. И как мы уже сказали, оно осаждено в свой последний час возродившимся хаосом! Артиллерийские орудия всех калибров, истошные крики людей с самыми различными планами на будущее, и каждый из них — сам себе голова; никогда еще со времен войны пигмеев с журавлями* не видели такого противоестественного положения. Состоящий на половинном жалованье Эли отправляется домой надеть мундир: никто не хочет подчиняться ему, одетому в штатское. Юлен, также на половинном жалованье, произносит речь перед французскими гвардейцами на Гревской площади. Фанатичные патриоты подбирают пули и несут их, еще

* Т. е. с незапамятных времен. Литературная аллюзия на распространенный в греческой мифологии сюжет гераномехии — ежегодной борьбы пигмеев с журавлями, — разработанный многими античными писателями.

горячие (или кажущиеся таковыми), в Отель-де-Виль: вы видите, они хотят сжечь Париж! У Флесселя «бледнеют губы», потому что рев толпы становится угрожающим. Весь Париж достиг верха ярости, паническое безумие бросает его из стороны в сторону. На каждой уличной баррикаде вихрится кипящий местный водоворот, укрепляющий баррикаду, ведь Бог знает, что грядет, и все эти местные водовороты сливаются в огромный огненный Мальстрём*, бушующий вокруг Бастилии.

* Крупный водоворот у Лофотенских о-вов у побережья Норвегии.

Так он бушует, и так он ревет. Виноторговец Шола превратился в импровизированного артиллериста. Взгляните, как Жорже, только что вернувшийся из Бреста, где он служил во флоте, управляется с пушкой сиамского короля. Странно (если бы мы не привыкли к подобным вещам): прошлой ночью Жорже спокойно отдыхал в своей гостинице, а сиамская пушка стояла уже сто лет, ничего не зная о его существовании. А теперь в нужный момент они соединились и оглашают окрестности красноречивой музыкой, потому что Жорже, услышав, что здесь происходит, соскочил с брестского дилижанса и примчался сюда. Французская гвардия тоже прибывает сюда с настоящими орудиями — если бы стены не были столь толсты! Вверх с Эспланады, горизонтально со всех близлежащих крыш и окон льется беспорядочный ливень ружейного огня — но безрезультатно. Инвалиды распростерлись за каменными прикрытиями и отстреливаются из сравнительно удобного положения, но из бойниц не высовывается и кончик носа. Мы падаем застреленные, но никто не обращает внимания!

Пусть бушует пламя и пожирает все, что горит! Кордегардии сожжены, столовые инвалидов тоже. Рассеянный «парикмахер с двумя зажженными факелами» поджиг бы «селитру в Арсенале», если бы не женщина, с визгом выскочившая оттуда, и не один патриот, несколько знакомый с натурфилософией*, который быстро вышиб из него дух (прикладом ружья под ложечку), перевернул бочонки и остановил разрушительную стихию. Юную красавицу, приняв ее за дочь Делонэ, схватили во внешних дворах и едва не сожгли на глазах у Делонэ; она упала замертво на солому, но снова один патриот — это храбрый ветеран Обэн Боннемер — бросается и спасает ее. Горит солома, три телеги, притащенные сюда, превращаются в белый дым, угрожающий задушить самих патриотов, так что Эли приходится, опалив брови, вытаскивать одну телегу, а Реолу, «мелочному торговцу-великану», — другую. Дым, как в аду, суета, как у Вавилонской башни, шум, как при светопреставлении!

* В это понятие в средневековье включались и естественнонаучные знания.

Льется кровь и питает новое безумие. Раненых уносят в дома на улице Серизе, умирающие произносят свою последнюю волю: не уступать, пока не падет проклятая крепость. А как она, увы, падет? Стены так толсты! Делегации, общим числом три, прибывают из Отель-де-Виль, аббат Фоше, который является членом одной из них, может засвидетельствовать, с каким

сверхъестественным мужеством человеколюбия они действовали⁴¹. Они поднимают над сводчатыми воротами свой городской флаг и приветствуют его барабанным боем, но бесполезно. Разве может услышать их в этом светопреставлении Делонэ и тем более поверить им? Они возвращаются в праведном гневе, а свист пуль все еще звучит в их ушах. Что же делать? Пожарные поливают из своих шлангов пушки инвалидов, чтобы охладить запальники, но, к сожалению, они не могут поднимать струю настолько высоко и распространяют только облака брызг. Лица, знакомые с античной историей, предлагают сделать катапульты. Сантер, громогласный пивовар из Сент-Антуанского предместья, советует поджечь крепость с помощью «смеси фосфора и скипидара, разбрызгиваемой нагнетательными насосами». О Спинола*-Сантер, разве у тебя есть наготове эта смесь? Каждый — сам себе голова! И все же поток стрельбы не стихает: стреляют даже женщины и турки, по крайней мере одна женщина (со своим возлюбленным) и один турок⁴². Пришла французская гвардия — настоящие орудия, настоящие артиллеристы. Очень деятельен Майяр; Эли и Юлен, получавшие половинное жалованье, горят гневом среди тысячных толп.

* Спинола Амбросио (1569—1630) — испанский полководец.

Большие часы Бастилии во внутреннем дворе неслышно тикают, отмеряя час за часом, как будто ничего существенного ни для них, ни для мира не происходит! Они пробили час, когда началась стрельба; сейчас стрелки подвигаются к пяти, а огонь не стихает. Глубоко внизу, в подвалах, семеро узников слышат глухой грохот, как при землетрясении; тюремщики уклоняются от ответов.

Горе тебе, Делонэ, и твоей сотне несчастных инвалидов! Брешь далеко, и его уши заложены; Безанваль слышит, но не может послать помощь. Один жалкий отряд гусар, высланный для разведки, осторожно пробрался по набережным вплоть до Нового моста. «Мы хотим присоединиться к вам», — сказал капитан, увидев, что толпа безбрежна. Большеголовый, похожий на карлика субъект, бледный и прокопченный, выходит, шаркая, вперед и сквозь голубые губы каркает не без смысла: «Если так, спешивайтесь и отдайте нам ваше оружие!» Капитан гусар счастлив, когда его отводят на заставу и отпускают под честное слово. Кто был этот человек? Говорят, это был месье Марат, автор великолепного и миролюбивого «Воззвания к народу». Воистину велик для тебя, о замечательный ветеринар, этот день твоего появления и нового рождения, и, однако, в этот же самый день через четыре года... Но пусть пока задернуты завесы будущего.

Что же делает Делонэ? Единственное, что Делонэ может сделать и, по его словам, хотел сделать. Представьте его сидящим при зажженной свече на расстоянии вытянутой руки от порохового склада, неподвижным, как римский сенатор или бронзовый канделябр, холодно, одним движением глаз предупреждающим Тюрио и всех остальных, каково его решение. Пока же он сидит там, не причиняя никому вреда, и ему не причиняют вреда. Но королевская крепость не может, не имеет права, не должна и не будет сдана никому, кроме посланца короля. Жизнь старого солдата ничего не стоит, но потерять ее следует с честью. Но подумай только, ревущая чернь, что будет, когда вся Бастилия взлетит к небу! В таком застывшем состоянии, похожий на статую в церкви, держащую свечу, Делонэ было бы лучше предоставить Тюрио, красным судьейским, кюре церкви Сен-Стефана и всей этой черни мира делать, что они хотят.

Но при всем том он не мог этого себе позволить. Задумывался ли ты когда-нибудь, насколько сердце любого человека трепетно созвучно сердцам всех людей? Замечал ли ты когда-нибудь, насколько всемогущ самый голос массы людей? Как их негодующие крики парализуют сильную душу, как их гневный рев пробуждает, неслыханный ужас? Кавалер Глюк* признается, что лейтмотивом одного из лучших его пассажей в одной из лучших его опер был голос черни, услышанный им в Вене, когда она кричала своему кайзеру: «Хлеба! Хлеба!» Великое — это объединенный глас людей, выражение их инстинктов, которые вернее, чем их мысли; это самое грандиозное, с чем может столкнуться человек среди звуков и теней, которые образуют этот мир времен. Тот, кто может противостоять ему, стоит где-то над временем. Делонэ не мог сделать этого. Растерянный, он мечется между двумя решениями, надежда не оставляет его в бездне отчаяния. Его крепость не сдастся — он объявляет, что взорвет ее, хватая факелы, чтобы взорвать ее, и... не взрывает ее. Несчастный Делонэ, это смертная агония и твоей Бастилии, и твоя

собственная! Тюрьма, тюремное заключение и тюремщик — все три, каковы бы они ни были, должны погибнуть.

* Кристоф Виллибальд Глюк (1714—1787) — композитор.

Уже четыре часа ревет мировой хаос, который можно назвать мировой химерой, изрыгающей огонь. Бедные инвалиды укрылись под своими стенами или поднимаются с перевернутыми ружьями: они сделали белые флаги из носовых платков и бьют отбой, или кажется, что они бьют отбой, потому что услышать ничего нельзя. Даже швейцарцы у проходов выглядят уставшими от стрельбы, обескураженными шквалом огня. У подъемного моста открыта одна бойница, как будто оттуда хотят говорить. Посмотрите на пристава Майяра: ловкий человек! Он идет по доске, раскачивающейся над пропастью каменного рва: доска покоится на парапете, удерживаемая тяжестью тел патриотов; он опасно парит, как голубь, стремящийся к такому ковчегу! Осторожно, ловкий пристав! Один человек уже упал и разбился далеко внизу, там, на камнях! Но пристав Майяр не падает: он идет осторожно, точными шагами, с вытянутыми руками. Швейцарец протягивает бумажку через бойницу, ловкий пристав хватается за нее и возвращается. Условия сдачи — прощение и безопасность для всех! Приняты ли они? «Foi d'officier» (Под честное слово офицера), — отвечает Юлен или Эли (люди говорят разное). Условия приняты! Подъемный мост медленно опускается, пристав Майяр закрепляет его, внутрь врывается живой поток. Бастилия пала!⁴³ Победа! Бастилия взята!

Глава седьмая

ЕЩЕ НЕ МЯТЕЖ

Зачем останавливаться на том, что последовало? «Честное слово офицера», данное Юленом, следовало сдержать, но это было невозможно. Швейцарцы построились, переоделись в белые холщовые блузы, инвалиды не переделались, их оружие свалено в кучи у стены. Первый наплыв победителей, они в восторге от того, что опасность смерти миновала, и «радостно кидаются им на шею». Врываются все новые и новые победители, тоже в экстазе, но не все от радости. Как мы уже сказали, это был человеческий поток, несущийся очертя голову. Если бы французские гвардейцы со своим военным хладнокровием не «повернулись бы кругом с поднятыми ружьями», он самоубийственно обрушился бы сотнями или тысячами человек в ров Бастилии.

И вот он несется по дворам и переходам, неуправляемый, палящий из окон в своих, в жарком безумии триумфа, горя и мести за погибших. Бедным инвалидам придется плохо; одного швейцарца, убегающего в своей белой блузе, загоняют обратно смертоносным ударом. Надо всех пленных отвести в Ратушу, пусть их судят! Увы, одному бедному инвалиду уже отрубили правую руку; его изуродованное тело потащили на Гревскую площадь и повесили там. Это та самая правая рука, как говорят, которая отстранила Делонэ от порохового погреба и спасла Париж.

Делонэ, «опознанный по серому камзолу с огненно-красной лентой», пытается заколоться шпагой, скрытой в трости. Но его ведут в Отель-де-Виль в сопровождении Юлена, Майяра и других, впереди вышагивает Эли «с запиской о капитуляции, наколотой на конец шпаги». Его ведут сквозь крики и проклятия, сквозь толчки и давку и, наконец, сквозь удары! Ваш эскорт разбросан, опрокинут; измученный Юлен опускается на кучу камней. Несчастный Делонэ! Он никогда не войдет в Отель-де-Виль, будет внесена только его «окровавленная коса, поднятая в окровавленной руке», ее внесут как символ победы. Истекающее кровью тело лежит на ступенях, а голову носят по улицам, насаженную на пику. Омерзительное зрелище!

Строгий Делонэ, умирая, воскликнул: «О друзья, застрелите меня!» Сострадательный Делом должен умереть, хотя в этот ужасный час благодарность обнимает его и готова умереть за него, но не может спасти. Братья, гнев ваш жесток! Ваша Гревская площадь становится утробой тигра, исполненной свирепого рева и жажды крови. Еще один офицер убит, еще один инвалид повешен на фонарном столбе; с большим трудом и великодушным упорством французские гвардейцы спасают остальных. Купеческий старшина Флессель, уже задолго до этого покрывшийся смертельной бледностью, должен спуститься со своего места, для того чтобы отправиться

«на суд в Пале-Руаяль»; увы, для того, чтобы быть застреленным неизвестным на первом же углу!

О вечернее солнце июля, как косо падают твои лучи в этот час на жнецов в мирных, окруженных лесом полях, на старух, прядущих пряжу в своих хижинах, на далекие корабли в затихшем океане, на балы в Оранжее Версаля, где нарумяненные придворные дамы еще и теперь танцуют с гусарскими офицерами, облаченными в куртки и ментики, и также на эти ревущие врата ада в Отель-де-Виль! Падение Вавилонской башни и смешение языков несопоставимы с тем, что происходит здесь, если не добавить к ним зрелище Бедлама* в горячечном бреде. Перед Избирательным комитетом целый лес стальной щетины, беспорядочный, бесконечный, он склоняется ужасным лучом к груди то одного, то другого обвиняемого. Это была битва титанов с Олимпом**, и они, едва веря в это, победили: чудо из чудес, бред, потому что этого не может быть, но оно есть. Обличение, месть; блеск триумфа на черном фоне ужаса; все внутри и все снаружи обрушивается в одни общие развалины, порожденные безумием!

* Психиатрическая больница в Лондоне.

** В греческой мифологии борьба титанов с богами-олимпийцами, завершившаяся победой последних.

Избирательный комитет? Да если в нем будет тысяча луженых глоток, их все равно не хватит. Аббат Лефевр, черный, как Вулкан, внизу, в подвалах, распределяет уже 48 часов — среди каких опасностей! — эти «пять тысяч фунтов пороха»! Прошлой ночью один патриот, напившись, во что бы то ни стало хотел курить, сидя на краю одного из пороховых бочонков; так он и курил, не обращая внимания на весь мир вокруг него, пока аббат не «выкупил у него трубку за три франка» и не выбросил ее подальше.

В большом зале на глазах Избирательного комитета сидит Эли «со шпагой наголо, погнутой в трех местах» и помятой каской — ведь он был в кавалерии, в полку королевы, — в порванном мундире с опаленным и испачканным лицом, похожий, по мнению некоторых, на «античного воина», и вершит суд, составляя список героев Бастилии. О друзья, не запятняйте кровью самые зеленые лавры, когда-либо заслуженные в этом мире, — таков припев песни Эли. Если бы к нему прислушались! Мужайся, Эли! Мужайтесь, городские выборщики! Заходящее солнце, потребность в пище и в пересказе новостей принесут умиротворение, рассеют толпу: все земное имеет конец.

По улицам Парижа толпа носит поднятых на плечи семерых узников Бастилии, семь голов на пиках, ключи Бастилии и многое другое. Посмотрите также на французских гвардейцев, по-военному твердо марширующих назад в свои казармы и милосердно заключивших в свою середину инвалидов и швейцарцев. Прошел всего год и два месяца с тех пор, как те же самые люди безучастно стояли под командой Бреннуса д'Агу у Дворца правосудия, когда судьба одержала верх над д'Эпременилем, а теперь они участвовали и будут участвовать во всех событиях. Отныне они не французские гвардейцы, а гренадеры Центра Национальной гвардии, солдаты с железной дисциплиной и духом — но не без брожения мысли!

Падающие камни Бастилии гремят в темноте, белеют бумаги из архива. Старые секреты выходят на свет, и долго подавляемое отчаяние обретает голос. Прочтите кусок одного старого письма^{44*}: «Если бы для моего утешения и ради Бога и Святейшей Троицы монсеньер благоволил разрешить мне получить весточку от моей дорогой жены, хотя бы только ее подпись на карточке, чтобы показать, что она жива! Это было бы величайшим утешением, которое я могу получить, и я всегда бы благословлял великодушие монсеньера». Бедный узник по фамилии Кердемери, о котором, кроме фамилии, ничего больше не известно, твоя дорогая жена мертва, смерть пришла и к тебе! Прошло 50 лет с тех пор, как твое разбитое сердце задало этот вопрос, который впервые услышан только теперь и долго будет отзываться в сердцах людей. Но сумерки сгущаются, и Париж, как больные дети или отчаявшиеся существа, должен, заплакавши, погрузиться в нечто похожее на сон. Городские выборщики, ошеломленные тем, что их головы все еще на плечах, разошлись по домам; только Моро де Сен-Мери**, рожденный под тропиками, горячий сердцем, но холодный разумом, будет сидеть с двумя другими в Ратуше. Париж спит, над освещенным городом стоит зарево, патрули бряцают оружием за неимением пароля, распространяются слухи, поднимается тревога из-за «пятнадцати тысяч солдат, идущих через Сент-Антуанское предместье», которых нет и в помине. По беспорядочному дню можно судить

о ночи: «не вставая с места», Моро де Сен-Мери «отдал чуть не три тысячи приказов»⁴⁵. Что за голова! Как похожа она на бронзовую статую Роджера Бэкона!*** Она охватывает весь Париж. Ответ должен даваться немедленно, верный или неверный: в Париже нет другой власти. Действительно, чрезвычайно холодная и ясная голова, и потому ты, о Сен-Мери, побываешь во многих качествах — от верховного сенатора до приказчика, книготорговца, вице-короля — и во многих местах — от Вирджинии до Сардинии — и везде, как отважный человек, найдешь себе дело⁴⁶.

* Датировано в Бастилии 7 октября 1752 г. — *Примеч. авт.*

** Моро де Сен-Мери (1750—1819) — адвокат при Парижском парламенте, член Верховного суда Сан-Доминго, депутат Учредительного собрания от Мартиники.

*** Роджер Бэкон (ок. 1214—1294) — монах-францисканец, один из крупнейших ученых и философов своего времени.

Безанваль оставил лагерь под покровом сумерек «при большом скоплении народа», который не причинил ему вреда; он идет все более утомленным шагом вниз по левому берегу Сены всю ночь — в неведомое пространство. Безанваль появится еще раз: его будут судить, и он с трудом оправдается. Но его королевские войска, его королевская немецкая гвардия исчезают навеки.

Балы и лимонады в Версале окончены, в Оранжерее тишина, если не считать ночных птиц. Дальше, в Зале малых забав, сидит, выпрямившись, вице-председатель Лафайет при обгоревших свечах, вокруг него развалились на столах около сотни депутатов, а он смотрит на Большую Медведицу. В этот день вторая торжественная депутация отправилась к Его Величеству, вторая, а затем и третья — и все безуспешно. Каков же будет конец?

При дворе всё — тайна, но не без панического ужаса; а вы, глупые дамы, все еще мечтаете о лимонадах и эполетах! Его Величеству, которого держат в счастливом неведении, возможно, грезятся двустольные ружья и Медонские леса. Поздно ночью герцог де Лианкур, имеющий официальное право беспрепятственного входа, получает доступ в королевские покои и излагает с серьезной добросовестностью эту весть Иову. «Но, -говорит бедный Людовик, — это же мятеж (Mais c'est une révolte)». «Сир, — отвечает Лианкур, — это не мятеж, это революция».

Глава восьмая

ПОБЕДА НАД КОРОЛЕМ

Поутру четвертая депутация во дворец уже на ногах, еще более торжественная, чтобы не сказать ужасающая, потому что к прежним обвинениям в «оргиях в Оранжерее» добавляется то, что «все обозы с зерном задерживаются»; не смолкают и грома Мырабо. Эта депутация уже готова тронуться в путь, как — о! — появляется сам король в сопровождении только двух братьев, совсем в отеческой манере, и объявляет, что все войска и все средства нападения выведены и потому отныне не должно быть ничего, кроме доверия, примирения и доброй воли, в чем он «разрешает и даже просит» Национальное собрание заверить Париж от его имени! Ответом служат радостные восклицания, как будто люди внезапно спаслись от смерти. Все собрание по собственному почину встает и сопровождает Его Величество во дворец, «переплетя руки, чтобы оградить его от чрезмерной давки», потому что весь Версаль толпится и ликует. Придворные музыканты с восторженной поспешностью начинают играть «*Sein de sa famille*» («Лоно семьи»), королева выходит на балкон со своим сыном и дочерью и «целует их несколько раз»; нескончаемые «Виват!» разносятся окрест, и неожиданно наступает новое царствие небесное на земле.

88 высших сенаторов, среди которых Байи, Лафайет и наш кающийся архиепископ, едут в каретах в Париж с великой вестью, осыпаемые благословениями. От площади Людовика XV, где они высаживаются, вплоть до Отеля-де-Виль море трехцветных кокард и сверкающих национальных ружей, буря приветствий, рукоплесканий, сопровождаемая «по временам раскатами» барабанного боя. С подобающим жаром произносятся речи, особенно усердствует Лалли-Толандаль, набожный сын злосчастливого убитого Лалли. Его голова насильственно увенчивается

гражданским венком (из дубовых листьев или петрушки), который он — также насильственно — возлагает на голову Вайи.

Но конечно, прежде всего Национальная гвардия должна иметь генерала! Моро де Сен-Мери, человек «трех тысяч приказов», бросает значительный взгляд на бюст Лафайета, который стоит здесь со времен американской Войны за независимость. В результате этого Лафайет избирается возгласами одобрения. Далее, на место убитого предателя или квазипредателя Флесселя избирается Байи — купеческим старшиной? Нет, мэром Парижа! Да будет так! *Maire de Paris!* Мэр Байи, генерал Лафайет. *Vive Baille, vive Lafayette!* (Да здравствует Байи! Да здравствует Лафайет!) Толпа, собравшаяся снаружи, в одобрение избрания раздирает криками небесный свод. А теперь наконец отправимся в собор Парижской Богоматери возблагодарить Бога.

К собору Парижской Богоматери сквозь ликующую толпу движется по-братски единая, радостная процессия спасителей Отечества; аббат Лефевр, все еще черный от раздачи пороха, шествует рука об руку с облаченным в белое архиепископом. Бедный Байи склоняется над детьми из воспитательного дома, высланными преклонить перед ним колена, и «проливает слезы». «Тебя, Бога, хвалим», — возглашает наш архиепископ, начиная молебен, и ему вторят не только голоса поющих, но и выстрелы холостыми патронами. Наша радость столь же безгранична, как ранее было наше горе. Париж своими собственными пиками и ружьями, отвагой своего собственного сердца победил бога войны, к удовлетворению — теперь — и Его Величества. Этой ночью послан курьер за Неккером, народным министром, призванным обратно королем, Национальным собранием и нацией; он пересечет Францию под приветственные клики и звуки барабанов и литавр.

Видя, как оборачиваются события, монсеньеры из придворного триумvirата, монсеньеры из мертворожденного министерства Брольи и им подобные полагают, что их дальнейшая деятельность ясна: вскочить в седло и ускакать. Прочь отсюда, вы, сверженно настроенные Брольи, Полиньяки и принцы крови, прочь отсюда, пока еще есть время! Разве Пале-Руаяль среди своих последних ночных «решительных мер» не назначил премию (правда, место ее выплаты не упоминалось) за ваши головы? Соблюдая меры предосторожности, под защитой пушек и надежных полков монсеньеры разъезжаются по нескольким дорогам между вечером 16-го и утром 17-го. И не без риска! За принцем Конде «во весь опор скачут люди» (или кажется, что скачут), намереваясь, как полагают, сбросить его в Уазу у моста Сен-Майанс⁴⁷. Полиньяки едут переодетыми, и на козлах сидят не кучера, а друзья. У Брольи свои собственные трудности в Версале, своя собственная опасность в Меце и Вердене, тем не менее он благополучно добирается до Люксембурга и остается там.

Это то, что называется первой эмиграцией; ее состав, как кажется, был определен всем двором с участием короля, всегда готового следовать со своей стороны любому совету. «Трое сынов Франции и четыре принца, в жилах которых течет кровь Людовика Святого, — пишет Вебер, — не могли чувствительнее унижить граждан Парижа, чем бежать, показывая, что они опасаются за свою жизнь». Увы, парижские граждане перенесли это с неожиданным безразличием! Граф д'Артуа? Он не увез даже Багатель, свой загородный дом (который позднее используют как таверну); ему с трудом удалось увезти свои брюки, которые он надевал с помощью четырех камердинеров, но портного, который шил их, пришлось оставить. Что касается старого Фулона*, то разнесся слух, что он умер, по крайней мере состоялись пышные похороны, на которых сами устроители, за неимением других желающих, воздавали ему почести. Интендант Бертье, его зять, еще жив, но прячется; он присоединился к Безанвалю в это воскресенье Эвменид, делая вид, что не придает происходящему большого значения, а теперь скрылся неизвестно куда.

* Жозеф Франсуа Фулон (1717—1789) — генеральный контролер, суперинтендант; народ Парижа обвинял его в дороговизне и больших налогах. Самосуд над Фулоном был одним из наиболее значительных эпизодов первых дней революции. После взятия Бастилии Фулона скрывали от разъяренной толпы, но затем он был схвачен и растерзан. Потрясенный этими событиями, Бабёф писал жене: «Господа, вместо того чтобы цивилизовать, превратили нас в варваров, потому что они сами варвары. Они пожинают и будут пожинать то, что сами посеяли».

Эмиграция еще недалеко отъехала, принц Конде едва успел пересечь Уазу, а Его Величество в соответствии с разработанным планом — потому что и эмигранты полагали, что от этого может быть польза, — предпринимает довольно рискованный шаг: личное посещение

Парижа. С сотней членов Собрания, почти без военного эскорта, который он отпускает на Севрском мосту, бедный Людовик отправляется в путь, оставляя безутешный дворец и рыдающую королеву, настоящее, прошлое и будущее которой столь неблагоприятно.

У заставы Пасси происходит торжественная церемония, на которой мэ́р Байи вручает королю ключи и приветствует его речью в академическом стиле, упоминая, что это счастливый день, что в случае с Генрихом IV король должен был завоевывать свой народ, а в нынешнем, более счастливом случае народ завоевал своего короля (а *conquis son Roi*). Король, столь счастливо завоеванный, едет вперед, медленно, сквозь непреклонный, как сталь, молчащий народ, выкрикивающий только: «*Vive la Nation!*» (Да здравствует нация!). На пороге Ратуши его встречают речами Моро Три Тысячи Приказов, королевский прокурор месье Эти де Корни, Лалли-Толандаль и другие — он не знает, как их оценить и что сказать; он узнает из речей, что является «спасителем французской свободы» и это будет засвидетельствовано его статуей, установленной на месте Бастилии. Наконец, его показывают с балкона, на его шляпе трехцветная кокарда. Вот теперь его приветствуют бурными кликами со всех улиц и площадей, изо всех окон и со всех крыш, и он отправляется обратно домой, сопровождаемый перемежающимися и отчасти сливающимися криками: «*Vive le Roi!*» (Да здравствует король!) и «*Vive la Nation!*» (Да здравствует нация!), усталый, но невредимый.

Было воскресенье, когда раскаленные ядра угрожающе нависли над нашими головами; сегодня пятница, и «революция одобрена». Верховное Национальное собрание подготовит конституцию, и никакие иностранные пандуры, отечественные триумvirаты с наведенными пушками, пороховыми заговорами Гая Фокса (ибо поговаривали и об этом), никакая тираническая власть на земле или под землей не спросит его: «Что это ты здесь делаешь?» Так ликует народ, уверенный, что теперь он получит конституцию. А сумасшедший маркиз Сент-Юрюг бормочет что-то под окнами замка о вымышленной измене⁴⁸.

Глава девятая

ФОНАРЬ

Падение Бастилии, можно сказать, потрясло всю Францию до самых глубин ее существования. Слухи об этих чудесах распространяются повсюду со скоростью, присущей слухам, и производят действие, которое полагают сверхъестественным, вызванным заговором. Но разве герцог Орлеанский или Лакло, разве Мирабо (не обремененный деньгами в этот момент) рассылали верховых гонцов из Парижа, чтобы они скакали «по всем направлениям» или по большим дорогам во все уголки Франции? Это чудо, которое ни один разумный человек не поставит под сомнение⁴⁹.

В большинстве городов уже собрались избирательные комитеты, чтобы выразить сочувствие Неккеру в речах и резолюциях. В некоторых городах, например в Ренне, Кане, Лионе, бушующий народ уже выражает ему свое сочувствие бросанием камней и стрельбой из ружей. Но теперь, в эти дни страха, во все городки Франции, как и обычно, прибывают «люди», «люди верхом», поскольку слухи часто скачут верхом. Эти люди сообщают с озабоченным видом, что приближаются грабители, они уже рядом, а затем едут дальше по своим делам, и будь что будет! Вследствие этого все население такого городка бросается к оружию, чтобы защищаться. Затем, немного спустя, направляется петиция в Национальное собрание: в подобной опасности и ужасе перед опасностью не может не быть дано разрешение организовать самооборону, вооруженное население повсюду записывается в Национальную гвардию... Так скачут слухи по всем направлениям, от Парижа к окраинам, и в результате через несколько дней, некоторые говорят даже, что через несколько часов, вся Франция — от границы до границы — ошетиливается штыками. Поразительно, но неопровержимо, будь то чудо или нет! Но бывает, что и химическая жидкость, охлажденная до точки замерзания или ниже, остается жидкостью, а затем при малейшем толчке или ударе моментально превращается в лед вся целиком. Так и Франция, в течение долгих месяцев или лет обрабатываемая химически, доведенная до температуры ниже нуля, а затем потрясенная падением Бастилии, превратилась немедленно в кристаллическую массу острой, режущей стали! *Guai a chi la tocca!* — Берегись дотронуться до нее!

В Париже Избирательному комитету во главе с новым мэром и командующим приходится убеждать воинственных рабочих возвратиться к своим ремеслам. Здоровенные базарные торговки (Dames de la Halle) произносят поздравительные речи и возлагают «букеты на раку Святой Женевьевы». Люди, не записавшиеся в гвардию, сдают оружие — не так охотно, как хотелось бы, — и получают по «девять франков». После молебнов, королевского приезда, одобрения революции наступает тихая и ясная погода, даже сверхъестественно ясная; ураган стих.

Тем не менее, конечно, волны еще вздымаются высоко, хотя пустотелые скалы поглощают их рокот. Еще только 22-е число этого месяца, недели не прошло с падения Бастилии, когда обнаруживается, что старый Фулон жив, более того, здесь, на улицах Парижа, в это раннее утро; этот вымогатель, заговорщик, неисправимый лгун, который хотел заставить народ жрать траву! Именно так! Обманные «почетные похороны» (какого-то умершего слуги), потайное место в Витри, около Фонтенбло, не помогли этому злосчастному старику. Кто-то из живых слуг или подчиненных выдал его деревне: никто не любит Фулона. Безжалостные крестьяне из Витри выслеживают и бросаются на него, как псы ада: «На запад, старый мошенник! В Париж, чтобы тебя судили в Отель-де-Виль!» Его старая голова, убеленная семьдесятю четырьмя годами, не покрыта, они привязали ему на спину символическую охапку травы и надели на шею гирлянду из крапивы и колючек и в таком виде ведут его на веревке; подгоняемый проклятиями и угрозами, он тащит свои старые члены вперед, в Париж, — жалкий, но не вызывающий жалости старик!

В закопченном Сент-Антуанском предместье и на каждой улице, по которой он проходит, собираются толпы, большой зал Отель-де-Виль и Гревская площадь вряд ли смогут вместить его вместе с его эскортом. Фулона следует не только судить по справедливости, но и судить здесь и сейчас, безотлагательно. Назначайте семь судей, вы, городские советники, или семьдесят семь, называйте их сами, или мы назовем их, но судите его!⁵⁰ Многочасовая риторика выборщиков, красноречие Байи, объясняющих прелести законной отсрочки, расточаются впустую. Отсрочка и еще отсрочка! «Смотри, народный мэр, утро уже перешло в полдень, а его еще не судят!» Прибывает Лафайет, за которым было послано, и высказывается так: «Этот Фулон — известный человек, и его вина почти несомненна, но может ли так быть, чтобы у него не было сообщников? Разве не следует добиться от него правды в тюрьме Аббатства?» Это новый поворот! Санкюлоты рукоплещут, к их рукоплесканиям присоединяется и Фулон (обрадованный, что судьба сжалится над ним). «Глядите! Они поняли друг друга!» -восклицают помрачневшие санкюлоты, охваченные яростью подозрения. «Друзья, -говорит «одно хорошо одетое лицо», выступая вперед, — зачем судить этого человека? Разве его не судили все последние тридцать лет?» С дикими воплями санкюлоты сотнями рук хватают его, жалобно молящего о пощаде, и тащат через Гревскую площадь к фонарю на углу улицы Ваннери, чтобы вздернуть его. Только на третьей веревке -потому что две веревки оборвались и дрожащий голос продолжал молить — удалось кое-как его повесить! Его тело тащат по улицам, его голова с набитым сеном ртом возносится на острие пики среди адского шума народом, жующим траву⁵¹.

Несомненно, месть — своего рода справедливость, но подумайте, как это дико! О, безумие санкюлотизма, безумие бездны, вырвавшейся наружу в тряпье и грязи, подобно Энцелладу, заживо погребенному и восставшему из своей Тринакрии? Те, кто добивался, чтобы другие жрали траву, будут жрать ее сами — не так ли это все будет? После долгой череды изнемогавших в муке поколений неужели пришло твое время? Если бы они знали, каким губительным падениям и ужасающим мгновенным перемещениям центра тяжести подвержены людские заблуждения! И подвержены тем больше, чем они лживее (и неустойчивее)!

К вящему ужасу мэра Байи и его советников, расходится слух, что арестован также и Бертье и что его везут сюда из Компьяня. Бертье, интендант (точнее, откупщик податей) Парижа, доносчик и тиран, скупщик хлеба, придумавший строительство лагерей против народа, обвиняемый во многих вещах, да и не зять ли он Фулона, и уже потому виновный во всем, особенно теперь, когда у санкюлотов разгорелась кровь! Содрогаясь, городские советники высылают одного из их числа вместе с конными национальными гвардейцами сопровождать его.

К концу дня злополучный Бертье, все еще храбрый, прибывает, вызывая немало шума, к заставе в открытом экипаже; рядом с ним сидит городской советник, вокруг пятисот всадников с саблями наголо, хватает и пеших! Около него потрясают плакатами, на которых крупными буквами написаны обвинения, составленные санкюлотами с неюридической кратко-

стью*. Париж высыпает на улицы, чтобы встретить его рукоплесканиями, распахнутыми окнами, плясками и победными песнями, подобно фуриям. И наконец, голова Фулона, она тоже встречает его на острие пики. Неудивительно, что при виде этого взгляд его остекленел, и он лишился чувств. Однако, какова бы ни была совесть этого человека, нервы у него железные. В Отель-де-Виль он не отвечает на вопросы. Он говорит, что подчинился приказам сверху; они могут взять его документы, они могут судить его и выносить приговор, но что касается его самого, то он не смыкал глаз уже двое суток и требует в первую очередь, чтобы ему дали поспать. Свинцовым сном, злосчастный Бертье! Отряд гвардейцев сопровождает его в тюрьму Аббатства. Но у самых дверей Отель-де-Виль их хватают и разбрасывают в стороны, точно смерчем безумных рук. Бертье тащат к фонарю. Он хватается ружье, падает и наносит удары, защищаясь, как разъяренный лев, но он повален, растоптан, повешен, искалечен: его голова и даже его сердце взлетают над городом на остриях пик.

* Он обворовывал короля и Францию. Он пожрал народное продовольствие. Он был рабом богатых и тираном бедных. Он пил кровь вдов и сирот. Он предал свою родину (См.: *Deux Amis*, II, 67—73). — *Примеч. авт.*

Ужасно, что это происходит в стране, знавшей принцип равного правосудия для всех! В странах, не знавших этого принципа, подобное было бы более понятно. «*Le sang qui coule, estil donc si pur?*»* - спрашивает Барнав, намекая, что на виселицы, хотя и неустановленным порядком, попали те, кому следует. И у тебя, читатель, если ты обогнешь этот угол улицы Ваннери и увидишь эту старую мрачную железную консоль, не будет недостатка в размышлениях. «Против лавки колониальных товаров» или другой, с «бюстом Людовика XIV под нею в нише», — теперь, правда, уже не в нише — она все еще укреплена там, все еще распространяет слабый свет горячей ворвани, она видела, как рушились миры, и молчит.

* Разве эта текущая кровь так чиста?

Но для взора просвещенного патриота это было грозовой тучей, внезапно возникшей на лучезарно-ясном небе! Туча, чернотой соперничающая с мраком Эреба, заряженная бесконечным запасом электричества. Мэр Байи и генерал Лафайет в негодовании подают в отставку, и их приходится улачивать, чтобы они вернулись. Туча рассеивается, как и свойственно грозovým облакам. Возвращается ясная погода, хотя и несколько отуманенная и все же менее и менее неумного свойства.

Во всяком случае, каковы бы ни были препятствия, Бастилия должна быть стерта с лица земли, а вместе с нею феодализм, деспотизм и, как надеются, подлость вообще и все угнетение человека его собратом-человеком. Увы, подлость и угнетение не так легко уничтожить! Что же касается Бастилии, то она с каждым днем и с каждым месяцем разрушается, каменные плиты и валуны непрерывно разваливаются по специальному приказу нашего муниципалитета. Толпы любопытных бродят в ее утробе, разглядывают скелеты, найденные замурованными в каменных мешках (*oubliettes*), железные клетки, чудовищные каменные плиты с цепями и висячими замками. Однажды мы видим там Мирабо с женецем Дюмоном⁵², рабочие и зеваки почтительно наступают перед ними, освобождая для них путь, и бросают под ноги стихи и цветы, а в карету — бумаги из архивов Бастилии и редкости под громкие «Виват!».

Ловкие издатели составляют книги из архивов Бастилии, из тех документов, которые не сгорели. Ключ от этой разбойничьей берлоги будет переправлен через Атлантику и ляжет на стол Вашингтона. Большие часы тикают теперь в частной квартире какого-то часовщика-патриота и больше не отмеряют время беспредельного страдания. Бастилия исчезла, исчезла в нашем понимании слова, потому что ее плоть, ее известняковые блоки, отныне и на долгие столетия нависают, претерпев счастливую метаморфозу, над водами Сены в виде моста Людовика XVI⁵³*, душа же ее проживет, вероятно, и еще дольше в памяти людей.

* Мост Людовика XVI был переименован в мост Революции, сейчас — мост Согласия.

Вот куда привели нас вы, величественные сенаторы, с вашей клятвой в Зале для игры в мяч, вашей инертностью и побудительными мотивами, вашим прагматизмом и тупой решимостью.

тельностью. «Только подумайте, господа, — справедливо настаивают просители, вы, которые были нашими спасителями, сами нуждаетесь в спасителях», т. е. храбрых бастильцах, рабочих Парижа, из которых многие находятся в стесненных денежных обстоятельствах!⁵⁴ Открыты подписки, составляются списки, более точные, чем списки Эли, произносятся речи. Образован отряд героев Бастилии, довольно полный, напоминающий аргонатов и надеющийся просуществовать столько же, сколько и они. Но немногим более чем через год вихрь событий разбросает их, и они исчезнут. Вот так за многими высочайшими достижениями людей следуют новые, еще более высокие, и оттесняют их из превосходной степени в сравнительную и положительную! Осада Бастилии, которая перевешивает на весах истории большинство других осад, включая осаду Трои, обошлась, как выяснилось, убитыми и смертельно ранеными со стороны осаждавших в 83 человека, со стороны осажденных, после всего этого сжигания соломы, потоков огня и ливня пуль, — в одного — единственного бедного инвалида, убитого наповал на бастионе!⁵⁵ Крепость Бастилии пала, подобно городу Иерихону*, от чудодейственного гласа.

* Библ. аллюзия; см.: Книга Иисуса Навина 6, 19.

Книга VI

КОНСОЛИДАЦИЯ

Глава первая

СОЗДАВАЙТЕ КОНСТИТУЦИЮ

Здесь, быть может, уместно определить более точно, что означают слова «Французская революция», потому что, если задуматься, в них вкладывается столько различных значений, сколько людей произносят их. Все в мире развивается, изменяется из минуты в минуту, но это заметно лишь при переходе от эпохи к эпохе. В нашем временном мире, пожалуй, нет ничего, кроме развития и преобразования, во всяком случае ничего иного, что можно было бы ощутить. Вы можете ответить, что революция — это более быстрое изменение. На что можно снова спросить: насколько более быстрое? С какой скоростью? В какой именно момент этого неравномерного процесса, который различается скоростью, но никогда не останавливается, пока не остановится само время, начинается и кончается революция; в какой момент она перестает быть простым преобразованием и становится именно революцией? Это вопросы, в большей или меньшей степени зависящие от ее определения.

Для себя мы отвечаем, что Французская революция — это открытое восстание и насильственная победа вырвавшейся на свободу анархии против разложившейся, исчерпавшей себя власти; это анархия, которая взламывает тюрьмы, выплескивается из бездонных глубин и бесконтрольно, неудержимо бушует, охватывая мир, которая нарастает от приступа к приступу лихорадочного бешенства, пока не перегорит сама собой, пока не разовьются элементы нового порядка, которые она содержит (ибо любая сила содержит таковые), пока анархия не будет если не упрятана снова в тюрьму, то обуздана, а ее безумные силы не окажутся направлены к своему предназначению как здоровые и контролируемые. Ибо, как на скрижалях провидения было предначертано править миром любым иерархиям и династиям, теократии, аристократии, автократии, гетерократии, так же предначертано сменяться по очереди победоносной анархией, якобинству, санкюлотизму, Французской революции, ужасам Французской революции, как бы это ни называть. «Разрушительный гнев» санкюлотизма — вот о чем мы будем говорить, не имея, к несчастью, голоса, чтобы воспеть его.

Разумеется, это великое событие, более того, трансцендентное, опрокидывающее все правила и весь предшествующий опыт, событие, увенчавшее наше Новое время. В нем снова и совершенно неожиданно проявился древний фанатизм в новом и новейшем обличье, чудотворный, как любой фанатизм. Назовем его фанатизмом «отбрасывания формул» (*de humer les formules*). Мир формул, точнее, мир, управляемый по законам формы, а таков весь обитаемый мир, неизбежно ненавидит подобный фанатизм, как смерть, и находится с ним в роковой борьбе. Мир формул должен его победить или, проиграв сражение, умереть, ненавидя и проклиная его,

но при этом он никак не может помешать настоящему или прошлому существованию фанатизма. Есть проклятия и есть чудеса.

Откуда он пришел? Куда он идет? Вот главные вопросы! Когда век чудес уже померк в дали времен, как недостойное веры предание, и даже век условностей уже состарился, когда существование человека многие поколения основывается на пустых формулах, лишившихся со временем содержания, когда начинает казаться, что уже нет более никаких реальностей, а есть только призраки реальностей, что весь Божий мир — это дело одних портных и обойщиков, а люди — это кривляющиеся и гримасничающие маски, — в этот самый момент земля внезапно разверзлась, и среди адского дыма и сверкающих языков огня поднимается санкюлотизм, многоголовый, изрыгающий пламя, и вопрошает: «Что вы думаете обо мне?» Тут есть отчего заметить маскам, пораженным ужасом, в «выразительных, живописных группах»! Воистину, друзья, это исключительнейшее, фатальнейшее событие. Пусть каждый, кто является не более чем маской и призраком, взглянется в него: ему и впрямь может прийти плохо; мне кажется, что ему не стоит здесь задерживаться. Но горе тем многим, которые не полностью обратились в маски, но остались хоть частью живыми и человеческими! Век чудес вернулся! «Взгляните на мир-феникс*, сгоревший в огне и возродившийся в огне: широко распростерлись его могучие крылья, громка его смертная песнь, сопровождаемая громами битв и рушащихся городов, к небу взматывается погребальное пламя, окутывающее все вокруг: это смерть и это рождение мира!»

* Феникс — легендарная птица, при приближении смерти сгоравшая в гнезде и возрождавшаяся из пепла.

И все же кажется, что из всего этого, как мы часто говорим, может возникнуть неизреченное благо, а именно: человек и его жизнь будут основаны в дальнейшем не на пустоте и лжи, а на твердом основании и некотором подобии истины. Да здравствует самая убогая истина и да пребудет она вместо самого царственного обмана! Всякая истина всегда порождает новую и более полную истину — так твердый гранит рассыпается в прах под благословенным влиянием небес и покрывается зеленью, плодами и тенью. Что же касается лжи, которая, наоборот, становится все более лживой, то что может, что должна она делать, созревая, как не умереть, разложиться, тихо или даже насильственно, и возвратиться к своему прародителю — вероятно, в геенну огненную? Санкюлотизм спалит многое, но то, что несгораемо, не сгорит. Не бойтесь санкюлотизма, поймите, что на самом деле он злоедейский, неизбежный конец и чудесное начало многого. И еще одно необходимо осознать: он также исходит от Бога — разве не встречался он и прежде? Исстари, как сказано в Писании, идут пути Его в великую глубину вещей; и ныне, как и в начале мира, страшно и чудесно слышится глас Его в столпе облачном, и гнев людей сотворен для прославления Его. Но не пытайтесь взвесить и измерить неизмеримое, что называется, разъяснить его и свести к мертво-логической формуле! И не следует кричать до хрипоты, проклиная его, ибо произнесены уже все необходимые проклятия. Как истинный сын времени, молча воззри с неизреченным, всеобъемлющим интересом на то, что несет время; в нем найдешь ты назидание, поучение, духовную пищу или всего лишь забаву и удовольствие, в зависимости от того, что дано тебе.

* Геенна в иудаизме, христианстве, исламе — одно из обозначений ада.

Другой вопрос, который вновь встает с каждым новым обращением к теме и каждый раз требует нового ответа: в чем именно происходила Французская революция? В королевском дворце, в притеснениях и повелениях Его Величества и Ее Величества, в заговорах, глупостях и бедствиях, отвечают некоторые; спорить с ними мы не станем. В Национальном собрании, отвечает огромное разнообразное большинство и потому засаживается в кресло счетовода и оттуда подсчитывает, какие прокламации, акты, отчеты, логические ухищрения, взрывы парламентского красноречия кажутся особенно значительными внутри и какие беспорядки и слухи о беспорядках доносятся извне, исписывает том за томом и с удовлетворением публикует их, называя это Историей Французской революции. Легко и нам сделать то же самое в любом объеме, ведь подшивок газет, «Избранных отчетов» (*Choux des Rapports*), «Парламентских историй» (*Histoires Parlementaires*) столько, что ими можно было бы нагрузить не одну повозку. Легко, но

непродуктивно. Национальное собрание, называемое теперь Учредительным собранием*, идет своим путем, составляя конституцию, а Французская революция идет своим.

* 9 июля 1789 г. Национальное собрание стало именоваться Национальным Учредительным собранием. Этим названием оно подчеркивало свою обязанность учредить новый государственный строй — выработать его конституционные основы.

В целом не можем ли мы сказать, что Французская революция таится в сердце и уме каждого ожесточенно спорящего и ожесточенно думающего француза? Вопрос в том, как смогли 25 миллионов таких французов породить в переплетении связей, действий и противодействий эти события; каков порядок значительности событий, с какой точки обзора их лучше рассматривать? Пусть решают этот вопрос люди с большей проницательностью, ищущие света от любого возможного источника, смещающие точку обзора, как только появляется новое видение или признак видения, и пусть они будут довольны, если хоть приблизительно решат его.

Что касается Национального собрания, все еще высящегося над Францией, как ополчение на колесницах, то уже не оно в авангарде и не оно подает сигналы к отступлению и наступлению, но все же оно есть и продолжает быть реальностью среди прочих реальностей. С другой стороны, заседая, создавая конституцию, оно представляет собой ничто, химеру. Увы, что интересного в возведении, пусть самом героическом, карточных домиков по Монтестье — Мабли, хотя и восторженно принимаемом всем миром? Погруженное в это занятие верховное Национальное собрание становится для нас немногим более чем синедрионом доктринеров, углубившимся, правда, не в спряжения глаголов, но и не во много более плодотворное дело: его громкие дебаты и обличения по поводу прав человека, права мира и войны, права приостанавливающего вето (*veto suspensif*), права абсолютного вето (*veto absolu*) — что это еще, как не проклятия доктринеров: «Да поразит вас Бог за вашу теорию неправильных глаголов!»

Можно создать конституцию, и даже конституцию вполне в духе аббата Сиейеса (*à la Sieyès*), но главная трудность состоит в том, чтобы заставить людей жить в соответствии с ней! Вот если бы Сиейес обрушил небесные громы и молнии, чтобы освятить свою конституцию, то все было бы хорошо; но как быть без видимых небесных знамений, например грома, или каких-либо невидимых знамений, ведь любая конституция в конце концов не намного ценнее той бумаги, на которой она написана? Конституция, т. е. свод законов или предписанных способов поведения, по которым должны жить люди, — это то, что отражает их убеждения, их веру в эту дивную Вселенную и в те права, обязанности, возможности, которые они в ней имеют; поэтому конституция освящается самой необходимостью — если не видимым божеством, то невидимым. Другие законы, всегда имеющиеся в избытке, — это узурпация, которой люди не подчиняются, против которой восстают и которую ниспровергают при первой возможности.

Соответственно вопрос вопросов: кто именно может составить конституцию, особенно для мятежников и ниспровергателей? Очевидно, тот, кто может выявить и сформулировать общие убеждения, если таковые имеются, или тот, кто может привить убеждения, если таковых, как в данном случае, нет. Чрезвычайно редок во все времена, и прежние, и нынешние, такой человек, ниспосланный Богом! Но и в отсутствие такого необыкновенного, высшего существа время, используя бесконечную череду просто выдающихся людей, вносящих каждый свой небольшой вклад, делает многое. Да и сила всегда найдет, что ей делать: не зря любящие древность философы учат, что царский скипетр вначале представлял собой нечто вроде молота, чтобы сокрушать не поддающиеся увещанию головы. И таким путем, в постоянном уничтожении и восстановлении, разрушении и исправлении, в борьбе и споре, в зле настоящего и надежде и стремлении к добру в будущем, должна возрасти, как все человеческое, конституция или не возрасти и погибнуть — как получится. О Сиейес, и вы, другие члены комитета, и двенадцать сотен разных людей со всех концов Франции! Знаете ли вы, в чем состоят убеждения Франции и ваши собственные? Да в том, что не должно быть никаких убеждений, что все формулы должны быть уничтожены. Может ли быть конституция, которая отразит это? Увы, ясно, что такой конституции нет — это может отразить только анархия, которая в надлежащее время и будет пожалована вам.

Но что в конце концов может сделать злополучное Национальное собрание? Только представьте себе, что это двенадцать сотен разных людей и каждый имеет свой собственный

мыслительный и речевой аппарат! В каждом заложены свои убеждения и желания, различные у всех и сходящиеся лишь в том, что Франция должна быть возрождена и что именно он лично должен сделать это. Двенадцать сотен отдельных сил, беспорядочно впряженных в одну повозку, по всем ее сторонам, должны во что бы то ни стало везти ее!

Или такова природа всех Национальных собраний, что при бесчисленных трудах и шуме они не производят ничего? Или представительные правления в своей основе тоже являются тираниями? Можно ли сказать, что со всех концов страны собрались в одно место тираны, честолюбивые, вздорные люди, чтобы предложениями и контрпредложениями, болтовней и беспорядками уничтожить друг друга, как легендарные килкинийские коты*, общим результатом их деятельности был бы нуль, а тем временем страна управлялась бы и направлялась бы сама, с помощью того здравого смысла, признанного или по большей части непризнанного, который существует здесь и там в отдельных головах. Даже и это было бы большим шагом вперед, потому что исстари, и во времена партии гвельфов и партии гибеллинов**, и во времена войны Алой и Белой Розы***, они уничтожали также и саму страну. Более того, они проделывают это и теперь, хотя и в более узких рамках: в четырех стенах зданий парламента и изредка с трибун и бочек на форпостах избирательных собраний, правда словами, а не шпагами. Не правда ли, великие усовершенствования в искусстве создавать нуль? Ну а лучше всего, что некоторые счастливые континенты (как, например, западный, со своими саваннами, где каждый, у кого работают все четыре конечности, найдет себе пищу под ногами и бесконечное небо над головой) могут обойтись без управления. Что за загадки Сфинкса****, на которые повергнутый в хаос мир на протяжении ближайших поколений должен ответить или умереть!

* В английском фольклоре коты, которые дрались, пока от них не оставались только хвосты.

** Политические направления в Италии XII—XV вв. Гвельфы стояли за самостоятельность городов-коммун под эгидой римского папы, гибеллины — за власть германских императоров.

*** Междоусобная война в Англии (1455—1485).

**** В греческой мифологии человек, не разгадавший загадку Сфинкса, преградившего путь в Фивы, был обречен на смерть. Единственным, давшим правильный ответ, был Эдип.

Глава вторая

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Избранное собрание из двенадцати сотен годно лишь для одного — разрушения, что по сути является частным проявлением его природного таланта к ничегонеделанию. Ничего не делайте, продолжайте только волноваться, препираться — и все разрушится само собой.

Именно так, а не иначе повело себя верховное Национальное собрание. Оно приняло название Учредительного, как будто его миссией и задачей было учреждать, созидать, и оно стремилось к этому от всей души; однако судьбой, самой природой вещей ему были предопределены задачи, прямо противоположные. Удивительно, в какие только евангелия не верят люди, даже в евангелие от Жан Жака! Национальные депутаты, как и все мыслящие французы, твердо верили: конституция может быть составлена и именно они там и тогда призваны создать ее. Как с твердостью древних иудеев или измаилитов упорствует в своем «Верю, ибо невозможно»* (*Credo quia impossibile*) этот в общем-то скорее неверующий народ, как встает лицом к лицу с вооружившимся миром и становится фанатичным и даже героичным, совершая во имя его подвиги! Конституция Учредительного собрания и несколько других, уже напечатанных, а не рукописных, переживут последующие поколения как поучительный, почти невероятный документ своего времени: знаменательная картина тогдашней Франции или по меньшей мере картина картины, которая рисовалась этим людям.

* Широко известная фраза, принадлежащая «отцу церкви» Тертуллиану (*Tertullian. De corpore Christi, V*).

Но если говорить справедливо и серьезно, что могло сделать Национальное собрание? Задача заключалась, как они говорили, в возрождении Франции, уничтожении старой Франции и создании новой, мирном или принудительном, уступками или насилием: по законам природы это стало неизбежно. Однако, какова будет мера насилия, зависит от мудрости тех, кто руководит. Если бы Национальное собрание проявило высшую мудрость, все было бы иначе; но могло ли

это произойти мирным путем или хотя бы иным, а не кровавым и судорожным, — все еще вопрос.

Надо признать тем не менее, что Учредительное собрание до самого конца сохраняет свое значение. Со вздохом оно видит, как его неудержимо оттесняют от бесконечной божественной задачи усовершенствования «теории неправильных глаголов» к конечным земным задачам, все еще важным для нас. Путеводная звезда революционной Франции — вот что такое Национальное собрание. Вся деятельность правительства перешла в его руки или попала под его контроль, все люди ждут от него руководства. Среди безбрежного восстания 25 миллионов оно всегда парит в выси как боевой стяг, то побуждающее, то побуждаемое к действию: хотя оно и не может обеспечить настоящее руководство, все же создается впечатление, что какое-то руководство оно осуществляет. Оно распространяет немалое количество умиротворительных прокламаций с большим или меньшим результатом. Оно утверждает создание Национальной гвардии*, иначе разбойники поглотят нас и пожнут незрелый урожай. Оно посылает делегации, чтобы успокаивать «вспышки», чтобы «спасти людей от фонаря». Оно может выслушивать приветственные адреса в духе царя Камбиса**, которые ежедневно поступают мешками, а также петиции и жалобы всех смертных, так что жалоба каждого смертного если и не удовлетворяется, то по крайней мере выслушивается. Кроме того, верховное Национальное собрание может упражняться в парламентском красноречии и назначать комитеты. Комитеты конституционные, отчетные, исследовательские и многие другие, и опять переводятся горы бумаги — новая тема для парламентского красноречия, которое взрывается или изливается плавными потоками. Вот таким образом из хаотического водоворота, в котором кружится и толчется всякая всячина, постепенно выплывают естественные законы или их подобие.

* Национальная гвардия — вооруженное гражданское ополчение, созданное после взятия Бастилии в Париже и других городах Франции. Строилась по территориальному принципу. Для национальных гвардейцев была установлена особая форма — нарядный дорогой мундир, стоивший не менее 4 ливров. Это ограничивало доступ в Национальную гвардию небуржуазным (плебейским) слоям. На протяжении XIX в. Национальная гвардия распускалась, реорганизовывалась и окончательно была упразднена после поражения Парижской коммуны 1871 г.

** Камбис (VI в. до н. э.) — царь Ахеменидской державы, сын Кира II Великого, с 525 г. до н. э. царь Египта, основатель XXVII династии фараонов.

В бесконечных спорах записываются и обнародуются «Права человека» — истинно бумажная основа всех бумажных конституций. «Упущено, — кричат оппоненты, — провозглашение обязанностей человека!» «Забыто, — отвечаем мы, — утверждение возможностей человека» — один из самых роковых пропусков! Временами, как, например, 4 августа, наше Национальное собрание, внезапно вспыхнув почти сверхъестественным энтузиазмом, за одну ночь совершает массу дел. Памятная ночь, это 4 августа! Власти, светские и духовные, соревнуясь в патриотическом рвении, по очереди кидают свои владения, которые уже невозможно удерживать, на «алтарь Отечества». Со все более громкими кликами — дело происходит «после обеда» — они с корнем выкорчевывают десятину, барщину, соляной налог, исключительное право охоты и даже привилегии, иммунитет, феодализм, затем назначают молебен по этому случаю и, наконец, около трех часов утра расходятся, задевая звезды высоко поднятыми головами*. Такая именно ночь, непредвиденная, но памятная вовеки, случилась 4 августа 1789 года. Некоторые, кажется, считают ее чудом или почти чудом. Можно ли назвать ее ночью перед новым сошествием Святого Духа в формах нового времени и новой церкви Жан Жака Руссо? Она имела свои причины и свои следствия.

* После взятия Бастилии страну охватили крестьянские волнения. Крестьяне уничтожали феодальные документы, жгли замки, отказывались нести повинности. Под влиянием такого развития событий Учредительное собрание было вынуждено сделать некоторые уступки крестьянам, приняв 4—11 августа 1789 г. законы, по которым в принципе провозглашалась ликвидация феодального строя. При этом реально были отменены некоторые второстепенные феодальные права, а основные повинности сохранялись (см.: *Адо А. В.* Крестьяне и Великая французская революция. М., 1987).

Так трудятся представители нации, совершенствуя свою «теорию неправильных глаголов», управляя Францией и управляясь ею, с усилиями и шумом разрубая невыносимые древние

оковы и усердно свивая для новых веревки из песка. Пусть их труды — ничто или нечто, взоры всей Франции почтительно обращены к ним, история не может надолго выпустить их из виду.

Ныне же, если мы заглянем в зал Национального собрания, то обнаружим его, что естественно, «в величайшем беспорядке». Чуть не «сотня депутатов» вскакивает одновременно, нет порядка во внесении предложений, нет даже попыток установить порядок, зрителям на галерее позволяют аплодировать и даже свистеть¹; председатель, назначаемый на две недели, нередко не может сообразить, в чем дело. Тем не менее, как и во всех человеческих сообществах, сходное начинает притягиваться к сходному, согласно вечному закону: *Ubi homines sunt modi sunt**. Намечаются зачатки системы, зачатки партий. Образовываются Правая сторона (*Côté Droit*) и Левая сторона (*Côté Gauche*): депутаты, сидящие по правую руку от председателя и сидящие

* Где люди, там правила (лат.).

по левую руку; правая — консервативная, левая — разрушительная. В центре расположились англофильствующие конституционалисты или роялисты, ратующие за двухпалатную систему, со своими Мунье, со своими Лалли, быстро теряющими значение. Среди правых выделяется драгунский капитан Казалес, витийствующий красноречиво и слегка лихорадочно и тем стяжавший себе тень имени. Здесь же неистовствует Бочка-Мирабо, Мирабо Младший, не лишенный сообразительности; меланхоличный д'Эпремениль только фыркает и жестикулирует, хотя мог бы, как считают его почитатели, повергнуть в прах самого Мирабо Старшего, если бы приложил хоть немного усилий², каковые он не прикладывает. Бросьте взгляд и на последнего и величайшего из них, аббата Мори*, с иезуитскими глазами, бесстрастным чеканным лицом, «воплощение всех смертных грехов». Неукротимый, несокрушимый, с могучими легкими и жестоким сердцем, он борется иезуитской риторикой за трон и особенно за алтарь и десятину. Борется так, что однажды с галереи раздается пронзительный голос: «Господа священнослужители, вас придется побрить; будете слишком вертеться — порежетесь!»³

* Мори (1746—1817) — депутат духовенства от Пероннского баляжа. Лидер правых в Учредительном собрании, про которого острили, что это гренадер, переодевшийся семинаристом. Эмигрировал в 1791 г., с 1794 г. — кардинал, с 1810 г. — глава Парижской епархии, смещен после первой Реставрации.

Левых называют также партией герцога Орлеанского, а иногда — в насмешку — Пале-Руаяль. При этом все так перепутано, все кажется таким призрачным и реальным одновременно, что «сомнительно, — говорит Мирабо, — чтобы герцог Орлеанский принадлежал к Орлеанской партии». Известно и видно только, что луноподобное лицо герцога действительно сияет именно в левой части зала. Здесь же сидит одетый в зеленое Робеспьер, решительно, но пока безрезультатно бросающий свой небольшой вес на чашу весов. Тонкий, сухой пуританин и догматик, он покончит с формулами, хотя вся его жизнь, все поступки и само его существо опутаны формулами, пусть и иного сорта. «Народ, — таковой, по Робеспьеру, надлежит быть королевской процедуре представления законов, — народ, вот Закон, который я сложил для тебя; принимаешь ли ты его?» Ответом на это является неудержимый смех справа, из центра и слева⁴. Но проницательные люди считают, что Зеленый может волей случая пойти далеко. «Этот человек, — замечает Мирабо, — кое-что сделает: он верит каждому слову, которое произносит».

Аббат Сиейес занят исключительно разработкой конституции; к несчастью, его коллеги оказываются менее покладистыми, чем им следовало бы быть с человеком, достигшим совершенства в науке политики. Мужайся, Сиейес, не взирая ни на что! Каких-нибудь двадцать месяцев героического труда, нападков глупцов — и конституция будет создана; с ликованием будет положен ее последний камень, лучше сказать, последний лист бумаги, ибо вся она — бумага; и ты свершил все, что могли потребовать земля и небо, все, что ты мог. Приметьте также и трио, памятное по нескольким причинам, памятное уже потому, что их история запечатлена в эпиграмме, гласящей: «Что бы ни попало в руки этим троим, Дюпор обдумает, Барнав выскажет, Ламет сделает».

А царственный Мирабо? Выделяющийся среди всех партий, вознесенный над всеми ними и стоящий вне всех их, он поднимается все выше и выше. Как говорится, у него наметанный глаз, он — это реальность, тогда как другие — это формулы, имеющие очки. В преходящем он обнаруживает вечное, находит твердое основание даже среди бумажной бездны. Его слава распро-

стрилилась по всем землям и порадовала перед смертью сердце самого раздражительного старого. Друга Людей. Даже ямщики на постоянных дворах слышали о Мирабо: когда нетерпеливый путешественник жалуется, что упряжка негодна, ямщик отвечает: «Да, сударь, пристяжные слабоваты, но Мирабо (Mirabeau — коренник) у меня, сами видите, прекрасный» (mais mon mirabeau est excellent)⁵.

А теперь, читатель, тебе придется покинуть не без сожаления (если тебе не чужды человеческие чувства) шумную разногласицу Национального собрания. Там, в центре двадцати пяти миллионов, находятся двенадцать сотен собратьев, отчаянно борющихся с судьбой и друг с другом, борющихся не на жизнь, а на смерть, как большинство сынов Адама, ради того, что не принесет пользы. Более того, наконец признается, что все это весьма скучно. «Скучное, как сегодняшнее заседание Собрания», — говорит кто-то. «Зачем ставить дату?» (Pourquoi dater?) — спрашивает Мирабо.

Подумайте только, их двенадцать сотен, они не только произносят, но и читают свои речи, и даже заимствуют и крадут чужие речи для прочтения! При двенадцати сотнях красноречивых ораторов и их Ноевом потоке напыщенных банальностей недостижимое молчание может показаться единственным блаженством в жизни. Но представьте себе двенадцать сотен сочинителей памфлетов, жужжащих нескончаемыми словесами и нет никого, кто бы заткнул им рот! Да и сама процедура не кажется столь совершенной, как в американском конгрессе. У сенатора здесь нет собственного стола и газеты, а о табаке (тем более о трубке) и думать не приходится. Даже разговаривать надо тихо, все время прерываясь, только «карандашные записки» свободно циркулируют «в невероятном количестве вплоть до подножия трибуны»⁶. Таково это дело — возрождение нации, усовершенствование «теории неправильных глаголов».

Глава третья

ВСЕОБЩИЙ ПЕРЕВОРОТ

О королевском дворе сейчас почти что нечего сказать. Замолкли, обезлюдели его залы, королевская власть томится, покинутая ее богом войны и всеми надеждами, пока вновь не соберется Oeil de Voeuf. Скипетр выпал из рук короля Людовика и перешел в зал Дворца малых забав, в парижскую Ратушу или неизвестно куда. В июльские дни, когда в ушах стоял грохот падения Бастилии, а министры и принцы рассеялись на все четыре стороны, казалось, что даже лакеи стали туги на ухо. Безанваль, прежде чем раствориться в пространстве, немного задержался в Версале и обратился лично к Его Величеству за приказом, касающимся почтовых лошадей; и вдруг «дежурный камердинер фамильярно всовывается между Его Величеством и мной», вытягивая свою подлую шею, чтобы узнать, в чем дело! Его Величество, вспыхнув гневом, обернулся и схватил каминные щипцы. «Я мягко удержал его; он с благодарностью сжал мою руку, и я заметил слезы на его глазах»⁷. Бедный король, ведь и французские короли тоже люди! Сам Людовик XIV тоже как-то раз схватил каминные щипцы и даже швырнул их, но тогда он швырнул их в Лувуа*, а вмешалась госпожа Ментенон**. Королева рыдает в своих внутренних покоях, окруженная слабыми женщинами: она достигла «вершины непопулярности» и повсеместно считается злым гением Франции. Все ее друзья и ближайшие советники бежали, и бежали, несомненно, с глупейшими поручениями. Замок Полиньяков все еще высокомерно хмурится со своего «дерзкого и огромного кубического утеса» среди цветущих полей, опоясанный голубыми горами Оверни⁸, но ни герцог, ни герцогиня Полиньяк не смотрят из его окон: они бежали, они «встретили Неккера в Базеле», они не вернутся. То, что Франции пришлось увидеть свою знать отражающей неотразимое, неизбежное с гневными лицами, было прискорбно, но предсказуемо, но с лицами и чувствами капризного ребенка. Такова оказалась особенность знати. Она ничего не поняла и ничего не хотела понять. Разве в этот самый момент в замке Гам не сидит задумавшись новый Полиньяк, первенец тех двух⁹, в помрачении, от которого он никогда не оправится, самый смятенный из всех смертных?

* Лувуа — военный министр Людовика XIV

** Маркиза де Ментенон (1635—1719) — внучка французского писателя-протестанта Агриппы д'Обинье, жена писателя Поля Скаррона (1610—1660), возлюбленная, а затем и тайная жена Людовика XIV, на которого имела неограниченное влияние.

Король Людовик образовал новое министерство из сплошных знаменитостей: бывший председатель Помпийян, Неккер, вернувшийся с триумфом, и другие подобные им¹⁰. Но что это ему даст? Как уже было сказано, скипетр, не просто деревянный позолоченный жезл, а Скипетр перешел в другие руки. Ни воли, ни решимости нет в этом человеке, только простодушие и беспечность, он готов положиться на любого человека, кроме себя, на любые обстоятельства, кроме тех, которыми он может управлять. Так расстроен изнутри наш Версаль и его дела. Но снаружи, издали он прекрасен, блистающ, как солнце; вблизи же — скорее отблеск солнца, скрывающий тьму и смутный зародыш гибели.

Вся Франция охвачена «разрушением формул» и вытекающим отсюда изменением реальностей. Это чувствуют многие миллионы людей, скованных, почти задушенных формулами, чья жизнь тем не менее или по крайней мере такие ее элементы, как пища и голод, были вполне реальны! Небеса наконец послали обильный урожай, но какая от него польза бедняку, если вмещивается земля с ее формулами? Ремесла в мятежные времена поневоле должны замереть, капитал не обращается, как в обычные дни, а робко прячется по углам. Для бедняка нет работы, потому нет у него и денег, да, даже если бы у него и были деньги, хлеб невозможно купить. Заговор ли это аристократов, заговор ли герцога Орлеанского, разбойники ли это, сверхъестественный ужас или звон серебряного лука Феба-Аполлона — что бы ни было, но на рынках нет зерна, на рынках изобилует только смута. Крестьяне как будто ленятся молотить, то ли подкупленные, то ли и не нуждающиеся в подкупе, потому что цены все время растут, а арендная плата, возможно, взыскивается не столь жестко. Странно, что даже постановления муниципалитетов «об обязательной продаже вместе со столькими-то мерами пшеницы стольких-то мер ржи» и тому подобные мало меняют дело. Драгуны с шашками наголо выстраиваются между мешками с зерном; часто бывает больше драгун, чем мешков¹¹. Хлебные бунты не прекращаются, перерастая в бунты значительно более серьезного характера.

Голод был знаком французскому народу и раньше, знаком и привычен. Разве мы не видели, как в 1775 году люди с бледно-желтыми лицами, несчастные и оборванные, подали петицию о своем бедствии и в ответ получили новенькую, с иголки виселицу 40-футовой высоты? Голод и темнота в течение долгих лет! Оглянитесь на предшествующий парижский бунт, когда все решили, что одно знатное лицо, пошатнувшее в разгулах здоровье, нуждается в «кровавых ваннах», и матери в оборванных платьях, но с горящими сердцами «заполнили общественные места» с дикими криками мщения, и их также усмирили с помощью виселиц. 20 лет назад Друг Людей (проповедовавший перед глухими), говоря о лимузенских крестьянах, описывал их «пришибленный горем вид» (*souffre douleur*) и взгляд, уже даже не жалующийся, «как будто угнетение сильными мира сего похоже на град или гром, как будто оно неотвратимо и принадлежит законам природы». И вдруг теперь, в этот великий час, потрясение от падения Бастилии пробудило вас и открыло, что закон этот рукотворен, отвратим, поправим.

Или читатель забыл тот «поток дикарей», который на глазах того же Друга Людей спустился с гор Мон-Дор? Заросшие волосами угрюмые лица, изможденные фигуры в высоких сабо, шерстяные куртки с кожаными поясами, усаженными медными гвоздями! Они переступали с ноги на ногу и мерно работали локтями, когда начались драки и свалки, которых пришлось недолго ждать; они яростно вскрикивали, и их осунувшиеся лица искажались подобием свирепого смеха. Они были темны и ожесточены: долгое время они являлись добычей акцизных чиновников и сборщиков налогов, «писцов, брызжущих холодом из-под перьев». Сбылось пророчество нашего старого маркиза, которого никто не хотел слушать: «Правительство, которое играет в жмурки и, спотыкаясь, заходит слишком далеко, кончит всеобщим переворотом (*culbute générale!*)».

Никто не хотел ничего слушать, каждый беззаботно шел своим путем, а время и судьба двигались вперед. Играющее в жмурки и спотыкающееся правительство достигло неизбежной пропасти. Темные бедняки, которых понукают писцы, брызжущие холодом и подлостью из-под перьев, были согнаны в союз бедняков! Теперь же на крыльях страниц парижских журналов, а там, где их нет¹², еще более странно, на крыльях слухов и домыслов, разнеслась удивительнейшая, непонятнейшая весть: угнетение не неизбежно, Бастилия повержена, конституция скоро

будет готова! Чем, как не хлебом насущным, может быть конституция, если она представляет собой нечто?

Путешественник, «идуший в гору с поводьями в руке», нагоняет «бедную женщину» — воплощение, как обычно, бедности и нужды, — «которая выглядит на шестьдесят лет, хотя ей еще нет двадцати восьми». У них, ее бедного работяги-мужа и ее самой, семеро детей, ферма с одной коровой, которая помогает прокормить детей, одна лошаденка. Они платят аренду и денежный оброк, отдают кур в плату этому вельможе и мешки овса тому; королевские налоги, барщину, церковные налоги — бесчисленные налоги; воистину невозможные времена! Она слышала, что где-то, каким-то образом, что-то должно быть сделано для бедных: «Пошли, Господи, поскорее, ведь налоги и подати давят нас (nous écrasent)»¹³.

Звучат прекрасные пророчества, но они не сбываются. Сколько раз созывались собрания нотаблей и просто собрания, которые сходились и расходились; сколько было интриг и уловок, сколько парламентского красноречия и споров, сколько встреч на высшем уровне, а хлеба все нет! Урожай собран и свезен в амбары, и все же у нас нет хлеба. Побуждаемые отчаянием и надеждой, что могут сделать бедняки, как не восстать, что и было предсказано, и не произвести всеобщий переворот!

Представьте же себе, что пять миллионов изможденных фигур с угрюмыми лицами, в шерстяных куртках, в усеянных медными гвоздями кожаных поясах, в высоких сабо, будто перекликаясь в лесу, бросают своим чисто вымытым высшим сословиям, после всех этих беспроектных веков, вопросы: как вы обращались с нами? Как вы обучали нас, кормили нас, направляли нас, пока мы гибли, работая на вас? Ответ можно прочесть в заревах пожаров на летнем ночном небе. Вот какую пищу и вот какое руководство мы получали от вас — пустота в кармане, в желудке, в голове и в сердце. Смотрите, у нас нет ничего, ничего, кроме того, что дарует природа в пустыне своим диким сынам: жестокости, алчности, силы голода. Указали ли вы среди своих прав человека, что человек имеет право не умирать от голода, когда есть хлеб, возвращенный им? Это отмечено в «возможностях» человека.

Только в Маконне и Божоле 72 замка сгорели дотла; здесь, по-видимому, центр пожаров, но они распространяются и в Дофине, Эльзасе, Лионе, пылают весь юго-восток. По всему северу — от Руана до Меца — царит беспорядок: спекулянты солью открыто собираются в вооруженные банды, чиновники обратились в бегство. «Предполагали, — пишет Артур Юнг*, — что народ, изголодавшись, поднимет восстание, и мы видим, что так и случилось. Отчаявшиеся горемыки, давно уже скитавшиеся без цели, теперь обрели надежду в самом отчаянии и повсюду образуют ядро мятежа. Они звонят в церковные колокола, и приходы приступают к делу»¹⁴. Можно вообразить, что это за дело: жестокость, зверства, голод и месть!

* Юнг Артур (1741—1820) — английский агроном и экономист, автор многих трудов, среди них — «Путешествие по Франции» (два тома, 1792—1794).

Плохо приходится господам: тому, например, который «огородил единственный в местечке колодец», и тому, который слишком настойчиво отстаивал свои права, основываясь на своих, написанных на пергаменте, хартиях, и тому, который охранял свою дичь не слишком мудро, но зато слишком тщательно. Безжалостно грабят церкви и монастыри, которые очень коротко стригли свою паству, забывая кормить ее. Горе стране, которую топчут санкюлоты, грозно стуча деревянными башмаками в день отмщения! Высокородные господа со своими бедными женами и детьми вынуждены бежать полуодетыми под покровом ночи и счастливы, что спаслись от огня или чего-то худшего. Вы встретите их на постоянных дворах за табльдотом, они рассуждают то умно, то глупо о том, что все «границы сметены», они растеряны и не знают, куда им теперь обратиться¹⁵. Арендаторы считают удобным не торопиться с уплатой налогов. Что касается сборщика налогов, который долгое время охотился, как двуногий хищник, то он теперь обнаруживает, что за ним самим охотятся, казначей Его Величества не «покроет дефицита» в этом году: многие считают, что король-патриот, как спаситель французской свободы, упразднил большинство налогов, хотя некоторые люди в личных целях держат это в секрете.

Куда это все приведет? Можно заранее предсказать — в бездну, куда приводят во все времена все заблуждения, куда приведет и это заблуждение. Потому что, как мы не раз повторяли, если и есть некое извечное убеждение, то это убеждение в том, что никакая ложь не может суще-

ствовать вечно. Истина должна временами менять свое обличье и возрождаться вновь, но смертный приговор всякой лжи подписан в самой небесной канцелярии, и быстро или медленно, но она неуклонно приближается к своему концу. «Приметой того, что господин является крупным помещиком, — пишет язвительный и откровенный Артур Юнг, — служат пустыри, ланды, пустоши и маки; отправьтесь в его резиденцию, и вы найдете ее среди лесов, где обитают олени, кабаны и волки. Поля являют зрелище жалкого управления, а дома — зрелище нищеты. Видеть столько миллионов рук, которые могли бы приносить пользу, праздными и голодающими! О, если бы я всего один день был законодателем Франции, я бы заставил этих больших бар прыгать!»¹⁶ О Артур, сейчас ты воистину можешь увидеть, как они прыгают, но не будешь ли ты ворчать и на это тоже?

Так продолжалось многие годы и поколения, но время пришло. Пустые головы, которых не трогали ни доводы разума, ни мольбы, приходится просветлять заревом пожаров — остается только этот путь. Подумайте об этом, взгляните на это! Вот вдова собирает крапиву на обед своим детям, а вот раздушенный сеньор, деликатно зевающий в *Oeil de Bœuf*, владеет алхимическим приемом, с помощью которого он извлечет у нее каждый третий стебель крапивы и назовет это налогом и законом; такой порядок должен окончиться. Разве нет? Но как страшен такой конец! Пусть же те, кому Господь в своей великой милости даровал время и пространство, попробуют привести к другому, более мягкому концу.

Некоторым кажется удивительным, что сеньоры не сделали ничего, чтобы помочь самим себе, например не объединились и не вооружились, ведь их было «сто пятьдесят тысяч», и все достаточно храбры. К несчастью, сто пятьдесят тысяч, рассеянных по всем провинциям и разобщенных взаимным недоброжелательством, не могут объединиться. Наиболее знатные, как мы видели, уже эмигрировали с целью заставить Францию покраснеть от стыда. Да и оружие теперь не является исключительной собственностью сеньоров, но принадлежит каждому смертному, кто может заплатить 10 шиллингов за подержанное ружье.

Кроме того, эти голодающие крестьяне все же не ходят на четырех когтистых лапах, чтобы их можно было постоянно подавлять до такой степени. Они даже не чернокожие: они просто немытые сеньоры, а любой сеньор имеет человеческие потроха! Сеньоры делают что могут: записываются в Национальную гвардию, бегут с воплями, обращая мольбы к небу и земле. Один сеньор, знаменитый Мемме де Кенсе из окрестностей Везуля, пригласил всех соседних крестьян на праздник и с помощью пороха взорвал свой замок и всех их, а сам немедленно скрылся, и никто не знал куда¹⁷. Спустя полдюжины лет он вернулся и доказал, что это произошло случайно.

Не бездельничают и власти, хотя, к несчастью, все власти, муниципалитеты и тому подобные, находятся в неопределенном, переходном состоянии, преобразуясь из старых, монархических в новые, демократические, и ни один чиновник пока ясно не знает, кто он. Тем не менее старые и новые мэры собирают жандармерии (*maréchaussées*), национальные гвардии, линейные войска, нет недостатка и в правосудии, хотя бы самого общего свойства. Комитет выборщиков в Маконе, хотя это всего только комитет, доходит до того, что вешает своей собственной властью не менее 20 человек. Прево в Дофине разъезжает по области в сопровождении «передвижной колонны» с экзекуторскими жезлами и веревками для виселиц: ведь для виселицы подойдет любое дерево, которое удержит преступника или «тринадцать» преступников.

Несчастливая страна! Как обезобразила устрашающая чернота твои ясные, золотые и зеленые осенние поля урожайного года: черный пепел замков, черные тела повешенных! Ремесла угасли, слышны не молот и пила, а набаты и барабанная дробь. Скипетр пропал неизвестно где, разбившись на части: здесь бессильный, там тиранический. Национальная гвардия не обучена и подозрительна: солдаты склонны к мятежу, и существует опасность, что они передерутся или, наоборот, сговорятся. В Страсбурге случился мятеж: Ратуша разнесена в щепки, архивы рассеяны по воздуху, три дня пьяные солдаты обнимались с пьяными горожанами, мэр Дитрих и маршал Рошамбо дошли до отчаяния¹⁸.

Среди всех этих событий мы видим триумфальное возвращение Неккера из Базеля, «эскорт» которого, например, в Бефоре составили «50 конных национальных гвардейцев и вся военная музыка!». Сияющий, как солнце в полдень, бедный Неккер догадывается, куда идет дело¹⁹. День высочайшего взлета: в парижской Ратуше под бессмертные крики «виват!» жена и дочь пуб-

лично преклоняют колени, чтобы поцеловать ему руку, Безанваль получает прощение, правда отобранное еще до захода солнца. День взлета, но затем пойдут дни похуже и еще хуже, и наступят совсем дурные дни! Как чудно иметь имя и приобретать имя. Подобно волшебному шлему Мамбрина, приносящему победу*, среди ликования и литавр является этот «спаситель Франции», чтобы, увы, скоро быть развенчанным и выброшенным с позором из списков, как таз цирюльника! Гиббон «хотел бы продемонстрировать его» (в состоянии выброшенного таза цирюльника) каждому серьезному человеку, вознамерившемуся ради честолюбивых стремлений, успешных и безуспешных, продать свою душу и превратиться в «мертвую голову»²⁰***.

И еще одну, и только одну, маленькую деталь добавим мы: этой осенью наш язвительный Артур Юнг «на протяжении нескольких дней был преследуем» выстрелами, дробью и пулями, «пять или шесть раз попадавшими в коляску или свистевшими у моего уха»: вся окрестная чернь отправилась за дичью²¹. И впрямь, на утесах Дувра, на всей земле Франции, от границы до границы, этой осенью объявились две приметы: переселяющиеся за рубеж вереницы французской знати и переселяющиеся за рубеж крылатые вереницы французской дичи! Кончено, можно сказать, или почти покончено с правом охоты на дичь во Франции, и кончено навсегда. Роль, которую оно должно было сыграть в истории цивилизации, сыграна: «Рукоплещите: пусть выйдет актер!»***

* В кельтской мифологии боевой шлем Мамбрина (или Бриона) — одно из трех сакральных сокровищ Ирландии.

** *Caput mortuum* (лат.) — оставшиеся в тигле бесполезные продукты химических реакций в алхимии; перен. нечто мертвое, лишённое содержания, бесполезное.

*** *Plaudite, exeat* (лат.); чаще — *plaudite, cives* или *plaudite, finita est comoedia* (лат.) — обычные обращения к зрителям в конце римской комедии.

Так возгорается санкюлотизм, многое освещая и многое вызывая к жизни, в частности, как мы видели, вызывая почти чудо — 4 августа — сошествие Святого Духа в Национальное собрание, почти чудо со своими причинами и следствиями. Феодализму нанесен смертельный удар, не только чернилами и на бумаге, но огнем, скажем самосожжением, и в самой действительности. Затухая на юго-востоке, пожар перекинется на запад или куда-либо еще; он будет пылать, пока не кончится топливо.

Глава четвертая

В ОЧЕРЕДЯХ

Если мы теперь обратимся к Парижу, то станет очевидно одно: булочные обросли очередями, или «хвостами», длинные вереницы покупателей образуют «хвосты», так что первые пришедшие будут первыми купившими — если только лавка откроется! Это ожидание в «хвостах», невиданное с первых дней июля, снова проявляется в августе. Временами мы видим, что практика совершенствует его почти до степени искусства, и искусство или квазиискусство стояния в очередях становится отличительным признаком парижан, выделяющим их из всех других.

Подумайте: работы так мало, а человек должен не только добыть денег, но и прождать (если его жена слишком слаба, чтобы стоять и драться полдня в «хвосте»), пока он не обменяет их на дорогой и плохой хлеб! В этих отчаявшихся очередях неизбежно возникают споры, доходящие иногда до драки и кровопролития. А если не ссоры, то всемирный язык (*pange lingua*) жалоб на властей предрержащих. Франция открыла свой длинный перечень голодовок, которые растянутся на семь крайне тяжелых лет. Как говорит Жан Поль* о своей собственной жизни, «до многого может довести голод».

* Имеется в виду Жан Поль Рихтер (1763—1825) — выдающийся немецкий писатель эпохи сентиментализма.

Подумайте и о странном контрасте, который представляют праздничные церемонии, потому что в целом вид Парижа определяют именно эти два явления: праздничные церемонии и отсутствие самого необходимого. На празднике шествуют многочисленные процессии молодых

женщин, разряженных и разукрашенных, — они носят только трехцветные ленты, с песнями и барабанами, к раке св. Женевьевы, чтобы вознести ей благодарность за сокрушение Бастилии. Могучие рыночные торговцы и торговки не отстают со своими букетами и речами. Аббат Фоше, прославившийся подобной деятельностью (потому что аббат Лефевр умеет только раздавать порох), освящает трехцветную ткань для национальных гвардейцев и претворяет ее в трехцветный национальный флаг, который в борьбе за гражданскую и религиозную независимость развеивается или будет развеиваться над миром. Фоше, можно сказать, создан для молебнов и публичных освящений, на которые наша Национальная гвардия, как в случае с флагом, «отвечает залпами ружей», даже если дело происходит в церкви или соборе²², и наполняет собор Парижской Богородицы шумом и дымом этого многозначительного «аминь!».

Все же надо сказать, что наш новый мэ́р Байи и наш новый командующий Лафайет*, которого называют также Сципионом-Американцем**, заплатили за свои посты дороговую цену. Байи с большой пышностью разъезжает в золоченой придворной карете с лейб-гвардейцами; Камиль Демулен и другие фыркают по этому поводу. Сципион восседает «на белом коне», покачивая гражданским плюмажем на виду у всей Франции. Но ни одному из них это не дается даром — плата непомерно дорога, а именно: кормить Париж и удерживать его от драки. Около 17 тысяч самых нуждающихся заняты копанием рвов на Монмартре, из городских фондов им выплачивают по 10 пенсов в день; этих денег хватает на то, чтобы купить почти два фунта плохого хлеба по рыночной цене. Они выглядят изможденными, когда Лафайет приезжает, чтобы произнести для них речь. День и ночь Ратуша пребывает в трудах: она должна родить хлеб, муниципальную конституцию, всевозможные постановления, обуздать санкюлотскую печать, но прежде всего — хлеб, хлеб.

* Лафайет принадлежал к богатому и знатному дворянскому роду, в юности увлекался идеями просветителей-энциклопедистов. Когда началась Война за независимость североамериканских колоний, он снарядил на свой счет судно и отправился за океан. 23 лет от роду он стал генерал-майором американских войск и вернулся во Францию, окруженный славой борца за свободу американской республики.

** Сципионы в Древнем Риме — одна из ветвей рода Корнелиев, к которой принадлежали крупные полководцы и государственные деятели.

Провиантские чиновники общаривают страну вдоль и поперек с львиным аппетитом, выискивают спрятанное зерно, закупают продающееся зерно. Крайне неблагодарная задача и такая трудная, такая опасная, даже если удастся немного подзаработать на этом! 19 августа остается однодневный запас продуктов²³. Раздаются жалобы, что продукты испорчены и дурно действуют на желудок: это не мука, а гипс! Ратуша в своей прокламации призывает пренебречь дурными последствиями для желудка, а также «болями в горле и во рту» и, напротив, считать этот хлеб весьма полезным. Мэр Сен-Дени был повешен населением, страдающим желудком, на тамошнем фонаре, до того черен был его хлеб. Национальные гвардейцы охраняют парижский хлебный рынок: сначала хватает 10, позднее — 600²⁴. Много у вас дел, Байи, Бриссо де Варвиль, Кондорсе и другие!

Ведь есть еще и законы о местном управлении, которые еще надо написать, как только что упоминалось. Уже после десятидневных восхвалений славной победы старых бастильских выборщиков начали недовольно спрашивать: «Кто вас сюда поставил?» Им, конечно, пришлось потесниться не без стенаний и ворчаний с обеих сторон и дать место новому, более многочисленному собранию, избранному специально. Это новое собрание, увеличенное, видоизмененное и наконец окончательно остановившееся на числе три сотни человек, восседает в Ратуше под названием Собрание представителей Коммуны (Représentans de la Commune), аккуратно поделенное на комитеты, и усердно составляет конституцию все то время, когда не ищет муки.

И какую конституцию, чуть ли не волшебную: ведь она должна «упрочить революцию»! Так что же, революция завершена? Мэр Байи и все почтенные друзья свободы хотели бы думать именно так. Вашу революцию, как хорошо проваренное желе, остается только разлить в формы конституции и дать ей застыть. Но может ли она в самом деле застыть, в высшей степени сомнительно, более того — несомненно обратное!

Злополучные друзья свободы, упрочивающие революцию! Они должны трудиться, когда их шатер раскинут над пропастью, разделяющей два враждебных мира: верхний мир двора и

нижний — санкюлотов, и, побиваемые обоими, мучительно, с опасностью для себя трудиться, делая в буквальном и самом серьезном смысле «невозможное».

Глава пятая

ЧЕТВЕРТОЕ СОСЛОВИЕ

Памфлетисты разевают свою необъятную пасть все шире и шире и уже никогда не захлопнут ее. Наши философы на деле предпочитают отступить по примеру Мармонтеля, «в первый же день удалившегося с отвращением в отставку». Аббат Рейналь, поседевший и затихший в своем марсельском жилище, мало удовлетворен этой работой: последнее литературное действие этого человека — снова бунтарская акция — негодующее «Послание Учредительному собранию», ответом на которое будет: «Переходим к повестке дня». Философ Морелле также недовольно морщит лоб, это 4 августа угрожает его бенефициям всерьез, дело зашло слишком далеко. Поразительно, эти «изможденные фигуры в шерстяных куртках» не удовлетворяются логически-рассуждениями и непобедимым аналитическим методом, подобно нам!

Увы, да, рассуждения и философствования, некогда украшавшие и ценившиеся в салонах, будут теперь переплавлены исключительно в практические предложения, которые поступят в обращение повсюду, на улицах и дорогах, и принесут плоды! Возникает четвертое сословие, оно растет и размножается, неукротимое, непредсказуемое. Появляются все новые и новые типографии, все новые журналы (таким зудом объят мир) — пусть наши три сотни обуздывают и объединяют их, если сумеют! Лустало под крылышком скучно-хвастливого писаки Прюдома издает свой едкий, напыщенный еженедельник «Révolutions de Paris». Язвительен, едок, как терновый спирт или купорос, Марат, Друг Народа*, потрясенный тем, что Национальное собрание, столь насыщенное аристократами, «не может ничего сделать», кроме как самораспуститься и уступить место другому, лучшему собранию, что представители в Ратуше по преимуществу болтуны и дураки, если не мошенники. Человек этот беден, неопрятен, живет на чердаке; человек, неприятный и наружностью, и внутренними качествами; человек отталкивающий — и вдруг он становится фанатиком, одержимым навязчивой идеей. Жестокая игра случая! Неужели природа, о бедный Марат, жестоко забавляясь, замесила тебя из отбросов и разной негодной глины и, словно мачеха, вышвырнула тебя — олицетворение смятения — в этот смятенный восемнадцатый век? Тебе предназначено дело, которое ты исполнишь. Три сотни призвали и вновь призывают Марата, но вечно он каркает необходимые ответы, вечно он противится им или ускользает от них, и нечем заткнуть ему рот.

* Друг Народа — прозвище Марата, издававшего газету под этим названием («Ами дю пёпль»).

Карра, «экс-секретарь одного обезглавленного господаря», а затем кардинала ожерелья*, также памфлетист, подвизающийся во многих сферах и странах, прилипает к Мерсье** из «Таблёр де Пари» и с пеной у рта добивается издания неких «Анналь патриотик». Процветает «Монитор»***, Барер орошает

* Т. е. де Рогана.

** Издание серии «Tableau de Paris» Мерсье начал в 1781 г. До 1788 г. вышло 12 томов.

*** «Монитор» — в период буржуазной революции XVIII в. официальная газета, дававшая отчет о политических событиях.

слезами страницы пока еще верных газет, не дремлют и Ривароль и Руаю. Одно тянет за собой другое: «Господи, даруй королю благополучие (*domine salvum fac regem*)», вызывает к жизни вселенский язык; «Друг народа» порождает поддерживающую короля газету «Друг короля». Камиль Демулен назначил себя Генеральным прокурором фонаря (*Procureur Général de la Lanterne*) и отстаивает свои взгляды, не жестокие, но под этим жестоким титулом, издавая свой блестящий еженедельник «Революции Парижа и Брабанта». Блестящий, говорим мы, потому что если в этом густом мраке журналистики с ее тупым хвостовством, сдержанной или разнузданной злобой и проблескивает луч гения, то можно быть уверенным, что это Камиль. Чего бы ни коснулся Камиль своими легкими перстами, все начинает сверкать, играть красками, приобретает

неожиданный оттенок благородства на фоне ужасной смуты; то, что вышло из-под его пера, стоит прочесть, о других этого не скажешь. Противоречивый Камиль, как блистаешь ты падшим, мятежным, но все еще божественным светом, как звезда во лбу Люцифера!* Сын утра, в какие времена и в какую землю низвергнут ты!

* Люцифер — в христианской мифологии падший ангел, дьявол.

Во всем есть нечто хорошее, хотя для «упрочения революции» ничего хорошего и нет. Тысячи пудов этих памфлетов и газет медленно гниют в публичных библиотеках по всей Европе. Выхваченные библиофилами из великой пучины, подобно тому как искатели жемчуга выхватывают раковины, они должны сначала сгнить, и тогда жемчужины Камилля или других будут опознаны и сохранены.

Не убавилось и количество публичных речей, хотя Лафайет и его патрули косо смотрят на это. Как всегда, шумит Пале-Руаяль, еще больше шума в Кафе-де-Фуайе, такая там толпа граждан и гражданок. «Время от времени, — по словам Камилля, — некоторые граждане используют свободу печати в личных целях, так что тот или иной патриот вдруг обнаруживает, что у него пропали часы или носовой платок!» Но в остальном, по мнению Камилля, не может быть более живого образа римского форума. «Патриот выдвигает предложение; если оно находит сторонников, то они заставляют его влезть на стул и говорить. Если ему аплодируют, он блаженствует и печатается, если его освищут, он идет своей дорогой». Так они расхаживают и разглазывают. Длинного, косматого маркиза Сент-Юрюга*, понесшего — и заслуженно — большие потери, считают почтенным человеком и выслушивают. Он не говорит, а ревет, как бык, его голос заглушает все другие голоса и все-таки трогает сердца людей. Этот долговязый маркиз скорее всего не в своем уме, но легкие у него в полном порядке.

* Сент-Юрюг Виктор Амадей, маркиз (около 1750—1810), в 1781—1784 гг. находился в заключении в Шарантоне по королевскому указу о заточении, затем был выслан в свое поместье, откуда бежал в Англию. Вернулся в 1789 г. Один из популярных ораторов Пале-Руаяля.

Допустим далее, что каждый из 48 округов имеет свой комитет; он, непрерывно заседавая, обсуждает вопросы о том, где достать зерно и какой будет конституция, он занят также проверкой и слежкой за теми тремястами человек, которые собрались в Ратуше. Дантон, чей «голос гремит под сводами», заняв пост председателя округа кордельеров, стал своего рода божком патриотизма. Но не надо забывать также «о семнадцати тысячах бедняков, ютящихся на Мон-мартре», многим из которых суждена голодная смерть, потому что невозможно же прожить на 4 шиллинга; не надо забывать и о собраниях, например, прислуги, которой хозяева отказали от места, о забастовках портных, кожевенников, аптекарей — забастовках, вызванных растущей ценой на хлеб²⁵. Собрания забастовщиков происходят большей частью под открытым небом, на них принимаются резолюции. Лафайет и его патрули издали наблюдают за собраниями, не скрывая своей подозрительности.

Несчастные смертные, сколько трудов прилагаете вы, в беспощадной борьбе уничтожая друг друга, чтобы добиться счастья на этой земле, не сознавая того, что нельзя добиться счастья на этом «торжестве денег». Конечно, каждый из трехсот бдительно и зорко наблюдает за действиями черни, и все-таки никто из них не может сравниться со Сципионом-Американцем в подавлении ее волнений. Разумеется, все это ни в коей мере не способствует консолидации революционных сил.

Книга VII

ВОССТАНИЕ ЖЕНЩИН

Глава первая

ПАТРУЛИЗМ

Нет, друзья, эта революция не из тех, которые что-либо могут упрочить. Разве пожары, лихорадки, посевы, химические смеси, люди, события -- все воплощения силы, которая составляет этот чудесный комплекс сил, называемый Вселенной, не продолжают усиливаться, проходя свои естественные фазы и ступени развития, каждая в соответствии с собственными законами; не достигают ли они своей вершины, а затем видимого упадка, наконец, пропадают, исчезают и, как мы называем, умирают? Они развиваются; нет ничего, что бы не развивалось, не росло в присущих ему формах, раз оно получило возможность расти. Отметим также, что все растет со скоростью, пропорциональной в целом заложенным в нем безумию и нездоровью; медленный, последовательный рост, который, конечно, тоже кончается смертью, — это то, что мы называем здоровьем и здравомыслием.

Санкюлотизм, который поверг Бастилию, который обзавелся пиками и ружьями, а теперь сжигает замки, принимает резолюции, произносит речи под крышами или под открытым небом, пустил, можно сказать, ростки и по законам природы должен расти. Если судить по безумию и нездоровью, присущим как ему самому, так и почве, на которой он взрастает, можно ожидать, что скорость и чудовищность его роста будут чрезвычайны.

Многое, особенно все больное, растет толчками и скачками. Первый большой толчок и скачок санкюлотизма был совершен в день покорения Парижем своего короля — риторическая фигура Байи была слишком печальной реальностью. Король был покорен и отпущен под честное слово на условиях, так сказать, исключительно хорошего поведения, что в данных обстоятельствах, к несчастью, означало отсутствие всякого поведения. Совершенно нетерпимое положение: король поставлен в зависимость от своего хорошего поведения! Увы, разве это не естественно, чтобы все живое стремилось сохранить жизнь? Поэтому поведение Его Величества вскоре станет предосудительным, а следовательно, недалек и второй большой скачок санкюлотизма, а именно взятие короля под стражу.

Неккер по обыкновению сетует в Национальном собрании на дефицит: заставы и таможи сожжены, сборщики налогов из охотников превратились в затравленных зверей, казначейство Его Величества почти пусто. Единственным спасением является заем в 30 миллионов, позднее — заем в 80 миллионов на еще более заманчивых условиях, но ни один из этих займов, к сожалению, биржевые тузы не отваживаются предоставить. У биржевика нет родины, кроме его собственной черной ставки — ажиотажа.

И все же в эти дни есть люди, имеющие родину; какое пламя патриотизма горит в их сердцах, проникая глубоко внутрь, вплоть до самого кошелька! Вот утром 7 августа несколько парижских женщин торжественно совершают «патриотический дар» — «пожертвование патриотками драгоценностей в значительных размерах»; он торжественно принят с почетным отзывом. Отныне весь свет принимается подражать ему и восхвалять его. Патриотические дары стекаются отовсюду, они сопровождаются героическими речами, на которые председатель должен отвечать, а Собрание должно выслушивать; стекаются в таком количестве, что почетные отзывы могут выдаваться только в виде «списков, публикуемых через определенные промежутки времени». Каждый отдает то, что может; расщедрились даже сапожники, один помещик отдает лес, высшее общество отдает башмачные пряжки и весело довольствуется башмачными завязками. Женщины, которым не повезло в жизни, отдают то, что они «собрали любовью»¹. Любые деньги, как полагал Веспасиан*, пахнут хорошо.

* Римский император (69—79).

Прекрасно, но все же недостаточно! Духовенство следует «призвать» переплавить излишнюю церковную утварь для чеканки королевских монет. И наконец приходится, хоть и неохотно, прибегнуть к патриотическому взносу насильственного образца - пусть будет выплачена — только один раз — четвертая часть объявленного годового дохода, тогда Национальное собрание сможет продолжить работу над конституцией, не отвлекаясь по крайней мере на вопросы банкротства. Собственное жалованье членов Собрания, как установлено 17 августа, составляет всего 18 франков в день на человека; общественной службе необходимы нервы, необ-

ходимы деньги. Важно уменьшить дефицит; о том, чтобы победить, устранить дефицит, не может быть и речи! Тем более что все слышали, как сказал Мирабо: «Именно дефицит спасает нас».

К концу августа наше Национальное собрание в своих конституционных трудах продвинулось уже вплоть до вопроса о праве вето: следует предоставлять право вето Его Величеству при утверждении национальных постановлений или не следует? Какие речи были произнесены в зале Собрания и вне его, с какой четкой и страстной логикой, какие звучали угрозы и проклятия, к счастью в большинстве случаев забытые! Благодаря поврежденному уму и неповрежденным легким Сент-Юрюга Пале-Руаяль ревет о вето, журналисты строчат о вето, Франция звенит о вето. «Я никогда не забуду, — пишет Дюмон, — мой приезд в Париж вместе с Мирабо в один из этих дней и толпу людей, которую мы застали в ожидании его кареты около книжной лавки Леже. Толпа бросилась к нему, заклинала его со слезами на глазах не принимать решения о праве абсолютного вето короля. Она была охвачена лихорадкой: «Господин граф, вы — отец народа, вы должны спасти нас, вы должны защитить нас от этих негодяев, которые хотят вернуть деспотизм. Если король получит право вето, какой смысл в Национальном собрании? Тогда мы останемся рабами, все кончено»². Друзья, если небо упадет, мы будем ловить жаворонков! Мирабо, добавляет Дюмон, в таких случаях проявлял величие: он давал неопределенные ответы с невозможностью патриция и не связывал себя никакими обещаниями.

Депутации отправляются в Отель-де-Виль, в Национальное собрание приходят анонимные письма аристократам, угрожающие, что 15, а иногда и 60 тысяч человек «придет, чтобы осветить ваши дома» и разъяснить, что к чему. Поднимаются парижские округа, подписываются петиции, Сент-Юрюг выступает из Пале-Руаяля в сопровождении полутора тысяч человек, чтобы лично обратиться с петицией. Длинный, косматый маркиз и Кафе-де-Фуайе настроены — или похоже, что настроены, — решительно, но командующий генерал Лафайет тоже настроен решительно. Все улицы заняты патрулями. Сент-Юрюг остановлен у заставы Добрых Людей, он может реветь, как бык, но вынужден вернуться назад. Братья из Пале-Руаяля «бродят всю ночь» и выдвигают предложения под открытым небом, поскольку все кофейни закрыты. Однако Лафайет и Ратуша держат верх, Сент-Юрюг брошен в тюрьму. Абсолютное вето преобразовывается в приостанавливающее вето, т. е. запрещение не навсегда, а на некоторое время, и барабаны судьбы стихают, как это бывало и раньше.

До сих пор хотя и с трудностями, но консолидация делала успехи, противодействуя санкюлотам. Можно надеяться, что конституция будет создана. С трудностями, среди празднеств и нужды, патриотических даров и хлебных очередей, речей аббата Фоше и ружейного «аминь» Сципион-Американец заслужил благодарность Национального собрания и Франции. Ему предлагают вознаграждение и приличное жалованье, но, домогаясь благ совсем другого свойства, нежели деньги, от всех этих вознаграждений и жалований он рыцарски отказывается, не задумываясь.

Для парижского обывателя тем не менее остается совершенно непостижимым одно: почему теперь, когда Бастилия пала, а свобода Франции восстановлена, хлеб должен оставаться таким же дорогим? Наши Права Человека* утверждены голосованием, феодализм и тирания уничтожены, а, посмотрите, мы по-прежнему стоим в очередях! Что же это, аристократы скупают хлеб? Или двор все еще не оставил своих интриг? Что-то где-то подгнило.

* Имеется в виду Декларация прав человека и гражданина. Текст состоит из краткого введения и 17 статей, в которых изложены политические основы нового строя. За образец была принята Декларация независимости Соединенных Штатов Америки (4 июля 1776 г.).

Увы, но что же делать? Лафайет со своими патрулями запрещает все, даже жаловаться. Сент-Юрюг и другие герои борьбы против права вето находятся в заключении. Друг Народа Марат схвачен, издатели патриотических журналов и газет лишены свободы, а сами издания запрещены, даже уличные разносчики не смеют кричать, не получив разрешения и железной бляхи. Синие национальные гвардейцы безжалостно разгоняют все толпы без разбора и очищают штыками сам Пале-Руаяль. Вы идете по своим делам по улице Тарани, и вдруг патруль, наставляя штык, кричит: «Нале-во!» Вы поворачиваете на улицу Сен-Бенуа, и он кричит: «Напра-во!» Настоящий патриот (как, например, Камиль Демулен) вынужден ради собственного спокойствия держаться водосточных канав.

О многострадальный народ, наша славная революция испаряется в трехцветных торжествах и цветистых речах! Последних, как язвительно подсчитал Лустало, «в одной только Ратуше было произнесено за последний месяц до двух тысяч»³. А наши рты, лишенные хлеба, должны быть заткнуты под страхом наказания? Карикатурист распространяет символический рисунок: «Патриотизм, изгоняемый патрулизмом». Безжалостные патрули; длинные, сверхкрасивые речи; скудные, плохо выпеченные буханки, более похожие на обожженные батские* кирпичи, от которых страдают кишки! Чем же это кончится? Упрочением основ?

Глава вторая

О РИЧАРД, О МОЙ КОРОЛЬ!**

Увы, но и в самой Ратуше совсем не спокойно. Низший мир санкюлотов до сих пор успешно подавлялся, но высший мир двора!.. Появляются признаки, что Oeil de Voeuf собирается с силами.

* Бат — курорт в Англии.

** Ария из музыкальной драмы А.-Э. Гретри «Ричард Львиное Сердце».

Уже не раз в синедрионе Ратуши и довольно часто в откровенных хлебных очередях высказывалось пожелание: о, если бы наш спаситель французской свободы был здесь и все видел своими глазами, а не глазами королевы и интриганов и его бы воистину доброе сердце смягчилось! Ведь до сих пор его окружает ложь: интриги графа де Гиша и его телохранителей, шпионы Буйе*, новые стаи интриганов взамен старых, бежавших. Что иное может означать прибытие фландрского полка в Версаль, как мы слышали, 23 сентября с двумя пушками?*** Разве версальская Национальная гвардия не стоит на страже в замке? Разве у них нет швейцарцев, сотен швейцарцев и лейб-гвардии, так называемых телохранителей? Более того, похоже, что число дежурящих в дворцовой страже удвоено каким-то маневром: новый батальон пришел на смену своевременно, но старый, смененный не покинул дворец!

* Французский генерал маркиз Буйе, сторонник монархии, подготавливал в 1791 г. побег Людовика XVI.

*** В сентябре 1789 г. силы контрреволюции стали готовить государственный переворот. Король отказался утвердить постановления 4—11 августа и Декларацию прав человека и гражданина. В Версаль и Париж стягивались надежные части.

И действительно, в самых осведомленных высших кругах шепотом или кивком головы, что еще более знаменательно, чем шепот, передают о предполагаемом побеге Его Величества в Мец, об обязательстве (в поддержку этого намерения), подписанном невероятным количеством — 30 или даже 60 тысячами — дворян и духовенства. Лафайет холодно шепчет и холодно, но торжественно уверяет в этом графа д'Эстена; д'Эстен, один из храбрейших людей, содрогается при мысли, что какой-нибудь лакей может их подслушать, и проводит целую ночь без сна, погруженный в думы⁴. Фландрский полк, как мы уже сказали, прибыл. Его Величество, говорят, колеблется, утверждать ли решения 4 августа, и высказывает обдающие холодом замечания даже по поводу Декларации прав человека! Все, в том числе и стоящие в хлебных очередях, замечают, что подобным же образом на улицах Парижа появилось необычайно много офицеров-отпускников, крестов Святого Людовика* и тому подобных. Некоторые насчитывают «от тысячи до тысячи двухсот» офицеров в самых разных мундирах, а один мундир вообще еще никогда не видели в глаза — зеленый с красными кантами! А вот трехцветные кокарды не всегда видны, и, Боже! что предвещают эти черные кокарды, которые носят некоторые?

* Крест Святого Людовика — королевский орден, уничтоженный революцией и восстановленный в период Реставрации.

Голод обостряет все, особенно подозрения и недовольство. Сама реальность в этом Париже становится нереальной, сверхъестественной. Снова призраки преследуют воображение голодной Франции. «О вы, лентяи и трусы, — раздаются пронзительные крики из очередей,

— если в вас сердца настоящих мужчин, возьмите свои пики и старые ружья и присмотритесь; не обрекайте ваших жен и дочерей на голодную смерть, убийства или еще что похуже!» «Спокойно, женщины!» На сердце мужчин горько и тяжело; патриотизм, изгнанный патрулизмом, не знает, на что решиться.

Дело в том, что Oeil de Voeuf уже собрался с силами, неизвестно только, до какой степени. Изменившийся Oeil de Voeuf, принявший и стражу из версальской Национальной гвардии с ее трехцветными кокардами, и пылающий тремя цветами двор! Но люди собираются и при трехцветном дворе. Вы, верные сердца, дворяне, потерявшие в пожарах имущество, собирайтесь вокруг вашей королевы! С желаниями, которые породят надежды, которые породят действия!

Поскольку самосохранение является законом природы, что еще может делать собравшийся двор, как не предпринимать попытки и не прикладывать усилия, назовем это составлением заговоров, со всей возможной для него мудростью или глупостью? Они сбегут под охраной в Мец, где командует храбрый Буйе, они поднимут королевский штандарт, подписи под обязательством превратятся в вооруженных людей. Если бы только король не был так вял! Их обязательство, если оно вообще будет подписано, должно подписываться без его ведома. Несчастный король, он принял только одно решение — не допустить гражданской войны. Что же касается остального, то он по-прежнему выезжает на охоту, но слесарную работу оставил, спокойно спит и вкусно ест — он не что иное, как глина в руках горшечника. Плохо ему придется в мире, где каждый заботится только о себе, где, как написано, «кто не может быть молотом, должен быть наковальней» и где «даже росток зверобоя растет в трещине стены, потому что вся Вселенная не может помешать ему расти!».

Что же касается прихода фландрского полка, то разве нельзя сослаться на петиции Сент-Юрюга и постоянные бунты черни из-за продуктов? Неразвращенные солдаты всегда полезны, есть ли заговор, или есть смутные намеки на него. И разве версальский муниципалитет (старый, монархический, еще не преобразованный в демократический) не поддержал немедленно это предложение? Не возражала даже версальская Национальная гвардия, утомленная постоянными дежурствами во дворце, только суконщик Лекуэнтр, который стал теперь майором Лекуэнтром, покачал головой. Да, друзья, вполне естественно, что этот фландрский полк должны были вызвать, раз его можно вызвать. Столь же естественно, что при виде военных перевязей сердца вновь собравшегося Oeil de Voeuf должны были возродиться и что фрейлины и придворные приветливыми словами обращаются к украшенным эполетами защитникам и друг к другу. Наконец, естественно, да и просто вежливо, что лейб-гвардейцы, дворянский полк, приглашают своих фландрских собратьев на обед! В последние дни сентября это приглашение послано и принято.

Обеды считаются «простейшим актом общения»; люди, у которых нет ничего общего, могут с удовольствием сообща поглощать пищу и над едой и питьем возвыситься до некоторого подобия братства. Обед назначен на четверг первое октября и должен произвести прекрасное впечатление. Далее, поскольку такой обед может быть довольно многолюден и поскольку будут допущены даже унтер-офицеры и простой народ, чтобы все видеть и все слышать, нельзя ли использовать для этой цели помещения королевской Оперы, которые находятся в запустении с того самого времени, когда здесь был император Иосиф? Разрешение использовать оперный зал получено, салон Геркулеса будет приемной. Пировать будут не только фландрские офицеры, но и швейцарские — из той самой сотни швейцарцев, и даже версальские национальные гвардейцы — те из них, кто сохранил хоть немного верности королю; это будет редкое торжество!

А теперь представьте, что солидная часть этого торжества уже прошла и первая бутылка откупорена. Представьте, что обычные здравицы верности уже произнесены: за здоровье короля, за королеву — под оглушительные крики «Виват!»; тост за нацию «обойден» или даже «отвергнут». Представьте, что шампанское льется рекой, произносятся хвастливые, хмельные речи, звучит оркестр; пустые, увенчанные перьями головы шумят, заглушая друг друга. Ее Величеству, которая выглядит сегодня необычно печальной (Его Величество сидит утомленный дневной охотой), сказали, что зрелище может развеселить ее. Смотрите! Вот выходит она из своих апартаментов, как луна из-за туч, эта прекраснейшая несчастная бубновая королева в карточной колоде; царственный супруг рядом с ней, юный дофин у нее на руках! Она спускается из ложи, ок-

руженная блеском и восторженными овациями, по-королевски обходит столы, милостиво позволяя сопровождать себя, милостиво раздавая приветствия; ее взгляд то полон печали, то благоклонности и решимости, тем более, что вся надежда Франции находится у ее материнской груди! И теперь, когда оркестр грянул «О Ричард, о мой король, весь мир тебя покидает», что еще может сделать мужчина, как не подняться до высот сострадания, преданности и отваги? Могли ли увенчанные перьями молодые офицеры не принять поданные им прекрасными пальчиками белые кокарды Бурбонов, не обнажить шпаги и не присягнуть на них королеве, не растоптать национальные кокарды, не взобраться в ложи, откуда им послышалось недовольное бормотание, могли ли не засвидетельствовать поднявшуюся в них бурю чувств криками, радостными прыжками, шумом, всплесками ярости и отчаяния как в зале, так и на улице, пока шампанское и бурный восторг не сделали свое дело? И тогда они свалились и замолкли, безропотно уносясь в сладкие боевые сны!

Обычное пиршество; в спокойные времена совершенно безвредное, а теперь -роковое, как пир Фиеста*, как пир сыновей Иова**, когда порывом ветра были обрушены все четыре угла их дома! Бедная, неразумная Мария Антуанетта, обладающая женской пылкостью, но не предусмотрительностью правителя! Все было так естественно и так неразумно! На другой день в публичной речи о празднестве Ее Величество заявляет, что она «в восторге от четверга».

* В греческой мифологии Фиесту на пиру было подано мясо его собственных детей.

** Библ. аллюзия. Иов, I, 18—19.

Сердце Oeil de Voeuf загорается надеждой, загорается отвагой, но преждевременно. Собравшиеся фрейлины двора с помощью аббатов шьют «белые кокарды», раздают их юным офицерам с милыми словами и многообещающими взглядами; в ответ юноши не без трепета целуют прелестные пальчики швей. Конные и пешие капитаны похваляются «огромными белыми кокардами», а один версальский капитан из Национальной гвардии снял трехцветную кокарду и водрузил белую — так очаровали его слова и взгляды! Майор Лекуэнтр может сколько угодно качать головой с недовольным видом и неодобрительно высказываться. Но какой-то бахвал с огромной белой кокардой, услышав майора, дерзко требует раз, а затем и второй, в ином месте, чтобы тот взял свои слова обратно, и, получив отказ, вызывает его на дуэль. На это майор Лекуэнтр заявляет, что драться он не будет, по крайней мере по общепринятым правилам фехтования, тем не менее он, следуя просто законам природы, «уничтожит» при помощи кинжала и клинка любого «подлого гладиатора», который оскорбляет его или нацию, после чего (майор на самом деле обнажил оружие) «их разняли» без кровопролития⁵.

Глава третья

ЧЕРНЫЕ КОКАРДЫ

Представьте же себе, какое впечатление должен был произвести этот пир Фиеста и поправление национальных кокард на зал Дворца малых забав и особенно на голодные хлебные очереди в Париже! Да и похоже, что эти пиры Фиеста будут продолжаться. Фландрцы дали ответный обед швейцарцам, затем в субботу состоялся еще один обед.

Здесь у нас голод, а там, в Версале, достаточно пищи пусть они поделятся! Патриоты стоят в очередях, продрогшие, измученные голодом, оскорбляемые патрулями, а в это же время кровожадные аристократы, разгоряченные излишествами роскоши и кутежами, топчут национальные кокарды. Неужели верно это чудовищное известие? Да поглядите: зеленые мундиры с красными кантами и черные кокарды — цвета ночи! Неужели нам предстоит военное нападение и голодная смерть? Обратите внимание, зерновая баржа из Корбёля, которая приходила раньше дважды в день с грузом то ли муки, то ли гипса, теперь приходит лишь раз в день. И Ратуша глуха, и собравшиеся там — трусы и лентяи! В Кафе-де-Фуае субботним вечером происходит нечто новое, что повторится еще не раз: женщина публично держит речь. Ее бедному мужу, говорит она, местные власти заткнули рот, их председатель и чиновники не дают ему выступать. Поэтому она будет говорить здесь и разоблачать своим острым языком, пока у нее хватит дыхания, корбёльскую баржу, гипсовый хлеб, кощунственные обеды в Опере, зеленые мундиры, бандитов-аристократов и эти их черные кокарды!

И впрямь, пора бы черным кокардам по крайней мере исчезнуть. Их не станут защищать даже патрули. Более того, вспыльчивый «господин Тассен» в воскресенье поутру на параде в Тюильри забывает все военные уставы, выскакивает из рядов, срывает одну из черных кокард, горделиво красующуюся там, и яростно втоптывает ее в землю Франции. Патрули ощущают трудно подавляемую злобу.

Начинают шевелиться и округа, голос председателя Дантона сотрясает округ Кордельеров, Друг Народа Марат уже слетал в Версаль и вернулся обратно — зловещая птица, не какой-нибудь воробышек⁶.

В это воскресенье патриот встречает на прогулке другого патриота и видит отражение своих собственных мрачных забот на лице другого. Собираются и перемещаются кучки народа, несмотря на патрули, которые сегодня не столь бдительны, как обычно; народ скапливается на мостах, на набережных, в патриотических кафе. И где бы ни возникла черная кокарда, поднимается многоголосый ропот и крик: «Долой!» Все черные кокарды безжалостно срываются; какой-то человек поднимает свою, целует и пытается прикрепить на место, но «сотня палок взлетает в воздух», и он отступает. Еще хуже пришлось другому человеку, приговоренному случайным плебисцитом к фонарю и с трудом спасенному энергичными лейб-гвардейцами. Лафайет отмечает признаки возбуждения, для пресечения которого он удваивает свои патрули и свои усилия. Так проходит 4 октября 1789 года.

Тяжело на сердце у мужчин, сдерживаемых патрулями; пылки и неуправляемы сердца женщин. Женщина, публично выступавшая в Пале-Руаяле, не одинока: мужчины не знают, что такое пустеющая кладовая, это знают только матери семейств. О женщины, жены мужчин, которые все высчитывают, но не действуют! Патрули сильны, но смерть от голода и военного нападения сильнее. Патрули могут сдерживать патриотов-мужчин, а патриоток-женщин? Решится ли гвардия, называемая Национальной, воткнуть штыки в грудь женщины? Такие мысли, а скорее смутные, бесформенные зачатки мыслей зарождаются повсеместно под ночными женскими чепцами, и на рассвете при малейшем толчке они могут взорваться.

Глава четвертая

МЕНАДЫ

Если бы Вольтер, будучи не в духе, спросил своих соотечественников: «А вы, галлы, что вы изобрели?», теперь они могли бы ответить: искусство восстания. Это искусство оказалось особенно необходимо в последнее, странное время, искусство, для которого французский национальный характер, такой пылкий и такой неглубокий, подходит лучше всего.

Соответственно до каких высот, можно сказать, совершенства поднялся этот вид человеческой деятельности во Франции в последние полстолетия! Восстание, которое Лафайет считал «самой священной обязанностью», теперь причислено французским народом к числу обязанностей, которые он умеет выполнять. Чернь у других народов — это тупая масса, которая катится вперед с тупым злобным упорством, тупым злобным пылом, но не порождает ярких вспышек гения на своем пути. Французская же чернь — это одно из самых живых явлений в нашем мире. Она столь стремительна и смела, столь проникательна и изобретательна, столь быстро схватывает ситуацию и пользуется ею, она до кончиков пальцев заряжена инстинктом жизни! Уже один талант стоять в очередях, даже если бы не было других, отличает, как мы говорили, французский народ от всех других народов, древних и современных.

Сознайся, читатель, что, мысленно перебирая один предмет за другим, ты вряд ли найдешь на земле что-либо более достойное размышлений, нежели чернь. Ваша чернь — это истинное порождение природы, произрастающее из глубочайших бездн или связанное с ними. Когда столь многие ухмыляются и гримасничают в тенетах безжизненного формализма, а под накрахмаленной манишкой не ощутить биения сердца, здесь, и именно здесь, сохраняется искренность и реальность. Содрогнитесь при виде ее, издайте крик ужаса, если не можете сдержаться, но взгляните в нее! Какое сложное переплетение общечеловеческих и личных желаний вырывается в трансцендентном устремлении, чтобы действовать и взаимодействовать с обстоятельствами и одно с другим, чтобы созидать то, что им предназначено создать. Что именно ей предстоит

сделать, не ведомо никому, в том числе и ей самой. Это воспламеняющийся необъятный фейерверк, самовозгорающийся и самопоглощающийся. Ни философия, ни прозорливость не могут предсказать, каковы этапы, каковы размеры и каковы результаты его горения.

«Человек, — было написано, — всегда интересен для человека, по сути нет ничего более интересного». Из этого разве не ясно, почему нам так наскучили сражения? В наше время сражения ведут машины с минимальным по возможности участием человеческой личности или непосредственности; люди теперь даже умирают и убивают друг друга механическим путем. После Гомера, когда сражения велись толпами людей, на них не стоит смотреть, о них не стоит читать, о них не стоит помнить. Сколько скучных, кровавых сражений тщится представить история или даже воспеть хриплым голосом! Но она бы пропустила или небрежно упомянула об этом единственном в своем роде восстании женщин.

Мысль или смутные зачатки мысли повсеместно зарождались всю ночь в женских головах и были чреватые взрывом. Утром в понедельник на грязных чердаках матери просыпаются от плача детей, которые просят хлеба. Надо спускаться на улицу, идти на зеленой рынок, становиться в хлебные очереди. Везде они встречают изголодавшихся матерей, полных сочувствия и отчаяния. О мы, несчастные женщины! Но почему вместо хлебных очередей не отправиться во дворцы аристократов, корень зла? Вперед! Собирайтесь! В Отель-де-Виль, в Версаль, к фонарю!*

* Речь идет о походе парижских женщин на Версаль 5—6 октября 1789 г., повлекшем переселение короля и Национального собрания в Париж.

В одном из караульных помещений в квартале Святого Евстахия «молодая женщина» хватается барабан — а как могут национальные гвардейцы открыть огонь по женщине, по молодой женщине? Молодая женщина хватается барабан и идет, выбивая дробь, и «громко кричит о вздорожании зерна». Спускайтесь, о матери, спускайтесь, Юдифи, за хлебом и мстью! Все женщины следуют за ней; толпы штурмуют лестницы и выгоняют на улицу всех женщин: женские бунтующие силы, по словам Камилы, напоминают английские морские войска; происходит всеобщее «давление женщин». Могучие рыночные торговки, трудолюбивые, поднявшиеся на рассвете изящные гризетки, древние старые девы, спешащие к заутрене, горничные с метлами — все должны идти. Вставайте, женщины; мужчины-лентяи не хотят действовать, они говорят, что мы должны действовать сами! И вот, подобно лавине с гор, (потом) что каждая лестница — это подтаявший ручей, толпа грозно растет и с шумом и дикими воплями направляется к Отель-де-Виль. С шумом, с барабанным боем или без него; во т и Сент-Антуанское предместье подоткнуло подола и, вооружившись палками, кочергами и даже проржавевшими пистолетами (без патронов), вливается в общий поток. Этот шум долетает со скоростью звука до самых дальних застав. К семи часам этого промозглого октябрьского утра 5-го числа Ратуша видит чудеса. И случается так, что там уже собралась толпа мужчин, которые с криками теснятся вокруг какого-то национального патруля и булочника, схваченного за обвешивание. Они уже там, и уже спущена веревка с фонаря, так что чиновники вынуждены тайно выпустить мошенника-булочника через задний ход и даже послать «во все округа» за подкреплением.

Грандиозное зрелище, говорит Камиль, представляло множество Юдифей, всего от восьми до десяти тысяч, бросившихся на поиски корня зла! Оно должно было внушать страх, было смешным и ужасным и совершенно неуправляемым. В такой час переутомившиеся триста еще не подают признаков жизни, нет никого, кроме нескольких чиновников, отряда национальных гвардейцев и генерал-майора Гувьона. Гувьон сражался в Америке за гражданские свободы, это человек, храбрый сердцем, но слабый умом. Он находится в этот момент в своем кабинете, успокаивая Майяра, сержанта Бастилии, который пришел, как и многие, с «представлениями». Не успеваешь он успокоить Майяра, как появляются наши Юдифи.

Национальные гвардейцы выстраиваются на наружной лестнице, опустив штыки, но десять тысяч Юдифей неудержимо рвутся вверх — с мольбами, с простертыми руками, только бы поговорить с мэром. Задние напирают на передних, и вот уже сзади, из мужских рук летят камни; Национальная гвардия принуждена делать одно из двух: либо очистить Гревскую площадь пушечными залпами, либо расступиться вправо и влево. Они расступаются, и живой поток врывается в Ратушу, наполняет все комнаты, кабинеты, устремляется все выше и выше, вплоть

до самой каланчи; женщины жадно ищут оружие, ищут мэра, ищут справедливости; в это время те из них, кто лучше одет, ласково разговаривают с чиновниками, указывают на нищету этих несчастных женщин, а также на свои собственные страдания — некоторые даже очень интересного свойства⁷.

Бедный месье де Гувьон беспомощен в этом чрезвычайном положении, он вообще человек беспомощный, легко теряющийся, позднее он покончит самоубийством. Как удачно для него, что сейчас здесь находится Майяр, человек находчивый, пусть и с своими «представлениями»! Лети назад, находчивый Майяр, разыщи бастильский отряд и, о! возвращайся скорее с ним и особенно со своей находчивой головой! Потому что, смотри, Юдифи не находят ни мэра, ни членов муниципалитета, но на верхушке каланчи они обнаружили бедного аббата Лефевра, раздатчика пороха. За неимением лучшего они вешают его в бледном утреннем свете над крышами всего Парижа, который расплывается в его тускнеющих глазах, — ужасный конец? Однако веревка рвется — во Франции веревки рвутся постоянно, а может быть, какая-нибудь амазонка перерезала ее. С высоты около 20 футов аббат Лефевр падает с грохотом на оцинкованную крышу — и затем живет долгие годы, хотя у него навсегда остается «дрожание в членах»⁸.

И вот двери разлетаются под ударами топоров: Юдифи взломали арсенал, захватили ружья и пушки, три мешка с деньгами и кипы бумаги; через несколько минут наш чудный Отель-де-Виль, построенный при Генрихе IV, запылает со всем своим содержимым!

Глава пятая

КОННЫЙ ПРИСТАВ МАЙЯР

И впрямь запылал бы, если бы не вернулся этот проворный и находчивый Майяр, быстрый на ногу!

Майяр по собственной инициативе — так как ни Гувьон, ни остальные не дали бы на это разрешения — хватает барабан, спускается по главной лестнице и выбивает громкие раскаты своего хитрого марша: «Вперед! На Версаль!» Как люди бьют в котел или сковороду, чтобы сбить в рой рассерженных пчел или растерянно летающих ос, и смятенные насекомые, услышав звуки, сбиваются вокруг — просто вокруг некоего руководителя, отсутствовавшего ранее, так и эти менады окружают находчивого Майяра, конного пристава из Шатле. Поднятые топоры замирают, аббат Лефевр оставлен полуповешенным: все бросаются с каланчи вниз, чтобы узнать, что это за барабанный бой. Станислас Майяр, герой Бастилии, поведет нас на Версаль? Слава тебе, Майяр, благословен ты будешь среди всех приставов! Идем же, идем!

Захваченные пушки привязаны к захваченным повозкам; в качестве канонира восседает мадемуазель Теруань* с пикой в руке и в шлеме на голове «с гордым взглядом и ясной прекрасной наружностью»; некоторые считают, что ее можно сравнить с Орлеанской девой, другим она напоминает «образ Афины Паллады»⁹. Майяр (его барабан продолжает рокотать) оглушительными криками провозглашен генералом. Майяр ускоряет вялый темп марша. Резко и ритмично отбивая такт, Майяр с трудом ведет по набережным свой рой менад. Такой рой не может идти в тишине! Лодочник останавливается на реке, все ломовые извозчики и кучера бегут, в окна выглядывают мужчины — женщины боятся, что их заставят идти. Зрелище зрелищ: скопище вакханок в этот окончательно формализованный век! Бронзовый Генрих взирает на них со своего Нового моста, монархический Лувр, Тюильри Медичи видят день, которого никто никогда не видел.

* Теруань де Мерикур — бывшая актриса, возглавившая поход женщин на Версаль и ставшая одним из популярных агитаторов на импровизированных уличных собраниях Парижа (см.: *Манфред А.З.* Великая французская революция. М., 1983. С. 79).

Вот Майяр со своими менадами выходит на Елисейские Поля (скорее Поля Тартара)*, и Отель-де-Виль почти не пострадал. Выломанные двери, аббат Лефевр, который больше не будет раздавать порох, три мешка денег, большая часть которых — ведь санкюлоты, хотя и умирающие с голоду, не лишены чести — будет возвращена¹⁰: вот и весь ущерб. Великий Майяр! Маленькое ядро порядка окружает его барабан, но поодаль бушует океан, потому что всякое

отребье, мужского и женского пола, стекается к нему со всех сторон; и нет руководства, кроме его головы и двух барабанных палочек.

О Майяр, стояла ли когда-нибудь со времен самой первой войны перед каким-либо генералом задача, подобная той, которая стоит перед тобой в этот день? Вальтер Голяк** все еще трогает сердца, но Вальтер имел одобрение, имел пространство, чтобы маневрировать, и, кроме того, его крестоносцы были мужчины. Ты же, отвергнутый небом и землей, возглавляешь сегодня менад. Их бессвязное исступление ты должен незамедлительно преобразовать в связанные речи, в действия толковые, а не исступленные. Не дай Бог тебе просчитаться! Прагматичное чиновничество со своим сводом законов о наказаниях ожидает тебя, а за твоей спиной менады уже подняли бурю. И уж раз они самому сладкоголосому Орфею отрубили голову и бросили ее в воды Пенея, что же они сделают с тобой, обделенным музыкальным и поэтическим слухом и лишь научившимся бить в обтянутый овечьей кожей барабан. Но Майяр не ошибся. Поражительный Майяр! Если бы слава не была случайностью, а история — извлечением из слухов, как знаменит был бы ты!

* Елисейские поля — в античной мифологии обитель блаженства, где пребывают души умерших мудрецов и героев.

** См. примечание на стр. 25 данного издания.

На Елисейских Полях происходят остановка и колебания, но для Майяра нет возврата. Он уговаривает менад, требующих оружия из Арсенала, что там нет никакого оружия, что самое лучшее — безоружное шествие и петиция Национальному собранию; он быстро выбирает или утверждает генералш и капитанш над отрядами в десять и пятьдесят женщин и, установив подобие порядка, под бой около «восьми барабанов» (свой барабан он оставил), с бастильскими волонтерами в арьергарде снова выступает в путь.

Шайо, где поспешно выносят буханки хлеба, не подвергается разорению, не тронуты и севрские фарфоровые заводы. Древние аркады Севрского моста отзываются эхом под ногами менад, Сена с извечным рокотом катит свои волны, а Париж посылает вдогонку звоны набата и барабанную дробь, неразличимые в криках толпы и всплесках дождя. В Медон, в Сен-Клу, во все стороны расходятся вести о происходящем, и вечером будет о чем поговорить у камелька. Наплыв женщин все еще продолжается, потому что речь идет о деле всех дочерей Евы, всех нынешних и будущих матерей. Нет ни одной дамы, которой, пусть в истерике, не пришлось бы выйти из кареты и идти в шелковых туфельках по грязной дороге¹¹. Так в эту мерзкую октябрьскую погоду, как стая бескрылых журавлей, движутся они своим путем через ошеломленную страну. Они останавливают любых путешественников, особенно проезжих и курьеров из Парижа. Депутат Ле Шапелье в элегантном одеянии из элегантного экипажа изумленно рассматривает их сквозь очки — он интересуется жизнью, но поспешно удостоверяет, что он депутат-патриот Ле Шапелье и, более того, бывший председатель Ле Шапелье, который председательствовал в ночь сошествия Святого Духа, и член Бретонского клуба с момента его образования. На это «раздается громкий крик: «Да здравствует Ле Шапелье!», и несколько вооруженных лиц вскакивают на передок и на запятки его экипажа, чтобы сопровождать его»¹².

Тем не менее весть, посланная депешей Лафайетом или распространившаяся в слабом шуме слухов, проникла в Версаль окольными путями. В Национальном собрании, когда все занято обсуждением текущих дел, сожалениями о предстоящих антинациональных пиршествах в зале Оперы, о колебаниях Его Величества, не подписывающего Права Человека, а ставящего условия и прибегающего к уловкам, Мирабо подходит к председателю, которым в этот день оказывается многоопытный Мунье, и произносит вполголоса: «Мунье, Париж идет на нас» (Mounier, Paris marche sur nous). — «Я ничего не знаю!» (Je n'en sais rien!) — «Можете верить этому или не верить, это меня не касается, но Париж, говорю вам, идет на нас. Скажитесь немедленно больным, идите во дворец и предупредите их. Нельзя терять ни минуты». — «Париж идет на нас? — отвечает Мунье желчным тоном. — Что ж, тем лучше! Тем скорее мы станем республикой», Мирабо покидает его, как всякий покинул бы многоопытного председателя, кивнувшего в неведомые воды с зажмуренными глазами, и повестка дня обсуждается как прежде.

Да, Париж идет на нас, притом не одни женщины Парижа! Едва Майяр скрылся из глаз, как послания месье де Гувьона во все округа и всеобщий набатный звон и барабанный бой на-

чали давать результат. На Гревскую площадь быстро прибывают вооруженные национальные гвардейцы из всех округов, в первую очередь гренадеры из Центрального округа, это наши старые французские гвардейцы. Там уже «огромное стечение народа», толпятся жители Сент-Антуанского предместья, прошенные и непрошеные, с пиками и ржавыми ружьями. Гренадеров из Центрального округа приветствуют криками. «Приветствия нам не нужны, — мрачно отвечают они. — Нация была оскорблена, к оружию! Идем вместе за приказами!» Ага, вот откуда дует ветер! Патриоты и патрули теперь заодно!

Триста советников собрались, «все комитеты действуют». Лафайет диктует депеши в Версаль, в это время ему представляется депутация гренадеров Центрального округа. Депутация отдает ему честь и затем произносит слова, не лишённые толики смысла: «Мой генерал, мы посланы шестью ротами гренадер. Мы не считаем вас предателем, но считаем, что правительство предаёт нас; пора положить этому конец. Мы не можем повернуть штыки против женщин, которые просят хлеба. Народ в нищете, источник зла находится в Версале; мы должны разыскать короля и доставить его в Париж. Мы должны наказать фландрский полк и лейб-гвардию, которые дерзнули топтать национальные кокарды. Если король слишком слаб, чтобы носить корону, пусть сложит ее. Вы коронуete его сына, вы назовете Регентский совет, и все пойдет хорошо»¹³. Укоризненное изумление искажает лицо Лафайета, слетает с его красноречивых рыцарственных уст — тщетно. «Мой генерал, мы готовы пролить за вас последнюю каплю крови, но корень зла в Версале, мы обязаны пойти и привезти короля в Париж, весь народ хочет этого» (tout le peuple le veut).

«Мой генерал» спускается на наружную лестницу и произносит речь — опять тщетно. «В Версаль! В Версаль!» Мэр Байи, за которым послали сквозь потоки санкюлотов, пытается прибегнуть к академическому красноречию из своей золоченой парадной кареты, но не вызывает ничего, кроме хриплых криков: «Хлеба! В Версаль!», и с облегчением скрывается за дверцами. Лафайет вскакивает на белого коня и снова произносит речь за речью, исполненные красноречия, твердости, негодования, в них есть все, кроме убедительности. «В Версаль! В Версаль!» Так продолжается час за часом, на протяжении половины дня.

Великий Сципион-Американец ничего не может сделать, не может даже ускользнуть. «Черт возьми, мой генерал (Mourbleu, mon général), — кричат гренадеры, смыкая ряды, когда конь делает движение в сторону, — вы не покинете нас, вы останетесь с нами!» Опасное положение: мэр Байи и члены муниципалитета заседают в Ратуше, «мой генерал» пленен на улице; Гревская площадь, на которой собрались тридцать тысяч солдат, и все Сент-Антуанское предместье и Сен-Марсо превратились в грозную массу блестящей и заржавленной стали, все сердца устремлены с мрачной решимостью к одной цели. Мрачны и решительны все сердца, нет ни одного безмятежного сердца, кроме, быть может, сердца белого коня, который гарцует, изогнув шею, и беззаботно грызет мундштук, как будто не рушится здесь мир с его династиями и эпохами. Пасмурный день клонится к закату, а девиз остается тем же: «В Версаль!»

И вдруг, зародившись вдали, накатывают зловещие крики, хриплые, отдающиеся в продолжительном глухом ропоте, звуки которого слишком напоминают «Фонарь!» (Lanterne!). А ведь нерегулярные отряды санкюлотов могут сами отправиться в путь со своими пиками и даже пушками. Несгибаемый Сципион решается наконец через адъютантов спросить членов муниципалитета: должен он идти в Версаль? Ему вручают письмо через головы вооруженных людей; шестьдесят тысяч лиц впиваются в него глазами, стоит полная тишина, не слышно ни одного вздоха, пока он читает. О Боже, он внезапно бледнеет! Неужели члены муниципалитета разрешили? «Разрешили и даже приказали» — поступить иначе он не может. Крики одобрения сотрясают небо. Все в строй, идем!

Время подходит, как мы посчитали, уже к трем часам. Недовольные национальные гвардейцы могут разок пообедать по-походному, но они единодушно, обедавшие и необедавшие, идут вперед. Париж распахивает окна, «рукоплещет», в то время как мстители под резкие звуки барабанов и дудок проходят мимо; затем он усадется в раздумье и проведет в ожидании бессонную ночь¹⁴. Лафайет на своем белом коне как можно медленнее объезжает строй и красноречиво взывает к рядам, продвигаясь вперед со своими тридцатью тысячами. Сент-Антуанское предместье с пиками и пушками обогнало его, разношерстная толпа с оружием и без него окружает его с боков и сзади. Крестьяне опять стоят, разинув рты. «Париж идет на нас» (Paris marche sur nous).

Глава шестая

В ВЕРСАЛЬ!

В это самое время Майяр остановился со своими покрытыми грязью менадами на вершине последнего холма, и их восхищенным взорам открылись Версаль и Версальский дворец и вся ширь королевского домена: вдаль, направо Марли и Сен-Жермен-ан-Ле и налево, вплоть до Рамбуйе, все прекрасно, все мягко окутано, как печалью, сероватой влажностью воздуха. А рядом, перед нами, Версаль, Новый и Старый, с широкой тенистой главной аллеей посередине, величественно-тенистой, широкой, в 300 футов шириной, как считают, с четырьмя рядами вязов, а дальше Версальский дворец, выходящий в королевские парки и сады, сверкающие озера, цветники, лабиринты, Зверинец, Большой и Малый Трианон, жилища с высокими башнями, чудные заросшие уголки, где обитают боги этого низшего мира, но и они не избавлены от черных забот — сюда направляются изголодавшиеся менады, вооруженные пиками-тирсами!*

* Тирс (греч.) — жезл Вакха.

Да, сударыни, именно там, где наша прямая тенистая аллея пересекается, как вы заметили, двумя тенистыми аллеями по правую и по левую руку и расширяется в Королевскую площадь и Внешний дворцовый двор, именно там находится Зал малых забав. Именно там заседает верховное собрание, возрождающее Францию. Внешний двор, Главный двор, Мраморный двор, двор, сужающийся в двор, который вы можете различить или представить себе, и на самом дальнем его конце стеклянный купол, отчетливо сияющий, как звезда надежды, — это и есть Oeil de Bœuf. Именно там, и нигде больше, печется для нас хлеб! — «Но, сударыни, не лучше ли будет, если наши пушки и мадемуазель Теруань со всем военным снаряжением перейдут в задние ряды? Подателям прощений в Национальное собрание приличествует смиренность, мы чужие в Версале, откуда вполне явственно доносятся звуки набатов и барабанов! Надо также принять по возможности веселый вид, скрыв наши печали, может быть даже запеть? Горе, которому сочувствуют небеса, ненавидимо и презираемо на земле» — так советует находчивый Майяр, обращаясь к своим менадам с речью на холме около Версаля¹⁵.

Хитроумные предложения Майяра принимаются. Покрытые грязью мятежницы движутся по аллее «тремя колоннами» среди четырех рядов вязов, распевая «Генрих IV» на первую попавшуюся мелодию и выкрикивая: «Да здравствует король!» Версаль толпится по обеим сторонам, хотя с, вязов неумолимо капает, и провозглашает: «Да здравствуют наши парижанки!» (Vivent nos parisiennes!).

Гонцы и курьеры были высланы в направлении Парижа, как только распространились слухи, благодаря чему, к счастью, удалось разыскать короля, который отправился охотиться в Медонский лес, и доставить его домой, тогда и забили в барабаны и набаты. Лейб-гвардейцы, угрюмые, в промокших рейтузах, уже выстроены перед дворцовой решеткой и смотрят на Версальскую аллею. Фландрский полк, раскаивающийся за пиршество в Опере, тоже здесь. Здесь же и спешившиеся драгуны. И наконец, майор Лекуэнтр с теми, кого он смог собрать из версальской Национальной гвардии, хотя надо отметить, что наш полковник, тот самый граф д'Эстен, который страдал бессонницей, крайне несвоевременно исчез, предполагают, что в Oeil de Bœuf, и не оставил ни приказов, ни патронов. Швейцарцы в красных мундирах стоят под ружьем позади решетки. Там же, во внутренних покоях, собрались «все министры»: Сен-При, Помпийян со своими «Сетованиями» и другие вместе с Неккером; они заседают и, подавленные, ожидают, что же будет.

Председатель Мунье, хотя он и ответил Мирабо: «Тем лучше» (Tant mieux) — и сделал вид, что не придает этому большого значения, охвачен дурными предчувствиями. Разумеется, эти четыре часа он не почивал на лаврах! Повестка дня продвигается: выглядит уместным направить депутацию к Его Величеству, чтобы он соизволил даровать «всечелое и безоговорочное одобрение» всем этим статьям нашей конституции, «условное одобрение», со всякого рода оговорок, не может удовлетворить ни богов, ни людей.

Это-то ясно. Но есть нечто большее, о чем никто не говорит, но что теперь все, хоть и смутно, понимают. Беспокойство, нерешительность написаны на всех лицах; члены Собрания перешептываются, неловко входят и выходят: повестка дня, очевидно, не отражает злобу дня. И наконец, от внешних ворот доносятся шелест и шарканье, резкие возгласы и перебранка, заглушаемые стенами, все это свидетельствует, что час пробил! Уже слышны толкотня и давка, и вот входит Майяр во главе депутации из пятнадцати женщин, с одежды которых капает грязь. Невероятными усилиями, всеми правдами и неправдами Майяру удалось убедить остальных подождать за дверями. Национальное собрание поэтому должно взглянуть прямо в лицо стоящей перед ним задаче: возрождающийся конституционализм имеет прямо перед собой санкюлотизм собственной персоной, кричащий: «Хлеба! Хлеба!»

Находчивый Майяр, преобразовавший исступление в связную речь, делает все возможное, укрощая одних и убеждая других; и впрямь, хоть и не воспитанный на ораторском искусстве, он умудряется действовать вполне успешно: при настоящем, ужасающем недостатке зерна депутация горожанок пришла из Парижа, как может видеть высокоуважаемое Собрание, чтобы подать прошение. В этом деле слишком очевидны заговоры аристократов: например, один мельник был подкуплен «банкнотой в 200 ливров», чтобы он не молот зерна, — его имени пристав Майяр не знает, но факт этот может быть доказан и во всяком случае не вызывает сомнений. Далее, как выясняется, национальные кокарды были растоптаны, некоторые носят или носили черные кокарды. Не подвергнет ли высокое Национальное собрание, надежда Франции, все эти вопросы своему мудрому безотлагательному обсуждению?

И изголодавшиеся, неукротимые менады к крикам «Черные кокарды!», «Хлеба! Хлеба!» добавляют крик «Да или нет?». Да, господа, если депутация к Его Величеству за «одобрением, всецелым и безоговорочным», выглядела уместной, насколько более уместна она теперь ввиду «прикорбного положения Парижа», ради успокоения этого возбуждения! Председатель Мунье с поспешно собранной депутацией, среди которой мы замечаем почтенную фигуру доктора Гильотена, торопится во дворец. Повестку дня продолжит вице-председатель; Майяр будет стоять рядом с ним, чтобы сдерживать женщин. Было четыре часа ужасного дня, когда Мунье вышел из Собрания.

О многоопытный Мунье, какой день! Последний день твоего политического бытия! Лучше бы было тебе сказать «внезапно заболевшим», когда еще было время. Потому что посмотри, Эспланада на всем ее громадном протяжении покрыта группами оборванных, промокших женщин, патлатых негодяев-мужчин, вооруженных топорами, ржавыми пиками, старыми ружьями, «железными дубинками» (*batons ferrés*), которые завершаются ножами или клинками (вид самодельного резака); все это похоже не на что иное, как на голодный бунт. Льет дождь, лейб-гвардейцы гарцуют между группами «под общий свист», возбуждая и раздражая толпу, которая, будучи рассеяна ими в одном месте, тотчас собирается в другом.

Бесчисленное количество оборванных женщин осаждают председателя и депутацию, настаивая, чтобы сопровождать его: разве сам Его Величество, выглянув из окна, не послал узнать, что мы хотим? «Хлеба и разговора с королем» (*Du pain et parler au Roi*), — был ответ. 12 женщин шумно присоединяются к депутации и идут вместе с ней через Эспланаду, через рассеянные группы, мимо гарцующих лейб-гвардейцев под проливным дождем.

Председателя Мунье, депутация которого пополнилась 12 женщинами, сопровождаемые толпой голодных оборванцев, самого принимают за одну из таких групп: их разгоняют гарцующие гвардейцы; с большим трудом они снова сходятся по липкой грязи¹⁶. Наконец ворота открываются, депутации разрешают войти, включая и этих двенадцать женщин, из которых пять даже увидят в лицо Его Величество. Пусть же промокшие менады ожидают их возвращения со всем возможным терпением.

Глава седьмая

В ВЕРСАЛЕ

Но Афина Паллада в образе мадемуазель Теруань уже занялась фландрцами и спешившимися драгунами. Она вместе с наиболее подходящими женщинами проходит по рядам, разгова-

ривает с серьезной веселостью, сжимает грубых вояк в патриотических объятиях, выбивает нежными руками ружья и мушкеты: может ли мужчина, достойный имени мужчины, напасть на голодных женщин-патриоток?

Писали, что Теруань имела мешки с деньгами, которые она раздавала фландрцам; но откуда она могла их взять? Увы, имея мешки с деньгами, редко садятся на повстанческую пушку. Клевета роялистов! Теруань имела лишь тот скудный заработок, который ей приносила профессия женщины, которой не повезло в жизни; у нее не было денег, только черные кудри, фигура языческой богини и одинаково красноречивые язык и сердце.

Тем временем начинает прибывать Сент-Антуанское предместье группами и отрядами, промокшими, угрюмыми, вооруженными пиками и самодельными резаками, так далеко их завела упорная народная мысль. Множество косматых фигур оказалось здесь: одни пришли совершить нечто, что они еще сами не знают, другие пришли, чтобы посмотреть, как это свершится! Среди всех фигур выделяется одна, громадного роста, в кирасах, хотя и маленького размера¹⁷, заросшая рыжими с проседью кудрями и длинной черепичного цвета бородой. Это Журдан, плутоватый торговец мулами, уже больше не торговец, а натурщик, превратившийся сегодня в искателя приключений. Его длинная черепичного цвета борода обусловлена данью моде, чем обусловлены его кирасы (если только он не работает каким-нибудь разносчиком, снабженным железной бляхой), вероятно, навсегда останется исторической загадкой. Среди толпы мы видим и другого Саула*: его называют Отец Адам (Père Adam), но мы лучше знаем его как громогласного маркиза Сент-Юрюга, героя «вето», человека, который понес потери и заслужил их. Долговязый маркиз, несколько дней назад чудом уцелевший в аду штурма Бастилии, теперь как учитель на учеников с интересом поглядывает из-под своего зонтика. Все смешалось: Афина Паллада, занятая фландрцами; патриотическая версальская Национальная гвардия, лишенная патронов, брошенная полковником д'Эсте-ном и возглавленная майором Лекуэнтром; гарцующие лейб-гвардейцы, раздраженные, упавшие духом, в мокрых рейтузах, и, наконец, это разлившееся море возмущенных оборванцев — как при таком смешении может не быть происшествий?

* Саул (библ.) — первый царь Израильско-иудейского государства (конец XI в. до н. э.). В ветхозаветном повествовании воплощение правителя, ставшего «неугодным» Богу (I Царство, 8—31).

Смотрите, вот двенадцать депутатов возвращаются из дворца. Без председателя Мунье, но сияющие от радости, кричащие: «Жизнь за короля и его семью!» Видимо, у вас хорошие новости, сударыни? Наилучшие новости! Пятеро из нас были допущены во внутренние роскошные покои к самому королю. Вот этой тоненькой девице (она самая хорошенькая и лучше всех воспитана) — «Луизе Шабри, делающей статуэтки, ей всего 17 лет» — мы поручили выступить. И Его Величество глядел на нее, да и на всех нас, необыкновенно милостиво. А еще, когда Луиза, обращаясь к нему, чуть не упала в обморок, он поддержал ее своей королевской рукой и любезно сказал: «Она вполне стоит того» (Elle en valût bien la reine). Подумайте, женщины, что за король! Его слова — сплошное утешение, вот хоть эти: в Париж будут посланы продукты, если продукты еще есть на свете; хлеб будет так же доступен, как воздух; мельники должны молоть, сколько выдержат их жернова, иначе им придется плохо; все, что Спаситель французской свободы может исправить, все будет сделано.

Это хорошие новости, но слишком неправдоподобные для измокших менад! Доказательств-то ведь нет? Слова утешения — это всего лишь слова, которые никого не накормят. «О несчастные бедняки, вас предали аристократы, они обманули даже ваших собственных посланцев! Своей королевской рукой, мадемуазель Луиза? Своей рукой?! Ты, бесстыжая девка, заслуживающая такого названия — лучше не произносить! Да, у тебя нежная кожа, а наша загрубела от невзгод и промокла насквозь, пока мы ждали тебя под дождем. У тебя нет дома голодных детей, только гипсовые куколки, которые не плачут! Предательница! На фонарь!» — И на шею бедной хорошенькой Луизы Шабри, тоненькой девицы, только что опиравшейся на руку короля, не слушая ее оправданий и воплей, накидывают петлю из подвязок, которую за оба конца держат обезумевшие амазонки; она на краю гибели, но тут подлетают два лейб-гвардейца, с негодованием разгоняют толпу и спасают ее. Встреченные недоверием двенадцать депутатов спешат обратно во дворец за «письменным ответом».

Но взгляните, вот новый рой менад во главе с «бастильским волонтером Брюну». Они тоже пробиваются к решетке Большого дворца, чтобы посмотреть, что там происходит. Человеческое терпение, особенно если на человеке мокрые рейтузы, имеет пределы. Лейтенант лейб-гвардии месье де Савоньер на мгновение дает волю своему нетерпению, уже долго подвергавшемуся испытанию. Он не только разгоняет вновь подошедших менад, но и наступает конем на их главу месье Брюну и рубит или делает вид, что рубит его саблей; находя в этом большое облегчение, он даже преследует его; Брюну убегает, хотя и оборачиваясь на бегу и также обнажив саблю. При виде этой вспышки гнева и победы два других лейб-гвардейца (гнев заразителен, а немного расслабиться так утешительно) также дают себе волю, устремляются в погоню с саблями наголо, описывая ими в воздухе страшные круги. Так что бедному Брюну ничего не остается делать, как бежать еще быстрее; пробираясь между рядами, он не перестает размахивать саблей, как древний парфянин, и, более того, кричать во все горло: «Они нас убьют!» (On nous laisse assassiner!).

Какой позор! Трое против одного! Из рядов Лекуэнтра слышится громкий ропот, затем рев и, наконец, выстрелы. Рука Савоньера поднята для удара, пуля из ружья одного из солдат Лекуэнтра пронзает ее, занесенная сабля звенит, падая и не причиняя вреда. Брюну спасен, эта дуэль благополучно закончилась, но дикие боевые клики начинают раздаваться со всех сторон!

Амазонки отступают, жители Сент-Антуанского предместья наводят пушку, заряженную картечью; трижды подносят зажженный факел, и трижды ничего не следует — порох отсырел; слышатся голоса: «Остановитесь, еще не время!»¹⁸ Господа лейб-гвардейцы, вам дан приказ не стрелять, однако двое из вас хромают, выбитые из седла, а один конь убит. Не лучше ли вам отступить, чтобы пули не достали вас, а затем и вообще скрыться в стенах дворца? А что произойдет, если при вашем отступлении разрядится одно-два ружья по этим вооруженным лавочникам, которые не перестают орать и издеваться? Выпачканы грязью ваши белые кокарды огромного размера, и дай Бог, чтобы они сменились на трехцветные! Ваши рейтузы промокли, ваши сердца огрубели. Идите и не возвращайтесь!

Лейб-гвардейцы отступают, как мы уже намекнули, с той и с другой стороны раздаются выстрелы; они не пролили крови, но вызвали безграничное негодование. Раза три в ступающих сумерках они показываются у тех или иных ворот, но всякий раз их встречают бранью и пулями. Стоит показаться хоть одному лейб-гвардейцу, как его преследуют все оборванцы: например, бедного «месье де Мушетона из шотландского полка», владельца убитого коня, смогли прикрыть только версальские капитаны; вслед ему шелкали ржавые курки, разорвав в клочья его шляпу. В конце концов по высочайшему повелению лейб-гвардейцы, кроме нескольких, несущих караул, исчезают, как будто проваливаются сквозь землю, а под покровом ночи они уходят в Рамбуйе¹⁹.

Отметим также, что версальцы к этому времени обзавелись оружием; весь день некое официальное лицо ничего не могло найти, пока в эти критические минуты один патристически настроенный сублейтенант не приставил пистолет к его виску и не сказал, что будет очень благодарен, если оружие найдется, что немедленно и было исполнено. И фландрцы, обезоруженные Афиной Палладой, тоже открыто заявили, что стрелять в мирных жителей они не будут, и в знак мира обменялись с версальцами патронами.

Санкюлоты теперь входят в число друзей и могут «свободно передвигаться», возмущаясь лейб-гвардией и усиленно жалуясь на голод.

Глава восьмая

НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ДИЕТЕ

Но что же медлит Мунье, почему не возвращается со своей делегацией? Уже шесть, уже семь часов вечера, а Мунье все нет, и все нет «одобрения, всецелого и безоговорочного».

И смотрите, насквозь промокшие менады уже не делегацией, а всей толпой проникли в Собрание и позорнейшим образом нарушили публичные выступления и повестку дня. Ни Майяр, ни председатель не могут сдержать их пыл, и даже львиный рык Мирабо, которому они ап-

лодируют, останавливает их ненадолго: то и дело они прерывают прения о возрождении Франции голосами: «Хлеба! Хватит этой болтовни!» Как нечувствительны оказались эти несчастные создания к проявлениям парламентского красноречия!

Откуда-то становится известно, что запрягаются королевские экипажи как будто бы для отъезда в Мец. Действительно, какие-то экипажи, то ли королевские, то ли нет, выезжают из задних ворот. Они даже предъявили или пересказали письменный приказ нашего версальского муниципалитета, который настроен монархически, а не демократически. Однако версальские патрули заставляют их вернуться, согласно строжайшему распоряжению неугомимого Лекуэнтра.

В эти часы майор Лекуэнтр действительно очень занят и потому, что полковник д'Эстен, невидимый, слоняется без дела в *Oeil de Voeuf*, невидимый или весьма относительно видимый в отдельные мгновения; и потому, что слишком верноподданный муниципалитет требует надзора, а на тысячи вопросов не следует распоряжений, ни гражданских, ни военных! Лекуэнтр распоряжается в версальской Ратуше; он ведет переговоры со швейцарцами и лейб-гвардейцами у решетки Большого двора; он появляется в рядах фландрского полка; он здесь, он там, он напрягает все силы, чтобы избежать кровопролития, чтобы помешать королевской семье бежать в Мец, а менадам разграбить Версаль.

На склоне дня мы видим, как он подходит к вооруженным группам из Сент-Антуанского предместья, слишком уж мрачно шатающимся вокруг зала Дворца малых забав. Они принимают его, образовав полукруг, причем двенадцать ораторов стоят около пушек с зажженными факелами, а жерла пушек направлены на Лекуэнтра: картина, достойная Сальватора!* Он спрашивает в сдержанных, но смелых выражениях: чего они хотят добиться своим походом на Версаль? Двенадцать ораторов отвечают кратко, но выразительно: «Хлеба и окончания всех этих дел» (*Du pain et la fin des affaires*). Когда окончатся «эти дела», ни майор Лекуэнтр, ни один смертный не может сказать; что же касается хлеба, то он спрашивает: «Сколько вас?» — узнает, что их шесть сотен и что по одному хлебу на каждого будет достаточно. Он отъезжает к муниципалитету, чтобы достать шестьсот хлебов.

* Сальватор Роза (1615—1673) — художник неаполитанской школы, автор известных батальных полотен.

Однако, настроенный монархически, муниципалитет этих хлебов не даст, скорее он даст две тонны риса — но только вопрос в том, будет это сырой или вареный рис? Но когда выясняется, что рис тоже годится, муниципалитет исчезает, испаряется, как провалились под землю те двадцать шесть долгопалых в Париже; и, не оставив ни малейших следов риса, ни в сыром, ни в вареном виде, они также пропадают со страниц Истории!

Рис не появляется, надежды на пищу не оправдались, обмануты даже надежды на месть: разве месье де Мушетон из шотландского полка не был обманно спрятан, как мы говорили? За неимением ничего другого остается только убитый конь месье де Мушетона, валяющийся там, на Эспланаде! Обманутое, голодное Сент-Антуанское предместье бросается к убитому коню, освежевывает его, с криками жарит на кострах из заборов, калиток, любого дерева, которое можно найти, и по примеру древнегреческих героев протягивает руки к изысканно приготовленному блюду, каково бы оно ни было²⁰. Другие оборванцы бродят с места на место, ища, что бы можно было съесть. Фландрцы отправляются в свои казармы, Лекуэнтр с версальцами — в свои; остаются лишь бдительные патрули, которым приказано быть бдительными вдвойне.

И так спускаются тени ночи, бурной, дождливой, и все дорожки теряются во тьме. Это самая странная ночь из всех виденных в этих местах, пожалуй, со времен Варфоломеевской ночи, когда Версаль, как пишет Бассомпьер, был еще жалким замком (*chetif chateau*). О, где лира какого-нибудь Орфея, чтобы поддержать в этих безумных толпах порядок прикосновениями к звучным струнам! Здесь же все кажется развалившимся, распавшимся в зияющей пропасти. Как при гибели мира, самое высокое пришло в соприкосновение с самым низменным: отребье Франции осаждают короля Франции; дубинки-резаки подняты вокруг короны, но не для ее защиты! Наряду с обвинениями кровожадных лейб-гвардейцев, настроенных против нации, слышен глухой ропот, в котором упоминается имя королевы.

Двор, совершенно бессильный, дрожит в страхе; его настроение меняется вместе с настроением Эспланады, меняется в зависимости от тональности слухов из Парижа. Слухи приходят безостановочно, предвещая то мир, то войну. Неккер и все министры совещаются, но без малейшего результата. Oeil de Voeuf охвачен бурей слухов: мы бежим в Мец, мы не бежим в Мец. Королевские экипажи опять пытаются выехать, хотя бы для пробы, и опять их возвращают патрули Лекуэнтра. За шесть часов не принято ни одного решения, даже одобрения, всецелого и безоговорочного.

За шесть часов? Увы, тот, кто не может в таких обстоятельствах принять решение за шесть минут, должен отказаться от всего: за него уже все решила судьба. Тем временем менады и санкюлоты совещаются с Национальным собранием; там становится все более и более шумно. Мунье не возвращается, власти не показываются: в настоящее время власть во Франции принадлежит Лекуэнтру и Майяру. Так вот какова мерзость безысходного отчаянья, она наступила неожиданно, хотя была неизбежна и давно предсказана! Но для слепцов любая вещь неожиданна. Нищета, которая долгие века не имела ни защитника, ни помощника, теперь будет помогать себе сама и говорить сама за себя. Язык же, один из самых грубых, будет таким, каким он только и может быть, — вот этим!

В восемь часов к нашему Собранию возвращается — нет, не депутация, а доктор Гильотен, возвещающий, что она вернется, а также что есть надежда на одобрение, всецелое и безоговорочное. Он сам принес королевское послание, утверждающее и приказывающее осуществить самое свободное «распределение зерна». Менады от всего сердца рукоплещут королевскому посланию. В соответствии с этим Собрание принимает декрет, также воспринятый менадами восторженно: только не лучше бы было, если бы благородное Собрание догадалось установить твердую цену на хлеб — 8 су за восьмушку и цену на мясо — 6 су за фунт? Это предложение вносят множество мужчин и женщин, которых пристав Майяр уже не может сдержать; верховному Собранию приходится выслушать его. Пристав Майяр и сам уже не всегда осторожен в своих речах; когда же ему делают замечание, он извиняется, ссылаясь с полным основанием на необычность обстоятельств²¹.

Но наконец и этот декрет утвержден, а беспорядок все продолжается, члены Собрания постепенно рассеиваются, председатель Мунье не возвращается — что еще может сделать вице-председатель, как не раствориться самому? Под таким давлением Собрание тает, или, говоря официальным языком, заседание переносится на следующий день. Май-яра посылают в Париж с королевским «Указом о зерне» в кармане, его и нескольких женщин — в экипажах, принадлежащих королю. Туда же еще раньше отправилась стройная Луиза Шабри с «письменным ответом», за которым возвращались двенадцать депутатов. Стройная сильфида отправилась по темной, грязной дороге: ей нужно столько всего рассказать, ее бедные нервы так потрясены, что двигается она чрезвычайно медленно, впрочем, как и все в этот день по этой дороге. Председателя Мунье все еще нет, как нет и одобрения, всецелого и безоговорочного, хотя прошли наполненные событиями шесть часов, хотя курьер за курьером сообщает, что приближается Лафайет. Приближается с войной или миром? Пора и дворцу наконец решиться на то или другое, пора и дворцу, если он собирается жить, показать, что он жив.

Наконец прибывает Мунье, победоносный, радостный, после столь долгого отсутствия, неся с трудом полученное одобрение, которое, увы, сейчас уже не имеет большого значения. Представьте изумление Мунье, когда он обнаруживает, что его сенат, который он рассчитывал восхитить одобрением, всецелым и безоговорочным, полностью исчез, а его место занял сенат менад! Как обезьяна Эразма* подражала его бритью при помощи щепочки, так и эти амазонки с шутовской торжественностью путанно пародируют Национальное собрание. Они выдвигают предложения, произносят речи, принимают указы, все это вызывает по меньшей мере громкий смех. Все галереи и скамьи заполнены, могучая рыночная торговка восседает в кресле Мунье. Не без трудностей, при помощи приставов и убеждений Мунье прокладывает путь к председательнице; прежде чем сложить с себя обязанности, торговка заявляет, что в первую очередь она, да и весь ее сенат, как мужского, так и женского пола, сильно страдает от голода (и впрямь, что такое один жареный боевой конь на такое количество народа?).

Опытный Мунье в этих обстоятельствах принимает двусмысленную резолюцию: собрать вновь членов Собрания барабанным боем, а также раздобыть запас продовольствия. Быстроно-

гие гонцы летят ко всем булочникам, поварам, пирожникам, виноторговцам, рестораторам; по всем улицам бьют барабаны, сопровождаемые пронзительными голосистыми призывами. Они появляются — появляются члены Собрании, и, что еще лучше, появляется продовольствие. Последнее доставляется на подносах и тачках: хлебы, вино, большой запас колбас. Корзины с яствами плавно передаются по скамьям: «и не было ни для кого недостатка в равной доле еды», как сказал отец эпоса**», — самое необходимое в этот момент²².

* Эразм Роттердамский (1469—1536) — писатель-гуманист.

** Гомер.

Постепенно около сотни членов Собрании окружают кресло Мунье, а менады освобождают им немного места: внимайте Одобрению, всецелому и безоговорочному, и приступим в соответствии с повесткой ночи к «обсуждению Уложения о наказаниях». Все скамьи переполнены, в темных галереях, еще более темных от невымытых голов, заметно странное «сверкание» — от неожиданно появившихся резаков²³. Прошло ровно пять месяцев с того дня, когда эти самые галереи были заполнены красавицами, украшенными драгоценностями и высокими плюмажами, роняющими ослепительные улыбки, а теперь? Так далеко мы зашли в возрождении Франции! Не зря считается, что родовые муки самые страшные! Нет никакой возможности удержать менад от замечаний; они интересуются: «Какая польза от Уложения о наказаниях? То, что нам надо, — это хлеб». Мирабо оборачивается и львиным рыком увещевает их; менады рукоплещут, но снова вмешиваются. Вот так они, жуя жесткую колбасу и обсуждая Уложение о наказаниях, превращают эту ночь в кошмар. Чем это кончится? Но сначала должен прибыть Лафайет со своими тридцатью тысячами; он больше не может оставаться вдалеке, и все ожидают его, как вестника судьбы.

Глава девятая

ЛАФАЙЕТ

Ближе к полуночи на холме загораются огни — огни Лафайета! Раскаты его барабанов достигают Версальской аллеи. С миром или с войной? Терпение, друзья! Ни с тем, ни с другим. Лафайет пришел, но катастрофа еще не наступила.

Он столько раз останавливался и произносил речи по пути, что потратил на дорогу в четыре лиги девять часов. В Монтрейле, неподалеку от Версаля, все войско вынуждено было держаться, чтобы глубокой ночью под проливным дождем дать с поднятой рукой торжественную клятву в уважении к королю и в верности Национальному собранию. Медленный переход успел смирить гнев, жажда мести стихла от усталости и мокрой одежды. Фландрский полк снова встал под ружье, но фландрцы превратились теперь в таких патриотов, что их уже не требуется «наказывать». Изнуренные дорогой батальоны останавливаются в аллее, у них нет сейчас более настоящего желания, нежели укрыться от дождя и отдохнуть.

Беспокоится председатель Мунье, беспокоится дворец. Из дворца прислано приглашение: не будет ли месье Мунье любезен вернуться туда с новой делегацией как можно скорее; это по крайней мере объединит оба наши беспокойства. Тем временем беспокоящийся Мунье сам от себя уведомляет генерала, что Его Величество милостиво даровал нам одобрение, всецелое и безоговорочное. Генерал во главе небольшой передовой колонны мимоходом отвечает, произнеся несколько неопределенных, но любезных слов национальному председателю, бросает беглый взгляд на это смешанное Национальное собрание, а затем направляется прямо к дворцу. Его сопровождают два члена парижского муниципалитета: они были избраны из трехсот для этой цели. Его пропускают через запертые снаружи и внутри ворота, мимо караульных и привратников в королевские покои.

Весь двор, женщины и мужчины, толпится у него на пути, чтобы прочитать свою судьбу на его челе, на котором написана, как говорят историки, смесь «печали, преданности и отваги», что производит странное впечатление²⁴. Король в сопровождении монсеньеров, министров и маршалов уже ожидает его. Он «пришел, чтобы сложить свою голову ради безопасности головы Его Величества», как высокопарно выражается он. Два члена муниципалитета излагают жела-

ние Парижа — всего четыре пункта вполне мирного характера. Первое, чтобы честь охранять его священную персону была возложена на Национальную гвардию, например на гренадеров Центрального округа, которые, будучи французскими гвардейцами, привыкли нести эту обязанность. Второе, чтобы было получено продовольствие, если возможно. Третье, чтобы в тюрьмы, переполненные политическими преступниками, были назначены судьи. Четвертое, чтобы Его Величество соизволил переехать и жить в Париже. На все пожелания, кроме четвертого, Его Величество охотно соглашается; можно сказать, что он еще раньше выполнил их. На четвертое же нужно сказать только «да» или «нет»; с каким бы удовольствием он сказал «да» и «нет»! Но в любом случае, благодарение Богу, разве они не расположены исключительно миролюбиво? Еще есть время на размышления. Самая страшная опасность, по-видимому, миновала!

Лафайет и д'Эстен выставляют стражу, гренадеры Центрального округа занимают кордегардию, где они в качестве французских гвардейцев размещались раньше, тем более что ее последние злополучные обитатели, лейб-гвардейцы, почти все ушли в Рамбуйе. Таков распорядок на наступающую ночь, и он принесет в эту ночь достаточно зла. После этого Лафайет и два члена муниципалитета с высокопарной любезностью отбывают.

Свидание было так коротко, что Мунье и его депутация еще не добрались до дворца. Так коротко и так удовлетворительно. Камень свалился у каждого с сердца. Прекрасные придворные дамы громко объявляют, что этот Лафайет, сколь он ни противен, на этот раз их спаситель. Даже старые девы соглашаются с этим, те самые тетки короля, Graille и ее сестры, о которых мы упоминали. Слышали, что королева Мария Антуанетта несколько раз повторила то же самое, Она одна среди всех женщин и всех мужчин в этот день имела мужественный вид высокомерного спокойствия и решимости. Она одна твердо понимала, что она собирается делать; дочь Терезы смеет делать то, что она собирается, даже если вся Франция будет угрожать ей, а собирается она оставаться там, где ее дети, где ее муж.

К трем часам утра все устроено: выставлена стража, гренадеры Центрального округа после произнесения речей размещены в своей старой кордегардии, перед швейцарцами Я немногими оставшимися лейб-гвардейцами тоже произнесены речи. Измученные дорогой парижские батальоны, предоставленные «версальскому гостеприимству», спят в свободных постелях в свободных казармах, кофейнях, пустых церквах. По пути в церковь Сен-Луи на улице Сартори один из отрядов пробудил бедного Вебера от его беспокойных снов. За этот день Вебер набрал полный жилетный карман пуль: «200 пуль и два рожка с порохом!» — в то время жилеты были настоящими жилетами, и передние полы спускались до колен. Вот, сколько пуль набрал он в течение дня, но не имел случая использовать их; он поворачивается с боку на бок, проклиная неверных бандитов, произносит одну-две молитвы и снова засыпает.

Наконец Национальное собрание выговорилось; по предложению Мирабо обсуждение Уложения о наказаниях прерывается и заседание на сегодня прекращается. Менады и санкюлоты ютятся в кордегардиях, казармах фландрцев, где горят веселые огни, а если там не хватило места, то в церквах, присутственных местах, сторожках — повсюду, где может приютиться нищета. Беспокойный день выкричался и затих, еще не пострадала ни одна жизнь, кроме жизни коня. Мятажный хаос дремлет, окружив дворец, как океан вокруг водолазного колокола, в котором пока еще нет ни одной трещины.

Глубокий сон без разбора охватил и высших, и низших, остановив большинство событий и стремлений, даже гнев и голод. Мрак покрывает землю. Только вдали, на северо-востоке, Париж разрезает темную влажную ночь своим желтоватым сиянием. Там все освещено, как ушедшими июльскими ночами, улицы пустынно из-за страха войны, муниципалитет бодрствует, перекликаются патрули хриплыми голосами: «Кто идет?» Сюда, как мы узнаем, в этот самый час приходит наша бедная стройная Луиза Шабри с вконец расстроенными нервами. Сюда прибывает и Майяр примерно спустя час — «около четырех часов утра». Они один за другим докладывают бодрствующему Отель-де-Виль все, что могут сказать утешительного, и на рассвете на больших утешительных плакатах это будет доведено до сведения всех людей.

Лафайет в Отель-де-Ноай, неподалеку от дворца, закончив речи, совещается со своими офицерами: к пяти часам утра единодушно признается, что лучший совет для человека, измученного усталостью и более двадцати часов подряд не знавшего отдыха, — это броситься на кровать и немного отдохнуть.

Вот так завершилось первое действие, или восстание женщин. Какой оборот примет дело завтра? Завтрашний день, как и всегда, в руках судьбы! Но можно надеяться, что Его Величество соблаговолит переехать в Париж с полным почетом; в крайнем случае он может посетить Париж. Антинационально настроенные лейб-гвардейцы здесь и повсюду должны принести национальную присягу, должны дать удовлетворение трехцветной кокарде; фландрцы принесут присягу. Вероятно, будет много присяг, неизбежно множество публичных речей, и пусть с помощью речей и клятв все это дело уладится каким-нибудь прекрасным образом.

Или же все произойдет другим, совсем не прекрасным образом, благоволение короля будет не почетным, а вынужденным, позорным? Беспредельный хаос мятежа сжимается вокруг дворца, как океан вокруг водолазного колокола, и может просочиться в любую трещинку. Дайте только собравшейся мятежной массе найти шелку! И она ринется внутрь, как бесконечный вал прорвавшейся воды или, скорее, как горючей, самовоспламеняющейся жидкости, например скипидарно-фосфорного масла — жидкости, известной Спиноле-Сан-теру!

Глава десятая

КОРОЛЬ РАЗРЕШАЕТ ВОЙТИ

Сумрачный рассвет нового дня, сырого и холодного, едва успел забрезжить над Версалем, когда по воле судьбы один лейб-гвардеец выглянул в окно в правом крыле дворца, чтобы посмотреть, что происходит на небе и на земле. Оборванцы мужчины и женщины бродят у него на глазах. Вполне понятно, что пустой желудок способствует раздражительности; вероятно, он не может сдерживать срывающегося с языка ругательства в их адрес, и уж совсем никак не может он сдерживать ответные ругательства.

Дурные слова порождают еще худшие, пока не будет сказано самое скверное, и тогда наступает очередь дурных дел. Получил ли сквернословящий лейб-гвардеец еще большее сквернословие в ответ (что было совершенно неизбежно), зарядил ли свое ружье и пригрозил стрелять или действительно выстрелил? Если бы кто-нибудь это знал! Считается, что это так, а по нашему мнению, это маловероятно. Но как бы то ни было, вопя от негодования на угрозу, оборванцы кидаются ломать решетки, одна из них (некоторые пишут, что это была всего-навсего цепь) поддается; оборванцы врываются в Большой двор, вопя еще громче.

Ругавшийся лейб-гвардеец, а с ним и другие лейб-гвардейцы теперь действительно открывают огонь, у одного из людей перебита рука. Лекуэнтр скажет в своем показании, что «господин Карден, безоружный национальный гвардеец, был заколот кинжалом»²⁵, но посмотрите, бедный Жером Леритье, он тоже безоружный национальный гвардеец, «столяр, сын сельщика из Парижа» с юношеским пушком на подбородке, действительно смертельно ранен, он падает на мостовую, обрызгивая ее мозгом и кровью! Прими, Господи, его душу! Более дикий, чем на ирландских похоронах, поднимается вопль, вопль скорби и жажды отмщения. В одно мгновение ворота внутреннего и следующего, называемого Мраморным двора взломаны или взяты приступом и распахнуты. Мраморный двор тоже затоплен толпой: вверх по Большой лестнице, вверх по всем лестницам и через все входы вливается живой поток! Дешютт и Вариньи, два стоявших в карауле лейб-гвардейца, растоптаны и заколоты сотнями пик. Женщины хватают ножи или любое другое оружие и, подобно фуриям, обезумевшие, врываются внутрь, другие женщины поднимают тело застреленного Жерома и кладут его на мраморные ступени — отсюда будет вопиять посиневшее лицо и разможенная голова, замолкшая навеки.

Горе всем лейб-гвардейцам, ни одному не будет пощады! На Большой лестнице Миомандр де Сен-Мари, «спустившись на четыре ступени», уговаривает ласковыми словами ревущий ураган. Его товарищи вырывают его за полы мундира и перевязи в буквальном смысле слова из пасти смерти и захлопывают за собой дверь. Но она прoderжится лишь несколько мгновений, деревянные панели разлетаются вдребезги, как глиняный горшок. Не помогают никакие заслоны: бегите скорее, лейб-гвардейцы, неистовый мятеж, как Дикая охота*, гонится по вашим пятам!

* В германской мифологии сонм призраков и злых духов, проносящихся по небу во время бури.

Объятые ужасом лейб-гвардейцы бегут, запирая за собой двери, загораживая их, но погоня продолжается. Куда? Из зала в зал. О ужас! Она повернула к покоям королевы, где в дальней комнате королева сейчас спокойно спит. Пять часовых мчатся через длинную череду покоев, вот они громко стучат в последнюю дверь: «Спасайте королеву!» Дрожащие женщины бросятся в слезах на колени, им отвечают: «Да, мы все умрем, а вы спасайте королеву!»

Теперь, женщины, не дрожите, поспешайте: слышите, уже другой голос у первой двери кричит: «Спасайте королеву!», и дверь захлопывается. Это голос отважного Миомандра выкрикивает второе предупреждение. Он прорвался сквозь неминуемую смерть, чтобы успеть предупредить, и теперь, успев, встречает неминуемую смерть лицом к лицу. Храбрый Тардье дю Репер, помогавший ему в этом отчаянном деле, сражен пиками, его с трудом вытаскивают еще живым его товарищи. Миомандр и Тардье, пусть же живут имена этих двух лейб-гвардейцев, как пристало именам отважных людей.

Дрожащие фрейлины, одна из которых издали разглядела Миомандра и услышала его, торопливо одевают королеву, но не в парадное платье. Она бежит, спасая свою жизнь, через Oeil de Voeuf, в парадный вход которого уже ломится мятеж, и вот она в покоях короля, в объятиях короля, она прижимает к себе детей среди немногих, оставшихся верными. Рожденная управлять империями, она разражается материнскими слезами: «О, друзья мои, спасите меня и моих детей!» Грохот мятежных топоров, ломающих двери, доносится через Oeil de Voeuf. Какое мгновение!

Да, друзья, гнусное, ужасное мгновение, позорное равно для правителей и управляемых, в которое и правители и управляемые позорно удостоверяют, что их взаимоотношениям пришел конец. Ярость, кипевшая в 20 тысячах душ в последние 24 часа, вспыхнула пламенем, тело Жерома с разmozженной головой лежит там, как тлеющий уголь. Как мы уже сказали, бескрайняя стихия ворвалась внутрь, бурным потоком затопляя все коридоры и все ходы.

Тем временем почти все несчастные лейб-гвардейцы загнаны в Oeil de Voeuf. Они могут умереть там, на пороге королевских покоев, но они мало что могут сделать, чтобы защитить короля и его семью. Они придвигают скамьи, любую мебель к дверям, по которым грохочет топор мятежников. Погиб ли отважный Миомандр там, у внешних дверей покоев королевы? Нет, его, израненного, исколотого, изрубленного, бросили умирать, но он тем не менее приполз сюда и будет жить, чествуемый верноподданной Францией. Отметим также прямое противоречие многому из того, что говорилось и пелось: мятежники не ворвались в двери, которые он защищал, но поспешили в другое место, на поиски новых лейб-гвардейцев²⁶.

Несчастные лейб-гвардейцы с их пирами Фиеста в Опере! Их счастье, что мятежники вооружены только пиками и топорами, а не настоящими осадными орудиями! Двери дрожат и трещат. Должны ли все лейб-гвардейцы позорно погибнуть вместе с королевской семьей? Дешютт и Вариньи, убитые при первом натиске, были обезглавлены в Мраморном дворе — принесены в жертву манам* Жерома; эту обязанность охотно выполнил Журдан с черепичного цвета бородой и спросил: «Нет ли еще?» С дикими песнопениями они ходят вокруг тела другого пленного: не засучит ли Журдан рукава еще раз?

* В римской мифологии боги загробного мира, позднее — обожествленные души предков.

Все яростнее и яростнее бушует мятеж, грабя, когда не может убивать; яростнее и яростнее грохочет он в Oeil de Voeuf, что может теперь помешать ему на его пути? Внезапно он прекращается, прекращается грохот топоров! Дикая толкотня, топот и крики стихают, наступает тишина, в которой приближаются мерные шаги и раздается дружеский стук в дверь: «Мы гренадеры Центрального округа, бывшие французские гвардейцы. Откройте нам, господа лейб-гвардейцы, мы не забыли, как вы спасли нас при Фонтенуа!»²⁷ Дверь открывается, капитан Гондран и гренадеры Центрального округа входят и попадают в объятия своих боевых товарищей, которые возвращены к жизни.

Непостижимы эти сыны Адама! Ведь гренадеры Центрального округа покинули дома для того, чтобы «наказать» этих самых лейб-гвардейцев, а теперь бросились спасать их от наказания. Память об общих опасностях, о бывшей взаимопомощи смягчила грубые сердца, грудь прижимается к груди в объятиях, а не в смертельной схватке. На мгновение в дверях своих поко-

ев показывается король: «Пощадите моих лейб-гвардейцев!» «Будем братьями!» — восклицает капитан Гондран, и они снова выбегают с опущенными штыками, чтобы очистить дворец.

Теперь является и Лафайет, неожиданно поднятый, но не от сна (он еще не смыкал глаз), изливая потоки страстного красноречия и быстрых военных команд. Подходят пробужденные по тревоге трубами и барабанами национальные гвардейцы. Смертельная опасность миновала; первая вспышка мятежа, сверкнувшая в небе, погашена и горит теперь хотя и незатушенная, но уже без пламени, как тлеющие угли, и может угаснуть. Покои короля в безопасности. Министры, чиновники и даже некоторые верноподданные депутаты Национального собрания собираются вокруг своих Величеств. После рыданий и растерянности паника постепенно затихает и уступает место, составлению планов и советам, лучшим или худшим.

Но представьте себе на момент, что вы смотрите из королевских окон! Рокочущее море людей затопило оба двора и грозно волнуется около всех входов: женщины-менады, рассвирепевшие мужики, обезумевшие от желания пограбить, взбесившиеся негодяи, жаждущие мести! Чернь сбросила свой намордник и теперь бешено лает, как трехголовый пес Эреба. 14 лейб-гвардейцев ранены, два убиты и, как мы видели, обезглавлены; Журдан вопрошает: «Стоило ли идти так далеко всего из-за двух?» Несчастные Деютт и Вариньи! Печальна их участь. Внезапно сметены они в пропасть, как внезапно сметает людей лавина на склонах гор, разбуженная не ими, разбуженная далеко в стороне совсем другими людьми! Когда дворцовые часы били последний раз, они оба лениво вышагивали взад и вперед, держа ружья на плече и думая только о том, скоро ли снова пробьют часы. Часы пробили, но они не услышат их. Лежат их обезображенные тела, их головы воздеты «на пики двенадцати футов длиной» и проносятся по улицам Версаля, а к полудню достигнут парижской заставы — страшное противоречие огромным успокаивающим плакатам, которые выставлены здесь!

Другой пленный лейб-гвардеец кружит вокруг трупа Жерома, испуская что-то похожее на боевые кличи индейца; рыжебородый человек с засученными рукавами машет окровавленным топором, и в этот момент появляются Гондран и гренадеры: «Товарищи, не хотите ли посмотреть, как будет хладнокровно зарезан человек?» «Прочь, мясники!» — отвечают они, и бедный лейб-гвардеец свободен. Озабоченно бегают Гондран, озабоченно бегают гвардейцы и капитаны, освобождая коридоры, разгоняя отребье и грабителей, очищая весь дворец. Угроза жестокой резни устранена, тело Жерома перенесено в Ратушу для проведения следствия, пламя мятежа затухает, превращаясь в умеренное, безопасное тепло.

Как и всегда при общем взрыве массовых страстей, смешиваются невероятные вещи самого разного толка: забавное, даже смешное, соседствует с ужасным. Вдали за волнующимся морем людских голов можно разглядеть оборванцев, гарцующих на лошадях, уведенных из королевских конюшен. Это просто грабители, потому что к патриотам всегда в некоторой пропорции примешиваются откровенные воры и негодяи. Гондран отобрал у них их добычу из дворца, поэтому они поспешили на конюшни и забрали лошадей. Но благородные кони Диомеда*, судя по рассказу Вебера, вознегодовали на столь презренную ношу и, вскидывая свои царственные крупы, вскоре сбросили почти всю ее среди взрывов хохота; потом они были пойманы. Конные гвардейцы позаботились об остальных.

И все еще сохраняются трогательные последние проявления этикета, который до конца погибнет не здесь, в этом сокрушительном набеге киммерийцев**; подобно тому как домашний сверчок мог бы стрекотать при трубных звуках в день Страшного суда, так какой-то церемониймейстер (может быть, де Брезе) провозглашает, когда Лафайет в эти ужасные минуты пробегает мимо него во внутренние покои короля: «Монсеньер, король разрешает вам войти», поскольку возможности остановить его нет!²⁸

* В греческой мифологии Диомед, царь Фракии, кормил своих коней мясом чужеземцев.

** Племена Северного Причерноморья, которые в VIII—VII вв. до н. э. разорили Малую Азию.

Глава одиннадцатая

ИЗ ВЕРСАЛЯ

Парижская Национальная гвардия тем временем, полностью вооруженная, очистила дворец и заняла прилегающее к нему пространство, вытеснив патриотов по большей части в Большой двор и даже в наружный двор.

Лейб-гвардейцы, как можно заметить, теперь действительно «надели национальные кокарды»: они выглядывают в окна и выходят на балконы с высоко поднятыми в руках шляпами, и на каждой шляпе видна огромная трехцветная кокарда, они срывают свои перевязи в знак того, что сдаются, и кричат: «Да здравствует нация!», на что доблестное сердце не может не ответить: «Да здравствует король! Да здравствует лейб-гвардия!» Его Величество сам показался на балконе вместе с Лафайетом и появляется вновь. Из всех глоток вырывается приветствие: «Да здравствует король!», но из какой-то одной глотки вырывается: «Короля в Париж!»

По требованию народа появляется и Ее Величество, хотя это сопряжено с опасностью; она выходит на балкон вместе со своими маленькими мальчиком и девочкой. «Не надо детей!» — кричат голоса. Она мягко отодвигает детей назад и стоит одна, спокойно сложив руки на груди. «Если я должна умереть, — сказала она, — я готова умереть». Такое спокойствие и мужество производят впечатление. Лафайет с присущей ему находчивостью и высокопарной рыцарственностью берет прекрасную руку королевы и, почтительно преклонив колено, целует ее. Тогда народ кричит: «Да здравствует королева!»

Тем не менее бедный Вебер «видел» (или ему показалось, что он видел, потому что едва ли треть наблюдений бедного Вебера в эти истерические дни может выдержать проверку), «как один из негодяев навел свое ружье на Ее Величество» с намерением или без ононого выстрелить, но другой из этих негодяев «сердито выбил ружье из его рук». . Таким вот образом все, в том числе и королева, и даже капитан лейб-гвардейцев, стали частью нации! Сам капитан лейб-гвардейцев спускается вместе с Лафайетом, на шляпе этого кающегося грешника красуется огромная трехцветная кокарда, размером с суповую тарелку или подсолнух, ее видно даже в наружном дворе. Громким голосом он произносит присягу нации, приподняв шляпу; при виде этого все войско с криками поднимает шляпы на штыках. Сладостно примирение сердцам людей. Лафайет принял присягу у фландрцев, он принимает присягу у оставшихся лейб-гвардейцев в Мраморном дворе, народ сжимает их в объятиях: «О братья, зачем вы принудили нас убивать? Смотрите, вам рады, как вернувшимся блудным сынам!» Бедные лейб-гвардейцы, теперь национальные и трехцветные, обмениваются киверами, обмениваются оружием; должны установить мир и братство. И снова раздается: «Да здравствует король!», а также «Короля в Париж!» — и уже не из одной глотки, но из всех сразу.

Да, «короля в Париж», а как иначе? Сколько бы ни совещались министры, сколько бы ни качали головами национальные депутаты, но другого выхода нет. Вы принудили его переехать добровольно. «В час дня!» — уверяет Лафайет во всеуслышание, и всеобщий мятеж с безмерным ликованием и выстрелами из всех ружей, чистых и ржавых, больших и маленьких, какие только есть, отвечает на его уверения. Что за залп! Он был слышен за несколько лиг, как раскаты грома в день Страшного суда; залп этот катится вдаль, в тишину столетий. И с тех пор Версальский дворец стоит опустелый, погруженный в тишину, заросли травой его широкие дворы, слышащие только стук мотыги садовника. Проходят времена и поколения, смешиваясь в этом Гольфстриме; и у зданий, как и у зодчих, своя судьба*.

* Парафраз латинского изречения: *Nabent sua fata libelli* (Книги имеют свою судьбу). *Теренциан Мавр*. О буквах, слогах и размерах, 1286.

Так до часу дня будут заняты все три группы: Национальное собрание, национальное отребье, национальные роялисты. Отребье ликует, женщины наряжаются в трехцветное тряпье. Более того, с материнской заботой Париж выслал своим мстителям достаточное количество «повозок с хлебом», которые были встречены с радостными криками и поглощены с благодарностью. В свою очередь мстители рыщут в поисках хлебных запасов, нагружают 50 повозок, так что национальный король, вероятный провозвестник всяческих благ, на этот раз становится явным подателем изобилия.

Так санкюлоты сделали короля своим пленником, отвергнув его слово. Монархия пала, и не сколько-нибудь почетно, но позорно, в повторявшихся вспышках борьбы, но борьбы неразумной, растратившей силы в припадках и пароксизмах, и каждый новый пароксизм оказывался еще более жалким, чем прежний. Так залп картечи Брولى, который мог бы дать кое-что, заглох в пьяном угаре пиршества в Опере и пении «О Ричард, о мой король!». Так же заглохнет, как мы увидим дальше, и заговор Фавра, который разрешится тем, что повесят одного дворянина. Несчастливая монархия! Но что, кроме жестокого поражения, может ждать того человека, который желает и в то же время не желает? Очевидно, что король либо имеет права, которые он должен отстаивать перед Богом и людьми до самой смерти, либо он не имеет прав. Очевидно, что тут может быть только одно из двух, и если бы он только знал, что именно! — Да сжалится над ним небеса! Был бы Людовик мудр, он в этот же день отрекся бы от престола. Разве не странно, что так мало королей отрекается от престола, и ни разу ни один, насколько известно, не совершил самоубийства? Один только Фридрих I Прусский попытался было сделать это, но веревка была вовремя перерезана*.

* С тех пор в развязных газетных статьях, например в «Эдинбургском обозрении», передаются клеветнические сплетни, касающиеся Фридриха Вильгельма и его привычек, для многих загадочных и странных. В них нет ни грана правды. — *Авторское примечание 1868 г.*

Что касается Национального собрания, которое выносит этим утром резолюцию, что оно «неотделимо от Его Величества» и последует за ним в Париж, то нельзя не заметить одно: крайний недостаток физического здоровья у его членов. После 14 июля среди почтенных членов Собрания обнаружилась предрасположенность к какому-то заболеванию, столько депутатов запросили паспорта по причине расстроенного здоровья. Но теперь, в последние дни, началась настоящая эпидемия: председателю Мунье, Лалли-Голандалю, Клермону Тоннеру и всем конституционным роялистам обеих палат срочно необходима перемена климата, так же как уже сменившим климат роялистам, не причастным ни к одной из палат.

На самом деле это вторая эмиграция, наиболее распространенная среди депутатов от общин, дворянства и духовенства, так что «в одну Швейцарию уезжает шестьдесят тысяч». Они вернутся в день сведения счетов! Да, они вернутся и встретят горячий прием. Но эмиграция за эмиграцией — это особенность Франции. Одна эмиграция следует за другой, основанная на разумном страхе, неразумной надежде, а часто на детском капризе. Высокопоставленные беглецы подали первый пример, теперь бегут менее высокопоставленные, затем побежит мелкая сошка, а дальше и вовсе ничтожества. Разве не становится Национальному собранию значительно удобнее готовить конституцию теперь, когда англومان обеих палат находятся в безопасности на дальних, зарубежных берегах? Аббат Мори схвачен и отправлен обратно: вместе с красноречивым капитаном Казалесом и несколькими другими он, твердый, как задубевшая кожа, продержится еще целый год.

Но тем временем возникает вопрос: действительно ли видели Филиппа Орлеанского в этот день «в Булонском лесу в сером сюртуке», ожидающего под увядшей мокрой листвой, чем кончится дело? Увы, в воображении Вебера и ему подобных был его призрак. Судейские из Шатле производят широкое следствие по этому делу, опросив 170 свидетелей, и депутат Шарбу публикует отчет, но далее ничего не раскрывается²⁹. Чем же тогда были вызваны эти два беспрецедентных октябрьских дня? Ведь очевидно, что такое драматическое представление не может произойти без драматурга и режиссера. Деревянный Панч* не высказывает со своими домашними горестями на свет божий, пока его не дернут за веревочку, что же говорить о людской толпе? Так не были ли это герцог Орлеанский и Лакло, маркиз Сийери, Мирабо и сыны смятения, надеявшиеся отправить короля в Мец и подобрать добычу? Или же не был ли это Oeil de Voeuf, полковник лейб-гвардейцев де Гиш, министр Сен-При и высокопоставленные роялисты-беглецы, также надеявшиеся вывезти его в Мец и готовые использовать для этого меч гражданской войны? Праведный маркиз Тулонжон, историк и депутат, чувствует себя обязанным признать, что это были и те и другие³⁰.

* Персонаж английского народного театра кукол, близок русскому Петрушке.

Увы, друзья мои, доверчивая недоверчивость — странная вещь. Но что поделаешь, если вся нация охвачена подозрительностью и видит драматическое чудо в простом факте выделения желудочных соков? Такая нация становится просто-напросто страдальницей целого ряда болезней, вызванных ипохондрией; желчная и деградирующая, она неизбежно идет к кризису. А не лучше ли было бы, если бы сама подозрительность была заподозрена, подобно тому как Монтень* боялся одного только страха.

* Монтень Мишель (1533—1592) — французский философ-гуманист.

Ныне, однако, час пробил. Его Величество занял место в своей карете вместе с королевой, сестрой Елизаветой и двумя королевскими детьми. И еще целый час бесконечный кортеж не может собраться и тронуться в путь. Погода серая и сырая, умы смятены, шум не смолкает.

Наш мир видел немало торжественных шествий: римские триумфы и овации, празднества кабиров под звон кимвалов, смены королей, ирландские похороны, осталось увидеть шествие французской монархии к своему смертному одру. Оно растянулось на мили в длину, а в ширину теряется в тумане, потому что вся округа толпится, чтобы увидеть его; медленное, стоячее местами, как безбрежное озеро, оно производит шум, подобный Ниагаре, подобно Вавилону и Бедламу; слышится плеск воды и топот ног, крики «ура», рев толпы и ружейные выстрелы — точнейшая картина хаоса наших дней! Наконец, в сгустившихся сумерках процессия медленно втягивается в ожидающий ее Париж и движется сквозь двойной ряд лиц от Пасси вплоть до Отель-де-Виль.

Представьте себе: авангард из национальных войск, далее вереница пушек, далее мужчины и женщины с пиками, восседающие на пушках, на повозках, в наемных экипажах или пешком, приплясывающие от восторга, разукрашенные трехцветными лентами с , головы до пят, с хлебами на штыках и букетами в стволах ружей³¹. Далее следуют в голове колонны «50 повозок с зерном», которые были выданы из запасов Версаля в залог мира. За ними идут врассыпную лейб-гвардейцы, униженные надетыми на них гренадерскими шапками. Вслед за ними движется королевский экипаж и другие королевские кареты, в которых восседает сотня депутатов Национального собрания — среди них сидит и Мирабо, замечания которого не дошли до нас. Наконец, в хвосте в качестве арьергарда идут фландрцы, швейцарцы (швейцарская сотня), другие лейб-гвардейцы, разбойники и все, кто не мог протолкнуться вперед. Среди всех этих масс растекаются без каких-либо ограничений жители Сент-Антуанского предместья и когорты менад. Менад в трехцветном тряпье особенно много вокруг королевской кареты, они приплясывают, распевают «многозначительные песни», указывают одной рукой на королевскую карету, к сидящим в которой относятся эти указания, а другой — на повозки с продовольствием и вопят: «Смелее, друзья! Мы больше не нуждаемся в хлебе, мы возем вам булочника, булочницу и пекаренка»³².

Влага пропитывает трехцветные тряпки, но радость неистребима. Разве все теперь не хорошо? «О мадам, наша добрая королева, — говорили эти могучие торговки несколько дней спустя, — не будьте более изменницей, и мы все полюбим вас!» Бедный Вебер месит грязь рядом с королевским экипажем, на глазах его выступают слезы: «Их величества сделали мне честь» — или мне показалось, что сделали мне честь — «свидетельствовать время от времени чувства, которые они испытывали, пожатием плеч и взорами, устремленными к небесам». Так, подобно углой скорлупке, плывет королевская ладья, без руля, по темному потоку людской черни.

Мерсье со свойственной ему неточностью насчитывает в процессии и в собравшихся вокруг до 200 тысяч человек. Он пишет, что это был безграничный, безраздельный смех, трансцендентный взрыв мирового хохота, сравнимый с сатурналиями* древних. Почему бы и нет? И здесь, как мы говорили, человеческая природа проявила свою человечность. Содрогнитесь же те, кто склонен содрогаться, но поймите, что это все же человечность. Она «поглотила все формулы», она даже приплясывает от восторга, и потому те, кто коллекционирует античные вазы и скульптуры пляшущих вакханок «в диких и почти невысказанных позах», пусть взглянут на это с некоторым интересом.

* Сатурналии — в Древнем Риме ежегодные празднества в честь бога Сатурна. В переносном смысле необузданное веселье.

Но вот уже медленно надвигающийся хаос, или современное воплощение сатурналий древних, достигает заставы и принужден остановиться, чтобы выслушать речь мэра Байи. Вслед за этим он громыхает дальше еще два часа между двумя рядами лиц, среди сотрясающего небеса хохота, пока не достигает Отель-де-Виль. И там снова произносятся речи разными лицами, в том числе и Моро де Сен-Мери, Моро Три Тысячи Приказов, а теперь национальным депутатом от округа Святого Доминика. На все это, входя в Ратушу, несчастный Людовик, «который, казалось, ощущал некоторое волнение», мог ответить лишь, что он «проходит с удовольствием и с доверием среди своего народа». Мэр Байи, повторяя речь, забывает «доверие», и бедная королева нетерпеливо поправляет его: «Добавьте — и с доверием». «Господа, — отвечает мэр Байи, — вы были бы счастливее, если бы я не забыл».

Наконец, короля показывают с верхнего балкона при свете факелов, к его шляпе приколотая огромная Трехцветная кокарда; «и все собравшиеся взялись за руки», — пишет Вебер, — полагая, без сомнения, что именно сейчас родилась новая эра. И почти до 11 часов вечера их королевские величества не могли добраться до своего пустующего, давно покинутого дворца Тюильри, чтобы расположиться в нем наподобие странствующих актеров. Это был вторник 6 октября 1789 года.

Бедному Людовику предстоит совершить еще две поездки по Парижу: одну столь же нелепо-позорную, как и эта, и другую, не нелепую и не позорную, но суровую, более того — вышнюю.

КОНСТИТУЦИЯ

Праздник Пик

Нанси

Тюильри

Варенн

Первый парламент Марсельеза

Mauern seh'ich gestürzt,
und Mauern seh'ich errichtet, Hier Gefangene,
dort auch der Gefangenen viel. Ist vielleicht nur die Welt ein
grosser Kerker? Und frei ist Wohl der Tolle,
der sich Ketten zu Kränzen erkliest?

Goethe

Вижу паденье твердынь и вижу: их вновь воздвигают,
Пленники здесь, но и там вижу плененный народ.
Что же такое мир? Темница? И тот лишь свободен,
Кто, безумный, себе цепью венчает чело.

Гёте

Книга I ПРАЗДНИК ПИК

Глава первая В ТЮИЛЬРИ

Когда жертве нанесен решительный удар, катастрофа может считаться почти наступившей. Отныне вряд ли интересно созерцать ее долгие глубокие стоны: достойны внимания лишь ее самые сильные судороги, конвульсивные усилия стряхнуть с себя мучительную пытку и, наконец, уход самой жизни, после чего она лежит, угасшая и уничтоженная, закутанная ли, подобно Цезарю, в декоративные складки тоги или непристойно повалившаяся, как человек, не имевший силы даже умереть с достоинством.

Была ли французская королевская власть, выхваченная 6 октября 1789 года из своей драпировки, такой жертвой? Вся Франция и королевское воззвание ко всем провинциям со страхом отвечают: нет. Тем не менее можно было опасаться худшего. Королевская власть уже раньше была такой дряхлой, умирающей, в ней было слишком мало жизни, чтобы справиться с нанесенной раной. Как много ее силы, существовавшей только в воображении, утекло! Чернь взглянула прямо в лицо короля — и не умерла! Если стая воронов может клевать свое пугало и приказывать ему: становись здесь, а не там, может торговаться с ним и делать его из неограниченного совершенно ограниченным конституционным пугалом, то чего же можно ожидать впереди? Не на ограниченном конституционном пугале, а на тех еще не исчисленных, кажущихся безграничными силах, которые могут собраться вокруг него, сосредоточивается отныне вся надежда. Ведь совершенно справедливо, что всякая действительная власть по существу своему мистична и происходит по «Божьей милости».

Радостнее наблюдать не предсмертные судороги роялизма, а рост и скачки санкюлотизма, ибо в делах людских, особенно в обществе, всякая смерть есть только рождение в смерти, следовательно, если скипетр ускользает от Людовика, то это значит только, что в других формах другие скипетры, хотя бы даже скипетры-пики, берут перевес. Мы увидим, что в благоприятной среде, богатой питательными элементами, санкюлотизм крепнет, вырастает здоровым и даже резвится не без грациозной шаловливости — так веселится большинство молодых людей; между тем замечено, что взрослая кошка и все звери кошачьей породы вообще чрезвычайно жестоки, а ведь наибольшей веселостью отличаются именно котята, или подрастающие кошки!

Представьте себе королевское семейство, встающее утром того безумного дня со своих складных кроватей; представьте себе муниципалитет, спрашивающий: «Как благоволит Ваше Величество расположиться на житье?» — и суровый ответ короля: «Пусть каждый располагается, как может; мне достаточно хорошо». Представьте себе, как городские чины отступают в поклоне с выразительной усмешкой и удаляются в сопровождении подобострастных обойщиков и как дворец Тюильри перекрашивается и обставляется вновь для блестящей королевской резиденции, а Лафайет со своими синими национальными гвардейцами окружает его, ласкающегося к острову, подобно Нептуну, говоря поэтическим языком. Здесь могут собраться обломки реабилитированных верноподданных, если они пожелают стать конституционалистами, ибо конституционализм не желает ничего дурного; даже санкюлоты радуются при виде короля. Мусор восстания менад сметен в сторону, как всегда бывает и должно быть со всяким мусором в этом неизменно добром мире, и вот, на расчищенной арене, при новых условиях, даже с некоторым подобием нового великолепия мы начинаем новый ряд действий.

Артур Юнг был свидетелем весьма странной сцены: Ее Величество без свиты гуляет в Тюильрийском саду, а смешанные толпы с трехцветными кокардами кланяются ей и почтительно расступаются: королева вызывает по меньшей мере почтительное молчание, ее избегают с состраданием¹. Домашние утки в королевских водах кряканьем выпрашивают хлебные крошки из юных королевских рук; у маленького дофина есть огороженный садик, в котором он, как можно видеть, розовощекий, с развевающимися белокурыми локонами, копает землю; тут же маленький шалаш, где он прячет свои инструменты и может укрыться от дождя. Какая мирная простота! Мир ли это отца, возвращенного своим детям? Или мир надсмотрщика, потерявшего свой кнут? Лафайет, муниципалитет и все конституционалисты утверждают первое и делают все от них зависящее, чтобы это оправдалось на деле. Таких патриотов, которые опасно рычат и скалят зубы, усмирят патрули; или, еще лучше, король погладит их по взерошенной шерсти ласковой рукой и, что всего действеннее, накормит более сытной пищей. Да, мало накормить Париж, нужно еще, чтобы в этом деле была видна рука короля. Заложненное имуще-

ство бедняков до известной суммы будет выкуплено по милости короля, и ненасытный Mont de Piété извергнет свое содержимое; не стоит забывать и о катаниях по городу с криками «Vive le Roi!», и, таким образом, при помощи субсидий и зрелищ королевская власть станет популярной, если только искусство человека в силах сделать ее популярной².

Или же, увы, это гуляет не возвращенный детям отец и не потерявший кнут надсмотрщик, а неестественная совокупность их обоих и бесчисленных других разнородных элементов, не подходящая ни под какую рубрику, разве лишь под только что придуманную: король Людовик — восстановитель французской свободы? Действительно, человек — и король Людовик, как и всякий другой, — живет в этом мире для того, чтобы приводить в порядок беспорядочное и своей живой энергией принудить даже нелепое быть менее нелепым. Ну а если нет живой энергии, а только живая пассивность? Когда король Змей был неожиданно брошен в свое водное царство, он по крайней мере стал кусаться и этим убедительно доказал, что он существует. Для бедного же короля Чурбана*, швыряемого туда и сюда тысячью случайностей и чужой волей, помимо собственной, большое счастье, что он был деревянный и что, не делая ничего, он зато не мог ничего ни видеть, ни чувствовать! Это уж совсем безнадежное дело.

* Использование эзопова языка для характеристики политических реалий. По Эзопу, лягушки просили Юпитера дать им царя. Когда Юпитер послал им вместо царя чурбан, то они сначала испугались, а затем, убедившись в безвредности этого предмета, стали скакать по нему.

Для Его Величества короля Франции между тем тягостнее всего то, что он не может охотиться. Увы, отныне время охот для него миновало: идет лишь роковая охота за ним самим! Только в ближайшие недели июня испытает он вновь радость охотника, истребителя дичи, — только в этом июне и никогда более. Он посылает за своими слесарными инструментами и в течение дня, по окончании официальных церемоний, делает «несколько взмахов напильником» (quelques coups de lime)³. Невинный брат смертный, почему ты не был настоящим, безвестным слесарем? За что ты был осужден на то, чтобы в другом, более видном ремесле ковать только мировые глупости, видимости и вещи, сами себя уничтожающие; вещи, которые ни один смертный своим молотом не мог сковать в одно целое!

Бедный Людовик не лишен понимания, не лишен даже элементов воли; некоторая страстность темперамента изредка прорывается сквозь его флегматичный характер. Если бы безобидная неподвижность могла спасти его, то было бы хорошо; но он будет только дремать и видеть мучительные сны — сделать же что-нибудь ему не дано. Старые роялисты до сих пор еще показывают комнаты, в которых их величества со свитой жили при этих необычных обстоятельствах. Здесь сидела королева и читала — она перевезла сюда свою библиотеку, хотя король отказался от своей, — принимая пылкие советы от пылких советчиков, не знающих, что, собственно, посоветовать; горя об изменившихся временах, слабо надеясь на лучшие: разве она не имела живого символа надежды в лице своего розовощекого мальчика? ! Небо мрачно, задернуто тучами, но сквозь облака прорываются золотые лучи — заря ли это или предвестники мрачной грозовой ночи? А вот другая комната, по ту сторону от главного входа; это комната короля: здесь Его Величество завтракал, занимался государственными делами; здесь ежедневно, после завтрака, он принимал королеву, иногда с патетической нежностью, иногда с чисто человеческой раздражительностью, ибо плоть человеческая слаба; а когда она спрашивала его о делах, он отвечал: «Madame, ваше дело — заниматься детьми». — Нет, Sire, не лучше ли было бы Вашему Величеству самому заняться детьми? — спрашивает беспристрастная история, Досадуя на то, что более толстый сосуд не оказался и более прочным, жалея более фарфоровую, нежели глиняную, половину человеческого рода, хотя на самом деле разбились обе!

И вот, французские король и королева должны теперь пробыть в этом Тюильри Медичи сорок один месяц, глядя, как неистово взбудораженная Франция вырабатывает их судьбу и свою собственную. Суровые, холодные месяцы, с быстро сменяющейся погодой, но все же кое-когда с бледным мягким солнечным блеском апреля, преддверия зеленого лета, или октября, предвестника лишь вечного мороза. Как изменилось это Тюильри Медичи с того времени, когда оно было мирным глиняным полем? Или на самой почве его тяготеет проклятие, мрачный рок, или это дворец Атрея*, так как близко луврское окно, откуда один из Капетов, бичуемый фуриями, дал сигнальный выстрел к кровавой Варфоломеевской бане? Темен путь Вечности, как он отра-

жается в этом мире преходящего: путь Божий лежит по морю, и тропа его проложена на огромной глубине.

* В греческой мифологии царь Микен, отец героев Троянской войны Агамемнона и Менелая. В наказание за преступления Атрея боги обрекли на бедствия весь род, история которого полна убийств и кровсмешений. Слово стало нарицательным для обозначения семьи, над которой тяготеет злой рок.

Глава вторая В МАНЕЖЕ

Доверчивым патриотам теперь ясно, что конституция «пойдет», *marcher*, будь у нее только ноги, чтобы стоять. Живее же, патриоты, шевелитесь и достаньте их, сделайте для нее ноги! Сначала в *Archevêché*, дворце архиепископа, откуда Его Преосвященство бежал, а затем в школе верховой езды, так называемом Манеже, что рядом с Тюильри, приступает к чудесному делу Национальное собрание. Труды его были бы успешны, если бы в его среде находился какой-нибудь Прометей, достигающий неба, но они оказались бесплодны, так как Прометея не было! И эти тягучие месяцы проходят в шумных дебатах, заседания временами становились скандальными, и случалось, что по три оратора сразу выступали на трибуне.

Упрям, догматичен, многословен аббат Мори; преисполнен Цицероновским пафосом Казалес; остротой и резкостью на противоположной стороне блещет молодой Барнав, враг софистики, разрубающий, точно острым дамасским клинком, всякий софизм, не заботясь о том, не отрубает ли он при этом что-нибудь еще. Простым кажешься ты, Петион, как солидная голландская постройка, солиден ты, но несомненно скучен. Не более оживляюще действует и твой тон, спорщик Рабо, хотя ты и живее. С молчаливой безмятежностью один над всеми сопит великий Сиейес: вы можете болтать что хотите о его проекте конституции, можете исказить его, но не можете улучшить: ведь политика — наука, исчерпанная им до дна. Вот хладнокровные, медлительные два брата Ламет с гордой или полупрезрительной усмешкой; они рыцарски выплачивают пенсию своей матери, когда предъявится Красная книга, рыцарски будут ранены на дуэлях. Тут же сидит маркиз Тулонжон, перу которого мы до сих пор обязаны благодарностью; со стоическим спокойным, задумчивым настроением, большей частью молча, он принимает то, что посылает судьба. Туре и парламентарист Дюпор производят целые горы новых законов, либеральных, скроенных по английскому образцу, полезных и бесполезных. Смертные поднимаются и падают. Не станет ли, например, глупец Гобель, или Гёбель, потому что он немец, родом из Страсбурга, конституционным архиепископом?

Мирабо один из всех начинает, быть может, ясно понимать, куда все это клонится. Поэтому патриоты сожалеют, что его рвение, по-видимому, уже охладевает. В памятную Духовную ночь 4 августа, когда новая вера вдруг вспыхнула чудодейственным огнем и старый феодализм сгорел дотла, все заметили, что Мирабо не приложил к этому своей руки; действительно, он, по счастью, отсутствовал. Но разве не защищал он *veto*, даже *veto absolu*, и не говорил неукротимому Барнаву, что шестьсот безответственных сенаторов составят самую нестерпимейшую из всех тираний? Затем как он старался, чтобы королевские министры имели место и голос в Национальном собрании, — без сомнения, он делал это потому, что сам метил на министерский пост! А когда Национальное собрание решает — факт очень важный, — что ни один депутат не должен быть министром, он своим надменным, страстным тоном предлагает постановить: «Ни один депутат по имени Мирабо»⁴. Возможно, что это человек закоренелых феодальных убеждений, преисполненный хитростей, слишком часто явно склонявшийся на сторону роялистов; человек подозрительный, которого патриоты еще разоблачат! Так, в июньские дни, когда встал вопрос о том, кому принадлежит право объявления войны, можно было слышать, как хриплые голоса газетчиков монотонно выкрикивали на улицах: «Великая измена графа Мирабо, цена всего один су», потому что он высказался за то, что право это должно принадлежать не Собранию, а королю! И он не только говорит, но и проводит эту мысль; несмотря на хриплые выкрики газетчиков и на огромную толпу черни, возбужденную ими до криков: «На фонарь!», он поднимается на следующий день на трибуну в мрачной решимости, прошептав друзьям, предупредившим его об опасности: «Я знаю; я должен выйти отсюда или с триумфом, или растерзанный в клочки». И он вышел с триумфом.

Это человек с твердым сердцем, популярность которого основана не на расположении к нему черни (*pas populaire*), которого не заставят уклоняться с избранного им пути ни крики не-

умытого сброда на улице, ни умытого в зале Собрания! Дюмон вспоминает, что он слышал его отчет о происшествиях в Марселе: «Каждое его слово прерывалось с правой стороны бранными эпитетами: клеветник, лжец, убийца, разбойник (scélérat). Мирабо останавливается на минуту и слащавым голосом, обращаясь к наиболее злобствующим, говорит: «Я жду, messieurs, пока вы не исчерпаете ваш запас любезностей»⁵. Это загадочный человек, его трудно разоблачить! Например, откуда берутся у него деньги? Может ли доход с газеты, усердно съедаемый г-жой Леже, могут ли это и еще восемнадцать франков в день, получаемые им в качестве депутата, считаться соответствующими его расходам? Дом на Шоссе-д'Антен, дача в Аржантейе, роскошь, великолепие, оргии — он живет так, словно имеет золотые россыпи! Все салоны, закрытые перед авантюристом Мирабо, распахиваются широко перед «королем» Мирабо, путеводной звездой Европы, взгляд которого ловят все женщины Франции, хотя как человек Мирабо остался тем же, чем и был. Что касается денег, то можно предположить, что их доставляет роялизм; а если так, то, значит, деньги роялистов не менее приятны Мирабо, чем всякие другие.

«Продался» — однако что бы ни думали патриоты, а купить его было не так-то легко: духовный огонь, живущий в этом человеке, светящий сквозь столько заблуждений, тем не менее есть Убеждение, которое делает его сильным и без которого он не имел бы силы, — этот огонь не покупается и не продается; при такой мене он исчез бы, а не существовал. Может быть, «ему платят, но он не продается» (payé pas vendu), тогда как бедный Ривароль должен, к несчастью, сказать про себя обратное: «Он продается, хотя ему не платят». Мирабо, подобно комете, прокладывает свой неизведанный путь среди блеска и тумана — путь, который Патриотизм может долго наблюдать в свой телескоп, но, не зная высшей математики, никогда не рассчитает его траекторию. Скользкий, весьма достойный порицания человек, но для нас наиболее интересный из всех. Среди близорукого, смотрящего в очки мудрствующего поколения Природа с великой щедростью наделила этого человека настоящим зрением. Если он говорит и действует, слово его желанно и становится все желаннее, потому что оно одно проникает в сущность дела: вся паутина логики спадает, и видишь самый предмет, каков он есть, и понимаешь, как с ним нужно действовать.

К несчастью, нашему Национальному собранию предстоит много дел: нужно возродить Францию, а Франции недостает очень многого, недостает даже наличных денег. Именно финансы-то и причиняют много беспокойства; дефицит невозможно заткнуть, он все кричит: давай, давай! Чтобы умиротворить дефицит, решаются на рискованный шаг — на продажу земель духовенства, излишка зданий. Мера крайне рискованная: Да если и решиться на продажу, кто же будет покупать, если наличные деньги иссякли? Поэтому 19 декабря издается Указ о выпуске бумажных денег — ассигнаций, обеспеченных закладными на эти церковно-национальные владения и неоспоримых по крайней мере в отношении уплаты по ним, — первое из длинного ряда подобных же финансовых мероприятий, которым суждено повергнуть в изумление человечество. Так что теперь, пока есть старые тряпки, не будет недостатка в средствах обращения, а будут ли они обеспечены товарами — это уже другой вопрос. Но в конце концов разве эта история с ассигнациями не стоит целых томов современной науки? Мы можем сказать, что наступило банкротство как неизбежный итог всех заблуждений, но наступило так мягко, незаметно и постепенно, что не обрушилось как всеистребляющая лавина, а спустилось, подобно мягкой метели распыленного, почти неощутимого снега, продолжавшего сыпаться до тех пор, пока действительно все не было погребено; и все же не многое из того, что не могло быть восстановлено или без чего нельзя было обойтись, оказалось разрушенным. Вот какой протяженности достигла современная структура. Банкротство было велико, но ведь и сами деньги — вечное чудо.

В общем, вопрос о духовенстве рождает бесконечные трудности. Можно сделать церковные владения национальной собственностью, а духовенство — наемными слугами государства, но в таком случае разве это не измененная церковь? Множество самых смешных нововведений стали неизбежными. Старые вехи ни в каком смысле не годятся для новой Франции. Даже в буквальном смысле заново перекраивается сама земля: старые разношерстные Провинции становятся новыми единообразными Департаментами, число их — восемьдесят три, вследствие чего, как при внезапном смещении земной оси, ни один смертный не может сразу найти свое место под новым градусом широты*. А что же будет с двенадцатью старыми парламентами? Старые парламенты объявляются распущенными на «непрерывные каникулы» — до тех пор, пока новое, равное для всех правосудие департаментских судов, национального апелляционного суда, вы-

борных и мировых судов и весь аппарат Туре—Дюпора не будут готовы и пущены в ход. Старым парламентам приходится сидеть в неприятном ожидании, как с веревкой на шее, и вопить изо всех сил: «Не может ли кто-нибудь освободить нас?» Но по счастью, ответ гласит: «Никто, никто», и парламенты эти становятся сговорчивыми. Их можно запугать даже до того, что они будут молчать: Парижский парламент, который умнее большинства других, никогда не жаловался. Они будут и должны пребывать на каникулах, как им и подобает; палата вакансий их отправляет тем временем кое-

* Законом от 15 января 1790 г. Учредительное собрание установило новое административное устройство королевства. Вся страна делилась на 83 департамента, более или менее равномерных по величине, разделявшихся в свою очередь на дистрикты, кантоны и коммуны. Новое административное устройство, окончательно уничтожившее остатки феодальной раздробленности, обеспечивало национальное единство государства и его административное единообразие. Тем самым создавались благоприятные условия для развития торговли и промышленности.

какое правосудие. Веревка накинута на их шею, и судьба их скоро решится! 13 ноября мэр Байи отправится в Palais de Justice — причем даже мало кто обратит на него внимание — и запечатает муниципальной печатью и горячим сургучом те комнаты, где хранятся парламентские бумаги; и грозный Парижский парламент исчезнет в хаосе, тихо и мягко, как сон! Так погибнут вскоре все парламенты, и бесчисленные глаза останутся сухи*.

* В результате административной реформы во Франции было создано 44 тыс. новых муниципалитетов.

Не так обстоит дело с духовенством. Предположим даже, что религия умерла, что она умерла полвека назад с неописуемым Дюбуа или недавно эмигрировала в Эльзас с кардиналом ожерелья Роганом или что она бродит теперь, как привидение, с епископом Отёнским Талейраном, однако разве тень религии, религиозное лицемерие не продолжают существовать? Духовенство обладает средствами и материалом; средства — его численность, организованность, общественное влияние; материал — по меньшей мере всеобщее невежество, справедливо считаемое матерью набожности. Наконец, разве уж так невероятно, что в простодушных сердцах еще может там и сям скрываться наподобие золотых крупинок, рассыпанных в береговой тине, истинная Вера в Бога такого странного и стойкого характера, что даже Мори или Талейран может служить олицетворением ее? Итак, духовенство обладает силой, духовенство обладает коварством и преисполнено негодования. Вопрос о духовенстве — роковой вопрос. Это извивающийся клубок змей, которых Национальное собрание растревожило, и они шипят ему в уши, жалят, и нельзя их ни умиротворить, ни растоптать, пока они живы. Фатально с начала до конца! После пятнадцатимесячных дебатов с великим трудом удастся составить на бумаге гражданскую конституцию духовенства, а сколько нужно времени, чтобы провести ее в жизнь? Увы, такая гражданская конституция является только соглашением, ведущим к несогласию. Она раздирает Францию из конца в конец новой трещиной, бесконечно запутывающей все остальные трещины: с одной стороны, неистовствуют остатки католицизма в соединении с лицемерием католицизма; с другой — неверующее язычество, и оба вследствие противоречий становятся фанатичными. Какой бесконечный спор между непокорными, стойкими священниками и презираемым конституционным духовенством; между совестью чувствительной, как у короля, и совестью притупленной, как у некоторых из его подданных! И все это кончится празднествами в честь Разума* и войной в Вандее!** Так глубоко коренится религия в сердце человеческом, так срастается со всем множеством его страстей! Если мертвое эхо ее сделало так много, то чего не может сделать ее живой голос?

Финансы и конституция, законы и Евангелие — кажется, достаточно работы, но это еще не все. В действительности министерство и сам Неккер, которого железная дощечка, «прибитая над его дверью народом», называет *Ministre adoré****, все нагляднее превращаются в ничто. Исполнительная и законодательная власть, распоряжения и проведение их в деталях — все ускользает несделанным из их бессильных рук, все перекладывается в конце концов на нагруженные плечи верховного представительного Собрания. Тяжело груженное Национальное собрание! Ему приходится выслушивать о бесчисленных новых восстаниях, разбойничьих набегах, о подожженных замках на западе, даже о брошенных в огонь ящиках с хартиями (*Charretiers*), потому что и здесь чрезмерно нагруженное вьючное животное грозно поднимается на дыбы. Оно

слышит о городах на юге, объятых гневом и соперничеством, разрешить которое могут лишь скрещенные сабли. Марсель восстает на Тулон, и Карпантра осажден Авиньоном. Оно слышит о множестве роялистских столкновений на пути к свободе, даже о столкновениях между патриотами просто из-за соперничества в проворстве! Слышит о Журдане Головорезе, который пробрался в южные области из подвалов темницы Шатле и поднимает на ноги целые полчища негодяев.

* Культ Разума был введен во Франции вместо христианской религии в период якобинской диктатуры.

** Здесь в годы Великой французской революции долго бушевало контрреволюционное восстание, поддержанное монархистами-эмигрантами и Англией.

*** Обожаемый министр.

Приходится услышать и о лагере роялистов в Жалесе: Жалес — опоясанная горами равнина среди Севенн, откуда роялизм может, как одни опасаются, а другие надеются, низвергнуться, подобно горному потоку, и затопить Францию! Странная вещь этот Жалесский лагерь, существующий главным образом только на бумаге. Ведь жалесские солдаты — все крестьяне или национальные гвардейцы и поэтому в душе истинные санкюлоты. Все, что могли сделать их роялистские офицеры, — это сдерживать их с помощью обмана или, вернее, писать о них ложные донесения, представляя их в виде грозного призрака на тот случай, если бы удалось снова завладеть Францией с помощью театральных ухищрений, перенесших в жизнь картину роялистской армии⁶. Только на третье лето это урывками вспыхивавшее и снова исчезающее знамение потухло окончательно, и старый замок Жалес — лагерь вообще не был видим телесному оку — был снесен национальными гвардейцами.

Национальному собранию приходится слышать не только о Бриссо и его друзьях-чернокожих, но мало-помалу и обо всем пылающем Сан-Доминго*, пылающем огнем

* На западной части о-ва Гаити в конце XVII в. была основана французская колония Сан-Доминго. В период Французской революции здесь развернулось освободительное движение, в результате которого в 1804 г. была образована самостоятельная республика Гаити.

в буквальном смысле и, что еще хуже, в метафорическом, освещая погруженный во 'мрак океан. На нем лежит забота об интересах мореходства, земледелия, обо всем, что доведено до отчаянного состояния: о спутанной, скованной везде промышленности и буйно расцветших мятежах; об унтер-офицерах, солдатах и матросах, бунтующих на море и на суше; о солдатах в Нанси*, которых, как мы увидим, храбрый Буйе должен был расстрелять из пушек; о матросах, даже о галерных рабах в Бресте, которых также следовало расстрелять, но не нашлось для этого второго Буйе. Одним словом, в те дни не было царя у Израиля и всякий человек делал то, что казалось правильным в его собственных глазах⁷.

* В 1790 г. в Меце, Нанси и Бресте произошли серьезные инциденты, вызванные волнениями в армии.

Вот какие сообщения приходится выслушивать верховному Национальному собранию, в то время как оно продолжает возрождать Францию. Грустно и тяжело, но где выход? Изготовьте конституцию, и все присягнут ей: разве «адреса о присоединении» не поступают уже целыми возами? Таким образом, с Божьим благословением и готовой конституцией бездонная огненная бездна будет покрыта сводом из тряпичной бумаги, и Порядок соединится со Свободой и будет жить с нею, пока обоим не сделается слишком жарко. О *Côté Gauche* (левая сторона), ты действительно достойна того, чтобы, как говорится обыкновенно в сочувственных адресах, «на тебя были обращены взоры Вселенной» — взоры нашей бедной планеты по крайней мере!

Однако нужно признаться, что *Côté Droit* (правая сторона) представляет еще более безрассудную массу: неразумные люди, неразумные, бестолковые и с ожесточенным, характерным для них упрямством; поколение, не желающее ничему учиться. Рушащиеся Бастилии, восстания женщин, тысячи дымящихся поместий, страна, не дающая никакой жатвы, кроме стальных клинков санкюлотов, — все это достаточно поучительные уроки, но их они ничему не научили. И теперь еще существуют люди, о которых в Писании сказано: их хоть в ступе истолки. Или, выражаясь мягче, они настолько срослись со своими заблуждениями, что ни огонь, ни меч ни самый

горький опыт не расторгнут этого союза до самой смерти! Над такими сжалится Небо, ибо земля с ее неумолимым законом неизбежности будет безжалостна.

В то же время нельзя не признать это весьма естественным. Человек живет Надеждой: когда из ящика Пандоры улетели все дары богов и превратились в проклятия, то в нем все же осталась Надежда. Может ли неразумный смертный, когда его жертвенник явно ниспровергнут и он, неразумный, остался беспомощным в жизни, — может ли он расстаться с надеждой, что жертвенник будет снова восстановлен? Разве не может все снова наладиться? Это так невыразимо желаемо и так разумно, если взглянуть с надлежащей точки зрения! Бывшее должно продолжать существовать, иначе прочное мировое здание развалится. Да, упорствуйте, ослепленные санкюлоты Франций! Восставайте против установленных властей, прогоняйте ваших законных повелителей, в глубине души так вас любивших и с готовностью проливавших за вас свою кровь — в сражениях за отечество, как при Росбахе и других; ведь, даже охраняя дичь, они, собственно, охраняли вас, если б вы только могли понять это; прогоняйте их, как диких волков, поджигайте их замки и архивы, как волчьи ямы; но что же потом? Ну, потом пусть каждый поднимет руку на брата! И тогда, в смятении, голоде, отчаянии, сожалеете о минувших днях, призывайте с раскаянием их, призывайте с ними и нас. К покаянным просьбам мы не останемся глухи.

Так, с большей или меньшей ясностью сознания, должны рассуждать и действовать правые. Это была, пожалуй, неизбежная точка зрения, но в высшей степени ложная для них. Зло, будь нашим благом — такова отныне должна быть в сущности их молитва.

Чем яростнее возбуждение, тем скорее оно пройдет, ибо в конце концов это только безумное возбуждение; мир прочен и не может распасться.

Впрочем, если правые и развивают какую-нибудь определенную деятельность, то это исключительно заговоры и собрания на черных лестницах; заговоры, которые не могут быть осуществлены и которые, с их стороны, по большей части теоретичны, но за которые тем не менее такие, как сэр Ожар, съёр Майбуа, съёр Бонн Саварден, то один, то другой, при попытке осуществить их на практике попадают в беду, в тюрьму, откуда спасаются с большими затруднениями. А бедный практичный шевалье Фавра* попадает даже — при бурном возмущении мира — на виселицу, причем мимолетное подозрение падает на самого *Monsieur*. Бедный Фавра, он весь остаток дня, длинного февральского дня, диктует свою последнюю волю в Ратуше и предлагает раскрыть тайны, если его спасут, но величественно отказывается сделать это, когда его не хотят спасти; затем умирает при свете факелов с благовоспитанной сдержанностью, скорее заметив, чем воскликнув, с распростертыми руками: «Люди, я умираю невинный, молитесь за меня»⁸. Бедный Фавра — тип столь многих неумолимо бродивших по Франции в поисках добычи в эти уже ушедшие дни, тогда как в более открытом поле они могли бы заслужить вместо того, чтобы отнимать, — для тебя это не теория!

* Маркиз де Фавра (1744—1790) — первый лейтенант швейцарцев графа Прованского, был обвинен в намерении похитить короля; повешен на Гревской площади 19 февраля 1790 г. Для осуществления своего проекта Фавра сделал заем в 2 млн под гарантию графа Прованского.

В сенате правая сторона вновь занимает позицию спокойного недоверия. Пусть верховное Национальное собрание провозглашает 4 августа отмену феодализма, объявляет духовенство наемными слугами государства, голосует за условные veto, новые суды, декретирует всякие спорные вещи; пусть ему отвечают одобрением со всех четырех концов Франции, пусть оно даже получает санкцию короля и всевозможные одобрения. Правая сторона, как мы видим, настаивает с непоколебимым упорством (и время от времени открыто демонстрирует), что все эти так называемые декреты есть лишь временные капризы, находящие себе, правда, выражение на бумаге, но на практике не существующие и не могущие осуществиться. Представьте себе какого-нибудь медноголового аббата Мори, изливающего в этом тоне потоки иезуитского красноречия; мрачный д'Эпремениль, Бочка-Мирабо (вероятно, наполненная вином) и многие другие приветствуют его с правой стороны; представьте себе, с каким лицом смотрит на него зеленый Робеспьер с левой. Представьте, как Сиейес фыркает на него или не достаивает даже фырканы; как рычат и неистово лают на него галереи: ведь при таких условиях, чтобы избегнуть фонаря при

выходе, ему нужны все его самообладание и пара пистолетов за поясом. Поистине это один из самых упрямых людей.

Здесь явственно сказывается огромная разница между двумя видами гражданских войн: новой, словесной, парламентско-логической, и старой, кулачной, на поле сражения, где действовали клинки, — разница во многом не в пользу первой. В кулачной борьбе, где вы сталкиваетесь со своим врагом, обнажив меч, достаточно одного верного удара, потому что в физическом отношении, когда из человека вылетают мозги, он по-настоящему умирает и больше вас не беспокоит. Но какая разница, если вы сражаетесь аргументами! Здесь никакая самая решительная победа не может рассматриваться как окончательная. Побейте противника в парламенте бранью до того, что он лишится чувств, разрубите его на две части и пригвоздите одну половину на один, а другую — на другой конец дилеммы, совершенно лишив его на время мозгов или мыслительной способности, — все тщетно: он придет в себя, к утру оживет и завтра снова облачится в свои золотые доспехи! Средство, которое логически могло бы уничтожить его, является все еще пробелом в цивилизации, покоящейся на конституции, ибо как может совершаться парламентская деятельность и может ли болтовня прекратиться или уменьшиться, пока человек не узнает до некоторой степени, в какой момент он становится логически мертвецом?

Несомненно, некоторое ощущение этой трудности и ясное понимание того, насколько мало это знание еще свойственно французской нации, лишь вступающей на конституционный путь, а также предчувствие, что мертвые аристократы еще будут бродить в течение неопределенного времени, подобно составителю календаря Партриджа*, глубоко запало в ум Друга Народа, великого практика Марата и превратилось на этой богатейшей, гниющей почве в оригинальнейший план сражения, когда-либо представленный народу. Он еще не созрел, но уже пробился и растет, корни его простираются до преисподней, ветви — до неба; через два лета мы увидим, как он поднимется из бездонного мрака во всей мощи в опасных сумерках, подобно дереву-болиголову, огромному, как мир, на ветвях и под сучьями которого найдется пристанище для друзей народа со всей Вселенной. «Двести шестьдесят тысяч аристократических голов» — это самый точный счет, при котором, положим, не пренебрегают несколькими сотнями; однако мы никогда не достигаем круглой цифры в триста тысяч. Ужаснитесь этому, люди, но это так же верно, как то, что вы сами и ваши друзья народа существуют. Эти болтливые сенаторы бесплодно сидят над мертвой буквой и никогда не спасут революцию. Кассандре-Марату**, с его сухой рукой, тоже не сделать этого одному, но с несколькими решительными людьми это было бы возможно. «Дайте мне, — сказал Друг Народа с холодным спокойствием, когда юный Барбару, некогда его ученик по так называемому курсу оптики, посетил его, дайте мне двести неаполитанских «брави» вооруженных каждый хорошим кинжалом и с муфтой на левой руке вместо щита, и я пройду с ними всю Францию и совершу революцию»⁹. Да, юный Барбару, шутки в сторону, в этих слезящихся глазах, в этой непроницаемой фигуре, самой серьезной из всех, не видно шутки, не видно и безумия, которому подобала бы смиренная рубашка.

* Партридж Джон (1644—1715) — английский астролог, альманахи которого, издававшиеся с 1680 г., пользовались широкой известностью в Лондоне.

** В древнегреческой мифологии Кассандра — дочь троянского царя Приама, пророчица, наказанная богом Аполлоном, любовь которого она отвергла. Кассандра могла вещать лишь ужасное и печальное, и в ее пророчества никто не верил.

Вот какие перемены произведет время в пещерном жителе Марате, в проклятом человеке, одиноко живущем в парижских подвалах, подобно фанатическому анахорету из Фиваиды, вернее, подобно издалеку видимому Симеону Столпнику*, которому со столба открываются своеобразные горизонты. Патриоты могут улыбаться и обращаться с ним как с цепной собакой, на которую то надевают намордник, то спокойно позволяют ей лаять; могут называть его вместе с Демуленом «сверхпатриотом» и Кассандрой-Маратом, но разве не замечательно было бы, если бы оказалось, что принят с незначительными изменениями как раз его «план кинжала и муфты»?

* Симеон Столпник (390—459) — отшельник, который прожил на высоком, им самим сооруженном столпе, ни разу не сходя с него, целых тридцать лет.

Таким-то образом и при таких-то обстоятельствах высокие сенаторы возрождают Францию, и люди серьезно верят, что они делают это. Вследствие одного этого факта, главного факта их истории, усталый глаз не может совершенно обойти их вниманием.

Однако покинем на время пределы Тюильри, где конституционная королевская власть вянет, как отрезанная ветка, сколько бы ее ни поливал Лафайет, и где высокие сенаторы, быть может, только совершенствуют свою «теорию неправильных глаголов», и посмотрим, как расцветает юная действительность, юный санкюлотизм? Внимательный наблюдатель может ответить: он растет быстро, завязывая все новые почки и превращая старые в листья и ветки. Разве вконец расшатанное похотливое французское общество не представляет для него исключительно питательной почвой? Санкюлотизм обладает способностью расти от того, от чего другие умирают: от брожения, борьбы, распада — одним словом, от того, что является символом и результатом всего этого, — от голода.

А голод, как мы заметили, при таком положении Франции неминуем. Его и его последствия, ожесточение и протivoестественную подозрительность, уже испытывают теперь южные города и провинции. В Париже после восстания женщин привезенные из Версаля подводы с хлебом и возвращение восстановителя свободы дали несколько мирных веселых дней изобилия, но они не могли долго продолжаться. Еще только октябрь, а голодающий народ в Предместье Сент-Антуан в припадке ярости уже захватывает одного бедного булочника по имени Франсуа и вешает его, безвинного, по константинопольскому образцу^{10*}; однако, как это ни странно, но хлеб от этого не дешевеет! Слишком очевидно, что ни щедрость короля, ни попечения муниципалитета не могут в достаточной мере прокормить ниспровергнувший Бастилию Париж. Ссылаясь на повешенного булочника, конституционалисты, в горе и гневе, требуют введения военного положения, *loi martiale*, т. е. закона против мятежа, и принимают его с готовностью еще До захода солнца.

* 21 октября 1789 г. — *Примеч. авт.*

Это знаменитый военный закон с его красным флагом (*drapreau rouge*), в силу которого мэру Байи и вообще всякому мэру отныне достаточно вывесить новую орифламму (*ori flamme*)*, затем прочесть или пробормотать что-нибудь о «спокойствии короля», чтобы потом, через некоторое время, угостить всякое нерасходящееся сборище людей ружейными или другими выстрелами. Решительный закон, и даже справедливый, если предположить, что всякий патруль от бога, а всякое сборище черни от дьявола; без такой же предпосылки — не столь справедливый. Мэр Байи, не торопись пользоваться им! Не вывешивай эту новую орифламму, это не золотое пламя, а лишь пламя желания золота. Ты думаешь, что трижды благословенная революция уже совершилась? Благо тебе, если так.

* Орифламма (букв.: золотое пламя) — старинное знамя французских королей. На его красном полотнище были вышиты языки золотого пламени. В битве это знамя должно было находиться впереди армии.

Но да не скажет теперь ни один смертный, что Национальное собрание нуждается в мятеже! Оно и раньше нуждалось в нем лишь постольку, поскольку это было необходимо для противодействия козням двора; теперь оно не требует от земли и неба ничего другого, кроме возможности усовершенствовать свою теорию неправильных глаголов.

Глава третья

СМОТР

При всевозрастающих бедствиях голода и конституционной теории неправильных глаголов всякое возбуждение понятно. Происходит всеобщее расшатывание и просеивание французского народа, и сколько фигур, выброшенных благодаря этому из низших слоев наверх, ревностно сотрудничают в этом деле!

Мы знаем уже ветеринарного лекаря Марата, ныне далеко видимого Симеона Столпника, знаем и других поднявшихся снизу. А вот еще один образчик того, что выдвинется, что продолжает выдвигаться наверх из царства ночи, — Шометт, со временем получивший про-

звизе Анаксагора. Шометт уже появляется с своими медовыми речами в уличных группах, он уже более не юнга на высокой, головокружительной мачте, а медоречивый длиннокудрый народный трибун на тротуарных тумбах главных улиц и вместе с тем ловкий редактор, который поднимется еще выше — до самой виселицы. Клерк Тальен тоже сделался помощником редактора и будет главным редактором и кое-чем больше. Книгопродавцу Моморо, типографу Прюдому открываются новые сферы наживы. Колло д'Эрбуа, неистовствовавший как безумный в страстных ролях на сцене*, покидает подмостки, и его черная лохматая голова прислушивается к отзвукам мировой драмы: перейдет ли подражание в действительность? Жители Лиона¹¹, вы освистали его? Лучше бы вы рукоплескали!

* Намек на то, что Жан Мати Колло д'Эрбуа до революции был актером бродячей труппы и в Лионе потерпел провал.

Действительно, счастливы теперь все роды мимов, эти полуоригинальные люди! Напыщенное хвастовство с большей или меньшей искренностью (полная искренность не требуется, но чем искреннее, тем лучше), вероятно, поведет далеко. Нужно ли добавлять, что революционная среда становится все разреженнее, так что в ней могут плавать только все более и более легкие тела, пока, наконец, на поверхности удерживается один лишь пустой пузырь? Умственная ограниченность и необузданность, проворность и дерзость в сочетании с хитростью и силой легких — все это при удаче окажет великолепные услуги. Поэтому из всех поднимающихся классов более всего выдвигается, как мы видим, адвокатское сословие; свидетельство тому — такие фигуры, как Базир, Каррье, Фукье-Тенвиль, начальник судебных писцов Бурдон — более чем достаточно для доказательства. Фигуры, подобные этим, стая за стаяй поднимутся из таящих чудес лона ночи. О более глубоких, с самого низу идущих вереницах, еще не представших при свете дня перед изумленным оком, о вороватых снимателях нагара со свеч, плутах-лакеях, капуцинах без рясы, о массе Эберов, Анрио, Ронсенов и Россиньолей мы пока, возможно, умолчим.

Итак, во Франции все пришло в движение — физиологи назвали бы такое явление раздражимостью. И еще сильнее зашевелилось все то, в чем раздражимость перешла в жизнеспособность, в видимую активность и силу желания! Все находится в движении и стремится в Париж, если уже не находится там. Председатель Дантон становится все величественнее и могущественнее в своей секции Кордельеров*, его риторические образы «колоссальны». Энергия сверкает из-под его черных бровей, опасность исходит от всей его атлетической фигуры, звуки его громового голоса раскатываются под сводами. Этот человек, подобно Мирабо, обладает врожденным инстинктом предвидения и начинает понимать, куда ведет конституционализм, хотя испытывает совсем другие желания, чем Мирабо.

* Секция Кордельеров — одна из административных единиц города Парижа (позднее секция Французского театра).

Обратите, с другой стороны, внимание на то, что генерал Дюмурье покинул Нормандию и шербурские плотины, чтобы уехать — можно догадаться, куда. Со времени начала новой эры это его вторая, пожалуй даже третья, попытка в Париже; но на этот раз он относится к ней вполне серьезно, потому что отказался от всего другого. Это гибкий, как проволока, эластичный и неутомимый человек, вся жизнь которого была сплошным походом и сражением. Уж конечно он не был креатурой Шуазеля, а был, как он сам горячо говорил о себе на старости лет, «созданием Бога и своего меча». Человек, который атаковал под градом смертоносных орудий корсиканские батареи, выбрался неповрежденным из-под своей лошади при Клостеркампе в Нидерландах, хотя этому «препятствовали изогнутое стремя и девятнадцать ран», был непоколебим, грозен, отчаянно защищался на польской границе, интриговал, сражался и в кабинете, и на поле битвы, бродил безвестно на далеких окраинах в качестве разведчика короля, сидел в колодцах в Бастилии, фехтовал, писал памфлеты, составлял планы и воевал почти с самого рождения¹², этот человек достиг своей цели. Много испытал он гнета, но не был сломлен. Подобно в тюрьме заточенному духу, каким Дюмурье и был на самом деле, он рубил гранитные стены, стараясь освободиться, и высекал из них огненные искры. Не разбило ли теперь всеобщее землетрясение и его темницу? Что мог бы он сделать, будь он на двадцать лет моложе? Но теперь волосы его трону-

ты сединой, все его мысли сосредоточены на войне. Он больше не может расти, а новый мир вокруг него растет так стремительно. Назовем же его одним из «швейцарцев» без веры, желающим прежде всего работы и работы, безразлично, какая бы сторона ни предлагала ее. Ему дают дело, и он его исполнит.

Но не из одной только Франции, а из всех частей Европы толпы стекаются в Париж; так орлы слетаются на падаль. Посмотрите, как спешат сюда или уже здесь испанский гуцман Мартинико Фурнье, по прозвищу Фурнье-Американец*, и даже инженер Миранда с Анд. Валлонец Перейра похвально необыкновенным происхождением: как рассказывают, дипломат князь Кауниц** небрежно обронил его, как страусово яйцо, и судьба воспитала из него истребителя страусов! Еврейские или немецкие Фрей стряпают

* Фурнье (1745—1825), по прозвищу Американец, поселенец Сан-Доминго, вернулся во Францию в 1785 г., капитан роты Национальной гвардии округа Сент-Эстамп, принимал участие во всех событиях революции.

** Кауниц Венцель Антон, фон (1711—1794) — австрийский государственный деятель, с 1753 по 1792 г. — государственный канцлер Австрии.

свои дела в огромной луже ажиотажа, превратившего • все предприятие с ассигнациями в мертворожденную затею. Швейцарцу Клавьеру не удалось основать в Ирландии колонию социнианцев*, но несколько лет назад, остановясь перед министерским отелем в Париже, он произнес пророческие слова: будто бы ему на роду написано однажды стать министром, — сказав это, он расхохотался¹³. Зато швейцарец Паш с приглаженными волосами сидит скромненько; благодаря особому смирению и глубокомыслию он — предмет поклонения не только для своей улицы, но и для соседних. Сиди же, Тартюф, пока не понадобится! А вы, итальянцы Дюфурни, фламандцы Проли, спешите сюда, двуногие хищники! Пусть придет всякий, у кого горячая голова, чей необузданный ум подобен хаосу незрелости или руинам былого; всякий, кто не может стать известным или кто слишком известен, пусть придет, если он продается или даже если у него нет ничего, кроме алчности и красноречивого языка! И они приходят, все с горячими, невыразимыми желаниями в сердце, как пилигримы к чудодейственной святыне. И сколько их приходит, праздных бродяг, не имеющих цели, — а в Европе их великое множество — только для того, чтобы прийти к чему-нибудь. Так потревоженные ночные птицы летят на свет... Здесь сейчас и барон Фридрих Тренк***; растерянный и точно ослепленный, он прибыл сюда из магдебургских казематов. Потеряв вместе с пещерами Минотавра и свою Ариадну, он продает, как это ни покажется странным, вино, но не в бутылках, а в бочонках.

* Социнианцы — последователи рационалистической социнианской секты, возникшей в XVII в. в Швейцарии.

*** Фридрих фон Тренк (1726—1794) — прусский авантюрист. Был офицером-ординарцем Фридриха II. Во время Французской революции находился в Париже, где выполнял тайные поручения венского двора. Был обвинен в шпионаже и гильотинирован.

Не осталась без миссионеров и Англия.

Она отрядила Нешема, которому «за спасение погибающих» была торжественно вручена «гражданская шпага», с тех пор давно изъеденная ржавчиной; Пейна*, мятежного корсетника, который, несмотря на свою нечесаную голову, полагает, что он, простой портной, своим памфлетом о «здоровом смысле» освободил Америку и что он может освободить и освободит весь земной шар, а может быть, и другие миры. Конституционная ассоциация Прайса и Стэнхопа** посылает поздравления¹⁴ Национальному собранию, которое торжественно приветствует их, хотя они представляют только Лондонский клуб, на который Бёрк и тори смотрят искоса.

* Томас Пейн (1737—1809) — общественный и политический деятель США; родился в Англии, эмигрировал в Америку, присоединился к борцам за независимость, в 1776 г. опубликовал знаменитый антимонархический памфлет «Здравый смысл». Вернувшись в Англию, вступил в резкую полемику с Бёрком по поводу Французской революции. Был провозглашен гражданином Франции, избран членом Конвента, поддерживал политику жирондистов.

** Стэнхоп Чарльз (1753—1866) — английский политический деятель.

Придется ради нашего Отечества упомянуть кстати или некстати и о тебе, кавалер Джонс Поль, В полинялом морском мундире Поль Джонс мелькает здесь, похожий на винный

мех, из которого вытянуто все вино, и напоминающий скорее свой собственный призрак. Его некогда столь шумливый характер теперь почти совсем изменился, его едва слышно, да и то лишь, к крайней досаде, в министерских передних и кое-где в благотворительных столовых, куда его приглашают в память о прошлом. Какие перемены, какие восхождения и падения! Теперь, бедный Поль, ты не смотришь в раздумье, стоя у подошвы родного Криффеля, через Солвейскую бухту на синеющие горы Кумберленда и в голубую беспредельность. Окруженный достатком и простодушной сердечностью, ты, юный безумец, стремился уйти от этого как можно дальше или даже покинуть навсегда. Да, за сапфировым мысом, который люди называют Сент-Бис и который вблизи оказывается не из сапфира, а из обычного песчаника, лежит другой мир. Познаешь его и ты! С далекой гавани Уайт поднимаются дымные зловещие облака, но даже они не служат тебе предостережением. Гордый Форт дрожит перед вздувающимися парусами — лишь бы только ветер не переменялся внезапно. Возвращающиеся домой жнецы из Флембора останавливаются на холме: что это за серное облако, туманящее гладкую поверхность моря, серное облако, из которого вдруг прорываются снопы огня? Это петушинный бой на море, и один из самых жарких, в котором британский *Sérapis* и франко-американский *Bon Homme Richard* клюют и душат друг друга, каждый по-своему; и вот, храбрость отчаяния душист храбрость обдуманную, и Поль Джонс тоже причисляется к королям моря.

Вслед за тем с тобой, Поль, знакомятся Черное море, воды Меотии, длиннополые турки, а твой пламенный дух бесцельно истощался в тысяче противоречий. Ибо разве в чужих странах, у пурпуровых Нассау-Зигенов, у грешных императриц Екатерин не разбиваются сердца, точно так же как дома у простых людей? Бедный Поль! Голод и уныние сопровождают твои усталые шаги; один или, самое большее, два раза всплывает твоя фигура на фоне общей сумятицы революции, немая, призрачная, подобно «тускло мерцающей звезде». А затем, когда твой свет окончательно погас, национальный законодательный корпус награждает тебя «торжественными похоронами!» Погребальный звон родной пресвитерианской церкви и шесть футов шотландской земли возле праха близких доставили бы тебе столько же удовольствия. Вот каков был мир, лежавший за мысом Сент-Бис. Такова жизнь грешного человечества на земле.

Но из всех иностранцев самый заметный — барон Жан Батист де Клоотс, или — откинув все имена, данные при крещении и полученные по феодальному праву, — гражданин мира Анахарсис Клоотс из Клеве. Заметь его, добросовестный читатель! Ты знал его дядю, прощательного, острого Корнелия де Пау, безжалостно разрушающего все дорогие иллюзии и из благородных древних спартанцев делающего современных головорезов Майнотов^{15*}. Из того же материала создан и Анахарсис, сам подобный раскаленному металлу, полному шлаков, которые должны были выплавиться из него, но так и не выплавятся. Он прошел нашу планету по суше и по воде, можно сказать, в поисках давно, утерянного рая. В Англии он видел англичанина Бёрка; в Португалии его заметила инквизиция; он странствовал, сражался и писал; между прочим, написал «Доказательства в пользу магометанской религии». Но теперь, подобно своему крестному отцу, скифу, он является в Париж-Афины, где находит наконец пристанище для своей души. Это блестящий человек, желанный гость на патриотических обедах, весельчак, даже юморист, опрометчивый, саркастичный, щедрый, прилично одетый, хотя ни один смертный не обращал меньше его внимания на свой костюм. Под всяким платьем Анахарсис прежде всего ищет человека; даже столпник Марат не мог бы взирать с большим пренебрежением на внешнюю оболочку, если в ней не заключается человек. Убеждение Анахарсиса таково: есть рай, и его можно открыть, под всяким платьем должен быть человек. О Анахарсис, это безрассудная поспешная вера. С него ты быстро поскачешь в город Никуда — и достигнешь его наверно. В лучшем случае ты прибудешь туда с хорошей посадкой, а это, конечно, уже что-то.

* Майноты — одно из племен Пелопоннеса, весьма не чуждое морскому разбою.

Сколько новых людей и новых вещей появилось, чтобы завладеть Францией! Ее Древняя речь, мысль и связанная с ними Деятельность, полностью изменяясь и бурля, стремится к неведомым целям. Даже самый глупый крестьянин, вялый от усталости, сидя вечером у своего очага, думает лишь об одном: о сожженных замках и о замках, которые еще можно сжечь. Как изменились кофейни в провинции и в столице! Посетителям «Antre de Procоре» предстоит теперь решать другие вопросы, помимо трех единств Стагирита*, и видеть перед собою не театральную, а мировую борьбу. Здесь спорят и ссорятся манерно завитые логики со старыми фило-

софами в париках с косичками или с современными прическами à la Brutus, и хаос играет роль судьи. Вечная мелодия парижских салонов получила новый лейтмотив, такой же вечный, который слышало небо уже во времена Юлиана Отступника** и еще раньше и который звучит теперь так же безумно, как и прежде.

Здесь же можно увидеть и экс-цензора Сюара — экс-цензора, потому что у нас теперь свобода печати; он беспристрастен, даже нейтрален. Тиран Гримм*** делает большие глаза, гадая о таинственном грядущем. С трудом подбирая слова, издает похожие на карканье звуки атеист Нежон, любимый ученик Дидро, возвещая наступление зари нового, счастливого времени¹⁶. Но с другой стороны, сколько лиц, подобно Морелле и Мармонтелю, всю жизнь высиживавших философские яйца, теперь почти в отчаянии, квохчут над птенцами, которых они вывели!¹⁷ Так восхитительно было развивать свои философские теории в салонах и получать за это восхваления, а теперь ослепленный народ не желает больше довольствоваться спекулятивным мышлением, а стремится перейти к практике!

* Стагирит — Аристотель. Три единства — имеется в виду единство места, времени и действия.

** Флавий Клавдий Юлиан — римский император с 361 по 363 г., стремился возродить языческий культ на основе учения неоплатоников. Попытки Юлиана ввести суровые ограничения для христиан встретили ожесточенное сопротивление христианской церкви и не смогли остановить распространения христианства.

*** Гримм Фридрих Мельхиор (1723—1807) — один из французских энциклопедистов, друг Дидро; немец по происхождению, писавший только по-французски, с 1776 г. дворянин и барон. Известен своими письмами о литературной жизни Франции, которые он писал ряду европейских монархов, в том числе Екатерине II. После Французской революции бежал в Германию.

Отметим в заключение наставницу Жанлис*, или Силлери-Жандис, так как наш супруг одновременно и граф и маркиз и у нас более одного титула! Эта претенциозная болтушка, пури-танка, но неверующая, облакает свои советы в туманные фразы, лишённые и тени мудрости. Поскольку Силлери-Жанлис действует в изящной среде сентименталистов и выдающихся женщин, она желала бы быть искренней, но не может подняться выше показной искренности; показной искренности во всем, переходящей в ханжество. В настоящее время она носит на довольно еще белой шее как украшение миниатюру Бастилии из простого песчаника, но зато из настоящего бастильского песчаника. Г-н маркиз является одним из агентов герцога Орлеанского в Национальном собрании и в других местах. Г-жа Жанлис, с своей стороны, воспитывает молодое поколение Орлеанов в отменнейшей нравственности, однако сама может дать лишь загадочные ответы относительно происхождения прелестной мадемуазель Памелы, которую она удочерила. Таким образом, она появляется в салонах королевского дворца, куда, заметим кстати, невзирая на Лафайета, возвратился после своей английской «миссии» и герцог Орлеанский; по правде сказать, не особенно приятной миссии, потому что англичане не хотели даже говорить с ним. И святая Ханна Моор английская, так мало похожая на святую Силлери-Жанлис французскую, видела, как в саду Вокзала его избегали точно зачумленного¹⁸, причем его бесстрастное иссиня-красное лицо едва ли стало на одну тень синее.

* Госпожа Жанлис (1746—1830) — воспитательница детей герцога Филиппа Орлеанского (Эгалите), автор нескольких нравоучительных романов и книги мемуаров.

Глава четвертая

ЖУРНАЛИСТИКА

Что касается конституционализма с его национальными гвардейцами, то он делает что может, и дела у него достаточно: одной рукой он должен делать убедительные знаки, сдерживающие патриотов, а другую сжимать в кулак, угрожая роялистским заговорщикам. В высшей степени щекотливая задача, требующая большого такта.

Так, если сегодня Друг Народа Марат получает приказ об аресте (prise de corps) и исчезает со сцены, то завтра его отпускают на свободу и даже поощряют, как цепную собаку, лай которой может быть полезен. Председатель Дантон громовым голосом открыто заявляет, что в случаях, подобных случаю Марата, «на силу надо отвечать силой». В ответ на это начальство тюрьмы Шатле издает приказ об аресте Дантона; однако весь округ Кордельеров отвечает на него вопросом: найдется ли констебль, который согласился бы выполнить такой приказ? Шат-

ле еще дважды издает приказ о его аресте, и оба раза напрасно: тело Дантона не может быть схвачено тюрьмой Шатле; Дантон остается на свободе и увидит еще, хотя ему и придется на время бежать, как сам Шатле полетит в преисподнюю.

Тем временем муниципалитет и Бриссо далеко подвинулись с составлением своей муниципальной конституции. Шестьдесят округов превращаются в сорок восемь отделений; многое должно еще быть улажено, чтобы Париж получил свою конституцию. Она всецело основана на выборном начале, на котором должно быть основано и все французское правительство. Однако в нее проник один роковой элемент, это *citoyen actif* — активные граждане. Всякий не платящий *marc d'argent*, или годовой налог, равный трехдневному заработку, может быть только пассивным гражданином и не имеет права голоса, хотя бы он круглый год доказывал свою активность топором и молотком. «Неслыханное дело!» — вопят патриотические газеты. Да, в самом деле, мои друзья-патриоты, если свобода, о которой молят сердца всех людей, означает лишь право посылать в национальный клуб для дебатов вашу одну пятидесятитысячную часть нового фехтовальщика словами, тогда, да будут боги свидетелями, о ней не стоит молить. О, если действительно это благо — свобода — находилось в национальном Палавере (как называют африканцы), то какой тиран решился бы исключить из него хотя бы одного сына Адама? Почему бы не основать женский парламент, в котором слышался бы «визг со скамей оппозиции» или из которого «достопочтенного члена выносили бы в истерике». Я охотно согласился бы и на детский парламент, даже на парламент грудных младенцев, если угодно. Возлюбленные братья! Ведь, пожалуй, свобода, как говорили древние мудрецы, действительно обитает только на небе. Просвещенная публика, где, вы думаете, храбрая г-жа де Сталь (не дочь Неккера, а другая, умнее ее) нашла на этой планете наибольшее приближение к свободе? По зрелом размышлении она отвечает с холодным спокойствием Дильворта: «В Бастилии»¹⁹. Небесной? — спрашивают многие с сомнением. Горе, что они еще спрашивают, ибо в этом и заключается истинное несчастье. «В небесной» — это много значит; это, быть может, означает участие в национальном Палавере, а может быть, и совсем не то.

Есть одна ветвь санкюлотизма, которая не может не расцвести, — это журнализм. Ведь глас народа — это глас Божий, а разве может божественный голос не сделаться слышным? Слышным во всех концах Франции и на стольких же языках, как при постройке первой Вавилонской башни! Некоторые голоса громки, как рычание льва, другие тихи, как воркование голубя. Сам Мирабо имеет одну или несколько поучительных газет, в которых работают женевские сотрудники; при этом у него бывает немало столкновений с г-жой Леже, его издательницей, хотя в остальном она очень сговорчива²⁰.

Друг короля Руаю продолжает печататься. Барер проливает слезы ложной сентиментальности в газете «Заря», несмотря на понижающуюся розницу. Но почему же Фрерон так горяч и демократичен, Фрерон, племянник друга короля? Эта горячность досталась ему по наследству: его произвела на свет оса Фрерон, Frelon Вольтера, который продолжал жалить, хотя только в качестве обозревателя и на макулатурной бумаге, пока у него еще было жало и ядовитая желёзка. Констан издает полезный «Moniteur», освещая им, как фонарем, ночной мрак. «Moniteur» теперь ежедневная газета, с фактами и немногими комментариями, официальный орган, придерживающийся безопасной середины. Его главные редакторы давно уже с возвратом или безвозвратно канули в глубокий мрак. Терпкий Лустало, с терпкостью зеленого терна, никогда не созреет, а умрет преждевременно; но его Прюдом не даст умереть «*Révolutions de Paris*», а будет издавать их сам наряду со многим другим, хотя сам он скучный, напыщенный писака.

О Кассандре-Марате мы говорили уже часто, хотя самую поразительную истину еще остается сказать; а именно что он не лишен здравого смысла, и даже из его хриплой, каркающей глотки исходит множество истин о различных предметах. Иногда можно бы подумать, что он воспринимает юмор и посмеивается в глубине души. Камиль остроумнее, чем когда-либо, свободнее, циничнее, но и веселее, чем раньше. Жизнерадостная, гармоничная натура, он «рожден для писания стихов», как скажет сам со временем с горькими слезами, это — лучезарный Аполлон, ярко, но кротко сияющий в этой титанической борьбе, в которой ему не суждено победить!

Сложенные и продаваемые в розницу газеты имеются во всех странах, но в журналистской среде, подобной французской, можно ожидать новых и весьма своеобразных видов их. Что скажет английский читатель о газете-плакате «*Journal-Affiche*», которая привлекает взгляд

издалека всеми цветами спектра и которую может читать даже тот, у кого нет И полпенни на покупку настоящей газеты? Множество таких газет вывешивается в последующие месяцы, ведь общественные и частные патриотические собрания открываются в огромном количестве и могут собирать деньги по подписке; это листы, наклеенные листы, выставяемые для ловли того, что попадется! Даже правительство имеет свою намазанную клеем газету; Луве, занятый теперь новой «прелестной повестью», будет писать «Sentinelles» и расклеивать ее с успехом; а Бертран де Мольвиль, находясь в крайней нужде, попытается устроить это еще хитрее²¹. Журналистика — это великая сила. Разве каждый способный редактор не является властителем мира, обладая возможностью убеждать его, властителем, хотя и самозванным, но санкционируемым количеством распродаваемых им номеров? Правда, публика имеет самый действенный способ низложить его: стоит только не покупать его газеты, и он умрет с голоду.

Не следует также слишком низко оценивать деятельность расклеивателей газет в Париже, их около шестидесяти человек, все вооружены шестами с перекладинами, ранцами, горшками с клейстером и снабжены даже жестяными бляхами, ведь они имеют разрешение муниципалитета. Это священная коллегия, собственно, глашатаи властителей мира, хотя в только зарождающейся и еще грубой эре они не почитаются как таковые. Они сделали стены Парижа учающими, убеждающими благодаря постоянному притоку свежей периодики, которую мог читать всякий прохожий; плакаты-газеты, плакаты-пасквили, распоряжения муниципалитета, королевские манифесты и, кроме того, масса прочих обычных афиш — какой богатый материал, если только обращать на него внимание! Что за неслыханные вещи рассказывали эти стены в течение пяти лет! Но все это прошло, сегодняшний день поглотил вчерашний и сам в свою очередь поглощается завтрашним, как всегда бывает с произнесенным словом. Да и что такое литература, о ты, бессмертный писатель, как не слова, сохраненные лишь на некоторое время? Плакаты сохраняют их в течение одного дня, некоторые книги — в течение десяти лет, иные даже в течение трех тысяч лет, но что происходит потом? Потом, когда годы прошли, произведение умирает, и мир освобождается от него. О, если бы в слове человеческом, как и в самом человеке, не жил дух, который переживает слышимое, воплотившееся слово и стремится вечно к Богу или дьяволу, то зачем бы человек стал так беспокоиться из-за истинности или ложности его, если только не ради коммерческих соображений? Но разве вопрос, бессмертно ли слово и проживет ли оно половину или полторы человеческих жизни, не важен? Бессмертие, смертность... Великий Фриц прогнал однажды несколько беглецов обратно на поле сражения словами: «R —, wollt ihr ewig leben?» (Подлецы, жалкие подонки, разве вы хотите жить вечно?)

Таков новый способ делиться мыслями. Какое счастье, если у тебя есть чем поделиться! Но не следует пренебрегать при случае и старыми, более простыми способами. Палатку у королевского дворца убрали деспотические патрули — могут ли они так же убрать человеческие легкие? Мы видели Анаксагора-Шометта стоящим на тротуарных тумбах в то время, когда помощник редактора Тальен сидел за своей конторкой и работал. В каждом углу цивилизованного мира можно опрокинуть бочку, на которую влезет членораздельно говорящее двуногое существо. Даже при находчивости можно, за деньги или ласковое слово, достать переносные козлы или складной стул, которые перипатетический* оратор заберет в свои руки. Изгнанный в одном месте, он перейдет на другое, кротко сказав, подобно мудрецу Бианту: «Omnia mea mecum porto»**.

* От греч. *peripatèō* — прохаживаюсь. Перипатетическая школа (Ликей) — философская школа в Афинах, основанная Аристотелем, который во время чтения лекции прогуливался в Ликее со своими слушателями.

** «Все мое ношу с собой». Изречение, приписываемое греческому философу Бианту (VI в. до н. э.).

Таким образом, журнализм говорит, разносится, расклеивается. Какая перемена с тех пор, как старик Метра гулял по этому самому Тюильрийскому саду в раззолоченной треуголке, держа газету перед носом или небрежно сложенной за спиной! «Метра-газетчик был достопримечательностью Парижа»²², и сам Людовик говорил: «Qu'en dit Métra» (как говорит Метра). Какая перемена с тех пор, как в Венеции первый газетный листок был продан за грош — *gazza* — и получил название *Gazzete*! Наш мир отличается плодovitостью!

Глава пятая

КЛУБЫ

Если сердце переполнено, то по тысяче причин и тысячью путями оно старается войти в общение с другими. Как сладостно и необходимо в таких случаях единение, потому что в единении душа мистически укрепляет душу! Вдумчивые германцы, по мнению некоторых, полагали, что энтузиазм в общем означает только чрезвычайную потребность в соединении с себе подобными, отсюда и произошло слово «Schwärmerey» или «Schwarming» (рой, толпа). Как бы то ни было, а разве мы не видим, как тлеющие, полупотухшие головни, сложенные вместе с другими, такими же, вспыхивают ярким белым пламенем?

В описываемой нами Франции общественные собрания неизбежно должны множиться и крепнуть. Французская жизнь стремилась выйти наружу, из домашней превратиться в общественную, клубную жизнь. Старые, уже существовавшие клубы разрастаются и процветают; новые возникают повсюду. Это верный признак общественного беспокойства, которое таким путем неминуемо выходит наружу, находит успокоение и новую пищу для себя. В голове всякого француза, полной ужаса или надежды, носится теперь пророческая картина будущей Франции: пророчество, несущее с собою исполнение и даже почти уже осуществившееся и во всяком случае, сознательно или бессознательно, заставляющее действовать в соответствующем направлении.

Заметим, что стремление к единению, если только оно достаточно глубоко, усиливается в геометрической прогрессии; весь мир превращается в это творческое время в клубы, и один какой-нибудь клуб, самый сильный или счастливый, благодаря дружеской привлекательности или победоносной властности становится все сильнее, пока не достигнет огромного могущества; тогда он любовно принимает в себя все остальные клубы с их силой или враждебно уничтожает их. Это происходит, когда дух клубов становится всеобщим, когда время действительно полно творчества. Это время достаточно проникнуто творчеством, и жажда общения повсеместна, поэтому не может не образоваться и такого всепоглощающего, высшего клуба.

Какой прогресс со времени первого появления Бретонского комитета! Он долго действовал втайне, но не без энергии; переселился вместе с Национальным собранием в Париж и назвал себя клубом; затем, вероятно, из подражания великодушным членам английского клуба Прайс — Стэнхоп, пославшим в Париж делегатов с поздравлениями, переименовался во Французский революционный клуб, но вскоре принял более оригинальное название Клуба друзей конституции. Затем он нанял за дешевую плату зал Якобинского монастыря, одно из наших «лишних помещений», и начал в эти весенние месяцы изливаться оттуда свет на восторженный Париж. И вот мало-помалу под более коротким популярным названием Клуба якобинцев он сделался памятным на все времена и во всех странах. Заглянем внутрь: на прочных, но скромных скамьях сидят не менее тысячи трехсот избранных патриотов и немало членов Национального собрания. Здесь мы видим Барнава, обоих Ламетов, иногда Мирабо и всегда Робеспьера, хищное лицо Фулье-Тенвиля с другими адвокатами, Анахарсиса из прусской Скифии* и смешанную компанию патриотов; все это пока чисто умыто, прилично, даже исполнено достоинства. Имеются и место для председателя, и председательский звонок, и высокая ораторская трибуна, и галерея для посторонних, где сидят и женщины. Не сохранило ли какое-нибудь общество любителей французской старины написанный договор о найме зала Якобинского монастыря? Или он стал жертвой еще более несчастного случая, чем постигший Великую хартию вольностей, изрезанную кощунственной рукой портного? Для мировой истории это не безразлично.

Друзья конституции собрались, как указывает само их название, главным образом для того, чтобы наблюдать за выборами, когда последние наступят, и доставлять подходящих людей; но в то же время и для того, чтобы совещаться об общем благе, дабы оно не потерпело какого-либо ущерба, и, однако, пока еще не видно, каким образом это будет делаться. Потому что, когда двое или трое соберутся где-нибудь — за исключением церкви, где все вынуждены к пассивному состоянию, — то ни один смертный, и они сами в том числе, не сможет сказать точно, для чего они собрались. Как часто оказыва-

* Карлейль хочет этим сказать, что Ж.-Б. Клоутс, бывший прусский подданный, прибыл во Францию подобно легендарному скифу Анахарсису, в поисках мудрости посетившему Афины.

лось, что початая бочка приводила не к веселью и дружеским изливаниям, а к дуэли и проламыванию голов и предполагавшийся праздник превращался в праздник лапифов*! Клуб якобинцев, вначале казавшийся таким лучезарным и олицетворявшийся с новым небесным светилом, которому предназначено просветить народы, должен был, как и все на свете, пройти уготованные ему этапы. К несчастью, он горел все более и более тусклым, мерцающим пламенем, распространяя серный запах, и исчез наконец в изумленном небе, подобный знамени преисподней и зловеще пылающей темнице осужденных духов. Каков стиль их красноречия? Радуйся, читатель, что ты не знаешь его и никогда не узнаешь в совершенстве. Якобинцы издавали «Журнал дебатов», где всякий, у кого хватит духа просмотреть его, найдет страстное, глухо рокоचущее патриотическое красноречие, непримиримое, бесплодное, приносящее только разрушение, что и было его задачей, крайне утомительной, хотя и весьма опасной. Будем благодарны за то, что забвение многое покрывает, что любая мертвечина в конце концов закапывается в зеленое лоно земли и даже делает его еще гуще и зеленее. Якобинцы похоронены, дело же их осталось и даже продолжает «совершать кругосветное путешествие» по мере возможности. Еще недавно, например, его можно было видеть с обнаженной грудью и сверкающими презрением к смерти глазами у Мисолонгиона в Греции**. Не странно ли, что сонная Эллада была разбужена и приведена в состояние сомнамбулизма, которое затем сменится полным бодрствованием, лишь одним голосом с улицы Сekt-Оноре? Все умирает, как мы часто говорили; не умирает только дух человеческий, дух его поступков. Разве, например, не исчез с лица земли самый дом

* Лапифы (греч.) — мифическое племя, жившее в Фессалии и неоднократно воевавшее с кентаврами.

** Мисолонгион — город в Греции, центр национального сопротивления греков во время национально-освободительной войны 1821—1829 гг.

якобинцев и едва сохраняется в памяти немногих стариков. На его месте рынок Сент-Оноре, и там, где некогда глухо рокочущее красноречие, подобно трубному гласу Страшного суда*, потрясало мир, происходит мирная торговля птицей и овощами. Сам священный зал Национального собрания стал общественным достоянием, и по тому месту, где находилась платформа председателя, разъезжают телеги и возы с навозом, потому что здесь проходит улица Риволи. Поистине, при крике петуха (какой бы петух ни кричал) все видения исчезают и растворяются в пространстве. Парижские якобинцы составили Société «Mère» (Общество «Мать») и имели не менее «трехсот» пронзительно кричащих дочерей, находящихся в «постоянной переписке» с ними. А состоящих не в прямой связи — назовем их внучками или дальними родственницами — они насчитывали «сорок четыре тысячи». Но сейчас упомянем лишь о двух случаях: первый из них совершенно анекдотичен. Однажды вечером двое братьев-якобинцев стоят на страже у дверей, так как все члены клуба занимают этот почетный и служебный пост поочередно, и не пропускают никого без билетов; один привратник был достойный съёр Лаис, пожилой уже, патриотически настроенный оперный певец, горло которого давно смолкло, не достигнув успеха; другой — юноша по имени Луи-Филипп, первенец герцога Орлеанского, недавно, после необычайных превратностей судьбы, сделавшийся гражданином королем и старающийся поцарствовать поболее**. Всякая плоть похожа на траву, это или высокая осока, или стелющаяся травка.

* В монотеистических религиях (христианство, ислам, иудаизм) последнее судилище, которое должно определить судьбы грешников и праведников.

** Луи-Филипп (герцог Шартрский) в начале Французской революции вступил в Клуб якобинцев и в Национальную гвардию. Оказавшись замешанным в контрреволюционном заговоре (1792 г.), бежал из Франции и вернулся лишь при Реставрации (1817 г.). В 1830—1848 гг. — король Франции.

Второй факт, который мы хотим отметить, есть факт исторический, а именно что центральное Якобинское общество, даже в свой самый блестящий период, не может удовлетворить всех патриотов. Ему приходится уже, так сказать, стряхивать с себя два недовольных роя: справа и слева. Одна партия, считающая якобинцев слишком умеренными, учреждает Клуб кордельеров*; это более горячий клуб, родная среда Дантона, за которым следует Демулен. Другая же партия, напротив, считает якобинцев чересчур горячими и отпадает направо. Она становится Клубом 1789 года, друзей монархической конституции. Впоследствии их назовут Клубом фей-

янов, потому что они собирались в Фейянском монастыре. Лафайет стоит или встанет во главе их, поддерживаемый всюду уважаемыми патриотами и массой собственников и интеллигенции; стало быть, клуб этот имеет самое блестящее будущее. В июньские дни 1790 года они торжественно обедают в королевском дворце при открытых окнах, под ликующие крики народа, с тостами и вдохновляющими песнями, из которых одна по крайней мере самая слабая из всех когда-либо существовавших²³. И они также будут в свое время изгнаны за пределы Франции, в киммерийский мрак**.

* Клуб кордельеров — один из самых массовых демократических клубов Французской революции, связанный с народными массами, помещался в старом монастыре нищенствующего монашеского ордена кордельеров.

** Киммерия — легендарное царство мрака и тумана («Одиссея»).

Другой клуб, называющий себя монархистским или роялистским, Club des Monarchiens, несмотря на имеющиеся у него обширные фонды и обитые парчой диваны в зале заседаний, не встречает даже временного сочувствия; к нему относятся с насмешкой и издевательски, и наконец спустя недолгое время однажды вечером, а может быть и не однажды, изрядная толпа патриотов врывается в него и своим ревом заставляет его покончить это мучительное существование. Жизнеспособным оказывается только центральное Якобинское общество и его филиалы. Даже кордельеры могли, как это и было, вернуться в его лоно, где бушевали страсти.

Фатальное зрелище! Не являются ли подобные общества началом нового общественного строя? Не есть ли это стремление к соединению — централизующее начало, которое начинает снова действовать в обветшалом, треснувшем общественном организме, распадающемся на мусор и изначальные атомы?

Глава шестая

КЛЯНУСЬ!

Не удивительно ли, что при всех этих знамениях времени преобладающим чувством во всей Франции была по-прежнему надежда? О благословенная надежда, единственное счастье человека, ты рисуешь прекрасные широкие ландшафты даже на стенах его тесной тюрьмы и ночной мрак самой смерти превращаешь в зарю новой жизни! Ты несокрушимое благо для всех людей в Божьем мире: для мудрого — хоругвь Константина, знамение, начертанное на вечных небесах, с которым он должен победить, потому что сама борьба есть победа; для глупца — вековой мираж, тень тихой воды, отпечатывающаяся на растрескавшейся земле и облегчающая его паломничество через пустыню, делая путь возможным, приятным, хотя бы это был и ложный путь.

В предсмертных судорогах погибающего общества надежда Франции видит лишь родовые муки нового, несказанно лучшего общества и поет с полной убежденностью веры бодрящую мелодию, которую сочинил в эти дни какой-нибудь вдохновенный уличный скрипач, например знаменитое «Ça ira!»*. Да, «пойдет», а когда придет? Все надеются; даже Марат надеется, что патриотизм возьмется за кинжалы и муфты. Не утратил надежд и король Людовик: он надеется на счастливый случай, на бегство к какому-нибудь Буйе, на будущую популярность в Париже. Но на что надеется его народ, об этом мы можем судить по факту, по целому ряду фактов, которые теперь будут сообщены.

* «Пойдет!», «Наладится» — начальные слова песенки, зародившейся во время народных празднеств 14 июля 1790 г.

Бедный Людовик, доброжелательный, однако не обладающий ни интуицией, ни решимостью, должен на своем негладком пути следовать тому знаку, который, быть может, будет подан ему тайными роялистами, официальными или тайными конституционалистами, смотря по тому, чему в этом месяце отдает предпочтение ум короля. Если бегство к Буйе и (страшно подумать!) обнаженный меч гражданской войны пока лишь зловеще вырисовываются на горизонте, то не реальнее ли существование тех тысячи двухсот королей, которые заседают в зале Ма-

нежа?! Неподконтрольных ему, но тем не менее не проявляющих непочтительности. Если бы только доброе обращение могло дать хороший результат, насколько лучше это было бы вооруженных эмигрантов, туринских интриг* и помощи Австрии! Но разве эти две надежды несовместимы? Поездки в предместья, как мы видели, стоят мало, а всегда приносили виваты²⁴. Еще дешевле доброе слово, много раз уже отвращавшее гнев. Нельзя ли в эти быстротечные дни, когда Франция вся распадается на департаменты, духовенство преобразуется, народные общества возникают, а феодализм и многое другое готовы броситься в плавильный тигель, — нельзя ли испытать это средство еще раз?

* После событий 5—6 октября 1789 г., когда усилилось бегство придворной аристократии, дворянства и князей церкви, в Турине, а с 1791 г. в Кобленце, вблизи французской границы, сложился центр контрреволюционной эмиграции, возглавляемый графом д'Артуа, братом Людовика XVI.

И вот, 4 февраля М. le Président читает Национальному собранию собственноручное короткое послание короля, возвещающее, что Его Величество пожалует в Собрание без всякого церемониала, вероятно, около двенадцати часов. Подумайте-ка, господа, что это может значить, в особенности подумайте, нельзя ли нам как-нибудь украсить зал? Секретарские конторки можно удалить с возвышения, на кресло председателя накинуть бархатное покрывало «лилового цвета, затканное золотыми лилиями». М. le Président, конечно, предварительно имел частные свидания и посоветовался с доктором Гильотеном. Затем, нельзя ли разостлать «кусочек бархатного ковра» такого же рисунка и цвета перед креслом, на том месте, где обычно сидят секретари? Так посоветовал рассудительный Гильотен, и результат находят удовлетворительным. Далее, так как Его Величество, несмотря на бархат и лилии, вероятно, будет стоять и совсем не сядет, то и председатель ведет заседание стоя. И вот, в то время как какой-нибудь почтенный член обсуждает, скажем, вопрос о разделе департамента, капельдинеры провозглашают: «Его Величество!» Действительно, входит король с небольшой свитой; почтенный член клуба оставившись на полуслове; Собрание встает: «почти все» тысяча двести «королей» и галереи верноподданническими возгласами приветствуют Восстановителя французской свободы. Речь короля в туманных условных выражениях сводится главным образом к следующему: что он более всех французов радуется тому, что Франция возрождается, и уверен в то же время, что присутствующие здесь поведут это дело с осторожностью и не будут возрождать страну слишком круто. Вот и вся речь Его Величества; вся ловкость заключалась в том, что он пришел, сказал ее и ушел.

Разумеется, только исполненный надежд народ мог что-либо на этом выстроить. А чего только он не построил! Сам факт, что король говорил, что он добровольно пришел поговорить с депутатами, производит необыкновенно ободряющее впечатление.

Разве сияние его королевского лица, подобного пучку солнечных лучей, не смягчило все сердца в верховном Собрании, а с ними и во всей легко воспламеняющейся, воодушевленной Франции? Счастливая мысль послать «благодарственную депутацию» принадлежала только одному человеку, попасть же в такую депутацию выпал жребий немногим. Депутаты отправились и вернулись в восторге от необычайной милости: их приняла и королева, держа за руку маленького дофина. Наши сердца все еще горят пылкой благодарностью, и вот другому приходит мысль о еще большем блаженстве: предложить всем возродить национальную клятву.

Счастливым, достопочтенным членом клуба! Редко слово было сказано более кстати; теперь он — волшебный кормчий всего Национального собрания, изнемогавшего от желания что-нибудь сделать, кормчий и всей взирающей на Собрание Франции. Председатель клянется и заявляет, что каждый должен поклясться внятным «Je le jure!» (Клянусь!). Даже галерея посылает ему вниз подписанный листок с клятвой, и, когда Собрание бросает взгляд наверх, галерея вся встает и еще раз клянется. А затем, представьте себе, как в городской Ратуше Байи, принесший знаменитую клятву в Зале для игры в мяч, под вечер клянется вновь вместе со всеми членами муниципалитета и главами округов. «Дантон дает понять, что публика охотно приняла бы в этом участие»; тогда Байи в сопровождении эскорта из двенадцати человек выходит на главное крыльцо, успокаивает движением руки волнующуюся толпу и при громе барабанов и потрясающих небеса криках принимает от нее великую клятву. На всех улицах счастливый народ со слезами и огнем в глазах добровольно «образует группы, в которых все друг перед

другом приносят ту же клятву», и весь город в иллюминации. Это было 4 февраля 1790 года — день, который должен быть отмечен в анналах конституции.

Но иллюминация зажигается не только в этот вечер, а повторяется, вся или по частям, в течение целого ряда вечеров, потому что избиратели каждого округа приносят клятву отдельно и каждый округ освещается особо. Смотрите, как округ за округом собирается на каком-нибудь открытом месте, где неизбирающий народ может смотреть и присоединиться, и, подняв правую руку, под барабанную дробь и бесконечные крики «ура» ставших свободными граждан кричат: «Je le jure!» — и обнимаются. Какое поучительное зрелище для всякого еще существующего деспота! Верность королю, закону, конституции, которую вырабатывает Национальное собрание, — так гласит клятва.

Представьте, например, как университетские профессора маршируют по улицам с молодежью Франции и шумно, восторженно приносят эту клятву. При некотором напряжении фантазии развейте должным образом эту коротенькую фразу. То же самое повторялось в каждом городе и округе Франции! Даже одна патриотка-мать в Ланьоне, в Бретони, собрала вокруг себя своих десятерых детей и престарелой рукой заставляет их принести клятву. Великодушная, почтенная женщина! Обо всем этом, конечно, Национальное собрание должно быть уведомлено в красноречивых словах. Целых три недели непрерывных клятв! Видел ли когда-нибудь солнце этот клянущийся народ? Не были ли все они укушены тарантулом клятв? Нет, но все это люди и французы; они полны надежды, и, странно сказать, они веруют, хотя бы только в Евангелие Жан Жака. О братья, да будет угодно небу, чтобы все совершилось так, как вы думаете и клянётесь! Но существуют любовные клятвы, которые, хотя бы они были истинны, как сама любовь, не могут быть исполнены, не говоря уже о клятвах игроков, также хорошо всем известных.

Глава седьмая

ЧУДЕСА

Вот до чего довел «Contrat social»^{*} доверчивые сердца. Люди, как справедливо было сказано, живут верой; каждое поколение, в большей или меньшей степени, имеет свою собственную веру и смеется над верой своих предшественников, что весьма неразумно. Во всяком случае следует признать, что вера в «Общественный договор» принадлежит к самым странным; что следующее поколение, вероятно, будет с полным основанием если не смеяться над ней, то удивляться и взирать на нее с состраданием. Увы, что такое представляет собой этот «Contrat»? Если бы все люди были таковы, что писанный или скрепленный присягой договор мог связывать их, то все они были бы истинными людьми и правительства являлись бы излишними. Дело не в том, что мы друг другу обещали, а в том, что равновесие наших сил может заставить нас сделать друг для друга; это единственное, что в нашем грешном мире можно принимать в расчет. Но ведь существуют еще и взаимные обещания народа и суверена, как будто целый народ, меняющийся от поколения к поколению, можно сказать с каждым часом, можно вообще заставить говорить или обещать ему, да еще такую нелепость, как: «Да будет свидетелем Небо, то самое Небо, которое теперь не делает чудес, что мы, вечно изменяющиеся миллионы, позволяем тебе, также изменяющемуся, навязывать нам свою волю или управлять нами!» Мир, вероятно, мало видел верований, подобных этому.

^{*} «Общественный договор» Жан Жака Руссо.

И тем не менее дело в то время сложилось именно так. Если бы оно обстояло иначе, то как различны были бы надежды, попытки, результаты! Но Высшая Сила пожелала, чтобы было так, а не иначе. Свобода по «Общественному договору»; таково было истинное евангелие той эпохи. И все верили в него, как верят в благовещенье^{*}, и с переполненными сердцами и громкими кликами льнули к нему и опирались на него, бросая вызов Времени и Вечности. Нет, не улыбайтесь или улыбайтесь, но только улыбкой, которая горше слез! Эта вера была все же лучше той, которую она заменила, лучше веры в вечную Нирвану^{**} и в пищеварительную способность человека; ниже этой веры не может быть никакой другой.

Нельзя сказать, однако, что это повсюду господствующее, повсюду клянущееся чувство надежды было единодушным. Отнюдь нет. Время было недоброе, общественное разложение близко и несомненно; общественное возрождение еще зыбко, трудно и отдаленно, хотя даже и реально. Но если время казалось недобрым какому-нибудь проницательному наблюдателю, по убеждениям своим не примыкавшему ни к одной партии и не принимавшему участия в их междоусобной борьбе, то каким невыразимо зловещим оно должно было казаться затуманенному взору членов роялистской партии! Для них роялизм был палладиумом*** человечества; по их понятиям, с упразднением христианнейшей королевской власти и всеталейраннейшего епископства уничтожалось всякое смиренное повиновение, всякое религиозное верование, и судьбы человека окутывались вечным мраком! В фанатичные сердца такое убеждение западает глубоко и побуждает их, как мы видели, к тайным заговорам, эмиграциям, вызывающим войны, к монархическим клубам и к еще большим безумствам.

* Один из религиозных двенадцатых праздников, связанных с христианским мифом об архангеле Гаврииле, возвестившем о будущем рождении девой Марией Иисуса Христа.

** Т. е. состояние полного покоя.

*** Палладиум — в переносном смысле «святыня».

Дух пророчества, например, в течение нескольких веков считался исчезнувшим: тем не менее эти недавние времена, как вообще всякие недавние времена, оживляют его вновь, чтобы в числе многих безумств Франции мы имели пример и самого большого безумства. В отдаленных сельских округах, куда не проник еще свет философских учений, где неортодоксальное устройство духовенства переносит раздоры к самому алтарю и даже церковные колокола переплавляются на мелкую монету, складывается убеждение, что конец мира недалек. Глубокомысленные, желчные старики и особенно старухи дают загадочно понять, что они знают то, что знают. Святая Дева, так долго молчавшая, не онемела, и поистине теперь, более чем когда-либо, для нее настало время заговорить. Одна пророчица — к сожалению, небрежные историки не упоминают ни имени, ни положения ее — говорит во всеуслышание и пользуется доверием довольно многих. Среди последних и монах-картезианец Жерль, бедный патриот, и член Национального собрания. Подобно пифии с дико вытаращенными глазами, она речитативом завывает о том, что само небо ниспослет знамение: появится мнимое солнце, на котором, как говорят многие, будет видна голова повешенного Фавра. Слушай, отец Жерль, безмозгая, скудоумная голова, слушай — все равно ничего не поймешь²⁵.

Зато весьма интересен «магнетический пергамент» (vélin magnétique) д'Озие и Пти-Жана, двух членов парламента из Руана. Почему оба они — кроткий, молодой д'Озие, «воспитанный в вере в католический молитвенник и в пергаментные родословные», да и в пергаменты вообще, и пожилой желчный меланхолик Пти-Жан — явились в день Петра и Павла в Сен-Клу, где охотился Его Величество? Почему они ждали целый день в прихожих, на удивление перешептывающимся швейцарцам, ждали даже у решеток после того, как были высланы? Почему они отпустили своих лакеев в Париж, словно собирались дожидаться бесконечно? Они привезли «магнетический пергамент», на котором Святая Дева, облекшаяся чудесным образом в покровы месмериано-калиостро-окультической философии, внушила им начертать поучения и предсказания для тяжело страдающего короля. Согласно божественному велению, они хотят сегодня же вручить этот пергамент королю и таким образом спасти монархию и мир. Непонятная чета видимых существ! Вы как будто люди, и люди восемнадцатого века, но ваш магнетический пергамент мешает признать вас таковыми. Скажите, что вы вообще такое? Так спрашивают капитаны охраны, спрашивает мэр Сен-Клу, спрашивает, наконец, следственный комитет, и не муниципальный, а Национального собрания. В течение недель нет определенного ответа. Наконец становится ясно, что истинный ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Идите же, фантазеры, с вашим магнетическим пергаментом, идите, кроткий, юный фантазер и пожилой меланхолик: двери тюрьмы открыты. Едва ли вам придется еще раз председательствовать в Руанской счетной палате; вы исчезнете бесследно в тюремном мраке²⁶.

Глава восьмая

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ И ДОГОВОР

Много темных мест и даже совсем черных пятен появляется на раскаленном белом пламени смятенного французского духа. Здесь — старухи, заставляющие клясться своих десятерых детей на новом евангелии от Жан Жака; там — старухи, ищущие головы Фавра на небесном своде — эти сверхъестественные предзнаменования указывают на нечто необычное.

В самом деле, даже патриотические дети надежды не могут отрицать, что предстоят трудности: аристократы эмигрируют, парламенты тайно, но весьма опасно бунтуют (хотя и с веревкой на шее), а самое главное, ощущается явный «недостаток хлеба». Это, разумеется, печально, но не непоправимо для нации, которая надеется, для нации, которая переживает брожение мыслей, которая, например, по сигналу флангового, как хорошо обученный полк, поднимает руку и клянется, устраивая иллюминации, пока каждая деревня, от Арденн до Пиренеев, не забьет в свой барабан, не принесет своей маленькой присяги и не озарится тусклым светом сальных свечей, на несколько сажен прорезывающих ночной мрак!

Если же хлеба не хватает, то виноваты в этом не природа и не Национальное собрание, а только коварство и враждебные народу интриганы. Эти злостные люди из разряда подлецов имеют возможность мучить нас, пока конституция еще только составляется. Потерпите, героипатриоты, а, впрочем, не лучше ли поискать помощи? Хлеб растет и лежит теперь в снопах или мешках, но ростовщики и роялистские заговорщики препятствуют перевозке его, чтобы вызвать народ на противозаконные действия. Вставайте же, организованные патриотические власти, вооруженные национальные гвардейцы, собирайтесь! Объедините ваши добрые намерения: ведь в единении заключается удесятенная сила. Пусть сконцентрированные лучи вашего патриотизма поразят мошенническую клику, парализуют и ослепят ее, как солнечный удар.

Под какой шляпой или под каким ночным колпаком наших двадцати пяти миллионов возникла впервые эта плодотворная мысль (ибо в чьей-нибудь голове она должна же была возникнуть), никто не может теперь установить. Крайне простая идея, но близкая всему миру, живая, своевременная и выросшая, до настоящего величия или нет, но во всяком случае до неизмеримых размеров. Если нация находится в таком состоянии, что на нее может воздействовать простой фланговый, то чего не сделает вовремя произнесенное слово, своевременный поступок? И мысль эта вырастет действительно, подобно бобу мальчика в сказке, в одну ночь до самого неба, и под ним будет достаточно места для жилья и приключений. К несчастью, это все-таки не более как боб (ибо долговечные дубы растут не так), и на следующую ночь он уже может лежать поваленный и втоптаный в грязь. Но заметим по крайней мере, как естественна эта склонность к союзам у возбужденной нации, имеющей веру. Шотландцы, веровавшие в праведное небо над их головами и в Евангелие — правда, совершенно отличное от евангелия Жан Жака, — в крайней нужде запечатлели клятвой торжественный союз и договор, как братья, которые обнимаются и со слабой надеждой смотрят на небо перед близкой битвой; они заставили весь остров присоединиться к этой клятве, и даже, по их древнесаксонскому, еврейско-пресвитерианскому обычаю, более или менее сдержать ее, потому что клятва эта была, как большей частью при таких союзах, услышана небом и признана им. Если присмотреться внимательнее, то она не умерла до сих пор и даже не близка к смерти. У французов, с их галло-языческой возбудимостью и горячностью, есть, как мы видели, в некотором роде действительная вера; они терпят притеснения, хотя и преисполнены надежд; народный торжественный союз и договор возможны и во Франции, но при сколь различных обстоятельствах и со сколь различными развитием и результатом!

Отметим также незначительное начало, первую искру мощного фейерверка, ведь если нельзя определить голову, из которой она вылетела, то можно определить округ, откуда это произошло. 29-го числа минувшего ноября национальные гвардейцы из ближайших и дальних мест, с военной музыкой и в сопровождении муниципальных властей в трехцветных шарфах, тысячами направлялись вдоль Роны к маленькому городку Этуаль. Здесь после церемониальных маршей и маневров, трубных звуков, ружейных залпов и прочих выдумок патриотического гения они приняли присягу и обет стоять друг за Друга под защитой короля и закона и, в частности, поддерживать свободную продажу всех сельскохозяйственных продуктов, пока таковые имеются, несмотря на грабителей и ростовщиков. Такова была цель собрания в Этуале в конце теплого ноября 1789 года.

Но если уж простой смотр, сопровождаемый обедом, балом и связанными с ними обычными развлечениями, интересует счастливый провинциальный городок и возбуждает зависть окружающих городов, то насколько больше внимания возбудит следующее! Через две недели более обширный Монтелимар, почти стыдясь за себя, сделает то же самое, и еще лучше. На монтелимарской равнине, или, что не менее благозвучно, под стенами Монтелимара, происходит 13 декабря новое сборище с заклинаниями: шесть тысяч человек произносят клятву с тремя замечательными поправками, принятыми единогласно. Первая — что граждане Монтелимара должны вступить в союз с объединившимися гражданами Этуалья. Вторая — что, не упоминая специально о продаже хлеба, «они клянутся перед лицом Бога и Отечества» с гораздо большей горячностью и сознательностью повиноваться всем постановлениям Национального собрания и заставлять других повиноваться им «до самой смерти» (*jusque 'à la mort*). Третья, и самая важная, — что официальное донесение обо всем этом должно быть торжественно препровождено в Национальное собрание Лафайету и «восстановителю французской свободы», дабы они извлекли из этого какое могут утешение. Таким образом более обширный Монтелимар отстаивает свою революционную значимость и удерживает свое место на муниципальной лестнице²⁷.

Итак, с наступлением Нового года сигнал подан; неужели Национальное собрание и торжественное донесение ему не сыграют по крайней мере роли национального телеграфа? Зерно брошено и должно циркулировать по всем дорогам и водам Роны, по всей юго-восточной области, где монсеньера д'Артуа, если бы он вздумал возвратиться из Турина, ожидает горячий прием. Любая французская провинция, страдающая от недостатка хлеба, от мятежных парламентов, от заговорщиков против конституции, монархических клубов или от иных патриотических бедствий, может последовать данному примеру или даже действовать лучше, особенно теперь, когда февральские клятвы всколыхнули их всех! От Бретани до Бургундии, почти на всех равнинах Франции, почти под всеми городскими стенами трубят трубы, развеваются знамена, происходят конституционные маневры; под весенним небом природа одевается зеленым цветом надежды, хотя яркое солнце и затемняется тучами с востока, подобно тому как патриотизм, хотя и с трудом, побеждает аристократию и недостаток хлеба! И вот наши сверкающие фаланги под предводительством муниципалов в трехцветных шарфах маршируют и поворачиваются под трубные звуки «*Ça ira!*» и барабанную дробь; или останавливаются, подняв правую руку, в то время как артиллерийские залпы подражают громам Юпитера и все Отечество, а метафорически и вся Вселенная смотрят на них. Храбрые мужчины в праздничных одеждах и разряженные женщины, из которых большинство имеет возлюбленных в рядах этого войска, клянутся вечным небом и зеленеющей кормилицей-землей, что Франция свободна!

Чудные дни, когда люди (как это ни странно) действительно соединяются в согласии и дружелюбии, и человек, хотя бы только раз на протяжении долгих веков раздоров, поистине на минуту становится братом человеку! А затем следуют депутации к Национальному собранию с высокопарными пространными речами, к Лафайету и «восстановителю» и очень часто к матери патриотизма*, заседающей на дубовых скамьях в зале якобинцев! Во всех ушах разговоры о федерации. Всплывают имена новых патриотов, которые однажды станут хорошо известными: Буайе-Фонфред, красноречивый обвинитель мятежного парламента Бордо, Макс Инар, красноречивый репортер Драгиньянской федерации, — красноречивая пара ораторов из противоположных концов Франции, но которые тем не менее встретятся. Все шире распространяется пламя федераций, все шире и все ярче. Так, собратья из Бретани и Анжу говорят о братстве всех истинных французов и даже призывают «гибель и смерть» на голову всякого ренегата. Более того, если в Национальном собрании они с грустью указывают на *marc d'argent* (ценз), делающий стольких граждан пассивными, то в Якобинском клубе они спрашивают, будучи сами отныне «не бретонцами и не анжуйцами, а только французами», почему вся Франция не составит один союз и не поклянется во всеобщем братстве, раз и навсегда²⁸. Весьма дельная мысль, возникающая в конце марта. Патриоты не могут не ухватиться за нее и повторяют и разносят ее во все стороны до тех пор, пока она не становится известна всем; но в таком случае муниципальным советникам следовало бы обсудить ее самим. Образование некоей всеобщей федерации, по видимому, неизбежно; где? — понятно само собой: в Париже; остается установить, когда и как. И на это тоже ответит всесозидающее время и даже уже отвечает. Ибо по мере распространения дело объединения совершенствуется, и патриотический гений прибавляет к нему один вклад за другим. Так, в Лионе в конце мая мы видим пятьдесят или, как иные говорят, шестьдесят тысяч

человек, собравшихся для организации федерации, причем присутствует не поддающаяся исчислению толпа сочувствующих. И так от зари до сумерек. С пяти часов ясного росистого утра наши лионские гвардейцы начали стекаться, сверкая амуницией, к набережной Роны, сопровождаемые взмахами шляп и женских носовых платков, ликующими голосами двухсот тысяч патриотов — прекрасных и мужественных сердец. Отсюда все направились к Полю федерации. Но что это за царственная фигура, которая, не желая возбуждать внимания, все же выделяется из всех — я появляется одной из первых с эскортом близких друзей и в сопровождении патриотического издателя Шампанье? Энтузиазмом горят эти темные глаза, строгое лицо Минервы отражает достоинство и серьезную радость; там, где все радуются, больше всего радуется она. Это жена Ролана де ла Платьера²⁹. Муж ее — строгий пожилой господин, королевский инспектор лионских мануфактур, а теперь, по народному выбору, самый добросовестный из членов Лионского муниципалитета; человек, приобретший многое, если только достоинства и способности могут приобретаться, а главное, заполучивший в жены дочь парижского гравера Флипона. Отметим, читатель, эту царственную горожанку: ее красота и грация амазонки радуют глаз, но еще больше душу. Не сознающая своих достоинств, своего величия (как всегда бывает с истинным величием), своей кристальной чистоты, она искренна и естественна в век искусственности, притворства и обмана. В своем спокойном совершенстве, в своей спокойной непобедимости она — если хотите знать — благороднейшая из французских женщин своего времени, и мы еще увидимся с нею. Но насколько она была счастливее, когда ее еще не знали и даже она сама не знала себя! Сейчас она смотрит, не подозревая ничего, на развертывающееся перед ней грандиозное зрелище и думает, что начинают сбываться ее юношеские грезы.

* Речь идет о парижском Якобинском клубе.

Как мы сказали, торжество продолжалось от зари до сумерек и поистине являло собой зрелище, которому мало равных. Гром барабанов и труб сам по себе уже нечто, но вообразите себе «искусственную скалу в пятьдесят футов вышиной», с вырубленными ступенями и украшенную подобием «кустарников». Внутри скалы — потому что в действительности она сделана из досок — помещается величественный храм Согласия; снаружи, на самой вершине, возвышается колоссальная статуя Свободы, видимая за несколько миль, с пикой, во фригийском колпаке и с гражданской колонной; у подножия скалы Алтарь Отечества (Autel de la Patrie). На все это не пожалели ни досок, ни балок, ни штукатурки, ни красок всех цветов.

Вообразите себе, что на всех ступенях скалы расставлены знамена; у алтаря служат обедню и приносят гражданскую клятву пятьдесят тысяч человек, сопровождаемую вулканическим извержением звуков из медных и других глоток, достаточным для того, чтобы повернуть вспять потревоженные воды Соны и Роны. Роскошные фейерверки, балы и пиры завершают эту божественную ночь³⁰. А затем исчезает и Лионская федерация, поглощенная мраком, — впрочем, не совсем: наша храбрая красавица Ролан присутствовала на ней и дает описание ее в газете Шампанье «Courrier de Lyon», хотя и не называя своего имени; описание это «расходится в количестве шестидесяти тысяч экземпляров», и его приятно было бы прочесть и сейчас.

После всего этого, как мы видим, Парижу мало что придется придумывать самому: ему остается только подражать и применять. А что касается выбора дня, то какой день во всем календаре лучше годовщины взятия Бастилии подходит для этой цели? А наиболее удобное место, конечно, Марсово поле, где стольких Юлианов Отступников поднимали на щите как властителей Франции или мира, где железные франки стуком мечей отвечали на голос Карла Великого и где исстари совершались все великие торжества.

Глава девятая

СИМВОЛИКА

Как понятно для всех людей в переломные моменты их жизни символическое изображение! Да и что представляет собой вся земная жизнь человека, как не символическое изображение невидимой небесной силы, заключенной в нем? Человек стремится обнаружить эту силу и словом и делом, если возможно — с простодушием, а если это не удастся, то с театральными эффектами, которые тоже не лишены значения. Святочный маскарад не безделица, на-

оборот, в добрые старые времена рождественские забавы, шутовские проделки скоморохов представляли собой нечто значительное. Они были откровенной игрой, ведь маскарады и теперь означают искреннюю потребность в играх и шутках. Но с другой стороны, насколько значительнее искренняя серьезность, как, например, еврейский праздник скинии! Весь народ собирается во имя Всевышнего и перед лицом Всевышнего, реальность превосходит самое воображение, и сухая церемония является не просто формой: в ней все, до последней мелочи, проникнуто глубоким смыслом. И в современной частной жизни не следует относиться с презрением к театральным сценам, где слезливые женщины смачивают целые аршины батиста и усатые страстные юноши угрожают самоубийством. Пролейте лучше сами слезу над ними.

Во всяком случае следует заметить, что ни один народ не бросит своего дела и не пойдет специально разыгрывать сцену, не имея чего-нибудь в виду. Конечно, ни один человек театра не даст себе труда произносить сценические монологи ради собственного удовольствия, даже с мошеническими и лицемерными намерениями; однако подумайте, не может ли быть поставлена театрально настроенная нация в такое положение, когда она ради собственной выгоды или для удовлетворения собственной чувствительности, или глупости, или чего иного должна произносить такие монологи? Но в отношении готовности к подобным сценам разница между народами, как и между людьми, весьма велика. Если, например, наши саксонские друзья-пуритане скрепили клятвой свой национальный договор без порохового дыма и барабанного боя, в темной комнате, за мрачной монастырской оградой на Гайстрит, в Эдинбурге, где теперь пьют простой спирт, — именно так у них было принято клясться. Нашим же галльским друзьям-энциклопедистам нужно Марсово поле, которое было бы видно всему миру или Вселенной, и такая сцена, перед которой амфитеатр Колизея казался бы лишь палаткой странствующих комедиантов, — словом, им нужно нечто такое, чего никогда или почти никогда не видала наша старушка Земля. И этот порядок в свое время и в своем месте был также естествен. Эти два способа клятвопринятия находились почти в должном соотношении с обстановкой, а именно: они оказались обратно пропорциональными. Стремление народа к театральности находится в весьма сложной зависимости от его доверчивости, общительности, горячности, равно как и от его возбудимости и отсутствия сдержанности, от его страстности, разгорающейся ярким пламенем, но обыкновенно быстро потухающей.

И как верно заключение, что всякий человек и всякий народ, намеревающийся совершить нечто значительное, всегда совершал лишь самую малость! О федерация Марсова поля с тремястами барабанщиков, тысячью двумястами духовых инструментов и артиллерией, расставленной на всех возвышенностях, чтобы грохот ее возвестил о тебе всей Франции в несколько минут! Не должен ли был атеист Нежан прекратить свое жалкое и томительное карканье, на которое он, по-видимому, осужден, попытавшись перенестись на восемнадцать веков назад и представить себе тринадцать бедно одетых мужчин за скудной трапезой в низкой еврейской хижине. У них не было никаких символов, кроме сердец, самим Богом посвященных в божественную глубину страдания, и слов: «Делайте это во имя Мое».

Глава десятая

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Склонность людей к театральным эффектам понятна, пожалуй даже трогательна, как страстное выражение искренно запинаящегося языка и неискренно болтающей головы, впавшей в безумие. Однако в сравнении с неподготовленными, внезапными взрывами природы, такими, как восстание женщин, они кажутся бледными, неинтересными и скучными как выдохшееся пиво или перекипевшее волнение! Такие заранее обдуманная сцена, как бы они ни были всемирно велики и хитро затеяны, в сущности не более как картон и румяна. Другие же, напротив, оригинальны, они выливаются из великого, вечно живого сердца самой природы; поэтому очень важно, какую форму они примут. И потому французская национальная федерация представляется нам величайшим триумфом, когда-либо достигнутым драматическим искусством, — несомненным триумфом, раз весь партер, состоявший из двадцати пяти миллионов душ, не только рукоплещет, но и сам вскакивает на подмостки и с увлечением принимает участие в представлении. А если это действительно триумф, то мы так к нему и отнесемся: с искренним мимом-

летным восхищением, удивляясь ему издалека. Вся нация, участвующая в маскараде, конечно, заслуживает некоторого внимания, но не достойна того любовного участия, которое вызывает, например, восстание менад. Оставим в покое все дальнейшие репетиции, предоставим бесчисленным полковым оркестрам на равнинах и под городскими стенами оглашать воздух трубными звуками, не уделяя им более внимания. На одной сцене, однако, остановится на минуту и самый торопливый читатель: на ' появлении Анахарсиса Клоотса и всего греховного потомства Адама. Патриотический муниципалитет к 4 июня уже состряпал свой план и получил санкцию у Национального собрания и одобрение патриота-короля, которому, если бы даже он и мог не согласиться, лояльные речи федералистов, несомненно, Давали хоть временную усладу. Из всех восьмидесяти трех департаментов Франции Должны прибыть депутаты от национальных гвардейцев, по несколько на каждую сотню; точно так же и королевские морские и сухопутные силы должны прислать известное число своих депутатов; подобное, хотя и происшедшее неожиданно, братание национальных солдат с королевскими раз уже происходило и было санкционировано. В общем, ожидают, что может прибыть около сорока тысяч человек; расходы возлагаются на посылающий депутатов округ, следовательно, пусть округа и департаменты хорошенько подумают и выберут достойных людей — парижские братья поспешат им навстречу с приветом.

Судите же, сколько хлопот у наших патриотических художников и как глубокомысленно они совещаются о том, чтобы сделать сцену достойным зрелищем для Вселенной! Не менее пятнадцати тысяч землекопов, тачечников, каменщиков с инженерами работают на Марсовом поле, превращая его в национальный амфитеатр, соответствующий такому торжеству. Ведь многие надеются, что праздник Пик (Fête des Piques) станет самым важным из годовых праздников и будет праздноваться из года в год. Да и почему бы свободной, с театральными наклонностями нации не иметь своего постоянного национального амфитеатра? Марсово поле выдалбливается и утрамбовывается, и все парижане днем говорят, а ночью грезят о празднике Федерации, и только о нем одном. Союзные депутаты уже в пути. Национальное собрание, которому кроме обычных обязанностей придется еще выслушивать речи депутатов федерации и отвечать на них, будет завалено работой! Речь «американского комитета», среди которого немощная фигура Поля Джонса, подобная тускло мерцающим звездам, приветствует нас с наступлением столь многообещающего дня. Речь штурмовавших Бастилию, пришедших «отказаться» от всякой особой награды, от какого-либо особого места на торжестве, так как гренадеры центра немножко ворчат. Речь от Клуба Зала для игры в мяч, который входит, неся на длинном шесте издалека сверкающую металлическую доску, где выгравирована знаменитая присяга, произнесенная в названном зале; они предполагают торжественно прибить эту блестящую металлическую доску в Версале 20-го числа этого месяца, т. е. в годовщину самого события, в качестве вечного напоминания — на несколько лет, — а потом, на обратном пути, предполагают пообедать в Булонском лесу³¹, но не могут сделать этого, не возвестив о том на весь мир. Верховное Национальное собрание с одобрением выслушивает все эти речи, приостановив свою работу по возрождению страны, и отвечает дружелюбно, даже с некоторым оттенком импровизированного красноречия, так как это жестикулирующий, эмоциональный народ, у которого сердце на кончике языка.

И вот в этих обстоятельствах Анахарсису Клоотсу приходит мысль, что в то время, когда образуется столько клубов и комитетов и речи встречаются рукоплесканиями, упущено самое главное, величайшее из всего. Каков был бы эффект, если б воплотилось и заговорило это величайшее: именно все человечество (le Genre Humain). В какую минуту творческого экстаза возникла эта мысль в уме Анахарсиса, в каких страданиях он дал ей плоть и жизнь, с какой насмешкой его встретили светские скептики, какими насмешками отвечал он им, будучи человеком тонкого сарказма, какие перлы красноречия он рассыпал то в кофейнях, то на вечерах и с каким усердием спускался даже до самых глубочайших низов Парижа, чтобы претворить свою мысль в дело, — обо всем этом остроумные биографии того времени не говорят ни слова. Как бы то ни было, 19 июня 1790 г. косые лучи вечернего солнца освещают зрелище, какое не часто видела наша маленькая, глупая планета: Анахарсис Клоотс входит в торжественный зал Манежа в сопровождении представителей рода человеческого. Шведы, испанцы, поляки, турки, халдеи, греки, жители Месопотамии — все пришли требовать места на празднике Великой федерации, будучи, безусловно, заинтересованы в нем.

«Наши верительные грамоты, — сказал пламенный Клоотс, — написаны не на пергаменте, а в живых сердцах всех людей. Да будет для вас, августейшие сенаторы, безмолвие этих усатых поляков, этих измаильтян в тюрбанах и длинных, волочащихся одеяниях, этих астрологов-халдеев, так молчаливо стоящих здесь, да будет это убедительнее самого красноречивого слова! Они — немые представители своих безгласных, связанных, обремененных народов, из мрака бездн своих смятенно, изумленно, недоверчиво, но с упованием взирающих на вас и на ярко блистающий свет французской Федерации, на эту дивно сверкающую утреннюю звезду, предвестницу наступающего для всех народов дня. Мы желаем остаться здесь как немые памятники, жалкие символы многого». С галерей и скамеек раздаются «многократные рукоплескания», ибо какой же августейший сенатор не польщен мыслью, что хотя бы тень человеческого рода зависит от него?

Сиейес, председательствующий в течение этих достопамятных двух недель, даст своим тонким, резким голосом красноречивый ответ. Анахарсис и его «комитет чужестранцев» могут получить место на празднестве Федерации при условии, что они расскажут у себя на родине о том, что увидят здесь. Тем временем мы, приглашаем их «быть почетными гостями на этом заседании» (*honneur de la séance*). Один турок в длинном, волнообразном одеянии склоняется в ответ с восточной торжественностью и издает несколько членораздельных звуков, но из-за недостаточного знания французского языка³² слова его похожи на журчание пролитой воды, и выраженная в них мысль доселе остается в области догадок.

Анахарсис и человечество с благодарностью принимают оказанную им честь присутствовать и тотчас же, по свидетельству старых газет, получают удовольствие многое видеть и слышать. Первым и главнейшим является по предложению Ламета, Лафайета, Сен-Фаржо и других патриотов-дворян, несмотря на противодействие остальных, уничтожение всех дворянских титулов — от герцога до простого дворянина и ниже, затем равным образом уничтожаются все ливрейные лакеи или, скорее, ливреи для лакеев. Точно так же впредь ни один мужчина, ни одна женщина, называющие себя «благородными», не должны курить фимиам, как это крайне неразумно делалось до сих пор в церквях. Словом, раз феодализм умер уже десять месяцев тому назад, то зачем же оставлять в живых его пустую, внешнюю оболочку и гербы? Гербы, следовательно, нужно уничтожить, хотя Кассандра-Марат замечает, что на дверцах некоторых карет они «только покрашены» и грозят снова выступить наружу.

Итак, отныне де Лафайет становится просто г-ном Мотье, Сен-Фаржо — Мишелем Лепелетье, а Мирабо немного спустя язвительно заявляет: «Вашим Рикетти вы заставили Европу три дня ломать себе голову». Графский титул не безразличен для этого человека, и поклоняющийся ему народ до конца величает его им. Но пусть ликуют самые отчаянные патриоты, в особенности Анахарсис и человечество, потому что теперь, по-видимому, доказано, что у всех нас один отец — Адам!

Вот исторически точное описание знаменитого подвига Анахарсиса. Именно так обширнейшее общественное представительство нашло своего оратора. На основании этого мы можем судить по крайней мере об одном: какое настроение должно было овладеть когда-то легкомысленно-насмешливым Парижем и бароном Клоотсом, если подобное зрелище казалось уместным, чуть ли даже не великим! Правда, впоследствии зависть старалась омрачить этот успех Анахарсиса, уверяя, что он из случайного «оратора комитета иноземных народов» хотел стать постоянным «оратором человеческого рода», будто бы заслуживая это; и те же завистники клеветнически прибавляли, что его звездочеты-халдеи и прочие были просто французским сбродом, переодетым для этой Цели. Короче, зависть острила и издевалась над ним холодным, бездушным образом, но Анахарсис был человек, закованный в Довольно толстый панцирь, от которого отскакивали все эти ядовитые стрелы, и продолжал идти своей дорогой.

Мы можем называть это обширнейшим общественным представительством и должны признать его весьма неожиданным, ибо кто мог бы подумать, что увидит все народы в Тюильрийском Манеже? Но это так; в действительности, когда целый народ начинает устраивать спектакли и маскарады, такие странные вещи могут происходить. Разве нам самим не случалось видеть коронованную Клеопатру, дочь Птолемея, в совершенно негероической гостинице или плохо освещенной мелочной лавке, умоляющую почти на коленях непреклонно грубого муниципала, чтобы он оставил ее царствовать и умереть, ведь она уже одета для этого, у нее малень-

кие дети и нет денег, покуда констебли неожиданно захлопнули дверь Феспийской риги, и Антоний тщетно молил за свою возлюбленную*. Вот какие видимые призраки пролетают по земле, если грубо обращаться с Феспийской сценой, но насколько их будет больше, если, как сказано, весь партер вскакивает на сцену; тогда поистине, как в драме Тика**, мир выворачивается наизнанку (Verkehrte Welt!).

* Клеопатра — последняя царица Египта из династии Птолемеев (69—30 гг. до н. э.). Была изгнана из Египта ее братом Птолемеем Дионисием (48 г. до н. э.). Через год она вернула себе престол благодаря Юлию Цезарю. Славившаяся своей красотой, уже в раннем средневековье стала легендарной личностью.

** Тик Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель-романтик.

После того как мы видели само человечество, видеть «старейшину рода человеческого» уже не чудо. Такой *Doyen du Genre Humain* (старейший из людей) объявился за эти недели: это был Жан Клод Жакоб, рожденный крепостным и посланный с родных Юрских гор депутатом, чтобы передать Национальному собранию благодарность за освобождение их. На его бледном, изможденном лице сто двадцать лет вырыли глубокие морщины. Он слышал на родном наречии смутные толки о победах бессмертного Великого Монарха*, о сожженном Пфальце, о севенских драгонадах, о военном походе Мальборо**, а сам в это время трудился и маялся, чтобы сделать свой Клочок земли чуть зеленее. Четыре поколения сменились за это время, любили и ненавидели и исчезли, подобно сухой листве; Жакобу было сорок шесть лет, когда умер Людовик XIV. Собрание, как один человек, разом поднялось и почтило старейшего в мире: его приглашают занять место среди них, разрешив из уважения не снимать шляпы. Своими слабыми старческими глазами он смотрит на это новое чудесное явление, кажущееся ему сном, и колеблется между обрывками старых воспоминаний и грезами. Все во времени начинает казаться ему не вещественным, призрачным; глаза и душа Жана Жакоба утомлены и готовы закрыться, но открываются перед совсем другой, чудесной сценой, которая уже сама действительность. Патриоты устраивают для него подписку, он получает пенсию от короля и весело возвращается домой, но уже через два месяца покидает все и вступает на свой неведомый путь³³.

* Т. е. Людовика XIV.

** Мальборо (1650—1722) — английский полководец и политический деятель. Командовал английскими войсками в Европе во время войны за Испанское наследство (1702—1711).

Глава одиннадцатая

КАК В ЗОЛОТОЙ ВЕК*

Между тем Париж, день за днем, непрерывно путешествующий на Марсово поле, с болю убеждается, что земляные работы на нем не будут кончены к назначенному сроку. Площадь их слишком велика — триста тысяч квадратных футов, так как от Военной школы (которая должна быть снабжена деревянными балконами и галереями) на запад, до ворот у реки (где тоже должны быть деревянные триумфальные арки), насчитывают около тысячи ярдов в длину; а в ширину, от тенистой аллеи с восемью рядами деревьев на южной стороне до соответствующей ей на севере, немногим больше или меньше тысячи футов. Вся эта площадь должна быть выкопана, и земля свезена к краям наподобие высокого косогора; здесь она должна быть утрамбована и превращена в лестницу из не менее тридцати рядов удобных мест, обложенных дерном и обшитых досками; затем в центре должна находиться огромная пирамида Алтаря Отечества (Autel de la Patrie), тоже со ступенями. Настоящая каторжная работа, но это ведь мировой амфитеатр! Остается всего пятнадцать дней, но при такой медлительности потребуется по крайней мере столько же недель. Странно, что наши землекопы работают, по-видимому, лениво и не желают работать двойное время даже за повышенную плату, хотя их рабочий день длится всего семь часов. Они с досадой заявляют, что человеческий живот также нуждается иногда в отдыхе. Может быть, они тайно подкуплены аристократами? Ведь аристократы способны на это. Разве шесть месяцев назад не ходил упорный слух, что подземный Париж (ведь мы с риском стоим над каменоломнями и катакомбами, между небом и бездной, под нами все перерыто) наполнен порохом, который должен поднять нас на воздух. Слух держался, пока депутация кордельеров не произвела расследования и не нашла, что порох опять убрали!³⁴** Проклятое, неисправимое племя эти аристократы! В такие священные дни все они требуют дорожные паспорта. Происходят беспорядки,

восстания, в Лимузене и других местах сжигают замки, ведь аристократы не бездействуют. Они желали бы посеять раздор между лучшим из всех народов и лучшим из королей — восстановителей свободы; с какой адской усмешкою они приветствовали бы неудачу нашего праздника Федерации, на который с ожиданием смотрит Вселенная!

* Это понятие восходит к Гесиоду (VIII—VII вв. до н. э.), первому известному по имени древнегреческому поэту, и Овидию (43 г. до н. э. — 18 г. н. э.), римскому поэту.

** 23 декабря 1789 г. — *Примеч. авт.*

Однако он не должен провалиться из-за нехватки рабочих. Каждый, у кого здоровые руки и ноги и у кого бьется в груди французское сердце, может и будет копать землю! В понедельник 1 июля едва раздался залп сигнальной пушки и пятнадцать тысяч ленивых наемников сложили свои орудия, как из рядов зрителей, с грустью смотревших на солнце, стоявшее еще высоко, выступают один за другим патриоты с горящими глазами, хватают заступы и тачки и в негодовании сами начинают возить землю. К ним присоединяются десятки, потом сотни других, и вскоре новые пятнадцать тысяч добровольцев роют и копают с гигантской силой и в полном порядке, с ловкостью, приобретаемой экспромтом, и делают втрое больше, чем платные рабочие. Только когда сумерки сгущаются, они заканчивают свою работу с восторженными криками, которые слышны или о которых слышат за Монмартром.

На следующий день сочувствующее население с нетерпением дожидается, чтобы орудия труда освободились. Но зачем ждать? Заступы есть везде. И вот, если можно доверять хроникерам, энтузиазм, добродушие и братская любовь вспыхивают у парижан с такой яркостью, какой земля не видела со времени Золотого Века. Весь Париж, мужчины и женщины, спешит с лопатами на юго-западную окраину города. Потоки людей, в беспорядке или выстроившись рядами, как представители одного цеха, случайными группами стекаются на Марсово поле. Они усердно шагают под звуки струнной музыки, впереди них идут молодые девушки с зелеными ветками и трехцветными лентами; заступы и ломы они несут на плече, как солдаты ружье, и все хором поют «Ça ira!». Да, *Pardieu!* «Ça ira!» — кричат прохожие на улицах. Идут все цехи, все общественные и частные корпорации граждан, от высших до низших; даже разносчики умолкли на один день.

Выходят соседние деревни под предводительством мэра или мэра и юре, которые также идут с лопатами и в трехцветных шарфах; все работоспособные мужчины маршируют под звуки деревенской скрипки, тамбурина и треугольника. Не менее полутора ста тысяч человек принимается за работу; в иные часы, как говорят, насчитывалось даже до двухсот пятидесяти тысяч; потому что какой же смертный, особенно под вечер, после спешно законченной дневной работы, не поторопился бы прибежать туда! Город словно муравейник: дойдя до площади Людовика XV, вы видите, что к югу, за рекой, все улицы кишат народом; всюду толпы рабочих, и не платных ротозеев, а настоящих рабочих, принимающихся за работу добровольно; каждый патриот наваливается на неподатливую глыбу земли, роет и возит, пуская в ход всю свою силу.

Милые дети, aimables enfants! Они берут на себя и так называемую police de Г atelier — упорядочение и распределение всех работ — со свойственной им готовностью и прирожденной ловкостью. Это истинно братская работа: все различия забыты, уничтожены, как в начале, когда копал землю сам Адам, Долгополые монахи с тонзурой рядом с водоносами в коротких камзолах, с тщательно завитыми incroyable'ями из патриотов; черные угольщики рядом с обсыпанными мукой изготовителями париков или с теми, кто их носит, ведь здесь и адвокаты, и судьи, и начальники всех округов; целомудренные монахини в сестринском единении рядом с нарядными оперными нимфами и несчастными падшими женщинами; патриотические тряпичники рядом с надушенными обитателями дворцов, ибо патриотизм, как рождение и смерть, всех уравнивает. Пришли все типографские рабочие, служащие Прюдома в бумажных колпаках с надписью: «Révolutions de Paris». Камиль высказывает пожелание, чтобы в эти великие дни был образован и союз писателей (Pacte des écrivains³⁵) или федерация редакторов. Какое чудное зрелище! Белоснежные сорочки и изящные панталоны перемешиваются с грязными клетчатými блузами и грубыми штанами, так как обладатели тех и других сняли свои камзолы и под ними оказались одинаковые мускулы и конечности. И все роют и разбивают землю или, согнувшись, толкают длинной вереницей тачки и нагруженные повозки, и все веселы, у всех одно сердце и одна душа. Вот аббат Сиейес ревностно и ловко тащит тачку, хотя он слишком слаб для этого; рядом с ним Богарне*, который будет отцом королей, хотя сам и не будет королем. Аббат Мори не работает, но угольщики принесли куклу, похожую на него, и он должен работать, хотя бы и в таком виде. Ни один августейший сенатор не пренебрегает работой; здесь мэр Байи и генералиссимус Лафайет — увы, они снова будут здесь и в другое время! Сам король приезжает посмотреть на работу, и громогласное «Vive le Roi!» (Да здравствует король!) несется к небесам. Вокруг него «тотчас образуется почетный караул с поднятыми заступами». Все, кто может, приходят если не работать, то посмотреть на работы и приветствовать работающих.

* Виконт де Богарне Александр (1760—1794) — депутат Учредительного собрания, генерал Республики, казнен по обвинению в пассивном ведении военных действий. Первый муж будущей жены Наполеона Жозефины, отец будущего вице-короля Италии Евгения де Богарне (1781—1824) и королевы Голландии Евгении Гортензии (1783—1827).

Приходили целыми семьями. В одной семье, между прочим, целых три поколения: отец копает землю, мать сгребает ее лопатой, дети прилежно толкают тачки; старый девятилетний дед держит на руках самого младшего; веселый малютка не может оказать помощи, но сможет, однако, рассказать своим внукам, как будущее и прошедшее вместе глядели на происходящее и надтреснутыми, неокрепшими голосами напевали: «Ça ira!» Один вино торговец привез на тележке бочку вина и возгласил: «Не пейте, братья, если вас не мучает жажда, чтобы наша бочка дольше продержалась»; и в самом деле, пили только люди, «явно истомленные». Один юркий аббат смотрит с насмешкой; «К тачке!» — кричат некоторые, и он, опасаясь худшего, повинуется. Однако как раз в это время подходит патриот-тачечник, кричит: «Attendez!» — и, оставив свою тачку, подхватывает тачку аббата, быстро катит ее, как нечто зараженное, за пределы Марсова поля и там опорожняет. Какой-то господин (по виду знатный и состоятельный) быстро подбегает, сбрасывает с себя платье, жилет с парой часов и кидается в самый разгар работы. «А ваши часы?» — кричат ему все, как один. «Разве можно не доверять братьям?» — отвечает господин, и часы не были украдены. Как прекрасно благородное чувство! Оно подобно прозрачной вуали, прекрасно и дешево, но не выдерживает дерганья и ежеднев-

ной носки. О прекрасный дешевый газ, ты тонок, как паутина, как тень от сырого материала добродетели, но ты не соткан, как плотная ткань долга: ты лучше, чем ничто, но и хуже!

Школьники и студенты восклицают: «Vive la Nation!» — и жалеют, что не могут дать ничего, «кроме своего пота». Но что мы говорим о мальчиках? Прекраснейшие Гебы*, самые прелестные во всем Париже, в легких, воздушных платьях, с трехцветными поясами, копают и возят тачки вместе с другими; их глаза горят воодушевлением, длинные волосы в живописном беспорядке, маленькие руки плотно сжаты, но они заставляют патриотскую тачку подвигаться и даже вкатывают ее на вершину откоса (правда, с некоторой помощью, но какая же мужская рука отказалась бы от счастья помочь им?), затем сбегает с нею вниз, за новым грузом, грациозные, как гурии**, с развевающимися позади них длинными локонами и трехцветными лентами. А когда лучи вечернего солнца, упав на Марсово поле, окрашивали огненным заревом густые, тенистые аллеи по сторонам его и отражались в куполах и сорока двух окнах Военной школы, превращая их в расплавленное золото, все это являло собою зрелище, подобное которому едва ли кто видел на своем бесконечном пути по зодиаку. Это был живой сад, засеянный живыми цветами всех красок радуги; здесь полезное дружно смешивалось с красивым; теплое чувство одушевляло всех и делало людей братьями, работающими в братском согласии, хотя бы только один день, один раз, которому не суждено повториться! Но спускается ночь, и эти ночи тоже уходят в вечность. Даже торопливый путник, едущий в Версаль, натягивает поводья на возвышенностях Шайо и смотрит несколько минут на ту сторону реки, а затем со слезами рассказывает в Версале о том, что он видел³⁶.

* Геба (греч. миф.) — богиня вечной юности, прислуживающая богам на Олимпе во время пиров.

** Фантастические девы, услаждающие, по Корану, праведников в раю.

Между тем со всех сторон уже прибывают федераты: пылкие сыны Юга, «гордые своим Мирабо»; рассудительные горцы с Юры, с северным хладнокровием; резкие бретонцы с галльской экспансивностью; нормандцы, не имеющие соперников в торговом деле; все они одушевлены теперь единым благороднейшим огнем патриотизма. Парижские братья встречают их с военными почестями, с братскими объятиями и с гостеприимством, достойным героических эпох. Федераты* присутствуют на прениях в Собрании; им предоставлены галереи. Они принимают участие и в работах на Марсовом поле; каждая новая партия желает приложить руку к делу и подсыпать свою кучку земли на Алтарь Отечества. А какие цветы красноречия расточают они (ведь это экспансивный народ), какая высокая мораль звучит в их адресах к верховному Собранию, к патриотическому восстановителю свободы! Капитан бретонских федератов даже преклоняет колена в порыве энтузиазма и со слезами на глазах вручает свою шпагу королю, также прослезившемуся. Бедный Людовик! Он говорил впоследствии, что эти дни были одними из самых счастливых в его жизни.

* Революционеры, прибывшие из провинций.

Должны быть и смотры, королевские смотры федератов, в присутствии короля, королевы и трехцветного двора; в крайнем случае если — что слишком обычно — пойдет дождь, то федеральные волонтеры пройдут сквозь внутренние ворота, где их величества будут стоять под прикрытием. Здесь, при случайной остановке, прекраснейшие пальчики во всей Франции могут мягко дотронуться до вашего рукава, и нежный, как флейта, голосок спросит: «Monsieur, из какой вы провинции?» Счастлив тот, кто, рыцарски склонив конец своей шпаги, может ответить: «Madame, из провинции, которой владели ваши предки». Лучезарная улыбка наградит счастливого «провинциального адвоката», ныне провинциального федерата, и мелодичный голос весело скажет королю: «Sire, это ваши верные лотарингцы». Небесно-голубой с красными отворотами мундир национального гвардейца гораздо более веселит глаз, нежели мрачный черный или серый будничным костюм провинциального адвоката. Тот же самый трижды блаженный лотарингец будет сегодня вечером стоять на часах у двери королевы и чувствовать, что он готов принять за нее тысячу смертей; она опять увидит его у внешних ворот и потом еще в третий раз, когда он нарочно постарается обратить на себя ее внимание, проделывая артикул ружьем с таким усердием, «что оно гремит»; и опять она поклонится ему с лучезарной улыбкой и заметит маленькому, белокурому, слишком резвому дофину: «Поклонитесь же, Monsieur, не будьте не-

вежливым», а затем, подобно сверкающему светилу или комете, пойдет со своим маленьким спутником дальше по определенному ей пути³⁷.

А ночью, когда патриоты кончают работу, вступают в силу священные обычаи гостеприимства! У Лепелетье Сен-Фаржо, простого, но весьма богатого сенатора, за столом собирается ежедневно «сто человек гостей», у генералиссимуса Лафайета — вдвое больше. В низкой комнате, как и в высоком салоне, бокал с вином ходит по рукам, озаряемый улыбками красавицы, вспыхивающими на лице быстро постукивающей каблукчиками гризетки или гордо выступающей дамы; обе одинаково радуют храбрецов своей красотой и пленительными улыбками.

Глава двенадцатая

ГРОМ И ДЫМ

Таким образом, несмотря на заговоры аристократов, на лень наемных рабочих и почти наперекор самой судьбе (так как за это время часто лил дождь), 13 июля Марсово поле совершенно готово: оно убрано, утрамбовано, места для зрителей укреплены прочной каменной кладкой, и патриоты могут в восторге ходить по нему и одновременно репетировать, ведь в каждой голове складывается не поддающаяся описанию картина завтрашнего дня. Молите небо, чтобы завтра было ясно. Но вот что хуже всяких туч: сбитый с толку муниципалитет толкует о том, чтобы допускать патриотов на торжество по билетам! «Разве мы по билетам ходили на работу и сделали то, что нужно? Разве мы брали Бастилию по билетам?» Муниципалитет образумился, и поздней ночью барабанный бой возвещает патриотам, высовывающимся из-под одеяла, что билеты отменяются. Значит, нахлобучивайте опять ваши ночные колпаки и мирно засыпайте с полувнятным бормотанием, которое, быть может, означает многое. Завтра среда, день, незабвенный среди всех праздников этого мира*.

* Праздник Федерации — революционное празднество, которое впервые состоялось в Париже 14 июля 1790 г., в первую годовщину взятия Бастилии. Празднество символизировало становление национального единства Франции.

Наступает утро, холодное для июля, но такой праздник заставил бы улыбнуться Гренландию. Через все входы национального амфитеатра (он имеет милю в окружности с входами через определенные промежутки) устремляется живой поток толпы и без шума занимает постепенно все места. В Военной школе для высших властей устроены галереи и навесы, над которыми состязались плотники и маляры; триумфальные арки около ворот на Сене украшены надписями, хотя и не особенно остроумными, но искренними и правильными. Высоко над Алтарем Отечества на длинных железных шестах качаются старинные *cassolettes* — курительницы, распространяющие облака ароматического дыма, — если не в честь языческих богов, то трудно понять, в чью именно. Двести тысяч патриотов и, что вдвое важнее, сто тысяч патриотов, все в самых красивых нарядах, сидят на Марсовом поле, полные ожидания.

Какая картина: кольцо пестро кишашей жизни, покрывающей тридцать рядов амфитеатра, отчасти как бы прислоненного к темной зелени аллеи; стволы деревьев не видны за высоким амфитеатром, а позади лишь зелень лета со сверкающей гладью воды и с блеском белых зданий. Эмалевая картинка на фоне вазы из изумруда! И ваза не пуста: купола Собора Инвалидов покрыты народом, точно так же как и отдаленные ветряные мельницы Монмартра; на самых дальних церквях, на едва видимых деревенских колокольнях стоят люди с подозрными трубами. На высотах Шайо волнуются пестрые группы; все ближние и дальние холмы, опоясывающие Париж, образуют более или менее заполненный амфитеатр, смотреть на который устают глаз. Да, на высотах стоят даже пушки, а на Сене — целая плавучая батарея. Там, где не поможет глаз, поможет ухо; вся Франция, собственно говоря, представляет собой один амфитеатр, ибо в каждом мощном городе и в каждой немощной деревушке жители на ногах и слушают, не донесется ли до них глухой грохот — знак того, что и им пора приступить к присяге и стрельбе³. Но вот, под раскаты музыки выступают толпы федератов; они собрались на бульваре Сент-Антуан и в его окрестностях и прошли по городу с флагами восьмидесяти трех департаментов, сопровождаемые не громкими, но прочувствованными благословениями. Вслед за тем появляется Национальное собрание и занимает места под устроенным для него балдахином; за ним показываются

их величества и садятся на трон, рядом с Собранием. Лафайет на белом боевом коне уже здесь, и все гражданские власти в сборе. Федераты исполняют танцы до начала настоящих военных маневров и передислокацию.

Передислокации и маневры? Перо смертного бессильно описывать их; воображение устало складывает крылья и заявляет, что не стоит и пытаться. Ряды проходят то медленным, то быстрым, то форсированным шагом. *Sieur** Мотье, или генералиссимус Лафайет, так как это одно и то же лицо, ставшее вместо короля на двадцать четыре года главнокомандующим Франции; *Sieur* Мотье, со своей рыцарской, полной достоинства осанкой, выступает вперед, торжественно поднимается по ступеням Алтаря Отечества и здесь, перед лицом неба и затаившей дыхание земли, при треске болтающихся кассолеток, «твердо опираясь на конец шпаги», произносит присягу Королю, Закону и Нации (не упоминая об обращении «зерна») от своего имени и от имени вооруженной Франции. Знамена колышутся, и раздаются громкие клики. Национальное собрание должно присягнуть со своего места; король также. Он приносит присягу внятным голосом — и небо дрожит от громовых «виват». Свободные граждане обнимаются, сердечно пожимая друг другу руки; федераты звенят оружием. Но вот заговорила плавучая батарея, заговорила на все четыре стороны Франции. И с одного холма за другим гремят ответные раскаты, доносясь то слабым отголоском, то как громовое эхо, словно камень, брошенный в озеро и оставляющий круги, которые постепенно расходятся по воде, но не пропадают совсем. Гром орудий разносится от Арра до Авиньона, от Меца до Байонны; в Блуа и Орлеане пушки грохочут речитативом, они слышны в Пюи, среди гранитных гор, на По, где стояла черепаховая люлька Генриха Великого. В далеком Марселе алая вечерняя заря становится свидетельницей того, как из каждого пушечного жерла в замке Иф вырываются красные огненные языки и весь народ ликует: да, Франция свободна. О славная Франция, она растворилась в дыме и громе и добыла себе так фригийский колпак Свободы! Во всех городах должны быть посажены деревья Свободы — не важно, вырастут они или нет. Разве не говорили мы, что это величайший триумф, когда-либо достигнутый или могущий быть достигнут феспийским искусством? К сожалению, приходится назвать все это феспийским искусством, ведь прежде чем приступить к присяге на Марсовом поле, национальные флаги должны были быть освящены. Весьма целесообразная мера: ни одно земное знамя не может развеяться победоносно, ни одно предприятие не может удалиться, если небо не ниспошлет на него своего благословения или по меньшей мере если оно не будет испрошено вслух или про себя. Но какими средствами добиться его? Какой трижды божественный громоотвод Франклина возьмет с неба чудесный огонь, чтобы он спустился, кротко распространяя жизнь и принося исцеление душам людей? Ах, очень просто, при помощи двухсот тонзурованных субъектов в белоснежных стихарях с трехцветными поясами, стоящих на ступенях Алтаря Отечества, с Талейраном-Перигором, блюстителем душ, во главе! Они, насколько это в их силах, заменят чудесный громоотвод. О темно-синее небо и ты, изумрудная кормилица-земля; вы, вечно текущие реки; вы, тленные леса, подобно людям, постоянно умирающие и снова рождающиеся; вы, горы и скалы, ежедневно тающие от ливней и все же столетиями не исчезающие и нерушимые, так как родить вас вновь может, по-видимому, только новый мировой переворот, когда от сильного кипения и взрыва пар взвоется почти до луны; ты, неисчерпаемое, таинственное Всё, покров и обитель Неназываемого; и ты, Человеческий Дух, с твоей членораздельной речью, придающий образ и форму Неизмеримому, Неназываемому, — разве не чудо уж самое то, что француз мог не говорить поверить, но вообразить, что верит, будто Талейран и двести штук белого коленкора в состоянии добыть благословение неба? Здесь, однако, мы должны вместе с огорченными историками того времени заметить, что в ту минуту, как епископ Талейран, в длинной мантии, митре и трехцветном поясе, заковылял по ступеням Алтаря, чтобы произвести свое чудо, небо вдруг помрачнело: засвистел северный ветер, предвестник холодной непогоды, и полил настоящий, все затопляющий ливень. Грустное зрелище! Все тридцать рядов кругом амфитеатра покрылись тотчас же зонтами, обманчивой защитой при такой толпе; наши античные кассолетки превратились в горшки для воды, смола для курения шипит в них, превращаясь в грязный пар. Увы, вместо «виват» слышно только яростное падение и шорох дождя. От трехсот до четырехсот тысяч человек чувствуют, что имеют кожу, по счастью непромокаемую. Шарф генерала мокр насквозь, все военные флаги повисают и не хотят больше развеяться и вместо этого лениво хлопают, точно превращенные в расписанные жестяные флаги! Но еще хуже, по свидетельству историков, было положение ста тысяч красавиц Франции! Их белоснежные кисейные наряды забрызганы грязью; страусовые перья постыдно прилипа-

ют к своему остову; шляпы потеряли форму, их внутренний каркас превращается в месиво: красота не царит уже в своем прелестном уборе, подобно богине любви, обнаженной и закутанной в прозрачные облака, а борется в нем, как в тяжелых цепях, так как «формы обрисовываются», слышны лишь сочувственные восклицания, хихиканье, в то время как только решительно хорошее настроение может помочь перенести невзгоду. Настоящий потоп: непрерывная пелена или падающий столп дождя. Митра нашего верховного пастыря тоже наполняется водой и становится уже не митрой, а переполненным и протекающим пожарным ведром на его почтенной голове! Не обращая на это внимания, верховный пастырь Талейран производит свое чудо: благословение его, несколько отличное от благословения Иакова, почиет теперь на всех восьмидесяти трех департаментских флагах Франции, которые в благодарность развеваются или хлопают как могут. Около трех часов снова проглядывает солнце, и остающиеся церемонии могут быть закончены при ясном небе, хотя и с сильно попорченными декорациями³⁹.

* Господин (франц.).

В среду федерация наша заключена, но празднества продолжают еще эту и часть следующей недели — празднества, заменяющие пиры багдадского калифа и волшебника Аладдина. На Сене происходят гонки судов с прыжками в воду, брызгами и хохотом. Аббат Фоше, Те Деум Фоше, «в ротонде Хлебного рынка» произносит надгробное слово о Франклине, по которому Национальное собрание недавно три дня носило траур. Столы Мотье и Лепелетье все еще завалены яствами, и потолки дрожат от патриотических тостов. На пятый вечер, в воскресенье, устраивается всеобщий бал. Весь Париж, мужчины, женщины и дети, в домах или на улицах танцуют под звуки арфы или четырехструнной скрипки. Даже седовласые старики пытаются здесь, под изменчивой лунной, еще раз подвигать в такт своими старыми ногами; грудные дети, не умеющие еще говорить, кричат на руках и барахтаются, нетерпеливо расправляя свои маленькие пухлые руки и ноги, в бессознательной потребности проявить свою мышечную силу. Самые крепкие балки изгибаются более или менее, все пазы трещат.

Но взгляните на развалины Бастилии на лоне самой матери-земли. Везде горят лампочки, везде аллегорические украшения, и гордо высится шестидесятифутовое дерево Свободы с таким чудовищной величины фригийским колпаком, что король Артур со всем своим Круглым столом* мог бы обедать под ним. В глубине при тусклом свете одинокого фонаря замечаем одну из полузарытых железных клеток и несколько тюремных камней — последние остатки исчезнувшей тирании; кроме этого видны только гирлянды лампочек, настоящие или искусственные деревья, сгруппированные в волшебную рощу, над входом в которую прохожий может прочесть надпись: «Ici l'on danse» (здесь танцуют). Таким образом, сбылось смутное предсказание пророка и шарлатана из шарлатанов Калиостро**, сделанное им четыре года назад, когда он покидал это мрачное заточение, чтобы попасть в еще более ужасную тюрьму римской инквизиции, так и не выпустившую более своей жертвы.

* Рыцари Круглого стола — герои средневековых рыцарских романов так называемого бретонского Цикла; приближенные легендарного короля Британии Артура, собиравшиеся в определенном порядке за его круглым столом, символом равенства.

** См. его письмо к французскому народу (Лондон, 1786). — *Примеч. авт.*

Но что значит Бастилия по сравнению с Champs-Élysées? Сюда, к этим полям, справедливо называемым Елисейскими, сами собой направляются ноги. Гирлянды лампочек освещают их, как днем, маленькие масляные стаканчики прелестно украшают, наподобие пестрых светлячков, самые высокие сучья; деревья словно залиты пестрым огнем и бросают свое сияние далеко в лесную чашу. Здесь, под вольным небом, стройные федераты кружатся в хороводе всю эту благовонную ночь напролет с новообретенными красотками, гибкими, как Диана*, но не такими холодными и суровыми, как она; сердца соприкасаются и пылают; и конечно, редко приходилось нашей старой планете спускать покров своей огромной конической тени, называемой ночью, над подобным балом. Если, по словам Сенеки**, сами боги с улыбкой смотрят на человека, борющегося с превратностями судьбы, то что же они должны были думать о двадцати пяти миллионах беззаботных, побеждающих свои невзгоды в течение целой недели и даже более?

* Диана (рим. миф.) — богиня охоты, изображалась с луком и колчаном за плечами.

** Сенека Луций Анней (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — римский философ, поэт и государственный деятель.

И вот праздник Пик дотанцован таким образом до конца; галантные федераты возвращаются домой во все четыре стороны с возбужденными нервами и разгоряченными сердцами и головами; некоторые из них, как, например, старый, почтенный друг Даммартена из Страсбурга, совсем «сгорели от алкоголя», и жизнь их близится к своему концу⁴⁰. Праздник Пик дотанцован до конца и стал покойником, тенью праздника. Ничего от него не осталось, кроме образа в памяти людей и места, которое его видело, но уже более не видит, так как возвышения на Марсовом поле обвалились наполовину⁴¹. Праздник этот был, несомненно, одним из запоминающихся народных праздников. Никогда не приносилась присяга с таким переполненным сердцем, с таким чувством и избытком радости, и едва ли когда-нибудь это повторится, и все же она была непоправимо поправа через год и день. Ах, зачем? Если присяга доставляла такое неизреченное наслаждение, если грудь прижималась к груди и в сердцах двадцати пяти миллионов одновременно зажигался огонь энтузиазма, то почему же она нарушена, о неумолимые власти судей, почему? Отчасти именно потому, что она приносилась в таком порыве радости, главным же образом вследствие более старой причины: грех пришел в мир, а вместе с грехом и бедствия. Эти двадцать пять миллионов в своем фригийском колпаке не имеют теперь над собой власти, которая руководила бы и управляла ими, и не имеют в самих себе руководящей силы или правил для разумной, справедливой жизни. И если все несутся гигантскими шагами по незнакомой дороге без цели и без узды, то как же не произойти невыразимой катастрофе? В самом деле, ведь розовый цвет федерации не цвет нашей земли и не ее дело; человек должен бороться с миром не порывами благородных чувств, а совсем другим оружием.

Во всяком случае не разумнее ли «беречь свой огонь для жениха», заключая его в душе, как благодетельный, животворящий источник теплоты! Все сильные взрывы, как бы хорошо ни были они направлены, всегда сомнительны, большей частью бесполезны и всегда разрушительны; представьте себе человека или нацию, которая израсходовала бы весь свой запас огня на один искусственный фейерверк. В жизни приходится видеть браки по страстной любви (ибо люди, как и нации, имеют свои периоды расцвета), заключенные с такими проявлениями торжества и радости, что старики только качают головами, Спокойная веселость была бы более уместна, потому что шаг делается важный. Безрассудная чета, чем больше ты торжествуешь и чувствуешь себя победительницей всего земного зла, которое кажется тебе исчезнувшим с земли, тем больше будет твое изумление и разочарование, когда ты откроешь, что земное зло все еще существует

«Но почему же оно все еще существует?» спросит каждый из вас. «Потому что мой неверный спутник изменил мне; зло было побеждено; я, с своей стороны, верил в это и продолжал бы верить и впредь!» И счастливый медовый месяц превращается в длинные терпкие годы, пожалуй даже в едкий уксус Ганнибала*.

* Ганнибал (около 247—183 гг. до н. э.) — выдающийся карфагенский полководец. Римский историк Тит Ливий рассказывает, что при переходе через Альпы Ганнибал приказал очистить часть трудного перевала от снега, раскалив известковые камни и полив их уксусом, — камни раскололись, и это позволило проложить путь для воинов, конницы и слонов.

Не придется ли и нам сказать, что французский народ привел королевскую власть или, вернее, принудил королевскую власть привести его с слащавой нежностью к брачному Алтарю Отечества, а затем, чтобы отпраздновать свадьбу с должным блеском и великолепием, необдуманно сжег брачное ложе?

Книга II

НАНСИ

Глава первая

БУЙЕ

В Меце, на северо-восточной границе, уже несколько месяцев смутно маячит перед нами фигура некоего храбреца Буйе, которому суждено быть последней надеждой королевской власти в ее бедствиях и планах бегства. Пока это еще только имя и тень храброго Буйе.

Займемся им повнимательнее, пока он не обретет в наших глазах плоть и кровь. Человек этот сам по себе достоин внимания: его положение и дела в эти дни прольют свет на многое.

Буйе находится в таком же затруднении, как и все занимающие высшие посты французские офицеры, только для него оно еще более резко выражено*. Великая национальная федерация была, как мы и предвидели, лишь пустым звуком или еще хуже — последним громким всеобщим «гип-гип-ура» с полными бокалами на национальном лапифском празднике созидания конституции. Она была громким отрицанием суровой действительности: криками «ура» как бы хотели оттолкнуть осознание неизбежности, уже стучащей в ворота! Этот новый национальный кубок может, однако, лишь усилить опьянение, и, чем громче люди клянутся в братстве, тем скорее и вернее опьянение приведет к каннибализму. Ах, какой огромный мир неразрешимых противоречий, подавленных и упрощенных лишь на время, таится за этим мяуканьем и лоском братства! Едва почтенные воины-федераты вернулись в свои гарнизоны и наиболее пылкие из них, «сгорая от пламени алкоголя и любви», еще не успели умереть; едва из глаз людей исчез блеск празднества, пылающий все еще в их памяти, как раздоры вспыхивают с большим ожесточением, чем когда-либо.

* Умеренный консерватор, глубоко преданный монархии, Буйе блестяще служил на Антильских островах во время войны с англичанами; он пользовался, однако, славой либерала, которая распространилась на всех, кто участвовал в американской Войне за независимость. Революция внушила ему страх. Он ненавидел и презирал своего двоюродного брата Лафайета.

Давайте обратимся к Буйе и узнаем, как все это произошло.

Буйе командует в настоящее время гарнизоном Меца и властвует над всем севером и востоком Франции, будучи назначен недавним правительственным актом, санкционированным Национальным собранием, одним из четырех главнокомандующих. Рошамбо и Мальи, известные в то время люди и к тому же маршалы, хотя и мало для нас интересные, назначены ему в товарищи, а третьим, вероятно, будет старый болтун Люкнер, также мало интересный для нас. Маркиз де Буйе, убежденный лоялист, не враг умеренных реформ, но решительный противник резких перемен. Он давно состоит на подозрении у патриотов и не раз доставлял неприятности верховному Национальному собранию; он не хотел, например, приносить национальную присягу, что обязан был сделать, и все откладывал это под тем или иным предлогом, пока Его Величество собственноручным письмом не упросил его сделать эту уступку в виде личного одолжения ему. И вот, на своем важном и опасном, если не почетном посту он молчаливо и сосредоточенно выжидает событий, с сомнением взирая на будущее. Он говорит, что он один или почти один из старой военной верхушки не эмигрировал, но в грустные минуты думает, что и ему не останется ничего другого, как перейти границу. Он мог бы перебраться в Трир или Кобленц, куда соберутся со временем живущие в изгнании принцы, или же в Люксембург, где слоняется без дела и изнывает старый Брольи. Или еще: разве ему не открыты великие темные бездны европейской дипломатии, в которой только что начали смутно маячить такие люди, как Калонн и Бретей?

Среди бесконечно запутанных планов и предположений у Буйе только одно определенное намерение: попытаться оказать услугу Его Величеству, и он ждет, прилагая все усилия к тому, чтобы сохранить свой округ лояльным, свои войска верными, свои гарнизоны обеспеченными всем нужным. Он еще изредка поддерживает дипломатическую переписку с своим кузеном Лафайетом, отправляя письма и гонцов, причем, с одной стороны, мы видим рыцарские конституционные уверения, с другой — военную серьезность и краткость; редкая переписка эта становится все реже и бессодержательнее, гранича уже с совершенной пустотой¹. Он, этот стремительный, вспыльчивый, проницательный, упрямо верный долгу человек, с подавленной, по-ривистой решимостью, храбрый до опрометчивости, был более на своем месте, когда, как лев,

защищал Виндварские острова или когда прыжками, как тигр, вырывал у англичан Невис и Монсеррат, чем сейчас, в этом стесненном положении, спутанный по рукам и ногам кознями дипломатов, в ожидании гражданской войны, которая, быть может, никогда и не наступит. Несколько лет назад Буйе должен был командовать французской экспедицией в Ост-Индию и вернуть или завоевать Пондишери* и царства Солнца; но весь мир внезапно изменился, и Буйе вместе с ним; судьба распорядилась так, а не иначе.

* Пондишери — французская колония в Индии которая несколько раз переходила в руки англичан. В 1793 г. англичане были выдворены из Пондишери.

Глава вторая

ЗАДЕРЖКА ЖАЛОВАНЬЯ И АРИСТОКРАТЫ

Общее состояние дел таково, что сам Буйе не предвидит ничего хорошего. Уже со времени падения Бастилии и даже еще ранее состояние дел во французской армии вообще было весьма сомнительным и с каждым днем ухудшалось. Дисциплина, которая во все времена представляет некоторого рода чудо и держится верой, была расшатана без надежды на скорое восстановление ее. Французские гвардейцы играли в опасную игру; как они выиграли ее и как теперь пользуются ее плодами — это всем известно. Мы видели, что при том всеобщем перевороте наемные солдаты отказались сражаться. Так же поступили и швейцарцы полка Шатовё, почти французские швейцарцы из Женевы и кантона Во тоже отказались сражаться. Появились дезертиры, сам полк Руаяль-Аллеман представлял безотрадную картину, хотя и оставался верным долгу. Словом, мы видели, как военная дисциплина в лице бедного Безанваля с его мятежным, непокорным лагерем проводит два мучительных дня на Марсовом поле и затем «под покровом ночи» уходит «по левому берегу Сены» искать приюта в другом месте, так как эта почва, очевидно, стала слишком горяча для нее.

Но где же искать новой почвы, к какому средству прибегнуть? Спасение в «не зараженных» еще гарнизонах и разумной строгости в муштровке солдат — таков, несомненно, и был план. Но, увы, во всех гарнизонах и крепостях, от Парижа до отдаленнейших деревушек, везде уже распространилась мятежная зараза; она вдыхается с воздухом, передается вместе с прикосновением и общением, пока все, до самого бестолкового солдата, не заражаются ею! Люди в мундирах разговаривают с людьми в гражданском платье; люди в мундирах не только читают газеты, но и пишут в них². Подаются собственные петиции или представления; рассылаются тайные эмиссары, образуются союзы; всюду замечаются недовольство, соперничество, неуверенность в положении дел; словом, настроение полно угрюмой подозрительности. Вся французская армия находится в смутном, опасном брожении, не предвещающем ничего доброго.

Значит, среди повсеместного социального расслоения и возмущения общества нам предстоит еще самая глубокая и самая мрачная форма их — солдатский мятеж? Если всякое восстание при всех обстоятельствах представляет картину безнадежного опустошения, то во сколько раз оно становится ужаснее, когда принимает характер военного мятежа! В этом случае орудие дисциплины и порядка, которым держится в повиновении и управляется все остальное, становится само несоизмеримо страшнейшим орудием необузданности, подобно тому как огонь, наш незаменимый слуга на все руки, действует опустошительно, когда сам становится властелином и превращается в пожар. Мы назвали дисциплину некоторого рода чудом: и в самом деле, разве не чудо, что один человек распоряжается сотнями тысяч? Каждый в отдельности, лично, может быть, не любит и не боится его и все же должен повиноваться ему, идти туда или сюда, маршировать или останавливаться, убивать других или давать убивать себя, как будто это веление самой судьбы, как будто слово команды представляет в буквальном смысле магическое слово?

Но что, если это магическое слово вдруг будет забыто и чары его нарушатся? Легионы усердных исполнительных существ восстают против вас, как грозные враги; свободная, блистающая порядком арена превращается в адское поле сражения, и несчастного чародея разрывают на куски. Военная чернь та же чернь — только с ружьями в руках, — над головами которой висит смерть, потому что за неповиновение она наказывается смертью, а ведь она ослушалась. И если всякая чернь ведет себя как безумная и, как в безумии, действует в бешеных припадках горячности и оцепенения, внезапно переходя от дикой ярости к паническому страху, то, поду-

майте, как будет вести себя солдатская чернь, которая в конфликте между долгом и наказанием кидается от раскаяния к злобе и в самом пылу исступления держит в руке заряженное ружье! Для самого солдата возмущение представляет нечто страшное, может быть даже достойное сожаления, и, однако, оно столь опасно, что может вызывать только ненависть, но никак не сострадание. Совершенно ненормальный класс людей эти несчастные, наемные убийцы! С откровенностью, вызывающей изумление современных моралистов, они поклялись быть машинами, но все же остались отчасти людьми. Пусть же осторожная власть не напоминает им об этом последнем факте, пусть всегда сила, а главное, несправедливость останавливаются по эту сторону опасной черты! Мы часто говорим, что солдаты возмущаются; если бы этого не было, то многое из существующего в этом мире лишь временно длилось бы вечно.

Независимо от общей борьбы, которую ведут против своей судьбы все сыны Адама на земле, невзгоды французских солдат сводятся к следующим двум. Первая та, что их офицеры — аристократы; вторая — что они обманывают их в жалованье. Две обиды или, собственно, одна, могущая превратиться в целую сотню, ибо какое множество последствий вытекает из одного первого положения, что их офицеры — аристократы! Один этот факт представляет беспредельный, никогда не иссякающий источник всяких обид; его можно было бы назвать исходной причиной общей обиды, из которой ежедневно будут самостоятельно развиваться одна личная обида за другой. То, что она время от времени принимает определенную форму, может служить даже некоторого рода утешением. Расхищение жалованья, например. Тут обида воплотилась, стала осязаемой, ее можно обличить, выразить, хотя бы только злобными словами.

К несчастью, великий источник обид действительно существует: почти все наши офицеры неизбежно аристократы, аристократизм вошел в их плоть и кровь. По специальному закону никто не может рассчитывать даже на скромный чин лейтенанта милиции, пока не представит, к удовольствию короля-льва, удостоверение в том, что он имеет за собою по крайней мере четыре поколения дворянства. Требуется, значит, не просто дворянство, а родовое, от праотцев. Эта последняя поправка внесена в закон в сравнительно недавнее время одним из военных министров, заваленных просьбами³ о производстве в офицеры. Она, правда, облегчила жизнь военного министра, но увеличила во Франции зияющую пропасть между дворянством и простонародьем и, кроме того, между новым и старым дворянством, как будто уже и при старом и новом, а затем при старом, старшем и старейшем дворянстве мало было противоречий и несогласий, которые теперь с треском сталкиваются друг с другом и вместе с другими противоположностями затягиваются в бездну одним общим водоворотом. Это падение в бездну, из которой нет возврата, уже совершилось или совершается среди хаотического беспорядка, только войска еще не охвачены водоворотом; но, спрашивается, можно ли надеяться, что они удержатся на поверхности? Очевидно, нет.

Правда, в период внешнего мира, когда сражений нет, а есть только муштра, вопрос о чинопроизводстве кажется довольно теоретическим. Но по отношению к Правам Человека он всегда имеет практическое значение. Солдат присягал в верности не только королю, но и закону и народу. «Нравится ли нашим офицерам революция?» — спрашивают солдаты. К несчастью, нет; они ненавидят ее и любят контрреволюцию. Молодые люди в эполетах, с дворянской кровью в жилах, отравленные дворянской спесью, открыто издеваются, с негодованием, переходящим в презрение, над нашими Правами Человека, как над новоизобретенной паутиной, которую надо смести. Старые офицеры, более осторожные, молчат, сурово сжимая губы, но можно догадаться, что происходит в их душе. Кто знает, быть может, даже под простым словом команды скрывается сама контрреволюция, замышляющая продажу нас изгнанным принцам или австрийскому королю; разве предатели-аристократы не могут провести нас, простых людей? Так пагубно действует эта общая причина всех обид, вызывая вместо доверия и уважения лишь ненависть и бесконечную подозрительность и делая невозможным и командование и повиновение. Насколько же опаснее, когда вторая, более осязаемая обида — задержка жалованья — отчетливо возникла в сознании простых людей? Хищения самого низменного сорта существуют и существовали давно; но если недавно провозглашенные Права Человека и всякие прочие права не паутина, то подобных злоупотреблений не должно более существовать!

Французская военная система, по-видимому, умирает печальной смертью самоубийцы. Более того, в этом деле гражданин естественно выступает против гражданина. Солдаты находят слушателей и беспредельное сочувствие множества патриотов из низших классов. Высшие

же классы относятся таким же образом к офицерам. Офицер по-прежнему наряжается и душился, собираясь на невеселые вечеринки, которые устраиваются иногда еще не успевшими эмигрировать дворянами. Там офицер высказывает свои горести, которые в то же время и горести Его Величества и самой природы, но, кстати, выражает и вызывающее неповиновение, и твердую решимость не сдаваться. Граждане, а еще более гражданки понимают, что дурно и что хорошо; не одна только военная система покончит самоубийством, с ней погибнет и многое другое. Как мы уже говорили, возможен более глубокий переворот, чем те, которым мы были свидетелями, — переворот, при котором глубочайший, чадающий сернистый слой, на котором все покоится и растет, очутится наверху.

Но как подействует все это на грубое сердце солдата при его военном педантизме, его неопытности во всем лежащем вне плац-парада, при его почти детском неведении в соединении с озлобленностью мужчины и пылкостью француза! Уже давно тайные собрания в столовых и караульных, угрюмые взгляды, тысячи мелких столкновений между командующими и подчиненными наполняют всюду скучный день солдата. Спросите капитана Даммартена, заслуживающего доверия, остроумного кавалерийского офицера и писателя; он приверженец царства свободы, правда, с некоторыми ограничениями, однако и его сердце глубоко оскорблено виденным на жарком юго-западе и в других местах: он видел восстания, гражданскую войну при дневном свете и огне факелов, видел анархию, которая ненавистнее самой смерти. Однажды непокорные, пьяные солдаты встретили капитана Даммартена и другого офицера на валу, где не было боковой тропинки или обхода; они, правда, тотчас же отдали честь, «потому что мы спокойно смотрели на них», но сделали это с угрюмым, почти вызывающим видом. В другой раз, поутру, «они собрали все свои кожаные куртки», надоевшие им, и лишние вещи и сложили их в кучу у двери командира, над чем «мы смеялись, как осел, жующий колючки». Однажды они связали, среди общей шумной ругани, две веревки от фуража с явным намерением повесить квартирмейстера. Взирая на все эти события сквозь дымку любовно скорбного воспоминания, наш достойный капитан описал их плавным стилем⁴. Солдаты ворчат, проявляя смутное недовольство, офицеры слагают с себя обязанности и с досады эмигрируют.

Или спросим еще одного занимающегося литературой офицера, не капитана, а лишь младшего лейтенанта артиллерийского полка Ла-Фер, молодого человека двадцати одного года, мнение которого не лишено интереса: имя его — Наполеон Бонапарт. Он был произведен в этот чин пять лет назад в Бриенской школе, «так как Лаплас признал его способным к математике». Он стоит в это время в Оксоне, на западе; квартира его не роскошна; он живет «в доме цирюльника, к жене которого относится не совсем с должной степенью уважения», или же помещается в мансарде с голыми стенами, единственную обстановку которой составляют «простая кровать без полога, два стула и стол перед окном, заваленный книгами и бумагами; брат его Луи спит в соседней комнате на грубом матрасе». Однако младший лейтенант занят довольно значительным делом: он пишет сдую первую книгу или памфлет — страстное, красноречивое «Письмо к Маттео Буттафуоко», нашему корсиканскому депутату, не патриоту, а аристократу, не заслуживающему быть депутатом. Издатель его — Жоли из Доля. Автор сам заменяет корректора; «каждое утро, в четыре часа, он отправляется пешком из Оксона в Доль; затем, просмотрев корректуру, он делит с Жоли его весьма скромный завтрак и немедленно после того возвращается в свой гарнизон, куда прибывает около полудня, совершив в течение утра прогулку в двадцать миль».

Наш младший лейтенант может заметить, что в гостиных, на улицах, дорогах, в гостиницах — всюду умы людей готовы вспыхнуть ярким пламенем. Патриот, входя в гостиную или находясь среди группы офицеров, имеет достаточно оснований впасть в уныние: так много здесь настроенных против него людей; но лишь только он выйдет на улицу или окажется среди солдат, как чувствует себя так, как будто с ним вместе вся нация. Далее он замечает, что после знаменитой присяги Королю, Народу и Закону произошла крупная перемена: до присяги в случае приказа стрелять в народ лично он повиновался бы во имя короля, но после нее во имя народа он не повиновался бы. Равным образом он видит, что патриотические офицеры, более многочисленные в артиллерии, чем в других частях, сами по себе составляют меньшинство, но, имея на своей стороне солдат, они управляли полком и часто спасали своих товарищей-аристократов от опасностей и затруднений. Однажды, например, «один член нашей офицерской компании

вздуродил чернь тем, что, стоя у окна нашей столовой, пел: «О Ричард! О мой король!», и мне пришлось спасти его от разъяренной толпы»⁵.

Пусть читатель помножит все это на десять тысяч и распространит, с незначительными изменениями, на все лагеря и гарнизоны Франции. Французская армия, по-видимому, на пороге всеобщего мятежа.

Всеобщий мятеж! Тут есть от чего содрогнуться конституционализму патриотов и августейшему Собранию. Нужно что-нибудь предпринять, но что именно, этого ни один человек не может сказать. Мирабо предлагает даже распустить все двести восемьдесят тысяч солдат и организовать новую армию⁶. Невозможно так сразу, кричат все. Однако, отвечаем мы, так или иначе, но это неизбежно. Подобная армия, с ее дворянами в четвертом поколении, невыплатой жалованья и солдатами, связывающими фуражные веревки, чтобы вешать квартирмейстеров, не может существовать рядом с такой революцией. Остается только выбрать между медленным, хроническим распадом или быстрым, решительным роспуском и организацией новой армии; между агонией, растянутой на много лет или разрешающейся в один час. Если бы Мирабо был министром или правителем, то избрали бы последнее, но так как Мирабо не стоит во главе правительства, то, разумеется, избирается первое.

Глава третья

БУЙЕ В МЕЦЕ

Ничто из перечисленного не составляет тайны для Буйе, находящегося в северо-восточном округе. Временами мысль о бегстве за границу светит ему, как последний луч надежды во всеобщем смятении; однако он остается на своем посту, стараясь по-прежнему надеяться на лучшее и видя спасение не в новой организации, а в удачной контрреволюции и возврате к старому. Кроме того, ему ясно, что именно эта национальная федерация, эти всеобщие клятвы и братания народа с войском принесли «неисчислимый вред». Много из того, что бродило втайне, благодаря этому вышло наружу и стало явным: национальные гвардейцы и линейные солдаты торжественно обнимаются на всех плац-парадах, поют, произносят патриотические клятвы, попадают в беспорядочные уличные процессии с антивоенными конституционными возгласами и криками «ура». Так, например, Пикардийский полк был выстроен во дворе казарм в Меце и получил за такое поведение строгий выговор от самого генерала, после чего принес раскаяние⁷.

Между тем, по свидетельству отчетов, неповиновение начинает проявляться все резче и сильнее. Офицеров запирают в столовых, осаждают шумными требованиями, сопровождающимися угрозами. Зачинщики мятежа, правда, получают «желтую отставку» — позорную отставку с так называемой *cartouche jaune*, но вместо одного появляются десять новых зачинщиков, и желтая *cartouche* перестает считаться позорным наказанием. Через две, самое большее — через четыре недели после знаменитого праздника Пик вся французская армия, которая требует выплаты задержанного жалованья, образует клубы для чтения, посещает народные собрания, находится в состоянии, характеризуемом Буйе только одним словом — бунт. Буйе понимает это, как понимают лишь немногие, и говорит по собственному страшному опыту. Возьмем наугад один пример.

Еще в начале августа — точное число теперь нельзя установить — Буйе, намеревающийся отправиться на воды в Экс-ла-Шапелль, снова внезапно призывается в мецские казармы. Солдаты стоят в боевом порядке, с заряженными ружьями, офицеры находятся тут же по принуждению солдат, и все в один голос настойчиво требуют уплаты задерживаемого жалованья. Раскаявшийся Пикардийский полк, как мы видим, провинился вновь: обширная площадь полна вооруженными мятежниками. Храбрый Буйе подходит к ближайшему полку, открывает свой привыкший к командам рот, чтобы произнести речь, но встречает только негодующие крики, жалобы и требования стольких-то причитающихся по закону тысяч ливров. Момент критический: в Меце стоит около десяти тысяч солдат, и всеми ими овладел, по-видимому, один дух.

Буйе тверд, как алмаз, но что ему делать? Немецкий Зальмский полк, кажется, настроен лучше; тем не менее и Зальмский полк тоже, наверное, слышал о заповеди «не укради», и он тоже знает, что деньги — это деньги. Буйе доверчиво направляется к Зальмскому полку,

говорит что-то о доверии, но и здесь ему отвечают требованием сорока четырех тысяч ливров и нескольких су. Крик становится все громче и громче по мере того, как неудовольствие полка возрастает, и, когда в ответ на него не следует не только уплаты, но и обещания уплаты, крик заканчивается тем, что все одновременно вскидывают ружья на плечо и Зальмский полк решительным маршем отправляется на соседнюю улицу, к дому своего полковника, чтобы захватить полковое знамя и Денежный ящик. Зальмцы поступают так в твердой уверенности, что *meum* не есть *tuum* и что прекрасные речи не то же, что сорок четыре тысячи ливров и несколько су.

Удержать их невозможно. Зальмцы идут военным маршем, быстро преодолевая расстояние. Буйе и офицеры обнажают сабли и должны идти удвоенным *pas de charge*, попросту бежать, чтобы опередить солдат; они становятся у внешней лестницы со всей твердостью и презрением к смерти, на которые только способны, в то время как зальмцы грозно надвигаются, шеренга за шеренгой; можно себе представить, в каком они настроении, хотя, по счастью, оно не перешло еще в жажду крови. Буйе стоит, с мрачным спокойствием ожидая конца, уверенный по крайней мере в одном человеке: в самом себе. Все, что может сделать самый бесстрашный из людей и генералов, сделано. Хотя пикеты загораживают улицу с обоих концов и смерть стоит у Буйе перед глазами, ему удается, однако, отправить гонца в драгунский полк с приказом выступить на помощь; драгунские офицеры садятся на коней, но солдаты отказываются идти; отсюда ему не придет спасение. Улица, как мы говорили, забаррикадирована, отрезана от всего мира; над ней лишь равнодушный свод небес, да кое-где, быть может, выглядывает из окна боязливый домовладелец, молясь за Буйе, тогда как многочисленная толпа черни на мостовой молится за успех зальмцев. Так стоят обе партии, подобно телегам, запертым *fi* узком переулке, или схватившимся в смертельной борьбе борцам! Целых два часа стоят они в таком положении. В руке Буйе сверкает сабля; брови его сдвинуты в непоколебимой решимости. Так проходят два часа по мецским часам. Зальмцы стоят в мрачном молчании, изредка нарушаемом бряцанием оружия; но они не стреляют. Время от времени чернь побуждает какого-нибудь гренадера прицелиться в генерала, который смотрит спокойно, как вылитый из бронзы, и каждый раз какой-нибудь капрал отстраняет ружье.

Стоя в таком необыкновенном положении на этой лестнице в течение двух часов, храбрый Буйе, долго бывший лишь тенью, выступает перед нами из мрака и становится личностью. Впрочем, раз зальмцы не застрелили его в эти первые минуты и сам он остается непоколебим, опасность уменьшается. Мэр, «человек в высшей степени почтенный», с чиновниками муниципалитета в трехцветных шарфах добивается наконец пропуска и просьбами, увещаниями, разъяснениями убеждает зальмцев возвратиться в казармы. На следующий день почтенный мэр ссужает деньги, и офицеры выплачивают половину требуемой суммы наличными деньгами. После этой выплаты зальмцы успокаиваются, и на время все, насколько возможно, утихает⁸.

Сцены, подобные мецской, или приготовления к подобным же демонстрациям происходят повсюду во Франции. Даммартен, с его фуражными веревками и сваленными в кучу кожаными куртками, стоит в Страсбурге, на юго-востоке; в эти же самые дни или, вернее, ночи в Эдэне, на крайнем северо-западе, солдаты Королевского Шампанского полка «с тридцатью зажженными свечами кричат: «*Vive la Nation! Au diable les aristocrates!* (Да здравствует народ! К черту аристократию!)». «Гарнизон в Биче», как с сожалением констатирует депутат Рюбель, «вышел за город с барабанным боем, разжаловал своих офицеров и затем вернулся в город с саблями наголо»⁹. Не пора ли верховному Национальному собранию заняться этими делами? Военная Франция находится в ожесточенном, легко воспламеняющемся настроении, которое, подобно дыму, ищет выхода. Это гигантский клубок дымящейся пакли, который, будучи раздуваем сердитым ветром, легко может вспыхнуть ярким пламенем и превратиться в море огня.

Все эти обстоятельства, разумеется, повергают конституционалистов-патриотов в глубокую тревогу. Верховное собрание усердно рассуждает на заседаниях, но не решается принять совет Мирабо немедленно распустить армию и потушить пожар, находя, что путь паллиативных мер удобнее. Однако по меньшей мере жалобы на неуплату жалованья должны быть рассмотрены. С этой целью придуман план, много шумевший в те дни и известный под названием «Декрет 6 августа». Во все полки должны отправиться инспектора и с некоторыми выборными капрами и «умеющими писать солдатами» установить остающиеся недоимки и хищения

и покрыть их. Целесообразная мера, если при помощи ее дымящаяся головня будет потушена, а не вспыхнет с новой силой от слишком большого притока воздуха или от искр и трения.

Глава четвертая

НЕДОИМКИ В НАНСИ

Следует, однако, заметить, что округ, подчиненный Буйе, по-видимому, один из самых воспламеняющихся. Король всегда желал бежать в Мец, к Буйе: оттуда близко до Австрии. Там, более чем где-либо, разъединяемый раздорами народ должен был со страхом или с надеждой и со взаимным раздражением смотреть через границу, в туманное море внешней политики и дипломатии.

Еще недавно, когда несколько австрийских полков мирно прошли по одному углу этой местности, все приняли это за вторжение; тотчас же в Стенэ со всех сторон бросились тысяч тридцать национальных гвардейцев с ружьями на плече, чтобы разузнать, в чем дело¹⁰. Оказалось, что дело касалось чисто дипломатического вопроса: австрийский император, желая скорее проехать в Бельгию, выговорил себе право сократить немного путь. Итак, едва европейская дипломатия задела на своем темном пути край этих мест, подобно тени пролетающего кондора, и тотчас же с гоготаньем и карканьем взвилась целая тридцатитысячная крылатая стая! К тому же в местном населении, как мы уже сказали, царят раздоры: здесь множество аристократов, и патриотам приходится наблюдать и за ними, и за австрийцами. Ведь мы находимся в Лотарингии; местность эта не так просвещенна, как старая Франция; помнит прежний феодализм, в памяти людей остался даже собственный двор и свой король или, вернее, блеск двора и короля — без связанных с этим тягостей. С другой стороны, Якобинское общество, заседающее в парижской церкви якобинцев, имеет в этих городах дочерей с пронзительными голосами и острыми языками; подумайте же, как уживутся воспоминания о добром короле Станиславе* и о временах императорского феодализма с этим новым, растлевающим евангелием и какой яд раздора выльется вместе с ним! Во всем этом войска — офицеры на одной стороне, солдаты на другой — принимают участие, теперь весьма существенное. Притом же войска здесь гораздо возбужденнее, потому что они более скученны, так как в пограничной провинции их всегда требуется большее число.

* Речь идет о Станиславе Понятовском, французском ставленнике на польском престоле.

Так обстоят дела в Лотарингии, особенно в столице ее — Нанси. Хорошенький город Нанси, так любимый ушедшими в небытие феодалами, где жил и сиял король Станислав. Город имеет аристократический муниципалитет, но также и филиал Якобинского клуба. В нем около сорока тысяч душ несогласно живущего между собой населения и три больших полка; один из них — швейцарский полк Шатовьё, который дорог патриотам с того времени, как он действительно или предположительно отказался стрелять в народ в дни штурма Бастилии. К сожалению, здесь, по-видимому, сосредоточиваются все дурные влияния и, более чем где-либо, проявляются соперничество и накал страстей. Здесь уже много месяцев люди со все большим ожесточением восстают друг против друга: умытые против неумытых, солдаты-патриоты против аристократов-офицеров, так что длинный уже счет обид продолжает расти.

Названные и неназванные обиды, ведь злоба — пунктуальный счетчик: она будет ежедневно заносить что-нибудь под рубрику «разное», все равно, взгляд или тон голоса, мельчайший поступок или упущение, постоянно увеличивая ими общую сумму. Так, например, в прошлом апреле, в дни предварительной федерации, когда национальные гвардейцы и солдаты всюду клялись в братстве и вся Франция вступала в местные союзы, готовясь к торжественному национальному празднику Пик, замечено было, что офицеры в Нанси старались охладить пыл братания: так, они сначала уклонялись от присутствия на федеральном празднике в Нанси, потом пришли в сюртуках, а не в парадной форме, только надев чистые рубашки, а один из них выbral торжественный момент, когда мимо него пронесли развевавшиеся национальные флаги, чтобы без всякой видимой надобности плюнуть¹¹.

Правда, все это мелочи, но они повторяются беспрестанно. Аристократический муниципалитет, выдающий себя за конституционный, держится большей частью спокойно, но этого отнюдь нельзя сказать о местном отделении Якобинского клуба, о пяти тысячах взрослых патриотов города, еще менее о пяти тысячах патриотов, о молодых, в эполетах, с бакенбардами или без, дворянах в четвертом поколении, о мрачных швейцарских патриотах из Шатовьё, о пылкой пехоте Королевского полка и о горячих кавалеристах Местр-де-Кампа. Обнесенное стенами Нанси со своими прямыми улицами, обширными скверами и постройками времен короля Станислава, так красиво и нарядно расположенное на плодородном берегу Мерты, среди золотистых в эти летние месяцы сбора урожая полей, внутри представляют ад раздоров, беспокойства и возбудимости, близкой к взрыву. Пусть Буйе заглянет сюда. Если всеобщее возбуждение в войсках, которое мы сравнивали с гигантским клубком дымящейся пакли, где-нибудь вспыхнет, то здесь, в Лотарингии и Нанси, бороде его больше всего грозит опасность.

Что касается Буйе, то он сильно занят, но только общим наблюдением за всем. Он отправляет своих успокоившихся зальмцев и все другие сколько-нибудь надежные полки из Меца в южные города и деревни, в сельские кантоны, на тихие воды Вика, Марсала и т. п.; здесь много фуража для конницы, уединенных плацев, и склонность солдат к размышлениям может быть парализована усиленной муштровкой. Зальмцы, как мы говорили, получили лишь половину причитающихся им денег, что, разумеется, было встречено не без ропота. Тем не менее сцена с обнаженной саблей подняла Буйе в глазах солдат: люди и солдаты любят бесстрашие и быстроту, непоколебимую решимость, хотя бы им и приходилось самим страдать от нее. И в самом деле, разве это не главное из всех мужских достоинств? Само по себе это качество не значит почти ничего, так как им наделены и низшие животные, ослы, собаки, даже мулы, но в надлежащем соединении оно составляет необходимое основание всего.

О Нанси и господствующем там возбуждении главнокомандующий Буйе не знает ничего точно; знает только вообще, что войска в этом городе едва ли не самые худшие по духу¹². Офицеры там теперь, как и раньше, держат все в своих руках и, к несчастью, по-видимому, ведут себя не особенно умно. «Пятьдесят желтых увольнительных», выданных сразу, несомненно, означают наличие затруднений. Но что должны были подумать патриоты о некоторых драчливых фузилерах, которых — действительно или по слухам — подговорили оскорбить клуб гренадер — спокойных, рассудительных гренадер — в их собственной читальне? Оскорблять криками и улюлюканьем, пока и рассудительные гренадеры не выхватят сабли и не произойдут драки и дуэли? Мало того, разве не высылали таких же головорезов (в некоторых случаях это было доказано, в других — предполагалось), то переодетых солдатами, чтобы заводить ссоры с горожанами, то переодетых горожанами, чтобы заводить ссоры с солдатами? Некий Руссьер, опытный фехтовальщик, был пойман на месте, тогда как четыре офицера (вероятно, очень молодые), которые натравливали его, поспешно разбежались! Фехтовальщик Руссьер был приведен на гауптвахту и приговорен к трем месяцам ареста, но товарищи его потребовали для него единогласно «желтую увольнительную» и даже устроили ему целый парад: надели на него бумажный колпак с надписью: «Искарriot», вывели за городские ворота и строго приказали исчезнуть навсегда.

На все эти подозрения, обвинения, шумные сцены и другие подобного же рода постоянные неприятности офицеры могли смотреть только с презрительным негодованием быть может и выражая его в презрительных словах, а «затем вскоре бежали к австрийцам».

Так что когда здесь, как и везде, встал вопрос о задержке жалованья, то разом выяснилось, насколько все обострено. Полк Местр-де-Камп получает, среди громких криков, по три луидора на человека, которые по обыкновению приходится занять у муниципалитета. Швейцарский полк Шатовьё требует столько же, но получает взамен девятихвостую кошку (*sourtoies*), к которой присоединяется нестерпимый свист женщин и детей. Королевский полк, потеряв надежду после долгого ожидания, захватывает в конце концов полковую кассу и уносит ее в казармы, но на следующий день приносит обратно по тихим, словно вымершим улицам. Всюду беспорядочные шествия и крики, пьянство, ругань, своеволие; военная организация трещит по всем швам, или, как говорят типографщики о наборе, «весь шрифт смешался!»¹³. Так обстоят дела в Нанси в первых числах августа, стало быть меньше чем через месяц после торжественного праздника Пик.

Конечно, конституционному патриотизму в Париже и других местах есть отчего содрогнуться при этих известиях. Военный министр Латур дю Пен, задыхаясь, прибегает в Национальное собрание с письменным извещением, что «все в огне, tout brûle, tout presse.» Национальное собрание под впечатлением первой минуты, уступая желанию военного министра, издает декрет, «предписывающий вернуться к повиновению и раскаяться», как будто этим можно чего-то достичь. Журналисты со своей стороны велят во все горло, издавая хриплые крики осуждения или элегического сочувствия. Поднимают голос и сорок восемь секций; в Сент-Антуанском предместье гремит зычный голос пивовара, или, как его называют теперь, полковника Сантера. оказывается, что тем временем солдаты Нанси прислали депутацию из десяти человек, снабженную документами и доказательствами, говорящими совсем другое, чем история о том, что «все в огне». Но бдительный Латур дю Пен велит схватить этих десять депутатов, прежде чем им удастся добраться до зала Собрания, и по приказу мэра Байи их сажают в тюрьму! Это было явным нарушением конституции, так как они имели отпуск от своих офицеров. В ответ на это Сент-Антуанское предместье в негодовании и боязни за будущее запирает лавки. Ведь возможно, что Буйе — изменник и проданся Австрии, и в этом случае бедные солдаты возмутились именно из патриотизма!

Новая депутация, на этот раз депутация от национальных гвардейцев, отправляется из Нанси, чтобы просветить Национальное собрание. Она встречает возвращающихся прежних десять депутатов, которых, сверх ожидания, не повесили, и продолжает свой путь с лучшими надеждами, но также не достигает ничего. Депутации, гонцы от правительства, скачущие ординарцы, тысячеголосые тревожные слухи носятся беспрестанно взад и вперед, распространяя смятение. Наконец, в последних числах августа де Мальсень, выбранный инспектором и снабженный полномочиями, деньгами и «декретом от 6 августа», отправляется на место мятежа. Он должен постараться ликвидировать задолженность в уплате жалованья, восстановить правосудие или по крайней мере подавить возмущение.

Глава пятая

ИНСПЕКТОР МАЛЬСЕНЬ

Инспектор Мальсень при ближайшем рассмотрении оказывается человеком «геркулесова телосложения» и представляет со своими огромными усами — в то время как роялистские офицеры теперь оставляют верхнюю губу небритой — довольно страшное зрелище; он наделен не только неукротимым мужеством быка, но, к несчастью, и его тупоголовым упорством.

В четверг 24 августа 1790 года он открывает сессию в качестве инспектирующего комиссара и принимает, тех самых «выборных капралов и умеющих писать солдат». Он находит, что счета полка Шатовьё запутанны, что их надо отложить и сделать справки, начинает горячо говорить, порицать и кончает среди громкого ропота. На следующее утро он возобновляет заседание, но не в городской Ратуше, как советовали осторожные муниципальные советники, а снова в казармах. К несчастью, Шатовьё, роптавший всю ночь, не хочет теперь ничего слышать об отсрочке или справках. Мальсень от увещаний переходит к угрозам, но на все ему отвечают немолкающими криками: «Jugez tout de suite!» (Решайте сейчас!) Мальсень в ярости хочет уйти. Но, оказывается, Шатовьё, топчущийся во дворе казарм, поставил у всех ворот часовых, которые на требование комиссара, поддержанное и полковым командиром Дену, отказываются пропустить его; он слышит только: «jugez tout de suite». Вот узел, который надо распутать!

Мальсень, храбрый, как бык, обнажает саблю и хочет пробиться к выходу. Происходит свалка. Сабля Мальсенья ломается, он выхватывает саблю у командира Дену, ранит часового и пробивается сквозь ворота, так как его не решаются убить. Солдаты Шатовьё в беспорядке преследуют его; какое зрелище для жителей Нанси! Мальсень идет быстрым шагом, однако не переходит на бег, оборачивается время от времени с угрозами и взмахами саблей и так достигает невредимым дома Дену. Возбужденные солдаты осаждают этот дом, но пока не входят, так как их не пропускает группа офицеров, стоящих на лестнице. Мальсень, возбужденный, но необескураженный, обходными путями под прикрытием национальных гвардейцев возвращается в городскую Ратушу. Оттуда на следующее утро он издает новые приказы, новые проекты соглашения с Шатовьё, но ни одного из них солдаты не желают принимать; наконец среди страшного шума он

издает приказ полку Шатовье выступить на следующее утро и перейти на стоянку в Саррлуи. Солдаты наотрез отказываются повиноваться. Мальсень составляет об этом отказе «акт» — нотариальный протест по всей форме, если б только он мог помочь ему!

Наступает конец четверга, а с ним и конец инспекторства Мальсенья, продолжавшегося около пятидесяти часов. Но за эти пятьдесят часов он, к несчастью, завел дело довольно далеко. Местр-де-Камп и Королевский полк еще колеблются в нерешимости, но солдаты Шатовье, как мы видим, потеряли всякое самообладание. Ночью адъютант Лафайета, находящийся здесь для подобных случаев, посылает во все стороны экстренных гонцов, чтобы призвать национальных гвардейцев. Сон деревни нарушается топотом копыт, громкими стуками в двери; всюду конституционалистам-патриотам приходится облачаться в военные доспехи и отправляться в Нанси.

И вот наш Геркулес-инспектор сидит весь четверг среди объятых страхом муниципальных советников, в центре шумного смятения; сидит весь четверг, пятницу и до полудня субботы. Полк Шатовье, несмотря на нотариальный протест, не желает двинуться ни на шаг. Около четырех тысяч национальных гвардейцев приходят поодиночке или отрядами, не зная о том, чего от них ожидают; еще менее известно, чего можно ждать от них самих. Все полно неизвестности, возбуждения и подозрений: ходят слухи, что Буйе, начавший подвигаться к сельским стоянкам, дальше на восток, просто роялистский заговорщик, что Шатовье и патриоты проданы Австрии и что Мальсень, вероятно, какой-нибудь австрийский агент. Настроение полков Местр-де-Камп и Королевского становится все более и более тревожным; полк Шатовье и не думает уходить; солдаты его в страстном возбуждении «провозят по улицам развевающиеся на двух телегах красные флаги», а на следующее утро отвечают своим офицерам: «Уплатите нам жалованье, и мы пойдем с вами хоть на край света!»

При таких обстоятельствах Мальсеню около полудня в субботу приходит в голову, что недурно было бы осмотреть городские стены, — он садится на лошадь и едет в сопровождении трех всадников. У городских ворот он приказывает двоим из них дожидаться его возвращения, а с третьим, надежным человеком, скачет в Люневиль, где стоит один карабинерский, еще не взбунтовавшийся полк. Оба оставшихся кавалериста вскоре начинают беспокоиться, догадываются, в чем дело, и поднимают тревогу. Около сотни солдат из полка Местр-де-Камп с величайшей поспешностью, словно они уже проданы Австрии, седлают лошадей и скачут, сбившись в кучу, в погоню за своим инспектором. И они, и он несутся карьером с шумом и звоном по долине реки Мерты в направлении Люневилля и полуденного солнца, к изумлению страны и почти к своему собственному.

Какая гонка! Точно погоня за Актеоном*, но на этот раз Актеон-Мальсень, по счастью, уходит. К оружию, люневильские карабинеры! Накажите бунтовщиков, оскорбляющих вашего генерала и ваш гарнизон, а главное, стреляйте скорее, чтобы вы еще не успели сговориться и не отказались стрелять! И карабинеры стреляют поспешно, целясь в первых солдат Местр-де-Кампа, которые вскрикивают при виде огня и, как безумные, несутся во весь опор обратно в Нанси. Все в паническом страхе и ярости: они, несомненно, проданы Австрии по столько-то за каждый полк, приводятся даже точные суммы, а предатель Мальсень бежал! Помогите, небо и земля, помогите, неумытые патриоты, ведь вы так же проданы, как и мы!

* Актеон (греч.) — (охотник, сын Аристея и Автоной. Охотясь, Актеон увидел купающуюся Артемиду; разгневанная богиня превратила Актеона в оленя, и его растерзали собственные собаки.

Раздраженный Королевский полк заряжает ружья, весь Местр-де-Камп седлает лошадей; командир Дену схвачен и брошен в тюрьму в холщовой рубашке (*sarrau de toile*); Шатовье разбивает магазины и раздает «три тысячи ружей» патриотам из народа — Австрия получит теплую встречу. Увы, несчастные охотничьи собаки упустили, как мы сказали, своего охотника и теперь бегают с визгом и воем, как бешеные, не зная, по какому следу бежать!

И вот они выступают ночью шумным походом, с остановкой на высотах Фленваля, откуда можно видеть освещенный Люневиль. Затем в четыре часа происходят долгие переговоры, после чего устанавливается наконец соглашение; карабинеры уступают, и Мальсень выдается при взаимных извинениях. После нескольких часов неразберихи удается тронуться в путь. Так как день свободный, воскресный, то люневильцы все выходят посмотреть на это возвращение домой

взбунтовавшегося полка с его пленником. Ряды солдат проходят; люневильцы смотрят. Вдруг на первом же повороте улицы наш храбрый инспектор во весь опор бросается в сторону и ускользает невредимым под звон сабель и треск ружей; одна пуля засела только в его кожаной куртке. Вот так Геркулес! Но бегство это бесполезно. Карабинеры, к которым он возвращается после долгой скачки, совершив большой круг, «стоят у ночных сторожевых огней», совещаясь об Австрии, об изменниках, о ярости солдат Местр-де-Кампа. Словом, следующая картина представляет нам храброго Мальсенья едущим в понедельник в открытом экипаже по улицам Нанси, под обнаженной саблей стоящего позади него солдата, среди толпы «разъяренных женщин», рядов национальных гвардейцев и настоящего вавилонского столпотворения. Его везут в тюрьму, где он составит компанию командиру Дену! Вот на какую квартиру попадает в заключение инспектор Мальсень¹⁴.

Поистине, пора приехать генералу Буйе. Все окрестные местечки, напуганные сторожевыми огнями, освещенными городами, постоянными перемещениями людей, не спят уже несколько ночей подряд. Нанси, с его ненадежными национальными гвардейцами, с розданными ружьями, бунтующими солдатами, мрачной паникой и пылающей яростью, представляет собой уже не город, а Бедлам.

Глава шестая

БУЙЕ В НАНСИ

Поторопись с помощью, храбрый Буйе; если помощь придет нескоро, то все действительно «загорится», и неизвестно, до каких пределов может распространиться пожар! Многое в эти часы зависит от Буйе; успех его или неудача направят ход всего будущего в ту или другую сторону. Если, например, он будет медлить в нерешимости и не придет или придет и ничего не достигнет, то вся французская армия будет объята мятежом; национальные гвардейцы примкнут кто туда, кто сюда; роялизм обнажит рапиру, санкюлоты схватятся за пики, а дух якобинства, еще юный и опоясанный лучами солнца, разом созреет и опояшется кольцом адского огня: бывает ведь, что у людей за одну ночь смертельного кризиса головы седеют!

Храбрый Буйе, по-прежнему непоколебимый, быстро приближается, но, к сожалению, с востока, запада и севера он получает лишь «ничтожные подкрепления»; и вот во вторник утром, в последний день августа, он уже стоит, в полном вооружении, хотя все еще с незначительными силами, у деревни Фруард, в нескольких милях от Нанси. Есть ли во всем мире в это утро вторника другой сын Адама, который имел бы перед собой более трудную задачу, чем Буйе? Перед ним волнующееся, легко воспламеняющееся море сомнений и опасностей, а он уверен только в одном: в своей собственной решимости. Правда, это одно стоит многого. Он твердо и мужественно идет навстречу опасности. «Подчинение или беспощадный бой и истребление; двадцать четыре часа на размышление» — таково содержание его воззвания, посланного накануне в тридцати экземплярах в Нанси. Как оказывается, все они были перехвачены и не дошли до места¹⁵.

Тем не менее в половине двенадцатого утра является к нему во Фруард депутация от мятежных полков и муниципалитета Нанси, как будто с ответом на его воззвание, на самом же деле чтобы узнать, что остается делать. Буйе принимает эту депутацию «на широком, открытом дворе, прилегающем к его квартире», в присутствии умиротворенного Зальмского полка и других, пока еще хорошо настроенных полков. Мятежники высказываются с решимостью, которую Буйе находит дерзкой; по счастью для него, такого же мнения и зальмцы. Забыв мецскую лестницу и саблю, они требуют, чтобы негодяи были тотчас же «повешены». Буйе сдерживает их, но отвечает, что для взбунтовавшихся солдат существует только один путь — с искренним раскаянием освободить господ Дену и Мальсенья, приготовиться немедленно к выступлению, куда он прикажет, и «подчиниться и раскаяться», согласно постановлению Национального собрания и требованию, предъявленному им вчера в тридцати отпечатанных плакатах. Таковы условия Буйе, непреложные, как веление судьбы. Так как депутаты бунтовщиков, по-видимому, не принимают этих условий, то для них лучше всего исчезнуть с этого места, и даже сделать это поскорее, потому что и Буйе через несколько минут скажет только: «Вперед!» Депутаты от мятеж-

ников исчезают довольно быстро депутаты же от муниципалитета, в чрезмерном страхе за свои особы, предпочитают остаться при Буйе.

Хотя храбрый Буйе твердо идет навстречу опасности, он отлично сознает свое положение: он понимает, что в Нанси, с возмущившимися солдатами, ненадежными национальными гвардейцами и столькими розданными ружьями, бушует и неистовствует около десяти тысяч способных сражаться человек, в то время как сам он едва располагает третью этого числа, да и эта треть также состоит из ненадежных национальных гвардейцев и только что усмиренных полков, которые в настоящую минуту, правда, полны ярости и готовности выступить, но в следующую минуту эта ярость и крики могут принять совершенно другой, роковой оборот. Стоя сам на вершине бурной волны, Буйе должен успокаивать другие разбушевавшиеся волны. Ему остается только «отдаться в руки Фортуны», которая, говорят, благосклонна к храбрецам. В половине первого, после того как депутаты от мятежников уже исчезли, наши барабаны бьют: мы выступаем в Нанси! Пусть город Нанси хорошенько поразмыслит, потому что Буйе уже все обдумал и решил.

Впрочем, может ли рассуждать теперь Нанси? Это уже не город, а Бедлам. Озлобленный Шатовьё решил защищаться до самой смерти: он заставляет муниципалитет барабанным боем собрать всех граждан, знакомых с артиллерийским делом, к пушкам. С другой стороны, возбужденный Королевский полк выстроился в своих казармах; он в отчаянии, услышав о настроении в Зальмском полку, и в страхе тысячи голосов кричат: «La loi, la loi!» (Закон, закон!) Полк Местр-де-Камп неистовствует, колеблясь между страхом и злобой, а национальные гвардейцы только озираются вокруг, не зная, что предпринять. Совсем безумный город! Сколько голов, столько и планов, все приказывают, никто не повинуется; все в тревоге, кроме мертвых, мирно спящих под землей, закончив бороться.

Буйе держит свое слово; «в половине третьего» разведчики доносят, что он уже всего в полумиле от городских ворот, идет в боевом порядке, громыхая орудиями и амуницией и дыша лишь разрушением. Навстречу ему выходит новая депутация от мятежников, муниципалитета и офицеров с убедительной просьбой повременить еще час. Буйе соглашается ждать час. Но когда по истечении его вопреки обещанию ни Дену, ни Мальсень не появляются, он велит бить в барабаны и снова двигается вперед. Около четырех часов объятые страхом жители могут видеть его лицом к лицу. Пушки его громыхают на лафетах, авангард его в тридцати шагах от ворот Станислава. Он подвигается неудержимо, как планета, проходящая назначенный ей путь в определенное законом природы время. Что же дальше? Чу! взвизывает мирный флаг, и раздается сигнал к сдаче; Буйе умоляют остановиться: Мальсень и Дену уже на улице, идут сюда, солдаты раскаялись, готовы подчиниться и выступить из города. Железное лицо Буйе не изменяется ни на йоту, но он приказывает остановиться; более радостной минуты он никогда не переживал. О радость из радостей! Мальсень и Дену действительно проходят под эскортом национальных гвардейцев по улицам, обезумевшим от слухов о предательстве Австрии и тому подобном. Они здороваются с Буйе, оба совершенно невредимые. Он отходит в сторону с ними и с отцами города, уже ранее приказав, в каком направлении и через какие ворота должны выйти бунтовавшие войска.

Этот разговор с двумя генералами и с городскими властями был весьма безобиден; тем не менее можно было бы желать, чтобы Буйе отложил его и не отходил в сторону. Не лучше ли было бы на глазах таких бушующих, мятущихся, легко воспламеняющихся масс, при едкой азотной кислоте, с одной стороны, и сернистом дыме с пламенем — с другой, — не лучше ли было бы встать между ними и держать их врозь, пока место не очистится? Много отставших из Шатовьё и других полков не вышли со своими главными отрядами, выступающими через назначенные ворота и останавливающимися на открытом лугу. Национальные гвардейцы находятся в состоянии почти отчаянной нерешительности; вооруженная и невооруженная чернь бунтует на улице, явно охваченная помешательством, и вопит об измене, о продаже австрийцам, о продаже аристократам. Посредине толпы стоят заряженные пушки с горячими фитилями, а авангард Буйе находится всего в тридцати шагах от ворот. Эта безумная, охваченная слепой яростью, легко воспламеняющаяся масса, которая колыхается, как дым, не повинуется никаким приказаниям, не хочет отворять ворот, говорит, что скорее откроет жерла своих пушек! «Не стреляйте, друзья, или стреляйте через мое тело!» — кричит юный герой Дезиль, капитан Королевского полка, обхватив руками смертоносное орудие и не выпуская его. Швейцарцы Шатовьё соединенными усилиями с угрозами и проклятиями оттаскивают юношу прочь; однако он, не оробев, среди

нового взрыва проклятий садится на запальное отверстие. Шум и крики возрастают, но, увы, среди шума раздается треск сначала одного, потом трех ружейных выстрелов, и пули, пронизав тело молодого героя, повергают его в прах. В эту же минуту неистовой ярости кто-то прикладывает горящий фитиль к запалу — и громоподобная отрывка картечью взрывает на воздух около пятидесяти человек из авангарда Буйе.

Фатально! Блеск первого ружейного выстрела вызвал пушечный выстрел и зажег факел смерти; теперь все превратилось в раскаленное безумие, в адский пожар. С демонической яростью авангард Буйе устремляется в ворота Станислава, сметает мятежников огненной метлой, загоняет их в объятия смерти или на чердаки и в погреба, откуда они снова открывают огонь. Вышедшие из города полки, остановившиеся на лугу, слышат это и устремляются обратно сквозь ближайшие городские ворота; Буйе скачет за ними, как безумный, но никто его не слушает — началась в Нанси, как в царстве смерти Нибелунгов, «великая и жестокая бойня».

Ужас! Такие сцены горестного, бесцельного безумия небесный гнев лишь редко допускает среди людей! Из погребов и чердаков, со всех улиц, углов и перекрестков Шатовье и патриоты поддерживают убийственный огонь против такого же убийственного неантипатриотического огня. Синий капитан национальных гвардейцев, сражающийся, сам не зная за кого, и пронизанный пулями, требует, чтобы его положили умирать на знамя; одна патриотка (имя ее неизвестно, сохранилась только память о ее поступке) кричит солдатам Шатовье, чтобы они не стреляли из второй пушки, и даже выливает в нее ведро воды, когда крик ее остается без внимания¹⁶. Ты должен драться, ты не должен драться, и с кем тебе драться? Если бы шум мог разбудить древних мертвецов, то Карл Смелый Бургундский должен был бы встать из своей Ротонды; ни разу с того дня, как он в яростном бою сошел в могилу, потеряв жизнь и алмаз, в этом городе не было слышно такого шума.

Три тысячи человек, по подсчетам некоторых, лежат изуродованные, окровавленные, половина солдат Шатовье расстреляна без всякого полевого суда. Кавалерия Местр-де-Кампа и неприятельская немного смогут сделать. Королевский полк убедили остаться в казармах, и он стоит там в трепетном ожидании. Буйе, вооруженный ужасами закона и покровительствуемый Фортуной, в конце концов торжествует. В течение двух смертоносных часов он неустрасимо, хотя и с потерей сорока офицеров и пятисот солдат, пробился к большой городской площади: рассеянные остатки Шатовье ищут прикрытия. Королевский полк, столь легко воспламенявшийся прежде, но, увы, сейчас уже остывший, предлагает сложить оружие и «выступить в четверть часа». Эти бедняки остыли даже настолько, что просят дать им «эскорт», который и получают, хотя их несколько тысяч человек и у каждого из них по тридцать патронов. Еще не село солнце, как среди потоков крови заключается мир, который мог бы быть достигнут и без кровопролития. Бунтовавшие полки уходят, подавленные, по трем дорогам, а город Нанси оглашается воплями женщин и мужчин, оплакивающих своих убитых, которые не проснутся более; улицы пусты, по Ним проходят только патрули победителей.

Таким образом, Фортуна, благосклонная к храбрым, вытасила Буйе из этой страшной опасности, как он сам говорит, «за волосы». Неустрасимый, железный человек этот Буйе; если бы на месте старика Брольи в дни штурма Бастилии стоял он, то все могло бы быть иначе! Он подавил мятеж и беспримерную гражданскую войну. Правда, не без жертв, как мы видели, однако ценой, которую он и конституционный патриотизм считают дешевой. Что касается лично его, то, побуждаемый впоследствии возражениями, он хладнокровно заявил, что подавил восстание¹⁷ скорее против своего убеждения, только из чувства воинского долга, так как теперь единственная надежда заключается в гражданской войне. Мы говорим, побуждаемый позднейшими возражениями! Правда, гражданская война — это хаос, однако во всяком жизненном хаосе зарождается новый порядок, и странно предполагать, что изо всех новых систем, которые могут породить хаос и которые могут возникнуть из возможностей, окружающих человека во Вселенной, Людовик XVI с двухпалатной монархией представляет именно ту систему, которая должна была создаться. Это все равно что задаться выкинуть кости пятьсот раз подряд с четным числом очков, сказав себе, что всякая выпавшая кость с нечетным числом очков будет роковой — для Буйе. Возблагодари лучше Фортуну и небо, бесстрашный Буйе, и не обращай внимания на нападки. Гражданская война, которая разлилась в это время пожаром по всей Франции, могла бы привести к тому или иному результату, но тушить пожар, где и как возможно, всегда является обязанностью человека и командира.

Представьте себе, что должно было происходить в волнуемом и разделившемся на партии Париже, когда ординарцы во весь карьер прибывали туда один за другим с такими тревожными известиями! Велика была радость, но глубоко было и негодование. Верховное Национальное собрание подавляющим большинством постановляет выразить Буйе горячую благодарность; то же самое выражают собственноручное письмо короля и голоса всех приверженцев монархии и конституции. На Марсовом поле служит торжественная всенародная панихида по павшим в Нанси защитникам закона; на панихиде присутствуют Байи, Лафайет и национальные гвардейцы, за исключением немногих протестующих. Богослужение совершается с помпой и торжественными церемониями, с епископами в трехцветных перевязях; на Алтаре Отечества курятся кассолетки с благовонной смолой; обширное Марсово поле кругом увешано черным сукном. Марат полагает, что лучше было бы в такое трудное время истратить эти деньги вместо траура на хлеб и раздать его живым голодным патриотам¹⁸. С другой стороны, живые патриоты и Сент-Антуанское предместье, как мы видели, с шумом закрывшие уже раз свои лавки, собираются сейчас «в количестве сорока тысяч» и с громкими криками требуют под самыми окнами выражающего благодарность Национального собрания отпущения за убитых братьев, суда над Буйе и немедленной отставки военного министра Латур дю Пена.

Слыша и видя все происходящее, если не военный министр Латур, то «обожаемый министр» Неккер признает за лучшее проворно, почти тайком, удалиться «для восстановления здоровья» в свою родную Швейцарию; но эта поездка не похожа на предыдущую; счастье, что он доехал живым! Пятнадцать месяцев назад мы видели его въезжающим с конным эскортом, при звуках труб и рожков, а теперь, когда он уезжает без эскорта, без музыки, народ и муниципалитет в Арси-на-Обе задерживают его как беглеца с явным желанием убить его как изменника. Но запрошенное по этому поводу Национальное собрание дает ему свободный пропуск как, совершенному ничтожеству. Вот из каких «гонимых случаев щенок» состоит презренный мир для тех, кто живет в глиняных домах! Особенно в жарких странах и в жаркие времена самые гордые из построенных нами дворцов взлетают на воздух, как песчаные дворцы Сахары, крутятся столбами в вихре и погребают нас под своим песком!

Несмотря на сорок тысяч. Национальное собрание настаивает на своих благодарностях, а роялист Латур Дю Пен остается министром. Сорок тысяч собираются на следующий день с обычным шумом и направляются к дому Латура; однако, увидев на ступенях портика пушки с зажженными фитилями, они вынуждены повернуть вспять и переварить свое недовольство или претворить его в кровь.

Тем временем в Лотарингии над раздававшими ружья зачинщиками из полков Местр-де-Камп и Королевского назначается суд; но их так и не будут судить. Скорее решается судьба Шатовьё. По швейцарским законам этот полк предается немедленно военному суду из собственных офицеров. Военный суд, со всей краткостью (в несколько часов), вешает двадцать трех солдат на высоких виселицах; отправляет около шестидесяти в кандалах на галеры и таким образом, по видимому, кончает это дело. Повешенные исчезают навеки с лица земли, но закованные в кандалы на галерах воскреснут с триумфом. Воскреснут закованные герои и даже закованные мошенники или полумошенники! Шотландец Джон Нокс, один из всемирно известных героев, тоже, как известно, некогда сидел в мрачном молчании на веслах на французской галере «в водах Ларье», как он говорил, и даже выбросил за борт образ Девы Марии — вместо того, чтоб поцеловать его, — как «раскрашенную доску» или деревянную куклу, которая, разумеется, поплыла¹⁹. Итак, каторжники Шатовьё, запаситесь терпением и не теряйте надежды!

А в Нанси аристократия торжествует. Буйе покинул город на другой день, и аристократический муниципалитет, у которого руки развязаны, теперь так же жесток, как раньше был труслив. Местное отделение Якобинского клуба, как первоисточник всего зла, позорно задавлено; тюрьмы переполнены, осиротевшие, поверженные патриоты ропщут негромко, но негодование их глубоко. Здесь и в соседних городах многие носят в петлицах «расплющенные пули», подобранные на улицах Нанси; пули сплющились, неся смерть патриотам, и люди носят их как вечное напоминание об отпущении. Дезертиры из бунтовщиков бродят по лесам и вынуждены просить милостыню, так как в полк им нельзя вернуться. Всюду царят разложение, взаимное озлобление, уныние и отчаяние, пока не прибывают национальные комиссары с кротким пламенем конституционализма в сердцах; они ласково поднимают поверженных, ласково спускают слишком высоко взобравшихся, восстанавливают отделение Якобинского клуба, призывают об-

ратно дезертировавших мятежников, разумно стараются все постепенно сгладить и внести умиротворение. Таким кротким, постепенным умиротворением, с одной стороны, и торжественной панихидой, кассолетками, военными судами и благодарностями нации — с другой, сделано все, что можно было сделать официально. Сплюснутая пуля выпадает из петлицы, а черная земля, насколько возможно, опять зазеленеет.

Таково «дело Нанси», называемое некоторыми «резней в Нанси». Собственно говоря, это неприглядная оборотная сторона трижды славного праздника Пик, лицевая сторона которого представляет зрелище, достойное богов. Лицевая и оборотная стороны всегда близки друг к другу; одна была в июле, другая — в августе! Театры Лондона ставят с блеском сцены этой «Федерации французского народа», переделанной в драму; «Дело Нанси», правда не игранное ни в каком театре, в течение многих месяцев разыгрывалось и даже жило как призрак в головах всех французов. Ведь вести о нем разносятся по всей Франции, пробуждая в городах и деревнях, в клубах и обеденных залах, до самых дальних окраин, какой-нибудь мимический рефлекс или повторение всего дела в фантазии, заканчивающееся всегда гневным утверждением или отрицанием: это было правильно, это было неправильно. Из-за этого возникали споры, дуэли, ожесточение, праздная болтовня, которые повели к ускорению, расширению и усилению ожидающих нас в будущем взрывов.

Между тем той или иной ценой мятеж, как мы видели, усмирен. Французская армия не разразилась всеобщим единовременным безумием, не была распущена, уничтожена и снова сформирована. Она должна была умирать медленной смертью, годами, дюйм за дюймом, умирать от частичных возмущений, как бунт брестских матросов и т. п., не распространившийся дальше; от неудовольствия и недисциплинированности солдат; от еще большего неудовольствия роялистских усатых офицеров, одиночками или группами переправлявшихся за Рейн²⁰. Болезненное неудовольствие, болезненное отвращение с обеих сторон убивали армию, неспособную к исполнению долга, и в заключение, после долгих страданий, она умерла, но, подобно фениксу, возродилась окрепшей и становилась все сильнее и сильнее.

Так вот какова была задача, совершение которой рок возложил на храброго Буйе. Теперь он может снова отойти на задний план, усердно заниматься обучением войск в Меце или за городом, вести полную тайн дипломатию, ковать планы за планами и парить, как невидимая бледная тень, последняя надежда королевской власти.

Книга III

ТЮИЛЬРИ

Глава первая

ЭПИМЕНИДЫ*

Вполне справедливо утверждение, что в этом мире нет ничего мертвого, и то, что мы называем мертвым, лишь изменилось, и силы его работают в обратном порядке! «И в листе, гниющем на сыром ветру, заключены силы, — сказал кто-то, — иначе, как мог бы он гнить?» Весь наш мир представляет не что иное, как бесконечный комплекс сил, от силы тяготения до мысли и воли; свобода человека окружена необходимостью природы, и во всем этом ничто не засыпает ни на мгновение, но все вечно бодрствует и действует. Мы никогда не найдем ничего обособленного, бездеятельного, где бы мы его ни искали, начиная от медленно разрушающихся со дня сотворения мира гранитных утесов до плывущего облака, до живого человека и даже до действия и высказанного человеческого слова. Произнесенное слово летит непреложно дальше, но еще более того — произведенное действие. «Сами боги, — поет Пиндар**, — не могут уничтожить содеянного». Нет, то, что сделано, сделано навеки, брошено в бесконечность времени и должно, видимое или скрытое от наших глаз, действовать в нем, должно расти как новый, несокрушимый элемент в бесконечности вещей. В самом деле, что же представляет собой эта бесконечность вещей, которую мы называем Вселенной, как не действие, не совокупность действий и поступков? Никакое счетное искусство не может разнести по таблицам и подсчитать эти дан-

ные, но общая сумма их ясно написана на всем, что делалось, делается и будет делаться. Поймите хорошенько: все, что вы перед собой видите, есть действие, продукт и выражение примененной силы; совокупность вещей — не что иное, как бесконечное спряжение глагола «делать». Безбрежный океан, источник силы, способности действовать, широкий, как Беспредельность, глубокий, как Вечность, прекрасный и в то же время страшный, недоступный пониманию океан, в котором сила в тысячах течений гармонически волнуется, перекачивается и кружится, — вот то, что люди называют Существованием и Вселенной; это тысячецветная огненная картина, которая по тому, как она отражается в нашем жалком мозгу и сердце, является одновременно и покровом и откровением Единого Неназываемого, обитающего в неприступном свете! Далеко по ту сторону Млечного Пути, еще до начала дней, волнуется и вращается она вокруг тебя; даже сам ты — часть ее на том месте пространства, где ты стоишь, и в ту минуту, которую указывают твои часы.

* Эпименид (греч.) — критский царь, прорицатель в поэт (VII в. до н. э.). Позднейшие предания рассказывают о необычайно долгом сне Эпименида в зачарованной пещере, в которой он проспал 57 лет. По мифам, Эпименид прожил от 157 до 299 лет.

** Пиндар (ок. 518—442 или 438 гг. до н. э.) — Древнегреческий поэт-лирик.

Или независимо от всякой трансцендентальной философии разве это не простая истина, почерпнутая из чувственных восприятий, которую может понять даже самый неискушенный ум, что все человеческие дела без исключения находятся в постоянном движении, действии и противодействии, что все они постоянно стремятся, фаза за фазой и согласно неизменным законам, к предсказанным целям? Как часто нам приходится повторять и все же мы никак не можем хорошенько усвоить себе то, что семя, посеянное нами, взойдет. За цветущим летом приходит осень увядания, и так устроено по отношению не к одним только посевам, а ко всем делам, начинаниям, философским и социальным системам, французским революциям, короче, по отношению ко всему, над чем действует человек в этом низменном мире. Начало заключает в себе конец и всё, что ведет к нему, подобно тому как в желуде заключен дуб и его судьбы. Это материал для серьезных размышлений, но, к несчастью, а также и к счастью, мы задумываемся над этим не особенно часто! Ты можешь начать: начало там, где ты есть, и дано тебе; но где и для кого какой будет конец? Все растет, ищет и испытывает свою судьбу; подумайте, сколь многое растет, подобно деревьям, независимо от того, думаем ли мы об этом или нет. Так что когда Эпименид, ваш сонливый Петер Клаус, названный впоследствии Рипом ван Винклем*, вновь просыпается, то находит мир изменившимся. За время его семилетнего сна изменилось очень многое! Все, что вне нас, изменится незаметно для нас самих, и многое даже из того, что внутри нас. Истина, бывшая вчера беспокойной проблемой, сегодня превращается в «убеждение, страстно требующее выражения, а завтра противоречие поднимет его до безумного фанатизма, или же препятствия низведут его до болезненной инертности; так оно погружается в безмолвие удовлетворения или покорности. Для человека и для вещи сегодняшний день не то же, что вчерашний. Вчера были клятвы любви, сегодня — проклятия ненависти, и это происходит не умышленно, о нет, но этого не могло не быть. Разве лучезарная улыбка юности захотела бы добровольно потускнеть во мраке старости? Ужасно то, что мы, сыны Времени, созданные и сотканные из Времени, стоим окутанные и погруженные в тайну Времени; и над нами, надо всем, что мы имеем, видим или делаем, написано: «Не останавливайся, не отдыхай, вперед, к твоей судьбе!»

* Герой одноименного рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783—1859), отведавший чудодейственный напиток и проспавший после этого двадцать лет.

Но во времена революции, отличающиеся от обыкновенных времен главным образом своей быстротой, ваш сказочный семилетний соня мог бы проснуться гораздо раньше; ему не нужно было проспать ни сто, ни семь лет, ни даже семь месяцев, чтобы, проснувшись, увидеть чудеса. Представим себе, например, что какой-нибудь новый Петер Клаус, утомленный празднеством Федерации, решил после благословения Талейрана, что теперь все находится в безопасности, и прилег заснуть под деревянным навесом Алтаря Отечества и что проспал он не двадцать один год, а всего один год и один день. Далекая канонада в Нанси не мешает ему, не мешают ни черное сукно, ни пение реквиемов, ни пушечные залпы в честь мертвецов, ни сковородки с курением, ни шумная толпа над его головой — ничто не нарушает его сна. Он спит круглый год, от

14 июля 1790 до 17 июля 1791 г.; но в этот последний день никакой Клаус, никакой сонный Эпименид, никто, кроме разве Смерти, не мог бы спать — и наш необыкновенный Петер Клаус просыпается. Но что ты видишь, Петер! Небо и земля по-прежнему сияют улыбкой веселого июля, и Марсово поле кишит людьми, но знаки ликования сменились безумным воплем страха и мщениия; вместо благословения Талейрана или каких-либо иных благословений слышны лишь брань, проклятия и визгливый плач пушечные салюты превратились в залпы, вместо качающихся кассолеток и развевающихся флагов восьмидесяти трех департаментов видно лишь кровавое красное знамя (*drapereau rouge*). Глупый Клаус! Одно заключалось в другом, одно было другим минус время, точно так же как разрывающий скалы укус Ганнибала заключался в сладком молодом вине. Федерация была сладким вином в прошлом году, и эта разлагающая кислота мятежа — то же самое вещество, ставшее только старше на определенное количество дней.

Теперь нет уже никакого сказочного спящего Клауса или Эпименида; однако разве любой человек при надлежащем легкомыслии и близорукости не мог бы совершить то же самое чудо естественным путем — мы имеем в виду совершить с открытыми глазами? У него есть глаза, но он видит только то, что у него под носом. С живыми, сверкающими глазами, как будто он не просто видит, а видит все насквозь, он хвастливо и суетливо движется в кругу своих официальных обязанностей, не помышляя, что это еще не весь мир; ведь в самом деле разве там, где кончается наш кругозор, не начинается пустота, не обнаруживается конец мира — для нас? Поэтому наш блестящий, усердный официал (назовем его, для примера, Лафайетом) внезапно, через год и день, испуганный грохотом страшной пальбы картечью, смотрит не менее изумленно, чем смотрел бы Петер Клаус. Такое естественное чудо может совершиться не с одним Лафайетом, не только с большинством других официальных и неофициальных лиц, но и со всем французским народом; все время от времени вскакивают, как проснувшиеся семилетние сони, дивясь шуму, который сами же они производят. Что за странная вещь свобода, заключенная в необходимость; какой странный сомнамбулизм сознательного и бессознательного, добровольного и принудительного представляет собой человеческая жизнь! Если где-нибудь на свете изумлялись тому, что клятва федератов превратилась в картечные выстрелы, то, наверное, французы, прежде каявшиеся, потом стрелявшие, изумлялись больше всех.

Увы, столкновения были неизбежны. Торжественный праздник Пик с сиянием братской любви, какой не видано было со времени Золотого Века, не изменил ничего. Палящий жар в сердцах двадцати пяти миллионов не охладился благодаря ему. но все еще горяч и даже стал горячее после того, как со стольких миллионов снят гнет подчинения, всякое давление или связывающий закон, за исключением мелодраматической клятвы Федерации, которой они сами связали себя. «Ты должен» — это исстари было условием существования человека, и его благоденствие и благословение заключались в повиновении этой заповеди. Горе человеку, если хотя бы под давлением самой недвусмысленной необходимости возмущение, изменническая обособленность и исключительное «я хочу» становятся его руководящим правилом! Но явилось евангелие от Жан Жака, и совершено было его первое освящение: все, как мы сказали, пришло в состояние сильного горения и будет продолжать бродить и гореть в постоянном, заметном или незаметном изменении.

Усатые роялистские офицеры, «полные отвращения», один за другим садятся на своих боевых коней или Росинантов и угрожающе переезжают за Рейн, пока не уезжают все. Гражданская эмиграция тоже не прекращается; аристократы, один за другим, точно так же уезжают верхом или в экипажах, добровольно или по принуждению. Даже крестьяне презирают тех, кто не имеет мужества присоединиться к своему сословию и сражаться¹. Могут ли они сносить, чтобы им присылали по почте прялку в виде ли гравюры или в качестве деревянной действительности, или привешивали ее над их дверью, словно они не Геркулесы, а Омфалы? * Такие гербы усердно посылаются им и с того берега Рейна, пока и они наконец не зашевелиятся и не тронутся с места; так уехали в весьма дурном настроении духа многие землевладельцы, но не увезли с собой свои земли. Впрочем, что говорить об офицерах и эмигрировавших дворянах? Нет ни одного злобного слова на языке этих двадцати пяти миллионов французов и ни одной злобной мысли в их сердцах, которые не представляли бы частицы великой борьбы. Соедините много гневных слов, и вы получите рукопашную схватку; сложите все схватки с остающимися после них открытыми ранами, и получатся бунты и восстания. Все, что раньше почиталось, одно за другим перестает внушать почтение: видимый пожар истребляет один замок за другим; невидимый, ду-

ховный уничтожает один авторитет за другим. С шумом и ярким пламенем или беззвучно и незаметно исчезает по частям вся старая система: поутру смотришь, а ее уже нет.

* Омфала — в греческой мифологии царица Лидии, к которой по приказу дельфийского оракула был отдан в рабство Геракл. Она настолько покорила его, что Геракл согласился выполнять женскую работу — пряхть у ее ног и носить по ее прихоти женскую одежду.

Глава вторая

БОДРСТВУЮЩИЕ

Пусть спит кто может, убаюканный близорукой надеждой, подобно Лафайету, который «в побежденной опасности всегда видит последнюю, грозившую ему», — Время не спит, не спит и его нива.

Не спит и священная коллегия герольдов новой династии; мы говорим о шести с лишним десятках расклейщиков газет с их жестяными бляхами. Вооружившись банкой с клейстером и шестом, они ежедневно заново оклеивают стены Парижа во все цвета радуги, как власть имущие герольды или чудодейственные волшебники, ибо они не наклеивают ни одной афиши без того, чтобы не убедить ею одну или несколько человеческих душ. Газетчики кричат, странствующие певцы поют; великая журналистика шумит и завывает всеми глотками от Парижа до отдаленных уголков Франции, подобно гроту Эола, всюду поддерживая всевозможного рода огни.

Этих глотков или газет насчитывают² не менее ста тридцати трех разных калибров, от газет Шенье, Торса, Камиля до газет Марата и только начинающего Эбера из «Père Duchesne». Одни выступают с вескими аргументами или с легким, веселым остроумием за права человека; другие, как Дюрозуа, Руаю, Пельтье, Сюлло, также различными приемами, включая, странно сказать, нередко и непочтительные пародии³, борются за алтарь и трон. Что касается Друга Народа Марата, то голос его подобен голосу воловьей лягушки или выпы в пустынном болоте; никем не видимый, он безостановочно каркает, испуская хриплые крики негодования, подозрения, неутомимой скорби. Народ идет навстречу разорению, даже голодной смерти. «Дорогие друзья мои, — кричит Марат, — ваша нужда не есть плод лени или пороков; вы имеете точно такое же право на жизнь, как Людовик XVI или счастливейший человек нашего века. Кто может сказать, что имеет право обедать, в то время как у вас нет хлеба?»⁴ С одной стороны, гибнущий народ, с другой — одни ничтожные sieurs'ы Мотье, предатели Рикетти-Мирабо, словом, всюду, куда ни глянь, изменники, тени и шарлатаны на высоких местах! Жеманные, гримасничающие, внутренне пустые люди со льстивыми словами и вычищенным платьем; политические, научные и академические шарлатаны, связанные товарищескими чувствами и проникнутые некоторого рода общим духом шарлатанства! Никто, даже сам великий Лавуазье, ни один из сорока бессмертных* не пощажен этим злым языком, которому нельзя отказать в фанатической искренности и даже, как это ни странно, в известном грубом, едком остроумии. А затем «три тысячи игорных домов» в Париже, вертепы для всемирного мошенничества, трущобы порока и преступлений, тогда как без морали свобода невозможна! Здесь, в этих сатанинских берлогах, которые всем известны и на которые постоянно все указывают, собираются и совещаются мушары съёра Мотье, подобно вампирам высасывающие последнюю кровь из изголодавшегося народа. «О народ! — часто восклицает Марат раздирающим сердце тоном. — Измена, обман, мошенничество, вымогательство, подлость от начала до конца!» Душа Марата больна от этого зрелища; но где выход? Поставить «восемьсот виселиц» правильными рядами и начать вздергивать на них: «первым — Рикетти!» Таков краткий рецепт Марата, Друга Народа.

* Французская академия наук, основанная в 1634 г. кардиналом Ришелье, с самого начала стала прибежищем косности в науке и уголивости перед властями. Постоянные сорок членов академии получили ироническое прозвище бессмертных.

Там шумят и волнуются сто тридцать три газеты, но, по-видимому, их недостаточно, потому что есть еще темные углы во Франции, куда не достигают газеты, а всюду «такая жажда новостей, какой не бывало еще ни в одной стране». Даммартен, спешащий в отпуск из Парижа⁵, не может добраться до дому, «потому что крестьяне останавливают его дорогой и засыпают

вопросами»; почтмейстер не дает лошадей, пока вы с ним почти не поругаетесь, и все спрашивает: что нового? В Отене, несмотря на темную ночь и «крепкий мороз», ибо дело происходит в январе 1791 года, ему приходится напрягать свои уставшие с дороги конечности и спутавшиеся мысли и «говорить с толпой из окна, выходящего на базарную площадь». Он делает это в самой сжатой форме: «Вот этим, добрые христиане, занимается, как мне кажется, высокое Собрание; только эти новости я и могу сообщить вам».

Теперь усталые уста я закрываю; Оставьте меня, дайте мне отдохнуть!

Добрый Даммартен! Но ведь народы вообще остаются изумительно верны своему национальному характеру, как бы заключающемуся в их крови. Уже девятнадцать веков назад Юлий Цезарь своим быстрым, пронизательным взглядом заметил, как галлы останавливают на дороге людей. «Они имеют обыкновение, — говорит он, — задерживать путешественников даже против их желания и расспрашивать каждого обо всем, что он слышал и знает по тому или иному поводу; в городах простой народ окружает проезжего купца и спрашивает, из какой он страны и что он там узнал. На основании этих разговоров и слухов они принимают иногда в самых важных делах решения, в которых им приходится раскаиваться уже в следующую минуту, тем более что многие путешественники, чтобы доставить им удовольствие, рассказывают иногда просто басни и затем продолжают свой путь»⁶. Это было тысяча девятьсот лет назад, а наш добрый Даммартен еще и ныне, усталый от дороги, должен говорить из окна гостиницы в зимнюю стужу, при скудном мерцании звезд и масляных ламп! Народ, правда, не называется уже галльским, он стал совершенно *Grassatus*, носит панталоны и претерпел еще много изменений; гордые германские франки штурмом обрушились на него, взгромоздились ему, так сказать, на спину, взнуздали его с своей жестокой настойчивостью и поехали на нем верхом, потому что германец уже по самому имени своему — человек войны (*Guerre man*), или человек, который воюет. В настоящее время народ этот называется франкским или французским; но разве старый галльский или галло-кельтский характер с его пылкостью, кипучим проворством и всеми хорошими и дурными своими свойствами не проявляется все еще в довольно чистом виде?

Излишне и говорить, что при таком сильном брожении и смятении клубы процветают и разрастаются. Мать патриотизма, заседающая в якобинском храме, превосходит всех своим блеском, и в сиянии ее уже бледнеет слабый лунный свет близкого к угасанию монархического клуба. Да, она сверкает ярче всех, опоясанная, перевитая пока еще солнечными лучами, а не адскими молниями; муниципальные власти относятся к ней с почтением и не без страха; в среде ее насчитываются Барнавы, Ламеты, Петионы из Национального собрания и — к наибольшей радости ее — Робеспьер. Зато кордельеры с их Эбером, Венсаном, книготорговцем Моморо громко ворчат на тиранию мэра и сьера Мотье, которые терзают их острым жалом закона, очевидно намереваясь сломить их несчастьями. Как Якобинское «Общество — Мать» стряхивает с себя, с одной стороны, кордельеров, с другой — фейянов: кордельеров — «как эликсир или двойной экстракт якобинского патриотизма», а фейянов — как широко распространившийся слабый раствор его; как она примет вновь первых в свое материнское лоно и бурно превратит вторых в ничто; как произведет на свет триста дочерних обществ и будет ставить их на ноги, поддерживая своими письмами, стараниями и неустанными заботами; как якобинизм, употребляя старое выражение, протягивает свои нити до самых отдаленных углов смятенной и расколовшейся Франции, создавая ее заново, — вот, собственно, в чем заключается великое дело Времени.

Страстным конституционалистам, а еще более роялистам, которые видят, как их собственные клубы чахнут и умирают, расцвет клубов, естественно, представляется корнем всего зла. Тем не менее клубы отнюдь не смерть, а скорее новая организация и жизнь, зарождающаяся из смерти, разрушительная, правда, для пережитков старого, но важная, необходимая для нового. Чудодейственная сила их заключается в том, что люди могут общаться и объединяться между собой для совместной деятельности. Патриотизм уже не жалуется, подобно голосу в пустыне, в лачуге или в деревушке; он может отправиться в ближайший город и там, в местном обществе, выразить свои жалобы в членораздельной речи или в действиях, направляемых самой Матерью патриотизма. Подобно мелким источникам, все конституционалистские и им подобные клубы пропадают один за другим: одни якобинцы добрались до вод подземного озера; они одни, подобно артезианскому колодезю, могут, если не будут засыпаны, изливаться непрерывной, обильной струей, до тех пор пока великая глубина не поднимется вся наверх и не зальет не затопит все сильнее, чем во времена Ноева потопа!

С другой стороны, Клод Фоме, готовя человечество к явно наступающему уже скоро Золотому Веку, открыл около Пале-Руаяля свой Cercle Social* с секретарями, корреспондентскими бюро и т. д. Это Те Деум Фоме, тот самый, который произнес надгробную речь Франклина в огромной Ротонде Halle aux blés. Здесь в эту зиму с помощью прессы и мелодических бесед он заставляет говорить о себе в самых отдаленных кварталах города. «Десять тысяч почтенных лиц» ждут и слушают этого Procureur Général de la Vérité (генерального прокурора истины), как он сам титуловал себя, слушают и мудрого Кондорсе или другого его красноречивого помощника. Красноречивый генеральный прокурор! Здесь он выдавливая из себя, хуже или лучше, свои зрелые и незрелые мысли не без результата для себя, потому что это приносит ему епископство, хотя только конституционное. Фоме — человек с гибким языком, здоровыми легкими и пылким характером; у него достаточно материала для своих излияний, и материала неплохого: о праве, природе, любви к ближним, прогрессе. Какого рода этот материал — «пантеистического» ли или просто корыстного, — над этим в наши дни может задуматься лишь самый неискушенный ум. Деятельный Бриссо давно уже намеревался учредить именно такое возрождающее Общественное собрание, он даже пытался устроить его на Ньюман-стрит в туманном Альбионе, но потерпел неудачу, как некоторые говорят, обманчивым образом прикарманив кассу. Не Бриссо, а Фоме суждено было быть счастливецом, и великодушный Бриссо от чистого сердца споет по этому поводу довольно деревянным голосом «Nunc Domine»⁷. Но «десять тысяч почтенных лиц»! Какие размеры принимают некоторые вещи по отношению к их истинной величине! Что такое в сущности этот Cercle Social, в честь которого Бриссо от чистого сердца поет деревянное «Nunc Domine»? К несчастью, лишь тень и ветер! Единственное, что можно сказать о нем теперь, — это следующее: что некогда «генеральный прокурор истины» воплотился и жил, как сын Адама, на нашей земле, хотя только несколько месяцев или мгновений, и что десять тысяч почтенных лиц внимали ему, пока мрак и хаос снова не поглотили его.

* Социальный кружок был основан в январе 1790 г. Клодом Фоме, аббатом, примкнувшим к революции с первых ее дней, и молодым литератором, последователем Руссо, Никола де Бонвиллем.

Сто тридцать три парижские газеты, возрождающееся Общественное собрание, речи в «Обществе — Мать» и его дочерних филиалах, с балконов гостиниц, у каминов, за обеденным столом — споры, часто кончающиеся дуэлями! Прибавьте к этому в виде непрерывного ворчливого, нестройного аккомпанемента недостаток работы, недостаток хлеба! Зима сурова и морозна, оборванные вереницы у булочных по-прежнему тянутся, подобно черным, траурным обтрепанным флагом нищеты. Это наш третий голодный год, этот новый год славной революции. Если богатого человека в такое тяжелое время приглашают обедать, он считает своей обязанностью из вежливости принести с собой в кармане хлеба; как же обедает бедняк? И все это сделала ваша знаменитая революция, кричат некоторые. Нет, это черные предатели, достойные виселицы, так испортили нашу славную революцию всякими кознями, кричат другие. Кто мог бы описать страшный водоворот, в котором кружится Франция, раздираемая дикими несообразностями? Человеческий язык не в силах выразить раздоров, поселившихся под каждой французской крышей, в каждом французском сердце, всего вредного, что говорилось и делалось и что дало в общей сумме Французскую революцию.

Тем менее можно определить законы, управлявшие этими действиями и невидимо работавшие в глубинах этого страшного слепого хаоса! Человек смотрит на Неизмеримое лишь с изумлением, не пытаясь его измерить; он не знает его законов, видит только, в зависимости от степени своих знаний, новые фазы и следствия событий, вызванных этими законами. Франция представляет чудовищную гальваническую массу, в которой действуют силы и субстанции гораздо более странные, чем силы химические, гальванические или электрические; они заряжают друг друга положительным и отрицательным электричеством и наполняют им наши лейденские банки* — двадцать пять миллионов лейденских банок! Когда банки будут заряжены, то время от времени, при малейшем толчке, будут происходить взрывы.

* Лейденская банка — электрический конденсатор в виде стеклянного сосуда. Одним из изобретателей его был профессор Лейденского университета П. Мушенбрук (1692—1761).

Глава третья

С МЕЧОМ В РУКЕ

И вот, на таком удивительном фундаменте должны держаться, пока возможно, закон, королевство, авторитет и все существующее еще из видимого порядка. Подобно смещению четырех стихий в анархической древности, верховное Собрание раскинуло свою палатку под покровом мрачной бесконечности раздоров, над колеблющейся бездонной пропастью и продолжает безостановочно шуметь. Вокруг него Время, Вечность и Пустота, а оно делает, что может, что ему предназначено.

Если мы еще раз, почти с отвращением, заглянем туда, то увидим мало поучительного: конституционная теория неправильных глаголов, несмотря на беспрестанные перерывы, подвигается с трудом, но настойчиво. Мирабо, опираясь на силу своего имени и гения, удерживает с трибуны многие порывы якобинцев, которые зато становятся шумнее в Якобинском клубе, где ему приходится выслушивать даже резкие замечания⁸. Путь этого человека сомнителен, загадочен, труден, и он идет по нему в одиночестве. Чистый патриотизм не считает его своим, убежденные роялисты ненавидят его; тем не менее в глазах мира его влияние остается непревзойденным. Оставим же его идти одиноко, без спутников, но неуклонно к своей цели, пока ему еще светит солнце и ночь еще не наступила.

Однако избранная группа чистых патриотов мала; в ней насчитывается всего человек тридцать, занимающих крайне левую позицию и отделенных от всего мира. Добродетельный Петيون; неподкупный Робеспьер, самый стойкий и неподкупный из всех тощих желчных людей; триумвиры Барнав, Ламет, Дюпор, из коих каждый в своем роде велик в речах, мыслях и делах; худой старик Пупий де Префельн — от них и от их последователей будет зависеть судьба чистого патриотизма.

Здесь же, среди этих тридцати, можно видеть, хотя и редко слышать, Филиппа Орлеанского; он в мрачном, смутном изумлении перед хаосом, к которому пришел. Мысль о наместничестве и регентстве вспыхивает иногда лучом на политическом горизонте; в самом Национальном собрании дебатировался вопрос о престолонаследии «на случай, если бы теперешняя линия прекратилась», и Филипп, как говорят, выходил и молча, в тревоге, бродил по коридорам, пока длилось обсуждение этого важного предмета; но ничего из этого не вышло. Мирабо, видевший этого человека насквозь, воскликнул сильными, непереводаемыми словами: «Ce j — f — ne vaut pas la reine qu'on se donne pour lui».

Ничего из этого не вышло, а тем временем как говорят, у нашего Филиппа вышли деньги. Мог ли он отказаться в маленьком пособии даровитому патриоту, нуждающемуся только в деньгах, — он, сам нуждавшийся во всем, кроме денег. Ни один памфлет не может быть напечатан без денег, ни даже написан без пищи, покупаемой на деньги. Без денег не может двинуться с места даже ваш подающий самые большие надежды прожектер, и если индивидуально-патриотические и иные проекты требуют денег, то насколько же больше требуется их для широкой сети интриг, которые живут и существуют на деньги и при распространении своем обнаруживают чисто драконовский аппетит к ним, способный поглотить целые княжества! Таким образом, принц Филипп действует все время среди своих Силлери, Лакло и других темных сынов ночи, как центр весьма странного запутанного клубка, из которого, как мы уже говорили, вышел сверхъестественный эпический механизм подозрительности и внутри которого таились орудия измены, интриг, целесообразного или бесцельного стремления к злу; клубка, которого никто из живущих (за исключением самого гениального руководителя всеми этими тайными планами) не мог бы распутать. Предположение Камиля наиболее вероятно: по его мнению, бедный Филипп в своих изменнических спекуляциях поднялся до известной высоты, как раньше он поднялся на одном из первых воздушных шаров, но, испугавшись того нового положения, в какое попал, быстро открыл клапан и опустился на землю — глупее, чем был, когда поднимался. Создать сверхъестественную подозрительность — вот что было его задачей в эпосе революции. Но теперь, потеряв свой! рог изобилия, может ли он, сыпавший деньгами, потерять что-нибудь еще? В глубоком мраке, царящем вокруг и внутри его, этот злополучный человек должен теперь брести, спотыкаться в унылой стихии смерти. Один или даже два раза мы еще увидим, как он поднимется, с усилием выбираясь из этой плотной массы смерти, но тщетно. На одно мгно-

вание — последнее — он начинает подниматься или даже выталкивается к свету и некоторой известности, чтобы затем навеки погрузиться во мрак!

Côté Droit упорствует не менее, даже с большим одушевлением, чем когда-либо, хотя уже почти всякая надежда исчезла. Аббат Мори твердо отвечает неизвестному провинциальному роялисту, с восторженной благодарностью пожимающему ему руку: «Hélas, monsieur, все, что я делаю здесь, в сущности все равно что ничего» — и качает при этом непреклонной медной головой. Храбрый Фоссиньи, заметный в истории только один этот раз, устремляется, как безумный, на середину зала, восклицая: «Тут возможен только один путь — напасть на этих молодцов с обнаженной саблей» (*Sabre à la main sur ces gaillards là*)⁹, причем с яростью указывает на депутатов крайней левой! Поднимаются шум, гам, споры, покаяние, и гнев испаряется. Тем не менее положение становится явно невыносимым, и дело близится к «разрыву»; эта злобная теоретическая выходка Фоссиньи произошла в августе 1790 года, и еще до наступления следующего августа знаменитые двести девяносто два избранника роялистов торжественно доводят «разрыв» до конца, выходят из Собрания, проникнутого духом интриг, и отрясают его прах со своих ног.

По поводу сцены с саблей в руке следует отметить еще одно обстоятельство. Мы уже не раз говорили о бесчисленных дуэлях во всех частях Франции. При всяком поводе спорщики и сотрапезники бросали бокал и откладывали в сторону оружие разума и остроумия, предпочитая встретиться на барьере, чтобы разойтись окровавленными или не разойтись, а пасть пронзенными сталью, испуская с последним дыханием и жизнь и гнев; словом, умереть, как умирают глупцы. Это продолжалось долго и продолжается до сих пор. Но теперь это принимает такой вид, как будто в самом Национальном собрании предательский роялизм с отчаяния вступил на новый путь — истребления патриотов посредством систематических дуэлей! Задиры-фехтовальщики (*spadassins*) этой партии расхаживают, чванясь, но могут быть куплены за бесценок. Желтый глаз журналистики видел, как «двенадцать *spadassins*, только что прибывших из Швейцарии» и «значительное количество убийц (*nombre considérable d'assassins*) упражнялись в фехтовальных школах и на мишенях». Каждый заметный депутат-патриот может быть вызван на дуэль; возможно, что он спасется раз, десять раз, но когда-нибудь он неминуемо должен пасть, и Франции придется оплакивать его. Сколько вызовов получил Мирабо, особенно в то время, когда был поборником народа! Он получил их сотни, но ввиду того, что раньше должна была быть составлена конституция и время его было дорого, он отвечал на вызовы стереотипной фразой: «Monsieur, вы занесены в мой список, но предупреждаю вас, что он длинен, и я никому не окажу предпочтения».

Затем осенью мы были свидетелями дуэли между Казалесом и Барнавом, двумя мастерами в словесном бою, теперь стоящими друг против друга, чтобы обменяться пистолетными выстрелами. Глава роялистов, которых называли черными (*les noirs*), якобы сказал в порыве гнева, что «патриоты — чистые разбойники», и при этих словах устремил — так по крайней мере показалось — огненный взгляд на Барнава, который не мог ответить на это иначе как таким же огненным взглядом и встречей в Булонском лесу. Второй выстрел Барнава достиг цели, попав в шляпу Казалеса; передний угол фетровой треуголки, какие тогда были в моде, задержал пулю и спас прекрасный лоб от более чем преходящей обиды. Но как легко мог бы жребий выпасть иначе и шляпа Барнава не оказаться такой прочной, как шляпа Казалеса! Патриоты начинают громко обличать дуэли вообще и подают верховному Собранию петицию о прекращении этого феодального варварства путем закона. Действительно, варварство и бессмыслица! Разве можно убедить человека или опровергнуть его мнение, вогнав ему в голову пол-унции свинца? Очевидно, нет. Якобинцы встретили Барнава не только с раскрытыми объятиями, но и с выговорами.

Помня это и то обстоятельство, что в Америке он имел скорее репутацию безрассудной смелости и недостаточной рассудительности, чем недостаточного мужества, Шарль Ламет 11 ноября совершенно спокойно отклонил вызов некоего молодого дворянина из Артуа, приехавшего специально затем, чтобы вызвать его на дуэль. Вернее, дело было так: сначала он хладнокровно принял вызов, а затем разрешил двум друзьям вступить за него и пристыдить хорошенько молодого человека, что те с успехом и выполнили. Эта хладнокровная процедура удовлетворила все стороны: и обоих друзей Ламета, и пылкого дворянина; можно было думать, что этим дело кончилось.

Однако не тут-то было. Когда Ламет под вечер отправляется к исполнению своих сенаторских обязанностей, его встречают в коридорах Собрания так называемые роялистские brocards: шиканье, свистки и открытые оскорбления. Человеческое терпение имеет границы. «Monsieur, — обращается Ламет к некоему Лотреку, человеку с горбом или каким-то другим физическим уродством, но острому на язык и к тому же черному из черных; — monsieur, если бы вы были человеком, с которым можно драться!» «Я — такой человек!» — крикнул молодой герцог де Кастри. Ламет с быстротою молнии отвечает: «Tout à l'heure» (Сейчас же!) И вот, в то время как тени густеют в Булонском лесу, мы видим, как двое мужчин со львиными взглядами, в боевых позициях, одним боком вперед, выставив правую ногу, ударами и толчками stoccado и passado, в терциях и квартах скрещивают клинки с явным намерением проколоть друг друга. Вдруг опрометчивый Ламет делает бешеный выпад, чтобы пронзить противника, но проворный Кастри отскакивает в сторону, Ламет колет в пространство — и глубоко ранит себе вытянутую левую руку о кончик шпаги Кастри. Затем кровь, бледность, перевязки, формальности, и дуэль считается удовлетворительно проведенной.

Но что же, неужели этому никогда не будет конца? Любимый Ламет лежит с глубокой, не безопасной раной. Черные предатели-аристократы убивают защитников народа, истребляют их не доводами рассудка, а ударами клинков; двенадцать фехтовальщиков из Швейцарии и значительное количество убийц упражняются на мишенях! Так размышляет и восклицает оскорбленно патриотизм в течение тридцати шести часов со все разрастающимся и распространяющимся возбуждением.

Через тридцать шесть часов, в субботу 13-го, можно видеть новое зрелище: улица Варенн и прилегающий бульвар Инвалидов заполнены пестрой, волнуемой толпой. Отель «Кастри» превратился в сумасшедший дом, словно одержимый дьяволом: изо всех окон летят «кровати с простынями и занавесями», серебряная и золотая посуда с филигранью, зеркала, картины, комоды, гравюры, шифоньерки и звенящий фарфор среди громкого ликования народа, причем не крадут ничего, ибо все время раздается крик: «Кто украдет хоть гвоздь, будет повешен». Это плебисцит, или неоформленный иконоборческий приговор, простого народа, который приводится в исполнение! Муниципалитет дрожит, обсуждая, не вывесить ли ему красный флаг и не провозгласить ли закон о военном положении. В Национальном собрании одна часть громко жалуется, другая с трудом удерживается от знаков одобрения; аббат Мори не может решить, простирается ли число иконоборческой черни до сорока или до двухсот тысяч.

Депутации и гонцы — потому что отель «Кастри» довольно далеко от Сены — приходят и уходят. Лафайет и национальные гвардейцы, хотя без красного флага, выступают, но без особой поспешности. Прибыв на место действия, Лафайет даже клянется народу, сняв шляпу, прежде чем приказать примкнуть штыки. Что толку? Плебейский «кассационный суд», по остроумному выражению Камиля, сделал свое дело и выходит в расстегнутых жилетках, с вывернутыми карманами: это был разгром, справедливое опустошение, но не грабеж! С неисчерпаемым терпением герой двух частей света* уговаривает народ, с мягкой убедительностью, хотя и с примкнутыми штыками, успокаивает и рассеивает толпу; наутро все снова принимает обычный вид.

* Старого и Нового Света.

Ввиду этих событий герцог Кастри имеет достаточно оснований «написать президенту», даже переправиться через границу, чтобы набрать войска и вообще делать, что ему угодно. Роялизм совершенно отказывается от своей системы спора на клинках, и двенадцать фехтовальщиков возвращаются в Швейцарию, а может быть, и в царство фантазии — словом, к себе на родину. Издатель Прюдом уполномочен даже опубликовать следующее любопытное заявление. «Мы уполномочены сообщить, — говорит этот тяжелый и скучный публицист, — что г-н Буайе, защитник добрых патриотов, стоит во главе пятидесяти spadassinicide⁹, или дерзких убийц. Адрес его: проезд Булонского леса, предместье Сен-Дени»¹⁰. Что за странное учреждение этот институт Буайе с его бретерами-убийцами! Однако его услуги уже больше не нужны, так как роялизм отказался от рапирной системы, как совершенно непригодной.

Глава четвертая

Бежать или не бежать?

В сущности роялизм видит, что печальный конец его с каждым днем все ближе и ближе.

Из-за Рейна удостоверяют, что король у себя в Тюильри уже более не свободен. Официально бедный король может опровергнуть это, но в сердце своем часто чувствует, что это несомненно так. Даже на такие меры, как гражданское устройство церкви и декрет об изгнании диссентерских священников*, против чего восстает его совесть, он не может сказать «нет» и после двухмесячных колебаний подписывает и эти декреты. Он подписывает «21 января» 1791 года — к огорчению его бедного сердца, в другое 21 января! Таким образом, мы имеем изгнанных диссентерских священников, непобедимых мучеников в глазах одних, неисправимых ябедников и предателей в глазах других. То, что мы некогда предвидели, теперь осуществилось: религия или ее лицемерные отголоски образовали во всей Франции новый разрыв, осложняющий, обостряющий все прежние, разрыв, который в Вандее, например, может быть излечен только решительной хирургией!

* Неприсягнувших священников..

Несчастный король, несчастный Его Величество, наследственный представитель (Représentant héréditaire) или как бы его не называть! От него ожидают так много, а дано ему так мало! Синие национальные гвардейцы окружают Тюильри; здесь же и педантичный Лафайет, прозрачный, тонкий и застывший, как вода, превратившаяся в тонкий лед, человек, к которому не может лежать сердце никакой королевы. Национальное собрание, раскинув свою палатку над бездной, заседает поблизости, продолжая свой неизменный шум и болтовню. Снаружи — ничего, кроме бунтов в Нанси, разгромов отеля «Кастри», мятежей и восстаний на севере и юге, в Эксе, Дуэ, Бёфоре, Юзесе, Перпиньяне, Ниме и в неисправимом папском Авиньоне; на всей территории Франции беспрестанный треск и вспышки мятежа, доказывающие, до какой степени все наэлектризовано. Прибавьте к этому суровую зиму, голодные стачки рабочих, постоянно рокошущий бас нужды — основной тон и фундамент всех других несогласий.

План королевской семьи, насколько можно говорить о каком-то определенном плане, по-прежнему сводится к бегству на границу. Поистине, это был единственный план, имевший хоть какой-нибудь шанс на успех. Бегите к Буйе, огородитесь пушками, которые обслуживают ваши «сорок тысяч несовращенных германцев», просите Национальное собрание, всех роялистов, конституционалистов и всех, кого можно привлечь за деньги, следовать за вами, а остальных расseyте, если понадобится, картечью. Пусть якобинцы и мятежники с диким воем разбегутся в Бесконечное Пространство, разогнанные картечью! Гремите пушечными жерлами над всей Францией; не просите, а прикажите, чтобы этот мятеж прекратился. А затем правьте со всей возможной конституционностью, совершайте правосудие, склоняйтесь к милосердию, будьте действительными пастырями этого неимущего народа, а не только его брэдобрями или лжепастырями. Сделайте все это, если у вас хватит мужества! А если не хватает его, то, ради самого неба, ложитесь лучше спать: другого приличного выхода нет.

Да, он мог бы быть, если б нашелся подходящий человек. Потому что если такой водоворот вавилонского столпотворения (какова наша эра) не может быть усмирен одним человеком, а только временем и многими людьми, то один человек мог бы умерить его вспышки, мог бы смягчить и умиротворить их и сам мог бы удержаться на поверхности, не давая втянуть себя в глубину, подобно многим людям и королям в наши дни. Многое возможно для человека; люди повинуются человеку, который знает и может, и почтительно называют его своим королем. Разве Карл Великий не управлял? А подумайте, разве то были спокойные времена, когда ему пришлось разом повесить «четыре тысячи саксонцев на мосту через Везер»? Кто знает, может быть, и в этой самой обезумевшей, фанатической Франции действительно существует настоящий человек? Может быть, это тот молчаливый человек с оливковым цветом лица, теперь артиллерийский лейтенант некогда ревностно изучавший математику в Бриенне? Тот самый, который ходил по утрам исправлять корректурные листы в Доль и разделял скромный завтрак с Жоли? В это самое время он, подобно своему другу генералу Паоли, отправился на родную

Корсику посмотреть знакомые с детства места, а также узнать, нельзя ли там сделать что-нибудь путное для народа.

Король не приводит плана бегства в исполнение, но и не отказывается от него окончательно; он живет в переменчивой надежде, не решаясь ни на что, пока сама судьба не решит за него. В глубокой тайне ведется переписка с Буйе, не раз всплывает заговор увезти короля в Руан¹¹, заговор за заговором вспыхивают и гаснут, подобно блуждающим огням в сырую погоду, не приводя ни к чему. «Около десяти часов вечера» наследственный представитель играет в «виск», или вист, в *partie quarrée* — с королевой, со своим братом *Monsieur* и с *Madame*. Входит с таинственным видом капельдинер Кампан и приносит известие, понятное ему только наполовину: некий граф д'Инисдаль с нетерпением дожидается в прихожей; полковник Национальной гвардии, заведующий стражей в эту ночь, на их стороне; почтовые лошади готовы на всем пути, часть дворянства вооружена и полна решимости; согласен ли Его Величество отправиться до наступления полуночи? Глубокое молчание; Кампан настороженно ждет ответа. «Ваше Величество слышали, что сказал Кампан?» — спрашивает королева. «Да, я слышал», — отвечает Его Величество, продолжая играть. «Хорошенький куплет спел Кампан», — вставляет *Monsieur*, которому иногда удается сострить. Король, не отвечая, продолжает играть. «В конце концов, нужно же сказать что-нибудь Кампану», — замечает королева. «Скажите господину д'Инисдалю, — говорит король, а королева подчеркивает это, — что король не может согласиться на то чтоб его увозили силой». — «Понимаю! — сказал д'Инисдаль, круто повернувшись и вспыхнув от раздражения. — Мы рискуем, и нам же придется нести ответственность в случае неудачи»¹². И он исчез вместе со своим заговором, подобно блуждающему огню. Королева до глубокой ночи укладывала свои драгоценности, но напрасно: блуждающий огонь погас в этой вспышке раздражения.

Во всем этом мало надежды! Увы, с кем бежать? Наши лояльные лейб-гвардейцы распущены уже со времени восстания женщин и вернулись на родину; многие из них перебрались за Рейн, в Кобленц, к эмигрировавшим князьям. Храбрый Миомандр и храбрый Тардые, эти верные слуги, оба получили во время ночного свидания с их величествами запас на дорогу в виде золотых мундиров и сердечную благодарность из уст королевы, хотя, к сожалению, Его Величество стоял спиной к огню и молчал¹³. Теперь они разъехались по всем провинциям Франции и везде рассказывают об ужасах восстания, о том, как они были на волосок от смерти. Великие ужасы, действительно, но их затмят еще большие. Вообще какое падение по сравнению с былой роскошью Версаля! Здесь, в этом жалком Тюильри, за стулом Ее Величества щеголяет пивовар-полковник, зычноголосый Сантер. Наши высшие сановники бежали за Рейн. При дворе теперь уже ничем нельзя поживиться, кроме надежд, за которые еще нужно рисковать жизнью. Неизвестные, озабоченные лица ходят по черным лестницам с пустыми планами и бесплодным чванством и разносят разные слухи. Молодые роялисты в театре «Водевиль» «поют куплеты», как будто это может помочь чему-нибудь. Много роялистов, офицеров в отпуску и погоревших аристократов можно видеть в Кафе-де-Валуа и у ресторатора Мео. Здесь они разжигают друг в друге высококоляльный пыл, пьют какое ни есть вино за посрамление санкюлотизма, показывают сделанные по их заказу кинжалы усовершенствованного образца и ведут себя крайне вызывающе¹⁴. В этих-то местах и в эти месяцы был впервые применен к неимущим патриотам эпитет «*sansculotte*» — прозвище, которое носил в прошлом веке один бедный поэт — Жильбер *Sansculotte*¹⁵. Неимение панталон — плачевный недостаток, но, когда его разделяют двадцать миллионов, он может оказаться сильнее всяких богатств!

Между тем среди этого неопределенного, смутного водоворота хвостовства, праздных проектов, заказных кинжалов открывается один *punctum saliens* жизни и возможности: перст Мирабо! Он и королева Франции встретились и расстались со взаимным доверием! Это странно, это таинственно, как мистерия, но несомненно. Однажды вечером Мирабо сел на лошадь и поскакал без провожатых на запад — быть может, чтобы побывать в загородном доме у своего друга Клавьера? Но прежде чем попасть к Клавьеру, всадник, погруженный в глубокое раздумье, свернул в сторону, к задним воротам сада Сен-Клу; какой-то герцог д'Аремберг или кто-то другой ожидал там, чтобы представить его; королева была недалеко, «на верхней площадке сада Сен-Клу, называемой *gond point*». Мирабо видел лицо королевы, говорил с нею без свидетелей под широким сводом ночных небес. Разговор этот, несмотря на все старания узнать его содержание, остается для нас роковой тайной, подобно беседам богов!¹⁶ Королева называла его просто Мирабо, в другом месте мы читаем, что она «была очарована» этим диким, покоренным Титаном; и

действительно, благородной чертой этой возвышенной злополучной души было то, что, сталкиваясь с выдающимися людьми, с Мирабо, даже с Барнавом или Дюмурье, она, несмотря на все предубеждение, не могла не отдать им должное и не относиться к ним с доверием. Царственное сердце, инстинктивно чувствовавшее влечение ко всему возвышенному! «Вы не знаете королеву, — сказал однажды Мирабо в интимной беседе, — у нее поразительная сила воли; она мужественна, как мужчина»¹⁷. И вот под покровом ночи на вершине холма она говорила с Мирабо; он верноподданнически поцеловал царственную руку и сказал с одушевлением: «Madame, монархия спасена!» Возможно ли это? Секретно опрошенные иностранные державы дали осторожный, но благоприятный ответ¹⁸; Буйе в Меце и может собрать сорок тысяч надежных немецких солдат. С Мирабо в качестве головы и с Буйе в качестве руки кое-что действительно возможно — если не вмешается судьба.

Но представьте себе, в какие непроницаемые покровы должен закутываться король, обдумывая такие вещи? Тут и люди со «входными билетами», и рыцарские совещания, и тайственные заговоры. Подумайте, однако, может ли король с подобными замыслами, сколько бы он ни прятался, укрыться от взоров патриотов, от десятков тысяч устремленных на него рысьих глаз, видящих в темноте! Патриотам известно многое: они знают о специально заказанных кинжалах и могут указать лавки, где они делались, знают о легионах шпионов съёра Мотье, о входных билетах и людях в черном, знают, как один план бегства сменяется другим, или предполагают, что сменяется. Затем обратите внимание на куплеты, которые поются в театре «Водевиль», или еще хуже — на шепот, многозначительные кивки усатых изменников! А с другой стороны, не забудьте и о громких тревожных криках ста тридцати газет, о Дионисиевом ухе* каждой из сорока восьми секций, которые не спят ни днем ни ночью.

* Согласно преданию, тиран Дионисий I, захвативший власть в Сиракузах (V в. до н. э.), построил тюрьму с хитроумным акустическим приспособлением, чтобы подслушивать разговоры узников.

Патриоты могут вытерпеть многое, но не все. Кафе-де-Прокоп послало на виду у всех депутацию патриотов «поговорить по душам с дурными редакторами»: странная миссия! Дурные редакторы обещают исправиться, но не делают этого. Много было депутатий, требовавших перемены министерства; в одной из них соединяются даже мэр Байи с кордельером Дантоном и достигают цели. Но что толку? Отродье шарлатанов, добровольных или вынужденных, не вымирает: министры Дюпортай и Дютертр будут поступать во многом так же, как министры Латур дю Пен и Сисе. И смятенный мир продолжает барахтаться.

Но во что же должен верить в эти злосчастные дни, за что должен держаться бедный французский патриот, сбиваемый с толку путаницей противоречивых влияний и фактов? Все неопределенно, за исключением только того, что он несчастен, беден, что славная революция, чудо Вселенной, пока не принесла ему ни хлеба, ни мира, будучи испорчена предателями, которых трудно обнаружить, предателями-невидимками или показывающимися только на минуту, в бледном неверном полусвете, чтобы тотчас же снова исчезнуть! И сверхъестественная подозрительность снова охватывает все умы. «Никто здесь, — пишет уже 1 февраля Карра в «Annales Patriotiques», — не может более сомневаться в постоянном, упорном намерении этих людей увести короля, ни в непрерывной смене ухищрений, к которым они прибегают для осуществления этого намерения». Никто не сомневался, и бдительная Мать Патриотизма отправила двух членов к своей Дочери в Версаль, чтобы убедиться, в каком положении находится дело там. И что же оказалось? Патриот Карра продолжает: «Отчет этих двух депутатов мы все слышали собственными ушами в прошлую субботу. Вместе с другими версальцами они осмотрели королевские конюшни и конюшни бывших лейб-гвардейцев; в них постоянно стоит от семи до восьми сотен взнузданных и оседланных лошадей, готовых к отъезду в любую минуту по мимолетному знаку. Кроме того, эти же депутаты видели собственными глазами несколько королевских экипажей, которые люди как раз укладывали большие запакованные дорожные чемоданы, так называемые *vaches de cuir*; королевские гербы на дверцах были почти совершенно стерты». Это очень важно! «В тот день вся *Magéchaussée*, или конная полиция, собралась с оружием, лошадьми и багажом» — и снова рассеялась. Они хотят переправить короля через границу, чтобы император Леопольд и германские принцы, войска которых готовы к выступлению, имели предлог для начала действий. «В этом, — прибавляет Карра, — и заключается разгадка, этим и объясняется, почему бежавшие

аристократы вербуют теперь солдат на границах; они ожидают, что на днях глава исполнительной власти будет привезен к ним и начнется гражданская война»¹⁹.

Словно и в самом деле глава исполнительной власти, упакованный в одну из этих кожаных «коров», мог быть перевезен таким образом за границу! Однако странно то, что патриотизм, лающий ли наугад, руководимый ли инстинктом сверхъестественной прозорливости, на этот раз лает не зря, лает на что-то, а не даром. Тайная и затем опубликованная переписка Буйе служит этому доказательством.

Несомненно и для всех очевидно, что Mesdames — королевские тетки — готовятся к отъезду: они спрашивают в министерстве паспорта, просят у муниципалитета охранные свидетельства, о чем Марат серьезно предостерегает всех. «Эти старые ханжи» увезут с собой золото и даже маленького дофина, «оставив вместо него подставного ребенка, которого уже некоторое время воспитывают!» Впрочем, они подобны некоему легкому предмету, который бросают вверх, чтобы определить направление ветра; нечто вроде пробного змея, которого пускают, дабы убедиться, поднимется ли другой, большой бумажный змей — бегство короля! В эти тревожные дни патриоты не заставляют себя ждать. Муниципалитет отправляет депутацию к королю; секции шлют депутации к муниципалитету; скоро зашевелится и Национальное собрание. А тем временем Mesdames, тайно покинув Бельвю и Версаль, уехали, по-видимому, в Рим или неизвестно куда. Они снабжены паспортами, подписанными королем, и, что для них полезнее, услужливым эскортом. Патриотический мэр или староста деревни Море пытался было задержать их, но проворный Луи де Нарбонн, находившийся в эскорте, помчался куда-то во весь карьер, вскоре возвратился с тридцатью драгунами и победоносно отбил принцесс. И бедные старушечки поехали дальше, к ужасу Франции и Парижа, нервное возбуждение которых достигло крайних пределов. Кому же могло бы иначе прийти в голову помешать бедным Loque и Graille, уже таким старым и попавшим в такие неожиданные обстоятельства, когда даже сплетни, вращающиеся теперь исключительно около страхов и ужасов, утратили свою прелесть и когда нельзя спокойно иметь даже правоверного духовника, помешать им поехать куда угодно, где они могли надеяться получить какое-нибудь утешение?

Только жестокое сердце могло не пожалеть этих бедных старух; они едут, трепещущие, испуская немелодичные, подавленные вздохи, и вся Франция, за ними вслед и по обеим сторонам их, кричит и гогочет от постоянного страха; так велика стала взаимная подозрительность между людьми. В Арне-ле-Дюк, на полпути от границы, патриотический муниципалитет и чернь снова берут на себя смелость остановить их; Луи Нарбонн должен на этот раз ехать обратно в Париж, спросить разрешения у Национального собрания, которое не без споров отвечает, что Mesdames могут ехать. После этого Париж начинает неистовствовать хуже, чем когда-либо, и вопить, как безумный. Пока Национальное собрание обсуждает этот кардинальный вопрос, Тюильри и ограда их наводняются толпой обоего пола; вечером Лафайет вынужден разгонять ее, и улицы приходится осветить. В это время комендант Бертье, которого ожидают великие, ему еще неизвестные дела, осажден в Бельвю, в Версале. Никакие хитрости не помогли ему вывезти со двора багаж принцесс; разъяренные версальские женщины с криком обступили его, и его же собственные солдаты перерезали построики лошадей. Комендант «удалился в комнаты»²⁰ в ожидании лучших времен.

А в те же самые часы, когда принцессы, только что освобожденные военной силой из Море, спешат добраться до чужих стран и еще не задерживаются в Арне, их августейший племянник, бедный Monsieur в Париже шмыгнул ради безопасности в свои подвалы в Люксембургском дворце, и, по словам Монгайяра, его с трудом удалось убедить выйти оттуда. Вопящие толпы окружают Люксембургский дворец, привлеченные слухами о его отъезде; но, едва увидев его и услышав его голос, они хрипят от восторга и с виватами провожают его и Madame до Тюильри²¹. Это такая степень нервного возбуждения, какую переживали лишь немногие народы.

Глава пятая

ДЕНЬ КИНЖАЛОВ

Что означает, например, этот открытый ремонт Венсеннского замка? Так как другие тюрьмы переполнены заключенными, то понадобились еще места — таково объяснение мун-

ципалитета. Из-за реформ в судопроизводстве, уничтожения парламентов и введения новых судов набралось много заключенных; не говоря уже о том, что в эти времена раздоров и кулачной расправы преступления и аресты также стали многочисленнее. Разве это сообщение муниципалитета недостаточно объясняет явление? Несомненно, из всех предприятий, которые мог затеять просвещенный муниципалитет, ремонт Венсеннского замка был самым невинным.

Однако соседний Сент-Антуан не так смотрит на это дело: жители этого предместья считают за оскорбление самую близость этих остроконечных башен и мрачных подвалов к их собственным темным жилищам. Разве Венсенн не был Бастилией в миниатюре? Здесь надолго были заключены великий Дидро и философы; великий Мирабо прожил здесь в печальной неизвестности целых сорок два месяца. И теперь, когда старая Бастилия превратилась в танцевальную площадку (если б нашлась у кого-нибудь охота танцевать) и камни ее пошли на постройку моста Людовика XVI, эта маленькая, сравнительно незначительная Бастилия, покрывается новыми средниками, расправляет свои тиранические крылья, угрожая патриотизму. Не готовится ли она для новых узников и для каких именно? Для герцога Орлеанского и для главных патриотов крайней левой? Говорят, что туда ведет «подземный ход» прямо из Тюильри. Как знать? Париж, изрытый каменоломнями и катакомбами и висящий чудесным образом над бездной, уже однажды чуть не был взорван, правда, порох, когда пришли осмотреть мину, уже унесли. А Тюильри, проданный Австрии и Кобленцу, отнюдь не должен иметь подземного хода. Ведь из него в одно прекрасное утро могут выйти Австрия и Кобленц с дальнобойными пушками и разгромить патриотический Сент-Антуан, превратив его в груду развалин!

Так размышляет омраченный ум Сент-Антуана, видя, как рабочие в фартуках ранней весной суетятся около этих башен. Официальные слова муниципалитета и сёр Мотье с его легионом мушаров не заслуживают никакого доверия. Вот если б комендантом был патриот Сантер! Но зычноголосый пивовар командует только нашим собственным батальоном и тайн этих не может объяснить; он ничего не знает о них, хотя, быть может, и подозревает многое. И работа продолжается; огорченный и омраченный Сент-Антуан слушает стук молотков, видит, как в воздухе повисают поднимаемые плиты²².

Сент-Антуан опрокинул первую, большую Бастилию; неужели он смутится перед такой маленькой, незначительной? Друзья, что, если бы мы взяли за пики, ружья, кузнечные молоты и помогли себе сами! Нет средства, быстрее и вернее этого. 28 февраля Сент-Антуан выходит, как часто делал в эти дни, и без лишнего шума отправляется на восток, к этому бельму на его глазу, к Венсеннскому замку. Серьезным, властным тоном, без криков и брани Сент-Антуан объявляет всем заинтересованным сторонам, что он намерен сровнять с землей эту подозрительную крепость. Протесты, увещания не приводят ни к чему. Наружные ворота растворяются, подъемные мосты падают; железные решетки выбиваются из окон кузнечными молотами, превращаются в железные ломы; сыплется дождь утвари, черепиц, и среди хаотического грохота и треска начинается разрушение стен. Гонцы несутся во весь карьер по взволнованным улицам, чтобы предупредить о происходящем Лафайета и муниципальные и департаментские власти. Слухи доходят до Национального собрания, до Тюильри, до всех, кто желает их слышать, и говорят, что Сент-Антуан восстал, что Венсенн, вероятно последнее существующее учреждение страны, близко к гибели²³.

Живее! Пусть Лафайет бьет в барабаны и спешит на восток, потому что для всех конституционалистов-патриотов это дурная весть. А вы, друзья короля, беритесь за ваши заказные кинжалы усовершенствованного образца, беритесь за палки со стилетами, за тайное оружие и за входные билеты! Скорее! Спешите по задним лестницам, собирайтесь вокруг потомка шестидесяти королей. Бунт, вероятно, поднят герцогом Орлеанским и компанией для свержения трона и алтаря; говорят, что Ее Величество будет заключена в тюрьму, устранена с дороги; что же тогда сделают с Его Величеством? Глину для горшечников-санкиюлотов? А разве невозможно бежать именно сегодня, собрав внезапно всю храбрую знать? Опасность угрожает, но надежда манит: камергеры, герцоги де Вилькье, де Дюра раздают входные билеты и пропуска; храброе дворянство тотчас собирается. Теперь самое время «напасть с саблей в руке на эту сволочь»; теперь такое нападение могло бы иметь успех.

Герой двух миров садится на белого коня, синие национальные гвардейцы, кавалерия и пехота, устремляются на восток; Сантер с Сент-Антуанским батальоном уже там, но види-

мо, не расположенные действовать. Тяжело твое время, герой двух миров! Какие тебе выпадают задачи! Много нужно усилий, чтобы перенести насмешки, вызывающее поведение этого патриотического предместья: неумытые патриоты изощряются в злобных издевательствах; один из них «схватил генерала за сапог», чтобы стащить его лошади. Сантер на приказ стрелять отвечает уклончиво: «Это люди, взявшие Бастилию» — и ни один курок не двигается. Венсеннская магистратура также не желает издать приказ об аресте или оказать малейшую поддержку, поэтому генерал берет аресты на себя. Благодаря быстроте, дружелюбию, терпению и безграничной смелости мятеж снова удается прекратить без кровопролития.

Между тем остальной Париж занимается своими делами с большим или меньшим хладнокровием: ведь это только вспышка, каких теперь так много. Национальное собрание бурно обсуждает закон против эмиграции. Мирабо громко заявляет: «Клянусь заранее, что я не буду повиноваться ему!» Мирабо часто появляется на трибуне в этот день, сколько бы ему ни мешали, в нем по-прежнему живет старая несокрушимая энергия. Могут ли повлиять крики и ропот правых и левых на этого человека, непоколебимого, как Атлас или Тенериф*? Ясностью мысли и глубоким низким голосом, звучащим вначале негромко, неуверенно, он заставляет себя слушать и успокаивает бурю страстей; голос его, то повышаясь, то понижаясь, раздаётся как громкая мелодия торжествующей силы, покоряющая все сердца; его грубое, мрачное лицо, в рубцах и шрамах, пламенеет и испускает сияние, и снова в эти жалкие времена люди чувствуют, какую всемогущую силу имеет иногда слово одного человека над душами людей. «Я восторжествую или буду разорван на куски», — сказал он однажды. «Молчите, — кричит он теперь властным голосом, с царственным сознанием силы, — молчите, вы, Silence, aux trente voix». И Робеспьер, и тридцать голосов, бормоча, затихают. Закон и на этот раз утверждается в таком виде, как хотел Мирабо.

* Вулканический остров в системе Канарских островов.

Не таково в эту самую минуту уличное красноречие Лафайета, которому приходится браниться с голосистыми пивоварами и не признающими грамматики сентантуанцами! И как сильно отличается от красноречия их обоих то, что говорится в Кафе-де-Валуа, и сдержанное бахвальство толпы людей с входными билетами, наводняющих в это время коридоры Тюильри! Если такие вещи могут происходить одновременно в одном и том же городе, то что же невозможно в целой стране, на целой планете с их противоречиями, где каждый день представляет собой бесконечный ряд противоречий, которые, однако, в общем дают связный, хотя и бесконечно малый результат!

Но как бы то ни было, Лафайет спас Венсенн и возвращается назад с дюжиной арестованных разрушителей. Королевская семья еще не спасена, но и не находится в серьезной опасности. Однако для королевской конституционной гвардии, для старых французских гвардейцев или гренадеров центра, дежурящих как раз в тот день, это стечение людей со входными билетами становится все менее и менее понятным. Уж не намерены ли в самом деле эти люди сейчас увезти короля в Мец? Не устроено ли возмущение Сент-Антуана предателями-роялистами для отвода глаз? Смотрите хорошенько, вы, дежурные гренадеры центра! От «людей в черном» нечего ждать добра. Некоторые из них в сюртуках (*redingotes*), другие в кожаных рейтузах и сапогах, словно собрались ехать верхом! А что это выглядит из-под полы Шевалье де Кур?²⁴ Нечто похожее на рукоять какого-нибудь колющего или режущего инструмента. Он шныряет взад и вперед, а кинжал все торчит из-под его левой полы. «Стоп, monsieur!» — гренадер центра хватается за торчащую рукоятку и вытаскивает на глазах у всех кинжал. Клянусь небом, настоящий кинжал! Называйте его охотничьим ножом или как угодно, но он способен выпустить кровь из патриота.

Это случилось с Шевалье де Кур поутру и вызвало немалый шум и много комментариев, ведь под вечер во дворец собирается все больше и больше людей. Может быть, и у них также кинжалы? Увы, после озлобленных переговоров начинают ощупывать и обыскивать всех в черных костюмах; несмотря на входные билеты, их хватают за ворот и обыскивают. Возмутительно подумать об этом! Всякий раз, как находят кинжал, стилет, пистолет или хотя бы портняжное шило, найденное с громким криком отнимают, а несчастного человека в черном немедлен-

но сбрасывают с лестницы. И он летит позорно, головой вниз, перебрасываемый толчками от одного часового к другому; пишут даже, что пинки, щипки и даже удары ногами à posteriori ускорили это путешествие. И вот, у всех выходов в Тюильрийском саду появляются один за другим люди в черном, еще более усиливая беспокойство негодующей толпы, собирающейся сюда в сумерки посмотреть, что происходит и увезли или нет наследственного представителя. Злополучные люди в черном! Уличены они наконец в ношении заказных кинжалов, избалованные «рыцари кинжала»! Внутри все похоже на горящий корабль, снаружи — на бушующее море. Внутри нет спасения; Его Величество, выглянув на минуту из своего внутреннего святилища, холодно приказывает всем посетителям «сдать оружие» и снова затворяет дверь. Отданное оружие обрывает грудь; избалованные «рыцари кинжала» стремительно, гурьбой спускаются с лестниц, а внизу их встречает пестрая толпа, которая толкает, бьет, травит и разгоняет их²¹.

Вот какое зрелище наблюдает Лафайет в вечерних сумерках, возвращаясь после удачно улаженных затруднений с Венсенном. Едва утихла санкюлотская Сцилла, как аристократическая Харибда уже клокочет вокруг него. Терпеливый герой двух частей света почти теряет терпение. Он не задерживает, а подгоняет бегущих рыцарей; он, правда, освобождает того или другого гонимого знатного роялиста, но бранит каждого жесткими словами, внушенными этой минутой, такими, каких не простили бы ему ни в одном салоне. Герой наш в затруднительном положении, висит между небом и землею, ненавистный в одинаковой мере и богатым божествам над ним, и неимущим смертным под ним! Камергер герцог де Вилькье получает перед всем народом такой внушительный выговор, что находит нужным сначала оправдаться в газетах, а когда это оказывается бесполезным, то уезжает за границу и начинает интриговать в Брюсселе²⁶. Квартира его будет стоять пустой, но она, как мы увидим, окажется полезнее, чем в то время, когда была занята им.

Итак, рыцари кинжала позорно бегут в сгущающемся мраке, гонимые патриотами. Смутное, позорное дело, рожденное тьмой и исчезающее в сгущающемся сумраке и тьме. Однако среди этой тьмы читатель может ясно видеть — в последний или предпоследний раз — одну фигуру, бегущую, спасая свою жизнь: это Криспен-Катилина д'Эпремениль. Еще не прошло трех лет с тех пор, как эти же гренадеры центра, тогда французские гвардейцы, препроводили его на рассвете майского дня на острова Калипсо, и вот до чего Дожили и они и он. Побитый, истоптанный, освобожденный популярным Петионом, он вправе был с горечью ответить: «Да, Monsieur, и меня когда-то народ носил на плечах»²⁷. Это факт, о котором популярный Петион может поразмыслить, если захочет.

Но к счастью, быстро наступающая ночь спускается над этим позорным Днем Кинжалов; аристократы скрываются в своих жилищах, хотя и потрепанные, с оборванными полами и истерзанными сердцами. Двойной мятеж подавлен без особого кровопролития, если не считать нескольких разбитых до крови носов. Венсенн не совсем разрушен и может быть восстановлен. Наследник не выкраден, и королева не запрятана в тюрьму. Это день, о котором долго вспоминают, о котором говорят с громким смехом и глухим ропотом, с язвительной насмешкой торжества и с ядовитой злобой поражения. Роялисты по обыкновению сваливают всю вину на герцога Орлеанского и на анархистов, желавших оскорбить короля; патриоты, также по обыкновению, — на роялистов и даже на конституционалистов, желавших выкрасть короля и увезти в Мец; мы же по обыкновению сваливаем вину на неестественную подозрительность и на Феба-Аполлона, уподобившегося ночи.

Таким образом, читатель видел, как в последний день февраля 1791 года три давно уже споривших элемента французского общества оказались втянутыми в странную, трагикомическую коллизию и открыто вступили между собою в бой. Конституционализм, подавивший и санкюлотский мятеж в Венсенне, и роялистскую измену в Тюильри, в этот момент силен и господствует над всеми. Но что можно сказать о бедном роялизме, швыряемом таким образом и туда и сюда, после того как все его кинжалы сложены в кучу? Как гласит пословица, у всякого kota бывает масленица: в настоящем, прошлом или будущем. Сейчас праздник на улице Лафайета и Конституции. Тем не менее голод и якобинство, быстро перерастающие в фанатизм, продолжают действовать. И если в самом деле дойдут до фанатизма, то придет и их день. До сих пор Лафайет, подобно какому-нибудь правящему морем божеству, спокойно поднимает голову среди всех бурь; вверху ветры Эола улетают в свои пещеры, подобно буйным непрошеным духам; внизу взбудораженные и вспененные ими морские волны утихают сами. Но что, если бы, как мы не

раз говорили, в дело вмешались подводные, титанические, огненные силы и самое дно океана взорвалось бы снизу? Если б они выбросили Посейдона-Лафайета и его конституцию вон из пространства и море в титанической борьбе схватилось бы с небом?

Глава шестая

МИРАБО

Настроение Франции становится все ожесточеннее, лихорадочнее и близится к конечному взрыву безумия и иступления. Подозрительность охватила все умы; спорящие партии не могут уже общаться между собою, они держатся порознь и смотрят друг на друга в крайнем возбуждении, с холодным ужасом или пылкой злобой. Контрреволюция, Дни Кинжалов, дуэли Кастри, бегство Mesdames, Monsieur и короля! Все пронзительнее раздается тревожный крик журналистов. Бессонное Дионисиево ухо сорока восьми секций так лихорадочно настроено, что все больное тело судорожно содрогается со странной болью при малейшем шорохе, как часто бывает при таком напряжении слуха и бессоннице!

Раз роялисты имеют специально заказанные кинжалы и съёр Мотье оказался тем, кто он есть, то не следует ли и патриотам, даже бедным, иметь пики и хотя бы подержанные ружья на крайний случай? Весь март наковальни стучат, выковывая пики. Конституционный муниципалитет возвестил плакатами, что только «активные», или платящие налоги, граждане имеют право носить оружие, но в ответ тотчас же поднялась такая буря удивления со стороны клубов и секций, что конституционные плакаты почти на следующее же утро пришлось заклеить вторым, исправленным изданием и предать забвению²⁸. Поэтому ковка пик продолжается, как и всё связанное с нею.

Отметим еще, как крайне левые поднимаются в расположении если не Национального собрания, то всего народа, в особенности Парижа. Во времена всеобщей паники и сомнений люди охотно присоединяются к тому мнению, в котором чувствуется наибольшая уверенность, хотя часто это бывает наименее основательное мнение. Вера, как бы она ни была зыбка, имеет большую силу и покоряет сомневающиеся сердца. Неподкупный Робеспьер избран обер-прокурором в новые суды; полагают, что добродетельный Петион будет сделан мэром. Кордельер Дантон призван торжествующим большинством в департаментский совет и сделался коллегой Мирабо. Неподкупному Робеспьеру давно уже было предсказано, что он, простой, бедный человек, далеко пойдет, потому что не знает сомнений.

Не следовало ли при таких обстоятельствах перестать и королю сомневаться и начать решать и действовать? У него все еще остается в руках надежный козырь — бегство из Парижа. Как мы видим, король постоянно хватается за этот верный козырь, держит его крепко и изредка на пробу выкидывает, но никогда не выкладывает его, а постоянно прячет назад. Играй же с него, король! Если для тебя еще существует надежда, то именно эта, и притом поистине последняя; а теперь и она с каждым часом становится все сомнительнее. Ах так приятно было бы сделать и то и другое, бежать и не бежать, сбросить карту и удержать ее в руках! Король, по всей вероятности, не козырнет до тех пор, пока все козыри не будут проиграны, и такое козыряние окажется концом самой игры!

Здесь, следовательно, возникает постоянно один пророческий вопрос, на который теперь не может быть ответа. Предположим, что Мирабо, с которым король усердно совещается как с премьер-министром, не имеющим еще права официально заявить себя таковым, закончил свои приготовления — а у него есть планы, и планы обширные, о которых дошли до нас лишь отрывочные, туманные сведения. Тридцать департаментов готовы подписать верно-подданнические адреса указанного содержания; короля увезут из Парижа, но только в Компьен или Руан, едва ли в Мец, так как толпа эмигрантов отнюдь не должна играть руководящей роли в этом деле; Национальное собрание под давлением верноподданнических адресов, умелых действий и силы Буйе соглашается внять голосу рассудка и последовать за королем туда же!²⁹ Так ли, на таких ли условиях якобинцы и Мирабо должны были схватиться в этой борьбе Геркулеса с Тифоном*, в которой смерть была бы неизбежна для того или другого? Самая борьба решена и неминуема, но, при каких условиях, а главное, с каким результатом, это мы тщетно пытаемся угадать. Все окутано смутной тьмой; неизвестно, что будет; неизвестно даже то, что уже было. Ко-

лосс Мирабо, как говорили, идет одиноко во тьме, безвестными путями. О чем он думал в эти месяцы, этого не откроют теперь никакие биографы, никакой Fils Adoptif.

* Тифон (греч. миф.) — стоглавое огнедышащее чудовище.

Для нас, старающихся составить его гороскоп, разумеется, все остается вдвойне смутным. Мы видим человека, подобного Геркулесу, и одно чудовище за другим вступает с ним в смертельную борьбу. Эмигрировавшая знать возвращается с саблей на боку, кичась своей незапятнанной лояльностью. Она спускается с неба, подобно стае жестоких, гнусно жадных гарпий. А на земле лежит Тифон политической и религиозной анархии, вытягивая свои сотни, вернее, двадцать пять миллионов голов, огромный, как вся территория Франции, свирепый, как безумие, сильный самым голодом. С этим-то чудовищем укротитель змей должен бороться непрерывно, не рассчитывая на отдых.

Что касается короля, то он по обыкновению будет колебаться, менять, подобно хамелеону, цвет и решения сообразно с цветом окружающей его среды — он не годится для королевского трона. Только на одного члена королевской семьи, только на королеву, Мирабо, пожалуй, еще может положиться. Возможно, что величие этого человека, не чуждого искусства лести, придворных манер, ловкости и любезности, очаровало непостоянную королеву своим несомненным обаянием и привязало ее к нему. У нее хватает смелости на благородный риск: у нее есть глаза и сердце, есть душа дочери Терезии. «Faut-il donc (неужели), — пишет она со страстным порывом своему брату, — неужели, с кровью, которая течет в моих жилах, с моими чувствами, я должна жить и умереть среди таких людей?»³⁰ Увы, да, бедная королева. «Она единственный мужчина, — замечает Мирабо, — среди окружающих Его Величество». Еще более уверен Мирабо в другом мужчине — в самом себе. Вот и все его возможности, достаточно их или нет.

Смутным и великим представляется будущее взгляду пророка. Бесперывная борьба не на жизнь, а на смерть, смятение вверх и вниз — для нас же смутная тьма с прорывающимися кое-где полосами бледного, обманчивого света. Мы видим короля, которого, может быть, устроят, но не постригут в монахи — пострижение вышло из моды, — а сошлют куда-нибудь с приличным годовым содержанием и с запасом слесарных инструментов; видим королеву и дофина, регентство при малолетнем короле; королеву, которая «верхом на лошади» проезжает в самом пылу сражения под крики: «Morgiamur pro rege nostro!» «Такой день, — пишет Мирабо, — может наступить».

Гром сражений, война, которую уже нельзя назвать гражданской, смятение вверх и вниз, и в этой обстановке глаз пророка видит графа Мирабо, подобного кардиналу де Рецу*, с головой, все взваливающей, с сердцем, готовым на все; видит его если не победителем, то и не побежденным, пока в нем еще сохраняется жизнь. Подробностей и результатов никакой пророк не может видеть: ночь бурная, небо покрыто тучами, и среди всего этого Мирабо то появляется, вырываясь вперед, то исчезает, неукротимо стремясь покорить себе тучи! Можно сказать, что если б Мирабо остался жив, то история Франции и мира была бы другой. И далее, что если этому человеку чего-либо недоставало, то лишь обладания в полном объеме тем самым Art d'Oser (искусством смель), которое он так ценил и которым он больше всех своих современников владел и действовал. Достигнутый им результат представлял бы не пустое подобие формулы, а нечто реальное, существенное; результат, который можно было бы любить или ненавидеть, но, вероятно, нельзя было бы обойти молчанием и предать скорому забвению. Если бы Мирабо прожил еще хотя бы один год!

* Кардинал де Рец Жак Франсуа Поль де Гонди (1613—1679) — видный политический деятель Франции времен Фронды, автор известных «Мемуаров».

Глава седьмая

СМЕРТЬ МИРАБО

Но Мирабо так же не мог прожить еще один год, как не мог прожить и тысячи лет. Годы человека сочтены, и повесть о Мирабо уже закончена. Властной судьбе безразлично, были ли

вы знамениты или нет, будет ли всемирная история помнить вас несколько столетий, или вас забудут через день или два. Среди суеты румяной, деятельной жизни безмолвно кивает нам бледный посланник смерти, и все, чем занимался человек: широкие интересы, проекты, спасение французских монархий, — все приходится немедленно бросать и идти, все равно, спасал ли этот человек французские монархии или чистил сапоги на Pont-Neuf! Самый значительный из людей не может медлить; если б мировая история зависела от одного часа, то и отсрочки на час не было бы дано. Поэтому рассуждения наши о том, что было бы, большей частью праздны. Мировая история никогда не бывает тем, чем на основании каких-либо возможностей она хотела бы, могла или должна была бы быть но всегда и единственно бывает тем, что она есть.

Бурный образ жизни истощил богатырские силы Мирабо. Волнение и горячность держали мозг и сердце в постоянной лихорадке; излишества — в напряжении и возбуждении, излишества всякого рода, непрестанная работа, почти граничащая с невероятным! «Если б я не жил с ним, — говорит Дюмон, — я никогда не узнал бы, что можно сделать из одного дня, сколько дел может уместиться в промежуток времени в двенадцать часов. Один день для этого человека был больше, чем неделя или месяц для других; количество дел, которые он вел одновременно, баснословно; от принятия решения до приведения в исполнение не пропадало ни одной минуты». «Monsieur le Comte, — сказал ему однажды секретарь, — то, что вы требуете, невозможно». «Невозможно! — ответил он, вскочив со стула. — Ne me dites jamais bête de mot» (Никогда не говорите мне этого дурацкого слова)³¹. А потом общественные банкеты; обед, который он дает в качестве командира национальных гвардейцев и который «стоит пятьсот фунтов»; а «оперные сиреньи» и имбирная водка, от которой жжет во рту, — по какой наклонной плоскости катится этот человек. Неужели Мирабо не может остановиться, не может бежать и спасти свою жизнь? Нет! На этом Геркулесе рубашка Несса; он должен непрерывно кипеть и гореть, пока не сгорит окончательно. Вещи бледные тени пролетают в воспаленном мозгу Мирабо, предвестницы вечного покоя. В то время как он мечется и волнуется, напрягая всякий нерв в этом море честолюбия и смятения, он получает мрачное и безмолвное предостережение, что для него исходом всего этого будет скорая смерть.

В январе можно было видеть, как он председательствовал в Собрании на вечернем заседании «с обвязанной полотняным платком шеей»; в крови его был болезненный жар, перед глазами то темнело, то мелькали молнии; после утренней работы ему пришлось ставить пиявки и председательствовать в повязке. «Прощаясь, он обнял меня, — говорит Дюмон, — с волнением, какого я никогда не замечал в нем. «Я умираю, друг мой, — сказал он, — умираю, как от медленного огня; быть может, мы уже не увидимся более. Когда меня не станет, узнают настоящую цену мне. Несчастья, которые я сдерживал, обрушатся на Францию со, всех сторон»³². Болезнь предостерегает все громче, но все эти предостережения остаются без внимания. 27 марта по дороге в Собрание Мирабо вынужден был захватить за помощью к своему другу Ламарку и пролежал с полчаса почти без чувств, вытянувшись на диване. Он все-таки отправился в Собрание, как бы наперекор судьбе, и говорил там громко и горячо целых пять раз подряд; затем сошел с трибуны — и покинул ее навсегда. В крайнем изнеможении он выходит в Тюильрийский сад; вокруг него по обыкновению толпится народ с просьбами, записками, и он говорит сопровождающему его другу: «Уведи меня отсюда!»

И вот, 31 марта 1791 года бесконечная встревоженная толпа осаждает улицу Шоссе-д'Антен с беспрестанными расспросами; в доме, который в наше время значится под номером 42, переутомленный титан пал, чтобы больше не встать³³. Толпы людей всех партий и состояний, от короля до самого простого нищего! Король официально посылает Два раза в день справляться о здоровье больного и, кроме того, справляется и частным образом; расспросам отовсюду нет конца. «Через каждые три часа толпе вручается писанный бюллетень»; он переписывается, расходуется по рукам и, наконец, печатается. Народ сам следит за тишиной, не пропускает ни одного создающего шум экипажа; давка невероятная, но сестру Мирабо узнают и почтительно очищают перед ней дорогу. Народ стоит безмолвно, подавленный; всем кажется, что надвигается огромное несчастье, словно последний человек, который мог бы справиться с грядущими бедствиями во Франции, лежит в борьбе с неземной властью.

Но тщетно молчание целого народа, тщетны неутомимые усилия Кабаниса, друга и врача Мирабо; в субботу 2 апреля он чувствует, что для него наступил последний день, что в этот день он уйдет и перестанет существовать. Смерть его была титанической, как и жизнь! Озарен-

ный последней вспышкой перед готовым наступить разрушением, ум этого человека горит и сверкает, выражаясь в словах, которые надолго сохранятся в памяти людей. Он желает жить, но мирится со смертью, не спорит против неизбежности. Речь его фантастична и удивительна; неземные видения исполняют уже погребальный танец вокруг его души, которая, сияя огнем, недвижимая, во всеоружии, дожидается великого часа! Изредка исходящий от него луч света озаряет мир, который он покидает. «Я ношу в сердце моем погребальную песнь французской монархии; смертные останки ее сделаются теперь добычей мятежников». Он слышит пушечный выстрел и делает характерное замечание: «Разве похороны Ахилла уже наступили?» А другу, который поддерживает его, он говорит: «Да, поддержи эту голову; я желал бы завещать ее тебе». Человек этот умирает, как жил: с полным самосознанием и с сознанием того, что на него смотрит мир. Он смотрит на юную весну, которая для него никогда не перейдет в лето. Взошло солнце, и он говорит: «Si ce n'est pas là Dieu, c'est du moins son cousin germain» (Если там не Бог, то по меньшей мере его двоюродный брат)³⁴. Смерть завладела наружными укреплениями; способность речи пропала, но цитадель — сердце — все еще держится; умирающий титан страстно просит знаками бумагу и перо и письменно просит опиума, чтобы прекратить агонию. Врач огорченно качает головой. «Dormir» (спать), — пишет Мирабо, настойчиво указывая на написанное слово. Так умирает этот гигант, язычник и титан, слепо запинаясь и, не сломленный духом, устремляется к покою. В половине девятого утра доктор Пти, стоящий в ногах постели, говорит: «Il ne souffre plus». Его страдания и труд кончены.

Да, безмолвные толпы патриотов и ты, французский народ, человек этот отнят у вас. Он пал внезапно, не согнувшись, пока не сломился, как падает башня, внезапно пораженная молнией. Вы не услышите больше его речей, не последуете больше его указаниям. Толпы расходятся, угнетенные, и разносят печальную весть. Как трогательна верность людей человеку, которого они признают своим повелителем! Все театры, все общественные увеселения закрываются; в эти вечера не должно быть веселых сборищ: веселье неуместно; народ врывается на частные вечеринки с танцами и мрачно приказывает прекратить их. Узнали, кажется, о двух таких вечеринках, и они должны были прекратиться. Уныние всеобщее; никогда в этом городе не оплакивали так ничьей смерти; никогда с той давно минувшей ночи, когда скончался Людовик XII и *scieurs des corps* ходили по улицам, звеня колокольчиками и крича: «Le bon roi Louis, père du peuple, est mort!» (Добрый король Людовик, отец народа, умер!)³⁵ Умерший теперь король — Мирабо, и без преувеличения можно сказать, что весь народ оплакивает его.

Целых три дня повсюду слышны только тихие жалобы; слезы льются даже в Национальном собрании. Улицы полны уныния, ораторы влезают на тумбы и перед многочисленной безмолвной аудиторией произносят надгробные речи в честь покойного. Ни один кучер не смеет проехать слишком быстро, да и вообще проезжать мимо этих групп и мешать им слушать грохотом своих колес. В противном случае у него могут перерезать постромки, а его самого вместе с седоком, как неисправимых аристократов, злобно бросить в канаву. Ораторы на тумбах говорят как умеют; санкюлотский народ с грубой душой напряженно слушает, как всегда слушают речь или проповедь, если это слова, означающие что-нибудь, а не пустая болтовня, не означающая ничего. В ресторане «Пале-Руаяль» служитель замечает: «Прекрасная погода, monsieur». «Да, друг мой, — отвечает старый литератор, — прекрасная, но Мирабо умер!» Печальные песни несутся из хриплых глоток уличных певцов и, напечатанные на сероватой бумаге, продаются по одному су за штуку³⁶. Портреты, гравированные, писанные, высеченные из камня и рисованные, хвалебные гимны, воспоминания, биографии, даже водевили, драмы и мелодрамы появляются в следующие месяцы во всех провинциях Франции в неисчислимом количестве, как листья весной. А чтобы не обошлось без шутовства, появляется и епископское Послание Гобеля, гуся Гобеля, только что произведенного в конституционные епископы Парижа. Послание, в котором «Ça ira!» странным образом переплетается с *Nomine Domini* и в котором нас с серьезным видом приглашают «порадоваться тому, что среди нас имеется корпорация прелатов, созданная покойным Мирабо, ревностных последователей его учения и верных подражателей его добродетелей»³⁷. Так, на разные лады говорит и гогочет Скорбь Франции, жалуясь, насколько возможно, членораздельно, что рок унес Державного Человека. В Национальном собрании, когда поднимаются затруднительные вопросы, глаза всех «машинально обращаются к тому месту, где сидел Мирабо», но Мирабо уже нет.

На третий вечер оплакиваний, 4 апреля, происходят торжественные публичные похороны, какие редко выпадают на долю почивших смертных. Процессия, в которой, по приближительному подсчету, принимают участие около ста тысяч человек, растянулась на целую милю. Все крыши, окна, фонари, сучья деревьев переполнены зрителями. «Печаль написана на всех лицах, многие плачут».

Мы видим здесь двойную шеренгу национальных гвардейцев, Национальное собрание в полном составе, Общество якобинцев и другие общества, королевских министров, членов муниципалитета и всех выдающихся патриотов и аристократов. Среди них замечаем Буйе «в шляпе», надвинутой на лоб, как будто он желает скрыть свои мысли! В торжественном безмолвии процессия, растянувшаяся на милю, медленно движется под косыми лучами солнца, так как уже пять часов дня; траурные перья колышутся, и торжественное безмолвие время от времени нарушается глухой дробью барабанов или протяжными звуками заунывной музыки, примешивающей к бесконечному гулу людей странные звуки тромбонов и жалобные голоса металлических труб. В церкви Св. Евстахия Черутти произносит надгробное слово, и раздается салют из ружей, от которого «с потолка сыплются куски штукатурки». Оттуда процессия отправляется к церкви Св. Женевьевы, которая, согласно духу времени, высочайшим декретом превращена в Пантеон для великих людей благодарного Отечества (*Aux Grands Hommes la Patrie reconnaissante*). Церемония кончается лишь к двенадцати часам ночи, и Мирабо остается один в своем темном жилище — первым обитателем этого Отчужденного Пантеона.

Увы, обитателем временным, которого впоследствии выселят. В эти дни судорожных потрясений и раздоров нет покоя даже праху мертвецов. Вскоре из украденного гроба в аббатстве Сельер перевозят кости Вольтера в его родной Париж, и также прах его сопровождается процессией, над ним произносятся речи, восемь белых лошадей везут колесницу, факельщики в классических костюмах с повязками и лентами, хотя погода дождливая³⁸.

Тело евангелиста Жан Жака Руссо, как и подобает, также выкапывают из его могилы в Эрменонвиле и с трогательной процессией переносят в Отчужденный Пантеон^{39*}. Переносят и других, тогда как Мирабо, как мы говорили, изгоняют; по счастью, он не может уже быть возвращен и покоится, неведомый, «в центральной части кладбища Св. Екатерины, в предместье Сен-Марсо, где его поспешно зарыли ночью» и где никто уже не нарушит его покоя.

* Перенесение праха Руссо в Пантеон состоялось 11 октября 1794 г.

Так пылает, видимая на далеком расстоянии, жизнь этого человека; она становится прахом и *Caput mortuum* в этом мировом костре, называемом Французской революцией; она сгорела в нем не первая и не последняя из многих тысяч и миллионов! Это человек, который «отрешился от всех формул» и который чувствовал в эти странные времена и при этих обстоятельствах, что он призван жить, как Титан, и, как Титан, умереть. Он отрешился от всех формул; но есть ли такая всеобъемлющая формула, которая верно выразила бы плюс и минус его личности и определила бы ее чистый результат? Таковой до сих пор не существует. Многие моральные законы строго осудят Мирабо, но морального закона, по которому его можно было бы судить, еще не высказано на человеческом языке. Мы снова скажем о нем: он был реальностью, а не симуляцией; живой сын природы, нашей общей матери, а не мертвый и безродный механизм пустых условностей. Пусть подумает серьезный человек, печально бродящий в мире, населенном преимущественно «набитыми чучелами в суконных сюртуках», которые болтают и бессмысленно смеются, глядя на него, эти доподлинные привидения для серьезной души, — пусть подумает, какое значение заключено в этом коротком слове: брат!

Число людей в этом смысле, живых и зрячих, теперь невелико: хорошо, если в огромной Французской революции с ее всеразгорающейся яростью мы насчитываем хотя бы троих таких. Мы видим людей, доведенных до бешенства, брызжущих самой язвительной логикой, обнажающих свою грудь под градом пуль или шею под гильотиной, но и о них мы, к сожалению, должны сказать, что большая часть их — сфабрикованные формальности, не факты, а слухи!

Слава сильному человеку, сумевшему в такие времена стряхнуть с себя условности и быть чем-нибудь! Ибо для того, чтобы чего-нибудь стоить, первое условие — это быть чем-нибудь. Прежде всего во что бы то ни стало должно прекратиться лицемерие; пока оно не прекратится, ничто другое не может начаться. Из всех преступников за эти века, пишет моралист, я

нахожу только одного, которого нельзя простить: шарлатана. «Он одинаково ненавистен и Богу, и врагам Его», как поет божественный Данте:

A Dio spiacente ed a'nemici sui!

Но тот, кто с сочувствием, которое является главным условием для понимания, взглянет на этого загадочного Мирабо, тот найдет, что в основе всего его характера лежала именно искренность, великая, свободная серьезность, можно сказать даже честность, потому что человек этот своим ясным, пронизательным взглядом проникал в то, что действительно было, что существовало как факт, и только с этим, ни с чем другим, соотнобразывалось его неукротимое сердце. Поэтому, каким бы путем ни шел он, и как бы ни боролся, и как бы часто ни ошибался, он всегда останется человеком-братом. Не гневайся на него — ты не можешь его ненавидеть! В этом человеке сквозь все темные пятна просвечивает гениальность, то победоносно сверкая, то омрачаясь в борьбе, но он никогда не бывает низким и ненавистным, а только, в худшем случае, достоин жалости, сердечного сострадания. Говорят, что он был честолюбив, хотел сделаться министром. И это правда. Но разве он не был единственным человеком во Франции, который мог сделать что-нибудь хорошее, будучи министром? В нем было не одно только тщеславие, не одна гордость — о нет! — в этом великом сердце находили место и страстные порывы любви и вспышки гнева, и кроткая роса сострадания. Он глубоко погряз в безобразнейших сквернах, но про него можно сказать, как про Магдалину*: ему простится многое, потому что он много любил. Он любил горячо, с обожанием, даже своего отца, самого сурового из упрямых и угрюмых стариков.

* Мария Магдалина — в евангельской мифологии раскаявшаяся грешница, преданная последовательница Христа, удостоившаяся первой увидеть воскресшим. Включена христианской церковью число святых.

Возможно, что ошибки и заблуждения Мирабо были многочисленны, как он и сам часто жаловался со слезами⁴⁰. Увы, разве жизнь каждого такого человека не есть трагедия, созданная «из Рока и собственной его вины», из *Schicksal und eigene Schuld*, богатая элементами жалости и страха? Этот человек-брат если и не эпичен для нас, то трагичен; если не величествен, то велик по своим качествам и всемирно велик по своей судьбе. Другие люди, признав его таковым, спустя долгое время вспомнят его и подойдут к нему поближе, чтобы рассмотреть его, вникнуть в него, и будут говорить и петь о нем на разных языках, пока не будет сказано настоящее; тогда будет найдена формула, по которой можно судить его.

Итак, неукротимый Габриель Оноре исчезает здесь из ткани нашей истории с трагическим прощальным приветом. Он ушел, этот цвет неукротимого рода Рикетти или Арригетти; в нем род этот как бы с последним усилием сосредоточивает все, что в нем было лучшего, и затем исчезает или опускается до безразличной посредственности. Старый упрямец, маркиз Мирабо, Друг Людей, спит глубоко. Судья Мирабо, достойный дядя своего племянника, скоро умрет, покинутый, в одиночестве; Бочка-Мирабо, уже перешедший за Рейн, будет доведен до отчаяния своим полком эмигрантов. «Бочка-Мирабо, — говорит один из его биографов, — в негодовании переправился за Рейн и стал обучать эмигрантские полки. Когда однажды утром он сидел в своей палатке, с расстроенным желудком и сердцем, в адском настроении, размышляя о том, какой оборот стали принимать дела, некий капитан или субалтерн-офицер* попросил принять его. Капитану отказывают; он снова просит с тем же результатом и так далее, пока полковник виконт Бочка-Мирабо, вспыхнув, как бочка спирта, не выхватывает шпагу и не бросается на этого назойливого каналью, но увы! он натывается на конец шпаги, которую назойливый каналья поспешно обнажил, — и умирает. Газеты называют это апоплексией и ужасным случаем» Так умирают Мирабо.

* Младший офицер (от лат. *subalternus* — подчиненный, несамостоятельный).

О новых Мирабо ничего не слышно; неукротимый род, как мы сказали, прекратился со своими великими представителями. Последнее часто наблюдается в истории семейств и родов, которые после долгих поколений посредственностей производят какую-нибудь живую квинтэссенцию всех имеющихся в них качеств, сияющую в качестве мировой величины, и после того успокаиваются, словно истощенные, и скипетр переходит к другим родам. Последний избранник из рода Мирабо, избранник Франции — ушел. Это он сдвинул старую Францию с ее осно-

вания, и он же, лишь своей рукой, удерживал от окончательного падения готовое рухнуть здание. Какие дела зависели от одного этого человека! Он подобен кораблю, разбившемуся внезапно о подводную скалу: остатки его беспомощно несутся по пустынным водам.

Книга IV

ВАРЕНН

Глава первая

ПАСХА В СЕН-КЛУ

По всем человеческим расчетам, французскую монархию можно считать теперь погибшей; она то продолжает иступленно бороться, то впадает в слабость, так как погас последний разумный направляющий луч. Остаток сил злополучные их величества будут по-прежнему расточать, проявляя колебание и нерешительность. Сам Мирабо жаловался, что они доверяли ему только наполовину и наряду с его планом всегда имели какой-нибудь свой. Лучше бы им давным-давно открыто бежать с ним в Руан или куда-нибудь еще! Они могут убежать и сейчас, правда уже с неизмеримо меньшими шансами на удачу, да и те будут постепенно убавляться и придут к абсолютному нулю. Решайся, королева; бедный Людовик не в силах решиться ни на что. Приведи этот план бегства в исполнение или же оставь его совсем. Довольно переписываться с Буйе: какая польза от советов и гипотез, когда кругом все кипит неудержимой практической деятельностью? Крестьянин в басне сидит у реки, дожидаясь, пока она не пересохнет: перед вами, увы, не обыкновенная река, а разлившийся Нил; в невидимых горах тают снега, и вода будет прибывать до тех пор, пока всё, и вы на том самом месте, где сидите, не будет затоплено ею.

Многое побуждает к бегству. Побуждает голос прессы: роялистские газеты прозрачно намекают на него как на угрозу; патриотические органы яростно объявляют его чем-то ужасным. Якобинское общество, становясь все настойчивее, приглашает бежать! Как и предсказывали, Лафайет и умеренные патриоты вскоре отделяются от него и образуют новую ветвь — фейянов*; это вызывает бесконечные публичные споры, в которых победа, как это ни кажется невероятным, остается за неумеренным Якобинским обществом. Более того, со Дня Кинжалов мы видели, что самые решительные патриоты открыто вооружаются. Граждане, которым отказано в «деятельности», что теперь в шутку считается признаком некоторой тяжести кошелька, не могут купить синих мундиров и стать гвардейцами, но человек стоит больше синего сукна; можно сражаться, если нужно, в мундире любого цвета, а не то и вовсе без него, как это делают санкюлоты. Итак, пики продолжают ковать независимо от того, предназначаются ли кинжалы усовершенствованной формы, с зубринами «для вест-индского рынка» или нет. Люди перековывают свои орала на шпаги, вместо того чтобы поступать наоборот, так как в Тюильри денно и ночно заседает так называемый австрийский комитет** (Comité Autrichien). Патриоты на основе подозрений и наблюдений знают это слишком хорошо! Если король сбежит, не произойдет ли тогда австрийско-аристократического вторжения, резни, возвращения феодализма, войн хуже гражданских? Сердца людей полны горя и безумного страха.

* 16 июля 1791 г. в связи с борьбой вокруг вопроса о судьбе короля в Якобинском клубе произошел раскол. Правая часть его официально порвала с клубом и основала новый клуб, получивший (по занимаемому им помещению) название Клуба фейянов. Клуб фейянов сделался политическим центром крупной буржуазии. Его лидерами стали Лафайет, Байи и так называемый триумвират — Барнав, Дюпор и Александр Ламет. В состав Клуба фейянов вошло большинство членов Общества 1789 г. Фейяны установили высокие членские взносы (до 250 фр.), обеспечивавшие их организации замкнутый характер. Левая часть якобинцев требовала отречения короля от власти.

** Намек на придворную партию во главе с королевой Марией Антуанеттой.

Немало хлопот причиняют и диссентерские священники. Изгнанные из своих приходских церквей, где они заменены священниками, избранными, согласно конституции, народом, эти несчастные укрываются в женских монастырях или иных подобных убежищах; по воскресеньям они

собирают там антиконституционно настроенных субъектов, внезапно сделавшихся набожными¹, и совершают или притворяются со своим тупым упрямством, что совершают богослужение назло патриотам. Диссентерские священники проходят со святыми дарами по улицам к умирающим, видимо желая быть убитыми, но патриоты не исполняют этого желания. Однако венец мучеников им все же удастся получить: они принимают мученичество не смерти, а сечения плетьюми. Туда, где непокорные совершают свое служение, являются патриоты и патриотки с крепкими ореховыми хворостинами и пускают их в ход. Закрой глаза, читатель, не смотри на бедствие, отличающее это несчастное время, когда в самом мученичестве не было искренности, а было только лицемерие и шарлатанство! Мертвая католическая церковь не может оставаться мертвой, нет, ее гальванизируют, заставляя вернуться к отвратительнейшему подобию жизни, — зрелище, перед которым, как мы говорили, человечество закрывает глаза. Ибо патриотки берут розги и под хохот окружающих весело секут священников по широким задам, а кстати, увы, и опрокинутых монахинь, с *cotillons retroussés*! Национальная гвардия делает что может; муниципалитет вызывает «к принципам терпимости», отводит для богослужений диссентеров церковь театинцев (Théatins), обещает им покровительство. Но тщетно: на дверях этой церкви появляется плакат, а над ним вывешивается наподобие *fascis* плебейских консулов пучок розог! Пусть принципы терпимости применяют как знают, но ни один диссидент не должен совершать богослужения — таков плебисцит по этому делу, хотя и невысказанный, но непреложный, как законы мидян и персов. Упрямым диссентерским священникам запрещено давать приют даже частным образом: Клуб кордельеров открыто обвиняет самого короля в нарушении этого постановления².

Многое побуждает к бегству, но, пожалуй, всего более то, что оно стало невозможным. 15 апреля объявлено, что Его Величество, который сильно страдал в последнее время от простуды, хочет насладиться несколькими днями весенней погоды в Сен-Клу. Он хочет там встретить Пасху, неужели даже с непокорными антиконституционными диссидентами? Не думаете ли вы, что он замышляет пробраться в Компьен, а оттуда к границе? Это и в самом деле могло бы случиться: ведь короля сопровождают только два пикера, которых легко подкупить! Во всяком случае возможность соблазнительна. Рассказывают, что тридцать тысяч рыцарей кинжала караулят в лесах; да, скрываются в лесах, и именно тридцать тысяч, ведь людское воображение ничем не связано. И как легко могут они, напав на Лафайета, отнять наследственного представителя и умчаться с ним, словно столб вихря, куда угодно! Довольно! Лучше не отпускать короля в Сен-Клу. Лафайет предупрежден и принял меры. Ведь рискует не он один, а вся Франция.

Наступил понедельник 18 апреля, день, на который назначен отъезд на Пасху в Сен-Клу. Национальной гвардии уже отданы приказы; первая дивизия в качестве авангарда выступила и, вероятно, уже прибыла на место. Говорят, что *Maison bouche* (придворная кухня) в Сен-Клу спешит с приготовлением обеда для королевской семьи. Около часа королевский экипаж, запряженный четырьмя парами вороных, величественно въезжает на площадь Карусели, чтобы принять августейших пассажиров. Но вдруг с соседней церкви Сен-Рок раздается звон набата. Уж не украли ли короля? Он уезжает? Уже уехал? Толпы народа наполняют площадь Карусель: королевский экипаж все еще стоит и, клянусь небом, останется стоять!

Выходит Лафайет в сопровождении адъютантов и протискивается между группами людей, стараясь успокоить их красноречивыми речами. «*Taisez-vous* (молчите), — отвечают ему, — король не должен уезжать». У одного из верхних окон появляется человек, и десять тысяч голосов кричат и вопят: «*Nous ne voulons pas que le roi parte!*» (Мы не хотим, чтобы король уезжал!) Их величества сели в экипаж. Раздаются удары кнутов, но двадцать рук патриотов хватаются за каждую из восьми уздечек — и лошади становятся на дыбы. Толкотня, крики, брань, но экипаж ни с места. Тщетно Лафайет сердится, негодует, убеждает; патриоты, охваченные безумным страхом, режут вокруг королевского экипажа, волнуясь, как бурное море, от этого патриотического страха, перешедшего в неистовство. Не хочет ли король бежать в Австрию, чтобы, подобно горящей ракете, зажечь бесконечный пожар гражданской войны? Остановите его, вы, патриоты, во имя самого Неба! Грубые голоса страстно обращаются к самому королю. Привратника Кампана и других придворных служителей, прибежавших, чтобы подать помощь или совет, хватают за перевязи и швыряют взад и вперед весьма опасным образом, так что Ее Величеству приходится горячо молить за них из окна кареты.

Приказания нельзя ни расслышать, ни исполнить; национальные гвардейцы не знают, что делать. Гренадеры центра из батальона Обсерватории находятся здесь, но не по службе, а, увы, в полумятежном состоянии; они произносят грубые, непокорные речи' грозятся стрелять в конных гвардейцев, если те тронут народ. Лафайет то садится на лошадь, то слезает с нее, бежит, запыхавшись, убеждает, доходит до крайней степени отчаяния. Это продолжается час или три четверти, «семь четвертей часа» по часам Тюильри! С отчаяния Лафайет готов добиться проезда хотя бы при помощи пушечного жерла, если прикажет Его Величество. Но их величества по совету друзей-роялистов и врагов-патриотов выходят из экипажа и удаляются с тяжелым сердцем, негодуя и отказываясь от своего намерения. Повара в Сен-Клу могут съесть приготовленный обед сами. Его Величество не увидит Сен-Клу ни сегодня, ни когда бы то ни было³.

Итак, трогательная басня о пленении в собственном дворце стала печальной реальностью. Король жалуется Собранию, муниципалитет совещается, предлагает петиции, адреса; секции отвечают мрачным, коротким отказом. Лафайет оставляет свою должность, появляется в штатском сюртуке цвета соли с перцем, и убедить его вернуться на прежний пост удастся только через три дня, да и то неслыханными мольбами: национальные гвардейцы становятся перед ним на колени, заявляя, что это не лесть и они свободные люди, преклонившие колени перед статуей Свободы. Гренадер центра из батальона Обсерватории распускают — на самом деле, впрочем, все они, кроме четырнадцати, зачисляются под новым названием в другие гарнизоны. Король вынужден провести Пасху в Париже в глубоком размышлении об этом странном положении вещей, но теперь он почти решил бежать, так как желания его усилились вследствие затруднений.

Глава вторая

ПАСХА В ПАРИЖЕ

Проект бегства возникал в голове короля, по-видимому, уже более года назад, с марта 1790 года, и время от времени складывался в некоторое подобие намерения, но не одно, так другое препятствие постоянно заставляло его испаряться. Ведь это такое рискованное дело, которое способно привести к гражданской войне, а главное — дело, требующее усилий. Сонливая лень здесь не уместна: если хочешь бежать, и не в кожаной *cache*, то нужно действительно пошевелиться. Уж не лучше ли принять их конституцию и выполнять ее так, чтобы все убедились в ее невыполнимости? Лучше или нет, во всяком случае легче. Ввиду всех затруднений оставалось бы сказать: на дороге лев лежит, смотрите, ваша конституция не может действовать! Сонной личности не требуется усилий, чтобы подражать смерти, — госпожа Сталь и друзья свободы давно уже наблюдают в королевском правительстве: оно живет *faisant la mort* (притворяясь мертвым).

Но что же может выйти из этого теперь, когда возбужденное препятствиями желание сложилось в определенное намерение и мысль короля уже не колеблется между двумя решениями? Предположим, что бедный Людовик благополучно прибыл к Буйе; что в сущности могло бы ожидать его там? Раздраженные роялисты отвечают: многое, всё. Но холодный разум возражает: немного, почти ничего. Разве лояльность не закон природы? — спрашивают первые. Разве любовь к своему королю и даже смерть за него не славный долг всех французов — за исключением этих немногих демократов? Пусть эти демократические строители конституции посмотрят, что они сделают без своего краеугольного камня; и Франция вырвет на себе волосы, потеряв своего наследственного представителя!

Итак, король Людовик хочет бежать; нельзя только ясно понять, куда. Не похож ли он на мальчика, обиженного мачехой, который в раздражении убегает куда глаза глядят, терзая отцовское сердце? Бедный Людовик бежит от известных невыносимых несчастий к неведомому смешению добра и зла, окрашенному надеждой. Он уходит, как уходил, умирая, Рабле, искать великое Быть может (*je vais chercher un grand Peut-être!*). Нередко бывает вынужден поступать так не только обиженный мальчик, но и взрослый, мудрый муж в непредвиденных случаях.

К тому же нет недостатка в побуждениях и обидах со стороны мачехи, чтобы поддерживать это решение на надлежащей высоте. Мятежные беспорядки не прекращаются; да и как могли бы они в самом деле прекратиться без авторитетного заклинания, при возмущении, которое по

самому существу своему бездонно? Если прекращение мятежа должно быть ценой за спячку короля, то он может проснуться, когда хочет, и упорхнуть.

Заметьте, во всяком случае, какие уловки и извороты делает мертвый католицизм, искусно гальванизированный, — отвратительное и вместе с тем жалкое явление! Присяжные и диссентерские священники со своими бритыми головами всюду яростно борются или прекращают борьбу только для того, чтобы готовиться к новому сражению. В Париже битие плетью продолжается, пока в этом есть надобность; напротив, в Морбигане, в Бретани, где не было бичевания, крестьяне берутся за оружие, поднятые барабанным боем с церковных кафедр, и бунтуют, сами не зная, почему. Посланный туда генерал Дюмурье находит все в состоянии темного брожения, однако убеждается, что многое еще можно сделать разъяснениями и соглашениями⁴.

Зато примите к сведению следующее: его святейшество Пий VI счел за благо отлучить от церкви епископа Талейрана! Конечно, поразмыслив, мы признаем, что нет живой или мертвой церкви на земле, которая не имела бы несомненного права отлучить Талейрана. Папа Пий имеет право и может сделать это. Но несомненно, вправе поступить по-своему и отец Адам, *si-devant* маркиз Сент-Юрюг. Посмотрите на пеструю, орущую толпу, собравшуюся 4 мая в Пале-Руаяле; среди нее возвышается отец Адам, зычноголосый Сент-Юрюг, в белой шляпе, которого все видят и слышат. Его сопровождают, как говорят, журналист Горса и многие другие из умытого класса, так как власти не хотят вмешиваться. Толпа несет высоко над головами Пия VI в мантии и тиаре, с ключами — эмблемой апостольской власти; он сделан в натуральную величину из решеток и горючей смолы. Несут также Руаяу, друга короля, изображенного с кипой газет: это осужденные номера «*Ami du roi*», достойное топливо для жертвоприношения. Произносятся речи, совершается суд, и громогласно объявляется на все четыре стороны приговор. Затем среди великого ликования под летним небом осуществляется сожжение его святейшества из решеток и смолы вкупе с сопутствующими жертвами, возносится в пламени и рассыпается в пепел рассыпавшийся папа: право или сила со всех сторон, хорошо ли, худо ли, выполнили свое дело как могли⁵. Однако какой длинный путь пришлось нам пройти, начиная с Мартина Лютера* на базарной площади Витгенберга до маркиза Сент-Юрюга в парижском Пале-Руаяле, и в какие странные области завел он нас! Никакая власть не может теперь вмешаться. Даже сама религия, печалющаяся о таких вещах, должна в конце концов спросить себя: что общего у меня с ними?

* Мартин Лютер (1483—1546) — выдающийся деятель Реформации в Германии, перевел Библию с латинского языка на немецкий.

Вот каким необычным образом кувыркается и прыгает мертвый, искусно гальванизированный католицизм! Ибо если бы читатель спросил о том, что, собственно, представляет собой предмет спора в данном случае: какая разница между ортодоксией, или моим учением, и гетеродоксией, или твоим учением, то ответ гласил бы: мое учение заключается в том, что верховное Национальное собрание может уравнивать права епископства, что уравненный в правах епископ, раз вера и требники оставлены нетронутыми, может присягнуть в верности королю, закону и народу и стать таким образом конституционным епископом. Твое же учение, если ты диссидент, заключается в том, что он не может сделать это, в противном же случае подлежит проклятию. Людское злонравие нуждается только в какой-нибудь гомоюзийной йоте или хотя бы в предлоге к таковой чтобы устремиться в изобилии сквозь игольное ушко; стало быть, люди вечно будут спорить и горячиться.

И, подобно древним стойкам, под портиками В ожесточенном споре защищать свои церкви.

Устроенное Сент-Юрюгом аутодафе совершилось 4 мая 1791 года. Королевская власть видит это, но молчит.

Глава третья

ГРАФ ФЕРЗЕН*

В это время приготовления к бегству короля, по-видимому, далеко продвинулись. К несчастью, приготовления требуются большие. Если бы наследственного представителя можно было увезти в кожаной *sache*, это было бы очень легко! Но это невозможно.

* Граф Аксель фон Ферзен (1755—1810) — шведский офицер на французской службе и советник Марии Антуанетты в 1790—1792 гг.

Нужны новые платья, как обыкновенно при всяких эпических событиях, пусть даже в мрачные «железные» века; вспомним «королеву Кримгильду с ее шестьюдесятью швеями» в железной Песни о Нибелунгах! Ни одна королева не может двинуться без новых платьев. Поэтому г-жа Кампан ревностно летает от одного дамского портного к другому, и происходит кройка платьев и нарядов, верхних и нижних вещей, больших и маленьких; такая кройка и шитье, что лучше было бы обойтись без них. Ее Величество не может также ступить ни шагу без своего несессера, дорогого несессера из розового дерева, инкрустированного слоновой костью, с замысловатыми отделениями, где размещаются духи, туалетные принадлежности, неисчислимое множество подobaющих королеве и необходимых для земной жизни мелких вещей. Для доставки этой самой жизненной необходимости фламандскими возчиками требуется затратить около пятисот луидоров, большое количество драгоценного времени и, что крайне трудно, соблюдение тайны, которая, однако, не остается тайной. И все это во имя того, чтобы этими вещами никогда не воспользоваться⁶. Эти обстоятельства служат дурным предзнаменованием для удачи предприятия, но капризам женщин и королев следует угодать.

Буйе, с своей стороны, устраивает укрепленный лагерь в Монмеди, собирает там полк Руаяль-Аллеман и все другие немецкие и французские войска «для наблюдения за австрийцами». Его Величество не хочет переходить границу, если не будет вынужден к тому. Не будут особенно прибегать и к эмигрантам, так как они ненавистны народу⁷. Старый бог войны Брольи тоже не приложит руки к этому делу; все устроит один наш храбрый Буйе, которому в день встречи освобожденный король пожалует маршалский жезл при ликовании всех войск. А тем временем, раз Париж стал так подозрителен, не написать ли иностранным послам открытое письмо, в котором попросить всех королей и людей принять к сведению, что король Людовик уважает конституцию, что он добровольно присягнул и опять присягает свято соблюдать ее, и объявить своими врагами всех, кто станет утверждать противное? Такой циркуляр рассылается через курьеров, конфиденциально сообщается Собранию и печатается во всех газетах с наилучшими результатами⁸. Притворство и обман в значительной мере примешиваются к людским поступкам.

Мы замечаем, однако, что граф Ферзен часто пользуется своим входным билетом, на что, разумеется, он имеет достаточное право. Это щеголеватый воин и швед, преданный прелестной королеве, как и сам верховный швед. Разве король Густав*, известный пламенный *Chevalier de Nord*, не провозгласил себя, по древнему рыцарскому обычаю, ее слугой? Он явится на огненных крыльях шведских мушкетов и спасет ее от этих безобразных драконов, если, увы, не вмешается пистолет убийцы!

* Густав III (1746—1792) — с 1771 г. король Швеции.

Но в самом деле, граф Ферзен, по-видимому, любезный молодой воин с живыми, решительными манерами; он бывает везде, видимый или невидимый, и занят разными делами. Точно так же и полковник герцог Шуазель, племянник великого Шуазеля, ныне умершего; он и инженер Гогела ездят взад и вперед между Мецем и Тюильри и развозят шифрованные письма — одно из них, очень важное, трудно дешифровать, потому что Ферзен шифровал его наспех⁹. Что касается герцога Вилькье, то он отсутствует со Дня Кинжалов, но его квартира весьма полезна для Ее Величества.

С другой стороны, бедный комендант Гувьон, который в качестве помощника при национальной команде охраняет Тюильри, видит много различных, трудно объяснимых вещей. Это тот самый Гувьон, который много месяцев назад неподвижно сидел в городской Ратуше и смотрел на восстание женщин; он оставался неподвижен, как привязанная в конюшне лошадь во время пожара, пока привратник Майяр не схватил его барабан. Нет более искреннего патриота, но много есть умнее его. Он, если верить словам г-жи Кампан, слегка ухаживает за одной вероломной дворцовой горничной, которая многое выдает ему: о несессере, платьях, укладке драгоценностей¹⁰, если б только он мог понимать, какую тайну ему выдали! Но бестолковый Гувьон смотрит наивными стеклянными глазами, побуждает своих часовых к бдительности, неумоимо шагает взад и вперед и надеется на лучшее.

Но как бы то ни было, оказывается, что на второй неделе июня полковник Шуазель находится как частное лицо в Париже, приехав «повидаться с детьми». Далее, что Ферзен заказал великолепный новый экипаж типа называемого *Berline** у лучших мастеров, согласно представленной модели; они доставляют его к нему на дом в присутствии Шуазеля, и оба друга совершают в нем пробную поездку по улицам в задумчивом настроении, потом отсылают его к «госпоже Сюзеллиан, на улицу Клиши», в дальний северный конец города, где экипаж будет дожидаться, пока не понадобится. Якобы некая русская баронесса Корф с камеристкой, лакеем и двумя детьми желает ехать на родину с некоторой пышностью, а эти молодые военные интересуются ею. Они добыли для нее паспорт и оказали большое содействие у экипажного мастера и подобных людей — так обязательны и услужливы эти молодые офицеры. Ферзен купил также двухместную коляску будто бы для двух камеристок и нужное количество лошадей; можно подумать, что он сам покидает Францию и при этом не скупится на издержки. Мы видим, наконец, что их величества намереваются, если Богу будет угодно, присутствовать на церковной службе в день Тела Господня, благословенный день летнего солнцестояния, в церкви Успения в Париже, на радость всему миру. А доблестный Буйе, как оказывается, в тот же самый день пригласил в Меце компанию друзей к обеду, но на самом деле тем временем выехал из дома в Монмеди.

* Берлина — дорожная коляска, созданная в Берлине в конце XVIII в.

Вот каковы явления или видимые события в этом обширном механизме земного мира, — механизме феноменальном, призрачном и не останавливаемом никогда, ни на минуту, никому неизвестно почему.

В понедельник 20 июня 1791 года, около одиннадцати часов вечера, на улицах Парижа еще ездит или стоит много наемных экипажей и извозничьих карет (*carrosse de remise*). Но из всех этих карет мы рекомендуем твоему вниманию, читатель, ту, что стоит на улице Эшелль, у самой площади Карусели и внешних ворот Тюильри, как будто дожидаясь седока, — на тогдашней улице Эшелль, «напротив двери седельного мастера Ронсена». Недолго приходится ей ждать: закутанная дама в капюшоне с двумя закутанными детьми выходит из двери дома Вилькье, у которого нет часовых, в тюильрийский двор принцев; они проходят на площадь Карусели, потом на улицу Эшелль, где кучер предупредительно сажает их и опять ждет. Немного погодя выходит, опираясь на слугу, другая дама, также закутанная и под густой вуалью. Она прощается с лакеем и точно так же услужливо принимается кучером в экипаж. Куда едут столько дам? Сейчас был королевский отход ко сну; их величества только что удалились в опочивальни, и весь дворцовый штат расходится по домам. Но кучер все еще ждет: его седоки, по-видимому, не в полном сборе.

Но вот мы видим полного субъекта в круглой шляпе и парике под руку с лакеем, похожим на гонца или курьера; и этот господин также выходит из двери Вилькье, теряет, проходя мимо часового, башмачную пряжку, останавливается, чтобы снова укрепить ее, и принимается кучером в экипаж с еще большей предупредительностью. Может быть, теперь пассажиры уже все налицо? Нет, экипаж еще ждет. Увы! вероломная камеристка предупредила Гувьона, что королевское семейство, по-видимому, собирается бежать в эту самую ночь, и Гувьон, не доверяя своим собственным стеклянным глазам, послал гонца к Лафайету; и карета Лафайета, мелькая огнями, въезжает в эту минуту под среднюю арку площади Карусели. Ей встречается в широкополой цыганской шляпе опирающаяся на руку слуги, по виду также гонца или курьера, дама, сторонится, чтобы пропустить карету, и даже из шалости касается спицы ее колеса своею

badine — маленькой волшебной палочкой, какие носили в те времена красавицы. Освещенная карета Лафайета проезжает мимо; все спокойно на дворе принцев: часовые на своих постах, апартаменты их величеств замкнуты в мирном покое. Вероломная камеристка, должно быть, ошиблась? Стереги, Гувьон, с бдительностью Аргуса*; в этих стенах действительно таится измена.

* В греческой мифологии стоглазый великан, которого усыпил и убил бог Гермес.

Но где же дама в цыганской шляпе, которая посторонилась и тронула колесную спицу своей badine? О читатель, дама, коснувшаяся колесной спицы, была королева Франции! Она вышла благополучно из-под внутренней арки на самую площадь Карусели, но не на улицу Эшелль; взволнованная грохотом кареты и встречей, она повернула направо, а не налево; ни она, ни ее курьеры не знают Парижа; он на самом деле не курьер, а преданный глупый *si-devant* лейб-гвардеец, переодетый курьером. Они идут в совершенно противоположную сторону, через Королевский мост, переходят за реку, блуждают растерянно по улице Бак, далеко от возницы, который все еще ждет, ждет с сильным биением сердца, с мыслями, которые должен держать под своим плотно застегнутым кучерским камзолом.

На всех городских часах бьет полночь; пропал целый драгоценный час; большинство обывателей спит. Кучер все ждет, и в каком настроении! Подъезжает собрат его, вступает в разговор; наш возница охотно отвечает на кучерском жаргоне; товарищи по кнуту обмениваются понюшкой табаку¹¹, отказываются от совместной выпивки и расстаются, пожелав друг другу покойной ночи. Благодарение небу! Вот наконец королева в цыганской шляпе, счастливо избежавшая опасностей: ей пришлось расспрашивать дорогу. Она садится в экипаж; ее курьер вскакивает на запятки, как уже сделал другой, тоже переодетый лейб-гвардеец; теперь, о единственный кучер из тысячи, граф Ферзен, ибо читатель видит, что это ты, трогай!

Пыль не пристает к копытам коней Ферзена: хлоп! хлоп! Колеса затрещали по мостовой, все стали дышать свободнее. Но на верном ли пути Ферзен? Мы должны были ехать на северо-восток, к заставе Сен-Мартен, откуда лежит большая дорога на Мец, а он едет прямо на север! Царственный пассажир в круглой шляпе и парике сидит в изумлении; но правильно или нет взят путь, а делать уже нечего. Хлоп, хлоп! Мы едем безостановочно по спящему городу. С тех пор как Париж вырос из глины или с тех пор как длинноволосые короли проезжали в повозках на быках, ему редко приходилось видеть такую скачку. Хлоп, хлоп! По улице Граммонь, через бульвар, вверх по улице Шоссе-д'Антен — эти окна в № 42, теперь такие спокойные, — это бывшая квартира Мирабо. Обыватели по обеим сторонам улиц заперлись и спят, растянулись в горизонтальном положении, а мы не спим и трепещем! Мы едем не к заставе Сен-Мартен, а к заставе Клиши, на крайнем севере Парижа. Терпение, августейшие особы; Ферзен знает, что делает. Поднимаясь по улице Клиши, он останавливается на минуту у дома г-жи Сюлливан: «Что, кучер графа Ферзена взял новую берлину баронессы Корф?» «Уехал с нею часа полтора назад», — бормочет в ответ сонный привратник. — «C'est bien». — Да, хорошо; но лучше было бы, если б эти полтора часа не были потеряны. Поэтому вперед, Ферзен, скорее через заставу Клиши, затем на восток, вдоль Внешнего бульвара, спешу, насколько хватит сил у лошадей и бича!

Так едет Ферзен под покровом благоухающей ночи. Сонный Париж лежит теперь весь направо от него, безмолвный, слышен лишь легкий глухой храп. И вот он уже на востоке, у заставы Сен-Мартен, и озабоченно высматривает берлину баронессы Корф. Наконец-то он видит эту благословенную берлину, запряженную шестеркой лошадей, и его собственный кучер-немец сидит на козлах. Bravo, добрый немец, теперь спешу, ты знаешь куда! Спешите и вы, сидящие в карете! Много времени уже потеряно. Августейшие пассажиры кареты, шесть седоков, быстро перегружаются в новую берлину; два лейб-гвардейца становятся на запятки. Извозчицья карета, повернутая по направлению к городу, может ехать куда хочет, — поутру ее найдут опрокинутой в канаву. А Ферзен уже сидит на других козлах, покрытых новыми чехлами, и взмахивает бичом, гоня к Бонди. Там должен находиться третий и последний курьер — лейб-гвардеец с готовыми почтовыми лошадьми. Там же должна быть и купленная коляска с двумя камеристками и картонками, без которых Ее Величество тоже не могла выехать. Живее, проворный Ферзен, и да поможет небо, чтобы все кончилось хорошо !

Пока, благодарение небу, все благополучно. Вот спящая деревня Бонди, коляска с камеристками, лошади готовы, почтальоны в стоптанных сапогах нетерпеливо ждут, ежась от

росы. Быстро перепрягают, почталыоны в стоптанных сапогах вскакивают в седла, вертя короткими звонкими кнутами. Ферзен в кучерской одежде, прощаясь, склоняется с глубокой почтительностью, и королевские руки машут в ответ с безмолвной невыразимой благодарностью; берлина баронессы Корф с французским монархом удаляется от него, как оказалось, навсегда. Проворный Ферзен скачет наперерез к северу, по полям, к Бугре, доезжает до Бугре, находит ожидающего его немца-кучера с экипажем, несется дальше и уезжает незамеченный в неизвестную даль. Проворный, энергичный человек: то, за что он взялся, сделано быстро и успешно.

Итак, значит, король Франции действительно бежал? В эту прелестную ночь, самую короткую в году, он бежит и уносится вдаль! Баронесса Корф на самом деле г-жа де Турзель — гувернантка королевских детей, та самая, что вышла закутанная с двумя закутанными детьми, маленьким дофином и маленькой Madame Royale, известной много лет спустя под именем герцогини Ангулемской Камеристка баронессы Корф — королева в цыганской шляпе. Царственная особа в парике и круглой шляпе в настоящее время лакей. Другая закутанная дама, выдаваемая за дорожную спутницу. — добрая сестра Елизавета; она поклялась давно, со времени восстания женщин, что только смерть разлучит ее с этой семьей. И вот они мчатся, но не слишком стремительно через Бондийский лес, через этот Рубикон в их личной истории и в истории Франции.

Знаменательные часы, хотя грядущее очень смутно! Застанем ли мы Буйе? Что, если не застанем! О Людовик! Вокруг тебя великая спящая земля (а над тобой великое недремлющее небо): спящий Бондийский лес, где длинноволосый Хильдерик Тунеядец был пронзен мечом¹², надо думать, не без причин в мире, подобном нашему. Эти остроконечные каменные башни — Репей, башни безбожных Орлеанов. Все спит, кроме далеко разносящегося шума нашей новой берлины. Зеленщик в болтающейся, как на птичьем пугале, одежде медленно тащится рядом со своим ослом, везущим раннюю зелень; это единственное существо, которое мы встречаем. Впереди, с северо-востока, все чаще поднимается серый предрассветный туман; кое-где из росистой чащи леса птицы коротким щебетанием приветствуют восход солнца. Бледнеют звезды и Млечный Путь — уличные фонари Божьего Города. Вселенная, о братья, широко распахивает ворота перед встающим Великим Всевышним Царем. А ты, бедный король Людовик, спешишь, как и всякий смертный, к Восточной Стране Надежды; и Тюильри с их королевскими приемами, и Франция, и сама земля не более как нечто вроде большой собачьей конуры, обитатели которой иногда впадают в бешенство.

Глава четвертая

БЕГСТВО

Но что было в Париже в шесть часов утра, когда некий патриотический депутат, предупрежденный запиской, разбудил Лафайета и оба поспешили в Тюильри? Воображение может представить, но слова бессильны изобразить изумление Лафайета или растерянность, с какой беспомощный Гувьон тарасил свои стеклянистые глаза Аргуса, поняв наконец, что его камеристка говорила правду!

Однако следует отметить, что Париж благодаря верховному Национальному собранию в это подобие Судного дня превзошел самого себя. Никогда, по показаниям исторически достоверных свидетелей, не было у него такой «внушительной осанки»¹³. Все секции заседают «непрерывно», так же как и городской совет, сделавший предварительно, около 10 часов, три тревожных выстрела. Непрерывно заседает и Национальное собрание; оно решает, что нужно делать; решает единогласно, так как правая сторона безмолвствует, напуганная фонарем. Решения принимаются быстро и с величавым спокойствием. Приходится вотировать, ибо дело слишком очевидно, что Его Величество похищен или «увлечен» силой внушения каких-нибудь неизвестных лиц или лица. Что же в таком случае требует от нас конституция? Обратимся, как мы всегда говорим, к основным принципам.

По первому или второму принципу многое решается быстро: посылают за министрами, Дают им указания, как исполнять в дальнейшем свои обязанности; допрашивают Лафайета и Гувьона, который дает весьма бессвязный отчет, лучший, на какой он способен. Найдены письма; одно из них, очень длинное, написанное рукой короля и явно сочиненное им самим, адресо-

вано к Национальному собранию. В нем серьезно с детским простодушием излагаются все крупные и мелкие обиды, причиненные Его Величеству: Неккера встречают аплодисментами, а его, короля, нет; затем, восстание, недостаток необходимой мебели в Тюильри, недостаток денег по цивильному листу; вообще потребность в деньгах, мебели и порядке; всюду анархия; дефицит до сих пор даже в самой малой мере не уменьшен, «не только не покрыт (comblé)» — и вследствие всего этого Его Величество удаляется в место свободы, предоставив санкциям, федеративным и всяким прочим клятвам вывертываться самим, и ссылается теперь — как бы думало верховное Собрание, на что? — на «декларацию двадцать третьего июня» с ее «Seul il fera». Он один сделает свой народ счастливым. Как будто это заявление уже не похоронено, и похоронено глубоко, под двумя непреложными годами, крушением и обломками всего феодального мира! Национальное собрание решает отпечатать это странное собственноручное письмо и разослать его в восемьдесят три департамента с пояснительными краткими, но сильными примечаниями. Во все стороны рассылаются комиссары; необходимо ободрить народ, усилить армию, позаботиться, чтобы общее благо не пострадало. А теперь с величаво-спокойным, даже равнодушным видом мы «переходим к порядку дня».

Это величественное спокойствие рассеивает страх народа. Сверкающие леса пик, злоеще ошетилившиеся на утреннем солнце, снова исчезают; громогласные уличные ораторы умолкают или разглагольствуют тише. Если суждено быть у нас гражданской войне, так пусть она будет. Король уехал, но Национальное собрание, Франция и мы остались. Принимает и народ величавую осанку, и, он так же спокоен и неподвижен, как отдыхающий лев. Только тихое рыкание, несколько взмахов хвостом показывают, что он может сделать! Казалось, например, окружили на улице группы с криками: «На фонарь!», но национальные патрули без труда освободили его. Уничтожены уже все изображения и статуи короля, по крайней мере гипсовые. Даже самое имя его, самое слово разом исчезает со всех магазинных вывесок; королевский бенгальский тигр на бульварах становится просто национальным (tigre national)¹⁴.

Как велик спокойно спящий народ! Наутро люди скажут друг другу: «У нас нет короля, однако мы спали довольно хорошо». Назавтра пламенный Ахилл де Шатле и Томас Пейн, мятежный портной, обильно заклеят стены Парижа своими плакатами с объявлением, что Франция должна стать республикой¹⁵. Нужно ли добавлять, что и Лафайет, хотя ему и грозили вначале пиками, принял величавую осанку, самую величавую из всех? Разведчики и адъютанты спешат наудачу на розыски и преследование беглецов; молодой Ромеф устремляется в Валансьен, хотя со слабой надеждой.

Таков Париж — величественно-спокойный в своей утрате. Но из «Messageries Royales» во всех почтовых сумках далеко разносится электризирующая новость: наш наследственный представитель бежал. Смейтесь, черные роялисты, но только в кулак, чтобы патриоты не заметили и, рассвирепев, не пригрозили вам фонарем! Ведь только в Париже имеется величавое Национальное собрание с его внушительным спокойствием; в других местах эту новость могут принять иначе: с разинутыми ртами, выпученными глазами, с панической болтовней, гневом, предположениями. Каждый из этих невзрачных кожаных дилижансов с кожаной сумкой и словами «король бежал» взбудораживает на пути спокойную Францию, превращает безмятежное общественное настроение городов и сел в трепетное волнение и смертельный страх и затем громыкает далее, как ни в чем не бывало. Весть разносится по всем дорогам, до самых крайних границ, пока вся Франция не взбудораживается и не превращается (говоря метафорически) в огромного, злобно бормочущего индюка с налившимся кровью гребнем.

Так, например, кожаное чудовище прибывает в Нант поздней ночью, когда город погружен в глубокий сон. Привезенная весть разом будит всех патриотов, генерал Дюмурье выходит из спальни в халате и видит, что улица запружена «четырьмя или пятью тысячами граждан в рубашках». Кое-где мелькает слабый огонек сальной свечи, масса темных, растерянных лиц под сдвинутыми на затылок ночными колпаками, с развевающимися полами ночных сорочек ждут с разинутыми ртами, что скажет генерал. А над ним, как всегда, спокойно вращается Большая Медведица вокруг Волопаса, равнодушная, как сам кожаный дилижанс. Успокойтесь, жители Нанта: Волопас и Большая Медведица находятся по-прежнему на своем месте; старая Атлантика по-прежнему посылает свои рокошующие волны в вашу Луару; водка будет по-прежнему горячить ваши желудки; это еще не последний день, но один из предпоследних. Глупцы! Если бы они

знали, что происходит в эти самые минуты, также при сальных свечах, на далеком северо-востоке!

Едва ли кто находился в это время в Париже или во Франции в большем страхе, чем — кто бы вы думали? — зеленоватый Робеспьер. Удвоенная бледность с тенями, как у повешенного, покрывает его зеленые черты: он слишком хорошо понимает, что патриотам грозит Варфоломеевская ночь, что через двадцать четыре часа его не будет в живых. Одна достоверная свидетельница слышит, как он выражает эти ужасные предчувствия у Петиона. Свидетельница эта — г-жа Ролан, та, которую мы видели в прошлом году сияющей на провозглашении Федерации в Лионе. Последние четыре месяца Роланы находились в Париже, разбирая с комитетами Национального собрания городские дела Лиона, запутавшегося в долгах; за это время они видятся со всеми выдающимися патриотами: с Бриссо, Петионом, Бюзо, Робеспьером и другими. «Все они, — говорит красивая хозяйка, — имели обыкновение приходить к нам по вечерам четыре раза в неделю». Эти люди, бегающие сегодня более озабоченные, чем когда-либо, утешали зеленого человека, говорили о плакатах Ахилла де Шатле, о газете, которая будет называться «Республиканец», о приготовлении умов к республике. «Республика? — говорит зеленый со своим сухим, хриплым, нешутливым смехом. — Что это такое?»¹⁷ О неподкупный Робеспьер! Увидишь, что это!

Глава пятая

НОВАЯ БЕРЛИНА

Разведчики и адъютанты ехали быстрее кожаных дилижансов. Молодой Ромеф, как мы уже сказали, ранним утром отправился в Валансьен, но обезумевшие крестьяне хватают его дорогой как изменника, как участника заговора и тащат назад, в Париж, в городскую Ратушу и Национальное собрание, которое спешит выдать ему новый паспорт. Теперь даже и птичье пугало — зеленщик с ослом — вспоминает о большой новой берлине, виденной им в лесу в Бонди, и сообщает об этом кому следует¹⁸. Ромеф, снабженный новым паспортом, посылается с удвоенной поспешностью по более надежному следу: через Бонди, Клэ и Шалон, чтобы выследить по дороге в Мец новую берлину, скачет во весь опор.

Злополучная новая берлина! Почему бы королю не уехать в какой-нибудь старой, похожей на берлины прочих людей? Когда бегут ради спасения жизни, нечего обращать внимание на экипаж. Monsieur отправился на север в обыкновенной дорожной карете; Madame, его супруга, — в другой, по другой дороге; они встречаются на станции во время смены лошадей, даже взглядом не выдают, что знакомы друг с другом, и достигают Фландрии без всяких помех. Совершенно так же и почти в тот же час собирается в путь красавица принцесса де Ламбаль и благополучно достигнет Англии — лучше бы ей там и остаться! Но ей, прелестной, доброй и несчастной, предназначен страшный конец!

Все бегут быстро, без помехи, за исключением новой берлины. Огромная кожаная повозка, можно сказать галера, или судно Акапулька, с тяжелой буксирной шлюпкой, парной коляской, с тремя желтыми лоцманскими лодками в виде конных лейб-гвардейских курьеров, бесцельно гарцующих то впереди, то с боков и только путающих, а не направляющих, — все это тащится черепашим шагом, замечаемое всеми. Курьеры лейб-гвардейцы в желтых ливреях гарцуют под стук копыт и топочут, преданные, но глупые, ни о чем не осведомленные. Приходится останавливаться: происходит поломка, которую исправляют в Этоже. Король Людовик хочет выйти, подняться на холм и насладиться благословенным солнцем. При одиннадцати лошадях и двойном вознаграждении за услуги, при всем благопритетствовании природы оказывается, что король, спасающий бегством свою жизнь, сделал за двадцать два часа безостановочной езды всего шестьдесят девять миль! Что за мешкотность! А ведь каждая минута из этих часов драгоценна: от минут теперь зависят судьбы королевства!

Поэтому читатели могут представить себе, в каком настроении находится теперь герцог Шуазель в деревне Пон-де-Соммевиль, в нескольких милях от Шалона; он тщетно ждет час за часом, а день уже заметно клонится к вечеру. Шуазель выехал из Парижа тайно за десять часов до назначенного для отъезда их величеств времени; его гусары под командой инженера Гогела уже здесь для «сопровождения ожидаемого сокровища», но часы проходят, а берлины ба-

ронессы Корф все нет. По всей северо-восточной области, на границе Шампани и Лотарингии, где проходит большая дорога, замечается значительное возбуждение, так как по всему пути от Пон-де-Соммевиля на северо-востоке до Монмеди, по всем деревням и городам, через которые проходит почтовый тракт, снуют в ожидании эскорты драгун и гусар — ряд или цепь военных эскортов, на конце которой у Монмеди находится сам бравый Буйе; это электрическая грозозая цепь, которую невидимый Буйе, подобно отцу Юпитеру, держит в своей руке, — он знает зачем! Храбрый Буйе сделал все возможное для человека: протянул свою электрическую цепь военных эскортов вперед, до границы Шалона; она ожидает только новой берлины Корф, чтобы встретить ее, эскортировать и в случае надобности умчаться в вихре ружейного огня. И вот эти свирепые воины расположились во всех почтовых деревнях Монмеди и Стенэ через Клермон, Сен-Менеульд до самого Пон-де-Соммевиля, потому что путь берлины должен лежать через них, минуя Верден и большие города; по всему этому протяжению стоят войска и нетерпеливо ждут «прибытия сокровища».

Подумайте, что это за день для бравого Буйе: быть может, первый день новой славной карьеры и во всяком случае последний день старой. В то же время — и, пожалуй, еще больше — какой это прекрасный и страшный день для наших молодых, породистых офицеров: Дандуэна, графа де Дама, герцога Шуазеля, инженера Гогела и им подобных, посвященных в тайну! Но, увы, день все более клонится к закату, а берлина баронессы не показывается. Прошло четыре часа сверх назначенного времени, и все еще нет берлины. По всем деревенским улицам расхаживают роялистские офицеры, частенько посматривая в сторону Парижа; лица их беспечны, но сердца полны мрачной заботы; строгие квартирмейстеры с трудом сдерживают драгунских солдат, рвущихся в кофейни и кабаки¹⁹. Воссияй же над нашим смущением, о новая берлина; воссияй над нами, как колесница Феба, новая берлина, везущая судьбу Франции!

Эти военные эскорты были расставлены по приказанию Его Величества: они успокаивали воображение короля, видевшего в них надежную опору и помощь, но на самом деле только вызывали тревогу и бесконечные опасности там, где раньше их не было. Всякий патриот в этих деревнях на почтовом тракте, естественно, спрашивал: «Что означает этот топот кавалерии и беспорядочные передвижения войск? Необходимость эскортировать казенные деньги? Но к чему эскорт когда ни один патриот не собирается обкрадывать нацию? И где ваше сокровище?» Было слишком много маршей, потому что произошла другая роковая случайность: некоторые из этих военных эскортов прибыли еще накануне, так как сначала было назначено девятнадцатое, а не двадцатое число, но Ее Величество по той или другой причине сочла за благо изменить его. А имейте в виду подозрительность патриотов, подозрительность, в особенности по отношению к Буйе, аристократу! И это угрюмо-недоверчивое настроение имело возможность накапливаться и обостряться в течение двадцати четырех часов!

В Пон-де-Соммевиля прибытие этих сорока чужих гусаров, Гогела и герцога Шуазеля представляет для всех необъяснимую тайну. Они уже довольно долго пробыли в Сен-Менеульде в праздном ожидании, пока наконец тамошние национальные волонтеры, распалившись гневом и сомнением, «не потребовали из Ратуши триста ружей» и не получили их. Но тут случилось так, что в тот же самый момент вступил в деревню с другого конца капитан Дандуан со своим отрядом из Клермона. Еще новый отряд! Однако это довольно тревожно, хотя, по счастью, пока это только драгуны и французы! Так что Гогела с его гусарами пришлось убраться, и даже поскорее, и только в Пон-де-Соммевиле, где ожидал Шуазель, он нашел место для привала. Место привала на горячих углях, так как слухи об этих гусарах распространяются далеко, и жители суетятся в страхе и гнев. Шалон высылает на разведку пикеты национальных волонтеров, которые встречаются с пикетами, посланными из Сен-Менеульды. «Кто вы, бородатые гусары, с чужим, гортанным говором? Ради самого неба, что привело вас сюда? Охрана казны?» Пикеты разведчиков качают головой. Однако голодные крестьяне слишком хорошо знают, какую казну хотят охранять: военные экзекуции за аренду, за феодальные подати, которые ни один сборщик податей не мог заставить заплатить! Это они знают, и звонит набат с церковной колокольни, быстро оказывающий должное воздействие! Шуазель и Гогела, если не желают ждать, чтобы пожар разлился по всему краю, должны седлать лошадей и уезжать, все равно, прибыла ли берлина или нет.

Они так и делают, и набат, по счастью, прекращается. Медленно едут они на восток, к Сен-Менеульду, все еще надеясь, что лучезарная колесница догонит их. Увы, нет берлины! А уже

близко Сен-Менеульд, откуда нас прогнали поутру «тремястами национальными ружьями» и где, по-видимому, не особенно любовно смотрят и на капитана Дандуана с его драгунами, хотя они чистокровные французы; словом, это такое место, куда никто не осмелится войти во второй раз под страхом взрыва! С тяжелым сердцем наш гусарский отряд сворачивает влево; окольными путями, через холмы и леса без тропинок, избегая Сен-Менеульд и все места, где его уже видели раньше, он направляется к отдаленной деревне Варенн. Возможно, что он поспеет туда только к ночи.

Итак, этот первый военный пост в длинной грозовой цепи уехал, не принеся никакой пользы или только напортив, и наша цепь грозит запутаться! На большом тракте опять все угомонилось и воцарилась тишина, но тишина чуткая. Праздных драгун квартирмейстеры никак не могут удержать от кабаков, где пьют жадные до новостей патриоты, готовые угощать их. Офицеры выходят из себя, и топчутся на пыльной дороге, силясь сохранять внешнее спокойствие, а колесница Феба все не показывается. Почему она медлит? Невероятно, чтобы при одиннадцати лошадях, при желтых курьерах и прочих благоприятных условиях скорость ее была ниже скорости тяжелого воза: около трех миль в час! Ах, никто не знает даже, выезжала ли она из Парижа, и никто также не знает, не находится ли она в эту самую минуту у края деревни! И сердца трепещут в невыразимом смятении.

Глава шестая

БЫВШИЙ ДРАГУН ДРУЭ

Тем временем день клонился к концу. Усталые крестьяне плетутся домой с полевых работ; деревенский ремесленник с наслаждением ужинает похлебкой из овощей или бредет на деревенскую улицу глотнуть вечерней прохлады и послушать новостей. Всюду летняя вечерняя тишина. Крупный солнечный диск стоит еще, пламенея, на крайнем северо-западе, ибо сегодня его самый долгий день. Верхушки холмов скоро весело заалеют яркой зарей и шепнут: «Покойной ночи!» В зеленых оврагах, на отбрасывающих длинные тени ветвях дрозд присоединяет свою веселую песню к становящемуся слышнее журчанию ручьев; на землю спускается тишина. Пыльная мельница Вальми, подобно всем прочим мельницам, скатывает свои мешки и перестает стучать и вертеть колесами. Истертые жернова в этой земной толчее отработали еще один день и расхаживают теперь группами по деревне или сидят на гостеприимных каменных завалинках²⁰, а дети их, лукавые бесенята, копошатся около их ног. Слабое жужжание дружеской беседы поднимается над деревней Сен-Менеульд, как и над всеми другими деревнями. Беседа большей частью дружеская, тихая, потому что даже драгуны — французы и вежливые люди, да и парижско-верденский дилижанс с своей кожаной сумкой не прогрохотал еще здесь, устрасая людские умы.

Тем не менее мы отмечаем одну фигуру у последней двери деревни, фигуру в свободно болтающемся халате. Это Жан Батист Друэ, здешний почтмейстер, желчный, холерический человек, довольно опасного вида, еще в расцвете лет, хотя он уже отслужил свое время в драгунах Конде. Сегодня Друэ раздражен с раннего утра, и все время гнев его поддерживался. Поутру гусар Гогела из скупости решил лучше сторговаться с хозяином своей гостиницы, а не с Друэ, присяжным почтмейстером, относительно найма лошади для отсылки домой своего кабриолета, и, узнав это, Друэ распалился гневом, пошел на постоялый двор, пригрозил хозяину и никак не мог успокоиться. Неприятный день во всех отношениях; Друэ — ярый патриот, он был в Париже на празднике Пик, а тут эти солдаты Буйе! Что это означает? Только что вытолкали гусар с их кабриолетом (будь ему пусто!), как вдруг является Дандуан с драгунами из Клермона, которые слоняются по деревне. Чего ради? Желчный Друэ в развевающемся халате входит и выходит, смотрит вдаль с той остротой зрения, которую придает человеку кипучая злоба.

А по другой стороне деревенской улицы прогуливается капитан Дандуан с равнодушным лицом и терзаемым черной заботой сердцем. Берлины баронессы Корф нет как нет! Великолепное солнце садится в ярком пламени, и сердце капитана трепещет в невыразимом опасении.

Боже! Вот быстро скачет желтый лейб-гвардеец курьер, озаренный красным пламенем заката! Тише, Дандуан, стой смирно с непроницаемо-равнодушным лицом, хотя желтый болван и проскакал мимо почтовой станции; он расспрашивает, где она, и приводит в волнение всю

деревню, восхищенную его нарядной ливреей. Вот с грохотом подкатывает и берлина Корф с горами чемоданов и с коляской позади; чудовищная галера с маленьким ялботом наконец добралась сюда. Глаза поселян широко раскрываются, как всегда, когда проезжает экипаж, представляющий для них событие. Шатающиеся кругом драгуны почтительно — так хороши желтые ливреи — подносят руку к каске, и дама в цыганской шляпе отвечает со свойственной ей грацией²¹. Дандуан стоит со скрещенными руками и с таким презрительно-индифферентным видом гарнизонного офицера, на какой только способен человек, в то время как сердце его готово выпрыгнуть из груди. Лихо закрученные усы, беспечный взгляд который, однако, зорко наблюдает за группами крестьян: они не нравятся ему. Глазами он говорит желтому курьеру: «Скорее, скорее!» Но желтый болван не может понять взгляда и, бормоча, идет к нему с расспросами на виду у всей деревни!

Не дремлет в это время и почтмейстер Друэ: он входит и выходит в своем долгополом халате, вникая при свете заката в то, что видит. Когда способности человека изощрены раздражением, то это в иное время может повести ко многому. Эта дама в надвинутой на лоб цыганской шляпе, хотя и сидит на передке в экипаже, однако похожа на одну особу, которую мы когда-то видели не то на празднике Пик, не то в другом месте. А этот Grosse-Tête в круглой шляпе и парике, который, время от времени высовываясь, смотрит назад; сдается мне, что он смахивает?.. Живее, сьер Гийом, писец Директории, принесите мне новую ассигнацию! Друэ рассматривает новую ассигнацию, сравнивает портрет на кредитном билете с большеголовым человеком в круглой шляпе: «Клянусь днем и ночью, это, можно сказать, смягченное изображение того. Так вот что означает это передвижение войск, это. фланирование и перешептывание. Понимаю!»

Итак, почтмейстер Друэ, пылкий патриот и бывший драгун Конде, решай, что тебе следует делать! Да, решай скорее, потому что, смотри, новая берлина проворно перепряжена и под хлопанье бича катит дальше! Друэ не смеет последовать первому побуждению и схватиться обеими руками за вожжи: Дандуан отрубил бы ему руки своей саблей. У наших бедных национальных волонтеров, из которых здесь не видно ни одного, хотя имеется триста ружей, но нет пороха; да к тому же и у Друэ нет еще полной уверенности, а есть только моральное убеждение. Как ловкий отставной драгун Конде, он делает самое благоразумное: совещается по секрету с писцом Гийомом, также бывшим драгуном Конде, и, пока тот седлает двух самых резвых лошадей, пробирается в Ратушу шепнуть кое-кому словечко, а затем садится с писцом Гийомом на лошадей, и оба скачут на восток, следом за берлиной, посмотреть, что можно сделать.

Пока они едут крупной рысью, их моральное убеждение распространяется из Ратуши по деревне озабоченным шепотом. Капитан Дандуан приказывает своим драгунам садиться на коней, но, увы! те жалуются на продолжительный пост, требуют сначала хлеба с сыром, и, раньше чем эта короткая трапеза кончена, слух разошелся уже по всей деревне, и теперь уже не шепчутся, а кричат, режут. Спешно созванные национальные волонтеры с криками требуют пороха; драгуны колеблются между патриотизмом и дисциплиной, между хлебом с сыром и поднятыми штыками. Дандуан тайно передает свой бумажник с секретными депешами старому квартирмейстеру; даже конюхи выходят с вилами и цепями. Строгий квартирмейстер вскакивает на полуоседланную лошадь, саблей прокладывает себе дорогу сквозь сомкнутые штыки, сквозь патриотические вопли, проклятия и цепи и скачет как безумный²². Немногие из солдат следуют за ним, остальные уступают мягкому принуждению и остаются.

Итак, новая берлина мчится; Друэ и Гийом скачут вслед за нею, а солдаты или солдат Дандуана — за ними; Сен-Менеульд и большая дорога на несколько миль в восстании, а наша грозная военная цепь разорвалась саморазрушительным образом и, можно опасаться, с самыми страшными последствиями.

Глава седьмая

НОЧЬ ШПОР

Все это происходит из-за таинственных эскортов и новой берлины с одиннадцатью лошадьми; «тот, у кого есть тайна, должен скрывать не только ее, но и то, что ему есть, что скрывать». Первый военный эскорт уничтожил сам себя, и теперь возмутятся все остальные эскорты вместе с подозрительной страной, и все это разразится громом, который нельзя срав-

нить с громом победы. Скорее его можно сравнить с первым движением горной лавины, которая, раз сорвавшись, как здесь в Сен-Менеульде, будет нарастать и катиться все дальше и дальше, до Стенэ, с грохотом и дикой разрушительной силой, пока и патриоты-крестьяне, и жители деревень, и военные эскорты, и новая берлина с королевской властью не рухнут в бездну.

Спускаются густые ночные тени. Почтальоны щелкают бичами, королевская берлина проезжает Клермон, где полковнику графу Дама удается шепнуть ей слово, и благополучно направляется к Варенну, мчась со скоростью удвоенных наградных; какой-то неизвестный всадник — *Inconnu à cheval* — кричит хриплым голосом важные, но нерасслышанные слова в окно мчащейся кареты и исчезает во мраке²³. Августейшие путешественники дрожат; тем не менее природа берет свое, и, переутомленные, все они погружаются в дремоту! Увы, тем временем Друэ и клерк Гийом прищипоривают лошадей, сворачивая ради скорости и безопасности на проселочные дороги, и везде распространяют свое моральное убеждение, которое разносится по стране, словно крылья птиц.

И наш строгий квартирмейстер также прищипоривает коня и, добравшись до Клермона, будит спящих драгун хриплыми звуками рожка. Храбрый полковник Дама приказывает части этих клермонских солдат сесть на коней, и молодой корнет Реми мчится с несколькими из них. Но патриотическая магистратура скоро на ногах и в Клермоне; национальные гвардейцы требуют патронов, и деревня «иллюминируется» — патриоты проворно вскакивают с постелей, поспешно, в рубашках, зажигают огонь, выставляют на окна свечи или скудные масляные лампы, пока все не засветилось и не засверкало.

Повсюду *camisado*, или вихрь рубашек: начинает звонить набат, деревенские барабаны неистово бьют сбор. Весь Клермон иллюминирован, обезумевшие патриоты шумят и грозятся! Храбрый молодой полковник Дама произносит под это смятение разъяренного патриотизма несколько пламенных фраз немногим находящимся при нем солдатам: «Ваши товарищи в Сен-Менеульде оскорблены! Король и страна призывают храбрых», затем пламенно кричит: «Сабли на-голо!» Но, увы! солдаты только ударяют по своим эфесам, втискивая сабли плотнее в ножны! «За мною, кто за короля!» — кричит Дама в отчаянии и уносится с двумя злополучными приверженцами из низших чинов в объятия ночи²⁴.

Ночь беспримерная в Клермоне, кратчайшая в году, замечательнейшая во всем столетии, достойная быть названной Ночью Шпор! Корнет Реми и немногие сопровождающие его сбились с дороги и скачут несколько часов по направлению к Вердену, потом еще несколько часов по изрезанной заборами местности, через разбуженные деревни, к Варенну. Злополучный корнет Реми; еще злополучнее полковник Дама, с которым в отчаянии едут всего двое верных солдат! Никто больше из этого клермонского эскорта не поехал; из других же эскортов, в других деревнях, не поехало даже и столько; лошади, напуганные набатом и огнями деревень, становятся на дыбы и выделывают курбеты, отказываясь скакать.

А Друэ с клерком Гийомом едут, и народ бежит. Гогела и герцог Шуазель пробираются через болота, скачут вдоль обрывов, по камням в дремучих клермонских лесах, где по дорогам, где без дорог, с проводниками; гусары попадают в расставленные западни и лежат «по три четверти часа в обмороке», а остальные отказываются ехать без них. Что за ночная скачка от Пон-де-Соммевиля! Какие тридцать часов с тех пор, как Шуазель покинул Париж, везя с собой в коляске Леонарда, лакея королевы! Мрачная забота сидит за спиной всадника. Так скачут они вспугивая сову с ее ветвистого гнезда; топчут благоуханные лесные травы, осыпая головки с луговых цветов и устрашая ухо ночи. Но чу! должно быть, около полуночи, так как даже звезды погасли. Доносится звон набата Не из Варенна ли? Гусарский офицер прислушивается, натянув поводья. «Несомненно пожар!» И он мчится еще быстрее, чтобы удостовериться.

Да, благородные друзья, напрягающие свои последние силы, это особый род огня: его трудно погасить. Берлина баронессы Корф, изрядно опередившая всю эту скачущую лавину, прибыла в маленькую, бедную деревушку Варенн около одиннадцати часов вечера, — прибыла полная надежды, несмотря на хриплый шепот незнакомца. Разве мы не миновали уже все города? Обойденный Верден остался справа от нас? Мы едем некоторым образом по следам самого Буйе, и эта самая темная из летних ночей благоприятствует нам. Итак, мы останавливаемся на вершине холма у южного конца деревни, чтобы дожидаться сменных лошадей, которых молодой Буйе, родной сын Буйе, со своим эскортом гусар должен иметь наготове, так как в этой деревне нет почты.

Тревожно, однако, что ни лошадей, ни гусар нет! Ах, ведь полная смена сильных лошадей, принадлежащих герцогу Шуазелю, стоит у сена, на другом конце деревни, за мостом, а мы не знали этого. Конечно, и гусары ждут, но пьют в тавернах. Ведь прошло уже шесть часов с назначенного времени; молодой Буйе, легкомысленный юноша, думая, что дело на эту ночь отложено, вероятно, лег спать. И вот нашим неопытным желтым курьерам приходится блуждать, стуча и спотыкаясь, по спящей большей частью деревне: почтальоны не хотят ни за какие деньги ехать дальше на усталых лошадях, а тем более без отдыха, нет, ни за что! Камердинер в круглой шляпе может убеждать их сколько хочет.

Что за несчастье? «Гридцать пять минут», по часам короля, берлина не движется с места. Круглая шляпа препирается со стоптанными сапогами, усталые лошади тянут пойло из муки с водой; желтые курьеры бродят ощупью и спотыкаются; молодой Буйе все это время спит в верхней части деревни, а прекрасная упряжка Шуазеля стоит у сена. Ничего нельзя поделывать, даже обещая королевскую награду; лошади задумчиво жуют, круглая шляпа бранится, Буйе спит. Но слышите? Во мраке ночи как будто приближаются усталой рысью два всадника. Они приостанавливаются, не будучи замечены, при виде темной массы берлины, около которой слышатся ленивое жеванье и перебранка, а затем поспешно скачут в деревню. Это Друэ и писец Гийом. Они опередили всю скачущую лавину, не убитые, хотя некоторые хвастаются, что гнались за ними. Миссия Друэ также сопряжена с опасностью, но он — старый драгун, и все чувства его работают напряженно.

Деревня Варенн погружена во тьму и сон; это крайне неровная деревня, похожая на опрокинутое седло, как и описывают ее некоторые. Она спит, убаюканная журчанием речки Эры. Тем не менее несколько лучей приветливого света падают еще из таверны «Золотая рука» (Bras d'Or) на отлогую базарную площадь, оттуда доносятся грубые голоса пастухов или крестьян, не успевших еще допить последней кружки; Бонифаций Леблан, в белом фартуке, прислуживает им; картина в общем веселая. В эту таверну «Золотая рука» входит Друэ с весело сверкающими глазами и незаметно подзывает к себе Бонифация: «Camarade, es-tu bon Patriote?» (Хороший ли ты патриот?) «Si, je suis!» — отвечает Бонифаций. «В таком случае», — и Друэ горячо шепчет, что нужно и что слышит один Бонифаций²⁵.

И вот Бонифаций Леблан засуетился, как никогда не суетился для самого веселого пьяницы. Посмотрите, как Друэ и Гийом, проворные старые драгуны, в минуту блокируют внизу мост «мебельной фурой, которую находят здесь» и другими кое-как раздобытыми фурами, повозками, бочками, ящиками и устраивают такое заграждение, что ни одному экипажу не проехать. Как только мост загорожен, становится на часы под аркой ворот в деревню Варенн группа патриотов, состоящая из Друэ, Гийома, Леблана, его брата и одного или двух других ревностных патриотов, разбуженных ими. В общем их около полудюжины, все с национальными мушкетами; они стоят тесной кучкой у самых ворот, дожидаясь, когда подъедет берлина баронессы Корф.

Она подъезжает. «Alte là!» (Стой!) Сверкнули фонари из-под пол камзолов; сильные руки хватают под уздцы лошадей, и два национальных мушкета просовываются в обе дверцы кареты: «Mesdames, ваши паспорта!» Увы, увы! Перед путешественниками прокурор общины Сосс, торговец свечами и бакалейщик, с официальной бакалейной любезностью, и Друэ со злобной логикой и быстрой сметливостью: «Почтенные путешественники, будь они спутники баронессы Корф или лица еще более высокого сана, быть может, соблаговолит отдохнуть у г-на Сосса до рассвета!»

О Людовик, о злополучная Мария Антуанетта, осужденная проводить жизнь с такими людьми! Флегматичный Людовик, неужели ты, до самой глубины своего существа, не более как ленивая, полуодушевленная флегма? Король, полководец, державный франк! Если твоему сердцу дано когда-либо принять какое-нибудь решение, с тех пор как оно начало биться под именем сердца, то пусть это будет теперь или никогда в этом мире. «Нахальные ночные бродяги, а если бы это были особы великого сана? А если бы это был сам король? Разве король не имеет права, которое дано всякому нищему, путешествовать беспрепятственно по своим собственным дорогам? Да, это король, и трепещите, узнав это! Король высказался в этом незначительном деле; и во Франции или под престолом Божьим нет власти, которая осмелилась бы противоречить. Не короля удастся вам остановить под вашими жалкими воротами, а его мертвое тело, и вы ответите за это перед небом и землей. Ко мне, лейб-гвардейцы! Почтальоны, вперед!» Можно пред-

ставить себе бледный испуг обоих мушкетеров Леблан, разинутый рот Друэ и физиономию прокурора Сосса, который растаял бы, как сальная свеча от жара печки. Людовик поехал бы дальше, через несколько шагов разбудил бы молодого Буйе, разбудил бы сменных лошадей и гусар, затем триумфальный въезд с гарцующими воинственными эскортами в Монмеди — и весь ход французской истории был бы иным!

Увы, такой поступок был не в характере этого бедного флегматичного человека. Если бы он был на него способен, то французская история не решалась бы этими варенскими воротами. Нет, король выходит; все выходят из экипажа. Прокурор Сосс предлагает свою руку бакалейщика королеве и сестре Елизавете; Его Величество берет за руки обоих детей. И вот они идут спокойно назад, через Базарную площадь, к дому прокурора Сосса, поднимаются в маленький мезонин, где Его Величество тотчас же требует «прохладительного». Да, требует прохладительного, и ему подают хлеб с сыром и бутылку бургундского; он замечает, что это лучшее бургундское, какое ему когда-либо случилось пить!

Тем временем варенские нотабли и все мужчины, чиновники и не чиновники, поспешно натягивают панталоны, хватаются за свои боевые принадлежности. Полуодетые обыватели выкатывают бочки, тащат на дороги срубленные деревья; гонцы несутся во все четыре стороны, начинает звонить набат, «деревня иллюминируется». Странно видеть, как ловко действуют эти маленькие деревушки, напуганные ночной военной тревогой. Они похожи на внезапно разбуженных маленьких гремучих змей, их колокол гремит и звонит; глаза их горят, как сальные свечи или как у рассерженной гремучей змеи; деревня готовится жалить. Бывший драгун Друэ — наш инженер и генералиссимус — храбр, как Рюи Диаз. Теперь или никогда, патриоты, потому что солдаты идут; избиения австрийцами, избиения аристократами, войны хуже гражданских — все это зависит от вас и от этого часа! Национальная гвардия выстраивается, застегнувшись только наполовину; обыватели, как мы сказали, в одних брюках и нижних юбках выкатывают бочки, тащат всякий скарб, валят срубленные деревья на баррикады; деревня готовится жалить. Значит, неистовства демократии не ограничиваются Парижем? Ах нет, что бы ни говорили придворные; слишком очевидно, что нет. Смерть за короля превратилась в смерть за самого себя, даже против короля, если понадобится.

Итак, наша скачущая и бегущая лавина и сутолока достигли бездны с берлиной Корф во главе и могут низвергнуться в нее, обрушиться в бесконечность! Нужно ли говорить, какой конский топот раздавался в ближайшие шесть часов вдоль и поперек? Топот, звон набата, дикое смятение во всем Клермоне распространяются на три епископства; драгунские и гусарские полки скачут по дорогам и полям; национальные гвардейцы вооружаются и выступают в ночной мрак; гул набата повсюду передает тревогу. В какие-нибудь сорок минут Гогела и Шуазель со своими усталыми гусарами достигают Варенна. Ах, значит, не пожар или пожар, который трудно погасить! Они перескакивают через баррикады, несмотря на сержанта Национальной гвардии, въезжают в деревню, и Шуазель знакомит своих солдат с настоящим положением дел, на что те отрывисто отвечают на своем гортанном наречии: «Der König, die Königin!» На них, кажется, можно положиться. В этом решительном настроении они хотят прежде всего осадить дом прокурора Сосса. Очень хорошо, если бы Друэ не распорядился иначе; в отчаянии он заревел: «Канониры, к пушкам!» Это были два старых полевых орудия с раковинами, заряженных в лучшем случае паутиной; тем не менее грохот их, когда канониры с решительным видом подкатили их, умерил воинственный пыл гусар и заставил их построиться в почтительном отдалении. Остальное сделают кружки вина, передаваемые в их ряд, ибо и германское горло тоже чувствительно. Когда около часа спустя инженер Гогела выходит к солдатам, ему отвечают с пьяной икотой: «Vive la Nation!»

Что тут делать? Гогела, Шуазель, теперь и граф Дама, и все варенские официальные лица находятся при короле, а король не может отдать никакого приказа, ни принять какое-нибудь решение; он сидит, как всегда, словно глина на гончарном круге, напоминая, пожалуй, самую нелепую из наиболее жалких и достойных прощения глиняных фигур, вращающихся ныне под луной. Он хочет завтра утром ехать дальше и взять Национальную гвардию с собой, если позволит Сосс! Несчастливая королева! Двое ее детей лежат на убогой постели, старая мать Сосса на коленях со слезами вслух молит небо благословить их; царственная Мария Антуанетта неподалеку стоит на коленях перед сыном Сосса и его женой среди ящиков со свечами и бочонков с си-

ропом — напрасно! Уже пришло три тысячи национальных гвардейцев; немного погода их будет десять тысяч, набат распространяется, как огонь по сухой степи или еще быстрее.

Молодой Буйе, разбуженный варенским набатом, вскочил на лошадь и помчался к своему отцу. Туда же едет в почти истерическом отчаянии некий съёр Обрио, ординарец Шуазеля; он переплывает темную реку, так как мост блокирован, и так пришпоривает лошадь, словно за ним гонятся по пятам силы ада²⁶. Он проскакивает через деревню Дэн и поднимает там тревогу; в Дэне храбрый капитан Делон и его эскорт в сотню человек седлают лошадей и уезжают. Делон также является в Варенн, оставляет свою сотню снаружи, у баррикады, и предлагает пробиться и освободить короля Людовика, если он прикажет; но, к несчастью, «предстоит горячая работа», поэтому король Людовик «не дает никаких приказаний»²⁷.

Итак, набат звонит, драгуны скачут и, прискакав, ничего не могут сделать: национальные гвардейцы стекаются, подобно слетающимся воронам: Наша взорвавшаяся грозная цепь, падающая лавина или с чем еще можно сравнить эту систему эскортов, разыгралась не на шутку, теперь она действует уже до Стенэ и до самого Буйе²⁸. Храбрый Буйе, сын вихря, сажает полк Руаяль-Аллеман на коней, произносит пламенные слова, зажигающие глаза и сердца, раздает по двадцати пяти луидоров на роту. Скачи, прославленный Руаяль-Аллеман: не на Тюильрийскую атаку и Неккер-Орлеанскую процессию бюстов — сам король в плену, и можно завоевать весь мир! Такова ночь, заслуживающая имени Ночи Шпор.

В шесть часов произошли два события. Адъютант Лафайета Ромеф, скакавший во всю прыть по старой дороге зеленщиков и все ускорявший под конец свой аллюр, по прибытии в Варенн нашел там десять тысяч национальных гвардейцев, яростно, с неистовством панического страха требующих, чтобы король немедленно возвратился в Париж, дабы предотвратить бесконечное кровопролитие. С другой стороны, «англичанин Том», жокей Шуазеля, спешивший с его упряжкой, встретился на высотах Дана с Буйе. Непокколебимое чело Буйе мрачно, как грозная туча; громopodobный топот полка Руаяль-Аллеман несется за ними по пятам. Англичанин Том отвечает как умеет на короткий вопрос, что творится в Варенне, в свою очередь спрашивает, что ему, англичанину Тому, делать с лошадьми Шуазеля и куда ехать. «К черту!» — отвечает громовый голос, затем Буйе, снова пришпорив коня, командует королевским немцам: «Вскачь!» — и с проклятиями исчезает²⁹. Это последние слова нашего храброго Буйе. В виду Варенн, он осаждает коня, созывает офицерский совет и убеждается, что все напрасно. Король Людовик уехал по собственному согласию под повсеместный звон набата, под топот десяти тысяч уже прибывших вооруженных людей и, как говорят, еще шестидесяти тысяч, стекающихся отовсюду. Храбрый Делон, даже без «приказаний», бросился со своей сотней в реку Эру³⁰, переплыл один рукав ее, но не смог переплыть другого и стоял мокрый, запыхавшийся, с трудом переводя дух под градом насмешек десяти тысяч, в то время как новая берлина, громохочая, направлялась в тяжелый, неизбежный путь к Парижу. Значит, нет помощи на земле; нет ее и на небе; в наш век не бывает чудес!

В эту ночь «маркиз де Буйе и еще двадцать один человек из наших перебрались за границу; бернардинские монахи в Орвале, в Люксембурге, дали им ужин и ночлег»³¹. Почти безмолвно едет Буйе с мыслями, которых нельзя передать речью. Он уезжает на север, в неизвестность, в киммерийский мрак: на вест-индские острова, так как с худосочными, безумными эмигрантами сын вихря не может действовать совместно, потом он уедет в Англию на безвременную стоическую смерть; во Францию он больше не вернется. Слава храброму, который в этом ли, в другом ли споре представляет настоящую сущность, членораздельно выражающую часть человеческой доблести, а не хвастливый, бесплотный призрак и болтающую, стрекочущую тень! Буйе — один из немногих роялистских деятелей, о которых можно сказать это.

Так исчезает и храбрый Буйе из канвы нашей истории. История и ткань, слабые, неточные символы той великой таинственной ткани и живой материи, которая называется Французской революцией, в то время действительно ткавшейся «на громко стучащем станке времени». Старые храбрецы с их стремлениями исчезают из этой ткани, и в нее вступают новые — желчные Друэ со своими стремлениями и цветом, как обыкновенно бывает при таком плетении.

Глава восьмая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Итак, наш великий роялистский заговор бегства в Мец приведен в исполнение. Он долгое время находился на заднем плане, как устрашающий королевский ультиматум, и наконец выплеснулся наружу со всеми своими страшными последствиями, поистине не напрасно. Сколько хитро задуманных роялистских заговоров и проектов, один за другим, взорвались, подобно пороховым минам и громовым ударам, и ни один из них не разрешился иначе! Пороховая мина Séance Royale 23 июня 1789 года взорвалась, как мы видели, «через запал», а впоследствии, будучи снова заряженной богом войны Брольи, смела Бастилию. Затем последовал банкет в Опере с потрясанием сабель и пением: «О Ричард, о мой король!», вызвавший при содействии голода восстания женщин и Афины Палладу в лице девицы Теруань. Храбрость не всегда полезна, и счастье никогда не улыбалось хвастовству. Вооруженная кампания Буйе кончилась так же, как и заговор Брольи. Один человек за другим приносят себя в жертву этому делу, только для того чтобы содействовать его скорейшей гибели: на нем словно лежит проклятие, от него отреклись небо и земля.

Год назад, шестого октября, король Людовик, эскортируемый девицей Теруань и двумя тысячами человек, совершал королевский въезд в Париж, какого еще никогда не видавали; мы предсказывали ему тогда еще два таких въезда, и, следовательно, после этого бегства в Мец предстоит еще один. Теруань не сопровождает его на этот раз, и Мирабо «не сидит в одном из сопровождающих экипажей». Мирабо лежит мертвый в Пантеоне великих людей. Теруань сидит в мрачной австрийской тюрьме, после того как поехала в Люттих по своим делам и там была схвачена. Она лежит в своей тюрьме, слушая хриплый рокот Дуная и вспоминающая угасший свет своих патриотических ужинов. Она будет лично говорить с императором и вернется во Францию. А Франция лежит — как? Быстролетное время сметает великое и малое, и в два года изменяется многое.

Но во всяком случае сейчас, говорим мы, происходит второй позорный въезд в Париж, хотя и в сильно измененном виде, но также на глазах сотен тысяч свидетелей. Терпение, парижские патриоты, королевская берлина возвращается! Но возвратится она не ранее субботы, потому что едет она медленными перегонами, среди шумно стекающегося моря национальных гвардейцев, числом до шестидесяти тысяч, среди смутения всего народа. Три комиссара Национального собрания — знаменитый Барнав, знаменитый Петион, всеми уважаемый Латур-Мобур — выехали к ней навстречу; из них двое первых едут все время в самой берлине, рядом с их величествами, а Латур в качестве столь почтенного человека, про которого все говорят только хорошее, может ехать и в арьергарде, с г-жой Турзель и субретками.

В субботу, около семи часов вечера, в Париже опять толпятся сотни тысяч людей, но теперь народ не пляшет трехцветной веселой пляски надежды, не пляшет еще и неистовой пляски ненависти и мщения, а молча выжидает со смутными догадками во взглядах и по преимуществу с холодным любопытством. Сент-Антуанский плакат возвестил утром, что всякий, кто оскорбит Людовика, «будет отодран шпицрутенами, а кто станет рукоплескать ему, будет повешен». Вот наконец эта изумительная новая берлина, окруженная синим морем национальных гвардейцев с поднятыми штыками, медленно текущим, неся ее, среди безмолвного сборища сотен тысяч голов! Три желтых курьера, связанные веревками, сидят наверху; Петион, Барнав, их величества с сестрой Елизаветой и Детьми Франции сидят в берлине.

Смущенная улыбка или облако тоскливой Досады появляются на широком, флегматичном лице Его Величества, который беспрестанно заявляет различным официальным лицам то, что и без того очевидно: «Eh bien, me voilà» (Ну, вот и я), и то, что менее очевидно: «Уверю вас, я не собирался пересекать границу», и так далее — речи, естественные для этого бедного коронованного человека, но которых приличие требовало бы избежать. Ее Величество безмолвствует, взгляд ее полон печали и презрения, естественных для этой царственной женщины. Так, громыхая, ползет позорное королевское шествие по многим улицам, среди молча глазающего народа, похожее, по мнению Мерсье³², на какую-нибудь процессию Roi de Basoche или же на процессию короля Криспена с его герцогами сапожного цеха и королевскими гербами кожевенного производства. С той только разницей, что эта процессия не комична; о нет, связанные курьеры и висящий над нею приговор делают ее трагикомичной; она крайне фантастична, но в

то же время и плачевно реальна. Это самое жалкое *flebile ludibrium* гаерской трагедии! Процессия тащится с весьма непредставительной толпой через многие улицы в этот пышный летний вечер, потом заворачивает и наконец скрывается от глаз зрителей в Тюильрийском дворце, идя навстречу своему приговору, медленной пытке, *reine forte et dure*.

Правда, чернь захватывает трех связанных веревками желтых курьеров и хочет убить по крайней мере их. Но наше верховное Собрание, заседающее в этот великий момент, высылает на помощь депутацию, и все успокаивается. Барнав, «весь в пыли», уже там, в национальном зале, делает короткое сдержанное сообщение. Действительно, нужно сказать, что в течение всего путешествия Барнав был очень деликатен, полон сочувствия и завоевал доверие королевы, которой благородный инстинкт всегда подсказывал, кому можно доверять. Совсем иначе вел себя тяжеловесный Петтион, который, если верить г-же Кампан, ел свой завтрак, бесцеремонно наливая в стакан вино в королевской берлине, выбрасывал цыплячьи косточки мимо самого носа их величеств и на слова короля: «Франция не может быть республикой» — отвечал: «Нет, она еще не созрела». Барнав отныне советник королевы, но только советы теперь уже бесполезны, и Ее Величество удивляет г-жу Кампан, высказывая почти уважение к Барнаву и говоря, что в день расплаты и королевского триумфа Барнав не будет казнен³³.

В понедельник ночью король бежал, в субботу вечером он возвращается, и как много в течение одной короткой недели сделано им для королевской власти! Гаерская трагедия скрылась в Тюильрийском дворце в ожидании «тяжелого и жестокого наказания». Королевскую чету сторожат, связывают, принижают, как не принижали ни одного короля. Ее сторожат даже в спальнях и самых интимных апартаментах, и она должна спать с отворенными дверями; синий национальный Аргус стоит на страже, устремив взор на занавеси королевы; даже раз, когда ей не спится, он предлагает посидеть у ее изголовья, и поболтать с нею³⁴.

Глава девятая

МЕТКАЯ ПАЛЬБА

Ввиду всего этого возникает в высшей степени настоятельный вопрос: что же теперь делать с королем? Низложить его! — решительно отвечают Робеспьер и немногие идущие напролом. В самом деле, что другое, более разумное, можно сделать с королем, который убегает, которого нужно караулить в самой его спальне, чтобы он оставался и управлял вами? Если бы Филипп Орлеанский не был *caput mortuum**! Но о нем, умершем, никто теперь и не мечтает. Не свергайте короля; объявите его неприкосновенным, скажите, что он был увлечен чарами *enlevé*, восстановите его власть, скольких бы софизмов и измышлений это ни стоило! — горячо кричат конституционные роялисты всякого сорта, а равно и чистые роялисты, которые отвечают с подавляемой страхом злобой и еще большей страстностью. То же самое говорят даже Барнав, оба Ламета и их сторонники. Они настаивают на этом со всей силой убеждения, напуганные ведомой бездной, на край которой они сами привели себя и в которую готовы теперь упасть.

* Речь идет об эпохе регентства — с 1715 по 1723 г.

С помощью напряженных усилий и ухищрений принимается последнее решение, и оно должно быть проведено сильной рукой, если не ясной логикой. Жертвуя всей своей с трудом приобретенной популярностью, этот знаменитый триумвират, говорит Тулонжон, «снова поднимает трон, который он так старался ниспровергнуть, что равносильно тому, как если бы кто-нибудь поставил пирамиду на ее вершину», чтобы она стояла так, пока ее поддерживают.

Несчастливая Франция, несчастная в своем короле, королеве и конституции; неизвестно даже, с чем несчастнее! В чем же заключалась задача нашей столь славной Французской революции, как не в том, чтобы, когда обман и заблуждение, долго убивавшие душу, начали убивать и тело и дошли до предела банкротства и истощения, великий народ наконец поднялся и единогласно, во имя Всевышнего, сказал: «Обмана больше не будет»? Разве столько страданий и кровавых ужасов, перенесенных и еще предстоящих в течение грядущих печальных столетий, не составляют тяжелой цены, которая уплачена и которую еще придется уплачивать именно за это — за окончательное уничтожение обмана среди людей? А теперь, о триумвират Барнава, неу-

жели же такое страшное напряжение должно разрешиться таким двойным экстрактом заблуждения и обмана, даже обмана! Нет, господа члены популярного триумvirата, никогда! Но в конце концов что же могут сделать бедные популярные триумvirаты и грешные высокие сенаторы? Они могут, если истина чересчур уж страшна, спрятать голову, словно страусы, под защиту первой попавшейся иллюзии и так дожидаться à posteriori.

Читатели, видевшие, как в Ночь Шпор скакали весь Клермон и три епархии, как дилижансы превращали всю Францию в испуганного и страшного индийского петуха, видевшие город Нант в одной рубашке, могут представить себе, сколько усилий понадобилось, чтобы уладить такое дело. Робеспьер на крайнем левом фланге, пожалуй, с Петионом и тощим стариком Гупийем, так как и самый триумvirат распался, кричат до хрипоты, но заглушаются конституционными воплями. А дебаты и рассуждения целой нации, крики во всех газетах «за» и «против», раскатистый голос Дантона, гиперпионовы стрелы Камиля, удары непримиримого дикобраза Марата — подумать только обо всем этом!

Как мы часто предсказывали, конституционалисты в массе отпадают теперь от Якобинского клуба и становятся фейянами: они угрожают клубу уничтожением, после того как почти все пользующиеся весом и почетом удалились из него. Петиции за петициями, присылаемые по почте или приносимые депутациями, просят о суде над королем и о *déchéance*, т. е. о лишении его трона, или по меньшей мере просят о передаче дела в восемьдесят три департамента Франции. Пылкая марсельская депутация заявляет, между прочим: «Наши предки фокейцы бросили в бухту железную балку, когда впервые высадились здесь на берег, и скорее эта балка поплывет по волнам Средиземного моря, чем мы согласимся быть рабами». Так продолжается в течение четырех недель или более, пока дело еще не решено; эмиграция с удвоенной поспешностью бежит через границы³⁵, Франция кипит, возбужденная вопросом и задачей: что делать с беглым наследственным представителем?

Наконец в пятницу 15 июля 1791 года Национальное собрание решает вопрос в известном нам отрицательном смысле. Вслед за тем театры закрываются, с тумб и переносных стульев начинают изливаться речи, муниципальные плакаты на стенах, напечатанные огромными буквами, и прокламации оглашаются при звуке труб, «призывают народ к спокойствию», но с весьма слабым результатом. И вот, в воскресенье 17-го происходит нечто достойное воспоминания. Свиток петиции, в составлении которой принимали участие Бриссо, Дантон, кордельеры и якобинцы — так как дело это до бесконечности разбиралось и пережевывалось и многие приложили к нему руку, — свиток этот лежит теперь на виду, на деревянном срубе Алтаря Отечества для подписей. Не работающий в этот день Париж, мужчины и женщины, целый день стекается сюда подписать или посмотреть. Око истории не без интереса может видеть здесь «утром»³⁶ и нашу красавицу Ролан. Через несколько недель прелестная патриотка покинет Париж, хотя, быть может, только для того, чтобы вернуться.

Но частью из-за досады обманутых патриотов, частью из-за закрытых театров и прокламаций, продолжающих оглашаться при звуке труб, умы в этот день очень возбуждены. Вдобавок происходит случай, похожий отчасти на фарс, отчасти на трагедию и достаточно загадочный, для того чтобы еще более возбудить всех. Рано утром один патриот (а некоторые говорят — патриотка; истина так и не открыта), стоя на твердом дощатом полу Алтаря Отечества, чувствует вдруг с неописуемым изумлением, что его подошва просверливается снизу. Он быстро, как наэлектризованный, отдергивает подошву и ногу вверх и в ту же минуту успевает заметить кончик шила или гвоздя, просверливавшего доску и быстро отдернутого назад! Тайна, может быть, измена? Доска порывисто срывается — и что же? Действительно, тайна, которая не объяснится вполне до конца мира. Двое мужчин, по виду из простонародья, один с деревянной ногой и с шилом в руке, лежат под полом, спрятавшись. По-видимому, они забрались туда ночью; при них оказался запас провизии, но «бочки с порохом» не оказалось. Лица их бледны, они притворяются спавшими и дают о себе самые сбивчивые показания. «Просто любопытство; они сверлили, чтобы посмотреть в дырку, может быть, «с вожделием», нельзя ли увидеть что-нибудь с этой новой точки наблюдения» — мало назидательного, как можно себе представить! Но поистине, на какие глупейшие вещи могут соблазнить, человека тупоумие, сладострастие, случайность и дьявол, если из полумиллиона праздных людских голов выберут специаль-
но двух!³⁷

Достоверно, что два субъекта с шилом налицо. Злосчастная пара! Ибо результатом всего этого является то, что патриоты в своей нервной раздражительности, возбуждая сами себя предположениями, подозрениями и слухами, допрашивают снова и снова обоих растерявшихся субъектов, тащат их в ближайший полицейский участок, потом вытаскивают оттуда, одна группа вырывает их у другой, пока наконец, в крайнем напряжении нервной раздражительности, патриоты не вешают их как шпионов съёра Мотье. И жизнь, и тайна их выданы из них навеки! Увы, навеки! Или наступит день, когда и эти два, по-видимому, ничтожных существа, но все же бывшие людьми сделаются исторической загадкой, и о них, как о Железной Маске (тоже человеческое существо, и, очевидно, ничего более), будут написаны целые диссертации? Для нас достоверно одно: что у этих людей было шило, провизия и деревянная нога и что они умерли на фонаре как злополучнейшие глупцы.

Таким образом, подписка продолжается при всевозрастающем возбуждении. Подписался и Шометт «беглым, смелым, несколько косым почерком» (подлинная бумага до сих пор сохранилась у антиквариев)³⁸, и Эбер, ненавистный «Père Duchesne», «как будто чернильный паук упал на бумагу»; подписался и конный пристав Майяр, и много крестов поставлено не умеющими писать. Париж стремится по тысячам своих улиц на Марсово поле и обратно в крайнем возбуждении, вокруг Алтаря Отечества теснится толпа подписывающихся патриотов и патриотов, тридцать рядов скамей и все внутреннее пространство амфитеатра заполнены зрителями, подходящими и уходящими, постоянно извергающимся водоворотом мужчин и женщин в праздничных одеждах. Всё это видят некий конституционалист Мотье и Байи, удлиненное лицо которого при этом зрелище становится еще длиннее. Они не предвидят ничего хорошего; может быть, Déchéance и в конце концов низложение короля! Прекратите же это, вы, патриоты-конституционалисты! Ведь и огонь можно потушить, но только вначале.

Прекратить, да, но как? Разве первый свободный народ в мире не имеет права подавать петиции? К счастью или к несчастью, есть и доказательство мятежа: двое субъектов повешены на фонаре. Доказательство, о предатель Мотье! Не были ли эти два субъекта посланы сюда тобой, чтоб быть повешенными и послужить предлогом для твоего кровавого Drapeau rouge? Вопрос этот когда-нибудь будет поставлен многими патриотами, и они ответят на него, укрепившись в сверхъестественном подозрении, утвердительно.

Как бы то ни было, около половины восьмого вечера простым глазом можно видеть следующее: съёр Мотье с муниципальными советниками в шарфах, с синими национальными патрулями, выступающими рядами под бой барабанов, решительно заворачивают на Марсово поле; мэр Байи с вытянутым лицом, словно вынуждаемый печальным долгом, несет Drapeau rouge. При виде этого символа военного закона из сотни тысяч глоток поднимается в дискантовых и басовых нотах вой злобных насмешек; но кровавый флаг тем не менее, хлопая и трепеща, приближается со стороны улицы Гро-Кайю и подступает к Алтарю Отечества. Оно движется, сопровождаемый все усиливающимся диким ревом, проклятиями, бранью, бросанием камней и нечистот (saxa et faeces) и треском пистолетного выстрела, — все это заключается залпом патрулей, наведенными ружьями и целым рядом залпов. Как раз через год и три дня наше величественное поле Федерации обогрется, таким образом, французской кровью*.

* Расстрел 17 июля 1791 г. на Марсовом поле имел большое политическое значение. Впервые с началом революции одна часть бывшего третьего сословия с оружием в руках выступила против другой. Крупная буржуазия силой оружия пыталась подавить своего недавнего союзника — народ. Это был открытый раскол третьего сословия. Правобуржуазное большинство Учредительного собрания перешло в наступление против демократии.

«По несчастью, около двенадцати убитых», — сообщает Байи, считающий единицами, но патриоты считают десятками и даже сотнями. Это не забудется и не простится. Патриоты разбегаются с воплями, проклятиями. Камиль Демулен перестает на сегодня писать в газетах; великий Дантон с Камилем и Фрероном летят точно на крыльях, спасая свою жизнь; Марат зарывается глубоко в землю и молчит. Патрули торжествуют еще раз, но это последний.

Вот как было дело с бегством короля в Варенн. Вот каким образом трон был опрокинут, а затем победоносно восстановлен, поставленный, как пирамида, на вершину, и так он будет стоять, куда его можно будет поддерживать.

Книга V

ПЕРВЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Глава первая

ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ

Почему в последние дни сентября, когда осеннее равноденствие миновало и серый сентябрь сменяется бурным октябрём, иллюминированы Елисейские поля, почему танцует и зажигает фейерверки Париж? Потому что эти последние дни сентября торжественны; Париж может танцевать и весь мир с ним: здание Конституции завершено! Завершено и даже проверено с целью убедиться, что в нем нет никаких изъянов; оно торжественно передается Его Величеству и торжественно им принимается четырнадцатого числа этого месяца под гром пушечных салютов. И теперь этой иллюминацией, ликованием, танцами и фейерверками мы обновляем новое социальное здание и впервые разводим в нем огонь и дым во имя надежды.

Пересмотр, особенно при троне, опирающемся не на основание, а на вершину пирамиды, представлял трудную, щекотливую задачу. Путем подпорок и креплений, так теперь необходимых, кое-что удалось сделать, но, все же, как опасаются, этого недостаточно. Кающийся триумвират Барнава*, наши Рабо, Дюпор, Туре, а также все конституционные депутаты напрягли все свои силы, но крайне левые шумели, народ, полный подозрительности, бурно настаивал на завершении дела, а лояльная правая сидела все время слегка раздраженная, как будто дуясь и капризная, к тому же она не способна была бы помочь, если б даже и хотела. 290 депутатов торжественно отделились еще раньше и вышли, отрясая прах со своих ног. Итак, наша злополучная лояльная правая дошла до такого раздражения и отчаяния, что готова была радоваться ухудшению и без того плохого в надежде, что это скорее положит ему конец и вернет хорошее¹.

* Вожди фейянов Барнав, Дюпор, Ламет, как ранее Мирабо, вступили в тайную связь с двором.

Однако, оказывается, кое-какие маленькие подпорки, где только возможно, поставлены. Цивильный лист и личная касса короля были исстари хорошо обеспечены. Королевская конституционная гвардия, насчитывающая 1800 преданных солдат из восьмидесяти трех департаментов, под командой преданного герцога Бриссака, не считая надежных швейцарцев, сама по себе уже представляет нечто. Старая верная лейб-гвардия действительно распущена и официально и фактически, и большая ее часть отправилась в Кобленц. Но теперь должны получить отставку и эти грубые санкюлоты Gardes Françaises, или гренадеры центра; вскоре и они опубликуют в газетах свой прощальный привет, не лишенный хриплого пафоса: «Желаем всем аристократам быть похороненными в Париже, в чем нам отказано!»² Они уезжают, эти первые солдаты революции; почти год судьба их окутана туманом, пока их снова не переформируют, переименуют и пошлют сражаться против австрийцев; затем история потеряет их из виду. Это был весьма примечательный корпус, занимающий свое место в мировой истории, хотя для нас, согласно тому, как пишется история, они всего лишь безымянная масса людей, косматые гренадеры в кожаных поясах. И все же невольно спрашиваешь себя: какие аргонавты, какие спартанцы выполнили такую работу? Подумайте только об их судьбе с того майского утра, около трех лет назад, когда они безучастно тащили д'Эпремениля на остров Калипсо, и с того июльского вечера, около двух лет назад, когда они уже не безучастно, а с проклятиями и гневом, нахмутив брови, дали залп по полку принца де Ламбеска под командой Безанваля. История шлет им прощальный немой привет.

Таким образом, державная власть дышит свободнее после того, как эти санкюлотские сторожевые собаки, скорее похожие на волков, посажены на привязь и удалены из Тюильри. Державная власть охраняется теперь 1800 верными подданными, которых под различными предложениями можно будет увеличить постепенно до шести тысяч и которые не будут препятствовать путешествию в Сен-Клу. Прискорбная вареннская трещина замазана и даже спаяна кровью на Марсовом поле за эти два с лишним месяца; и действительно, Его Величество, как и раньше, пользуется своими привилегиями, имеет право «выбора резиденции», хотя не без оснований «предпочитает оставаться в Париже». Бедный король, бедный Париж, вы оба должны маскироваться

сознательно, облекаться в видимость правдоподобия и фальшь, должны играть друг перед другом вашу прискорбную трагикомедию, будучи с ней связаны и в общем все еще надеясь, несмотря на отсутствие всякой надежды,

Да, но теперь, когда Его Величество принял конституцию под грохот пушечных салютов, кто же перестал бы надеяться? Наш добрый король был введен в заблуждение, но он желал добра. Лафайет ходатайствовал об амнистии, о всеобщем прощении и забвении революционных прегрешений, и отныне, несомненно, славная революция, очищенная от всякого мусора, завершена! Довольно странно и в некоторых отношениях трогательно, что древний возглас «Vive le Roi!» раздаётся снова вокруг короля Людовика, наследственного представителя Франции. Их величества едут в Оперу, раздают деньги бедным; даже королева теперь, после принятия конституции, слышит одобрительные голоса. Прошлое да будет прошлым! Теперь должна начаться новая эра! Королевский экипаж медленно движется по обрамленным цветными лампочками Елисейским Полям, всюду встречаемый приветствиями веселящейся толпы. Людовик смотрит преимущественно на пестрые лампочки и веселые группы людей и в эту минуту очень доволен. На лице Ее Величества «под благосклонной, приветливой улыбкой можно прочесть глубокую грусть»³ Блистающие храбростью и остроумием личности прогуливаются тут же и наблюдают; так, например, делает г-жа де Сталь, опираясь, вероятно, на руку своего Нарбонна. Она встречает здесь депутатов, которые создали эту конституцию и теперь гуляют, обмениваясь замечаниями и размышляя о том, устоит ли она. Однако, когда мелодичные струны скрипки повсюду звучат под ритм легких капризных ног, а длинные ряды фонариков изливают свои цветные лучи и глашатаи с медными легкими, проталкиваясь сквозь толпу, режут: «Grande acception — constitution monarchique» (Великое решение — принятие монархической конституции), сынам Адама, казалось бы, вполне можно надеяться. Разве Лафайет, Барнав и все конституционалисты не подставили любезно свои плечи под опрокинутую пирамиду трона? Фейяны, к которым принадлежит почти весь цвет конституционной Франции, ораторствуют каждый вечер со своих трибун, ведут переписку через все почтовые отделения, доносят на беспокойных якобинцев, твердо веря, что их популярность скоро пройдет. Много неопределенно, многое сомнительно; но если наследственный представитель будет действовать умно и удачно, то разве нельзя, при сангвиническом галльском темпераменте надеяться, что плохо ли, хорошо ли все уладится и то, чего еще недостает, постепенно будет приобретено и приложено к делу.

Впрочем, повторяем, при созидании здания конституции, особенно при проверке основ его, не было забыто ничего, что могло бы придать ему новую силу, укрепить его и сделать прочным, даже вечным. Двухгодичный парламент под названием Законодательного собрания (*Assemblée Législative*)* с 745 членами, выбранными на разумных основаниях исключительно «активными гражданами» и даже путем избрания из избирателей наиболее активных, со всеми привилегиями парламента, будет по собственному усмотрению собираться и сам себя распускать в случае надобности. Он будет наблюдать за администрацией и властями, обсуждать и определять бюджет и всегда будет исполнять функции великого конституционного совета, олицетворяющего собой по велению неба всеобщую мудрость и национальное красноречие. Этот первый двухгодичный парламент, выборы в который происходили уже с начала августа, теперь почти избран. Он даже большей частью уже в Париже; депутаты его съезжаются постепенно, с чувством приветствия своего почтенного родителя — ныне умирающее Учредительное собрание, и сидят в галереях, почтительно прислушиваясь, готовые приступить к делу сами, лишь только освободится место.

* 1 октября 1791 года в Париже начало работу Законодательное собрание, избранное на основе цензовой избирательной системы активными гражданами Франции. Оно состояло в своем подавляющем большинстве из представителей буржуазной интеллигенции. Фейяны получили в Собрании более 250 мест. Около 350 депутатов составляла самая многочисленная, но неустойчивая группировка депутатов, формально не примыкавшая ни к одной из борющихся фракций. Большинство фейянов и центра противостояло левое крыло, насчитывавшее 136 депутатов.

Ну а как же относительно изменений в самой конституции? Очевидно, это один из наиболее щекотливых пунктов, так как изменения недопустимы для Законодательного собрания, или обыкновенного двухгодичного парламента, а возможны только для воскрешенного Учредительного собрания, или Национального Конвента. Покойное верховное Национальное собрание обсуждало этот вопрос целых четыре дня. Одни находили, что изменения, или по крайней мере

пересмотр и новое утверждение, допустимы через тридцать лет; другие шли еще дальше, уменьшая срок до двадцати и даже пятнадцати лет. Верховное Собрание остановилось сначала на тридцати годах, но по более зрелому размышлению взяло свое решение обратно и не назначило никакого срока, а только наметило некоторые смутные контуры определяющих этот момент обстоятельств и в общем оставило вопрос в подвешенном состоянии⁴. Не подлежит сомнению, что Национальный Конвент может собраться еще в течение тридцати лет, хотя можно надеяться, что этого не случится и обыкновенных законодательных собраний и двухгодичных парламентов с их ограниченной компетенцией и, быть может, постепенными, спокойными усовершенствованиями будет достаточно на целые поколения или даже на неисчислимые времена.

Далее, нужно заметить, что ни один из членов Учредительного собрания не был или не мог быть избран в новое Законодательное собрание. Эти составители законов мыслили так благородно, кричат некоторые, что, подобно Солону, изгнали даже самих себя! Они так недоверчивы к людям, кричат другие, что каждый косится на другого и боится дать другому превзойти себя в самоотвержении! Во всяком случае они неблагоразумны, отвечают все практичные люди. Но обратим внимание еще на одно самоотверженное постановление: ни один из них не может быть министром короля или принять хотя бы самую незначительную придворную должность до истечения четырех или по крайней мере (после долгих прений и пересмотров) до истечения двух лет! Так предлагает неподкупный Робеспьер — ему лично это великодушие недорого стоит, и никто не смеет дать ему превзойти себя. Это был такой закон, в свое время не лишней, который привел Мирабо в сады Сен-Клу под покровом ночи к беседе богов и который помешал многому. К счастью и к несчастью, теперь нет Мирабо, чтобы мешать.

Великодушная амнистия, предложенная Лафайетом, несомненно, приветствуется всеми справедливыми сердцами. Приветствуется также и с трудом достигнутое единение с Авиньонном, стоившее «тридцати бурных заседаний» и многого другого, да будет оно по крайней мере счастливым! Решено поставить статую Руссо, добродетельного Жан Жака, евангелиста «*Contrat Social*». Не забыты ни Друэ из Варенна, ни достойный Латай, хозяин старого всемирно известного Зала для игры в мяч в Версале; каждый из них получает почетный отзыв и соответствующее денежное вознаграждение⁵. После того как все так мирно улажено и депутации, посольства и шумные королевские и всякие другие церемонии окончены, после того как король произнес несколько благосклонных слов о мире и спокойствии, на что члены Собрания растроганно, даже со слезами ответили: «*Oui! Oui!*», поднимается председатель Туре, известный по законодательным реформам, и громким голосом произносит следующие достопамятные заключительные слова: «Национальное Учредительное собрание объявляет, что оно выполнило свою миссию и заседания его закрываются». Неподкупного Робеспьера и добродетельного Петюна народ, под громогласные виваты, несет домой на руках. Остальные спокойно расходятся по своим квартирам. Это последний день сентября 1791 года, завтра утром новое Законодательное собрание приступит к своим занятиям.

Так, при блеске иллюминированных улиц и Елисейских Полей, треске фейерверков и в веселых развлечениях, исчезло первое Национальное собрание, растворившись, так сказать, в пустоте времени, и более не существует. Учредительное собрание ушло, но плоды его деятельности остались; оно исчезло, как все собрания людей, как исчезает и сам человек: все имеет свое начало и свой конец. Подобно призрачной реальности, рожденной временем, оно, как и все мы, уплывает по реке времени все дальше назад, но надолго сохранится в памяти людей. Много бывало на нашей планете странных собраний: синедрионы*, тред-юнионы, амфиктионионы**, вселенские соборы, парламенты и конгрессы; они собирались и расходились, но более странного сборища, чем это верховное Учредительное собрание, или с более своеобразной задачей, пожалуй, не собиралось никогда. Если взглянуть на него с расстояния, оно покажется чудом. 1200 человек с евангелием Жан Жака Руссо в кармане собираются от имени миллионов в полном убеждении, что они «создадут конституцию»; такое зрелище — высший и главный продукт XVIII столетия — нашему миру суждено видеть лишь однажды. Время богато чудесами, богато всякими несообразностями, и замечено, что ни оно само, ни одно из его евангелий не повторяются, а всего менее может повториться евангелие Жан Жака. Некогда оно было справедливо и необходимо, раз таковой стала вера людей; но довольно и этого одного раза.

* Синедрион — высшее государственное учреждение и судилище древних евреев в Иерусалиме.

****** Амфикимония — в Древней Греции религиозно-политический союз племен и городов с общим святилищем, казней, правилами ведения войны.

Эти 1200 евангелистов Жан Жака составили конституцию, и небезуспешно. Около двадцати девяти месяцев сидели они над нею с переменным успехом, с разными способностями, но всегда, смеем сказать, в положении везомого на колеснице Каррочо, чудесного знамени Восстания, на которое всякий может взирать с надеждой на исцеление. Они видели многое: видели пушки, направленные на них, затем внезапно вследствие вмешательства толпы отодвинутые назад, видели бога войны Брольи, исчезающего под грохот грома, не им самим произведенного, среди поднявшейся пыли рухнувшей Бастилии и старой, феодальной Франции. Они претерпели кое-что: королевское заседание, стояние под дождем, клятву в Зале для игры в мяч, ночь под Духов день, восстание женщин. Но ведь и сделали кое-что. Они выработали конституцию и свершили в то же время много других дел: приняли в течение этих двадцати девяти месяцев «две тысячи пятьсот решений», что в среднем составляет по три в день, включая и воскресенья! Как мы видим, краткость иногда возможна; разве Моро де Сен-Мери не пришлось отдать три тысячи приказов, прежде чем подняться со своего места? В этих людях было мужество (или достоинство) и некоторого рода вера — хотя бы в то, что паутина не сукно, и в то, что конституция могла быть выработана. Паутины и химеры должны были исчезнуть, потому что есть реальность. Прочь, невыносимые, убивавшие душу, а теперь убивающие и тело формулы, прочь во имя неба и земли! Время, как мы сказали, вынесло вперед этих 1200 человек; вечность была впереди их и вечность — позади; они действовали, подобно всем нам, при слиянии двух вечностей, делая то, что им было предназначено. Не говорите, что сделанное ими — ничто. Сознательно они сделали кое-что, бессознательно — весьма многое! Они имели своих гигантов и своих пигмеев, совершили свое доброе и свое злое дело; они ушли и более не вернуться. Как же в таком случае не проводить их с благословением и прощальным приветом?

На почтовых лошадях, в дилижансах, верхом и пешком они разбрелись на все четыре стороны. Не малое их число перешло границы, чтобы влиться в ряды армии в Кобленце. Туда же отправился, между прочим, и Мори, но впоследствии удалился в Рим, чтобы облечься там в кардинальский плюш; этот любимчик (последний отпрыск?) Дюбарри чувствовал себя во лжи так же свободно, как и в платье. Талейран-Перигор, отлученный конституционный епископ, направляется в Лондон в качестве королевского посланника невзирая на закон о самоотречении, причем бойкий молодой маркиз Шовелен* играет при нем роль ширмы. В Лондоне же встречаем и добродетельного Петиона, который на торжественных обедах в ресторанах выслушивает речи и сам произносит их, чокаясь бокалами с членами конституционных реформистских клубов. Неподкупный Робеспьер удаляется на некоторое время в родной Аррас, чтобы провести там семь коротких недель, последних определенных ему в этом мире для отдыха. Прокурор. Парижского суда, признанный верховный жрец якобинизма, он является барометром неподкупного, сухого патриотизма; его ограниченная, настойчивая манера нравится всем ограниченным людям: ведь ясно, что этот человек идет в гору. Он продает свое маленькое наследство в Аррасе и в сопровождении брата и сестры возвращается в Париж на старую квартиру у столяра на улице Сент-Оноре, рассчитывая на скромное, но обеспеченное будущее для себя и своей семьи. О робко решительный, неподкупный, зеленый человек, знаешь ли ты, что сулит тебе будущее!

Лафайет, со своей стороны, слагает с себя командование, чтобы, подобно Цинциннату**, возвратиться к своему очагу, но вскоре он снова покинет их. Однако отныне наша Национальная гвардия будет иметь уже не одного командира: все полковники будут командовать по очереди, каждый по месяцу. Других же депутатов г-жа де Сталь видела «расхаживающими с озабоченным видом», может быть не знающих, что делать. Некоторые, подобно Барнаву, Ламетам и Дюпору, останутся в Париже для наблюдения за новым двухгодичным Законодательным собранием, первым парламентом, чтобы, если придется научить его ходить, а двор — направлять его шаги.

* Шовелен — посланник Франции в Англии.

** Цинциннат — римский консул времен Республики, уйдя в отставку, вернулся на свою ферму в Сабинах, где занялся хлебопашеством. Имя его стало символом республиканской добродетели.

Таковы эти люди, расхаживающие с озабоченным видом и едущие на почтовых лошадях и в дилижансах, куда зовет рок. Гигант Мирабо спит в Пантеоне великих людей, а Франция? а Европа? Герольды с медными легкими, разъезжая в веселой толпе, возглашают: «Grand acceptation — Constitution monarchique». Завтрашний день, внук вчерашнего, должен стать, если сможет, похожим на своего отца — день сегодняшней. Наше новое двухгодичное Законодательное собрание вступает в свои права 1 октября 1791 года.

Глава вторая

КНИГА ЗАКОНОВ

Если при настоящем отдалении времени и пространства даже само верховное Учредительное собрание, на которое были устремлены взоры всей Вселенной, могло вызвать у нас сравнительно слабое внимание, то насколько менее способно заинтересовать нас это бедное Законодательное собрание! Оно имеет свои правую и левую стороны, одну менее, другую более патриотическую; аристократов здесь уже нет более; оно волнуется и говорит, слушает доклады, читает предложения и законы: исполняет в продолжение сезона свои функции, но история Франции, как оказывается, отражается в нем редко или почти никогда. Злосчастное Законодательное собрание! Какое отношение может иметь к нему история? Разве только пролить слезу над ним, почти в молчании. Первый из двухгодичных парламентов, за которым — если бы бу-мажная конституция и часто повторяемые национальные Клятвы могли что-нибудь значить, — за которым неразрывно последовали бы другие, плачевно исчез еще До истечения первого года, и за ним не было второго, ему подобного. Увы! Наши двухгодичные парламенты в их бесконечной, непрерывной последовательности и все это возведенное на трескучих федеративных клятвах конституционное здание, последний камень на вершину которого был принесен с танцами и разноцветными огнями, — все это разлетелось на куски, подобно хрупким черепкам, при столкновении событий и уже по истечении коротких одиннадцати месяцев находилось в преддверии ада, неподалеку от луны, с духами других химер. Пусть они там и остаются в меланхолическом покое до тех пор, пока не понадобятся нам для каких-нибудь особо редких целей.

Вообще, как мало знают себя человек или собрание людей! Эзопова муха сидела на колесе повозки и восклицала: «Какую пыль я поднимаю!» А великие правители, одетые в пурпур, со скипетрами и другими регалиями часто находятся во власти своих камер-лакеев, капризов жен и детей или — в конституционных странах — во власти статей ловких журналистов. Не говори: я этот или тот, и я делаю это или то! Ведь ты не знаешь этого: ты знаешь только название, под которым это до сих пор делалось. Облаченный в пурпур Навуходоносор* радуется, чувствуя себя действительно императором великого воздвигнутого им Вавилона, а на самом деле он — невиданное дотолу двуногое-четвероногое накануне своего семилетнего травоядения! Эти 745 избранников народа не сомневались, что они представляют первый двухгодичный парламент и призваны управлять Францией с помощью парламентского красноречия. А что они в сущности? И для чего собрались? Для неразумных и праздных дел.

* Навуходоносор II — царь Вавилонии в 605— 562 гг. до н. э.

Многие весьма сожалеют, что этот первый двухгодичный парламент не включал в себя членов бывшего Учредительного собрания с их знанием партий и парламентской тактики, что таков был их неразумный самоотрицающий закон. Несомненно, старые члены Учредительного собрания были бы здесь весьма желательны. Но с другой стороны, какие старые или новые члены какого бы то ни было Учредительного собрания в этом подлунном мире могли бы принести здесь существенную пользу? Первые двухгодичные парламенты поставлены в некотором смысле над всякой мудростью — там, где мудрость и глупость различаются только в степени, и гибель и разрушение — единственный предназначенный для обоих конец. Бывшие члены Конституанты, наши Барнавы, Ламеты и другие, для которых была устроена особая галерея, где они, сидя на почетных местах, могли слушать то, что происходило в заседаниях, посмеиваются над этими новыми законодателями⁶, но мы этого не сделаем! Бедные 745, посланные сюда активными гражданами Франции, представляют только то, чем они могли быть, делают то, что им предопределено. Что они настроены патриотически, это для нас вполне понятно. Аристократическое дворянство бежало за границу или сидит по своим еще не сожженным замкам, вынашивая в тиши разные планы; шансы его в первоначальных избирательных собраниях были весьма слабы. Аристократы думали только о бегстве в Варенн, о Дне Кинжалов, составляли заговор за заговором, предоставляя народу самому заботиться о себе; и народ принужден был выбирать себе таких защитников, каких мог. Он и выбрал, как будет выбирать всегда, «если не способнейших людей, то наиболее способных быть выбранными!». Пламенный характер, крайнее патриотическо-конституционное направление — это качества, но дар красноречия, искусство в словесной борьбе — это качество из качеств. Поэтому неудивительно, что в этом первом двухлетнем парламенте 400 членов принадлежат к сословию адвокатов или прокуроров. Среди них есть люди, способные говорить, если есть о чем, и есть люди, способные думать и даже действовать. Справедливость требует признать, что этот несчастный первый французский парламент не был лишен ни некоторой талантливости, ни некоторой честности, что ни в том, ни в другом отношении он не стоял ниже обычных средних парламентов, но скорее превосходил их. Заурядные парламенты, не гильотинированные и не преданные долговому позору, должны благодарить за это не себя, а свою счастливую звезду!

Франция, как мы сказали, еще раз сделала что могла: ревностные люди явились сюда с разных сторон навстречу странным судьбам. Пламенный Макс Инар прибыл с далекого юго-востока; пламенный Фоше, Те Деум Фоше, епископ Кальвадосский, — с далекого северо-запада. Здесь уже не заседает Мирабо, который поглотил бы все формулы; наш единственный Мирабо теперь Дантон, действующий еще за стенами парламента и называемый некоторыми «Мирабо санкюлотов».

Тем не менее у нас есть и дарования, особенно наделенные даром красноречия и логики. Мы имеем красноречивого Верньо, самого медоточивого, но и самого страстного из публичных ораторов, родом из местности, называемой Жирондой, на Гаронне; к несчастью, это человек, страдающий леностью: он будет играть с детьми в то время, когда должен строить планы и говорить. Горячий, подвижный Гюаде, серьезный, рассудительный Жансонне, милый, искрящийся веселостью молодой Дюко*, осужденный на печальный конец Валазе — все они также из Жиронды или из окрестностей Бордо; все — пламенные конституционалисты, талантливые, владеют строгой логикой и, несомненно, достойные люди; они желают установить царство свободы, но не иначе как гуманными средствами. Вокруг них соберутся другие, с такими же склонностями, и вся эта партия получит известность, на удивление и горечь мира, под именем жирондистов**. Из этой же компании отметим Кондорсе, маркиза и философа, потрудившегося над парижской муниципальной конституцией и над дифференциальным исчислением, сотрудника газеты «Chronique de Paris», автора биографий, философских сочинений, заседающего теперь в двухгодичном парламенте. Этот известный Кондорсе с лицом римского стоика и пламенным сердцем — «вулкан, скрытый под снегом», на непочтительном языке прозванный также *mouton enragé*, — самое мирное животное, впавшее в бешенство! Отметим в заключение Жана Пьера Бриссо, которого судьба долго и шумно трепала и швырнула сюда как бы для того, чтобы покончить с ним. И он также сенатор на два года, даже в настоящее время король сенаторов. Неумолимый составитель проектов, графоман Бриссо, назвавший себя де Варвилль, ни одному геральдику неизвестно почему, — может быть, потому, что его отец был искусным кулинаром и

опытным виноделом в деревне Варвилль. Этот человек подобен ветряной мельнице, постоянно мелющей и вертящейся по ветру во все стороны.

* Дюко Жан Франсуа (1765—1793) — депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Жиронда.

** Группа депутатов во главе с Бриссо, редактором газеты «Французский патриот». Их называли бриссоцистами или жирондистами по названию департамента Жиронда, откуда был избран ряд видных депутатов этой группы. Распространение термина «жирондисты» на всю эту группу единомышленников Бриссо произошло уже после революции. Жирондисты были связаны с богатой буржуазией юга и юго-запада Франции и представляли интересы провинциальной торговой, промышленной и отчасти земледельческой буржуазии.

Все эти люди наделены талантами, способностью действовать, и они будут действовать и творить даже не без результата, хотя, увы, не из мрамора, а из зыбкого песка! Но самого способного из всех них мы еще не назвали, или, вернее, ему предстоит развиваться в человека, имя которого останется в истории. Это капитан Ипполит Карно, присланный сюда из Па-де-Кале, — человек с холодным математическим умом, с молчаливой, упорной волей. Это железный Карно, строящий планы на далекое будущее, непоколебимый, непобедимый, который окажется на своем месте в час испытаний. Волосы его еще черны, но поседеют под влиянием разнообразных колебаний фортуны, то благосклонной к нему, то суровой, хотя человек этот встретит все с непоколебимым видом.

В Собрании имеются и Côté Droit, и группа друзей короля; в их числе Воблан, Дюма, почетный кавалер Жокур, которые любят свободу, но под эгидой монархии и безбоязненно высказываются в этом смысле, однако бурно надвигающиеся ураганы сметут их прочь. Наряду с ними следует назвать еще нового, Теодора Ламета, военного, хотя бы только ради двоих его братьев, которые одобрительно смотрят на него сверху, с галереи старой Конституанты. С пеной у рта проповедующие Пасторе*, медоточиво-примирительные Ламуреты** и бессловесные, безымянные субъекты во множестве сидят в умеренном центре. Налицо и Côté Gauche, крайняя левая; она сидит на верхних скамьях, как на воздухе или горе, которая превратится в настоящую огнедышащую гору и прославит и ославит, название Горы*** на все времена и страны.

* Пасторе Клод Эмманюэль, маркиз — генеральный прокурор-синдик Парижского департамента в 1791 г., депутат Законодательного собрания.

** Ламурет — конституционный епископ, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента.

*** Небольшая группа депутатов, политически близких к Робеспьеру.

Не почет ожидает эту Гору, но пока еще и не громкий позор. Она не может похвалиться ни талантами, ни даром слова или мысли; единственный дар ее — твердая вера, смелость, которая дерзнет тягаться с небом и землей. Впереди сидят три кордельера: пылкий Мерлей из Тионвиля, пылкий Базир, оба адвокаты, и Шабо, искушенный в ажиотаже, бывший капуцин. Присяжный поверенный Лакруа, некогда носивший эполеты младшего офицера, наделен могучими легкими и алчным сердцем. Здесь также и Кутон, мало задумывающийся над тем, кто он такой; из-за несчастной случайности у него парализованы нижние конечности. По-видимому, он однажды просидел целую ночь в холодной тине вместо теплой комнатки своей возлюбленной, выгнанный от нее, так как по закону она принадлежала другому⁷; и вот теперь и до конца своих дней принужден ходить на костылях. Здесь и Камбон, в котором дремлет еще не развившийся великий финансовый талант к печатанию ассигнаций, отец бумажных денег; в грозный час он произнесет веское слово: «Война — замкам, мир — хижинам» (*Guerre aux châteaux, paix aux chaumières*)⁸. Здесь же и неустрашимый обойщик из Версаля Лекуэнтр, желанное лицо, известное со времени банкета в Опере и восстания женщин. А вот и Тюрио*, избиратель Тюрио, стоявший у бойницы Бастилии и видевший, как Сент-Антуан поднялся всею массой; многое придется ему еще увидеть. Как последнего и самого жестокого из всех отметим старого Рюля** с его коричневым, мрачным лицом и длинными белыми волосами; он родом эльзасец и лютеранин. Это человек, которого годы и книжная ученость ничему не научили, который, обращаясь с речью к старшинам Реймса, назовет священный сосуд (дар небес, из которого были помазаны Хлодвиг и все короли) ничего не стоящей бутылкой с маслом и разобьет ее вдребезги о мостовую. Увы, он разобьет вдребезги многое и в заключение свою собственную дикую голову пистолетным выстрелом и так кончит свою жизнь.

* Тюрио де ла Розьер — адвокат, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Марна.

** Рюль Филипп (1737—1795) — протестантский пастор, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Нижний Рейн.

Вот какая раскаленная лава клокочет в недрах этой Горы, неведомая миру и самой себе! Пока это еще совсем обыкновенная гора, отличающаяся от равнины главным образом своей большей бесплодностью и пустынным видом; все, что может заметить внимательный наблюдатель, так это то, что она курится. Пока, как мы сказали, все еще так прочно, так мирно, что кажется, будто и время ничего не может изменить. Разве не все любят свободу и конституцию? Конечно, все, хотя и в разной степени. Некоторые, как кавалер Жокур и его правая сторона, любят свободу меньше, чем короля, если бы пришлось сделать выбор; другие, как Бриссо и его левая сторона, любят свободу больше, чем короля. Из последних иные любят свободу даже больше, чем самый закон, другие же — не больше. Партии будут развиваться, но как — это еще никому не известно. Силы действуют в этих людях и вне их; несогласия переходят в оппозицию, которая все более разрастается и превращается в непримиримую борьбу не на жизнь, а на смерть, пока сильный не будет уничтожен более сильным, а тот в свою очередь — сильнейшим. Кто может предотвратить это? Жокур и его монархисты, фейяны или умеренные; Бриссо и его бриссотинцы, якобинцы или жирондисты — все они, подобно трио кордельеров и всем вообще людям, должны делать то, что им предопределено, и на предопределенном пути.

И как подумаешь, какая судьба ожидает этих злополучных семьсот сорок пять совершенно непредвидимо для них самих! Найдется ли хотя бы одно столь жестокое сердце, которое не пожалело бы их? Их сокровенным желанием было жить и действовать в качестве первого французского парламента и ввести конституцию в действие. Разве не прошли они тотчас после избрания через самые трогательные конституционные церемонии, почти исторгавшие у них слезы? Двенадцать старейших из них были посланы торжественно принести саму конституцию, печатную Книгу Закона. Архивариус Камю, бывший член Учредительного собрания, и двенадцать старейших входят с военной помпой и музыкой, неся божественную книгу; и председатель, и все сенаторы Законодательного собрания, положив на нее руку, по очереди приносят присягу под приветственные возгласы и сердечные излияния, сопровождаемые всеобщим троекратным ура⁹. Так начинают они свои заседания. Несчастные люди! В тот же самый день король довольно сухо принял их депутацию; она обижена выказанным ей пренебрежением и не может не сетовать на это, вследствие чего наш только что ликовавший и присягавший первый парламент на следующее же утро считает себя обязанным реагировать на обиду и принимает антикоролевское решение относительно того, как он, со своей стороны, примет Его Величество. Решают, что они не должны называть его более Sire (государь) по долгу, а только когда сами захотят так величать его. Но на следующий же день это решение берется обратно, как слишком опрометчивая пустая болтовня, хотя и вызванная поведением короля.

Бурное, но благонамеренное Собрание, только слишком легко оно воспламеняется, в нем постоянно летают искры. Вся его история есть череда вспышек и ссор при искреннем желании выполнить свою миссию и роковой невозможности сделать это. Оговоры, порицания министрам короля, воображаемым и истинным изменникам; пылкая злоба и громы против отвечающих громам эмигрантов; страх перед австрийским императором, перед «австрийским комитетом» в самом Тюильри; ярость и непрестанный страх, опрометчивость, сомнения и смутная растерянность! Опрометчивость, говорим мы, и, однако, конституция приняла меры против нее. Ни один закон не может пройти, пока не будет напечатан и прочитан три раза с промежутками в восемь дней, «за исключением тех случаев, когда Собрание наперед решает, что дело спешное». И оно строго соблюдает конституцию, никогда не забывая сказать: принимая во внимание одно и принимая во внимание другое, а также и на основании третьего Собрание постановляет («qu'il y a urgence»); а решив, что данный случай «не терпит отлагательства», оно вправе постановить неотложное принятие любой безрассудной меры. В течение одиннадцати месяцев принято, как высчитали, более двух тысяч резолюций¹⁰. Находили, что Учредительное собрание работало слишком поспешно, но эти спешат втрое больше. Правда, само время летит с утроенной быстротой, а они должны идти с ним в ногу. Несчастные 745 избранников! Они истинные патрио-

ты, но из слишком горючего материала; посаженные в огонь, они и брызжут огнем: это сенат, состоящий из трута и ракет, в мире бурь, где постоянно летают гонимые ветром искры.

С другой стороны, как подумаешь, забежав на несколько месяцев вперед, о сцене, называемой *Baiser de l'amourette*! Опасности, угрожающие стране, сделались неизбежны, неизмеримы; Национальное собрание — надежда Франции — расколосось. И вот, ввиду такого бедственного положения поднимается медоточивый аббат Ламурет, новый лионский епископ, — фамилия которого (*l'amourette*) значит «любовная интрижка», — встает и с патетическим, слащавым красноречием заклинает всех высоких сенаторов забыть взаимные распри и неудовольствия, принести новую присягу и соединиться, как братья. Вслед за тем все они при восторженных криках обнимаются и клянутся. Левая сторона смешивается с правой; бесплодная гора спускается, на плодоносную равнину. Пасторе в слезах лежит в объятиях Кондорсе, обиженный на груди обидчика, и все клянутся, что тот, кто пожелает двухпалатной монархии фейянов, или крайней якобинской республики, или чего-либо иного, помимо конституции, и только ее, будет предан вечному проклятию¹¹. Трогательное зрелище! Но уже на следующее утро они принуждены, побуждаемые роком, снова ссориться, и их возвышенное примирение в насмешку названо *Baiser de l'amourette*, или поцелуем Далилы.

Подобно злополучным братьям Этеоклу и Полинику*, они обнимаются, хотя напрасно; плачут, что им не суждено любить, а суждено ненавидеть и быть убийцами друг друга! Или же их можно уподобить кобальдам, которым волшебник приказал под страхом наказания сделать более трудное дело, чем свить веревку из песка, — «пустить в ход конституцию». Если бы только конституция хотела двигаться! Увы! Конституция не желает тронуться с места! Она все падает ничком, и они с трепетом опять поднимают ее: иди же, золотая конституция! — Конституция не желает идти. «Пойдет, клянусь!» — сказал добрый дядя Товий и даже выругался. Но капрал грустно возразил: «Никогда не пойдет на этом свете».

* Этеокл и Полиник (греч. миф.) — сыновья Эдипа, между которыми шла братоубийственная война из-за власти в Фивах. Эту войну навлек на сыновей Эдип, прокляв их за строптивость и непочтительность.

Конституция, как мы часто говорили, только тогда станет двигаться, когда она отражает если не старые привычки и верования принимающих ее, то, несомненно, их права или, еще лучше, их силы, ибо не являются ли эти оба понятия при правильном толковании одним и тем же? Старые привычки Франции отжили, ее новые права и силы еще не определились или определились только на бумаге и в теории и не могут быть ни в каком смысле установлены, пока не подвергнутся испытанию, пока она не померится силами в жестоком бою не на жизнь, а на смерть, хотя бы и в противоестественных судорогах безумия, с князьями и властями, высшими и низшими, внутренними и внешними, с землей и адом и самим небом! Тогда все определится. Три условия являются скверными предзнаменованиями для развития этой французской конституции: во-первых, французский народ, во-вторых, французский король и, в-третьих, французское дворянство и соединенная Европа*.

* Имеются в виду правительства и правящие круги феодально-абсолютистских государств Европы и буржуазно-аристократической Англии. Над сколачиванием контрреволюционной коалиции усердно трудились Питт, Екатерина II, прусский, австрийский, шведский монархи и их дипломаты.

Глава третья

АВИНЬОН

Но оставим общие соображения и перейдем к дальнейшему изложению событий. Что за странности происходят на далеком юго-западе, куда теперь, в конце октября, обращены все взоры? Трагический пожар, давно дымившийся и тлевший без видимого огня, вспыхнул там ярким пламенем.

Горячая южная провансальская кровь! Увы, как уже было сказано, столкновения на пути свободы неминуемы; их порождает разность направлений, даже разность скоростей в одном и том же направлении! Истории, занятой в другом месте, некогда было обратить внимание на многое из происходившего здесь: на беспорядки в Юзесе и в Ниме из-за столкновений между протестантами и католиками, между патриотами и аристократами; на смуты в Марселе, Монпелье,

Арле; на лагерь аристократов в Жалесе, на это удивительное полуреальное, полуфантастическое образование, то тающее в бледном тумане, то снова (преимущественно в воображении) вспыхивающее багровыми красками; на эту магически-грозную «аристократическую картину войны, снятую с натуры!». Все это был трагический, смертоносный пожар, с заговорами и мятежами, смятением днем и ночью, но пожар без пламени, не светящий, никем не замеченный, но который, однако, теперь нельзя обойти вниманием.

Этот скрытый пожар был сильнее всего в Авиньоне и в графстве Венсенн. Папский Авиньон с его замком, круто поднимающимся над Роной, — очень красивый город; он утопает в пурпуровых гроздьях виноградников и в золотисто-оранжевых рощах, почему старому безумному рифмоплету Рене, последнему суверену Прованса, и вздумалось передать его папе и золотой тиаре, а не Людовику XI с оловянной девой на ленте шляпы. Это привело и к добру, и ко злу! Папы, антипапы, с их великолепием, жили в этом Авиньонском замке, так круто поднимающемся над быстрой Роной; Лаура де Сад* ходила там к обедне, а ее Петрарка меланхолически играл на скрипке и пел вблизи, у фонтана Воклюз. Так было в старину.

* Лаура де Сад (1308—1348) — возлюбленная Петрарки, воспетая им в «Канцоньере»; согласно преданию, она была погребена в Авиньоне. В 1309—1370 гг. Авиньон был постоянным местом пребывания пап (авиньонское пленение пап).

А теперь, несколько столетий спустя, в эти новые времена от одного росчерка пера безумного рифмоплета Рене происходит то, что мы видим: Журдан *Coupe-tête* (Головорез) идет военным походом осаждать Карпантра, предводительствуя армией от трех до пятнадцати тысяч человек, называемых авиньонскими разбойниками, — титул, который они сами принимают с прибавлением эпитета: «храбрые авиньонские разбойники!» Так оно и есть. Палач Журдан бежал туда от следствия в Шатле после восстания женщин и начал торговать мареной, но времена стояли такие, что всем было не до красок, так что Журдан закрыл свою лавочку и вознесся высоко надо всеми, потому что он был создан для этого. Кирпичная борода его сбрита, жирное лицо стало медно-красным и усеяно черными угрями. Силеново чрево раздулось от водки и привольной жизни; он носит синий мундир с эполетами, «огромную саблю, два кавалерийских пистолета, засунутые за пояс, и два других, поменьше, торчащие из карманов», называет себя генералом и тиранит людей¹². Подумай об одном этом факте, читатель, и о том, какого рода факты должны были ему предшествовать и сопутствовать! Вот какие вещи происходят из-за старого Рене и из-за возникшего вопроса: не может ли Авиньон теперь совершенно отмежеваться от папы и стать свободным французским городом?

Смуты продолжались около двадцати пяти месяцев. Скажем, три месяца раздоров, потом семь месяцев ярости, наконец, в заключение около пятнадцати месяцев сражений и даже повешений. Уже в феврале 1790 года паписты-аристократы поставили в знак предостережения четыре виселицы, но в июне народ восстал и с жадной возмездия заставил городского палача исполнить свою обязанность по отношению к четырем аристократам, которые и были повешены, по одному папскому Аману на каждой папской виселице. Затем пошли авиньонские эмиграции — паписты-аристократы эмигрировали за реку Рону, — смещение папского консула, бегство, победа, возвращение папского легата, перемирие, новое нападение и сражения с переменным успехом. Посылались петиции в Национальное собрание, собирались конгрессы городских управлений: шестьдесят с лишним городских управлений подали голоса за присоединение к Франции и благословляли свободу, тогда как представители около двенадцати меньших городов под влиянием аристократов вотировали в обратном смысле, и все это с криками и раздорами! Округ восстал на -округ, город на город: Карпантра, долго соперничавший с Авиньоном, теперь в открытой с ним войне, и Журдан *Coupe-tête*, после того как первый генерал был убит во время мятежа, закрывает свою лавку с красками и открыто, с осадной артиллерией, а главное, с шумом и гамом в течение двух месяцев на глазах всего мира держит со своими «храбрыми авиньонскими разбойниками» соперничающий город на осадном положении.

Тут, несомненно, совершались геройские подвиги, прославленные в приходской истории, но неизвестные истории всемирной. Мы видим, как виселицы воздвигаются с той и с другой стороны и несчастные трупы болтаются на них дюжинами в ряд; злополучного мэра Везона хоронят еще живым¹³. Жатва не снимается с плодородных полей; виноградники потоптаны, всюду царят кровавая жестокость, безумие всеобщей ярости и ожесточения. Разрушение и анархия по-

всеместны: все охвачено сильнейшим пожаром, но пожаром без зарева, издали невидным! В заключение Учредительное собрание, пославшее в Авиньон комиссаров, выслушав их¹⁴ доклады, прочитав петиции, продебатировав целые месяцы, с августа 1789 года, и «потратив в общем на это дело тридцать заседаний», торжественно постановляет четырнадцатого прошлого сентября, что город Авиньон и графство составляют одно целое с Францией и что его святейшеству папе будет уплачено справедливое вознаграждение.

Значит, все прощено и покончено? Увы, если безумие ярости проникло в кровь людей и виселицы воздвигались и с этой и с той стороны, что могут сделать пергаментный декрет и амнистия Лафайета? Забывчивая Лета течет не по земле! Паписты-аристократы и патриоты-разбойники все еще являются друг для друга бельмом на глазу, они постоянно подозревают других и подозреваются сами во всем, что бы они ни делали и ни предпринимали. Верховное Учредительное собрание разошлось всего две недели назад, как вдруг, в воскресенье 16 октября 1791 года, утром, не вполне потушенный пожар снова вспыхивает ярким пламенем. Появляются антиконституционные воззвания, рассказывают, что статуя Мадонны покраснела и проливает слезы¹⁵. Поэтому в то же утро патриот Л'Эскюйе, один из наших «шести правящих патриотов», посоветовавшись со своими братьями и с генералом Журданом, решается отправиться в церковь вместе с одним или двумя приятелями не для того, чтобы прослушать обедню, чему он придает мало значения, а для того, чтобы увидеть всех папистов вместе и сказать им слово увещевания, а также чтобы посмотреть на эту плачущую Богоматерь, находящуюся в той же церкви кордельеров. Рискованное поручение, имевшее фатальный исход! Каково было слово увещевания, произнесенное Л'Эскюйе, этого история не сообщает, но ответом на него был пронзительный вой аристократических папских богомольцев, среди которых было много женщин. Поднялись тысячеголосые крики и угрозы, перешедшие, так как Л'Эскюйе не бежал, в тысячерукие и тысяченогие тычки и удары, сопровождавшиеся уколами стилетов, игл, ножниц и других острых инструментов, какими пользуются женщины. Ужасное зрелище! Древние покойники и Лаура Петрарки спят вокруг; священный алтарь с горящими свечами смотрит сверху, а Богоматерь оказывается без единой слезинки и вполне естественного цвета камня. Друзья Л'Эскюйе бросаются, подобно посланникам Иова*, к Журдану и к национальной армии. Но неповоротливый Журдан хочет сначала занять городские ворота, движется втрое медленнее, чем следовало бы, и когда приходят в церковь кордельеров, то она уже безмолвна и пуста; Л'Эскюйе одиноко лежит у подножия алтаря, плавая в собственной крови, исколотый ножницами, истоптанный, искалеченный. Глухо простонав в последний раз, он испускает дух вместе со своею жалкой жизнью.

* Иов — человек, безропотно сносивший многочисленные беды, какие посылал ему бог (Книга Иова).

Такое зрелище способно возбудить сердце всякого человека, а тем сильнее должно оно было подействовать на многих людей, называющих себя авиньонскими разбойниками! Труп Л'Эскюйе, положенный на носилки, с увенчанной лаврами обезображенной головой несут по улицам под многоголосое, мелодичное пение, под похоронные вопли, больше горькие, чем громкие! Медное лицо Журдана, лицо лишенного всего патриота, мрачно. Патриотический муниципалитет посылает в Париж официальное донесение, приказывает произвести многочисленные, точнее, бесчисленные аресты для допроса и следствия. Аристократов и аристократок тащат в замок, запирают всех вместе в подземные темницы, где они лежат вповалку, лишенные всякой помощи, оплакиваемые лишь хриплым журчанием Роны.

Они сидят по темницам, дожидаясь следствия и допроса. Увы! С палачом Журданом в качестве генералиссимуса, медное лицо которого почернело, и с вооруженными разбойниками-патриотами, поющими похоронные песни, слишком вероятно, что следствие будет коротким. В два следующих дня независимо от согласия муниципалитета в подземелье Авиньонского замка располагается разбойничий военный совет; разбойничьи экзекуторы с обнаженными саблями у дверей ожидают разбойничьего приговора. Суд короткий, безапелляционный! Здесь царят гнев и месть разбойников, подогреваемые водкой. Поблизости находятся темницы Glacière, или Ледяной башни, где происходили дела, для которых в человеческом языке нет названия! Мрак и тени отвратительной жестокости окутывают эти темницы замка, эту башню Glacière; несомненно одно: что многие в нее вошли, а вышли немногие. Журдан и разбойники, господствуя

теперь над всем муниципалитетом, над всеми властями, папскими или патриотическими, хозяйничают в Авиньоне, поддерживаемые ужасом и безмолвием.

Результатом всего этого является то, что 15 ноября 1791 года мы видим, как друг Даммартен с подчиненными и под начальством генерала Шуази, с пехотой и кавалерией, с громающими впереди пушками, развернутыми знаменами, под гром труб и барабанов, с преднамеренно грозной демонстрацией военных сил вступает на улицу Кастьль-Рок, направляясь к широким воротам Авиньонского замка. За ним на почтительном расстоянии идут три комиссара нового Национального собрания¹⁶. Авиньон, повинувшись приказанию, во имя закона и Собрания широко распахивает свои ворота; Шуази с остальными, Даммартеном и «bons enfants», «славными ребятами из Бофремона», как называют этих давно знакомых бравых конституционных драгун, въезжают, встречаемые криками и Дождем цветов. Они приехали, на радость всем честным людям, на страх палачу Журдану и его разбойникам. Вскоре показывается усеянное вередями, распухшее медно-красное лицо Журдана; вооруженный саблей и четырьмя пистолетами, он пытается говорить грозно, однако обещает сдать замок тотчас же. Гренадеры Шуази вступают вместе с ним в замок. Они вздрагивают и останавливаются, проходя мимо Ледяной башни, так ужасен исходящий из нее запах, потом с диким ревом: «Смерть палачу!» — бросаются на Журдана, который едва успеваает скрыться через потайные ходы.

Пусть же откроется тайна производившегося здесь правосудия! 130 мужчин, женщин и даже детей (ибо схваченные врасплох трепещущие матери не смогли оставить своих детей) горами лежат в этой Ледяной башне и гниют среди разлагающейся массы, на ужас всему миру. Три дня продолжается грустная процедура выноса трупов наружу и опознания их среди воплей и возбуждения страстного южного народа, то коленопреклоненно молящегося, то бушующего в дикой ярости и сострадании. Затем происходит торжественное погребение с глухим барабанным боем и пением. Убитые покоятся теперь в освященной земле, в общей могиле реквиема, при всеобщем плаче.

А Журдан *Coupe-tête*? Мы видим его снова через день или два: он скачет по романтической холмистой стране Петрарки, яростно прищипывая своего скакуна; молодой Лигонне, пылкий авиньонский юноша, с драгунами Шуази несется за ним по пятам. С такой вздувшейся мясной тушей вместо всадника ни одна лошадь не может выдержать состязания. Усталый конь, подгоняемый шпорами, плывет через речку Сорг, но останавливается на середине ее, на «*chicago fondo di Sorga*», и не трогается с места, несмотря ни на какие шпоры! Молодой Лигонне подскакивает; меднолицый грозит и ревет, вытаскивает пистолет, может быть даже спускает курок, однако его схватывают за шиворот, привязывают к седлу, а ноги подтягивают под брюхо лошади и везут в Авиньон, где его с трудом удаётся спасти от растерзания на улицах¹⁷.

Таковым оказывается пожар в Авиньоне и на юго-западе, когда он становится заметным. По этому поводу в Законодательном собрании и в «Обществе — Мать» происходят долгие и бурные споры о мерах, какие следует принять. «Амнистия!» — кричат красноречивый Верньо и все патриоты; чтобы покончить, если возможно, со всем этим, нужны взаимное прощение и раскаяние, восстановление и примирение. Предложение это в конце концов проходит; и вот огонь на юго-западе слегка заливаётся «амнистией» или забвением, которое, увы, не может быть ничем иным, как только воспоминанием, ибо река забвения Лета протекает не по земле! Не вешают даже Журдана: его освобождают, словно еще не созревшего для виселицы, и даже, как мы видим издали, «его с триумфом проносят по южным городам»¹⁸. Чего только не несут на руках люди!

Бросив мимолетный взгляд на меднолицее чудовище, несомое по южным городам, мы должны покинуть этот край и предоставить ему тлеть. Здесь немало аристократов: старинное гордое дворянство еще не эмигрировало. В Арле имеется свое «*Chiffonne*» — так символически в шутку называют тайное сообщество аристократов. Арль со временем разберет свои мостовые на аристократические баррикады, против которых пламенному и решительному патриоту Ребекки* придется вести марсельцев с пушками. Железная балка еще не всплыла на волны Марсельской бухты, и пылкие потомки фокейцев еще не превратились в рабов. Разумными мерами и горячей настойчивостью Ребекки разбивает эту *Chiffonne* без кровопролития, исправляет арльскую мостовую и плавает в береговых лодках, наблюдая зорким оком патриота за подозрительными башнями Мартелле. Он совершает быстрые переходы по стране, один или с военными

отрядами, переезжает из города в город, производит основательную расчистку¹⁹, где можно, убеждает, а где нужно, и сражается. Дела здесь много, даже лагерь Жалес кажется подозрительным, так что член Законодательного собрания Фоше после дебатов об этом предлагает послать комиссаров и устроить лагерь на равнине Бокера; неизвестно, был ли от этого какой результат или нет.

* Ребекки Франсуа (1744—1794) — марсельский негодник, депутат Конвента от департамента Буш-дю-Рок, жирондист.

Из всего этого и многого другого отметим только одно маленькое последствие: молодой Барбару, адвокат и городской секретарь Марселя, на которого было возложено улаживание этих дел, прибыл в феврале 1792 года в Париж. Это красивый и мужественный юный спартаец, зрелый физически, но не зрелый мудростью; мрачная судьба его тем не менее окрашена пламенным лучом яркого южного солнца, не вполне потушенным даже смертью! Заметим, кстати, что и лионские Роланы снова в Париже, во второй и последний раз. Место королевского инспектора в Лионе, как и везде, упразднено: Ролан приехал выхлопотать себе пенсию; кроме того, он имеет в Париже друзей-патриотов, с которыми желал бы повидаться, и, наконец, хочет напечатать свою книгу. Барбару и Роланы встретились, и естественно, что пожилой спартаец Ролан и молодой спартаец Барбару сошлись и полюбили друг друга. А г-жа Ролан?.. Не дыши, ядовитый дух злословия! Эта душа не запятнана, чиста, как зеркальное озеро. А все-таки, если они оба заглядывали в глаза один другому и каждый молча, в трагическом самоотречении находил, что другой слишком достоин любви?

Она называет его «прекрасным, как Антиной»; он «в другом месте будет говорить об этой изумительной женщине»: «Некая г-жа д'Юдон (или что-то в этом роде, потому что Дюмон не помнит хорошенько ее имени) дает депутатам-бриссотинцам и нам, друзьям свободы, блестящие завтраки в своем доме на Вандомской площади, завтраки с современными знаменитостями, с грациозными женщинами, обольстительными улыбками и не без роскоши. Здесь, среди болтовни и звона бокалов, устанавливается на данный день план законодательных прений и происходит много совещаний. Здесь можно видеть и строгого Ролана, но он бывает нечасто»²⁰.

Глава четвертая

НЕТ САХАРА

Таковы наши внутренние трудности, наблюдаемые в южных городах; они распространяются, видимые или невидимые, по всем городам и округам, как северным, так и южным. Всюду козни аристократов, за которыми следят патриоты, вынужденные в свою очередь, будучи различных оттенков, от светлых лафайето-фейянов до мрачно-темных якобинцев, следить даже и за самими собою.

Управления департаментов, которые мы называем магистратурой графств, выбранные гражданами из слишком «активного» класса, тянут, как оказывается, в одну сторону, а муниципалитеты, городская магистратура — в другую. Повсюду встречаются и диссиденты-священники, с которыми Законодательному собранию еще придется иметь дело, и строптивые субъекты, действующие под влиянием самой ярой из страстей; они устраивают заговоры, вербуют людей для Кобленца или подозреваются в заговорах, разжигая огонь всеобщего антиконституционного пожара. Что с ними делать? Они могут быть столь же добросовестны, сколь и строптивы; с ними надлежало бы поступать мягко, но без промедлений. В непросвещенной Вандее крестьяне легко могут быть совращены ими; немало простых людей, подобно торговцу шерстью Катлино, в раздумье разъезжающему с тюками своего товара по деревням, с сомнением покачивают головой! Прошлой осенью туда приезжали два комиссара, посланные Собранием: рассудительный Жансонне, тогда еще не избранный в сенаторы, и Галуа, издатель газеты. Оба они, посоветовавшись с генералом Дюмурье, говорили и действовали мягко и рассудительно; они успокоили на время возбуждение и составили свой отчет в смягченной форме.

Сам Дюмурье, вообще человек способный, нимало не сомневается, что ему удастся поддержать у себя порядок. Он проводит эти холодные месяцы среди добродушных жителей

Ниорта, занимая «довольно хорошую квартиру в Ниортском замке», и успокаивает умы²¹. Почему у нас всего один Дюмурье? В других местах, на севере и на юге, мы находим только неудержимое мрачное брожение, выплескивающееся время от времени открытыми, шумными всплесками мятежа. Южный Перпиньян бьет в набат при свете факелов, происходит стремительное бегство и нападение; то же делается в северном Кане среди бела дня, аристократы выстраиваются с оружием в руках у храмов; департаменты оказываются не в силах уладить дело, оно разрешается ружейной пальбой и раскрытием заговора!²²? Прибавьте к этому голод, так как хлеб, который всегда был дорог, становится еще дороже; нельзя достать даже сахара, и по серьезным причинам. Бедного Симоно, мэра Этампа, вывесившего в этой северной области во время хлебного бунта красный флаг, изголодавшийся, ожесточенный народ затоптал до смерти. Тяжела служба мэра в такие времена! Мэр Сен-Дени повешен на фонаре под влиянием подозрения и дурного пищеварения; это было довольно давно, а недавно мэр Везона похоронен заживо, и теперь погибает бедный Симоно, кожевник, — мэр Этампа, которого не забудет легальный конституционализм.

Мятежи, подозрения, недостаток хлеба и сахара действительно растерзали, как говорят *déchiré*, бедную Францию и все французское, потому что из-за моря также приходят дурные вести. Прежде чем были зажжены пестрые огни на Елисейских Полях по случаю принятия конституции, в черном Сан-Доминго* загорелись совсем другого рода огни и вспыхнуло ночное зарево, продолжавшее пылать одновременно с парижскими огнями, — а мы и не знали этого! Небо окрасилось заревом горящей патоки, спирта, сахароварен, плантаций, утвари, скота, людей, и равнина у Французского мыса превратилась в чудовищный вихрь дыма и пламени!

* Речь идет о восстании мулатов и негров во французской колонии Сан-Доминго на о-ве Гаити. Восставшие отменили рабство, провозгласили гражданское равенство и независимость Гаити.

Какая перемена за эти два года, с тех пор как первый «ящик с трехцветными кокардами» миновал таможню и даже желчные креолы возликовали, узнав, что Бастилия сровнена с землей! Мы не раз говорили, что уравнивание очень приятно, но только до нашего собственного уровня. У матово-смуглых креолов, конечно, есть свои обиды; а у темно-желтых мулатов? у желтых квартеронов? а у черных, как сажа, рабов? Квартерон Оже*, друг наших парижско-бриссотинских друзей чернокожих, с своей стороны проникается убеждением, что восстание есть священная из обязанностей. Поэтому не успели трехцветные кокарды покрасоваться и трех месяцев на шляпах креолов, как в воздух взвились сигнальные огни Оже под крики ярости и ужаса. Потерпевший поражение и приговоренный к смерти Оже взял в горсть черный порошок или черные семена, посыпал поверх тонкий слой белых семян и сказал своим судьям: «Смотрите, они белые», потом тряхнул рукой и спросил: «Где же белые?» (*Où sont les blancs?*)

* Оже (1750—1790) — мулат с Сан-Доминго, был послан в 1789 г. во Францию, чтобы потребовать предоставления политических прав цветным.

И вот, осенью 1791 года, взглянув с птичьего полета на Французский мыс, можно было увидеть, как густые облака дыма заволакивают горизонт: днем — дым, ночью — огонь, и слышать жалобные крики бегущих белых женщин, подгоняемых страхом и слухами. Черные осатаневшие толпы грабят и убивают с неслыханной жестокостью. Они сражаются, стреляя «из чащи леса, из-за изгородей» — негр любит кусты; они тысячами устремляются в атаку, размахивая ножами и ружьями, с прыжками, криками торжества и проклятиями, но, если отряд белых добровольцев держится стойко, при первом же залпе, а иногда и раньше переходят в замешательство, беспорядочное бормотание и в паническое бегство²³. Бедного Оже можно колесовать, огненный вихрь можно подавить, прогнать в горы, но Сан-Доминго потрясено, как семена в руке Оже, и корчится в долгих предсмертных судорогах. Оно черно, черно бесповоротно и, как африканское Гаити, останется на предостережение всему миру.

О друзья мои парижане, ведь это — наравне со скупщиками и заговорщиками-фейянами — одна из причин поразительной дороговизны сахара! Трепещущий бакалейщик с отвисшей губой видит, что его сахар таксируется, отвешивается патриотками для немедленной продажи по недостаточной цене в 25 су за фунт. «Не лучше ли отказаться от сахара?» Да, патриотические секции и все вы, якобинцы, откажитесь от него! Так советуют Луве и Колло д'Эрбуа,

решив принести эту жертву; но «как же наши литераторы обойдутся без кофе?» Дать клятву в воздержании — это самое верное!²⁴

Разве не страдает по той же причине Брест, не страдают интересы судоходства? Бедный Брест терпит, горюет, жалуется на аристократа Бертрана Мольвиля, предателя-аристократа, морского министра. Разве не гниют в гаванях брестские и королевские корабли, не разрушаются один за другим? Многие морские офицеры разбежались или находятся в отпуске с сохранением жалованья. В Брестской гавани мало движения, если не считать галер с их понукаемыми бичом невольниками-гребцами, — увы, среди них около 40 наших несчастных швейцарских солдат из Шатовьё ! Эти 40 швейцарцев в красных шерстяных колпаках слишком хорошо помнят Нанси; они налегают теперь на весла, грустно глядя в волны Атлантического океана, отражающие только их собственные печальные, заросшие бородой лица, и кажутся забытыми надеждой.

Вообще разве, выражаясь фигурально, нельзя сказать, что французская конституция, пускающаяся в путь, страдает ревматизмом, полна колющих внутренних болей в сочленениях и мышцах и идет с трудом?

Глава пятая

КОРОЛИ И ЭМИГРАНТЫ

Известны примеры, когда и крайне ревматические конституции шли и держались на ногах, хотя и шатаясь и спотыкаясь, в течение долгого времени, но только благодаря одному условию: голова была здорова. А голова французской конституции! Что такое король Людовик и чем он не может не быть, читатели уже знают. Это король, который не может ни принять конституцию, ни отвергнуть ее, ни вообще что-нибудь сделать, а только жалобно спрашивает: «Что мне делать?», король, который окружен бесконечной смутой и в уме которого нет и зародыша порядка. Остатки гордого, непримиримого дворянства борются с униженно-раскаивающимися Барнавами и Ламетами, борются среди темного элемента посыльных и носильщиков, хвастунов на половинном жалованье из кафе «Валуа», среди горничных, наушников и низших служащих, под взглядами озлобленных патриотов, все более и более подозрительных, — что они могут сделать в такой борьбе? В лучшем случае уничтожить друг друга и произвести нуль. Бедный король! Барнавы и Жокуры серьезно говорят ему на одно ухо, Бертран-Мольвили и посланные из Кобленца — на другое; бедная королевская голова поворачивается то в ту, то в другую сторону и не может решительно склониться ни на одну. Пусть скромность накинёт на это покрывало: более жалкое зрелище редко видывал мир. Только один мелкий факт проливает грустный свет на многое. Королева жалуется г-же Кампан: «Что мне делать? Когда они, эти Барнавы, советуют нам что-нибудь, что не нравится дворянству, то на меня все дуются, никто не подходит к моему карточному столу, король отходит ко сну в одиночестве»²⁵. Что делать в таком сомнительном случае? Идти к неизбежной гибели!

Король принял конституцию, зная наперед, что это ни к чему не приведет; он изучает ее, исполняет, но главным образом в надежде, что она окажется невыполнимой. Королевские суда гниют в гаванях, офицеры с них разбежались, армия дезорганизована, разбойники заполняют проезжие тракты, которые к тому же не ремонтируются, все общественные учреждения бездействуют и пусты. Исполнительная власть не делает никаких усилий, кроме одного — навлечь недовольство на конституцию, и притворяется мертвой (*faisant la mort!*). Какая же конституция, применяемая таким образом, может идти? «Она опротивеет нации», что действительно и будет²⁶, если только вы сами раньше не опротивеете ей. Ведь это план Бертрана де Мольвиля и Его Величества, лучший, какой они могли придумать.

А что, если выполнение этого прекрасного плана пойдет слишком медленно или совсем не удастся? Предвидя это, королева в глубочайшей тайне «пишет целый день и изо дня в день шифрованные послания в Кобленц»; инженер Гогела, знакомый нам по Ночи Шпор, которого амнистия Лафайета освободила из тюрьмы, скачет взад и вперед. Иногда в подобающих случаях бывает, что король наносит визит в *Salle de Manège*, произносит трогательную ободряющую речь (в ту минуту, несомненно, искренно), и все сенаторы рукоплещут и почти плачут; в то же самое время Малле дю Пан*, по видимости прекративший издание газеты, тайно везет за границу

собственноручное письмо короля, в котором тот просит помощи у иностранных монархов²⁷. Несчастный Людовик, делай же что-нибудь одно, — ах, если бы ты только мог!

* Малле дю Пан Жак (1749—1800) — швейцарский публицист, тайный агент двора и эмигрантов.

Но единственные действия королевского правительства сводятся к смятенному колебанию от одного противоречия к другому, и, смешивая воду с огнем, оно окутывается густым шипящим паром. Дантона и нуждающихся патриотов подкупают денежными подарками; они принимают их, улучшая тем самым свое положение, и с этой поддержкой идут своей дорогой²⁸. Королевское правительство нанимает даже рукоплескателей, или клакеров, которые должны аплодировать. У подпольного Ривароля полторы тысячи человек на королевском жалованье, составляющем около 250 000 франков в месяц, которых он называет «генеральным штабом». Этот штаб, самый странный из когда-либо существовавших, состоит из публицистов, сочинителей плакатов и из «двухсот восьмидесяти клакеров, получающих по три франка в день». Распределение ролей и счетные книги по этому делу сохранились до сих пор²⁹. Бертран де Мольвиль ухитряется заполнять галереи Законодательного собрания и считает свой способ очень искусным: он нанимает санкюлотов идти на заседание и рукоплескать по данному сигналу, и те идут, полагая, что их пригласил Петион; эта хитрость не открывалась с неделю. Довольно ловкий прием, похожий на то, как если бы человек, находя, что день слишком короток, решил перевести часовую стрелку: только это для него и возможно.

Отметим также неожиданное появление при дворе Филиппа Орлеанского — последнее появление его при выходе какого бы то ни было короля. Некоторое время назад, по-видимому в зимние месяцы, он получил давно желанный чин адмирала, хотя только над гниющими в гавани кораблями. Желаемое пришло слишком поздно! Между тем он обхаживает Бертрана де Мольвиля, чтобы принести благодарность, даже заявляет, что желал бы поблагодарить Его Величество лично; что, несмотря на все отвратительные вещи, которые про него рассказывают, он далек в сущности, весьма далек от того, чтобы быть врагом Его Величества! Бертран передает поручение, устраивает королевскую аудиенцию, которой Его Величество доволен. Герцог, видимо, совершенно раскаялся и решил вступить на новый путь. И однако, что же мы видим в следующее воскресенье? «В следующее воскресенье, — говорит Бертран, — он явился к выходу короля; но придворные, не зная о происшедшем, — кучка роялистов, привыкших приносить королю приветствие именно по этим дням, — устроили ему в высшей степени унижительный прием. Они обступили его тесным кольцом, старались, как бы нечаянно, наступать ему на ноги, вытолкали его локтями за дверь и не пустили снова войти. Он пошел вниз, в апартаменты Ее Величества, где был накрыт стол; едва он появился, как со всех сторон раздались голоса: «Господа, берегите блюда!», словно у него в карманах был яд. Оскорбления, которым он подвергался всюду, где бы ни появлялся, заставили его удалиться, не повидав королевской семьи. Все последовали за ним до лестницы королевы; спускаясь, он получил плевков (*crachat*) на голову и несколько других на платье. Бешенство и злоба ясно отражались на его лице»³⁰. Да разве могло быть иначе? Он винит во всем этом короля и королеву, которые ничего не знают, и даже сами этим очень огорчены, затем снова исчезает в хаосе. Бертран находился в тот день во дворце и был очевидцем случившегося.

Что касается остального, то неприсягающие священники и преследования их тревожат совесть короля; эмигрировавшие принцы и знать принуждают его к двойственным поступкам, и одно *veto* следует за другим при всевозрастающем негодовании против короля, ибо патриоты, наблюдающие за всем извне, проникаются, как мы уже сказали, все большей подозрительностью. Снаружи, следовательно, возрастающая буря, одна вспышка патриотического негодования за другой, внутри — смятенный вихрь интриг и глупостей! Смятение и глупость, от которых невольно отворачивается глаз. Г-жа де Сталь плетет интриги в угоду своему любезному Нарбонну, чтобы сделать его военным министром, но не обретает покоя, даже и добившись этого. Король должен бежать в Руан, должен там с помощью Нарбонна «изменить конституцию надлежащим образом». Это тот самый ловкий Нарбонн, который в прошлом году при помощи драгун вызволил из затруднительного положения бежавших королевских теток. Говорят, что он их брат, и даже больше, — так жаждет сплетня скандалов. Теперь он поспешно едет со своей де Сталь к войскам в пограничные города, присылает не совсем достоверные, подкрашенные розовыми красками донесения, ораторствует, жестикулирует, маячит горделиво некоторое время

на самой вершине, на виду у всех, потом падает, получив отставку, и смывается рекой времени.

Интригует, к негодованию патриотов, и принцесса де Ламбаль, наперсница королевы; злополучная красавица, зачем она вернулась из Англии? Какую пользу может принести ее слабый серебристый голосок в этом диком реве мирового шквала, который занесет ее, бедную, хрупкую райскую птичку, на страшные скалы. Ламбаль и де Сталь, вместе или порознь, явно интригуют; но кто мог бы счесть, сколько и сколь различными путями незаметно интригуют другие! Разве не заседает тайно в Тюильри так называемый австрийский комитет, центр невидимой антinationальной паутины, нити которой тянутся во все концы земли, ибо мы окружены тайной? Журналист Карра теперь вполне уверен в этом; для патриотов партии Бриссо и для Франции вообще это становится все более и более вероятным.

О читатель, неужели тебе не жаль этой конституции? В членах у нее колющие ревматические боли, в мозгу — тяжесть гидроцефалии и истерического тумана, в самом существе ее коренится разлад; эта конституция никогда не пойдет; она едва ли даже сможет брести, спотыкаясь! Почему Друэ и прокурор Сосс не спали в ту злосчастную вареннскую ночь! Почему они, во имя Неба, не предоставили берлине Корф ехать, куда ей вздумается! Невыразимые несообразности, путаница, ужасы, от которых до сих пор содрогается мир, были бы, быть может, избегнуты.

Но теперь является еще третье обстоятельство, не предвещающее ничего хорошего для хода этой французской конституции: кроме французского народа и французского короля существует еще соединенная Европа. Необходимо взглянуть и на нее. Прекрасная Франция так светла, а вокруг нее смутная киммерийская ночь. Калонн, Бретей носятся далеко в тумане, опутывая Европу сетью интриг от Турина до Вены, до Берлина и до далекого Петербурга на морозном Севере! Великий Бёрк* давно уже возвысил свой громкий голос, красноречиво доказывая, что наступил конец эпохи, по всей видимости, конец цивилизованного времени. Ему отвечают многие: Камиль Демулен, витийствующий за человечество Клоотс, мятежный портной Пейн и почтенные гельские защитники в той или другой стране. Но великий Бёрк не внемлет им: «век рыцарства миновал» и не мог не миновать, произведя еще более неукротимый век голода. Много алтарей из Дюбуа-Роганского разряда переходят в разряд Гобель-Талейранский, переходят путем быстрых превращений в... называть ли их истинного владельца? Французская дичь и охранители ее упали с криками отчаяния на скалы Дувра. Кто станет отрицать, что настал конец многому? Поднялась группа людей, верящих, что истина — не печатная спекуляция, а реальная действительность, что свобода и братство возможны на земле, всегда считавшейся собственностью Духа Лжи, которую должен унаследовать Верховный Шарлатан! Кто станет отрицать, что церковь, государство, трон, алтарь в опасности, что даже священный денежный сундук, последнее прибежище отжившего человечества, кощунственно вскрыт и замки его уничтожены?

* Бёрк Эдмунд (1729—1797) — английский, политический деятель и публицист, автор контрреволюционного памфлета «Размышления о Французской революции».

Как ни деликатно, как ни дипломатично поступало бедное Учредительное собрание; сколько ни заявляло оно, что отказывается от всякого вмешательства в дела своих соседей, от всяких иностранных завоеваний и так далее, но с самого начала можно было предсказать, что старая Европа и новая Франция не могут ужиться вместе. Славная революция, ниспровергающая государственные тюрьмы и феодализм, провозглашающая, под грохот союзных пушек перед лицом всего мира, что кажущееся не есть действительность, — как может она существовать среди правительств, которые, если кажущееся не действительность, представляют неизвестно что? Она может существовать только в смертельной вражде, в непрестанной борьбе и войнах, и не иначе.

Права Человека, отпечатанные на всех языках на бумажных носовых платках, переходят на Франкфуртскую ярмарку³¹. Да что там на Франкфуртскую ярмарку! Они переправились через Евфрат и сказочный Гидасп, перенесли на Урал, Алтай, Гималаи; отпечатанные с деревянных стереотипов угловатыми картинными письменами, они читаются и обсуждаются в Китае и Японии. Где же это кончится? Киен Лун чует недоброе; ни один, самый далекий, далай-лама не может теперь мирно катать свои хлебные шарики. Все это ненавистно нам, как ночь! Шewe-

литесь, защитники порядка! И они шевелятся: все короли и князьки шевелятся грозно, насупив брови и опираясь на свою духовную временную власть. Поспешно летают дипломатические эмиссары, собираются конвенты, частные советы, и мудрые парики кивают, совещаясь, насколько это им доступно.

Как мы сказали, берутся за перо и памфлетисты с той и с другой стороны; рьяные кулаки стучат по крышкам пюпитров. И не без результата! Разве в прошлом июле железный Бирмингем не вспыхнул, сам не зная почему, в ярости, пьянстве и огне при криках: «За церковь и короля!» — и разве Престли и ему подобные, праздновавшие обедом день Бастилии, не были сожжены самым безумным образом? Возмутительно, если подумать! В тот же самый день, как мы можем заметить, австрийский и прусский монархи с эмигрантами выехали в Пильниц, что в Саксонии, где 27 августа, не высказываясь насчет дальнейшего «тайного договора», который мог и не состояться, провозгласили свои надежды и угрозы, заявив, что это «общее дело королей»*.

Где есть желание ссоры, там найдется и повод к ней. Наши читатели помнят ту ночь на Духов день 4 августа 1789 г., когда феодализм пал в несколько часов. Национальное собрание, уничтожая феодализм, обещало, что будет дано «возмещение», и старалось дать его. Тем не менее австрийский император объявил, что его германские принцы не могут быть лишены феодальных прав; они имеют поместья во французском Эльзасе и обеспеченные за ними феодальные права, которые ничем не могут быть возмещены. И вот дело о владетельных принцах (Princes Possessions) странствует от одного двора к другому и покрывает целые акры дипломатическими бумагами, вызывая скуку у всего мира. Кауниц доказывает из Вены; Делессар отвечает из Парижа, хотя, может быть, недостаточно резко. Император и его владетельные князья слишком очевидно хотят прийти и взять компенсацию, сколько удастся захватить. Разве нельзя было бы поделить Францию, как разделили и продолжают делить Польшу, и разом и успокоить, и наказать ее? Волнение охватило всю Европу, с севера до юга! Ведь действительно это «общее дело королей». Шведский король Густав, присяжный рыцарь королевы, хотел вести союзные армии, но помешал Анкарстрём, изменнически убивший его, потому что неприятности были и поближе к дому³². Австрия и Пруссия говорят в Пильнице, и все напряженно прислушиваются. Императорские рескрипты выходят из Турина; в Вене предстоит заключение тайной конвенции. Екатерина Российская одобрительно кивает головой: она помогла бы, если б была готова. Испанский Бурбон задвигался на своих подушках: помощь будет и от него — даже от него. Сухопарый Питт***, «министр приготовлений», подозрительно выглядывает из своей сторожевой башни в Сент-Джеймском дворце. Советники составляют заговоры, Калонн плавает в тумане, — увы, сержанты уже открыто барабанят на всех германских базарных площадях, вербуя оборванных храбрецов³³. Куда ни помотришь, со всех сторон неизмеримый обскурантизм охватывает прекрасную Францию, которая не хочет быть охваченной им. Европа в родовых муках; потуга следует за потугой, и что за крик слышен из Пильница! Плодом явится Война.

* Речь идет о подписании императором Леопольдом II и прусским королем Фридрихом Вильгельмом II декларации о совместных действиях помощи французскому монарху. Пильницкая декларация означала фактически создание первой коалиции феодально-абсолютистских монархий Европы против революционной Франции.

** Питт Уильям Младший (1759—1806) — английский государственный деятель, лидер партии тори, премьер-министр в 1783—1801 и 1804—1806 гг.

Но самое худшее, в этом положении еще предстоит назвать — это эмигранты в Кобленце. Многие тысячи их съехались туда, полных ненависти и угроз: братья короля, все принцы крови, за исключением безбожного герцога Орлеанского; дуэлисты де Кастри, краснойбаи Казалес, Мальсень с бычьей головой, бог войны Брольи; женоподобные дворяне, оскорбленные офицеры, все перебравшиеся по ту сторону Рейна. Д'Артуа приветствует аббата Мори поцелуем и прижимает его к своему августейшему сердцу! Эмиграция, текущая через границы то по каплям, то потоком, охваченная различными настроениями — страхом, дерзостью, яростью и надеждой, с первых бастильских дней, когда д'Артуа уехал, «чтобы пристыдить граждан Парижа», возросла до феноменальных размеров. Кобленц превратился в маленький заграничный Версаль — Версаль *in partibus*, здесь все продолжается по-прежнему: ссоры, интриги, господство фаворитов, даже наложниц, все старые привычки в меньшем масштабе, но обостренные жаждой мести.

Энтузиазм приверженности, ненависти и надежды поднялся до высокой отметки; это можно слышать в любой таверне в Кобленце из разговоров и песен. Мори присутствует в кружковом совете, в котором многое решается, между прочим составление списков эмиграции по числам, и месяц раньше или позже определяет большее или меньшее право в будущем дележе добычи. На самого Казалеса вначале смотрели холодно, потому что он случайно высказался в конституционном духе, — так чисты наши принципы³⁴. В Люттихе куют оружие; «3000 лошадей» направляются сюда с германских ярмарок; вербуются кавалерия, а равно и пехота «в синих мундирах, красных жилетах и нанковых шароварах»³⁵. Эмигранты ведут секретную внутреннюю переписку и открытую заграничную: переписываются с недовольными тайными аристократами, со строптивыми священниками, с «австрийским комитетом» в Тюильри. Вербовщики настойчиво сманивают дезертиров: почти весь полк Руаяль-Аллеман переходит к ним. Маршрут во Францию и раздел добычи уже определены, ждут только императора. «Говорят, что они хотят отравить источники, но, — прибавляют патриоты, сообщая это, — им не отравить источника Свободы», на что «on applaudit» (мы можем только аплодировать). У них имеются также фабрики фальшивых ассигнаций, и по Франции разъезжают люди, раздавая и распределяя их; одного из них выдают законодательствующему патриотизму: «некоего Лебрена, человека лет тридцати, с густыми белокурыми волосами»; у него, вероятно только временно, «подпухший глаз (oeil roché), он ездит в кабриолете, на вороной лошади»³⁶ и никогда не расстается с ним.

Несчастные эмигранты: их участь совпадала с участью Франции. Они не знают многого из того, что должны бы знать, не знают ни самих себя, ни своего окружения. Политическая партия, не осознающая своего поражения, может сделаться фатальной вещью для самой себя и для всего. Ничто не убедит этих людей в том, что они не могут разогнать Французскую революцию первым звуком своих военных труб, что эта революция — не бурная вспышка болтунов и крикунов, которые при взмахе кавалерийских сабель, при шорохе веревок палача спрячутся по углам, чем глубже, тем лучше. Но, увы, какой человек знает самого себя и верно оценивает окружающие его явления, иначе нужна ли была бы тогда физическая борьба? Никогда, пока эти головы не будут размозжены, они не поверят, что рука санкюлота имеет некоторую силу, а когда они будут размозжены, то верить будет уже слишком поздно.

Можно сказать без раздражения против этих бедных заблудших людей, что зло, исходящее от эмигрировавшей знати, более всех других зол роковым образом повлияло на судьбу Франции. Если б они могли это знать, могли понять! В начале 1789 года их еще окружал некоторый престиж и страх: пожары их замков, зажженных месяцами упорства, стали гаснуть после 4 августа и могли бы прекратиться совсем, если бы владельцы знали, что им защищать и от чего нужно отказаться, как от незащитимого. Они еще представляли иерархическую лестницу власти или общепринятое подобие ее, еще составляли связующее звено между королем и народом, передавали и претворяли постепенно, со ступени на ступень, приказания одного в повиновение других и делали приказания и повиновение еще возможными. Если бы они поняли положение дел и свою роль в нем, то Французская революция, совершившаяся рядом взрывов в годы и месяцы, распространилась бы на несколько поколений, и для многих уготована была бы не мучительная смерть, а тихая кончина.

Но люди эти были горды, высокомерны и недостаточно умны, чтобы поступать обдуманно. Они оттолкнули от себя все с презрительной ненавистью, обнажили шпаги и забросили ножны. Франция не только не имеет иерархии власти, чтобы претворять приказания в повиновение, — ее иерархия бежала к ее врагам и громко призывает их, нуждающихся только в предлоге, к вооруженному вмешательству. Завистливые короли и императоры долго смотрели бы, обдумывая вторжение, но боясь и стыдясь вмешаться, а теперь! когда братья короля и все французское дворянство, сановники и должностные лица, имеющие свободу высказываться, которой сам король лишен, — когда все они горячо призывают их, во имя права и силы? От пятнадцати до двадцати тысяч человек собрано в Кобленце, которые бряцают оружием с криками: «Вперед, вперед!» Да, господа, вы пойдете вперед — и разделите добычу сообразно численности вашей эмиграции.

Злосчастное Законодательное собрание и патриотическая Франция осведомлены обо всех этих делах через предателей-друзей, через торжествующих врагов. Памфлеты Сюлло из генерального штаба Ривароля циркулируют, возвещая великую надежду. Плакаты Дюрозуа покрывают стены; «Chant du Coq» криком приветствует день; его клюет «Ami des Citoyens»

Тальена. Друг короля Руаю в «Ami du Roi» в точных арифметических цифрах приводит численность армий различных вторгающихся монархов: в общем 419 тысяч иностранных солдат и 15 тысяч эмигрантов. И это не считая ежедневных и ежечасных дезертиров, о которых издателю газеты приходится ежедневно сообщать, — дезертирств целых рот, даже полков, которые с криками: «Vive le Roi, Vive la Reine!» — и с развернутыми знаменами переходят в чужой лагерь³⁷. Ложь! Пустяки! Нет, для патриотов не пустяки; не будет это пустяками в один несчастный день и для Руаю. Патриотизм может еще некоторое время орать и болтать, но часы его сочтены: Европа надвигается с 419 тысячами войска и французским рыцарством; можно надеяться, что виселицы получат свое.

Глава шестая

РАЗБОЙНИКИ И ЖАЛЕС

Итак, у нас будет война, и при каких обстоятельствах! При исполнительной власти, «притворяющейся» все с большей и большей естественностью «мертвой» и бросающей полные вождения взоры даже на врагов, — вот при каких обстоятельствах у нас будет война.

Энергичного и деятельного руководителя у нее нет, если не считать таким Ривароля с его генеральным штабом и 280 клакерами. Общественные учреждения бездействуют, даже сборщики податей забыли свои уловки и в некоторых провинциальных управлениях считают благо разумным удерживать те налоги, которые удастся собрать для покрытия своих собственных необходимых расходов. Наш доход состоит из ассигнаций, и выпуски бумажных денег следуют один за другим. А армии, наши три большие армии: Рошамбо, Люкнера, Лафайета? Исхудалые, безутешные, эти три великие армии оберегают границы, подобные трем стаям журавлей во время линьки, — погибающие, непокорные, дезорганизованные, никогда не бывавшие в огне, а опытные генералы и офицеры их ушли за Рейн. Военный министр Нарбонн, писавший отчеты в розовых красках, требует рекрутов, амуниции, денег, неизменно денег и, не получая их, грозит «взять свой меч», принадлежащий лично ему, и идти служить Отечеству³⁸.

Но вопрос из вопросов в том: что же делать? Обнажить ли нам сразу меч и с дерзким отчаянием, которому иногда благоприятствует счастье, идти против этого вторгающегося мира эмигрантов и обскурантов или же ждать, затягивать время дипломатическими переговорами, пока наши ресурсы не поправятся? Но поправятся ли они или наоборот? Сомнительно, мнения наиболее влиятельных патриотов разделились. Бриссо и его бриссотинцы, или жирондисты, громко кричат в Законодательном собрании за первый, вызывающий, план, а Робеспьер у якобинцев так же громко ратует за последний, за промедление, причем дело доходит до споров, даже до взаимных упреков, смущая Мать патриотизма. Подумайте, в каком возбуждении проходят завтраки у г-жи д'Юдон на Вандомской площади! Все крайне встревожены. Помогите, патриоты, или по крайней мере соединитесь, ибо время не ждет. Еще не миновали зимние морозы, как в «довольно уютную квартиру Ниортского замка» пришло письмо: генерала Дюмурье требуют в Париж. Письмо от военного министра Нарбонна: генерал должен дать совет во многих делах³⁹. В феврале 1792 года друзья-бриссотинцы приветствуют своего Дюмурье-Polymetis, которого действительно можно сравнить с древним Улиссом* в современном костюме: у него живые, пластичные движения, неукротимый пыл и ум, делающий его «мужем совета».

* Т. е. Одиссеем.

Пусть читатель представит себе прекрасную Францию, окруженную всей киммерийской Европой, словно надвигающейся на нее черной тучей, готовой разразиться огненным громом войны; сама же прекрасная Франция не может двинуться, связанная по рукам и ногам сложными путами своего социального одеяния или состряпанной для нее конституции. Прибавьте к этому голод, заговоры аристократов, отлучающих от церкви священников-диссентеров, «некоего Лебрена», подгоняющего своего вороного коня на глазах у всех, и еще более страшного в своей незримости инженера Гогела*, скачущего с шифрованными письмами королевы!

* Барон де Гогела — доверенное лицо королевы Марии Антуанетты.

Неприсягнувшие священники вызывают новые беспорядки на Мэне и Луаре; ни Ван-деа, ни торговец шерстью Катлино не перестают ворчать и брюзжать. А вот и опять выступает на сцену Жалес: сколько раз придется уничтожать этот реальный или воображаемый вражеский стан! Вот уже около двух лет, как он то тускнел, то снова ярко разгорался в перепуганном воображении патриотов; на самом деле, если бы знали патриоты! Это один из изумительнейших продуктов природы, действующей вместе с искусством. Аристократы-роялисты под тем или иным предлогом собирают простой народ в Севеннских горах; народ этот не боится мятежей и охотно дерется, только бедные головы его туго поддаются убеждению. Роялисты ораторствуют, играя главным образом на религиозной струне: «Правоверных священников преследуют, навязывают нам ложных пастырей; протестанты (некогда подвергавшиеся каре) теперь торжествуют, священные предметы бросаются собакам»; таким образом вызывается в набожных горцах глухой ропот. «Как же нам не вступить, храбрые севен-нские сердца, не поспешить на помощь? Ведь нам повелевает это священная религия, наш долг перед Богом и Королем». «Si fait, si fait (Конечно, конечно), — отвечают всегда храбрые сердца. — Mais il y a de bien bonnes choses dans la Révolution!» (Но в революции есть много хорошего!) Итак, дело это, что бы ни говорили, вертится только вокруг своей оси, не сходит с места и остается простой бутафорией⁴⁰.

Тем не менее больше льстите, играйте на известной струнке все громче и быстрее, вельможные роялисты! Крайним напряжением сил вы можете добиться того, что в будущем июне этот Жалесский лагерь внезапно превратится из бутафорского в настоящий. В нем две тысячи человек, которые хвастают, будто их семьдесят тысяч; вид у него очень странный: развевающиеся флаги, сомкнутые штыки, прокламации и комиссия гражданской войны под председательством д'Артуа! Пусть Ребекки или другой какой-нибудь пылкий, но рассудительный патриот вроде «подполковника Обри», если Ребекки занят в другом месте, пусть они немедленно двинут национальных гвардейцев и рассеют Жалесский лагерь, да, кстати, разгромят и старый замок⁴¹, чтобы по возможности ничего больше не было слышно об этом лагере.

В феврале и марте страх, особенно у сельского населения Франции, достиг крайних пределов, почти граничащих с безумием. По городам и деревням носятся слухи о войне, об избиении, о близости австрийцев, аристократов, а главное — разбойников. Люди покидают свои дома и хижины и, забрав жен и детей, бегут с криками, сами не зная куда. Такая паника, по словам очевидцев, никогда еще не охватывала нацию и не охватит даже во времена так называемого террора. Весь край по течению Луары, весь центр и юго-восточная область поднимаются в смятении «одновременно, как от электрического удара» — ведь и хлеба становится все меньше и меньше. «Народ запирает баррикадами въезды в города, натаскивает камней в верхние этажи, женщины готовят кипяток, с минуты на минуту ожидая атаки. В деревнях непрерывно звонит набат, толпы созванных им крестьян бродят по дорогам в поисках воображаемого врага. Они вооружены по большей части косами на деревянных древках, и когда эти дикие полчища подходят к забаррикадированным городам, то нередко их самих принимают за разбойников».

Так бурлит старая Франция, готовая рухнуть. Каков будет конец, не известно ни одному смертному, но, что конец близок, это знают все.

Глава седьмая

КОНСТИТУЦИЯ НЕ ЖЕЛАЕТ ИДТИ

Всему этому наше бедное Законодательное собрание, у которого вдобавок не ладится с конституцией, не может противопоставить ничего, что могло бы помочь, кроме всплесков парламентского красноречия. Оно продолжает дебатировать, обвинять, упрекать, представляя собою шумный, волнующийся, сам себя пожирающий хаос.

А две с лишним тысячи постановлений? Читатель, к счастью, они не касаются ни тебя, ни меня. Это случайные постановления, глупые или нет, но рассчитанные только на данный день, на злобу этого дня. Изю всех двух тысяч не наберется и десяти, которые могли бы быть нам полезны или вредны, да и те большею частью при самом рождении задушены королевским veto. Согласно одному из них, 17 января в Орлеане открыл свои заседания Верховный суд (Haute Cour) Законодательного собрания. Теория его была выработана Конституантой в про-

шлом мае и теперь применяется на практике. Это суд для разбирательства политических преступлений; у него не будет недостатка в работе. По отношению к этому суду было постановлено, что он не нуждается в санкции короля, так что здесь veto не могло иметь места. Другим постановлением с прошлого октября допущены браки священников. Один отважный священник, мало того что женился до издания этого закона, но еще пришел со своей молодой женой в суд, чтобы все могли порадоваться его медовому месяцу и чтобы добиться издания закона.

Менее утешительны законы против протестующих священников, и, однако, они не менее нужны! Нас главным образом интересуют постановления относительно священников и эмигрантов: это две краткие серии постановлений, выработанных в бесконечных дебатах и уничтоженных королевским veto. Верховное Национальное собрание обязательно должно было привести в повиновение этих непокорных, клерикалов или мирян, и принудить их к послушанию, однако всякий раз, когда мы направляем наш законодательный кулак и хотим придавить или даже раздавить совсем, чтобы непокорные уступили, в дело вмешивается королевское veto, парализуя нас, как волшебством, и наш кулак, едва сжимающийся, а еще меньше уничтожающий, не оказывает никакого действия.

Поистине грустная серия постановлений, даже несколько серий, парализованных этим veto. Сначала 28 октября 1791 года мы имеем возвещенную глашатаями и плакатами прокламацию Законодательного собрания, которая приглашает эмигрировавшего Monsieur, брата короля, под страхом наказания возвратиться в течение двух месяцев. На это приглашение Monsieur не отвечает ничего, если не считать газетной пародии, в которой он под страхом наказания приглашает высокое Законодательное собрание «вернуться к здравому смыслу в течение двух месяцев». Тогда Законодательному собранию приходится прибегнуть к более строгим мерам. Так, 9 ноября мы объявляем всех эмигрантов «подозреваемыми в заговоре» и, короче, «объявленными вне закона», если они не вернутся к Новому году, — скажет ли король veto? Что с владений этих людей должны взиматься «тройные налоги» или даже что владения их должны быть секвестированы, понятно само собой. Затем, когда к Новому году никто не вернулся, «мы заявляем» — и через две недели повторяем еще внушительнее, — что Monsieur лишается права на наследование короны (déchu) и, мало того, что Конде, Калонн и еще довольно длинный список других лиц обвиняются в государственной измене и подлежат суду Верховного орлеанского совета. — Veto! Затем по отношению к неprisягающим священникам в минувшем ноябре было постановлено, что они лишаются получаемых ими пенсий, «отдаются под надзор surveillance» и в случае надобности подвергаются изгнанию. — Veto! Следует еще более строгая мера, но ответом на нее опять-таки является veto.

Veto за veto; наш кулак парализован! Боги и люди могут видеть, что Законодательное собрание находится в ложном положении. Но кто же не в ложном? Поднимаются уже голоса за «Национальный Конвент»⁴². Бедное Законодательное собрание, прищипываемое и побуждаемое к деятельности всей Францией и всей Европой, не может действовать; оно может только сыпать укоры, разглагольствовать, вносить бурные «предложения», для которых закрыты все ходы, и кипятиться с шумом и пенящейся яростью!

Какие сцены происходят в этом национальном зале! Председатель звонит в свой слышимый колокольчик или в знак крайнего отчаяния надевает шляпу; «минут через двадцать шум утихает», и тот или другой нескромный член Собрания препровождается на три дня в тюрьму Аббатства. Надо пригласить и допросить подозрительных лиц; старый де Сомбрей из Дома инвалидов должен дать отчет, почему он оставляет ворота открытыми. Необычный дым поднялся над Севрской фарфоровой фабрикой, указывая на заговор; мастера поясняют, что это сжигаются «Мемуары» Ламот, героини истории с ожерельем, скупленные Ее Величеством⁴³, которые тем не менее всякий желающий может читать и поныне.

Затем рождается подозрение, что герцог Бриссак и конституционная гвардия короля «тайно изготавливают патроны в погребах»: это шайка роялистов, честных и нечестных; многие из них — настоящие головорезы, набранные в игорных домах и притонах; их 6000 вместо 1800, и они мрачно глазят на нас, когда мы входим во дворец⁴⁴. Поэтому после бесконечных прений Бриссака и королевских гвардейцев решают распустить и действительно распускают после двух месяцев существования, так как охрана эта не продержалась и до марта того же года. Таким образом, новый конституционный штат (Maison militaire) короля распущен, и ему опять приходится

довольствоваться охраной одних швейцарцев и синих национальных гвардейцев. По-видимому, такова участь всех конституционных начинаний. Король не согласился на учреждение при нем конституционного гражданского штата (*Maison civile*), как ни настаивал на этом Барнав; старые постоянные герцогини косились на новых людей и держались в стороне; к тому же и королева считала, что не стоит этого затевать, так как дворянство очень скоро вернется торжествующим⁴⁵. Продолжая следить за тем, что происходит в национальном зале, мы видим, как епископ Торне, конституционный прелат не слишком строгих нравов, предлагает уничтожить «духовное одеяние и тому подобные карикатурные вещи». Епископ Торне горячо защищает свое предложение и кончает тем, что снимает свой наперсный крест и бросает его в качестве залога на стол. Крест этот немедленно покрывается крестом *Te Deum* Фоше, а потом и другими крестами и знаками духовного сана, пока все не освобождаются от них; вслед за тем один клерикальный сенатор срывает свою ермолку, другой — свое жабо, чтобы фанатизм не обрушился на них⁴⁶.

Как быстро все это делается! И как несущественно, туманно, бессильно, почти призрачно, словно в царстве теней! Неугомонный Ленге, кажущийся сморщившимся, словно призрак, ходатайствует здесь о каком-то своем деле, среди шума и перерывов, превосходящих человеческое терпение, и в результате этот раздражительный, сухой человек «разрывает свои бумаги и удаляется». Другие почтенные члены в возбуждении также рвут свои бумаги; Мерлей де Тионвиль рвет свои бумаги, крича: «Так вам не спасти народа!» Нет недостатка и в депутациях: депутации от секций, обыкновенно с жалобами или доносами и всегда с пылкими патриотическими чувствами, депутация от женщин, например, которые просят, чтобы им было разрешено взять пики и упражняться на Марсовом поле. Почему бы и нет, амазонки, если вам так этого хочется! Затем, исполнив поручение и получив ответ, депутации «дефилируют по залу с пением «*Ça ira*» или же кружатся в ней, танцуя свою *ronde patriotique* — новую «Карманьолу», или военный танец и танец свободы. Патриот Гюгенен, экс-адвокат, экс-карабинер, судейский экс-писец, является в качестве депутата в сопровождении представителей Сент-Антуана и жалуется на антипатриотизм, голод, продажность, людоедов, вопрошая в заключение высокое собрание: «Неужели же в ваших сердцах не забьет набат против этих *mangeurs d'hommes*?»⁴⁷

Но главным и постоянным занятием Законодательного собрания являются порицания королевских министров. О министрах Его Величества мы до сих пор не говорили да и впредь не скажем почти ничего. Они еще призрачнее! Грустное зрелище: ни один не может удержаться, ни один по крайней мере со времени исчезновения Монморена; «старейшему по службе в совете короля иногда не более десяти дней»⁴⁸. Это конституционалисты-фейяны, как наш почтенный Кайе де Гревиль, как злополучный Делессар, или конституционалисты-роялисты, как Монморен, последний друг Неккера, или аристократы, как Бертран де Мольвиль*. Все они мелькают, словно призраки, в огромном, кипучем смятении; жалкие тени, брошенные во власть бушующих ветров; бессильные, без значения — стоит ли обременять ими людскую память?

* Бертран де Мольвиль Антуан Франсуа — морской министр в 1791 г.

Но как часто собирают вместе этих бедных королевских министров, как их расспрашивают, опекают; им даже угрожают, их почти запугивают! Они отвечают что могут, с искуснейшим притворством и казуистикой, и бедное Законодательное собрание не знает, что делать с их ответами. Несомненно одно: Европа надвигается на нас, и Франция (хотя еще и не мертвая) не может двинуться с места. Берегитесь, господа министры! Язвительный Гюаде пронизывает вас перекрестными вопросами с внезапными адвокатскими заключениями; дремлющая буря, притаившаяся в Верньо, может проснуться. Неутомимый Бриссо составляет доклады, обвинения, бесконечные водянистые рассуждения: настал великий праздник для этого человека. Кондорсе пишет своим твердым пером «обращение Законодательного собрания к французскому народу»⁴⁹. Пламенный Макс Инар, который, впрочем, желает выставить против этих киммерийских врагов «не меч и огонь, а свободу», стоит за объявление «министров ответственными под страхом смерти, *nous entendons la mort*».

В самом деле, положение становится серьезным: время не терпит, и появились изменники. У Бертрана де Мольвиля гладкий язык, а в сердце этого известного аристократа желчь. Как он скор на ответы и разъяснения и как они изворотливы и приятны для слуха! Но самое замечательное случилось однажды, когда Бертран кончил отвечать и удалился. Едва высокое

Собрание начало обсуждать, что с ним делать, как вдруг зал наполнился дымом — густым, удушливым дымом, так что совершенно нельзя было говорить; все только хрипели и кашляли, и заседание пришлось отложить⁵⁰. Чудо? Характерное чудо? Чем оно объясняется — неизвестно; известно только, что «кистопник был назначен Бертраном» или кем-то из его подчиненных. О смрадное, смятенное царство теней с танталовыми муками, с яростными огненными потоками и реками жалоб! Зачем нет у тебя Леты, в которой можно было покончить с этими страданиями?

Глава восьмая

ЯКОБИНЦЫ

Тем не менее пусть патриоты не впадают в отчаяние. Разве нет у нас в Париже по крайней мере добродетельного Петиона и целого патриотически настроенного муниципалитета? Добродетельный Петион уже с ноября состоит парижским мэром; в нашем муниципалитете публика — теперь она допускается туда — может видеть энергичного Дантона; язвительного, неповоротливого, но надежного Манюэля; решительного, без тени раскаяния Бийо-Варенна, воспитанника иезуитов; способного редактора Тальена и других, лучших или худших, но истых патриотов. Так сложились ноябрьские выборы, на радость большинству граждан; сам двор подерживал Петиона, а не Лафайета. Таким образом, Байи и его фейянам, давно уже начавшим уменьшаться, подобно луне, пришлось с грустью откланяться и удалиться в небытие или, пожалуй, в нечто худшее, в обманчивый полусвет со страшной тенью красного флага и с горькой памятью о Марсовом поле. Как быстро двигаются вперед люди и явления! Теперь Лафайет не будет, как в День Федерации, бывший зенитом его жизни, «твердо опираться мечом на Алтарь Отечества» и присягать перед лицом Франции; о нет, с того дня звезда его все бледнела и склонялась к закату и теперь печально стоит на краю горизонта; Лафайет командует одной из трех армий этих верениц линияющих журавлей и ведет себя крайне подозрительно и бездейственно, чувствуя себя неловко.

Но разве в крайнем случае патриоты, располагающие тысячами сил в этой мировой столице, не могут справиться сами? Разве у них нет рук, нет пик? Мэр Байи не мог помешать ковать пики, а мэр Петион и Законодательное собрание не только не мешают, но и санкционируют это дело. Да и почему нет, раз так называемая конституционная гвардия короля «тайно изготовляла патроны»? Реформы нужны и в самой Национальной гвардии, весь ее фейяно-аристократический штаб должен быть распущен. Граждане без мундиров, пики рядом с мушкетами, несомненно, могут быть допущены в гвардию в нынешние времена; разве «активный» гражданин и пассивный, могущий сражаться за нас, не одинаково желанны оба? О друзья мои патриоты, без сомнения, так! Более того, очевидно, что патриоты, будь они даже и в белых жабо здравомыслящие и уважаемые, должны или чистосердечно опереться на черную необъятную массу санкюлотизма, или же исчезнуть самым ужасающим образом, провалившись в ад! Поэтому одни отворачиваются от санкюлотов, презирают их; другие готовы с чистым сердцем опереться на них, третьи, наконец, обопрутся на них нечистосердечно, и каждую из этих трех групп постигнет своя участь.

Однако разве в данной ситуации мы не имеем сейчас добровольного союзника, который сильнее всех остальных, — союзника по имени Голод? Голод и тот вихрь панического страха, который нагнетает голод и все прочие наши беды, вместе взятые! Ведь санкюлотизм растет оттого, от чего другие явления умирают. Тупоумный Пьер Бай произнес, хотя и бессознательно, почти эпиграмму, и патриоты смеялись не над ней, а над ним, когда он писал: «Tout va bien ici, le pain manque» (Здесь все идет хорошо — хлеба нет)⁵¹.

Кроме того, у патриотов есть своя конституция, способная ходить, и свой небессильный парламент, или назовем его вселенским собором, собранием церквей Жан Жака Руссо, а именно: Якобинское общество «Мать». Ведь у этой матери триста взрослых дочерей с маленькими внучками, пытающимися ходить, в каждой французской деревне, исчисляемыми, по мнению Бёрка, сотнями тысяч! Вот это настоящая конституция, созданная не тысячью двумястами высокими сенаторами, а самой природой и возникшая сама собой, бессознательно, из потребностей и стараний 25 миллионов людей! Наши якобинцы — «господа законодатели»; они изыскивают

темы дебатов для Законодательного собрания, обсуждают мир и войну, устанавливают заранее, что должно делать это Собрание, к огромному возмущению философов и большинства историков, которые судят в этом случае естественно, но не умно. Правящая власть должна существовать; все ваши прочие власти — обман; эта же — действительно власть.

Велико «Общество—Мать»! Оно имело честь быть обвиненным австрийцем Кауницем⁵² и потому еще дороже патриотам. Благодаря удаче и смелости оно уничтожило самих фейянов, по крайней мере Клуб фейянов. 18 февраля якобинцы с удовлетворением наблюдали, как этот клуб, некогда высоко державший голову, закрылся, погас; патриоты с шумом вошли туда, и последние его минуты огласились их свистом. Общество «Мать» увеличило свое помещение и заняло теперь всю среднюю часть якобинской церкви. Заглянем в нее вместе с достойным Тулонжоном, нашим старым другом из бывшей Конституанты, который, к счастью, не лишен способности видеть. «Неф* церкви якобинцев, — говорит он, — превращен в обширную арену, в которой места поднимаются полукругом, наподобие амфитеатра, до самого верха куполообразной крыши. Высокая пирамида черного мрамора, построенная около одной из стен и бывшая раньше надгробным памятником, одна оставлена на месте; к ней примыкает теперь помещение для членов бюро. Здесь, на возвышенной эстраде, заседают председатель и секретари; сзади над ними стоят белые бюсты Мирабо, Франклина и многих других, в том числе даже Марата. Напротив — трибуна, поднимающаяся до середины пространства между полом и верхом купола, так что оратор находится как раз в центре. С этого места гремят голоса, потрясающие Европу; внизу безмолвно куются перуны и тлеют головни будущих пожаров. Если проникнуть в этот огромный круг, где все безмерно, гигантских размеров, то нельзя подавить чувства страха и удивления; воображению рисуются ужасные храмы, которые исстари поэзия посвящала мстительным божествам»⁵³.

* Неф (корабль) — название продольной части западноевропейского христианского храма.

Какие сцены происходят в этом якобинском амфитеатре! К сожалению, у истории нет времени заняться ими! Здесь дружно развевались флаги «трех свободных народов мира», три братских флага Англии, Америки и Франции; с одной стороны, выступала лондонская депутация вигов и их клуба; с другой — молодые французские гражданки; прекрасные, сладкоголовые гражданки торжественно посылали депутатам приветствия и братские поцелуи, трехцветные, собственноручно вышитые значки и, наконец, колосья пшеницы, в то время как своды дрожали от единодушных криков: «Vivent les trois peuples libres!» (Да здравствуют три свободных народа!) Поистине драматичная сцена! Девица Теруань рассказывает с этой воздушной трибуны о своих бедствиях в Австрии; она является, опираясь на руку Жозефа Шенье, брата поэта, просит освобождения несчастных швейцарцев полка Шатовье⁵⁴. Надейтесь, 40 швейцарцев, гребущих в брестских водах, вы не забыты!

Депутат Бриссо ораторствует с трибуны; Демулен, наш безбожный Камиль, громко выкрикивает снизу: «Coquin!»* Здесь же, хотя гораздо чаще в церкви кордельеров, гремит и львиный голос Дантона. Злобный Бийо-Варенн также здесь; Колло д'Эрбуа кипятится, ратуя за 40 швейцарцев. Любитель изрекать Манюэль выразительно заканчивает речь словами: «Один из министров должен погибнуть!», на что амфитеатр отвечает: «Tous, tous!» (Все, все!) Но местным верховным жрецом и главным оратором является Робеспьер, неподкупный, но скучный человек. Какой патриотический дух жил в людях того времени, это доказывает уже один тот факт, что полторы тысячи человек могли каждый вечер добровольно, целыми часами, слушать речи Робеспьера и рукоплескать ему, ловить каждое его слово, как будто от этого зависела их жизнь. А между тем редко более несносный человек открывал рот на ораторской трибуне. Желчный, бесильно-непримиримый, скучно-тягучий, сухой, как гарматтан**, он ратует в бесконечно серьезной, но поверхностной речи против немедленной войны, против шерстяных колпаков или *bonnets rouges*, против многого другого, являя собой далай-ламу патриотов. Тем не менее ему почтиительно возражает маленький человечек с резким голосом, но с красивыми глазами и прекрасным высоким лбом; по словам газетных репортеров, это Луве, автор прелестного романа «*Faibles*». Будьте стойки, патриоты! Не расходитесь по двум дорогам теперь, когда Франция, охваченная паникой, рушится в сельских округах и киммерийская Европа надвигается на вас грозой!

* Бездельник.

Глава девятая

МИНИСТР РОЛАН

Однако в преддверии весеннего равноденствия патриотов неожиданно озаряет луч надежды — назначение нового министерства, насквозь проникнутого духом патриотизма. Король в своих бесчисленных попытках смешать огонь с водой хочет попробовать и это. *Quod bonum sit!* Завтраки г-жи д'Юдон приобретают новый смысл; нет ни одного человека, не исключая женева Дюмона, который не высказал бы на них своего мнения, и вот переговоры, продолжавшиеся с 15 по 23 марта 1792 года, приходят наконец к счастливому результату — к назначению патриотического министерства.

Генерал Дюмурье, которому вверен портфель министра иностранных дел, должен выступить против Кауница и австрийского императора в ином тоне, чем бедный Делессар*, который предан за мягкотелость орлеанскому Верховному суду. Военный министр Нарбонн смыт рекой времени; бедный Шевалье де Грав**, избранный двором, тоже вскоре исчезнет; затем внезапно главой военного министерства станет серьезный Серван, способный военный инженер. Женевец Клавьер видит, как сбывается одно его предчувствие: проходя однажды, много лет назад, бедным женевающим изгнанником мимо министерства финансов, он был внезапно озарен странной мыслью, что ему суждено быть министром финансов; и вот он получает это назначение, а его бедная больная жена, на излечение которой врачи потеряли всякую надежду, встает и ходит, уже не как жертва своих нервов, а как победительница их⁵⁵. Но прежде всего кто у нас министр внутренних дел? Ролан де ла Платьер из Лиона! Так решили бриссотинцы, общественное или частные мнения и завтраки на Вандомской площади. Строгий Ролан, похожий на разряженного квакера (*Quaker endimanché*), отправляется на целование руки в Тюильри в круглой шляпе, гладко причесанный, завязав башмаки простыми лентами или шнурками. Церемониймейстер отзывается в сторону Дюмурье: «*Quoi, Monsieur! У него башмаки без пряжек!*» «Ах, месье, отвечает Дюмурье, взглянув на шнурки, — все пропало!» (*Tout est perdu!*)⁵⁶

* Делессар Антуан (1742—1792) — министр иностранных дел, предшественник Дюмурье на этом посту.

** Маркиз де Грав Пьер Мари (1755—1823) — военный, политический деятель, писатель. С марта по май 1792 г. занимал пост военного министра, эмигрировал в Англию, вернулся в 1804 г.

И вот наша красавица Ролан переселяется из своего верхнего этажа на улице Сен-Жак в роскошные салоны, которые некогда занимала г-жа Неккер. Еще раньше в этом помещении жил Калонн; он завел всю эту позолоту, инкрустированную мебель и бронзу, повесил эти люстры, венецианские зеркала, отполировал весь паркет и превратил эти салоны в настоящий дворец Аладдина. А теперь, смотрите, он уныло бродит по Европе, чуть не потонул в Рейне, спасая свои бумаги. *Vos non vobis!* Красавица Ролан, умеющая найти выход из любого положения, устраивает по пятницам парадные обеды, на которых присутствуют все министры; по окончании обеда она удаляется за свой столик и, по-видимому, усердно пишет, однако не пропускает ни слова, и, если, например, депутат Бриссо и министр Клавьер слишком горячо спорят, она, не без робости, но с лукавой грацией, старается примирить их. Голова депутата Бриссо, забравшегося вдруг на такую высоту, говорят, начинает кружиться, что часто случается со слабыми головами.

Завистники распускают слух, что настоящий министр — жена Ролана, а не он сам; по счастью, это худшее, в чем могут упрекнуть ее. Во всяком случае чья бы голова ни кружилась, но только не голова этой мужественной женщины. Она так же величаво спокойна в этих апартаментах, как некогда на собственном наемном чердаке в монастыре урсулинок! Она, молодой девушкой лущившая бобы для своего обеда, побуждаемая к этому рассудительностью и расчетом, знает цену этой роскоши и самой себе; ее нельзя смутить этими инкрустациями и позолотой. Калонн, создавший это великолепие, давал здесь обеды, причем старик Безанваль дипломатически шептал ему, что нужно, на ухо; Калонн был велик, и все-таки мы видели, как в конце концов ему осталось только «ходить большими шагами взад и вперед». Потом был Неккер, а где те-

перь Неккер? И новых министров также принесла сюда быстрая смена событий; такая же быстрая смена и унесет нас отсюда. Это не дворец, а караван-сарай!*

* Караван-сарай (тур.) — постоялый двор.

Так колышется и кружится этот беспокойный мир день за днем, месяц за месяцем. Улицы Парижа и всех городов ежедневно залиты волнуемым морем людей, которые к ночи исчезают, принимая горизонтальное положение в своих кроватях, чтобы наутро, проснувшись, снова занять вертикальное положение и прийти в движение. Люди ходят по своим делам, умным или глупым; инженер Гогела разъезжает взад и вперед с шифрованными письмами королевы. Г-жа де Сталь в хлопотах: она не может вытащить своего Нарбонна из реки времени; принцесса Ламбаль тоже в хлопотах: она не может помочь своей королеве. Барнав, видя, что фейяны рассеялись и Кобленц слишком оживлен, просит позволения на прощание поцеловать руку королевы, «не предвидя ничего хорошего из ее новой линии поведения», и удаляется в родной Гренобль, где женится на богатой наследнице. В кафе «Валуа» и ресторане «Мео» ежедневно слышны гасконады — громкая болтовня роялистов на половинном жалованье с кинжалами или без. Остатки аристократических салонов называют новое министерство *Ministère Sansculotte* (министерством санкюлотов). Луве, автор «Фобласа», занят у якобинцев. Казотт, автор романа «*Le diable amoureux*», занят в другом месте. Лучше бы тебе сидеть смиренно, старик Казотт, ведь это мир, в котором волшебное становится явью. Все заняты и при этом лишь наполовину сознают, что делают: разбрасывают семена, большей частью плевелы, по огромному «полю времени», которое покажет впоследствии, что они посеяли.

Социальные взрывы несут в себе нечто страшное, как бы безумное, волшебное, но это жизнь и на самом деле хранит в своих тайниках; так, по легенде, немая земля, если вырвать из нее волшебный корень, издает демонический, сводящий с ума стон. Эти взрывы и возмущения зреют, разряжаются, подобно немому страшным силам природы, и все же они — человеческие силы, и мы сами часть их. Демоническое, заключающееся в человеческой жизни, разразилось над нами, оно сметет и нас! Один день похож на другой, и все же они не одинаковы, а различны. Сколько вещей на свете растут безмолвно, неудержимо, каждую минуту! Растут мысли, формы речи, обычаи и даже костюмы; еще заметнее растут поступки и дела и роковая борьба Франции с самой собой и с целым миром.

Теперь слово «Свобода» никогда не произносится одно, а всегда в сочетании с другим: Свобода и Равенство. Что же в царстве свободы и равенства могут означать такие слова, как «господин», «ваш покорный слуга», «имею честь быть» и тому подобные? Лохмотья и волокна старого феодализма, которые, хотя бы только в грамматическом отношении, должны быть искоренены! В Якобинский клуб давно уже внесены такого рода предложения, но он не мог заняться ими в настоящий момент. Заметьте, какой символический головной убор носят теперь якобинцы: шерстяной колпак (*bonnet de laine*) -ночной колпак, более известный под названием «*bonnet rouge*» (красный колпак), потому что он красного цвета. Колпак этот принято носить не только как фригийскую шапку свободы, но и ради удобства и отчасти в честь патриотов низших классов и героев Бастилии; значит, красный ночной колпак имеет тройное значение. Даже кокарды теперь начинают делать из трехцветной шерсти: кокарды из лент, как признак фейянской гордости высших классов, становятся подозрительными. Знамена времени!

Далее, обратите внимание на родовые муки Европы или, вернее, на плод, который она принесет, потому что отмечать последовательно муки и крики австрийско-прусского союза, антиякобинские депеши Кауница, изгнания французских послов и так далее было бы слишком долго. Дюмурье переписывается с Кауницем, Меттернихом или Кобенцлем* в другом тоне, чем делал это Делессар. Отношения становятся все более натянутыми; по поводу кобленцских дел и многого другого требуется категорический ответ. Но его нет! А так как его нет, то 20 апреля 1792 года король и министры являются в *Salle de Manège*, излагают положение дел, и бедный Людовик «со слезами на глазах» предлагает, чтобы Собрание постановило объявить войну. После должных потоков красноречия война декретирована в тот же вечер.

* Кобенцль Людвиг (1753—1809) — граф, австрийский дипломат и государственный деятель.

Итак, значит, война! Париж, полный ожидания, толпой явился на утреннее и в еще большем числе на вечернее заседание. Здесь и герцог Орлеанский с двумя сыновьями; он смотрит, широко раскрыв глаза, с противоположной галереи⁵⁷. Можешь смотреть, Филипп: эта война будет богата результатами как для тебя, так и для всех. Киммерийский обскурантизм и трижды славная революция будут сражаться за исход ее около двадцати четырех лет, топча и давя все в титанической борьбе, прежде чем придут не к соглашению, а только к компромиссу и к приблизительному признанию каждым того, что есть в другом.

Так пусть наши три генерала* на границах основательно все взвесят и пусть бедный Шевалье де Грав, военный министр, обдумает, что ему делать! Чего можно ожидать от трех армий с их генералами, это легко предвидеть. Что касается злосчастного Шевалье де Грава, то в вихре надвигающихся событий и обрушивающихся на него дел он теряет голову, бестолково вертится в круговороте, подписывается в конце концов: «Де Грав, мэр Парижа», затем выходит в отставку и переправляется через Канал, чтобы погулять в Кенсингтонских садах⁵⁸. На его пост назначается строгий Серван, способный военный инженер. Почетный ли это пост? Во всяком случае трудный.

* Лафайет, Рошамбо, Люкнер.

Глава десятая

ПЕТИОН-НАЦИЯ-ПИКА

И все же как шаловливо играют в темных, бездонных стремнинах фантастически окрашенные брызги и тени, скрывая бездну под распыленной радугой! Наряду с обсуждением войны с Австрией и Пруссией ведутся не менее, а пожалуй, и более оживленные прения о том, следует ли освободить 40 или 42 швейцарца с брестских галер. И в случае освобождения следует ли почтить их общественными или же только частными торжествами?

Девица Теруань, как мы видели, говорила, и Колло продолжал ее речь. Разве последнее самоизобличение Буйе в Ночь Шпор не заклеимило так называемый мятеж в Нанси названием «резня в Нанси» в мнении всех патриотов? Ненавистна эта резня; ненавистна «общественная благодарность», высказанная за него лафайето-фейянами! Патриоты-якобинцы и рассеянные фейяны борются теперь не на жизнь, а на смерть и сражаются всяким оружием, даже театральными спектаклями. Поэтому стены Парижа покрыты плакатами и контрплакатами по поводу швейцарских болванов. Между газетами ведется полемика; актер Колло возражает рифмоплету Руше, Жозеф Шенье, якобинец, рыцарь Теруань, — своему брату поэту Андре, фейяну, мэр Петсион — Дюпон де Немуру, и в течение двух месяцев все умы поглощены этим делом, пока наконец оно не разрешается.

Gloria in excelsis! 40 швейцарцам наконец «дарована амнистия». Радуйтесь, 40 швейцарцев, снимайте ваши грязные шерстяные колпаки, которые должны стать теперь шапками Свободы. Брестское отделение Матери патриотизма приветствует вас при высадке на берег поцелуями в обе щеки; за ваши железные ручные кандалы дерутся, как за священные реликвии; брестское общество, конечно, может получить часть их, которую оно перекует на пики, род священных пик, но другая часть должна принадлежать Парижу и спускаться там со свода рядом со знаменами трех свободных народов! Какой, однако, гусь — человек! Он готов гоготать над чем угодно: и над плюшем и атласом монархов, и над шерстяными колпаками каторжников, и над всем, и над ничем, — и готов гоготать от всей души, если и другие гогочут!

Утром 9 апреля эти 40 тупоголовых швейцарцев прибывают через Версаль среди несущихся к небу «виват» и при скоплении мужчин и женщин. Их ведут в городскую Ратушу, даже в само Законодательное собрание, хотя и небеспрятственно. Их приветствуют торжественными речами, угощают, одаривают, в чем, не из-за угрызений совести, принимает участие даже двор, и на следующее воскресенье назначается общественное празднество в честь их⁵⁹. В этот день их сажают на «триумфальную колесницу», похожую на корабль, везут через Париж под звуки труб и барабанов, при рукоплесканиях толпы, привозят на Марсово поле к Алтарю Отечества и наконец, так как время от всего приносит избавление, увозят и предают вечному забвению.

Вслед за тем и разогнанные фейяны, или та партия, которая любит свободу, но не больше, чем монархию, тоже желают устроить свой праздник — праздник в память Симонно, злополучного мэра Этампа, погибшего за закон — несомненно за закон, хотя якобинцы и оспаривают это, — потому что он был раздавлен во время хлебного бунта вместе со своим красным флагом. На этом празднестве также присутствует народ, но не рукоплещет.

Словом, в празднествах нет недостатка; красивые радужные брызги сверкают, в то время как всё с утроенной скоростью несется к своей Ниагаре. Происходят национальные банкеты, покровительствуемые мэром Петионом; Сент-Антуан и дебелые представительницы Рынка дефилируют через Клуб якобинцев, так как, по словам Сантера, «их счастье иначе было бы неполным», хором распевая «*Ça ira!*» и танцуя *ronde patriotique*. В их числе мы с удовольствием видим Сент-Юрюга, святого Христофора карманьолы, специально для этого «в белой шляпе». Некий Тамбур, или национальный барабанщик, у которого только что родилась дочка, даже решается окрестить новую французскую гражданку перед Алтарем Отечества. Так и делают по окончании пира; обряд совершает Фоше, епископ молебнов. Тюрियो и другие почтенные лица являются крестными, и дитя получает имя Петион-Нация-Пика (*Pétion-National-Pique*)⁶⁰. Гуляет ли еще по земле эта замечательная гражданка, которая теперь должна бы находиться в почтенном возрасте? Не умерла ли она, когда у нее прорезывались зубы? Ведь для всемирной истории это не безразлично.

Глава одиннадцатая

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Однако от танцев «Карманьолы» и пения «*Ça ira!*» дело не делается. Герцог Брауншвейгский* не танцует карманьолу, а заставляет работать своих фельдфебелей.

На границах наши армии — будь это измена или нет — ведут себя самым отчаянным образом. Командиры ли у них плохие, или плохи сами войска? Какие это солдаты? Неснаряженные, недисциплинированные, мятежные, за тридцатилетний период мира** ни разу не видавшие огня? Немудрено, что маленькая вылазка Лафайета и Рошамбо, предпринятая ими в австрийской Фландрии, оказалась настолько неудачной, насколько вообще может быть вылазка: солдаты испугались собственной тени, закричали: «*On nous trahit*» (Нам изменяют) — и побежали назад в дикой панике при первом же выстреле или даже до него; в результате все свелось к тому, что они повесили двух или трех пленных, которых им удалось случайно захватить, да убили собственного командира, бедного Теобальда Диллона, которого загнали в хлебный амбар в городе Лилле.

* Герцог Брауншвейгский (Карл Вильгельм Фердинанд) (1735—1806) после встречи в Пильнице назначен главнокомандующим объединенными силами Пруссии и Австрии.

** С момента окончания Семилетней войны (1756—1763).

А бедный Гувьон, тот самый, что беспомощно сидел во время восстания женщин? Он покинул зал Законодательного собрания и сложил с себя парламентские обязанности в негодовании и отчаянии, когда туда были допущены галерные рабы из Шатовьё. Уходя, он сказал: между австрийцами и якобинцами солдату ничего более не остается, как умереть⁶¹, и «в темную, бурную ночь» бросился в зияющие пасти австрийских пушек и погиб в схватке при Мобеже 9 июня. Вот кого законодательный патриотизм должен оплакивать с трауром и похоронным пением на Марсовом поле! Много есть патриотов умнее его, но нет ни одного вернее. Сам Лафайет возбуждает все больше и больше сомнений: вместо того чтобы бить австрийцев, он пишет доносы на якобинцев. Рошамбо, совсем обескураженный, покидает службу; остается один Люкнер, старый, болтливый прусский гренадер.

Без армии, без генералов! А киммерийская ночь уже надвигается; герцог Брауншвейгский пишет свое воззвание, готовый выступить в поход. Пусть патриотическое министерство и Законодательное собрание скажут, что при таких обстоятельствах они намерены делать. Прежде всего, уничтожить внутренних врагов, отвечает патриотическое Законодательное собрание и предлагает 24 мая декрет об изгнании неприсягнувших священников. И собрать ядро ре-

шительных внутренних друзей, прибавляет военный министр Серван и предлагает 7 июня свой проект лагеря двадцати тысяч. Двадцать тысяч национальных добровольцев, по пяти тысяч от каждого кантона, отборных патриотов; это возможно: ведь внутренние дела находятся в ведении Ролана. Они должны собраться в Париже и, разумно распределенные, служить защитой против чужеземных австрийцев и домашнего «австрийского комитета». Вот что могут сделать патриотическое министерство и Законодательное собрание.

Сервану и патриотам такой план кажется разумным и хитро придуманным, но он не кажется таковым фейянам, тому фейяно-ари-стократическому штабу парижской гвардии, который, еще раз повторяем, должен быть распущен. Эти люди видят в плане Сервана обиду и даже, как они говорят, оскорбление. Вследствие этого появляются петиции от синих фейянов в погонах, но их плохо принимают. Даже в конце концов поступает петиция, называемая петицией «восьми тысяч национальных гвардейцев» — по количеству стоящих под нею подписей, включая женщин и детей. Эта знаменитая петиция восьми тысяч действительно принимается, и петиционеры, все с оружием, допускаются к почестям заседания, если только почести или даже заседание состоится, так как в ту минуту, когда штыки петиционеров появляются у одной двери, заседание «откладывается» и члены Собрания устремляются в другую дверь⁶².

Грустно было видеть в эти же дни, как национальные гвардейцы, эскортируя процессию Fête Dieu или Corpus Christi, хватали за шиворот и избивали всякого патриота, который не снимал шапки во время пронесения Даров. Они приставляют штыки к груди мясника Лежандра, патриота, известного со времени бастильских дней, и угрожают убить его, хотя он утверждает, что почтительно сидел в своем кабриолете на расстоянии пятидесяти шагов, дожидаясь, пока процессия пройдет. Правовверные женщины даже кричали, что его нужно вздернуть на фонарь⁶³.

Вот до чего дошли фейяны в этом корпусе! Но разве офицеры его не есть детище главного фейяна — Лафайета? Естественно, что двор заигрывал с ними и ласкал их уже со времени роспуска так называемой конституционной гвардии. Некоторые батальоны целиком состоят, «rétris», из чистокровных аристократов, например батальон des Filles-Saint-Thomas, состоящий из банкиров, биржевых маклеров и других толстосумов с улицы Вивьен. Наш достойный старый друг Вебер, молочный брат королевы, также служит в этом батальоне, и можно себе представить, насколько его намерения патриотичны.

Не заботясь об этом или, вернее, озабоченное всем этим, Законодательное собрание, поддерживаемое патриотической Францией и сознанием необходимости, утверждает проект лагеря двадцати тысяч. Решительное, хотя и условное изгнание вредных священников оно постановило уже раньше.

Теперь будет видно, за нас ли наследственный представитель или против нас. Прибавится или нет к нашим прочим бедствиям еще самое невыносимое из всех, которое сделает нас не только нацией, находящейся в крайней опасности и нужде; но и нацией парализованной, закутанной в погребальный саван конституции, со связанными руками и принужденной, в судорогах и конвульсиях, дожидаться, не имея возможности двинуться с места, пока прусские веревки не вздернут нас на виселицу. Пусть наследственный представитель хорошенько обдумает это. Постановление о священниках? Лагерь двадцати тысяч? Клянусь небом, он отвечает veto! veto! Строгий Ролан вручает свое письмо к королю или, вернее, письмо своей жены, написанное ею целиком на одном из заседаний; это одно из самых откровенных писем, когда-либо полученных каким-нибудь королем. Людовик имеет счастье прочесть это откровенное письмо ночью; он основательно переваривает его, и на следующее утро все министерство получает отставку. Происходит это 13 июня 1792 года⁶⁴.

Муж совета Дюмурье с неким Дюрантоном, называемым министром юстиции, остаются еще на день или на два при довольно подозрительных обстоятельствах; Дюмурье говорит с королевой, почти плачет вместе с нею, но в конце концов также уезжает в армию, предоставляя принять кормило правления тем полупатриотическим или непатриотическим министерствам, которые в состоянии сделать это. Не будем называть их: это новые, быстро сменяющиеся призраки, мелькающие, как картины в волшебном фонаре, только еще туманнее!

Злосчастная королева, злосчастный Людовик! Эти два вето были так естественны: разве священники не мученики и не друзья? Разве мог этот лагерь двадцати тысяч состоять из ко-

го-нибудь, кроме буйных санкюлотов? Они естественны, да, но тем не менее для Франции нестерпимы. Священники, орудующие заодно с Кобленцем* должны отправиться со своим мученичеством в другие места; буйные санкюлоты, только они, а не какие иные существа, прогонят австрийцев. Если ты предпочитаешь австрийцев, то, ради самого Бога, ступай и присоединись к ним. Если нет, объединись открыто с теми, кто будет бороться с ними до последнего вздоха. Среднего выхода нет.

Или, может быть, для такого человека, как Людовик, остается еще какой-нибудь крайний выход? Скрытые роялисты, бывший министр Бертран Мольвиль, бывший член Конституанты Малюзэ и всевозможные беспомощные субъекты, не перестают предлагать свои советы. Старое королевство, кружится и несется на волнах событий неведомо куда, с надеждой обращая взор то к Законодательному собранию, то к Австрии и Кобленцу либо снова рассчитывая на счастливые случайности.

Глава двенадцатая

ПРОЦЕССИЯ ЧЕРНЫХ БРЮК

Найдется ли во Франции хотя бы один мыслящий человек, который при таких обстоятельствах сможет убедить себя, что конституция способна устоять? Герцог Брауншвейгский не дремлет, через несколько дней он двинется в поход. Останется ли Франция спокойной, пока не разразится брауншвейгская Варфоломеевская ночь и не сделает Францию тем, чем стала Польша, и ее Права Человека не превратятся в прусскую виселицу?

Поистине это страшный момент для всех.

Национальная смерть или неестественный, судорожный взрыв национальной жизни, тот самый демонический взрыв, о котором мы говорили выше! Патриоты, смелость которых имеет известные пределы, поступили бы разумнее, если бы удалились, подобно Барнаву, наслаждающемуся коротким семейным счастьем в Гренобле. Патриоты же, смелость которых не имеет пределов, должны скрыться в подполье и, отважась на все и всему бросая вызов, искать спасения в хитрости, в заговорах с целью восстания. Ролан и молодой Барбару разложили перед собой карту Франции и, по словам Барбару, «со слезами» смотрят на находящиеся на ней реки и горные цепи; они хотят отступить за Луару, защищать овернские горные лабиринты, спасти хотя бы небольшую часть священной территории свободы и умереть по крайней мере в ее последнем рве. Лафайет пишет энергичное письмо к Законодательному собранию, направленное против якобинцев^{65*}, но оно не может исцелить неисцелимое.

* В этом письме, в частности, говорилось: «Обстоятельства сейчас трудные. Франции грозят опасности извне, а внутри она раздираема волнениями. Между тем как иностранные дворы возвещают о недопустимых планах посягательства на наш национальный суверенитет и тем самым объявляют себя врагами Франции, внутренние враги, опьяненные фанатизмом и гордостью, поддерживают химерическую надежду и утомляют нас еще своим наглым недоброжелательством.

Вы должны их укротить, господа, и вы будете достаточно сильны для этого, лишь придерживаясь Конституции и справедливости. Вы, конечно, этого и хотите... Но обратите ваши взоры на то, что творится среди вас и вокруг вас. Можете ли вы не видеть, что некая группа или, избегая туманных определений, что якобинская группа вызвала все беспорядки? Она сама во всеуслышание сознается в этом: организованная как отдельное государство со своей столицей и аффилированными обществами, слепо повинующимися нескольким честолюбивым вожакам, эта секта образует отдельную корпорацию в лоне французского народа, чьи права она узурпирует, подчиняя себе его представителей и уполномоченных» (цит. по: *Жорес Ж.* Социалистическая история Французской революции. Т. II. (С. 495).

Вперед, о вы, патриоты, храбрость которых не знает пределов! Теперь вам приходится действовать или умереть. Парижские секции заседают в глубоком раздумье и посылают депутации за депутациями в зал Манежа с петициями и разоблачениями. Велик их гнев против тиранического veto, против «австрийского комитета» и соединенных киммерийских королей! Но что толку в этом? Законодательное собрание прислушивается к «набату наших сердец», удостоивает нас чести заседаний, смотрит, как мы с бахвальством и шумом проходим по залу, но лагерь двадцати тысяч и постановление о священниках, отмененные королевским veto, стали для Законодательного собрания невозможными. Пламенный Инар говорит: «У нас будет ра-

венство, хотя бы нам пришлось сойти за него в могилу». Верньо высказывает гипотетически свои грозные Иезекииловы* видения о роке антинациональных королей. Но вопрос в том: уничтожат ли veto гипотетические пророчества в соединении с бахвальством, или же veto, будучи в безопасности в Тюильрийском дворце, останется несокрушимым? Барбару, утерев слезы, пишет в Марсельский муниципалитет, чтобы ему прислали «шестьсот человек, умеющих умирать (qui savent mourir)»⁶⁶. Послание пишется не с влажными, а с пламенными глазами — и ему повинуются!

* Иезекииль — древнееврейский пророк VII в. до н. э.

Тем временем подошло 20 июня, годовщина прославившейся на весь мир клятвы в Зале для игры в мяч, и, как слышно, некоторые граждане намереваются в этот день посадить in Mai, или дерево Свободы, на террасе фейянов в Тюильрийском саду и, быть может, также подать петицию Законодательному собранию и королю относительно двух veto со всеми демонстрациями, звоном и маршами, какие только окажутся пригодны и возможны. Так поступали уже отдельные секции; но что, если бы они при таких тревожных обстоятельствах пошли в Тюильри все или большая часть их и посадили там свое майское дерево* и набат забил в их сердцах?

* Старинный обряд, связанный с культом растительности. Весьма распространен в средневековой Европе. Вокруг майского дерева устраивались игры и пляски.

Среди друзей короля может быть только одно мнение относительно этого шага, среди друзей народа могут быть два! С одной стороны, не окажется ли возможным отпугнуть эти проклятые veto? Тайные патриоты и даже депутаты Законодательного собрания могут иметь каждый свое мнение или не иметь никакого, но самая тяжелая задача выпадает, очевидно, на долю мэра Петиона и муниципального совета, патриотов и в то же время охранителей общественного спокойствия. Одной рукой стараться затушить дело, другой — раздуть его! Мэр Петион и муниципалитет могут склоняться на эту сторону; управление департаментов с прокурором синдиком Рёдерером, придерживающиеся направления фейянов, могут склоняться на другую. В общем всем придется поступать сообразно со своим одним или со своими двумя мнениями, и всякого рода влияния, официальные представления переkreщиваются самым нелепым образом. Может быть, в конце концов проект желательный, хотя вместе с тем и нежелательный, рассеется сам собой, разбившись о столько осложнений, и превратится в ничто?

Не тут-то было: 20 июня утром большое дерево Свободы, именно ломбардский тополь, лежит на виду, привязанное к телеге, в предместье Сент-Антуан. Собирается и предместье Сен-Марсо, на крайнем юго-востоке, и вся отдаленная восточная окраина; собираются мужчины и женщины с пиками и невооруженные любопытные — с самыми что ни на есть мирными намерениями. Является муниципальный советник в трехцветном шарфе и говорит с народом. Молчи, скажем мы ему; все мирно, согласно закону: разве петиции и патриотические майские деревья не разрешены? Трехцветный муниципал удаляется, ничего не добившись; струйки санкюлотов продолжают стекаться, соединяясь в ручьи; около полудня к западу направляется уже внушительная река или сеть все прибывающих рек, предводимых длинным Сантером в синем мундире и длинным Сент-Юрюгом в белой шляпе.

Каких только процессий мы не видели: Corpus Christi и Лежандра в его кабриолете; кости Вольтера, везомые волами и возницами в римских костюмах; празднества Шатовьё и Симонно; похороны Гувьона, мнимые похороны Руссо и крещение Петион-Нации-Пики! Тем не менее эта процессия имеет свой, особый характер. Трехцветные ленты развеваются на поднятых пиках; окованные железом палки и немало эмблем, среди которых особенно выдаются две, трагического и нетрагического значения: бычье сердце, пронзенное железным острием, с надписью: «Coeur d'aristocrate» (Сердце аристократа) — и другая, еще поразительнее, собственно, знамя шествия: пара старых черных панталон (говорят, шелковых), растянутых на крестообразных палках высоко над головами, со следующими достопамятными словами: «Tremblez, tyrans, voilà les sansculottes!» (Трепещите, тираны, вот санкюлоты!) Процессия тащит с собою две пушки.

Муниципальные советники в трехцветных шарфах снова встречают ее на набережной Сен-Бернар и серьезно убеждают, приказав остановиться. — Успокойтесь, добродетельные муниципальные советники, мы мирные, как воркующий голубь. Посмотрите на наше майское дерево Зала для игры в мяч. Петиция законна, а что касается оружия, то разве верховное Законодательное собрание не приняло так называемых восемь тысяч с оружием, хотя они и были фейянами? Разве наши пики не из национального железа? Закон нам отец и мать, и мы не хотим оскорблять его, но патриотизм — наша собственная душа. Мы настроены мирно, добродетельные муниципальные советники, а впрочем, нам время дорого. Остановиться мы не можем, идите и вы с нами. — Черные панталоны нетерпеливо колышутся, колеса пушек громяют, тысяченогая рать движется дальше.

Как она достигла зала Манежа, подобно все растущей реке; как ее после долгих прений впустили, как она прочитала свой адрес и прошла, танцуя, с пением «Ça ira!» под предводительством длинного, зычногосого Сантера и такого же длинного и голосистого Сент-Юрюга; как она растеклась, уже не растущей рекой, а замкнутым Каспийским морем, по всему пространству Тюильрийского сада; как передние патриоты, теснимые задними к железным перекладинам решеток, рисковали быть задавленными и вдобавок должны были смотреть в страшные жерла пушек, ибо кругом стояли национальные батальоны; как трехцветные муниципальные советники и патриоты суетились с входными билетами и их величества сидели во внутренних апартаментах, окруженные людьми в черном, — все это человеческая фантазия может себе представить, а желающие могут прочесть в старых газетах и в «Хронике пятидесяти дней» синдика Рёдерера⁶⁷.

Наше майское дерево посажено если не на террасе фейянского монастыря, куда нет доступа, то в саду капуцинов, т. е. настолько близко, насколько оказалось возможным. Национальное собрание отложило свое заседание до вечера: может быть, это разлившееся море, не находя доступа, вернется к своим истокам и мирно исчезнет? Увы, нет еще; задние все еще напирают; они не знают, какая давка впереди. Во всяком случае желательно было бы, если возможно, сначала поговорить немножко с Его Величеством.

Тени становятся длиннее, солнце клонится к западу; четыре часа; покажется ли Его Величество? Едва ли. В таком случае комендант Сантер, мясник Лежандр, патриот Гюгенен с набатом в сердце и еще некоторые авторитетные лица сами войдут к нему. Начинаются просьбы и увещания утомленной, колеблющейся Национальной гвардии, которые становятся все громче и громче, подкрепляемые грохотом двух пушек. Ворота нерешительно открываются, бесконечные толпы санкюлотов устремляются вверх по лестницам, стучат в деревянную караулку у личных апартаментов их величеств. Стук постепенно превращается в грохот, в разрушение; деревянная караулка разлетается в щепки. И вот наступает сцена, которую долго и не без причины оплакивал мир, ибо более грустное зрелище, чем эти две стоящие лицом к лицу несообразности, как бы осознавшие свою взаимную несообразность и глупо смотрящие одна на другую, миру редко приходилось видеть.

Король Людовик при стуке в его дверь отворяет ее, стоит с открытой грудью и спрашивает: «Что вам нужно?» Море санкюлотов испуганно пятится назад, однако возвращается, теснимое задними рядами, с криками: «Veto! Патриотическое министерство! Долой veto!» На что Людовик храбро отвечает, что сейчас не время для этого и не таким способом можно предъявлять ему подобные требования. Почтим всякую доблесть в человеке: Людовик не лишен мужества; у него даже есть высший род его, называемый моральным мужеством, хотя только пассивная половина его. Малочисленные дворцовые гренадеры отступают вместе с ним в оконную нишу, и он стоит здесь с безупречной пассивностью среди криков и толкотни. Какое зрелище! Ему дают красный колпак Свободы, он спокойно надевает его и забывает на своей голове. Он жалуется на жажду — полупьяный сброд протягивает ему бутылку, он пьет из нее. «Ваше Величество, не бойтесь», — говорит один из его гренадеров. «Бояться? — отвечает Людовик. — Пощупайка». И кладет его руку себе на сердце. Так стоит Его Величество в красном шерстяном колпаке; черномазые санкюлоты толпятся вокруг него бесцельно, с нечленораздельными звуками и криками: «Veto! Патриотическое министерство!»

И это продолжается больше трех часов! Национальное собрание отложено, трехцветные советники почти бесполезны, мэр Петион заставляет себя ждать, из властей нет нико-

го. Королева с детьми и сестрой Елизаветой, в слезах и страхе, но не за себя, сидят в одной из внутренних комнат, забаррикадированных столами, с охраной гренадер. Люди в черном все благого разумно исчезли. Слепое море санкюлотов, бушуя, разливается по королевскому дворцу в течение целых трех часов.

Тем не менее всему на свете приходит конец. Является Верньо с депутацией от Законодательного собрания, так как вечернее заседание открылось. Приехал мэр Петион; он ораторствует, «поднятый на плечи двух гренадер». В этом неудобном положении и во многих других, снаружи и внутри, мэр Петион говорит долго; говорят и многие другие; наконец комендант Сантер удаляется со своими санкюлотами через противоположный выход из дворца. Когда они проходят по комнате, где среди столов и гренадер с видом оскорбленного достоинства и грустной покорности сидит королева, одна из женщин предлагает и ей также красный колпак. Королева держит его в руке, даже надевает на голову маленькому наследному принцу. «Мадам, — говорит Сантер, — народ этот любит вас больше, чем вы думаете»⁶⁸. Около восьми часов вечера члены королевской семьи, «обливаясь слезами», падают в объятия друг другу. Несчастливая семья! Кто не стал бы оплакивать ее, если бы не было целого мира, также достойного быть оплаканным?

Итак, век рыцарства миновал, и настал век голода. Во всем нуждающийся санкюлотизм смотрит в лицо своему королю — распорядителю, королю или всемогущему человеку — и убеждается, что он ничего не может дать ему; две стороны, после долгих веков столкнувшиеся лицом к лицу, ошеломленно смотрят друг на друга: «Вот это — я»; «Но, ради самого Неба, разве это ты?» — и отступают, не зная, что делать далее. Однако раз несообразности признали себя несообразными, то что-нибудь из этого должно же выйти.

Судьбе известно, что именно. Таково было это всемирно знаменитое 20 июня, больше заслуживающее названия процессии черных брюк. На этом самое время закончить наше описание первого французского двухлетнего парламента, его деятельности и результатов ее.

Книга VI

МАРСЕЛЬЕЗА

Глава первая

НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Могло ли такое 20 июня каким-нибудь образом «привести в действие» парализованную исполнительную власть? Совсем наоборот, везде высказывается огромное сочувствие тяжело оскорбленному королю, оно выражается в адресах, петициях — в «Петициях двадцати тысяч жителей Парижа» и ей подобных; происходит решительное соединение вокруг трона.

Казалось, что король Людовик мог бы как-то использовать такое настроение. Однако он не делает из него ничего, даже не пытается сделать; взоры его обращены вдаль, преимущественно в Кобленц: симпатия и поддержка у себя дома его не интересуют.

В сущности эта симпатия сама по себе немногого и стоит. Это симпатия людей, все еще верящих, что конституция может наладиться. Поэтому старый разлад и брожение, или симпатии фейянов к королю и якобинцев к Отечеству, снова заставляют их действовать друг против друга внутри наряду со страхом перед Кобенцлем и Брауншвейгом, действующими извне, — этот разлад и брожение будут идти своим путем, пока не созреет и не наступит катастрофа. Ввиду того что герцог Брауншвейгский готов выступить в поход, можно полагать, что катастрофа уже недалеко. За дело же вы, двадцать пять миллионов французов, и вы, иностранные властители, угрожающие эмигранты, германские фельдфебели; пусть каждый делает что может! А ты, читатель, на таком безопасном расстоянии посмотришь, что они между собой из всего этого сделают.

Следует поэтому рассматривать это достойное сожаления 20 июня как бесполезное дело: не катастрофа, а, вернее, катастас, или высшая степень напряженности. Разве черные брюки этого 20 июня не развеваются в воображении истории, подобно меланхолическому флагу отчаяния, умоляя о помощи, которой не может оказать ни один смертный? Умоляя о сострадании,

отказать в котором кому бы то ни было было бы жестокосердно! Пронесутся и другие такие флаги через историческое воображение, или, так называемые события, мрачные или яркие символические явления, и мы отметим их одно за другим, как бы вскользь.

Первое явление, через неделю и один день, — это Лафайет у барьера Собрания. Услышав о скандальном 20 июня, он немедленно покинул свою армию на северной границе — неизвестно, в худшем или в лучшем порядке — и приехал 28-го числа в Париж, чтобы усмирить якобинцев: не письмами теперь, а устными увещаниями и силой своего характера, став с ними лицом к лицу. Высокое Собрание находит этот шаг сомнительным, оказывая ему, однако, честь участвовать в заседании¹. Других почестей или успехов на его долю, к сожалению, почти не выпадает; все галереи ворчат, пламенный Инар мрачен, язвительный Гюаде не скупится на сарказмы.

А снаружи по окончании заседания съёр Рессон, владелец патриотического кафе в этом районе, слышит на улице шум и выходит со своими завсегдаями-патриотами посмотреть, что это значит: это проезжает экипаж Лафайета с шумным эскортом синих гренадер, канониров, даже линейных офицеров, гарцующих кругом него с криками «ура!». Они останавливаются напротив двери Рессона, кивают в его сторону плюмажами, даже потрясают кулаками и ревут: «À bas les jacobins!» (Долой якобинцев!), но, к счастью, воздерживаются от нападения. Проехав, они сажают майское дерево перед дверью генерала, сопровождая это сильным буйством. Обо всем этом съёр Рессон с горечью рассказывает в тот же вечер в Якобинском клубе². Но Рессон и якобинцы могут только догадываться, что в то же самое время совет из зяядлых фейянов, уничтоженный гвардейский штаб и все, кто имеют вес и положение, тайно обсуждают у генерала вопрос: нельзя ли устранить якобинцев силой?

На следующий день в Тюильрийском саду должен произойти смотр тех, кто вызовется сделать такую попытку. Увы, говорит Тулонжон, вышло едва 100 человек. Смотр откладывается на день, чтобы осведомить о нем побольше людей. Наутро, в субботу, выходит «каких-нибудь три десятка», которые расходятся, пожимая плечами!³ Лафайет поспешно садится снова в коляску и возвращается, получив паузу для размышлений о многом.

Парижская пыль еще не слетела с колес его экипажа, и летнее воскресенье только что наступило, а депутация кордельеров вырывает его майское дерево, и до заката солнца патриоты сжигают его изображение. В секциях и в Национальном собрании все громче и громче высказываются сомнения о законности такого непрошеного антиякобинского визита генерала; сомнение растет и недель через шесть распространяется по всей Франции вместе с бесконечными разговорами о захватывающих власть солдатах, об английском Монке*, даже о Кромвеле; бедный Грандисон-Кромвель! Что толку? Сам король Людовик отнесся холодно к предприятию Лафайета; блистательный герой двух миров, взвесившись на весах, находит, что он стал паутинным колоссом после того, как к нему присоединилось всего каких-нибудь три десятка.

* Джордж Монк (1608—1670) — генерал Кромвеля, затем перешедший на сторону контрреволюции и способствовавший восстановлению монархии.

В таком же смысле и с таким же исходом действует наше управление департаментов в Париже, которое берет на себя 6 июля отстранение мэра Петиона и прокурора Манюэля от всех гражданских обязанностей в связи с их поведением, полным, как утверждают, упущений и прегрешений в шекотливый день 20 июня. Добродетельный Петион, считая себя в некотором роде мучеником или псевдомучеником, которому угрожает множество опасностей, раздражается подобающими героическими жалобами, на что патриотический Париж и патриотическое Законодательное собрание отвечают также подобающим образом. Король Людовик и мэр Петион имели уже свидание по делу о 20 июня — свидание и разговор, отличавшийся взаимной откровенностью и кончившийся со стороны короля Людовика словами: «Taisez-vous!» (Замолчите!)

Впрочем, отстранение мэра оказывается мерой несвоевременной. По несчастной случайности оно совпало как раз с годовщиной знаменитого Baiser de l'amourette, или чудесного примирительного поцелуя Далилы, о котором мы уже говорили. Поцелуй Далилы не имел, как видим, должного результата. Его Величеству пришлось чуть ли не в ту же ночь писать примиренному Собранию и спрашивать совета! Примиренное Собрание не желает давать совета, не хочет вмешиваться. Король утверждает отставку. Теперь, пожалуй, но не раньше, Собрание за-

хочет вмещаться, так как патриотический Париж все сильнее шумит. Вследствие этого поцелуй Далилы — такова была судьба первого парламента — превратился в битву филистимлян!*

* Народ, населявший в XII в. до н. э. юго-восточное побережье Средиземного моря. Вел беспрестанные войны с иудеями. От филистимлян происходит название Палестины.

Ходят даже слухи, что не менее тридцати наших главных сенаторов-патриотов будут заключены в тюрьму по приказу и обвинению мировых судей из фейянов (Juges de Paix), которые здесь, в Париже, пожалуй, на это способны. Только в последний день мая Juge de Paix Ларивьер по жалобе Бертрана де Мольвиля на «австрийский комитет» имел смелость издать приказ об аресте трех лидеров Горы — депутатов Базира, Шабо и Мерлена, трио кордельеров; он вызвал их к себе и потребовал, чтобы они указали, где находится означенный комитет, или подверглись последствиям этого оговора. Трио же со своей стороны осмелилось бросить этот приказ в огонь и храбро сослалось на парламентскую привилегию свободы слова. Так что за свое усердие, не опирающееся на знание, бедный судья Ларивьер сидит теперь в орлеанской тюрьме, дожидаясь приговора местного Haute Cour. Не напугает ли его пример других опрометчивых судей и не останется ли поэтому слух о тридцати арестах только слухом?

Но хотя Лафайет и оказался таким легковесным и майское дерево его вырвали с корнем, однако официальный фейянизм нимало не колеблется и высоко держит голову, сильный буквой закона. Все эти люди — фейяны и фейянские власти, опирающиеся на свое высокое происхождение и тому подобное и имеющие своим председателем герцога де Ларошфуко, — обстоятельство, которое окажется для него опасным. Некогда яркая англomania этих красующихся собой аристократов теперь потускнела. Герцог де Лианкур из Нормандии, где он занимает пост наместника, вызывается не только принять Его Величество, если он вздумает бежать туда, но и снабдить его огромным количеством денег. Sire, это не бунт, а революция, и поистине не на розовой водице! Более достойных дворян, чем эти двое, не было ни во Франции, ни в Европе, но времена такие смутные, быстро-сменяющиеся, извращенные, что неизвестно, приведет ли к цели и самая прямая дорога.

Другой фазис, который мы отмечаем в эти первые июльские дни, заключается в том, что некие небольшие потоки союзных национальных добровольцев направляются из различных пунктов в Париж, чтобы отпраздновать там 14-го числа новый федеративный праздник, или праздник Пик. Так пожелало Национальное собрание; так захотел народ. Таким путем мы, может быть, еще будем иметь наш лагерь патриотов, несмотря на veto, потому что разве не могут эти федераты, отпраздновав свой праздник Пик, двинуться на Суассон и затем, обученные и зачисленные в полки, устремиться к границам или куда заблагорассудится? Таким образом, одно veto было бы ловко обойдено!

Другое veto, касающееся священников, также обходится без особых хитростей. Провинциальные собрания, как, например, в Кальвадосе, действуя на свой страх, судят и изгоняют антинациональных священников. Или, что еще хуже, озлобленный народ помимо провинциального собрания, как было в Бордо, «вешает двух из них на фонаре» по дороге в суд⁴. Достоинно жалости словесное veto, когда оно не может стать действенным!

Правда, некий призрак военного министра или министра внутренних дел данной минуты — призрак, которого мы не назовем, — пишет муниципалитетам и командирам войск, чтобы они всеми возможными способами препятствовали федерации и даже возвращали федератов силой оружия, но это послание только сеет сомнение, неуверенность и смятение, сердит бедное Законодательное собрание и дробит федератов на мелкие кучки. Но и этот и другие призраки, будучи спрошены о том, что они предлагают сделать для спасения страны, отвечают, что они не могут это сказать; что вообще они, с своей стороны, сегодня утром в полном составе подали в отставку и теперь все почтительно откланиваются и передают кормило правления. С этими словами они поспешно выходят из зала (sortent brusquement de la Salle), галереи бурно аплодируют, а бедное Законодательное собрание сидит «довольно долго в молчании»!⁵ Таким образом, министры в крайних случаях сами саботируют работу — одно из наиболее странных предзнаменований. Другого полного кабинета министров не будет; одни обломки, да и те непостоянные и никогда не доходящие до полного состава; призрачные видения, которые не могут даже

появиться! Король Людовик пишет, что теперь он относится к федеративному празднику с одобрением и сам будет иметь удовольствие принять в нем участие.

И вот, эти потоки федератов направляются в Париж через парализованную Францию. Это маленькие озлобленные шайки, а не плотные, веселые ряды, шедшие некогда на первый праздник Пик! Нет, эти бедные федераты идут теперь навстречу Австрии и «австрийскому комитету», навстречу опасностям и потерянной надежде; это люди твердого характера и трудной судьбы, не богатые благами этого мира. Муниципалитеты, парализованные военным министром, боятся давать им деньги; случается, что бедные федераты не могут вооружиться, не могут идти, пока местное Общество якобинцев не откроет свой карман и не устроит в их пользу подписки. В назначенный день их прибывает едва три тысячи. И все же, как ни жидки и слабы эти группки федератов, все же они — единственное, что можно отметить как нечто движущееся с некоторой целесообразностью на этой странной сцене. Остальное представляет собой злобное жужжание и кипение, беспокойное подергивание и стоны огромной Франции, которая точно зачарована своей неналаживающейся конституцией и погружена в ужасный, полусознательный, полубессознательный магнетический сон; и этот страшный магнетический сон должен рано или поздно разрешиться одним из двух: смертью или безумием. Федераты большей частью несут в карманах какую-нибудь серьезную жалобу и петицию о побуждении к деятельности «исполнительной власти», или, как шаг в этом направлении, о низложении (Déchéance) короля, или по крайней мере об отстранении его. Законодательное собрание и Мать патриотизма будут им рады, и Париж позаботится о расквартировании их.

Низложение короля, а что же дальше? Франция освобождена от злых чар, революция спасена, все остальное приложится, отвечают мрачный Дантон* и крайние патриоты из глубины своего подполья, в которое они теперь погрузились и где составляют заговоры. Низложение, отвечает Бриссо с умеренными патриотами, а затем может быть коронован маленький королевский принц и над ним поставлено регентство из жирондистов и призванного обратно патриотического министерства. Увы, бедный Бриссо, ты смотришь, как в сущности и все мы, жалкие люди, на ближайшее утро как на мирную обетованную землю: решаешь вопрос до конца мира, хотя понимания твоего хватает не дальше собственного носа! Крайние патриоты подполья умнее: они ясно понимают значение данного момента и оставляют прочее на волю богов.

* После расстрела петиционеров на Марсовом поле Дантон уехал в Англию.

И не будет ли при теперешнем положении дел самым вероятным исходом то, что герцог Брауншвейгский, как раз напрягающий свои огромные конечности в Кобленце, чтобы подняться, прибудет раньше и положит конец всем проектам и рассуждениям о низложении? Брауншвейг намеревается выступить, как говорят, с 80 тысячами человек, со злобными пруссаками, гессенцами и еще более злобными эмигрантами. Подумайте: генерал Великого Фридриха* и с такой армией! А наши армии? А наши генералы? Что касается Лафайета, по поводу последнего визита которого заседает комитет и вся Франция волнуется и высказывает порицание, то он, по-видимому, скорее готов сражаться с нами, чем с Брауншвейгом. Люкнер и Лафайет говорят, что поменяются корпусами, и производят передвижения, которых патриоты не могут понять. Ясно только одно, что их корпуса маршируют и передвигаются внутри страны, гораздо ближе к Парижу, чем раньше! Люкнер требует к себе Дюмурье, находящегося в Мольде, в местном укрепленном лагере, на что этот муж совета отвечает, что так как австрийцы близко и он занят обучением нескольких тысяч людей, чтобы сделать из них годных солдат, то он ни в коем случае не может повиноваться этому приказу, что бы из этого ни вышло⁶. Санкционирует ли злосчастное Законодательное собрание поведение Дюмурье, который обращается к нему, «не зная, существует ли военное министерство»? Или оно санкционирует поведение Люкнера и эти передвижения Лафайета?

* Т.е. Фридриха II (1712—1786), с 1740 г. прусского короля из династии Гогенцоллернов.

Это бедное Собрание не знает, что делать. Оно постановляет, однако, что штаб Парижской гвардии и вообще все подобные штабы, большей частью состоящие из фейянов, должны быть распущены и смещены. Оно серьезно ставит вопрос, в какой форме следует объявить, что Отечество в опасности. И наконец 11 июля, утром, в тот день, когда министерство прекра-

тило работу, оно постановляет, что Отечество со всей экстренностью должно быть объявлено в опасности. Пусть теперь король санкционирует это заявление, пусть муниципалитет принимает меры! Если такое заявление может помочь, то за ним не должно быть остановки.

Отечество действительно в такой опасности, в какой едва ли бывала какая-нибудь страна. Вставай, Франция, если не хочешь превратиться в постыдную развалину! Однако разве не сто шансов против одного, что никакой подъем в стране не спасет ее, когда Брауншвейг, эмигранты и феодальная Европа уже так близко?

Глава вторая

В ПОХОД!

Но для нас самым замечательным из этих сменяющихся событий представляются «шестисот умеющих умирать марсельцев» Барбару.

Немедленно по получении его просьбы Марсельский муниципалитет собрал этих людей; 5 июля, утром, городской совет говорит им: «*Marchez, abattez le tyran*» (Ступайте свергните тирана)⁷, и они, решительно сказав: «*Marchons!*» (Идем!), уходят. Длинный путь, сомнительное поручение, *enfants de la Patrie* (сыны Отечества), пусть добрый гений будет вашим путеводителем! Их собственные дикие сердца и наполняющая их вера поведут их, а разве это не равносильно внушению гения, более или менее доброго? Их 517 сильных людей, разделенных на полусотни и десятки с начальниками над каждым отрядом. Все они хорошо вооружены, с мушкетами на плече и саблями на боку; они даже везут с собой три пушки, потому что неизвестно, какие препятствия могут встретиться на пути. Есть городские общины, парализованные военным министерством; есть коменданты, получившие приказание задерживать даже федеральных добровольцев; на случай, если здравые доводы не откроют городских ворот, хорошо иметь про запас гранату, чтобы разнести их вдребезги! Они покинули свой лучезарный фокейский город и морскую гавань с их суетой и цветами, кишашую народом *Course* с ее аллеями высоких деревьев, смолистые корабельные верфи, миндальные и оливковые рощи, апельсиновые деревья над кровлями домов и сверкающие белизной мызы, венчающие холмы, — все осталось далеко позади. Они продолжают свой безумный путь с самого края французской земли, через незнакомые города, навстречу неведомой судьбе, но с известной им целью.

Нас удивляет, что в мирном торговом городе находится столько домовладельцев или людей, имеющих собственный очаг, которые бросают свои занятия и орудия труда, вооружаются и пускаются в путь за 600 миль, чтобы «свергнуть тирана»; мы ищем объяснений этого факта в исторических сочинениях, памфлетах и газетах, но, к сожалению, безуспешно. Слухи и страхи предшествуют этому походу, эхо их доносится еще до нас; самый же поход остается совершенно неизвестным. Вебер слышал на задних лестницах Тюильри, что эти марсельцы просто каторжники, бежавшие с галер, и разного рода жулики; в общем их было около четырех тысяч, и, когда они проходили через Лион, люди закрывали лавки. Так же неопределенно высказывается и Блан Жилли, который тоже бормочет что-то о каторжниках и опасности грабежа⁸. Но это не были ни каторжники, ни грабители, и опасности грабежа не существовало. Едва ли были они и людьми оседлого образа жизни или с туго набитыми кошельками; но и требовалось от них только одно: «умение умирать». Друг Даммартен видел собственными глазами, как они «постепенно» проходили через его лагерь в Вилльфранше, в Божоле, но он видел их только мельком, будучи в то время сам занят своим предстоящим походом за Рейн. Велико было его удивление при мысли о походе этих людей без жалованья, без распоряжений, без биваков и довольствия; впрочем, он помнил, что это «те самые безупречно вежливые люди, которых он видел раньше», во время беспорядков на Юге; солдат его нельзя было удержать от разговоров с ними⁹.

Вот как сбивчивы все эти сведения; «*Moniteur*», «*Histoire parlementaire*» почти безмолвствуют об этом предмете: болтливая история по обыкновению не говорит ничего как раз тогда, когда мы больше всего желали бы ее слышать! Если когда-нибудь просвещенной любознательности удастся заглянуть в архивы городского совета Марселя, то, может быть, она расследует эту необычайнейшую муниципальную процедуру. И не признает ли она своим долгом извлечь из достоверных или недостоверных биографий этих 517 марсельцев то, чего не успела еще бесповоротно унести река времени?

А пока эти марсельцы остаются молчаливой, неразличимой по отдельности, хмурой массой, преисполненной мрачного огня, идущей под знойным южным небом. Странное зрелище! Вокруг бесконечные сомнения, грозные опасности, а эти люди идут; одни они не поддаются сомнению; рок и феодальная Европа решительно надвигаются извне, а эти люди так же решительно идут изнутри. Запыленные, на скудном довольствии, они двигаются с трудом, но неутомимо и неуклонно. Поход этот станет знаменитым. Вдохновенный полковник Руже де Лиль*, который жив и по сие время¹⁰, переложил мысль, безгласно действующую в этой хмурой массе, в мрачную мелодию, в гимн или марш «Марсельеза» — одну из удачнейших музыкальных композиций в мире**. Звуки ее будут зажигать сердца, и целые армии и собрания будут петь ее со слезами и огоньком в глазах, бросая вызов смерти, деспотам и сатане.

* В то время Руже де Лиль был капитаном французских республиканских войск.

** 26 апреля 1792 г. в Страсбурге Руже де Лиль сочинил «Боевую песню Рейнской армии». Вечером она была исполнена фаетистом Дитрихом, мэром Страсбурга, в салоне его жены. В этом отношении хорошо известная картина Пиля «Руже де Лиль, поющий «Марсельезу»» (1849) не точна (см.: *Жорес Ж.* Указ. соч. Т. II. С. 567).

Ясно, что марсельцы опоздают на праздник Федерации, но они имеют в виду не присягу на Марсовом поле. Им предстоит выполнить совсем другое дело — привести в действие парализованную национальную исполнительную власть. Они решились свергнуть всякого «тирана», всякого «бездействующего мученика», который парализует эту власть. Они умеют наносить и получать удары; вообще они чувствуют себя хорошо и сумеют умереть.

Глава третья

НЕКОТОРОЕ УТЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

О самом празднике Федерации мы почти ничего не скажем. На Марсовом поле раскинуты палатки: палатка для Национального собрания, палатка для наследственного представителя, который действительно приезжает, но слишком рано и должен долго дожидаться. Здесь 83 символических дерева Свободы от департаментов, много и майских деревьев. Самое красивое из них — огромное майское дерево, увешанное гербовыми щитами и генеалогическими таблицами, даже мешками с судебными актами («Sacs de procédure»), которые должны быть сожжены. Тридцать рядов мест на знаменитом откосе опять полны; светит яркое солнце, и народ стекается с развевающимися флагами, под звуки труб. Но какая польза от этого? Добродетельный мэр Петсион, смещенный фейянами, возвращен на прежний пост только накануне вечером постановлением Собрания. Настроение народа самое мрачное. На шляпах мелом написано: «Vive Pétion!» (Да здравствует Петсион!) и даже «Pétion ou la mort!» (Петсион или смерть!).

Бедный Людовик, прождавший около пяти часов, пока не прибыло Национальное собрание, произносит национальную присягу, на этот раз в стеганой кирасе под камзолом, защищающей от ружейных пуль¹¹. Г-жа де Сталь вытягивает шею из королевской палатки в смертельном страхе, что эта волнующаяся толпа, которая встречает короля, не отпустит его обратно живым. Крик «Vive le Roi!» (Да здравствует король!) не ласкает больше его слух; кричат только: «Vive Pétion!», «Pétion ou la mort!» Национальное торжество, можно сказать, скомкано; все расходится раньше, чем окончена его программа. Даже майское дерево с его гербами и мешками с актами забыто и стоит невредимо до тех пор, пока «несколько патриотических депутатов», призванные народом, не подносят к нему факел и не зажигают в виде добровольного дивертисмента. Более грустного праздника Пик еще не бывало.

Мэр Петсион, имя которого начертано на шляпах, находится в зените своей популярности в эту годовщину Федерации, зато Лафайет почти достиг надира. Почему в следующую субботу звонит набат с Сен-Рока? Почему граждане запирают лавки?¹² Это проходят секции, это страх вспышки. Законодательный комитет, долго рассуждавший о Лафайете и его антиякобинском визите, доносит в этот день, что «нет повода для обвинения!» Тем не менее успокойтесь, патриоты, и прекратите этот набат: прения еще не кончены, донесение еще не принято, и Инар, Бриссо и Гора будут его рассматривать и пересматривать, быть может, еще недели три.

Сколько теперь звучит колоколов, набатов и прочих тревожных сигналов, почти неразличимых в отдельности, потому что один заглушает другой! Например, в ту самую субботу, ко-

гда раздавался набат по поводу Лафайета, звучал слабее и другой колокол, так как депутация Законодательного собрания провожала на долгий отдых рыцаря Поля Джонса; набат или погребальный звон — ему теперь все равно! Не прошло десяти дней с тех пор, как патриотически настроенные галереи восторженно встречали патриота Бриссо, а теперь он уже вызывает их ропот своим умеренным патриотизмом; во время его речи в него даже бросают разными предметами и «попадают двумя сливами»¹³. Это какой-то мятущийся мир пустого шума, набатов, погребального звона, торжества и страха, подъемов и падений.

Тем трогательнее другое торжество, происходящее на следующий день после набата по поводу Лафайета, — это провозглашение Отечества в опасности. До настоящего воскресенья оно не могло состояться. Законодательное собрание постановило его уже две недели назад, но король и призрак какого-то министерства оттягивали его, насколько возможно. Однако теперь, в воскресенье 22 июля 1792 года, они разрешают его, и торжество действительно происходит. Трогательное зрелище! Муниципалитет и мэр в шарфах, пушечные залпы тревожно громыхают с Пон-Нёф, а одиночные пушки с перерывами палят весь день. Появляются конные гвардейцы, нотабли в шарфах, алебардчики и целая кавалькада с символическими флагами, но особое внимание привлекает один огромный, уныло реющий флаг с надписью: «Citoyens, la Patrie est en Danger!» (Граждане, Отечество в опасности!) Шествие тянется по улицам под звуки мрачно гремящей музыки и глухой топот конских копыт, останавливаясь в определенных пунктах, и каждый раз при громком звуке труб голосистые герольды возвещают уху то, что флаг говорит глазам: «Граждане, наше Отечество в опасности!»

Найдется ли человеческое сердце, которое не содрогнется при этих словах? Многоголосое ответное жужжание и рев этих масс людей звучат не торжеством, но звук этот глубже, чем звуки торжества. Когда же длинное шествие и воззвания окончились, когда огромный флаг был укреплен на Пон-Нёф, а другой такой же на городской Ратуше, чтобы развеяться здесь до лучших времен; когда каждый муниципальный советник сидел в центре своей секции, в палатке, раскинутой на какой-нибудь открытой площади, и каждая палатка была увенчана флагом «Patrie en Danger!» и возвышающейся над ним пикой с Bonnet Rouge и когда перед дощатым столом на двух барабанах с лежащей на нем раскрытой книгой сидел писец, подобный запечатлевающему ангелу, готовый вносить в списки имена добровольцев, — о, тогда, кажется, сами боги с удовольствием взирали бы на это зрелище! Юные патриоты, в брюках и без оных, наперебой стремятся сюда: вот мое имя; имя, кровь и жизнь моя принадлежат Отечеству, ах, зачем у меня нет ничего более! Юноши поменьше ростом плачут, что не годятся в строй. Подходят старики, держа обеими руками сыновей. Даже матери хотят отдать своих рожденных в муках сыновей и, обливаясь слезами, посылают их. И толпа ревет далеко разносящееся: «Vive la Patrie!» Огонь сверкает во всех глазах, а вечером наши муниципальные советники возвращаются в городскую Ратушу в сопровождении длинной вереницы храбрых добровольцев, вручают свой список и говорят горделиво, оглядываясь вокруг: «Вот мой дневной урожай»¹⁴. Поутру добровольцы выступят в Суассон с маленьким узелком, в котором все их пожитки.

И вот, подобно реву океана, гремящему в пещерах, в каменном Париже несмолкаемо слышны крики: «Vive la Patrie, Vive la Liberté!»; день за днем муниципальные советники в трехцветных палатках вносят в списки имена добровольцев; на Пон-Нёф и на городской Ратуше развеваются флаги: «Citoyens, la Patrie est en Danger!» За несколько дней уходят около 10 тысяч борцов, необученных, но с отважными сердцами. То же самое происходит в каждом французском городе. Подумайте же, будет ли у Отечества недостаток в защитниках, будь у нас только национальная исполнительная власть? Во всяком случае пусть заседания секций и Национального собрания станут непрерывными! Законодательным постановлением от среды 25-го они такими становятся и заседают беспрерывно как в Париже, так и во всей Франции¹⁵.

В противовес этому заметим, как в те же самые часы 25 июля в Кобленце герцог Брауншвейгский «встрепенулся» (s'ébranle) и пустился в путь. Действительно, встрепенулся; одно сказанное слово вызывает общую встряску — одновременный стук вскидываемых на плечо 30 тысяч мушкетов; ржание и топот десятитысячной конницы с кичливыми эмигрантами в авангарде, барабаны, литавры, шум, плач, проклятия и непомерный грохот двинувшихся выючных повозок и полевых кухонь — все это означает, что Брауншвейг встрепенулся; без всего этого не могут идти люди, «покрывающие пространство в сорок миль», и еще менее — без манифеста, помеченного, как мы сказали, 25 июля. Этот государственный акт достоин внимания!

Судя по этому документу, можно думать, что Францию ожидают великие события. Весь французский народ получит теперь позволение объединиться вокруг Брауншвейга и его вельможных эмигрантов; тирания якобинской партии не будет более угнетать его, но он должен вернуться и снискать милость своего доброго короля, который в королевской декларации (три года назад) 23 июня сказал, что он сам сделает свой народ счастливым. Что касается Национального собрания и других учреждений, облеченных некоторой тенью временной власти, им поручено сохранять королевские города и крепости в неприкосновенности, пока Брауншвейг не придет и не примет их. Вообще быстрое подчинение может смягчить многое, но для этого оно должно быть быстрым. Со всяким национальным гвардейцем или другим, не военным лицом, оказывающим сопротивление с оружием в руках, будут «поступать как с изменником», т. е. немедленно повесят. Кроме того, если Париж, до прибытия туда Брауншвейга, нанесет какое-либо оскорбление королю или, например, потерпит, чтобы какая-нибудь партия куда-нибудь увезла короля, то в этом случае Париж будет разгромлен пушками и подвергнут «военной экзекуции». Точно так же будут разнесены и все другие города, которые будут свидетелями насильственного увоза короля и не окажут этому всемерного сопротивления. И Париж, и всякий другой город, начальный, конечный или временный пункт, имеющий какое-либо отношение к названному кошунственному похищению, будет превращен в смрадную, бесформенную грудку развалин в наказание потомству. Такая месть действительно была бы примерной (an insigne vengeance). О Брауншвейг, какие хвастливые слова ты пишешь! В Париже, в этой древней Ниневии, много тысяч существ, не умеющих отличить правой руки от левой, и много скота. Неужели даже дойные коровы, замученные вьючные ослы и бедные маленькие канарейки также должны погибнуть?

Существует и королевско-императорская прусско-австрийская декларация, в которой весьма пространно изложена сансуси-шёнб-руннская* версия всей Французской революции с самого ее начала и говорится, с каким прискорбием эти высокие монархи наблюдали, как подобные вещи совершаются под солнцем. Однако «в качестве некоторого утешения человечеству»¹⁶ они посылают теперь Брауншвейга, невзирая на расходы и жертвы со своей стороны, ибо разве утешение людей не есть самая главная обязанность человека?

* Имеются в виду резиденции прусского короля Сан-Суси в Потсдаме и австрийского императора — Шёнбруннский королевский дворец в Вене.

Светлейшие монархи, вы, которые ведете протоколы, издаете манифесты и утешаете человечество! Что было бы, если б раз в тысячу лет ваши пергаменты, формуляры и государственное благоразумие разметались всеми ветрами? Обнаженная реальность взглянула бы вам, даже вам, прямо в лицо, и человечество само сказало бы, что именно нужно для его утешения.

Глава четвертая

ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО

Подумайте, однако, было ли в этом какое-нибудь утешение для беспрерывно заседающих секций, обсуждающих, каким образом привести в действие национальную исполнительную власть?

Слышен громкий ответ не вхохлущего страха, а каркающего вызова и «Vive la Nation!»; юные храбрецы устремляются к границам; безмолвно реет на новом мосту знамя «Patrie en Danger». Секции работают непрерывно, а внизу, глубоко, работают неукротимые патриоты, ища спасения в заговоре. Или опять восстание становится священнейшей обязанностью? Сам себя избравший комитет заседает в кабачке под вывеской «Золотое солнце»; здесь журналист Карра, Камиль Демулен, эльзасец Вестерман*, друг Дантона, Фурнье-Американец — комитет, небезызвестный мэру Петиюну, который как официальное лицо должен спать с открытыми глазами. Небезызвестен он и прокурору Манюэлю, и меньше всего помощнику прокурора Дантону! Последний, будучи также официальным лицом, погружен во мрак и, как незримый Атлас, окутанный облаками, несет все на своих исполинских плечах.

* Вестерман Франсуа Жозеф (1751—1794) — солдат при старом порядке, секретарь муниципалитета в 1789 г., полковник легиона департамента Нор в 1792 г., генерал в 1793 г., был гильотинирован вместе с Дантоном 16 жерминаля II г.

Многое невидимо, даже сами якобинцы отмалчиваются. Восстание должно быть, но когда? Мы можем распознать только одно — что те федераты, которые еще не ушли в Суассон, на самом деле не проявляют и склонности идти туда «по причинам», говорит председатель якобинцев, «о которых желательно не упоминать»; они имеют собственный Центральный комитет, заседающий совсем близко, под кровлей самого Якобинского клуба. И 48 секций также имеют свой Центральный комитет в целях «быстроты сообщений», что естественно при таком брожении и опасности восстания. Муниципалитет, настоятельно желавший иметь под рукой этот комитет, не мог отказать ему в помещении в городской Ратуше.

Странный город! На поверхности его все идет обычным чередом; здесь пекут и варят, стучат молотки, трещат мельницы. Кавалеры в жабо прогуливаются по аллеям под руку с дамами в белой кисее под зелеными зонтиками. Собаки играют и чистильщики сапог делают свое дело на том самом Пон-Нёф, где на флаге написано: «Отечество в опасности». Многое продолжает пока идти своим чередом, и тем не менее сам ход событий уже близится к перемене и к концу.

Посмотрите на Тюильри и Тюильрийский сад: здесь безмолвно, как в Сахаре, никто не смеет входить без билета! Ворота закрыты со дня «процессии черных брюк», и на это имеют право. Однако Национальное собрание что-то ворчит о фейянской террасе, о том, что упоминутая терраса прилегает к заднему входу в его зал и отчасти составляет национальную собственность; национальная юстиция протянула трехцветную ленту как пограничную линию, которую все патриоты соблюдают с недовольной добросовестностью. И вот эта трехцветная пограничная линия висит, покрытая карточками с сатирическими надписями, обыкновенно в стихах, а вся часть за нею называется Кобленцем и остается пустой, безмолвной, как роковая Голгофа, на которой тщетно сменяются солнечные лучи и тени. Заколдованный круг! Есть ли еще какая-нибудь надежда? Может ли она жить в этом круге? Таинственные входные билеты проводят туда таких же таинственных людей, которые говорят о предстоящем вскоре восстании. Генеральный штаб Ривароля сделал бы лучше, если бы занялся покупкой ружей; понадобятся также и гренадерские шапки, и красные швейцарские мундиры. Восстание произойдет, но разве оно не будет встречено отпором? Можно ли надеяться, что его задержат до прибытия Брауншвейга?

Однако могут ли при подобных обстоятельствах оставаться безмолвными тумбы и переносные кафедры? Может ли спать коллегия герольдов и расклейщиков афиш? Газета Луве «Sentinel» бесплатно предостерегает со всех стен; Сюлло развернул кипучую деятельность; Друг Народа Марат и друг короля Руаю каркают наперебой, ибо Марат, хотя и долго скрывавшийся после кровопролития на Марсовом поле, еще жив. Он лежал бог весть в каких погребках, может быть у Лежандра*, питался отбивными Лежандровой бойни, но с апреля его громкий, квакающий голос, самый хриплый из земных криков, раздастся снова. В настоящее время его преследует черный страх: о храбрый Барбару, не провезешь ли ты меня контрабандой в Марсель, «переодетого жокеем»?¹⁷ В Пале-Руаяле и во всех общественных местах, читаем мы, царит оживленная деятельность: частные лица убеждают храбрецов записываться, требуют, чтобы исполнительная власть была приведена в действие, чтобы роялистские газеты были сожжены, из-за чего возникают споры, препирательства, заканчивающиеся обычно палочными ударами (coups de cannes)¹⁸. Или представим себе такую сцену: время — полночь, место — зал Манежа, высокое Собрание закрывает заседание. Граждане обоего пола входят гурьбой с криками: «Мщение! Они отравляют наших братьев» — запекают толченое стекло в хлеб в Суассоне! Верньо приходится произносить успокоительные речи: уже посланы комиссары расследовать слухи о толченом стекле; они сделают все, что необходимо в этих случаях, — буря среди граждан переходит «в глубокое молчание», и они расходятся домой, чтобы лечь спать.

* Лежандр Луи (1752—1797) — депутат Конвента от Парижа.

Таков Париж, сердце похожей на него Франции. Противоестественная подозрительность, сомнение, беспокойство, невыразимые предчувствия переполняют ее от края до края, а в центре хмурые марсельцы идут, пыльные, неутомимые, чуждые сомнений. Под музыку своих ожесточенных сердец они идут безостановочно и в продолжение трех с лишком недель непре-

рывно тянутся по этому длинному пути, опережаемые страхом и слухами. 26-го прибывают брестские депутаты, которых встречают на улицах Парижа криками «ура!». И это также люди решительные, со священными пиками Шатовё или без, и вообще совсем не склонные сейчас идти в Суассон. Несомненно, братья-марсельцы приближаются с каждым днем.

Глава пятая

ОБЕД

Счастливым был для Шарантона день 29-го этого месяца, когда братья-марсельцы действительно показались в виду. Барбару, Сантер и патриоты вышли навстречу мрачным паломникам. Патриоты прижимают запыленных братьев к своей груди; происходит омовение ног и угощение — «обед на тысячу двести человек в гостинице «Кадран Блэ» — серьезное тайное совещание, о котором ничего не известно¹⁹, но из которого в сущности выйдет мало толку, потому что Сантер с его открытым кошельком и громким голосом почти лишен разума. Однако эту ночь мы проведем здесь: наутро — публичное вступление в Париж.

Историки дня, диурналисты или журналисты, как они себя называют, оставили много воспоминаний об этом публичном вступлении. Они рассказывают, как мужчины и женщины в Сент-Антуанском предместье и во всем Париже братски приветствовали прибывших криками «браво» и рукоплесканиями на переполненных народом улицах, причем все это происходило самым мирным образом, исключая разве то, что наши марсельцы изредка указывали на ленточную кокарду и требовали, чтобы она была сорвана и заменена шерстяной, что и исполнялось; как Якобинское общество в полном составе вышло к месту бывшей Бастилии, чтобы обнять гостей; как они торжественно шли потом к городской Ратуше, где их обнимал мэр Петион; как сложили свои мушкеты в бараках Новой Франции, недалеко оттуда; как, наконец, пришли к таверне на Елисейских Полях, где их ожидала скромная патриотическая трапеза²⁰.

Обо всем этом уведомляется негодующее Тюильри. Красные швейцарцы наблюдают из-за дворцовых решеток с удвоенной бдительностью, хотя, конечно, опасности нет. В этот день во дворце дежурят синие гренадеры из секции Фий-Сен-Тома; это, как мы увидели, игроки с полными кошельками, ленточными кокардами, среди которых служит Вебер. Часть их с офицерами и разными фейянскими нотаблями — Моро де Сен-Мери «трех тысяч приказов» и другие — обедали в этот день в таверне возле той, где угощали марсельцев, только гораздо более приличной. Они пообедали и провозглашают теперь патриотические здравицы, в то время как марсельцы, просто национальные патриоты, садятся за свои скромные приборы. Что произошло дальше, остается невыясненным по сей день, но факты таковы: некоторые гренадеры выходят из своей таверны, быть может несколько возбужденные, но еще не пьяные, — выходят, с целью доказать марсельцам и толпе снующих в этих местах парижских патриотов, что они, солдаты батальона Фий-Сен-Тома, если хорошенько присмотреться, нисколько не менее патриотичны, чем какой бы то ни было другой класс людей. Это была слишком необдуманная затея! Может ли уличная толпа поверить подобному заявлению или ответить на него иначе чем вызывающими насмешками? Не стерпев их, гренадеры вытаскивают из ножен сабли, а вслед за тем раздается пронзительный крик: «À nous, Marseillais!» (Помогите, марсельцы!) С быстротою молнии, ибо скромный обед еще не подан, таверна марсельцев распаивается: из дверей, из окон бегут, выскакивают 517 необедавших патриотов и, сверкая обнаженными саблями, являются на поле брани. Вы хотите вступить в переговоры, гренадерские офицеры и официальные особы «внезапно побледневшими лицами», как говорят отчеты?²¹ Благоразумнее было бы немедленное умеренно быстрое отступление. Солдаты батальона Фий-Сен-Тома отступают сначала спиной вперед, потом, увы, лицом вперед и с утроенной скоростью; марсельцы, по сообщению одного отчета, «перескакивая через заборы и канавы, гонятся за ними, как львы; это было внушительное зрелище, messieurs».

Итак, они отступают, марсельцы преследуют их. Быстрее и быстрее бегут преследуемые по направлению к Тюильри, где подъемный мост принимает главную массу беглецов и, сразу поднятый, спасает их или же это делает зеленый ил канавы. Мост принял главную массу, но не всех, ах нет! Моро де Сен-Мери, например, слишком жирен и не мог бежать быстро, он получил удар саблей, только плашмя, по лопаткам, упал — и исчез из истории революции. Были

также порезы, уколы в мясистые части тела, много порванного платья и других порч, но худший жребий выпал бедному младшему лейтенанту Дюгамелю, невинному биржевому маклеру! Он обернулся с пистолетом в руке к своему преследователю или преследователям, выстрелил и промахнулся; выхватил другой пистолет, опять выстрелил — и опять промахнулся; потом побежал, к несчастью понапрасну. На улице Сен-Флорентин его настигли и яростно проткнули насквозь; это был конец новой эры и всяких эр для бедного Дюгамеля.

Мирные читатели могут представить себе, какой предобеденной молитвой все это было для сурового патриотизма и как батальон Фий-Сен-Тома выступил «под ружье», по счастью, без дальнейших последствий. В суд Собрания поступили жалобы и встречные жалобы; велась защита; марсельцы требовали приговора свободного суда присяжных, который так и не состоялся. Но для нас интереснее вопрос: каков будет конец всех этих дико нагромождающихся событий? Какой-нибудь да будет, и время его близится! Работают центральные комитеты, комитеты федератов в якобинской церкви, комитеты секций в городской Ратуше, собрание Карра, Камилля и компании в кафе «Золотое солнце»; работают подобно подводным божествам или болотным богам, орудующим в глубокой тине, пока все не будет готово.

А наше Национальное собрание, подобно полузатонувшему кораблю без руля, лежит, качаясь с боку на бок, в то время как на него страшно орут с галерей визгливые женщины и федераты с саблями; оно ждет, к какому берегу прибудет его волна случая, подозревая — а на левой стороне и зная, — какой тем временем готовится подводный взрыв! То и дело приходят петиции, требующие обвинения короля в вероломстве; приходят они и от парижских секций, и от провинциальных патриотических городов, «от Алансона, Бриансона и торговцев с ярмарки в Бокере». И если бы только это! Но 3 августа являются с такой же петицией мэръ Петюан и муниципалитет, — являются совершенно открыто, в трехцветных муниципальных шарфах. Все патриоты требуют обвинения короля в нарушении присяги; все желают и ждут низложения его. Бриссотинцы требуют того же и возведения на престол маленького королевского принца под их протекторатом. Настойчивые федераты спрашивают Законодательное собрание: «Можете вы спасти нас или нет?» 47 секций согласны на низложение, и только секция Фий-Сен-Тома осмеливается не соглашаться на это. Секция Моконсей даже заявляет, что низложение, собственно говоря, уже совершилось; Моконсей с своей стороны «отныне», с последнего дня июля, «отказывает Людовику в повиновении» и заносит это постановление в протоколы для всеобщего сведения. Шаг этот громко порицается, но будет вызывать и громкие похвалы, и название *Mausconseil*, или плохой совет, тогда изменится в *Bonconseil*, или добрый совет.

Председатель Дантон в секции Кордельеров делает нечто другое: он приглашает всех пассивных граждан принять участие в делах секции наравне с активными, так как всем грозит одна и та же опасность. Вот что делает, будучи официальным лицом, этот окутанный облаками Атлас, который поддерживает все на своих плечах. Он же устраивает так, чтобы батальон марсельцев перевели на новые квартиры в его собственном участке, на далеком юго-востоке. Хитрый Шометт, жестокий Бийо, капуцин-расстрига* Шабо, Гюгенен с набатом в сердце готовятся приветствовать их там. При этом все время повторяется вопрос: «О законодатели, можете вы спасти нас или нет?» Бедные законодатели! Законодательство их наполовину затонуло, под ним зреет вулканический взрыв. Вопрос о смещении короля будет обсуждаться 9 августа, а постыдное дело Лафайета кончится, как ожидают, восьмого.

* Служитель культа, с которого снят его церковный сан.

Может быть, сострадательный читатель хочет заглянуть на королевское *Lever* в воскресенье 5 августа? Последнее *Lever*! Давно уже — «никогда», говорит Бертран Мольвиль, — *Lever* не было так блестяще, по крайней мере так многолюдно. Грустное предчувствие читалось на всех лицах; у самого Бертрана глаза были полны слез. В самом деле, по ту сторону трехцветной ленты, на фейянской террасе, идут дебаты Законодательного собрания, дефилируют секции, весь Париж на ногах в это самое воскресенье, требуя *Déchéance*²². Тем временем здесь, за лентой, в сотый раз предлагается проект увезти Его Величество в Руан, в замок Гайон. Швейцарцы ждут в Курбвуа, многое готово, король сам почти готов. Тем не менее в сотый раз, когда близок момент действовать, король отступает после того, как все в трепете ждали целый бесконечный день; у него «есть причины думать, — пишет он, — что восстание еще не

так назрело, как вы предполагаете». Бертран де Мольвиль вне себя от досады и отчаяния (d'humeur et de désespoir)²³.

Глава шестая

ПОЛУНОЧНЫЕ КОЛОКОЛА

В действительности же восстание как раз готово вспыхнуть. В четверг 9 августа, если постановление о низложении короля не будет вынесено в этот день Законодательным собранием, то мы должны вынести его сами.

Законодательное собрание? Бедное, утлое Законодательное собрание не может принять никакого постановления. В среду 8-го, после бесконечных дебатов, оно не может предъявить обвинение даже Лафайету и оправдывает его — слышите, патриоты! — оправдывает большинством в два голоса против одного. Патриоты слышат. Мучимые страхом перед пруссаками и всевозможными подозрениями, патриоты бушуют целый день вокруг зала Манежа, оскорбляют многих влиятельных депутатов из оправдавшей правой, даже выгоняют их, хватают с грозными криками за ворот. Депутат Воблан и другие счастливы, что им удастся укрыться в караульных и спастись через заднее окно. И вот на следующий день поступают бесконечные жалобы, письмо за письмом от оскорбленных депутатов; время проходит в жалобах, прениях и бесплодной болтовне: солнце в четверг садится, как и во все прочие дни, постановление о низложении не принято. Поэтому по шатрам, о Израиль! (To your tents, O Israel!)*

* Цитата из Библии (3-я Книга Царств XII. 16) — призыв к неповиновению царю Давиду.

Якобинское общество умолкает; группы перестают ораторствовать; патриоты, сомкнув уста, «берут друг друга под руку», идут рядами по двое, быстрым, деловым шагом и исчезают в темных кварталах восточной окраины²⁴. Сантер готов, или мы его сделаем готовым. Сорок семь секций из сорока восьми готовы; даже секция Фий-Сен-Тома поворачивается якобинской стороной кверху, фейянской книзу и также готова. Пусть крайние патриоты осмотрят свое оружие, будь то пика или мушкет, а брестские братья и прежде всего хмурые марсельцы пусть готовятся к тому часу, когда они понадобятся! Синдик Рёдерер знает и сожалеет или нет, смотря, какой оборот примет дело, что 5000 пулевых патронов за эти немногие дни розданы федератам в городской Ратуше²⁵.

А вы тоже, храбрые господа, защитники короля, стекайтесь и вы со своей стороны в Тюильри. Не на Lever, а на Coucher, во время которого многих уложат в постель. Ваши входные билеты нужны, но еще нужнее ваши ружья! — Они собираются толпою, люди храбрые, также умеющие умирать. — Пришел старый фельдмаршал Малье, глаза его опять блестят, хотя и затуманенные пережитыми почти восьмьюдесятью годами. Мужайтесь, братья! У нас тысяча красных швейцарцев, надежных сердец, стойких, как альпийский гранит. Национальные гренадеры по меньшей мере друзья порядка; командир из Манда* проявляет лояльное рвение «и ручается за них головой». Он ручается и за свой штаб, который, по счастью, еще не распущен, хотя декрет уже принят.

* Манда де Гранье Жан Антуан — командующий Национальной гвардией в 1792 г.

Комендант Манда связался с мэром Петрионом и носит при себе в эти три дня его письменный приказ подавить силу силой. Эскадрон с пушками на Пон-Нёф должен повернуть назад марсельцев, если они захотят перейти реку; эскадрон у городской Ратуши должен разрезать надвое идущих из Сент-Антуана «при выходе их из-под арки Сен-Жан», прогнать одну половину в темные кварталы восточной окраины, а другую вперед «сквозь ворота Лувра». Немало эскадронов и конницы в Пале-Руаяле, на Вандомской площади; все они должны идти в атаку в надлежащий момент и очищать ту или другую улицу. У нас будет новое 20 июня, только еще более бесплодное? Или, может быть, восстание совсем не посмеет разразиться? Эскадроны Манда, конная жандармерия и синие гвардейцы идут с топотом, бряцая оружием; канониры Манда громыхают пушками. Все это под покровом ночи под звуки барабанов, бьющих сбор, когда люди ложатся спать. Такова ночь на 9 августа 1792 года.

С другой стороны, 48 секций сообщаются между собой с помощью быстрых гонцов; каждая из них выбирает «по три делегата с неограниченными полномочиями». Синдик Рёдерер и мэр Петион посылаются в Тюильри, а храбрые законодатели, когда барабан возвестит опасность, должны отправиться в свой зал. Девушка Теруань надела гренадерскую шапку и короткую амазонку, засунула за пояс пару пистолетов и прицепила сбоку саблю в ножнах.

Вот какая игра разыгрывается в этом сатанинском Париже, городе всех демонов! А все же ночь, когда мэр Петион прохаживается по Тюильрийскому саду, «прекрасна и спокойна»: Орион и Плеяды сверкают совершенно невозмутимо. Петион вышел в сад; «жара» внутри дворца была невыносима²⁶. Король принял его весьма сурово, как и следовало ожидать, и теперь нет выхода: синие эскадроны Манда поворачивают его назад от всех ворот; гренадеры Фий-Сен-Тома даже дают волю языку, обмениваясь предположениями, как поплатится добродетельный мэр «в случае какого-нибудь несчастья» и т. п., хотя другие, наоборот, преисполнены вежливости. Несомненно, что в эту ночь в Париже никто не был в более затруднительном положении, чем мэр Петион; он, так сказать, обязан под страхом смерти улыбаться одной стороной лица и плакать — другой, а если он сделает это недостаточно искусно, ему грозит смерть! Только в четыре часа утра Национальное собрание, узнав о его положении, приглашает его «дать отчет о положении Парижа», о котором он ничего не знает; однако благодаря этому он попадает домой, в постель, и в Тюильри остается одна его золоченая карета. Едва ли менее щекотлива и задача Рёдерера, который должен выжидать, пока не решится вопрос, плакать ему или смеяться, пока не увидит конечного результата. Он подобен двуликому Янусу, или мистери Смотри В Обе Стороны, как выражается Беньян. Ну а пока эти оба януса гуляют с другими такими же двуликими и «говорят о безразличных предметах».

Рёдерер время от времени входит во дворец послушать, поговорить, послать в управление департаментов, так как, будучи их прокурором-синдиком, он не знает, как себя вести. Комнаты все полны: около семисот господ в черном толпятся и протискиваются в них; красные швейцарцы стоят, словно скала; призрак или полупризрак министерства с Рёдерером и советниками толпятся вокруг их величеств; старый маршал Малье коленопреклоненно заявляет королю, что он и эти храбрые господа пришли умереть за него. Чу! Среди мирной полуночи вдруг раздается звон отдаленного набата! Да, нет сомнения: одна колокольня за другой подхватывает странную речь. Царедворцы в черном прислушиваются у отворенных окон, различают отдельные колокола²⁷: это набат с Сен-Рока, а этот не с Сен-Жака ли, называемого de la Boucherie? Да, Messieurs! И даже Сен-Жермен Оксерруа — разве вы не слышите его? Этот самый колокол грозно звучал 220 лет назад, в вечер Варфоломеевской ночи, но тогда по приказанию короля*. И колокола продолжают гудеть. Вот ударили в колокол и на городской Ратуше, его можно узнать по тону! Да, друзья, это городская Ратуша, это она говорит так с ночью чудесным металлическим языком и человеческой рукой: сам Марат, как известно, дергал веревку! Марат звонит; Робеспьер куда-то зарылся; его не видно в течение ближайших сорока часов; у некоторых людей есть мужество, а у других его все равно что нет, и даже злоба не придаст им его.

* Избиение гугенотов, организованное католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (праздник святого Варфоломея).

Смятение усиливается, по мере того как постепенно приближается исход, и час сомнений рождает, в муках и слепой борьбе, уверенность, которую ничто не может уничтожить! Делегаты с неограниченными полномочиями, по три от каждой секции, в общем 144 человека, собрались около полуночи в городской Ратуше. Эскадрон Манда, стоящий здесь, не препятствовал их входу: разве они не представляют Центральный комитет секций, обыкновенно заседающий здесь, хотя сегодня и в большем количестве? Они здесь, но среди них царят смущение, нерешительность и праздная болтовня. Снуют юркие гонцы, жужжат слухи о черных придворных, о красных швейцарцах, о Манда и его отрядах, готовых идти в атаку. Не лучше ли отложить восстание? Да, отложить. Га! Слышите? Из Сент-Антуанского предместья доносятся красноречивые звуки: набат звонит там как бы сам собою! Нет, друзья, вы не можете отложить восстание; вы должны произвести его и с ним жить или умереть!

Итак, скорее! Пусть прежние муниципальные советники сложат с себя полномочия и мандаты перед лицом избравшей их верховной народной власти и передадут их этим новым ста

сорока четырем! Волей или неволей, старые муниципалы, но вы должны уйти. Да разве не счастье для иного муниципала, что он может умыть себе руки в этом деле и сидеть парализованным, безответственным, пока не пробьет его час, или даже идти домой спать?²⁸ Остаются из старых только двое или, самое большее, трое: мэ́р Петион, в это время гуляющий в Тюильри, прокурор Маню-эль и товарищ прокурора Дантон, этот невидимый, все поддерживающий Атлас. Среди этих ста сорока четырех находятся Гюгенен с набатом в сердце, Бийо, Шометт, редактор Тальен, Фабр д'Эглантин, Сержан*, Пани**, короче, весь распускающийся или уже распустившийся цвет беспредельного патриотизма. Разве мы, как по волшебству, не составили новый муниципалитет с самой неограниченной властью, готовый действовать и объявить себя просто-напросто «на положении восстания»? Прежде всего пошлем за комендантом Манда; пускай он предъявит приказ, полученный им от мэра, и пусть новые муниципальные советники посетят те отряды, которым предписано выступить в атаку, а набат пускай звонит как можно громче. Вперед, вы, сто сорок четыре! Отступать вам уже поздно.

* Сержан Антуан Франсуа (1751—1847) — видный кордельер, член Коммуны 10 августа, депутат Конвента от Парижа.

** Пани Этьен Жак (1759—1832) — депутат Конвента от Парижа, руководитель Наблюдательного комитета Коммуны.

Читатель, не думай в своем спокойном положении, что восстание — легкое дело. Восстание — дело трудное: каждый человек не уверен даже в ближайшем соседе, совершенно не уверен в дальних соседях, не знает, какая сила с ним, какая против него, и уверен только в одном: что в случае неудачи его удел — виселица! Восемьсот тысяч голов, и в каждой из них особая оценка этой неизвестности и особая, соответствующая ей теория поступков; из стольких неуверенностей вытекает с каждой минутой уверенность в неизбежном, неизгладимом конечном результате, который может одинаково привести и к гражданскому венцу, и к позорной петле.

Если бы читатель мог полететь, подобно Асмодею*, мановением руки открыть все крыши и частные квартиры и заглянуть в них с башни собора Парижской Богородицы, какой Париж увидел бы он! Визг и причитания на высочайших дискантовых нотах, воркование и скептические речи в басовых тонах; мужество, доходящее до отчаянного упорства; трусость, безмолвно дрожащая за забаррикадированными дверями, а вокруг — спокойно храпящее тупоумие, которое всегда способно спать. И между этим звоном заливающихся колоколов и этим храпом тупости какая еще лестница трепета, возбуждения, отчаяния! И над всем этим лишь Сомнение, Опасность, Смерть и Ночь!

* В библейской мифологии злой дух.

Борцы одной секции выходят, но узнают, что соседняя не трогается, и уходят обратно. Сент-Антуан, по эту сторону реки, не уверен в Сен-Марсо, по ту сторону. Надежны лишь храп тупости да 600 марсельцев, умеющих умирать. Манда, дважды вызванный, не является в Ратушу. Гонцы летают непрерывно с быстротой отчаяния; тысячи голосов шепотом обмениваются слухами. Теруань и частные патриоты, подобно ночным птицам, носятся в тумане, производя разведку то там, то здесь. Из Национальной гвардии около трех тысяч последовало за Манда, когда он велел бить сбор; остальные следуют своей собственной теории неуверенности, одни — что лучше было бы идти с Сент-Антуаном, другие, многочисленные — что в подобном случае безопаснее всего было бы лечь спать. А барабаны бьют, словно иступленные, набат звонит. Но даже Сент-Антуан только выходит и возвращается; коменданту Сантеру не верится, что марсельцы и Сен-Марсо пойдут. О ленивая пивная бочка с громким голосом и деревянной головой! Время ли теперь колебаться? Эльзасец Вестерман хватает его за горло с обнаженной саблей, и теперь эта тупица верит. Таким образом, в суе, неуверенности и при звоне набата, проходит долгая ночь; всеобщее волнение достигает истерического напряжения, но из этого ничего не выходит.

Однако по третьему вызову Манда является. Он приходит один, без стражи и удивляется, видя новый муниципалитет. Его прямо спрашивают, считает ли он возможным выполнить приказ мэра противодействовать силе силой и о стратегическом плане, состоящем в том, чтобы разрезать Сент-Антуан на две половины; он отвечает, что может сделать это. Тогда муниципали-

тет находит, что было бы правильно отослать этого национального стратега в тюрьму Аббатства и предоставить судить его судебной палате. Увы, снаружи уже теснится суд, но суд не писаного закона, а первобытного кулачного права, суд, взволнованный до истерики, жестокий, как страх, слепой, как ночь, и этот-то суд вырывает бедного Манда из рук его охранителей, валит его на пол и убивает на ступенях городской Ратуши. Смотрите, новые муниципальные советники и ты, народ, на положение восстания! Кровь пролита, за кровь придется ответить. Увы, при такой истерии крови прольется еще больше, потому что в этом отношении человек похож на тигра: ему стоит только начать.

Семнадцать субъектов было схвачено разведчиками-патриотами на Елисейских Полях, в то время как они, едва видимые, проносились перед ними, также едва видимыми. Есть у вас пистолеты, рапиры, вы, семнадцать? Вы один из проклятых «мнимых патрулей», которые бродят с антинациональными намерениями, рыская, кого выследить, что истребить! Семнадцать пленных ведут на ближайшую гауптвахту, одиннадцать из них спасаются через заднее окно. «Что это?» Девица Теруань появляется у переднего выхода с саблей, пистолетами и свитой, обличает изменническое соглашение и хватает оставшихся шестерых, чтобы не было надругательства над народным правосудием. Из этих шестерых спасаются еще двое во время суеты и прений суда кулачного права; остальные четверо несчастных убиты, как Манда; это два бывших лейб-гвардейца, один веселой жизни аббат и роялистский памфлетист Сюлло известный нам по имени писатель и остряк Бедный Сюлло, его «Апостольские деяния» и остроумные журналы-плакаты (он был талантливый человек) приходят, таким образом, к концу; сомнительные шутки разрешаются серьезным ужасом! Вот над какими делами занимается утро 10 августа 1792 года.

Подумайте, какую ночь провело бедное Национальное собрание, заседающее «в большом меньшинстве», пытаясь дебатировать, дрожа и трепеща от страха, поворачиваясь ко всем тридцати двум азимутам сразу, как магнитная стрелка в бурю! Произойдет ли восстание? Что, если оно произойдет и не удастся? Увы, ведь в этом случае черные придворные с ружьями, красные швейцарцы со штыками, опьяненные победой, могут обрушиться на нас и спросить: «Ты, нерешительное, утлое, само себя смущающее, само себя уничтожающее Законодательное собрание, что ты делаешь здесь, почему ты не тонешь?» Или представьте себе бедных национальных гвардейцев, стоящих биваком во «временных палатках» или, выстроившись рядами, перемещающихся с ноги на ногу всю долгую ночь, в то время как новые трехцветные муниципалы приказывают одно, а старые офицеры Манда — другое! Прокурор Манюэль приказал оттащить пушки с Пон-Нёф; никто не решается его послушаться. Очевидно, значит, что старый, так давно уже обреченный штаб наконец в эти часы распущен и наш комендант теперь не Манда, а Сантер? Да, друзья, отныне Сантер наверное уже не Манда! Отряды, которые должны были идти в атаку, не видят ничего определенного, кроме того, что они промерзли, голодны, утомлены караулом, что было бы печально убивать своих же братьев-французов и еще печальнее — быть убитыми ими. Вне и внутри тюильрийской огады люди эти охвачены мрачным, нерешительным настроением. Одни только красные швейцарцы стоят непоколебимо. Офицеры подкрепляют их водкой, от которой национальные гвардейцы, зашедшие слишком далеко вперед для водки, отказываются.

Король Людовик прилег тем временем отдохнуть; на парике его, когда он появляется, с одной стороны нет пудры²⁹. Старый маршал Малье и господа в черном становятся тем бодрее, чем долее медлит народ с восстанием; они даже острят: «Le tocsin ne rend pas» (Набат, подобно тощей, дойной корове, не действует). Впрочем, разве нельзя провозгласить закон о военном положении? Трудно, так как мэр Петион, по-видимому, ушел. С другой стороны, наш временный комендант, так как Манда только что ушел в Ратушу, жалуется, что такое большое количество придворных в черном затрудняют службу, являются бельмом на глазу у национальных гвардейцев. На что Ее Величество выразительно отвечает, что это люди верные, готовые повиноваться, готовые все перенести.

Между тем желтый свет ламп в королевском дворце меркнет при свете занимающейся утренней зари. Толкотня, суета, смятение нарастают по мере того, как дело близится к концу. Рёдерер и прозрачные министры протискиваются в толпе, совещаются в боковых комнатах то с королем, то с королевой, то с обоими вместе. Сестра Елизавета отводит королеву к окну: «Сестра, посмотри, какой чудесный восход!» — как раз над церковью якобинцев и той части города! Какое счастье, если б из набата ничего не вышло! Но Манда не возвращается. Петион ушел;

многое колеблется на невидимых весах. Около пяти часов из сада поднимается какой-то гул, похожий на ликование, переходящий в рев и заканчивающийся вместо «Vive le Roi!» криком «Vive la Nation!». «Mon Dieu! — восклицает один из призрачных министров. — Что он там делает?» Это король, вышедший со старым маршалом Малье произвести смотр войскам, и ближайшие отряды приветствуют его таким образом. Королева заливается слезами. Однако, когда она снова выходит из кабинета, глаза ее сухи и спокойны, взгляд даже весел. «Австрийская губа и орлиный нос, выдающийся более обыкновенного, придавали ее лицу, — говорит Пелтье³⁰, — величие, о котором не видевшим ее в эти минуты трудно составить себе представление». О дочь Терезии!

Король Людовик входит, тяжело дыша от усталости, но все же со свойственным ему равнодушным видом. Из всех надежд самая приятная в эту минуту та, что набат кончится ничем.

Глава седьмая

ШВЕЙЦАРЦЫ

Несчастные друзья, набат принес, уже принес результаты! Смотрите, как при первых солнечных лучах неизмеримый, порожденный ночью океан пик и ружей, сверкая, надвигается с далекого востока! Оно идет, это страшное войско: Сент-Антуан движется с этой стороны реки, Сен-Марсо — по той, хмурые марсельцы — впереди. С далеко слышным гулом и злоеющим ропотом, подобно приливу океана, вздымающемуся из глубины пучин под влиянием луны, они надвигаются, сверкая оружием; никакой король, ни Канут, ни Людовик, не может приказать этому океану повернуть назад. Волнующиеся боковые потоки невооруженных, но шумных зрителей стремятся туда и сюда; стальное войско подвигается вперед. Новый комендант Сантер, правда, остановился в городской Ратуше отдохнуть на полдороге, но эльзасец Вестерман со сверкающей саблей в руке не отдыхает, ни секции, ни марсельцы, ни девица Теруань не отдыхают, а, не останавливаясь, идут вперед.

Где же отряды Манда, которые должны были идти в атаку? Ни один отряд не двигается, а если двигается, то в неверном направлении, не по той дороге, и офицеры радуются, что они делают хоть это. Поныне неизвестно в точности, оказал ли отряд на Пон-Нёф хотя бы тень сопротивления, во всяком случае мрачные марсельцы в сопровождении Сен-Марсо переходят его беспрепятственно и уже с твердой надеждой приближаются к сентантуанцам и остальным, чтобы вместе направиться к Тюильри — цели их похода. Там слышаны об их приближении, и все приходит в движение: красные швейцарцы осматривают свои пороховницы; придворные в черном вытаскивают ружья, рапиры, кинжалы, у некоторых даже каминные лопатки; каждый хватается за то оружие, какое есть под рукою.

Судите же, как при таких обстоятельствах чувствовал себя синдик Рёдерер! Неужели милосердное небо не укажет среднего спасительного пути для бедного синдика, колеблющегося между двумя сторонами? Если бы Его Величество согласился пройти к Национальному собранию! Но Его Величество и особенно Ее Величество не могут согласиться на это. Ответила ли королева «fi donc» на это предложение или сказала даже, что предпочитает быть пригвожденной к стенам? По-видимому, нет. Пишут также, что она дала королю пистолет, говоря, что теперь время показать себя — теперь или никогда. Близкие свидетели этого не видели, и мы также. Они видели только, что она была царственно спокойна, она не рассуждала, не спорила с неизбежностью, но, подобно Цезарю в Капитолии, завернулась в свою мантию, как надлежит королевам и сынам Адама. Но ты, Людовик? Из какого же материала создан ты? Неужели ты не можешь рискнуть хоть раз, ради спасения жизни и короны? Самая глупая, загнанная лань умирает не так. Неужели ты самый немощный из смертных или самый кроткий? Во всяком случае, самый злополучный.

Поток надвигается, смятение синдика Рёдерера и всех все возрастает и возрастает. Неистовый шум доносится от вооруженных национальных гвардейцев во дворе; всюду бесконечное жужжание языков. Что посоветовать? А поток уже близок! Гонцы, разведчики поспешно отдают отчет через наружные решетки или переговариваются, сидя верхом на стенах. Синдик Рёдерер выходит и возвращается, канониры спрашивают его: «Стрелять ли нам в народ?» Министры спрашивают: «Ворвутся ли в королевский дворец?» Синдику Рёдереру приходится вести трудную

игру. Он говорит с канонирами красноречиво, с жаром, с таким жаром, с каким только может говорить человек, которому приходится дышать холодом и жаром одновременно. Холодом и жаром, Рёдерер? Что касается нас, то мы не можем одновременно и жить, и умереть! Канониры в ответ бросают свои фитили. — Подумайте об этом ответе, король Людовик и королевские министры, и пойдите по надежному среднему пути бедного синдика Рёдерера в зал Манежа. Король Людовик сидит, опершись руками о колени и нагнувшись телом вперед, пристально смотрит некоторое время на Рёдерера, потом отвечает, глядя через плечо на королеву: «Marchons!» (Пойдем!) Они идут: король Людовик, королева, сестра Елизавета, двое королевских детей и гувернантка — в сопровождении синдика Рёдерера и других официальных лиц, среди двойной шеренги национальных гвардейцев. Люди с мушкетами, стойкие красные швейцарцы, смотрят грустно, с укоризной, но слышат от синдика только слова: «Король идет в Собрание, расступитесь!» Несколько минут назад на всех часах пробило восемь. В этот час король покинул Тюильри навсегда.

О стойкие швейцарцы и храбрые дворяне в черном, ради какого дела вы жертвуете собою сами и жертвуют вам другие! Посмотрите в западные окна, и вы увидите, как спокойно король Людовик продолжает свой путь, а маленький королевский принц, «играя, подбрасывает ногами упавшие листья». Бушующая толпа кишит на параллельной с ними фейясской террасе; в ней особенно шумит один, с длинной жердью: не вздумают ли они загородить наружную лестницу и задний выход из зала, когда королевская семья подойдет? Королевская гвардия может дойти только до нижней ступеньки. Смотрите, вот выходит депутация законодателей; человека с длинной жердью успокаивают увещаниями, охрана Собрания соединяется с королевской охраной, и все в крайнем случае могут подняться вместе; наружная лестница свободна или по меньшей мере проходима. Их величества поднимаются; синий гренадер берет на руки бедного королевского принца, спасая его от давки; их величества вошли и навсегда исчезли с ваших глаз. — А вы, швейцарцы и придворные в черном? Вас оставили стоять среди зияющей бездны и землетрясения восстания без компаса, без команды; если вы погибнете, то будете больше чем мучениками, потому что погибнете не за идею. Придворные в черном большей частью исчезают через всевозможные выходы, а бедные швейцарцы не знают, что делать: для них ясна только единственная их обязанность оставаться на своем посту, и они исполняют ее.

Однако сверкающее море стали приблизилось, оно ударяется уже о дворцовые ограды и восточные двory, непреодолимое, с шумом вздымающееся вширь и вдаль, — оно врывается, наполняет площадь Карусель, мрачные марсельцы впереди. Король Людовик ушел, говорите вы, в Собрание! Прекрасно; но пока Собрание не сместит его, что толку в этом? Наше место здесь, в этом замке, или в его крепости; мы должны остаться здесь. Подумайте, стойкие швейцарцы, хорошо ли, если начнется убийство и братья станут расстреливать друг друга из-за каменного здания? Бедные швейцарцы, они не знают, что делать: из южных окон некоторые бросают патроны в знак братства; они стоят плотными рядами на восточной наружной лестнице и внутри вдоль длинных лестниц и коридоров, стоят миролюбиво, но отказываются двинуться с места. Вестерман говорит с ними на немецко-эльзасском наречии, марсельцы умоляют темпераментной провансальской речью и мимикой; оглушительный гул увещаний и угроз окружает их. Швейцарцы стоят непоколебимо, мирно, но неподвижно, подобно красной гранитной плотине среди бушующего и сверкающего моря стали.

Кто может помешать неизбежному? Марсельцы и вся Франция на одной стороне, гранитные швейцарцы на другой. Жесты становятся все возбужденнее, марсельцы размахивают саблями; швейцарцы хмурятся, и пальцы их нажимают ружейные курки. Вдруг, заглушая весь шум, три ядра из марсельских пушек, направленных плохим артиллеристом, с громом вылетают и катятся по крышам! Швейцарцы командуют: «Стрелять!» И стреляют залпами, повзводно, беглым огнем; немало марсельцев, и среди них «высокий мужчина, шумевший больше всех», падают безмолвно и лежат, пригвожденные к мостовой, немало их окончили здесь свой длинный, пыльный путь! Площадь Карусель пуста: черное море отступило, «некоторые бежали, не останавливаясь, до самого Сент-Антуана». Канониры без фитилей исчезли в пространстве, оставив свои пушки, которыми швейцарцы завладевают.

Что это был за залп! Он разнесся приговором по всем четырем сторонам Парижа и отдался во всех сердцах, подобно звуку военного клича Беллоны! Хмурые марсельцы, тотчас же снова соединившиеся, превратились в черных демонов, умеющих умирать. Не отстают ни

Брест, ни эльзасец Вестерман, ни девица Теруань — настоящая Сивилла* Теруань. Мщение! Victoire pu la mort! (Победа или смерть!) Из всех патриотских ружей и орудий, больших и малых, с фейянской террасы и со всех террас и площадей широко разлившегося мятежного моря поднимается в ответ красный огненный вихрь. Синие национальные гвардейцы, стоящие в саду, не могут помешать своим ружьям действовать против иноземных убийц, потому что в скученной толпе людей между ружьями устанавливается симпатия. Да и все человечество, подобно настроенным струнам, обладает бесконечным созвучием и единством: ударьте по одной струне, и все одинаково настроенные зазвучат тихой мелодией или оглушительным воплем безумия! Конные жандармы скачут очертя голову; по ним стреляют только потому, что они движутся; они скачут через Королевский мост, сами не зная куда. Мозг Парижа, воспаленный мозг, здесь, в центре, он охвачен пламенем безумия.

* Сивиллами древние греки и римляне называли полубогин прорицательниц, которые жили в пещерах у источников и в состоянии экстаза предсказывали будущее.

Смотрите, огонь не прекращается; беглый огонь швейцарцев из дворца также не ослабевает. Они захватили даже, как мы видели, пушки, а теперь в их руки попадают еще три, с другой стороны, но, к сожалению, без фитилей; с помощью лишь стали и кремня ничего не выходит, несмотря на все попытки³¹. Если бы удалось ответить! Патриотические зрители озабочены. Один весьма странный патриот-зритель думает, что, если бы у швейцарцев был командир, они победили бы. Мнение этого зрителя имеет вес: его имя — Наполеон Бонапарт³². На другом берегу реки также стоят внимательные зрители, в том числе женщины, и среди них остроумный доктор Мюр из Глазго*; пушки с грохотом проезжают мимо них, останавливаются на Королевском мосту и разряжают свои чугунные утробы против Тюильри, и при каждом новом залпе женщины и зрители «кричат от восторга и рукоплещут»³³. Дьявольский город! В отдаленных улицах люди пьют утренний кофе, идут по своим делам, останавливаясь время от времени, когда глухое эхо становится несколько громче. А здесь марсельцы падают раненые, но у Барбару есть врачи; он и сам здесь и действует, хотя втайне, под прикрытием. Марсельцы, падая, пораженные насмерть, передают свои ружья, указывают, в каком кармане у них патроны, и умирают бормоча: «Отомсти за меня, отомсти за Отечество». Федеральных брестских офицеров, скачущих в красных мундирах, расстреливают, принимая за швейцарцев. Смотрите, Карусель в огне! Париж превратился в ад! Да, бедный город охвачен лихорадкой и судорогами! Кризис продолжается около получаса.

* Демократическая общественность Англии приветствовала Французскую революцию и ее идеи. Это сочувствие проявилось в создании различных демократических обществ. В Шотландии была создана революционно-демократическая организация «Общество друзей народа», которой руководил доктор Мюр. В 1793 г. он был предан суду и приговорен к 14 годам каторги.

Но кто это показывается у заднего выхода зала Манежа со значками Законодательного собрания и пробирается сквозь сутолоку, под смертоносным градом по направлению к Тюильри и швейцарцам? Это письменное приказание Его Величества прекратить стрельбу! О злополучные швейцарцы! Почему у вас не было приказа не начинать ее? Швейцарцы с радостью прекратили бы стрельбу, но кто может заставить обезумевших мятежников сделать это? С мятежом нельзя говорить, еще меньше он, гидроголовый, может слышать. Мертвые и умирающие сотнями лежат вокруг; их несут, окровавленных, по улицам для оказания помощи, и вид их, подобно факелу фурий, зажигает безумие. Патриотический Париж ревет, как медведица, у которой отняли медвежат. «Вперед, патриоты! Мщение! Победа или смерть!» Были люди, бросившиеся в свалку с одними тросточками вместо всякого оружия³⁴. Ужас и безумие царят в этот час.

Швейцарцы, теснимые снаружи, парализованные изнутри, перестали стрелять, но не перестали падать от пуль. Что им делать? Момент отчаянный. Искать прикрытия или немедленно умереть? Но где прикрытия? Одна часть выбегает на улицу Де-Лешель и уничтожается целиком (en entier). Другая часть, с другой стороны, бросается в сад, «под сильным огнем» вбегает с мольбой в Национальное собрание, встречает сочувствие и укрывается там на задних скамейках. Третья, самая большая, составив колонну в 300 человек, устремляется к Елисейским Полям. Ах, если б вам удалось достигнуть Курбевау, где находятся другие швейцарцы! Увы, под

сильным огнем колонна «вскоре расстраивается из-за различия во мнениях», распадается на разрозненные кучки; часть прячется в закоулках, остальные умирают, сражаясь на улицах. Стрельба и убийства не прекращаются еще долго. Стреляют даже в красных швейцарцев при отелях независимо от того, швейцарцы ли они от рождения или suisse только по названию. Стреляют даже в пожарных, заливающих дымящуюся Карусель: почему же Карусели не сгореть? Некоторые швейцарцы спасаются в частных домах и находят, что сострадание все еще живет в человеческих сердцах. Храбрые марсельцы, еще недавно столь грозные, тоже милосердны и хлопочут над спасением раненых. Журналист Горса горячо увещает разъяренные группы. Клеманс, виноторговец, натывается на решетку Собрания, держа за руку спасенного им швейцарца; страстно рассказывает, с каким трудом и опасностью он спас его, обещает, будучи сам бездетен, помогать ему и, среди рукоплесканий, падает без чувств на шею бедному швейцарцу. Но большинство убито и даже искалечено. Пятьдесят (некоторые говорят, восемьдесят) человек отводятся национальными гвардейцами в качестве пленных в городскую Ратушу, но на Гревской площади озлобленный народ бросается на них и убивает всех до единого. «O Peuple, которому завидует Вселенная!» Peuple, охваченный яростью безумия!

Немногое в истории кровавых бань ужаснее этого побоища. Как неизгладимо запечатлевается в грустном воспоминании красная нить несчастной колонны красных швейцарцев, «распадающейся из-за несогласия во мнениях» и исчезающей во мраке и смерти! Честь вам, храбрые люди, и почтительное сожаление на долгие времена! Вы были не мученики, но почти более чем мученики. Он не был вашим королем, этот Людовик, и он покинул вас, как король из тряпок и лохмотьев: вы были только проданы ему за несколько грошей в день, но вы хотели работать за свое жалованье, сдерживать данное слово. Работа эта теперь означала смерть, и вы исполнили ее. Слава вам и да будет жива во все времена старая Deutsche Biederkeit и Tapferkeit и доблесть, заключающаяся в достоинстве и верности, будь эти качества швейцарскими или саксонскими! Люди эти были не побочными, а законными сынами Земпаха и Муртена, преклонявшими колена, но не перед тобой, бургундский герцог! Пусть путешественник, проезжающий через Люцерн, свернет в сторону взглянуть на их монументального Льва — не ради только Торвальдсена! * Высеченная из цельной скалы фигура льва отдыхает у тихих вод озера, убаюкиваемая далекими звуками *ganse-des-vaches* (пастушеской песни); вокруг безмолвно стоят на часах гранитные горы, и фигура, хотя и неодушевленная, говорит.

* Бертель Торвальдсен (1768 или 1770—1844) — датский скульптор, представитель классицизма. Памятник, о котором идет речь, посвящен солдатам швейцарской королевской гвардии, сражавшимся на стороне французского короля.

Глава восьмая

КОНСТИТУЦИЯ РАЗРЫВАЕТСЯ НА ЧАСТИ

Таким образом, 10 августа и выиграно и проиграно. Патриоты считают своих убитых многими тысячами, так смертоносен был огонь швейцарцев из окон; в конце концов число их сводится к 1200. Это был нештучный бой. К двум часам дня резня, разгром и пожар еще не прекратились, распахнутые двери Бедлама еще не закрылись.

Как потоки неистовствующих санкюлотов ревели во всех коридорах Тюильрийского дворца, беспощадные в своей жажде мщения; как убивали, рубили лакеев и г-жа Кампан видела занесенную над ее головой марсельскую саблю, но мрачный герой сказал «Va-t-en!» (Пошла прочь!) и оттолкнул ее, не тронув³⁵; как в погребках разбивали бутылки с вином, у бочек вышибали дно и содержимое их выпивали; как во всех этажах, до самых чердаков, окна извергали драгоценную королевскую мебель и как, заваленный золочеными зеркалами, бархатными драпировками, пухом распоротых перин и мертвыми человеческими телами, Тюильрийский сад не походил ни на один сад на земле, — обо всем этом желающий может найти подробное описание у Мерсье, у желчного Монгайяра или у Больё в «Deux Amis». 180 трупов швейцарцев лежат, сваленные в груды, непокрытые, их Убирают только на следующий день. Патриоты изорвали их красные мундиры в клочья и носят их на концах пик; страшные голые тела лежат под солнцем и звездами; любопытные обоюго пола стекаются посмотреть на них. Не будем этого делать! Около сотни повозок с нагроможденными на них трупами направляются к кладбищу святой Магдалины, сопровождаемые воплями и плачем, потому что у всех были родственники,

матери, здесь или на родине; это одно из тех кровавых полей, о которых мы читаем под названием «славная победа», очутившееся в этом случае у самой нашей двери.

Но марсельцы свергли тирана во дворце; он разбит и едва ли поднимется вновь. Какой момент переживало Законодательное собрание, когда наследственный представитель вошел при таких обстоятельствах и гренадер, несший маленького королевского принца, спасая его от давки, поставил его на стол Собрания! Момент, который нужно было сгладить речами в ожидании того, что принесет следующий. Людовик сказал несколько слов: «Он пришел сюда, чтобы предупредить большое преступление; он думает, что нигде не находится в большей безопасности, чем здесь». Председатель Верньо ответил в коротких неопределенных выражениях что-то о «защите конституционных властей», о смерти на своих постах³⁶. И вот король Людовик садится сначала на одно место, потом на другое, потому что возникает затруднение: конституция запрещает вести прения в присутствии короля; кончается тем, что король переходит со своей семьей в «Loge of the Logographe» — в ложу протоколиста, находящуюся вне заколдованного конституционного круга и отделенную от него решеткой. Вот в какую клетку, площадью 10 квадратных футов, с маленьким кабинетиком у входа, замкнут теперь король обширной Франции: здесь в продолжение шестнадцати часов он и его семья могут смирно сидеть на глазах у всех или время от времени удаляться в кабинетик. Вот до какой удивительной минуты пришлось дожить Законодательному собранию!

Но что за момент был этот и следующий за ним, когда несколько минут спустя грянули три марсельские пушки, затрещал беглый огонь швейцарцев и все загремело, словно наступил Страшный суд! Почтенные члены Собрания вскакивают, так как пули залетают даже сюда, со звоном влетают сквозь разбитые стекла и поют свою победную песнь даже здесь. «Нет, это наш пост; умрем на своих местах!» Законодатели снова садятся и сидят, подобно каменным изваяниям. Но не может ли ложа протоколиста быть взломана сзади? Сломайте решетку, отделяющую ее от заколдованного конституционного круга! Сторожа разбивают и ломают; Его Величество сам помогает изнутри, и решетка уступает общим усилиям; король и Законодательное собрание теперь соединены, неведомая судьба парит над ними обоими.

Один удар грохочет за другим; задыхающиеся гонцы с широко раскрытыми от ужаса глазами врываются один за другим; отправляется приказ короля швейцарцам. Ужасающий треск кончился. Запыхавшиеся гонцы, бегущие швейцарцы, обвиняющие патриоты, общий трепет — и конец. К четырем часам почти все закончено.

Приходят и уходят при громе виватов новые муниципальные советники с тремя флагами: Liberté, Egalité, Patrie. Верньо, предлагавший в качестве председателя несколько часов назад умереть за конституционные учреждения, теперь в качестве докладчика комитета вносит предложение провозгласить низложение короля и немедленно созвать Национальный Конвент для выяснения дальнейшего! Толковый доклад, должно быть, уже лежал готовым у председателя в кармане. В подобных случаях у председателя многое должно быть готово, но многое и не готово, и, подобно двуликому Янусу, он должен смотреть вперед и назад.

Король Людовик все это слушает. Около полуночи он удаляется «в три маленькие комнаты на верхнем этаже», пока для него не приготовят Люксембургский дворец и «национальную охрану». Лучшей охраной был бы герцог Брауншвейгский. Впрочем, кто знает? Может быть, и нет. Бедные развенчанные головы! На следующее утро толпы приходят поглазеть на них в их трех комнатках наверху. Монгайяр говорит, что августейшие пленные имели беззаботный, даже веселый вид, что королева и принцесса Ламбаль, присоединившаяся к ней ночью, глядя в открытое окно, «стряхивали пудру со своих волос на стоявший внизу народ и смеялись»³⁷. Но Монгайяр — желчный, изломанный человек.

Впрочем, можно догадаться, что Законодательное собрание и главным образом новый муниципалитет продолжают свою деятельность. Гонцы от муниципалитета или Законодательного собрания и быстрые эстафеты летят во все концы Франции, преисполненные торжества, смешанного с негодующим сожалением, потому что победа стоила жизни 1200 человек. Франция шлет свой смешанный с негодованием ликующий ответ: 10 августа будет тем же, что и 14 июля, только еще кровавее, еще многозначительнее*. Двор замышляет заговор? Бедный двор: он побежден, и ему придется нести последствия опустошения и пренебрежения. Падают все статуи королей! Даже бронзовый Генрих, хотя когда-то на нем красовалась трехцветная кокарда, ру-

шится вниз с Пон-Нёф, где развевается знамя «Отечество в опасности». Еще стремительнее опрокидывается Людовик XIV на Вандомской площади и даже, падая, разбивается. Любопытные могут заметить надпись на копытах его коня: «12 августа 1692» — сто лет и один день.

* 10 августа 1792 г. в Париже победило народное восстание. Его важнейшим непосредственным результатом было свержение тысячелетней монархии и ликвидация цензовой антидемократической системы, установленной конституцией 1791 г. Народное восстание 10 августа изменило соотношение сил во Французской революции. 10 августа была фактически свергнута не только монархия, но и политическое господство феианской крупной буржуазии.

10 августа было в пятницу. Еще до конца недели старое патриотическое министерство призвано вновь на свой пост в том составе, какой оказался возможным: строгий Ролан, женевец Клавьер, затем тяжеловесный Монж*, математик, бывший каменотес, и в качестве министра юстиции Дантон, приведенный сюда, как он образно говорит, «сквозь брешь патриотических пушек!» Эти люди должны под руководством законодательных комитетов вести, как умеют, разбитый корабль. Много будет смятения со старым, утлым Законодательным собранием и с энергичным новым муниципалитетом! Но составится Национальный Конвент — и тогда! Однако пусть без промедления будет установлен в Париже новый суд присяжных и уголовный трибунал, чтобы произнести приговор над всеми преступлениями и заговорами, относящимися к 10 августа. Верховный суд в Орлеане далек, медлителен, а за кровь 1200 патриотов должно быть заплачено кровью же, какой бы ни было. Трепещите, преступники и заговорщики: министром юстиции стал Дантон! Робеспьер после победы тоже заседает в новом муниципалитете, революционном «импровизированном муниципалитете», называющем себя Генеральным советом Коммуны.

* Монж Гаспар (1746—1818) — создатель начертательной геометрии, морской министр с 10 августа 1792 г. до 13 апреля 1793 г.

Три дня уже Людовик и его семейство слушают в ложе протоколиста в Законодательном собрании дебаты, а на ночь удаляются в маленькие верхние комнаты. Люксембургский дворец и национальную охрану не успели приготовить, к тому же в Люксембургском дворце оказывается слишком много выходов и погребов: никакой муниципалитет не может взять на себя его охрану. Непроницаемая тюрьма Тампль, правда не столь элегантная, была бы гораздо надежнее. Так в Тампль! В понедельник 13 августа 1792 года Людовик и его печальная низложенная семья переезжают туда. При проезде их по Вандомской площади разбитая статуя Людовика XIV еще валяется на земле. Петион боится, что взгляд королевы может показаться толпе насмешливым и вызвать раздражение, но она опускает глаза и ни на что не смотрит. «Давка чудовищная», но все спокойно; кое-где кричат: «Vive la Nation!», но большая часть смотрит молчаливо. Французский король исчезает за воротами Тампля; старые зубчатые башни накрывают его, подобно огнетушителю, называемому Bonsoir; из этих самых башен пятьсот лет назад французская королевская власть вывела на сожжение несчастных Жака Моле и его тамплиеров*. Вот как изменчива судьба людей на нашей планете! Все иностранные послы, в том числе английский, лорд Гауер, потребовали свои грамоты и в негодовании разъезжаются, каждый к себе на родину.

* Тамплиеры — члены католического духовно-рыцарского ордена, основанного в Иерусалиме ок. 1118 или 1119 г. В конце XIII в. обосновались во Франции. Жак Моле (ок. 1243—1314) — последний магистр ордена тамплиеров. Вместе с другими членами ордена был обвинен в манихействе и приговорен к сожжению на костре.

Итак, с конституцией покончено? Отныне и вовеки! Кончилось это мировое чудо; первый двухгодичный парламент, потерпев крушение, дожидается только, пока явится Национальный Конвент, и тогда погрузится в бездонные глубины времени. Можно представить себе молчаливую ярость бывших членов Учредительного собрания, создателей конституции, вымерших феианов, полагавших, что конституция выживет. Лафайет во главе своей армии поднимается до высот положения. Законодательное собрание посылает к нему и к армии на северной границе комиссаров, чтобы склонить их к признанию нового порядка. Но Лафайет приказывает Седанскому муниципалитету арестовать этих комиссаров и держать их под строгим караулом, как мятежников, до дальнейших его распоряжений. Седанский муниципалитет повинуется.

Муниципалитет повинуется, но солдаты? Солдаты армии Лафайета, подобно всем солдатам, испытывают смутное чувство, что они сами санкюлоты в кожаных поясах, что победа 10 августа — их победа. Они не хотят подниматься и следовать за Лафайетом в Париж; они предпочитают подняться и послать туда его самого. Поэтому уже в ближайшую субботу, 18-го числа, Лафайет, наведя по мере возможности порядок в своих войсках, уезжает в сопровождении двух или трех негодующих офицеров своего штаба, в том числе бывшего члена Конституанты Александра де Ламета. Они поспешно пересекают границы и направляются в Голландию. Увы, Лафайет стремительно скачет, чтобы попасть в когти австрийцев! Долгое время колеблясь и трепеща, простояв на краю горизонта, он исчезает в казематах Ольмюца, и роль его в истории первой Французской революции кончается. Прощай, герой двух миров, тощий, но плотно сколоченный, достойный почтения человек! Среди долгой суровой ночи плена, среди прочих неурядиц, триумфов и перемен ты будешь держаться стойко, «зацепившись якорем за вашингтонскую формулу», и будешь считаться героем и совершенным характером, хотя бы героем только одной идеи. Седанский муниципалитет кается и протестует, солдаты кричат: «Vive la Nation!» Полипет Дюмуре из лагеря в Мольде назначается главнокомандующим.

Скажи, о Брауншвейг! какого рода «военной экзекуции» заслуживает теперь Париж? Вперед, вы, хорошо дрессированные истребители с вашими артиллерийскими повозками и гремящими походными котлами! Вперед, статный, рыцарский король Пруссии, кичливые эмигранты и бог войны Брольи! Вперед, «на утешение человечеству», которое воистину нуждается в некотором утешении!

ГИЛЬОТИНА

Сентябрь

Цареубийство

Жирондисты

Террор

Террор в порядке дня Термидор Вандемьер

*Alle Freiheits-Apostel, sie waren mir immer zuwider;
Willkür suchte doch nur Jeder am Ende für sich.
Willst du Viele befreien, so wag' es Vielen zu dienen:
Wie gefährlich das sey, willst du es wissen? Versuch's!*

Goethe

*Ох, до чего не люблю я поборников ярых свободы:
Хочет всякий из них власти — но лишь для себя.
Многим хочешь ты дать свободу? — Служи им на пользу!
«Это опасно ли?» — ты спросишь. Попробуй-ка сам!*

Гёте

Книга I

СЕНТЯБРЬ

Глава первая

ИМПРОВИЗИРОВАННАЯ КОММУНА

Итак, вы заставили Францию восстать, вы, эмигранты и деспоты мира. Франция поднялась! Долго вы поучали и опекали этот бедный народ, размахивая над ним, подобно жестокому, самозваным педагогам, своими железными и стальными ферулами; долго вы кололи его, угощали щелчками и страшали, когда он беспомощно сидел, закутанный в саван своей конституции; вы обступили его со всех сторон, с вашими армиями и заговорами, вторжениями и шумными угрозами; и вот, смотрите, вы задели его за живое, он восстал, и кровь его кипит. Он разорвал свой саван, как паутину, и выступает против вас со страшной силой, которой наделила его природа и которую никому не измерить, которая граничит с безумием и адом. Как-то вы справитесь с ним!

Этот сентябрь 1792 года — один из примечательнейших месяцев в истории, представляется в двух весьма различных видах: совершенно мрачным, с одной стороны, и ослепительно ярким — с другой. Все ужасное в панической ярости двадцати пяти миллионов людей и все великое в одновременном презрении к смерти тех же самых двадцати пяти миллионов стоит перед нашим взором в резком контрасте, почти соприкасаясь одно с другим. Так обыкновенно бывает, когда человек доведен до отчаяния, но насколько же сильнее этот контраст, когда до отчаяния доведена целая нация. Ведь природа, зеленеющая на поверхности, покоится, если заглянуть поглубже, на страшном фундаменте; и Пан*, под музыку которого пляшут нимфы, хранит в себе крик, могущий довести до безумия всех людей.

* Пан (греч. миф.) — первоначально почитался как бог стад и полей, покровитель пастухов, затем приобрел значение всеобъемлющего божества, олицетворяющего природу.

Крайне опасно, когда нация, отбросив свои политические и общественные установления, превратившиеся для нее в погребальный саван, становится трансцендентальной и должна прокладывать себе дикие тропы сквозь хаотическое Новое, где сила еще не отличает дозволенного от запрещенного и преступление и добродетель бушуют вместе, нераздельные, во власти страстей, ужаса и чудес! Именно такой мы видим Францию в последней, третьей части нашей истории, в течение трех предстоящих лет. Санкюлотизм царит во всем своем величии и гнусности: евангелие (божественная весть) прав человека, его мощи или силы проповедуется еще раз в качестве неопровержимой истины, а наряду с ним, и еще громче, разносится страшная весть сатаны — о слабостях и грехах человека; и все это в таком размере и виде: туманное «смерть-рождение мира», огромное дымное облако, с одной стороны прорезанное как бы небесными лучами, с другой — опоясанное как бы адским пламенем! История рассказывает нам многое, но что из рассказанного ею за последние тысячу с лишним лет может сравниться с этим? Поэтому, читатель, остановимся с тобою ненадолго на этих событиях и попытаемся извлечь из их неисчерпаемого значения то, что при данных обстоятельствах может быть для нас пригодно.

Прискорбно, хотя и естественно, что история этого периода писалась почти исключительно в припадках истерики. Множество преувеличений, проклятий, воплей и, в общем, много неясного. Но когда погрязший в разврате Древний Рим должен был быть стерт с лица земли и в него вторглись северные народы и другие страшные силы природы, «сметая прочь формулы», как это делают теперь французы, то гнусный Древний Рим также разразился громкими проклятиями, так что истинный образ многих вещей также пропал для нас. У гуннов Аттилы руки были такой длины, что он мог поднять камень, не нагибаясь. В названии бедных татар проклинаящая их римская история вставила лишнюю букву, и они до сих пор называются tartars, сынами Тартара. И здесь также, сколько бы мы ни рылись в разнообразных, бесчисленных французских летописях, мрак слишком часто окутывает события, или же нас поражают такие показания, которые кажутся продиктованными безумием. Трудно представить себе, что солнце в этом сентябре светило так же, как светит в другие месяцы. Тем не менее солнце светило, это непреложный факт; и была такая или иная погода, и кипела работа; что касается пого-

ды, то она не благоприятствовала уборке урожая! Злополучный писатель может стараться изо всех сил, в конце концов все-таки приходится просить, чтобы ему поверили на слово.

Мудр был бы тот француз, который, наблюдая с близкого расстояния мрачное зрелище, представляемое Францией, стремящейся и кружащейся по новым, неизведанным путям, сумел бы различить, где находится центр этого движения и какое направление в нем господствует. Другое дело теперь, через 44 года. Теперь в сентябрьском вихре для всех достаточно ясно определились два главных движения или великих направления: бурное течение к границам и яростное стремление к городским советам и ратушам внутри страны. Освирепевшая Франция кидается отчаянно, презирая смерть, к границам, на защиту от иностранных деспотов, и стремится к ратушам и избирательным комитетам, чтобы защититься от домашних аристократов. Пусть читатель постарается хорошенько понять эти два основных стремления и зависящие от них боковые течения и бесчисленные водовороты. И пусть он решит сам, могли ли при таком внезапном крушении всех старых авторитетов оба этих основных течения, полунеистовые сами по себе, быть мирного характера. Франция напоминала иссушенную Сахару, когда в ней просыпается ветер, вздымающий и крутящий необозримые пески! Путешественники говорят, что самый воздух превращается тогда в тусклую песчаную атмосферу и сквозь нее смутно мерещатся необыкновенные, неясные колоннады песчаных столбов, несущихся, кружась, по обеим ее сторонам, похожие на вертящихся безумных дервишей в 100 футов ростом, танцующих чудовищный вальс пустыни!

Тем не менее во всех человеческих движениях, даже только что возникших, есть порядок или начало порядка. Обратите внимание на две вещи в этом вальсе Сахары, который танцуют 25 миллионов французов, или, скорее, на одну вещь и на другую надежду: на Парижскую коммуну (муниципалитет), которая уже существует, и на Национальный Конвент, который появится через несколько недель. Революционная Коммуна, неожиданно образовавшаяся вечером 10 августа и произведшая приснопамятное освобождение народа посредством взрыва, должна управлять им, пока не соберется Конвент. Эта Коммуна, которую называют самозваной или импровизированной, теперь царит над Францией. Может ли Законодательное собрание, черпающее свою власть из старого, иметь какой-нибудь авторитет теперь, когда старое осуждено восстанием? Впрочем, некоторые *d'argent*, ни деление на пассивных и активных не оскорбляют теперь французских патриотов: у нас всеобщая подача голосов, неограниченная свобода выборов. Бывшие члены Конституанты, нынешние члены Законодательного собрания, вся Франция могут быть избраны. Даже можно сказать, что это право распространено на цвет всего мира, так как на этих же днях актом Собрания мы «натурализовали» главных иностранных друзей человечества: Пристли*, которого сожгли за нас в Бирмингеме; Клопштока**, всемирного гения; Иеремию Бентама***, утилитарного юриста; благородного Пейна, мятежного портного; и некоторые из них могут быть выбраны, как и подобает такого рода Конвенту. Словом, 745 неограниченных повелителей, восхищающих мир, должны заменить это жалкое, бессильное Законодательное собрание, из которого, вероятно, вновь будут избраны лучшие члены и Гора в полном составе. Ролан готовит *Salle des cent suisses* для их первых собраний; это один из залов Тюильри, теперь пустого и национального, и не дворца более, а караван-сарая.

* Пристли Джозеф (1733—1804) — английский химик, философ-материалист. В 1794 г., преследуемый реакционными кругами, эмигрировал в США.

** Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт, автор прославленной в свое время поэмы «Мессиада». Творчеством Клопштока начинается расцвет немецкой литературы XVIII в.

*** Бентам Иеремия (1748—1832) — английский философ, социолог, юрист, родоначальник философии утилитаризма.

Что касается самозваной Коммуны, то можно сказать, что на земле не бывало более странного городского совета. Задача, выпавшая на ее долю, состоит в управлении не большим городом, а большим королевством в состоянии яркого возмущения. Нужно вести записи, готовить провиант, судить, разбирать, решать, делать, стараться сделать: приходится удивляться, что человеческий рассудок выдержал все это и не помрачился. Но к счастью, мозг человека имеет способность воспринимать только то, что он может вместить, и игнорирует все остальное, пренебрегая им, как будто его не существует! При этом он кое о чем действительно заботится, а многое заботится о себе само. Эта импровизированная Коммуна идет вперед без тени сомнений;

быстро, без страха или замешательства в любую минуту идет навстречу потребностям момента. Если бы весь мир был в огне, то и тогда импровизированный трехцветный муниципальный советник может потерять только одну жизнь. Это квинтэссенция, избранники санкюлотского патриотизма; они призваны вернуть утраченную надежду, и наградой им будут неслыханная победа или высокие виселицы. И вот, эти удивительные муниципалы сидят в городской Ратуше, заседают в Генеральном совете, в Наблюдательном комитете* (de Surveillance), который делается даже Комитетом общественного спасения (de Salut Public), или во всяких других комитетах и подкомитетах, в каких оказывается надобность; ведут бесконечную переписку, утверждают бесконечное число декретов: известен даже случай «девятиности восьми декретов в день». Готово! — вот их пароль. Они носят в кармане заряженный пистолет и какой-нибудь наспех собранный завтрак для подкрепления. Правда, со временем с трактирщиками заключают условие о доставке им обедов на место, но потом ворчат, что это слишком расточительно. Вот каковы эти советники в трехцветных шарфах, с муниципальными записными книжками в одной руке и с заряженным пистолетом в другой. У них имеются агенты по всей Франции, говорящие в ратушах, на базарных площадях, на больших и проселочных дорогах, агитирующие, призывающие к оружию, воспламеняющие сердца. Велико пламя антиаристократического красноречия: некоторые, как, например, книгопродавец Моморо**, издалека намекают на что-то пахнущее аграрным законом и вскрытием вспухших, как от водянки, денежных мешков, причем смелый книгопродавец рискует быть повешенным, и бывшему члену Конституанты Бюзо приходится тайком увезти его⁴.

* Наблюдательный комитет Парижской коммуны был организован 14—15 августа 1792 г.

** Моморо Антуан Франсуа — активный член Клуба кордельеров, член директории Парижского департамента после 10 августа 1792 г.

Многие правящие лица, как бы они ни были ничтожны по своим внутренним достоинствам, имеют своих биографов и сочинителей мемуаров, и любопытный впоследствии может подробно ознакомиться со всеми их мельчайшими поступками; это дает своего рода удовлетворение, так как человек любит знать о поведении своих ближних в необычных ситуациях. Не так обстоит дело с правящими лицами, заседающими ныне в парижской городской Ратуше. В самом деле, происходили ли когда-нибудь с самыми оригинальными людьми из правящего класса, такими, как великий канцлер, король, император, министр внутренних или иностранных дел, превращения, подобные тем, что произошли с секретарем Тальеном, прокурором Манюэлем, будущим прокурором Шометтом здесь, в этом вздымающем пески вальсе двадцати пяти миллионов? А вы, братья смертные: ты, адвокат Панис, друг Дантона, родственник Сантера; гравер Сержан, впоследствии прозванный *Agate* Сержан, и ты, Гюгенен, с набатом в сердце! Но как говорит Гораций, им недоставало присяжного мемуариста (*Sacro vate*), и мы не знаем их. Люди хвалились августом и его делами и возвещали о них всему миру; сентябрем же этим ни теперь, ни позже никто не подумал хвалиться. Сентябрьский мир погружен во мрак смрадный, как лапландская полночь ведьм, на фоне которого, правда, вырисовываются весьма странные фигуры.

Знайτε же, что здесь не обошлось без неподкупного Робеспьера: теперь, когда жар битвы миновал, здесь заседает потихоньку человек с серо-зеленым лицом и кошачьими глазами, которые прекрасно видят в сумерках. Узнайте и еще об одном факте, факте, который стоит многих: Марат не только здесь, но и имеет собственное почетное место (*tribune particulière*). Какие перемены произошли с Маратом, вытасненным из своего темного подвала на эту сияющую «особую трибуну»! Каждый пес имеет свой праздник, даже бешеный пес. Злополучный, неизлечимый Марат, Филоктет*, без которого не взять Трои! Сюда вознесен Марат, теперь главная опора правительственной власти. Роялистский шрифт — так как мы «прекратили» бесчисленных Дюрозуа, Руаю и даже заточили их в тюрьму — заменяет теперь износившийся шрифт «Друга народа», часто вырывавшийся из его рук в прежние дурные времена. Мы пишем и редактируем на нашей «особой трибуне» плакаты с подобающим грозным внушением «*Amis du Peuple*» (теперь под названием «*Journal de la République*») и сидим, наслаждаясь повиновением людей. «Марат — совесть Ратуши», — сказал кто-то. «Блюститель» совести монарха, как говорят некоторые; несомненно, в таких руках она не будет лежать завернутой в салфетку!

* Филоктет (греч.) — царь Мелибеи (в Фессалии). Принял участие в походе на Трою греческих царей. От руки Филоктета пал Парис. Миф о Филоктете отразился в трагедиях Эсхила, Еврипида, Софокла.

Итак, мы сказали, что два больших движения волнуют расстроенный ум нации: движение против внутренних изменников и движение против чужеземных деспотов. Оба эти движения безумны, не сдерживаются никаким известным законом, они диктуются самыми сильными страстями человеческой природы: любовью, ненавистью, мстительным горем, тщеславным и не менее мстительным национальным чувством и более всего — бледным, паническим страхом! О законодатели! Разве тысяча двести убитых патриотов из своих темных катакомб не вызывают пляской смерти об отмщении? Такова была разрушительная ярость этих аристократов в приснопамятный день 10 августа! Да и, отставив в сторону месть и имея в виду только общественную безопасность, разве в Париже не находится до сих пор «тридцать тысяч» аристократов (круглым счетом) в самом злобном настроении, у которых остался в руках последний козырь? Потерпите, патриоты; наш новый Верховный суд, «трибунал Семнадцатого»*, заседает; каждая секция послала по четверо присяжных, и Дантон, искореняющий негодных судей и негодные приемы всюду, где их находит, — все «тот же самый человек, которого вы знали у кордельеров». Неужели с таким министром юстиции у нас не будет правосудия? Так пусть же оно будет скорым, отвечают все патриоты, — скорым и верным!

* Чрезвычайный трибунал, учрежденный 17 августа 1792 г.

Можно надеяться, что этот «трибунал Семнадцатого» будет действовать быстрее большинства других судов. Уже 21-го числа, когда нашему суду всего четыре дня от роду, «роялистский вербовщик» (embaucheur) Коллено д'Ангрмон умирает при свете факелов. Смотрите! Великая гильотина, это дивное изобретение, уже стоит; идея доктора превратилась в дуб и железо; чудовищный циклопический топор падает в свой желобок, как баран в копре, быстро погашая светоч человеческой жизни! — Mais vous, Gualches, что изобрели вы? Это? — Затем следует бедный старый Лапорт, интендант гражданского листа; кроткий старик умирает спокойно. За ним Дюрозуа, издатель роялистских плакатов, «кассир всех антиреволюционеров в стране», он явился веселым и сказал, что роялист, подобный ему, должен умереть именно в этот день, 25-го, предпочтительно перед всеми другими днями, потому что это день св. Людовика. Под ликование галерей всех их судили, приговорили и отдали овеществленной идее — и все это в течение одной недели, не считая тех, кого мы под ворчанье галерей оправдали и отпустили, тех, кого даже лично отвели в тюрьму, когда галереи начали реветь, и угрожать, и толкаться⁵. Никак нельзя сказать, что этот суд медлителен.

Не стихает и другое движение — против иноземных деспотов. Могущественные силы должны встретиться в смертельной схватке: вымуштрованная Европа с безумной, недисциплинированной Францией, и замечательные выводы получатся из этого испытания. Поэтому представьте себе, насколько возможно, какое смятение царит во Франции, в Париже. Со всех стен бросаются в глаза предостерегающие плакаты от секций, от Коммуны, от Законодательного собрания, от отдельных патриотов. Флаги, возвещающие о том, что Отечество в опасности, развеваются на Ратуше, на Пон-Нёф — над распростертыми статуями королей. Всюду происходят записи добровольцев, уговоры записаться, прощания со слезами и некоторой хвастливостью и нестройная маршировка по большой северо-восточной дороге. Марсельцы хором поют свое могучее «К оружию!», которое все мужчины, женщины и дети уже выучили наизусть и поют в театрах, на бульварах, улицах; и все сердца воспламеняются: Aux armes! Marchons! Или представьте себе, как наши аристократы забираются в разные тайники; как Бертран Мольвиль лежит, спрятавшись, на чердаке «на улице Обри-ле-Бушер у одного бедного врача, с которым он был знаком!». Г-жа де Сталь спрятала своего Нарбонна, не зная, что в конце концов делать с ним. Заставы иногда открываются, но многие закрыты; паспортов получить нельзя; комиссары Коммуны с ястребиными глазами и когтями зорко парят над всем нашим горизонтом. Короче говоря, «трибунал Семнадцатого» усердно работает под завыванье галерей, а прусский Брауншвейг, покрывая пространство в сорок миль, с военным обозом, дремлющими барабанами и 66 тысячами бойцов надвигается все ближе и ближе!

О боже! В последних числах августа он пришел! Дюрозуа еще не был гильотинирован, когда дошла весть о том, что пруссаки грабят и опустошают местность около Меца; через четыре дня распространяется слух, что наша первая пограничная крепость Лонгви пала после

«пятнадцатичасовой осады». Живее же, вы, самозванные муниципальные советники! И они справляются со всем этим. Вербовка, экипировка и вооружение ускоряются. Даже у офицеров теперь шерстяные эполеты, «потому что» настало царство равенства, а также нужды. Теперь говорят друг другу не *monsieur*, а *citoyen*, гражданин; мы даже говорим ты, «подобно свободным народам древности». Так предложили газеты и импровизированная Коммуна, и все с этим согласны.

Между тем было бы несравненно лучше, если бы указали, где можно найти оружие. В настоящее время наши *citoyens* хором поют: «*Aux armes!*», а оружия у них нет! Оружие ищут страстно, радуются каждому мушкету. Вокруг Парижа ведутся даже раскопки, копают и роют на холмах Монмартра, хотя безрассудность этого ясна и глупа. Люди копают, а трехцветные шарфы произносят ободрительные речи и торопят. Наконец постановлением, встреченным с восторгом, назначаются «двенадцать членов Законодательного собрания», которые ежедневно должны не только ходить на работы для поощрения, но и сами прикладывать к ним руки и копать. Оружие должно быть добыто во что бы то ни стало, ибо иначе человеческая изобретательность провалится и превратится в глупость. Тоций Бомарше, думая послужить Отечеству и повернуть, как в былые дни, хорошее дельце, заказал 60 тысяч хороших ружей в Голландии; дал бы только бог, чтобы ради спасения Отечества и самого Бомарше они поступили поскорее! В то же время вырывают чугунные решетки и перековывают их на пики; даже цепи перековывают на пики. Выкапывают свинцовые гробы и переливают их на пули. Снимаются церковные колокола и переплавляются на пушки; серебряная церковная утварь перечеканивается в монету. Обратите внимание на стаю прекрасных лебедей, на *citoyennes*, которые собираются в церквях и, склонив лебединые шеи, трудятся над шитьем палаток и обмундирования. Нет недостатка в патриотических пожертвованиях, даже довольно щедрых, от тех, у кого хоть что-нибудь осталось: красавицы Вильом, мать и дочь, модистки с улицы Сен-Мартен, жертвуют «серебряный наперсток и 15 су» и еще кое-что в том же роде; они предлагают, по крайней мере мать, нести караул. Мужчины, не имеющие даже наперстка, жертвуют... полный наперсток изобретательности. Один гражданин изобрел деревянную пушку, пользование которой предоставил на первое время исключительно Франции. Она должна быть сделана из досок бочарами, калибр мог быть почти неограниченный, но относительно силы ее нельзя было высказаться с такой же уверенностью. И все куют, изобретают, шьют, плавят от всего сердца. Во всех приходах остается всего по два колокола — для набата и других случаев.

Но заметьте также, что как раз в то время, как прусские батареи всего активнее действовали в Лонгви, на северо-востоке, и наш трусливый Лавернь сумел только сдаться, на юго-западе, в отдаленной патриархальной Вандее, недовольство и брожение по поводу преследования неприсягающих священников, долго таившиеся, созрели и взорвались, и в самый неблагоприятный для нас момент! «Восемь тысяч крестьян в Шатиньоле, на севере» отказываются идти в солдаты и не желают, чтобы беспокоили их священников. К ним присоединятся Боншан, Ларошжаклен, много дворян роялистского толка; Стоффле и Шаретт; герои и шуанские контрабандисты; лояльный пыл простого народа раздувается в яростное пламя богословскими и дворянскими мехами! Здесь произойдут сражения из-за окопов, прогремят смертоносные залпы из лесной чащи и оврагов; будут гореть хижины; побегут толпы несчастных женщин с детьми на руках, ища спасения, по истоптанным полям, устланным человеческими костями; «восемьдесят тысяч человек всех возрастов, полов и состояний разом переправляются через Луару» с воплями, далеко разносящимися во все стороны. Словом, в следующие годы здесь произойдут такие сцены, каких не видано было в самые знаменитые войны со времен альбигойских и крестовых походов*, за исключением разве Пфальцских или подобных же зверств, где все предавалось «сожжению». «Восемь тысяч в Шатильоне» ненадолго разгоняют; огонь подавлен, но не окончательно потушен. К ударам и ранам внешней войны здесь прибавится отныне еще более смертельная внутренняя гангрена.

О восстании в Вандее становится известным в Париже в среду 29 августа, как раз когда мы только что избрали наших выборщиков и, несмотря на герцога Брауншвейгского и Лонгви, все еще надеемся иметь, с божьей помощью, Национальный Конвент. Но и помимо того эта среда должна считаться одним из замечательнейших дней, пережитых Парижем: мрачные вести приходят одна за другой, подобно вестникам Иова, и на них следуют мрачные ответы. Мы не говорим уже о восставшей Сардинии, готовой обрушиться на юго-восток, и об Испании, угрожающей

югу. Но разве пруссаки не завладели Лонгви (по-видимому, изменнически преданным) и не готовятся осадить Верден? Клерфэ** и его австрийцы окружили Тионвиль, омрачив положение на севере. Теперь уже опустошается не Мецский, а Клермонтский округ; скачущих гусар и улан видели на Шалонской дороге у самого Сен-Менеульда. Мужайтесь, патриоты; если вы потеряете мужество, вы потеряете все!

* Альбигойцы — широко распространенная ересь, возникшая в XII в. в экономически развитой Южной Франции. Альбигойцы требовали радикальной реформы церкви, ликвидации церковной иерархии, упрощения культа. В 1209 г. папа Иннокентий III организовал против альбигойцев крестовый поход, приведший к полному разорению цветущего юга Франции.

** Клерфэ (1733—1798) — австрийский генерал.

Нельзя без волнения читать в отчетах о парламентских прениях в среду, «в восьмом часу вечера», о сцене с военными беглецами из Лонгви. Усталые, пыльные, подавленные, эти несчастные люди входят в Законодательное собрание перед закатом солнца или позже, сообщают самые патетические подробности об ужасах, свидетелями которых они были: «тысячи пруссаков бушевали, подобно вулканам, извергая огонь в течение пятнадцати часов, мы же были рассеяны в малом количестве по валам, всего по одному канониру на две пушки; трусливый комендант Лавернь нигде не показывается; затравки не загораются; в бомбах нет пороха, — что мы могли сделать?» «Mourir, умереть!» — отвечают тотчас же голоса⁶, и запыленные беглецы должны скрыться и искать утешения в другом месте. Да, mourir — таков теперь пароль. Пусть Лонгви обратится в поговорку и посмешище среди французских крепостей! Пусть эта крепость будет стерта с лица посрамленной земли, говорит Законодательное собрание и издает декрет, чтобы крепость Лонгви, как только оттуда уйдут пруссаки, была «скрыта» и чтобы на месте ее осталось распаханное поле.

Не мягче и якобинцы; да и как бы могли они, цвет патриотизма, быть мягче? Бедная г-жа Лавернь, жена злополучного коменданта, взяла однажды вечером зонтик и в сопровождении своего отца отправилась в зал могущественной Матери патриотизма «прочитать письмо, склоняющее к оправданию коменданта Лонгви». Председатель Лафарж отвечает: «Citoyenne, нация будет судить Лаверня; якобинцы обязаны сказать ему правду. Он кончил бы свою жизнь там (terminé sa carrière), если б любил честь своей родины»⁷.

Глава вторая

ДАНТОН

Полезнее срытия Лонгви или порицания бедных запыленных солдат или их жен было то, что накануне вечером Дантон явился в Собрание и потребовал декрета о розыске оружия, раз его не выдают добровольно. Для этой цели пусть будут произведены «обыски домов» со всей строгостью закона. Надо искать оружие, лошадей, — аристократы катаются в каретах, а патриотам не на чем вывезти пушки — и вообще военную амуницию «в домах подозрительных лиц» и даже, если понадобится, хватать и заключать в тюрьму самих этих лиц! В тюрьмах их заговоры будут безопасны; в тюрьмах они будут как бы нашими заложниками и окажутся небезопасными. Энергичный министр юстиции потребовал этот декрет вчера вечером и получил его, а сегодня вечером декрет уже приводится в исполнение; к этому приступают в то самое время, когда запыленных солдат из Лонгви приветствуют криками «Mourir!». Подсчитано, что таким способом удалось добыть две тысячи ружей с принадлежностями и около 400 голов новых заключенных; аристократические сердца охвачены таким ужасом и унынием, что все, кроме патриотов, да и сами патриоты, если б только избавились от своего смертельного страха, прониклись бы состраданием. Да, messieurs, если герцог Брауншвейгский испепелит Париж, то он, вероятно, испепелит заодно и парижские тюрьмы; если мы побледнели от ужаса, то мы передаем наш ужас другим со всей бездной напастей, заключенных в нем; всех нас несет один и тот же утлый корабль по бурно вздымающимся волнам.

Можно судить, какая суматоха поднялась среди «тридцати тысяч роялистов»: заговорщики или подозреваемые в заговорах забивались глубже в свои тайники, подобно Бертрану Мольвилю, и упорно смотрели по направлению к Лонгви в надежде, что погода останется хоро-

шей. Иные переодевались лакеями по примеру Нарбонна, уехавшего в Англию под видом слуги д-ра Больмана; г-жа де Сталь в невыразимом горе много хлопотала, в качестве «сестры по перу» обращалась к Манюэлю, взывала даже к секретарю Гальену⁸. Роялист и памфлетист Пельтье дает трогательное (и не лишнее яркого колорита) описание ужасов того вечера: «С пяти часов пополудни огромный город вдруг погружается в тишину; слышен только бой барабанов, топот марширующих ног и время от времени страшный стук в чью-нибудь дверь, перед которой появляется трехцветный комиссар со своими синими гвардейцами. Все улицы пусты, говорит Пельтье, и заняты с обоих концов гвардейцами; всем гражданам приказано сидеть по домам. По реке плавают лодки с часовыми, чтобы мы не убежали водой; заставы герметически закрыты. Ужасно! Солнце сияет, спокойно склоняясь к западу на безоблачном синем небе, а Париж словно заснул или вымер: Париж затаил дыхание, дожидаясь готового разразиться над ним удара». Бедный Пельтье! Конец «Деяниям апостолов» и твоим веселым передовым статьям, они полны теперь горечи и серьезности; острая сатира превратилась в грубые пики (выкованные из решеток), и вся логика свелась к примитивному тезису: око за око, зуб за зуб! Пельтье, с грустью осознающий это, ныряет глубоко, ускользает невредимым в Англию, чтобы начать там новую чернильную войну; через некоторое время он будет предан суду присяжных и, оправданный красноречием молодых вигов, станет всемирно знаменит на один день.

Из «тридцати тысяч» большая часть, разумеется, была оставлена в покое, но, как мы уже сказали, 400 человек, указанных в качестве «подозрительных лиц», были арестованы, и неопишуемый ужас охватил всех. Горе виновному в заговорах, антигражданственности, роялизме, фейянизме. Горе виновному или невиновному, но имеющему врага в своей секции, который донесет на него как на виновного! Арестованы бедный старик де Казотт и его молодая любимая дочь, не пожелавшая покинуть отца. Зачем, Казотт, ты переменил писание романов и «*Diable Amoureux*» на такую реальность? Арестован несчастный старый де Сомбрей, на которого патриоты косились еще с бастильских дней и которого также не хочет покинуть нежная дочь. Молодые, с трудом подавляющие слезы, и слабая, дрожащая старость, напрягающая последние силы... О братья мои и сестры!

Уходят в тюрьму известные и знаменитые люди; уходят и безвестные, если у них есть обвинитель. Попадает в тюрьму муж графини де Ламот, героини ожерелья (сама она давно уже раздавлена на лондонской мостовой), но его освобождают. Грубый де Моранд из «*Courrier de l'Europe*» в отчаянии ковыляет взад и вперед по камере, но и его скоро выпускают, так как час его еще не пробил. Адвоката Матона де ла Варенна, слабого здоровьем, отрывают от матери и родственников; трехцветный Россиньол (ювелирный подмастерье и мошенник, теперь влиятельный человек) напоминает старую защитительную речь Матона! Попадает Журниак де Сен-Меар, искренний солдат, находившийся во время бунта в Нанси в «мятежном Королевском полку» — не на той стороне, где следовало. Печальнее всего то, что арестовывают аббата Сикара, священника, не пожелавшего принести присягу, но учившего глухих и немых; он говорит, что в его секции был человек, таивший на него злобу; этот единственный враг в свое время издает приказ о его аресте, и удар попадает в цель. В квартале Арсенала немые сердца плачут, жалуются знаками, дикими жестами на то, что у них отняли чудотворного целителя, даровавшего им способность речи.

Можно себе представить, какой вид имеют тюрьмы после этих арестов в вечер 29-го и после большего или меньшего числа арестов, производившихся денно и ночью начиная с 1-го! В них царят давка и смятение, теснота, сумятица, насилие и ужас. Из друзей бедной королевы, последовавших за нею в Тампль и отправленных оттуда по другим тюрьмам, некоторых, как, например, гувернантку де Турзель, отпускают, но бедную принцессу де Ламбаль не выпускают, и она ожидает решения своей участи за железными решетками тюрьмы Лафорс.

Среди нескольких сот арестованных и препровожденных в городскую Ратушу, в собрания секций, в дома предварительного заключения, куда они брошены, как в хлев, мы должны упомянуть еще об одном: о Кароне де Бомарше, авторе «Фигаро», победителе «парламентов Мопу» и адских псов Гёзмана, о Бомарше, некогда причисленном к полубогам, а ныне? Мы покинули его на самом взлете — и какое ужасное падение теперь, когда мы снова видим его! «В полночь» (было всего 12 августа) «в комнату входит слуга в рубашке» с широко раскрытыми глазами: «*Monsieur*, вставайте, весь народ пришел за вами; они стучат, словно хотят взломать двери». «И они действительно стучали в двери ужасающим образом (*d'une façon terrible*). Я накинул кам-

зол, забыв даже жилет, на ногах комнатные туфли; говорю со слугой». Но он, увы, отвечает несвязными отрицаниями, паническими возгласами. Сквозь ставни и щели, спереди и сзади, тусклые фонари высвечивают улицу, заполненную шумной толпой с истощенными лицами и поднятыми пиками. В отчаянии мечешься, ища выхода, и не находишь его; приходится спрятаться внизу, в шкафу с посудой, и стоять в нем, замирая от страха, в неподобающем одеянии «в течение четырех с лишним часов», в то время как в замочной скважине мелькают огни, а над головой слышен топот ног и сатанинский шум! Старые дамы в этом квартале вскакивали с визгом (как рассказывали на следующее утро), звонили своим горничным, чтобы те дали им успокоительных капель, а старики в одних сорочках «перескакивали через садовые ограды» и бежали, хотя никто их не преследовал; один из них, к несчастью, сломал себе ногу⁹. Вот как дурно кончилась торговая сделка с выписанными из Голландии (и так и не пришедшими) 60 тысячами ружей.

Бомарше спасся на этот раз, но не на следующий, десять дней спустя. Вечером 29-го он все еще находится в этом тюремном хаосе в самом печальном положении, не будучи в состоянии добиться не только правосудия, но даже того, чтобы его выслушали. «Панис чешет себе голову», когда с ним заговаривают, и удирает. Однако пусть поклонники «Фигаро» узнают, что прокурор Манюэль, собрат по перу, разыскал и еще раз освободил Бомарше. Но как тощий полубог, лишенный теперь своего блеска, принужден был прятаться в амбарах, блуждать по вспаханым полям, трепеща за свою жизнь; как он выжидал под желобами, сидел в темноте «на бульваре, между кучами булыжника и строительного камня», тщетно добиваясь слова от какого-нибудь министра или секретаря министра относительно этих проклятых голландских ружей, в то время как в сердце кипели тоска, страх и подавленное собачье бешенство; как резвый, злобный пес, некогда достойный принадлежать Диане, ломает свои старые зубы, грызя один гранит, и принужден «бежать в Англию»; как, вернувшись из Англии, он заползает в угол и лежит спокойно, без зубов (без денег), — все это почитатели «Фигаро» пусть представят себе сами и прольют слезу сожаления. Мы же без слез, но с сожалением шлем поблекшему упрямому коллеге прощальный привет. «Фигаро» его вернулся на французскую сцену и в настоящее время даже называется иными лучшей его пьесой. Действительно, пока жизнь человеческая основывается только на искусственности и бесплодности, пока каждое новое возмущение и смена династии выносятся на поверхность только новый слой сухого щебня и не видно еще прочного грунта, — разве не полезно протестовать против такой жизни всякими путями, хотя бы и в форме «Фигаро»?

Глава третья

ДЮМУРЬЕ

Таковы последние дни августа 1792 года — дни пасмурные, полные бедствий и зловещих предзнаменований. Что будет с этой бедной Францией? Когда в прошлый вторник, 28-го числа, Дюмурье поехал из лагеря в Мольде на восток, в Седан, провести смотр так называемой армии, брошенной там Лафайетом, то покинутые солдаты смотрели на него угрюмо, и он слышал, как они ворчали: «Это один из тех (ce b — e là), которые вызвали объявление войны»¹⁰. Малообещающая армия! Рекруты, пропускаемые через одно депо за другим, прибывают в нее, но только такие рекруты, у которых всего недостает; счастье, если у них есть такое богатство, как оружие. А Лонгви позорно пал; герцог Брауншвейгский и прусский король со своими 60 тысячами намерены осадить Верден; Клерфэ и австрийцы теснят все сильнее; на северных границах напирают на нас «сто пятьдесят тысяч», как насчитывает страх, «восемьдесят тысяч», как показывают списки, а за ними киммерийская Европа. Вот и кавалерия Кастри-и-Брольи, вот роялистская пехота «с красными отворотами и в нанковых шароварах», дышащие смертью и виселицами.

Наконец, в воскресенье 2 сентября 1792 года герцог Брауншвейгский появляется перед Верденом. Сверкая на возвышенностях, за извилистой рекой Маасом, он смотрит на нас со своим королем и 60 тысячами солдат; смотрит на нашу «высокую цитадель», на все наши кондитерские печи (ведь мы славимся кондитерскими изделиями), посылает нам вежливое предложение сдаться во избежание кровопролития! Борьтесь с ним до последнего вздоха? Ведь каждый день задержки драгоценен? О генерал Борепер*, спрашивает испуганный муниципалитет, как мы будем сопротивляться? Мы, Верденский муниципалитет, не считаем сопротивление возмож-

ным. Разве за Брауншвейгом не стоят 60 тысяч солдат и многочисленная артиллерия? Задержка, патриотизм — вещи хорошие, но мирное печение пирогов и сон с цельной шкурой не хуже. Несчастный Борепер простирает руки и страстно умоляет во имя родины, чести, неба и земли держаться, но все тщетно. Муниципалитет по закону имеет право приказать; с армией под командованием явных или тайных роялистов такой приказ кажется необходимым. И муниципалитет — мирные пирожники, а не геройские патриоты — приказывает сдаться! Борепер спешит домой широким шагом; слуга его, войдя в комнату, видит, что он «усердно пишет», и удаляется. Спустя несколько минут слуга слышит пистолетный выстрел — Борепер лежит мертвый; его усердное писание было кратким прощанием самоубийцы. Так умер Борепер, оплаканный Францией и погребенный в Пантеоне (с почетной пенсией вдове) с эпитафией: «Он предпочел смерть сдаче деспотам». А пруссаки, спустившись с высот, мирно овладевают Верденом.

* Борепер Никола Жозеф (1738—1792) — комендант Верденской крепости в 1792 г.

Таким образом, герцог Брауншвейгский шаг за шагом надвигается. Кто теперь остановит его, покрывающего своими войсками в день сорок миль пространства? Фуражиры спешат вперед; деревни на северо-востоке опустошаются; гессенский фуражир имеет только «по 3 су на день»; говорят, что даже эмигранты берут серебряную посуду — из мести. Клермон, Сен-Менеульд и особенно Варенн, города, памятные по Ночи Шпор, трепещите! Прокурор Сосс и Вареннская магистратура бежали; храбрый Бонифаций Ле Блан из таверны «Золотая рука» спасается в лесах; мадам Ле Блан, молодая и красивая женщина, принуждена со своим маленьким ребенком жить на лоне природы под тростниковой крышей, подобно сказочной принцессе, и преждевременно заболевает ревматизмом¹¹. Вот теперь бы Клермону звонить в набат и зажигать иллюминации! Он лежит у подножия своей Коровы (Vache, как называют эту гору) добычей гессенских грабителей; у его красавиц, красивее большинства француженок, отнимают не жизнь и не то, что дороже жизни, а то, что дешевле и можно унести, ибо нужда при 3 су в день не признает законов. В Сен-Менеульде врага ожидали уже не раз — все национальные гвардейцы выходили с оружием, но до сих пор его еще не видно. Почтмейстер Друэ не бежал в леса, но занят своими выборами; он будет заседать в Конвенте в качестве поимщика короля и бывшего храброго драгуна.

Итак, на северо-востоке все бродит и бежит; в назначенный день — его число утрачено историей — герцог Брауншвейгский «обязался обедать в Париже», если это будет угодно высшим силам. Мы уже видели, что происходит в Париже, в центре, и в Вандее, на юго-западе, а на юго-востоке — Сардиния, на юге — Испания, на севере — Клерфэ с Австрией и осажденным Тионвилем; и вся Франция скачет, обезумев, подобно взбаламученной Сахаре, вальсирующей в песчаных колоннадах! Никогда страна не была в более безнадежном положении. Его Величество король прусский мог бы (если бы захотел) разделить эту страну и разрезать ее на части, как Польшу*, бросив остатки бедному брату Людовику с приказанием держать свои владения в руках, — иначе мы сами сделаем это за него!

* Имеются в виду три раздела Польши в конце XVIII в. между Пруссией, Австрией и Россией.

Или, может быть, высшие силы, решив, что новая глава всемирной истории должна начаться здесь, а не в другом месте, распорядились всем этим иначе? В таком случае герцогу Брауншвейгскому не придется обедать в Париже в назначенный день, и никому не известно, когда это будет! В самом деле, среди этого разгрома, когда бедная Франция, кажется, размалывается в прах и рушится в развалинах, кто знает, не родился ли уж какой-нибудь чудесный *punctum saliens* освобождения и новой жизни и не действует ли он уже, хотя глаз человеческий еще не различает его? В ту же ночь 23 августа, дня малообещающего смотра войск в Седане, Дюмурье собирает в своей квартире военный совет. Он раскладывает карту этого безнадежного театра войны: здесь пруссаки, там австрийцы; и те и другие торжествуют; большие дороги в их власти, и весь путь до Парижа почти открыт: мы рассеяны, беспомощны на всех пунктах. Что тут делать? Генералы, незнакомые Дюмурье, смотрят довольно растерянно, не зная, что посоветовать — разве только отступление, и отступление до тех пор, пока наши рекруты не станут многочисленнее, пока, может быть, цепь случайностей не повернется благоприятно для нас, во всяком случае до последнего дня, когда Париж будет разгромлен. «Муж совета», «три ночи не

смыкавший глаз», слушает почти молча эти длинные невеселые речи и только смотрит на говорящего, чтобы запомнить его черты, затем желает всем спокойной ночи, но удерживает на минуту некоего Тувено, пламенные взоры которого понравились ему. Тувено остается. «Voilà! — говорит Полипет*, указывая на карту. — Это Аргоннский лес — длинная полоса скалистых гор и дремучего леса длиной сорок миль и всего с пятью, даже с тремя годными проходами. Они забыли про него, а разве еще нельзя его захватить, хотя Клерфэ и очень близко? Если мы захватим Аргонну, то с их стороны останется Шампань, называемая голодной (или еще хуже: Poilleuse**), а с нашей — три жирные епархии и на все готовая Франция; недалеко и дожди осеннего равноденствия. Не может ли этот Аргоннский лес стать Фермопилами*** Франции?»¹²

* Т. е. Дюмурье. Полипет — один из вождей фессалийских войск под Троей.

** Т. е. вшивая. Так называлась часть провинции Шампань с малопродуктивными землями.

*** Фермопилы — горный проход к югу от Фессалийской равнины. Во время греко-персидских войн в 480 г. до н. э. 300 спартанцев во главе с царем Леонидом стойко обороняли Фермопилы от персов и все погибли в неравном бою.

О храбрый Полипет-Дюмурье, гениальная голова! Да помогут тебе боги! Пока что он складывает свои карты и бросается на постель, решив попытаться завтра утром исполнить свой план с хитростью, быстротой и смелостью! Поистине, для такого дела нужно было быть львом и лисой одновременно и взять удачу к себе в союзники!

Глава четвертая

СЕНТЯБРЬ В ПАРИЖЕ

По ложным слухам, оказавшимся, однако, пророческими и верными, о падении Вердена стало известно в Париже на несколько часов раньше, чем это произошло в действительности. 2 сентября приходится на воскресенье, и работа не мешает размышлениям. Верден потерян (хотя некоторые все еще отрицают это); пруссаки идут быстрым маршем с виселицами, огнем и фашинами!* В наших собственных стенах 30 тысяч аристократов, и только ничтожная часть их брошена в тюрьмы! Ходят слухи, что даже и эти хотят возмутиться¹³. Сиер Жан Жульен, вожирарский извозчик, выставленный в прошлую пятницу к позорному столбу, начал вдруг кричать, что он скоро будет отпущен, что заключенные в тюрьмах друзья короля восстанут, возьмут штурмом Тампль, посадят короля на коня и, соединившись с незаконными, растопчут всех нас подковами на острых шипах. Несчастный вожирарский извозчик вопил во всю силу своих легких, не переставая, даже когда его притащили в городскую Ратушу; и вчера вечером, когда его гильотинировали, он умер с пеной этого крика на губах¹⁴. Ибо человек, прикованный к позорному столбу, легко может помешаться, а равно и все люди могут помешаться и «поверить ему», как безумные, именно потому, что предсказываемое им невозможно.

* Фашины — пучки хвороста, перевязанные скрученными прутьями; в средние века употреблялись для постройки военных укреплений, заполнения рвов или возвышения местности.

Так что, по-видимому, настал решительный кризис и последняя агония Франции. Встретьте же их должным образом, вы, импровизированная Коммуна, сильный Дантон и все сильные люди Франции! Читатели могут судить, успокоительно ли или безнадежно для человеческих душ развеялся в этот день флаг «Отечество в опасности!».

Но импровизированная Коммуна и строгий Дантон на своих постах, и каждый исполняет свое дело. Огромные плакаты расклеены по стенам; в два часа зазвонит набат и пушка выстрелит тревогу; все парижане устремятся к Марсову полю и будут записываться. Правда, они не вооружены и не обучены, но они полны силы ярости и отчаяния. Спешите, мужчины, а вы, женщины, предлагайте нести караулы, держа коричневый мушкет на плече; слабая насадка в отчаянии вцепляется в морду бульдогу и даже побеждает его силой своего натиска! Самый страх, сделавшись трансцендентальным, становится в некотором роде мужеством, подобно тому как достаточно сильный мороз, по словам поэта Мильтона*, в конце концов начинает жечь. В Комитете общественной обороны Дантон сказал раз вечером, когда высказались все министры и законодатели, что им не следует покидать Париж и бежать в Сомюр, что они должны остаться в Па-

риже и вести себя так, чтобы утратить (faire peur) врагов, — слова, которые часто повторялись и были напечатаны курсивом¹⁵.

* Мильтон Дусон (1608—1674) — крупнейший английский поэт и политический деятель эпохи Английской буржуазной революции XVII в. Автор эпических поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», библейские образы которых воссоздают пафос революционной эпохи.

В два часа, когда, как мы показали, Борепер застрелился в Вердене и во всей Европе люди идут к вечерне, в Париже также звонят колокола, но не к вечерне и каждую минуту гремят пушечные выстрелы — сигнал тревоги. Марсово поле и Алтарь Отечества кишат народом, полным отчаянного мужества страха. Что за *miserere** возносится к небу из этой бывшей столицы христианнейшего короля! Законодательное собрание заседает, одержимое то страхом, то внезапным одушевлением; Верньо предлагает, чтобы 12 членов Собрания ходили лично копать на Монмартре, что и постановляется под клики одобрения.

* Мизерере — от латинского слова «*miserere*» — смилостивиться. Этим словом начинается один из псалмов, положенный на музыку многими композиторами.

Но вот что гораздо важнее личного копания под аплодисменты: входит Дантон; черные брови его нахмурены, колоссальная фигура тяжело ступает, все черты сурового лица выражают мрачную решимость! Силен этот мрачный сын Франции и сын земли, и он — реальность, а вовсе не формула; именно теперь, сброшенный так низко, он более чем когда-либо опирается на землю, на реальности. «Законодатели! — гремит его голос, донесенный до нас газетами. — Эти пушечные выстрелы — сигнал не к тревоге, а к атаке (*pas-de-charge*) против наших врагов. Что нам нужно, чтобы победить их, чтобы отбросить их назад? Нам нужна смелость, еще раз смелость и смелость без конца!» (Il nous faut de l'audace, et encore de l'audace, et toujours de l'audace)¹⁶. Верно, могучий титан, тебе не остается ничего, кроме этого! Старики, слышавшие эти слова, до сих пор рассказывают, как этот производящий эхо голос воспламенил в ту минуту все сердца, затронув их лучшие струны, и это вовремя сказанное слово отозвалось во всей Франции, подобно электрической волне.

А Коммуна, вербующая на Марсовом поле? А Комитет общественной обороны, ставший теперь Комитетом общественного спасения, совестью которого является Марат? Вербующая Коммуна завербовывает многих, раскидывает для них палатки на Мар-

совом поле, чтобы они могли уйти завтра с рассветом; хвала этой части Коммуны! Но Марату и Комитету общественной обороны не хвала и даже не порицание, которые можно было бы выразить на нашем несовершенном наречии, а лучше выразительное молчание! Одинокий Марат — Боже избави от такого человека, — долго размышлявший в своих потаенных подвалах и на своем столбе Столпника, углядел спасение только в одном — в падении 260 тысяч аристократических голов. С несколькими дюжинами неаполитанских брави, каждый с кинжалом в правой и с муфтой на левой руке, он хотел пройти Францию и привести эту мысль в исполнение. Но весь свет хохотал, высмеивая строгую благожелательность Друга Народа, и мысль его, не могущая претвориться в действие, превратилась лишь в навязчивую идею. Однако, посмотрите, он-таки попал со столба Столпника на *Tribune particulière*; может быть, здесь это окажется возможным и без кинжалов, без муфт; по крайней мере теперь, в момент решительного кризиса, когда спасение или уничтожение зависят от одного часа!

Ледяная башня Авиньона наделала достаточно шума и живет у всех в памяти, но виновники не были наказаны: мы видели даже, как Журдан *Coupe-tête*, несомый на плечах, подобно медному идолу, «путешествовал по южным городам». Читатель, не старайся угадать, какие призраки, грязные и отвратительные, размахивая кинжалами и муфтами, плясали в мозгу Марата под этот оглушительный звон зловещего набата и всеобщей ярости. Не старайся угадать ни того, что думал жестокий Бийо. «в коротком коричневом камзоле», Сержан, пока еще не *Agate-Сержан*, Панис, доверенный Дантона, ни того, какие чудовища и невероятные события вынашивает в своей мрачной утробе злобный Орк*, рождающий их на твоих глазах!

* Орк (Оркус), лат. — римское божество смерти, доставлявшее тени людей в подземное царство.

Ужас царит на улицах Парижа, ужас и бешенство, слезы и ярость: зловещий набат гудит в воздухе; яростное отчаяние устремляется в бой; матери с полными слез глазами и неукротимыми сердцами посылают своих сыночек умирать. «Каретных лошадей хватают за уздечки» и впрягают в пушки, «постромки перерезают, экипажи остаются на дороге». Разве при таком вое набата и мрачном смятении безумия убийство и все фурии не готовы разразиться? Слабый намек — кто знает, насколько слабый? — и убийство выступит на сцену и осветит этот мрак своей обвитой огненными змиями головой!

Как это пришло и случилось, что было преднамеренно и что неожиданно и случайно, — это не выяснится никогда, до Судного дня. Но такой человек, как Марат, в качестве блюстителя совести властелина... а мы знаем, что такое *ultima ratio** властелинов, когда они доведены до крайности! В этом Париже имеется, скажем, сто или более злейших людей в мире, которых можно подговорить на все, которые, даже неподговоренные, по собственному побуждению готовы на все. Однако заметим, что предумышление еще не есть выполнение, даже не есть уверенность в выполнении, самое большее, это уверенность в дозволении тому, кто пожелает выполнить. От преступного намерения до преступного действия целая пропасть, как бы ни казалась странной эта мысль. Палец лежит на курке, но человек еще не убийца, и, если вся его натура противится такому концу, разве это не есть скорее пауза смятения — последний момент возможности для него? Он еще не убийца; от незначительных мелочей зависит то, что самая навязчивая идея может перейти в колебания. Но легкое напряжение мышцы — и смертоносная стрела летит, человек уже убийца и останется им навеки; и земля становится для него мучительным адом, горизонт его озарен теперь не золотом надежды, а красным пламенем угрызения совести; голоса из недр природы кричат: «Горе, горе ему!»

* Последний довод, последнее средство (лат.).

Все мы сделаны из такого материала; самый чистый из нас ходит по такой пороховой мине бездонной вины и преступности, и «только Бог удерживает нас», говорит верное изречение. В человеке есть бездны, граничащие с адом, и возвышенные чувства, достигающие самого неба, ибо разве небо и преисподняя не созданы из него, не созданы им, вечным чудом и тайной, какие он представляет собою? Но при виде этого Марсова поля с воздвигающимися на нем палатками и лихорадочной вербовкой, при виде этого угрюмо кипящего Парижа, с его битком набитыми (и, как полагают, готовыми взорваться) тюрьмами, зловещим набатом, слезами матерей и прощальными кликами солдат, набожные души, наверное, молились в этот день, чтобы милость Божья «удержала», и удержала покрепче, дабы при малейшем движении или намеке не поднялись Безумие, Ужас и Убийство и этот воскресный сентябрьский день не стал черным днем в летописях человечества. Набат гудит изо всех сил, часы неслышно бьют три, когда бедный аббат Сикар с тридцатью другими неприсягнувшими священниками в шести каретах проезжают по улицам из своего временного заключения в городской Ратуше в тюрьму Аббатства. На улицах стоит много покинутых экипажей; эти шесть едут сквозь озлобленные толпы, осыпающие проклятиями их путь: «Проклятые аристократические Тартюфы, вот до какого положения вы довели нас! А теперь вы хотите взломать тюрьмы и посадить Капета* Veto на коня и напустить его на нас? Долой, служители Вельзевула и Молоха, тартюфства, маммоны и прусских виселиц — все это вы называете Матерью-Церковью и Богом!» Бедным неприсягнувшим священникам приходится переносить такие и худшие упреки, высказываемые обезумевшими патриотами, влезающими даже на подножки экипажей; даже охрана их с трудом воздерживается, чтобы не присоединиться к ругателям. Закрыть окна в каретах? «Нет!» — возражают патриоты и кладут свои мозолистые лапы на раму, надавливая и опуская ее. Всякому терпению есть предел; прошло много времени, прежде чем кареты прибыли к Аббатству; наконец они подъезжают к нему, и тут один из диссидентов, более горячего темперамента, ударяет тростью по мозолистой лапе, находя в этом некоторое утешение; сильно ударяет и по косматой голове, ударяет снова, еще сильнее, на виду у нас и у всей толпы. Но это последнее, что мы ясно видим. Увы, в следующую минуту кареты окружены и осажены бесчисленной разъяренной толпой, рев ее заглушает крики о пощаде: на них отвечают сабельными ударами в сердце¹⁷. 30 священников вытаскивают из кареты и убивают у тюремной ограды одного за другим; один аббат Сикар, которого знающий его часовщик Мотон спасает с геройскими усилиями и прячет в тюрьме, ускользает

благополучно, чтобы рассказать об этом событии; и вот наступила ночь, и Орк, и обвитая огненными змиями голова Убийства поднялась во мраке!

* Людовику XVI, принадлежавшему к младшей линии династии Капетингов, после его низложения было присвоено гражданское имя Капет.

С воскресенья пополудни до вечера четверга (исключая временные промежутки и паузы) проходит 100 часов, которые можно сравнить с часами Варфоломеевской бойни, Арманьякской резни, Сицилийских вечеров или с самыми дикими зверствами, занесенными в летописи мира. Ужасен час, когда душа человека в припадке безумия ломает все преграды, попирает все законы и обнажает все свои вертепы и бездны! Ибо Ночь и Ад, как давно было предсказано, вырвались здесь, в Париже, из своих подземных темниц такие ужасные, мрачно-смятенные, что на них мучительно было смотреть, но они не могут быть и не будут забыты.

Читатель, серьезно смотрящий на эту адскую, смутную фантазмагорию, различит несколько устойчивых, определенных предметов, но всего лишь несколько. Он заметит в тюрьме Аббатства по окончании внезапного избиения священников странный суд, который можно назвать судом мести или диким самосудом; он образовался быстро и заседает вокруг стола с разложенными на нем тюремными списками; председательствует Станислас Майяр, герой Бастилии, знаменитый предводитель менад. О Станислас, тебя, ловкого наездника и человека, не чуждого законности, мы надеялись встретить в другом месте, а не здесь! Вот какую работу, стало быть, суждено тебе сделать, прежде чем навеки скрыться с наших глаз! В Лафорс, в Шатле, в Консьержери* образуются такие же суды и с такими же атрибутами: ведь то, что делает один человек, могут делать и другие. В Париже около семи тюрем, полных аристократами-заговорщиками; не обойдены даже Бисетр и Сальпетриер с их поддельвателями ассигнаты**:

ведь у нас семьдесят раз семьсот патриотических сердец в состоянии безумия. Имеются также и подлые сердца, и самые совершенные в своем роде, если таковые понадобятся. Для них в этом настроении закон все равно что не закон и убийство, как бы его ни называли, такая же работа, как и всякая другая.

* Консьержери — тюрьма в Париже, занимающая часть здания Дворца правосудия, в годы революции место заключения лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности.

** Ассигнаты были выпущены во Франции во время революции (19—20 декабря 1789 г.) в виде пятипроцентных государственных ценных бумаг, обеспечиваемых конфискованными церковными и эмигрантскими землями. Впоследствии ассигнаты превратились в бумажные деньги, курс которых постоянно падал.

И вот эти внезапно образовавшиеся самозванные суды заседают с разложенными перед ними тюремными реестрами; вокруг них стоит необычайный, дикий рев; внутри тюрьмы в ужасном ожидании сидят заключенные. Живо! Произносится имя, скрипят засовы, и перед нами заключенный. Вопросов предлагается немного (самозванный суд работает скоропалительно): роялистский заговорщик или нет? Очевидно, нет. В таком случае заключенного освобождают с криком «Vive la Nation!». Вероятно, да; и в этом случае заключенного освобождают, но без крика «Vive la Nation!», или же приговор гласит: отвести заключенного в Аббатство. «Значит, в Лафорс!» Добровольные экзекуторы хватают осужденного, он уже у внешних ворот; его «выпускают» или «ведут» не в Лафорс, а в ревущее море голов, под свод яростно занесенных сабель, пик и топоров, и он падает изрубленный. Падает другой и третий, образуется груда тел, и в канавах течет красная вода. Представьте себе вой этих людей, их потные, окровавленные лица, еще более жестокие крики женщин, потому что в толпе были и женщины, и брошенного в эту среду беззащитного человека! Журниак де Сен-Меар видал сражения, видел бунт мятежного Королевского полка, но от этого зрелища затрепетало и храбрейшее сердце. Заключенные швейцарцы, оставшиеся от 10 августа, «судорожно обнялись» и попятились назад; седые ветераны кричали: «Пощадите, Messieurs, ах, пощадите!» Но здесь пощады нет. Вдруг «один из этих людей выходит вперед. На нем синий камзол, ему около 30 лет; он немного выше среднего роста и благородной, воинственной наружности. «Иду первым, если уж решено, — говорит он. — Прощайте!» Потом, сильно швырнув назад шляпу, кричит разбойникам: «Куда идти? Покажите мне дорогу!» Отворяют створчатые ворота и объявляют о нем толпе. Он с минуту стоит неподвижно, потом бросается между пиками и умирает от тысячи ран»¹⁸.

Зарубают одного за другим; сабли приходится точить, а убийцы освежаются кружками вина. Бойня продолжается, от усталости громкий рев переходит в глухое рычание. Сменяющаяся толпа с мрачными лицами смотрит на это зрелище с равнодушным одобрением или осуждением, равнодушно признавая, что это необходимо. «Один англичанин в драповом пальто» поил будто бы убийц из своей походной фляжки — с какою целью, «если он не подговорен Питтом», известно только ему и сатане! Сообразительный д-р Моор, подойдя, почувствовал себя дурно и свернул на другую улицу¹⁹. Этот суд присяжных действует скоро и строго. Нет пощады ни храбрости, ни красоте, ни слабости. Старик де Монморен, брат министра, был оправдан «трибуналом Семнадцатого» и отведен назад, сопровождаемый толчками ревущих галерей, но здесь его не оправдывают. Принцесса де Ламбаль уже легла спать. «Madame, вы должны отправиться в Аббатство». — «Я не хочу переселяться; мне хорошо и здесь». Ее заставляют встать. Она хочет поправить свой туалет, но грубые голоса возражают: «Вам недалеко идти». И ее также ведут к воротам ада, как явную приятельницу королевы. Она содрогается и отступает при виде окровавленных сабель, но дороги назад нет: вперед! Красивая голова рассекается топором, затылок отделяется. Красивое тело разрубается на куски среди гнусностей и циничных ужасов, продельваемых усатыми grandes-livres, ужасов, которые человечество склонно считать невероятными и которые должно читать только в оригинале. Эта женщина была прекрасна, добра и не знала счастья. Молодые сердца в каждом поколении будут думать про себя: «О достойная обожания, ты царственная, божественная и несчастная сестра-женщина! Почему я не был при этом с мечом или молотом Тора в руке*! Голову ее насаживают на пику и проносят под окнами Тампля для того, чтобы видела другая, еще более ненавистная голова — Марии Антуанетты. Один муниципал, находящийся в этот момент в Тампле с августейшими узниками, говорит: «Посмотрите в окно». Другой быстро шепчет: «Не смотрите». Ограда Тампля охраняется в эти часы длинной растянутой лентой; сюда врываются ужас и шум неумолкаемых криков; пока еще нет царевубийства, хотя возможно и оно.

* Тор — второе после Одина божество древних скандинавов. Изображался в виде великана с длинной рыжей бородой, в одной руке держащего скипетр, в другой — молот.

Но поучительнее отметить проявление любви, остатки природной доброты, всплывающие в этом разгроме человеческих существований; наблюдается и это в некоторой степени. Вот, например, старый маркиз Казотт: он приговорен к смерти, но его молодая дочь сжимает его в своих объятиях и умоляет с красноречием, вдохновленным любовью, которая сильнее смерти; даже сердца убийц смягчаются — старик пощажён... Однако он был виновен, если участие в заговоре за своего короля составляет вину; через десять дней новый суд опять приговорил его, и он должен был умереть в другом месте, завещав дочери локон своих седых волос. Или возьмем старого де Сомбрейя, у которого тоже была дочь. «Мой отец не аристократ; о добрые господа, я готова поклясться и доказать, чем угодно, что мы не аристократы; мы ненавидим аристократов!» «Выпьешь аристократическую кровь?» — кричит один и подает ей в чашке кровь (так по крайней мере гласили общераспространенные слухи)²⁰; бедная девушка пьет. «Значит, этот Сомбрей не виновен». Да, действительно, а теперь заметьте самое главное: как при известии об этом факте окровавленные пики опускаются к земле и рев тигров сменяется взрывом восторга по случаю спасенного брата; старика и его дочь со слезами прижимают к окровавленным грудям и на руках относят домой с торжественными криками «Vive la Nation!». Убийцы отказываются даже от денег! Не кажется ли такое настроение странным? Однако это доказано, подтверждено в некоторых случаях надлежащим образом свидетельскими показаниями роялистов²¹ и весьма знаменательно.

Глава пятая

ТРИЛОГИЯ

В наше время всякое описание, сколь бы эпическим оно ни было, «говорит само за себя, а не воспевает себя», поэтому оно должно или основываться на вере и доказуемых фактах, или же представлять не более основания, чем летающая паутина, так что читатель, может быть, предпочтет посмотреть на эти дни глазами очевидцев и на основании того, что он увидит, судить о них собственным умом. Предоставим храброму Журниаку, невинному аббату Сикару, рассуди-

тельному адвокату Матону говорить каждому со всевозможной краткостью. Книга Журниака «Тридцативосьмичасовая агония», хотя сама по себе и слабое произведение, выдержала, однако, «более 100 изданий». За неимением лучшего приведем здесь часть ее в 101-й раз.

«Около семи часов» (воскресенье, вечер, в Аббатстве; Журниак отмечает часы): «Мы видели, как вошли два человека с окровавленными руками, вооруженные саблями; тюремщик с факелом светил им; он указал на постель несчастного швейцарца Рединга. Рединг говорил умирающим голосом. Один из этих людей остановился, но другой крикнул: «Allons donc!» — и, подняв несчастного, вынес его на спине на улицу. Там его убили».

«Мы все молча смотрели друг на друга и схватились за руки. Неподвижные, мы устремили свои застывшие глаза на пол нашей тюрьмы, на котором лежал лунный свет, расчерченный на квадраты тройными решетками наших окон».

«Три часа утра. Они взломали одну из тюремных дверей. Мы думали сначала, что они пришли убить нас в нашей камере, но услышали из разговора на лестнице, что они шли в другую комнату, где несколько заключенных забаррикадировались. Как мы вскоре поняли, их всех там убили».

«Десять часов. Аббат Ланфан и аббат де Ша-Растиньяк вошли на кафедру часовни, служившей нам тюрьмой; они прошли через Дверь, ведущую с лестницы. Они сказали нам, что конец наш близок, что мы должны успокоиться и принять их последнее благословение. Словно от электрического толчка, мы все упали на колени и приняли благословение. Эти два старца, убеленные сединами, благословляющие нас с высоты кафедры; смерть, парящая над нашими головами, окружающая нас со всех сторон, — никогда не забыть нам этого момента. Через полчаса оба они были убиты, и мы слышали их крики»²². Так говорит Журниак в своей «Агонии в Аббатстве»; чем это кончилось для самого Журниака, мы увидим позже.

Теперь пусть добрый Матон расскажет, что он перестрадал и чему был свидетелем в те же часы в Лафорс. Его «Résurrection» — лучший, наименее театральный из этих памфлетов, выдерживающий сопоставление с документами.

«Около семи часов» в воскресенье вечером «стали часто вызывать заключенных, и они не возвращались больше. Каждый из нас по-своему объяснял эту странность, но мысли наши успокоились, когда мы убедили себя, что записка, представленная мною Национальному собранию, произвела впечатление».

В час ночи решетка, ведущая в наше помещение, снова растворилась. Четыре человека в мундирах, каждый с обнаженной саблей и горящим факелом, вошли к нам в коридор, предшествуемые тюремщиком, а затем в комнату, смежную с нашей, чтобы осмотреть ящик, который, как мы слышали, они взломали. Покончив с этим, они вышли в коридор и спросили человека по имени Кюисса, где находится Ламот (муж покойной Ламот, причастной к истории с ожерельем). Они сказали, что несколько месяцев назад Ламот выманил у одного из них 300 ливров под предлогом какого-то известного ему клада, для чего пригласил его на обед. Несчастный Кюисса, находившийся теперь в их руках и действительно погибший в эту ночь, ответил, дрожа, что он хорошо помнит этот факт, но не может сказать, что случилось с Ламетом. Решив найти его и устроить очную ставку с Кюиссой, они обшарили с этим последним еще несколько комнат, но бесполезно, потому что мы слышали, как они сказали: «Пойдем поищем его между трупами, потому что, *nom de Dieu!* мы должны разыскать его».

В это самое время я услышал: «Луи Барди» — называли имя аббата Барди; его вытащили и тут же убили, как я узнал потом. Пять или шесть лет тому назад он был обвинен в том, что вместе со своей наложницей убил и изрезал на куски собственного родного брата, аудитора счетной палаты в Монпелье, но благодаря своей изворотливости, хитрости, даже красноречию Барди удалось провести судей и избежать наказания.

Можно себе представить, какой ужас охватил меня при словах: «Пойдем поищем между трупами». Я понял, что мне не остается ничего более, как приготовиться к смерти. Я написал завещание, закончив его просьбой и заклинанием передать бумагу по назначению. Не успел я положить перо, как вошли еще два человека в мундирах, один из них, у которого рука и весь рукав по плечо были в крови, сказал, что он устал, как каменщик, который разбивает булыжник».

Позвали Бодена де ла Шен: шестьдесят лет безупречной жизни не могли спасти его. Они сказали: «В Аббатство»; он прошел через роковые наружные ворота, испустил крик ужаса при виде нагроможденных тел, закрыл глаза руками и умер от бесчисленных ран. Всякий раз, как открывалась решетка, мне казалось, что я слышу мое собственное имя и вижу входящего Россиньоля.

Я сбросил халат и колпак, надел грубую, немытую рубашку, поношенный камзол без жилета и старую круглую шляпу, я послал за этими вещами несколько дней назад, опасаясь того, что могло случиться.

Комнаты в этом коридоре были пусты все, кроме нашей. Нас было четверо; казалось, о нас забыли, и мы сообща молились Предвечному, чтобы Он избавил нас от этой опасности.

Тюремщик Батист пришел сам по себе взглянуть на нас. Я взял его за руки, заклинал спасти нас, обещал 100 луидоров, если он отведет меня домой. Шум около решетчатых ворот заставил его поспешно удалиться.

Это был шум, производимый двенадцатью или пятнадцатью человеками, вооруженными до зубов, как мы видели из наших окон, лежа на полу, чтобы не быть замеченными. «Наверх! — кричали они. — Чтобы ни одного не осталось!» Я вынул перочинный ножик и соображал, в каком месте мне сделать порез но сообразил, что «лезвия слишком коротки», а также вспомнил «о религии».

Наконец, в восьмом часу утра к нам вошли четверо людей с дубинами и саблями! Одному из них товарищ мой Жерар стал что-то усердно шептать. Во время их переговоров я искал всюду башмаки, чтобы снять адвокатские туфли (*pantoufles de Palais*), бывшие на мне, но не нашел их. Констана, прозванного *le sauvage*, Жерара и еще третьего, имя которого я забыл, они сейчас же выпустили; что касается меня, то на моей груди скрестили четыре сабли и повели меня вниз. Меня представили в их суд, к персоне в шарфе, который играл роль судьи. Это был хромой человек, высокий и худощавый. Он узнал меня на улице и заговорил со мною семь месяцев спустя. Меня уверяли, что он сын бывшего адвоката по имени Шепи. Миновав двор, называемый *Des Nourrices*, я увидел ораторствующего Манюэля в трехцветном шарфе».

Процесс, как видим, окончился оправданием и *résurrection* (воскресением)²³.

Бедный Сикар из арестантской камеры в Аббатстве скажет всего несколько правдивых слов, хотя и произнесенных дрожащим голосом. Около трех часов утра убийцы замечают это маленькое *violon* (арестантскую) и стучат в него со двора. «Я постучал тихонько, чтобы убийцы не слышали, в противоположную дверь, за которой заседал комитет секций; мне грубо ответили, что нет ключа. В *violon* нас было трое; моим товарищам показалось, что над нами есть что-то вроде чердака. № он был очень высоко, только один из нас мог добраться до него, поднявшись на плечи двух других. Один из них сказал мне, что моя жизнь полезнее их жизней. Я отказывался, они настаивали, спорить было некогда. Я бросился на шею двум моим спасителям; не могло быть сцены трогательнее этой. Я взобрался сначала на плечи первого, потом на плечи второго, потом на чердак и обратился к моим двум товарищам с изъявлениями признательности от полноты моей взволнованной души»²⁴.

Оба великодушных товарища, как мы с радостью узнали, не погибли. Но пора дать Журниаку де Сен-Меар сказать свои последние слова и кончить эту странную трилогию. Ночь сделалась днем, и день снова превратился в ночь. Журниак, утомленный чрезмерным волнением, заснул и видел утешительный сон: он тоже познакомился с одним из добровольных экзекуторов и говорил с ним на родном провансальском наречии. Во вторник, около часу ночи, агония его достигла кризиса.

«При свете двух факелов я различал теперь страшное судилище, в руках которого была моя жизнь или смерть. Председатель, в старом камзоле, с саблей на боку, стоял, опершись руками о стол, на котором были бумаги, чернильница, трубки с табаком и бутылки. Около десяти человек сидело или стояло вокруг него, двое были в куртках и фартуках; другие спали, растянувшись на скамейках. Два человека в окровавленных рубашках стояли на часах у двери, старый тюремщик держал руку на замке. Напротив председателя трое мужчин держали заключенного, которому на вид было лет около шестидесяти (или семидесяти — это был маршал Малье, известный нам по Тюильри 10 авгу-

ста). Меня поставили в углу, и сторожа мои скрестили на моей груди сабли. Я оглядывался по сторонам, ища своего провансальца; два национальных гвардейца, один из них пьяный, представили какое-то ходатайство от секции Красного Креста в пользу подсудимого; человек в сером отвечал: «Ходатайства за изменников бесполезны!» Тогда заключенный воскликнул: «Это ужасно, ваш приговор — убийство!» Председатель ответил: «Руки мои чисты от этого; уведите господина Малье». Его потащили на улицу, и сквозь дверную щель я видел его уже убитым.

Председатель сел писать; я думаю, что он записывал имя того, с кем только что покончили; потом я услышал, как он сказал: «Следующего!» (A un autre!)

И вот меня потащили на этот быстрый и кровавый суд, где самой лучшей протекцией было не иметь ее вовсе, и все ресурсы высшей изобретательности становились ничем, если не основывались на истине. Двое моих сторожей держали меня каждый за руки, третий — за воротник камзола. «Ваше имя, ваша профессия?» — сказал председатель. «Малейшая ложь погубит вас», — прибавил один из судей. «Мое имя Журниак Сен-Меар; я служил офицером двадцать лет и являюсь на ваш суд с уверенностью невинного человека, который не станет лгать!» «Увидим, — сказал председатель. — Знаете ли вы, за что вы арестованы?» — «Да, господин председатель, меня обвиняют в издании журнала «De la cour et de la ville». Но я надеюсь доказать ложность этого обвинения!»

Но нет, доказательство Журниака и его защита вообще, хотя и принесшие отличный результат, неинтересны для чтения. Они высокопарны, в них много фальшиво-театрального, хотя и не доходящего до неправдивости, но почти клонящегося к тому, Предположим, что его доказательства и опровержения, сверх ожидания, успешны, и перейдем скорее к катастрофе, поджидающей почти в двух шагах.

«Однако, — сказал один из судей, — дыма без огня не бывает; скажите нам, почему вас обвиняют в этом?» — «Я только что хотел сказать это». — И Журниак говорит все с большим и большим успехом.

«Более того, — продолжал я, — меня обвиняют в том, что я вербовал солдат для эмигрантов!» При этих словах поднялся общий ропот. «O Messieurs, Messieurs! — воскликнул я, возвышая голос. — Теперь мой черед говорить: я прошу господина председателя предоставить мне слово; оно никогда не было мне нужнее». «Верно, верно, — сказали со смехом почти все судьи. — Тише».

В то время как они обсуждали приведенные мною доказательства, привели нового заключенного и поставили его перед председателем. «Еще священник, — сказали судьи. — Его захватили в часовне». После немногих вопросов было сказано: «В Лафорс!» Он бросил на стол свой тревник: его выгнали наружу и убили. Я снова предстал перед судом.

«Вы все говорите, что вы не то и не другое, — крикнул один из судей с оттенком нетерпения. — но что же вы такое?» — «Я был явным роялистом». Тут опять поднялся общий ропот, но он был чудесным образом прекращен другим человеком, видимо заинтересовавшимся мной. «Мы здесь не для того, чтобы судить мнения, — сказал он, — а для того, чтобы судить результаты их». Если бы за меня ходатайствовали Руссо и Вольтер вместе, могли ли бы они сказать лучше? «Да, Messieurs, — крикнул я, — я был всегда открытым роялистом, вплоть до 10 августа. С 10 августа это дело конченное. Я француз, верный моей родине. Я всегда был честным человеком. Солдаты мои всегда относились ко мне с доверием. Даже за два дня до дела в Нанси, когда их подозрительность по отношению к офицерам достигла крайних пределов, они выбрали меня командиром, чтобы вести их в Люневиль, освободить арестованных из полка Местр де Камп и схватить генерала Мальсеня». По счастью, один из присутствующих мог достоверно подтвердить этот факт.

По окончании этого перекрестного допроса председатель снял шляпу и сказал: «Я не вижу ничего подозрительного в этом человеке. Я стою за дарование ему свободы. Каково ваше мнение?» На что все судьи ответили: «Oui, Oui, это правильно!»»

Раздались виваты в комнате и снаружи, и Журниак, сопровождаемый стражами, вышел среди криков и объятий из суда и из пасти смерти²⁵. Так же спаслись Матон и Сикар, один освобожденный по суду, так как тощий председатель Шепи не нашел против него «абсолютно ниче-

го», другой путем бегства и вторичной помощи доброго часовщика Мотона, и оба были встречены объятиями и слезами, на которые сами отвечали по мере своих сил.

Таким образом, мы выслушали их, всех троих, одновременно высказавших в необыкновенной трилогии или тройственном монологе свои ночные мысли в ужасные бессонные ночи. Мы выслушали этих троих, но остальные «тысяча восемьдесят девять, из которых двести два были священники»? Ведь и у них тоже были ночные мысли, но они безмолвствуют, навеки задушенные черной смертью. Их слышали только председатель Шепи и человек в сером!

Глава шестая

ЦИРКУЛЯР

Но что же делали все это время установленные власти: Законодательное собрание, шесть министров, городская Ратуша, Сантер с Национальной гвардией? Как подумаешь, что это за странный город! Театры, числом двадцать три, были открыты каждый вечер, невзирая на эти ужасы; в то время как здесь правые руки уставали от убийств, другие правые руки там пиликали на мелодических струнах; в ту самую минуту, когда аббат Сикар карабкался на вторую пару плеч и превращался в человека тройного роста, 500 тысяч человеческих существ спали, растянувшись, словно все шло своим чередом.

Что касается бедного Законодательного собрания, то скипетр уже ускользнул из его рук. Законодательное собрание посылало депутацию в тюрьмы, в эти уличные суды, и бедный Дюзю ораторствовал там, но решительно никого не мог убедить; в конце концов, так как он продолжал ораторствовать, даже уличный суд вмешался с угрозами, и он принужден был замолчать и удалиться. Это тот самый почтенный старик Дюзю, который долго рассказывал, почти пел, к нашему удовольствию, хотя и надрывным голосом, о взятии Бастилии. Он имел обыкновение в этом и во всех других случаях представлять себя переводчиком Ювенала*. «Добрые граждане, вы видите перед собою человека, любящего свою родину, и переводчика Ювенала», — сказал он однажды. ««Ювенала»? — прерывают санкюлоты. — Что это за черт — Ювенал? Один из ваших священных аристократов? На фонарь!» От оратора такого рода нечего было ожидать убедительности. Законодательному собранию было много хлопот со спасением одного из своих членов, или бывших членов, депутата Жунно, угодившего в одну из тюрем вследствие простых парламентских провинностей. Что касается бедного Дюзю и компании, то, вернувшись в зал Манежа, они сказали: «Было темно, и мы не могли хорошенько рассмотреть, что происходит»²⁶.

* Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик.

Ролан пишет негодующие послания во имя порядка, гуманности и закона, но в его распоряжении нет силы. Национальная гвардия Сантера, по-видимому, ленива на подъем; хотя он производил, по его словам, переклички, но солдаты постоянно рассеивались. А разве мы не видели глазами адвоката Матона «людей в мундирах», у которых «рукава были до плеч в крови»? Петион ходит в трехцветном шарфе, говорит «на строгом языке закона»; пока он тут, убийцы унимаются; как только он отвернется, они снова принимаются за свое дело. Мы видели мимоходом, глазами Матона и Манюэля, также в шарфе, ораторствующего на дворе, *Comte des Nouffices*. С другой стороны, жестокий Бийо, в шарфе же, «в коротком плюсовом камзоле и черном парике, как привыкли его видеть»²⁷, во всеуслышание произносит, «стоя посреди трупов» в Аббатстве, короткую, навеки памятную речь, передаваемую различными словами, имеющими всегда один и тот же смысл: «Достойные граждане, вы искореняете врагов свободы, вы исполняете свой долг. Благодарная Коммуна и Отчизна желали бы достойно вознаградить вас, но не могут из-за недостатка средств. Всякий работавший (*travaillé*) в тюрьмах получит квитанцию на луидор, уплачиваемый нашим казначеем. Продолжайте свое дело»²⁸. Законные власти отошли в область вчерашнего дня, тянут в разные стороны; в сущности нет законной власти, всякий сам себе голова, и все являются царьками, воюющими, союзниками или придерживающимися вооруженного нейтралитета, но не имеют над собой короля.

«О вечный позор! — восклицает Монгайяр. — Париж смотрел на это целых четыре дня, как оглушенный, и не вмешивался!» Действительно, крайне желательно было бы, чтобы Париж

вмешался; однако нет ничего неестественного и в том, что он стоял так и смотрел, словно оглушенный. Париж в смертельной панике, враг и виселицы у его дверей: у кого хватает мужества бросить вызов смерти, тот находит полезнее сделать это, сражаясь с пруссаками, чем сражаясь с убийцами аристократов. Тут могло быть и негодующее отвращение, как у Ролана, и мрачное одобрение, преднамеренность или нет, как у Марата и Комитета спасения; тупое осуждение или тупое одобрение и, как общая черта, покорность необходимости и судьбе. Сыны тьмы, «двести или около того», поднявшиеся из своих тайников, имеют достаточно времени сделать свое дело. Побуждает ли их лихорадочное безумство патриотизма и безумие страха или корыстолюбие и плата в луидор? Нет, не корыстолюбие, потому что золотые часы, кольца, деньги убитых аккуратно приносятся в городскую Ратушу самими убийцами без штанов, которые торгуются потом из-за своего луидора; и Сержан, надевший на палец необыкновенно красивый перстень с агатом (искренне считая «себя имеющим на него право»), получает прозвище Agate-Сержан. Но общее настроение, как мы сказали, — тупая покорность. Только тогда, когда патриотическая и безумная часть дела кончена за недостатком материала и сыны мрака, явно стремящиеся только к наживе, начинают отнимать днем на улицах часы и кошельки и срывать брошки с шеи дамы «на экипировку волонтеров», — только тогда настроение публики из тупого превращается в озлобленное, констебль поднимает свою палицу и хорошим ударом (как энергичный пастух) вгоняет «ход дел» назад, в старую, установленную колею. Даже *Garde Meuble* было тайно ограблено 17 сентября, к новому ужасу Ролана, который снова начинает волноваться и становится, по выражению Сиейеса, *veto* мошенников, Ролан — *veto des coquins*²⁹.

Такова была эта сентябрьская бойня, иначе называемая строгим народным судом. Таковы эти сентябристы (*septembriseurs*) — название, не лишенное некоторого значения и ореола, хотя и ореола адского пламени, сильно отличающегося от ореола наших героев Бастилии, которые сияли небесным светом, что не станет оспаривать ни один друг свободы; вот к какому обороту дела пришли мы с тех пор! Число убитых было, по данным исторической фантазии, «от двух до трех тысяч» или же «более шести тысяч», потому что Пельтье видел (во сне), как расстреливали «картечью» даже больных в доме умалишенных Бисетр; в конце концов их было «двенадцать тысяч» и несколько сот, но не более³⁰. По цифровым же данным и по спискам, составленным адвокатом Матоном, число их, включая двести двух священников, трех «неизвестных лиц» и «одного вора, убитого у бернардинцев», составляет, как указывалось выше, тысячу восемьсот девять человек, не менее*.

* Сохранившиеся документы не позволяют точно определить число жертв так называемого первого террора. Согласно подсчетам французского историка П. Карона, в сентябрьские дни 1792 г. в Париже могло быть убито от 1090 до 1395 человек из 2782 заключенных в девяти тюрьмах, где совершались избиения.

Тысяча восемьсот девять человек лежат мертвыми; «двести шестьдесят трупов нагромождено на самом Пон-Шанж», и среди них один невинный³¹, вспоминая о котором Робеспьер будет впоследствии «почти плакать». Один, а не Двое, о ты, Неподкупный с зеленым лицом? Если так, санкюлотская Фемида может считать себя счастливой, ведь она так спешила! В неясных записях городской Ратуши, сохранившихся до наших дней, читаешь не без боли в сердце необычные в городских книгах графы расходов и выдач: рабочим, занимавшимся очисткой воздуха в тюрьмах, и лицам, заведующим этими опасными работами, столько-то, в разных графах около 700 фунтов стерлингов. Извозчикам, отвозившим «на Кламарское, Монружское и Вожирарское кладбище», — по столько-то в день и за подводу; и это тоже записано. Потом столько-то франков и су «на потребное количество негашеной извести»³². Подводы идут по улицам, наполненные обнаженными человеческими телами, набросанными в беспорядке; торчат отдельные члены — вот торчит бледно-желтая, окоченевшая рука, высунувшаяся из плотной кучи братских тел открытой ладонью к небу, как бы в молчаливом укор, в немой молитве *de profundis*: Сжался над сынами человеческими! Мерсье, проходя из Монружа «наутро после бойни по улице Сен-Жак», видел это, но не руку, а ногу, что он считает еще многозначительнее, неизвестно почему. Или то была нога человека, отталкивавшего от себя небо, устремлявшегося в порыве отчаяния и отвращения, подобно дикому нырку, в самые бездны небытия? Но и там найдет тебя Его рука, и Его правая рука удержит тебя, — несомненно, ради твоих хороших, а не дурных поступков, ради добра, а не ради зла! «Я видел эту ногу, — говорит Мерсье, — и

узнаю ее в великий день Страшного суда, когда Предвечный, восседая на громах, будет судить и королей, и сентябристов»³³.

Естественно и справедливо, что такие дела вызвали крик невыразимого ужаса не только среди французского дворянства и умеренных, но и во всей Европе, — крик, продолжающийся и по сей день. Свершилось непоправимое; дело это будет внесено в летописи мира наряду с самыми черными делами и никогда не изгладится из них, ибо в человеке, как мы говорили, есть трансцендентальности; он, бедное создание, стоит всюду «при слиянии бесконечностей», является тайной для самого себя и для других, стоит в центре двух вечностей, трех неизмеримостей — в пересечении первобытного света с вечным мраком! Итак, совершены были ужаснейшие вещи, особенно людьми горячего характера, доведенными до отчаяния. Сицилийская вечерня и «восемь тысяч убитых в два часа» — факт известный. Даже короли, и не в отчаянии, а только в затруднительном положении, сидели дни и годы (де Ту говорит, даже семь лет), обдумывая свой план варфоломеевской затеи, а потом в надлежащий момент зазвонил также в одно осеннее воскресенье тот же самый колокол церкви Сен-Жермен л'Оксерруа, и результаты известны^{34*}. Почерневшие каменные стены парижских тюрем видели и раньше резню заключенных; люди убивали здесь своих соотечественников, бургундцы — арманьяков, внезапно арестованных; и так же, как и теперь, громоздились трупы и по улицам текла кровь. Мэр того времени Петийон говорил строгим языком закона, и убийцы отвечали ему на старом французском наречии (это было 400 лет назад): «Maugré bieu, Sire, черт возьми вашу «справедливость», ваше «сострадание», ваш «разум». Проклятие Божие над тем, кто сжалится над этими фальшивыми изменниками арманьяка-ми, англичанами; эти собаки разорили нас, опустошили Французское королевство и продали его англичанам»³⁵. И бойня продолжалась, убитых отбрасывают в сторону в количестве «тысячи пятисот восемнадцати, среди которых оказалось четыре лживых и коварных епископа и два председателя парламента». Ибо хотя мир, в котором мы живем, не мир сатаны, но сатана всегда пребывает в нем (под землей) и время от времени вырывается наружу. Человечество может кричать, бессвязно проклинать, сколько ему угодно: есть деяния, настолько выразительные сами по себе, что никакой крик не может быть слишком выразительным для них. Кричите вы, а действовали они.

* От 9 до 13 сентября 1572 г. — *Примеч. авт.*

Пусть кричит кто может в этой Франции, в этом парижском Законодательном собрании или парижской городской Ратуше, но есть десять человек, которые не кричат. Комитет общественного спасения издает циркуляр, помеченный 3 сентября 1792 года и разосланный по всем городским управлениям*; это слишком замечательный государственный акт, чтобы обойти его молчанием. «Часть ярых заговорщиков, содержащихся в тюрьмах, — гласит он, — была казнена народом, эти акты правосудия народ считал необходимыми для того, чтобы, устранив террором, сдержать легионы изменников, укрывающихся в стенах Парижа, как раз в тот момент, когда он собирался выступить против врага; вне всякого сомнения, нация после длинного ряда измен, приведших ее на край пропасти, поспешит одобрить полезную и столь необходимую меру, и все французы, подобно парижанам, скажут себе: «Мы идем на врага, и мы не оставим у себя за спиной бандитов, чтобы они уничтожали наших жен и детей»». Под этим циркуляром стоят три четкие подписи: Панис, Сержан, Марат, Друг Народа³⁶, и еще семь других, сохранных странным образом для позднейших воспоминаний антикваров. Однако мы замечаем, что циркуляр их отозвался скорее на них самих. Городские управления не воспользовались им; даже обезумевшие санкюлоты пользовались им мало; они только орали и ревели, но не кусались. В Реймсе было убито «около восьми человек», да и за тех впоследствии были повешены двое. В Лионе и многих других местах делались подобные попытки, но почти без результата и скоро были подавлены.

* Имеется в виду Манифест Наблюдательного комитета Коммуны, с которым она обратилась 3 сентября 1792 г. ко всей революционной Франции.

Менее счастливыми оказались заключенные в Орлеане и добрый герцог де Ларошфуко. Он ехал быстрыми перегонами с матерью и женой на воды в Форж или в какое-нибудь еще более спокойное место и был остановлен в Жизоре; возбужденная толпа провожала его по улицам и

убила «ударом камня, брошенного в окно кареты». Его убили как бывшего либерала, теперь аристократа, покровителя священников, сместителя добродетельных Петионов, несчастного, горячего, но остывшего человека, ненавистного патриотам. Он умирает, оплакиваемый Европой; кровь его обрызгивает щеки его старой, девяностотрехлетней матери.

Что касается орлеанских узников, то они считаются государственными преступниками — это роялистские министры, Делессары, Монморены, числящиеся за Верховным орлеанским судом со времени его учреждения. По-видимому, сочли за лучшее передать их новому парижскому «трибуналу Семнадцатого», который действует гораздо быстрее. Поэтому пылкий Фурнье с Мартиники, Фурнье-Американец, отправляется, командированный законной властью, с верной Национальной гвардией и с поляком Лазовским*, но со скудным запасом прогонных денег. Несмотря на плохие стоянки, трудности, опасности, ибо власти в это время действуют одна вопреки другой, они торжественно привозят этих пятьдесят или пятьдесят трех орлеанских заключенных в Париж, где их будет судить наш скорый «трибунал Семнадцатого»³⁷. Но за это время в Париже образовался суд еще более скорый — скорейший суд «Второго Сентября»; не выезжайте в Париж, или он будет судить вас! Что делать пылкому Фурнье? Обязанностью его как добровольного полицейского — обладай он сильным характером — было бы сохранить жизнь этих людей, какими бы аристократами они ни были, ценой даже своей собственной ценной жизни, каким бы ни был он санкюлотом, до тех пор пока какой-нибудь законный суд не распорядился бы ими. Но он был несильного характера и несовершенно полицейским, пожалуй даже одним из самых несовершеннолетних.

* Лазовский Клод — поляк, капитан канониров секции Гобеленов.

Пылкий Фурнье, которому одни власти приказывают ехать туда, другие — сюда, сбит с толку этим множеством приказаний, но в конце концов направляется в Версаль. Заключенные его едут в телегах, он сам и гвардейцы, конные и пешие, окружают их со всех сторон. В последней деревне навстречу им выходит почтенный версальский мэр, озабоченный тем, чтобы прибытие и заключение прошли благополучно. Это было в воскресенье девятого числа. Когда узники въехали в Версальскую аллею, на сентябрьском солнце, под темно-зеленой сентябрьской листвой уже кишела несметная толпа народа. Казалось, весь город высыпал в эту аллею, обсаженную четырьмя рядами деревьев. Телеги с трудом подвигаются сквозь живое море: гвардейцы и Фурнье с еще большим трудом расчищают дорогу; мэр говорит и жестикулирует самым убедительным образом среди нечленораздельного ропота и гудения, которые становятся все громче, возбуждаясь своим собственным шумом, и местами прорываются озлобленным ревом. Дал бы бог нам поскорее выбраться из этой тесноты! Авось ветер и расстояние охладят этот пыл, готовый в мгновение ока вспыхнуть ярким пламенем!

По если тесна широкая аллея, то что же будет на следующей за ней, на улице Сюрентанданс? На углу ее отдельные крики превращаются в несмолкающий рев; дикие фигуры вскакивают на оглобли телег, как первые брызги бесконечного, надвигающегося потока! Мэр умоляет, почти в отчаянии расталкивает толпу; его также толкают и наконец уносят на руках; дикий поток открыл себе свободный доступ и царит надо всем. Среди отвратительного шума и рева, похожего на вой волков, заключенные падают мертвыми — все, кроме одиннадцати, которые спаслись в домах обывателей, где встретили сострадание. Тюрьмы с находящимися в них другими арестованными с трудом удалось отстоять Сорванное платье сожгли на потешных огнях; трупы лежат, наваленные в канаве, еще и на следующее утро³⁸. Вся Франция, за исключением десяти человек, подписавших циркуляр, и их агентов, стонет и кричит, кипя от негодования; вся Европа вторит ей.

Но Дантон не кричит, хотя это дело ближе всего касается его как министра юстиции. Суровый Дантон стоит на бреши штурмуемых городов и возмущенных наций, среди грохота пушек 10 августа, шороха прусских веревок, взмахов сентябрьских сабель; вокруг него идет уничтожение и разрушение миров. Его называют министром юстиции, но по профессии он титан Утраченной Надежды и *Enfant Perdu* революции, и он действует сообразно своему положению. «Мы должны устрашить наших врагов!» Но разве их уже сам собою не обуял глубокий страх? Титан Утраченной Надежды меньше всего склонен рассеять его. Вперед, погибший титан, *Enfant Perdu*! Ты должен дерзать и дерзать без конца, больше тебе ничего не остается! «Que

mon nom suit flétri» (пусть имя мое покроется позором). Что я значу? Важно только дело, оно должно жить, а не погибнуть. Итак, перед нами новый сокрушитель формул и с более широкой глоткой, чем у Мирабо: это Дантон-Мирабо санкюлотов. В сентябрьские Дни не слышно было, чтобы этот министр работал совместно со строгим Роланом; у него другое дело: с герцогом Брауншвейгским и Ратушей. Когда один чиновник обратился к нему по поводу орлеанских заключенных и опасностей, которым они подвергались, он мрачно повторил дважды: «Разве эти люди не виновны?» Когда же тот продолжал настаивать, «он ответил ужасным голосом» и повернулся спиной³⁹. Тысяча убитых в тюрьмах, если хотите, но Брауншвейг находится от нас всего в одном дне пути, и у нас еще 25 миллионов, которых можно отдать на избиение или спасти. Некоторым людям выпадают задачи пострашнее наших! Кажется странным, но на самом деле не странно, что этот министр Молоха-Правосудия проявлял человечность и сострадание, когда к нему обращались с прошениями о помиловании друзей, и «всегда» уступал и исполнял просьбу; замечательно также, «что ни один личный враг Дантона не погиб в эти дни»⁴⁰.

Кричать, когда совершаются известные деяния, правильно и неизбежно, говорим мы. Тем не менее отличительная способность человека — членораздельная речь, а не крик; если же речь еще невозможна, по крайней мере скоро, то лучше молчать. Поэтому в этот сорок четвертый год после описанных событий и в тысяча восемьсот тридцать шестой эры, называемой христианской, как *Iucus à pop*, мы рекомендуем и сами соблюдаем — молчание. Вместо того чтобы продолжать кричать, было бы, пожалуй, поучительно заметить, с другой стороны, какая странная вещь — нравы (по латыни *mores*) и как сообразно доблесть (*Virtus*), т. е. мужественность или достоинство, заключенное в человеке, называются его моральностью или нравственностью. Кровожадное убийство, один из несомненнейших продуктов ада, обратившись в обычай, становится войной, с законами войны, и, как обычное, становится моральным, и люди в красных мундирах ходят опоясанные орудиями убийства и даже имеют при этом гордый вид, чего мы отнюдь не порицаем. Но пока убийство одето в рабочую или мужицкую блузу и революция, более редкая, чем война, еще не издала своих законов, убийцы в грубых блузах необычны. О возлюбленные кричащие тупоголовые братья, закроем наши разинутые рты, перестанем кричать и начнем думать!

Глава седьмая

СЕНТЯБРЬ В АРГОННЕ

Одно во всяком случае ясно: устрашение, которого желали добиться эти враги аристократов, было достигнуто. Итак, дело становится серьезным! Санкюлотство тоже стало фактом и, по-видимому, намерено провозгласить себя таковым? Этот чудовищный урод — санкюлотство, скачущий, как теленок, не только смешон и кроток, как все телята, но и страшен, если вы уколете его, — из его отвратительных ноздрей вырывается огонь! Аристократы с бледным ужасом в сердце прячутся подальше, и многие вещи озаряются для них новым светом или, вернее, смутным переходом к свету, благодаря чему в данную минуту мрак кажется еще темнее, чем когда-либо. Что же станет с Францией? Вот в чем вопрос. Франция танцует вальс пустыни, подобно Сахаре, когда поднимается ветер; 25 миллионов кружатся в вихре; вальсируя, направляются к городским ратушам, аристократическим тюрьмам и избирательным комитетам, к Брауншвейгу и границам — к новой главе всемирной истории, если только это не конец, не развязка всего!

В избирательных комитетах теперь уже нет сомнений, и дело идет без заминки. Конвент избирается — в очень решительном духе; в городской Ратуше мы уже отмечаем первый год Республики*. Около 200 наших лучших законодателей могут быть избраны вновь. Гора в полном составе: Робеспьер с мэром Петионом, Бюзо, священник Грегуар, Рабо и около 60 членов бывшей Конституанты, хотя некогда у нас было всего «тридцать голосов». Избираются все они и наряду с ними друзья, давно уже пользующиеся революционной славой: Камиль Демулен, хотя он и заикается; Манюэль, Тальен и компания; журналисты Горса, Карра, Мерсье, Луве, автор «Фобласа», Клоотс, спикер человечества; Колло д'Эрбуа, актер, безумствующий на сцене; Фабр д'Эглантин, памфлетист-теоретик; Лежандр, плотный мясник; даже Марат, хотя сельская Франция с трудом может поверить этому или даже вообще поверить, что Марат существ-

вует не только в печати. О министре Дантоне, который ради членства откажется от министерского портфеля, уж нечего и говорить. Париж охвачен выборной горячкой; провинция тоже не отстает: Барбару, Ребекки и пламенные патриоты приезжают из Марселя. Собирается 745 (в действительности 749, так как Авиньон посылает четверых); собралось их много, но разойдется меньше!

* 21 сентября 1792 г. было объявлено провозглашение Республики. День 21 сентября по решению Конвента стал начальной датой «новой эры» — IV года свободы, первого года Республики. В Конвент было избрано 750 депутатов. Правую Конвента составляли жирондисты, они имели около 200 мест; левую Конвента — депутаты Горы — якобинцы, они имели свыше 100 мест. Большинство Конвента составляли депутаты, формально не примыкавшие ни к Горе, ни к Жиронде и получившие ироническое название Болота или Равнины. По своему положению депутаты Конвента в большинстве были юристами, служащими и людьми свободных профессий.

Адвокат Каррье* из Орильяка, бывший священник Лебон из Арраса — оба составят себе имя. Гористая Овернь вновь избирает своего Ромма, отважного земледельца, бывшего профессора математики, который бессознательно втайне вынашивает замечательный Новый календарь с мессидорами, плювиозами и т. п. и, выпустив его в свет, умрет так называемой римской смертью. Является и бывший член Конституанты Сиейес, является составлять новые конституции, сколько бы их ни понадобилось; впрочем, осмотревшись своими зоркими, осторожными глазами, он притаится при многих опасностях, решив, что надежнее молчать. Приезжает молодой Сен-Жюст, депутат Северной Эны, более похожий на студента, чем на сенатора, автор нескольких книг; это юноша, которому еще нет 24 лет, со стройной фигурой, сладким голосом, восторженным смуглым лицом и длинными черными волосами. Из далекой долины Орк в отрогах Пиренеев приезжает Феро, пылкий республиканец, которому суждена слава, по крайней мере посмертная.

* Каррье Жан Батист (1756—1794) — прокурор, депутат Конвента от департамента Канталь, комиссар Конвента в Нанте в 1793 г.

Съезжаются всякого рода патриоты: учителя, сельские хозяева, священники настоящие и бывшие, купцы, доктора, но более всего говорюны, или адвокаты. Есть и акушеры, как Левассёр из Сарты; художники: толстый Давид с раздутой щекой, долго рисовавший с порывистой гениальностью, а теперь собирающийся законодательствовать. Распухшая щека, заглушающая его слова при самом их зарождении, делает его совершенно негодным как оратора; но его кисть, голова и смелое, горячее сердце с порывистой гениальностью окажутся на месте. Это человек с телесным и умственным флюсом, рыхлый, непропорционально раздавшийся в ширину, а не в высоту, при этом слабый в конвульсивном состоянии и несильный в спокойном; но пускай и он сыграет свою роль. Не забыты и натурализованные благодетели рода человеческого. Орнский департамент избирает Пристли, который отказывается; Па-де-Кале — мятежного портного Пейна, который принимает мандат.

Дворян избирается немного, но все же они есть. Один из них — Поль Франсуа Баррас, «благородный, как все Баррасы, и старый, как скалы Прованса». Этого беспечного человека, столько раз терпевшего крушения, судьба выбрасывала то на берег Мальдивских островов, что было давно, в бытность его матросом и солдатом в качестве индийского воина, то впоследствии, когда он был парижанином на пенсии, алчным до наслаждений, на разные острова Цирцеи, где он пребывал во временном очаровании или во временном скотском или свинском состоянии*. Его послал теперь в Париж отдаленный департамент Вар. Это человек горячий и торопливый, лишенный дара слова и даже не имеющий что сказать, но не лишенный сообразительности и мужества, хотя и скоропреходящего, который, если Фортуна будет благоприятствовать, может пойти далеко в такие времена. Он высокого роста, красивой внешности, «хотя лицо немного желтовато», но «в пурпурной мантии и с трехцветным плюмажем в торжественных случаях» он будет очень представителен⁴¹. Лепелетье де Сен-Фаржо, бывший член Конституанты, тоже своего рода дворянин, обладающий огромным богатством, и он также попал сюда не для того ли, чтобы добиться отмены смертной казни? Несчастный экс-парламентарий! Среди 60 бывших членов Конституанты мы видим даже Филиппа Орлеанского, принца крови! Но теперь он уже не d'Orléans: он просит своих достойных друзей, парижских избирателей, дать ему новое имя по их выбору, так как феодализм сметен с лица земли; в ответ на это прокурор Манюэль, ученый лю-

битель антитез, предлагает имя *Égalité* — Равенство. Итак, в Конvente, пред лицом земли и неба, будет заседать Филипп Эгалите.

* Цирцея — волшебница, превратившая спутников Одиссея в свиней, дав им выпить волшебный напиток.

Таков собирающийся Конвент. Да это просто сердитые куры в период линьки, с которыми брауншвейгские гренадеры и канониры не станут долго церемониться! Лишь бы погода, как все еще молится Бертран, улучшилась немножко⁴².

Напрасно, Бертран! Погода не улучшится ни капли, но если б даже она улучшилась? Дюмурье-Полипет проснулся утром 29 августа, после короткого сна, в Седане, чтобы действовать украдкой быстро и смело, чего Бертран не знает. Примерно на четвертое утро после того герцог Брауншвейгский, едва раскрыв глаза, замечает, что все Аргоннские проходы заняты: завалены срубленными деревьями, укреплены лагерями; словом, ловкий и проворный Дюмурье перехитрил его!

Этот маневр, пожалуй, будет стоить Брауншвейгу «потери трех недель», что при данных обстоятельствах может иметь для него роковые последствия. Между ним и Парижем лежит горный хребет сорок миль длиной, который он должен был бы занять раньше; но как завладеть им теперь? Вдобавок каждый день льет дождь, и мы находимся в голодной, вшивой Шампани, в стране, где земля вся пропитана водой из канав. Как перейти эти горные стены Аргонн или что, черт возьми, с ними делать? Начинаются переходы, шлепанье по мокрым крутым тропинкам с проклятиями и гортанными восклицаниями, штурмы Аргоннских проходов, которые, к несчастью, нельзя взять штурмом. В лесах слышно эхо солдатских залпов, похожее на музыку чудовищного гонга или на литавры Молоха; вздувшиеся потоки сердито рокочут у подножия скал, унося бледные трупы людей. Напрасно! Деревня Илетт со своей колокольней стоит невредимо в горном проходе среди обнявших ее высот; форсированные марши и карабканья превратились в форсированные скатывания и падения. С вершин холмов видны только немые утесы и бесконечные мокрые, словно плачущие, леса; клермонтская *Vache* (огромная корова) временами показывается⁴³, сбрасывая с себя свой облачный покров, и снова натягивает его, закутываясь в плену дождя. Аргоннские проходы не поддаются штурму — приходится обходить их, огибая хребет.

Можно себе представить, как потускнел блеск вельможных эмигрантов; вряд ли их «пехотный полк с красными отворотами и в нанковых шароварах» сохранил свой парадный вид! Вместо гасконад грозит наступить нечто вроде отчаяния и водобоязни из-за излишка воды. Молодой принц де Линь, сын храброго ученого де Линя, грозы франтов, падает, убитый в Гран-Пре, самом северном из проходов. Герцог Брауншвейгский с трудом пробирается вокруг южной окраины Аргонн. Четыре дня под дождем, как во времена Ноева потопа, без огня, без пищи! Чтобы развести огонь, срубают зеленые деревья и получают только дым, а единственная пища — зеленый виноград, от которого возникают колики, инфекционная дизентерия. Крестьяне убивают вас вместо того, чтобы присоединиться к вам; визгливые женщины стыдят вас, грозятся пустить против вас в ход свои ножницы! О злополучные потускневшие аристократы и страдающие водобоязнью, шлепающие нанковые шаровары! Но в десять раз несчастнее вы, бедные ругающиеся гессенцы и уланы, лежащие на спинах с помертвевшими лицами и не имеющие никаких поводов умирать здесь, кроме принуждения и 3 су в день! Невесело и г-же Ле Блан из «Золотой руки» в ее беседке из мокрого камыша. Убийц из крестьян вешают; бывших членов Учредительного собрания, хотя бы и почтенного возраста, возят в телегах со связанными руками; таковы горестные плоды войны!

Таким образом, с кружением и спотыканием, совершается обход по склонам и проходам Аргоннских гор, обернувшийся для герцога Брауншвейгского катастрофической потерей двадцати пяти дней. Происходят стычки и сражения то с тыла, то с фронта, смотря по тому, как меняются позиции: Аргоннский лес частью обходится, частью штурмуется. Но как ни штурмуют, как ни обходят, а Дюмурье все стоит как вросший в землю, поворачиваясь то в ту, то в эту сторону, всюду показывая фронт, и притом самым неожиданным образом, и никак не соглашается убраться. К нему отовсюду стремятся отважные рекруты, но с ними трудно управляться. За Гран-Пре, например, находящимся на невыгодной для нас стороне Аргонн, так как мы окружены теперь Бра-

уншвейгом и он теснит нас, во время одного из поворотов фронтом к неприятелю наши храбрцы вдруг потеряли равновесие, как нередко бывает и с храбрыми людьми. Поднялся крик «Sauve qui peut!» (спасайся, кто может!), и началась паника, чуть было не погубившая все. Генерал должен был поспешно прискакать, чтобы удерживать и собирать солдат громовыми словами, жестами и даже сабельными ударами, пока не удалось пристыдить их⁴⁴; ему пришлось даже схватить первых крикунов и зачинщиков, приказать «выбрить им головы и брови» и прогнать их как предостережение остальным. В другой раз уже готов был вспыхнуть мятеж, потому что порции действительно были очень малы, а стояние в мокроте с пустым желудком портит настроение духа. Тогда снова появляется Дюмурье «перед рядами» со своим штабом и эскортом из 100 гусар. Он ставит позади непокорных несколько эскадронов, а с фронта — артиллерию и говорит: «Что касается вас, я не хочу называть вас ни гражданами, ни солдатами. ни моими детьми (ni mes enfants); вы видите перед собой артиллерию, а позади нас — кавалерию. Вы опозорили себя преступлениями. Если вы исправитесь и будете вести себя, как эта храбрая армия, к которой вы имеете честь принадлежать, то найдете во мне доброго отца. Но грабителей и убийц я здесь не потерплю. При малейшем возмущении вы будете изрублены в куски (hacher en pièces). Отыщите негодаев, которые находятся среди вас, и прогоните их сами; я возлагаю ответственность за них на вас»⁴⁵.

Терпение, о Дюмурье! Эти ненадежные шайки крикунов и бунтовщиков, как только обучатся и закалятся, превратятся в несокрушимую фалангу борцов и будут по приказу свертываться и развертываться с быстротой ветра или вихря. Это будут опаленные усатые люди, часто босые, даже полураздетые, с железными нервами, требующие только хлеба и пороха, — настоящие сыны огня, самые ловкие, быстрые и храбрые со времен, быть может, Аттилы. Они будут завоевывать и покорять страны так же изумительно, как это делал Аттила, лагерь и поле сражения которого ты видишь и теперь на том же месте⁴⁶, где он, опустошив мир после тяжелых и многодневных сражений, был задержан римлянином Аэцием и Фортуной и принужден, как туча пыли, снова исчезнуть на восток¹

Не странно ли, что в этом шумном солдатском сброде, который мы уже давно видим в самоубийственной междоусобице и самоубийственных столкновениях — в Нанси или на улицах Меца, где храбрый Буйе стоял с обнаженной саблей, — и который распадался с тех пор все больше и больше, пока не дошел до того состояния, в каком мы видим его теперь; не странно ли, что в этом кричащем сброде заложен первый зародыш возвращающегося порядка Франции? Вокруг этого зародыша бедная Франция, почти распавшаяся, тоже самоубийственно, в хаотические развалины, с радостью соберется, начнет расти и воссоздаваться из своей неорганической пыли; это будет совершаться очень медленно, в продолжение веков. Пройдут Наполеоны, Луи-Филиппы и другие промежуточные фазы, пока эта страна не превратится в новую и, как можно надеяться, бесконечно лучшую Францию!

Эти повороты и движения в районе Аргонн, точно описанные самим Дюмурье и более интересные для нас, чем лучшие шахматные партии Гойля или Филидора, мы, читатель, тем не менее опустим совершенно и поспешим отметить две вещи: первую — незначительную и частную, вторую — имеющую большое общественное значение. Наша незначительная частность — это присутствие в прусском войске, при этой военной игре в Аргонне, некоего человека, который принадлежит к разряду бессмертных и который с тех пор видится все более и более бессмертным, по мере того как преходящее все более обесцвечивается. Замечено уже в древности, что боги редко являются среди людей в таком виде, чтобы их можно было узнать; так, например, пастухи Адмета* дают Аполлону глоток из своей обтянутой козлиной кожей фляжки (хорошо еще, что они не отстегали его своими кнутами), не воображая, что перед ними бог Солнца! Имя этого человека — Иоганн Вольфганг Гёте. Он министр герцога Веймарского, приехавший с небольшим веймарским отрядом для занятия незначительного невоенного поста; он не известен почти никому! В настоящее время он стоит, натянув поводья, на холме около Сен-Менеульда и производит исследование над «пушечной горячкой». Он приехал сюда вопреки всем убеждениям, чтобы посмотреть на пляску пушечных ядер, с научным желанием узнать, что, собственно, такое пушечная горячка. «Звук пушечной пальбы, — говорит он, — довольно любопытен; он состоит точно из жужжания волчков, журчанья воды и свиста птицы. Временами вы испытываете непривычное ощущение, о котором может дать понятие только сравнение. Вам кажется, что вы стоите в чрезвычайно жарком месте и в то же время совершенно проникаетесь

его жаром, так что вы чувствуете, что вы и эта среда, в которой вы находитесь, составляет одно целое. Зрение не утрачивает нисколько своей остроты и ясности, и, однако, все предметы приобретают красновато-коричневый цвет, благодаря чему обстановка и предметы производят на вас еще более сильное впечатление»⁴⁷.

* Адмет (греч.) — фессалийский герой, царь Фер, участник Калидонской охоты и похода аргонавтов.

Такова пушечная горячка в восприятии мирового поэта. Человек совершенно неизвестный! Между тем в этой безвестной голове находится умственный оттиск (и дополнение) этого самого необычайного умирания и возрождения мира, которое совершается теперь снаружи — в Аргонне, в пушечном грохоте, внутри — в безвестной голове, совершенно иначе, без всякого грохота. Отметим этого человека, читатель, как самого замечательного из всех замечательных людей в этой Аргоннской кампании. То, что мы говорим о нем, не сон и не цветистое выражение, а научный, исторический факт, что многие теперь, на расстоянии, уже видят или начинают видеть.

Крупное же общественное событие, которое мы должны отметить, заключается в следующем: 20 сентября 1792 года утро было холодное, очень туманное; с трех часов утра Сен-Менеульд, деревни и дворы, давно уже нам знакомые, были разбужены грохотом артиллерийских повозок, топотом копыт и многих тысяч человеческих ног; всякого рода войска, патриотические и прусские, заняли позиции на возвышенностях Луны и других высотах, передвигаясь взад и вперед, как в какой-то ужасающей шахматной игре, которой, дай бог, хорошо кончиться! Мельник в Вальми, весь в пыли, заполз в подпол; его мельница, какой бы ни был ветер, сегодня будет отдыхать. В семь часов утра туман рассеивается; Келлерман, второй командир после Дюмурье, стоит во всей славе с «восемнадцатью пушками» и тесно сомкнутыми рядами, построенными вокруг той самой безмолвной ветряной мельницы. Герцог Брауншвейгский, также с сомкнутыми рядами и пушками, мрачно взирает на него с возвышенности Луны; их разделяют теперь только маленький ручеек и его маленькая лощина.

Итак, давно ожидаемое наконец наступило! Вместо голода и дизентерии будет перестрелка, а потом! — Дюмурье с войсками и твердым фронтом смотрит с соседней возвышенности, но может помочь делу только молча, пожеланиями. И вот! Восемнадцать орудий режут и лают в ответ на рев с Луны, громовые тучи поднимаются в воздух, эхо гремит по всем долинам, до самых недр Аргоннского леса (теперь покинутого), и человеческие члены и жизни в беспорядке летят во все стороны. Может ли Брауншвейг произвести на них какое-нибудь впечатление? Оглушенные блестящие сеньоры стоят, кусая ногти: эти санкюлоты не бегут, как куры!

Около полудня пушечное ядро разрывает лошадь под Келлерманом; в воздух взлетает подвода с порохом, взрыв которого заглушает все; замечаются некоторое колебание и перевес на стороне Брауншвейга, который хочет попробовать нанести решительный удар. «Сamarades! — кричит Келлерман. — Vive la Patrie! Allons vaincre pour elle» (Да здравствует Отчизна! Победим ради нее). «Да здравствует Отчизна!» — гремит ответ, несущийся к небу, подобно беглому огню, перекатывающемуся с одного фланга на другой; наши ряды снова тверды, как скалы, и Брауншвейг принужден перебираться обратно через лощину и ни с чем вернуться на свою старую позицию на Луне. Между прочим, не без урона. И так продолжается весь сентябрьский день — с грохотом и лаем, далеко разносимыми ревушим эхом! Канонада длится до заката солнца, а результата все нет. Через час после заката немногие оставшиеся в округе часы бьют семь; в этот час Брауншвейг делает новую попытку, но не более удачную! Его встречают гранитные ряды и с кликами «Vive la Patrie!» снова принуждают отступить с большими потерями. После этого он умолкает, удаляется «в таверну на Луне» и принимается возводить редут, чтобы не быть самому атакованным!

Да, приунывшие сеньоры, дело плохо, как ни изворачивайтесь! Франция не поднимается вокруг вас; крестьяне не присоединяются к вам, а, наоборот, вас же убивают; ни угрозы виселицей, ни увещания не действуют ни на них! Они утратили былую, отличавшую их любовь к королю и к королевской мантии, боюсь, утратили навсегда и готовы даже сражаться, чтобы избавиться от них; таково, по-видимому, их настроение теперь. Австрия также не может похвастаться успехом: осада Тионвиля не подвигается вперед. Тионвильцы дошли даже до такой дерзости, что

выставили на стены деревянную лошадь с привязанным к ней пучком сена и с надписью: «Возьмете Тионвиль, когда я съем сено»⁴⁸. Вот до чего дошло человеческое безумие!

Траншеи Тионвиля могут замолчать, но что в этом толку, если заговорят траншеи Лилля? Не улыбаются нам ни земля, ни небо; оно хмурится и плачет скучным холодным дождем. Оскорбляют нас даже друзья наши; оскорбляют в доме наших друзей: «Его Величество король прусский имел с собой пальто, когда пошел дождь, и (вопреки всем правилам вежливости) надел его, хотя у наших двух французских принцев, надежды своей страны, не было пальто!» Чем, в самом деле, как признает сам Гёте, можно было на это ответить⁴⁹? Холод, голод и оскорбления, колики, дизентерия и смерть, и мы жмемся в редутах, утратив всякую внушительность, среди «расстрепанных снопов хлеба и потоптанного жнива», на грязной высоте Луны, около скверной таверны того же названия!

Такова эта канонада у Вальми, во время которой мировой поэт производил исследования над «пушечной горячкой» и когда французские санкюлоты не побежали, как куры. Она имела огромное значение для Франции! Каждый солдат исполнял свой долг, и эльзасец Келлерман (который был много лучше старого, отставленного Люкнера) начал приобретать славу; и отличился здесь *Égalité-fils* (Эгалите-младший), исполнительный, мужественный штаб-офицер, это тот самый неустрасимый человек, который теперь под именем Луи-Филиппа, без Эгалите, борется, при печальных обстоятельствах, за то, чтобы называться в течение одного сезона королем французов.

Глава восьмая

ЕХЕУНТ*

Это 20 сентября — великий день и в другом отношении, ибо в то самое время, как у мельницы в Вальми под Келлерманом разорвало лошадь, наши новые национальные депутаты, которые должны превратиться в Национальный Конвент, сходятся в зале Ста Швейцарцев с целью учреждения этого Конвента!

* Изгнание (букв. лат.: «уходят» — театральная ремарка).

На следующий день, около полудня, архивариус Камю занят «проверкой их полномочий»; несколько сот их уже здесь. Затем торжественно является старое Законодательное собрание и, наподобие феникса, пересыпает свой старый пепел в новый законодательный корпус, после чего все так же торжественно возвращаются в зал Манежа. Национальный Конвент в полном или достаточно полном составе (749 членов) открывает заседание под председательством Петиона и прямо приступает к делу. Прочти отчет о дебатах этого дня, читатель: равных им немного; даже скучный «*Moniteur*», сообщая о них, становится драматичнее Шекспира. Язвительный Маню-эль встает и говорит странные вещи: что председатель должен иметь почетную стражу и жить в Тюильри — отклонено. Встают и говорят Дантон, и Колло д'Эрбуа, и священник Грегуар, и хромой Кутон с Горы; и все в коротких строфах, всего по несколько строк каждая, вносят немало предложений: что краеугольный камень нашей новой конституции есть державная власть народа; что наша конституция должна быть принята народом или она ничтожна; что народ должен быть отмщен и должен иметь справедливый суд; что налоги должны взиматься по-прежнему до новых распоряжений; что земельная и всякая другая собственность должна быть священна навеки; наконец, что «королевская власть во Франции отныне уничтожена». Все это утверждается при восторженном одобрении мира еще прежде, чем пробило четыре часа⁵⁰! Плоды были совсем зрелы; достаточно было только тряхнуть дерево, чтобы они посыпались желтой массой.

И что за суматоху вызывают эти новости в местности около Вальми! Они производят воодушевление, видимое и слышимое с наших грязных высот Луны⁵¹. Что за ликование у французов на противоположных холмах: фуражки поднимаются на штыки, и слышится слово «Республика», и слабо доносится по ветру: «*Vive la République!*» На следующее утро, до рассвета, герцог Брауншвейгский связывает, так сказать, свои ранцы, зажигает сколько может огней и уходит без барабанного боя. Дюмурье находит страшные следы в этом лагере: «полные крови

latrines (отхожие места)»⁵². Рыцарский король Пруссии, бывший здесь, как мы видели, собственной персоной, может долго сожалеть об этом дне и относиться холоднее, чем когда-либо, к этим когда-то блестящим, но потускневшим сеньорам и принцам — надежде своей родины; может и пальто свое надевать без всякой церемонии, благо оно у него есть. Они уходят, уходят все, с надлежащей поспешностью через превратившуюся в трясину Шампань, поливаемые жестоким дождем; Дюмурье при помощи Келлермана и Диллона покалывает их немного с тыла. Он то покалывает, то вступает в переговоры, так как глаза Брауншвейга теперь открыты и прусское королевское величество стало величеством кающихся.

Не повезло и Австрии: ни деревянный конь Тионвиля не съел своего сена, ни город Лилль не сдался. Лилльские траншеи, открывшиеся 29 сентября, извергают пули, гранаты и раскаленные ядра, словно открылись не траншеи, а Везувий и самый ад. Все очевидцы говорят, что это было ужасно, но безрезультатно. Лилльцы дошли до страшного воодушевления, особенно после известий из Аргонны и с востока. Ни один лилльский санкюлот не сдался бы и за царский выкуп. Между тем раскаленные ядра сыплются на город, и ночью их было выпущено «шесть тысяч» или около того, не считая бомб, «наполненных скипидарным маслом, которое брызжет огнем», преимущественно на дома санкюлотов и бедняков; богатые кварталы шадятся. Но санкюлоты берутся за ведра с водой, образуют пожарные команды: «Бомба попала в дом Пьера!», «Бомба попала к Жану!» Они делятся квартирами и припасами, кричат: «Vive la République!» — и не падают духом. Пуля влетает с треском в зал городской Ратуши во время заседания Коммуны. «У нас непрерывное заседание», — говорит кто-то хладнокровно, продолжая свое дело, и пуля, застрявшая в стене, вероятно, и доныне⁵³ заседает там непрерывно.

Эрцгерцогиня австрийская (сестра французской королевы) хочет посмотреть на пальбу раскаленными ядрами, и от излишней поспешности удовлетворить ее желание «две мортиры разрываются и убивают тридцать человек». Все тщетно: Лилль часто горит, но пожары всегда тушатся, и Лилль не хочет сдаваться. Даже мальчики ловко вырывают фитили из упавших бомб: один человек накрывает катящуюся гранату своей шляпой, которая загорается; когда граната остывает, ее увенчивают красным колпаком. Стоит упомянуть также о проворном цирюльнике, который, когда возле него разорвалась бомба, схватил осколок ее и, наполнив его мыльной пеной, вскричал: «Voilà mon plat à barbe!» (Вот мой тазик для бритья!) — и тут же обрил «четырнадцать человек». Bravo, проворный брадобрей, ты достоин брить привидение в красной мантии и находить клады! На восьмой день этой безнадежной осады, в шестой день октября, Австрия, признав ее бесплодной, уходит с сознанием неудовлетворения, и уходит поспешно, так как сюда направляется Дюмурье; а Лилль, черный от дыма и пепла, но шумно ликующий, распаивает свои ворота, Plat à barbe входит в моду; «нет ни одного франта-патриота, — говорит Мерсье несколько лет спустя, — который не брился бы из осколка лилльской бомбы».

Quid multa? (К чему многословие?) Непрошенные гости бежали; войско герцога Брауншвейгского, треть которого погибла, обескураженно бредет, спотыкаясь, по вязким дорогам Шампани или рассыпается «по полям из липкой, губчатой красной глины», «подобно Фараону, идущему через Красное море грязи», говорит Гёте; «ведь и здесь валялись изломанные повозки и конница и пехота увязали на каждом шагу»⁵⁴. Утром 11 октября всемирный поэт, выбравшись на север из Вердена, куда он вошел пять недель тому назад с юга, в совершенно другом порядке, созерцал следующее явление, составляя в то же время часть его:

«Около трех часов утра, не спав всю ночь, мы собирались садиться в наш экипаж, поданный к воротам, как вдруг обнаружилось непреодолимое препятствие: непрерывный ряд повозок с больными ехал между вырытыми уже и сваленными по сторонам камнями мостовой, по превратившемуся в болото городу. Пока мы стояли, рассуждая, что нам делать, наш хозяин, кавалер святого Людовика, протискался мимо нас, не поклонившись». Он был нотаблем Калонна в 1787 году, потом эмигрантом и, ликуя, вернулся с пруссаками к себе домой, но должен был теперь снова отправляться на все четыре стороны, «сопровождаемый слугой, несущим маленький узелок на палке».

Здесь с блеском выказалась расторопность нашего Лизье и выручила нас и в этом случае: он проскочил в маленький промежуток в ряду повозок и задержал следующую упряжку, пока мы не втиснулись в эту давку с нашими шестеркой и четверкой лошадей, после чего я мог вздохнуть свободнее в моей легкой маленькой повозке. Мы двинулись наконец в путь, хотя и

похоронным шагом. Рассвело; мы находились теперь у выезда из города, среди невообразимого шума и сумятицы. Всевозможные экипажи, несколько всадников, бесчисленные пешеходы встречались и скрещивались на большой площади перед городскими воротами. Мы повернули направо с нашей колонной, направляясь к Этену по узкой дороге, окопанной с обеих сторон канавами. В такой чудовищной давке чувство самосохранения заглушало и сострадание, и уважение к чему бы то ни было. Неподалеку от нас, впереди, упала лошадь, запряженная в обозную повозку; ее оставили лежать, перерезав постромки. Когда же три остальные не смогли сдвинуть своего груза, у них также отрезали постромки, а тяжело нагруженный воз бросили в канаву; поддержка была самая короткая, и нам пришлось проехать прямо по лошади, которая как раз собиралась встать: я видел ясно, как ноги ее затрепали и задрожали под колесами.

Конные и пешие старались выбраться с узкой, трудной дороги на луга, но они тоже были испорчены дождем, залиты выступившими из берегов канавами, и сообщение между тропинками было всюду прервано. Четверо приличного вида, красивых, хорошо одетых французских солдат брели одно время рядом с нашей каретой; они были удивительно чисты и щеголеваты и так искусно ставили свои ноги, что их обувь только до лодыжки свидетельствовала о грязном паломничестве, которое совершали эти славные ребята.

Естественно, что при таких обстоятельствах в канавах, на лугах, в полях и загонах видно было много мертвых лошадей; однако мы вскоре заметили, что они были ободраны и мясистые части даже были вырезаны - печальный признак всеобщего бедствия.

Так мы ехали, ежеминутно подвергаясь опасности при малейшей остановке с нашей стороны быть сброшенными с дороги; при таких обстоятельствах поистине нельзя было достаточно нахвалиться заботливостью и ловкостью нашего Лизье. Талант его проявился и в Этене, куда мы прибыли около полудня и увидели в красивом, хорошо обустроенном городе, на улицах и в скверах, мимо которых мы проезжали, умопомрачительную сумятицу: толпы народа стремились в разные стороны, сталкивались и мешали друг другу. Неожиданно наша карета остановилась у красивого дома на базарной площади; хозяин и хозяйка поклонились нам с почтительного расстояния. Ловкий Лизье сказал, хотя мы этого не знали, что приехал брат прусского короля!

Теперь, глядя из окон нижнего этажа на базарную площадь, мы видели перед собой всю эту бесконечную суету, могли почти осязать ее. Всякого рода прохожие, солдаты в мундирах, мародеры, сильные, но унылые горожане и крестьяне, женщины и дети, теснились и давили друг друга среди всевозможных экипажей; повозки с амуницией, возы с кладью, кареты, одиночные, парные и многоконные, пестрая смесь сотни упряжек, нанятых или реквизированных, сталкивались, стараясь разехаться, мешали друг другу и катились направо и налево. Тут же пробирались и рогатый скот, вероятно стада, взятые под реквизицию. Всадников было мало, но бросались в глаза изящные экипажи эмигрантов, разноцветные, лакированные, золоченые и серебряные, видимо от лучших мастеров»⁵⁵.

«Самая большая давка начиналась немного далее, там, где толпа с базарной площади выливалась в прямую, правда хорошую, но слишком узкую для нее улицу. В жизни своей я не видел ничего подобного; зрелище это, пожалуй, можно бы сравнить с разлившейся рекой, затопившей луга и поля и принужденной снова втиснуться в узкую протоку и течь по ее ограниченному руслу. По длинной улице, видимой из наших окон, беспрерывно бушевал самый странный поток, над которым явно выдавался высокий двухместный дорожный экипаж. Мы подумали о красивых французенках, которых видели утром. Однако это были не они, а граф Гаугвиц; я не без злобства смотрел, как он подвигался шаг за шагом»⁵⁶.

Такой бесславной процессией закончился Брауншвейгский манифест! Даже хуже того, «переговорами с этими злодеями», — переговорами, первое известие о которых произвело такое потрясающее впечатление на эмигрантов, что наш всемирный поэт «опасался за рассудок некоторых из них»⁵⁷. Делать нечего: бедные эмигранты должны ехать далее, озлобленные на всех и вся и вызывающие озлобление других за несчастный путь, на который они однажды вступили. Хозяева и хозяйки гостиниц свидетельствуют за *tables d'hôte'*ами, как несносны эти французы, как, несмотря на такое унижение, бедность и даже возможность нищеты, между ними по-прежнему происходит борьба за первенство и замечается прежняя развязность и недостаток скромности. На почетном месте, во главе стола, вы увидите не сеньора, а куклу, впавшую в детство, но еще обожаемую, за которой почтительно ухаживают и кормят. За разными столами сидит смесь

солдат, комиссаров, авантюристов, молча поглощающих свою варварскую пищу. «На всех лицах можно прочесть о суровой судьбе; все молчат, потому что у каждого свои страдания и каждый видит перед собой нескончаемые бедствия». Одного спешащего путника, без ворчания съевшего, что ему подали, хозяин отпускает, почти не взяв с него денег. «Это первый, — прошептал мне хозяин, — из этого проклятого народа, который удостоил попробовать нашего черного немецкого хлеба»⁵⁸.

А Дюмурье в Париже, восхваляемый и чествуемый, принимаемый в блестящих салонах; бесконечные толпы красавиц в кружевных платьях и модные фраки волнуются вокруг него с радостным поклонением. Но вот однажды вечером, в разгар великолепия такой сцены, к нему вдруг обращается какая-то неопрятная, хмурая личность, пришедшая без приглашения и даже несмотря на препятствия со стороны лакеев, — крайне неприятная личность! Но она явилась «по специальному поручению от якобинцев», чтобы произвести строгое расследование — лучше теперь, чем позже, — касательно некоторых фактов: «выбранных бровей у добровольцев-патриотов, например», также «о ваших угрозах изрубить в куски» и «почему вы недостаточно горячо преследовали Брауншвейга?» Все это личность спрашивает резким, хриплым голосом: «Ah, c'est vous qu'on appelle Marat!» (А, вы тот, кого зовут Маратом!) — отвечает генерал и хладнокровно поворачивается на каблуках⁵⁹*. Кружевные платья трепещут, как осиновые листья, фраки скопляются вокруг; актер Тальма (это происходит в его доме), актер Тальма и чуть ли не самые свечи в салоне синеют от страха, пока этот зловещий призрак, мрачное, неземное видение, не исчезает в поразившей его ночи.

Через несколько коротких дней генерал Дюмурье снова уезжает в Нидерланды; он намерен их атаковать, хотя стоит зима. А генерал Монтезкью, на юго-востоке, прогнал сардинского короля и даже почти без выстрела отобрал у него Савойю**, жаждущую стать частью Республики. Генерал Кюстин, на северо-востоке, бросился на Шпейер и его арсенал, а затем без приглашения на курфюрстский Майнц, где есть немецкие демократы и нет и тени курфюрста, так что в последних числах октября фрау Форстер, дочь Гейне, сама отчасти демократка, гуляя с мужем за воротами Майнца, видит, как французские солдаты играют там в кегли пушечными ядрами. Форстер весело подталкивает чугунную бомбу с криком: «Vive la République!» Чернобородый национальный гвардеец отвечает: «Elle vivra bien sans vous» (Она и без Вас проживет)⁶⁰.

* Сообщение Марата в «Débats des Jacobins» и «Journal de la République» признает факт повертывания на каблуках, но старается объяснить его иначе. — *Примеч. авт.*

** В ходе революционной войны 1792 г. французские войска заняли входившие в состав Сардинского королевства Ниццу (28 сентября) и герцогство Савойское (21 сентября).

Книга II

ЦАРЕУБИЙСТВО

Глава первая

КОНВЕНТ

Итак, Франция вполне закончила два дела: отбросила далеко за свои пределы непрошенных киммерийских гостей и в то же время уничтожила свое внутреннее социальное устройство, превратив его до мельчайших волокон в обломки и разрушение. Все совершенно изменилось: от короля до сельского урядника, все власти, чиновники, судьи, все начальствующие лица должны были вдруг измениться сообразно обстоятельствам или вдруг, не без насилия, подвергнуться изменению; об этом позаботились патриотический Исполнительный совет министров с заседающим в нем Дантоном, а затем и вся нация с Национальным Конвентом. Нет ни одного общинного чиновника, даже в самой захолустной деревушке, который, как говорящий: «De par le Roi» — и проявляющий лояльность, не был бы вынужден уступить место новому, улучшенному чиновнику, способному сказать: «De par la République».

Это такая перемена, что история должна просить своих читателей представить ее себе без описаний. Мгновенное изменение всего политического организма, так как изменилась по-

литическая душа, — это такое изменение, какое могут испытать не многие политические или иные организмы в мире. Это превращение, пожалуй, похоже на то, которое испытало тело бедной нимфы Семелы, пожелавшей, с женским любопытством, во что бы то ни стало увидеть своего Юпитера Олимпийского настоящим Юпитером: одно мгновение — и бедная нимфа, только что бывшая Семелой, уж более не Семела, а пламя, статуя из раскаленного пепла. Так и Франция: взглянув на демократию, увидела ее лицом к лицу. Киммерийские завоеватели снова соберутся, но настроенные более скромно, с большим или меньшим счастьем; из обломков и разрушения должен создаться новый социальный порядок, насколько он в состоянии и насколько это окажется возможным. Что же касается Национального Конвента, который должен все устроить, то, если он покончит со всем этим «в несколько месяцев», как ожидает депутат Пэньи и вся Франция, мы назовем его весьма искусным Конвентом.

В самом деле, в высшей степени странно видеть, как этот динамичный французский народ внезапно кидается от «Vive le Roi!» к «Vive la République!» и кипит, и танцует, стряхивая, так сказать, ежедневно и втаптывая в пыль свои старые социальные одежды, образ мыслей, законы, по которым он прежде существовал, и беззаботно несется навстречу беззаконию, неизвестности, с сердцем, полным надежд, и с единственным кликом: «Свобода, Равенство и Братство» — на устах. Два ли столетия или только два года прошло с тех пор, как вся Франция гремела и ликующие клики ее: «Да здравствует восстановитель французской свободы!» — неслись к небу во время праздника Пик? Всего три коротких года назад еще был Версаль и был Oeil de Voeuf, а теперь у нас охраняемая ограда Тампля, окруженная драконовскими глазами муниципалов, где, как в преддверии могилы, заключена уничтоженная королевская власть. В 1789 году конституционный депутат Барер «плакал» в своей газете «Заря» при виде примиренного короля Людовика, а теперь, в 1792 году, депутат Конвента Барер совершенно без слез, быть может, обдумывает, следует ли гильотинировать примиренного короля Людовика или нет!

Старые одежды с их украшениями спадают (говорим мы) так скоро потому, что пришли в ветхость, и народ топчет их в своей пляске А новые? Где же они? Где новые моды и законы? Свобода, Равенство, Братство - - не одежды, а только пожелания одежды. Нация в настоящее время, выражаясь фигурально, нага; она не имеет ни порядка, ни одежды, это обнаженная нация санкюлотов.

Вот в чем и каким образом выразилось торжество наших патриотов Бриссо и Гюаде. Иезекиилевы видения Верньо о падении тронов и корон, о которых он говорил гипотетически и пророчески весной этого года, неожиданно сбылись осенью. Наши красноречивые патриоты из Законодательного собрания, подобно могущественным волшебникам, одним словом уст своих развеяли по ветру королевскую власть с ее старыми обычаями и формулами и будут теперь управлять Францией, свободной от формул. Свободной от формул! И все же человек не живет без формул, без привычек, способов действия и бытия: Ubi homines sunt modi sunt — где люди, там обычаи — нет изречения вернее этого; это справедливо от чайного стола и шкафа портного до верховных сенатов, торжественных храмов и простирается на все области ума и фантазии, до самых крайних пределов наделенного членораздельной речью существа. Обычаи есть всюду, где есть люди. Это самый сокровенный закон человеческой природы, благодаря которому человек делается ремесленником, «употребляющим орудия животным», не рабом импульсов, случайностей и дикой природы, а до некоторой степени их господином. Поэтому 25 миллионов людей, внезапно отрешившихся от своих обычаев и пляшущих на них таким образом, — ужасная вещь для управления!

Красноречивым патриотам в Законодательном собрании предстоит тем временем решить именно эту задачу. Под именем и прозвищем «государственных мужей» (hommes d'état), умеренных (modérantes), бриссотинцев, роланистов и, наконец, жирондистов они прославятся, решая ее, на весь мир. Ведь двадцать пять миллионов, наделенных пылким галльским темпераментом, полны надежды на невыразимое, на всеобщее братство и Золотой Век, и в то же время полны ужаса перед объединившейся против них киммерийской Европой. Это задача, равных которой мало. Правда, если бы человек, как хвалятся философы, мог видеть на некоторое расстояние вперед и назад, то что, спрашивается, сделалось бы с ним во многих, случаях? Что в этом случае сделалось бы с этими 749 человеками? Конвент, ясно видящий вперед и назад, был бы парализованным Конвентом, но, видя ясно не далее своего носа, он — Конвент непарализованный.

Для самого же Конвента не подлежат сомнению ни дело, ни способ его совершения: нужно создать конституцию, а до тех пор защищать Республику. Поэтому довольно быстро составляется Конституционный комитет. Сиейес, бывший член Конституанты, составитель конституций по призванию; Кондорсе, способный на лучшее; депутат Пейн, чужеземный благодетель рода человеческого, с «красным, прыщеватым лицом и черными, блестящими глазами»; Эро де Сешель, бывший член парламента, один из красивейших мужчин Франции, — эти лица с низшими собратьями по ремеслу заботливо приступают к делу, намереваясь еще раз «составить конституцию», будем надеяться, более действенную, чем в прошлый раз. Ибо кто же сомневается, что конституция может быть составлена? Иначе это означало бы, что евангелие от Жан Жака явилось в мир напрасно. Правда, наша последняя конституция рухнула жалким образом в течение первого же года. Но что же из того? Это значит только, что нужно очистить ее от мусора и сложить камни заново, лучше. «Надо, во-первых, расширить основание» до всеобщей подачи голов, если понадобится; во-вторых, исключить гнилой материал — королевскую власть и тому подобное; а вообще стройте, невыразимый Сиейес и компания, стройте неутомимо! Пусть частые опасные обвалы подмостков и сложенного камня раздражают, но не обескураживают вас. Хотя бы и с переломанными членами, но с пылающими сердцами начинайте сейчас же снова, отменяя в сторону обломки; стройте, говорим мы, во имя Неба, пока работа не будет стоять прочно или пока человечество не бросит ее и не вознаградит строителей конституции смехом и слезами. Значит, было predetermined, что когда-нибудь в течение вечности должен быть испробован и этот «Общественный договор». Поэтому конституционный комитет должен потрудиться с надеждой и верой, и пусть не препятствует ему какой-нибудь читатель этих страниц!.

Итак, составить конституцию и весело вернуться домой через несколько, месяцев — так пророчествует сам о себе Национальный Конвент, по такой программе пойдут его действия и события. Но как далеко в подобных случаях от самой лучшей научной программы до ее действительного выполнения! Разве всякое собрание людей не есть, как мы часто говорим, собрание неисчислимых влияний; каждая единица его есть микрокосм влияний, как же может наука что-либо вычислить или предсказать? Наука, которая со всеми своими дифференциальными, интегральными и вариационными исчислениями не может решить задачу о трех взаимно тяготеющих телах, должна молчать здесь и сказать только следующее: в этом Национальном Конвенте имеется 749 весьма своеобразных душ, обладающих свойством притяжения и многими другими, которые, вероятно, совершат непостижимым образом предназначенное им Небом.

Кое-что может быть рассчитано или предположено в применении к национальным собраниям, парламентам, конгрессам, заседающим долгое время, имеющим серьезные намерения, а главное, не «устрашающе серьезным», но даже и их действия составляют своего рода тайну, благодаря чему газетные репортеры имеют средства к жизни; даже и они время от времени, как безумные, сходят с колеи. Тем более это относится к бедному Национальному Конвенту, наделенному французской горячностью и побуждаемому действовать быстро, не имея ни опыта, ни колеи, ни следа или вехи, и вдобавок каждый член которого так ужасно серьезен! Такого парламента не было буквально никогда и нигде в мире. Члены его неопытны, неорганизованны, а между тем они сердце и направляющий центр Франции, впавшей в безумнейшее расстройство. Из всех городов и деревень, с самых дальних концов Франции с ее 25 миллионами горячих душ надежды мощными потоками устремляются в это сердце, Salle de Manège, и изливаются обратно: это огненное венозно-артериальное кровообращение и есть функция этого сердца. Никогда, повторяем, 749 человеческих существ не заседали на этой земле при более необычных обстоятельствах. Большинство из них — обыкновенные люди или ушедшие недалеко от обыкновенных, однако благодаря занимаемому ими положению они весьма замечательны. Как будут говорить и действовать эти люди, предоставленные самим себе в диком вихре урагана человеческих страстей, среди окружающих их со свистом и гулом смерти, победы, ужаса, храбрости, доблестей и низостей?

Читатели знают уже, что этот французский Национальный Конвент (совершенно вопреки своей собственной программе) превратился в предмет удивления и отвращения человечества вроде апокалипсического конвента, мрачного сна, ставшего реальностью!

История редко говорит о нем без междометий, повествуя, как он покрыл Францию горем, ввел в заблуждение и в безумие и как из лона его вышла смерть на бледном коне. Легко ненавидеть этот бедный Национальный Конвент, однако оказалось возможным также и вос-

хвалить и любить его. Это, как мы сказали, парламент, находящийся в крайне необычных условиях. Пусть для нас, на этих страницах, он останется дымящейся огненной тайной, где небеса сомкнулись с преисподней в таком чередовании яркого света с черным мраком, что бедные ослепленные люди уже не знают, где низ и где верх, и, неистовствуя, бросаются очертя голову то туда, то сюда, как обыкновенно поступают в таких случаях смертные. Конвент, которому суждено самоубийственно поглотить самого себя и превратиться в мертвый пепел — вместе с его миром! Постараемся не проникать в его темные, запутанные глубины, а постоим и посмотрим, не отвращая глаз, как он тонет и какие достойные внимания события и происшествия будут последовательно появляться на поверхности.

Одно общее поверхностное обстоятельство мы отмечаем с похвалой — это силу вежливости. Цивилизованность до такой степени пронизала жизнь людей, что никакой Друэ, никакой Лежандр в самой безумной боевой схватке не может отрешиться от него совсем. Дебаты сенатов, ужасных в своей серьезности, редко передаются открыто миру, иначе, быть может, они очень удивили бы его. Разве сам великий монарх не прогнал однажды своего Лувуа, размахивая парой щипцов? Но, читая целые тома этих дебатов Конвента, все пенящиеся ужасной серьезностью, достигающей иногда серьезности жизни и смерти, скорее поражаешься степени сдержанности, проявляемой его депутатами в речах, и тому, что при всем этом диком кипении им управляет нечто вроде правил вежливости; формы общежития никогда не исчезают совершенно. Люди эти, хотя и грозят сжатыми кулаками, все же не хватают друг друга за ворот, не вытаскивают кинжалов или делают это разве только в качестве ораторского приема, да и то не часто; грубые ругательства почти неизвестны, и, хотя протоколы довольно откровенны, мы находим в них только два проклятия, произнесенные Маратом.

В остальном нет сомнений, что прения ведутся «горячо». Горячности много; декреты, принятые сегодня с одобрением, завтра с шумом отменяются; настроение раздраженное, в высшей степени изменчивое, всегда опрометчивое! «Голос оратора перекрывается шумом»; сотня «почтенных парламентариев с угрозами устремляется на левую сторону зала»; председатель, «разбив три колокольчика подряд», надевает шляпу в знак того, что Отечество почти погибло. Пламенно-горячее древне-галльское собрание! Увы! смолкнут один за другим эти злобные крики борьбы и жизни, которая сама есть борьба; сейчас они так громки, а, немного погодя, будут так тихи! Бренн и древние галльские вожди, несомненно, вели такие же горячие дебаты по пути в Рим, в Галацию и в другие страны, куда они обыкновенно ходили, влекомые жаждой завоеваний, хотя об этих дебатах не сообщает никакой «Moniteur». Эти Бренны ссорились на кельтском наречии и не были санкюлотами, скорее даже панталоны (brassae — может быть, из войлока или невыделанной кожи) были единственной одеждой, которую они носили; как утверждает Ливий, они были обнажены до пояса. Но вот теперь они оделись в камзолы и говорят в нос наподобие исковерканного латинского языка, а мы видим, что они делают то же самое и что это та же самая порода людей! Но в конце концов разве Время не покроет забвением настоящий Национальный Конвент, как оно скрыло этих Бреннов и древние верховные сенаты в войлочных панталонах? Их, несомненно, скроет Время, более того, они канут в вечность. Тусклые сумерки времени или полдень, который будет сумерками, а потом наступает ночь и безмолвие, и Время со всеми его злобными шумами поглощается безмолвным морем. Пожалей твоего брата, о сын Адама! Ведь самое злобное, пенящееся гневом бормотание его в сущности значит не более плача ребенка, который не может сказать, что у него болит, хотя несомненно, что в его организме все пришло в расстройство и потому он должен кричать и плакать, пока мать не возьмет его на руки и, укачиваемый ею, он не уснет!

Конвенту нет еще четырех дней, и мелодические строфы, сбросившие королевскую власть, еще звучат в наших ушах, когда раздаются новые звуки, к несчастью на этот раз звуки раздора, ибо речь зашла о вещах, о которых трудно говорить спокойно, о сентябрьской резне. Как поступить с этими сентябрьскими избиениями и с Парижской коммуной, руководившей ими. С ненавистной и страшной Парижской коммуной, перед которой бедное, бессильное Законодательное собрание должно было трепетать и сидеть смирно? А если теперь молодой, всемогущий Конвент не захочет так трепетать и сидеть смирно, то какие он должен предпринять шаги? Нанять департаментскую гвардию, отвечают жирондисты и друзья порядка, гвардию национальных добровольцев, посланную всеми 83 или 85 департаментами специально с целью держать в надлежащем повиновении бушующие коммуны, состоящие из виновников сентябрьских бес-

чинств, и обеспечить подобающую власть Конвента. Так ответили в своем докладе друзья порядка, заседающие в комитете, и даже был утвержден декрет в требуемом смысле. Некоторые департаменты, например Барский или Марсельский, только в ожидании и уверенности, что такой декрет выйдет, отправили уже свой отряд волонтеров; храбрые марсельцы, 10 августа бывшие впереди всех, не хотят оставаться позади и теперь: «отцы дали своим сыновьям по мушкету и по 25 луидоров, — говорит Барбару, — и велели им отправляться».

Может ли что-нибудь быть целесообразнее? Республика, желающая основываться на справедливости, должна расследовать сентябрьские избиения; Конвент, называющийся Национальным, разве не должен охраняться национальными войсками? Увы, читатель, по-видимому, это так, однако многое против этого можно сказать и возразить. Ты видишь здесь слабое начало спора, которого не уладить с помощью чистой логики. Два маленьких источника спора — сентябрьские события и департаментская гвардия, или, вернее, один и тот же в сущности маленький источник, который вздуется и разрастется в поток горечи: всякие вспомогательные притоки и ручьи горечи вливаются в него с обеих сторон, пока он не превратится в широкую реку озлобления, раздора и вражды, которые могут прекратиться только в катакомбах. Проект этой департаментской гвардии, сначала принятый подавляющим большинством, затем отмененный ради спокойствия и нежелания обижать парижан, снова не раз утверждается и даже отчасти осуществляется, и солдаты, которые должны войти в состав этой гвардии, уже вышагивают по парижским улицам; причем однажды кто-то из их рядов в нетрезвом состоянии кричит: «À bas Marat!» (Долой Марата!)¹ Тем не менее столь часто утверждаемая гвардия столь же часто и отменяется и в течение семи месяцев остается лишь гипотезой, вызывающей злобный шум, прекрасной возможностью, которая стремится сделаться действительностью, но которой никогда не суждено стать ею, пока после бесконечной борьбы она не погружается в мрачный покой, увлекши за собою многое. Так странны пути людей и почтенных членов собраний!

Но в четвертый день существования Конвента, который приходится на 25 сентября 1792 года, появляются доклад комитета об этом декрете департаментской гвардии и речи об отмене его; появляются изобличения в анархии и диктаторстве, о которых пусть поразмыслит неподкупный Робеспьер; появляются изобличения некоего «Journal de la «République», ранее называвшегося «Ami du Peuple», и, наконец, появляется на виду у всех, на трибуне, собираясь говорить, воплотившийся призрак Друга Народа Марата! Кричите, семьсот сорок девять! Это действительно Марат, и никто иной, — не фантастический призрак, не лживый оттиск типографских листков, а существо из материи, плоти и крови, связок и нервов, составляющих маленькую фигурку; вы видите его в его темной неопрятности — это живая часть хаоса и первобытной ночи, явно воплотившаяся и собирающаяся говорить. «По-видимому, — обращается Марат к шумящему собранию, — у меня здесь очень много врагов» «Все! Все!» — кричат сотни голосов, достаточно, чтобы заглушить любого друга народа. Но Марат не хочет быть заглушенным: он говорит и каркает объяснения; каркает с такой рассудительностью, с такой искренностью, что кающееся сострадание смягчает злобу и крики стихают, даже превращаются в рукоплескания. К несчастью, этот Конвент — одна из самых неустойчивых машин; сейчас он с непреклонным упорством показывает на восток, но стоит только искусно тронуть какую-нибудь пружину, и вся машина, стуча и содрогаясь всеми семьюстами сорока девятью частями, с треском поворачивается и уже показывает на запад! Таким образом, Марат, оправданный и даже стяжавший рукоплескания, выходит победителем из этой схватки. Но затем дебаты продолжаются, на него снова нападает какой-то ловкий жирондист, опять поднимаются крики, и уже готов пройти декрет о предании суду; тогда мрачный Друг Народа снова выходит на трибуну, еще раз своим даром убеждения достигает тишины, и декрет о предании суду проваливается. После этого Марат вынимает пистолет и, приложив его к своей голове, вместилищу великих дум и пророчеств, говорит: «Если бы они провели свой обвинительный декрет, он, Друг Народа, разможил бы себе голову». Друг Народа на это способен. Впрочем, что касается 260 тысяч аристократических голов, Марат чисто-сердечно говорит: «C'est là mon avis» (Я полагаю так). Также не подлежит сомнению: «Никакая земная сила не может помешать мне видеть изменников и изобличать их, вероятно благодаря высшей организации моего ума»². Не многие парламенты на земле имели почтенного члена, подобного этому Другу Народа.

Мы видим, что это первое нападение друзей, как оно ни было резко и неожиданно, однако оказалось неудачным. Не более удачи имело и обвинение Робеспьера, вызванного на объяс-

нение толками о диктатуре и встреченного таким же шумом при появлении на трибуне; однако обвинить его и заключить в тюрьму не удалось, несмотря на то что Барбару открыто дает против него показания и подписывается под ними. С какой святой кротостью подставляет Неподкупный под удар свою зеленую щеку, возвышает свой тонкий голос говорит с иезуитским искусством и добивается успеха; в конце концов он благосклонно спрашивает: «Каких же свидетелей может представить гражданин Барбару в подтверждение своих показаний?» «Moi!» — кричит пламенный Ребекки, вскакивая, ударяя себя кулаками в грудь и отвечая: «Меня!»³ Тем не менее человек с серо-зеленым лицом снова говорит и опять все поправляет; продолжительный шум, «исключительно касающийся личностей», когда столько дел общественного значения лежат нетронутыми, кончился переходом к очередным делам. О друзья из Жиронды, зачем вы наполняете ваши высокие заседания жалкими личными спорами, в то время как великое национальное дело находится в таком положении? Жиронда коснулась в этот день гнилого, черного пятна своего прекрасного царства — Конвента; она наступила на него, но еще не попрадала его ногами. Увы, как мы уже сказали, это черное пятно — неиссякающий источник, и его нельзя поправить!

Глава вторая

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Не следует ли поэтому предположить, что вокруг этого великого составления конституции возникнет весьма странная путаница и вопросы и интересы так осложнятся, что и через несколько месяцев Конвент устроит далеко не все? Увы, кипит и надвигается целый поток вопросов, который все растет, и конца ему не видно! Среди них помимо вопроса о сентябрьских событиях и анархии отметим три поднимающиеся чаще других и обещающие сделаться главными: это вопросы об армиях, о средствах существования народа и о развенчанном короле.

Что касается армий, то общественная оборона, очевидно, должна быть поставлена на надлежащую высоту, так как Европа, по-видимому, снова составляет коалицию; опасаются даже, что к ней присоединится Англия. По счастью, Дюмурье удачно действует на севере, но что, если он будет действовать слишком удачно и превратится в *Liberticide*, убийцу Свободы? Дюмурье действует успешно, несмотря на зимнее время, но не без горьких жалоб. Скромный Паш*, содержатель швейцарской школы, так тихо сидевший в своем переулке, на удивление всем соседям, недавно сделался — как думает читатель — кем? Военным министром! Г-жа Ролан, заметившая его скромные манеры, рекомендовала его своему мужу в секретари; скромный секретарь не нуждался в жалованье, так как был настроен истинно патриотически; он приходил обыкновенно с куском хлеба в кармане, чтобы сэкономить время на обед, и, неторопливо пожеывая, в один день делал то, на что другому понадобилось бы три дня; пунктуальный, молчаливый, скромный, как лицемерный Тартюф, каким он и был. Благодаря этим качествам Ролан и рекомендовал его во время последнего переворота на место военного министра. А теперь похоже на то, что Паш тайно подкапывается под Ролана, играет на руку более горячим якобинцам и сентябрьской коммуне и вообще не таков, чтобы, подобно строгому Ролану, быть *Veto des coquins!*⁴

* Паш Жан Никола (1746—1823) — военный министр в 1792 г., мэри Парижа в 1793—1794 гг.

Каким образом скромный Паш подводил мины и контрмины, неизвестно, но зато известно, что его военное министерство сделалось притоном воров и такой неразберихи, что в его дела страшно заглянуть. Известно, что там заседает в качестве главного секретаря гражданин Гассенфрац* в *bonnet rouge* (красном колпаке), хищный и грубый, кое-что смыслящий в математических исчислениях и крайне дерзкий; что Паш, жуящий кусочек хлеба при старших и младших чиновниках, растратил свою военную смету; что подрядчики разъезжают в кабриолетах по всем округам Франции и заключают сделки. Известно, наконец, что армия почти совсем не получает амуниции: ни сапог, хотя стоит зима, ни платья; у некоторых даже нет оружия. «В Южной армии, — жалуется один почтенный парламентарий, — не хватает 30 тысяч пар панталон» — весьма скандальная нехватка.

* Гассенфрац Жан Анри (1755—1827) — химик, сотрудник Лавуазье, член Коммуны 10 августа.

Честная душа Ролана обеспокоена таким ходом вещей, но что он может сделать? Держать в строгости свое собственное министерство, выговаривать и карать, где только возможно, по меньшей мере жаловаться? Он и жалуется в письме за письмом, жалуется И Конвенту, и Франции, и потомству, и всему миру, становясь все более раздражительным и негодующим; но не станет ли он наконец скучным? Ведь обычно содержание его жалоб в сущности бесплодно. Удивительно ли, что в период революции и уничтожения всех законов, за исключением пушечного закона, царит такое беззаконие? Неустрашимый Ролан, Вето мошенников, ты, близорукий, честный, почтенный, методичный человек, работай так, как тебе подсказывает твоя природа, и исчезни; работа твоя будет хотя безрезультатной, но небесполезной — тогда, как и теперь! Храбрая г-жа Ролан, храбрейшая из всех француженок, начинает питать опасения: за республиканским обедом у Роланов фигура Дантона кажется ей слишком «сарданапальской»^{*}; Клоутс, Спикер человечества, скучно говорит какие-то нелепости о всемирной республике, о соединении всех племен и народов в один братский союз; к несчастью, не видно, как связать этот союз.

^{*} Сарданапал — последний царь Ассирии (668— 625 гг. до н. э.), предававшийся различным излишствам и непомерному чревоугодию.

Бесспорным, необъяснимым или объяснимым, фактом является также то, что хлеба становится все меньше и меньше. Повсюду во множестве происходят хлебные бунты — шумные сборища, требующие установления таксы на зерно. Парижскому мэру и другим бедным мэрам, видимо, предстоит затруднения. Петион был вновь избран мэром Парижа, но отказался, так как законодательствует теперь в Конвенте. Отказ, разумеется, был разумен, потому что помимо вопроса о хлебе и всего прочего импровизированная революционная Коммуна переходит в это время в законно избранную и заканчивает свои счета не без раздражения! Петион отказался, тем не менее многие домогаются этой должности. После целых месяцев раздумий, баллотировок, разглагольствований и споров почетный пост этот получает некий доктор Шамбон, который продержится на нем недолго и, как мы увидим, будет буквально сброшен⁵ с него.

Не забудьте, что и простому санкюлоту нелегко во времена дороговизны хлеба! По словам Друга Народа, хлеб стоит «около 6 су фунт, а дневной заработок — всего 15 су», и к тому же зима стоит суровая. Как бедный человек продолжает жить и так редко умирает от голода, — это поистине чудо! По счастью, в эти дни он может записаться в армию и умереть от руки австрийцев с необычайным чувством удовлетворения от того, что умирает за Права Человека. При таком стесненном положении хлебного рынка, при общей свободе и равенстве комендант Сантер предлагает через газеты два средства или по крайней мере два паллиатива. Первое, чтобы все классы людей два дня в неделю питались картофелем, и второе, чтобы все повесили своих собак. Благодаря этому, думает комендант, получится весьма значительная экономия, которую он высчитывает во столько-то кулей. Более забавной формы изобретательной глупости, чем у коменданта Сантера, не найти ни в ком. Изобретательная глупость, облаченная в здоровье, мужество и добродушие, весьма достойна одобрения. «Вся моя сила, — сказал он однажды в Конвенте, — денно и ночью находиться в распоряжении моих сограждан; если они найдут меня недостойным, то уволят, и я опять буду варить пиво»⁶.

Представьте себе, какую переписку должен вести бедный Ролан, министр внутренних дел, по поводу одного только вопроса о хлебе! С одной стороны, требуют свободной торговли зерном, недопущения таксировки цен на него, с другой — кричат, что необходимо замораживание цен. Политическая экономия, читаемая министерством внутренних дел, с доказательствами, ясными, как Священное писание, совершенно недействительна, для пустого национального желудка. Мэр Шартра, которого чуть не съедают самого, взывает к Конвенту; Конвент посылает депутацию из почтенных членов, которые стараются накормить толпу чудесной духовной пищей, но не могут. Толпа, несмотря на все их красноречие, окружает их с ревом, требует, чтобы цены были назначены, и при этом умеренные, или же почтенные депутаты будут повешены на месте! Почтенные депутаты, докладывая об этом деле, сознаются, что, будучи на волосок от ужасной смерти, они назначили, — или сделали вид, будто назначили — цены на зерно, за что Конвент — это тоже следует отметить, — Конвент, не желающий, чтобы с ним шутили, находит нужным сделать им выговор⁷.

Что же касается происхождения этих хлебных бунтов, то разве не представляется вероятным, что тут опять замешаны тайные роялисты? В Шартрском бунте глаза патриотов видели мелькающих священников. И разве, в самом деле, «корень всего этого не лежит в тюрьме Тампля, в сердце вероломного короля», как бы хорошо ни стерегли его⁸? Несчастный, вероломный король! И вот, мало-помалу около булочных снова образуются хвосты в более раздраженном, чем когда-либо, настроении. К двери каждой булочной приделано кольцо с концом веревки, за которую мы плотно держимся с обеих сторон и образуем хвост; но злонамеренные, коварные люди перерезают веревку, и наш хвост превращается в запутанный клубок; поэтому веревку приходится заменить железной цепью⁹. Цены на хлеб установлены, но теперь хлеба уже нельзя купить и по этим ценам: хлеб можно иметь только по билету от мэра, несколько унций на едока в день, после долгого стоянья в хвосте, ухватившись за цепь. А голод распространяется с ужасающей быстротой, за ним идут злоба и подозрительность, сверхъестественно обостренные; они пройдут по стране, подобно сверхъестественным «теньям разгневанных богов», которые проходили «среди зарева и мрака огненного океана», когда пала Троя!

Глава третья

РАЗВЕНЧАННЫЙ

Но самый неотложный из всех вопросов для наших законодателей — это третий: что делать с королем Людовиком?

Король Людовик, теперь король и Его Величество только для его собственной семьи, заключенной в тюремных апартаментах, для остальной Франции он только Людовик Капет и изменник Вето. Заключенный в ограде Тампля, он видел и слышал громкий водоворот событий: вопли сентябрьских избиений, военные громы Брауншвейга, смолкшие в поражении и расстроенном бегстве; видел как пассивный зритель, ожидая, когда этот водоворот захватит и его. Из соседних окон любопытные, не без сострадания, могут видеть, как он ежедневно в определенный час прогуливается по саду Тампля со своей королевой, сестрой и двумя детьми все, что осталось у него на земле¹⁰. Он гуляет и ждет спокойно, потому что не особенно чувствителен и имеет набожное сердце. Усталому, нерешительному человеку теперь по крайней мере не нужно ничего решать. Обед, уроки сыну, ежедневные прогулки по саду, игра в ломбер или шашки наполняют для него сегодняшний день, а завтрашний позаботится о себе сам.

Да, завтрашний день позаботится, но как? Людовик спрашивает: как? И Франция также, быть может даже с еще большей озабоченностью, спрашивает: как? Нелегко распорядиться судьбою короля, низложенною восстанием. Если держать его в заключении, то он делается тайным центром недовольных, их бесконечных заговоров, их попыток и надежд. Если его выслать, он будет их открытым центром; его королевское боевое знамя со всем, что в нем осталось божественно, развернется, созывая мир. Казнить его? Это тоже жестокий и сомнительный конец, и, однако, он наиболее вероятен при таких крайних обстоятельствах со стороны мятежников, собственная жизнь и смерть которых поставлена на карту; поэтому и говорится что от последней ступени трона до первой ступени эшафота очень недалеко.

Но в общем мы должны заметить, что дело Людовика представляется теперь, когда мы смотрим на него из-за моря и с расстояния 44 лет, совершенно иным, чем оно представлялось тогда во Франции, где смута охватила всех. Ведь, в самом деле, прошлое всегда обманчиво: оно кажется таким прекрасным, почти священным «в лунном свете воспоминания», но оно только кажется таким. Обратите внимание на то, что из прошлого всегда исключается обманчивый образ (и мы этого не замечаем) один весьма важный элемент: свирепый элемент страха! Теперь нет страха неизвестности, беспокойства, но они были тогда, преследовали, мучили, проходили, подобно проклятому диссонансу, через все тоны существования современников, превращая для них все временные формы в одно настоящее! Так оно и есть по отношению ко времени Людовика. Зачем добивать павшего? — спрашивает великодушные, находящееся теперь вне опасности. Он пал так низко, этот некогда высоко вознесшийся человек; мы далеки от того, чтобы счесть его преступником или предателем, нет, он — несчастнейшее из человеческих заблуждений. Если бы его судило абстрактное правосудие, то оно превратилось бы, может быть, в конкретное сострадание, и приговором ему были бы лишь вздохи и прощение!

Так рассуждает смотрящее назад великодушие; ну а настоящее, смотрящее вперед мало-душие? Читатель, ты никогда не жил в продолжение целых месяцев под шорох веревок прусских виселиц; никогда не был частью национального вальса Сахары, когда 25 миллионов в безумии бежали сражаться с Брауншвейгом. Даже странствующие рыцари, победив великанов, обыкновенно убивали их; пощада давалась только другим странствующим рыцарям, знакомым с вежливостью и правилами сражения. Французская нация общим отчаянным усилием и как бы чудом безумия сломила самого страшного Голиафа, достигшего чудовищных размеров в результате тысячелетнего роста, и, хотя это гигантское тело лежит поверженное, покрывая целые поля, связанное веревками и приколоченное гвоздями, она все же не может поверить, что оно снова не встанет, пожирая людей, что победа отчасти не сон. Страх сопровождается недоверчивостью, чудесная победа яростью мщения. Затем что касается преступности, то разве распростертый великан, который пожрет нас, если встанет, — великан невинный? Священник Грегуар, в действительности теперь конституционный епископ Грегуар, уверяет в пылу красноречия, что королевский сан по самой природе уже есть капитальное преступление и что королевские дворцы все равно что логовища диких зверей¹¹. Наконец, подумайте о том, что в летописях существует процесс Карла I!* Этот отпечатанный процесс Карла I теперь продается и читается повсюду¹². *Quel spectacle!*

* Карл I (1600—1649) — английский король с 1625 г. В ходе Английской буржуазной революции XVII в. низложен и казнен как «тиран, изменник, убийца и враг государства».

Вот как английский народ судил своего тирана и сделался первым из свободных народов! Разве Франция по милости судьбы не может соперничать теперь с Англией в этом отношении? Неуверенность страха, ярость чудесной победы, возможность доставить величественное зрелище для Вселенной — все указывает на один роковой путь.

Эти главные вопросы и их бесчисленные случайные спутники — о сентябрьских анархистах и департаментской гвардии, о хлебных бунтах, о жалобах министров внутренних дел, об армиях и хищениях Гассенфраца, о том, что делать с Людовиком, — осаждают и сбивают с толку наш Конвент, который гораздо охотнее занялся бы составлением конституции. И все эти вопросы, так как мы часто на них настаиваем, растут; они растут в голове каждого француза, и рост их даже поддается наблюдению в могучем ходе парламентских дебатов и общественных дел, которые лежат на обязанности Конвента. Возникает вопрос, вначале незначительный, он откладывается, тонет среди других, но потом снова всплывает, уже увеличившись в объеме. Любопытный и неописуемый рост имеют такие вещи.

Однако вернемся к вопросу о короле Людовике; судя по тому, как часто он всплывает и как быстро растет, можно предвидеть, что этот вопрос займет первенствующее место среди всего остального. И действительно, он будет первенствующим даже в более глубоком смысле. Ибо, как жезл Аарона поглотил всех остальных змей, так и этот вопрос поглотит все остальные вопросы и интересы; и из него, и из решения его все они, так сказать, родятся или переродятся и получают соответственный образ, обличие и судьбу. Рок решил, что в этом клокочущем, странно растущем, чудовищном и поразительном хаосе дел Конвента великим основным вопросом всех вопросов, споров, мероприятий и начинаний, которым суждено развиваться здесь на изумленные миры, должен быть вопрос о короле Людовике.

Глава четвертая

ПРОИГРАВШИЙ ПЛАТИТ

6 ноября 1792 года было великим днем для Республики: снаружи — по ту сторону границ, внутри — в Salle de Manège.

Снаружи, потому что Дюмурье, напавший на Нидерланды, в этот день пришел в соприкосновение с саксен-тешенцами и австрийцами; Дюмурье, с широко распростертыми крыльями, и они, также с широко распростертыми крыльями, встретились в самой деревне Жемап* и вокруг нее, недалеко от Монса. Огненный град свистит там вдоль и поперек, большие и маленькие пушки грохочут, и много зеленых холмов украшаются красной бахромой и огненной гривой.

Дюмурие отброшен на этом фланге, отброшен на том, и уже похоже, что будет отброшен совсем, когда он бросается сам в битву; быстрый Полипет говорит одно или два быстрых слова и затем чистым тенором «запевает «Марсельезу»» (entonna la Marseillaise)¹³.

* Жемап — селение в Бельгии, близ которого 6 ноября 1792 г. войска революционной Франции разбили австрийские войска.

Десять тысяч теноров или басов присоединяются к нему или, вернее, сорок тысяч, потому что все сердца сильнее при этой песне, и под ритмическую, вдвое и после втрое ускоряющуюся мелодию марша они собираются, идут вперед и бросаются в бой, презирающие смерть и уничтожающие врагов. Они берут батареи, редуты, все, что можно взять, и, подобно огненному вихрю, сметают все австрийское с театра военных действий. Итак, выражаясь фигурально, можно сказать, что руками Дюмурье Руже де Лиль, как новый Орфей, одержал струнами своей «Марсельезы» (*fidibus canoris*) чудесным образом победу при Жемапе и завоевал Нидерланды.

По-видимому, молодой генерал Эгалите проявил в этом деле чудеса храбрости. Несомненно, это храбрый Эгалите; однако не говорит ли о нем Дюмурье чаще, чем нужно? Якобинское общество имеет на этот счет свои собственные мысли. Что касается старшего Эгалите, то он в это время летает невысоко, он появляется ежедневно на полчаса в Конvente, сидит с красным, озабоченным или равнодушным, почти презрительным лицом и затем удаляется¹⁴. Нидерланды завоеваны или по крайней мере покорены. Якобинские миссионеры, наши Проли, Перейры, следуют в хвосте армий; комиссары Конвента тоже тут, они плавают церковное серебро, переворачивают и переустраивают все, среди них Дантон, который в короткое время делает невероятное количество дел, не забывая, разумеется, при этом своего жалования и торговых барышей. Гассенфрац ворует дома, Дюмурье ворчит, и его люди воруют в чужих краях; грех в стенах и грех за стенами.

Но в тот самый час, когда была одержана победа при Жемапе, в зале Конвента происходила другая, не менее важная вещь: читался длинный доклад специально назначенного комитета о преступлениях Людовика. Галереи слушают, затаив дыхание; успокойтесь, галереи, депутат Валазе, докладчик по этому делу, считает Людовика очень преступным и находит, что следует предать его суду, если это окажется удобным. Бедный жирондист Валазе! Его самого могут однажды предать суду! Пока все довольно утешительно. Мало того, второй докладчик комитета, депутат Майль, выступает с юридическими разъяснениями, которые теперь скучно читать, но в свое время было приятно слушать, и заявляет, что по законам страны Людовика Капета называли неприкосновенным, только отдавая дань риторике, но в сущности он совершенно неприкосновенен и подсуден, так что может и даже должен быть судим. Вопрос о Людовике, так часто всплывавший в виде гневной, смутной возможности и снова тонувший, теперь всплыл в осязаемой форме.

Патриоты режут от злорадства. Значит, так называемое царство равенства существует не на словах только, а на деле! Судить ли Людовика Капета! — насмешливо восклицает патриотизм: простые преступники попадают на виселицу за отрезанный кошелек, а этот главный преступник, виновный в ограблении всей Франции, изрезавший ее всю ножницами Клото и гражданской войны с ее жертвами — «с тысячью двумястами от одного только десятого августа», лежащими в катакомбах и удобряющими аргонские проходы, холмы Вальми и далекие поля; он, этот главный преступник, не должен попасть даже на скамью подсудимых? Увы, о патриотизм, прибавим мы, есть старая поговорка: проигравший платит! Ему приходится платить все долги, кто бы их ни сделал, на него падают все убытки и расходы, и 1200 погибших 10 августа — не мятежные изменники, а жертвы и мученики: таковы правила борьбы.

Патриотизм, ничтоже сумняшеся, следит за этим вопросом о суде, теперь, к счастью, вынырнувшим в осязаемой форме, и хочет, с соизволения богов, видеть его разрешение. Патриотизм следит за ним с напряженной заботливостью, возрастающей при каждом новом затруднении, так как жирондисты и ненадежные братья вызывают отсрочки; эта забота превращается наконец в навязчивую идею, и патриотизм страстно желает этого суда, и ничего в мире взамен его, если равенство существует не только на словах. Жажда равенства, скептицизм страха, опьянение победой, возможность величественного зрелища для мира — все это сильные стимулы.

Но на самом деле этот вопрос о суде не для всех самый важный и наполняет сомнением многие законодательствующие головы! Цареубийство? — спрашивает почтенная Жиронда. Убить короля и сделаться предметом ужаса для всех порядочных наций и людей? Но с другой стороны, спасти короля — значит потерять всякую почву у решительных патриотов, тогда как нерешительные, хотя они никогда не пользовались таким почтением, как сейчас, все же представляют лишь гипотетическую тину, а не твердую почву? Вопрос крайне спешный и трудный, и люди вертятся между его рогами; никто не может решить его, кроме Якобинского клуба и его

сынов. Они решили и идут прямо к делу; остальные беспокойно вертятся на этой рогающей дилемме и не находят выхода.

Глава пятая

РАСТЯЖИМОСТЬ ФОРМУЛ

Теперь, когда вопрос о суде высказан и понят, было бы излишним описывать, как он медленно и с трудом рос и созрел в течение нескольких недель. Он всплывал и тонул в нагромождении других бесчисленных вопросов. Вето мошенников пишет жалобные письма об анархии; «тайные роялисты» при содействии голода устраивают хлебные бунты. Увы, всего неделю назад эти жирондисты предприняли новую отчаянную вылазку по поводу сентябрьских избиений.

Однажды, в последних числах октября, Робеспьер, вызванный на трибуну новым намеком на старую клевету о диктатуре, говорил и защищался со все большим и большим успехом, пока, воодушевившись, не воскликнул храбро: «Есть ли здесь кто-нибудь, кто осмелится обвинить меня в каком-нибудь конкретном проступке!» «Мои!» — восклицает кто-то. Пауза глубокого молчания. Сухая, сердитая фигурка с широким лысым лбом торопливо подошла к трибуне, вынимая из кармана бумаги: «Я обвиняю тебя, Робеспьер, я, Жан Батист Луве!» Серо-зеленое лицо побелело, он отступил в угол трибуны. Дантон крикнул: «Говори, Робеспьер, здесь много добрых граждан, которые слушают тебя», но язык отказался повиноваться. Тогда Луве резким голосом прочел и последовательно перечислил все его преступления: диктаторский характер, стремление к исключительной популярности, запугивание на выборах, процессии во главе черни, сентябрьские избиения, пока весь Конвент снова не разразился криками и тут же чуть не предал суду Неподкупного. Никогда еще не находился он в таком рискованном положении. Луве до самой своей смерти будет жалеть, что Жиронда не проявила большей смелости и тогда же не уничтожила Робеспьера.

Однако она этого не сделала. Неподкупному, которого чуть не обвинили так внезапно, нельзя было отказать в недельной отсрочке. За эту неделю он не бездействует; не бездействует и Якобинский клуб, гневно трепещущий за своего любимого сына. В назначенный день у него написана речь, гладкая, как иезуитская диссертация, и убеждающая некоторых. Что же дальше? Почему ленивый Верньо не встает с громами Демосфена? Бедный Луве не подготовлен и почти ничего не может сделать; Барер предлагает в соответствии с повесткой дня прекратить обсуждение этих сравнительно незначительных личных вопросов! Предложение принимается. Барбару не может даже добиться, чтобы его выслушали, хотя он устремляется к решетке и требует, чтобы его выслушали как подателя петиции¹⁵. Но Конвент, жаждущий заняться делами общества (вот-вот грядет первое открытое упоминание вопроса о суде), отклоняет эти сравнительные мелочи, и сердитому Луве приходится преодолевать свою злобу и сожалеть всю жизнь об этой неудаче; Робеспьер, возлюбленное детище патриотизма, становится для него еще дороже после перенесенных опасностей.

Это вторая крупная попытка наших жирондистских друзей порядка уничтожить темное пятно в подвластной им части мира, но мы видим, что они сделали его еще темнее и шире, чем оно было раньше! Анархия, сентябрьские избиения лежат у всех на сердце как нечто отвратительное, в особенности у нерешительного патриота, приверженца порядочности, и к этому нужно возвращаться при всякой возможности. Возвращайтесь, изобличайте, топчите, вы, жирондистские патриоты, и все же, смотрите, темное пятно не затаптывается; оно только становится, как мы сказали, темнее и шире. Глупцы, ведь это не темное пятно на поверхности, но бьющий из глубины источник! Всмотритесь в него хорошенько: в нем просвечивает, как вода сквозь тонкий лед, царство мрачной преисподней, как оно просвечивает сквозь вашу тонкую оболочку жирондистской порядочности и почтенности; не топчите его, не то оболочка разорвется, и тогда...

Правда — если бы наши друзья жирондисты понимали ее — заключается в том, что неизвестно, где был бы французский патриотизм со всем его красноречием в эту минуту, если бы эта самая великая преисподняя Бедлама, фанатизма, народной ярости и безумия не поднялась неудержимо 10 августа Французский патриотизм был бы красноречивым воспоминанием, болтающимся на прусских виселицах. Более того, где бы он был через несколько месяцев, если б эта

самая великая преисподняя закрылась? Даже, как вспоминают читатели газет, самое это отвращение к сентябрьской бойне отчасти возникло уже позже; читатели газет могут сослаться на Горса и нескольких бриссотинцев, которые одобряли сентябрьские избиения в то время, когда они происходили, и называли их спасительной мезью¹⁶. Так что не было ли истинным поводом к озлоблению не столько справедливое отвращение, сколько утрата собственной власти? Несчастные жирондисты!

Поэтому решительный патриот жалуется в Якобинском клубе, что есть люди, которые ради своего личного честолюбия и вражды готовы погубить Свободу, Равенство и Братство: они тормозят дух патриотизма, ставят на его пути препоны и вместо того, чтобы подталкивать его плечами, стоят празднично и злобно кричат: какая плохая дорога и как сильно нам приходится толкать! На это Якобинский клуб отвечает злобным ревом и злобным визгом, потому что там присутствуют также и гражданки, плотно набившиеся в галереях. Это знаменитые *Tricoteuses*, патриотические вязальщицы, которые приносят с собой шитье или вязальные спицы и визжат или вяжут сообразно с обстоятельствами. Какая-нибудь *Mère Duchesse* или Дебора, тетка из предместьев, задает тон. Якобинский клуб изменился и продолжает изменяться. Там, где теперь сидит *Mère Duchesse*, сидели настоящие герцогини. Некогда сюда приходили нарумяненные дамы, осыпанные драгоценностями и блестками; теперь вместо драгоценностей можно брать вязальные спицы и пренебречь румянами; румяна мало-помалу уступают место естественной смуглости, вымытой или неумытой, и даже саму девицу Теруань здесь с позором секут плетьюми. Странно! Ведь это та самая трибуна, поднятая высоко над головами, с которой некогда гремели великий Мирабо, великий Барнав и аристократы Ламеты, постепенно уступившие место нашим Бриссо, Гюаде, Верньо, более горячей породе патриотов в *bonnet rouge*; раскаленный пыл, можно сказать, вытеснил свет. Теперь наши Бриссо и бриссотинцы, роланисты и жирондисты в свою очередь становятся лишними, должны бежать из заседаний или быть изгоняемыми; свет могущественной «Матери» горит теперь не красным, а синим пламенем! Провинциальные филиалы громко порицают эти дела, громко требуют скорейшего возвращения на места красноречивых жирондистов, скорейшего «изъятия Марата, *radiation de Marat*».

«Общество — Мать», насколько может предсказать здравый смысл, видимо, само себя губит. Однако такое впечатление складывалось при всех кризисах; общество живет провиденциальной жизнью, и оно не погибнет.

Между тем через две недели решение великого вопроса о предании суду короля, над которым усидчиво, но молчаливо работает соответствующий комитет, неожиданно ускоряется. Наши читатели помнят склонность бедного Людовика к слесарному ремеслу, и, как в старые добрые времена, некий версалец съер Гамен имел обыкновение приходить и учить его делать замки; говорят, он даже часто бранил его за неумелость. Тем не менее августейший ученик научился кое-чему из его ремесла. Злосчастный ученик, вероломный учитель! Теперь, 20 ноября 1792 года, этот грязный слесарь Гамен является в Парижский муниципалитет к министру Ролану и намекает, что он, слесарь Гамен, знает одну вещь: в прошлом мае, когда изменническая переписка велась так оживленно, он и августейший ученик его сделали «железный шкаф», искусно вделанный в стену королевской комнаты в Тюильри и незаметный под панелью, где он, несомненно, находится и до сих пор! Вероломный Гамен в сопровождении надлежащих властей находит панель, которую никто другой не мог бы отыскать, вскрывает ее и обнаруживает железный шкаф, полный писем и бумаг! Ролан вынимает их, завертывает в салфетки и относит в соответствующий усердный комитет, заседающий рядом. В салфетки, повторяем, и без нотариальной описи — упущение со стороны Ролана.

Здесь, однако, достаточно писем, с очевидностью обнаруживающих переписку предательского, поглощенного личным самосохранением двора, и переписку не только с изменниками, но и с так называемыми патриотами! Из переписки с королевой и дружеских советов ей со времени бегства в Варенн обнаруживается измена Барнава; счастье, что Барнав благополучно находится в гренобльской тюрьме с прошлого сентября, так как он давно уже внушал подозрения! Измена Галейрана и многих других если и не вполне, то почти доказывается этими бумагами. Обнаруживается также измена Мирабо, ввиду чего бюст его в зале Конвента «окутывается газом», пока мы не убедимся в измене. Увы, в этом слишком легко убедиться! Бюст его в зале якобинцев после изобличения, сделанного Робеспьером с высокой трибуны, не окутывается газом, а мгновенно разбивается вдребезги; один патриот быстро влезает по лестнице и сбрасывает его

— и некоторые другие — на пол под громкие крики¹⁷. Вот какова теперь их награда и оклад жалованья: по закону спроса и предложения. Слесарь Гамен, не вознагражденный должным образом в настоящее время, является через пятнадцать месяцев со скромной просьбой: он сообщает, что, как только он кончил этот важный шкаф, Людовик (как он теперь припомнил) дал ему большой стакан вина, который произвел на желудок съёра Гамена самое ужасное действие и, видимо, имел целью причинить ему смерть, но был своевременно излечен при помощи рвотного; однако он все-таки вконец расстроил здоровье съёра Гамена. так что он (как он теперь убедился) не может содержать семью своим трудом. В награду за это ему дается «пенсия в 1200 франков» и «почетный отзыв». Вот как в разные времена бывает различно соотношение спроса и предложения!

Таким образом, среди препятствий и стимулирующих поощрений вопрос о суде растет, всплывая и погружаясь, питаемый заботливым патриотизмом. О речах, произнесенных по поводу его, об измышляемых с трудом формах ведения процесса, о юридических доводах в пользу его законности и обо всех нескончаемых потоках, юридических и иных, изобретательности и красноречия мы не скажем здесь ни слова. Изобретательность юристов — хорошая вещь, но какую пользу может она принести здесь? Если говорить правду, о августейшие сенаторы, то единственный закон в данном случае — это *vae victis*, проигравший платит! Редко Робеспьер говорил умнее, чем в тот раз, когда в речи своей по этому поводу намекнул, что излишне говорить о законе; что здесь более, чем где-нибудь, наше право — сила. Эта речь восхитила якобинских патриотов почти до экстаза: кто станет отрицать, что Робеспьер — человек, идущий напролом и смелый по меньшей мере в логике? В том же смысле и еще яснее говорил молодой Сен-Жюст, черноволосый сладкоречивый юноша. Дантон во время этой предварительной работы находится в командировке в Нидерландах. Остальные, читаем мы, путаются в рассуждениях о международном праве, об общественном договоре, о юридических и силлогических тонкостях, бесплодных для нас, как восточный ветер. Действительно, что может быть бесплоднее зрелища 749 изобретательных людей, старающихся всеми силами и со всевозможным искусством в течение долгих недель сделать в сущности следующее: растянуть старую формулу и юридическую фразеологию так, чтобы они покрыли новую, противоречащую, совершенно не покрываемую вещь? При этом бедная формула только трещит, а с нею и честность растягивающего. Докажешь ли ты посредством силлогизмов, что вещь, которая горяча на ощупь и горит, на самом деле замерзшая смесь? Это растягивание формул, пока они не треснут, представляет, особенно в периоды быстрых перемен, одну из печальнейших задач, выпадающих на долю бедного человечества.

Глава шестая

ПЕРЕД СУДОМ

Между тем по истечении приблизительно пяти недель вопрос о суде снова всплывает, на этот раз в более практической, чем когда-либо, форме.

Во вторник 11 декабря вопрос о суде над королем был поднят самым решительным образом на улицах Парижа в образе зеленой кареты мэра Шамбона, в которой сидит сам король с провожатыми, направляясь в зал Конвента! В зеленой карете его сопровождают мэр Шамбон, прокурор Шометт и снаружи комендант Сантер с пушками, кавалерией и двойным рядом пехоты; все взводы с оружием наготове, усиленные патрули рыщут по соседним улицам; так едет Людовик под скучным, морозящим дождем, и около двух часов дня мы видим, как он спускается в «орехового цвета сюртуке, *redingote noisette*», по Вандомской площади к залу Манежа, чтобы выслушать обвинительный акт и подвергнуться судебному допросу. Таинственная ограда Тампля выдала свою тайну, которую теперь люди видят облаченной в орехового цвета сюртук. Это едет тот самый Людовик, который был некогда Людовиком Желанным; злосчастный король направляется теперь к пристани: его плачевные разъезды и путешествия подходят к концу. Долг, который ему еще осталось выполнить, — долг спокойного терпения — вполне в его силах.

Странная процессия движется в молчании, говорит Прюдом, или среди рокота «Марсельезы», в молчании входит в зал Конвента, причем Сантер поддерживает Людовика под руку. Людовик окидывает зал спокойным взглядом, желая посмотреть, что это за Конвент и парла-

мент. Перемен в самом деле много: все изменилось с февраля, два года назад, когда заседавшая в то время Конституанта расстилала для нас бархат с цветами лилии и мы пришли сказать милое слово, после которого все вскочили и поклялись в верности; тогда же поднялась и поклялась вся Франция, устроившая праздник Пик. И вот чем он кончился! Барер, некогда «плакавший», смотря из-за редакторского стола, теперь взирает с председательской кафедры, держа лист с 57 вопросами, и говорит с сухими глазами: «Людовик, вы можете сесть». Людовик садится; говорят, это то же самое кресло, то же дерево и та же обивка, на котором он год назад, среди танцев и иллюминаций, принял конституцию. Дерево осталось тем же, но как изменилось многое другое! Людовик сидит и слушает со спокойным лицом и спокойными мыслями.

Из 57 вопросов мы не приведем здесь ни одного. Это коварные вопросы, касающиеся всех главных документов, захваченных 10 августа или найденных впоследствии в железном шкафу, и всех главных событий истории революции, и сводятся они по существу к следующему: «Людовик, бывший королем, виновен ли ты в том, что до известной степени старался посредством действий и письменных документов остаться королем?» В ответах тоже мало достойного нашего внимания. Это большей частью спокойные отрицания; обвиняемый просто ограничивается одним «нет»: я не признаю этого документа; я не совершал этого поступка или совершил его согласно с действовавшим тогда законом. Когда часа через три все 57 вопросов и документы, в количестве 162, исчерпаны, Барер кончает допрос словами: «Людовик, приглашаю вас удалиться».

Людовик удаляется с эскортом муниципалитета в соседнюю комнату комитета, попросив, перед тем как оставить суд, чтобы ему дали защитника. В комитетской комнате ему предлагают подкрепиться, он отказывается, но потом, видя, как Шометт ест кусочек хлеба, которым поделился с ним гренадер, говорит, что ему тоже захотелось хлеба. Пять часов, а он плохо позавтракал в это утро, полное тревоги и барабанного боя. Шометт разламывает свой ломтик; король съедает корку, садится, продолжая есть, в зеленую карету и спрашивает, что ему делать с мякишем. Писец Шометта берет его у него и выбрасывает на улицу. Людовик говорит: «Жаль выбрасывать хлеб, когда такая нехватка продуктов». «Моя бабушка, — замечает Шометт, — обыкновенно говорила: «Малютка, никогда не бросай зря ни одной крошки хлеба, ты ведь не можешь его сделать»». «Месье Шометт, — замечает Людовик, — ваша бабушка, по-видимому, была рассудительной женщиной»¹⁸. Бедный, невинный смертный, как спокойно он ждет своего жребия! С этой задачей по крайней мере он справится: для нее достаточно одной пассивности, без активности! Он говорит еще о том, что ему хочется когда-нибудь проехаться по всей Франции, чтобы иметь представление о ее топографии и географии, так как он всегда любил географию. Ограда Тампля снова принимает его и закрывается за ним; глазеющий Париж может отправляться к своим очагам и кофейням, клубам и театрам; спускается сырой мрак, скрывающий барабаны и патрули этого странного дня.

Людовик отделен теперь от королевы и своей семьи, он принужден проводить время в незатейливых размышлениях. Мрачно стоят вокруг него каменные стены; из тех, кого он любит, нет никого. «В этом состоянии неопределенности» на случай самого худшего он пишет завещание. Этот документ, который можно прочесть и сейчас, полон спокойствия, простодушия, набожной кротости. Конвент после долгих дебатов разрешил ему иметь защитника по собственному выбору. Адвокат Тарже чувствует себя «слишком старым», так как ему 54 года, и отказывается. Некогда он стяжал большую славу, защищая кардинала ожерелья Рогана, но здесь он не хочет стяжать ее. Адвокат Тронше, лет на 10 старше его, не отказывается. А старик Мальзерб сам вызывается и добровольно выступает на поле своего последнего сражения. Добрый старый герой! Ему 70 лет, и волосы его побелели, но он говорит: «Я дважды призывался в совет моего монарха, когда весь мир домогался этой чести, и я обязан ему этой услугой теперь, когда многие считают ее опасной». Эти двое и более молодой де Сез, которого они выбирают для защитительной речи, принимаются за 57 обвинительных пунктов и за 102 документа; Людовик помогает им, насколько может.

Итак, готовится к разбирательству крупное дело, и все человечество, во всех странах, следит за ним. В какой форме и каким способом поведет его Конвент, чтобы на него не пало даже тени порицания? Трудно будет это! Конвент, находящийся действительно в большом затруднении, обсуждает и совещается. Каждый день, с утра до ночи, с трибуны гремят речи по этому делу: нужно растянуть старую формулу так, чтобы она покрыла новое содержание. Патриоты с Горы, ожесточающиеся все сильнее, требуют главным образом быстроты; единственная хо-

рошая форма — это та, которая всех быстрее. Тем не менее Конвент совещается; трибуна гремит, заглушаемая иногда тенорами и даже дискантами; весь зал вокруг нее вопит в частых вспышках ярости и возбуждения. Громы и крики продолжались целых две недели, становясь все резче и сильнее, пока наконец мы не решаем, что в среду 26 декабря Людовик должен выступить и защищаться. Защитники его жалуются, что такая поспешность может быть роковой. Они как адвокаты имеют право на такую жалобу, но тщетно: для патриотизма время тянется бесконечно долго.

Итак, в среду, в восемь часов утра, когда еще темно и холодно, все сенаторы на своих местах. Правда, они согревают холодный час сильной горячностью, вошедшей теперь в обыкновение: какой-нибудь Луве или Бюзона нападает на какого-нибудь Тальена, Шабо, и затем вся Гора возбуждается против всей Жиронды. Едва успевает это кончиться, как в девять часов в зал входят Людовик и трое его адвокатов, сопровождаемые бряцанием оружия Национальной гвардии под командованием Сантера.

Де Сез раскрывает свои бумаги и, с честью выполняя свою опасную миссию, говорит в течение трех часов. Его защитительная речь, «составленная почти в одну ночь», мужественная, но обдуманная, не лишена талантливости и мягкого патетического красноречия; Людовик бросился к нему на шею, когда они удалились, и воскликнул сквозь слезы: «*Mon pauvre Desèze!*» Сам Людовик, прежде чем удалиться, прибавил несколько слов, «быть может последних, которые он скажет своим судьям»: больше всего, говорит он, угнетает его сердце то, что его считают виновным в кровопролитии 10 августа или в каком бы то ни было пролитии или желании пролития французской крови. Сказав это, он удалился из зала, покончив здесь со своей задачей. Для многих странных дел приходил он в этот зал, но самое странное — это последнее.

А теперь почему же медлит Конвент? Вот обвинительный акт и доказательства, вот защита — разве остальное не вытекает само собой? Гора и патриоты вообще все громче требуют поспешности, непрерывного заседания, пока дело не будет кончено. Тем не менее сомневающийся, боязливый Конвент решает, что надо сначала обсудить дело, и всем членам, желающим говорить, предоставляется слово. Поэтому к пропитрам, красноречивые члены Конвента! Выкладывайте свои мысли, отзвуки и отголоски мыслей; настало время показать себя: Франция и весь мир слушают вас! Члены Конвента не заставляют долго просить себя: речи, устные памфлеты следуют одни за другими со всем доступным красноречием; список председателя все пополняется именами желающих говорить; изо дня в день, ежедневно и ежечасно гремит неутомимая трибуна — крикливые галереи с большим разнообразием поставляют теноров и дискантов. Иначе было бы, пожалуй, слишком однообразно.

Патриоты на Горе и в галереях или по ночам в зданиях секций и в Якобинском клубе совещаются среди крикливых *Tricoteuses*, следя за всем происходящим рысьими глазами и подавая голос в случае надобности, иногда даже очень громко. Депутат Тюрио, бывший адвокат и избиратель Тюрио, видевший с вершины Бастилии, как Сен-Антуан поднялся наподобие океана, этот Тюрио может растягивать формулы с таким же усердием, как и всякий другой. Жестокий Бийо не смолчит, если задеть его. Не молчит и жестокий Жан-Бон — тоже иезуит своего рода, имя его не следует писать, как часто делается в словарях, *Jambon*, что значит просто «ветчина»!

Но вообще пусть ни один человек не считает, что Людовик невиновен. Единственный вопрос, возникающий или возникший перед разумным человеком, — это следующий: может ли Конвент судить Людовика? Или его должен судить весь народ в народном собрании и, следовательно, с отсрочкой? Всё отсрочки! «Вы, жирондисты, фальшивые государственные мужи!» — ревет патриотизм, почти теряя терпение. Но в самом деле, подумаем, что же делать этим бедным жирондистам? Высказать свое мнение, что Людовик — военнопленный и не может быть казнен без несправедливости, беззакония и произвола? Но высказать такое мнение значило бы окончательно потерять всякую опору у решительных патриотов. Да, собственно говоря, это даже не убеждение, а только предположение и туманный вопрос. Сколько есть бедных жирондистов, уверенных только в одном: что всякий человек, и жирондист также, должен иметь в чем-то опору и твердо стоять на ней, сохраняя хорошие отношения с почтенными людьми! Вот в чем они убеждены и во что верят. Им приходится мучительно извиваться между двумя рогами этой дилеммы¹⁹.

А тем временем Франция не бездействует и Европа также. Мы сказали уже, что Конвент — это сердце, из которого исходят и в которое входят различные влияния. Казнь короля, называть ли ее мученичеством или достойной карой, оказала бы большое влияние! В двух отношениях Конвент уже оказал влияние на все нации, и притом к большому своему вреду. 19 ноября он издал один декрет, который затем подтвердил, развив его детально, — это декрет о том, что всякая нация, которая пожелает отряхнуть с себя цепи деспотизма, этим самым становится, так сказать, сестрой Франции и может рассчитывать на ее помощь и поддержку. Этот декрет, который поднял шум среди дипломатов, публицистов и профессоров международного права и который не может одобрить никакая «цепь деспотизма», никакая власть, был внесен депутатом Шамбоном, жирондистом, в сущности, быть может, просто как красивая риторическая формула.

Во второй раз Конвент уронил свой авторитет перед лицом всех наций по еще более жалкому поводу, который произвела дребезжащая, как погремушка, и такая же пустая голова некоего Жакоба Дюпона из департамента Луара. Конвент рассуждал как раз о проекте народного образования, и депутат Дюпон сказал в своей речи: «Я должен признаться, господин председатель, что лично я атеист»²⁰, думая, вероятно, что миру интересно знать это. Франция приняла это заявление без комментариев, во всяком случае без громких комментариев, так как во Франции в это время и без того было шумно. Но остальные страны приняли его в штыки, с ужасом и изумлением²¹, и влияние его или впечатление было в высшей степени печальным! А теперь если к этим двум впечатлениям прибавить еще третье, которое, пульсируя, обойдет весь земной шар, — если прибавить еще цареубийство?

В процесс Людовика вмешиваются иностранные дворы: Испания, Англия, но их не слушают, хотя они и являются, по крайней мере Испания, с пальмовой ветвью в одной руке и с обнаженным мечом — в другой. Но и дома, какие бурно пульсирующие волны накатываются на Конвент из окружающего его Парижа и всей Франции! Сыплются петиции, просьбы о равном правосудии в царстве так называемого Равенства. Живые патриоты умоляют; и разве не умоляют мертвые патриоты, о вы, национальные депутаты? Разве 1200 мертвецов, зарытые в холодных могилах, не умоляют вас немой пантомимой смерти красноречивее, чем словами? Увечные патриоты ковыляют на костылях вокруг зала Манежа, требуя справедливости. Раненые десятого августа, вдовы и сироты убитых являются в полном составе с петицией, ковыляя и проходя в красноречивом безмолвии по залу; одного раненого патриота, который не может даже ковылять, приносят сюда на кровати и проносят, наравне с головами, в горизонтальном положении²². Трибуна Конвента, смолкшая было при этом зрелище, начинает снова греметь юридическими громами. А снаружи Париж завывает все сильнее. Слышится зычный голос Сен-Юрюга и истерическое красноречие Père Duchesne; «Варле*, апостол Свободы», с пикой и в красном колпаке, бежит, таща складную ораторскую табуретку. «Кара изменнику!» — кричит весь патриотический мир. Подумайте также и о другом крике, громко оглашающем улицы: «Дайте нам хлеба или убейте нас! Хлеба и Равенства! Кара изменнику, чтобы мы имели хлеб!»

* Варле Жан Франсуа — активный деятель секции Прав Человека, участник движения «бешеных».

Умеренные или нерешительные патриоты противостоят решительным. Мэр Шамбон слышит о страшной свалке в Национальном театре: дело дошло до ссоры, а затем и до драки между решительными и нерешительными патриотами из-за новой драмы под названием «Ami de lois» («Друг законов»). Это одна из самых слабых из когда-либо написанных драм, но с поучительными намеками, вследствие которых залетали пудренные парики друзей порядка и черные волосы с якобинских голов, и мэр Шамбон спешит с Сантером, надеясь утихомирить страсти. Но вместо успокоения нашего бедного мэра так «тискают», говорит отчет, и так бранят и позорят, говорим мы, что он с сожалением окончательно покидает свой кратковременный пост, «так как у него слабые легкие». Об этой несчастной драме «Ami de lois» идут дебаты в самом Конвенте: так вспыльчивы и раздражены друг против друга умеренные и неумеренные патриоты²³.

А мало ли среди этих двух кланов явных и тайных аристократов, шпионов, прибывающих из Лондона с важными пакетами, притворяющихся прибывшими из Лондона? Один из последних, по имени Виар, утверждал, что может обвинить Ролана или даже жену Ролана, к великой радости Шабо и Горы. Но жена Ролана, будучи вызвана, тотчас явилась в зал Конвента и с

своей светлой безмятежностью немногими ясными словами рассеяла в прах обвинение Виара при рукоплесканиях всех друзей порядка²⁴. Так завывает одичалый Париж среди театральных бунтов, криков «Хлеба или убейте нас!», среди ярости, голода и неестественной подозрительности. Ролан становится все раздраженнее в своих посланиях и письмах и доходит почти до истеричности. Марат, которому никакая земная сила не может помешать видеть насквозь изменников и Роланов, три дня лежит в постели; неопенимый Друг Народа чуть не умирает от сердечного приступа, лихорадки и головной боли: «O peuple babillard, si tu savais agir!» (О болтливый народ, если бы ты умел действовать!)

И в довершение всего победоносный Дюмурье приезжает в эти новогодние дни в Париж, как опасаются, с недобрыми намерениями. Он заявляет, будто приехал жаловаться на министра Паша и на хищения Гассенфраца, а также для того, чтобы обсудить план весенней кампании. Однако находят, что он слишком много вращается среди жирондистов. Уж не замышляют ли они вместе заговор против якобинцев, против равенства и наказания Людовика? Имеются его письма к Конвенту. Не желает ли он играть роль Лафайета, этот новый победоносный генерал? Пусть он удалится вновь, но избалованный²⁵.

А трибуна Конвента продолжает греметь юридическим красноречием и предположениями, не переходящими в действие, и в списке председателя все еще значатся 50 ораторов. Эти жирондистские председатели как будто оказывают предпочтение своей партии; мы подозреваем, что они плутуют со списком — ораторов с Горы не слышно. Гремят весь декабрь до января и Нового года, а конца все не видно! Париж толпится и воет вокруг все громче, воет, как вихрь. Париж хочет «привезти пушки с Сен-Дени»; поговаривают о том, чтобы «закрыть заставы», к ужасу Ролана.

Вслед за тем трибуна Конвента внезапно перестает греметь: мы обрываем сразу, кто бы ни стоял в списке, и кончаем. В будущий вторник, 15 января 1793 года, приступят к поименному голосованию, и тем или иным путем эта великая игра будет наконец разыграна!

Глава седьмая

ТРИ ГОЛОСОВАНИЯ

Виновен ли Людовик Капет в заговоре против свободы? Должен ли наш приговор быть окончательным, или он нуждается в ратификации путем обращения к народу? Если Людовик виновен, то какое должно быть наказание? Такова форма, принятая после смятения и «многочасовой нерешительности»; таковы три следующих один за другим вопроса, относительно которых предстоит теперь высказаться Конвенту. Париж волнуется вокруг его зала, толпится и шумит. Европа и все народы ждут его ответов. Каждый депутат должен лично, от своего имени ответить: виновен или не виновен?

Относительно виновности, как указано выше, в душе патриотов нет сомнений. Подавляющее большинство высказывается за виновность; Конвент единогласно постановляет: «Виновен», за исключением каких-нибудь 28 человек, которые не высказываются за невиновность, а совсем отказываются от голосования. Второй вопрос также не возбуждает сомнений вопреки расчетам жирондистов. Разве обращение к народу не окажется просто междоусобной войной, только под другим названием? Большинство двух против одного отвечают, что обращения к народу не должно быть; значит, и это установлено. Шумные патриоты теперь, в десять часов вечера, могут умолкнуть на ночь и отправиться спать не без надежды. Вторник прошел хорошо. Завтра решится, какое наказание! Завтра — решительный бой!

Можете вообразить себе, какое стечение патриотов на следующий день, в среду; весь Париж поднимается на носки, и все депутаты на местах! 749 почтенных депутатов, из них около 20 отсутствуют, находясь в командировках; Дюшатель и семеро других отсутствуют по болезни. Однако ожидающим патриотам и стоящему на носках Парижу приходится запастись терпением: эта среда опять проходит в дебатах и волнении; жирондисты предлагают, чтобы решение утверждалось «большинством в две трети»; патриоты яростно противятся им. Дантон, только что вернувшийся из поездки в Нидерланды, добивается отнесения предложения жирондистов «к по-

рядку дня»; он добивается потом даже того, чтобы вопрос решался безотлагательно, *sans désespérer*, в непрерывном заседании, пока решение не будет принято.

И вот наконец в восемь часов вечера начинается это изумительное голосование посредством вызова по именам, *appel nominal*. Какое наказание? Нерешительные жирондисты, решительные патриоты, люди, боящиеся короля, люди, боящиеся анархии, должны отвечать здесь и сейчас же. Бесчисленное множество патриотов волнуется в тускло освещенных лампами коридорах, теснится на всех галереях, во что бы то ни стало желая слышать. Приставы громко вызывают каждого депутата по имени и департаменту; каждый должен взойти на трибуну и дать ответ.

Очевидцы изобразили эту сцену третьего голосования и голосований, вытекающих из него, как самую странную во всей революции; сцену, растянувшуюся до бесконечности, продолжавшуюся с немногими короткими перерывами от среды до утра воскресенья. Длинная ночь переходит в день, утренняя бледность покрывает все лица, и снова спускаются зимние тени, и зажигаются тусклые лампы; но днем и ночью, в черед часов, депутаты один за другим непрерывно поднимаются по ступеням трибуны, останавливаются там на некоторое время в более ярком освещении наверху и произносят свое роковое слово, вновь погружаясь затем во мрак и толчею. В полночный час они похожи на призраков, на выходцев из ада! Никогда председателю Верньо и никакому другому председателю на земле не приходилось руководить ничем подобным. Жизнь короля и многое другое, зависящее от нее, дрожа, колеблется на весах. Один за другим члены Конвента поднимаются на трибуну; шум стихает, пока не произнесено: «Смерть», «Изгнание», «Пожизненное заключение». Многие говорят: «Смерть», но в самых осторожных, строго обдуманных фразах, с пояснениями, подкреплениями, какие только могут придумать, и со слабыми ходатайствами о помиловании. Многие говорят: «Изгнание; все, только не смертная казнь». Весы колеблются, никто не может еще предсказать, куда они склонятся. Патриоты в беспокойстве и ревут; приставы не могут усмирить их.

Ввиду такого яростного рева патриотов многие из бедных жирондистов говорят: «Смерть», мотивируя это столь неприятное для них слово краткой казуистикой и иезуитскими измышлениями. Даже Верньо говорит: «Смерть» — и также приводит иезуитские мотивы. Богатый Лепелетье Сен-Фаржо, сначала принадлежавший к дворянству, потом к патриотической левой в Конституанте, много говоривший и вносящий доклады, и там, и в других местах, против смертной казни, тем не менее теперь говорит: «Смерть» — слово, за которое он дорого заплатит. Манюэль, в прошлом августе определенно принадлежавший к решительным патриотам, но с сентября и с сентябрьских событий все более отстававший от них, высказывается за изгнание. Но ни одно слово его не могло бы встретить сочувствия в этом Конvente, и он в немой злобе покидает это собрание навсегда. В коридоре его сильно толкают. Филипп Эгалите голосует согласно голосу своей души и зову своей совести — голосует за смерть; при этом слове, произнесенном им, даже патриоты качают головой, и по залу суда проносятся ропот и содрогание. Мнение Робеспьера не может подлежать сомнению; речь его длинна. Поднимается Сиейес и, едва остановившись, почти на ходу, кричит: «*La mort sans phrases!*» (Смерть без разговоров!) — и исчезает, как привидение или исчадие ада!

Однако если читатель думает, что вся эта процедура носит погребальный, печальный или хотя бы только серьезный характер, то он сильно ошибается. «Приставы в отделении Горы, — говорит Мерсье, — превратились в оперных капельдинеров»: они открывают и закрывают галереи для привилегированных лиц, для «любовниц д'Орлеана-Эгалите» или для других разряженных знатных дам, шуршащих кружевами и трехцветными лентами. Галантные депутаты постоянно навещают сюда, угощая их мороженым, прохладительными напитками и болтовней; разряженные красавицы кивают в ответ; некоторые принесли с собой карточки и булавки и отмечают проколами «да» и «нет», как при игре в *Rouge et Noir*. Выше царит *Mère Duchesse* со своими ненарушаемыми амазонками; она не может удержаться от протяжных «га-га!», когда подается голос не за смерть. На галереях закусьвают, пьют вино и водку, «как в открытой таверне, *en pleine tabagie*». Во всех соседних кофейнях держатся пари. Но в зале Конвента на всех лицах усталость, нетерпение, крайнее переутомление, они оживляются лишь изредка, при новом обороте игры. Некоторые депутаты засыпают; приставы ходят и будят их, когда им надо голосовать; другие депутаты рассчитывают, не успеют ли они сбегать пообедать. Фигуры поднимаются, как бледные призраки, в тусклом свете ламп и произносят с этой трибуны только одно слово: «Смерть». «*Tout est optique*, — говорит Мерсье, — весь мир представляет оптическую тень»²⁶.

Поздно ночью в четверг, когда голосование кончено и секретари подсчитывают голоса, является больной, похожий на призрак Дюшатель; его несут на стуле, завернутым в одеяла, «в халат и в ночном колпаке», и он вотирует за помилование: ведь и один голос может перетянуть чашу весов.

Нет! Среди гробового молчания председатель Верньо скорбным голосом принужден сказать: «Заявляю от имени Конвента, что наказание, к которому присужден Людовик Капет, — смерть». Смертная казнь присуждена незначительным большинством — в 53 голоса. Мало того, если мы отнимем у одной стороны 26 голосов, сказавших «смерть», но связавших с нею слабое ходатайство о помиловании, и прибавим их к противной стороне, то получится большинство всего в один голос.

Итак, приговор гласит: «Смерть!» Но как он будет приведен в исполнение? Он еще не исполнен! Едва объявлен результат голосования, как входят трое защитников Людовика с протестом от его имени и с просьбой об отсрочке для обращения к народу. Де Сез и Тронше ходатайствуют об этом в кратких красноречивых словах, а старый Мальзерб ходатайствует с красноречивым отсутствием красноречия, прерывающимся фразами, с волнением и рыданиями; благородный седой старец с его энергией, смелым умом и честностью не в силах справиться со своими чувствами и заливается немymi слезами²⁷. Обращение к народу отвергается, так как об этом уже состоялось постановление. Что же касается отсрочки, которую они называют *sursis*, то это будет подвергнуто обсуждению и поставлено на голосование завтра: сейчас заседание закрывается. В ответ на это патриоты с Горы «свистят», но «деспотическое большинство» решило так, и заседание откладывается.

Значит, еще четвертое голосование, ворчит негодующий патриотизм, еще голосование и бог весть сколько других и сколько отложенных голосований, и все дело будет оставаться в неопределенности! И при каждом новом голосовании эти иезуиты-жирондисты, даже те, кто голосовал за смерть, будут стараться найти какую-нибудь лазейку! Патриотизм должен быть бдительным и неистовым. Одно деспотическое закрытие заседания уже было, а теперь еще другое, в полночь, под предлогом усталости; вся пятница проходит в колебаниях, в торговле, в пересчете числа голосов, которое оказалось подсчитанным верно! Патриоты режут все громче; от долгого ожидания они впали почти в бешенство, и глаза их налились кровью.

«Отсрочка: да или нет?» — вопрос этот голосуется в субботу, весь день и всю ночь. Нервы у всех истощены, все сердца в отчаянии; наконец-то дело близится к концу. Верньо, несмотря на рев, осмеливается сказать: «Да, отсрочка», хотя голосовал за смерть. Филипп Эгалите по душе и совести говорит: «Нет». Следующий поднимающийся на трибуну депутат говорит: «Раз Филипп говорит: «Нет», я со своей стороны говорю: «Да»» (*Moi, je dit: «Oui»*). Весы продолжают колебаться. Наконец в три часа утра, в воскресенье, председатель объявляет: «Отсрочка отвергнута большинством в 70 голосов. Смерть в 24 часа!»

Министр юстиции Гара должен отправиться в Тампль с этой мрачной вестью; он несколько раз восклицает: «*Quelle commission affreuse!*» (Какое ужасное поручение!)²⁸ Людовик просит духовника и еще три дня жизни, чтобы подготовиться к смерти. Духовника разрешают; три дня и всякие отсрочки отвергаются.

Итак, спасенья нет? Толстые каменные стены отвечают — нет. Неужели у короля Людовика нет друзей? Неужели нет энергичных людей, которые с отчаянным мужеством решились бы на все в таких крайних обстоятельствах? Друзья короля Людовика далеко, и они слабы. Даже в кофейнях за него не поднимается ни одного голоса. Капитан Даммартен уже не обедает теперь в ресторане Мео, не видно там и сеющих смерть усачей в отпуску, показывающих кинжалы усовершенствованного образца. Храбрые роялисты, собиравшиеся у Мео, далеко за границами; они рассеяны и блуждают по свету, или кости их белеют в Аргоннском лесу. Только несколько слабых священников «расклеивают за ночь на всех углах воззвания», призывающие к освобождению короля и приглашающие набожных женщин восстать в его защиту; священников хватают во время распространения этих листовок и отправляют в тюрьму²⁹.

Но нет, у Людовика нашелся один заступник из тех, кто бывал у Мео; он постарался сделать все, что мог, и даже более того: убил депутата и довел до иступления всех парижских патриотов! В пять часов вечера, в субботу, Лепелетье Сен-Фаржо, подав свой голос против отсрочки, побежал перекусить в ресторан Феврье в Пале-Руаяле. Он пообедал и уже расплачи-

вался, когда к нему подошел коренастый мужчина «с черными волосами и синим подбородком», в широком камзоле; это был, как потом вспомнили Феврье и присутствующие, некий Пари из бывшей королевской гвардии. «Вы Лепелетье?» — спрашивает он. — «Да». — «Вы голосовали по делу короля?» — «Я подал голос за смерть». — «Scélerat, вот тебе!» — крикнул Пари и, выхватив саблю из-под камзола, вонзил ее глубоко в бок Лепелетье. Феврье схватил его, но он вырвался и убежал.

Депутат Лепелетье лежит мертвый; он скончался в сильных мучениях в час дня — за два часа до того, как голоса против отсрочки были окончательно подсчитаны. Пари скитается в бегах по Франции; его не удастся схватить; через несколько месяцев его находят застрелившимся в далекой глухой гостинице^{30*}. Робеспьер имеет основания думать, что принц д'Артуа находится тайно в Париже и что весь Конвент целиком будет перебит. Сантер удваивает и утраивает все свои патрули. Сострадание тонет в ярости и страхе, и Конвент отказывает в трех днях жизни и во всякой отсрочке.

* Феликс, со свойственной ему любовью к чудесному, полагает, что самоубийцей в гостинице был не Пари, а какой-нибудь его двойник. — *Примеч. авт.*

Глава восьмая

PLACE DE LA RÉVOLUTION*

Итак, вот до какого конца дожил ты, о злополучный Людовик! Потомок шестидесяти королей должен умереть на эшафоте в согласии со всей буквой закона. Форма этого закона, форма общества вырабатывалась в царствование шестидесяти королей, в продолжение тысячи лет и тем или иным образом превратилась в весьма странную машину. Несомненно, машина эта в случае необходимости может быть и страшной, мертвой, слепой, не тем, чем она должна была бы быть, и быстрым ударом или холодной, медленной пыткой она погубила жизни бесчисленных людей. И вот теперь сам король или, вернее, королевская власть в его лице должна погибнуть в жестоких мучениях, подобно Фаларису, заключенному в чрево своего же собственного раскаленного медного быка! ** Так всегда бывает, и ты должен бы знать это, гордый деспот. Несправедливость порождает несправедливость: проклятия и ложь, как бы далеко они ни разбрелись по свету, всегда «возвращаются домой». Невинный Людовик несет на себе грехи многих поколений; в свою очередь он должен испытать, что праведного людского суда нет на земле и что плохо было бы ему, если б не существовало другого, высшего суда.

* Площадь Революции — площадь у берега Сены, между садом Тюильри и Елисейскими Полями. Центр площади занимала конная статуя Людовика XV. Первоначально площадь называлась его именем. В 1792 г. она переименована в площадь Революции, с 1795 г. — площадь Согласия.

** Способ казни, придуманный агригентским тираном Фаларисом (VI в. до н. э.).

Король, умирающий таким насильственным образом, поражает воображение, что и должно быть, и не может не быть. И однако, в сущности умирает ведь не король, а человек! Королевский сан — это платье; главная же утрата — это утрата кожи. Может ли мир во всей своей совокупности сделать нечто худшее человеку, у которого отнимают жизнь? Лалли шел на место казни, подгоняемый плетью, с забитым деревянными гвоздями ртом. Мелкие людишки, приговоренные за карманное воровство, переживают в немой муке целую пятиактную трагедию, когда идут не замечаемые никем на виселицу; они тоже осушают до дна кубок предсмертной тоски. Для королей и для нищих, для справедливо и несправедливо осужденных смерть одинаково жестокая вещь. Пожалей их всех; но и величайшее твое сострадание, увеличенное всеми соображениями и вспомогательными средствами вроде мыслей о контрасте между тронном и эшафотом, — как неизмеримо мало все это по сравнению с тем, о чем ты жалеешь!

Пришел духовник. Аббат Эджворт, ирландец родом, которого король знал по его хорошей репутации, немедленно явился для своей торжественной миссии. Покинь же землю, злополучный король; она с ее злобой пойдет своею дорогой, ты тоже можешь идти своей. Остается еще тяжелая сцена расставания с любимыми и близкими. Милых сердцу, окруженных такой же жестокой опасностью, нужно оставить здесь! Пусть читатель взглянет глазами камердинера

Клери сквозь стеклянную дверь, около которой стоит на страже и муниципалитет: он увидит одну из самых душераздирающих сцен.

«В половине девятого отворилась дверь в переднюю; первой показалась королева, ведя за руку сына, потом madame Royale* и сестра короля Елизавета; все они бросились в объятия короля. Несколько минут царило молчание, нарушаемое только рыданиями. Королева пошевельнулась, чтобы отвести Его Величество во внутреннюю комнату, где ожидал Эджворт, о чем они не знали. «Нет, — сказал король, — пойдемте в столовую, мне можно вас видеть только там». Они вошли туда, и я притворил дверь, которая была стеклянная. Король сел; королева села по левую руку его, принцесса Елизавета — по правую, madame Royale — почти насупротив, а маленький принц стоял между коленями отца. Все они наклонялись к королю и часто обнимали его. Эта горестная сцена продолжалась час и три четверти, во время которых мы ничего не могли слышать; мы могли только видеть, что всякий раз, когда король говорил, рыдания принцесс усиливались и продолжались несколько минут; потом король опять начинал говорить»³¹.

* Дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, герцогиня Ангулемская (1778—1851).

Итак, наше свидание и наше расставание кончаются! Конец огорчениям, которые мы причиняли друг другу; конец жалким радостям, которые мы верно делили; конец всей нашей любви и страданиям и всем нашим суетным земным трудам! Добрая душа, я никогда более, никогда вовеки не увижу тебя! Никогда! — Читатель, знаком ли тебе жестокий смысл этого слова?

Тягостная сцена эта продолжалась около двух часов, потом они отрываются друг от друга. «Обещай, что ты еще увидишься с нами завтра». Он обещает: «О, да, да, еще раз; а теперь идите, милые, любимые; молитесь бога за себя и за меня!» Тяжелая сцена кончилась; он не увидит их завтра. Проходя по передней, королева взглянула на стоящих на страже муниципальных церберов и с женской несдержанностью воскликнула сквозь слезы: «Vout êtes tous des scélérats!» (Все вы злодеи!)

Король Людовик крепко спал до пяти часов утра, когда Клери, согласно его приказанию, разбудил его. Клери стал причесывать его, а он, достав из карманных часов кольцо, все пытался надеть его на палец; это было обручальное кольцо, которое он как немой прощальный привет хотел вернуть королеве. В половине седьмого он причастился и продолжал молиться и беседовать с аббатом Эджвортом. Он не хочет видеть свою семью: это было бы слишком тяжело.

В восемь часов входят члены муниципалитета; король передает им свое завещание, поручения и вещи, которые они сначала грубо отказываются принять; потом дает им сверток золотых — 125 луидоров: их нужно возратить Мальзербу, который одолжил ему их. В девять часов Сантер говорит: «Пора». Король просит позволения удалиться еще на три минуты. По прошествии трех минут Сантер повторяет, что пора. Топнув правой ногой о пол, Людовик отвечает: «Partons» (едем). Как отдается сквозь бастионы и укрепления Тампля бой барабанов в сердце августейшей жены, которая скоро останется вдовой! «Значит, он ушел, не повидавшись с нами?» Королева, сестра короля и его дети горько плачут. Над всеми ими также витает смерть; все погибнут ужасным образом, за исключением одной — герцогини Ангулемской, которая останется жить, но не в добрый час.

У ворот Тампля слышится несколько слабых криков: «Grâce! Grâce!» Может быть, то были голоса милосердных женщин. На остальных улицах царит гробовая тишина. Не допускается ни один невооруженный человек; вооруженные, если даже и испытывают сострадание, не смеют выражать его, потому что каждый страшится своих соседей. Все окна закрыты, из них никто не смотрит. Все лавки закрыты. В это утро по этим улицам не проезжает никаких экипажей, кроме одного. Восемьдесят тысяч вооруженных людей стоят рядами, подобно вооруженным статуям; стоят пушки, канониры с зажженными фитилями, но без слов, без движения; это город, чарами превращенный в безмолвие и камень; единственный звук — это громыханье медленно катящегося экипажа. Людовик читает по молитвеннику молитвы умирающих; громыханье кареты, этот похоронный марш, проникает в его ухо среди великой тишины, но мысль тщетно пытается обратиться к небу и забыть землю.

Часы бьют десять; взгляните на площадь Революции, некогда площадь Людовика XV: около старого пьедестала, на котором когда-то стояла статуя этого короля, теперь возвышается гильотина! Далеко вокруг только пушки и вооруженные люди; позади теснятся зрители; Орлеан-Эгалите приехал в кабриолете. Быстрые гонцы (hoquetons) спешат каждые три минуты в городскую Ратушу; неподалеку заседает Конвент, мстящий за Лепелетье. Не обращая ни на что внимания, Людовик продолжает читать молитвы умирающих — он кончает их еще через пять минут; тогда экипаж открывается. В каком настроении осужденный? Десять различных свидетелей дают на этот счет десять разных показаний. Теперь, когда он прибыл к черному Мальстрёму и пучине Смерти, в нем борются все настроения: скорбь, негодование, покорность, старающаяся смириться. «Позаботьтесь о господине Эджворте», — коротко поручает он сидящему с ним офицеру, и затем оба выходят из экипажа.

Барабаны бьют. «Taisez vous!» (Замолчите!) — кричит король «страшным голосом (d'une voix terrible)». Он всходит на эшафот не без промедления; на нем коричневый камзол, серые панталоны, белые чулки. Он снимает камзол и остается в белом фланелевом жилете с рукавами. Палачи подходят к нему, чтобы связать его, он отталкивает их и противится; аббат Эджворт вынужден напомнить ему, что Спаситель, в которого веруют люди, покорился и дал себя

связать. Руки короля связаны, голова обнажена — роковая минута наступила. Он подходит к краю эшафота. «Лицо его горит», и он говорит: «Французы, я умираю безвинно; говорю вам это с эшафота, готовясь предстать перед богом. Я прощаю своих врагов; желаю, чтобы Франция... » Генерал на коне, Сантер или какой другой, выскакивает вперед с поднятой рукой: «Tambours!» Барабаны заглушают голос осужденного. «Палачи, исполняйте свою работу!» Палачи, опасаясь быть убитыми сами (если они не сделают того, что им приказано, то Сантер и его вооруженные ряды бросятся на них), хватают несчастного Людовика; на эшафоте происходит отчаянная борьба одного против шестерых, и его привязывают наконец к доске. Аббат Эджворт, нагнувшись, напутствует его: «Сын Святого Людовика, взойди на небеса!» Топор падает — жизнь короля преклась. Был понедельник 21 января 1793 года. Королю было тридцать восемь лет, четыре месяца и двадцать восемь дней³².

Палач Сансон показывает голову; дикий крик «Vive la République!» разносится, все усиливаясь; машут шляпами, фуражками, поднятыми на штыки; студенты из Коллегии четырех наций подхватывают этот крик на набережной, и он разносится по всему Парижу. Орлеан уезжает в своем кабриолете; советники городской Ратуши потирают руки, говоря: «Кончено, кончено!» Кровью короля смачивают носовые платки, концы пик. Палач Сансон, хотя впоследствии он отрицал это³³, продает пряди его волос; кусочки коричневого камзола долго еще носят в кольцах³⁴. Таким образом, в какие-нибудь полчаса все доделано, и вся толпа разошлась. Пирожники, продавцы кофе и молока выкрикивают свои обычные ежедневные возгласы. В этот вечер, говорит Прюдом, патриоты в кофейнях пожимали друг другу руки сердечнее обыкновенного. И только через несколько дней, по словам Мерсье, обыватели поняли, какое серьезное дело эта казнь.

Бесспорно, это дело серьезное, и оно не пройдет бесследно. На следующее утро Ролан, давно уже по горло сытый огорчениями и отвращением, подает в отставку. Отчеты его все готовы, точно переписаны черным по белому до последнего сантиметра; он желает только, чтобы их приняли, чтобы затем удалиться подальше, во мрак, в деревню, к своим книгам. Но отчеты никогда не будут приняты, и он никогда не удалится туда.

Ролан подал в отставку во вторник. В четверг происходят похороны Лепелетье де Сен-Фаржо и помещение его останков в Пантеон Великих Людей. Похороны эти замечательны, как дикая помпезность зимнего дня. Тело несут полуобнаженное: саван не закрывает смертельной раны; саблю и окровавленное платье несут напоказ; «мрачная музыка» играет суровые похоронные мотивы; венки из дубовых листьев сыплются из окон; председатель Верньо шествует с Конвентом, с Якобинским клубом и с патриотами всех цветов — скорбь сроднила их всех.

Похороны Лепелетье примечательны также и в другом отношении: это последний акт, совершенный этими людьми в согласии! Все партии и оттенки мнений, волнующие эту раздираемую смутой Францию и ее Конвент, стоят теперь, так сказать, лицом к лицу, кинжал к кинжалу, после того как жизнь короля, вокруг которой все они боролись и сражались, выброшена прочь. Дюмурье, завоевывающий Голландию, ворчит в опасном недовольстве во главе армий. Говорят, что он желает иметь короля и что королем его будет молодой Орлеан-Эгалите. Депутат Фоше в «Journal des Amis» проклинает свою жизнь горше, чем Иов, и призывает кинжалы царевубийц, «виперы Аррса» или Робеспьера, Плутона, Дантона, отвратительного мясника Лежандра и призрак д'Эрбуа, чтобы они поскорее отправили его на тот свет³⁵. Это говорит Те Деум Фоше, Фоше бастильской победы, член Cercle Social. Ужасен был смертоносный град, грохотавший вокруг нашего парламентарского флага в день Бастилии, но он был ничто в сравнении с таким крушением святой надежды, какое произошло теперь, с превращением золотого века в свинцовый шлак и сернистую черноту вечного мрака!

В самой Франции убийство короля разделило всех друзей, а за пределами ее соединило всех врагов. Братство народов, революционная пропаганда, атеизм, царевубийство — полное разрушение социального порядка в мире! Все короли, приверженцы королев и враги анархии соединяются в коалицию, как для войны за собственную жизнь. Англия извещает гражданина Шовлена, посланника, или, вернее, мантию посланника, что он должен покинуть эту страну в восьмидневный срок. Согласно этому, посол и его мантия, Шовелен и Талейран, уезжают³⁶. Талейран, замешанный в истории с железным шкафом, оказавшимся в Тюильри, находит, что ему безопаснее отправиться в Америку.

Англия выгнала посольство, Англия объявляет войну, по-видимому возмущенная главным образом состоянием реки Шельды. Испания объявляет войну, возмущенная главным образом чем-то другим, что, без сомнения, указано в ее манифесте³⁷. Мы находим даже, что не Англия объявила войну первой и не Испания, но что Франция сама первая объявила войну им обеим³⁸. Это пункт необычайно интересный для парламента и журналистики того времени, но лишенный всякого интереса в настоящее время. Все объявляют войну. Меч обнажен, ножны отброшены. Дантон в своем обычном высоком риторическом стиле промолвил: «Нам угрожает коалиция монархов, а мы бросаем к их ногам в качестве перчатки голову монарха».

Книга III

ЖИРОНДИСТЫ

Глава первая

ПРИЧИНА И ДЕЙСТВИЕ

Огромное революционное движение, которое мы сравниваем со взрывом ада и преисподней, смело королевскую власть, аристократию и жизнь короля. Теперь вопрос заключается в том, что оно сделает в ближайшем будущем, в какую форму оно выльется. Сформируется ли оно в царство законности и свободы, согласно привычкам, убеждениям и стараниям образованных, состоятельных, уважаемых классов? Иными словами, взорвется ли излившийся описанным образом поток вулканической лавы и потечет ли согласно формуле жирондистов и предустановленным законам философии? Благо нашим друзьям-жирондистам, если это будет так.

Однако не правдоподобнее ли предположить, что теперь, когда не осталось никакой внешней силы, королевской или иной, которая могла бы контролировать это движение, оно пойдет своим собственным путем, и, вероятно, весьма своеобразным? И далее, что к руководству им придет человек или люди, лучше всего понимающие его внутренние тенденции, могущие их выразить и осуществить? Наконец как движение, по самой природе своей лишенное порядка, возникшее вне и ниже пределов порядка, не должно ли оно действовать и развиваться не как нечто упорядоченное, а как хаос, разрушительно и самоистребительно, до тех пор пока не появится нечто, заключающее в себе порядок и достаточно сильное, чтобы снова подчинить себе это движение? Можно также предположить, что это нечто будет не формулой с философскими предложениями и судебным красноречием, а действительностью, и, быть может, с мечом в руке!

Что касается формулы жирондистов, предлагающей respectable республику для средних классов теперь, когда всякая аристократия основательно разгромлена, то мало оснований ожидать, чтобы дело остановилось на этом. Свобода, Равенство и Братство — таков выразительный, пророческий лозунг. Может ли быть осуществлением их республика для почтенных, белолицых средних классов? Главными двигателями Французской революции, как всегда будет при подобных революциях во всех странах, были голод, нищета и тяжелый кошмарный гнет, давивший 25 миллионов существ, а не оскорбленные самолюбия или спорные воззрения философствующих адвокатов, богатых лавочников и земельного дворянства. Феодальные *Fleurs-de-lys* сделались из рук вон плохим походным знаменем и должны были быть разорваны и истоптаны, но денежный мешок Маммоны (ибо в те времена «respectable республика для средних классов» означала именно это) еще хуже. В сущности это действительно самое худшее и низменное из всех знамен и символов власти среди людей; и оно возможно только во времена всеобщего атеизма и неверия во все, за исключением грубой силы и чувственности; гордость происхождения, чиновная гордость, любая другая возможная гордость лучше гордости кошельком. Свобода, Равенство, Братство — санкюлоты будут искать эти вещи не в денежном мешке, а в другом месте.

Поэтому мы говорим, что революционная Франция, лишенная контроля извне, лишенная высшего порядка внутри, превратится в одно из самых бурных зрелищ, когда-либо виденных на земле, и его не сможет регулировать никакая жирондистская формула. Это неизмеримая сила, составленная из многих разнородных соединимых и несоединимых сил. Говоря более яс-

ным языком, Франция неминуемо должна разделиться на партии, из которых каждая будет стараться приобрести власть; отсюда возникнут противоречия, ожесточение, и одна партия за другой будут приходить к убеждению, что они не могут не только действовать совместно, но и существовать совместно.

Что касается числа партий, то, строго говоря, партий будет столько же, сколько мнений. Согласно этому правилу, в самом Национальном Конвенте, не говоря уже о Франции вообще, партий должно быть 749, ибо каждый человек имеет свое собственное мнение. Но так как каждый человек имеет в одно и то же время собственную натуру, или потребность идти собственным путем, и общественную натуру, или потребность видеть себя идущим бок о бок с другими, то что тут может образоваться, кроме разложения, опрометчивости, бесконечной сутолоки притяжений и отталкиваний, пока наконец главный элемент не окрепнет и дикое алхимическое брожение не уляжется?

Однако до 749 партий не доходила ни одна нация. В действительности же никогда не бывало многим больше двух партий сразу, так непобедима в человеке потребность к единению при всех его столь же непобедимых стремлениях к разъединению! Обычно бывает, повторяем, две партии одновременно; когда борются эти две партии, все меньшие оттенки партий соединяются под сенью наиболее подходящей им по цвету; когда же одна из двух победит другую, то она в свою очередь разделяется, сама себя разрушая, и, таким образом, процесс продолжается, сколько понадобится. Таково течение революций, возникающих подобно Французской, когда так называемые общественные узы разрываются и все законы, не являющиеся законами природы, превращаются в ничто, оставаясь лишь простыми формулами.

Но оставим эти несколько абстрактные соображения и предоставим истории рассказать нам о конкретной реальности, представляемой улицами Парижа в понедельник 25 февраля 1793 года. Задолго до рассвета в это утро улицы были шумны и озлобленны. Было много петиций, много обращений с просьбами к Конвенту. Только накануне приходила депутация прачек с петицией, жалуясь, что нельзя получить даже мыла, не говоря уже о хлебе и приправах к хлебу. Жалобный крик женщин раздавался вокруг зала Манежа: «Du pain et du savon!» (Хлеба и мыла!)¹

А теперь с шести часов утра в этот понедельник можно заметить, что очереди возле булочных необычайно велики и озлобленно волнуются. Не одни только булочники, но и по два комиссара от секций с трудом справляются с ежедневной раздачей пайков. Булочник и комиссары вежливы и предупредительны в это раннее утро, при свечах, и, однако, бледная холодная февральская заря занимается над сценой, не обещая ничего хорошего. Возмущенные патриотки, часть которых уже обеспечена хлебом, устремляются к лавкам, заявляя, что желают получить и бакалейные товары. Бакалейных товаров много: на улице выкатываются бочки с сахаром, гражданки-патриотки отвешивают сахар по справедливой цене 11 пенсов за фунт; тут же ящики с кофе, мылом, корицей и гвоздикой, с aqua vitae и другими спиртными напитками, — все распределяется по справедливой цене, но некоторые не уплачивают; бледный бакалейщик безмолвно ломает руки. Что делать? Распределяющие товары *citoyennes* несдержанны в словах и жестах, их длинные волосы висят космами, как у эвменид; за поясами их торчат пистолеты, а у некоторых, говорят, видны даже бороды — это патриоты в юбках и ночных чепчиках. И раздача эта кипит целый день на улицах Ломбардов, Пяти Алмазов и многих других; ни муниципалитет, ни мэр Паш, хотя он еще недавно был военным министром, не высылают войск, чтобы прекратить это, и до семи часов или даже позже ограничиваются только красноречивыми увещаниями.

В понедельник, пять недель назад, было 21 января, и мы видели, что Париж, казнивший своего короля, стоял безгласно, подобно окаменевшему заколдованному городу, а теперь, в этот понедельник, продавая сахар, он так шумит! Города, особенно города в состоянии революции, подвержены таким превращениям; скрытые течения гражданских дел и жизни волнуются и распускаются, обретая на глазах свою форму. Нелегко найти философскую причину и способ действия этого явления, когда скрытая сущность становится гласной, раскрываясь прямо на улице. Каковы, например, могут быть истинные философский смысл и значение этой продажи сахара? Откуда произошли и куда ведут события, разыгрывающиеся на улицах Парижа?

Что в этом замешаны Питт или золото Питта, это ясно всякому разумному патриоту. Но тогда возникает вопрос: кто же агенты Питта? Варле, апостола Свободы, недавно опять видели с пикой и в красном колпаке. Депутат Марат, оплакивая горькую нужду и страдания народа, до-

шел, по-видимому, до ярости и напечатал в этот самый день в своей газете следующее: «Если бы ваши Права Человека были чем-нибудь, кроме клочка исписанной бумаги, то ограбление нескольких лавок и один или два барышника, повешенные на дверной притолоке, положили бы конец такому ходу вещей»². Разве это не ясные указания, говорят жирондисты. Питт подкупил анархистов; Марат — агент Питта; отсюда и продажа сахара. С другой стороны, Якобинскому клубу ясно, что нужда искусственная, это дело жирондистов и им подобных, дело кучки людей, частью продавшихся Питту и всецело преданных своему личному честолюбию и жестокосердому крючкотворству; они не хотят установить таксы на хлеб, а неотступно болтают о свободной торговле, потому что хотят толкнуть Париж на насилия и поссорить его с департаментами; отсюда и продажа сахара.

Но что, если к этим двум достопримечательностям — к этому факту и теориям его — мы прибавим еще и третье? Ведь французская нация уже в течение нескольких лет верила в возможность, даже в неизбежное и скорое наступление всемирного Золотого Века, царства Свободы, Равенства и Братства, в котором человек человеку будет братом, а горе и грех исчезнут с земли. Нет хлеба для еды, нет мыла для стирки, а царство полного счастья уже у порога, раз Бастилия пала! Как горели наши сердца на празднике Пик, когда брат бросался на грудь к брату и в светлом ликовании 25 миллионов разразились кликами и пушечным дымом! Надежда наша была тогда ярка, как солнце; теперь она стала злобно красной, как пожирающий огонь. О боже, что за чары, что за дьявольское наваждение делают то, что полное счастье, которое так близко, что до него рукой подать, никогда, однако, нельзя схватить, а вместо него лишь раздоры и нужда? Одна шайка предателей за другой! Трепещите, изменники; бойтесь народа, называющегося терпеливым, многострадальным, он не может вечно покоряться тому, чтобы у него вытаскивали таким путем из карманов Золотой Век!

Да, читатель, в этом-то и чудо. Из этой вонючей свалки скептицизма, чувственности, сентиментальности, пустого макиавеллизма действительно выросла такая вера, пылающая в сердце народа. Целый народ, живущий в глубокой невзгоде, проснувшись к сознательности, верит, что он у преддверия братского рая на земле. Он протягивает руки, стремится обнять невыразимое и не может сделать это по известным причинам. Редко бывает, чтобы про целый народ можно было сказать, что он имеет какую-нибудь веру, за исключением веры в те вещи, которые он может съесть или взять в руки. А когда он получает какую-нибудь веру, то история его становится захватывающей, замечательной. Но с того времени, когда вся вооруженная Европа разом содрогнулась при слове отшельника Петра* и ринулась к гробу, в котором лежало тело Господне, не было сколько-нибудь заметного всеобщего импульса веры. С тех пор как смолкло протестантство, ни голос Лютера, ни барабан Жижки** не возвещали более, что Божья правда не дьявольская ложь; с тех пор как последний из камеронианцев (Ренвик было его имя; слава имени храброго) пал, убитый на крепостном валу в Эдинбурге, среди наций не было даже частичного импульса веры, пока наконец вера не проснулась во французской нации. В ней, повторяем, в этой изумительной вере ее, и заключается чудо. Это вера, несомненно, самого чудесного свойства даже среди других вер, и она воплотится в чудеса. Она душа этого мирового чуда, называемого Французской революцией, перед которой мир до сих пор исполнен изумления и трепета.

* Петр Амьенский (1050—1115), прозванный Петром Пустынником. Был одним из руководителей крестьянского ополчения в первом крестовом походе.

** Ян Жижка (ок. 1360—1424) — национальный герой чешского народа, полководец. Участник Грюнвальдской битвы 1410 г. С 1420 г. гетман таборитов.

Впрочем, пусть никто не просит историю объяснить посредством изложения причин и действий, как шло дело с этих пор. Борьба Горы и Жиронды и все последующее есть борьба фанатизма с чудесами, причины и последствия которой не поддаются объяснению. Шум этой борьбы представляется уму как гул голосов обезумевших людей; даже долго прислушиваясь и вникая, в нем различаешь мало членораздельного, а только шум сражения, клики торжества, вопли отчаяния. Гора не оставила мемуаров; жирондисты оставили их, но мемуары Жиронды слишком часто представляют собой не более чем протяжные возгласы: «Горе мне!» и «Будьте вы прокляты!» Если история может философски изобразить все стадии горения зажженного брандера*, она может попытаться решить и эту задачу. Здесь был слой горной смолы, там слой

серы, а вот в каком направлении проходила жила пороха, селитры, скипидара и порченого жира, это история могла бы отчасти знать, будь она достаточно любознательна. Но как все эти вещества действовали и воздействовали под палубами, как один слой огня влиял на другой благодаря своей собственной природе и искусству человека, теперь, когда все руки в яростном движении и пламя лижет паруса и стены, высоко взвиваясь над ними, — в это история пусть и не пытается проникнуть.

* Брандер — судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, которое поджигали и пускали по ветру или течению на неприятельские корабли.

Брандер этот — старая Франция, старая французская форма жизни; экипаж его — целое поколение людей. Дико звучат их крики и неистовства, похожие на крики духов, мучимых в адском огне. Но разве они не отошли уже в область прошлого, читатель! Брандер и они сами, пугавшие мир, уплыли прочь; пламя его и его громы исчезли в пучине времени. Поэтому история сделает только одно: она пожалеет людей, всех людей, ибо всех постигла горькая доля. Даже Неподкупному с серо-зеленым лицом не будет отказано в сострадании, в некотором человеколюбивом участии, хотя это и потребует усилий. А теперь, раз так многое уже целиком достигнуто, остальное пойдет легче. В глазах равного ко всем братского сострадания бесчисленные извращения рассеиваются, преувеличения и проклятия отпадают сами собой. Стоя на безопасном берегу, мы пристально смотрим, не окажется ли чего-нибудь для нас интересного и к нам применимого.

Глава вторая

ЛЮДИ В ШТАНАХ И САНКЮЛОТЫ

Гора и Жиронда теперь в полной ссоре; их взаимное озлобление, говорит Тулонжон, превращается в «бледную» злобу. Замечательное, печальное явление: у всех этих людей на устах слово «республика», в сердце каждого из них живет страстное желание чего-то, что он называет «республикой», и, однако, посмотрите, какая между ними смертельная борьба! Но именно так созданы люди. Они живут в недоразумении, и, раз судьба соединяет их вместе, недоразумения их различны или кажутся им различными! Слова людей плохо согласуются с их мыслями; даже мысль их плохо согласуется с внутренней, неназываемой тайной, из которой рождаются и мысль и действие. Ни один человек не может объяснить себя, не может быть объясненным; люди видят не друг друга, а искаженные призраки, которые они называют друг другом; они ненавидят их и борются с ними, ибо верно сказано, что всякая борьба есть недоразумение.

Ведь, в самом деле, сравнение с брандером наших бедных братьев французов, таких пламенных и тоже живущих в огненной стихии, не лишено смысла. Обдумав его хорошенько, мы найдем в нем частицу истины. Человек, опрометчиво предавшийся республиканскому или иному трансцендентализму и борющийся фанатично среди такой же фанатичной нации, становится как бы окутанным окружающей его атмосферой трансцендентальности и безумия: его индивидуальное «я» растворяется в чем-то, что не он и что чуждо ему, хотя и неотделимо от него. Странно подумать, но кажется, будто платье облекает того же самого человека, а между тем человек не здесь, воля его не здесь, точно так же как и источник его дел и мыслей; вместо человека и его воли перед нами образчик фанатизма и фатализма, воплотившийся в его образ. Он, злополучный воплощенный фанатизм, идет своим путем; никто не может помочь ему, и сам он меньше всех. Это удивительное, трагическое положение; положение, которое язык человеческий, не привыкший иметь дело с такими вещами, так как предназначен для целей обыденной жизни, старается изобразить фигурально. Материальный огонь не более неукротим, чем огонь фанатизма, и, хотя видимый для глаз, он не более реален. Воля в своем увлечении прорывается невольно и в то же время добровольно; движение свободных человеческих умов превращается в яростный шквал фанатизма, слепой, как ветер; и Гора и Жиронда, придя в сознание, одинаково удивляются, видя, куда он занес и бросил их. Вот каким чудесным образом люди могут действовать на людей; сознательное и бессознательное неисповедимо перемешано в нашей неисповедимой жизни, и свободная воля окружена бесконечной необходимостью.

Оружием жирондистов служат государственная философия, порядочность и красноречие. Последнее — можете назвать его риторикой — действительно высшего порядка. Верньо, например, так красиво закругляет периоды, как ни один из его современников. Оружие Горы — оружие чистой природы: смелость и пылкость; они могут превратиться в свирепость, как у людей с твердыми убеждениями и решимостью, которые в известном случае должны, как сентябристы, или победить, или погибнуть. Почва, за которую сражаются, есть популярность; искать ее можно или с друзьями свободы и порядка, или же только с друзьями свободы; с теми и другими одновременно, к несчастью, невозможно. У первых и вообще у департаментских властей, у людей, читающих парламентские дебаты, почтенных, миролюбивых и состоятельных, пользуются популярностью жирондисты. У крайних же патриотов, у неимущих миллионов, особенно у парижского населения, которое не столько читает, сколько слышит и видит, жирондисты не имеют успеха и популярностью пользуется Гора.

В эгоизме и в скудости ума нет недостатка ни с той, ни с другой стороны, особенно же со стороны жирондистов, у которых инстинкт самосохранения, слишком сильно развившийся благодаря обстоятельствам, играет весьма печальную роль и у которых изредка проявляется даже известная хитрость, доходящая до уверток и обмана. Это люди искусные в адвокатском словопроении. Их прозвали иезуитами революции³, но это слишком жестокое название. Следует также признать, что эта грубая, шумливая Гора сознает, к чему стремится революция, чего красноречивые жирондисты совершенно не сознают. Для того ли совершалась революция, для того ли сражались французы с миром в течение четырех трудных лет, чтобы осуществилась какая-то формула, чтобы общество сделалось методическим, доказуемым логикой и исчезло бы только старое дворянство с его притязаниями? Или она должна была принести луч света и облегчение 25 миллионам, сидевшим в потемках и обремененным налогами, пока они не поднялись с пиками в руках? По крайней мере разве нельзя было думать, что она принесет им хотя бы хлеб для пропитания? И на Горе, тут и там, у Друга Народа Марата, даже у зеленого Неподкупного, как он вообще ни сух и ни формалистичен, имеется искреннее сознание этого последнего факта, а без этого сознания всякие другие сознания представляют здесь ничто, и изысканнейшее красноречие не более как медь звенящая и кимвал* бряцающий. С другой стороны, жирондисты относятся очень холодно, очень покровительственно и несерьезно к «нашим более бедным братьям» — к этим братьям, которых часто называют собирательным именем «массы», как будто они не люди, а кучи горючего, взрывчатого материала для снесения Бастилии. По совести говоря, разве революционер такого сорта не заблуждение? Это существо, не признанное ни природой, ни искусством, заслуживающее только быть уничтоженным и исчезнуть! Несомненно, для наших более бедных парижских братьев все это жирондистское покровительство звучит смертью и убийством и тем фальшивее, тем ненавистнее, чем красивее и чем неопровержимо логичнее оно высказывается.

* Кимвал (греч.) — древний музыкальный инструмент в виде двух медных тарелок.

Да, несомненно, добиваясь популярности среди наших более бедных парижских братьев, жирондисту приходится вести трудную игру. Если он хочет склонить на свою сторону почтенных лиц в провинции, он должен напирать на сентябрьские события и тому подобное, стало быть говорить не в пользу Парижа, в котором он живет и ораторствует. Трудно говорить перед такой аудиторией! Поэтому возникает вопрос: не переселиться ли нам из Парижа? Попытка эта делается два раза и даже более. «Если не мы сами, — думает Гюаде, — то по крайней мере наши *suppléants* могли бы переселиться». Ибо каждый депутат имеет своего *suppléant*, или заместителя, который занимает его место в случае надобности; не могли ли бы они собраться, скажем, в Бурже, мирном епархиальном городе, или в мирном Берри, в добрых 40 милях отсюда? В этом случае какая польза была бы парижским санкюлотам оскорблять нас, когда наши заместители, к которым мы можем бежать, будут мирно заседать в Бурже? Да, Гюаде думает, что даже съезды избирателей можно было бы созвать вновь и выбрать новый Конвент с новыми мандатами от державного народа; и Лион; Бордо, Руан, Марсель, до сих пор простые провинциальные города, были бы очень рады приветствовать нас в свою очередь и превратиться в своего рода столицы, да, кстати, и поучить этих парижан уму-разуму.

Прекрасные планы, но все они не удаются! Если сегодня под влиянием пылких красноречивых доказательств они утверждаются, то завтра отменяются с криками и страстными рас-

суждениями⁴. Стало быть, вы, жирондисты, хотите раздробить нас на отдельные республики вроде швейцарцев или ваших американцев, так чтобы не было больше ни метрополии, ни нераздельной французской нации? Ваша департаментская гвардия, по-видимому, к тому и склонялась? Федеративная республика? Федералисты? Мужчины и вяжущие женщины повторяют *fédéraliste*, понимая или не понимая значение этого слова, но повторяют его, как обычно в таких случаях, пока смысл его не станет почти магическим и не начнут обозначать им тайну всякой несправедливости; слово «*fédéraliste*» становится своего рода заклинанием и *Apage-Satanas*. Больше того, подумайте, какая «отрава общественного мнения» распространяется в департаментах этими газетами Бриссо, Горса, Карита-Кондорсе. А затем какое еще худшее противоядие преподносят газета Эбера «*Père Duchesne*», самая пошлая из когда-либо издававшихся на земле, газета Жоффруа «*Rougeff*», «подстрекательские листки Марата»! Не раз вследствие поданной жалобы и возникшего волнения постановлялось, что нельзя одновременно быть законодателем и издателем газеты, что нужно выбирать ту или другую функцию⁵. Но и это — что в самом деле мало помогло бы — отменяется или обходится и остается только благочестивым пожеланием.

Между тем посмотрите, вы, национальные представители, ведь между друзьями порядка и друзьями свободы всюду царят раздражение и соперничество, заражающие лихорадкой всю Республику! Департаменты, провинциальные города возбуждены против столицы; богатые против бедных, люди в кюлотах против санкюлотов; человек против человека. Из южных городов приходят воззвания почти обвинительного характера, потому что Париж долго подвергался газетной клевете. Бордо с пафосом требует законности и порядочности, подразумевая жирондистов. Марсель, также с пафосом, требует того же. Из Марселя приходят даже два воззвания: одно жирондистское, другое якобинско-санкюлотское. Пылкий Ребекки, заболевший от работы в Конвенте, уступил место своему заместителю и уехал домой, где тоже, при таких раздорах, много работы, от которой можно заболеть.

Лион, город капиталистов и аристократов, находится в еще худшем состоянии, он почти взбунтовался. Городской советник Шалье*, якобинец, дошел буквально до кинжалов в споре с мэром Нивьер-Шолем, *modératin*, одним из умеренных, может быть, аристократических, роялистских или федералистских мэров! Шалье, совершивший паломничество в Париж «посмотреть на Марата и Гору», воспламенился от священной урны, ибо 6 февраля история или молва видела, как он зывал к своим лионским братьям-якобинцам, совершенно трансцендентальным образом, с обнаженным кинжалом в руке; он советовал (говорят) простой сентябрьский способ, так как терпение истощилось и братья-якобинцы должны бы сами, без подсказки, приняться за гильотину! Его можно еще видеть на рисунках: он стоит на столе, вытянув ногу, изогнув корпус, лысый, с грубым, разъяренным лицом пса, покатым лбом, вылезавшими из орбит глазами, в мощной правой руке поднятый кинжал или кавалерийский пистолет, как изображают некоторые; внизу, вокруг него, пылают другие собачьи лица; это человек, который вряд ли хорошо кончит! Однако гильотина не была тут же поставлена «на мосту Сен-Клер» или где-нибудь в другом месте, а продолжала ржаветь на своем чердаке⁶. Нивьер-Шоль явился с войсками, бестолково громыхнул пушками, и «девятьсот заключенных» не получили ни щелчка. Вот как беспокоен стал Лион с его громыхающими пушками. Туда немедленно нужно отправить комиссаров Конвента: удастся ли им внести успокоение и оставить гильотину на чердаке?

* Шалье Мари Жозеф (1747—1793) — глава лионских якобинцев.

Наконец, обратите внимание, что при таких безумных раздорах в южных городах и во Франции вообще едва ли предательский класс тайных роялистов не притаился, едва ли он не начеку и не выжидает, готовый напасть в удобную минуту. Вдобавок все еще нет ни хлеба, ни мыла; патриотки распродают сахар по справедливой цене 22 су за фунт! Граждане-представители, было бы поистине очень хорошо, чтобы ваши споры кончились и началось царство полного благополучия.

Глава третья

ПОЛОЖЕНИЕ ОБОСТРЕАЕТСЯ

Вообще нельзя сказать, чтобы жирондисты изменяли себе, насколько у них хватает доброй воли. Они усердно бьют в уязвимые места Горы из принципа, а также из иезуитства.

Кроме сентябрьских избиений, которые теперь можно мало использовать — разве лишь погорячиться, мы замечаем два больных места, от которых Гора часто страдает, — это Марат и Эгалите. Неопрятный Марат постоянно подвергается нападкам и лично, и за Гору; его представляют Франции как грязное, кровожадное чудовище, подстрекавшее к грабежу лавок, и слава этого дела пусть падает на Гору! Гора не в духе и ропщет: что ей делать с этим «образцом патриотизма», как признавать или как не признавать его? Что касается самого Марата, то он, с его навязчивой идеей, неуязвим для таких вещей; значение Друга Народа даже заметно растет, по мере того как поднимается дружественный ему народ. Теперь уже не кричат, когда он начинает говорить, иногда даже рукоплещут, и это поощрение придает ему уверенность. В тот день, когда жирондисты предложили издать декрет о предании его суду (*décréter d'accusation*, как они выражаются) за февральскую статью о «повешении одного или двух скупщиков на дверных притолоках»*, Марат предложил издать «декрет о признании их сумасшедшими» и, сходя по ступенькам трибуны Конвента, произнес в высшей степени непарламентские слова: «*Les cochons, les imbéciles*» (свиньи, болваны). Он часто выкаркивает едкие сарказмы, потому что у него действительно жесткий, шершавый язык и глубокое презрение к изящной внешности, а один или два раза он даже смеется, «разражается хохотом» (*rit aux éclats*) над аристократическими замашками и утонченными манерами жирондистов, «этих государственных мужей», с их педантизмом, правдоподобными рассуждениями и трусостью. «Два года, — говорит он, — вы хныкали о нападениях, заговорах и опасностях со стороны Парижа, а ведь не можете показать на себе ни одной царапины»⁷. Дантон изредка сердито пробирает его, но Марат остается по-прежнему образцом патриотизма, которого нельзя ни признать, ни отвергнуть!

* Жиронда требовала, чтобы Марат, «виновный в подстрекательстве к покушению на национальное представительство», предстал перед судом Революционного трибунала. Он был направлен туда декретом, принятым 12 апреля 1793 г. большинством в 226 голосов против 93 при огромном числе не участвовавших в голосовании.

Второе больное место Горы — это ненормальный монсеньер Эгалите, принц Орлеанский. Посмотрите на этих людей, говорит Жиронда, с бывшим принцем Бурбонским в их среде: это креатуры партии орлеанистов; они хотят сделать Филиппа королем; не успели гильотинировать одного короля, как на его место готов уже другой! Из принципа и из иезуитства жирондисты предложили -Бюзо предлагал уже давно, — чтобы весь клан Бурбонов был изгнан с французской земли и этот принц Эгалите вместе с другими. Предложения эти производят известное впечатление на публику, и Гора в смущении и не знает, как противостоять им.

А что делать самому бедному Орлеану Эгалите? Ведь можно пожалеть даже и его? Не признаваемый ни одной партией, всеми отвергаемый и бестолково толкаемый туда и сюда, в каком уголке природы может он теперь обрести пристанище с некоторыми видами на успех? Осуществимой надежды для него не остается; неосуществимая надежда с бледным сомнительным сиянием может еще появляться из лагеря Дюмурье, но скорее запутывая, чем подбодряя или осмеляя. Если не разрушенный временем Орлеан-Эгалите, то, может быть, молодой, неизношенный Шартр-Эгалите может сделаться своего рода королем? Укрытый в ущельях Горы, если только они могут служить укрытием, бедный Эгалите будет ждать: одно прибежище он имеет в якобинцах, другое — в Дюмурье и в контрреволюции, разве это уже не два шанса? Однако, говорит г-жа Жанлис, взор его стал пасмурным, на него грустно смотреть. Силлери, муж Жанлис, который вертится около Горы, но не на ней, тоже на плохом пути. Г-жа Жанлис на днях приехала из Англии, из Бюри-Сент-Эдмонд, в Рэнси, вместе со своей питомицей мадемуазель Эгалите по приказанию Эгалите-отца из опасения, чтобы мадемуазель не причислили к эмигрантам и не обошлись с ней сурово. Но дело оказывается запутанным. Жанлис и ее воспитанница должны вернуться в Нидерланды и ждать на границе неделю или две, пока монсеньер при помощи якобинцев не распутывает его. «На следующее утро, — говорит г-жа Жанлис, — монсеньер угрюмее, чем когда-либо, подал мне руку, чтобы вести меня к карете. Я была очень расстроена,

мадемуазель залилась слезами, отец ее был бледен и дрожал. Я села, а он все стоял неподвижно у дверцы кареты, устремив на меня взгляд; этот печальный страдальческий взгляд, казалось, молил о сострадании. «Adieu, Madame», — сказал он. Изменившийся тембр его голоса совершенно лишил меня самообладания; не будучи в силах произнести ни слова, я протянула руку, он крепко пожал ее, потом отвернулся, быстро подошел к почтальонам, подал им знак, и мы тронулись»⁸.

Нет недостатка и в примирителях, из которых мы также отметим двух: одного — твердо укрепившегося на вершине Горы, другого — еще не нашедшего пристанища; это Дантон и Барер. Изобретательный Барер, бывший член Учредительного собрания и журналист со склонов Пиренеев, — один из полезнейших в своем роде людей в этом Конвенте. Истина может принадлежать обеим сторонам, одной или ни одной; друзья мои, вы должны давать и брать; впрочем, всякого успеха побеждающей стороне! Таков девиз Барера. Он изобретателен, почти гениален, сообразителен, гибок, любезен — словом, человек, который добьется успеха. Едва ли сам Дух Лжи в этом собравшемся Пандемониуме* мог бы быть приятнее для зрения и слуха. Необходимый человек этот Барер; в великом искусстве приукрашивания с ним, по слухам, никто не сравнится. Если произошел взрыв, каких бывает много, смятение, неприятность, о которой никто не хочет знать и говорить, — поручите это Бареру; Барер будет докладчиком комитета по этому делу, и вы увидите, как оно превратится в нечто обычное, даже в прекрасное и правильное, что и требовалось. Мог бы существовать Конвент без такого человека, спросим мы? Не называйте его, подобно все преувеличивающему Мерсье, «величайшим лгуном Франции»; нет, можно даже возразить, что в нем нет настолько правды, чтобы сделать из нее настоящую ложь. Назовите его вместе с Бёрком Анакреоном** гильотины и человеком, полезным Конвенту.

* По христианским представлениям, столица ада.

** Анакреон (ок. 570—478 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.

Другой названный нами примиритель — Дантон. «Помирись, помирись друг с другом!» — кричит он довольно часто. Разве мы, маленькая кучка братьев, не противостояем в одиночку всеми миру? Смелый Дантон, любимец всей Горы, хотя его и считают слишком благодушным, недостаточно подозрительным: он стоял между Дюмурье и многими порицавшими его, боясь вызвать раздражение у нашего единственного генерала. В шумной суматохе мощный голос Дантона гремит, призывая к единению и умиротворению. Устраиваются свидания, обеды с жирондистами: ведь так важно, так необходимо добиться согласия. Но жирондисты высокомерны и неприступны: этот титан Дантон не человек формул, и на нем лежит тень сентября. «Ваши жирондисты не доверяют мне» — таков ответ, полученный от него посредником Мейаном*; на все доводы и просьбы этого Мейана есть один ответ: «Ils n'ont point de confiance»⁹. Шум все усиливается, спорящие бледнеют от ярости.

В самом деле, какой удар для сердца жирондиста эта первая, даже слабая, возможность, что презренная, неразумная, анархическая Гора в конце концов может восторжествовать! Грубые сентябристы, какой-нибудь Тальен с пятого этажа, «какой-нибудь Робеспьер без мысли в голове, без чувства в сердце», как говорит Кондорсе, и мы, цвет Франции, не можем противостоять им! Смотрите, скипетр уходит от нас и переходит к ним! Красноречие, философия, порядочность не помогают: «сами боги тщетно боролись бы с глупостью». Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens!**

Громко жалуется Луве; все его тощее тело пропитано злобой и противоестественной подозрительностью. Молодой Барбару тоже гневен — гневен и полон презрения. Безмолвная, похожая на королеву с аспидом*** у груди, сидит жена Ролана; отчеты Ролана все еще не приняты, имя его превратилось в посмешище. Таковы капризы фортуны на войне и особенно в революции. Великая бездна ада и 10 августа разверзлась при волшебном звуке вашего красноречивого голоса, а теперь, смотрите, она уже не хочет закрываться по знаку вашего голоса. Такое волшебство — опасная вещь. Ученик волшебника завладел запретной книгой и вызвал духа. «Plait-il?» (Что угодно?) — сказал дух. Ученик, несколько пораженный, приказал ему принести воды; проворный дух принес воду, по ведру в каждой руке, но не пожелал перестать носить ее. Ученик в отчаянии кричит на него, бьет его, разрубает пополам; но что это? Теперь воду таскают два духа, и дом будет снесен Девкалионовым потоком****.

* Мейан (1748—1809) — владелец источников минеральных вод и грязей в Даксе и магазина в Байонне, депутат Конвента от департамента Нижние Пиренеи.

** Против глупости бессильны сами боги (нем.).

*** Аспид — ядовитая змея. Уст. — злой, коварный человек.

**** Девкалион, согласно греческому мифу, спасся с женой Пиррой от потопа, ниспосланного Зевсом, и создал новый человеческий род из камней.

Глава четвертая

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ

Пожалуй, эта война между депутатами могла бы продолжаться долго, и партии, давя и душа друг друга, могли бы уничтожить одна другую окончательно в обычной, бескровной парламентской войне; но это могло бы произойти лишь при одном условии — чтобы Франция была в состоянии как-то существовать все это время. Но этот державный народ наделен органами пищеварения и не может жить без хлеба. Кроме того, у нас и внешняя война, и мы должны победить в войне с Европой, с роком и с голодом; между тем весной этого года всякая победа бежит от нас прочь. Дюмурье продвинул свои передовые посты до Аахена и составил великолепный план вторжения в Голландию, с военными хитростями, плоскодонными судами и с быстрой неустрашимостью, в которой он значительно преуспел, но, к несчастью, не мог продолжать с тем же успехом дальше. Аахен потерян; Маастрихт не желает сдаваться одним дымом и шумом; плоскодонным судам снова приходится спускаться на воду и возвращаться по тому же пути, по какому они пришли. Будьте же стойки, быстрые, неустрашимые люди, отступайте с твердостью, подобно парфянам! Увы, вина ли то генерала Миранды*, военного ли министра или самого Дюмурье и Фортуны, но только ничего иного, кроме отступления, не остается, и хорошо еще, если оно не превратится в бегство, ибо поверженные в ужас когорты и рассеявшиеся части показали тыл, не дожидаясь приказаний, и около 10 тысяч человек бегут в отчаянии, не останавливаясь, пока не увидят Францию¹⁰. Может быть, даже хуже: Дюмурье сам не склоняется ли втайне к измене? Тон его посланий нашим комитетам очень резок. Комиссары и якобинские грабители принесли неисчислимый вред: Гассенфрэнц не присылает ни патронов, ни обмундирования; обманчивым образом получены «подбитые деревянными и картонными подошвами» сапоги. Короче, все в беспорядке. Дантон и Лакруа в бытность свою комиссарами желали присоединить Бельгию к Франции, тогда как Дюмурье сделал бы из нее хорошенькое маленькое герцогство для своего личного тайного употребления! Все это сердит генерала, и он пишет нам резкие письма. Кто знает, что замышляет этот маленький пылкий генерал? Дюмурье, герцог бельгийский или брабантский и, скажем, Эгалите-младший — король Франции — тут был бы конец нашей революции! Комитет обороны смотрит и качает головой: кто, кроме Дантона, лишенного подозрительности, может еще сохранять какую-нибудь надежду?

* Миранда Франсиско (1750—1816) — генерал, венесуэльский патриот, один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке, друг Петиона и жирондистов. В Париже появился в 1791 г., получил назначение в Северную армию под началом Дюмурье.

А генерал Кюстин возвращается с Рейна; завоеванный Майнц будет отнят, пруссаки стягиваются к нему, чтобы бомбардировать его ядрами и картечью. Майнц оказывает сопротивление, комиссар Мерлей из Тионвиля «делает вылазки во главе осажденных»; он может бороться до смерти, но не долее. Какой грустный оборот для Майнца! Славный Форстер* и славный Люкс сажали там прошлой зимой, в метель, деревья Свободы под музыку «Ça ira», основывали якобинские клубы и присоединили территорию Майнца к Франции; потом они приехали в Париж в качестве депутатов или делегатов и получали по 18 франков в день, и вот, прежде чем деревья Свободы покрылись листвой, Майнц превратился в бушующий кратер, извергающий огонь и охваченный огнем!

Ни один из этих людей не увидит больше Майнца; они прибыли сюда только для того, чтобы умереть. Форстер объехал вокруг света, видел, как Кук** погиб под палицами гавайцев, но подобного тому, что он видел и выстрадал в Париже, он не видел нигде. Бедность преследует его; из дома ничего не может прийти, кроме вестей, приходивших к Иову; 18 франков в день, которые он с трудом получает здесь в качестве депутата или делегата, выдаются бумажными

ассигнациями, быстро падающими в цене. Бедность, разочарование, бездействие и упреки медленно надламывают доблестное сердце. Таков жребий Форстера. Впрочем, девица Теруань еще улыбается на вечерах; у нее «красивое лицо, обрамленное темными локонами», и порывистый характер, которые помогают ей держать собственный экипаж. Пруссак Тренк, бедный подпольный барон, бормочет и бранится весьма неподобающим образом. Лицо Томаса Пейна покрыто красными волдырями, «но глаза его сверкают необычным блеском». Депутаты Конвента весьма любезно приглашают Форстера обедать, и «мы все играли в Plumpsack»¹¹. «Это взрыв и создание нового мира, — говорит Форстер, — а действующие лица в нем маленькие, незначительные субъекты, жужжащие вокруг вас, как рой мух».

* Форстер Георг (1754—1794) — немецкий просветитель и революционный демократ, публицист, автор декретов 1793 г. о провозглашении Майнца республикой и о присоединении его к революционной Франции.

** Кук Джеймс (1728—1779) — английский мореплаватель.

В то же время идет война с Испанией. Испанцы продвинулись через ущелья Пиренеев, шурша бурбонскими знаменами, гремя артиллерией и угрозами. Да и Англия надела красный мундир* и марширует с его королевским высочеством герцогом Йоркским, которого иные в свое время намеревались пригласить быть нашим королем. Настроение это теперь изменилось и все более меняется, пока не оказывается, что нет ничего в мире ненавистнее уроженца этого тиранического острова; Конвент в своей горячности даже объявляет декретом, что Питт — «враг рода человеческого» (*l'ennemi du genre humain*), а затем, как это ни странно, издается приказ, чтобы ни один борец за свободу не давал пощады англичанину. Однако борцы за свободу исполняют этот приказ лишь отчасти. Значит, мы не будем брать пленных, говорят они; всякий, кого мы возьмем, будет считаться «дезертиром»¹². Это — безумный приказ и сопровождающийся неудобствами. Ведь если мы не будем давать пощады, то, естественно, не можем рассчитывать на нее и сами, стало быть, дело от этого нисколько не выиграет. Нашим «тремстам тысячам рекрутов» — цифра набора на этот год, — должно быть, придется изрядно поработать.

* Красные мундиры — старинное прозвище английских солдат. Красные мундиры были введены в парламентской армии после военной реформы 1645 г.

Сколько врагов надвигается на нас! Одни пробиваются сквозь горные ущелья, другие плывут по соленому морю; ко всем пунктам нашей территории устремляются они, потрясая приготовленными для нас цепями. Но хуже всего то, что враг объявился и на нашей собственной территории. В первых числах марта почта из Нанта не приходит; вместо нее приходят только предположения, опасения, ветер доносит зловещие слухи. И самые зловещие оказываются верными. Фанатичное население Вандеи не желает больше подчиняться; пламя восстания, с трудом сдерживаемое до сих пор, снова вспыхивает огромным пожаром после смерти короля; это уже не мятеж, а междоусобная война. Эти Кателино, Стоффле, Шаретты оказались не теми, кем их считали; смотрите, как идущие за ними крестьяне, в одних рубахах и блузах, вооруженные дубинами, нестройными рядами, но с фанатической галльской яростью и диким боевым кличем «За бога и короля!» бросаются на нас, подобно свирепому урагану, обращают наших дисциплинированных национальных солдат в панику и *sauve qui peut!* Они одерживают победу за победой, и конца этому не видно. Посылают коменданта Сантера, но пользы от этого мало! Он мог бы без ущерба вернуться и варить пиво.

Становится решительно необходимым, чтобы Конвент перестал говорить и начал действовать. Пусть одна партия уступит другой и сделает это поскорее. Это уже не теоретическое предположение, а близкая неизбежность разорения; нужно позаботиться о том самом дне, в который мы живем.

В пятницу 8 марта эта ужасная весть была получена Национальным Конвентом от Дюмурье, но еще раньше ей предшествовало и потом сопровождало ее много других ужасных вестей. Лица многих побледнели. Мало пользы теперь от того, будут ли наказаны сентябристы или нет, если Питт и Кобург идут с равным наказанием для всех нас, ведь между Парижем и тиранами теперь нет ничего, кроме сомнительного Дюмурье с беспорядочно отступающими войсками! Титан Дантон поднимается в этот час, как всегда в час опасности, и звучен его голос, разносящийся из-под купола: «Граждане представители, не должны ли мы в этот час испытаний отло-

жить все наши несогласия? Репутация, о, что значит репутация того или другого человека? *Que mon nom soit flétri, que la France soit libre!* (Пусть имя мое будет опорочено, лишь бы Франция была свободна!) Необходимо, чтобы Франция снова поднялась для решительной мести, чтобы поднялся миллион ее правых рук, как один человек и одно сердце. Нужно немедленно произвести набор в Париже; пусть каждая его секция поставит свои тысячи солдат; пусть то же сделает каждая секция Франции! 96 комиссаров из нашей среды, по два на каждую из 48 секций, пусть отправятся тотчас же и скажут Парижу, что родине нужна его помощь. Пусть 80 других немедленно разведутся по всей Франции, разнесут по ней огненный крест и созовут всю нашу боевую рать. Эти восемьдесят должны уехать еще до закрытия этого заседания, и пусть они хорошенько обдумают в пути, какое поручение возложено на них. Нужно как можно скорее устроить лагерь на 50 тысяч душ между Парижем и северной границей, потому что скоро начнут прибывать парижские волонтеры. Плечом к плечу ударим мы на врага в могучем бесстрашном порыве и отбросим этих сынов ночи, и Франция вопреки всему миру будет свободна!»¹³ Так гремит голос Титана во всех секциях, во всех французских сердцах. Секции заседают непрерывно в эту же ночь, вербуя и записывая волонтеров. Комиссары Конвента быстро переезжают из города в город, разнося огненный крест, пока не вспыхивает вся Франция. И вот на городской Ратуше развевается флаг «Отечество в опасности»; с собора Парижской богородицы спускается черный флаг; читаются прокламации, произносятся пламенные речи; Париж снова стремится сокрушить своих врагов. Понятно, что при таких обстоятельствах он не в кротком настроении духа. На улицах, особенно вокруг зала Манежа, волнение. Фейянская терраса кишит озлобленными гражданами и еще более озлобленными гражданками; Варле со своей складной табуреткой появляется всюду, где только возможно; из всех сердец, со всех уст срываются не особенно умеренные восклицания о коварных красных *hommes d'état* — друзьях Дюмурье, тайных друзьях Питта и Кобурга. Драться с врагом! Да, и даже «заморозить его страхом» (*glacer d'effroi*), но сначала наказать домашних изменников! Кто те, кто, соперничая и ссорясь, в своей иезуитской, сдержанной манере стараются сковать патриотическое движение? Кто сеет раздор между Парижем и Францией и отравляет общественное мнение в департаментах? Кто потчует нас лекциями о свободной торговле зерном, когда мы просим хлеба и установления максимума цен? Может ли наш желудок удовлетвориться лекциями о свободной торговле? И как мы будем сражаться с австрийцами — умеренным или неумеренным способом? Конвент должен быть очищен.

«Назначьте быстрый суд над изменниками и установите предельные цены на зерно», — энергично говорят патриоты-добровольцы, дефилируя по залу Конвента перед отправлением к границам; они ораторствуют с героическим красноречием Камбиса, вызывая восторженные крики со стороны галереи и Горы и ропот со стороны правой и равнины. Случаются и чудеса: например, когда один капитан секции Пуассоньер пылко разглагольствует о Дюмурье, максимальных ценах и подпольных роялистах и его отряд вторит ему, размахивая знаменем, один из депутатов вдруг различает на *craavates*, или полосах, этого самого знамени королевские лилии! Капитан секции и его отряд в ужасе кричат и «топчут знамя ногами», наверное, это опять выходка какого-нибудь подпольного роялиста. Весьма возможно¹⁴, хотя, быть может, это просто старое знамя секции, сделанное раньше для 10 августа, когда такие полосы предписывались законом!¹⁵

Просматривая мемуары жирондистов и стараясь отделить истину от болезненной игры воображения, история находит, что эти мартовские дни, особенно воскресенье 10 марта, играют большую роль. Заговоры и заговоры, между прочим заговор об убийстве депутатов-жирондистов, с каковой целью анархисты и подпольные роялисты заключили будто бы между собой адский союз! По большей части этот заговор — плод больной фантазии; вместе с тем бесспорно, что Луве и некоторые жирондисты, опасаясь, что их убьют в субботу, не пошли на вечернее заседание, а совещались между собой, побуждая друг друга к какому-нибудь решительному поступку, чтобы покончить с этими анархистами, на что Петион, открыв окно и найдя, что ночь очень сырая, ответил лишь: «*Ils ne feront rien*» — и «спокойно взял свою скрипку»¹⁶, говорит Луве, чтобы нежным прикосновением к лидийским струнам оградить себя от снедающих забот. Почему-то Луве считал, что особенно ему грозит опасность быть убитым; впрочем, многие другие жирондисты не ночевали дома в эту ночь и все остались живы. Не подлежит, однако, сомнению, что к журналисту Горса, депутату и отравителю департаментов, и к его издателю ворвалась в дом шайка патриотов, среди которых, несмотря на мрак, дождь и сумятицу, можно было узнать Варле в красном колпаке и Фурнье-Американца; они перепугали их жен,

разрушили станки, перепортили шрифты и находившийся там материал, так как мэр не вмешался своевременно; Горса пришлось спастись с пистолетом в руке «по крыше через заднюю стену дома». На следующий день было воскресенье, день праздничный, и на улицах царило более сильное возбуждение, чем когда-либо: уж не замышляют Ли анархисты повторения сентябрьских дней? Правда, сентябрьские дни не повторились; однако этот истерический страх, в сущности довольно естественный, почти достиг своего апогея¹⁷.

Верньо жалуется и скорбит в мягких, закругленных фразах. Секция Bonconseil (Доброго Совета), а не Mauconseil (Дурного Совета), как она называлась некогда, вносит замечательное предложение: она требует, чтобы Верньо, Бриссо, Гюаде и другие обвиняющие патриотов краснобаи-жирондисты, в числе двадцати двух, были взяты под арест! Секция Доброго Совета, названная так после 10 августа, получает жесткую отповедь, словно секция Дурного Совета¹⁸; но она сказала свое, слово ее произнесено и не останется без последствий.

Одна особенность и в самом деле поражает нас в этих несчастных жирондистах — это их роковая близорукость и роковая слабыхарактерность; в этом корень зла. Они словно чужие народу, которым хотели бы управлять, чужие тому делу, за которое взялись. Сколько бы ни трудилась природа, им открывается во всех ее трудах только неполная схема их: формулы, философские истины, разные достойные поучения, написанные в книгах и признанные образованными людьми. И они ораторствуют, рассуждают, взывают к друзьям законности, когда дело идет не о законности или незаконности, а о том, чтобы жить или не жить. Они педанты революции, если не иезуиты. Их формализм велик, но велик и эгоизм. Для них Франция, поднимающаяся, чтобы сражаться с австрийцами, поднялась только вследствие заговора 10 марта и с тем, чтобы убить двадцать два из них! Это чудо революции, развивающееся по своим собственным законам и по законам природы, а не по законам их формулы и выросшее до таких страшных размеров и форм, недоступно их способности понимать и верить, как невозможность, как «дикий хаотический сон». Они хотят республики, основанной на том, что они называют добродетелями, что называется приличиями и порядочностью, и никакой другой. Всякая другая республика, посланная природой и реальностью, должна считаться недействительной, чем-то вроде кошмарного видения, не существующей, отрицаемой законами природы и учения. Увы! реальность туманна для самого зоркого глаза; а что касается этих людей, то они и не хотят смотреть на нее собственными очами, а смотрят сквозь «шлифованные стекла» педантизма и оскорбленного тщеславия, показывающие ложную, зловещую картину. Постоянно негодуя и сетуя на заговоры и анархию, они сделают только одно: докажут с очевидностью, что реальность не укладывается в их формулы, что она, реальность, в мрачном гневе уничтожит и учение, и их самих! Человек осмеливается на то, что он осознает. Но гибель человека начинается тогда, когда он теряет зрение; он видит уже не реальность, а ложный призрак ее и, следуя за ним, оцупью идет, с меньшей или большей скоростью, к полному мраку, к гибели, которая есть великое море тьмы, куда беспрестанно вливается прямыми или извилистыми путями всякая ложь!

Мы можем отметить это 10 марта как эпоху в судьбе жирондистов: озлобление их дошло до ожесточения, ложное понимание положения — до затмения ума. Многие из них не являются на заседания, иные приходят вооруженные¹⁹. Какой-нибудь почтенный депутат должен теперь, после завтрака, не только делать заметки, но и проверять, в порядке ли его пистолеты.

Между тем дела Дюмуре в Бельгии обстоят все хуже. Вина ли то опять генерала Миранды или кого-нибудь другого, но несомненно, что «битва при Неервинде» 18 марта проиграна и наше поспешное отступление сделалось более чем поспешным. Победоносный Кобург с своими подгоняющими нас австрийцами висит, как черная туча, над нашим арьергардом. Дюмуре денно и ночью не сходит с коня; каждые три часа происходят стычки; все наше расстроенное войско, полное ярости, подозрений, паники, поспешно стремится назад, во Францию! Да и сам-то Дюмуре — каковы его намерения? Недобрые, по-видимому! Его депеши в комитет открыто обвиняют расколотый надвое Конвент за зло, принесенное Франции и ему, Дюмуре. А речи его? Ведь он говорит напрямик! Казнь деспота этот Дюмуре называет убийством короля. Дантон и Лакруа, вновь поспешившие к нему комиссары, возвращаются с большими сомнениями; даже Дантон теперь сомневается.

К Дюмуре спешно отправляются по поручению бдительной Матери патриотизма еще три посланца якобинцев — Проли, Дюбюиссон и Перейра; они немоют от изумления, слыша

речи генерала. Конвент, по его словам, состоит из 300 подлецов и 400 недоумков: Франция не может существовать без короля. «Но мы же казнили нашего короля». «А какое мне дело!» — запальчиво кричит этот генерал, не умеющий молчать. «Не все ли мне равно, будут ли звать короля Ludovicus, или Jacobus, или Philippus», — возражает Проли и спешит донести о ходе дел. Так вот на что надеются по ту сторону границ.

Глава пятая

САНКЮЛОТЫ ЭКИПИРОВАЛИСЬ

Бросим теперь взгляд на великий французский санкюлотизм, на это чудо революции — движется ли оно, растет ли? Ведь в нем в одном заключена еще надежда для Франции. Так как с Горы исходят декрет за декретом, подобные созидающим *fiats*, то, согласно природе вещей, чудо революции быстро вырастает в эти дни, развивает один член за другим и принимает страшные размеры. В марте 1792 года мы видели, как вся Франция, объятая слепым ужасом, бежала запираť городские заставы, кипятила смолу для разбойников. В нынешнем марте мы счастливее, потому что можем взглянуть ужасу прямо в лицо, так как у нас есть творческая Гора, которая может сказать *fiat*. Набор рекрутов совершается с ожесточенной быстротой, однако наши волонтеры медлят с выступлением, пока измена не будет наказана дома: они не стремятся к границам, а мечутся взад и вперед с требованиями и изобличениями. Гора вынуждена говорить новое *fiat* и новые *fiats*.

И разве она не делает этого? Возьмем для первого примера так называемые *Comités révolutionnaires* для ареста подозрительных лиц. Революционные комитеты, состоящие из 12 выборных патриотов, заседают в каждой городской Ратуше Франции, допрашивают подозреваемых, ищут оружие, производят домашние обыски и аресты — словом, заботятся о том, чтобы Республике не нанесли какого-нибудь вреда. Члены их, избранные всеобщей подачей голосов, каждый в своей секции, представляют своего рода квинтэссенцию якобинства; около 44 тысяч таких лиц неусыпно бодрствуют над Францией! В Париже и во всех других городах дверь каждого дома должна быть снабжена четкой надписью с фамилиями квартирантов «на высоте, не превышающей пять футов от земли»; каждый гражданин должен предъявлять свою *Carte de civisme*, подписанную председателем секции; каждый должен быть готов дать отчет о своих убеждениях. Поистине, подозрительным лицам лучше бежать с этой почвы Свободы! Но и уезжать небезопасно: все эмигранты объявлены изменниками; имущество их переходит в национальную собственность, они вне закона, «мертвы в законе», конечно, за тем исключением, что для наших надобностей они будут «живы перед законом еще пятьдесят лет», и выпадающие за это время на их долю наследства также признаются национальной собственностью! Безумная жизненная энергия якобинства с 44 тысячами центров деятельности циркулирует по всем жилам Франции.

Весьма примечателен также *Tribunal Extraordinaire*²⁰, декретированный Горой; причем некоторые жирондисты противились этой мере, так как подобный суд, несомненно, противоречит всем формам, другие же из их партии соглашались, даже содействовали принятию ее, потому что... о парижский народ, разве не все мы одинаково ненавидим изменников? «Трибунал Семнадцатого», учрежденный минувшей осенью, действовал быстро, но этот будет действовать еще быстрее. Пять судей, постоянные присяжные, которые назначаются из Парижа и окрестностей во избежание потери времени на выборы; суд этот не подлежит апелляции, исключает почти всякие процессуальные формы, но должен как можно скорее «убеждаться» и для большей верности обязан «голосовать во всеуслышание» для парижской публики. Таков *Tribunal Extraordinaire*, который через несколько месяцев самой оживленной деятельности будет переименован в *Tribunal Révolutionnaire*, как он уже с самого начала назвал себя. С Германом или Дюма в качестве председателя, с Фукье-Тенвилем в качестве генерального прокурора и с присяжными, состоящими из людей вроде гражданина Леруа, давшего самому себе прозвище *Dix Août* (Леруа Десятое Августа), суд этот сделается чудом мира. В его лице санкюлоты создали себе острый меч, волшебное оружие, омоченное в адских водах Стикса, для лезвия которого всякий щит, всякая защита, силой или хитростью, окажутся слишком слабыми; он будет косить жизни и разбивать чугунные ворота, взмах его будет наполнять ужасом сердца людей.

Но, говоря о формировании аморфного санкюлотизма, не следует ли нам прежде всего определить, каким образом бесформенное получило голову. Не будет метафорой, если мы скажем, что существующее революционное правительство продолжает находиться в весьма анархичном состоянии. Имеется исполнительный совет министров, состоящий из шести членов, но они, особенно после ухода Ролана, едва ли сами знали, министры они или нет. Высшую инстанцию над ними составляют комитеты Конвента, все равные между собой по значению; комитеты двадцать одного, обороны, общественной безопасности назначаются одновременно или один за другим для специальных целей. Всемогущ один Конвент, особенно если Коммуна заодно с ним; но он слишком многочислен для административного корпуса. Поэтому в конце марта ввиду опасного положения Республики, находящейся в быстром коловращении, создается маленький *Comité de Salut Public*²¹, повидимому, для различных случайных дел, требующих неотложного решения, на деле же, оказывается, для своего рода всеобщего надзора и всеобщего порабощения. Члены этого нового комитета должны еженедельно давать отчет о своих действиях, но совещаются втайне. Числом их девять, и все они стойкие патриоты, один из них — Дантон; состав комитета должен обновляться каждый месяц, однако почему не переизбрать их, если они окажутся удачными? Суть дела в том, что их всего девять и они заседают втайне. На первый взгляд этот комитет кажется органом второстепенным, но в нем есть задатки для развития! Ему благоприятствуют счастье и внутренняя энергия якобинцев, он принудит все комитеты и самый Конвент к некому послушанию, превратит шестерых министров в шесть прилежных писцов и будет некоторое время исполнять свою волю на земле и под небесами. Перед этим Комитетом мир до сих пор содрогается и вопиет.

Если мы назвали этот Революционный трибунал мечом, который санкюлоты выковали сами для себя, то «закон о максимуме» можно назвать провиантским мешком или котомкой, в которой как-никак все же можно найти порцию хлеба. Правда, это опрокидывает политическую экономию, жирондистскую свободу торговли и всякие законы спроса и предложения, но что делать? Патриотам нужно жить, а у алчных фермеров, по-видимому, нет сердца. Поэтому «закон о максимуме», устанавливающий предельные цены на зерно и утвержденный после бесконечных усилий²², постепенно распространится на все виды продовольствия, но можно себе представить, после каких схваток и кутерьмы! Что делать, например, если крестьянин не хочет продавать свой товар? Тогда его нужно принудить к этому. Он должен дать установленным властям точные сведения об имеющемся у него запасе зерна, и пусть он не преувеличивает, потому что в этом случае его доходы, такса и контрибуции соответственно повысятся; но пусть и не преуменьшает, потому что к назначенному дню, положим в апреле, в амбарах его должно оставаться менее одной трети объявленного количества, а более двух третей должно быть обмолочено и продано. На него могут донести, и с него возьмут штраф.

Вот таким запутанным переворотом всех торговых отношений санкюлоты хотят поддержать свое существование, раз это невозможно иным образом. В общем дело приняло такой оборот, что, как сказал однажды Камиль Демулен, «пока санкюлоты сражаются, господа должны платить». Затем являются *Impôts progressifs* (прогрессивные налоги), с быстро возрастающей прожорливостью поглощающие «излишек доходов» у людей: имеющие свыше 50 луидоров в год уже не изъяты из обложения; если доходы исчисляются сотнями, то делается основательное кровопускание, а если тысячами и десятками тысяч, то кровь льется ручьями. Потом появляются реквизиции, «принудительный заем в миллиард», на который, разумеется, всякий имеющий что-нибудь должен подписаться. Беспрецедентное явление: Франция дошла до того, что стала страной не для богачей, а для бедняков! А затем если кто-нибудь вздумает бежать, то что пользы? Смерть перед законом или жизнь в течение еще 50 лет для их проклятых надобностей! Таким образом, под пение «*Ça ira*» все идет кувырком; в то же время происходит: бесконечные продажи национального имущества эмигрантов, а Камбон сыплет ассигнациями, как из рога изобилия. Торговля и финансы санкюлотов и гальваническое существование их при установленных максимальных ценах и очередях у булочных, при жадности, голоде, доносах и бумажных деньгах; их начало и конец остаются самой интересной главой политической экономии, которой еще предстоит быть написанной.

Разве все это не находится в резком противоречии с учением? О друзья жирондисты; мы получим не республику добродетелей, а республику сил, добродетельных и иных!

Глава шестая

ИЗМЕННИК

Но что же Дюмурье с его бегущим войском, с его королем Ludovicus'ом или королем Phili-ppus'ом? Вот где кризис; вот в чем вопрос: революционное чудо или контрреволюция? Громкий крик наполняет северо-восточную область. Охваченные яростью, подозрениями и ужасом, солдаты беспорядочной толпой мечутся из стороны в сторону; Дюмурье денно и нощно не сходит с коня, он получает массу рекомендаций и советов, но было бы лучше, если бы он не получал их вовсе, ибо из всех рекомендаций он выбрал соединиться с Кобургом, двинуться на Париж, уничтожить якобинство и с каким-нибудь новым королем, Людовиком или Филиппом, восстановить конституцию 1791 года!²³

Уж не покинули ли Дюмурье мудрость и fortuna? Принципов политических или иных верований, за исключением некоторых казарменных убеждений и офицерской чести, за ним не водилось, но как бы то ни было, а квартиры его армии в Бур-Сент-Амане и главная квартира в деревне Сент-Аман-де-Бу, неподалеку от них, превратились в Бедлам; туда сбегаются и съезжаются национальные представители и якобинские миссионеры. Из «трех городов» — Лилля, Валансьена или даже Конде, которые Дюмурье желал бы захватить для себя, — не удастся захватить ни одного. Офицера его впускают, но городские ворота запираются за ним, а затем, увы, запираются за ним и ворота тюрьмы, и «солдаты его бродят по городским валам». Курьеры скачут во весь опор; люди ждут или как будто ждут, чтобы начать убивать или быть убитыми самим; батальоны, близкие к безумию от подозрений и неуверенности, среди «Vive la République!» и «Sauve qui peut*» мечутся туда и сюда, а гибель и отчаяние в лице Кобурга залегли неподалеку в траншеях.

* Спасайся, кто может (фр.).

Госпожа Жанлис и ее прелестная принцесса Орлеанская находят, что этот Бур-Сент-Аман — совсем не подходящее для них место: покровительство Дюмурье становится хуже, чем отсутствие оно. Г-жа Жанлис энергична; это одна из самых энергичных женщин, словно наделенная девятью жизнями, ее ничто не может сокрушить; она укладывает свои чемоданы, готовясь тайно бежать. Свою любимую принцессу она хочет оставить здесь с принцем Эгалите Шартрским, ее братом. На заре холодного апрельского утра г-жу Жанлис в соответствии с ее планом можно видеть в наемном экипаже на улице Сент-Аман; почтальоны только что хлопнули бичами, готовясь тронуться, — как вдруг, задыхаясь, выбегает молодой принц-брат, неся принцессу на руках, и кричит, чтобы подождали. Он схватил бедную девушку в ночной сорочке, не успевшую взять/ничего из своих вещей, кроме часов из-под подушки; с братским отчаянием он бросает ее в экипаж между картонками, в объятия Жанлис: «Во имя Господа и милосердия не покидайте ее!» Сцена бурная, но непродолжительная: почтальоны хлопают бичами и трогаются. Но куда? По проселочным дорогам и крутым горным ущельям, отыскивая по ночам дорогу с фонарями, минуя опасности: австрийцев, Кобурга и подозрительных французских национальных солдат, женщины попадают наконец в Швейцарию, благополучно, но почти без денег²⁴. Храброму молодому Эгалите предстоит в высшей степени бурное утро, но теперь ему по крайней мере придется бороться с затруднениями одному.

И действительно, около деревни, славящейся своими целебными грязями и потому называемой Сент-Аман-де-Бу, дела обстоят худо. Около четырех часов пополудни во вторник 2 апреля 1793 года во весь опор мчатся два курьера. «Mon Général! Четыре национальных представителя с военным министром во главе едут сюда из Валансьена, следом за нами», — с какими намерениями, можно догадаться! Курьеры еще не кончили доклад, как военный министр, национальные представители и старый архивариус Камю в качестве председателя уже приезжают. Mon Général едва успел приказать гусарскому полку де Бершиньи построиться и ожидать поблизости на всякий случай. А в это время уже входит военный министр Бернонвиль с дружескими объятиями, так как он давний приятель Дюмурье; входит архивариус Камю и трое остальных.

Они предъявляют бумаги и приглашают генерала на суд Конвента только для того, чтобы дать одно или два разъяснения. Генерал находит это неподобающим, чтобы не сказать не-

возможным, и говорит, что «служба пострадает». Затем начинаются рассуждения; старый архивариус повышает голос. Но повышать голос в разговоре с Дюмурье — праздная затея; он отвечает лишь злобной непочтительностью. И вот, среди штабных офицеров в плюмажах, но с хмурыми лицами, среди опасностей и неуверенности бедные национальные посланцы спорят и совещаются, уходят и возвращаются в течение двух часов, и все без результата. Наконец архивариус Камю, совсем уже разгорячившийся, объявляет от имени Национального Конвента, ибо он на это уполномочен, что генерал Дюмурье арестован. «Будете ли вы повиноваться распоряжению Конвента, генерал?» «*Pas dans ce moment-ci*» (Не в данную минуту), — отвечает генерал тоже громко, затем, взглянув в другую сторону, произносит повелительным тоном несколько неизвестных слов, по-видимому немецкую команду²⁵. Гусары хватают четырех национальных представителей и военного министра Бернонвиля; выводят их из комнаты, из деревни, за французские сторожевые посты и в двух экипажах отвозят их в ту же ночь к Кобургу в качестве заложников и военнопленных; их долго будут держать в Маастрихте и австрийских крепостях!²⁶ *Acta est aléa*.

В эту ночь Дюмурье печатает свою «прокламацию»; в эту ночь и завтра армия Дюмурье, опутанная мраком и яростью, в полуотчаянии должна сообразить, что делает генерал и что делать ей самой. Судите, была ли эта среда для кого-нибудь радостным днем! Но в четверг утром мы видим Дюмурье с небольшим эскортом, с Эгалите Шартрским и немногими офицерами штаба, едущим по большой дороге в Конде; может быть, они едут в Конде и там попытаются убедить Гаррисона? Так или иначе, они собираются иметь беседу с Кобургом, который, согласно уговору, ждет в лесу поблизости. Недалеко от деревни Думе три национальных батальона — люди, преисполненные якобинства, — проходят мимо нас; они идут довольно быстро — по-видимому, по недоразумению, так как мы не приказывали им идти по этой дороге. Генерал слезает с коня, входит в дом, чуть поодаль от дороги, и хочет дать батальонам письменный дневной приказ. Чу! Что за странный рокот, что это за лай и вой и громкие крики: «Изменники!», «Арестовать!» Национальные батальоны сделали поворот и стреляют! На коня, Дюмурье, и скачи во весь опор! Он и его штаб глубоко вонзают шпоры в бока лошадей, перескакивают через канавы на поля, которые оказываются болотами, барахтаются и ныряют, спасая свою жизнь; вслед им несутся проклятия и свистят пули. По пояс в грязи, с лошадьми или без них, потеряв несколько слуг убитыми, они спасаются из-под выстрелов в австрийский лагерь генерала Макка. Правда, на следующее утро они возвращаются в Сент-Аман к верному иностранному полку Бершиньи, но какая в том польза? Артиллерия взбунтовалась и ушла в Валансьен; все взбунтовались или готовы взбунтоваться; за исключением одного иностранного полка Бершиньи, каких-нибудь несчастных полтора тысяч человек, никто не хочет следовать за Дюмурье, против Франции и нераздельной республики; карьера его кончена²⁷.

В этих людях так крепко укоренился инстинкт французской крови и санкюлотства, что они не последуют ни за Дюмурье, ни за Лафайетом, ни за кем из смертных в таком деле. Будут крики «*Sauve qui peut*», но будут и крики «*Vive la République!*». Приезжают новые национальные представители, новый генерал Дампьер, вскоре после того убитый в сражении*, новый генерал Кюстин; возбужденные войска отступают в лагерь Фамара и, насколько могут, оказывают сопротивление Кобургу.

* Дампьер Огюст -Анри Мари, маркиз (1756— 1793). 4 апреля 1793 г., был временно назначен главнокомандующим Северной и Арденнской армиями. Во время попытки отбить натиск Конде 8 мая 1793 г., когда он шел в атаку во главе своих войск, ему оторвало ядром ногу. Он умер на следующий день. 11 мая Конвент принял постановление о перенесении его останков в Пантеон.

Итак, Дюмурье в австрийском лагере: драма его завершилась таким скорее печальным образом. Это был весьма ловкий, гибкий человек, один из Божьих ратников, которому не доставало только дела. Пятьдесят лет незамечаемых трудов и доблести; один год трудов и доблести на виду у всех стран и веков и затем еще тридцать лет, опять незамечаемых, прошедших в писании мемуаров, в получении английской пенсии, в бесполезных планах и проектах. Прощай, Божий ратник! Ты был достоин лучшей участи.

Штаб его разбредается в разные стороны. Храбрый молодой Эгалите добирается до Швейцарии и домика г-жи Жанлис, куда приходит с крепкой узловатой палкой в руке и с сильным сердцем в груди. Этим ограничиваются теперь все его владения. 6 апреля Эгалите-отец сидел в своем дворце в Париже и играл в вист, когда вошел сыщик. Гражданин Эгалите приглашает-

ся в комитет Конвента!²⁸ Допрос с предложением идти под арест, затем заключение в тюрьму, отправка в Марсель и в замок Иф! Орлеанство потонуло в черных водах; дворец Эгалите, бывший Пале-Руаяль, должно быть, сделается дворцом национальным.

Глава седьмая

В БОРЬБЕ

Наша Республика может быть на бумаге «единой и неразделимой», но какая от этого польза, пока длится такое положение дел: в Конvente — федералисты, в армии — ренегаты, всюду — изменники! Франция, уже с 10 марта занятая отчаянным набором рекрутов, не стремится к границам, а только мечется из стороны в сторону. Это предательство надменного дипломатического Дюмурье тяжело ложится на красноречивых, высокомерных *hommes d'état**, с которыми он был заодно, и составляет вторую эпоху в их судьбе.

Или, пожалуй, вернее сказать, что вторая эпоха, хотя в то время и мало замеченная, началась для жирондистов в тот день, когда в связи с этим предательством они порвали с Дантоном. Был первый день апреля; Дюмурье еще не пробрался через болота к Кобургу, но, очевидно, намеревался сделать это, и комиссары Конвента отправились арестовать его; в это время жирондист Ласурс** не находит ничего лучшего, как подняться и иезуитски вопрошать и пространно намекать, что, может быть, главным сообщником Дюмурье был Дантон! Жиронда соглашается с сардонической усмешкой. Гора затаила дыхание. Поза Дантона, говорит Левассёр***, была на протяжении этой речи достойна замечания. Он сидел прямо, делая над собою судорожное усилие, чтобы оставаться неподвижным; глаза его временами вспыхивали диким блеском, рот искривлялся презрением титана²⁹. Ласурс продолжает говорить с адвокатским красноречием: ум его рождает то одно предположение, то другое, и предположения эти заставляют его страдать, так как они бросают весьма прискорбную тень на патриотизм Дантона, но он, Ласурс, надеется, что Дантон найдет возможным рассеять эту тень.

* Т. е. государственных деятелей.

** Ласурс Марк Давид (1763—1793) — протестантский священник, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Тарн.

*** Левассёр (из Сарты) Рене (1747—1834) — депутат Конвента от департамента Сарта, монтаньяр.

«Les scélérats!»* — восклицает Дантон, когда тот кончил, и, вскочив со сжатым кулаком, скатывается с Горы, подобно потоку лавы. Ответ его готов: предположения Ласурса разлетаются, как пыль, но оставляют после себя след. «Вы были правы, друзья с Горы, — начинает Дантон, — а я был не прав: мир с этими людьми невозможен. Так пусть будет война. Они не желают спасти Республику вместе с нами — она будет спасена без них, будет спасена вопреки им». Это настоящий взрыв бурного парламентского красноречия, и речь Дантона стоит и теперь прочесть в старом «*Moniteur*». Пламенными словами ожесточенный, суровый тиран терзает и клеймит жирондистов; и при каждом ударе радостная Гора подхватывает хором; Марат повторяет последнюю фразу, как музыкальное *bis*³⁰. Предположения Ласурса исчезли; но перчатка Дантона осталась.

* Подонки, мерзавцы (фр.).

Третью эпоху или сцену в жирондистской драме, вернее, завершение этой второй эпохи мы исчисляем с того дня, когда терпение добродетельного Петиона наконец лопнуло и когда жирондисты, так сказать, подняли перчатку Дантона и декретировали обвинение Марата. Это было одиннадцатого числа того же апреля при возникшем по какому-то поводу возбуждении, какие возникали часто; председатель надел шляпу, потому что воцарился полный Бедлам. Гора и Жиронда бросились друг на друга с кулаками, даже с зажатыми в руках пистолетами, как вдруг жирондист Дюперре обнажил шпагу! При виде сверкнувшей смертоносной стали поднялся ужасный крик, немедленно успокоивший всякое другое волнение. Затем Дюперре вложил шпагу обратно в ножны, признавшись, что он действительно обнажил ее, движимый некоторого рода священной яростью (*sainte fureur*) и направленными на него пистолетами, но что если бы он в

отцеубийственном порыве хотя бы оцарапал кожу Народного Представительства, то схватил бы пистолет, также бывший при нем, и тут же размозжил бы себе череп³¹.

И вот тогда-то добродетельный Петион, видя такое положение дел, поднялся на следующее утро, чтобы выразить сожаление по поводу этих волнений, этой бесконечной анархии, вторгающейся в самое святилище законодательной власти. Ропот и рев, какими Гора встретила его заявление, окончательно вывели его из терпения, и он заговорил резко, вызывающим тоном, с пеной у рта, «из чего, — говорит Марат, — я заключил, что у него сделалось собачье бешенство, la rage». Бешенство заразительно, поэтому выставляются новые требования, также с пеной у рта: об истреблении анархистов и, в частности, о предании суду Марата. Предать народного представителя Революционному трибуналу? Нарушить неприкосновенность представителя? Берегитесь, друзья! Этот бедный Марат не лишен недостатков, но чем он провинился против свободы или равенства? Тем, что любил их и боролся за них не слишком умно, но во всяком случае весьма усердно. Он боролся в тюрьмах и подвалах, в гнетущей бедности, среди проклятий людей, и именно в этой борьбе он стал таким грязным, гнойным, именно поэтому голова его стала головой Столпника! И его вы хотите подставить под ваш острый меч, в то время как Кобург и Питт, дыша огнем, надвигаются на нас!

Гора шумит, Жиронда также шумит, но глухо; на всех губах пена. «В непрерывном двадцатичетырехчасовом заседании» посредством поименного голосования и с невероятными усилиями Жиронде удастся настоять на своем: Марат предается Революционному трибуналу для ответа по поводу своей февральской статьи о повешении скупщиков на дверных притолоках и других преступлениях, и после недолгих колебаний он повинется³².

Итак, перчатка Дантона поднята, завязывается, как он и предсказал, «война без перемирий и без договоров» (*ni trêve, ni composition*). Поэтому, теория и реальность, сойдитесь теперь друг с другом, сцепитесь в смертельной схватке и боритесь до конца; рядом вы не можете жить, одна из вас должна погибнуть!

Глава восьмая

В СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКЕ

Эта смертельная борьба продолжалась около шести недель или более, что бросает свет на многое и показывает, какая сила, хотя бы только сила инерции, заключается в установленных формулах и как слаба рождающаяся действительность. Народное дело — обсуждение акта конституции, потому что наша конституция решительно должна быть готова, идет тем временем своим чередом. Мы даже меняем место: переселяемся 10 мая из старого зала Манежа в наш новый зал в Тюильрийском дворце, бывшем некогда королевским, а ныне принадлежащем Республике. Надежда и сострадание все еще борются в сердцах людей против отчаяния и ярости.

В течение шести недель идет крайне темная, запутанная борьба не на жизнь, а на смерть. Ярость формалистов против ярости реалистов, патриотизм, эгоизм, гордость, злоба, тщеславие, надежда и отчаяние — все обострилось до степени безумия; ярость сталкивается с яростью, подобно бурным встречным вихрям; один не понимает другого; слабейший когда-нибудь поймет, что он действительно сметен прочь! Жирондисты сильны, как установленная формула и добропорядочность; разве 72 департамента или по крайней мере почтенные департаментские власти не высказываются за нас? Кальвадос, преданный своему Бюзо. как намекают донесения, готов даже возмутиться; Марсель, колыбель патриотизма, поднимется; Бордо и департамент Жиронды восстанут, как один человек; словом, кто не восстанет, если наше *Représentation Nationale* будет оскорблено или повредят хотя бы один волос на голове депутата? Гора же сильна, как действительность и смелость. Разве не все возможно для действительности Горы? Возможно и новое 10 августа, а если понадобится, даже и новое 2 сентября!

Но что за шум, похожий на свирепое ликование, поднимается в среду днем 24 апреля 1793 года? Это Марат возвращается из Революционного трибунала! Неделя или более смертельной опасности, затем торжественное оправдание: Революционный трибунал не находит мотивов для обвинения этого человека. И вот око истории видит, как патриоты, всю неделю печалившиеся о невыразимых вещах, раздражаются восторженными криками, обнимают своего Марата, под-

нимают его и с триумфом несут на плечах по улицам Парижа. Оскорбленного Друга Народа, увенчанного венком из дубовых листьев, несут на руках среди волнующегося моря красных колпаков, карманьольских блуз*, гренадерских касок, женских чепцов, среди шума, подобного рокоту моря! Оскорбленный Друг Народа достиг кульминационной точки и касается звезд своей величественной головой.

* Карманьола — короткая куртка с несколькими рядами металлических пуговиц, какую носили жители Карманьолы в Пьемонте. В сочетании с длинными черными штанами, трехцветным жилетом и красным колпаком — одежда, широко распространенная в народе в период Французской революции. Отсюда и название революционной народной песни и танца «Карманьола».

Читатель может представить себе, с какой миной Ласурс, намекавший на «прискорбные предположения» и председательствующий теперь в Конвенте, будет приветствовать этот ликующий поток, когда он волеется сюда, и во главе его тот, который был предан суду! Некий сапер, выступивший по этому поводу с речью, говорит, что народ знает своего друга и дорожит его жизнью так же, как и своей собственной, и тот, «кто захочет получить голову Марата, получит также и голову сапера»³³. Ласурс отвечает каким-то неясным, удрученным бормотанием, слушать которое, говорит Левассёр, нельзя было без усмешки³⁴. Патриотические секции, волонтеры, еще не ушедшие к границам, являются с требованием «произвести чистку от изменников в вашем собственном лоне», требуют изгнания, даже суда и приговора над 22 мятежными депутатами.

Тем не менее Жиронда настояла на создании Комиссии двенадцати — комиссии, специально назначенной для расследования беспорядков в законодательном святилище: пусть санкюлоты говорят что хотят, законность должна восторжествовать. Председательствует в этой комиссии бывший член Учредительного собрания Рабо Сент-Этьен; «это последняя доска, на которой потерпевшая крушение Республика еще может как-нибудь спастись». Поэтому Рабо и его товарищи усердно заседают, выслушивают свидетелей, издают приказы об арестах, глядя в огромное туманное море беспорядков — чрево Формулы или, быть может, ее могилу! Не бросайся в это море, читатель! Там мрачное отчаяние и смятение; разъяренные женщины и разъяренные мужчины. Секции приходят, требуя выдачи двадцати двух, потому что число, первоначально данное секцией *Bonconseil* (Бонконсей), удерживается, хотя бы имена и менялись. Другие секции, побогаче, встают против такого требования; даже одна и та же секция сегодня требует, а завтра изобличает это требование, смотря по тому, заседают ли в этот день богатые или бедные из ее членов. Поэтому жирондисты постановляют, чтобы все секции закрывались «в десять часов вечера», до прихода рабочего народа, но постановление это остается без последствий. А по ночам Мать патриотизма плачет, горько плачет, но с горящими глазами! Фурнье-Американец, два банкира Фрей и апостол свободы Варле не бездействуют; слышен также зычный голос маркиза Сент-Юрюга. Крикливые женщины вопят на всех галереях, в Конвенте и внизу. Учреждается даже «центральный комитет» всех 48 секций; огромный и сомнительный, он заседает в полумраке дворца архиепископа, издает резолюции и сам таковые принимает; это центр секций, занимающийся обсуждением страшного вопроса о повторении 10 августа!

Отметим одну вещь, могущую пролить свет на многое, — внешний вид патриотов более нежного пола, предстающих пред глазами этих двенадцати жирондистов или нашими собственными. Есть патриотки, которых жирондисты называют мегерами, и их насчитывается до восьми тысяч; это женщины с растрепанными космами Медузы, променявшие веретена на кинжалы. Они принадлежат к «обществу, называемому Братским» (*Fraternelle*), вернее, Сестринским, которое собирается под кровлей якобинцев. «Две тысячи кинжалов» или около того было заказано, несомненно, для них. Они устремляются в Версаль, чтобы наберовать еще женщин, но версальские женщины не хотят восставать³⁵.

Смотрите, в национальном саду Тюильри девица Териан превратилась как бы в темнокудрую Диану (если бы это было возможно) и подвергается нападению своих собственных псов или псов! Девица Териан, держащая собственный экипаж, поборница свободы, что она и доказала вполне, но только свободы, соединенной с порядочностью; вследствие чего эти растрепанные ультрапатриотки и нападают на нее, рвут на ней платье, позорно секут ее циничными приемами; они даже утопили бы ее в садовом пруду, если б не подоспела помощь. Увы, помощь эта бесполезна. Голова и нервная система бедной девицы — отнюдь не из самых здоро-

вых — так расстроены и потрясены, что никогда уже не оправятся, а будут расстраиваться еще больше, пока не наступит полный крах. Спустя год мы действительно слышим, что на нее уже надевают смирительную рубашку в доме умалишенных, где она и останется до конца своих дней! Таким образом эта темнокудрая фигура исчезла из революции и истории общества навсегда, хотя несколько лет она еще продолжала бессвязно болтать и жестикулировать, не будучи в состоянии высказать то, что было у нее в голове^{36*}.

* Она была жива до 1817 г., содержалась в Сальпетриере и находилась в самом отталкивающем состоянии безумия. — *Примеч. авт.*

Есть еще одна вещь, на которую следует указать, но мы не остановимся на ней, а только попросим читателя вообразить себе ее: это царство Братства и Совершенства. Представь себе, читатель, что Золотой Век был бы уже у порога и все же нельзя было бы получить даже бакалейных товаров — благодаря изменникам. С какой пылкостью стали бы люди избивать изменников в этом случае! Ах, ты не можешь вообразить себе этого; твои бакалейные товары мирно лежат в лавках, и у тебя вообще мало или совсем нет надежды на наступление когда-нибудь Золотого Века. Но в самом деле степень, до какой дошла подозрительность, говорит уже достаточно о настроении мужчин и женщин. Мы часто называли ее сверхъестественной, и можно было подумать, что это преувеличение, но послушайте хладнокровные показания свидетелей. Ни один патриот-музыкант не может сыграть обрывка мелодии на валторне, сидя в мечтательной задумчивости на крыше своего дома, чтобы Мерсье не признал в этом сигнал, подаваемый одним заговорщическим комитетом другому. Безумие овладело даже гармонией; оно прячется в звуках «Марсельезы» и «Ça ira»³⁷. Луве, способный понимать суть вещей не хуже других, видит, что депутация должна предложить нам вернуться в наш старый зал Манежа и что по дороге анархисты убьют двадцать два из нас. Это все Питт и Кобург и золото Питта. Бедный Питт! Они не знают, сколько у него хлопот со своими собственными друзьями народа, как ему приходится выслеживать их, казнить, отменять их Habeas corpus и поддерживать твердой рукой общественный порядок у себя дома. Придет ли ему в голову поднимать чернь у соседей!

Но самый странный факт, относящийся к французской и вообще к людской подозрительности, — это, пожалуй, подозрительность Камиля Демулена. Голова Камиля, одна из самых светлых во Франции, до того насыщена в каждой фибре своей сверхъестественной подозрительностью, что, оглядываясь на 12 июля 1789 года, когда в саду Пале-Руаяля вокруг него поднялись тысячи, гремя ответными кликами на его слова и хватая кокарды, он находит объяснение этому только в следующем предположении: все они были для этого наняты и подготовлены иностранными и другими заговорщиками. «Недаром, — говорит он с полным сознанием, — эта толпа взбунтовалась вокруг меня, когда я говорил! Нет, недаром. Позади, спереди, вокруг разыгрывается чудовищная кукольная комедия заговоров, и Питт дергает за веревочки³⁸. Я почти готов думать, что я сам, Камиль, представляю собой заговор, что я марионетка на веревочке». Далее этого сила воображения не может идти.

Как бы то ни было, история замечает, что Комиссия двенадцати, теперь вполне выяснившая все касающееся заговоров и даже держащая, по ее словам, «все нити их в своих руках», поспешно издает в эти майские дни приказы об аресте и ведет дело твердой рукой, решившись ввести в берега это разбушевавшееся море. Какой глава патриотов, даже какой председатель секции теперь в безопасности? Его можно арестовать, вытащить из теплой постели, потому что он производил неправильные аресты в секции! Арестуют апостола свободы Варле. Арестуют помощника прокурора Эбера, Pègre Duchesne, народного судью, заседающего в городской Ратуше, который с величавой торжественностью мученика прощается со своими коллегами; он готов поинноваться закону и с торжественной покорностью исчезает в тюрьме.

Но тем сильнее волнуются секции, энергично требуя его возвращения, требуя, чтобы вместо народных судей были арестованы двадцать два изменника. Секции являются одна за другой, дефилируют с красноречием в духе Камбиса; приходит даже Коммуна с мэром Пашем во главе, и не только с вопросом об Эбере и двадцати двух, но и со старым, снова ставшим новым роковым вопросом: «Можете ли вы спасти Республику или это должны сделать мы?» Председатель Макс Инар дает им на это пылкий ответ: если по роковой случайности в один из этих беспорядков, все повторяющихся с 10 марта, Париж поднимет святотатственный палец против народно-

го представительства, то Франция встанет, как один человек, в мщении, которого нельзя вообразить, и скоро «путешественник будет спрашивать, на каком берегу Сены стоял Париж!»³⁹ В ответ на это Гора и все галереи только громче режут; патриотический Париж кипит вокруг.

А жирондист Валазе по ночам устраивает у себя собрания, рассылает записки: «Приходите в назначенный час и вооружитесь хорошенько, потому что предстоит дело». Мегеры бродят по улицам с флагами и жалобным аллилуйя⁴⁰. Двери Конвента загорожены волнующимися толпами; краснобаев *hommes d'état* освистывают, толкают, когда они проходят; во время такой смертельной опасности Марат обратится к вам и скажет: «Ты тоже один из них». Если Ролан просит позволения уехать из Парижа, то переходят к очередным делам. Что тут делать? Приходится освободить помощника прокурора Эбера и апостола Варле, чтобы их увенчали дубовыми гирляндами. Комиссия двенадцати распускается в собрании Конвента, переполненном ревущими секциями, а назавтра восстанавливается, когда в Конvente преобладают соединившиеся жирондисты. Этот темный хаос или море бед всеми элементами своими, крутясь и накаляясь, стремится что-нибудь создать.

Глава девятая

ПОГАСЛИ

И вот в пятницу 31 мая 1793 года летнее солнце своими лучами высвечивает одну из самых странных сцен. В Тюильрийский зал Конвента являются мэр Паш с муниципалитетом, за которыми послали, так как Париж находится в очередном брожении, и приносят необычайные вести.

Будто бы на заре, в то время, когда в городской Ратуше непрерывно заседали, радея об общем благе, вошли, точь-в-точь как 10 августа, какие-то 96 неизвестных лиц, которые объявили, что они крайне возмущены и что они уполномоченные комиссары 48 секций — секций или членов — державного народа, также находящиеся в состоянии возмущения, и что именем названного суверена мы отрешаемся от должностей. Мы сняли тогда шарфы и удалились в расположенный рядом Зал свободы. Затем, через минуту или две, нас позвали обратно и восстановили в должностях, так как державный народ соблаговолил найти нас достойными доверия. Благодаря этому, принеся новую присягу по должности, мы внезапно оказались революционными властями с особым состоящим при нас комитетом из 96 членов. Гражданин Анрио, обвиняемый некоторыми в участии в сентябрьских убийствах, назначается главнокомандующим Национальной гвардией, и с шести часов утра набат звонит и барабаны бьют. Ввиду таких чрезвычайных обстоятельств мы спрашиваем: что соблаговолит приказать нам августейший Национальный Конвент?⁴¹

Да, это действительно вопрос! «Распустить революционные власти», — отвечают некоторые в запальчивости. Верньо желает по крайней мере, чтобы «народные представители умерли на своих постах». Все клянутся в этом при громком одобрении. Но что касается разгона инсurreкционных властей, то, увы!.. Что за звук доносится до нас, пока мы заняты обсуждением? Это гром тревожной пушки на Пон-Нёф, за стрельбу из которой без нашего приказания закон карает смертью!

Тем не менее она продолжает греметь, вселяя трепет в сердца. А набат отвечает мрачной музыкой, и Анрио с своими войсками окружает нас! Депутации от секций следуют одна за другой в течение всего дня, требуя с красноречием Камбиза и бряцанием ружей, чтобы двадцать два или более изменника были наказаны и чтобы Комиссия двенадцати была окончательно распущена. Сердце Жиронды замирает: 72 добропорядочных департамента далеко, а этот пылкий муниципалитет близко! Барер предлагает компромисс: нужно что-нибудь уступить. Комиссия двенадцати заявляет, что, не дожидаясь, чтобы ее распустили, она распускает себя сама и более не существует. Докладчик Рабо охотно сказал бы свое и ее последнее слово, но его прогоняют ревом. Счастье еще, что двадцать два остаются до сих пор неприкосновенными! Верньо, доводя законы учтивости до крайних пределов, к изумлению многих, предлагает Конвенту заявить, что «секции Парижа заслужили благодарность Отечества». Вслед за тем поздно вечером заслужившие благодарность секции расходятся, каждая по своим местам. Барер должен составить

доклад о событиях дня. Работая головой и пером, он одиноко сидит за своим делом; в эту ночь ему не придется спать. Так окончилась пятница последнего дня мая.

Секции заслужили благодарность Отечества, но не могли бы они заслужить еще большую? Ведь если жирондистская крамола в данную минуту и повержена, то разве не может она возродиться в другую, более благоприятную минуту и сделаться еще опаснее? Тогда придется снова спасать Республику. Так рассуждают патриоты, все еще «непрерывно заседающие»; так рассуждает на следующий день и Марат, фигура которого виднеется в туманном мире секций; и эти рассуждения влияют на умы людей! В субботу вечером, когда Барер окончательно обработал свой доклад, просидев над ним целые сутки, и готовится отправить его с вечерней почтой, вдруг снова зазвонил набат. Барабаны бьют сбор, вооруженные люди располагаются на ночь на Вандомской площади и в других пунктах, снабженные провизией и напитками. Здесь, в мерцании летних звезд, они будут ждать всю ночь надлежащего сигнала от Анрио и от городской Ратуши, чтобы делать, что им велят.

На бой барабанов Конвент спешит обратно в свой зал, но лишь в количестве 100 человек; он делает немного, откладывая все на завтра. Жирондисты не являются; они ищут надежного убежища и не ночуют в своих домах. Бедный Рабо, возвращаясь на следующее утро на свой пост к Луве с несколькими другими по охваченным волнением улицам, ломает себе руки, восклицая: «*Mia suprema dies!*»⁴² Настало воскресенье, второй день июня 1793 года по старому стилю, а по новому — первого года Свободы, Равенства и Братства. Мы подошли к финальной сцене, завершающей историю жирондистского сенаторства.

Сомнительно, чтобы какой-нибудь Конвент на земле собирался при таких обстоятельствах, при каких собирается в этот день наш Национальный Конвент. Звонит набат; заставы заперты; весь Париж на улице, отчасти вооруженный. Людей с оружием насчитывается до 100 тысяч — это национальные войска и вооруженные волонтеры, которые должны были спешить к границам и в Вандею, но не спешили туда, потому что измена была еще не наказана, и только металась во все стороны. Массы солдат под ружьем окружают Тюильри и сад. Тут и конница, и пехота, и артиллерия, и бородатые саперы; артиллерию с походными печами можно видеть в национальном саду; она раскаляет ядра и держит зажженные фитили наготове. Анрио с развевающимся плюмажем разъезжает, окруженный штабом также с плюмажами; все посты и выходы заняты; резервы стоят до самого Булонского леса; отборнейшие патриоты находятся ближе всех к месту действия. Заметим еще одно обстоятельство: заботливый муниципалитет, не поспушившийся на походные печи, не позабыл и о повозках с провиантом. Ни одному члену державного народа не нужно ходить домой, чтобы пообедать; все могут оставаться в строю, так как обильная еда раздается всем без всяких хлопот. Разве этот народ не понимает восстания? Вы, не неизобретательные *Gualches!*

Национальному представительству, «уполномоченным державного народа», не мешает поразмыслить об этих обстоятельствах. Изгоните ваших двадцать два члена и вашу Комиссию двенадцати; мы будем стоять здесь, пока это не будет сделано! Депутация за депутатией являются с этим требованием, формулируемым в выражениях все более и более резких. Барер предлагает компромисс: не согласятся ли обвиняемые депутаты удалиться добровольно, великодушно выйти в отставку, принеся себя в жертву благу родины? Инар, раскаивающийся в том, что допускал возможность вопроса, на каком берегу реки стоял Париж, заявляет, что он готов уйти в отставку. Готов и Те Деум Фоше, а старый бастилец Дюзоз, которого Марат называет «*vieux gadoteur*» (старый болтун), готов на это даже с удовольствием. Зато бретонец Ланжюине заявляет, что есть человек, который никогда не согласится добровольно подать в отставку, но будет протестовать до последней возможности, пока у него есть голос. И он начинает протестовать среди яростных криков; Лежандр кричит наконец: «Ланжюине, убирайся с трибуны, не то я сброшу тебя с нее (*ou je te jette en bas!*)» Дело дошло до крайностей. Некоторые ретивые члены Горы уже вцепляются в Ланжюине, но не могут сбросить его, потому что он «впивается в решетку», и «на нем разрывают платье». Доблестный сенатор, достойный сострадания! Барбару также не хочет уходить; он «покаялся умереть на своем посту и хочет сдержать эту клятву». Тогда галереи бурно поднимаются; некоторые размахивают оружием и выбегают, крича: «*Allons, мы должны спасти Отчизну!*» Таково заседание в воскресенье 2 июня.

Церкви в христианской Европе наполняются и потом пустеют, но наш Конвент все это время не пустеет: это день криков и споров, день агонии, унижения и раздиранья риз; *ilia suprema dies!* Кругом стоят Анрио и его 100 тысяч, обильно подкрепляемые пищей и питьем: Анрио «раздает даже каждому по 5 франков»; мы, жирондисты, видели это собственными глазами; 5 франков, чтобы поддержать в них настроение! А безумие вооруженного мятежа заграждает наши двери, шумит у нашей решетки; мы пленники в нашем собственном зале: епископ Грегуар не мог выйти для *besoin actuel* без четырех жандармов, следивших за каждым его шагом! Во что превратилось значение национального представителя? Солнечный свет падает, уже желтея, за западные окна, трубы отбрасывают более длинные тени, но ни подкрепившиеся 100 тысяч, ни тени их не двигаются! Что предпринять? Вносится предложение — излишнее, как понятно всякому, — чтобы Конвент вышел в полном составе, дабы собственными глазами убедиться, свободен он или нет. Согласно этому предложению, из восточных ворот Тюильри выходит угнетенный Конвент; впереди шествует красивый Эро де Сешель* в шляпе в знак общественного бедствия, остальные с непокрытыми головами; они идут к Анрио и его украшенному плюмажем штабу. «Именем Национального Конвента, посторонитесь!» Анрио не сторонится ни на вершок: «Я не принимаю приказаний, пока не будет исполнена воля вашего и моего суверена». Конвент протискивается вперед: Анрио со своим штабом отскакивает шагов на пятнадцать назад. «К оружию! Канониры, к пушкам!» Он выхватывает свою саблю, штаб и гусары делают то же. Канониры размахивают зажженными фитилями, пехота берет ружья... но, увы, не на караул, а в горизонтальном положении, как для стрельбы! Эро, в шляпе, ведет свое растерянное стадо через тюильрийский загон, через сад, к воротам на противоположной стороне. Здесь фейянская терраса, здесь наш старый зал Манежа, но из этих ворот, ведущих на *Point Tournant*, также нет выхода. Пытаются пройти в другие, в третьи ворота — нет выхода ниоткуда. Мы бродим в отчаянии между вооруженными рядами, которые, правда, приветствуют нас криками: «Да здравствует Республика!», но также и криками: «Смерть Жиронде!» Другого такого зрелища заходящее солнце еще не видывало в первый год свободы.

* Эро де Сешель Мари Жан (1759—1794) — депутат Конвента от департамента Сена и Уаза, комиссар Конвента в Савойе, член Комитета общественного спасения,

Смотрите: навстречу нам идет Марат, так как он не примкнул к нашему просительному шествию, а собрал около себя человек сто отборных патриотов и приказывает нам именем державного народа вернуться на наше место и сделать то, что нам велит наша обязанность. Конвент возвращается. «Разве Конвент не видит, что он свободен, что его окружают только друзья?» — говорит Кутон с выражением необыкновенной силы в лице. Конвент, наводненный друзьями и вооруженными членами секций, приступает к голосованию, согласно приказанию. Многие не хотят голосовать и безмолвствуют; один или два протестуют на словах; Гора проявляет полное единодушие. Комиссия двенадцати и обвиняемые двадцать два члена, к которым прибавлены экс-министры Клавьер и Лебрэн, объявляются, с небольшими импровизированными изменениями (предлагаемыми разными ораторами, причем решает Марат), «под домашним арестом». Бриссо, Бюзо, Верньо, Гюаде, Луве, Жансонне, Барбару, Ласурс, Ланжюине, Рабо — тридцать два человека, известных и неизвестных нам жирондистов, «под охраной французского народа», а мало-помалу под охраной двух жандармов каждый, должны мирно жить в своих домах в качестве простых смертных, а не сенаторов впредь до дальнейших распоряжений. Этим заканчивается заседание в воскресенье 2 июня 1793 года*.

* Эта глава в истории Французской революции завершается установлением якобинской диктатуры.

В десять часов, при кротком сиянии звезд, наши сто тысяч, благополучно сделав свое дело, расходятся по домам. В тот же самый день Центральный революционный комитет арестовал г-жу Ролан и заключил ее в тюрьму Аббатства. Муж ее бежал неизвестно куда.

Таким-то революционным путем пали жирондисты, и угасла их партия, возбуждая сожаление у большинства историков. Они были люди даровитые, с философской культурой, добропорядочного поведения; они не виноваты, что были только педантами и не имели лучших дарований; это не вина, а беда их. Они делали республику добродетелей, во главе которой стояли бы они сами, а получили республику силы, во главе которой стояли другие.

Впрочем, Барер составит об этом доклад. Вечер заканчивается «гражданской прогулкой при свете факелов»⁴³: ведь ясно, что истинное царство братства теперь уже недалеко.

Книга IV

ТЕРРОР

Глава первая

ШАРЛОТТА КОРДЕ

В июне и июле, когда природа щедро одарена листвой, многие французские департаменты наводняются массой мятежных бумажных листков, называемых прокламациями, резолюциями, журналами или дневниками «Союза для борьбы против притеснений». В особенности город Кан в Кальвадосе видит, как его листок «Bulletin de Caen» вдруг распускается, вдруг укореняется там в качестве газеты, редактируемой жирондистскими народными представителями!

Некоторые опальные жирондисты обладают отчаянным характером. Иные, как Верньо, Валазе, Жансонне, «подвергнутые домашнему аресту», решили ожидать исхода со стоической покорностью. Другие, как Бриссо, Рабо, убегут, скроются, что пока еще нетрудно, так как парижские заставы снова открываются через день или два. Но есть и такие, которые устремятся вместе с Бюзо в Кальвадос или дальше, через всю Францию, в Лион, Тулон, Нант и другие места, назначив друг другу свидание в Кане, чтобы звуком боевой трубы пробудить почтенные департаменты и низвергнуть анархическую партию Горы или по крайней мере не уступить ей без боя. Таких бесстрашных голов мы насчитываем десятка два и даже больше среди арестованных и еще неарестованных: Бюзо, Барбару, Луве, Гюаде, Петион, бежавшие из-под домашнего ареста; Саль*, пифагореец Валади, Дюшатель — тот Дюшатель, который явился в одеяле и ночном колпаке, чтобы подать голос за жизнь Людовика, — ускользнувшие от опасности и возможности ареста. Все они — число их достигало одно время 27 человек — живут здесь в Intendance, или доме управления департаментом города Кана, в Кальвадосе. Власти приветствуют их и платят за них, так как у них нет своих денег. А «Bulletin de Caen» продолжает выходить с чрезвычайно воодушевляющими статьями о том, как Бордоский, Лионский департаменты, один департамент за другим, высказываются за них. Шестьдесят, как говорят, даже шестьдесят девять или семьдесят два¹ почтенных департаментов или приняли их сторону, или готовы принять. Более того, город Марсель сам пойдет на Париж, если в этом будет необходимость. Так объявил этот город. Но с другой стороны, о том, что город Монтелимар сказал: «Прохода не будет» — и даже прибавил, что предпочитает скорее «похоронить себя» под своими собственными мортирами и стенами, — об этом не упоминается в «Bulletin de Caen».

* Саль Жан Батист (1759—1794) — депутат Генеральных штатов, депутат Конвента от департамента Мёрт, один из основателей Клуба фейянов

Дюшатель (1766—1793) — землевладелец, депутат Конвента от департамента Дё-Севр.

Вот какие воодушевляющие статьи читаем мы в новой газете; тут и пламенные строки, и красноречивый сарказм — тирады против Горы, принадлежащие перу депутата Саля, которые походят, по словам друзей, на Provincials Паскаля. Что более кстати, это то, что жирондисты приобрели главнокомандующего — некоего Вимпфена*, служившего раньше под командованием Дюмурье, а также подчиненного ему сомнительного генерала Пюизэ и других и делают все возможное, чтобы собрать войско для войны из национальных волонтеров с бесстрашными сердцами. Собирайтесь, вы, национальные волонтеры, друзья Свободы, собирайтесь из округов нашего Кальвадоса, с Юры, из Бретани, отовсюду; вперед, на Париж, и уничтожьте анархию. Так в Кане в ранние июльские дни бьют барабаны, маршируют волонтеры, произносятся речи и происходят совещания; тут и штаб, и армия, и совет, и клуб Carabote антиякобинских друзей Свободы, обвиняющий перед нацией жестокого Марата. Со всем этим и с изданием «Bulletins» у национальных представителей дел выше головы. В Кане очень оживленно, и, надо надеяться, более или менее оживленно в «семидесяти двух департаментах, которые присоединяются

к нам». И во Франции, окруженной вторгающейся киммерийской коалицией и раздираемой Вандеёй внутри, мы пришли к такому заключению: подавить анархию посредством междоусобной войны! «Durum et durum, — говорит пословица, — non faciunt murum». Вандея горит, Сантер ничего не может сделать там, он может только вернуться домой и варить пиво. Киммерийские гранаты летают вдоль всего севера. Осада Майнца сделалась знаменитой; любители живописи (как утверждает Гёте) рисовали местное население обоего пола; совершали туда прогулки по воскресеньям, чтобы посмотреть на стрельбу артиллерии воюющих сторон: «Вы только склоняетесь на мгновение, и ядро со свистом пролетает мимо»². Конде капитулировал перед австрийцами. Его королевское высочество принц Йоркский в эти последние недели яростно бомбардирует Валансьен. Увы, наш укрепленный Фамарский лагерь взят штурмом; генерал Дампьер убит, генералу Кюстину высказано порицание, и он явился теперь в Париж, чтобы дать «объяснения».

* Вимпфен Луи Феликс, барон (1744—1814) — член Учредительного собрания, главнокомандующий армией федералистов в Нормандии в 1793 г.

Со всем этим Гора и жестокий Марат должны справляться как умеют. Каким бы анархическим Конвентом они ни были, они публикуют декреты, полные жалоб и объяснений, хотя и не без строгости; они посылают комиссаров, поодиночке или по двое, с оливковой ветвью в одной руке, но с мечом в другой. Комиссары являются даже в Кан, но без успеха. Математик Ромм и настоятель, выбранный от Кот-д'Ор, осмелившиеся явиться туда с оливковой ветвью и мечом, заключены в тюрьму; там, под замком «на 50 дней», Ромм может покоиться и размышлять о своем новом календаре, если это ему нравится. Киммерия, Вандея и междоусобная война! Никогда не была Республика, «единая и неразделимая», в большем упадке.

В этом мрачном брожении Кана и всего мира история отмечает одну вещь: в передней дома de l'Intendance, где снуют занятые депутаты, молодая дама, сопровождаемая пожилым слугой, грациозно, с серьезным видом прощается с депутатом Барбару³. У нее статная фигура нормандки и красивое лицо; ей двадцать пятый год; ее имя Шарлотта Корде — Корде д'Арман, когда еще существовало дворянство. Барбару дал ей письмо к депутату Дюперре, тому, который однажды обнажил свою шпагу в минуту гнева. Очевидно, она отправляется в Париж с каким-то поручением. «До революции она принадлежала к республиканцам, и у нее никогда не было недостатка в энергии»; в этой прекрасной женской фигуре ощущается цельность и решимость. «Она понимала под энергией пыл сердца, побуждающий человека жертвовать собой во имя родины». Не явилась ли, подобно звезде, эта молодая, прекрасная Шарлотта из своего тихого уединения, прекрасная жестокой полуангельской, полудемонической красотой, чтобы на мгновение блеснуть и мгновенно погаснуть, чтобы оставить в памяти людей на долгие века свою светлую цельную личность? Оставив в стороне киммерийскую коалицию вне Франции и мрачное брожение 25 миллионов людей внутри ее, История будет пристально смотреть на одно это прекрасное видение, Шарлотту Корде, следя, куда она направляется и как эта короткая жизнь вспышивает так ярко и затем исчезает, поглощенная ночью.

Во вторник 9 июля мы видим Шарлотту сидящей в канском дилижансе с билетом до Парижа, рекомендательным письмом Барбару и небольшим багажом. Никто не прощается с нею, не желает ей счастливого пути: ее отец найдет оставленную записку, извещающую, что Шарлотта уехала в Англию и что он должен простить и забыть ее. Нагоняющий дремоту дилижанс медленно тащится среди похвал Горе и скучных разговоров о политике, в которые Шарлотта не вмешивается; проходит ночь, день и еще ночь. В четверг, незадолго до полудня, показывается мост Нёльи. Вот он, Париж, с его тысячью черных куполов, конец и цель твоего путешествия! Прибыв в гостиницу «Провиданс» на улице Старых Огюстенов, Шарлотта требует комнату, спешит в постель и спит весь остальной день и всю ночь до следующего утра.

На другой день утром она передает письмо Дюперре. Оно касается некоторых фамильных документов, находящихся в руках министерства внутренних дел, которые необходимы одной канской монахини, бывшей монастырской подруге Шарлотты, и которые Дюперре должен помочь ей добыть. Так вот какое поручение привело Шарлотту в Париж? Она покончила с этим в пятницу, однако ничего не говорит о возвращении домой. Она видела и молча разузнавала многое; видела Конвент в его реальном воплощении, видела Гору. Ей только не удалось видеть Марата в натуре: он болен сейчас и не выходит из дома.

В субботу, около 8 часов утра, она покупает большой нож в ножнах в Пале-Руаяле, затем тотчас же идет на площадь Побед и нанимает фиакр «до улицы Медицинской Школы, № 44». Здесь живет гражданин Марат, но он болен и его нельзя видеть, что, видимо, огорчает Шарлотту. Значит, у нее есть дело и к Марату? Злополучная прекрасная Шарлотта; злополучный, презренный Марат! Из Кана, на крайнем западе, из Нёшателя, на крайнем востоке, они оба приближаются один к другому; оба, как это ни странно, имеют дело друг к другу. Шарлотта, возвратившись к себе в гостиницу, посылает Марату короткую записку, извещая, что она приехала из Кана, очага возмущения, что она горячо желает видеть его и «дать ему возможность оказать Франции громадную услугу». Ответа нет. Шарлотта пишет другую записку, еще более настойчивую, и отправляется с ней в карете около семи часов вечера сама. Утомленные поденщики окончили свою неделю. Огромный Париж движется и волнуется своими разнообразными смуглыми желаниями. Только эта прекрасная женщина дышит решимостью, направляется прямо к цели.

Стоит золотистый июльский вечер тринадцатого числа, канун годовщины взятия Бастилии, когда «господин Марат» четыре года тому назад в толпе на Пон-Нёф язвительно требовал от гусарского отряда Безанваля, который имел такие дружеские намерения, «слезть в таком случае с коней и отдать свое оружие», этим он снискал себе славу среди патриотов; четыре года — какой путь прошел он с тех пор! Теперь около половины восьмого вечера он сидит по пояс в ванне, задыхаясь от жары, глубоко огорченный, больной революционной лихорадкой, — другую его болезнь история предпочитает не называть. Бедняга крайне истощен и болен; в кармане у него ровно И су бумажными деньгами; возле ванны стоит крепкий треногий табурет, чтобы писать на нем пока; если прибавить к этому грязную прачку, вот и весь его домашний обиход на улице Медицинской Школы. Сюда, и более никуда, привел избранный им путь. Не в царство братства и полного блаженства, но уж наверное на путь к нему? Чу, опять стучат? Мелодичный женский голос отказывается уйти. Это опять та гражданка, которая хочет оказать услуги Франции. Марат, узнав ее голос, кричит из комнаты: «Примите». Шарлотта Корде принята.

«Гражданин Марат, я приехала из Кана, очага возмущения, и желала бы поговорить с вами». — «Садитесь, *mon enfant* (дитя мое). Ну, что подельывают изменники в Кане? Кто там из депутатов?» Шарлотта называет некоторых. «Их головы упадут через две недели», — хрипит пылкий Друг Народа, схватывая свои листки, чтобы записать. «Барбару, Петион, — пишет он обнаженной сморщенной рукой, повернувшись боком в своей ванне, — Петион, и Луве, и... » Шарлотта вынимает свой нож из ножен и вонзает его верным ударом в сердце пишущего. «*A moi, chère amie!*» (Ко мне, милая!) Более он ничего не мог произнести, не мог даже крикнуть, постигнутый смертью. Помощь под рукой, прачка вбегает, но Друга Народа или друга прачки уже не стало; жизнь его, негодуя, со стоном изливается в царство теней⁴.

Итак, Марат, Друг Народа, убит; одинокий Столпник низвергнут со своего столба. Куда? Про то знает тот, кто его создал. Патриотический Париж стонет и плачет, но если бы он и в десять крат сильнее стонал, то это было бы напрасно; патриотическая Франция вторит ему; Конвент с Шабо, «бледным от ужаса, заявляющим, что все они будут убиты»; постановляет, чтобы Марату были возданы почести Пантеона и общественные похороны; прах Мирабо должен посторониться для него. Якобинские общества в горестных речах резюмируют его характер, сравнивают его с тем, кому они думали сделать честь, назвав его «добрым санкиюлотом», но кого мы не называем здесь⁵. На площади Карусель должна быть воздвигнута часовня для урны, содержащей сердце Друга Народа, и новорожденных детей будут называть Маратами; каменщики с Лаго-ди-Комо изведут горы гипса на некрасивые бюсты; Давид будет писать свою картину или сцену смерти, но, какие бы понести ни изобретал человеческий ум, Марат уже не увидит света земного солнца. Единственная подробность, которую мы прочли с сочувствием в старой газете «*Moniteur*», — это как брат Марата приходил из Нёшателя просить Конвент, чтобы ему отдали ружье покойного Жан Поля. Значит, и Марат имел родственные связи, и был когда-то завернут в пеленки, и спал безмятежно в колыбели, подобно всем нам! Значит, все вы — дети людей! Одна из его сестер, говорят, еще до сих пор живет в Париже.

Что касается Шарлотты, то она выполнила задачу. Вознаграждение за нее близко и несомненно. Милая подруга Марата и соседи по дому бросаются к ней; она «опрокидывает часть мебели» и загоразживается, пока не приходят жандармы; тогда она спокойно выходит, спокойно идет в тюрьму Аббатства: она одна спокойна; весь Париж трепещет от удивления, ярости или восхи-

щения вокруг нее. Дюперре арестован из-за нее; его бумаги опечатаны, что может иметь последствия. Фоше также арестован, хотя Фоше даже не слышал о ней. Шарлотта, поставленная на очную ставку с этими двумя депутатами, хвалит серьезную твердость Дюперре и порицает уныние Фоше.

В среду утром народ, переполняющий зал суда, может видеть ее лицо: прекрасное, спокойное лицо. Она называет этот день «четвертым днем приготовления к миру». Станный шепот пробегает по залу при виде ее, трудно сказать, какого характера⁶. Тенвиль приготовил свой обвинительный акт и свитки бумаги; торговец из Пале-Руаяля засвидетельствовал, что он продал ей нож в ножнах. «Все эти подробности излишни, — прерывает Шарлотта. — Это я, я убила Марата». — «По наущению кого?» — «Никого». — «Что же побудило вас к этому?» — «Его преступления. Я убила одного человека, — добавила она, сильно повысив голос, так как судьи продолжали свои вопросы, — я убила одного человека, чтобы спасти сотни тысяч других; убила негодяя, свирепое дикое животное, чтобы спасти невинных и дать отдых моей родине. До революции я была республиканкой; у меня никогда не было недостатка в энергии». Значит, не о чем больше и говорить. Публика смотрит с удивлением; миниатюристы поспешно набрасывают ее черты; Шарлотта не противится; судьи исполняют формальности. Приговор: смерть, как убийце. Она благодарит своего адвоката в кротких выражениях, полных гордого сознания; благодарит священника, которого привели к ней, но она не нуждается ни в исповеди, ни в духовной или какой-либо другой его помощи.

Итак, в тот же вечер, около половины восьмого, из ворот Консьержери по направлению к городу, где все на ногах, выезжает роковая колесница с сидящим на ней молодым, прекрасным созданием, одетым в красную рубашку убийцы; созданием, таким прекрасным, ясным, таким полным жизни... и направляющимся к смерти — одиноким среди всего мира. Многие снимают шляпы в знак почтительного приветствия, ибо чье сердце может остаться равнодушным?⁷ Другие кричат и режут. Адам Люкс из Майнца объявляет ее более великой, чем Брут, говорит, что было бы счастьем умереть вместе с нею. По-видимому, голова этого молодого человека вскружена. На площади Революции лицо Шарлотты сохраняет спокойную улыбку. Палачи начинают связывать ей ноги; она противится, принимая это за оскорбление, но после нескольких слов объяснения подчиняется с ласковым извинением. Как последнее приготовление они снимают косынку с ее шеи — краска девичьего стыда заливает это прекрасное лицо и шею; щеки ее еще были окрашены, когда палач поднял отрубленную голову, чтобы показать ее народу. «Несомненно, — говорит Форстер, — что он презрительно ударил ее по щеке; я видел это собственными глазами; полиция заключила его за это в тюрьму»⁸.

Таким образом, прекраснейшее и презреннейшее столкнулись и уничтожили друг друга. Жан Поль Марат и Мария Анна Шарлотта Корде оба внезапно перестали существовать. «День приготовления к миру?» Увы, возможны ли мир или подготовка к нему, когда даже сердца прелестных девушек в тиши монастырских стен мечтают не в рае любви и радостях жизни, а о самопожертвовании Корде и достойной смерти? В том, что 25 миллионов сердец бьются таким чувством, — вот в чем анархия, в этом ее сущность, и не мир может быть ее воплощением! Смерть Марата, в десять раз сильнее обострившая старую вражду, хуже, чем какая бы то ни было жизнь. О вы, злополучные двое, взаимно уничтожившие друг друга, прекрасная и презренный, спите спокойно в лоне Матери, давшей жизнь вам обоим!

Вот история Шарлотты Корде, самая точная, самая полная, ангельски демоническая подобная звезде! Адам Люкс идет домой в полубреду, чтобы излить свое поклонение ей на бумаге и в печати и предложить поставить ей статую с надписью: «Более великая, чем Брут»*. Друзья указывают ему на опасность. Люкс равнодушен. Он думает, что было бы прекрасно умереть вместе с нею.

Глава вторая

МЕЖДОУСОБНАЯ ВОЙНА

В те же самые часы другая гильотина производит свою работу над другим существом. Сегодня Шарлотта умирает в Париже за жирондистов, завтра Шалье падает в Лионе от руки жирондистов.

От грохота провозимых пушек по улицам этого города дело дошло до стрельбы из них, до бешеной схватки. Нивьер-Шоль и жирондисты торжествуют, а за их спиной, как и повсюду, стоит роялистская партия, выжидающая удобный момент, чтобы выступить. Много волнений в Лионе, и господствующая партия победоносно одерживает верх. В самом деле, весь Юг на ногах, заключает в тюрьму якобинцев, вооружается в поддержку жирондистов, в связи с чем созван Лионский конгресс, учрежден «Революционный Лионский трибунал», трепещите, анархисты! Так Шалье скоро был признан виновным в якобинстве, в заговоре убийц, в том, что «обратился с речью, обнажив шпагу, 6-го минувшего февраля»; и назавтра он совершает свой последний путь по улицам Лиона «рядом со священником, с которым он бурно разговаривает». Недалеке уже сверкает топор. Этот человек плакал в былые годы и «падал на колени на мостовую», благословляя небо при виде листовок федерации или чего-либо подобного, но после того он ездил в Париж на поклонение Марату и Горе, и вот теперь и Марат, и он оба погибли; можно было предвидеть, что он кончит плохо. Якобинцы втайне стонут в Лионе, но не смеют высказаться громко. Шалье, когда суд вынес ему приговор, ответил: «Моя смерть будет дорого стоить этому городу».

* Марк Юний Брут (85—42 гг. до н. э.) — один из руководителей заговора против Цезаря и организаторов его убийства. В период Французской революции XVIII в. почитался как образец республиканской добродетели.

Город Монтелимар не погребен под своими развалинами, но Марсель действительно выступает в поход под командой Лионского конгресса и заключает в тюрьму патриотов; теперь и роялисты снимают маски. Против них сражается генерал Карто, хотя и с малыми силами, и с ним майор артиллерии по имени Наполеон Бонапарт. Этот Наполеон, чтобы доказать, что марсельцы не имеют никакой надежды на успех, не только сражается, но и пишет; он публикует свой «Ужин в Бокере» — диалог, ставший любопытным⁹. Несчастный город, сколько в нем противоречий! Насилие оплачено насилием в геометрической прогрессии; роялизм и анархизм оба выступают разом; кто сможет подвести конечный итог этих геометрических рядов?

Железные перила еще никогда не плавали в Марсельской гавани, но тело утопившегося Ребекки было найдено плавающим в ней. Пылкий Ребекки, видя, как росла смута и заражались роялизмом почтенные люди, почувствовал, что для республиканца не осталось иного убежища, кроме смерти. Ребекки исчез; никто не знал куда, пока однажды утром не нашли его пустой оболочкой, или тела, всплывшего вниз головой и носившегося по соленым волнам¹⁰, и не поняли, что Ребекки не стало. Тулон также заключает в тюрьму патриотов, посылает делегатов в конгресс, заводит на всякий случай интриги с роялистами и англичанами. Монпелье, Бордо, Нант, вся Франция, не находящаяся под властью Австрии и Киммерии, кажется, предались безумию и самоубийственному уничтожению. Гора работает, подобно вулкану в жаркой вулканической стране. Учрежденные Конвентом комитеты безопасности, спасения заняты день и ночь. Комиссары Конвента быстро мчатся по всем дорогам, неся оливковую ветвь и меч или теперь, быть может, один только меч. Шометт и муниципалитеты ежедневно являются в Тюильри с требованием конституции. Вот уже несколько недель, как Шометт решил в Ратуше, что депутация должна ходить каждый день и требовать конституцию, пока она не будет получена¹¹; посредством ее могла бы соединиться и примириться предающаяся самоубийству Франция — вещь, несомненно весьма желательная.

Так вот какие плоды пожали антианархические жирондисты, подняв эту войну в Кальвадосе? Только эти, можно сказать, и никаких других. Ведь в самом деле, прежде чем пала голова Шарлотты или Шалье, Кальвадосская война рассеялась как сон в мгновение ока. С 72 департаментами да своей стороне можно было бы надеяться на лучшее. Но оказывается, что эти почтенные департаменты хотя и охотно подают голоса, но не желают сражаться. Обладание всегда дает по закону девять шансов из десяти, а в юридических процессах этого рода даже девяносто девять. Люди делают то, что они привыкли делать, и обладают неизмеримой нерешительностью и инертностью: они повинуются тому, кто обладает атрибутами, требующими повиновения. Посмотрите, что означает в современном обществе один этот факт: метрополия заодно с нашими врагами; метрополия, мать-город, справедливо названная так; все остальные только ее дети, ее питомцы. Ведь это не кожаный дилижанс с почтовым мешком и ящиком для багажа под козлами медленно выезжает из нее, это громадный пульс жизни; метрополия — сердце все-

го. Отрежьте один этот кожаный дилижанс, как много будет отрезано! Генерал Вимпфен, смотрящий на дело практически, не может найти другого выхода, кроме возврата к роялизму; нужно войти в сношения с Питтом! Он делает туманные намеки в этом роде, от которых жирондисты содрogaются. Он поступает, как его помощник по командованию, некий *ci-devant* граф Пюизэ, совершенно неизвестный Луве и сильно им подозреваемый.

Мало войн начиналось когда-либо так неудовлетворительно, как эта Кальвадосская война. Кто интересуется подобными вещами, тот может прочесть подробности о ней в мемуарах того же самого *ci-devant* Пюизэ, человека, много испытавшего и к тому же роялиста; мы узнаем из этих мемуаров, что жирондистские национальные войска, выступившие под гром духовой музыки, вошли около старинного замка Брекур в лесистую местность близ Вернова, чтобы встретить национальные войска Горы, идущие из Парижа; что 15 июля пополудни они встретились, обоюдно закричали, после чего обе стороны обратились в бегство без потерь; что Пюизэ после этого — так как национальные войска Горы бежали первые и мы сочли себя победителями — был поднят со своей теплой постели в замке Брекур и принужден скакать без сапог; наши национальные войска, стоявшие в ночном карауле, неожиданно бросились спасаться кто куда мог; одним словом, Кальвадосская война потухла в самом начале, и теперь осталось решить только один вопрос: куда бежать и в какой щели укрыться?¹²

Национальные волонтеры разбегаются по домам быстрее, чем пришли. 72 почтенных департамента, говорит Мейан, «все поворачивают к нам тыл и покидают нас в двадцать четыре часа». Несчастные те, которые, как, например, в Лионе, зашли слишком далеко, чтобы возвращаться! «Однажды утром» мы нашли на нашем доме управления прибитый декрет Конвента, который объявляет нас вне закона. Он прибит нашими канскими должностными лицами — ясный намек, что и мы должны исчезнуть. Но куда? Горса имеет друзей в Ренне, его спрячут там — к несчастью, он не хочет сидеть спрятанным. Гюаде, Ланжюине находятся на перепутье и направляются в Бордо. «В Бордо!» — кричит общий голос, голос доблестней отчаяния. Кое-какие знамена почтенного жирондизма еще развеваются там, или мы думаем, что развеваются.

Итак, туда; каждый как умеет! Одиннадцать из этих злополучных депутатов, к которым можно причислить как двенадцатого литератора Риуффа, делают оригинальную вещь: надевают мундир национальных волонтеров и отступают к югу с батальоном бретонцев в качестве простых солдат этого корпуса. Эти храбрые бретонцы стояли за нас вернее, чем все другие, однако в конце первого или второго дня они также становятся нерешительными, разделяются; мы должны оставить их и с какой-нибудь полудюжиной солдат в качестве конвоя или проводников отступать сами по себе, одиноко шествующим отрядом через обширные области Запада¹³.

Глава третья

ОТСТУПЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТИ

Это отступление одиннадцати — одно из самых замечательных, какие только представляет история: горстка покинутых законодателей, отступающих без отдыха с ружьями на плечах и туго набитыми патронташами среди золотистых покровов осени! Сотни миль отделяют их от Бордо; население становится все враждебнее, подозревая правду; брожение и темные слухи идут со всех сторон и постоянно растут. Луве сохранил дорожный дневник этого отступления — цель, стоящая всего того, что он когда-либо написал.

О доблестный Петион со своей рано поседевшей головой, о мужественный молодой Барбару, неужели дошло до этого! Утомительные дороги, изношенные башмаки, пустой кошелек, вокруг опасности, как на море! Революционные комитеты находятся в каждом городском округе якобинского характера; все наши друзья запуганы; наше дело проиграло. В местечке Монконтур по несчастной случайности базарный день; зевакам подозрительно такое прохождение одиноко шествующего отряда; нам необходимы энергия, быстрота и удача, чтобы добиться позволения пройти. Торопитесь, усталые странники! Страна подымается; молва о двенадцати путниках, одиноко пробирающихся столь таинственным образом, следует за вами по пятам; широкая волна назойливо любопытного и преследующего говора растет, пока весь Запад не приходит в движение. «Кюсси мучает подагра; Бюзо слишком толст для ходьбы»; Риуфф с потертыми в кровь, покрытыми пузырями ногами может ходить только на носках; Барба-

ру растянул лодыжку и хромает, но все еще весел, полон надежд и мужества. Ветренный Луве робко озирается, но в сердце его нет робости. Невозмутимость добродетельного Петииона «была всего лишь раз омрачена»¹⁴. Они спят в скирдах соломы, в лесных чашах; самый жесткий соломенный матрац, брошенный на полу у тайного друга, уже роскошь. Они захвачены среди ночи якобинскими мэрами с барабанным боем, но выпутываются благодаря своему решительному виду, бряцанию мушкетов и находчивости.

Пытаться дойти до Бордо через объятую пламенем восстания Вандею и оставшиеся длинные географические пространства было бы безумием; хорошо, если бы можно было достичь Кемпе на морском берегу и сесть там на корабль. Скорее, скорее! Под конец пути решено было идти всю ночь, так велико было возбуждение в стране. Они так и поступают; под покровом мирной ночи с трудом продвигаются вперед, и, однако, что же это, молва опередила их. В жалкой деревушке Карэ (да будет она долго памятна путешественникам своими соломенными лачугами и бездонными торфяными болотами) они с удивлением замечают еще мерцание огней: граждане бодрствуют с горящими ночниками в этом уголке планеты; когда они быстро проходят по единственной жалкой улице, слышится голос, говорящий: «Вот они идут!» (*Les voilà qui passent!*)¹⁵ Скорее, вы, двенадцать, осужденные, хромые; бегите, прежде чем они успеют вооружиться; достигайте лесов Кемпе до рассвета и лежите там притаившись.

Осужденные двенадцать так и поступают, хотя с трудом, заблудившись в незнакомой местности и преодолевая ночные опасности. В Кемпе есть друзья жирондистов, которые, вероятно, укроют бездомных, пока бордоский корабль не поднимет якоря. Измученные дорогой, с усталым сердцем, в мучительной нерешимости, пока будут уведомлены кемпские друзья, они лежат там, притаившись под густым мокрым кустарником, подозревая каждое человеческое лицо. Пожалейте этих отважных несчастных людей! Несчастнейшие из законодателей! Думали ли вы двадцать или сорок месяцев назад, когда, уложив свой багаж, сели в кожаную повозку, чтобы сделаться римскими сенаторами возрожденной Франции и пожать бессмертные лавры, думали ли вы, что ваше путешествие приведет вас сюда? Кемпские самаритяне находят их, притаившихся, поднимают, чтобы помочь и ободрить, и прячут в надежных местах. Оттуда им помогут ускользнуть постепенно, или же они могут сидеть там спокойно и писать свои мемуары, пока не распустит паруса бордоский корабль.

Итак, в Кальвадосе все усмирено; Ромм выпущен из тюрьмы и обдумывает свой календарь; зачинщики заключены в его комнату. В Кане семья Корде молча плачет; дом Бюзо представляет кучу праха и развалин, и среди обломков стоит столб с надписью: «Здесь жил изменник Бюзо, злоумышлявший против Республики». Бюзо и другие скрывшиеся депутаты объявлены, как мы видели, вне закона, они могут быть лишены жизни там, где будут найдены. Хуже всего приходится бедным арестованным парижским депутатам. «Домашний арест» грозит превратиться в «заключение в Люксембургской тюрьме», а где кончится? Кто, например, этот бледный худой человек, едущий по направлению к Швейцарии в качестве нёшательского негодянта и арестованный в городе „Мулене? Революционному комитету он кажется подозрительным. Для революционного комитета очевидно: он — депутат Бриссо! Назад! Под арест, бедный Бриссо, или в строгое заключение, куда суждено последовать и другим. Рабо соорудил себе фальшивую внутреннюю стену в доме друга, живет в непроглядной темноте, между двух стен. Этот арест кончится в тюрьме и в Революционном трибунале.

Не должны мы забывать и Дюперре, и, печати, наложенной на его бумаги из-за Шарлотты. Там есть одна бумага, способная причинить много бедствий, — это тайный торжественный протест против *suprema dies* 2 июня; наш бедный Дюперре составил этот тайный протест в ту же неделю со всею ясностью выражений, выжидая время, когда можно будет опубликовать его; под этим тайным протестом стоит ясно написанная подпись его и подписи немало числа других жирондистских депутатов. Что, если печати будут сняты, когда Гора еще господствует? Все протестующие, Мерсье, Байель, по слухам, еще 73 депутата, все, что еще осталось от почтенного жирондизма в Конвенте, должны трепетать при этой мысли!.. Вот плоды начатой междоусобной войны.

Мы находим также, что в эти последние июльские дни окончена знаменитая осада Майнца; гарнизон должен выйти с военными почестями и не сражаться против коалиции в тече-

ние года. Любители живописи и Гёте стояли на Майнцском шоссе и смотрели с должным интересом на процессию, выходящую со всей подобающей торжественностью.

«Первым вышел сопровождаемый прусской кавалерией французский гарнизон. Трудно представить себе более странное зрелище: колонна марсельцев, исхудавших, загорелых, пестрых, в заплатанных одеждах, вышла быстрым шагом, словно король Эдвин открыл гору и выпустил из нее свое войско карликов. Затем следовали регулярные войска: серьезные, сумрачные, хотя не унылые и не пристыженные. Но самым замечательным явлением, поразившим всех, были конные егеря. Они приблизились в полном молчании к тому месту, где мы стояли, и тогда их оркестр заиграл «Марсельезу». Это революционное *Te Deum* заключает в себе что-то грустное и пророческое даже при быстром темпе, но теперь его играли медленно, в унисон с тихим аллюром егерей. Было что-то трогательное, жуткое и очень серьезное в зрелище этих всадников, высоких, исхудавших людей пожилого возраста, с выражением лиц, соответствующим музыке, когда они мерным шагом двигались вперед. Каждого из них можно было сравнить с Дон-Кихотом; в массе они выглядели в высшей степени благородно.

Затем выходит отряд, привлекающий особое внимание, — это комиссары или представители. Мерлей де Тионвиль в гусарском мундире, диковатый на вид, с бородой, по левую руку от него другое лицо в подобном же костюме; при виде последнего толпа яростно выкрикивает имя одного горожанина — члена Якобинского клуба; она дрогнула, чтобы схватить его. Мерлей, потянув узду, напоминает о его достоинстве как французского представителя, о мести, которая последовала бы за всякое нанесенное ему оскорбление, и советует всем успокоиться, потому что его видят здесь не в последний раз». Так выехал Мерлей, угрожающий в самом поражении. Но что остановит теперь эту лавину пруссаков, направляющуюся через открытый северо-восток? Счастье, если укрепленные линии Вейсембурга и непроходимые Вогезы ограничат ее французским Эльзасом, удержат от наводнения самого сердца страны!

В эти же самые дни окончена и осада Валансьена, павшего под раскаленным градом Йорка! Конде пал уже несколько недель назад. Киммерийская коалиция продвигается вперед. Дстойно при этом внимания, что во всех этих занятых неприятелем французских городах развевается знамя не с королевскими лилиями во имя нового претендента Людовика, а с австрийским орлом, словно Австрия предполагает удержать их все за собой. Не может ли генерал Кюстин, находящийся еще в Париже, дать какие-нибудь объяснения по поводу падения этих укрепленных городов? Мать патриотизма громко ревет с трибуны и галерей, что он должен сделать это, однако желчно замечает, что «господа из Пале-Руаяля» кричат «многие лета» этому генералу.

Мать патриотизма, избавленная теперь последовательными чистками от всякой тени жирондизма, приобрела большой авторитет: можно назвать ее щитоносцем, или питомником, или даже предводителем самого очищенного Национального Конвента. Якобинские дебаты публикуются в «*Moniteur*», подобно парламентским.

Глава четвертая

О ПРИРОДА!

Но заглянем пристальнее в город Париж: что замечает там История 10 августа первого года Свободы, «по старому стилю 1793 года»? Хвала Небу, новый праздник Пик!

«Ежедневная депутация» Шометта добилась своего: конституции. Это была одна из наиболее быстро составленных конституций, написанная, как иные говорят, в неделю Эро де Сешелем и другими; вероятно, это была достаточно искусная, годная к применению конституция; впрочем, на этот счет мы не считаем себя призванными составить основательное суждение. Искусна была или нет эта конституция, но 44 тысячи французских общин подавляющим большинством поспешили принять ее, обрадованные хоть какой-нибудь конституцией. В Париж прибыли делегаты от департаментов из почтенных республиканцев с поручением торжественно изъявить согласие на принятие ее, и теперь все, что еще остается, — это публично провозгласить последнюю конституцию и присягнуть ей на празднике Пик? Департаментские депутаты приехали несколько времени тому назад, и Шометт очень беспокоится за них, как бы гос-

пода спекулянты-жирондисты или, не приведи господи, Filles de joie жирондистского нрава не повредили их морали¹⁷. Этот день, 10 августа, — бессмертная годовщина, почти более великая, чем июльская годовщина взятия Бастилии.

Художник Давид не ленился. Благодаря ему и французскому гению в этот день выступает на свет беспримерная сценичная фантазмагория, о которой История, занятая реальными фантазмагориями, говорит очень немного.

Одну вещь История может отметить с удовольствием: на развалинах Бастилии сооружена статуя Природы, колоссальная, изливающая воду из своих грудей. Это не сон, а реальность, осязаемая, очевидная. И стоит она, изливаясь, великая Природа, в серых предрассветных сумерках; но лишь только восходящее солнце окрасит пурпуром восток, как начинают приходиться бесчисленные толпы, стройные и нестройные. Приходят департаментские делегаты, приходят Мать патриотизма и ее Дочери, приходит Национальный Конвент, предводительствуемый красивым Эро де Сешелем; нежная духовая музыка льется звуками ожидания. И вот, как только великое светило рассыпало первую горсть огней, позолотив холмы и верхушки труб, Эро де Сешель уже у ног великой Природы (она просто из гипса); он поднимает в железной чаше воду, струящуюся из священной груди, пьет ее с красноречивой языческой молитвой, начинающейся словами: «О природа!», и все департаментские депутаты пьют за ним вслед, каждый с наиболее подходящим к случаю восклицанием или пророческим изречением, какие кому приходят на ум; все это среди вздохов, переходящих в бурю духовой музыки; гром артиллерии и рев людских глоток — таким образом завершается первый акт этого торжества.

Затем следует процессия вдоль бульваров: депутаты и должностные лица, связанные вместе одной длинной трехцветной лентой, далее идут «члены парижских секций Народа», идут в беспорядке, с пиками, молотами, с орудиями и эмблемами своих цехов, среди которых мы замечаем плуг и древних Филемона и Бавкиду, сидящих на плуге и везомых своими детьми. Нестройные и гармонические звуки множества голосов наполняют воздух. Многие направляются через Триумфальные арки, и у подножия первой мы замечаем — кого бы, ты думал? — героиню восстания женщин, энергичных дам Рынка; они расположились здесь (Теруань отсутствует; опасаются, что она слишком больна, чтобы быть здесь) с дубовыми ветками, трехцветными украшениями, плотно усевшись на своих пушках. Красавец Эро де Сешель, остановившись полюбоваться ими, обращается к ним с льстивой, красноречивой речью, после которой они встают и присоединяются к шествию.

А теперь посмотрите: на площади Революции кому посвящена эта другая величественная статуя, закутанная в холст, который быстро поднимается посредством блока и веревки? Статуя Свободы! Она тоже из гипса, но полагают, что будет из металла; стоит она на том месте, где некогда красовалась статуя деспота Людовика XV. «Три тысячи птиц» выпущены на волю, в Божий мир, с бирками на шее: «Мы свободны»; подражайте нам. Жертвоприношения из королевской мишуры и *si-devant*, какую еще могли найти, уже совершены; красавец Эро произносит пышную речь; возносятся языческие молитвы.

И затем вперед, за реку, где находится новое огромное изваяние, целая гора гипса: Народ-Геркулес с поднятой всепобеждающей палицей; «многоголовый дракон жирондистского федерализма, поднимающийся из зловонного болота» требует нового потока красноречия от Эро де Сешеля. Уж не говорим о Марсовом поле, о находящемся там Алтаре Отечества с урной, содержащей прах погибших защитников равенства перед законом, о стольких излияниях, жестах и речах, что губы Эро де Сешеля, вероятно, побелели и язык его стал прилипать к гортани¹⁸.

Около шести часов усталый председатель и парижские патриоты садятся за общественную трапезу, какая найдется, и бокалами пенящегося вина открывают новую и новейшую эру. В самом деле, разве не готов уже новый календарь Ромма? На всех выступлениях домов мелькают маленькие трехцветные флаги; флагштоком служит пика с шапкой Свободы. На стенах всех домов, так как ни один неподозреваемый патриот не захочет отстать от других, виднеются напечатанные слова: «Республика, единая и неделимая, Свобода, Равенство, Братство или Смерть».

Что касается нового календаря, то можно сказать, что здесь, больше чем где бы то ни было, мыслящие люди давно уже поразились неравенствам и несоответствиям и необходимость замены старого календаря новым была давно решена. Маршалль, атеист, почти десять лет назад предложил новый календарь, свободный по крайней мере от суеверия; парижскому муници-

палитету оставалось только принять его теперь за неимением лучшего. Во всяком случае с календарем ли Марешаля или с другим, лучшим, а новая эра наступила. Петиции в этом смысле посылались уже неоднократно, и прошлый год все общественные учреждения, журналисты и патриоты вообще называли первым годом Республики. Вопрос этот не простой, но Конвент взялся за него, и Ромм, как мы видели, трудился над ним; не новый календарь Марешаля, а лучший, новейший календарь Ромма будет принят. Ромм, которому помогают Монж, Лагранж и другие, производит математические вычисления; Фабр д'Эглантин придумывает поэтические наименования, и 5 октября 1793 года, после многих волнений, они представляют свой новый, республиканский календарь в законченном виде, и он входит в силу законным порядком.

Четыре равных времени года, двенадцать равных месяцев по тридцать дней каждый; это составляет триста шестьдесят дней; остается пять лишних дней, которые необходимо распределить. Эти пять лишних дней мы отводим на праздники и называем их пятью санкюлотидами или днями бесштаннами. Праздник Гения, праздник Труда, Действия, Вознаграждения, Мнения — так называются пять санкюлотид. Ими великий круг, или год, закончен; в каждый четвертый год, прежде называвшийся високосным, мы вводим шестую санкюлотиду и называем ее праздником Революции. Что касается начала, представляющего наибольшие затруднения, то не есть ли это одно из счастливейших совпадений, что Республика сама началась 21 сентября, около дня осеннего равноденствия? В осеннее равноденствие, в полночь по Парижскому меридиану, в некогда христианском 1792 году начинает свой счет новая эра. Vendémiaire, Brumaire, Frimaire (виноградный, туманный, морозный) — это три наших осенних месяца. Nivôse, Pluviôse, Ventôse (снежный, дождливый, ветренный) составляют нашу зиму. Germinal, Floréal, Prairial (прорастающий, цветущий, луговой) — это наше весеннее время года. Messidor, Thermidor, Fructidor — дог по-гречески «дар» (жатвенный, жаркий, плодовый) — составляют республиканское лето. Эти двенадцать месяцев своеобразно делят республиканский год. Что касается более мелких подразделений, то мы держаем принять ваше десятичное деление и вместо древней, как мир, недели, или семь-мицы, сделать десятидницу, или декаду (Decade), и не без выгоды. В каждом месяце тогда получается три декады, что очень правильно, и Décadi, или десятый день, должен быть всегда «днем отдыха». А христианское воскресенье в таком случае? Исчезнет само собой!

Таков вкратце новый календарь Ромма и Конвента, вычисленный по Парижскому меридиану и евангелию Жан Жака. Этот календарь составляет не последнее неудобство для нынешних британских читателей французской истории, смущая их душу мессидорами и прериалями, так что приходится наконец в целях самозащиты составить какую-нибудь основную схему или таблицу соотношений между новым и старым стилями и держать ее под рукой. Таковую таблицу, почти истрепавшуюся в наших руках, но все еще годную для чтения и печати, мы предлагаем теперь читателю в примечании, потому что календарь Ромма глубоко запечатлелся в газетах, мемуарах и официальных актах того времени; новой эрой, которая длится двенадцать с лишком лет, нельзя пренебрегать*.

* 22 сентября 1792 г. — это 1-е вандемьера года первого, и новые месяцы все состоят из 30 дней каждый; итак,

	Прибавить		Дней
К числу дней в	Vendémiaire	21 У нас число дней в	Сентябрь.. 30
	Brumaire		Октябрь.. 31
	Frimaire		Ноябрь... 30
	Nivôse		Декабрь... 31
	Pluviôse		Январь... 31
	Ventôse		Февраль... 28
	Germinal		Март 31
	Floréal		Апрель... 30
	Prairial		Май 31
	Messidor		Июнь.... 30
	Thermidor		Июль 31
	Fructidor		Август 31

В каждом году пять санкюлотид, а в високосном году — еще и шестая, которые следует добавлять к месяцу фрюктидору. Первый високосный год в календаре Ромма — «год 4» (1795, а не 1796), что вносит дополнительную путаницу в дни каждого четвертого года с 23 сентября до 29 февраля. Новый календарь был отменен 1 января 1806 г. (Choix des Rapports XIII, 83—89; XIX, 199). — *Примеч. авт.*

Итак, пусть читатель с такой основной схемой сможет, где надо, перевести новый стиль на старый, называемый также «рабским стилем» (stile esclave); мы же на этих страницах будем придерживаться, насколько возможно, только последнего.

Так, с новым праздником Пик и новой эрой, или новым, календарем, приняла Франция свою новую конституцию, самую демократическую из когда-либо написанных на бумаге. Как-то она будет действовать на практике? Патриотические депутаты время от времени просят разрешения пользоваться ею; просят, чтобы она была приведена в действие. Всегда, однако, это кажется сомнительным, для данного момента неудобным. Наконец через несколько недель Комитет общественного спасения извещает через Сен-Жюста, что при настоящих тревожных обстоятельствах Франция находится в состоянии революционном и правительство ее должно быть революционным, пока не наступит успокоение. Следовательно, эта бедная новая конституция должна существовать только как бумага и как надежда; в этом виде мы можем вообразить ее даже теперь лежащую с бесконечным множеством других вещей в этой темнице подлунного мера. Более чем бумагой ей и не суждено было сделаться.

Глава пятая

ОСТРЫЙ МЕЧ

Франции действительно нужны теперь не изложенные на бумаге теории, а нечто совсем другое: ей нужны железо и смелость.

Ведь Вандея еще пылает, увы, в буквальном смысле; негодяй Россиньоль сжигает даже мельницы. Генерал Сантер не мог ничего сделать там; генерал Россиньоль в слепой ярости, часто пьяный, может сделать менее чем ничего. Мятеж разгорается, становясь все безумнее. К счастью, те тощие Дон-Кихоты, которых мы видели выходящими из Майнца и которые «обязались не служить против коалиции в течение года», прибыли в Париж. Национальный Конвент упаковывает их в почтовые дилижансы и повозки и поспешно отправляет в Вандею. Там, мужественно сражаясь в неизвестных битвах и схватках под командой бездельника Россиньоля, пусть они, не увенчанные лаврами, спасут Республику и «будут постепенно вырезаны все до единого»¹⁹.

Разве коалиция не разливается внутри Франции, подобно огненному потоку: Пруссия — через открытый северо-восток, Австрия — с своей стороны, Англия — через северо-запад. Генерал Гушар имеет не более успеха, чем генерал Кюстин; пусть он хорошенько подумает об этом! Через восточные и западные Пиренеи проникает Испания и разворачивается по границе Южной Франции, шурша бурбонскими знаменами. Зола и пепел хаотической жирондистской междоусобицы уже покрыли всю эту область. Марсель

подавлен, но не усмирен, он будет усмирен в крови. Тулон, охваченный ужасом и зашедший слишком далеко, чтобы возвращаться, бросился, о вы, праведные державы, в объятия англичан!* На Тулонском арсенале развеивается флаг даже не с лилиями Людовика-претендента, а с крестом св. Георгия англичан и адмирала Худа!** Все, что еще оставалось у Франции от ее военного флота, боевых судов, арсеналов, канатных заводов, предалось «этим врагам рода человеческого». Осаждайте их, бомбардируйте их, вы, комиссары Баррас, Фрерон, Робеспьер-младший, и вы, генералы Карто и Дюгомье, особенно же ты, замечательный майор артиллерии Наполеон Бонапарт! Худ укрепляется, запасается провизией, очевидно намереваясь сделать из Тулона новый Гибралтар.

* В 1793 г. тулонские роялисты подняли контрреволюционный мятеж и, обратившись за помощью к Англии, впустили в город английские и испанские войска.

** Худ (1724—1816) — английский адмирал, отличился во время войны в Америке, нанес поражение французскому адмиралу де Грассу.

Но глядите, что это за столб пламени внезапно взвился над городом Лионом осенней поздней ночью, в конце августа, наполнив окрестность оглушительным шумом? Это лионский арсенал с четырьмя пороховыми башнями загорелся от бомбардировки и взлетел на воздух, увлекая за собой «117 домов». Можно себе представить это сияние, подобное полуденному солнцу, этот грохот, уступающий разве лишь грому трубы последнего суда! Все спящее живое на далекое пространство вокруг было разбужено. И какое зрелище представилось глазам истории в этом неожиданном ночном блеске! Крыши злосчастного Лиона со всеми его куполами и шпилями мгновенно осветились, воды Соны и Роны вдруг явственно засверкали, и все вокруг стало видимым: горы и долины, деревушки и гладкое жнивье, холмы, увы, все изрытые окопами, траншеями, редутами осаждающих и осажденных, и голубые артиллеристы, и маленькие чертенята с порохом, занимающиеся своим адским делом в эту неблагоуханную ночь! Пусть мрак снова скроет все это, слишком печальное зрелище. Поистине, смерть Шалье дорого стоит этому городу. Комиссары Конвента, лионские конгрессы появлялись и исчезали; одни меры сменялись другими, противоположными; дурное становилось худшим, пока не дошло до того, что комиссар Дюбуа-Крансе с «семидесятью тысячами войска и артиллерией из нескольких провинций» бомбардирует Лион денно и ночью.

Но впереди еще хуже. В Лионе голод, разорение и пожар. Осажденные делают отчаянные вылазки; храбрый Преси*, их национальный полковник и командир, делает все, что в силах человека, сражается отчаянно, но безуспешно. Снабжение провиантом отрезано; ничего больше не попадает в город, кроме пуль и гранат! Арсенал взлетел на воздух; даже госпиталь будет обстреливаться, и больные будут погребены заживо. Черный флаг, вывешенный на этом здании, взывает к состраданию осаждающих: ведь хотя они и обезумели, но все же наши братья. Однако в своей слепой ярости осаждающие принимают этот флаг за знак вызова и еще ожесточеннее направляют туда свой огонь. Дурное становится худшим, и как остановить это ухудшение, пока оно не дойдет до самого ужасного? Комиссар Дюбуа не хочет слушать никаких доводов, никаких переговоров, кроме одного: обещания безусловной сдачи. В Лионе находятся усмиренные якобинцы, господствующие жирондисты и тайные роялисты. И теперь, когда муниципалитет окружен кольцом глухого ко всему безумия и артиллерийского огня, не бросится ли он с отчаяния в объятия самого роялизма? Король Сардинии должен был помочь, но помощь не приходит. Эмигрант д'Отишан от имени двух принцев-претендентов идет с помощью через Швейцарию, но также еще не пришел; Преси поднимает знамя с лилиями!

* Преси Луи, граф (1742—1820) — подполковник в конституционной гвардии короля в 1791 г., главнокомандующий мятежными войсками в Лионе в 1793 г.

При виде его все верные жирондисты грустно опускают оружие — пусть наши трехцветные братья берут нас приступом и убивают в своей ярости: с вами мы не победим. Умиряющие с голоду женщины и дети высланы из города, но неумолимый Дюбуа отправляет их обратно и в безумном ожесточении, посылает им только град ядер. Наши «редуты из хлопчатобумажных мешков» взяты и отбиты; Преси под своим знаменем с лилиями дерется с отчаянной храбростью.

Что станет с Лионом? Эта осада длится 70 дней²⁰.

На той же неделе в далеких западных водах смело разрезает волны Бискайского залива грязный и мрачный небольшой торговый корабль шотландского шкипера, под палубой которого обескураженно сидит последняя покинутая горсть депутатов-жирондистов из Кемпе! Часть их рассеялась кто куда мог. Бедный Риуфф попал в когти Революционного комитета и в парижскую тюрьму. Остальные — седовласый Петион, сердитый Бюзо, подозрительный Луве, храбрый молодой Барбару и другие — сидят здесь в трюме. Они бежали из Кемпе на этом жалком судне и теперь плывут, подвергаясь риску со всех сторон: грозят им и волны, и англичане, но пуще всего их братья-французы. Загнанные небом и землею в чрево этого торгового корабля шотландского шкипера, среди бушующего вокруг Атлантического океана, они направляются в Бордо, если случайно для них еще остается там надежда. Не входите в Бордо, о друзья! Кровожадные представители Конвента — Тальен и ему подобные уже прибыли туда со своими декретами, со своей гильотиной. Почтенный жирондизм загнан под землю; якобинцы господствуют наверху. С этой при-

стани Реоля, или мыса Амбес, как будто бледная смерть машет вам своим острым революционным мечом, советуя направиться в другое место!

Шотландский шкипер, ловкий, грязный человек, с трудом причаливает к одной из сторон этого мыса Амбес и высаживает своих пассажиров. Наведя необходимые справки, они быстро прячутся под землю и таким образом, в подземных проходах, в чуланах, погребках, на чердаках амбаров своих друзей и в пещерах Сент-Эмилиона и Либурна, избегают жестокой смерти²¹. Несчастнейшие из сенаторов!

Глава шестая

ВОССТАВШИЕ ПРОТИВ ДЕСПОТОВ

Что может противопоставить якобинский Конвент всем этим неисчислимым трудностям, ужасам и бедствиям? Неспособный рассчитывать дух якобинства и анархическое безумие санкюлотства! Наши враги теснят нас, говорит Дантон, но покорить нас им не удастся; «скорее мы обратим в пепел Францию».

Комитет общественной безопасности и Комитет общественного спасения поднялись «на высоту обстоятельств». Пускай все сделают то же. Пусть 44 тысячи секций с их революционными комитетами заставят трепетать каждую фибру Республики, чтобы каждый француз почувствовал, что он обязан действовать или умереть. Они, эти секции и комитеты, — артерии якобинства; Дантон посредством органа Барера и Комитета общественного спасения издает декрет, чтобы в Париже по постановлению закона еженедельно собиралось по два митинга секций и чтобы бедным гражданам платили за участие в них, дабы они не теряли своих 40 су дневного заработка²². Это и есть знаменитый «закон о 40 су», горячо побуждающий к санкюлотизму, способствующий обращению жизненных соков якобинства.

23 августа Комитет общественного спасения, по обыкновению через Барера, обнародовал в словах, которые стоит запомнить, свое постановление, скоро сделавшееся законом, о поголовном ополчении. «Вся Франция, сколько бы она ни заключала в себе людей и денег, должна быть поставлена под реквизицию», — говорит Барер поистине словами Тиртея*, красноречивее которых мы у него не знаем. «Республика — это один громадный осажденный город». 250 кузниц должны быть устроены на этих днях в Люксембургском саду, вокруг внешней стены Тюильри, чтобы выделывать ружейные стволы пред лицом земли и неба! Из всех деревушек по направлению к их департаментскому городу, из всех департаментских городов по направлению к указанному лагерю или очагу войны пойдут сыны свободы, на знамени которых будет написано: *Le peuple français debout contre les tyrans* (Французский народ, восставший против деспотов). Молодые люди пойдут на битву; их дело — побеждать; семейные люди будут ковать оружие, возить обоз и артиллерию, доставлять провиант; женщины будут шить одежду воинам, делать палатки, служить в госпиталях; дети будут щипать корпию из старого полотна; пожилые люди будут объезжать публичные места и своими речами возбуждать храбрость молодых, проповедовать ненависть к королям и единение с республикой²³. Это слова Тиртея, которые отдаются в сердцах всех французов.

* Тиртей (вторая половина VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик. По преданию, хромой школьный учитель, посланный афинянами в Спарту взамен требуемой военной помощи и сумевший своими песнями поднять боевой дух спартанцев.

Вот в каком настроении, раз никакое другое не помогает, ринется Франция на своих врагов! Ринется, очертя голову, не думая об издержках и последствиях, не руководствуясь никаким другим законом и правилом, кроме одного верховного закона — спасения народа! Оружием послужит все железо, находящееся во Франции, силою — все мужчины, женщины и дети Франции. Там, в своих 250 кузницах в саду Люксембургского дворца и Тюильри, пусть они выковывают ружейные стволы пред лицом земли и неба.

Но геройская отвага в отношении чужеземного врага не может заглушить черной ненависти к врагу домашнему. В то время как циркуляция жизненных соков в революционных комитетах была ускорена законом о 40 су, депутат Мерлей — не Тионвиль, которого мы видели выез-

жающим из Майнца, а Мерлей из Дуэ, прозванный впоследствии Мерленом Suspect (подозрительным), — выступает около недели спустя со своим прогремевшим на весь мир законом о подозрительных, предписывающим всем секциям, через их комитеты немедленно арестовывать всех подозрительных лиц и объясняющим вместе с тем, кто именно должен считаться подозрительным и подлежащим аресту. «Подозрительны, — говорит он, — все те, кто своими действиями, сношениями, речами, сочинениями и, короче говоря, чем бы то ни было навлекли на себя подозрение»²⁴. Мало того, Шометт, разъясняя предмет в своих муниципальных плакатах и прокламациях, договорится до того, что подозрительного почти всегда можно узнать на улице и, схватив его, тащить в комитет и в тюрьму. Следите хорошенько за своими словами, наблюдайте тщательно за своими взглядами: если вы не подозрительны ни в чем другом, то можете сделаться, как вошло в поговорку, «подозреваемым в подозрительности»! Ибо не находимся ли мы в состоянии революции?

Более ужасный закон никогда не управлял ни одной нацией. Все тюрьмы и арестные дома на французской земле переполнены людьми до самой кровли; 44 тысячи комитетов, подобно 44 тысячам жнецов и собирателей колосьев, очищают Францию, собирают свою жатву и складывают ее в эти дома. Это жатва аристократических плевел! Мало того, из опасения, что сорок четыре тысячи, каждая на своем собственном жатвенном поле, окажутся недостаточными, учреждается на подмогу им странствующая «революционная армия» в шесть тысяч человек под командой надежных капитанов; она будет обходить всю страну и вмешиваться там, где найдется, что жатвенная работа ведется недостаточно энергично. Так просили муниципалитет и Мать патриотизма, так постановил Конвент²⁵. Да исчезнут все аристократы, федералисты, все господа! Да вострепещет все человечество! «Почва свободы должна быть очищена» мезью!

И Революционный трибунал не отдыхает. Бланшланд за потерю Сан-Доминго, «орлеанские заговорщики» за «убийство», за нападение на священную особу депутата Леонарда Бурдона, многие другие, имена которых остались неизвестными, но которым жизнь была дорога, уже погибли. Ежедневно великая гильотина собирает свою дань. Ежевечерне среди пестрого разнообразия вещей, подобно мрачному призраку, появляется и скользит колесница смерти. Разноликая толпа на мгновение содрогается при виде ее, но в следующее мгновение забывает о ней. Аристократы! Они были виноваты перед Республикой; их смерть, хотя бы только потому, что их имущество будет конфисковано, принесет пользу Республике; «Vive la République!»

В последние дни августа упала более знаменитая голова — голова генерала Кюстина. Он обвинялся в жестокости, в неспособности, в измене и во многом другом, но оказался виновным, можно сказать, только в одном: в том, что не был удачлив. Услышав свой неожиданный приговор, «Кюстин упал перед распятием» и не произносил ни слова в течение двух часов; он ехал на площадь Революции с влажным молящим взглядом; взглянув наверх, на сверкающий топор, он быстро взошел на эшафот²⁶ и быстро был вычеркнут из списка живых. Он сражался в Америке, этот гордый, отважный человек, а его судьба — куда она его привела!

Второго числа того же месяца, в три часа утра, повозка с опущенными шторами выехала из Тампля по направлению к тюрьме Консьержери. В ней находились два должностных лица и Мария Антуанетта, бывшая королева Франции! Там, в этой Консьержери, в позорной, мрачной камере, лишенная детей, родных, друзей и надежды, она сидела долгие недели в ожидании своего конца²⁷.

Можно заметить, что гильотина все ускоряет свое движение, по мере того как ускоряется ход других дел; она служит показателем общего ускорения деятельности Республики. Звук ее громадного топора, который периодически поднимается и падает, как сильно пульсирующее сердце, есть только часть всего огромного движения жизни и пульсации санкюлотской системы! «Орлеанские заговорщики» и оскорбители должны умереть, несмотря на многие просьбы и слезы, доводы о том, насколько священна особа депутата. И однако, священное может быть лишено своего священного значения, даже депутат оказывается не важнее гильотины. Бедный журналист Горса, тоже депутат, которого мы видели спрятавшимся в Ренне, когда Кальвадосская война ознаменовалась неудачей в самом начале, пробрался потом, в августе, в Париж и несколько недель прятался около бывшего Пале-Руаяля, но однажды он был узнан, схвачен и, как лишенный уже покровительства закона, без церемонии отправлен на площадь Революции. Он

умер, оставив свою жену и детей на милость Республики. Это было 9 октября 1793 года. Горса — первый депутат, погибший на эшафоте, первый, но не последний.

Бывший мэ́р Байи в тюрьме, бывший прокурор Манюэль, Бриссо и наши бедные арестованные жирондисты также сидят в тюрьме, и над ними тяготее обвинение. Всеобщее якобинство криками требует наказания их. Печати на бумагах Дюперре сняты! В один несчастный день внезапно вносится доклад о 73 депутатах, подписавших тайный протест, и все они признаны виновными; двери Конвента «предусмотрительно заперты», чтобы никто из замешанных не мог ускользнуть. Счастливы те из них, кто по чистой случайности отсутствовал! Кондорсе исчез во мраке неизвестности, быть может, и он, подобно Рабо, сидит между двумя стенами в доме друга.

Глава седьмая

МАРИЯ АНТУАНЕТТА

В понедельник 14 октября 1793 года в здании суда, в новой революционной палате, разбирается дело, подобного которому никогда еще не было в этих старых каменных стенах.

Некогда блистательнейшая королева, теперь поблекшая, подурневшая, одинокая, стоит здесь перед судейским столом Фуке-Тенвиля и дает отчет о своей жизни. Обвинительный акт был вручен ей прошлой ночью!²⁸ Какими словами выразить чувство, вызываемое такими переменами человеческой судьбы? Его можно выразить только молчанием.

Мало встречается печатных листов такого трагического, даже страшного значения, как эти простые страницы бюллетеня Революционного трибунала, которые носят заглавие: «Процесс вдовы Капет». Мрачны, мрачны, как зловещее затмение, как бледные тени царства Плутона, эти плутонические судьи, плутонический Тенвиль, окруженные девять раз Стиксом и Летою, огненным Флегетоном* и Коцитом**, названным так от стенаний! Сами вызванные свидетели подобны привидениям: оправдывающие, обвиняющие — над всеми ними самими занесена рука смерти и рока; они рисуются в нашем воображении как добыча гильотины. Не избежать ее ни этому высокому бывшему вельможе графу д'Эстену, старающемуся показать себя патриотом; ни Байи, который, когда его спросили, знает ли он обвиняемую, отвечает с почтительным поклоном в ее сторону: «О да, я знаю Madame». Есть здесь и экс-патриоты, с которыми обращаются резко, как, например, с прокурором Манюэлем; есть и экс-министры, лишённые своего блеска. Мы видим холодное аристократическое бесстрашие у людей, верных себе даже в аду; видим яростную глупость патриотических капралов и патриотических прачек, которые могут многое порассказать о заговорах, изменах, о 10 августа, о восстании женщин. Ведь все идет на счет проигравшей ставку.

* Флегетон (греч.) — одна из рек преисподней.

** Коцит — «Река Плача» в подземном царстве.

Мария Антуанетта, эта царственная женщина, не изменяет себе и в эти часы полного одиночества и беспомощности. Говорят, взор ее оставался спокоен, когда ей читали гнусный обвинительный акт, и «иногда она шевелила пальцами, как будто играя на клавесине». Вы не без интереса видите из самого этого мрачного революционного бюллетеня, что она держалась с достоинством королевы. Ее ответы быстры, толковы, подчас лаконически кратки; в ее спокойных словах слышится решимость не без оттенка презрения, но не в ущерб достоинству. «Так вы упорствуете в отрицании?» — «Мое намерение — не отрицать: я сказала правду и настаиваю на ней». Низкий клеветник Эбер дает свидетельское показание как относительно многого другого, так и относительно одной вещи, касающейся Марии Антуанетты и ее маленького сына, — вещи, которой лучше не осквернять более человеческой речи. Королева возражала Эберу, и один из судей просит заметить, что она не ответила на это. «Я потому не ответила, — восклицает она с благородным волнением, — что природа отказывается отвечать на подобные обвинения, возводимые на мать. Я призываю в свидетели всех матерей, находящихся здесь!» Робеспьер, услышав об этом инциденте, разразился почти ругательствами по поводу животной глупости этого Эбера²⁹, на гнусную голову которого обрушилась его же грязная ложь. В среду, в четыре часа утра, после двух суток допросов, судебных речей и других неясностей дела, выносятся решение:

смертный приговор. «Имеете ли вы что-нибудь сказать?» Обвиняемая покачала головой, не проронив ни слова. Ночные свечи догорают, время также кончается, и наступают вечность и день. Этот зал Тенвиля темен, плохо освещен, кроме того места, где стоит осужденная. Она молча покидает его, чтобы уйти в мир иной.

Две процессии, или два королевских шествия, разделенные промежутком в 23 года, часто поражали нас странным чувством контраста. Первая — это процессия прекрасной эрцгерцогини и супруги дофина, покидавшей свой родной город в возрасте 15 лет, идя навстречу надеждам, каких не могла питать в ту пору никакая другая дочь Евы. «Поутру, — говорит очевидец Вебер, — супруга дофина оставила Вену. Весь город высыпал, сначала с молчаливой грустью. Она показалась; ее видели откинувшейся в глубь кареты, с лицом, залитым слезами; она закрывала глаза то платком, то руками; иногда она выглядывала из кареты, чтобы еще раз увидеть этот дворец своих предков, куда ей не суждено было более возвратиться. Она показывала знаками свое сожаление, свою благодарность доброму народу, столпившемуся здесь, чтобы сказать ей «прости». Тогда начались не только слезы, но и пронзительные вопли со всех сторон. Мужчины и женщины одинаково выражали свое горе; улицы и бульвары Вены огласились рыданиями. Только когда последний курьер из сопровождавших отъезжающую скрылся из виду, толпа рассеялась»³⁰.

Эта молодая царственная пятнадцатилетняя девушка стала теперь, в 38 лет, развенчанной вдовой, преждевременно поседевшей; то последняя процессия, в которой она участвует. «Через несколько минут после того, как окончился процесс, барабаны забили сбор во всех секциях; к восходу солнца вооруженное войско было на ногах, пушки были расставлены на концах мостов, в скверах, на перекрестках, на всем протяжении от здания суда до площади Революции. С десяти часов многочисленные патрули начали объезжать улицы; выстроено было 30 тысяч кавалерии и пехоты. В одиннадцать показалась Мария Антуанетта. На ней был шлафрок из белого пике; ее везли на место казни как обыкновенную преступницу, связанную, в обычной повозке, в сопровождении конституционного священника в гражданском платье и конвоя из пехоты и кавалерии. На них и на двойной ряд войск на протяжении всего своего пути она, казалось, смотрела равнодушно. На ее лице не было ни смущения, ни гордости. На крики «Vive la République!» и «Долой тиранию!», сопровождавшие ее на всем пути, она, казалось, не обращала внимания. С духовником своим она почти не разговаривала. На улицах Дю-Руль и Сент-Оноре внимание ее привлекли трехцветные знамена на выступах домов, а также надписи на фронтонах. По прибытии на площадь Революции взор ее обратился на национальный сад, бывший Тюильрийский, и на лице ее появились признаки живейшего волнения. Она поднялась на эшафот с достаточным мужеством, и в четверть первого ее голова скатилась; палач показал ее народу среди всеобщих, долго продолжавшихся криков «Vive la République!»»³¹.

Глава восьмая

ДВАДЦАТЬ ДВА

Кого теперь, о Тенвиль! Теперь следуют люди другого цвета — наши бедные жирондистские депутаты, т. е. те из них, кого удалось задержать. Это Верньо, Бриссо, Фоше, Валазе, Жансонне, некогда цвет французского патриотизма, числом двадцать два; сюда, к судейскому столу Тенвиля, привела их сила обстоятельств — из-под «защиты французского народа», из люксембургского заключения, из тюрьмы Консьержери. Фукье-Тенвиль должен дать о них отчет, какой он может.

Несомненно, что этот процесс жирондистов — важнейший из всех, какой приходилось ему вести. Перед ним выстроены в ряд двадцать два человека, все республиканские вожак, красноречивейшие во Франции, к тому же адвокаты и не без друзей среди присутствующих. Как докажет Тенвиль виновность этих людей в роялизме, в федерализме, в заговоре против республики? Красноречие Верньо пробуждается еще раз и, как говорят, «вызывает слезы». Журналисты пишут отчеты, процесс затягивается изо дня в день, «грозит стать вечным», как ворчат многие. Якобинцы и муниципалитет приходят Фукье на помощь. Двадцать восьмого того же месяца Эбер и другие являются в качестве депутации известить патриотический Конвент, что Революционный трибунал совсем «скован формальностями судебного производства», что патрио-

тические присяжные должны иметь «власть прекращать прения, раз они чувствуют себя убежденными». Это внушительное предложение о прекращении прений поспешно превращается в декрет.

Итак, в десять часов вечера 13 октября эти двадцать два, вызванные в суд еще раз, уведомляются, что присяжные, чувствуя себя убежденными, прекратили прения и вынесли свое решение: обвиняемые признаны виновными и приговорены все до единого к смертной казни с конфискацией имущества.

Громкий крик невольно вырывается у бедных жирондистов, и возникает такое волнение, что для умирения его приходится вызвать жандармов. Валазе закалывается кинжалом и падает мертвым на месте. Остальных, среди громких криков и смятения, уводят обратно в Консьержери; Ласурс восклицает: «Я умираю в тот день, когда народ потерял свой рассудок, а вы умрете, когда он вновь обретет его!»³² Ничто не помогает. Уступая силе, осужденные запевают «Марсельезу» и с пением возвращаются в свою темницу.

Риуфф, который был их товарищем по заключению в эти последние дни, трогательно описывает, как они умерли. По нашему мнению, это не назидательная смерть. Веселое, сатирическое *Rot-rouggi*, составленное Дюко; написанные стихами сцены трагедии, в которых Барер и Робеспьер разговаривают с сатаной; вечер перед смертью, проведенный «в пении и веселых выходках», с «речами о счастье народов», — все это и тому подобное мы можем принимать только за то, чего оно стоит. Таким образом жирондисты справляли свою последнюю вечерю. Валазе с окровавленной грудью спит в холодных объятиях смерти, не слышит пения. У Верньо есть доза яда, но ее недостаточно для его друзей, а достаточно только для него одного, поэтому он выбрасывает ее и председательствует на этом последнем ужине жирондистов с блестящим отчаянным красноречием, с пением, весельем. Бедная человеческая воля силится заявить свою самостоятельность не тем, так другим путем³³. На следующий день, утром, весь Париж на улицах; толпа, какой еще не видывал ни один человек. Колесницы смерти с холодным трупом Валазе, вытянутым среди еще живых двадцати одного, тянутся длинным рядом по улицам Парижа. Осужденные с обнаженными головами, со связанными руками, в одних рубашках и брюках, прикрыты свободно накинутыми на плечи плащами. Так едут представители красноречия Франции, сопровождаемые говором и криками. На крики «*Vive la République!*» некоторые из них отвечают криками же: «*Vive la République!*» Другие, как, например, Бриссо, сидят, погруженные в молчание. У подножия эшафота они вновь запевают «Марсельезу» с соответствующими случаям вариациями. Представьте себе этот концерт! Живые еще поют, но хор быстро тает. Топор Сансона проворен: в каждую минуту падает по голове. Хор слабеет и слабеет и наконец смолкает. Прощайте, жирондисты, прощайте навеки! *Te Deum* Фоше умолк навсегда; мертвая голова Валазе отрублена; серп гильотины пожал всех жирондистов. «Красноречивые, молодые, прекрасные и отважные!» — восклицает Риуфф. О смерть, какое пиршество готовится в твоих мрачных чертогах!

Увы, не лучше судьба жирондистов и в далеком Бордоском округе. Целые месяцы уныло тянутся в пещерах Сент-Эмилиона, на чердаках и в погребках; одежда изнашивается, кошелек пуст, а грядет холодный ноябрь; с Тальеном и его гильотиной всякая надежда теперь исчезла. Опасность все приближается, препятствия теснят все сильнее; жирондисты решаются разделиться. Прощание было трогательным: высокий Барбару, самый веселый из этих отважных людей, наклоняется, чтобы обнять своего друга Луве. «Где бы ты ни нашел мою мать, — восклицает он, — постарайся быть ей вместо сына! Нет средств, которых бы я не разделил с твоей женой, если бы когда-нибудь случай свел меня с нею!»³⁴

Луве отправился с Гюаде, Салем и Валади, Барбару — с Бюзо и Петитоном. Валади вскоре отделился и пошел своей дорогой на юг. Два друга и Луве провели 14 ноября 1793 года, тяжелые сутки, измученные сыростью, усталостью и голодом, наутро они стучатся, прося помощи в доме друга, в деревне; трусливый друг отказывается принять их, и они остаются стоять под деревьями, под проливным дождем. С отчаяния Луве решается идти в Париж и пускается в путь, разбрызгивая грязь вокруг себя, с новой силой, вызванной яростью или безумием. Он проходит деревни, находя «часовых, заснувших в своих будках под проливным дождем», он проходит раньше, чем его успевают окликнуть. Он обманывает революционные комитеты, проезжает в закрытых и открытых телегах ломовых извозчиков, спрятанный под кладью; проезжает однажды по

улицам Орлеана под ранцами и плащами солдатских жен, в то время когда его ищут; испытывает такие приключения, которые составили бы три романа; наконец попадает в Париж к своей прекрасной подруге, бежит с нею в Швейцарию и ждет там лучших дней.

Бедные Гюаде и Саль были оба вскоре схвачены и умерли в Бордо на гильотине; барабанный бой заглушил их голоса. Валади также схвачен и гильотинирован. Барбару и двое его товарищей выдержали долее, до лета 1794 года, но недостаточно долго. В одно июльское утро, меняя свое убежище, как они это часто делали, «приблизительно в трех милях от Сент-Эмилиона, они заметили большую толпу поселян»: без сомнения, это якобинцы пришли схватить их. Барбару вынимает пистолет и убивает себя наповал. Увы! это были не якобинцы, а безобидные поселяне, шедшие на храмовый праздник. Два дня спустя Бюзо и Петион были найдены на ниве; их тела были наполовину обглоданы собаками⁵.

Таков был конец жирондизма. Эти люди поднялись, чтобы возродить Францию, и совершили это. Увы, какова бы ни была причина нашей ссоры с ними, разве их жестокая судьба не загладила все? Только сострадание все переживает. Сколько прекрасных геройских душ послано в царство теней и сами жирондисты отданы на добычу псам и разным птицам! Но и здесь также исполнилась Высшая воля. Как сказал Верньо, «революция, подобно Сатурну, пожирает своих собственных детей».

Книга V

ТЕРРОР В ПОРЯДКЕ ДНЯ

Глава первая

НИЗВЕРЖЕНИЕ

Итак, мы подошли к краю мрачной бездны, к которой давно стремительно двигались все события; теперь они низвергаются оттуда, с головокружительной высоты, в беспорядочном падении, вперемешку, очертя голову, все ниже и ниже, пока санкюлотизм не уничтожит сам себя. И в этой удивительной Французской революции, как в день Страшного суда, целый мир будет если не создан вновь, то разрушен и низвергнут в пропасть. Террор долго был ужасен, но самим деятелям теперь стало ясно, что принятый ими путь — путь террора, и они говорят: «*Que la terreur soit à l'ordre du jour!*» (Да будет террор в порядке дня!)

Сколько веков подряд, считая только от Гуго Капета, накапливалась растущая от столетия к столетию масса злобы, обмана, притеснения человека человеком! Грешили короли, грешили священники, грешил народ. Явные негодяи шествовали, торжествуя, украшенные диадемами, коронами, митрами; еще вреднее были скрытые негодяи со своими прекрасно звучащими формулами, благовидностью, благонаравием и пустотой внутри. Раса шарлатанов стала многочисленной, словно песок на морском берегу, пока наконец не скопилось столько шарлатанства, что, образно говоря, им стали тяготиться и земля и небо. День расплаты, казалось, медлит, незримо приближаясь среди трубных звуков и фанфаронства придворной жизни, героизма завоевателей, наихристианнейшего великого монархизма, возлюбленного помпадурства; однако смотрите, он все приближается, смотрите, он уже настал, неожиданный и не замеченный всеми! Жатва на ниве, вспаханной долгими столетиями, в последнее время желтела и созревала все быстрее, и вот она созрела и снимается так быстро, будто всю ее хотят убрать за один день. Снимается в этом царстве террора и доставляется домой, в царство теней! Несчастные сыны Адама, всегда бывает так, и никогда они не знают этого и не желают знать. С улыбкой на лице день за днем и поколение за поколением они ласково говорят друг другу: «Бог в помощь!» — и трудятся, сеют ветер. И однако, — жив Господь! — они пожнут бурю; ничто другое, повторяем, невозможно, поскольку Господь есть истина и мир его — истина.

Однако История, разбираясь в этом царстве террора, встречает некоторые затруднения. В то время как описываемый феномен существовал в своем первоначальном виде просто как «ужасы Французской революции», была масса вещей, о которых можно было говорить и кричать с пользой или без пользы. Богу известно, что ужасов и террора было достаточно и тогда, но это

был еще не весь феномен, собственно говоря, это даже вовсе не был феномен, а скорее тень, негативная сторона его. Теперь же, в новой стадии развития, когда История, перестав кричать, должна была бы попытаться включить этот новый поразительный факт в свои старые формы речи и мышления, для того чтобы какой-нибудь признанный наукой закон природы был достаточен для объяснения неожиданного продукта природы и История могла бы заговорить о нем членораздельно, извлекая из него выводы и пользу для себя, — в этой новой стадии История, надо признаться, только бормочет и еще более мучительно запинаяется. Возьмите, например, недавние рассуждения, которые предложил нам в последние месяцы как самые подходящие к предмету почтенный г-н Ру в своей «Histoire parlementaire». Это новейшее и самое странное определение гласит, что Французская революция была отчаянным и напрасным усилием — после восемнадцати столетий приготовления — осуществить христианскую религию¹. Слова «Единение, Нераздельность, Братство или Смерть» действительно были написаны на домах всех живых людей, так же как на кладбищах, или жилищах мертвецов, по приказанию прокурора Шометта было написано: «Здесь вечный сон»²; но христианская религия, осуществляемая гильотиной и вечным сном, «подозрительна мне» (*m'est suspecte*), как обыкновенно говорил Робеспьер.

Увы, нет, г-н Ру! Евангелие братства не согласно с евангелиями четырех древних евангелистов, призывающих людей раскаяться и исправить свою собственную дурную жизнь, чтобы они могли быть спасены; это скорее евангелие в духе нового пятого евангелиста Жан Жака, призывающее каждого исправлять грешное бытие всего мира и спастись составлением конституции. Это две вещи, совершенно различные и разделенные одна от другой, как говорится, *toto coelo*, всем простором небес и далее, если возможно! Впрочем, История, как и вообще человеческие речь и разум, стремится, подобно праотцу Адаму в начале его жизни, давать имена новым вещам, которые она видит среди произведений природы, и часто делает это довольно неудачно.

Но что, если бы История хоть раз допустила, что все известные ей названия и теоремы не подходят к предмету; что это великое произведение природы было велико и ново именно тем, что оно не подходит под известные законы природы, а открывает какие-то новые? В таком случае История, отказавшись от претензии сейчас же дать имя явлению, стала бы добросовестно всматриваться в него и называть в нем только то, что она может назвать. Всякое, хоть бы и приблизительно верное имя имеет ценность: раз верное имя найдено, предмет становится известным; мы овладеваем им и можем пользоваться им.

Но конечно, не осуществление христианства или чего-либо земного замечаем мы в этом царстве террора, в этой Французской революции, завершением которой он является. Скорее мы видим разрушение всего, что может быть разрушено. Словно 25 миллионов людей, восстав наконец в пророческом транссе, поднялись одновременно, чтобы заявить громовым голосом, проносящимся через далекие страны и времена, что ложь существования сделалась невыносимой. О вы, лицемерие, благовидность, королевские мантии, бархатные епанчи кардиналов; вы, догматы, формулы, благодравие, красиво расписанные склепы с костями мертвецов, смотрите, вы кажетесь нам воплощенной ложью! Но наша жизнь не ложь, наши голод и нищета не ложь! Смотрите, все мы, двадцать пять миллионов, поднимаем правую руку и призываем в свидетели небо, землю и самый ад в том, что или вы перестанете существовать, или мы!

Клятва нешуточная; это, как уже часто говорено, самое замечательное дело за последнюю тысячу лет. За ним следуют и будут следовать результаты. Исполнение этой клятвы означает мрачную, отчаянную борьбу людей со всеми условиями и окружением, борьбу с грехом и мраком, увы, пребывающими в них самих настолько же, насколько и в других; таково царство террора. Смыслом его, хотя и неосознанным, было трансцендентальное отчаяние. На что только люди во все времена не надеялись понапрасну: на братство, на наступление Золотого Века Политики; истинным всегда было незримое сердце всего — трансцендентальное отчаяние; никогда оно не оставалось без последствий. Отчаяние, зашедшее столь далеко, так сказать, замыкает круг и становится своего рода источником подлинной и плодотворной надежды.

Учение о братстве, унаследованное от старого католицизма, действительно неожиданно спускается на колеснице Жан-Жакова евангелия со своей облачной небесной тверди и из теории с определенностью становится практикой. Но то же самое бывает у французов со всеми

верованиями, намерениями, обычаями, знаниями, идеями и явлениями, которые внезапно сваливаются на людей. Католицизм, классицизм, сентиментализм, каннибализм — все «измы», составляющие человека во Франции, с грохотом рушатся в эту бездну, и теория становится практикой, и то, что не может плавать, тонет. Не только евангелист Жан Жак — нет ни одного сельского учителя, который не внес бы свою лепту; разве мы не говорим «ты» друг другу, подобно свободным народам древности? Французский патриот в красном фригийском колпаке Свободы называет своего бедного маленького наследника Катон-цензором или, как там его, Утическим. Бабёф, издающий газету, стал Гракхом; Муций Сцевола — сапожник с подобной же героической душой — председательствует в секции Муция Сцеволы; короче говоря, весь мир здесь перемешался, чтобы испытать, что всплывет.

Поэтому мы, во всяком случае, назовем это царство террора очень странным. Господствующий санкюлотизм расчищает себе, так сказать, поле действий; это одно из самых странных состояний, в каком когда-либо находилось человечество. Целая нация с массой потребностей и обычаев! Старые обычаи обветшали и отброшены, так как они устарели; люди, движимые нуждой и пифийским безумием, хотят тотчас найти способ удовлетворения этой нужды. Обычное рушится; подражание и изобретательность поспешно создают необычайное. Все, что содержит в себе французский национальный разум, проявляется наружу, и если результат получается не великий, то, наверное, один из самых странных.

Но читатель не должен воображать, что царство террора было сплошь мрачным; до этого далеко. Сколько кузнецов и плотников, пекарей и пивоваров, чистильщиков и прессовщиков во всей этой Франции продолжают отправлять свои обычные, повседневные обязанности, будь то правительство ужаса или правительство радости! В этом Париже каждый вечер открыты 23 театра и, как иные насчитывают, до 60 танцевальных залов³. Писатели-драматурги сочиняют пьесы строго республиканского содержания. Всегда свежие вороха романов, как в старину, составляют передвижные библиотеки для чтения⁴. «Сточная яма спекуляции» теперь, во времена бумажных денег, работает с беспрецедентной невообразимой быстротой, извергая из себя «неожиданные богатства», подобные дворцам Аладдина, поистине чудесные миражи, поскольку в них можно жить, хотя бы и временно. Террор подобен чернозему, на котором прорастают самые разнообразные сцены. Великое, смешное, ужасное в ошеломляющих переходах, в сгущенных красках следуют одно за другим или, вернее, сопровождают одно другое в беспорядочной суматохе.

Итак, здесь, скорее чем где бы то ни было, «сотня языков», которых часто просили старые поэты, оказала бы величайшую услугу! За неимением у нас такого органа пусть читатель заставит поработать собственное воображение, а мы постараемся подметить для него ту или иную значительную сторону явлений в наиболее удобном порядке, какой только нам доступен.

Глава вторая

СМЕРТЬ

В первые дни ноября нужно отметить одно мимолетное обстоятельство — последний путь в свой вечный дом Филиппа Орлеанского-Эгалите. Филипп был «обвинен» вместе с жирондистами, к удивлению их и своему собственному, но не был судим одновременно с ними. Они были уже осуждены и казнены дня три назад, когда Филипп, после своего полугодового заключения в Марселе, был привезен в Париж. Это происходило, по нашему расчету, 3 ноября 1793 года.

В этот же самый день заключены под стражу две знаменитые женщины: г-жа Дюбарри и Жозефина Богарне. Несчастливая Дюбарри, некогда графиня, возвратилась из Лондона, и ее схватили не только как бывшую любовницу покойного короля и уже поэтому подозрительную, но и по обвинению в том, что она «снабжала эмигрантов деньгами». Одновременно с ней заключена в тюрьму жена Богарне, которой скоро суждено стать вдовой; это Жозефина Таше Богарне, будущая императрица Жозефина Бонапарт; чернокожая прорицательница из тропиков давно предсказала ей, что она будет королевой, и даже более того. В те же самые часы бедный Адам Люкс, почти помешавшийся и, по словам Форстера, «не принимавший пищи в последние три недели», отправляется на гильотину за свою брошюру о Шарлотте Корде: «он взбежал на эшафот и сказал, что умирает за нее с великой радостью». Вот с какими спутниками приезжает

Филипп. Ибо, называется ли месяц брюмером года второго Свободы или ноябрем 1793 года рабства, работа гильотины не прекращается. *Guillotine va toujours.*

Обвинительный акт Филиппа быстро составлен; судьи его быстро пришли к убеждению. Он обвинен в роялизме, заговоре и многом другом; ему вменяется в вину даже то, что он подал голос за казнь Людовика, хотя он и отвечает: «Я подал голос по убеждению и совести». Он приговорен к немедленной смерти; наступающий мрачный день 6 ноября — последний, который суждено ему видеть. Выслушав приговор, Филипп, говорит Монгайяр, пожелал позавтракать: он съел «изрядное количество устриц, две котлеты, выпил добрую часть бутылки превосходного кларета», и все это с явным удовольствием. Затем явился революционный судья, или официальный эmissар Конвента, и заявил ему, что он может оказать некоторую услугу государству, открыв правду относительно каких-нибудь заговоров. Филипп ответил, что после всего происшедшего государство, как ему кажется, имеет мало прав на него; тем не менее в интересах свободы он, еще располагая свободным временем, согласен, если ему зададут разумный вопрос, дать разумный ответ. Он облокотился, как говорит Монгайяр, на каминную доску и, судя по выражению лица, с большим спокойствием разговаривал вполголоса с эmissаром, пока не истекли данные ему свободные минуты, после чего эmissар ушел.

В дверях Консьержери осанка Филиппа была уверенна и непринужденна, почти повелительна. Прошло без малого пять лет с тех пор, как Филипп с любезным видом стоял под этими же каменными сводами и спрашивал короля Людовика: «Было ли то парламентским заседанием под председательством короля или судилищем?» О небо! Трое простых разбойников должны были ехать на казнь вместе с ним, и некоторые утверждают, что он протестовал против такой компании, и его пришлось втащить на повозку!⁵ Но это неправдоподобно... Протестовал он или нет, а наводящая ужас повозка выезжает. Костюм Филиппа отличается изяществом: зеленый кафтан, жилет из белого пике, желтые лосевые брюки, блестящие, как зеркало, сапоги; его осанка по-прежнему спокойна, бесстрашна и холодно непринужденна. Повозка, осыпаемая проклятиями, медленно проезжает, улицу за улицей, мимо дворца Эгалите, некогда Пале-Руаяля! Жестокая чернь останавливает ее здесь на несколько минут: говорят, г-жа Бюффон выглянула здесь посмотреть на него, в головном уборе Иезавели. На стене из дикого камня были выведены огромными трехцветными буквами слова: «Республика, единая и нераздельная; Свобода, Равенство, Братство или Смерть; Национальная собственность». Глаза Филиппа блеснули на мгновение дьявольским огнем, но он тотчас же погас, и Филипп продолжал сидеть бесстрастный, холодно-вежливый. На эшафоте, когда Сансон собирался снять с него сапоги, осужденный сказал: «Оставьте; они лучше снимутся после, а теперь поспешим (*dépêchons nous!*)!»

Значит, и у Филиппа Эгалите были свои добродетели? Упаси боже, чтобы был хотя бы один человек без них! Он имел уже ту добродетель, что прожил весело до 45 лет; быть может, были и другие, но какие, мы не знаем. Несомненно только, что ни о ком из смертных не рассказывали так много фактов и так много небылиц, как о нем. Он был якобинским принцем крови, подумайте, какая комбинация. К тому же он жил в век памфлетов, а не в века Нерона или Борджиа. Этого с нас довольно; хаос дал его и вновь поглотил; пожелаем, чтобы он долго или никогда больше не производил ему подобного! Храбрый молодой Орлеан-Эгалите, лишенный всего, за исключением жизни, отправился в Кур, в кантоне Граабюндене, под именем Корби преподавать математику. Семейство Эгалите пришло в полный упадок.

Гораздо более благородная жертва следует за Филиппом, одна из тех, память о которых живет несколько столетий, — Жанна Мария Флипон, жена Ролана. Царственной, великой в своей молчаливой скорби казалась она Риуффу в своей тюрьме. «Что-то большее, чем обыкновенно находишь во взорах женщин, отражалось⁶ в ее больших черных глазах, полных выразительности и мягкости. Она часто говорила со мной через решетку; мы все вокруг внимали ей с восторгом и удивлением: она говорила так правильно, гармонично и выразительно, что речь ее походила на музыку, которой никогда не мог в полной мере насладиться слух. Ее беседы были серьезны, но не холодны; речи этой прелестной женщины были искренни и мужественны, как речи великого мужчины». И, однако, ее горничная говорила нам: «Перед вами она сдерживается; но в своей комнате она сидит иногда часа по три, облокотясь на окно, и плачет». Она находилась в тюрьме с 1 июня, однажды освобожденная, но снова задержанная в тот же час. Дни ее проходили в волнении и неизвестности, которая скоро перешла в твердую уверенность в неизбежности смерти. В тюрьме Аббатства она занимала комнату Шарлотты Корде. Здесь, в

Консьержери, она беседует с Риуффом, с экс-министром Клавьером, называет 22 обезглавленных «nos amis» (нашими друзьями), за которыми мы скоро последуем. В течение этих пяти месяцев ею были написаны мемуары, которые еще и теперь читает весь мир.

Но вот 8 ноября, «одетая в белое», рассказывает Риуфф, «с длинными, ниспадающими до пояса» черными волосами, она отправляется в зал суда. Возвращаясь быстрыми шагами, она подняла палец, чтобы показать нам, что она осуждена; ее глаза, казалось, были влажны. Вопросы Фукье-Тенвиля были «грубы»; оскорбленная женская честь бросала их ему обратно с гневом, не без слез.

Теперь, когда короткие приготовления кончены, предстоит и ей совершить свой последний путь. С нею ехал Ламарш, «заведовавший печатанием ассигнаций». Жанна Ролан старается ободрить его, поднять упавший дух его. Прибыв к подножию эшафота, она просит дать ей перо и бумагу, «чтобы записать странные мысли, пришедшие ей на ум», — замечательное требование, в котором ей, однако, было отказано. Посмотрев на стоящую на площади статую Свободы, она с горечью заметила: «О Свобода, какие дела творятся твоим именем!» Ради Ламарша она хочет умереть первой, «чтобы показать ему, как легко умирать». Это противоречит приказу, возразил Сансон. «Полноте, неужели вы откажете женщине в ее последней просьбе?» Сансон уступил.

Благородное белое видение с гордым царственным лицом, мягкими, гордыми глазами, длинными черными волосами, ниспадающими до пояса, и с отважнейшим сердцем, какое когда-либо билось в груди женщины! Подобно греческой статуе из белого мрамора, законченно ясная, она сияет, надолго памятная среди мрачных развалин окружающего. Хвала великой природе, которая в городе Париже в эпоху дворянских чувств и помпадурства смогла создать Жанну Флипон и воспитать в ней чистую женственность, хотя и на логиках, энциклопедиях и евангелии по Жан Жаку! Биографы будут долго помнить ее просьбу о перо, «чтобы записать странные мысли, пришедшие на ум». Это как бы маленький луч света, проливающий теплоту и что-то священное надо всем, что предшествовало. В ней также было нечто неопределимое; она также была дочерью бесконечного; существуют тайны, о которых и не снилось философии! Она оставила длинную рукопись с наставлениями своей маленькой дочери и говорила, что муж ее не переживет ее.

Еще более жестокой была судьба бедного Байи, председателя Национального собрания и первого мэра города Парижа, осужденного теперь за роялизм, лафайетизм, за дело с красным флагом на Марсовом поле, можно сказать, вообще за то, что он оставил астрономию и вмешался в революцию. 10 ноября 1793 года под холодным мелким дождем бедного Байи везут по улицам; ревушая чернь осыпает его проклятиями, забрасывает грязью, размахивает в насмешку перед его лицом горящим или дымящимся красным флагом. Безвинный старец сидит молча, ни у кого не возбуждая сострадания. Повозка, медленно двигаясь под мокрой изморосью, достигает Марсова поля. «Не здесь! — с проклятиями вопит чернь. — Такая кровь не должна пятнать Алтарь Отечества; не здесь; вон на той куче мусора, на берегу реки!» И власти внимают ей. Гильотина снята окоченевшими от мокрого снега руками и перевезена на берег реки, где опять медленно устанавливается окоченевшими руками. Усталое сердце старика еще отбивает удар за ударом в продолжение долгих часов среди проклятий, под леденящим дождем! «Байи, ты дрожишь!» — замечает кто-то. «От холода, друг мой» (Mon ami, c'est de froid), — отвечает Байи. Более жестокого конца не испытал ни один смертный⁸.

Несколько дней спустя Ролан, получив известие о случившемся 8 ноября, обнимает своих дорогих друзей в Руане, покидая их гостеприимный дом, давший ему убежище, и уезжает после прощания, слишком печального для слез. На другой день, утром 16 ноября, «в нескольких милях от Руана, по дороге на Париж, близ Бур-Бодуана, в аллее Нормана» виднеется сидящая, прислонившись к дереву, фигура человека с суровым морщинистым лицом, застывшего в неподвижности смерти; в груди его торчал стилет, и у ног лежала записка такого содержания: «Кто бы ни был ты, нашедший меня лежащим здесь, почти мои останки. Это останки человека, посвятившего всю жизнь тому, чтобы быть полезным, и умершего, как он жил, добродетельным и честным. Не страх, а негодование заставило меня покинуть мое уединение, узнав, что моя жена убита. Я не желал долее оставаться на земле, оскверненной преступлениями»⁹.

Барнав держал себя перед Революционным трибуналом в высшей степени мужественно, но это не помогло ему. За ним послали в Гренобль, чтобы он испил одну чашу с другими. Напрасно красноречие, судебное или всякое иное, пред безгласными сотрудниками Тенвиля. Барнаву еще только 32 года, а он испытал уже много превратностей судьбы. Еще недавно мы видели его на верху колеса фортуны, когда его слова были законом для всех патриотов, а теперь он уже на самом низу колеса, в бурных прениях с трибуналом Тенвиля, обрекающим его на смерть¹⁰. Петион, некогда принадлежавший к крайней левой и прозванный добродетельным Петионом, где он теперь? Умер гражданской смертью в пещерах Сент-Эмилиона и будет обглодан собаками. А Робеспьер, которого народ нес рядом с ним на плечах, заседает теперь в Комитете общественного спасения, граждански еще живой, но и он не будет жить вечно. Так-то головокружительно быстро несется и кружится диким ревом это неизмеримое *tourmentum* революции! Взор не успевает следить за ним. Барнав на эшафоте топнул ногой, и слышно было, как он произнес, взглянув на небо: «Так это моя награда?»

Депутат и бывший прокурор Манюэль уже умер; скоро за ним последует и депутат Осселен*, также прославившийся в августе и сентябре, и Рабо, изменнически открытый в своем убежище между двумя стенами, и брат Рабо. Немало жертв из числа национальных депутатов! Есть и генералы: сын генерала Кюстина не может защитить честь своего отца, так как и сын уже гильотинирован. Кюстин, бывший дворянин, был заменен плебеем Ушаром, но и он не имел удачи на севе ре, и ему не было пощады; он погиб на площади Революции после покушения на самоубийство в тюрьме. И генералы Бирон, Богарне, Брюне также неудачники, и непреклонный старый Люкнер со своими начинающими слезиться глазами, и эльзасец Вестерманн в Вандее, храбрый и деятельный, — никто из них не может, как поет псаломщик, избавить душу свою от смерти.

* Осселен Шарль Никола (1752—1794) — депутат Конвента от Парижа.

Как деятельны революционные комитеты и секции с их ежедневными 40 полупенсами! Арест за арестом следуют быстро, непрерывно, сопровождаемые смертью. Экс-министр Клавьер покончил самоубийством в тюрьме. Экс-министр Лебрэн, схваченный на сеновале в одежде рабочего, немедленно предан смерти¹¹. Баррер метко назвал это «чеканкой монеты на площади Революции», так как всегда «имущество виновного, если он имеет таковое», конфискуется. Во избежание случайностей издается даже закон, в силу которого самоубийство не должно обездоливать нацию: преступник, покончивший самоубийством, ни в коем случае не избавляется от конфискации его имущества. Поэтому трепещите, все виновные, и подозреваемые, и богатые, — словом, все категории людей в штанах с застегками! Люксембургский дворец, некогда королевский, превратился в огромную отвратительную тюрьму; дворец Шантильи, некогда принадлежавший Конде, — также, а их владельцы — в Бланкенберге, по ту сторону Рейна. В Париже теперь около 12 тюрем, во всей Франции их около 44 тысяч: туда густой толпой, как пожелтевшие осенние листья, с шумом направляются подозреваемые, стряхиваемые революционными комитетами; они сметаются туда, как в кладовую, в виде запасов для Сансона и Тенвиля. «Гильотина работает исправно» (*La Guillotine ne va pas mal*).

Глава третья

РАЗРУШЕНИЕ

Трепещите, подозрительные! Но более всего трепещите вы, явные мятежники: жирондистские южные города! Революционная армия выступила под предводительством писателя-драматурга Ронсена* в количестве 6 тысяч человек: «в красных колпаках, трехцветных жилетах, черных брюках и таких же куртках из грубого сукна, с огромными усами, огромными саблями, словом, в полном карманьольском снаряжении»¹², имея в запасе передвижные гильотины. Депутат Каррье достиг Нанта, обогнув пылающую Вандею, которую Россиньоль буквально сжигает. Каррье хочет разведать, кто попался в плен, какие у пленных сообщники, роялисты или жирондисты; его гильотина и «рота Марата» в вязаных колпаках работают без отдыха, гильотинируют маленьких детей и стариков. Как ни быстро работает машина, она не справляется с массой работы; палач и его помощники выбились из сил и объявляют, что человеческие мускулы не могут

больше выдержать¹³. Приходится прибегнуть к расстрелам, за которыми, быть может, последуют еще более ужасные способы.

* Ронсен Шарль Филипп (1751—1794) — член Клуба кордельеров, помощник военного министра в апреле 1793 г., командующий революционной армией осенью 1793 г.

В Бресте с подобной же целью орудуют Жан Бон Сент-Андре с армией красных колпаков. В Бордо действует Тальен со своим Изабо* и его помощниками; многочисленные Гюаде, Кюссе, Сали и другие погибают; окровавленные пика и колпак представляют верховную власть; гильотина чеканит деньги. Косматый рыжий Тальен, некогда способный редактор, еще молодой, сделался теперь мрачным, всевластным Плутоном на земле, обладающим ключами Тартара. Замечают, однако, что некая синьорина Кабаррюс или, вернее, синьора замужняя и еще не овдовевшая г-жа де Фонтенэ, красивая брюнетка, дочь испанского купца Кабаррюса, нашла секрет смягчать рыжую, щетинистую личность и небезуспешно ходатайствует за себя и своих друзей. Ключи от Тартара и всякого рода власть значат кое-что для женщины, а сам мрачный Плутон не равнодушен к любви. Подобно новой Прозерпине, г-жа Фонтенэ пленена этим рыжим мрачным богом и, говорят, немного смягчает его каменное сердце.

* Изабо Клод Александр — депутат Конвента от департамента Эндр и Луара.

Менье в Оранже, на юге, Лебон в Аррасе и на севере становятся предметом удивления для всего мира. Якобинские народные суды с национальными представителями возникают по мере надобности то здесь, то там, быть может на том же самом месте, где еще недавно находился жирондистский трибунал. Разные Фуше, Менье, Баррасы, Фрероны очищают южные департаменты, подобно жнецам, своими серпами-гильотинами. Работников много, жатва обильна. Сотнями, тысячами косятся человеческие жизни и бросаются в общий костер, подобно головням.

Марсель взят и объявлен на военном положении. Что это за грязный рыжий колосс, который там срезают? Речь идет о дородном мужчине с медно-красным лицом и большой бородой кирпичного цвета. Клянусь Немезидой и Парками, это Журдан Головорез! Его схватили в этом округе, находящемся на военном положении, и беспощадно скосили «национальной бритвой». Низко упала собственная голова палача Журдана, так же низко, как головы Дешюта и Вариньи, которые он надел на пики во время восстания женщин.

Его не будут более видеть разъезжающим, подобно медно-красному зловещему призраку, по городам Юга; не будут видеть сидящим в роли судьи, с трубкой и стаканом коньяка, в Ледяной башне Авиньона. Всепокрывающая земля приняла и его, зазнавшегося бородача, и дай Бог, чтобы нам никогда более не приходилось знать человека, подобного ему! Журдан один назван, сотни других не названы. Увы! Они, подобно разрозненным вязанкам, лежат, собранные в кучу, перед нами, считаются количеством телег, и, однако, нет ни одной отдельной лозы среди этих вязанок, которая не была бы когда-то живой и не имела своей истории и была бы срезана без таких же мук, какие испытывают и монархи, когда умирают!

Менее всех других городов может ждать пощады Лион, который мы видели в страшном зареве в ту осеннюю ночь, когда взлетела на воздух пороховая башня. Лион видимо и неизбежно приближается к печальному концу. Что могли сделать отчаянная храбрость и Преси, когда Дюбуа-Крансе, неумолимый, как судьба, жестокий, как рок, захватил их «редуты из хлопчатобумажных мешков» и теснит их все сильнее своей лавой артиллерийских ядер? Никогда не прибудет этот *sidevant* д'Оттишан; никогда не явится помощь из Бланкенберга! Лионские якобинцы попрятались в погребах; жирондистский муниципалитет побледнел от голода, измены и адского огня. Преси и около 15 тысяч с ним вскочили на коней, обнажили сабли, чтобы пробить себе дорогу в Швейцарию. Они бились яростно и были яростно перебиты; не сотни, а едва ли несколько единиц из них когда-либо увидели Швейцарию! 9 октября Лион сдается безусловно и обречен на гибель¹⁴. Аббат Ламурет, теперь епископ Ламурет, некогда член Законодательного собрания, прозванный *Vaiser l'Amourette*, или Поцелуй Далилы, схвачен и отвезен в Париж, чтобы быть гильотинированным. Говорят, «он перекрестился», когда Тенвиль объявил ему смертный приговор, и умер, как красноречивый конституционный епископ. Но горе теперь всем епископам, священникам, аристократам и федералистам, находящимся в Лионе. Прах Шалье требует упо-

коения; Республика, дошедшая до безумного состояния Сивиллы, обнажила свою правую руку. Смотрите! Представитель Фуше, этот Фуше из Нанта, имя которого приобретет громкую известность, отправляется с толпой патриотов, удивительной процессией, вынуть из могилы прах Шалье. Осел в священном облачении с митрой на голове, с привязанными к хвосту церковными книгами, в числе которых называют даже Библию, шествует по улицам Лиона, сопровождаемый многочисленными патриотами и криками, как в театре, по направлению к могиле мученика Шалье. Тело вырыто и сожжено; пепел собран в урну для почитания парижскими патриотами. Священные книги составили часть погребального костра, и пепел был развеян по ветру. Все это при криках: «Мсть! Мсть!», которая, пишет Фуше, будет удовлетворена¹⁵.

Лион фактически обречен на разрушение; отныне на его месте будет только *Commune affranchie* (свободная община): самое имя его должно исчезнуть. Этот большой город будет стерт с лица земли, если сбудется якобинское пророчество, и на развалинах его будет воздвигнут столб с такою надписью: «Лион восстал против Республики; Лион больше не существует». Фуше, Кутон, Колло, представители Конвента, следуют один за другим; здесь есть работа для палача, и есть работа для каменщика, но не строительная. Самые дома аристократов обречены на уничтожение. Парализованный Кутон, принесенный в кресле, ударяет по стене символическим молотком, говоря: «*La loi te frappe*» (Закон уничтожает тебя), и каменщики киркой и ломом начинают разрушение. Грохот падения, серые развалины и тучи пыли разносятся зимним ветром. Если бы Лион был из более мягкого материала, он весь исчез бы в эти недели, и якобинское пророчество исполнилось бы. Но города строятся не из мыльной пены, город Лион построен из камня, и хотя он и восстал против Республики, однако существует до нынешнего дня.

Точно так же и у лионских жирондистов не одна шея, чтобы можно было покончить с ними одним ударом. Революционный трибунал и военная комиссия, находящиеся там, гильотинируют, расстреливают, делают все, что могут: в канавах площади Терро течет кровь; Рона несет обезглавленные трупы. Говорят, Колло д'Эрбуа был некогда освистан на лионской сцене; но каким свистом, каким всемирным кошачьим концертом или хриплой адской трубой освищете вы его теперь, в этой его новой роли представителя Конвента, с тем чтобы она более не повторялась? 209 человек перешли через реку, чтобы быть расстрелянными из мушкетов и пушек на бульваре Бротто. Это уже вторая партия осужденных; в первой было 70 человек. Тела первой партии были сброшены в Рону, но река выбросила часть их на берег, поэтому вторая партия будет погребена в земле. Общая длинная могила вырыта; осужденные стоят, выстроившись рядами, около пустого рва; самые молодые поют «Марсельезу». Якобинская Национальная гвардия дает залп, но должна снова стрелять, и еще раз, а потом взяться за штыки и заступы, потому что хотя все осужденные упали, но не все мертвы, и начинается бойня. Слишком ужасная, чтобы описывать ее. Сами национальные гвардейцы, стреляя, отворачиваются. Колло, вырвав мушкет у одного из них, прицеливается с невозмутимым видом, говоря: «Вот как должен стрелять республиканец!»

Это второй расстрел, и, к счастью, последний: он найден слишком ужасным, даже неприличным. 209 перешли через мост; один ускользнул у конца моста; однако смотрите, когда считают тела, их оказывается 210. Разреши нам эту загадку, Колло. После долгих рассуждений вспомнили, что два человека, уже на бульваре Бротто, пытались выйти из рядов, заявляя с отчаянием, что они не осужденные, что они полицейские комиссары! Им не поверили, их толкнули в ряды и расстреляли вместе с остальными!¹⁶ Такова мсть разъяренной Республики! Конечно, это, по выражению Барера, «справедливость в грубых формах» (*sous des formes acerbes*). Но Республика должна, как говорит Фуше, «идти к свободе по трупам». Или как сказал Барер: «Только мертвые не возвращаются» (*Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas*). Террор витает повсюду! «Гильотина работает исправно».

Но прежде чем покинуть эти южные области, на которые история может бросить взгляд только сверху, она спустится на мгновение, чтобы пристальнее взглянуть на одно событие — на осаду Тулона. Много тут стрельбы и бомбардировки, закаливания ядер в печах и на фермах, плохих и хороших маневров артиллерии, атак Оллиульских ущелий и фортов Мальбо-ске, но все с незначительными результатами. Здесь генерал Карто, бывший художник, выдвинувшийся во время волнений в Марселе; здесь генерал Доппе, бывший медик, выдвинувшийся во время мятежа в Пьемонте, который под командой Крансе взял Лион, но не может взять Тулона. Наконец, здесь генерал Дюгомье, ученик Вашингтона. Здесь и представители Кон-

вента — разные Баррасы, Саличетти, Робеспьер-младший, а также весьма усердный начальник артиллерийской бригады, который часто и ночует рядом со своими пушками. Это невысокий молчаливый молодой человек с оливковым цветом лица, уже небезызвестный нам; его имя — Бонапарт, это один из лучших артиллерийских офицеров, какие нам встречались. И все же Тулон еще не взят. Идет четвертый месяц осады, декабрь по рабскому стилю или фример по новому, и все еще этот проклятый красно-синий флаг развевается над Тулоном. Осажденным доставляется провизия с моря; они захватили все высоты, срубая леса и укрепляясь; подобно кроликам, они выстроили свои гнезда в скалах.

Между тем фример еще не сменился нивозом, как собирается военный совет: только что прибыли инструкции от Конвента и Комитета общественного спасения. Карно из этого последнего прислал план осады. План этот критикуют и генерал Дюгомье, и комиссар Саличетти, но и критика и поправки очень различны; тогда осмеливается высказать свое мнение молодой артиллерийский офицер, тот самый, который спит среди пушек и уже не раз упоминался в этой книге, — словом, Наполеон Бонапарт; его почтительное мнение, выведенное из наблюдений в подзорную трубу и вычислений, состоит в том, что некий форт Эгиллет может быть захвачен внезапно, так сказать, львиным прыжком, а раз он будет в наших руках, мы получим возможность обстреливать самое сердце Тулона. Английские укрепленные линии будут вдвинуты внутрь, и Худ и наши естественные враги должны будут на следующий же день отплыть в море или превратиться в пепел. Комиссары вопросительно, с сомнением поднимают брови: «Кто этот молодой человек, который считает себя умнее всех нас?» Однако храбрый ветеран Дюгомье полагает, что эта идея заслуживает внимания; он спрашивает молодого человека, убеждается и в результате говорит: «Попробуйте».

Когда все приготовления сделаны, бронзовое лицо молчаливого офицера становится мрачнее и сосредоточеннее, чем когда-либо; видно, что ум работает горячо в этой голове. Вот этот форт Эгиллет; нужен отчаянный, львиный прыжок, но он возможен и должен быть испробован в этот же день! Попытка сделана и оказалась удачной. Благодаря хитрости и храбрости осаждающие, прокрадываясь по оврагам, бросаясь в самую бурю огня, овладевают фортом Эгиллет; когда дым рассеивается, мы различаем на этом форте трехцветное знамя; смуглый молодой человек был прав. На следующее утро Худ, видя, что внутренние линии открыты огню, а внешние, оборонительные, отброшены к нему, готовится к отплытию. Взяв с собой на корабль тех роялистов, которые желают уехать, он поднимает якорь, и с этого дня, 19 декабря 1793 года, Тулон вновь принадлежит Республике!

Канонада прекратилась в Тулоне; теперь могут начаться гильотинирование и расстрелы. Правда, гражданская война ужасна, но по крайней мере смыто бесчестие английского господства. Нужно устроить гражданское празднество во всей Франции, так предлагает Барер или художник Давид, и Конвент должен присутствовать на празднестве в полном составе¹⁷. В довершение всего говорят, что эти бессовестные англичане (принимая во внимание скорее свои интересы, чем наши) подожгли перед отплытием все наши склады, арсеналы и военные корабли Тулонской гавани, около 20 прекрасных военных кораблей, единственные, которые у нас были! Однако эта попытка не удалась: хотя пламя распространилось повсюду, но сгорело не более двух кораблей; даже каторжники с галер бросались с ведрами тушить эти самые гордые корабли. Корабль «Ориент» и остальные должны везти молодого артиллериста в Египет и не смеют превратиться до времени ни в пепел, ни в морских нимф, ни в ракеты, ни сделаться добычей англичан!

Итак, во Франции всенародный гражданский праздник и ликование, а в Тулоне людей расстреливают массами из мушкетов и пушек, как в Лионе, и «смерть изрыгается широким потоком» (*vomie à grands flots*); 12 тысяч каменщиков вытребованы из окрестностей, чтобы скрыть Тулон с лица земли. «Он должен быть скрыт весь, — заявляет Барер, — весь, за исключением национальных корабельных заведений, и впредь должен называться не Тулоном, а Горным Портом». Оставим его теперь в мрачном облаке смерти, но с надеждой, что и Тулон построен из камня и даже 20 тысяч каменщиков не смогут снести его с лица земли, прежде чем пройдет вспышка гнева.

Становится уже тошно от «изрыгаемой потоками смерти». Тем не менее разве не слышишь ты, читатель (ведь эти звуки не смолкают столетия), в глухие декабрьские и январские

ночи над городом Нантом неясный шум, как будто выстрелы и крики ярости и рыдания смешиваются с ропотом и стонами вод Луары? Город Нант погружен в сон, но депутат Каррье не спит, не спит и рота Марата в шерстяных колпаках. Зачем снимается с якоря в двенадцатом часу ночи это плоскодонное судно, эта барка с сидящими в ее трюме 90 священниками? Они отправляются на Бель-Иль? Посредине Луары по данному сигналу дно судна раздвигается, и оно погружается в воду со всем своим грузом. «Приговор к изгнанию, — пишет Каррье, — был исполнен вертикально». 90 священников с их гробом-баркой лежат на дне реки! Это первая из *Noyades*, которые мы можем назвать потоплениями Каррье, сделавшимися знаменитыми навеки.

Гильотинирование продолжалось в Нанте, пока палач не отказался, выбившись из сил. Затем последовали расстрелы «в долине Сен-Мов»; расстреливались маленькие дети и женщины с грудными младенцами; тех и других убивали по 120, расстреливали по 500 человек зараз, так горячо было дело в Вандее, пока сами якобинцы не возмутились и все, кроме роты Марата, не стали кричать: «Остановитесь!» Поэтому и придумали потопление. В ночь 24-го фримера года второго, которое приходится на 14 декабря 1793 года, мы видим вторую *Noyade*¹⁸, стоившую жизни «138 человекам».

Но зачем жертвовать баркой? Не проще ли сталкивать в воду со связанными руками и осыпать свинцовым градом все пространство реки, пока последний из барахтающихся не пойдет на дно? Неспящие больные жители города Нанта и окрестных деревень слышат стрельбу, доносимую ночным ветром, и удивляются, что бы это могло значить? В барке были и женщины, которых красные колпаки раздевали донага, как ни молили они, чтобы с них не снимали юбок. И маленькие дети были брошены туда, несмотря на мольбы матерей. «Это волчата, — отвечала рота Марата, — из них вырастут волки».

Потом и дневной свет становится свидетелем нояд; женщин и мужчин связывают вместе за руки и за ноги и бросают. Это называют «республиканской свадьбой». Жестока пантера лесов, самка, лишенная своих детенышей, но есть в человеке ненависть, более жестокая, чем эта. Окоченелые, не знающие больше страдания, бледные, вздутые тела жертв беспорядочно несутся к морю волнами Луары; прилив отбрасывает их обратно; тучи воронов затемняют реку; волки бродят по отмелям. Каррье пишет: «*Quel torrent révolutionnaire!*» (Какой революционный поток!) Человек свиреп, и время свирепо. Таковы нояды Каррье; их насчитывают 25, потому что все сделанное во мраке ночи рано или поздно выходит на свет божий¹⁹ и не забывается в продолжение веков. Мы обратимся теперь к другому виду завершения санкюлотизма, оставив этот, как самый мрачный.

Но в самом деле, все люди свирепы так же, как и время. Депутат Лебон в Аппрасе, обмакивая свою шпагу в кровь, текущую с гильотины, восклицает: «Как мне это нравится!» Говорят, по его приказанию матери должны были присутствовать, когда гильотина пожирала их детей. Оркестр поставлен вблизи и при падении каждой головы начинает играть «*Ça ira*»²⁰. В Бур-Бедуэн, в Оранжевом округе, было срублено ночью дерево Свободы. Депутат Менье, услышав об этом, сжигает местечко до последней собачьей конуры и гильотинирует жителей, не успевших спрятаться в погребах или в горах²¹. Республика единая и нераздельная! Она новейшее порождение огромного неорганического чрева природы, которое люди называют адом, хаосом, первобытной ночью, и знает один только закон — закон самосохранения. *Tigresse Nationale!* Не заденьте даже кончика ее усов! Быстр ее ответный удар; посмотрите, какую она вытянула лапу; сострадание не закрадывалось в ее сердце.

Прюдом, глупый хвастливый печатник, неспособный редактор, пока якобинский, замышляет сделаться ренегатом и опубликовать объемистые тома на такую тему: «Преступления революции», прибавляя к ним бесчисленную ложь, как будто недостаточно одной правды. Мы, со своей стороны, находим более назидательным запомнить раз и навсегда, что эта республика и национальная тигрица — новое явление, факт, созданный природой среди формул в век формул, и молча присматриваться, как такое естественное проявление природы будет вести себя среди формул. Ведь последние только отчасти естественны, отчасти же призрачны, предположительны; мы называем их метафорически правильно вылитыми формами, из которых иные еще имеют тело, и в них теплится жизнь; но большинство, согласно немецкому писателю, представляет внутри пустоту: «стеклянные глаза, смотрящие на вас с призрачной жизнью, а внутри только нечистое скопление трутней и пауков!» Но не забывайте, что это факт естественный, пра-

ведный факт, ужасный в своей правдивости, как сама смерть. Все, что так же правдиво, может встретить его лицом к лицу и пренебречь им; а что не правдиво?

Глава четвертая

ПОЛНАЯ КАРМАНЬОЛА

Одновременно с этим адски-черным зрелищем разворачивается другое, которое можно назвать адски-красным, — уничтожение католической религии, а в продолжение некоторого времени уничтожение религии вообще. Мы видели, что новый календарь Ромма установил десятый день отдыха, и спрашивали: что станет с христианским воскресением?*. Едва прошел месяц с выхода нового календаря, как все это определилось. Странно вспомнить, замечает Мерсье, что в последний праздник Тела Господня в 1792 году вся Франция и все верховные власти шествовали в религиозной процессии с самым набожным видом; мясник Лежандр, заподозренный в непочтительности, едва не был убит в своей двуколке, когда процессия проходила мимо. Галликанская иерархия, церковь и церковные формулы, казалось, цвели, хотя с несколько пожелтевшими листьями, но не более желтыми, чем в прежние годы или десятилетия; цвели повсюду, среди симпатии чуждого софистике народа, вопреки философам, законодателям и энциклопедистам. Но, увы, цвели, подобно темнолистой *vallombrosa*, которую первый же ноябрьский вихрь обнажает в один час. Со времени этого праздника Тела Господня прошли Брауншвейг, эмигранты, Вандея и восемнадцать месяцев; всему цветущему, особенно растению с темными листьями, приходит, хотя и медленно, конец.

* По мнению А. Олара, принятие Республиканского календаря было из всех мер революции, направленных против христианства, самой значительной. Счет дней по декадам лишил воскресенье его значения, то же можно сказать о значении декадных праздников для религиозных церемоний. Эта попытка дехристианизации повседневной жизни была дополнена декретом от 15 брюмера II года (5 ноября 1793 г.) — установлением совокупности гражданских празднеств (см.: *Жорес Ж.* Указ. соч. Т. VI. С. 275).

7 ноября некий гражданин Паран, викарий из Буасси-ле-Бертрань, пишет Конвенту, что он всю свою жизнь проповедовал ложь и что она наскучила ему, вследствие чего он хочет теперь отказаться от звания священника и от пенсии и просить высочайший Конвент дать ему какое-нибудь другое дело, которым можно было бы жить. Дать ему «mention honorable» (почетный отзыв)? Или рекомендацию в министерство финансов? Едва это решено, как простоватый Гобель, конституционный парижский епископ, является со своим капитулом, с муниципальным и департаментским эскортом в красных колпаках, чтобы поступить по примеру Парана. Гобель признает, что «нет религии, кроме свободы», поэтому снимает свои священнические облачения и заключается в братские объятия. Все это совершается, к великой радости департаментского депутата Моморо, муниципалов Шометтов и Эберов, Венсана и революционной армии. Шометт спрашивает, не следует ли при таких обстоятельствах прибавить к санкюлотизму праздник Разума?²² Конечно, следует! Да возрадуются атеисты Марешаль, Лаланд и маленький атеист Нежон! Оратор человечества Клоотс может представлять Конвенту с благодарностью свои «Доказательства магометанской религии» — работу, доказывающую ничтожество всех религий. Теперь, думает Клоотс, будет всемирная республика и «только один Бог — Le peuple (народ)».

Французы — нация стадно-подражательного характера; ей был необходим только сигнал для движения в этом направлении, и простофиля Гобель, побуждаемый муниципалитетом и силой обстоятельств, подал его. Какой священник захочет остаться позади священника из Буасси; какой епископ отстанет от епископа Парижского? Епископ Грегуар, правда, мужественно уклоняется; ему говорят: «Мы не принуждаем никого; пускай Грегуар спросит свою совесть». Но и протестанты и католики сотнями изъявляют желание присоединиться. Отовсюду в ноябре и декабре, пока дело не довершено, поступают письма с отказами, приходят священники с целью выучиться ремеслу плотника; приезжают викарии со своими недавно обвенчанными монахинями; словом, день Разума занялся и очень быстро стал полднем. Из отдаленных округов поступают адреса, прямо заявляющие, хотя и на местном диалекте, что Подписавшиеся «не хотят иметь ничего общего с черным животным, называемым кюре» (*animal noir apellé curay*)²³.

Кроме того, получены патриотические подарки из церковной утвари. Оставшиеся колокола, за исключением набатных, снимаются с колоколен и отправляются в плавильные тигли для изготовления из них пушек. Кадилаи и все священные сосуды разломаны на куски: серебряные годятся для обедневшего Монетного двора; из оловянных же пусть отливаются пули, чтобы разить «врагов человеческого рода». Плюшевые стихари послужат для брюк тем, у кого их нет; полотняные епитрахили будут перекроены на рубашки для защитников родины; старьевщики, евреи и язычники ведут самую бойкую торговлю. Процессия с ослом к могиле Шалье в Лионе была только прообразом того, что происходило в эти самые дни во всех городах. Насколько быстро может действовать гильотина, настолько же быстро действуют теперь во всех городах и округах топор и отмычка; ризницы, налои, напестольные пелены обобраны и содраны, церковные книги изорваны на бумагу для патронов, люди пляшут «Карманьолу» каждую ночь вокруг праздничных костров. По всем большим дорогам звенят возы с металлической церковной утварью, разбитой в куски и посылаемой в Конвент для терпящего нужду Монетного двора. Рака доброй святой Женевьевы снесена, увы, чтобы быть взломанной на этих днях и сожженной на Гревской площади. Рубашка св. Людовика сожжена, разве не могли бы отдать ее защитнику страны? В городе Сен-Дени — теперь уже не Сен-Дени, а Франсиаде — патриоты даже разрывали могилы, и революционная армия грабила их.

Вот что видели улицы Парижа: «Большинство этих людей были еще пьяны от вина, выпитого ими из потиров, и закусывали скумбрией на дисках! Усевшись верхом на ослов, одетых в рясы священников, они правили священническими ораями, сжимая в той же руке чашу причастия и освященные просфоры. Они останавливались у дверей таверн, протягивали дароносицы, и хозяин с бутылкой в руке должен был трижды наполнять их, затем показались мулы, тяжело нагруженные крестами, канделябрами, кадилами, сосудами для святой воды и травой иссопом. Это напоминало жрецов Кибелы, корзины которых, наполненные предметами их богослужения, служили в то же время кладовой, ризницей и храмом. В таком виде приблизились эти нечестивцы к Конвенту. Они вошли туда бесконечной лентой, выстроившись в два ряда, все задрапированные, подобно актерам, в фантастические священнические одеяния, неся носилки с наваленной на них добычей: дароносицами, канделябрами, золотыми и серебряными блюдами»²⁴.

Адреса их мы не приводим, так как он был, разумеется, в стихах и пропет *Vivâ voce* всеми присутствующими; Дантон сильно хмурится, сидя на своем месте, и просит, чтобы говорили прозой и в будущем вели себя сдержаннее²⁵. Тем не менее обладатели такой *spolia optima*, отуманенные ликером, просят позволения протанцевать «Карманьолу» здесь же, на месте, на что развеселившийся Конвент не может не согласиться. Мало того, «многие депутаты, — продолжает склонный к преувеличениям Мерсье, который не был свидетелем-очевидцем, так как находился уже в преддверии ада в качестве одного из семидесяти трех, имена которых стояли под протестом Дюперре, — многие депутаты, покинув свои курульные кресла, взяли за руки девушек, щеголявших в священнических облачениях, и протанцевали с ними «Карманьолу». Вот какой античный священный вечер был у них в этом году, прежде называвшемся 1793 годом от Рождества Христова!

Среди такого падения формул, беспорядочно низвергаемых в грязь и попираемых патриотическими танцами, не странно ли видеть возникновение новой формулы? Человеческого языка недостаточно, чтобы выразить то, что происходит в природе людей, подпавшей одуряющему влиянию пошлости. Можно понять лесных чернокожих мумбо-юмбо, еще больше можно понять индейцев вау-вау; но кто поймет этого прокурора Анаксагора, некогда Жана Пьера Шометта? Мы можем только сказать: человек рожден идолопоклонником, поклонником видимого, так он чувственно-впечатлителен и так много общего имеет с природой обезьян.

Дело в том, что в тот же самый день, едва окончился веселый танец «Карманьола», как явился прокурор Шометт с муниципалами и представителями департаментов и с ними странный багаж: новая религия! В зал Конвента вносят на плечах, в паланкине, г-жу Кандейль из Оперы, красивую, когда она хорошо подкрашена, в красном вязаном колпаке и голубом платье; увитая гирляндами из дубовых листьев, она держит в руке пику Юпитера-Народа; впереди нее идут молодые женщины в белых платьях с трехцветными поясами. Пусть мир посмотрит на это! О Национальный Конвент, чудо Вселенной, это наше новое божество — богиня Разума, достойная, единственно достойная поклонения! Отныне мы будем поклоняться ей. Ведь не будет слишком

смелым просить верховное национальное представительство, чтобы и оно также отправилось с нами в *ci-devant* собор Богоматери и исполнило несколько строф в честь богини Разума?

Председатель и секретари посылают по очереди богине Кандейль, обносимой вокруг их эстрады, братский поцелуй, после чего ее, по положению, подносят к председателю и сажают по правую руку его. Потом, после надлежащего отдыха и цветов красноречия, Конвент, собрав своих членов, пускается в путь в требуемой процессии по направлению к собору Богоматери. Богиня Разума опять сидит в своем паланкине, несомая впереди, конечно, людьми в римских тогах и сопровождаемая духовой музыкой, красными колпаками и безумием человечества. Богиню Разума сажают на высокий алтарь собора, и требуемое поклонение, или квазипоклонение, говорят газеты, совершается; Национальный Конвент поет «гимн Свободе, слова Шенье, музыка Госсека». Это первый праздник Разума, первое общественное богослужение новой религии Шометта.

«Соответствующий фестиваль в церкви Св. Евстахия, — говорит Мерсье, — имел вид празднества в большой таверне. Внутренность клироса представляла пейзаж, украшенный хижинами и группами деревьев. Вокруг клироса стояли столы, уставленные бутылками, колбасами, свиными сосисками, пирогами и другими кушаньями; гости входят и выходят во все двери; кто бы ни являлся, всякий отведывал вкусного угощения. Восемилетние дети, мальчики и девочки, отведывали яства в честь Свободы и пили вино из бутылок; их быстрое опьянение вызывало смех. Богиня восседала на возвышении в лазоревой мантии с невозмутимо спокойным видом; канониры с трубкой во рту прислуживали ей в качестве церковных служителей, а на улице, — продолжает склонный к преувеличениям писатель, — безумные толпы танцевали вокруг костров, сложенных из балюстрад приделов, скамеек священников и каноников; и танцующие — я ничего не преувеличиваю, — танцующие были почти без брюк, с обнаженными грудью и шеей, со спущенными чулками. Все это несло и кружилось вихрем, подобно облакам пыли, предшествующим буре и разрушению»²⁶. В церкви Св. Жерве «ужасно пахло селедкой». Секция или муниципалитет не позаботились о пище, предоставив это воле случая. Другие мистерии, по видимому кабирического или даже пифийского характера, мы оставляем под завесой, которая была благоразумно протянута «вдоль колонн боковых приделов», и не будем отодвигать ее рукой Истории.

Но есть одна вещь, которая интересует нас больше всего другого: что думал об этом сам Разум в продолжение всего этого торжества? Какие именно слова произнесла бедная Г-жа Моморо, когда она перестала быть богиней и вместе со своим мужем мирно сидела дома за ужином? Ведь книгопродавец Моморо был человеком серьезным; он имел понятие об аграрном законе. Госпожа Моморо, как признано, представляла собой одну из самых лучших богинь Разума, хотя зубы ее были немного испорчены. Если читатель уже составил себе понятие о том, что представляло собой это видимое поклонение Разуму, происходившее во всей Республике в эти ноябрьские и декабрьские недели, пока все церковные деревянные изделия не были сожжены и дело не было довершено и в других отношениях, то он, быть может, уже достаточно ясно уразумел, что это была за республиканская религия, и охотно оставит эту сторону предмета.

Принесенные дары из награбленной церковной утвари были главным образом делом революционной армии, созданной, как мы уже сказали, несколько времени тому назад. Командовал этой армией имевший при себе переносную гильотину писатель-драматург Ронсен со страшными усами, а также стоявший несколько в тени привратник Майяр, старый герой Бастилии, предводитель менад и сентябрьский «человек в сером». Клерк Венсан из канцелярии военного министерства, один из старых клерков министра Паша, «человек с воображением», возбужденным чтением древних ораторов, имел в этой армии влияние на назначения, по крайней мере на назначения штабных офицеров.

Но походы и отступления этих шести тысяч не имели своего Ксенофонта*. Ничего, кроме нечленораздельного ропота, смутных проклятий мрачного безумия, не сохранится о них в памяти веков! Они рыщут вокруг Парижа, ища, кого бы посадить в тюрьму; собирают реквизиции; наблюдают, чтобы декреты исполнялись, чтобы фермеры достаточно работали; снимают церковные колокола и металлических богородиц. Отряды постепенно продвигаются в отдаленные части Франции; кроме того, возникают то здесь, то там, подобно облакам в насыщенной электричеством атмосфере, провинциальные революционные армии, например рота Марата

у Каррье, бордоские отряды Тальена. Говорят, Ронсен признавался в минуту откровенности, что его войска были квинтэссенцией негодяев. Их видят проходящими через базарные площади, забрызганных дорожной грязью, со всклокоченными бородами, в полном карманьольном виде. Первым подвигом их обычно было низвержение какого-нибудь монархического или церковного памятника, распятия или чего-нибудь в этом роде, что только попадет, затем наведение пушки на колокольню, чтобы снять колокол, не лазая за ним, колокол и колокольню вместе. Впрочем, как говорят, это отчасти зависело от величины города; если город имел много жителей и эти последние считались ненадежными, вспыльчивого характера, то революционная армия исполняла свою работу деликатно, с помощью лестницы и отмычки; мало того, случалось даже, что она брала свой билет на постой, совсем не выполняя подобного рода работу, и, слегка подкрепившись водкой и сном, шла дальше, к следующему этапу²⁷. С трубкой в зубах, с саблей у бедра она шествовала в полном карманьольном снаряжении.

* Ксенофонт (ок. 430—355 или 354 гг. до н. э.) — древнегреческий писатель и историк.

Такое уже бывало и может повториться снова. Карл II выслал своих горцев против западных шотландских виггов; плантаторы Ямайки выписали собак с испанского материка, чтобы охотиться с ними на беглых негров; Франция также раздираема дьявольской сворой, лай которой на расстоянии полувека все еще звучит в наших ушах.

Глава пятая

ПОДОБНО ГРОЗОВОЙ ТУЧЕ

Но великую и поистине существенно главную и отличительную особенность конца террора нам еще предстоит увидеть, ведь прищурившаяся история по большей части всегда только небрежно пробежала глазами эту особенность, эту душу целого, ту особенность террора, которая делала его страшным врагом Франции. Пусть это примут во внимание деспоты и киммерийская коалиция. Все французы и все французское имущество находятся в состоянии реквизиции; четырнадцать армий поставлены под ружье; патриотизм со всем, что он имеет пригодного в сердце, уме, душе и теле или в карманах брюк, бросается к границам, чтобы победить или умереть! Карно сидит в Комитете общественного спасения, занятый «организацией побед». Не быстрее пульсирует гильотина в своем ужасном сердцебиении на площади Революции, чем поражает меч патриотизма, оттесняя Киммерию назад, в ее собственные границы, со священной почвой.

Фактически правительство можно по справедливости назвать революционным; некоторые его члены стоят «à la hauteur» — на высоте обстоятельств, а другие не стоят «à la hauteur», и тем хуже для них. Но анархия, можно сказать, организовалась сама собою: общество буквально перевернуто вверх дном; его старые силы работают с бешеной энергией, но в обратном порядке: разрушительно и саморазрушительно.

Любопытно видеть, как все обращается еще к какой-нибудь власти или источнику ее; даже анархия должна иметь центр, чтобы вращаться вокруг него. Вот уже шесть месяцев прошло с тех пор, как существует Комитет общественного спасения, и около трех месяцев с тех пор, как Дантон предложил, чтобы ему была предоставлена вся власть и «сумма в 50 миллионов» и чтобы «правительство было объявлено революционным». Сам он с этого дня не принимает в Комитете никакого участия, хотя его просят об этом много раз, но занимает свое место на Горе приватно. С этого дня 9 человек, хотя бы число их дошло и до 12, сделались бессменными, всегда избираемыми вновь, когда истекал их срок; Комитеты общественного спасения и общественной безопасности приняли свои позднейшие формы и порядок действия.

Комитет общественного спасения — в качестве верховного, Комитет общественной безопасности — в качестве подчиненного, они, подобно малому и большому советам, действуя до сих пор вполне единодушно, сделались центром всего. Они несутся в этом вихре, вознесенные силой обстоятельств странным, бессмысленным образом на эту ужасную высоту, и управляют этим вихрем или кажется, что управляют. Более странного собрания Юпитеров-громовержцев никогда еще не видела земля. Робеспьер, Бийо, Колло, Кутон, Сен-Жюст, не называя еще ме-

нее значительных: Амара, Вадье и др. в Комитете общественной безопасности, — вот ваши Юпитеры-громовержцы! Необходим сколько-нибудь выдающийся ум, но где его искать среди них, за исключением головы Карно, занятой организацией побед. У них не ум, а скорее инстинкт, способность угадывать, чего желает этот великий безгласный вихрь; способность безумнее других желать того, чего желают все, способность не останавливаться ни перед какими препятствиями; не обращать внимания ни на какие соображения, божеские или человеческие; твердо знать, что от божественного или человеческого нужно только одно: торжество Республики, уничтожение врагов Республики! При этом единственном духовном даре и таком малом количестве других даров у этих людей странно видеть, как безгласный, бесформенный, бушующий вихрь сам вкладывает свои вожжи в их руки и приглашает, даже принуждает их быть его руководителями!

Рядом заседает муниципальный совет Парижа; все в красных колпаках с 4 ноября; это собрание людей, стоящих вполне «на высоте положения» или даже выше его. Здесь ловкий мэ́р Паш, не упускающий из виду своей безопасности среди этих людей; здесь Шометт, Эбер, Варле и великий полководец Анрио, не говоря о Венсане, клерке из военного министерства, о Моморо, Добсане и других; все они стремятся разрушать церкви, поклоняться Разуму, истреблять подозрительных и обеспечить торжество революции. Быть может, они заходят в этом слишком далеко? Слышали, как Дантон ворчал на гражданские стихи и рекомендовал прозу и сдержанность. Робеспьер тоже ворчит, как бы, уничтожая суеверия, не вздумали создать религию из атеизма. В самом деле, Шометт и компания представляют род сверхъякобинства, или неистовую «партию бешеных* (des Enragés)», которая возбуждает в последние месяцы некоторое подозрение у ортодоксальных патриотов. «Узнать подозрительного на улице» — разве это не значит придать самому Закону о подозрительных дурной оттенок? Тем не менее люди, наполовину безумные, люди, ревностные сверх меры, трудятся здесь в своих красных колпаках без отдыха, быстро исполняя то, что определила им жизнь.

* «Бешеными» жирондисты называли группу плебейских революционеров, которые выступили в конце 1792 — начале 1793 г. выразителями социальных устремлений городских трудящихся низов.

И 44 тысячи других округов, каждый с революционным комитетом, основанным на якобинской Дочери патриотизма, просвещенным духом якобинства, поощряемым 40 су в день! Французская конституция всегда пренебрегала чем-либо подобным двум палатам, а смотрите, не получились ли у нее в действительности две палаты? Национальный Конвент, избранный в качестве одной, Мать патриотизма, самоизбранная, в качестве другой! Дебаты Якобинского общества печатаются в «*Moniteur*» как важные государственные акты, каковыми они, бесспорно, и являются. Мы назвали Якобинское общество второй законодательной палатой, но не походило ли оно скорее на тот старый шотландский корпус, называемый *Lord of the Articles* (Лорды уставов), без почина и сигнала которого так называемый парламент не мог провести ни одного билля, ни выполнить никакой работы? Сам Робеспьер, слово которого — закон, не устает раскрывать свои неподкупные уста в якобинском зале. Члены большого Совета — общественного спасения и меньшего — общественной безопасности, равно как и всех действующих партий, приходят сюда произнести свои речи, определить предварительно, к какому решению они должны прийти, какой судьбы должны ожидать. Что ответить, если бы встал вопрос, какая из этих двух палат сильнее — Конвент или Лорды уставов? К счастью, они пока еще идут рука об руку.

Что касается Национального Конвента, то поистине он стал весьма степенным корпусом. Погас прежний пыл; 73 депутата упряты под стражу; некогда шумные друзья жирондизма все превратились теперь в безмолвных депутатов Равнины, прозванных даже «болотными лягушками». Поступают адреса, революционная церковная добыча; приходят депутации с прозой и стихами; всех их Конвент принимает. Но сверх этого главная обязанность его состоит в том, чтобы выслушивать предложения Комитета общественного спасения и говорить «да».

Однажды утром Базир при поддержке Шабо не без горячности заявил, что такой Конвент нельзя назвать собранием, свободным в своих действиях. «Должна существовать партия оппозиции, правая сторона! -кричит Шабо. — Если никто не хочет составлять ее, то я составлю. Народ говорит мне: все вы будете гильотинированы в свою очередь, сначала вы и Базир, затем Дантон, а потом и Робеспьер»²⁸. Громко кричит этот поп-расстрига, а через неделю Базир и он сидят в тюрьме Аббатства, на пути, как можно опасаться, к Тенвиллю и гильотине; и то,

что говорил народ, по-видимому, готово сбыться. Кровь Базира была возбуждена революционной горячкой, крепким кофе и лихорадочными грезами²⁹. А Шабо, как он был счастлив со своей богатой женой, австрийской еврейкой, бывшей *Fräulein Frey!* Но вот он сидит в тюрьме, и его два шурина, австрийские еврейские банкиры Фрей, сидят вместе с ним, ожидая своего жребия. Пускай же Национальный Конвент примет это предостережение и осознает свои обязанности. Пусть он весь, как один человек, примется за работу, но не потоками парламентского красноречия, а другим, более целесообразным способом!

Комиссары Конвента, «представители в командировках», мчатся, подобно посланнику богов Меркурию, во все концы Франции, развозя приказы. В своих «круглых шляпах, украшенных трехцветными перьями и развевающейся трехцветной тафтой, в узких куртках, в трехцветных шарфах, со шпагой у бедра и в жокейских ботфортах» эти люди могущественнее королей или императоров. Они говорят каждому, кого бы ни встретили: «Делай», и он должен делать. Все имущество граждан в их распоряжении, так как Франция — огромный осажденный город. Они разоряют людей реквизициями и принудительными займами; они имеют власть над жизнью и смертью. Сен-Жюст и Леба приказывают богатым жителям Страсбурга «снять сапоги» и послать их в армию, где нужны «10 тысяч пар сапог». Приказывают также, чтобы в двадцать четыре часа «тысяча постелей» были готовы³⁰, завернуты в рогожи и отправлены, так как время не терпит! Подобно стрелам, вылетающим с мрачного Олимпа общественного спасения, несутся эти люди, большей частью по двое, развозят громовые приказы Конвента по Франции, делают Францию одной огромной революционной грозой тучей.

Глава шестая

ИСПОЛНЯЙ СВОЙ ДОЛГ

Наряду с кострами из церковных балюстрад и звуками расстрела и потоплений возникает другой род огней и звуков: огни кузниц и пробные залпы при выделке оружия.

Республика, отрезанная от Швеции и остального мира, должна выучиться сама изготовлять для себя стальное оружие, и с помощью химиков она научилась этому. Города, знавшие только железо, теперь знают и сталь; из своих новых темниц в Шантлиль аристократы могут слышать шум нового горна для стали. Колокола превращаются в пушки, железные стойки — в холодное оружие (*arme blanche*) посредством оружейного мастерства. Колеса Лангре визжат среди огненного венца искр, шлифуя только шаги. Наковальни Шарльвиля звенят от выделки ружей. Да разве только Шарльвиля? 258 кузниц находятся под открытым небом в самом Париже, 140 из них — на эспланаде Инвалидов, 54 — в Люксембургском саду: вот сколько кузниц в работе! Умелые кузнецы выковывают замки и дула. Вызваны по реквизиции часовщики, чтобы высверливать отверстия для запалов, исполнять работу по выпиливанию деталей. Пять больших барж покачиваются на якоре в водах Сены, среди шума буровления; большие гидравлические коловороты терзают слух окружающих своим скрипом. Искусные мастера-резчики шлифуют и долбят, и все работают сообразно своим знаниям; на языке надежды это означает «в день можно изготовить до тысячи мушкетов»³¹. Химики Республики научили нас чудесам быстрого дублирования кож³²; сапожник прокалывает и тачает сапоги — не из «дерева и картона», иначе он ответит перед Тенвилем! Женщины шьют палатки и куртки; дети щиплют корпию, старики сидят на рынках; годные люди — в походе; все завербованы; от города до города развеивается по вольному ветру знамя со словами: «Французский народ восстал против деспотов!»

Все это прекрасно. Но возникает вопрос: как быть с селитрой? Нарушенная торговля и английский флот прекратили доставку селитры, а без селитры нет пороха. Республиканская наука снова в раздумье, открыв, что есть селитра здесь и там, хотя в незначительном количестве; что старая штукатурка стен содержит некоторое количество ее; что в почве парижских погребов есть частицы ее, рассеянные среди обычного мусора, и если бы все это вырыть и промыть, удалось бы получить селитру. И вот, смотрите, граждане со сдвинутыми на затылок красными колпаками или без них, с мокрыми от пота волосами усиленно роют, каждый в своем погребке, чтобы получить селитру. Перед каждой дверью вырастает куча земли, гражданки корытами и ведрами уносят ее прочь; граждане, напрягая каждый мускул, выбрасывают землю и ко-

пают: ради жизни и селитры копайте, mes braves, и да сопутствует вам удача! У Республики будет столько селитры, сколько ей необходимо.

Завершение санкюлотизма имеет много особенностей и оттенков; но самый яркий оттенок, поистине солнечного или звездного блеска, — это тот, который представляют армии. Тот самый пыл якобинства, который внутри наполняет Францию ненавистью, подозрениями, эшафотами и поклонением Разуму, на границах выказывает себя как славное *Pro patria mori*. Со времени отступления Дюмурье при каждом генерале состоят три представителя Конвента. Комитет общественного спасения часто посылал их только с таким лаконичным приказом: «Исполняй свой долг» (*Fais ton devoir*). Замечательно, среди каких препятствий горит, как и другие подобные огни, этот огонь якобинства. У этих солдат сапоги деревянные и картонные, или же они в разгар зимы обуты в пучки сена, они прикрывают плечи лыковой циновкой и вообще терпят всякие лишения. Что за беда! Они борются за права французского народа и человечества: несокрушимый дух здесь, как и везде, творит чудеса. «Со сталью и хлебом, — говорит представитель Конвента, — можно достичь Китая». Генералы, справедливо или нет, один за другим отправляются на гильотину. Какой же вывод отсюда? Среди прочих такой: неудача — это смерть, жизнь только в победе! Победить или умереть — в таких обстоятельствах не театральная фраза, а практическая истина и необходимость. Всякие жирондизмы, половинчатости, компромиссы сметены. Вперед, вы, солдаты Республики, капитан и рядовой! Ударьте со своим галльским пылом на Австрию, Англию, Пруссию, Испанию, Сардинию, на Питта, Кобурга, Йорка, на самого дьявола и весь мир! Позади нас только гильотина; впереди победа, апофеоз и бесконечный Золотой Век! Смотрите, как на всех границах сыны мрака в изумлении отступают после краткого триумфа, а сыны Республики преследуют их с диким «*Ça ira!*» или «*Aux armes!*». Марсельцы преследуют с яростью тигрицы или дьявола во плоти, которой ни один сын мрака не может противостоять! Испания, хлынувшая через Пиренеи, шелестя знаменами Бурбонов, и победоносно шествовавшая в течение года, вздрагивает при появлении этой тигрицы и отступает назад; счастлива была бы она теперь, если бы Пиренеи оказались непроходимыми. Генерал Дюгомье, завоеватель Тулона, не только оттесняет Испанию назад, он сам наводняет эту страну. Дюгомье вторгается в нее через Восточные Пиренеи; генерал Мюллер должен вторгнуться через Западные. Должен — вот настоящее слово; Комитет общественной безопасности произнес его; делегат Кавеньяк, посланный туда, должен наблюдать, чтобы оно было исполнено. «Невозможно!» — кричит Мюллер. «Необходимо!» — отвечает Кавеньяк. Слова «трудно», «невозможно» бесполезны. «Комитет глух на это ухо, — отвечает Кавеньяк (*n'entend pas de cette oreille là*). Сколько людей, лошадей, пушек нужно тебе? Ты получишь их. Победим ли мы или будем побеждены и повешены, мы должны идти вперед»*. И все исполняется, как сказал делегат. Весна следующего года видит Испанию захваченной; редуты взяты, взяты самые крутые проходы и высоты. Испанские штаб-офицеры онемели от удивления перед такой отвагой тигрицы; пушки забывают стрелять³³. Пиренеи заняты; город за городом распахивают свои ворота, понуждаемые ужасом или ядрами. В будущем году Испания запросит мира; признает свои грехи и Республику; мало того, в Мадриде мир будет встречен с ликованием, как победа.

* У Прудона рассказывается об ужасной жестокости à la капитан Кирк, этого Кавеньяка, которая была занесена в словари *des Hommes Marquans*, *Biographie Universelle* etc.; но в этом не только нет правды, но, что особенно странно, можно доказать, что в этом рассказе нет никакой правды. — *Примеч. авт.*

Мало кто, повторяем, имел большее значение, чем эти представители Конвента; их власть превышала королевскую. Да в сущности разве они не короли в своем роде, эти способнейшие люди, избранные из 749 французских королей с таким предписанием: «Исполняй свой долг!» Представитель Левассёр, маленького роста, мирный врач-акушер, должен умирять мятежи. Разъяренные войска (возмущенные до неистовства судьбой генерала Кюстина) бушуют повсюду; Левассёр один среди них, но этот маленький представитель твердый, как кремь, который вдобавок заключает в себе огонь! При Гондштутене далеко за полдень он заявляет, что битва еще не потеряна, что она должна быть выиграна, и сражается сам своей родовспомогательной рукой; лошадь убита под ним, и этот маленький желчный представитель, спешившись, по колено в воде прилива, наносит и отражает удары шпагой, бросая вызовы земле, воде, воздуху и огню! Естественно, что его высочеству герцогу Йоркскому приходится отступить, даже во весь опор, словно из боязни быть поглощенным приливом, и его осада Дюнкерка сделалась сном,

после которого осталось одно только реальное — большие потери превосходной осадной артиллерии и отважных людей³⁴.

Генерал Ушар, как окажется, прятался за забором во время этого дела при Гондшутене, вследствие чего он уже гильотинирован. Новый генерал Журдан, бывший сержант, принимает вместо него командование и в нескончаемых боях при Ватиньи «убийственным артиллерийским огнем, соединяющимся со звуками революционных боевых гимнов» заставляет Австрию вновь отступить за Самбру и надеется очистить почву Свободы. С помощью жестокой борьбы, артиллерийского огня и пения «Ça ira!» это будет сделано. Следующим летом Валансьен увидит себя осажденным, Конде — также осажденным; все, что еще находится в руках Австрии, окажется осажденным, подвергнутым бомбардировке; мало того, декретом Конвента всем им даже приказано «или сдать в течение двадцати четырех часов, или подвергнуться поголовному истреблению»; громкие слова, которые, хотя и остаются неисполненными, показывают, однако, состояние духа.

Представитель Друэ, старый драгун, мог сражаться так, как будто война — его вторая натура, но ему не повезло. В октябре во время ночного нападения при Мобеже австрийцы захватили его живым в плен. Они раздели его почти донага, говорит он, показывая его как главного героя захвата короля в Варенне. Его бросили в телегу и отправили далеко в глубь Киммерии, в крепость Шпильберг на берегу Дуная, где предоставили ему на высоте около 150 футов предаваться своим горьким размышлениям... но также и замыслам! Неукротимый старый драгун устраивает летательный снаряд из бумажного змея, перепиливает оконную решетку и решается слететь вниз. Он завладеет лодкой, спустится вниз по течению реки, высадится где-то в татарском Крыму, в пределах Черного моря, или Константинополя à la Синдбад. Подлинная же история, заглянув далеко в глубь Киммерии, смутно различает необъяснимое явление. В глухую ночную вахту часовые Шпильберга едва не падают в обморок от ужаса: громадный, неясный, зловещий призрак спускается в ночном воздухе. Это национальный представитель, старый драгун спускается на бумажном змее, спускается, увы! слишком быстро. Друэ взял с собой маленький запас провизии, фунтов двадцать или около того, который ускорил падение; драгун упал, сломав себе ногу, и лежал, стелая, пока не настал день и не стало возможным ясно различить, что это не призрак, а бывший представитель³⁵.

Или посмотрите на Сен-Жюста на линиях Вейсембурга: по натуре это робкий, осторожный человек, а как он со своими наспех вооруженными эльзасскими крестьянами бросается в атаку! Его торжественное лицо сияет в отблеске пламени; его черные волосы и трехцветная тафта на шляпе развеваются по ветру! Наши линии при Вейсембурге были уже захвачены. Пруссия и эмигранты прорвались через них, но мы вновь завладели окопами Вейсембурга, и пруссаки с эмигрантами бегут обратно быстрее, чем пришли, отброшенные атаками штыков и бешеным «Ça ira!».

Ci-devant сержант Пишегрю, *ci-devant* сержант Гош, произведенные теперь в генералы, делали чудеса на театре войны. Высокий Пишегрю предназначался к духовному сану, был некогда учителем математики в бриеннской школе — самым замечательным учеником его был юный Наполеон Бонапарт. Затем он, не в самом миролюбивом настроении, поступил в солдаты, променял ферулу на мушкет, достиг служебной ступени, за которой уже нечего больше ожидать, но бастильские заставы, падая, пропустили его, и теперь он здесь. Гош помогал окончательному разрушению Бастилии; он был, как мы видели, сержантом *Gardes Françaises*, растрачивающим свое жалованье на ночники и дешевые издания книг. Разверзаются горы, заключенные в них Энциклады выходят на свободу, а полководцы, звание которых основано на четырех дворянских грамотах, унесены со своими грамотами ураганом за Рейн или в преддверие ада!

Пусть вообразит себе читатель, какие высокие военные подвиги совершались в этих четырнадцати армиях; как из-за любви к свободе и надежды на повышение низкородившая доблесть отчаянно пробивала себе дорогу к генеральскому званию и как от Карно, сидевшего в центре Комитета общественного спасения, до последнего барабанщика на границах люди боролись за свою Республику. Снежные покровы зимы, цветы лета продолжают окрашиваться кровью борцов. Галльский пыл растет с победами, к духу якобинства присоединяется национальное тщеславие. Солдаты Республики становятся, как мы и предсказывали, истинными сынами огня. С босыми ногами, с обнаженными плечами, но с хлебом и сталью можно достичь Китая! Здесь

одна нация против всего мира, но нация, носящая в себе то, чего не победит целый мир! Удивленная Киммерия отступает более или менее быстро, всюду вокруг Республики поднимается пламенеющее, как бы магическое, кольцо мушкетных залпов и «Ça ira!». Король Пруссии, как и король Испании, со временем признает свои грехи и Республику и заключит Базельский мир*.

* Речь идет о мирных договорах 1795 г., заключенных между Францией и двумя из участников первой анти-французской коалиции (Пруссией, признавшей переход к Франции левого берега Рейна, и Испанией). Знаменовали начало распада коалиции.

Заграничная торговля, колонии, фактории на востоке и на западе попали или попадают в руки господствующего на море Питта, врага человеческого рода. Тем не менее что за звук доносится до нас 1 июня 1794 года, звук, подобный грому войны и вдобавок гремящий со стороны океана? Это гром войны с вод Бреста: Вилларе Жуайез и английский Хоу после долгих маневров выстроились там друг против друга и изрыгают огонь. Враги человеческого рода находятся в своей стихии и не могут быть побеждены, не могут не победить. Яростная канонада продолжается двенадцать часов; солнце уже склоняется к западу сквозь дым битвы: шесть французских кораблей взяты, битва проиграна; все корабли, которые еще в состоянии поднять паруса, обращаются в бегство! Но что же такое творится с кораблем «Vengeur». Он не стреляет более и не унывает. Он поврежден, он не может плыть, а стрелять не хочет. Ядра летят на него, обстреливая его нос и корму со стороны победивших врагов; «Vengeur» погружается в воду. Сильны вы, владыки морей, но разве мы слабы? Смотрите! Все флаги, знамена, гюйсы, всякий трехцветный клочок, какой только может подняться и развеяться, с шумом взвивается вверх; вся команда на верхней палубе — и с общим, доводящим до безумия ревом кричит: «Vive la République!», погружаясь и погружаясь в воду. Корабль вздрагивает, кренится, качается как пьяный; бездонный океан разверзается, и «Vengeur» скрывается в бездне непобедимый, унося в вечность свой крик: «Vive la République!»³⁶ Пускай иностранные деспоты подумают об этом! Есть что-то непобедимое в человеке, когда он отстаивает свои человеческие права; пускай все деспоты, все рабы и народы знают это, и только у тех, кто опирается на человеческую несправедливость, это вызывает трепет! Вот какой вывод, ничтоже сумняшеся, делает история из гибели корабля «Vengeur».

Читатель! Мендес Пинто, Мюнхгаузен, Калиостро, Салманасар были великими людьми, но не самыми великими. О Барер, Барер, Анакреон гильотины! Должна ли любознательная и живописующая история в новом издании еще раз спросить: «Как же было с «Vengeur», при этом славном самоубийственном потоплении?» И мстительным ударом зорко очернить тебя и его. Увы, увы! «Le Vengeur» после храброй битвы погрузился точно так же, как это делают все другие корабли; капитан и более 200 человек команды весьма охотно спаслись на британских лодках, и этот беспримерный вдохновенный подвиг и эхо «громоподобного звука» обращаются в нечто беспримерное и вдохновенное, но несуществующее, не находящееся нигде, за исключением мозга Барера! Да, это так³⁷. Все это, основанное, подобно самому миру, на фикции, подтвержденное донесением Конвенту, его торжественными декретами и предписаниями и деревянной моделью корабля «Vengeur», все это, принятое на веру, оплаканное, воспеваемое всем французским народом до сего дня, должно рассматриваться как мастерская работа Барера, как величайший, наиболее воодушевляющий образец *blague* (лжи) из всех созданных за эти несколько столетий каким бы то ни было человеком или нацией. Только как таковое, и не иначе, будет это памятно отныне.

Глава седьмая

ОГНЕННАЯ КАРТИНА

Так, пламенея безумным огнем всевозможных оттенков, от адски-красного до звездно-сверкающего, сияет это завершение санкюлотизма.

Но сотая часть того, что сделано, и тысячная того, что было запланировано и предписано сделать, утомили бы язык истории. Статуя *Peuple Souverain* вышиной со Страсбургскую колокольню, бросающая тень от Пон-Нёф на Национальный сад и зал Конвента, — громадная, но

существующая только в воображении художника Давида! Немало и других таких же громадных статуй осуществилось только в бумажных декретах. Даже сама статуя Свободы на площади Революции остается еще гипсовой. Затем уравнивание мер и весов десятичным делением; учебные заведения, музыка и всякое другое обучение вообще: Школа искусств, Военная школа, *Elèves de la Patrie*, Нормальные школы — все это среди такого сверления пушечных дул, сжигания алтарей, выкапывания селитры и сказочных усовершенствований в кожевенном деле, все это остается еще в проектах!

Но что делает этот инженер Шапп* в Венсенском парке? В этом парке и дальше, в парке убитого депутата Лепелетье де Сен-Фаржо, и еще дальше, до высот Экуана и за ними, он установил подмости, поставил столбы; деревянные фигуры наподобие рук с суставчатыми соединениями болтаются и движутся в воздухе чрезвычайно быстро и весьма таинственно! Граждане сбегаются и глядят подозрительно. Да, граждане, мы подаем сигналы: это хитрая выдумка, достойная мешков; по-гречески это будет названо телеграфом. «*Télégraphe sacré!* — отвечают граждане. — Чтобы писать изменникам, Австрии?» — И разбивают его. Шапп принужден скрыться и добыть новый законодательный декрет. Тем не менее он осуществил свою идею, этот неутомимый Шапп: его дальнописание с деревянными руками и суставчатыми соединениями может понятно передавать сигналы, и для него установлены ряды столбов до северных границ и в других местах. В один осенний вечер года второго, когда дальнописатель только что известил, что город Конде пал, Конвент послал с Тюильрийского холма следующий ответ в форме декрета: «Имя Конде изменяется на *Nord Libre* (Свободный Север). Северная армия не перестает быть достойной родины». Да, удивляются люди! А через какие-нибудь полчаса, когда Конвент еще заседает, приходит такой ответ: «Извещаю тебя, гражданин председатель, что декрет Конвента, повелевающий изменить название Конде на Свободный Север, и другой, объявляющий, что Северная армия не перестает оставаться вполне достойной родины, переданы и объявлены по телеграфу. Я приказал моему ординарцу в Лилле препроводить их в Свободный Север с нарочным. Подписано Шапп»³⁸.

* Шапп Клод (1763—1805) — французский механик. В 1793 г. изобрел семафорный (оптический) телеграф и в 1794 г. построил первую его линию между Парижем и Лиллем.

Или взгляните на Флерюс*, в Нидерландах, где генерал Журдан, очистив почву Свободы и зайдя очень далеко, как раз собирается приступить к сражению и смести или быть сметенным; не висит ли там под небесным сводом некое чудо, видимое австрийцами простым глазом и в подзорные трубы: чудо, похожее на огромный воздушный мешок с сеткой и огромной чашкой, висящей под ним. Это весы Юпитера, о вы, австрийские подзорные трубы! Одна из чашек весов, ваша бедная австрийская чашка, отскочила совсем вверх, за пределы зрения! Клянусь небом, отвечают подзорные трубы, это воздушный шар Монгольфье, и он подает сигналы. Австрийская батарея лает на этот воздушный шар, как собака на луну — без всякого результата: шар продолжает подавать сигналы; обнаруживает, где может находиться австрийская засада, и спокойно спускается³⁹. Чего только не выдумают эти дьяволы во плоти!

* Флерюс — селение в Бельгии, около Шарлеруа. При Флерюсе 26 июня 1794 г. во время войны революционной Франции против первой антифранцузской коалиции французская армия генерала Ж. Журдана нанесла поражение австрийским войскам.

В общем, о читатель, разве это не одна из самых странных, когда-либо вырисовывавшихся огненных картин, вспыхивающая на фоне мрака гильотины? А вечером — 33 театра и 60 танцевальных залов, полных веселящихся *Egalité*, *Fraternité* и «Карманьолы». И 48 секционных комитетских залов, пропахших табаком и водкой, подкрепляемых ежедневными 40 су, они задерживают подозрительных. И 12 тюрем для одного Парижа, они не пустуют, они даже переполнены! И для каждого шага вам необходимо ваше «свидетельство о гражданстве», хотя бы только для того, чтобы войти или выйти; более того, без него вы не получите и за деньги вашу ежедневную порцию хлеба. Около булочных — вереницы в красных колпаках, они не молчат, так как цены все еще высоки, поддерживаемые обнищанием и смутой. Лица людей омрачены взаимной подозрительностью. Улицы остаются неметеными; дороги не исправляются. Закон закрыл свои книги и говорит мало или экспромтом устами Тенвиля. Преступления остаются ненаказанными, но только не преступления против революции⁴⁰. «Число подкинутых детей, как вычисляют некоторые, — удвоилось».

Молчит теперь роялизм; молчат аристократизм и все почтенное сословие, державшее свои кабриолеты. Почестью и безопасностью пользуется теперь бедность, а не богатство. Гражданин, желающий следовать моде, выходит на прогулку об руку со своей женой в красном вязаном колпаке, грубом черном кафтане и полной карманьоле. Аристократизм прячется в последние оставшиеся убежища, подчиняясь всем требованиям, неприятностям, вполне счастливый, если ему удастся спасти жизнь. Мрачные замки без крыш, без окон смотрят на прохожих по сторонам дороги; национальный разрушитель разграбил их для свинца и камня. Прежние владельцы в отчаянии бегут за Рейн, в Конде, представляя любопытное зрелище для мира. *Ci-devant* сеньор с утонченным вкусом сделался превосходным ресторанным поваром в Гамбурге; *ci-devant madame*, отличавшаяся изяществом туалета, — хорошо торгующая *marchande de modes* в Лондоне. На Ньюгет-стрит вы встречаете маркиза *M. le Marquis* с тяжелой доской на плечах, стругом и рубанком под мышкой: он занялся столярным ремеслом — нужно же чем-нибудь жить (*faut vivre*)⁴¹. Больше всех других французов преуспевают теперь, в дни бумажных денег, торговцы процентными бумагами. Фермеры также процветают. «Дома фермеров, — говорит Марсье, — стали похожи на лавки ростовщиков»; здесь скопились все предметы домашней обстановки, костюмы, золотые и серебряные сосуды; теперь дороже всего хлеб. Доход фермера — бумажные деньги, и он один из всех имеет хлеб; фермер чувствует себя лучше, чем лендлорд, и сам делается лендлордом.

И как уже говорилось, каждое утро молчаливо, подобно мрачному призраку, проезжает среди этой суеты революционная повозка, словно пишущая на стелах свое «мене», «мене». Ты взвешен на весах и найден очень легким! К этому призраку люди относятся равнодушно, к нему уже привыкли, жалобы не доносятся из этой колесницы смерти. Слабые женщины и *ci-devants* в своем поблекшем оперении сидят безмолвно, уставившись глазами вперед, как бы в темное будущее. Иногда тонкие губы искривляются иронией, но не произносят ни слова, и телега движется дальше. Виновны они перед небом или нет — перед революцией они, конечно, виновны. При том разве Республика не «чеканит деньги» из них своим большим топором? Красные колпаки режут с жестоким одобрением; остальной Париж смотрит если со вздохом, то уж и этого много; нашим ближним, которыми завладели мрачная неизбежность и Тенвиль, вздохи уже не помогут.

Отметим еще одну или, вернее, две вещи, не более: белокурые парики и кожевенное производство в Медоне. Много было толков об этих белокурых париках (*perruques blondes*). О читатель, они сделаны из волос гильотинированных женщин! Локонам герцогини, таким образом, может быть, случится покрывать череп кожевника; ее белокурому германскому франкизму — его черный галльский затылок, если он плешив. Или, быть может, эти локоны носят с любовью, как реликвии, делая носящего подозрительным? Граждане употребляют их не без насмешки весьма каннибальского толка.

Еще глубже поражает сердце человека кожевенная мастерская в Медоне, не упомянутая среди других чудес кожевенного дела! «В Медоне, — спокойно говорит Монгайяр, — существовала кожевенная мастерская для выделки человеческих кож; из кожи тех гильотинированных, которых находили достойными обдиранья, выделялась изумительно хорошая кожа наподобие замши», служившая для брюк и для другого употребления. Кожа мужчины, добавляет он, превосходила прочностью и иными качествами кожу серны; женская же кожа почти ни на что не годилась — ткань ее была слишком мягкой! История, оглядываясь назад, на каннибализм от пилигримов (*Purchase's Pilgrims*) и всех ранних и позднейших упоминаний о нем, едва ли найдет в целом мире более отвратительный каннибализм. Ведь это утонченный, изощренный вид, так сказать *perfidie*, коварный! Увы! Цивилизация все еще только внешняя оболочка, сквозь которую проглядывает дикая, дьявольская природа человека. Он все еще остается созданием природы, в которой есть как небесное, так и адское.

Книга VI

ТЕРМИДОР

Глава первая

БОГИ ЖАЖДУТ

Что же это за явление, называемое революцией, которое, подобно ангелу смерти, нависло над Францией, топя, расстреливая, сражаясь, сверля дула, выделявая человеческие кожи? Слово «революция» — это лишь несколько букв алфавита; революция же — это явление, которым нельзя овладеть, которое нельзя запереть под замок. Где оно находится? Что оно такое? Это безумие, которое живет в сердцах людей. Оно и в том, и в другом человеке; как ярость или как ужас оно во всех людях. Невидимое, неосязаемое, и, однако, никакой черной Азраиль*, распростерший крылья над половиной материка и размахивающий мечом от моря до моря, не мог бы быть большей действительностью.

* В мусульманской мифологии ангел смерти.

Объяснять, как вообще понимается объяснение, развитие этого революционного правительства — не наша задача. Человек не может объяснить этого. Паралистик Кутон, спрашивающий якобинца: «Что ты сделал, чтобы быть повешенным, если бы победила контрреволюция?»; мрачный Сен-Жюст, не достигший и 26 лет, объявляющий, что «революционеры найдут покой только в могиле»; зеленоликий Робеспьер, превратившийся в уксус и желчь; кроме того, Амар и Вадье, Колло и Бийо — как знать, какие мысли, предопределения или предвидения могли быть в головах этих людей! Упоминания об их мыслях не осталось; смерть и мрак окончательно смели их. Но если бы мы и знали их мысли, все, которые они могли бы ясно выразить нам, какая бы это была малая часть всего того, что осуществилось или было провозглашено по данному ими сигналу! Уже не раз говорилось, что это революционное правительство было не сознательное, а слепое, роковое. Каждый человек, окунувшийся в окружающий его воздух революционного фанатизма, стремится вперед, увлекаемый и увлекающий, и становится слепой, грубой силой; да, для него нет отдыха, кроме успокоения в могиле! Мрак и тайна ужасной жестокости скрывают его от нас в истории, как и в природе. Эта хаотическая грозная туча со своей непроглядной тьмой, со своим блеском ослепительных молний, падающих зигзагами, в электризованном мире; кто возьмется объяснить нам, как это подготовлялось, какие тайны скрывались в темных недрах тучи, из каких источников, с какими особенностями молния, содержащаяся там, падала в смутном блеске террора, разрушительная и саморазрушающаяся, пока это не кончилось? Не подобна ли в сущности природа пожирающего самое себя санкюлотизма мраку Эреба, который волею providения поднялся на время в царство лазури? Можно только различить, что из этого мрака Эреба исходят, следуя одно за другим, почти не вызванные чьей-либо волей, но в силу великой необходимости, то ослепительная молния, то огненный поток, разрушительные и саморазрушающиеся, пока не наступит конец.

Роялизм уничтожен, «погружен», как говорят, «в тину Луары»; республиканизм господствует внутри и вовне. Что же мы видим 15 марта 1794 года? Арест, неожиданный как гром среди ясного неба, настигает такие жертвы, как Эбер (Père Duchesne), книгопродавец Моморо, клерк Венсан, генерал Ронсен, высокопатриотичные кордельеры, наряженные в красные колпаки, должностные лица Парижа, почитатели Разума, командующие революционной армией! Каких-нибудь восемь дней назад их Клуб кордельеров сотрясали невиданными патриотическими речами. Эбер «сдерживал свой язык и негодование в течение этих двух месяцев при виде умеренных, тайных роялистов, Камиллов, Scélerats в самом Конвенте, но не мог сдерживаться далее; прибегнул бы, если бы не оказалось другого средства, к священному праву восстания». Так говорил Эбер в собрании кордельеров под гром аплодисментов, от которых дрожали своды зала¹. Это было каких-нибудь восемь дней назад, а теперь, теперь! Они протирают глаза: нет, это не сон, они находятся в Люксембургской тюрьме. Среди них и простофиля Гобель; и это они, сжигавшие церкви!

Сам Шометт, могущественный прокурор, agent national, как его называют теперь, который мог «узнавать подозрительных по лицу», остается на свободе только три дня; на третий день он также брошен в тюрьму. Осунувшийся, посиневший, входит этот agent national в то самое преддверие ада, куда он послал столько людей. Заключение толпятся вокруг него, издеваясь. «Верховный национальный агент, — говорит один, — именем твоей бессмертной прокламации,

смотри! Я подозрителен, ты подозрителен, он подозрителен, мы подозрительны, вы подозрительны, они подозрительны!»

Что же все это значит? А то, что открыт широко разветвленный заговор, все нити которого находятся уже в руках Барера. Что могло вызвать такие скандальные явления, как сжигание церквей и атлетические маскарады, способные сделать революцию отвратительной, как не золото Питта? Питт, несомненно; он, как показывает сверхъестественно-проницательное изучение предмета, подкупил эту партию Eragés, чтобы они разыгрывали свои фантастические плутни; гремели в своем Клубе кордельеров против умеренных; печатали своего «Père Duchesne», поклонялись Разуму в голубом платье и красном колпаке; грабили алтари и приносили нам награбленное!

Еще более несомненно и очевидно даже простому человеческому глазу, что Клуб кордельеров сидит бледный от злобы и страха и что он «предал забвению Права Человека» без результата. Но и якобинцы, видимо, пребывают в сильном смущении и заняты «самоочисткой», как они это неоднократно делали во времена заговоров и народных бедствий. И не один Камиль Демулен навлек на себя подозрения; слышится ропот и против самого Дантона, но Дантон окриком заставил замолчать обвинителей, и Робеспьер положил конец недоразумению, «обняв его на трибуне».

Кому же может теперь довериться Республика и ревностно охраняющая ее Мать патриотизма, в эти времена соблазнов и сверхъестественной проницательности? Так как существует заговор иностранцев, заговор умеренных, заговор «бешеных», всевозможные заговоры, ясно, что вокруг нас сети, протянутые повсюду, смертоносные западни и ловушки, созданные золотом Питта! Неподкупный Робеспьер устранил Клоотса, так называемого оратора человечества с его «Доказательствами магометанской религии» и лепетом о всемирной республике, и барон Клоотс вместе с мятежным портным Пейном уже два месяца сидят в Люксембургской тюрьме как сообщники заговора иностранцев. Делегат Фелиппо изгнан, он возвратился из Вандеи с нелестным отзывом о бездельнике Россиньоле и о принятом нами способе усмирения восстания. Отрекись от своих слов, Фелиппо, отрекись, умоляем тебя! Но Фелиппо не хочет отречься — его устраняют.

Депутат Фабр д'Эглантин, знаменитый сотрудник календаря Ромма, изгнан из Конвента и заключен в Люксембургскую тюрьму. Его обвиняют в злоупотреблении своим депутатским званием, в мошеннических операциях «с деньгами Индской компании». В том же обвиняют Шабо и Базира, и все трое ждут в тюрьме своей участи. Исключен из Якобинского клуба и Вестерман, друг Дантона; он предводительствовал марсельцами 10 августа и славно сражался в Вандее, но так же нехорошо отозвался о негодяе Россиньоле, и счастье его, если и он не попадет в Люксембург! А с Проли и Гуцманом, сообщниками заговора иностранцев, уже покончено, равно как и с Перейрой, хотя он и бежал; «его взяли переодетым поваром в таверне». Я подозрителен, ты подозрителен, он подозрителен!

Великое сердце Дантона измучено всем этим. Он уехал в родной Арси на короткое время, чтобы отдохнуть от этих мрачных паучьих тенет, от этого мира жестокости, ужаса и подозрений. Приветствую тебя, бессмертная мать-природа, с твоей весенней зеленью, твоими милыми семейными привязанностями и воспоминаниями! Ты одна не изменяешь, когда все изменяет! Титан, молча, бродит по берегам журчащей Обе, в зеленеющих родных уголках, знавших его еще мальчиком, и размышляет, каким может быть конец всего этого.

Всего удивительнее то, что исключен Камиль Демулен. Приведенный выше вопрос Кутона может служить образчиком этого якобинского очищения: «Что ты сделал, чтобы быть повешенным, если бы победила контрреволюция?» Камиль знал, что ответить на этот вопрос, и все же он исключен! Правда, Камиль в начале прошлого декабря начал издавать новый журнал или серию памфлетов, озаглавленную «Vieux Cordelier» («Старый кордельер»). Камиль, не боявшийся когда-то «обнимать Свободу на куче смертных тел», начинает теперь спрашивать: не должен ли среди стольких арестовывающих и карающих комитетов существовать «комитет милосердия»? «Сен-Жюст, — замечает он, — чрезвычайно торжественный молодой республиканец, который носит свою голову, как св. Дары или как истинное вместилище св. Духа». Камиль, этот старый кордельер, — Дантон и он были из первых кордельеров — мечет огненные стрелы

в новых кордельеров, этих Эберов, Моморо, с их крикливой жестокостью и низостями, как бог-солнце (бедный Камиль был поэт) в змия, рожденного из грязи.

Естественно, эбертистский змий шипел и извивался, угрожал «священным правом восстания» и, как мы видели, попал в тюрьму. Мало того, Камиль со своим прежним остроумием, находчивостью и грациозной иронией, переводя «из Тацита о царствовании Тиберия», пускает шпильки в самый «закон о подозрительных», делая его ненавистным. Два раза в декаду выходят его кипучие странички, полные остроумия, юмора, гармоничной простоты и глубины. Эти странички — одно из самых замечательных явлений той мрачной эпохи; они смело поражают сверкающими стрелами безобразия вроде головы, носимой, как св. Дары, или идолов Юггернавто, к великой радости Жозефины Богарне и других пяти с лишком тысяч подозрительных, наполняющих 12 парижских тюрем, над которыми еще брезжит луч надежды! Робеспьер, сначала одобрявший, не знает, наконец, что и думать, а затем решает со своими якобинцами, что Камиль должен быть исключен. Истинный республиканец по духу этот Камиль, но с самыми безрассудными выходками; аристократы и умеренные искусно развращают его; якобинизм находится в крайнем затруднении, весь опутанный заговорами, подкупами, западнями и ловушками врага рода человеческого Питта. Первый номер журнала Камиля начинается словами: «О Питт!»; последний помечен 15-м плювиоза года второго, т. е. 3 февраля 1794 года, и оканчивается следующими словами Моктесумы: «Les dieux ont soif (Боги жаждут)».

Но как бы то ни было, эбертисты сидят в тюрьме всего девять дней. 24 марта революционная колесница везет среди уличной суеты новый груз: Эбера, Венсана, Моморо, Ронсена, всего 19 человек; замечательно, что с ними сидит и Клоотс, оратор человечества. Все они собраны в кучу, в смешение неопикуемых жизней и совершают теперь свой последний путь. Ничто не поможет: все они должны «посмотреть в маленькое окошко»; все должны «чихнуть в мешок» (*eternuer dans le sac*); как они заставляли это делать других, так заставят теперь их самих. Святая гильотина, думается мне, хуже, чем святые древних суеверий, это — святой, пожирающий людей. Клоотс все еще с видом тонкого сарказма старается шутить, излагать «аргументы материализма» и требует, чтобы его казнили последним; «он хочет установить некоторые принципы», из которых философия, кажется, до сих пор не извлекла никакой пользы. Генерал Ронсен все еще смотрит вперед с вызывающим видом, повелительным взором; остальные оцепенели в бледном отчаянии. Бедный книгопродавец Моморо, ни один аграрный закон еще не осуществился, они могли бы с таким же успехом повесить тебя в Эвре 20 месяцев назад, когда жирондист Бюзо помешал этому. Эбер (*Père Duchesne*) никогда более не прибегнет в этом мире к священному праву восстания: он сидит уныло, с опущенной на грудь головой; красные колпаки кричат вокруг него, пародируя его газетные статьи: «Великий гнев *Père Duchesne*!» Все они погибают, и мешок принимает их головы. В продолжение некоторого периода истории мелькают 19 призраков, невнятно крича и бормоча, пока забвение не поглотит их.

Сама революционная армия распущена на неделю по домам, так как генерал сделался призраком. Таким образом и заговор «бешеных» сметен с республиканской почвы, и здесь также удалось без вреда для себя уничтожить наполненные приманками ловушки этого Питта, и снова господствует радость по поводу раскрытого заговора. Стало быть, правда, что революция пожирает своих собственных детей? Всякая анархия по природе своей не только разрушительна.

Глава вторая

ДАНТОН, МУЖАЙСЯ!

За Дантоном между тем спешно послали в Арси: он должен возвратиться немедленно, кричал Камиль, кричал Фелиппо и друзья, чуявшие опасность в воздухе. Опасность немалая! Дантон, Робеспьер, главные продукты победоносной революции, очутились теперь лицом к лицу и должны выяснить, как они будут жить вместе, управлять вместе. Легко понять глубокое различие, разделявшее этих двух людей; легко понять, с каким страхом и чисто женской завистью глядела жалкая зеленоватая формула на необозримую реальность и становилась, глядя на нее, все зеленее! Реальность с своей стороны старалась не думать дурно об этом главном продукте революции, но в глубине души чувствовала, что продукт этот мало чем отличается от большого

пузыря, широко раздутого популярностью; не человек это был, но жалкий неподкупный педант с логической формулой вместо сердца, иезуитского или методистско-священнического характера, полный искреннего ханжества, неподкупности, язвительности, трусости; бесплодный, как восточный ветер. Двух таких главных продуктов было слишком много для одной революции.

Друзья, дрожа при мысли о последствиях ссоры между ними — Робеспьером и Дантоном, заставляют их встретиться. «Справедливо, — сказал Дантон, скрывая сильное негодование, — обуздывать роялистов, но карать мы должны только тогда, когда этого требует польза Республики, и не должны смешивать невинного с виновным». «А кто сказал вам, — возразил Робеспьер с ядовитым взглядом, — что погиб хотя бы один невинный?» «Quoi, — сказал Дантон, круто повернувшись к своему другу Пари, прозвавшему себя Фабрицием, присяжному в Революционном трибунале. — Quoi, ни одного невинного не погибло? Что скажешь на это, Фабриций?»² Друзья, Вестерман, этот Пари и другие убеждали его показаться, подняться на трибуну и действовать. Но Дантон не был склонен показываться — действовать или возбуждать народ ради своей безопасности. Это была беспечная, широкая натура, склонная к оптимизму и покою; он мог сидеть целыми часами, слушая болтовню Камиля, и ничего так не любил, как это. Друзья и жена уговаривали его бежать. «Куда бежать? — отвечал он. — Если свободная Франция изгоняет меня, где же найдется для меня другое убежище? Нельзя унести с собой свою родину на подошвах своих сапог!» И Дантон продолжал сидеть. Даже арест его друга, Эро де Сешеля, члена Комитета общественного спасения, арестованного по приказу самого Комитета, не может поднять Дантона. В ночь на 30 марта присяжный Пари прибежал к нему с явно написанной в глазах тревогой: один клерк из Комитета общественного спасения сообщил ему, что приказ о задержании Дантона уже подписан и его должны арестовать в эту же ночь! Бедная жена, Пари и другие друзья в страхе, умоляют его бежать. Дантон помолчал, потом ответил: «Ils n'oseraient» (они не посмеют) — и не захотел принимать никаких мер. Бормоча: «Они не посмеют», он по обыкновению идет спать.

Однако на другой день, утром, по Парижу распространяется странный слух: Дантон, Камиль Демулен, Фелиппо, Лакруа накануне вечером арестованы! И это правда. Коридоры Люксембургской тюрьмы были переполнены: заключенные толпились в них, чтобы увидеть гиганта революции, входящего к ним. «Messieurs! — вежливо сказал Дантон. — Я надеялся в скором времени освободить всех вас отсюда; но вот я сам здесь, и неизвестно, чем это кончится». Слух разносится по всему Парижу; Конвент разбивается на группы, которые шепчутся с широко раскрытыми глазами: «Дантон арестован!» Кто же в таком случае в безопасности? Лежандр, поднявшись на трибуну, произносит с опасностью для себя слабую речь в его защиту, предлагая выслушать его (Дантона) у этой эстрады до предания суду, но Робеспьер сердито обрывает его: «Выслушали вы Шабо или Базира? Или у вас две меры и два веса?» Лежандр, съездившись, сходит с трибуны. Дантон, подобно другим, должен покориться своей судьбе.

Было бы интересно знать мысли Дантона в тюрьме, но ни одна из них не стала известной; в самом деле, немногие из таких замечательных людей остались настолько неизвестными нам, как этот титан революции. Слышали, как он произнес: «В это же время, двенадцать месяцев назад, я предложил учредить этот Революционный трибунал. Теперь я прошу прощения за это у Бога и у людей. Они все братья Каина; Бриссо желал, чтобы меня гильотинировали, как желает этого теперь Робеспьер. Я оставляю дело в страшной путанице (*gâchis épouvantable*); никто из них ничего не смыслит в управлении страной. Робеспьер последует за мною; я увлекаю Робеспьера. О, лучше быть бедным рыбаком, чем вмешиваться в управление людьми». Молодая престелная жена Камиля, обогатившая его не одними деньгами, бродит день и ночь вокруг Люксембургской тюрьмы, подобно бесплотному духу. Еще сохранились тайные письма к ней Камиля, покрытые следами ее слез³. Слышали, как Сен-Жюст пробормотал: «Я ношу свою голову, как св. Дары, а Камиль, пожалуй, будет носить ее, как св. Денис».

Несчастный Дантон и ты, еще более несчастный, легкомысленный Камиль, некогда веселый *Procureur de la Lanterne*, вот и вы также дошли до предела мироздания, подобно Одиссею на границе Ада; смотрите в туманную пустоту за пределами мира, где человек видит бледную, бесплотную тень своей матери и думает: «Как не похоже настоящее на те дни, когда мать кормила и пеленала меня!» Дантон, Камиль, Эро, Вестерман и другие, странно смешанные с Базиром, с плутом Шабо, с Фабром д'Эглантинном, с банкиром Фреем в одну пеструю кучу — «Four-nee», как будут называть такие группы, — стоят, выстроенные в ряд перед эстрадой Тенвиля.

Было это 2 апреля 1794 года. Дантону пришлось только три дня просидеть в тюрьме, так как время не ждет.

Как ваше имя, место жительства и тому подобное, спрашивает Фукье-Тенвиль, как требуют формальности. «Мое имя Дантон, — отвечает титан, — имя довольно известное в революции; моим местопребыванием скоро будет ничто (*Le Néant*), но я буду жить в Пантеоне истории». Человек старается в этом случае сказать что-нибудь сильное, все равно, в характере его это или нет! Эро де Сешель заявляет эпиграмматически, что он «сидел в этом зале, ненавистный парламентским деятелям». Камиль отвечает: «Мой возраст — это возраст *bon Sanculotte Jésus**, роковой для революционеров». О Камиль, Камиль! И, однако, ведь в этом божественном событии заключался, между прочим, самый роковой упрек, когда-либо сделанный на земле мирскому правосудию: «важнейший факт», как это называет набожный Новалис**, «признание прав человека». Истинный возраст Камилля, кажется, 34 года. Дантон годом старше.

* Доброго Санкюлото Иисуса (фр.).

** Новалис (наст. имя и фамилия Фридрих фон Гарденберг) (1772—1801) — немецкий поэт-романтик.

Каких-нибудь пять месяцев назад процесс 22 жирондистов был важнейшим, какой когда-либо приходилось вести Фукье-Тенвилю. Но вот ему приходится вести еще более важный, требующий всей его изворотливости, заставляющий трепетать его сердце, так как голос Дантона раздаётся теперь под этими сводами в страстных речах, потрясающих своей яркой искренностью, окрыленных гневом. Показания важнейших свидетелей он разбивает в прах одним ударом. Он требует, чтобы члены комитета сами выступили в качестве свидетелей и в качестве обвинителей; он «покрывает их бесчестьем». Он поднимается во весь свой огромный рост, встряхивает своей огромной черной головой; глаза его мечут молнии, зажигающие все республиканские сердца, так что сами галереи, хотя заполненные по билетам, шепчутся сочувственно и как бы готовы броситься вниз и поднять народ, чтобы освободить Дантона! Он громко жалуется на то, что его причислили к разряду Шабо, мошенников, биржевых спекулянтов, что его обвинительный акт — ряд пошлостей и ужасов. «Дантон прятался 10 августа? — возражает он, подобно реву льва в тенетах. — А где те люди, которые побуждали его показаться в этот день? Где те возвышенные души, у которых он черпал энергию? Пусть они покажутся, эти мои обвинители; я требую этого, находясь в полной ясности ума, я сорву личины с трех пошлых негодяев (*les trois plats coquins*) — Сен-Жюста, Кутона, Леба, которые раболепствуют перед Робеспьером и ведут его к гибели. Пусть они явятся сюда; я обращу их в ничтожество, из которого им никогда не подняться!» Взволнованный председатель звонит, призывает к порядку строгим голосом. «Что тебе до того, как я защищаюсь! — кричит Дантон. — Право осудить меня останется за тобой. Голос человека, защищающего свою честь и жизнь, заглушит звон твоего колокольчика!» Так гремит Дантон все сильнее и сильнее, пока его львиный голос не «замирает в горле»: слова не могут выразить того, что есть в этом человеке. Галереи зловеще ропщут. Первое дневное заседание окончено.

О Тенвиль и ты, председатель Герман, что вы будете делать? По строго революционному закону процесс может продолжиться еще два дня, но галереи уже ропщут. Что, если этот Дантон прорвет ваши сети? В самом деле, интересно было бы посмотреть. Ведь все висит на волоске. И что за сумятица наступила бы тогда! Судьи и подсудимый поменялись бы местами, и вся история Франции пошла бы другим путем! Ведь один Дантон мог бы еще попытаться управлять Францией. Только он, этот неукротимый бесформенный титан, да разве еще тот смуглый артиллерийский офицер в Тулоне, которого мы оставили делать свою карьеру на Юге.

Вечером второго дня, так как дело все более грозило принять дурной оборот, Фукье-Тенвиль и Герман, растерянные, бросаются в Комитет общественного спасения. Что тут делать? Комитет спешно издает новый декрет, в силу которого лица, оскорбляющие судей, «могут быть устранены от прений». В самом деле, разве не существует «заговора в Люксембургской тюрьме»? *Ci-devant* генерал Диллон и другие подозрительные вступили в заговор с женой Камилля с целью раздавать ассигнации, чтобы открыть тюрьмы и ниспровергнуть Республику. Гражданин Лафлот, сам подозрительный, но желающий получить свободу, донес об этом заговоре, и донос этот может принести плоды! На следующее утро послушный Конвент утверждает новый

декрет, и комитет бросается с ним за помощью к Тенвилю, поставленному почти в безвыходное положение. Итак, hors de Débats (без прений), вы, дерзкие! Стража, исполний свой долг! Таким образом, благодаря отчаянным усилиям комитета Фукье-Тенвиля, Германа, Леруа Dix AouÛt и всех славных присяжных, приложивших к этому весь ум и все силы, суд присяжных становится достаточно осведомленным, приговор постановлен, послан с курьером, изорван и растоптан ногами: смерть в этот же день. Это было 5 апреля 1794 года. Бедная жена Камиля может перестать бродить около тюрьмы. Даже более: пусть она поцелует своих бедных детей и приготовится сама войти в нее, чтобы последовать за мужем!

«Дантон гордо держался на колеснице смерти. Не то Камиль: прошла всего одна неделя, и все перевернулось вверх дном: ангел-жена оставлена плачущей; любовь, богатство, революционная слава — все оставлено у решетки тюрьмы; кроважидная чернь ревет теперь вокруг. Все это очевидно и, однако, так невероятно, словно бред сумасшедшего! Камиль борется и вырывается; движениями плеч он сбрасывает с себя камзол, который висит на нем привязанный; руки связаны. «Успокойтесь, мой друг, — говорит ему Дантон, — не обращайтесь внимания на эту подлую чернь (laissez là cette vile canaille)». У подножия эшафота было слышно, как Дантон произнес: «О моя жена, моя дорогая возлюбленная, я никогда не увижу тебя больше!» Но он прервал себя словами: «Дантон, мужайся!» Он сказал Эро де Сешелю, подошедшему обнять его: «Наши головы встретятся там», в мешке палача. Его последние слова были обращены к самому палачу Сансону: «Ты покажешь мою голову народу; она стоит этого».

Так, подобно гигантской массе доблести, тщеславия, ярости, страстей, дикой революционной силы и мужества, отходит этот Дантон в неведомый мир. Он родился в Арси-на-Обе, в «добропорядочной фермерской семье». У него было много пороков, но не было худшего — шарлатанства. Не пустым формалистом, обманывающим себя и других, чуждым естественного чувства, был он, а настоящим человеком со всеми своими недостатками; человеком пылко-реальным, словно вышедшим из великого огненного чрева самой природы. Он спас Францию от герцога Брауншвейгского; он шел прямо своей крутой дорогой туда, куда она вела его, и будет жить в памяти людей многих поколений.

Глава третья

ТЕЛЕГИ

Не далее как через пять дней, 10 апреля, следуют новые 19 жертв, в том числе Шометт, Гобель, вдова Эбера, вдова Камиля Демулена. И они также проезжают свой роковой путь навстречу мрачной смерти. Робкая вдова Эбера плачет, вдова Камиля старается ободрить ее. О вы, благие небеса, лазурные, прекрасные, вечные за вашими временными бурями и тучами, неужели у вас нет жалости ко всем этим людям? Гобель, по-видимому, раскаялся, он просил отпущения грехов у священника, и умер так хорошо, как только мог умереть Гобель. Что касается Анаксагора Шометта, этой лысой головы, лишенной теперь своего красного колпака, то какая может быть для него надежда? Разве только та, что смерть есть «вечный сон»? Жалкий Анаксагор! Бог тебе судья, а не я!

Итак, Эбер погиб, погибли и эбертисты, грабившие церкви и поклонявшиеся голубой богине Разума в красном колпаке! Великий Дантон и дантонисты также исчезли. Они безмолвствуют в глубине катакомб. Ни один парижский муниципалитет, ни одна секта или партия того или другого оттенка не смеют теперь противиться воле Робеспьера и Комитета общественного спасения. Мэр Паш, недостаточно поторопившийся донести об этих заговорах Питта, может поздравлять теперь с открытием их; но как бы искренне ни делал он это, а пользы для него от этого мало. Его путь также лежит в Люксембургскую тюрьму. Временным мэром на его место назначен некто Флюрио-Леско, «архитектор из Бельгии»; по слухам, это человек, на которого можно положиться. Новым же национальным агентом стал Пайан, бывший присяжный, креатура Робеспьера.

Таким образом, мы замечаем, что это беспорядочное электрическое облако Эреба, революционное правительство, изменило несколько свою форму. Две массы, или два крыла, принадлежат к нему: верхняя — наэлектризованная масса бешеных кордельеров и нижняя — также наэлектризованная масса умеренных дантонистов и людей, не чуждых милосердия; эти две

массы, осыпая друг друга молниями, так сказать, уничтожили одна другую. Как мы не раз замечали, облако Эреба имеет самоубийственное свойство и при неправильности зигзагов попадает своими молниями в самое себя. Но теперь, когда эти две несходные массы уничтожили одна другую, облако Эреба как бы достигло внутреннего спокойствия и низвергает свой адский огонь только на мир, лежащий под ним. Проще говоря, террор гильотины никогда не был так ужасен, как теперь. Топор Сансона стучит все быстрее и быстрее. Постепенно обвинения утрачивают благовидную форму; Фукье-Тенвиль выбирает из 12 тюрем то, что он называет «Fournées», охачками, десятка два или более человек зараз, и велит своим присяжным открывать по ним огонь рядами, feu de file, пока почва не будет очищена. Донос гражданина Лафлота о заговоре в Люксембургской тюрьме принес свои плоды. Если не существует никакого повода к обвинению человека или группы людей, то у Фукье-Тенвиля всегда есть в запасе заговор в тюрьме. И Сансон работает все проворнее и проворнее, отправляя, наконец, до шестидесяти и более человек в один раз. Это праздник смерти: ведь только мертвые не возвращаются.

О мрачный д'Эпремениль, что это за день 22 апреля, твой последний день! Этот зал дворца тот самый, где ты пять лет назад стоял в утренних сумерках, ораторствуя среди бесконечных, полных пафоса речей мятежного парламента, приговоренный вместе с д'Агу к ссылке на Гиерские острова. Эти стены все те же, но остальное: люди, мятеж, пафос, красноречие — смотри! — все это исчезло, подобно смутной толпе духов, подобно фантазмагории умирающего мозга. С д'Эпременилем, в том же траурном ряду телег, едут разные люди: здесь Шапелле, бывший популярный председатель Учредительного собрания, которого менады и Майяр встретили в собственной карете на Версальской дороге. Здесь Туре, также бывший председатель, автор конституционных законов; когда-то, давно, мы слышали, как он сказал громким голосом: «Учредительное собрание исполнило свою миссию!» Здесь и благородный старик Мальзерб, который, защищая Людовика, потерял способность говорить, подобно седой старой скале, неожиданно растаявшей, превратившись в воду; он молча едет на смерть вместе со своими родными — вместе с дочерьми, сыновьями и внуками своими, Ламуаньонами и Шатобрианами. Только один молодой Шатобриан бродит теперь среди племени начезов под рев Ниагарского водопада и ропот бесконечных лесов. Привет тебе, великая природа, дикая, но не лживая, не злая, не чудовищная мать. Ты не формула, не бешеный спор гипотез, парламентского красноречия, статей конституции и гильотины. Говори со мною, мать-природа, и пой моему больному сердцу свою чудесную бесконечную колыбельную песнь, и пусть все остальное пребудет вдали!

Вот и другой ряд телег, в котором находится Елизавета, сестра Людовика. Ее процесс был похож на все остальные: заговоры и заговоры! Это была одна из самых кротких, самых невинных женщин. С нею сидела, среди двадцати четырех других, когда-то робкая, а теперь мужественная маркиза де Крюссоль, относившаяся к ней с живейшею преданностью. У подножия эшафота Елизавета со слезами на глазах благодарила эту маркизу, выказывала печаль, что ничем не может наградить ее. «Ах, Madame, если бы ваше королевское высочество удостоили поцеловать меня, то все мои желания были бы исполнены». — «Очень охотно, маркиза, и от всего моего сердца»⁴. И вот они у подножия эшафота! Королевская семья сократилась до двух членов: девочки и маленького мальчика. Мальчик, некогда называвшийся дофином, был отнят у своей матери еще при ее жизни и отдан некоему ремесленнику Симону, кожевнику, служившему тогда при тюрьмах Тампля, чтобы воспитать его в принципах санкюлотизма. Тот научил его пить, ругаться, петь «Карманьолу». Симон попал теперь в муниципалитет, а бедный мальчик, спрятанный в одной из башен Тампля, из которой он от страха, растерянности и преждевременной дряхлости не хочет выходить, лежит, умирая среди грязи и «мрака», в рубашке, не менявшейся в течение шести месяцев. Так плачевно⁵ умирают, никем не оплаканные, только бедные дети, работающие на фабриках, и другие подобные бедняки.

Весна посылает свои зеленые листья и ясную погоду: светлый май — светлее, чем когда-либо, а смерть не отдыхает. Знаменитый химик Лавуазье должен умереть; химик Лавуазье был в свое время генеральным откупщиком, а теперь все генеральные откупщики арестованы и должны дать отчет в своих доходах и умереть за то, что «замачивали для большего веса табак»⁶; Лавуазье просил дать ему еще две недели жизни, чтобы закончить некоторые опыты, но «Республика не нуждается в таковых»; топор должен исполнить свое дело. Циник Шамфор, читая надписи: «Братство или Смерть», замечает: «Это братство Каина»; его арестовывают, потом освобождают; потом, узнав, что его намерены снова арестовать, этот Шамфор наносит себе раны,

зарезывается безумной, неверной рукой и не без труда достигает убежища смерти. Кондорсе был хорошо спрятан в продолжение этих месяцев, но глаза Аргуса подстерегают, ищут его. Убежище его сделалось опасным и для других, и для него самого; он должен снова бежать, прятаться в окрестностях Парижа, в лесах и каменоломнях. И вот в деревне Кламар в одно пасмурное майское утро появляется оборванец со всклокоченной бородой, изнуренный голодом, и требует себе завтрак в таверне. По виду подозрительный! «Слуга без места, говоришь ты?» Председатель комитета 40 су находит при нем Горация по латыни. «Не из тех ли ты *sidevants*, которые привыкли держать слуг? Подозрительный!» Его тащат немедленно, не дав окончить завтрака, в Бур-ла-Рен пешком; он лишается чувств от истощения, его сажают на крестьянскую лошадь; бросают в сырую тюремную камеру; наутро, вспомнив о нем, входят: Кондорсе лежит мертвый на полу. Они умирают быстро и исчезают, исчезают знаменитые люди Франции, гаснут, подобно затушенным огням в театре.

При таких обстоятельствах не странно ли, даже не трогательно ли, видеть, как город Париж высыпает в мягкие майские ночи на улицы для гражданской церемонии, которую называют «Souper Fraternel». Братским ужином? Добровольно или отчасти добровольно это делается по вечерам 12, 13 и 14 мая. На улице Сент-Оноре и на других главных улицах и площадях каждый гражданин выносит на вольный воздух свой ужин, какой доставил ему суровый тахітум, и присоединяет его к ужину своего соседа; и за общим столом с веселыми огоньками и с подобающим количеством граненого стекла и другого убранства и лакомств обыватели скромно ужинают вместе, под кротким сиянием звезд⁷. Взгляни на это, о ночь! С веселой заздравной чашей вина, чокаясь за царство Свободы, Равенства и Братства со своими женами, наряженными в лучшие ленты, со своими малютками, резвящимися вокруг, сидят граждане за скромным праздником любви. Ночь в своих обширных владениях нигде более не видит ничего подобного. О братья, отчего же царство братства не пришло? Оно пришло, оно должно прийти, говорят граждане, скромно чокаясь. Но, увы! Эти вечные звезды, не глядят ли они вниз, «подобно ясным взорам, горящим вечным состраданием к жребию человека»!

Одно печально, однако, — это то, что отдельные личности покушаются на убийства представителей народа. Представитель Колло д'Эрбуа, член самого Комитета общественного спасения, возвращаясь домой около часу ночи, вероятно отуманенный ликером, как это обыкновенно с ним бывает, встречен на лестнице криком «Scélérat!» и щелканьем пистолета, который при выстреле дает осечку, осветив на мгновение пару свирепых, расширенных зрачков, смуглое, страшно искаженное лицо, в котором можно узнать его маленького соседа гражданина Амिरалья, бывшего «клерка в отделе лотерей»! Колло кричит: «Убийство!» — таким голосом, который способен разбудить всю улицу Фавар. Амираль спускает курок вторично, и пистолет опять дает осечку, затем бросается в свою квартиру и там после еще нескольких выстрелов из мушкета с таким же результатом сначала в себя, потом в арестовывающего его он схвачен и заключен в тюрьму⁸. Негодующий человек этот маленький Амираль, с южным темпераментом и комплекцией, «с значительной мускульной силой». Он не отрицает, что намеревался «очистить Францию от тирана», даже сознается, что следил за самим Неподкупным, но избрал Колло, как более доступного!

Много было шума по этому случаю; много напыщенных поздравлений Колло и братских объятий в Якобинском клубе и в других местах. И однако, дух убийства оказывается заразительным. Спустя всего два дня, 23 мая, около 9 часов вечера, Сесиль Рено, дочь писчебумажного торговца, молодая женщина с кротким, цветущим лицом, является к токарю на улице Сент-Оноре и говорит, что желает видеть Робеспьера. Робеспьера нельзя видеть. Она непочтительно ворчит, ее задерживают. Она оставила корзинку в ближайшей лавке; в корзинке находят женское платье и два ножа! Бедная Сесиль, допрошенная Комитетом, объявляет, что она хотела посмотреть, «на что похож тиран». Платье же было «для моей собственной надобности в том месте, в которое я, наверное, направлюсь». — «Какое место?» — «Тюрьма и затем гильотина», — отвечает она. Такие факты являются следствием поступка Шарлотты Корде у народа, склонного к подражанию и мономании! Смуглые, желчные люди пробуют совершить подвиг Шарлотты, но их пистолеты не стреляют; кроткие, цветущие женщины пробуют то же самое и, только вполупривидения, оставляют свои ножи в лавке.

О Питт и вы, заговорщики в чужих краях, неужели Республика никогда не будет иметь покоя, но постоянно будет раздираема полными приманок силками и проволоками взрывчатых снарядов? Смуглый Амираль, прелестная молодая Сесиль, и все знавшие их, и многие из тех, кто совсем не знал их, сидят под замком, ожидая расследования Тенвиля.

Глава четвертая

МУМБО-ЮМБО

Но что такое готовится в Национальном саду, бывшем Тюильрийском, в день декады, заменивший воскресенье, 20 прериала, или 8 июня по старому стилю?

Весь город здесь в праздничных одеждах⁹. Грязное белье исчезло вместе с эбертистами, хотя Робеспьер, например, никогда не имел неопрятного вида, его всегда видели элегантно и завитым, даже не без тщеславия, и комната его была вся украшена зеленолицыми портретами и

бюстами. Как мы сказали, все бесчисленные граждане и гражданки одеты в праздничные платья; погода солнечная, веселое ожидание озаряет все лица. Присяжный Вилат дает завтрак многим депутатам в своем официальном помещении, в бывшем павильоне Флоры, и радуется благоприятной декаде, глядя на веселую толпу, на пышную июньскую зелень. В этот день, если будет угодно небу, мы получим новую религию, основанную на усовершенствованных антишометтовских принципах.

Поскольку католицизм был выжжен, а поклонение Разуму — гильотинировано, надо же было придумать какую-нибудь новую религию. Неподкупный Робеспьер, законодатель свободного народа, хочет быть, как в древности, также священнослужителем и пророком. Он облачился в заказанный для этого случая голубой камзол, белый шелковый жилет, вышитый серебром, черные шелковые брюки, белые чулки и башмаки с золотыми пряжками. Как председатель Конвента, он заставил его декретировать признание Верховного Существа и бессмертия души. Эти утешительные принципы объявлены указом как основа рациональной республиканской религии, и вот в эту благословенную декаду с помощью неба и художника Давида должен произойти первый акт поклонения новому божеству.

Итак, смотрите: после того как декрет утвержден и произнесена по этому поводу «самая тощая из пророческих речей, когда-либо произнесенных», Магомет Робеспьер, в голубом камзоле и черных брюках, завитой и тщательно напудренный, неся в руке букет цветов и колосьев, гордо выходит из зала Конвента; депутаты его следуют за ним, однако, как замечают, на некотором расстоянии. Сооружено нечто вроде амфитеатра или, вернее, возвышения, на котором сложены отвратительные статуи атеизма, анархии и тому подобного, возбуждающие благодаря небу и художнику Давиду отвращение во всех сердцах. К несчастью, однако, возвышение слишком тесно, и на вершине его не может уместиться и половина любопытных, вследствие чего поднимается неприличная толкотня и даже изменнический непочтительный шум. Тише, ты, Бурдон с Уазы! Молчи, или тебе придется плохо!

Зеленоликий первосвященник берет факел, подаваемый художником Давидом, борочет еще несколько пышных, бессодержательных слов, которых, к счастью, нельзя расслышать, потом делает несколько решительных шагов перед лицом ожидающей Франции и прикладывает свой факел к атеизму и компании, которые, будучи сделаны из картона и облиты скипидаром, быстро сгорают. Из-под них поднимается «посредством механизма» несгораемая статуя Мудрости, которая по несчастной случайности оказывается немного закоптелой, но тем не менее она стоит на виду с невозмутимой ясностью.

А затем? Ну, затем следуют другие процессии, другие бессодержательные речи, и вот состоялся наш праздник в честь l'Être Suprême; наша новая религия, худшая или лучшая, явилась! Брось на это один взгляд, читатель, не более. Это самая жалкая страница человеческих летописей. Или тебе известны еще более жалкие? Мумбо-юмбо африканских лесов кажется мне почтенным рядом с этим новым божеством Робеспьера, так как это сознательный мумбо-юмбо, знающий, что он всего лишь механизм. О зеленоликий пророк, несчастнейший из пузырей, надутый до того, что почти готов лопнуть, в какую безумную химеру среди реальностей превращаешься ты! Так этот смоляной факел из картона для зажигания фейерверков изображает чудодейственный жезл Аарона, который ты хочешь простереть над объятой кошмаром и адом Францией, и приказать ее египетским казням прекратиться? Исчезни ты вместе с ним! «(Avec ton Être Suprême!) — сказал Бийо. — Tu commences à m'embêter, ты начинаешь надоедать мне с твоим высшим существом»^{10*}.

* Рассказ Вилата очень любопытен, но его не следует принимать за достоверный, без подтасовки, так как в сущности, несмотря на свое название, это не рассказ, а защитительная речь. — *Примеч. авт.*

С другой стороны, Катерина Тео, бывшая служанка, 73 лет, исстари привыкшая пророчествовать и сидеть в Бастилии, сидит теперь в мезонине улицы Контрескарп, внимательно изучая Книгу Откровения по отношению к Робеспьеру, и находит, что этот удивительный, трижды могущественный Максимилиан действительно тот человек, которому, по словам пророка, суждено обновить землю. С нею сидят набожные старые маркизы, si-devant почтенные дамы, среди которых неизбежно присутствует и бывший член Учредительного собрания тупоголовый Дом Герль. Так сидят они там, на улице Контрескарп, в таинственном обожании: Мумбо есть Мумбо, и Ро-

беспьер пророк его. Замечательный человек этот Робеспьер. У него есть своя лейб-гвардия, состоящая из *Tarpe-durs*, так сказать жестоко бьющих, пылких патриотов, вооруженных палками с железными наконечниками, и якобинцы целуют край его одежды. Многие восхищаются им, а иные и поклоняются ему, и он вполне достоин удивления всех людей.

Однако главный вопрос и надежда вот в чем: является ли этот праздник мумбо-юмбо в Тюильри предвестием, что деятельность гильотины ослабеет? Увы, до этого еще далеко! Как раз на другой день после празднества Кутон, один из трех «пустоголовых негодяев», велит поднять себя на трибуну и предъявляет пачку бумаг. Он предлагает, чтобы ввиду непрекращающихся заговоров Закон о подозрительных получил более широкое толкование и чтобы аресты продолжались с усиленной настойчивостью и были облегчены. А так как и работы будет при этом более, то Революционный трибунал должен быть расширен, вернее, разделен на четыре трибунала, каждый со своим председателем, со своим Фулье или заместителем Фулье. Все четыре будут работать одновременно, и все остатки формальностей и затяжек будут устранены. Таким образом, быть может, еще удастся справиться с работой. Таков этот на шумевший в свое время декрет от 22-го прериаля, предложенный Кутонем. При чтении его у самой Горы захватило дыхание от ужаса, и Рюан решился сказать, что если этот декрет пройдет без отсрочки и прений, то он, Рюан, как один из представителей, «разнесет себе череп». Напрасные слова! Неподкупный сдвинул брови, сказал несколько пророческих, роковых слов, — и Закон Прериаля вошел в силу. Опрометчивый Рюан рад, что череп его остался на своем месте. Значит, смерть и смерть! Фулье расширяет помещение своего суда, чтобы было место одновременно для 150 человек, и добывает усовершенствованную гильотину, работающую быстрее; он велит поставить ее в закрытом помещении возле своего суда. Тут уж сам Комитет общественного спасения признал нужным вмешаться и обуздать его. «Ты хочешь деморализовать гильотину?» — спросил Колло с упреком («*démoraliser le Supplice*»).

В самом деле этого можно опасаться; если бы республиканская вера не была так глубока, слова Колло уже оправдались бы. Посмотрите, например, «охапку» от 17 июня, партию в 54 человека! Здесь смуглый Амираль, пистолет которого дал осечку; здесь молодая Сесиль Рено со своим отцом, семьей, всеми близкими и родней, и вдова д'Эпремениля, и старый де Сомбрей из Дома инвалидов со своим сыном, бедный старый Сомбрей 73 лет! Дочь спасла его в сентябре, но только для этого! Пятьдесят четыре из заговора иностранцев! В красных рубашках и юбках, как убийцы и члены заговора иностранцев, они проезжают словно страшные красные видения, направляющиеся в страну теней.

Между тем народ на площади Революции и обитатели улицы Сент-Оноре начинают смотреть все мрачнее на эти бесконечные ряды телег, ведь и у республиканцев есть сердце. Гильотину переносят в одно место, потом в другое и, наконец, устанавливают на отдаленной юго-восточной окраине¹¹. Полагают, что у жителей предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо если и есть сердца, то очень жестокие.

Глава пятая

ТЮРЬМЫ

Пора, однако, бросить взгляд на тюрьмы. Когда Демулен предложил свой Комитет милосердия, в 12 парижских тюрьмах сидело 5 тысяч человек. С тех пор число это постепенно возрастало и дошло уже до 12 тысяч. Там находятся *ci-devants* роялисты; по большей части они республиканцы различных жирондистских, лафайетистских, антиякобинских оттенков. Наверное, никакое человеческое жилье или тюрьма не сравнялись бы в отношении грязи и отвратительного ужаса с этими двенадцатью арестными домами. Существует воспоминание о них, написанное по личному опыту: *Mémoires sur les prisons** — это одна из самых страшных глав в жизнеописании человека.

* Мемуары о тюрьмах (фр.).

Любопытно наблюдать, как при всех условиях существования между людьми устанавливаются известные порядки и, где бы ни собралось хоть два-три человека, там уже образуются

формы совместной жизни, привычки, правила, являются манеры обхождения и разные удовольствия! Гражданин Куатан подробно описывает, как скудный обед из трав и падали съедлся с благовоспитанными манерами и как при этом места уступались дамам; как сеньор и чистильщик сапог, герцогиня и кукольная портниха собирались вместе и рассаживались согласно правилам этикета. В тот час, когда «гражданки принимались за рукоделие, мы, уступая им стулья, стоя старались любезно беседовать или даже немного петь и играть на арфе». Не было недостатка в ревности, во вражде, даже и во флирте, и небезрезультатном.

Но, увы, постепенно даже рукоделия прекратились; начались тюремные заговоры, созданные гражданином Лафлотом и неестественной подозрительностью. Подозрительный муниципалитет отнимает у заключенных все необходимые принадлежности, все деньги и имущество; все металлические вещи бесцеремонно отнимаются, причем обыскиваются карманы, подушки, тюфяки; комиссары в красных колпаках входят в каждую камеру. Женские сердца полны негодования и отчаяния, когда у них отнимают даже наперстки. Старые монахини спорят, пронзительно кричат, просят, чтобы их тотчас убили. Крик не поможет! Лучше поступили два изобретательных гражданина, которые, желая сохранить одну или две принадлежащие им вещи, хотя бы только трубочку или иголку для штопания штанов, решились защищаться табаком. Заслышав, как хозяйничают в коридоре свирепые красные колпаки, хлопавшие дверьми, производя обыск, два гражданина тотчас начинают раскуривать свои трубки. Густой дым окутывает их. Красные колпаки, отворив дверь камеры и вдохнув этого дыма, раздражаются кашлем и ругательствами. «Что с вами, господа, — кричат два гражданина, — разве вы не курите? Разве трубка неприятна?» Но красные колпаки, ограничившись поверхностным обыском, убегают, хлопнув дверью. «Так вы не любите курить?» — кричат им вслед два гражданина¹². Бедные мои братья, граждане! Уж конечно в царстве братства не вас двоих стал бы я гильотинировать.

Жестокость усиливается, превращается в ужасную тиранию; тюремные заговоры зреют: эти заговоры в тюрьмах, как мы уже сказали, стали у Фуке-Тенвиля стереотипной формой обвинения, если за кем-нибудь не находилось никакой вины. Его суд сделался чем-то невероятным, признанным посмешищем, считавшимся только калиткой, через которую люди проходят к смерти. Его обвинения излагаются на бланках, имена вписываются потом. У него есть свои *moutons* (бараны), отвратительные предатели, шакалы, которые доносят и дают показания, чтобы продлить ненадолго собственную жизнь. Его «*Fourrées*» приношения, говорит бесстыжий Колло, ни в коем случае не должны превышать шестидесяти; это его *maximum*. Ночью приезжают его телеги в Люксембургскую тюрьму с роковым барабанным боем и со списком застрашенной «*Fourrée*». Заключенные бросаются к решетке, слушают, не находится ли в списке их имя. Глубокий вздох, если их имени там нет; еще один день жизни! Однако два или несколько десятков имен всегда стоят в нем. Обреченные поспешно прижимают к сердцу своих близких в последний раз и с коротким «прости», с влажными или сухими глазами садятся в телегу и уезжают. Эта ночь в Консьержери, а завтра, через дворец, ложно называемый Дворцом правосудия, на гильотину.

Беспечность, вызывающая легкомыслие, стоицизм если не силы, то слабости овладели всеми сердцами. Слабые женщины и *si-devants* со своими локонами, еще не переделанными в белокурые парики, с кожей, еще не выделанной на брюки, привыкли «представлять гильотинирование» для препровождения времени. В фантастическом одеянии, в тюрбанах из полотенец, в горностаевых мантиях из одеял, сидит шуточный синедрион судей; мнимый Тенвиль говорит речь; преступник осужден и гильотинирован на двух опрокинутых стульях. Иногда мы продолжаем это далее: сам Тенвиль в свою очередь осужден, и не только на гильотину: рогатый и косматый сатана с черным лицом хватает его, кричащего, указывает ему протянутой рукой и словами на огонь, который не угасает, на змею, которая не умирает, на однообразие мук ада; и на вопрос его: «Который час?» — отвечает: «Вечность!»¹³

А тюрьмы все более и более наполняются, и все быстрее работает гильотина. По всем большим дорогам тянутся партии арестованных, направляемых в Париж. Теперь уж не роялисты — самые крикливые из них уничтожены, — теперь очередь за республиканцами. Они идут скованные по двое и в минуту отчаяния распевают свою «Марсельезу». Сто тридцать два человека из одного Нанта идут в эти дни в Париж, и это республиканцы, даже якобинцы, до мозга костей, но якобинцы, не одобрявшие потопления¹⁴. Проходя по улицам городов, они кричат: «*Vive la République!*» — и ночуют в невыразимо отвратительных вертепах, набитых до того, что люди

начинают задыхаться; одного или двоих наутро находят мертвыми. Они измучены дорогой, истерзаны душой и могут только кричать: «Да здравствует Республика!», за которую они умирают в каком-то ужасном, непонятном кошмаре.

Около 400 священников, о которых также упоминается, стоят на якоре «на рейдах острова Экс» на протяжении долгих месяцев и смотрят на бесплодные, безлюдные пески Олерона, слушая вечно стонущий прибой. В лохмотьях, грязные, голодные, ставшие тенью от истощения, они едят свою грязную порцию пальцами, сидя на палубе кружками по 12 человек; они выколачивают свои зловонные одежды между двумя камнями, задыхаются от ужасных испарений, запираемые в трюм на всю ночь по 70 человек в одной каюте, так что «один старый священник был найден мертвым наутро в молитвенной позе»¹⁵. Доколе, Господи!

Не вечно, нет. Всякая анархия, всякое зло, несправедливость по своей природе подобны зубам дракона, самоубийственны и не могут длиться.

Глава шестая

ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕРРОРА

Замечательно, что со времени праздника Верховного Существа и торжественных ночей по поводу его, которые начинали надоедать Бийо, Робеспьер редко появляется в Комитете общественного спасения и держится в стороне, как будто чем-то недовольный. Дело в том, что внесенный доклад о пророчествах старой Катерины Тео насчет человека, который возродит Францию, составлен не совсем в благоприятном для него духе. В комитете делают вид, что усматривают в тайне Тео заговор, но отзываются об этом сатирически, с непочтительной насмешкой, и не только по отношению к одной этой старухе, но и по отношению к самому возродителю Франции. Быть может, тут замешано бойкое перо Барера. Доклад этот, прочитанный торжественно гнусавым голосом старого Бадье из Комитета общественной безопасности, видимо, оказал свое действие: лица республиканцев скривились в ужасную усмешку. Разве допустимы подобные вещи?

Отметим далее, что среди заключенных в двенадцати тюрьмах находится знакомая нам синьора Фонтена, урожденная Кабаррюс, красивая Прозерпина, которой представитель Тальен, подобно Плутону, завладел в Бордо — не без последствий для себя! Тальен уже давно возвратился, отозванный из Бордо, и находится в самом плачевном положении. Тщетно тянет он громче, чем когда-либо, ноту якобинства, чтобы скрыть свои грехи: якобинцы исключают его; Робеспьер дважды произнес против него с трибуны Конвента зловещие слова. А теперь его прекрасная Кабаррюс, схваченная по доносу, сидит в тюрьме, заподозренная, несмотря на все его усилия. Запертая в ужасный загон смерти, синьора тайно пишет своему кроваво-мрачному Тальену самые настойчивые просьбы и заклинания: «Спаси меня, спаси себя! Разве ты не видишь, что твоя собственная голова осуждена? Ты слишком горяч и отважен, притом же дантонист; тебя не пощадит клевета. Разве не все вы осуждены, как в пещере Полифема; самый низкопоклонничающий раб из вас будет только последним съеден!» Тальен с содроганием чувствует, что это правда. Он уже получил предостережение, и Бурдон получил, и Фрерона ненавидят так же, как и Барраса: «каждый ощупывает свою голову, держится ли она еще на плечах».

Между тем Робеспьер, как мы сказали, редко показывается в Конvente и никогда не показывается в комитете; говорит он только в своей якобинской палате лордов среди своих телохранителей, прозванных *Tarre-durs*. В продолжение этих «сорока дней», так как у нас теперь уже конец июля, он не казал глаз в комитет и влиял на его дела только через своих трех пустых негодаев, поддерживавших страх перед его именем. Сам же Неподкупный сидит в стороне или бродит по пустынным полям, погруженный в глубокую задумчивость; некоторые замечают, что «белки его глаз в красных крапинках»¹⁶ — следствие разлития желчи. Бесконечно жалкая зеленоликая химера, бродящая по земле в этом июле! О злосчастная химера, ведь и у тебя была жизнь и было сердце из плоти, к чему привели тебя суровые боги, как будто улыбавшиеся тебе всю дорогу? Не ты ли немного лет назад был обещающим молодым адвокатом, который скорее отказался бы от своей судебной карьеры в Аррасе, чем приговорил к смерти хотя одного человека?

Каковы могут быть его мысли? Его планы, чтобы покончить с террором? Никто этого не знает. Носятся смутные слухи относительно аграрного закона: победоносный санкюлотизм становится земельным собственником; престарелые солдаты живут в национальных богадельнях и госпиталях, в которые обращены дворцы Шамбора и Шантильи; мир куплен победами, трещины замазаны праздником Être Suprême (Верховного Существа); итак, через моря крови к равенству, умеренности, трудовому благосостоянию, братству и добродетельной республике. Благословенный берег, виднеющийся из моря аристократической крови! Но как пристать к нему? С последним валом: с валом крови развращенного санкюлотства, изменников или полуизменников, членов Конвента, мятежных Тальенов, Бийо, которым я надоел с моим Être Suprême; с моей апокалиптической старухой, предметом насмешек! Вот что в голове у этого жалкого Робеспьера, похожего на зеленоликий призрак среди цветущего июля! О проектах его носятся смутные слухи, но, каковы были эти проекты или идеи в действительности, этого люди никогда не узнают.

Поговаривают, что очищаются новые катакомбы для страшной одновременной бойни: Конвент будет весь, до последнего человека, перебит генералом Анрио и компанией; якобинская палата лордов станет господствующей, и Робеспьер сделается диктатором¹⁷. Правда или нет, но говорят, будто уже составлен список, в который удалось заглянуть парикмахеру, когда он завивал волосы Неподкупного. Каждый спрашивает себя: «Не там ли и я?» Как передают предание и анекдотичный слух, в один жаркий день у Барера был достопримечательный холостяцкий обед. Да, да, читатель, Барер и другие давали обеды, имели «дачи в Клиши» с довольно роскошной обстановкой и вообще наслаждались жизнью¹⁸. Во время обеда, о котором мы говорим, день был очень жаркий, все гости сняли свои камзолы и оставили их в гостиной, после чего Карно, незаметно проскользнув туда, обыскал карманы Робеспьера и нашел список сорока и свое собственное имя среди них. Безотлагательно, в тот же день он объявил за чашей вина: «Проснитесь, друзья! Вы, глупые болотные лягушки, немые с тех пор, как пал жирондизм, даже вы должны теперь заквакать или умереть. Происходят ночные совещания, таинственные, как сама смерть, на которых объясняются знаками и словами. Не тигр ли Максимилиан крадется там, молчаливый, как всегда, с зелеными глазами, в красных пятнах, с выгнутой спиной и ошетилившейся шерстью?» Пылкий Тальен со своим порывистым темпераментом и смелой речью готов первый поднять тревогу. Назначьте день и не откладывайте, иначе будет поздно!

Но вот, еще до назначенного дня, 8-го термидора, или 24 июля 1794 года, Робеспьер сам появляется в Конвенте и всходит на трибуну! Желтое лицо его мрачнее обычного; судите, с интересом ли слушают его Тальены, Бурдоны. Это голос, предвещающий жизнь или смерть. Нескончаемо, немелодично, подобно крику совы, звучит этот пророческий голос: разлагающееся состояние республиканского духа, развращенный оппортунизм, сами комитеты спасения и безопасности заражены; отступление замечается то с той, то с другой стороны; я, Максимилиан, один остаюсь неразвращенным, готовым умереть, чтобы подать пример. Какое же может быть средство против всего этого? Гильотина, подкрепление энергии все исцеляющей гильотины; смерть изменникам всех оттенков! Так звучит пророческий голос под отражающими звуки сводами Конвента. Старая песня... Но сегодня, о небо! Разве своды перестали отражать? Нет отзвука в Конвенте! Лекуэнтр, старый торговец сукнами в Версале, в таких сомнительных обстоятельствах не видит более безопасного выхода, как подняться и «вкрадчиво» или неукрадчиво предложить, согласно установившемуся обычаю, чтобы речь Робеспьера «была напечатана и разослана по департаментам». Но слышите? Что это за резкие звуки, даже диссонансы? Почтенные члены как будто несогласны; члены комитетов, обвиненные в речи, протестуют, требуют «отсрочки печатания». Разлад слышен все явственнее; издатель Фрерон даже вносит запрос: «Что случилось со свободой мнений в этом Конвенте?» Принятое было постановление о напечатании и рассылке отменено. Робеспьер, позеленевший более, чем когда-либо, принужден удалиться побежденным; он понял, что это мятеж, что беда близка!

Мятеж — явление самое роковое в каких бы то ни было предприятиях, явление, не поддающееся расчету, быстрое, ужасное, с которым нельзя бороться, робея; но мятеж в Конвенте Робеспьера в особенности, это — огонь, вспыхнувший в пороховой камере корабля! Один отчаянно-смелый прыжок, и вы еще можете затоплять его, но промедлите одно мгновение, и корабль, и капитан его, команда и груз разлетятся далеко, и путешествие корабля неожиданно кончится между небом и землей. Если Робеспьер успеет в эту же ночь поднять Анрио и компанию и заста-

вить их исполнить свой план, он и санкюлотизм еще могут существовать некоторое время; если нет, то им конец! Когда перед Оливером Кромвелем выступил из рядов агитатор-сержант и начал в качестве представителя многих тысяч возложивших на него надежды излагать жалобы на обиды, Кромвель своими свирепыми глазами тотчас увидел, как обстоит дело; он выхватил из кобуры пистолет и уничтожил агитатора, и мятеж прекратился в одно мгновение. Кромвелю было по плечу такое дело.

Что касается Робеспьера, то он пробирается вечером в свою якобинскую палату лордов, распространяется там вместо соответствующего решения о своих горестях, о своих необыкновенных добродетелях и неподкупности, о своей отвергнутой зловещей речи, потом читает ее вновь и объявляет, что он готов умереть ради предостережения. «Ты не должен умереть!» — кричит якобинство своими тысячами голосов. «Робеспьер, я выпью яд вместе с тобой!» — кричит художник Давид. «*Je boirai la sique avec toi*» — вещь несущественная, исполнять которую нет необходимости, но которая может быть произнесена в пылу мгновения.

Итак, якобинский резонатор действует! Гром рукоплесканий покрывает отвергнутую Конвентом речь, на всех якобинских лицах глаза горят огнем ярости: восстание — священный долг; Конвент должен быть очищен! С помощью всевластного народа, предводимого Анрио и муниципалитетом, мы устроим новое 2 июня. К твоим шатрам, Израиль! Вот в каком тоне поет якобинство в полном смятении восстания. Вон Тальена и всю оппозицию! Колло д'Эрбуа, хотя член Верховного комитета спасения, еще недавно едва не расстрелянный, осыпан бранью, толчками и рад, что успеваешь ускользнуть живой. Когда он вошел, весь растрепанный, в зал комитета, находившийся там в числе других мрачный Сен-Жюст спросил вкрадчивым голосом: «Что происходит у якобинцев?» ««Что происходит?» — повторяет Колло в нешуточном настроении Камбиса. — Бунт происходит, вот что! Бунт и всякие ужасы! Вам нужны наши жизни — вы не получите их!» Сен-Жюст бормочет что-то, запинаясь, при такой камбизовской речи и берет свою шляпу, чтобы удалиться. Доклад, о котором он говорил в комитете, доклад о республиканских делах вообще, который должен быть прочитан на другой день в Конвенте, он не может показать им в эту минуту: он оставил его у друга; он достанет его и пришлет, как только вернется домой. Но, придя домой, он посылает не доклад, а извещение, что он не пришлет его и что комитет услышит его завтра с трибуны.

Итак, пусть каждый, согласно известному благому совету, «молится богу и держит свой порох сухим!» Завтра Париж увидит нечто. Проворные разведчики носятся незаметные или невидимые всю ночь из одного комитета в другой, от собрания к собранию, от Якобинского клуба в Ратушу. Может ли сон смежить веки Тальену, Фрерону, Колло? Могущественный Анрио, мэр Флерю, судья Коффингаль, прокурор Пайан, Робеспьер и все якобинцы держатся наготове.

Глава седьмая

ПАДЕНИЕ

На другое утро, 9-го термидора, «около девяти часов», глаза Тальена блестят: он видит, что Конвент собрался. Париж полон слухов, но по крайней мере мы собрались здесь, в законном Конвенте; мы не были схвачены ни группами, ни поодиночке; не были остановлены в дверях очищающей метлой. «*Allons*, храбрые депутаты Равнины, недавние болотные лягушки!» — кричит Тальен, входя и пожимая руки. С трибуны слышится звучный голос Сен-Жюста; игра началась.

Сен-Жюст действительно читает свой доклад; зеленая месть в образе Робеспьера подстерегает вблизи. Посмотрите, однако: едва успел Сен-Жюст прочесть несколько фраз, как начинаются перерывы, идущие *crescendo*. Вскрывает Тальен, вторично поднимается со словами: «Граждане, вчера вечером, у якобинцев, я дрожал за Республику. Я сказал себе, что если Конвент не решится низложить тирана, то сделаю это я и с помощью вот этой вещи, если понадобится!» Он обнажает сверкающий кинжал и потрясает им: сталь Брута, вот как это называется. Тут все вскакивают, потрясают кулаками, кричат: «Тирания! Диктатура! Триумvirат!» И члены Комитета общественного спасения обвиняют, все обвиняют, кричат или горячо аплодируют. Сен-Жюст стоит неподвижно с бледным лицом; Кутон произносит: «Триумvirат?», бросив взгляд на свои парализованные ноги. Робеспьер пытается говорить, но председатель Тюрио звонит в коло-

кольчик, мешая ему, и весь зал шумит, как чертог Эола. Робеспьер поднимается на трибуну, но должен сойти; он уходит и возвращается, его душат ярость, ужас, отчаяние... Теперь в порядке дня — мятеж!¹⁹

О председатель Тюрио, ты, который был избирателем Тюрио; из бойниц Бастилии ты видел Сент-Антуан, поднимающийся, подобно приливу океана, видел с тех пор и многое другое; видел ли ты когда-либо что-нибудь подобное этому заседанию? Звон колокольчика, чтобы помешать Робеспьеру говорить, едва слышен среди этого шума Бедлама; люди неистовствуют, борясь за свою жизнь. «Председатель убийц, — кричит Робеспьер, — я требую от тебя слова в последний раз!» Оно не может быть дано. «К вам, добродетельные люди Равнины, — снова кричит он, улучив минуту тишины, — к вам взываю я!» Добродетельные люди Равнины сидят безмолвно, как скалы. А колокольчик Тюрио продолжает звонить, и зал гудит, как чертог Эола. Покрытые пеной губы Робеспьера посинели; сухой язык его прилипает к нёбу. «Кровь Дантона душит его!» — кричат в зале. «Обвинение! Декретируйте обвинение!» Тюрио быстро ставит этот вопрос. Обвинение проходит; неподкупный Максимилиан обвинен.

«Я прошу позволения разделить участь моего брата; я всегда старался быть таким, как он!» — кричит Огюстен Робеспьер-младший. И он также обвинен. И Кутон, и Сен-Жюст, и Леба; все они обвинены и уведены, но не без труда: приставы повиновались почти с трепетом. Триумvirат и компания отправлены в помещение Комитета общественного спасения; языки их прилипли к гортани. Теперь остается только созвать муниципалитет, уволить и арестовать командира Анрио и, выполнив все формальности, передать Генвилю новые жертвы. Полдень. Чертог Эола освобожден и звучит теперь победоносно, гармонично, как непреодолимый вихрь.

Значит, дело кончено? Так думают, но это неверно. Увы, кончился только первый акт; следуют еще три или четыре акта, а затем неведомый еще финал. Огромный город полон смуты, ведь в нем 700 тысяч человеческих голов, из которых ни одна не знает, что делает ее сосед, ни даже того, что сама она делает. Посмотрите, например, около трех часов пополудни на командира Анрио, как вместо того, чтобы быть сменным и арестованным, он галопирует по набережным в сопровождении муниципальных жандармов и «давит нескольких человек». В Ратуше совещается Совет города, открыто возмущившийся; городские заставы велено запереть; тюремщикам приказано не принимать в этот день ни одного обвиняемого, и Анрио скачет в Тюильри, чтобы освободить Робеспьера. На набережной Феррайери один молодой гражданин, прогуливающийся со своей женой, говорит громко: «Жандармы, этот человек не командир ваш более: он находится под арестом». Ударами шашек плашмя²⁰ жандармы сбивают молодого гражданина с ног.

Самых представителей (как, например, Мерлена из Тионвиля), которые обращаются к Анрио, он приказывает отвести на гауптвахту. Он мчится по направлению к Тюильри, в помещение комитета, «чтобы поговорить с Робеспьером». Приставы и тюильрийские жандармы, обнажив сабли, с трудом задерживают его и успевают убедить его жандармов не сражаться. Наконец Робеспьера и компанию усаживают в наемные экипажи и отправляют под конвоем в Люксембургскую и другие тюрьмы. Значит, теперь конец! Нельзя ли утомленному Конвенту отсрочить заседание, чтобы отдохнуть и подкрепиться теперь, «в пять часов»?

Утомленный Конвент так и делает — и раскаивается в этом. Конец еще не наступил. Это только конец второго акта. Услышьте: пока усталые депутаты закусывают в этот летний вечер, на всех колокольнях раздается звон набата, к которому примешивается барабанный бой. Судья Коффингаль скачет с новым отрядом жандармов в Тюильри освобождать Анрио — и освобождает его! Могущественный Анрио вскакивает на лошадь, держит речь к тюильрийским жандармам, убеждает их и увлекает за собою к Ратуше.

Увы, Робеспьер не в тюрьме: тюремщик не посмел, под страхом смерти, нарушить приказ не принимать ни одного узника, и наемные кареты Робеспьера среди этой беспорядочной суеты и раздора нерешительных жандармов благополучно прибывают в Ратушу! Там сидят Робеспьер и компания, окруженные муниципалами и якобинцами, пользующимися священным правом восстания; они редактируют прокламации, велят звонить в набат и сносятся с секциями и с «Обществом — Мать». Разве это не эффектный третий акт настоящей греческой драмы? Предсказать развязку труднее, чем когда-либо.

Конвент опять поспешно собирается при надвигающейся зловещей ночи. Председатель Колло — так как его очередь председательствовать — входит большими шагами, с бледным лицом; надев шляпу, он говорит торжественным тоном: «Граждане, вооруженные негодяи осадили помещение комитета и завладели им. Для нас настал час умереть на своем посту!» «Да, — отвечают все. — Мы клянемся в этом!» Теперь это не хвастливая фраза, а грустный неизбежный факт: мы должны действовать на своем посту или умереть. Поэтому они тотчас объявляют Робеспьера, Анрио и муниципалитет мятежниками, лишенными покровительства закона, поставленными hors la loi (вне закона). Больше того, Баррас назначается командующим всеми вооруженными силами, какие найдутся; посылаем депутатов во все секции и кварталы проповедовать и набирать войска; умрем по крайней мере в своих доспехах.

Какая тревога в городе! Скачут верховые, бегут пешие с докладами, со слухами; это час родовых мук; дитя не может быть названо, пока не появилось на свет! Бедные узники в Люксембургской тюрьме слышат шум и трепещут, опасаясь повторения сентябрьских дней. Они видят людей, делающих им знаки, указывающих на слуховые окна и крышу; очевидно, это знаки надежды, но как угадать, что именно означают они?²¹ Однако мы видим под вечер колесницы смерти, по обыкновению едущие на юго-восток, через Сент-Антуанское предместье к заставе Трона. Грубые сердца сектантуанцев смягчаются; они окружают повозки, говорят, что этого не должно быть. О небо, ведь это правда! Но Анрио и жандармы, очищающие улицы, кричат, размахивая саблями, что так должно быть. Оставьте же надежду, вы, бедные осужденные. Повозки трогаются далее.

В этом ряду повозок следует заметить две вещи: присутствие одной замечательной личности и отсутствие другой, также значительной. Замечательная личность — это генерал-лейтенант Луазроль, человек благородный по рождению и по характеру, жертвующий своею жизнью за сына. В тюрьме Сен-Лазар в предыдущую ночь, бросившись к решетке, чтобы услышать чтение списка смерти, он расслышал имя своего сына. Тот спал в эту минуту. «Я Луазроль!» — крикнул старик перед трибуной Тенвиля. Ошибка в крестном имени мало значит — возражений почти не было. Отсутствующим значительным лицом был депутат Пейн. Он сидел в Люксембургской тюрьме с января, и о нем, казалось, забыли, но Фукье наконец заметил его. Когда тюремщик со списком в руке отмечал мелом наружные двери камер для завтрашней «Fougnée», наружная дверь Пейна случайно стояла отворенной и обращенной внешней стороной к стене; тюремщик отметил ее на ближайшей к нему стороне и поспешил далее; другой тюремщик пришел и захлопнул дверь, и так как теперь не стало видно никакой отметки мелом, то «Fougnée» уехала без Пейна. Он еще не на дороге к смерти.

Пятый акт этой настоящей греческой драмы с ее обязательными единствами может быть набросан только в общих чертах, образом, похожим на то, как один древний художник, доведенный до отчаяния, изобразил пену. В эту благодатную июльскую ночь слышны сильный шум, и великое смятение, и топот идущих войск; секции направляются в ту или другую сторону; делегаты Конвента читают прокламации при свете факелов; делегат Лежандр, набрав где-то войско, изгоняет якобинцев из их клуба и бросает ключи от него на стол Конвента, говоря: «Я запер их дверь; вновь ее отворит только добродетель». Париж, как мы сказали, восстал против самого себя и мечется беспорядочно, как встречные течения в океане, как огромный Мальстрём, ревущий во мраке ночи. В Конвенте непрерывное заседание, в Ратуше также, и еще продолжительнее. Бедные узники слышат звон набата и шум и стараются уяснить себе знаки, очевидно, надежды. Мягкие сумерки, которые должны смениться рассветом и завтрашним днем, стелются и серебрят северную кайму ночи, распространяя все далее и далее свой мягкий свет, подобно молчаливому пророчеству, по далекой окраине неба. Мирное, вечное небо! А на земле смятение и вражда, разногласия, бурные смены мрака и яркого блеска, и «судьба все еще пребывает в нерешимости, потряхивая своею загадочной урной».

Около трех часов утра враждебные вооруженные силы встретились. Войска Анрио выстроены на Гревской площади, и туда же приходят войска Барраса; вот они стоят лицом к лицу, с пушками, направленными против пушек. «Граждане! — кричит голос благоразумия достаточно громко. — Прежде чем начать кровопролитие и бесконечную гражданскую войну, выслушайте постановление Конвента: «Робеспьер и все бунтовщики объявляются вне закона!» «Вне закона?» В этих словах ужас. Безоружные граждане спешат разойтись по домам. Муниципальные канониры, охваченные паникой, разом с криками переходят на сторону Конвента. Ус-

лыхав эти крики, Анрио, по словам иных сильно пьяный, спускается из своей комнаты в верхнем этаже и находит Гревскую площадь пустой; жерла пушек повернуты против него. Теперь катастрофа наступила!

Вбежав обратно в комнату, несчастный отрезвившийся Анрио восклицает: «Все потеряно!» «Misérable, это ты погубил все!» — кричат ему и выбрасывают его в окно, или он сам выбрасывается. Он падает с довольно значительной высоты на каменную кладку в ужасную полойную яму, но не убивается насмерть; ему суждено худшее. Огюстен Робеспьер следует за ним, с такой же участью. Сен-Жюст, говорят, просил Леба убить его, но тот не согласился. Кутон заполз под стол и пытался убить себя, но неудачно. Войдя в этот синедрион восстания, мы находим все почти поконченным, разрушенным, ждущим только ареста. Робеспьер сидит на стуле, у него раздроблена пулей нижняя челюсть: он метил в голову, но рука самоубийцы дрогнула^{22*}. Поспешно и не без смущения подбираем мы этих потерпевших крушение заговорщиков; вытаскиваем даже Анрио и Огюстена, окровавленных и грязных. И взваливаем их всех, довольно грубо, на телеги; они будут у нас до восхода солнца в безопасности, под замком. Все это сопровождается радостными возгласами и объятиями.

* Меда уверяет, что это он с удивительной храбростью, хотя не совсем удачно, подстрелил Робеспьера. Меда выдвинулся благодаря своим заслугам в эту ночь и умер генералом и бароном. Не многие верили его словам, да они и невероятны. — *Примеч. asm.*

Робеспьер лежит в одном из коридоров Конвента, пока собирают его тюремный конвой; на раздробленную челюсть небрежно наложена окровавленная перевязка; вот какое зрелище представляет он людям! Он лежит распростертый на столе, деревянный ящик служит ему изголовьем; кобура пистолета еще конвульсивно сжата в его руке. Люди бранят его, оскорбляют; в глазах у него еще выражается сознание, но он не говорит ни слова. «На нем был голубой камзол, который он заказал для праздника Être Suprême». О читатель, устоит ли твое жесткое сердце перед таким зрелищем? На нем нанковые брюки; чулки сползли на лодыжки. Он не сказал более ни слова в этом мире.

Итак, в шесть часов утра победоносный Конвент прекращает заседание; слух о происшедшем разносится по всему Парижу, как на золотых крыльях, проникает в тюрьмы, озаряет радостью лица тех, которые были на краю гибели; тюремщики и moutons, спустившиеся с высоты своего положения, бледны и молчаливы. Это 28 июля, называемое 10-м термидора 1794 года.

Фукье оставалось только удостовериться в личностях, так как его пленники были уже вне закона. Никогда еще улицы Парижа не были так запружены народом, как в четыре часа этого дня. От здания суда до площади Революции, так как телеги опять ехали прежним путем, стояла сплошная стена народа. Изюм всех окон, даже с крыш и кровельных коньков, глядели любопытные с удивленными и радостными лицами. Колесницы смерти с пестрой группой объявленных вне закона, около 23 человек, от Максимилиана до мэра Флерио и сапожника Симона, продолжают свой путь. Все глаза устремлены на телегу Робеспьера, где он, с челюстью, перевязанной грязной тряпкой, сидит возле своего полумертвого брата и полумертвого Анрио, которые лежат разбитые в ожидании близкого конца их «семнадцатой агонии». Жандармы указывают на Робеспьера шашками, чтобы народ узнал его. Одна женщина вскакивает на подножку телеги и, держась одной рукой за край ее, другою размахивает, подобно Сивилле, и восклицает: «Твоя смерть радует меня до глубины моего сердца, m'enivte de joie». Робеспьер открывает глаза. «Scélérat, отправляйся в ад, проклинаемый всеми женами и матерями!» У подножия эшафота его кладут на землю в ожидании очереди. Когда его подняли, он опять открыл глаза, и взгляд его упал на окровавленную сталь. Сансон сорвал с него камзол; сорвал грязную тряпку с его лица, и челюсть бессильно отвисла; тут из груди жертвы вырвался крик, — крик ужасный, как и само зрелище. Сансон, поспеши!

Как только работа Сансона исполнена, воздух оглашается криком одобрения, и крик этот разносится не только по Парижу, но и по всей Франции, по всей Европе и далее, а во времени — вплоть до настоящего поколения. Заслуженно и в то же время незаслуженно. О несчастнейший адвокат из Арраса, чем ты был хуже других адвокатов? Более твердого человека в своей формуле, в своем credo, в своем ханжестве, а также и в честности, благосклонности, в знании

цены добродетели и тому подобного, не было в ту эпоху. В более счастливые времена такой человек был бы одной из тех честных бесплодных личностей, которые ставятся в пример и получают после смерти мраморную доску и надгробную речь.

Бедный хозяин его, токарь на улице Сент-Оноре, любил его; брат умер за него. Да будет же Бог милосерден к нему и к нам!

Таков конец царства террора! Новая славная революция, называемая термидорианской, произошла 9-го термидора года II, что в переводе на старый, рабский стиль означает 27 июля 1794 года; террор кончился; кончится и смерть на площади Революции, когда будет казнено «охвостье Робеспьера», что быстро исполняет услужливый Фукье, отправляя на казнь большими группами.

Книга VII

ВАНДЕМЬЕР

Глава первая

УПАДОК

Мало кто предполагал, что это был конец не только Робеспьера, но и самой революционной системы! Менее всех предполагали это взбунтовавшиеся члены Конвента, восставшие с одной целью: продолжать национальное возрождение, сохраняя собственные головы на плечах. И однако, это было в самом деле так. Незначительный камень, который они вынули, такой незначительный в любом другом месте, оказался здесь краеугольным: весь свод здания санкюлотизма стал расшатываться, оседать, давать трещины и обваливаться по частям довольно быстро, пока бездна не поглотила его всего и на поверхности земли не осталось санкюлотизма.

Как бы ни был презираем сам Робеспьер, но смерть его была сигналом, побудившим массы людей, до сих пор безмолвных от ужаса перед террором, выйти из своих укромных нор и заговорить, излагая свои жалобы. Тысячи, миллионы пострадали от жестокой несправедливости. Все громче звучат эти жалобы масс, переходят в непрерывный всенародный крик, называемый общественным мнением. Камиль требовал Комитета милосердия и не мог добиться его; но теперь вся нация обращается в Комитет милосердия: нация испытала санкюлотизм и считает, что пора покончить с ним. Сила общественного мнения! Какой король или Конвент может противостоять ему? Борьба тщетна: то, что сегодня отвергается как «клевета», на следующий день торжественно принимается за истину. Боги и люди объявили, что санкюлотизм не может больше существовать. Он самоубийственно раздробил себе нижнюю челюсть в ночь на 9-е термидора и лежит в конвульсиях, чтобы никогда больше не подняться.

В последующие пятнадцать месяцев мы наблюдаем, так сказать, его предсмертную агонию. Санкюлотизм, анархия по евангелию Жан Жака, проникнув довольно глубоко, должен погибнуть в новой особенной системе «кюлотизма» и порядка. Порядок необходим человеку, хотя бы этот порядок был основан только на первобытном евангелии силы со скипетром в виде молота. Пусть будет метод, пусть будет порядок, кричат все люди, хотя бы этот порядок был основан на солдатской муштре! Легче снести обученный ряд штыков, чем необузданную гильотину, непредсказуемую, как ветер. Теперь нам нужно обозреть беглым взглядом с надлежащего расстояния, как санкюлотизм, корчась в предсмертных муках, пытался еще два-три подняться на ноги, но падал, снова опрокинутый, и наконец испустил дух. Мы сделаем это, и тогда, о читатель! ободрись, я вижу берег!

Мы должны отметить две первые естественные меры, принятые Конвентом после термидора: во-первых, обновление и пополнение Комитета общественной безопасности и Комитета общественного спасения, опустошенных гильотиной. Разумеется, пополняют их Тальенами, Фреронами и другими победителями термидорских дней. Еще более кстати постановление, чтобы комитеты, как это предписывает закон, обновлялись время от времени не только на словах:

четвертая часть членов должна выходить из их состава ежемесячно. Конвент не будет более находиться в рабстве у комитетов под страхом смерти, а будет свободно руководствоваться своими собственными суждениями и общественным мнением. Не менее естественно и второе постановление: заключенные и обвиненные имеют право требовать свой «обвинительный акт», чтобы знать, в чем их обвиняют. Все эти вполне естественные меры — предвестники сотен других таких же.

Роль Фукье-Тенвиля, ограниченная декретом о предъявлении обвинительного акта и законных доказательств, почти утратила всякое значение и действительна еще только для «охвостья Робеспьера». Тюрьмы выдают своих подозрительных, выпускают их все чаще и чаще! Комитеты, осаждаемые друзьями заключенных, жалуются, что им мешают работать. Заключенные рвутся на волю, подобно людям, которые выходят из переполненного места и теснятся в дверях, задерживая друг друга. Счастье переменялось: узники выливаются потоками, а тюремщики, *moutons*, прихвостни Робеспьера идут туда, куда они привыкли посылать других! 132 нантских республиканца, которых мы видели идущими в оковах, прибыли в Париж, но число их сократилось до 94; пятая часть погибла дорогой. Они приходят и неожиданно видят себя не ходатаями за свою жизнь, а обвинителями, грозящими смертью другим. Их процесс сулит им оправдание, и даже более. Этот процесс, подобно трубному звуку, дает широкую огласку жестокостям царства террора. В продолжение 19 дней деяния Каррье, роты Марата, потопления, луарские свадьбы — все это, совершавшееся во мраке, торжественно выходит на свет. Звон голос этих бедных воскресших нантцев; и журналы, и речи, и всеобщий Комитет милосердия достаточно громко отзываются на них, чтобы быть услышанными всеми ушами и сердцами. Приходит депутация из Арраса с жалобами на жестокости, совершаемые делегатом Лебоном. Присмиривший Конвент дрожит за свою собственную жизнь, однако что толку? Делегат Лебон, делегат Каррье должны быть привлечены к Революционному трибуналу; никакие увертки, никакие отсрочки не помогут: голос народа преследует их все громче и громче. Их также должен уничтожить Тенвиль, если не будет уничтожен сам.

Мы должны отметить, кроме того, дряхлое состояние, в которое впало некогда всемогущее Якобинское «Общество—Мать». Лежандр бросил ключ от его клуба на стол Конвента в ночь термидора; его председатель гильотинирован вместе с Робеспьером. Некогда могущественная «Мать» патриотизма некоторое время спустя с покорным видом просит возвратить ей ключи; они возвращены, но прежняя сила не возвратится: она исчезла навеки, и время ее, увы, увы, прошло. Напрасно якобинская трибуна звучит по-прежнему: для слуха всех она стала ужасной и даже скучной. Вскоре принятие новых членов в Якобинское общество запрещается; могущественная «Мать» неожиданно оказывается бездетной; плачет, как только может плакать такая охрипшая Рахиль.

Революционные комитеты, не имея подозрительных, чтобы охотиться за ними, быстро погибают от истощения. В Париже вместо прежних 48 комитетов осталось 12; плата их членам по 40 су отменена; пройдет совсем немного времени, и революционные комитеты перестанут существовать; такса на продукты (*maximum*) также будет отменена; санкюлотизм может питаться чем хочет¹. И нет теперь никакого муниципалитета, никакого центра в Ратуше. Мэр Флерио и компания погибли, и их не торопятся заменять.

Городской совет чувствует, что власть его подорвана, что он поставлен в зависимое положение, и не знает, к чему все это приведет; знает только, что он стал слабым и должен повиноваться. Что, если разделить Париж, скажем, на 12 отдельных муниципалитетов, способных к соглашению! С секциями было бы тогда легко управляться, а не упразднить ли и самые секции? Тогда у нас осталось бы только 12 послушных и мирных городских округов, без центра и подразделений², и священное право восстания стало бы выморочным.

Многое отменяется таким образом и перестает существовать. Ведь и пресса говорит, и человеческий язык говорит; журналы, увесистые и легкие, высказываются в филиппиках и сатире, и ренегат Фрерон, и ренегат Прюдом гремят по-прежнему, только в противоположном духе. И *ci-devants* появляются, даже почти выставляют себя напоказ, воскресшие как бы от смертного сна, и рассказывают в печати, какие страдания перенесены ими. Даже болотные лягушки напыщенно квакают. 73 члена Конвента, подписавшие известный протест, освобождаются из тюрьмы, хотя и не без некоторых усилий, и возвращаются на свои места. Луве, Инары, Ланжюине и

остатки жирондизма, естественные враги террора, вызволенные из сеновалов и погребов Швейцарии, снова займут свои места в Конвенте³.

В нем и вне его господствуют теперь термидорианские Тальены и отъявленные враги террора. Обузданная Гора становится все молчаливее, а умеренность возвышает свой голос все громче, но не бурно и без угроз, скорее как волна могучего органного звука, как оглушающая сила общественного мнения, гармонично исходящего из 25 миллионов народных уст, которые все принадлежат теперь Комитету милосердия. Какие же отдельные группы в силах противостоять этому?

Глава вторая

ДОЧЬ КАБАРРЮСА

Где же устоять этому жалкому Национальному Конвенту, разрозненному, сбитому с толку долгим террором, тревогами и гильотиной? Притом у него нет кормчего, нет даже Дантона, который отважился бы направить его куда-нибудь среди такого напора бури. Самое большее, что может сделать растерявшийся Конвент, — это изменить направление, поставить паруса по ветру и держаться так, чтобы не потонуть. Бесплезно было бы бороться, ставить руль на подветренную сторону и командовать повороты! Растерявшийся Конвент пытался плыть против ветра, но его быстро повернуло обратно, так силен был напор переменчивого ветра. Он дует теперь все сильнее и сильнее с теплого юго-запада; опустошительный северо-восточный ветер и бурные порывы вихря совсем стихли. Все санкюлотское исчезает и заменяется кюлотским.

Взгляните, например, на покрой одежды, этот видимый признак, свидетельствующий о тысяче вещей невидимых. Зимой 1793 года мужчины ходили в красных колпаках и сами муниципалы носили деревянные башмаки. Даже гражданки принуждены были подавать прошение об отмене такого головного убора. А теперь, в эту зиму 1794 года, куда девался красный колпак? Он унесен потоком, как и многое другое. Наш зажиточный гражданин обдумывает, как бы ему одеться поизящнее? Не одеться ли, как одевались свободные народы древности? Более смелая гражданка уже так и поступила. Посмотрите на нее, на эту предприимчивую гражданку: она в костюме древних греков, в таком греческом костюме, какой мог предлагать художник Давид; ее распущенные волосы перехвачены блестящим античным обручем; на ней яркого цвета туника, какие носили гречанки; маленькие ножки ее, обнаженные, как у античных статуй, и обутые в сандалии, привязанные лентами, бросают вызов морозу.

Жажда роскоши овладела всеми. Эмигранты не увезли с собой свои отели и замки с их обстановкой, и при быстрой смене владельцев благодаря чеканке денег на площади Революции, военным поставкам, продаже эмигрантских, церковных и королевских земель, а также ажиотажу с бумажными деньгами — этой волшебной лампе Аладдина — такие отели не замедлили найти новых жильцов. Старое вино из погребов аристократии вливается в новые глотки. Париж подметен и освещен; салоны, ужины, не братские, опять сверкают подобающим блеском, хотя и особого оттенка. Красавица Кабаррюс, освобожденная из тюрьмы, повенчалась со своим рыжим и мрачным богом ада, с которым она обращается, как говорят, очень надменно. Она дает блестящие вечера; вокруг нее собирается новая республиканская армия гражданок в сандалиях, аристократок и других; собираются все пережитки старого лоска. Правой рукой г-жи Тальен служит в таких случаях прелестная Жозефина, вдова Богарне, хотя находящаяся в стесненных обстоятельствах; обе задались целью смягчить безобразие республиканской строгости и вновь цивилизовать человечество.

Вновь цивилизовать совсем по-прежнему: волшебством смычка Орфея, ритмом Евтерпы*, грацией, улыбками. На этих вечерах бывают и термидорианские депутаты: Фрерон, издатель «*Orateur du Peuple*», Бар-рас, умевший танцевать не только «Карманьолу», и суровые генералы Республики в огромных воротниках и галстуках, пригодных для защиты от сабельных ударов, с волосами, собранными в узел «под гребенку и ниспадающими на спину». Среди этих последних мы узнаем невысокого артиллерийского офицера из Тулона с бронзовым цветом лица, возвратившегося из Итальянского похода. У него мрачный вид, жестокое, почти свирепое выражение лица, так как он имел неприятности и был болен; притом же он в немилости, как человек, выдвинутый — все равно, по заслугам или нет — террористами и Робеспьером-младшим. Но

разве Баррас не знает его? Разве Баррас не замолвит за него слова? Да, если когда-нибудь для Барраса будет выгодно сделать это. А сейчас этот артиллерийский офицер стоит и смотрит своими глубокими, серьезными глазами в будущее, которое представляется ему безнадежно пустым. Он молчалив, но, когда его расшевелят, он высказывает своеобразные мысли, меткие, излучающие свет, как молния; вообще это человек «необщительный», скорее опасный. Необщительность делает его предметом страха и антипатии для всякого рода фантазий, так как он — сама реальность! Стоит он здесь без дела и надежды, как бы отчужденный, однако нередко поглядывает в ласковые глаза Жозефины Богарне. На все остальное он смотрит строго, с открытыми глазами и с сомкнутыми губами, как бы выжидая, что будет дальше.

* Евтерпа — в греческой мифологии одна из девяти муз, покровительница лирической поэзии и музыки.

Всякий может заметить, что балы имеют в эту зиму совсем новый вид. Не «Карманьолу» видим мы, этот грубый «вихрь лохмотьев», как назвал ее Мерсье, «предвестницу бури и разрушения», а мягкие ионические движения, гармонирующие с легкими сандалиями и греческой туникой! Лихорадка роскоши вышла наружу; люди разбогатели, прибавилось много новых богачей, а при терроре нельзя было танцевать иначе как в лохмотьях. Среди бесчисленных балов разного рода обратим внимание читателя на один род — на так называемые балы жертв (*Bals à victime*). У всех танцующих на левой руке надет черный креп. Чтобы быть допущенным на такой бал, нужно, чтобы вы были жертвой террора или чтобы вы потеряли кого-нибудь из родственников во время террора. Мир усопшим; будем танцевать в память их! Потому что, как бы то ни было, нам надо танцевать.

И примечательно, какие разнообразные формы принимает это великое занятие — танцы. «Женщины, — говорит Мерсье, — это нимфы и султанши, иногда Венеры, Юноны, даже Дианы. Они кружатся, плавают с легкой, безупречной стройностью, серьезные, молчаливые, видимо поглощенные своим делом. И зрители как бы сливаются с танцующими, образуя кольцо вокруг различных контрдансов, но не мешая им. Редко случается, чтобы султанша в подобных обстоятельствах испытала хотя малейший толчок. Ее хорошенькая ножка появляется на вершок от вашей, и вот ее уже нет: она унеслась, как яркая искра; но скоро темп танца возвращает ее на прежнее место. Подобно яркой комете, она несется, кружась, по своей орбите, как бы подчиняясь двоякому действию тяготения и влечения»⁴. Заглянув немного вперед, тот же Мерсье видит *Merveilleuses* в «шароварах телесного цвета», с золотыми браслетами на ногах; настоящих танцующих гурий искусственного рая Магомета, слишком уже магометанского. Монгайяр замечает своим меланхолическим взором не менее странную вещь: каждая светская гражданка, которую вы встречаете, находится в интересном положении. Великий боже, каждая! «Настоящие подушки!» — прибавляет этот язвительный человек; такова мода во время, когда народонаселение сократилось вследствие войн и гильотины⁵. Не вникайте глубже в достоинства этой моды.

Взгляните теперь на эти новые группы на улицах вместо прежних страшных *Tarpe-durs* Робеспьера. Это молодые люди, одетые не в черные куртки карманьолы из грубого сукна, а в изящное *habit carré*, или фраки с прямыми фалдами, с изящным, антигильотинного фасона воротником; волосы их заплетены на висках и, свернутые сзади узлом, ниспадают на военный манер; это так называемые *muscadin* (щеголи) или денди. Фрерон ласково называет их *jeunesse dorée* — золотая или позолоченная молодежь. Эта «золотая молодежь» появилась, как бы воскреснув из мертвых. Те, кто были жертвами, носят креп на левой руке. Мало того, они носят дубинки, налитые свинцом, и имеют сердитый вид. Если с ними встретится какой-нибудь *Tarpe-dur* или осколок якобинства, ему придется плохо. Они много страдали; их друзья были гильотинированы; их удовольствия, шалости, тончайшие воротнички безжалостно преследовались: горе подлым красным колпакам, которые делали это! Красавица Кабаррюс и армия греческих сандалий улыбаются одобрительно. В театре Фейдо храбрая молодежь во фраках с прямыми фалдами любит красавицами в греческих сандалиях и воспламеняется от их взглядов. Долой якобинство! Никакие якобинские гимны или демонстрации, кроме термидорианских, не будут более терпимы; мы свергнем якобинство нашими свинцовыми дубинками.

Но пусть всякий, кто всматривался в буйную природу этих денди, особенно в стадном состоянии, представит себе, какой элемент составляла эта «золотая молодежь» при «священном праве восстания»! Ссоры и побоища, война без перемирия и без меры! Санкюлотизм ненавистен, как смерть и ночь! А денди, действительно разве они не кюлоты, разве они не одетые в силу самого закона своего существования: это «животное одетое, которое живет, движется и проводит свое существование в одежде»?

Так и идут дела. Люди вальсируют, ссорятся; красавица Кабаррюс старается чарами Орфея вновь цивилизовать человечество. И как говорят, безуспешно. Какая суровость, хотя бы и республиканская, может устоять перед греческими сандалиями в ионических движениях, с золотыми кольцами даже на больших пальцах ног?⁶ Постепенно возникает и быстро растет неоспоримая новая благовоспитанность. Однако возродился ли хотя бы к нынешним дням тот непередаваемый настрой общества времен старых королей, когда порок «утратил свое безобразие» (с выгодой или без выгоды для людей) и легкомысленная пустота получила право гражданства и утвердилась так прочно, как никогда? Или же не утрачен он безвозвратно?⁷ Так ли это или нет, а мир должен продолжать свою борьбу за существование.

Глава третья

КИБЕРОН

Не обнаруживают ли бессознательно эти ниспадающие волосы «золотой молодежи» в полувоенном костюме другого, более важного стремления? Республика, проникшаяся отвращением к гильотине, любит свою армию.

И не без основания. Если в свое время военная доблесть почетна, а в глазах массы даже почетнее всего, то в описываемую эпоху военная доблесть была своевременнее и важнее, чем когда-либо. Сыны Республики поднялись в безумной ярости, чтобы освободить ее от рабства и Киммерии. И разве они не достигли этого? Из Приморских Альп, из проходов, Пиренеев, из Нидерландов, из долины Рейна Киммерия отброшена далеко назад со священной родной земли. Сыны ее, пылкие, как пламень, пронесли ее трехцветное знамя над головами всех ее врагов, и оно победоносно развеивается и над крутыми горами, и над пушечными батареями. У этой Республики под ружьем миллион сто тысяч воинов, а в один исключительный момент у нее было, как полагают, по крайней мере «миллион семьсот тысяч»⁸. Подобно кольцу молний, опоясывают они свою страну от берега до берега, давая залпы и распевая «Ça ira». Киммерийская коалиция деспотом отступает, охваченная удивлением и страхом.

Огню, пылающему в сердцах этих галльских республиканцев, никакая коалиция не может противостоять! Ими предводительствуют не обладатели гербов с четырьмя поколениями дворянства, а бывшие сержанты, вырвавшие свой генеральский чин из жерла пушек: Пишегрю, Журдан, Гош. У них есть хлеб, у них есть железо, а «с хлебом и железом можно дойти до Китая». Посмотрите на солдат Пишегрю в эту суровую зиму: оборванные, обтрепанные, «в башмаках из жгутов соломы, в плащах из лыковых рогож», они наводняют Голландию, словно орда демонов, когда лед перекинул мосты через все воды, и с криками стремятся от победы к победе! Корабли на Тексле захвачены конными гусарами; герцог Йоркский бежал; штатгальтер также бежал, довольный тем, что удалось ускользнуть в Англию и оставить Голландию братья с французами⁹. Огонь, пылающий в этих галльских сердцах, подобен пламени горящей травы и сухого хвороста; ни один смертный не может противостоять ему в первую минуту.

И все так же будет гореть он и стремиться вперед, уничтожая все, и от Кадикса до Архангельска безумный санкюлотизм, превратившийся теперь благодаря обучению в регулярную армию, предводительствуемый каким-нибудь солдатом демократии (положим, молчаливым артиллерийским офицером), жестоко наступит на шею своих врагов, и его победные клики и их вопли огласят мир! Вот какой пожар зажгли вы, поспешно объединившиеся короли, будучи сами лишены огня и имея солдат, воодушевляемых только обучающими их сержантами, нравочениями в общих столовых и барабанщиками! Однако дело начато и будет продолжаться целых 20 лет. Вот как долго этот галльский огонь, меняя свой цвет и характер, будет гореть на лице Европы и мучить и обжигать людей, пока он не раздражит всех, не зажжет другого рода огонь — тевтонский — и не будет поглощен, так сказать, в один день! Бывают пожары, вспыхивающие внезап-

но и ярко, подобно горению хвороста и травы, и бывают иные, которые трудно разжечь, как уголь или даже антрацит, но которые, если уж разгорелись, невозможно потушить никакими усилиями. Ярко вспыхнувший галльский огонь мы замечаем не только в войсках Пишегрю, но и в не менее бесчисленных Вольтерах, Расинах, Лапласах, так как француз, сражается ли он, поет ли или думает, всегда сохраняет ту совокупность человеческих свойств, которая дает отличный жар для поджаривания яиц, в каком бы смысле ни понимать это. Тевтонский же антрацитовый огонь, как мы видим в Лютерах, Лейбницах, Шекспирах, предпочтителен для плавления металлов. Как счастлива наша Европа, что у нее есть оба вида топлива!

Но как бы то ни было, а Республика явно торжествует. Весной этого года город Майнц снова видит себя осажденным и опять переменит хозяина; правду сказал Мерлей из Тионвиля, «с диким взглядом и бородой», что его видели там не в последний раз. Курфюрст Майнцкий обращается к своим братьям государям со следующим уместным вопросом: не благоразумнее ли начать переговоры о мире? «Да!» — отвечают в душе многие другие курфюрсты. Но в то же время Австрия колеблется и в конце концов отказывается, получив субсидию от Питта. Что касается последнего, то кто бы ни колебался, а он, приостановив у себя действие своего *Nabeas Cognus**, прекратив платежи звонкой монетой, остается непреклонным, несмотря ни на переговоры в других государствах, ни на свои домашние затруднения со стороны шотландского национального парламента и английских Друзей Народа, которых он принужден судить, вешать или даже видеть оправданными и торжествующими; жесткий, непреклонный человек! Его Величество король Испании, как мы и предсказывали, заключает мир, то же делает и король прусский, и составляется Базельский договор¹⁰. Договор с мрачными анархистами и царубийцами! Увы, что делать? Нельзя повесить эту анархию; пожалуй, она скорее повесит вас самих; волей-неволей приходится вступить в переговоры с нею.

* Закон, принятый в 1679 г. английским парламентом против королевского произвола, обеспечив право всех граждан на освобождение под залог до судебного разбирательства.

Между тем генералу Гошу удается установить мир в Вандее. Негодяй Россиньоль и его «адские колонны» исчезли; Гош достиг мира твердостью, справедливостью, рассудительностью и умными мерами. Набирая свои «подвижные колонны» не из адских элементов, оцепляя ими страну, прощая покорных, казня оказывающих сопротивление, он шаг за шагом усмиряет восстание. Ларошжаклен, последний из дворян, пал в бою; Стоффле сам вступает в переговоры; Жорж Кадудаль возвращается в Бретань, к своим шуанам; ужасная гангрена Вандеи, по видимому, окончательно устранена. Она стоила круглым счетом 100 тысяч жизней, а с потоплениями, поджогами и адскими колоннами число жертв не поддается исчислению. Такова ванзейская война¹¹.

Однако несколько месяцев спустя она вспыхивает вновь, но уже в последний раз, раздутая Питтом и нашими *si-devants* Пюизе из Кальвадоса и другими. В июле 1795 года английские корабли вступают на рейд Киберона. Там предполагается высадка воинственных *si-devants* роялистов, добровольцев из военнопленных, страстно желающих дезертировать; выгружаются огнестрельное оружие, прокламации, амуниция и звонкая монета. Но и республиканцы быстро вооружаются, идут в полночь тайком по побережью Киберона и штурмуют форт Пантьевр; гром войны смешивается с ночным ревом моря, и утренняя заря освещает редкую картину. Высадившиеся бросаются обратно в свои лодки или в морские волны и с воплями погибают. Словом, *si-devant* Пюизе терпит здесь такую же неудачу, как и в Кальвадосе, когда он мчался из Вернонского замка без сапог¹².

Таким образом, и это дело стоило жизни многим смелым людям, в числе которых все оплакивают храброго сына Сомбрейя. Злополучная семья! Отец и младший сын погибли на гильотине; героиня дочь, доведенная до нищеты, прячет свое горе от истории; старший сын погибает здесь, на Кибероне, расстрелянный военным трибуналом как эмигрант, сам Гош не может спасти его. Если все войны, гражданские или другие, суть плоды недоразумений, то где же скрывается разумение?!

Глава четвертая

ЛЕВ НЕ УМЕР

Конвент, несомый течением судьбы к чуждой победе и гонимый сильным ветром общественного мнения к милосердию и роскоши, несется так быстро, что нужно все искусство кормчего, и даже более, при такой скорости.

Интересно смотреть, как мы поворачиваем и кружимся и все-таки принуждены плыть по ветру. Если, с одной стороны, мы вновь принимаем в Конвент 73 протестовавших, то с другой — принуждены согласиться на довершение апофеоза Марата: взять его тело из церкви кордельеров и перенести в Пантеон великих людей, вырыв прах Мирабо, чтобы очистить место. Все напрасно: напор общественного мнения не ослабевает! «Золотая молодежь» в заплетенных косичках сбрасывает бюсты Марата в театре Фейдо, топчет их ногами, бросает их с яростными криками в сточную яму Монмартра¹³. Снесена его часовня на площади Карусель; сточная яма Монмартра принимает даже прах его. Ни один обоготворенный человек не оставался божеством более короткое время. Каких-нибудь четыре месяца в Пантеоне, храме всех бессмертных, — и затем в сточную яму, великую клоаку Парижа и мира! «Число бюстов Марата достигло одно время около четырех тысяч». Из храма бессмертных в клоаку! Так бросает судьба бедные человеческие существа!

Наряду с этим поднимается вопрос: когда войдет в силу конституция девяносто третьего года, т. е. 1793 года? Рассудительные умы думают про себя, что конституция девяносто третьего года никогда не вступит в действие. Пусть теперь другие люди займутся составлением лучшей!

Опять же, где теперь якобинцы? Бездетная, дряхлая, как мы видим, сидит теперь когда-то могущественная Мать патриотизма, скрежеща не зубами, а пустыми деснами на предательский термидорианский Конвент и на весь ход вещей. Бийо, Колло и компания дважды обвинялись в Конвенте Лекуэнтром и Лежандром, и во второй раз обвинение не было признано клеветой. Бийо с якобинской трибуны говорит: «Лев еще не умер, он только спит». Его спрашивают в Конвенте, что он подразумевает под пробуждением льва? И в бывшем дворце Эгалите начинаются бесконечные столкновения между *tappe-durs* и «золотой молодежью». Слышны крики: «Долой якобинцев, *Jacoquins!*» *Soquin* означает «негодяй». С высокой трибуны раздается боевой звук, но ответом служат лишь молчание и тяжелое дыхание. В правительственных комитетах поговаривают о приостановке якобинских собраний. Но что это? В день Всех Святых или накануне этого дня, в *ci-devant* ноябре 1794 года от Рождества Христова, — печальный канун для якобинцев — град камней с проклятиями летит в окна Якобинского клуба. Якобинки, знаменитые *Tricoteuses* с вязальными спицами в руках, обращаются в бегство, но у дверей их встречает «золотая молодежь» с «толпой в четыре тысячи человек», которые преследуют их с гиканьем, пинками, насмешками, секут их лозами самым скандальным образом, задрав юбки, пока они, доведенные до истерики, не успевают скрыться. Выходите теперь вы, мужчины! Якобинцы выходят, но только для боя, поражения и полного расстройств. Пришлось вмешаться вооруженной власти, и не только в этот, но и на другой день, после чего якобинские собрания прекратились навсегда¹⁴. Якобинцы исчезли среди бури смеха и рева. На месте их клуба явилась Нормальная школа, первая школа этого рода; потом она уступает место «рынку 9-го термидора», потом рынку Сент-Оноре, где и поныне мирно торгуют домашней птицей и овощами. Пышные храмы, сам великий земной шар — все это сооружения без основания! Разве мы и этот наш мир не созданы из того же материала, что и сны?

Максимальные таксы отменены: торговля должна быть свободной. Увы, торговля, стесненная, перевернутая вверх дном, как мы видели, и теперь вдруг снова предоставленная самой себе, не может воспользоваться свободой: торговли, можно сказать, не существует вовсе в это время. Ассигнации, давно падающие и выпущенные в таком огромном количестве, падают теперь с беспрецедентной быстротой. «Combien? — спросил некто у извозчика. — Сколько возьмешь?» «Шесть тысяч ливров», — ответил тот (около 300 фунтов стерлингов ассигнациями^{15*}). Давление таксы устранено, но вместе с тем исчезают и товары, на которые она была наложена. «Две унции хлеба ежедневно» — таков пожалованный кусочек! Далеко тянутся хвосты перед булочными, и лица печальны; дома фермеров превратились в лавки ростовщиков.

* 1 февраля 1796 г. на бирже Парижа золотой луидор в 20 фр. серебром стоит 5300 фр. ассигнациями (Montgaillard. IV, 419). — *Примеч. авт.*

Можно представить себе при таких обстоятельствах, с каким чувством санкюлотизм рычал про себя: «La Cabarus» — и смотрел на возвратившихся и танцующих *si-devants*, на термидорианскую лихорадку цивилизования, на балы в шароварах телесного цвета. Там греческие туники и сандалии, рой франтов, щеголяющих со своими свинцовыми Дубинками, а здесь мы, отверженные, внушающие отвращение, «собираем крохи на улицах»¹⁶, волнуемся, стоя в хвостах перед булочными за нашими двумя унциями хлеба! Не проснется ли якобинский лев? Ведь говорят, он тайно собирается в красных колпаках и с заряженными пистолетами во дворце архиепископства. По-видимому, не проснется. Наши Колло, Бийо, Барер, Бадье в эти последние мартовские дни 1795 года признаны заслуживающими ссылки за моря и будут пока отвезены в крепость Гам. Лев умер или бьется в предсмертной агонии!

Посмотрите, какое оживление снова царит на парижских улицах 12-го жерминаля (называемого также 1 апреля, не очень счастливый день). Толпы голодных женщин и грязных, также голодных мужчин кричат: «Хлеба, хлеба и конституции девяносто третьего года!» Париж поднялся еще раз, подобно приливу океана, и толпами течет к Тюильри за хлебом и конституцией. Тюильрийская стража делает все, что может, — ничто не помогает; прилив уносит ее прочь, наводняет сам зал Конвента с ревом: «Хлеба и конституции!»

Несчастные сенаторы, несчастный народ! После всех усилий и ссор нет ни хлеба, ни конституции! «Du pain, pas tant le longs discours!» (Хлеба, а не потоков парламентского красноречия!) — так стонали менады Майяра более пяти лет назад; так зываете и вы в эту минуту! Конвент, неизвестно что думающий, невозмутимо остается на своих местах среди этого ревущего хаоса; на павильоне Единения звонит набат. Секция Лепелетье, прежняя Filles-Saint-Thomas, состоящая преимущественно из менял, и «золотая молодежь» бегут на выручку и снова сметают хаос штыками. Париж объявлен «на осадном положении». Пишегрю, завоеватель Голландии, который случайно находится здесь, назначен командующим до подавления мятежа. Он подавляет его, так сказать, в один день: отправляет в ссылку Бийо, Колло и компанию и рассеивает всякую оппозицию «двумя пушечными выстрелами» холостыми зарядами и страхом, который внушает его имя. Сделав это и донеся с лаконизмом, которому следовало бы подражать: «Представители, ваши предписания исполнены»¹⁷, он слагает с себя командование.

Итак, восстание жерминаля стихло, как подавленный вопль. Заключение сидят в надежном месте, в Гаме, в ожидании кораблей; около 900 «главных террористов в Париже» обезоружены. Санкюлотизм, сметенный штыками, скрылся со своей нищетой в глубине предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо. Было время, когда конный пристав Майяр с менадами могли изменять направление законодательства, но это время миновало. У законодателей теперь штыки, секция Лепелетье взялась за оружие, и не в нашу защиту! Мы удаляемся в наши мрачные трущобы; наши крики голода названы заговором Питта. Салоны сверкают, шаровары телесного цвета вальсируют по-прежнему. Значит, мы сражались за дочь Кабаррюса, за ее франтов и менял? Значит, для балов в телесного цвета шароварах мы схватили за бороду феодализм и действовали, и дерзали, и проливали свою кровь, как воду? Чем можно ответить на это, кроме выразительного молчания!

Глава пятая

ЛЕВ ВЫТЯГИВАЕТСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Представитель Каррье погиб на гильотине в декабре минувшего года, протестуя и говоря, что он действовал по предписаниям. Революционному трибуналу, после того как он истребил все, осталось теперь только, как это бывает со всеми анархическими явлениями, уничтожить самого себя. В первые майские дни люди видят замечательное зрелище: Фукье-Тенвиль защищается перед судом, в котором главенствовал когда-то он сам. Вместе с ним привлечены к суду его бывшие главные присяжные: Леруа Десятое Августа, Вилат и еще 16 человек; все они горячо защищаются, ссылаясь на то, что они действовали согласно предписаниям; но все напрасно. С этими людьми покончит топор, которым они совершали ненавистные дела; топор сам стал ненавистен. Впрочем, Фукье умер довольно твердо. «Где твои «охапки»?» — ревел народ. «Голодная сволочь, — отвечал Фукье, — разве твой хлеб стал дешевле от того, что их нет более?»

Замечателен этот Фукье: некогда это был просто стряпчий, подобный другим стряпчим, этим судейским ищейкам, которые жадно охотятся на людей; теперь же он стал и останется самым замечательным из стряпчих, какой когда-либо жил и охотился на земле!

Ибо в этом земном беге времени должно было явиться воплощение крючкотворства. Небо сказало, пусть будет воплощение не божественного духа, а продажного духа стряпчего, который следит только за сделками, и вот оно явилось, и другие стряпчие в свою очередь выследили его. Исчезни же ты, воплощение духа стряпчего с крысиными глазами, которое в сущности было только подобно другим стряпчим и слишком алчным сынам Адама! Присяжный Вилат упорно боролся за свою жизнь и опубликовал из тюрьмы остроумную книгу, не оставшуюся неизвестной; но это не помогло, он также должен был исчезнуть, и от него осталась только эта книга о тайных причинах термидорианского переворота, — книга, полная лжи, но с крупными правды, которых нигде более не найдешь.

С Революционным трибуналом покончено, но месть еще не утолена. Депутат Лебон после долгой борьбы предан суду обыкновенной судебной палаты и гильотинирован ею. Мало того, в Лионе и других местах воскресший модерантизм в своей жажде мести не хочет ждать медленного судебного разбирательства, но врывается в тюрьмы, поджигает их, сжигает около 60 заключенных-якобинцев, погибающих жестокой смертью, или душит их «дымом горящей соломы». Так бродят мстительные, жестокие «роты Иисуса» и «роты Солнца», убивая якобинцев всюду, где бы они ни встретились, бросая их в воды Роны, которая опять несет к морю страшный груз. Между тем в Тулоне якобинцы восстают и собираются повесить национальных представителей. Каково бедному Конвенту справляться с такими противоположными течениями! Он как бы помещен в центр борющихся ветров и волн на море, взволнованном сильной бурей, и плывет, одолеваемый беспорядками и спорами. Корабль Республики, то вздымаемый наверх, то исчезающий в бездне между двумя волнами, нуждается в самом искусном кормчме.

Какой парламент в этом подлунном мире пережил столько превратностей судьбы, как этот национальный парламент Франции? Он собрался, чтобы составить конституцию, но ему не было суждено создать ничего, кроме разрушения и смуты. Он выжег католицизм и аристократизм, поклонялся Разуму, откапывал селитру и титанически сражался с самим собою и с целым миром. Он был опустошен гильотиной: десятая часть его членов подставила свою шею под топор. Стены его видели танцующих «Карманьолу», поющих патриотические строфы среди награбленной в церквях добычи; видели раненых 10 августа, дефилирующих на носилках, и в пандемоническую полночь видели дам Эгалите в трехцветных костюмах, пьющих лимонад; видели призрак Сиейеса, поднимающийся, произнося: «Смерть без разговоров!» Этот Конвент горел и леденел, краснел от ярости и бледнел от нее же, сидел с пистолетами в кармане, выхватывал шпагу (в минуту вспышек) и то гремел на все стороны голосом Дантона: «Проснись, о Франция, и порази тиранов!», то застывал в безволии при Робеспьере и отвечал на его похоронный голос только задыхающимися звуками. Убиваемый, опустошаемый, закалываемый, расстреливаемый в ваннах, на улицах, на лестницах, он был ядром хаоса. Слышал он и звон набата в полночь, совещался, окруженный стотысячной вооруженной толпой с артиллерийскими печами и повозками с провиантом. Оглушенный набатом, штурмуемый, наводненный грязным потоком санкюлотизма, он слышал пронзительные крики: «Хлеба и мыла!» И это все потому, что, повторяем, он был ядром хаоса, центром санкюлотизма; он раскинул свой шатер над зияющей бездной, где нет ни дороги, ни маяка, ни дна, ни берега. В истинной доблести, талантливости, искренности и вообще в силе и мужестве он, вероятно, немногим превосходил средний уровень парламентов, но в прямоте стремления к цели и в исключительности положения едва ли найдется равный ему. Еще одно санкюлотское наводнение или самое большее два — и этот усталый корабль Конвента достигнет берега.

Возмущение 12-го жерминаля окончилось, как напрасный вопль; умирающий санкюлотизм был сметен обратно в незримое и лежал там, стеная, эти шесть недель; стеная, но не переставая строить планы. Якобинцы, разоруженные, прогнанные со своей высокой трибуны, принуждены были придумывать, как помочь себе, в тайных подпольных совещаниях. И вот в первый день прериала, или 20 мая 1795 года, опять забили барабаны: «Трам-там-там! К оружию! К оружию!»

Санкюлотизм снова восстал со своего смертного одра, восстал дикий, опустошительный, как бесплодное море. Сент-Антуан на ногах. «Хлеба и конституции 93 года!» — гудит толпа, и так написано мелом на шляпах мужчин. У них есть пики, есть винтовки, знамена, печатные прокламации, изложенные в официальной форме: принимая во внимание это и принимая во внимание то, многострадальный державный народ восстал; он хочет хлеба и конституции 93 года. Заставы закрыты, барабаны бьют сбор, набат нестройно звонит тревогу. Темный поток людей наводняет Тюильри, не обращая внимания на часовых; само святилище наводнено; вместо порядка дня вторгается толпа женщин с растрепанными волосами, кричащих: «Хлеба, хлеба!» Тщетно председатель покрывает голову и звонит в свой небольшой колокол в «павильоне Единения» — государственный корабль снова испытывает сильную качку, дает течь и готов погрузиться, заливаемый волной.

Какой опять день! Женщины вытеснены, мужчины неудержимо ломятся внутрь, заполняют все коридоры, гремят у всех решеток. Депутаты, высунув головы, умоляют, заклинаят, но Сент-Антуан неистово ревет: «Хлеба и конституции!» Распространился слух, будто «Конвент убивает женщин». Напор и треск, шум и неистовство! Дубовые двери, словно дубовые тамбурины, трещат под топорами, штукатурка обваливается, дерево с треском расщепляется; двери сорваны, и толпа врывается с неистовым ревом, с обрывками знамен, с прокламациями, барабанным боем, на удивление глазам и ушам. Жандармы, верные секционеры вторгаются через другую дверь, но их оттесняют; мушкеты разряжаются: сентантуанцев не удастся вытеснить. Тщетно депутаты умоляют толпу иметь уважение к председателю, не приближаться к нему; тщетно депутат Феро протягивает руки, обнажает свою грудь, покрытую рубцами в испанских войнах, умоляет, грозит и сопротивляется. «Мятежный депутат верховного народа, ты сражался, а разве мы не сражались? У нас нет хлеба, нет конституции!» Они хватают бедного Феро, бьют, топчут его, ярость увеличивается при виде собственного дела. Они вытаскивают его в коридор, мертвого или умирающего, отрубают ему голову и надевают ее на пик. Ах, неужели недоставало беспримерному Конвенту еще таких ударов судьбы? Окровавленную голову Феро несут на пике. Дело началось; Париж и мир ждут, чем оно кончится.

Толпа свободно бушует теперь во всех коридорах, внутри и снаружи, так далеко, насколько хватает глаз, не видно ничего, кроме Бедлама и разверзшегося ада! Председатель Буасси д'Англа сидит, подобно скале; остальные члены Конвента оттеснены «к верхним скамейкам»; секционеры и жандармы еще выстроены в зале, образуя род стены между ними и толпой. А восставшие неистовствуют, бьют в барабаны, хотят читать свои жалобы, требуют издания такого-то и такого-то декрета. Председатель Буасси не уступает и сидит с покрытой головой, подобно скале среди бушующего моря. Ему угрожают, в него прицеливаются из мушкетов — он не уступает; к нему протягивают окровавленную голову Феро — он склоняется перед нею с серьезным, строгим видом и не уступает.

Страшный шум не позволяет прочесть жалоб; барабаны бьют, глотки орут, и восстание, словно музыка сфер, заглушается собственным шумом. Постановите то, постановите это. Кто-то кричит в продолжение часа во всех перерывах: «Je demande l'arrestation des coquins et des lâches» (Я требую ареста мошенников и подлецов). Это одна из наиболее понятных петиций, когда-либо внесенных в парламент; в этот час она заключает в себе все, чего можно разумно требовать от конституции года I, с гнилыми местечками, с баллотировочным ящиком или с другими чудесами политического ковчега завета, установленного для вас до скончания мира! И я также требую ареста всех подлецов и мошенников, и ничего более. Национальное представительство, затопленное грязным санкюлотством, выскальзывает вон, чтобы найти себе где-нибудь помощь и обрести безопасность; здесь оно беспомощно.

К четырем часам пополудни в зале остаются всего каких-нибудь 60 членов, истинных друзей народа или даже тайных руководителей его, остаток гребня Горы, порабощенный и вынужденный к молчанию термидорианским переворотом. Теперь пришло их время, теперь или никогда; пусть они спустятся и говорят. Они спускаются, эти шестьдесят, приглашенные санкюлотизмом: Ромм — автор нового календаря, Рюль, разбивший дароносицу, Гужон, Дюкнуа, Субрани и другие. Санкюлотизм радостно окружает их. Ромм занимает председательское место, и начинается принятие резолюций и декретов. Быстро следуют декрет за декретом после чередующихся кратких прений или, вернее, строф и антистроф: они удешевят хлеб, пробудят спяще-

го льва. И при каждом новом декрете санкюлотизм кричит: «Постановлено, постановлено!» — и бьет в барабаны.

Работа, требующая месяцев, выполняется в несколько часов. Вдруг входит фигура, в которой при свете ламп все узнают Лежандра, и произносит слова, достойные быть освидетельствованными! А затем, смотрите, входит секция Лепелетье или другая секция, Muscadin, и «золотая молодежь» со штыками и с таким видом, который явно свидетельствует о готовности пронзить ими людей. Слышится топот ног, сверкают при свете ламп штыки. Что тут остается делать народу, измученному долгим бунтом, упавшему духом, темному, голодному, как не бежать, не прятаться, куда только можно? Даже в окна приходится прыгать, чтобы спастись. Секции менял и «золотая молодежь» сметают его стальными метлами далеко в глубь предместий. Новая победа! Декреты шестидесяти не только отменены, но и объявлены несуществующими. Ромм, Рюль, Гужон и другие руководители, в числе тринадцати, отданы под суд. Непрерывное заседание оканчивается в три часа утра¹⁸. Санкюлотизм, еще раз отброшенный, лежит, вытягивая свои члены, вытягивая их в последний раз.

Таково было 1-е прериаля, 20 мая 1795 года. 2-го и 3-го прериаля санкюлотизм все еще продолжал вытягиваться и вдруг неожиданно забил в свой набат и стал сходиться вооруженный, но это не помогло ему. Что пользы в том, что мы с нашими Роммом и Рюлем, обвиненными, но еще не арестованными, учреждаем новый, «истинно национальный Конвент», свой собственный, в восточной части Парижа и объявляем других вне закона? Что пользы, что мы выстраиваемся вооруженные и выступаем? Военная сила и секции Muscadin, в числе около 30 тысяч человек, окружают этот ложный Конвент, и нам остается только переругиваться, перебрасываться насмешливыми прозвищами: Muscadins против Кровопийцы (Buveurs de Sang). Убийца Феро, захваченный с окровавленной рукой, приговоренный к смерти и отправляемый на гильотину на Гревской площади, отбит, отведен обратно в Сент-Антуанское предместье; но все напрасно. Секционеры Конвента и «золотая молодежь» приходят, согласно декрету, искать его и даже более: разоружить Сент-Антуан! И его разоружают благодаря привозу пушек, отбитию орудий у мятежников, военной отваге и страху перед законом. Сент-Антуан отдает свое оружие; Сантер даже советует сделать это, опасаясь за свою жизнь и за пивоварню. Убийца Феро брошается с высокой крыши — и все пропало¹⁹.

Видя это, старый Рюль прострелил, из пистолета свою старую седую голову, разбил на куски свою жизнь, как дароносицу в Реймсе. Ромм, Гужон и другие стоят перед наскоро назначенным военным трибуналом. Услышав приговор, Гужон вынул нож, пронзил им свою грудь и, передав его своему соседу Ромму, упал мертвым. Ромм и почти все остальные сделали то же самое: римская смерть пронеслась здесь, как в электрической цепи, прежде чем успели вмешаться судебные, приставы! Гильотина получила только остальных.

Это были Ultimi Romanorum*. Бийо, Колло и компанию теперь велено было приговорить к смерти, но они, как оказалось, уже уехали, отплыли в Синамарри и к горячим грязям Суринама. Там Бийо будет жить, окруженный стаями ручных попугаев, а Колло получит лихорадку и, выпив целую бутылку водки, сожжет себе внутренности²⁰. Санкюлотизм не расправляет более своих членов. Спавший лев теперь мертв, и теперь, как мы видим, всякое копыто может лягать его.

* Последние римляне (лат.).

Глава шестая

ЖАРЕННЫЕ СЕЛЬДИ

Так умирает санкюлотизм, плоть санкюлотизма, или так он видоизменяется. Его пифийская «Карманьола» в лохмотьях превратилась в пирровы танцы балов дочери Кабаррюса. Санкюлотизм умер, уничтоженный новыми «измами» такого рода, которые были его же собственным естественным порождением, и похоронен, можно сказать, с таким оглушительным ликованием и дисгармонией похоронного звона с их стороны, что только спустя полстолетия или около того начинают ясно понимать, почему он когда-либо существовал.

И, однако, в нем есть смысл: санкюлотизм действительно жил как новое порождение своего времени и даже продолжает жить и теперь; он не умер, а только видоизменился. Дух его жив и распространяется вширь и вдаль, переходя из одного телесного образа в другой, менее уродливый, как это вообще делает время с новыми порождениями, пока в какой-нибудь совершенной форме он не обнимет весь мир. Уже и теперь умные люди повсюду понимают, что они должны опираться на свое человеческое достоинство, а не на украшения к нему. Кто в эти эпохи в нашей Европе опирается на украшения, формулы, кюлотизм какого бы то ни было сорта, тот рядится в стародавнюю одежду, в овчину, и не может долго существовать. Но что касается плоти санкюлотизма, то она умерла и погребена и, надо надеяться, не воскреснет в своей первоначальной уродливой форме еще тысячу лет.

Был ли он страшнейшим явлением, когда-либо порожденным временем? Был по крайней мере одним из самых страшных. Этот Конвент, ныне антиякобинский, с намерением оправдаться и упрочить свое положение публикует списки преступлений, совершенных царством террора, — списки гильотинированных. «Эти списки неполны», — кричит желчный аббат Монгайяр. «Сколько же в них стояло имен?» — думает читатель. Две тысячи без малого. «Их было свыше четырех тысяч», — кричит Монгайяр, считая гильотинированных, расстрелянных, потопленных, преданных жесточайшей смерти, в том числе 900 женщин²¹. Это ужасная сумма человеческих жизней, господин аббат: такое же число людей, увеличенное в десять раз, было расстреляно на полях битв и доставило славную победу с молебствиями. Это почти двухсотая часть того, сколько погибло во всю Семилетнюю войну, а этой Семилетней войной великий Фридрих отнял Силезию у великой Терезии, и г-жа Помпадур, язвима жалом эпиграмм, убедилась, что она не может быть Агнесой Сорель! Голова человека — это странная, пустая и гулкая оболочка, господин аббат, которой не приносит пользы изучение петушиных боев.

Но что, если б история услышала о существовании где-нибудь на этой планете нации, третьей части которой не хватает в продолжение 30 недель ежегодно третьей части картофеля, нужного ей для пропитания?²² История в таком случае чувствует себя обязанной признать, что голод есть голод, что голод из года в год заставляет предполагать многое; история дерзает утверждать, что французские санкюлоты 95 года, которые, пробудившись после долгого мертвого сна, могли сразу устремиться на границы и умирать, сражаясь за бессмертную надежду и веру в освобождение для себя и для своих, были несчастнейшими людьми только второй степени. Разве ирландский бескартофельник (Sans-Potato) бесчувствен, бездушен? Горько было и ему умирать от голода в своем холодном, темном жилище! Горько было и ему видеть своих детей голодающими! Горько было сознавать себя нищим, лжецом и плутом. Мало того, если это ледяное дыхание беспросветной нищеты, переходившее долгие годы в наследство от отца к сыну, довело его до некоторого рода оцепенения, притупило его чувства настолько, что он не замечал и не признавал его, то было ли это для создания, имеющего душу, некоторым облегчением или величайшим из несчастий?

Таковы были обстоятельства; такими они и остаются, только в мирном молчании, и санкюлотизм покоряется им. История, оглядываясь на Францию за много лет до описываемых дней, ко временам Тюрго, например, когда безгласная масса черных рабочих нерешительно приблизилась к королевскому дворцу и среди громадного моря бледных лиц, грязи и развевающихся лохмотьев подала свои написанные иероглифами жалобы и вместо ответа была повешена на «новых виселицах, 40 футов высотой», — История с грустью признается, что нельзя найти такого периода, в который все 25 миллионов французского народа страдали бы менее, чем в тот период, который называется царством террора! Но в ту пору эти страдающие миллионы не были немые; тысячи, сотни и единицы из них говорили, кричали, печатали свои требования и заставляли мир отзываться на свое горе, как они могли и должны были делать, — вот в чем великая особенность той эпохи. Самыми страшными порождениями времени бывают не те, которые громко кричат, — они скоро умирают, а те, которые молчат; эти могут жить из века в век. Анархия, ненавистная, как смерть, противна самой природе человека и поэтому сама должна скоро умереть.

Поэтому пусть будет известно всем то низкое и возвышенное, которое открывается еще в человеке, и пусть все со страхом и с удивлением, со справедливыми симпатией и антипатией, с ясным взором и открытым сердцем вникают в это и делают свои выводы, а их может быть бесчисленное множество. Одним из первых выводов может быть, например, тот, что «если боги

этого подлунного мира будут восседать на своих блистающих тронах, беспечные, как боги Эпикура, не обращая внимания на живой хаос невежества и голода, валяющийся в грязи у их ног, и гладить по голове паразитов, проповедующих: «Мир, мир», когда мира нет, то темный хаос может подняться, как уже и поднимался. Не из ваших ли кож — о Боже! — он делал себе брюки? Для того чтобы не было на Земле второго санкюлотизма в продолжение тысячи лет, нам надо хорошо понять, чем был первый, и постараться, чтобы бедные и богатые из нас жили и поступали иначе. Но вернемся к нашему повествованию.

Секция шеголей в радости; на балах дочери Кабаррюса кружатся; разве мы не разрешили почти неразрешимую задачу -республика без анархии? Закон «братства или смерти» исчез; химерное «получай, кто нуждается» превратилось в практическое «держи, кто имеет». Анархическая республика бедности сменилась упорядоченной республикой роскоши, которая будет продолжаться так долго, как только может.

На Банковском мосту и на Гревской площади под длинными навесами Мерсье видел в эти летние вечера ужинающих рабочих. Отмериваемая ежедневная порция хлеба уменьшилась до полутора унций. «На каждой тарелке лежало по три жареных селедки, посыпанных рубленным луком и политых уксусом; к этому было прибавлено несколько штук вареного чернослива и чечевиц, плавающих в жидком соусе; за столами с этим скудным ужином, с шипящей возле решеткой для жарения и с кипящим на огне котелком, подвешенным между двух камней, я видел сотни рабочих, истреблявших свое скудное кушанье, слишком умеренное для их аппетита и пустых желудков»²³. Вода Сены, в изобилии струящаяся под рукою, пополняла недостающее.

Стало быть, тебе, труженик, твоя борьба и отвага в продолжение этих долгих шести лет восстаний и бедствий не принесли никакой пользы? Ты по-прежнему ешь свою селедку и запииваешь водой в благословенный золотисто-багряный вечер. О, зачем Земля так прекрасна, облитая румянцем заката в сгущающиеся сумерки, если взаимные отношения между людьми делают ее юдолью нужды, слез, и даже не тихих слез? Разрушение Бастилии, поражение герцога Брауншвейгского, смелое выступление против королей и князей, против земли и ада, все, на что ты дерзал и что претерпел, — неужели все это делалось только для республики салонов Кабаррюс? Терпение! Ты должен иметь терпение: конец еще не наступил.

Глава седьмая

ЗАЛП КАРТЕЧИ

В сущности, какое положение могло бы быть естественнее этого и даже неизбежнее, как не переходное после санкюлотства? Беспорядочное разрушение Республики бедности, окончившейся царством террора, улеглось в такую форму, в какую только могло улечься. Евангелие Жан Жака и большинство других учений потеряли доверие людей, и что же еще оставалось им, как не вернуться к старому евангелию Маммоны? Общественный договор не то правда, не то нет; «братство есть братство или смерть», а на деньги всегда можно купить стоящее денег; в хаосе человеческих сомнений одно осталось несомненным — это то, что удовольствие приятно. Аристократия феодальных грамот рухнула с треском, и теперь в силу естественного хода вещей мы пришли к аристократии денежного мешка. Это путь, которым идут в этот час все европейские общества. Значит, это более низкий сорт аристократии? Бесконечно более низкий, самый низкий из всех известных.

В ней, однако, есть то преимущество, что, подобно самой анархии, она не может продолжаться. Замечал ли ты, насколько мысль сильнее артиллерийских парков и как она (через полвека ли после смерти и мученичества или через две тысячи лет) пишет и переписывает парламентские акты, сдвигает горы, преобразует мир, как мягкую глину? И замечал ли ты, что началом всякой мысли, достойной этого имени, бывает любовь и что никогда еще не существовало мудрой головы без благородного сердца? Небо не перестает изливать свои благости, оно посылает нам великодушные сердца в каждом поколении. А какое великодушное сердце может притворяться или обманываться, будто оно верит, что приверженность к денежному мешку — чувство благородное? Маммона, кричит великодушное сердце во все века и во всех странах, самый презренный из известных богов и даже из известных демонов. Какое в нем достоинство, перед которым можно было бы поклониться? Никакого. Он не внушает даже страха, а, самое боль-

шее, внушает омерзение, соединенное с презрением! Великодушные сердца, замечая, с одной стороны, широко распространившуюся нищету, темную снаружи и внутри, смачивающую свои полторы унции хлеба слезами, а с другой — только балы в телесного цвета шароварах, пустоту и бесплодие блеска этого сорта, могут только восклицать: «Слишком много, о божественный Маммона, уж слишком много!» И голос их, раз раздавшись, влечет за собой fiat и pereat для всего земного.

Между тем мы ненавидим анархию, как смерть, каковой она и является, а все, что еще хуже анархии, должно быть ненавидимо еще сильнее. Поистине плодотворен только мир. Анархия — это разрушение, сжигание всего ложного и нестерпимого, но сжигание, оставляющее после себя пустоту. Знай также, что из мира безрассудства ничего не может выйти, кроме безрассудства. Приведи его в порядок, построй из него конституцию, просей через баллотировочные ящики, если хочешь, — оно есть и останется безрассудством — новая добыча новых шарлатанов и нечистых рук, и конец его будет едва ли лучше начала. Кто может получить что-нибудь разумное от неразумных людей? Никто. Для Франции наступили пустота и всеобщее упразднение, и что может прибавить к этому анархия? Пусть будет порядок, хотя бы под солдатскими саблями, пусть будет мир, чтобы благодать неба не пропала даром; чтобы та доля мудрости, которую оно посылает нам, принесла нам плоды в урочный час! Остается посмотреть, как усмирители санкюлотизма были сами усмирены и священное право восстания было взорвано ружейным порохом, чем и кончается эта странная, полная событий история, называемая Французской революцией.

Конвенту, подгоняемому в его деятельности в эти три года таким бурным ветром и противоположными течениями, то с кормчим, то без кормчего, наскучило свое собственное существование; он видит, что оно и всем наскучило, и сердечно желает разойтись. До самого конца он должен был бороться с противоречиями и не знает покоя даже теперь, когда конституция почти выработана. Как уже говорилось, Сиейес составляет конституцию еще раз, и она почти готова. Наученный опытом, великий архитектор многое изменяет и многое прибавляет. В результате получаются: различие между активными и пассивными гражданами, т. е. денежный ценз для избирателей; две палаты — Совет старейшин, а также Совет пятисот. В подобном же духе, избегая рокового самоотрицающего постановления старого Учредительного собрания, мы постановляем, что настоящие члены Конвента не только могут быть избираемы вновь, но и две трети из них должны быть вновь избираемы. Активные граждане-избиратели могут теперь выбирать только одну треть Национального собрания. Включив это постановление об обязательном переизбрании двух третей, мы представляем нашу конституцию на рассмотрение всем округам Франции и говорим: примите то и другое или отвергните то и другое. Как ни неприятно такое добавление, однако округа подавляющим большинством принимают и утверждают его. С Директорией из пяти членов, с двумя палатами, в каждой из которых две трети членов назначаются нами самими, можно надеяться, что эта конституция будет последней. Она пойдет, ведь ногами ей будут служить переизбираемые две трети, а они уже налицо и способны ходить. Сиейес смотрит на свое бумажное производство со справедливой гордостью.

Но теперь посмотрите, как несговорчивые секции, и секция Лепелетье прежде всех, натываются на шипы! Разве не нарушение избирательных прав человека и верховного народа это добавление о переизбираемых двух третях? Алчные тираны, вы хотите увековечить себя! Действительно, эти люди зазнались от своей победы над Сент-Антуаном и над священным правом восстания! Мало того, эта победа повредила всем. Ведь подумайте: прежде всякий мог надеяться получить то, чего он желает, а теперь не должно быть такой надежды; теперь каждый должен пользоваться, и пользоваться, и пользоваться именно этим.

Какое неясное брожение поднимется в людях, испорченных продолжительным правом восстания, раз зашевелятся языки! Журналисты — Лакретели, Лагарпы — за работой; ораторы изливаются в красноречии, в котором слышится и роялизм, и якобинизм. На западной границе Пишегрю, рискнув положиться на свою армию, ведет в глубокой тайне переговоры с Конде, а в парижских секциях разглагольствуют волки в овечьих шкурах, замаскированные эмигранты и роялисты²⁴. Каждый, как мы сказали, надеялся, что выборы сделают что-нибудь для него лично, а теперь нет более выборов или есть только третья часть их. Черные соединились с белыми против этой оговорки о двух третях, и к ним присоединились все непокорные элементы, которые видят свое дело почти проигранным благодаря этой статье конституции.

Секция Лепелетье после многих адресов находит, что такая статья есть явное посягательство на свободу, и просто-напросто отказывается подчиниться ей и приглашает все другие свободные секции соединиться с нею в «центральный комитет» для борьбы с притеснениями²⁵. Секции присоединяются к ней почти все, опираясь на свои 40 тысяч борцов. Теперь будь осторожен, Конвент! Секция Лепелетье заседает в этот день, 12-го вандемьера, 4 октября 1795 года, с заряженными ружьями, в открытом возмущении в своем монастыре Filles-Sain-Thomas на улице Вивьен. У Конвента под рукой около пяти тысяч регулярных войск, изобилие генералов и полторы тысячи преследуемых ультраякобинцев разного сорта, которых по такому критическому случаю поспешно собрали и вооружили под именем патриотов восемьдесят девятого года. Конвент, сильный тем, что закон на его стороне, посылает генерала Мену разоружить секцию Лепелетье.

Генерал Мену отправляется с подобающими требованиями и демонстрациями, но они остаются без всякого результата. Около восьми часов вечера Мену, все еще предъявляющий свои требования, выстроившись на улице Вивьен, перед заряженными ружьями, направленными в него из всех окон, убеждается, что ему не обезоружить секцию Лепелетье. Он принужден возвратиться с целой шкурой, но без успеха и подвергнуться аресту, как «изменник». После этого все 40 тысяч вооруженных борцов присоединяются к секции Лепелетье в уверенности, что она непобедима. К кому-то обратится теперь колеблющийся Конвент, этот бедный Конвент, который, войдя только что в гавань после такого трудного путешествия, уже наскочил на рифы? Он борется отчаянно с ревущим вокруг него прибоем 40 тысяч борцов, готовых захлестнуть его вместе с грузом Сиейеса и всем будущим Франции! Близкий к гибели, он в последний раз напрягает силы.

Некоторые предлагают назначить главнокомандующим Барраса: он победил в термидоре. Другие, более разумные, напоминают о гражданине Бонапарте, артиллерийском офицере не у дел, взявшем Тулон. Это человек с головой, человек дела. Баррас назначен главнокомандующим только по имени, а молодой артиллерийский офицер — действительным. Он находился на галерее в этот момент и слышал о назначении. Он удалился на полчаса, чтобы подумывать, и через полчаса напряженного размышления, быть или не быть, ответил «да».

Теперь, когда в центре дела стоит человек с головой, оно оживляется. Скорее в Саблонский лагерь защитить артиллерию: ее охраняют не более 20 человек! Проворный адъютант по имени Мюрат скачет туда и поспевает как раз вовремя: секция Лепелетье уже шла в том же направлении — пушки наши. Теперь занимайте посты здесь и там быстро и твердо: в воротах Лувра, в тупике Дофина, на улице Сент-Оноре, от Пон-Нёф вдоль всех северных набережных, к югу до моста, бывшего Королевского, выстройтесь вокруг святилища Тюильри кольцом железной дисциплины; у каждого канонира должен быть в руках зажженный фитиль, и все — к оружию!

Конвент проводит ночь в непрерывном заседании и с восходом солнца еще раз видит священное право восстания в полном действии: государственный корабль находится на мели; бурное море все выше вздымается вокруг него, бьет сбор, вооружается и гудит; набата не слышно, так как все колокола велено снять, за исключением нашего собственного, в павильоне Единения. Кораблекрушение кажется неизбежным всему миру, смотрящему на это. Отчаянно работает бедный корабль на расстоянии всего 100 саженой от гавани; велика опасность для него! Однако у него есть рулевой. Принимаются и не принимаются делегации от мятежников; вводится посланный с завязанными глазами; чередуются советы и контрсоветы: бедный корабль работает! Замечательно, что этот день, 13 вандемьера IV года, есть в то же время 5 октября, годовщина бунта менад шесть лет назад: вот как далеко мы подвинулись со священным правом восстания!

Секция Лепелетье захватила церковь Сен-Рок, заняла Пон-Нёф; наш пикет, стоявший там, отступил, не стреляя. Шальные пули восставших залетают в Тюильри, стучат по каменной лестнице. С другой стороны приближаются женщины с распущенными волосами и кричат: «Мир!» Борцы Лепелетье, позади них, машут шляпами в знак своей готовности побрататься с войсками. Твердость! Артиллерийский офицер тверд, как бронза, а при надобности быстр, как молния. Он посылает самому Конвенту 800 мушкетов с запасом патронов; почтенные члены могут действовать ими в крайнем случае, на что они смотрят довольно серьезно. Бьет четыре часа пополудни²⁶; секция Лепелетье, ничего не добившись через своих делегатов и призывы к брата-

нию, рассыпается вдоль южной набережной Вольтера, вдоль улицы и проходов, с утроенной быстротой и приступает к настоящему штурму! Тогда из бронзовых уст артиллерийского офицера вылетает: «Пли!», и начинается непрерывный, перекатывающийся гром пушек, подобный извержению вулкана. Стреляет его большая пушка в тупике Дофина против церкви Сен-Рок, стреляют его большие пушки на Королевском мосту; стреляют все его большие пушки, взрывая на воздух до 200 человек, главным образом около церкви Сен-Рок! Секция Лепелетье не может выдержать такой игры; ни один секционер не может устоять, 40 тысяч отступают со всех сторон и бегут, ища прикрытия. «Около сотни из них засели в Театре Республики, но несколько гранат вытеснили их оттуда. К шести часам все было кончено».

Корабль сошел с мели и свободно плывет к берегу среди криков и виватов. Гражданин Бонапарт «выбран единогласно командиром военных сил внутренней Франции»; усмирённые секции волей-неволей должны разоружиться: священное право восстания отменено навеки! Конституция Сиейеса может высадиться и пойти. Чудесный корабль Конвента достиг берега и превратился, говоря образно, как корабли эпических поэм, в своего рода морскую нимфу, чтобы никогда более не плавать и представлять собой чудо истории.

«Неправда, — говорит Наполеон, — что мы стреляли сначала холостыми зарядами; это было бы напрасной тратой времени». Да, это неправда: пальба производилась самыми разрушительными снарядами; для всех было ясно, что это не шутка. До сих пор видны разбитые ими в щепы желоба и плитусы церкви Сен-Рок. Странно: прежде, во времена Брולי, шесть лет назад, такими залпами картечи грозили, но не могли исполнить угрозу, да это и не помогло бы тогда. Только теперь настало для этого время и явился нужный человек. Вот он пришел к вам, и явление, которое мы обозначаем словами «Французская революция», развеяно им в прах и стало делом прошлого!

Глава восьмая

FINIS

Эпос Гомера, как замечено, подобен барельефу скульптуры: он не имеет заключения, а просто обрывается. Таков на самом деле и эпос самой всеобщей истории. Во Франции директория, консульство, империя, реставрация, буржуазное королевство чередуются одно за другим, вытекают одно из другого. Однако прародительница их всех, можно сказать, рассеялась в воздух тем путем, который мы описали. Восстание Бабёфа в следующем году умрет при рождении, задушенное солдатами. Сенат, если он получит роялистский оттенок, может быть очищен солдатами, и 18-го фрюктидора он уступает при одном появлении штыков²⁷. Мало того, солдатские штыки могут быть применены к сенату à posteriori, могут заставить его прыгать в окно, даже без кровопролития, и вызвать 18-е брюмера²⁸. Нужные перемены должны произойти, но они подготавливаются интригами, кознями, а затем и правильными приказами, почти как обыкновенные перемены министерства. Не благодаря священному праву восстания вообще, а все более и более мягкими способами будут отныне совершаться события французской истории.

Признано, что эта директория, обладавшая вначале только тремя вещами: «старым столом, листом бумаги и банкой чернил», без всяких признаков денег или денежных сделок²⁹ совершила чудеса. Франция, пребывавшая в мире со времени царства террора, стала новой Францией, очнувшейся, подобно великану, от оцепенения, и продолжала свою внутреннюю жизнь, непрерывно развиваясь. Что касается внешнего образа и форм жизни, то что же мы можем еще сказать, кроме того, что от питания получается сила, а от безрассудства не может получиться мудрости? Обманчивое сожжено; мало того, — что также является особенностью Франции — самые названия обманчивого уничтожены. Новые реальности еще не явились. Ах, нет, пока имеются только призраки, бумажные образцы, соблазнительные прототипы их! Во Франции теперь четыре миллиона земельных держаний; известный мрачный прообраз аграрного закона как бы осуществлен. Еще более странно то, что все французы имеют «право дуэли»: извозчик может вызвать на дуэль пэра, если тот нанесет ему оскорбление; таков закон общественного мнения. Равенство по крайней мере в смерти! Форма правления — мещанский король, в которого не раз уже стреляли, но еще не попали.

Итак, в общем, не исполнилось ли то, что было предсказано, *ex postfactum* правда, архишарлатаном Калиостро или каким-нибудь другим? Он, дивясь на все происходящее, в экста- тическом прозрении сказал³⁰: «Ха, что это? Ангелы, Уриель, Анахиель и вы, другие, пятеро; пятиугольник омоложения, сила, уничтожающая первородный грех; земля, небо и ты, внешняя темница, которую люди называют адом! Не царство ли обмана колеблется, вспыхивает там в сверкающем блеске, рассыпая лучи света из своего темного лона; как оно корчится, не в родо- вых, а в смертных муках! Да, лучи света, пронизывающие, яркие, приветствующие небо, — вот они зажигают это царство лжи; их сияние становится ярким, словно адский огонь!

Обман в пламени, обман сгорел; одно красное море огня, дико вздымающееся, покрывает мир, своими огненными языками лижет самые звезды. Троны низвергнуты в него, и митры Дюбуа, и пребендные скамейки, с которых капает жир, и — что вижу я? — все кабриолеты на свете: все! все! Горе мне! Никогда со времени колесниц фараона в Красном море не было еще подобного этому уничтожения повозок в море огня. Уничтоженные, как пепел, как газы, будут они носиться по ветру.

Все выше и выше разгорается огненное море, треща свежими, вывороченными деревь- ями, обжигая глаза и кожу. Металлические образа расплавились; мраморные изображения пре- вратились в известку; каменные горы угрюмо разверзаются. Благопристойность со всеми каб- риолетами, зажженными для погребального костра, рыдая, покидает землю, не с тем, чтобы возвратиться невредимой при новом Аватаре. Горит обман в продолжение поколений; сгорел он, уничтожен на время. Мир черен, как зола; когда, о когда он зазеленеет? Все образа превращены в бесформенную коринфскую медь; все жилища людей уничтожены; самые горы обнажены и расщеплены; долины мрачны и мертвы: это пустой мир! Горе тем, кто будет рожден тогда! Ко- роль, королева (о горе!) были ввергнуты туда, зашелестели и с треском взлетели вверх, подобно свертку бумаги. Искарриот-Эгалите также был ввергнут; и ты, жестокий Делонэ со своей жестокой Бастилией; целые семьи с их близкими; пять миллионов истребляющих друг друга людей. И это потому, что настал конец царства обмана (который есть мрак и густой дым). И сжигаются неуга- симым огнем все кабриолеты на свете». Разве не исполнилось и не исполняется это пророчество? — спрашиваем мы.

Теперь, читатель, пришло время нам расстаться. Утомительным было наше совместное путешествие, и не без неприятностей, но оно закончено. Для меня ты был как бы любимой те- нью, бестелесным или еще не воплощенным духом брата. А я для тебя был только голосом. И однако, наши взаимные отношения были в некотором роде священны, верь мне! Ибо каким бы пустым звуком ни сделалось все священное, но, когда голос человека говорит с человеком, раз- ве он для тебя не живой источник, из которого истекает и будет истекать все священное? Чело- век по природе своей может быть определен как «воплощенное слово». Не делает мне чести, если я сказал тебе какую-нибудь ложь; но и тебе следовало понимать меня верно. Прощай.

Примечания

БАСТИЛИЯ

Книга I

¹ Arbégé Chronologique de l'Histoire de France. P., 1775. P. 701.

² Mémoires de M. le Baron-Besenvall (далее: Besenvall). P., 1805. Т. I—III. P. 59-90.

³ Young A. Travels during the Years 1787-88-89. Bury St. Edmunds, 1792. Т. I. P. 44.

⁴ La Vie et les Mémoires du Général Dumouriez. P., 1822. Т. I. P. 141.

⁵ Besenvall. Т. II. P. 21.

- ⁶ *Dulaure*. Histoires de Paris. P., 1824. T. VII. P. 328.
- ⁷ Mémoires sur la Vie privée de Marie-Antoinette, par Madame Campan (далее: Campan). P., 1826. T. I. P. 12.
- ⁸ Histoire de la Révolution Française par Deux Amis de la Liberté (далее: Deux Amis de la Liberté). P., 1792. T. II. P. 212.
- ⁹ *Lacretelle*. Histoire de France pendant le XVIIIe siècle. P., 1819. T. I. P. 271.
- ¹⁰ *Dulaure*. Op. cit. T. VII. P. 261.
- ¹¹ *Lacretelle*. Op. cit. T. III. P. 175.
- ¹² Chesterfield's Letters. 1753. 25. XII.
- ¹³ *Dulaure*. Op. cit. T. VIII. P. 217; Besenval.
- ¹⁴ Campan. T. I, II. P. 36.
- ¹⁵ Besenval. T. I. P. 199.
- ¹⁶ Campan. T. III. P. 39.
- ¹⁷ Journal de Madame de Hausset. P. 293.
- ¹⁸ Campan. T. I. P. 197.
- ¹⁹ Gregorius Turonensis. Histor. lib. IV. cap. 21.
- ²⁰ Besenval. T. I. P. 159-172. Genlis; DucdeLevis etc.
- ²¹ *Weber*. Mémoires concernant Marie-Antoinette. L., 1809. T. I. P. 22.

Книга II

- ¹ Письмо Тюрго от 24 августа 1774 г. Condorcet, Vie de Turgot (Oeuvres de Condorcet. T. V). P. 67.
- ² Campan. T. I. P. 125.
- ³ Ibid. P. 100-151; *Weber*. Op. cit. T. I. P. 11-50.
- ⁴ Besenval. T. II. P. 282-330.
- ⁵ *Mercier*. Nouveau Paris. T. III. P. 147.
- ⁶ A. D. 1834.
- ⁷ *Lacretelle*. Op. cit. T. II. P. 455. Biographie Universelle. § Turgot (par Durozior).
- ⁸ Mémoires de Mirabeau, écrits par lui-même, par son Père, son Oncle et son Fils Adoptif (1834-1835) (далее: Fils Adoptif). T. II. P. 186.
- ⁹ *Boissy d'Anglas*. Vie de Malesherbes. T. I. P. 15-22.
- ¹⁰ Oeuvres de Beaumarchais, где они приведены и рассказана история.
- ¹¹ Annual Register (Dodsley's). 1782. IX-X. Vol. XXV. P. 258-267.
- ¹² *Mercier*. Tableau de Paris. T. II. P. 51; *Louvet*. Roman de Faublas.
- ¹³ *Аделунг*. История человеческой глупости. § Додд.
- ¹⁴ *Dulaure*. Op. cit. T. VIII. P. 423. ¹⁵ *Lacretelle*. Op. cit. T. III. P. 258.
- ¹⁶ Fils Adoptif. T. IV. Pt 3. P. 25; Carlyle's Biographical Essays, § Diamond Necklace. § Count Cagliostro.

Книга III

- ¹ Besenval. T. III. P. 255-258.
- ² Ibid. P. 216.
- ³ Fils Adoptif. T. IV. Pt 4. P. 5.
- ⁴ Biographie universelle. § Galonné (by Guizot).
- ⁵ *Lacretelle*. Op. cit. T. III. P. 286; *Montgaillard*. Histoire de France. T. I. P. 347.
- ⁶ *Dumont*. Souvenirs sur Mirabeau. P., 1832. P. 20.

- ⁷ Besenval. T. III. P. 196.
- ⁸ Ibid. P. 203.
- ⁹ Перепечатано в: Musée de la Caricature. P., 1834.
- ¹⁰ Besenval. T. III. P. 209.
- ¹¹ Ibid. P. 211.
- ¹² Ibid. P. 224.
- ¹³ *Montgaillard*. Op. cit. T. I. P. 410-417.
- ¹⁴ Besenval. T. III. P. 220.
- ¹⁵ *Montgaillard*. Op. cit. T. I. P. 360.
- ¹⁶ Dumont. Op. cit. P. 21.
- ¹⁷ *Toulangeon*. Histoire de France depuis la Révolution de 1789. P., 1803. T. I. App. 4.
- ¹⁸ *Lameth A.* Histoire de l'Assemblée Constituante (Intr. 73).
- ¹⁹ Abrège Chronologique... P. 975.
- ²⁰ Biographie universelle. § Lally.
- ²¹ *Montgaillard*. Op. cit. P. 369; Besenval.
- ²² *Montgaillard*. Op. cit. T. I. P. 373
- ²³ Fils Adoptif. T. IV. PU. P 5.
- ²⁴ *Montgaillard*. Op. cit. T. I. P. 374; Besenval. T. III. P. 283
- ²⁵ *Dulaure*. Op. cit. T. VI. P. 306.
- ²⁶ Besenval. T. III. P. 309.
- ²⁷ *Weber*. Op. cit. P. 266.
- ²⁸ Besenval. T. III. P. 264.
- ²⁹ Mémoires justificatifs de la Comtesse de Lamotte. L., 1788. Vie de Jeanne de St. Rémi, Comtesse de Lamotte.
- ³⁰ *Lacretelle* Op. cit. T. III. P. 343, *Montgaillard*. Op. cit. T I
- ³¹ Besenval. T. III. P. 317.
- ³² *Montgaillard*. Op. cit. T. I. P. 405.
- ³³ *Weber*. Op. cit. T. I. P. 276.
- ³⁴ Ibid. P. 283.
- ³⁵ Besenval. T. III. P. 355.
- ³⁶ *Montgaillard*. Op. cit. P. 404.
- ³⁷ *Weber*. Op. cit. T. I. P. 299-303.
- ³⁸ A. F. de Bertrand-Moleville. Mémoires particuliers (далее: *Bertrand-Moleville*). P., 1816. T. I. Ch. 1; *Marmontel*. Mémoires. L., 1805. Vol. IV. P. 27.
- ³⁹ *Montgaillard*. Op. cit. T. I. P. 308.
- ⁴⁰ Besenval. T. III. P. 348.
- ⁴¹ La Cour plénière, héroï-tragicomédie en trois actes et en prose; jouée le 14 Juillet 1788, par une société d'amateurs dans un Château aux environs de Versailles, par M. l'Abbé de Vermond, Lecteur de la Reine: A Bâville (Lamoignon's Country-house) et se trouve à Paris, chez la veuve Liberté, à l'enseigne de la Révolution, 1788. — La passion, la Mort et la Résurrection du peuple. Imprimé à Jérusalem; *Montgaillard*. Op. cit. T. I. P. 407.
- ⁴² *Weber*. Op. cit. T. I. P. 275.
- ⁴³ *Lameth A.* Op. cit. P. 87.
- ⁴⁴ *Montgaillard*. Op. cit. T. I. P. 424.
- ⁴⁵ Mémoires de Morellet.
- ⁴⁶ *Marmontel*. Op. cit. T. IV. P. 30.

- ⁴⁷ Campan. T. III. P. 104, 111.
- ⁴⁸ Besenval. T. III. P. 360.
- ⁴⁹ Weber. Op. cit. T. I. P. 339.
- ⁵⁰ Ibid. P. 341.
- ⁵¹ Besenval. T. III. P. 366.
- ⁵² Weber. Op. cit. T. I. P. 342.
- ⁵³ Histoire Parlementaire de la Révolution Française; ou Journal des Assemblées Nationales depuis 1789. P., 1833. T. I. P. 253; Lameth A. Op. cit. P. 89.
- ⁵⁴ Histoire de la Révolution // Deux Amis de la Liberté. T. I. P. 50.
- ⁵⁵ Ibid. P. 58.

Книга IV

- ¹ Montgaillard. Op. cit. T. I. P. 461.
- ² Weber. Op. cit. T. I. P. 347.
- ³ Mémoire sur les Etats-Généraux.
- ⁴ Délibérations à prendre pour les Assemblées des Bailliages.
- ⁵ Mémoire présenté au Roi, par Monseigneur Comte d'Artois. M. le Prince de Condé. M. le Duc de Bourbon, M. le Duc d'Enghien, et M. le Prince de Conti // Histoire Parlementaire. T. I. P. 256.
- ⁶ Marmontel. Op. cit. T. IV. P. 33; Histoire Parlementaire.
- ⁷ Rapport fait au Roi dans son Conseil, le 27 Décembre 1788.
- ⁸ Règlement du Roi // Histoire Parlementaire. T. I. P. 267-307.
- ⁹ Bailly. Mémoires (Collection de Bereille et Barrière). T. I. P. 336.
- ¹⁰ Histoire Parlementaire. T. I. P. 287; Deux de la liberté. T. I. P. 105-128.
- ¹¹ Fils Adoptif. T. V. P. 256.
- ¹² Deux Amis de la Liberté. T. I. P. 141.
- ¹³ Lacretelle. Op. cit. T. II. P. 155.
- ¹⁴ Besenval. T. III. P. 385-388.
- ¹⁵ Evénements, qui se sont passés sous mes yeux pendant la Révolution Française, par A. H. Dampmartin. B., 1799. T. I. P. 25-27.
- ¹⁶ Besenval. T. III. P. 389.
- ¹⁷ De Staël. Considérations sur la Révolution Française. L., 1818. T. I. P. 114-191.
- ¹⁸ Founders of the French République. L., 1798. § Valadi.
- ¹⁹ De Staël. Considérations... T. II. P. 142; Mémoires de Barbaroux. P., 1822.
- ²⁰ Histoire Parlementaire. T. I. P. 335.
- ²¹ Actes des Apôtres; Almanach du Père Gérard.
- ²² Moniteur. 1789. I. XII (Histoire Parlementaire).
- ²³ Dumont. Op. cit. P. 64.
- ²⁴ A. D. 1834.
- ²⁵ Histoire Parlementaire. T. I. P. 322-27.
- ²⁶ Mercier. Nouveau Paris.
- ²⁷ Histoire Parlementaire. T. I. P. 356; Mercier. Nouveau Paris.

Книга V

- ¹ Reported Debates of 6th May to 1st June 1789 // Histoire Parlementaire. T. I. P. 379-422.
- ² Moniteur (Histoire Parlementaire. T. I. P. 405).

- ³ Histoire Parlementaire. T. I. P. 429.
- ⁴ *Young A.* Op. cit. T. I. P. 104.
- ⁵ *Bailly.* Op. cit. T. I. P. 114.
- ⁶ Histoire Parlementaire. T. I. P. 413.
- ⁷ Compte rendu des débats du 1er au 17 juin 1789 // Histoire Parlementaire. T. I. P. 422-478.
- ⁸ *Bailly.* Op. cit. T. I. P. 185-206.
- ⁹ *Young A.* Op. cit. T. I. P. 115-118; *Lameth A.* Op. cit.
- ¹⁰ *Dumont.* Op. cit. P. 4.
- ¹¹ Histoire Parlementaire. T. I. P. 13.
- ¹² Moniteur (Histoire Parlementaire. T. II. P. 22).
- ¹³ *Montgaillard.* Op. cit. T. II. P. 38.
- ¹⁴ Histoire Parlementaire. T. II. P. 26.
- ¹⁵ *Bailly.* Op. cit. T. I. P. 217.
- ¹⁶ Histoire Parlementaire. T. II. P. 23.
- ¹⁷ *Montgaillard.* Op. cit. T. II. P. 47.
- ¹⁸ *Young A.* Op. cit. T. I. P. 119.
- ¹⁹ *Lameth A.* Op. cit. T. I. P. 41.
- ²⁰ Besenval. T. III. P. 398.
- ²¹ *Mercier.* Tableau de Paris. T. VI. P. 22.
- ²² Histoire Parlementaire.
- ²³ Dictionnaire des Hommes Marquans. L.; P., 1800. T. II. P. 193.
- ²⁴ Besenval. T. II. P. 394-396.
- ²⁵ Histoire Parlementaire. T. II. P. 32.
- ²⁶ *Dusaulx.* Prise de la Bastille. Collection des Mémoires par Berville et Barrière. P., 1821. P. 269.
- ²⁷ Avis au peuple, ou les Ministres dévoilés, 1st July 1789 (Histoire Parlementaire. T. II. P. 37).
- ²⁸ Besenval. -T. III. P. 411.
- ²⁹ Histoire Parlementaire., T. II. P. 81.
- ³⁰ Ibidem.
- ³¹ *Weber.* Op. cit. T. II. P. 75-91.
- ³² Histoire Parlementaire. T. II. P. 96.
- ³³ *Dusaulx.* Op. cit. P. 290.
- ³⁴ *Lameth A.* Ferneres.
- ³⁵ Deux Amis de la Liberté. T. I. P. 312.
- ³⁶ Fils Adoptif. T. VI. Pt 1. P. 1.
- ³⁷ Besenval. T. III. P. 414.
- ³⁸ Tableaux de la Révolution, Prise de la Bastille.
- ³⁹ Deux Amis de la Liberté. T. I. P. 302.
- ⁴⁰ Besenval. T. III. P. 416.
- ⁴¹ Fauchet's Narrative // Deux Amis de la Liberté. T. I. P. 324.
- ⁴² Deux Amis de la Liberté. T. I. P. 319; *Dusaulx.* Op. cit.
- ⁴³ Deux Amis de la Liberté. T. I. P. 267-306; Besenval. T. III. P. 410-434; *Dusaulx.* Op. cit. P. 291-301; *Bailly.* Op. cit. T. I. P. 322.
- ⁴⁴ Помечено: à la Bastille 7 octobre 1752; подписано: Quéret — Démery. Bastille Dévoilée; (Linguet) Mémoires sur la Bastille. P., 1821. P. 199.
- ⁴⁵ *Dusaulx.* Op. cit.

- ⁴⁶ Biographie Universelle. Moreau Saint-Méry.
⁴⁷ *Weber*. Op. cit. T. II. P. 126.
⁴⁸ Campan. T. II. P. 46-64.
⁴⁹ *Toulougeon*. Op. cit. T. I. P. 95; *Weber*. Op. cit.
⁵⁰ Histoire Parlementaire. T. II. P. 146-149.
⁵¹ Deux Amis de la Liberté. T. II. P. 60-66.
⁵² *Dumont*. Op. cit. P. 305.
⁵³ *Dulaure*. Op. cit. T. VIII. P. 434.
⁵⁴ Moniteur. Séance du Samedi 18 juillet 1789 // Histoire Parlementaire. T. II. P. 137.
⁵⁵ *Dusaulx*. Op. cit. P. 447.

Книга VI

- ¹ *Young A.* Op. cit. T. I. P. III.
² Biographie Universelle. § D'Espréménil (Beau-lieu).
³ Dictionnaire des Hommes Marquans. T. II. P. 519.
⁴ Moniteur. N 67 (Histoire Parlementaire).
⁵ *Dumont*. Op. cit. P. 255.
⁶ Ibid. P. 159-167; *Young A.* Op. cit.
⁷ Besenval. T. III. P. 419.
⁸ *Young A.* T. I. P. 165.
⁹ A. D. 1835.
¹⁰ *Montgaillard*. Op. cit. T. II. P. 108.
¹¹ *Young A.* Op. cit. T. I. P. 129.
¹² Ibid. P. 137, 150.
¹³ Ibid. P. 134.
¹⁴ Histoire Parlementaire. T. II. P. 243-246.
¹⁵ *Young A.* Op. cit. T. I. P. 149.
¹⁶ Ibid. P. 12, 48, 84.
¹⁷ Histoire Parlementaire. T. II. P. 161.
¹⁸ *Young A.* Op. cit. T. I. P. 141; *Dampmartin*. Evénements qui se sont passés sous mes yeux. T. I. P. 105-127.
¹⁹ Biographie Universelle. § Necker (Lally-Tollendal).
²⁰ Письма Гиббона.
²¹ *Young A.* Op. cit. T. I. P. 176.
²² Histoire Parlementaire. T. III. P. 20; *Mercier*. Nouveau Paris.
²³ *Bailly*. Op. cit. T. II. P. 137-409.
²⁴ Histoire Parlementaire. T. II. P. 421.
²⁵ Ibid. P. 359, 417, 423.

Книга VII

- ¹ Histoire Parlementaire. T. II. P. 427.
² *Dumont*. Op. cit. P. 156.
³ Révolutions de Paris Newspaper // Histoire Parlementaire. T. II. P. 357.
⁴ Brouillon de Lettre de M. d'Estaing à la Reine // Histoire Parlementaire. T. III, P. 24.

⁵ Moniteur (Histoire Parlementaire. Т. III. P. 59); Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 128-141; Campan. Т. II. P. 70-85.

⁶ Газета Камиля Демулена — Révolutions de Paris et de Brabant (Histoire Parlementaire. Т. III. P. 108). В сноске спутаны названия двух газет революционного времени: издававшейся Камилем Демуленом «Революсьон де Франс э де Брабант» и издававшейся Прюдомом «Революсьон де Пари». — *Примеч. Л. Пименовой.*

⁷ Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 141-166.

⁸ *Dusaulx.* Op. cit. P. 281.

⁹ Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 157.

¹⁰ Histoire Parlementaire. Т. III. P. 310.

¹¹ Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 159.

¹² Ibid. Т. II. P. 177; Dictionnaire des Hommes Marquans. Т. II. P. 379.

¹³ Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 161.

¹⁴ Ibid. P. 165.

¹⁵ Histoire Parlementaire. Т. III. P. 70-117; Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 166-177.

¹⁶ *Mounter.* Exposé Justificatif (Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 185).

¹⁷ *Weber.* Op. cit. Т. II. P. 185-23К

¹⁸ Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 192-201.

¹⁹ *Weber.* Op. cit.

²⁰ Ibidem; Deux Amis de la Liberté.

²¹ Moniteur (Histoire Parlementaire. Т. III. P. 105).

²² Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 208.

²³ Courrier de Provence // Mirabeau's Newspaper. N 50. P. 19.

²⁴ Mémoire de M. le Comte de Lally-Tollendal. 1790. I. P. 161-165.

²⁵ Déposition de Lecointre // Histoire Parlementaire. Т. III. P. 111-115:

²⁶ Campan. Т. II. P. 75-87.

²⁷ *Toulangeon.* Op. cit. Т. I. P. 144.

²⁸ Ibid. App. 120.

²⁹ Rapport de Chabroud // Moniteur. 1789. 31. XII.

³⁰ *Toulangeon.* Op. cit. Т. I. P. 150.

³¹ *Mercier.* Nouveau Paris. Т. III. P. 21.

³² *Toulangeon.* Op. cit. Т. I. P. 134-161; Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 9.

КОНСТИТУЦИЯ

Книга I

¹ *Young A.* Op. cit. Т. I. P. 264-280.

² Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 10.

³ Le Château de Tuileries ou récit etc., Par Roussel // Histoire Parlementaire. Т. IV. P. 195-219.

⁴ Moniteur. N 65, 86, 1789. 29. IX; 7. XI.

⁵ *Dumont.* Op. cit. P. 278.

⁶ *Dampmartin.* Op. cit. Т. I. P. 208.

⁷ Deux Amis de la Liberté. Т. III. P. 14; Т. IV. P. 2, 3, 4, 7, 9, 14; Expédition des Volontaires de Brest sur Lannion; Les Lyonnais Sauveurs des Dauphinois; Massacre au Mans; Troubles du Maine (Histoire Parlementaire. Т. III. P. 251; Т. IV. P. 162-168).

⁸ Deux Amis de la Liberté. Т. IV. P. 14,7; Histoire Parlementaire. Т. VI. P. 384.

- ⁹ Mémoires de Barbaroux. P. 57.
- ¹⁰ Moniteur. 1789. 21. X. N 76.
- ¹¹ *Buzot*. Mémoires. P., 1823. P. 90.
- ¹² *Dumouriez*. Mémoires. T. I. P. 28.
- ¹³ *Dumont*. Op. cit. P. 399.
- ¹⁴ Moniteur. 1789. 10. XI; 7. XII.
- ¹⁵ *De Pauw*. Recherches sur les Grecs.
- ¹⁶ *Naigeon*. Adresse à l'Assemblée Nationale. P., 1790. Sur la liberté des opinions.
- ¹⁷ *Marmontel*. Op. cit.; Mémoires de Morellet, etc.
- ¹⁸ Hannah More's Life and Correspondence. T. II. P. 5.
- ¹⁹ *De Staël*. Mémoires. P., 1821. T. I. P. 169-280.
- ²⁰ *Dumont*. Op. cit. P. 6.
- ²¹ *Bertrand-Moleville*. Op. cit. T. II. P. 100.
- ²² *Dulaure*. Op. cit. T. VIII. P. 483; *Mercier*. Nouveau Paris.
- ²³ Histoire Parlementaire. T. VI. P. 334.
- ²⁴ *Bertrand-Moleville*. Op. cit. T. I. P. 241.
- ²⁵ Deux Amis de la Liberté. T. V. P. 7.
- ²⁶ *Ibid.* P. 199.
- ²⁷ Histoire Parlementaire. T. VII. P. 4.
- ²⁸ Отчеты и т. п. (Histoire Parlementaire. T. IX. P. 122-147).
- ²⁹ *Madame Roland*. Mémoires I (Discours Préliminaire. P. 23).
- ³⁰ Histoire Parlementaire. T. XII. P. 274.
- ³¹ Deux Amis de la Liberté. T. V. P. 122; Histoire Parlementaire.
- ³² Moniteur (Histoire Parlementaire. T. XII. P. 283).
- ³³ Deux Amis de la Liberté. T. IV. P. III.
- ³⁴ Histoire Parlementaire. T. IV. P. 44.
- ³⁵ *Ibid.* T. VI. P. 381-406.
- ³⁶ *Mercier*. Nouveau Paris. T. II. P. 81.
- ³⁷ Рассказ лотарингского федерата (Histoire Parlementaire. T. VI. P. 389-391).
- ³⁸ Deux Amis de la Liberté. T. V. P. 168.
- ³⁹ *Ibid.* P. 143-179.
- ⁴⁰ *Dampmartin*. Op. cit. T. I. P. 144-184.
- ⁴¹ *Dulaure*. Op. cit. T. VIII. P. 25.

Книга II

- ¹ *Bouille*. Mémoires. L., 1797. T. I. P. 8.
- ² Histoire Parlementaire. T. II. P. 35.
- ³ *Dampmartin*. Op. cit. T. I. P. 89.
- ⁴ *Ibid.* P. 122-146.
- ⁵ *Norvins*. Histoire de Napoléon. T. I. P. 47; *Las Cases*, Mémoires.
- ⁶ Moniteur. 1790. N 233.
- ⁷ *Bouille*. Op. cit. T. I. P. 113.
- ⁸ *Ibid.* P. 140-145.
- ⁹ Moniteur (Histoire Parlementaire. T. VII. P. 29).

- ¹⁰ Moniteur. Séance du 9 août 1790.
- ¹¹ Deux Amis de la Liberté. Т. V. P. 217.
- ¹² Bouille. Op. cit. Т. I. P. 9.
- ¹³ Deux Amis de la Liberté. Т. V. P. 8.
- ¹⁴ Ibid. P. 206-251. Газеты и документы (Histoire Parlementaire Т. VII. P. 59-162).
- ¹⁵ Сравни: Bouille. Op. cit. Т. I. P. 153-176; Deux Amis de la Liberté. Т. V. P. 251-271; Histoire Parlementaire.
- ¹⁶ Deux Amis de la Liberté. Т. V. P. 268.
- ¹⁷ Bouille. Op. cit. Т. I. P. 175.
- ¹⁸ Ami du Peuple (Histoire Parlementaire).
- ¹⁹ Knox's History of the Reformation.
- ²⁰ Dampmartin. Op. cit. Т. I. P. 249.

Книга III

- ¹ Dampmartin. Op. cit.
- ² Mercier. Nouveau Paris. Т. III. P. 163.
- ³ Histoire Parlementaire. Т. VII. P. 51.
- ⁴ Ami du Peuple. N 306. См. другие выдержки в: Histoire Parlementaire. Т. VIII. P. 139-149. 428-433; Т. IX. P. 85-93.
- ⁵ Dampmartin. Op. cit. P. 184.
- ⁶ De Bello Gallico. Lib. IV. P. 5.
- ⁷ Brissot C. Patriote-Français Newspaper; Fauchet. Bouche-de-Fer // Histoire Parlementaire. Т. VIII. P. IX.
- ⁸ Газета Камиля Демулена (Histoire Parlementaire. Т. IX. P. 366-385).
- ⁹ Moniteur. Séance du 21 août 1790.
- ¹⁰ Révolutions de Paris // Histoire Parlementaire. Т. VIII. P. 440.
- ¹¹ Histoire Parlementaire. Т. VII. P. 316; Bertrand-Moleville. Op. cit.
- ¹² Campan. Т. II. P. 105.
- ¹³ Ibid. P. 199-201.
- ¹⁴ Dampmartin. Op. cit. Т. II. P. 129.
- ¹⁵ Mercier. Nouveau Paris. Т. III. P. 204.
- ¹⁶ Campan. Т. II. P. 17.
- ¹⁷ Dumont. Op. cit. P. 211.
- ¹⁸ Correspondance Secrète // Histoire Parlementaire. Т. VIII. P. 169-173.
- ¹⁹ Carra's Newspaper. 1791. 1. II (Histoire Parlementaire. Т. IX. P. 39).
- ²⁰ Campan. Т. II. P. 132.
- ²¹ Montgaillard. Op. cit. Т. II. P. 282; Deux Amis de la Liberté. Т. VI. P. 1.
- ²² Montgaillard. Op. cit. Т. II. P. 285.
- ²³ Deux Amis de la Liberté. Т. VI. P. 11-15; Histoire Parlementaire. Т. IX. P. 111-117.
- ²⁴ Weber. Op. cit. Т. II. P. 286.
- ²⁵ Histoire Parlementaire. Т. IX. P. 139-148.
- ²⁶ Montgaillard. Op. cit. Т. II. P. 286.
- ²⁷ Mercier. Nouveau Paris. Т. II. P. 40, 202.
- ²⁸ Ordonnance du 17 mars 1791 // Histoire Parlementaire. Т. IX. P. 257.
- ²⁹ Fils Adoptif. Т. VII. Pt I. P. 6; Dumont. Op. cit. P. 11, 12, 14.

- ³⁰ Fils Adoptif. T. VII. Pt I. P. 6.
- ³¹ *Dumont*. Op. cit. P. 311.
- ³² *Ibid*. P. 267.
- ³³ Fils Adoptif. T. VIII. P. 420-479.
- ³⁴ *Ibid*. P. 450; Journal de la maladie et de la mort de Mirabeau, par P. J. G. Cabanis. P., 1803.
- ³⁵ *Henault*. Abrégé Chronologique, 429.
- ³⁶ Fils Adoptif. T. VIII. Pt I. P. 10; Histoire Parlementaire. T. IX. P. 366-402.
- ³⁷ Histoire Parlementaire. T. IX. P. 405.
- ³⁸ *Moniteur*. 1791. 13. VII.
- ³⁹ *Ibid*. 1794. 18. IX; 1791. 30. VIII.
- ⁴⁰ *Dumont*. Op. cit. P. 287.

Книга IV

- ¹ *Toulangeon*. Op. cit. T. I. P. 262.
- ² Газеты за апрель и июнь 1791 г. (*Histoire Parlementaire*. T. IX. P. 449; T. X. P. 217).
- ³ *Deux Amis de la Liberté*. T. VI. P. 1; *Histoire Parlementaire*. T. IX. P. 407-414.
- ⁴ *Deux Amis de la Liberté*. T. V. P. 410-21; *Dumouriez*. Op. cit. T. II. P. 5.
- ⁵ *Histoire Parlementaire*. T. X. P. 99-102.
- ⁶ *Campan*. T. II. P. 18.
- ⁷ *Bouille*. Op. cit. T. II. P. 10.
- ⁸ *Moniteur*. Séance du 23 avril 1791.
- ⁹ *Choiseul*. Relation du Départ de Louis XVI. P., 1822. P. 39.
- ¹⁰ *Campan*. T. II. P. 141.
- ¹¹ *Weber*. Op. cit. T. II. P. 340-342; *Choiseul*. Op. cit. P. 44-56.
- ¹² *Henault*. Abrégé Chronologique. P. 36.
- ¹³ *Deux Amis de la Liberté*. T. VI. P. 67-178; *Toulangeon*. Op. cit. T. II. P. 1-38; Camille, Prudhomme etc. (*Histoire Parlementaire*. T. X. P. 240-244).
- ¹⁴ *Walpoliana*.
- ¹⁵ *Dumont*. Op. cit. P. 16.
- ¹⁶ *Dumouriez*. Op. cit. T. II. P. 109.
- ¹⁷ *Madame Roland*. Op. cit. T. II. P. 70.
- ¹⁸ *Moniteur* (*Histoire Parlementaire*. T. X. P. 244-253).
- ¹⁹ Déclaration du Sieur La Gâche du régiment Royal dragons // *Choiseul*. Op. cit. P. 125-139.
- ²⁰ Rapport de M. Remy // *Choiseul*. Op. cit. P. 143.
- ²¹ Déclaration de La Gâche... // *Choiseul*. Op. cit. P. 125-139.
- ²² *Ibid*. P. 134.
- ²³ *Campan*. T. II. P. 159.
- ²⁴ Procès-verbal du Directoire de Clermont // *Choiseul*. Op. cit. P. 189-195.
- ²⁵ *Deux Amis de la Liberté*. T. VI. P. 139-178.
- ²⁶ Rapport de M. Aubriot // *Choiseul*. Op. cit. P. 150-157.
- ²⁷ Extrait d'un rapport de M. DesIons // *Choiseul*. Op. cit. P. 164-167.
- ²⁸ *Bouille*. Op. cit. T. II. P. 74-6a.
- ²⁹ Déclaration du Sieur Thomas // *Choiseul*. Op. cit. P. 188.
- ³⁰ *Weber*. Op. cit. T. II. P. 386.
- ³¹ Rapport de M. Aubriot. P. 158.

- ³² *Mercier*. Nouveau Paris. T. III. P. 22.
- ³³ Campan. T. II. P. 18.
- ³⁴ *Ibid.* P. 149.
- ³⁵ *Bouille*. Op. cit. T. II. P. 101.
- ³⁶ *Madame Roland*. Op. cit. T. II. P. 74.
- ³⁷ Histoire Parlementaire. T. XI. P. 104-7.
- ³⁸ *Ibid.* P, 113.

Книга V

- ¹ *Toulangeon*. Op. cit. T. II. P. 56, 59.
- ² Histoire Parlementaire. T. XIII. P. 73.
- ³ *De Staël*. Considérations. T. I. P. 23.
- ⁴ Choix des Rapports. P., 1825. T. VI. P. 239-317.
- ⁵ Moniteur (Histoire Parlementaire. T. XI. P. 473).
- ⁶ *Dumouriez*. Op. cit. T. II. P. 150.
- ⁷ *Ibid.* P. 370.
- ⁸ Choix des Rapports. T. XI. P. 25.
- ⁹ Moniteur. Séance du 4 octobre 1791.
- ¹⁰ *Montgaillard*. Op. cit. T. III. Pt I. P. 237.
- ¹¹ Moniteur. Séance du 6 juillet 1792.
- ¹² *Dampmartin*. Op. cit. T. I. P. 267.
- ¹³ Mémoires de Barbaroux. P. 26.
- ¹⁴ Lescène Desmaisons. Compte rendu à l'Assemblée Nationale, 10 septembre, 1791 (Choix des Rapports. T. VII. P. 273-93).
- ¹⁵ Procès-verbal de la Commune d'Avignon (Histoire Parlementaire. T. XII. P. 419-23).
- ¹⁶ *Dampmartin*. Op. cit. T. I. P. 251-94.
- ¹⁷ *Ibidem*.
- ¹⁸ Deux Amis de la Liberté. T. VII. P., 1797. P. 59-71.
- ¹⁹ Mémoires de Barbaroux. P. 21; Histoire Parlementaire. T. XIII. P. 421-4.
- ²⁰ *Dumont*. Op. cit. P. 374.
- ²¹ *Dumouriez*. Op. cit. T. II. P. 129.
- ²² Histoire Parlementaire. T. XII. P. 131, 141; T. XIII. P. 114, 417.
- ²³ Deux Amis de la Liberté. T. X. P. 157.
- ²⁴ Débats des Jacobins // Histoire Parlementaire. T. XIII. P. 171, 92-98.
- ²⁵ Campan. T. II. P. 177, 202.
- ²⁶ *Bertrand-Moleville*. Op. cit. T. I. P. 4.
- ²⁷ *Ibid.* P. 370.
- ²⁸ *Ibid.* P. 17.
- ²⁹ *Montgaillard*. Op. cit. T. III. P. 41.
- ³⁰ *Bertrand-Moleville*. Op. cit. T. I. P. 177.
- ³¹ *Toulangeon*. Op. cit. T. I. P. 256. ³² Annual Register. 1792. 30. III. P. 11. ³³ *Toulangeon*. Op. cit. T. II. P. 100-117.
- ³⁴ *Montgaillard*. Op. cit. T. III. P. 5-17; *Toulangeon*. Op. cit. P. 100-117.
- ³⁵ Histoire Parlementaire. T. XIII. P. 11-38, 41-61, 358.
- ³⁶ Moniteur. Séance du 2 novembre 1791 (Histoire Parlementaire. T. XII. P. 212).

- ³⁷ *Ami du Roi* (Histoire Parlementaire. T. XIII. P. 175).
- ³⁸ *Moniteur*. Séance du 23 janvier 1792; *Biographie des Ministres*. § Narbonne.
- ³⁹ *Dumouriez*. Op. cit. T. II. P. 6.
- ⁴⁰ *Dampmartin*. Op. cit. T. I. P. 201.
- ⁴¹ *Moniteur*. Séance de 15 juillet 1792.
- ⁴² Декабрь 1791 г. (Histoire Parlementaire. T. XII. P. 257).
- ⁴³ *Moniteur*. Séance du 28 mai 1792; *Campan*. T. H. P. 196.
- ⁴⁴ *Dumouriez*. Op. cit. T. II. P. 168. ⁴⁵ *Campan*. T. II. P. 19.
- ⁴⁶ *Moniteur*. 1792. 7. IV; *Deux Amis de la Liberté*. T. VII. P. 111.
- ⁴⁷ *Moniteur*. Séances (Histoire Parlementaire. T. XIII, XIV).
- ⁴⁸ *Dumouriez*. Op. cit. T. II. P. 137.
- ⁴⁹ 16 февраля 1792 (Choix des Rapports. T. VIII. P. 375-92).
- ⁵⁰ *Courrier de Paris*. 1792. 14. I (Gorsas's Newspaper) (Histoire Parlementaire. T. XIII. P. 83).
- ⁵¹ *Mémoires de Barbaroux*. P. 94.
- ⁵² *Moniteur*. Séance du 29 mars 1792. ⁵³ *Toulangeon*. Op. cit. T. II. P. 124.
- ⁵⁴ *Débats des Jacobins // Histoire Parlementaire*. T. XIII. P. 259.
- ⁵⁵ *Dumont*. Op. cit. P. 20, 21.
- ⁵⁶ *Madame Roland*. Op. cit. T. II. P. 80-115.
- ⁵⁷ *Deux Amis de la Liberté*. T. VII. P. 146-66.
- ⁵⁸ *Dumont*. Op. cit. P. 19, 21.
- ⁵⁹ Газеты за февраль, март, апрель 1792 г. Стихотворение Андре Шенье «На праздник швейцарцев» (Histoire Parlementaire. T. XIII, XIV).
- ⁶⁰ *Patriote Français* (газета Бриссо) // *Histoire Parlementaire*. T. XIII. P. 451.
- ⁶¹ *Toulangeon*. Op. cit. T. II. P. 149.
- ⁶² *Moniteur*. Séance du 10 juin 1792.
- ⁶³ *Débats des Jacobins // Histoire Parlementaire*. T. XIV. P. 429.
- ⁶⁴ *Madame Roland*. Op. cit. T. II. P. 115.
- ⁶⁵ *Moniteur*. Séance du 18 juin 1792.
- ⁶⁶ *Mémoires de Barbaroux*. P. 40.
- ⁶⁷ *Roederer* (Histoire Parlementaire. T. XV. P. 98-194).
- ⁶⁸ *Toulangeon*. Op. cit. T. II. P. 173; *Campan*. T. II. P. 20.

Книга VI

- ¹ *Moniteur*. Séance du 28 juin 1792.
- ² *Débats des Jacobins // Histoire Parlementaire*. T. XV. P. 235.
- ³ *Toulangeon*. Op. cit. T. II. P. 180; *Dampmartin*. Op. cit. T. II. P. 161.
- ⁴ *Histoire Parlementaire*. T. XVI. P. 259.
- ⁵ *Moniteur*. Séance du 10 juillet 1792.
- ⁶ *Dumouriez*. Op. cit. T. II. P. 1, 5.
- ⁷ *Dampmartin*. Op. cit. T. II. P. 183.
- ⁸ *Mémoires de Barbaroux*. P. 40, 41.
- ⁹ *Dampmartin*. Op. cit.
- ¹⁰ A. D. 1836.

- ¹¹ Campan. Т. II. P. 20; *De Staël*. Mémoires. Т. II. P. 7.
- ¹² Moniteur. Séance du 21 juillet 1792.
- ¹³ Histoire Parlementaire. Т. XVI. P. 185.
- ¹⁴ Tableau de la Révolution. § Patrie en Danger.
- ¹⁵ Moniteur. Séance du 25 juillet 1792.
- ¹⁶ Annual Register (1792). P. 236.
- ¹⁷ Mémoires de Barbaroux. P. 60.
- ¹⁸ Газеты, рассказы и документы (Histoire Parlementaire. Т. XV. P. 240; Т. XVI. P. 399).
- ¹⁹ Deux Amis de la Liberté. Т. VIII. P. 90-101.
- ²⁰ Histoire Parlementaire. Т. XVI. P. 196; Mémoires de Barbaroux. P. 54-55.
- ²¹ Moniteur. Séances du 30, 31 juillet 1792 (Histoire Parlementaire. Т. XVI. P. 197-210).
- ²² Histoire Parlementaire. Т. XVI. P. 337-339.
- ²³ *Bertrand-Moleville*. Op. cit. Т. II. P. 129.
- ²⁴ Deux Amis de la Liberté. Т. VIII. P. 129-188.
- ²⁵ Roederer à la Barre. Séance du 9 Août (Histoire Parlementaire. Т. XVI. P. 393).
- ²⁶ Roederer. Chronique de Cinquante Jours; Récit de Pétion; Мемуары городской ратуши (Histoire Parlementaire. Т. XVI. P. 399-466).
- ²⁷ Roederer. Chronique de Cinquante Jours.
- ²⁸ Документы секций; Документы городской ратуши (Histoire Parlementaire).
- ²⁹ Roederer. Chronique de Cinquante Jours.
- ³⁰ *Toulangeon*. Op. cit. Т. II. P. 241.
- ³¹ Deux Amis de la Liberté. Т. VIII. P. 179-88.
- ³² Histoire Parlementaire. Т. XVII. P. 56; *Las Cases*. Op. cit.
- ³³ Moore's Journal. Дневник во время пребывания во Франции (Дублин 1793) I, 26.
- ³⁴ Histoire Parlementaire, Т. XVII. P. 300-318. (Отчет капитана канонеров; Отчет коменданта).
- ³⁵ Саграп. Т. II. P. 21.
- ³⁶ Moniteur. Séance du. 10 Août 1792.
- ³⁷ *Montgaillard*. Op. cit. Т. II. P. 135-167.

ГИЛЬОТИНА

Книга I

- ¹ Moore's Journal. Т. I. P. 85.
- ² Histoire Parlementaire. Т. XVII. P. 467.
- ³ Ibid. P. 437.
- ⁴ *Buzot*. Op. cit. P. 88.
- ⁵ Moore's Journal. Т. I. P. 159-168.
- ⁶ Histoire Parlementaire. Т. XVII P. 148.
- ⁷ Ibid. Т. XIX. P. 300.
- ⁸ *De Staël*. Considérations. Т. II. P. 67-81.
- ⁹ Beaumarchais Narrative, Mémoires sur les Prisons. P., 1823. Т. I. P. 179-190.
- ¹⁰ *Dumouriez*. Op. cit. Т. II. P. 383.
- ¹¹ *Williams H. M.* Letters from France. L., 1791-1793. Т. III. P. 96.
- ¹² *Dumouriez*. Op. cit. Т. II. P. 391.

- ¹³ Moore's Journal. T. I. P. 178.
- ¹⁴ Histoire Parlementaire. T. XVII. P. 409.
- ¹⁵ Biographie des Ministres. Bruxelles, 1826. P. 96.
- ¹⁶ Moniteur (Histoire Parlementaire. T. XVII. P. 347).
- ¹⁷ Félémhesi (anagram for Méhée Fils). La Vérité tout entière, sur les vrais auteurs de la journée du 2 septembre 1792. P. 167 // Histoire Parlementaire. T. XVIII. P. 156-181.
- ¹⁸ Félémhesi. Op. cit. P. 173.
- ¹⁹ Moore's Journal. T. I. P. 185-195. ²⁰ Dulaure. Esquisses historiques des principaux événements de la Révolution. T. II. P. 206 (прив. у Монгайяра. Т. III. С. 205).
- ²¹ Bertrand-Moleville. Op. cit.
- ²² Jourgniac Saint-Méard. Mon Agonie de trente-huit heures // Histoire Parlementaire. T. XVIII. P. 103-135.
- ²³ Maton de la Varenne. Ma Résurrection // Histoire Parlementaire. T. XVIII. P. 135-156.
- ²⁴ Abbé Sicard, Relation adressée à un de ses amis // Histoire Parlementaire. T. XVIII. P. 98-103.
- ²⁵ Mon Agonie // Histoire Parlementaire. T. XVIII. P. 128.
- ²⁶ Moniteur. 1792. 3. IX (прения 2 сентября 1792 г.).
- ²⁷ Histoire Parlementaire. T. XVIII. P. 189.
- ²⁸ Montgaillard. Op. cit. T. III. P. 191.
- ²⁹ Williams H. M. Op. cit. T. III. P. 27.
- ³⁰ Histoire Parlementaire. T. XVII. P. 421-422.
- ³¹ Moniteur. 1793. 6. XI (прения 5 ноября 1793 г.).
- ³² Etat des sommes payées par la Commune de Paris // Histoire Parlementaire. T. XVIII. P. 231.
- ³³ Mercier. Nouveau Paris. T. VI. P. 21.
- ³⁴ Dulaure. Op. cit. T. IV. P. 289.
- ³⁵ Dulaure. Op. cit. T. III. P. 494.
- ³⁶ Histoire Parlementaire. T. XVII. P. 433.
- ³⁷ Ibid. P. 434.
- ³⁸ Pièces officielles relatives au massacre des prisonniers à Versailles // Histoire Parlementaire. T. XVIII. P. 236-249.
- ³⁹ Biographie des Ministres. P. 97.
- ⁴⁰ Ibid. P. 103.
- ⁴¹ Dictionnaire des Hommes Marquans. § Barras.
- ⁴² Bertrand-Moleville. Op. cit. T. II. P. 225.
- ⁴³ Williams H. M. Op. cit. T. III. P. 79-81.
- ⁴⁴ Dumouriez. Op. cit. T. III. P. 29.
- ⁴⁵ Ibid. P. 55.
- ⁴⁶ Williams H. M. Op. cit. T. III. P. 32.
- ⁴⁷ Campagne in Frankreich, Goethe's Werke. Stuttgart, 1829. T. XXX. P. 73.
- ⁴⁸ Histoire Parlementaire. T. XIX. P. 177.
- ⁴⁹ Campagne in Frankreich. Goethe's Werke. T. XXX. S. 49.
- ⁵⁰ Histoire Parlementaire. T. XIX. P. 19. ⁵¹ Williams H. M. Op. cit. T. III. P. 71.
- ⁵² 1 октября 1792 г.; Dumouriez. Op. cit. T. III. P. 73.
- ⁵³ Bombardement de Lille // Histoire Parlementaire. T. XX. P. 63-71.
- ⁵⁴ Campagne in Frankreich. Goethe's Werke. T. XXX. S. 103.

⁵⁵ Hermann und Dorothea (Goethe), Buch Kalliope.

⁵⁶ Campagne in Frankreich, Goethe's Werke. Т. XXX. S. 133-137.

⁵⁷ Ibid. S. 152.

⁵⁸ Ibid. S. 210-212.

⁵⁹ Dumouriez. Op. cit. Т. III. P. 115. ⁶⁰ Johann Georg Forster's Briefwechsel. Leipzig, 1829. Т. I. P. 83.

Книга II

¹ Histoire Parlementaire. Т. XX. P. 184.

² Moniteur. N 271, 280, 294; Année première: Moore's Journal. Т. II P. 21, 157 (который, вероятно, как и в этом случае, есть перепечатка из газет).

³ Moniteur. Séance du 25 septembre.

⁴ *Madame Roland*. Op. cit. Т. II P. 237.

⁵ Dictionnaire des Hommes Marquans. § Chambon.

⁶ Moniteur (Histoire Parlementaire. Т. XX. P. 412).

⁷ Histoire Parlementaire. Т. XX. P. 431-440.

⁸ Ibid. P. 409.

⁹ *Mercier*. Nouveau Paris.

¹⁰ Moore's Journal. Т. I. P. 123; Т. II P. 224.

¹¹ Moniteur. Séance du 21 septembre. An 1er (1792).

¹² Moore's Journal. Т. II P. 165.

¹³ *Dumouriez*. Op. cit. Т. III. P. 174.

¹⁴ Moore's Journal. Т. II P. 148.

¹⁵ *Louvet*. Mémoires. P., 1823. P. 52; Moniteur.

Séances du 29 octobre, 5 novembre 1792; Moore's Journal. Т. II. P. 178.

¹⁶ Histoire Parlementaire. Т. XVII. P. 401; газеты Горса и других (Там же. С. 428).

¹⁷ Journal des Debates des Jacobins (Histoire Parlementaire. Т. XXII. P. 296).

¹⁸ Газета Прюдома (Histoire Parlementaire. Т. XXI. P. 314).

¹⁹ См. извлечения из газет (Histoire Parlementaire. Т. XXI. P. 1-38).

²⁰ Moniteur. Séance du 14 décembre 1792.

²¹ *Mrs Hannah More*. Letter to Jacob Dupont. L., 1793.

²² Histoire Parlementaire. Т. XXII. P. 131; Moore's Journal.

²³ Histoire Parlementaire. Т. XXIII. P. 31, 48.

²⁴ Moniteur. Séance du 7 décembre 1792.

²⁵ *Dumouriez*. Op. cit. Т. III. P. 4.

²⁶ *Mercier*. Nouveau Paris. Т. VI. P. 156-159; *Montgaillard*. Op. cit. Т. III. P. 348-387; Moore's Journal.

²⁷ Moniteur (Histoire Parlementaire. Т. XXIII. P. 210); *Boissy d'Anglas*. Op. cit. Т. II. P. 139.

²⁸ Biographie des Ministres. P. 157.

²⁹ См. газету Прюдома: Révolutions de Paris (Histoire Parlementaire. Т. XXIII. P. 318).

³⁰ Histoire Parlementaire. Т. XXIII. P. 275, 318; Félix Lepelletier. Vie de Michel Lepelletier son Frère. P. 61.

³¹ Рассказ Клери (Лондон 1798) приводится у Вебера, III, 312.

³² Газеты, муниципальные акты и пр. (Histoire Parlementaire. Т. XXIII. P. 298-349); Deux Amis de la Liberté. Т. IX. P. 369-373; *Mercier*. Nouveau Paris. Т. III. P. 3-8.

³³ Письмо его в газетах (Histoire Parlementaire).

- ³⁴ Forster's Briefwechsel. T. I. S. 473.
³⁵ Histoire Parlementaire.
³⁶ Annual Register of 1793. P. 114-128.
³⁷ Ibid. P. 161 (23 марта).
³⁸ Moniteur. 1. II; 7. III.

Книга III

- ¹ Moniteur (Histoire Parlementaire. T. XXIV. P. 332-348).
² Histoire Parlementaire. T. XXIV. P. 353-356.
³ *Dumouriez*. Op. cit. T. III. P. 314.
⁴ Moniteur. 1793. N 140.
⁵ Histoire Parlementaire. T. XXV. P. 25.
⁶ Ibid. T. XXIV. P. 385-393; T. XXVI. P. 229.
⁷ Moniteur. Séance du 20 mai 1793.
⁸ *Genlis*. Mémoires. L., 1825. Vol. IV. P. 118.
⁹ Mémoires de Meillan. Représentant du Peuple. P., 1823. P. 51.
¹⁰ *Dumouriez*. Op. cit. T. IV. P. 16-73.
¹¹ Johan Georg Forster's Briefwechsel. T. II. S. 514, 460, 631.
¹² *Dampmartin*. Op. cit. T. II. P. 213-230.
¹³ Moniteur (Histoire Parlementaire. T. XXV. P. 6).
¹⁴ Choix des Rapports. T. XI. P. 277.
¹⁵ Histoire Parlementaire. T. XXV. P. 78.
¹⁶ *Louvet*. Mémoires. P. 72.
¹⁷ Mémoires de Meillan. P. 23, 24; *Louvet*. Mémoires. P. 71-80.
¹⁸ Moniteur. Séance du 12 mars, 15 mars.
¹⁹ Mémoires de Meillan. P. 85, 24.
²⁰ Moniteur. N 70 (du 11 mars); N 76.
²¹ Ibid. 1793. N 83, 86, 98, 99, 100.
²² Ibid. 1793. 20. IV — 20. V.
²³ *Dumouriez*. Op. cit. T. IV. P. 7-10.
²⁴ *Genlis*. Op. cit. T. IV. P. 139.
²⁵ *Dumouriez*. Op. cit. T. IV. P. 159.
²⁶ Рассказ военнопленных, записанный Камю (у Тулонжона. T. III. С. 60-87).
²⁷ *Genlis*. Op. cit. T. IV. P. 162-80.
²⁸ *Montgaillard*. Op. cit. T. IV. P. 144.
²⁹ Mémoires de René Levasseur. Bruxelles, 1830. T. I. P. 164.
³⁰ Séance du 1er avril 1793 // Histoire Parlementaire. T. XXV. P. 24-35.
³¹ Ibid. T. XV. P. 397.
³² Moniteur. 1793. 16. IV.
³³ Séance (Moniteur N 116) du 26 avril An 1er.
³⁴ Mémoires de Rêne Levasseur. T. I. P. 6.
³⁵ *Buzot*. Op. cit. P. 69, 84; Mémoires de Meillan. P. 192, 195, 196; Commission des Douze (Choix des Rapports. T. XII. P. 69-131).
³⁶ Deux Amis de la Liberté. T. VII. P. 77-80; Forster. T. I. S. 514; Moore's Journal. T. I. P. 70.
³⁷ *Mercier*. Nouveau Paris. T. VI. P. 63.

- ³⁸ Histoire des Brissotins. Par Camille Desmoulins (Памфлет Камиля Демулена. Париж, 1793).
- ³⁹ Moniteur. Séance du 25 mai 1793.
- ⁴⁰ Mémoires de Meillan. P. 195; *Buzot*. Op. cit. P. 69, 84.
- ⁴¹ Débats de la Convention. P., 1828. T. IV. P. 187—223; Moniteur. N 152, 153, 154, An 1er.
- ⁴² *Louvet*. Mémoires. P. 89.
- ⁴³ *Buzot*. Op. cit. P. 310; Pièces Justificatives (Рассказы, комментарии и пр. у Бюзо, Луве, Мейяна). Documents Complémentaires // Histoire Parlementaire. T. XXVIII. P. 1-78.

Книга IV

- ¹ Mémoires de Meillan. P. 72, 73; *Louvet*. Mémoires. P. 129.
- ² Belagerung von Mainz // Campagne in Frankreich. Goethe's Werke. T. XXX. S. 278-334.
- ³ Mémoires de Meillan. P. 75; *Louvet*. Mémoires. P. 114.
- ⁴ Moniteur. N 197, 198, 199; Histoire Parlementaire. T. XXVIII. P. 301-305; Deux Amis de la Liberté. T. X. P. 368-374.
- ⁵ Eloge funèbre de Jean Paul Marat, prononcé a Strasbourg (у Барбару. С. 125-131); *Mercier*. Nouveau Paris.
- ⁶ Procès de Charlotte Corday // Histoire Parlementaire. T. XXVIII. P. 311-338.
- ⁷ Deux Amis de la Liberté. T. X. P. 374-384.
- ⁸ Forster's Briefwechsel. T. I. S. 508.
- ⁹ Hazlitt. T. II. P. 529-541.
- ¹⁰ Mémoires de Barbaroux. P. 29.
- ¹¹ Deux Amis de la Liberté. T. X. P. 345.
- ¹² Mémoires de Puisaye. L., 1803. T. II. P. 142-167.
- ¹³ *Louvet*. Mémoires. P. 101-137; Mémoires de Meillan. P. 81, 241-270.
- ¹⁴ Mémoires de Meillan. P. 119-137.
- ¹⁵ *Louvet*. Mémoires. P. 138-164.
- ¹⁶ Belagerung von Mainz // Campagne in Frankreich. Goethe's Werke. T. XXX. S. 315.
- ¹⁷ Deux Amis de la Liberté. T. XL P. 73.
- ¹⁸ Choix des Rapports. T. XII. P. 432-442.
- ¹⁹ Deux Amis de la Liberté. T. XI. P. 147; T. XIII. P. 160-192.
- ²⁰ Ibid. T. XI. P. 80-143.
- ²¹ *Louvet*. Mémoires. P. 180-199.
- ²² Moniteur. Séance du 5 septembre 1793.
- ²³ Débats. Séance du 23 août 1793.
- ²⁴ Moniteur. Séance du 17 septembre 1793.
- ²⁵ Moniteur. Séance du 5, 9, 11 septembre.
- ²⁶ Deux Amis de la Liberté. T. XL P. 148-188.
- ²⁷ Mémoires particuliers de la Captivité à la Tour du Temple (герцогиня Ангулемская, Париж, 21 января 1817 г.).
- ²⁸ Procès de la Reine // Deux Amis de la Liberté. T. XI. P. 251-381.
- ²⁹ Vilate. Causes secrètes de la Révolution de Thermidor. P., 1825. P. 179.
- ³⁰ *Weber*. Op. cit. T. I. P. 6.
- ³¹ Deux Amis de la Liberté. T. XL P. 301.
- ³² Plut. Opp. Vol. IV. P. 310 / Ed. by Reiske. 1776.
- ³³ Mémoires de Riouffe // Mémoires sur les Prisons. P., 1823. P. 48-55.

- ³⁴ *Louvet*. Mémoires. P. 213.
³⁵ Recherches Historiques sur les Girondins // *Buzot*. Op. cit. P. 107.

Книга V

- ¹ Histoire Parlementaire. T. I. 1 et seqq.
² Deux Amis de la Liberté. T. XII. P. 78.
³ *Mercier*. Nouveau Paris. T. II. P. 124.
⁴ Moniteur за эти месяцы, passim.
⁵ Forster. T. II. P. 628; *Montgaillard*. Op. cit. T. IV. P. 141-157.
⁶ Mémoires sur les Prisons. T. I. P. 55-57.
⁷ *Madame Roland*. Op. cit. T. I. P. 68.
⁸ Vie de Bailly (в мемуарах). T. I. P. 129.
⁹ *Madame Roland*. Op. cit. T. I. P. 88.
¹⁰ Forster. T. II. S. 629.
¹¹ Moniteur. 1793. 11, 30. XII; *Louvet*. Mémoires. P. 287.
¹² *Louvet*. Mémoires. P. 301.
¹³ Deux Amis de la Liberté. T. XII. P. 248-251.
¹⁴ Ibid. T. XI. P. 145.
¹⁵ Moniteur. 1793. 17. XI.
¹⁶ Deux Amis de la Liberté. T. XII. P. 251-262.
¹⁷ Moniteur. 1793. N 101, 95, 96, 98 etc.
¹⁸ Deux Amis de la Liberté. T. XII. P. 266-272; Moniteur. 1794. 2. I.
¹⁹ Procès de Carrier (4 tomes). P., 1795.
²⁰ Les Horreurs des Prisons d'Arras. P., 1823. ²¹ *Montgaillard*. Op. cit. T. IV. P. 200.
²² Moniteur. Séance du 17 Brumaire (7 novembre) 1793.
²³ Analyse du Moniteur. P., 1801. T. II. P. 280.
²⁴ *Mercier*. Nouveau Paris. T. IV. P. 134; Moniteur. Séance du 10 novembre.
²⁵ Moniteur. Séance du 26 novembre.
²⁶ *Mercier*. Nouveau Paris. T. IV. P. 127-146.
²⁷ Deux Amis de la Liberté. T. XII. P. 62-65.
²⁸ Débats du 10 novembre 1793.
²⁹ Dictionnaire des Hommes Marquans. T. I. P. 115.
³⁰ Moniteur. 1793. 27. XI.
³¹ Choix des Rapports. T. XIII. P. 189.
³² Ibid. T. XV. P. 360.
³³ Deux Amis de la Liberté. T. XIII. P. 205-230; *Toulangeon*. Op. cit.
³⁴ Mémoires de René Levasseur. T. II. P. 2-7.
³⁵ Deux Amis de la Liberté. T. XIV. P. 177-186.
³⁶ Ср.: Барер (Choix des Rapports. T. XVI. P. 416-421; Lord Howe (Annual Register. 1794. P. 86) etc.
³⁷ Carlyle's Miscellanies. § Sinking of Vengeur.
³⁸ Choix des Rapports. T. XV. P. 378, 384.
³⁹ 26 июня 1794 г. (Rapport de Guyton-Morveau sur les Aérostats // Moniteur du 6 vendémiaire, An 2.
⁴⁰ *Mercier*. Nouveau Paris. T. V. P. 25; Deux Amis de la Liberté. T. XII. P. 142-199.
⁴¹ Deux Amis de la Liberté. T. XV. P. 189-192; *Genlis*. Op. cit.

Книга VI

- ¹ Moniteur, du 17 Ventôse (7 mars) 1794.
- ² Biographie des Ministres. § Danton.
- ³ Aperçus sur Camille Desmoulins. Vieux Cordelier. P., 1825. P. 1-29.
- ⁴ *Montgaillard*. Op. cit. T. IV. P. 200.
- ³ Duchesse d'Angoulême. Captivité à la Tour du Temple. P. 37-71.
- ⁶ Tribunal Révolutionnaire du 8 mai 1794 (Moniteur. N 231).
- ⁷ Tableaux de la Révolution. § Soupers Fraternels; Mercier. T. II. P. 150.
- ⁸ Mémoires de Riouffe. P. 73; Deux Amis de la Liberté. T. XII. P. 298-302.
- ⁹ *Vitale* Causes Secrètes de la Révolution du 9 Thermidor.
- ¹⁰ *Ibidem*.
- ¹¹ *Montgaillard*. Op. cit. T. IV. P. 237.
- ¹² Maison d'Arrêt de Port-Libre, par Coittant // Mémoires sur les Prisons. T. II.
- ¹³ *Montgaillard*. Op. cit. T. IV. P. 218; Mémoires de Riouffe. P. 273.
- ¹⁴ Voyage de Cent Trente-deux Nantais (Mémoires sur les Prisons. T. II. P. 288-335).
- ¹⁵ Relation de ce qu'ont souffert pour la Religion les Prêtres déportés en 1794 dans la rade de l'île d'Aix (Mémoires sur les Prisons. T. II. P. 387-485).
- ¹⁶ Deux Amis de la Liberté. T. XII. P. 347-373.
- ¹⁷ *Ibid*. P. 350-358.
- ¹⁸ *Vilate*. Causes Secrètes.
- ¹⁹ Moniteur. N 311, 312; Débats. T. IV. P. 421-442; Deux Amis de la Liberté. T. XII. P. 390-411.
- ²⁰ Précis des événements du Neuf Thermidor; par C. A. Méda, ancien Gendarme. P., 1825.
- ²¹ Mémoires sur les Prisons. T. II. P. 277.
- ²² *Мйда*. P. 384.

Книга VII

- ¹ Moniteur. 1794. 24. XII. N 97.
- ² Октябрь 1795 г. (*Dulaure*. Op. cit. T. VIII. P. 454-456).
- ³ Deux Amis de la Liberté. T. XIII. P. 3-39.
- ⁴ *Mercier*. Nouveau Paris. T. III. P. 138, 153.
- ⁵ *Montgaillard*. Op. cit. T. IV. P. 436-442.
- ⁶ *Ibidem*; *Mercier*. Nouveau Paris. T. III. P. 138, 153.
- ⁷ *De Staël*. Considérations. T. III. P. 10 etc.
- ⁸ *Toulangeon*. Op. cit. T. III. P. 7; v. c. 10 (P. 194).
- ⁹ 19 января 1795 г. (*Montgaillard*. Op. cit. T. IV. P. 287-311).
- ¹⁰ 5 января 1795 г. (*Ibid*. P. 319).
- ¹¹ Histoire de la guerre de la Vendée, Par M. le comte de Vauban; Mémoires de Madame de la Roche-jacquelin etc.
- ¹² Deux Amis de la Liberté. T. XIV. P. 94-106; *Puisaye*. Mémoires. T. III-VII.
- ¹³ Moniteur. 1794. 25. IX; 1795. 4. II.
- ¹⁴ Moniteur. Séance du 10-12 novembre 1794; Deux Amis de la Liberté. T. XIII. P. 43-49.
- ¹⁵ *Mercier*. Nouveau Paris. T. II. P. 94. '
- ¹⁶ *Fantin Desodoards*. Histoire de la Révolution. T. VII. P. 4.
- ¹⁷ Moniteur. Séance de 13 Germinal (2 avril) 1795.

- ¹⁸ Deux Amis de la Liberté. Т. XIII. P. 129-146.
- ¹⁹ Toulougeon. Op. cit. Т. V. P. 297; Moniteur. N 244, 245, 246.
- ²⁰ Dictionnaire des Hommes Marquans. §§ Billaud, Collot.
- ²¹ Montgaillard. Op. cit. Т. IV. P. 241.
- ²² Доклад ирландской комиссии закона о бедных 1836.
- ²³ Mercier. Nouveau Paris. Т. IV. P. 118.
- ²⁴ Napoleon, Las Cases // Choix des Rapports. Т. XVII. P. 398—411.
- ²⁵ Deux Amis de la Liberté. Т. XIII. P. 375—406.
- ²⁶ Moniteur. Séance du 5 octobre 1795.
- ²⁷ Moniteur du 4 septembre 1797.
- ²⁸ 9 ноября 1799 (Choix des Rapports. Т. XVII. P. 1-96).
- ²⁹ Bailieu, Examen critique des Considérations de Madame de Staël, Н, 275.
- ³⁰ Diamond Necklace (Бриллиантовое ожерелье) (Carlyle's Miscellanies).

Послесловие

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ И ЕГО ТРУД «ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ИСТОРИЯ»

Имя выдающегося английского мыслителя, историка, философа и публициста Томаса Карлейля (1795—1881) современному читателю, исключая, разумеется, узкий круг историков-англоведов, почти ничего не говорит. А ведь было время, когда его называли «английским Львом Толстым». О Карлейле с восторгом писал А. И. Герцен, как о человеке «таланта огромного, но чересчур парадоксального». С этим патриархом британского интеллектуального мира он познакомился в Лондоне в 1853 году.

К. Маркс и Ф. Энгельс включили идею Карлейля о всесии чистогана в капиталистическом обществе в знаменитый «Манифест Коммунистической партии». Основоположники марксизма отмечали несомненный вклад английского мыслителя в беспощадную социальную критику морали и нравов буржуазного общества на том историческом этапе, который принято называть «восходящей» линией развития капитализма. Вместе с тем Маркс и Энгельс подчеркивали слабость его позитивных рекомендаций, непоследовательность и путаность воззрений на пути преодоления антагонизмов в капиталистическом обществе. Они точно уловили главное противоречие в творчестве Карлейля: начав в первой половине XIX века с беспощадной критики пороков нового, «восходящего» класса — буржуазии, во второй половине того же века и второй половине своей долгой, почти 90-летней жизни великий гуманист, не видя выхода, начинает прославлять «цивилизаторскую миссию» буржуазии.

В этом смысле эволюция идейных взглядов Карлейля во многом типична для выдающихся мыслителей-литераторов «золотого» XIX века, который, по словам В. И. Ленина, «дал цивилизацию и культуру всему человечеству» и «прошел под знаком французской революции»*.

В России с творчеством Томаса Карлейля образованная публика впервые познакомилась еще в 1831 году, когда вышел первый русский перевод его «Sartor Resartus» («Жизнь и мысли герр Тейфельсдрека»)** . Однако подлинная слава пришла к великому сыну «туманного Альбиона» только после его смерти: большинство работ Карлейля в переводе на русский язык были изданы в России в 1891 — 1907 годах. Тогда же в серии «Жизнь замечательных людей» демократического издательского дома Ф. Павленкова вышла и первая на русском языке обстоятельная биография Карлейля***.

После Октября 1917 года имя Карлейля снова было предано забвению и, если не считать обстоятельной работы академика Н. И. Кареева****, вновь вернулось к современному читателю лишь в наше время благодаря изданию в серии «Жизнь замечательных людей» книги английского писателя Дж. Саймонса*****.

* *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 38. С. 367.

** Вторично эту книгу перевели в 1904 году.

*** *Яковенко В. И.* Т. Карлейль, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1891.

**** *Кареев Н. И.* Томас Карлейль. Его жизнь, его личность, его произведения, его идеи. СПб., 1923."

***** *Саймоне Дж.* Карлейль. М., 1981 (предисловие Св. Бэлзы).

* * *

В богатейшем литературно-публицистическом наследии Томаса Карлейля «Французская революция» (1837 год) — наиболее известное произведение, написанное в жанре исторического портрета. С точки зрения строго академического подхода профессионала-историка, книга Карлейля с трудом укладывается в прокрустово ложе нынешнего понимания того, как нужно писать «историю», — читатель не найдет здесь ни архивных шифров, ни обзора и источников литературы, ни указателей — словом, всего того, что определяет степень «учености» труда по истории.

В строгом смысле слова это не столько систематическое изложение истории Французской революции, сколько беседы с читателями о тех, кто творил эту историю. Причем зачастую Т. Карлейль мало считается с достоверными фактами, как бы «дорисовывая» своим художественным воображением отдельные портреты, например Мирабо, Лафайета и Дантона. В этом смысле его книга — и история, и роман.

Сказанное вовсе не означает, что Карлейль не был знаком с источниками по Французской революции. Как раз наоборот: работая над книгой, он перевернул горы документов в библиотеке Британского музея в Лондоне, обложился ящиками литературы у себя дома, беседовал с ветеранами революции, атаковывал своих парижских знакомых, требуя прислать ему подлинные ноты революционной песни «*Ça ira!*»), умолял своего врача, находившегося тогда во Франции, сходить в рабочее предместье Парижа Сент-Антуан и посмотреть, не спилили ли роялисты единственное уцелевшее «дерево Свободы», посаженное там санкюлотами в 1790 году?

Следует добавить, что в процессе создания книги над автором тяготел какой-то злой рок: единственный рукописный экземпляр первого варианта «Французской революции»... безвозвратно исчез в доме его друга Джона Стюарта Милля, и Карлейлю пришлось писать все заново. Позднее он говорил своей жене: «Эта книга чуть не стоила нам обоим жизни».

В своем повествовании Карлейль менее всего беспристрастен. Субъективизм симпатий и антипатий автора вполне очевиден. Не избежал он соблазна и как бы заново «смоделировать» ход давно минувших событий (что сегодня, спустя 100 лет после его смерти, вновь безуспешно пытаются сделать некоторые публицисты применительно к «пролетарским якобинцам»* 20-х годов нашей истории, выдвигая различные «альтернативные версии»: что было бы, если бы победил не Сталин, а Троцкий, Бухарин, Сокольников и т. д.?).

* Термин взят из некролога 1926 г. Н. И. Бухарина на внезапную смерть Ф. Э. Дзержинского.

И вместе с тем Французская революция в интерпретации Карлейля не лишена исторического оптимизма. Автор одним из первых, в 30-х годах XIX в., когда еще были живы непосредственные участники революции, например «хромой дьявол» и один из авторов знаменитой Декларации прав человека и гражданина, Шарль Морис Талейран, на весь англоязычный мир громко заявил, что эта революция была и неизбежной, и закономерной.

Приступая к написанию своего труда, Карлейль опасался, чтобы его голос не прозвучал как глас вопиющего в пустыне: Европа 30-х годов прошлого века была завалена мемуарами монархистов, бонапартистов, клерикалов, просто обскурантов, которые не видели во Французской революции либо ничего, кроме гильотины и ее «начальника» — «чудовища Робеспьера», либо, наоборот, вслед за аббатом Баррюэлем оценивали ее только как всемирный заговор иудей-масонов.

Поэтому сам Томас Карлейль, как многие гениальные люди, весьма скептически отнесся к своему произведению, когда наконец поставил последнюю точку в заново написанной рукописи: «Не знаю, стоит ли чего-нибудь эта книга и нужна ли она для чего-нибудь людям: ее или

не поймут, или вовсе не заметят (что скорее всего и случится), — но я могу сказать людям следующее: сто лет не было у вас книги, которая бы так прямо, так страстно и искренне шла от сердца вашего современника».

По счастью, автор ошибся. И хотя действительно часть консервативного английского общественного мнения встретила книгу в штыки (один из тогдашних поэтов даже написал против автора злую эпиграмму), в прогрессивных кругах, напротив, «Французская революция» была принята восторженно. Соединение исторически точного описания с необычайной силой художественного изображения великой исторической драмы, протест против деспотизма в любой форме и глубокая человечность снискали труду Карлейля любовь и почитание.

Ч. Диккенс носил его повсюду вместо Библии, а когда знаменитый драматург У. Теккерей опубликовал сочувственную рецензию в уважаемой «Тайме», Карлейль сразу стал знаменитостью в литературных кругах не только Англии, но и континентальной Европы.

Отметим и еще одну примечательную особенность бессмертного произведения Карлейля — своеобразие его стиля. Как признал в свое время Джон Стюарт Милль, секрет долговечности этой книги заключается в том, что это гениальное художественное произведение. По образному выражению Дж. Саймонса, читатель видит события, как при вспышках молнии, которые освещают поразительно живые исторические сцены: 14 июля 1789 года в Париже и взятие Бастилии, поход женщин на Версаль, бегство Людовика XVI в Варенн, суд над королем и его казнь, трагизм и ярость последних лет революции. Перед читателем проходит бесконечная вереница людей и событий, нарисованных с сочувствием и осуждением, юмором и печалью.

* * *

Возрождающееся к 200-летию Великой французской революции, словно птица Феникс из пепла, новое издание творения Томаса Карлейля вновь оказывается в эпицентре бурных общеевропейских и мировых дебатов об историческом значении деяний «великих французских революционеров буржуазии»*.

* См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 367.

Кто же они — святые или чудовища?

В столице Франции нет ни одного крупного памятника Максимилиану Робеспьеру, его имя носит лишь станция метро в «красном поясе» Парижа. Созданная к 200-летию революции ассоциация «За Робеспьера» во главе с историком Роже Гаратини, автором «Словаря деятелей революции», потребовала от мэра столицы назвать в честь Робеспьера одну из улиц в центре Парижа. Призыв ассоциации поддержал знаменитый хореограф Морис Бежар, посвятивший один из своих «балетов 200-летия» «мистическому и щедрому поэту» — Робеспьеру. Наоборот, ассоциация «антиробеспьеристов» опубликовала в 1989 году антологию биографий 17 тысяч официально зарегистрированных жертв, якобы отправленных этим «кроважодным чудовищем» на гильотину.

Наполеон Бонапарт, по словам Л. Н. Толстого бессмысленно уложивший 50 тысяч своих солдат и офицеров в Бородинской битве, — национальный герой, ему воздвигнуты сотни памятников во Франции и сопредельных странах, его прах покоится в гробнице во дворце Инвалидов, а где могила Робеспьера? Говорят, что его останки погребены в братской могиле на малоизвестном даже коренным парижанам кладбище Пик-Пюс («Лови блох»), где захоронены 1306 «врагов нации и революции» вместе с 16 юными монахинями-кармелитками, вся вина которых состояла... в молитвах, запрещенных в период якобинской дехристианизации.

Уже во времена Карлейля отношение к революции разделило историков на ее сторонников и противников. Начиная с памфлета соотечественника Карлейля Э. Бёрка (1790), через труд одного из самых вдумчивых аналитиков, Алексиса де Токвилля, «Старый порядок и революция» (1856) и многотомный трактат Ипполита Тэна «Происхождение современной Франции» (1878—1893) эта линия дошла до наших дней и воплотилась в 60—80-х годах XX века в трудах бывших бунтарей «красного мая» 1968 года во Франции, а также их последователей в ФРГ, Великобритании, США, Италии и Польше*.

* *Адо А. В.* Буржуазная ревизия истории Французской революции XVIII в. // Социальные движения и борьба идей. Проблемы истории и историографии. М., 1982.

Лидеры этого «нового прочтения» истории Французской революции Ф. Фюре и Д. Рише в своих многочисленных трудах, в выступлениях в прессе, по радио и телевидению желали доказать, что Великая французская революция не была ни закономерной, ни необходимой, что якобинская диктатура являлась «заносом» на магистральном пути экономического развития Франции к капитализму и этот «занос», как, впрочем, и революция в целом, лишь затормозил поступательное развитие Франции и Европы по пути исторического прогресса.

Главный тезис Рише и Фюре (оба они начинали в левом студенческом движении, а один в молодости был даже членом Французской коммунистической партии) — тезис о «мифологизации» Французской революции. По их мнению, к этому были причастны различные левые течения — от Карла Маркса до Жоржа Клемансо — в интересах текущей политической борьбы. Еще 20 лет назад Рише на страницах влиятельного исторического журнала «Анналы» писал: «Должны ли мы отказаться от понятия *буржуазная революция*? Следует отбросить всякую двусмысленность... Уложить Французскую революцию в прокрустово ложе Марксовской теории революции... кажется нам невозможным».

Своему соавтору и единомышленнику вторил Фюре, предложивший еще задолго до юбилея не праздновать 200-летие революции, поскольку данное событие является «мифологическим»*.

Другой реинтерпретатор истории Французской революции из той же группы «обновленцев» некогда, в 30—50-х годах, знаменитой французской исторической «школы Анналов» и тоже экс-коммунист, Ле Руа Ладюри, возносит хвалу Фюре за... изобретение «таблицы Менделеева» по разоблачению «мифологии» революции: «Труды Фюре за несколько лет до двухсотлетия Французской революции наводят некоторый порядок в различных моделях, с помощью которых историки прошлого разъясняли перипетии великого десятилетия (1789—1799). Мы располагаем отныне, что касается этих моделей, некой таблицей Менделеева, то есть реестром, системой ячеек, клеток, в которых мы можем разместить каждого на свое место: концепции Кинэ, Гизо, Минье, Бюше, Маркса, Собуля и т. д.»**.

* *Pure F.* faut-il célébrer le bicentenaire de la Révolution française // L'Histoire. 1983. N 52.

** Цит. по: *Молчанов Н.* Революция на гильотине // Литературная газета. 1986. 9 июля. С. 14.

И хотя в этой «таблице» нет имени Т. Карлейля, он вполне может быть помещен в одном ряду с Гизо, К. Марксом и известным французским историком-марксистом А. Собоулем (1914—1982), чей капитальный трехтомный труд «Революция и цивилизация» готовится к печати в издательстве «Прогресс».

В трудах «демифологизаторов» по мере приближения 200-летнего юбилея все отчетливее проступала тенденция распространить свою «таблицу Менделеева» не только на Французскую, но и на все остальные крупные революции в истории человечества, разделив их на «плохие» и «хорошие».

К первым помимо Французской, безусловно, отнесена Октябрьская. В работе «Думать о Французской революции» Фюре писал: «...начиная с 1917 года Французская революция не является больше матрицей, печатая с которой можно и должно создать модель другой, подлинно свободной революции, (ибо)... наша революция стала матерью другого реального события, и ее сын имеет собственное имя — это русский Октябрь»*. Понятно, что «мать» и «сын», по Фюре, навсегда связаны одной пуповиной — терроризмом. А вот в «хороших» революциях, к каковым относятся Английская середины XVII в. и особенно Американская 70—80-х годов XVIII в., ничего подобного гильотине не было.

Следует подчеркнуть, что сведение таких сложных и противоречивых явлений, как великие революции XVII—XX веков, к «элементарному» делению на «плохие» и «хорошие» еще со времен Томаса Карлейля разделило человечество на тех, кто умел только кричать, и тех, кто старался больше думать.

Как справедливо заметил известный советский историк и публицист Н. Н. Молчанов, «революция — это кровь, муки, ужас, бедствия и страдания. Только такой ценой добиваются свободы и торжества революции. Кроме сознательного творчества, в революции всегда действует нечто стихийное, роковое, страшное»^{**}. Многие в этой оценке созвучно с нравственной концепцией революции Карлейля.

* Цит. по: *Сироткин В. Г.* Идеалы двух великих революций // *Культура и жизнь.* 1989. № 7.

** *Молчанов Н. Н.* Монтаньяры. М., 1989. С. 553.

Справедливости ради следует сказать, что все эти сравнения (Французская революция — Октябрьская революция) при выпячивании «идеала» — Американской революции (пример тому книга американского историка Г. Гасдхарда «Французская и Американская революции: насилие и мудрость») встречают отпор со стороны не только историков-марксистов, но и немарксистских историков Франции. Так, молодой историк Ж.-П. Риу в газете

«Монд» дал язвительную отповедь и Гасдхарду, и его восторженному рецензенту из газеты «Фигаро», известному католическому историку П. Шоню: «Получается, что несколько бунтарей, которыми манипулировали идеологи домарксистского периода, захватили Бастилию, а потом учинили бойню в Вандее на манер Пол Пота и погрузили милую Францию в бездну террора как какую-нибудь «банановую республику». А вот по ту сторону Атлантики восставшие против британской короны могучие колонисты сохранили головы холодными. Их конституция не содержала сектантских мифов, а их законодательство обеспечило счастливое развитие событий, не причинивших страданий никому на протяжении двух веков — ни индейцам, ни черному населению, ни жителям Юга. 1789 год принес насилие, 1787 год (год принятия Конституции США. — В. С.) ознаменовался торжеством мудрости...»^{*}

Между тем и идеалы Американской, и идеалы Французской, и идеалы Октябрьской революций в основе своей были тождественны: всеобщее благо человечества, свобода, равенство и братство людей и наций. А. В. Луначарский, выступая перед учителями Москвы в 1918 г., так сформулировал эти идеалы: «Нужно воспитывать интернациональное, человеческое. Воспитывать нужно человека, которому ничто человеческое не было бы чуждо, для которого каждый человек, к какой бы он наций ни принадлежал, есть брат, который абсолютно одинаково любит каждую сажень нашего общего земного шара»^{**}.

* Цит. по: *Правда.* 1988. 21 окт.

** *Луначарский А. В.* Просвещение и революция. М., 1926. С. 93.

Сравните это выступление с речами американских и французских революционеров, и вы обнаружите почти текстуальное совпадение. Различие состоит лишь в том, что, например, лидеры Французской революции хотели достичь этих идеалов — уважения прав человека — на путях буржуазного национально-политического равенства, а лидеры Октябрьской революции — на путях пролетарского социального равенства. Но в основе той и другой концепции лежит глубоко гуманистическая идея общечеловеческих интересов.

Другое дело, что во французской леворадикальной и советской марксистской историографии 20—30-х годов (Н. М. Лукин, Г. С. Фридлянд и многие другие) долгое время господствовали не критическое восприятие якобинской диктатуры и едва ли не культ Робеспьера как обратная реакция на его забвение в официальной Франции. При этом затушевывался универсальный, непреходящий общечеловеческий характер главных целей Великой французской революции — свобода, равенство и братство.

Самое противоречивое и спорное во Французской революции — якобинский террор — было возведено в абсолют как единственный метод решения всех социальных, политических и религиозно-идеологических противоречий любого революционного процесса. При этом на советскую историографию межвоенного и даже послевоенного периода, как справедливо отметил крупнейший знаток проблемы В. Г. Ревуненков^{*}, огромное воздействие оказал леворадикальный французский историк А. Матьез, чьи труды широко переводились в 20-х годах на русский язык^{**}. Но после того, как в 1930 году Матьез публично выступил с протестом против необоснованных репрессий по так называемому «академическому делу» Е. В. Тарле, С. Ф. Платонова и

других беспартийных историков-«попутчиков»*** и создал комитет французской интеллигенции в их защиту, он был немедленно отлучен от СССР, другом которого он был с 1917 года, с того времени, когда возглавлял во Франции движение «Руки прочь от Советской России!», и оказался «в стане наших врагов»****.

* *Ревуненков В. Г.* К истории споров о Великой Французской революции // Великая Французская революция и Россия. М., 1989. С. 34—44.

** *Матьез А.* Французская революция. Т. 1—3. М.; Л., 1925—1930; *Он же.* Борьба с дороговизной и социальные движения в эпоху террора. М.; Л., 1928.

*** См.: *Брачев В. С.* «Дело» академика С. Ф. Платонова // Вопросы истории. 1989. № 5. С. 126—129.

**** *Лукин Н. М.* Новейшая эволюция Альбера Матьеза // Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 43. Впрочем, последний перевод его очередного труда еще успел выйти, хотя сразу же был запрещен к распространению. — *Матьез А.* Термидорианская реакция. М., 1931.

Суть своей концепции революционного террора как основного инструмента разрешения всех противоречий революции Матьез изложил в опубликованной в 1920 году брошюре «Большевизм и якобинизм». «Якобинизм и большевизм, — писал он, — суть две разновидности диктатуры, рожденные гражданской войной и иностранной интервенцией, две классовые диктатуры, действующие одинаковыми методами — террором, реквизициями, политикой цен и предлагающие в конечном счете схожие цели — изменение общества, и не только общества русского или французского, но и общества всемирного»*.

И хотя, как показало новейшее исследование нашей соотечественницы, профессора Высшей школы восточных языков в Париже Тамары Кондратьевой, влияние идеологии и практики якобинцев на большевиков в 20-х — начале 30-х годов было огромным**, все же проводить прямую параллель, как это делал Матьез и его невольные эпигоны из «Общества историков-марксистов» в СССР, было бы ошибочным. Тем не менее, несмотря на отлучение от СССР, его идеи нашли отражение в капитальном, подготовленном к 150-летию революции труде под редакцией В. П. Волгина и Е. В. Тарле***. На исходе своей жизни Матьез во многом пересмотрел прежнюю идеализацию якобинской диктатуры и террора. В конце 20-х годов он писал Лукину, что, несмотря на кратковременный характер якобинского террора, этого все же «было достаточно, чтобы заставить народ ненавидеть республику и задержать на целое столетие торжество демократии»****.

* *Mathiez A.* Le Bolchévisme et le Jacobinisme. P., 1920. P. 3—4.

** *Kondratieva T.* Bolcheviks et Jacobins. P., 1989.

*** Французская буржуазная революция. 1789—1794 гг. М.; Л., 1941. В годы культа личности И. В. Сталина почти вся группа историков-марксистов во главе с Н. М. Лукиным, готовившая этот труд, была репрессирована, а слово «Великая» из названия книги вычеркнуто. По мнению И. В. Сталина, «великой» могла быть только Октябрьская революция.

**** Цит. по: Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 43.

Т. Карлейль был одним из первых исследователей, который спустя 40 лет после термидорианского переворота 1794 года попытался беспристрастно разобраться в причинах массового террора во Французской революции. Он, в частности, отмечает зловещую роль «закона о подозрительных», первого акта, лишившего граждан Первой республики какой-либо правовой защиты. Он сожалеет о казнях жирондистов, скорбит о гибели Дантона и его друзей, но и не злорадствует при описании казни Робеспьера: «Да будет же Бог милосерден к нему и к нам!»*

Разумеется, «Французская революция» Т. Карлейля отражала тот уровень знаний и анализа, который был возможен в английском обществе 30-х годов XIX века. Его современный нам биограф Дж. Саймоне справедливо пишет, что «некоторые личности, не пользовавшиеся симпатией Карлейля, такие, как Робеспьер и Сен-Жюст, обрисованы у него однобоко, а его оценка Мирабо совершенно неприемлема с точки зрения современной науки»**.

* См. С. 527 данной книги.

** *Саймоне Дж.* Указ. соч. С. 163.

И все же поражает доброжелательное, без «крика», стремление Карлейля разобраться как в причинах, вызвавших массовый террор, так и в попытках нарисовать объективную картину повседневной Франции той эпохи: «...читатель не должен воображать, что царство террора было сплошь мрачным; до этого далеко. Сколько кузнецов и плотников, пекарей и пивоваров, чистильщиков и прессовщиков во всей этой Франции продолжают отправлять свои обычные, повседневные обязанности, будь то правительство ужаса или правительство радости. В этом Париже каждый вечер открыты 23 театра и... до 60 танцевальных залов. Писатели-драматурги сочиняют пьесы строго республиканского содержания. Всегда свежие вороха романов... поставляют передвижные библиотеки для чтения»*.

* См. С. 482 данной книги.

С высоты сегодняшнего дня, через 200 лет после революции, хорошо видна трагедия «великих революционеров буржуазии». Искренне желая народу добра, не присвоив, как Робеспьер, ни полущки народных денег, они были в то же время доктринерами, исходили не из реальных, а из абстрактных идеалов добродетели, гуманизма, свободы, равенства и братства. Они не видели и не создали реальных рычагов народовластия, которое провозглашали на словах, так и не ввели в жизнь самую демократическую для XVIII века конституцию 1793 года. Фактически Робеспьер и его группа вернулись к принципу «просвещенного абсолютизма» — за народ думает узкая элита, правящая от имени народа, но без его участия.

Объединение добродетели и террора — страшная человеческая трагедия якобинцев. «Принципом республиканского правительства является добродетель, в противном случае — террор, — восклицал Сен-Жюст 15 апреля 1794 года. — Чего хотят те, кто не желает ни добродетели, ни террора?»

На словах монтаньяры действительно отстаивали благородные идеалы свободы, равенства и братства, к которым стремится человечество и сегодня. Все они были революционными патриотами. Вспомните Дантона: «Родину нельзя унести на подошвах своих башмаков». Робеспьер был против войны, за принцип бессословного всеобщего голосования, против дискриминации евреев, за отмену рабства негров в колониях и вообще за деколонизацию. «Лучше потерять колонии, чем лишиться принципа», — утверждал он.

Конечно, перед личным мужеством любого революционера, будь то Дмитрий Каракозов, Софья Перовская или Дантон, который даже на эшафоте не потерял чувства мужества и юмора («Ты покажешь мою голову народу — она стоит этого», — приводит Карлейль слова Дантона, обращенные к палачу), можно только склонить голову.

Но для Робеспьера и многих его единомышленников доктрина (принцип) оказалась дороже жизни в буквальном смысле этого слова. Трагично, когда чистоту доктрины защищают... путем отсечения чужих голов, да еще во имя личной диктатуры.

В преддверии празднования 200-летия революции во Франции был проведен с помощью ЭВМ анализ социального состава жертв якобинского террора в 1793—1794 годах. Согласно его данным, «враги нации» — дворяне составляли всего 9% погибших, остальные 91% — рядовые участники революции, в том числе 28% — крестьяне, 30% — рабочие. В новейшем советском исследовании в эти цифры вносится одно важное уточнение г истинных виновников голода, спекуляции, мародерства среди этих 58% «врагов нации» оказалось всего... 0,1%*.

* См.: Молчанов Н. Н. Монтаньяры. С. 551.

Глубоко справедливо суждение Ф. Энгельса в его письме К. Марксу 4 сентября 1870 года. «Террор, — писал он, — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. Я убежден, что вина за господство террора в 1793 г. падает почти исключительно на перепуганных, выставивших себя патриотами буржуа, на мелких мещан, напугавших в штаны от страха, и на шайку прохвостов, обдывавших свои делишки при терроре»*.

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 33. С. 45.

И еще одно важное суждение. Оно принадлежит великому гуманисту Жану Жоресу, написавшему на заре нашего века «Социалистическую историю Французской революции». «Революция, — говорил он, — варварская форма прогресса. Будет ли нам дано увидеть день, когда форма человеческого прогресса действительно будет человеческой?»

Доктор исторических наук профессор В. Г. Сироткин

КОММЕНТАРИЙ

К стр. 8. В 1770—1774 гг. *канцлер Р.-Н. Мопу* попытался провести *реформу*, существенно ограничивавшую полномочия парламентов и отменявшую продажу и наследование должностей. Реформа Мопу вызвала мощную оппозицию со стороны парламентов. Король Людовик XVI, вступив на престол в 1774 г., вынужден был ее отменить.

К стр. 12. «*Крушитель железа (Taille fer) не разорвет даже паутинки*». — Тайфер де Мортен — нормандский трувер XI в. Сражался в войске Вильгельма Завоевателя и был убит в сражении с англичанами при Гастингсе в 1066 г.

К стр. 13. «Вспомним хотя бы королей вроде Людовика XI, носившего на шляпе отлитую из свинца фигурку богородицы и спокойно смотревшего на распятых на колесе, замурованных заживо». — Людовик XI был известен своей жестокостью: противников и непокорных вассалов держал в заточении в цепях в железных клетках.

К стр. 14. «Волосатый Хлодвиг на глазах всего своего войска... размахнувшись, рассек секирой голову другому волосатому франку, злорадно добавив: «Вот так ты разбил священный сосуд (св. Реми и мой) в Суассоне»». — Сосуд, о котором идет речь, был захвачен язычниками-франками при разграблении церкви. Реймский епископ св. Ремигий обратился к королю Хлодвигу с просьбой вернуть сосуд. Хлодвиг согласился и при дележе военной добычи в Суассоне попросил воинов отдать ему сосуд сверх той доли, которую он должен был получить по жребию. Один из воинов возмутился нарушением обычая и разрубил сосуд секирой. Позднее, во время ежегодного сбора франков для осмотра оружия 1 марта (эти сборы назывались Мартовскими, или Марсовыми, Полями), Хлодвиг разрубил голову воину, посмевшему воспротивиться власти короля.

К стр. 14. «...В дни Меца еще ни один лепесток не упал из цветка...» — Речь идет о падении престижа королевской власти во Франции в годы Регентства и правления Людовика XV.

К стр. 14. «Церковь... семьсот лет тому назад... могла позволить себе, чтобы сам император три дня простоял на снегу босиком, в одной рубашке, каясь и вымаливая себе прощение...» — Имеется в виду один из эпизодов многолетней борьбы папы Григория VII с германским императором Генрихом IV за право назначать на церковные должности. В 1077 г. отлученный от церкви и низложенный Генрих IV три дня простоял в одежде кающегося грешника у стен замка Каносса в Северной Италии, дожидаясь приема римским папой.

К стр. 15. «...Лапуль требовал отмены закона, позволявшего сеньору при возвращении с охоты убить не более двух крепостных, чтобы омыть их теплой кровью уставшие ноги». — Подобного закона никогда не существовало. Ниже речь, очевидно, идет о Ш. де Бурбоне, графе де Шароле (1700—1760), известном своей болезненной раздражительностью и бессмысленной жестокостью.

К стр. 15. «...Они только тем и занимаются, только в том и преуспели, как бы хорошо поест да приодеться». — Карлейль повторяет аргументы идеологов; и памфлетистов третьего сословия, обвинявших дворянство в праздности, паразитизме и расточительности.

К стр. 15—16. «Стадо обязано трудиться, платить налоги... обязано обеспечивать все общество изделиями своего труда». — Крестьянство в дореволюционной Франции несло на себе тяжелое бремя феодальных повинностей и основной массы государственных налогов. Локальные исследования современных историков показывают, что размеры «феодального вычета» из валового дохода крестьян колебались от 10—12% урожая в экономически более развитых областях до 15—20% и более в районах с замедленными темпами разложения феодальных отношений. Еще большая доля валового урожая изымалась в виде государственных налогов.

К стр. 17. «...Откупщики налогов, как ни стараются, уже ничего не могут больше выжать». — В дореволюционной Франции косвенные налоги (на соль, спиртные напитки, табак и ряд других продуктов, ввозные и вывозные пошлины на границах провинций и отдельных городов) не собирались королевскими чиновниками, а отдавались на откуп компаниям финансистов, получавшим право на сбор податей, внося в казну требуемую сумму денег.

К стр. 23. «*Не переставая звучат в церквах органы, поднимают раку святой Женеви́евы, но все напрасно*», — Святая Женеви́ева — покровительница Парижа. По преданию, в 451 г. ее заступничество спасло парижан от нашествия гуннов под предводительством Атиллы. Во время тяжелой болезни в Меце в 1744 г. Людовик XV дал обет в случае выздоровления заново отстроить церковь аббатства св. Женеви́евы. Раку святой предполагалось перенести в эту церковь. Во время Французской революции церковь св. Женеви́евы была превращена в Пантеон.

К стр. 27. «...Пост генерального контролера финансов занимает высокодобродетельный, философски образованный Тюрго, который надумал провести во Франции целый ряд реформ». — С середины XVIII в. государственные деятели Франции неоднократно предпринимали попытки реформ с целью преодолеть кризис абсолютизма. Попытка наиболее последовательных преобразований в буржуазном духе связана с именем известного ученого-экономиста А.-Р.-Ж. Тюрго (1727—1781), в 1774 г. назначенного Людовиком XVI на пост генерального контролера финансов. В 1776 г. консервативные силы добились отставки Тюрго и отмены проведенных им реформ.

К стр. 28—29. «Скромный молодой король... удалился в свои апартаменты, где и занимается под руководством некоего Гамена слесарным искусством». — В ноябре 1792 г., когда король уже был низложен, а Франция стала республикой, слесарь Гамен сообщил министру внутренних дел Ж.-М. Ролану о существовании в королевской спальне потайного сейфа, устроенного самим королем с помощью Гамена. Найденные в сейфе секретные документы изобличали Людовика XVI в тайных связях с эмигрантами и в подкупе видных политических деятелей, в том числе О.-Г. Мирабо.

К стр. 30. «...*Ныне этот седой, дряхлый старик в одиночестве коротает время в Гретце...*» — Речь идет о французском короле Карле X (1757—1836), до восшествия на престол в 1824 г. носившем титул графа (не герцога) д'Артуа. Был низложен в результате Июльской революции 1830 г. и умер в изгнании.

К стр. 30. «*Рабочий люд опять недоволен. Самое неприятное, пожалуй, то, что он многочислен — миллионов двадцать или двадцать пять*». — Карлейль имеет в виду трудящиеся массы города и деревни. Ко времени революции население Франции достигло около 28 млн человек, из них примерно 18 млн составляли крестьяне и 3 млн — трудовое население городов (*Durâquier J. La population française au XVII et XVIII siècles. P., 1979. P. 79—91; Blanchi S. La révolution culturelle de l'an II. P., 1982. P. 33—34*).

К стр. 30. «2 мая 1775 года к Версальскому замку стягиваются толпы изможденных, одетых в рваное и грязное тряпье людей». — Речь идет о «мучной войне», охватившей Парижский район в конце апреля — начале мая 1775 г.

К стр. 34. «...*Можно согласиться с надменной Шатору, которая называла его не иначе, как мосье Faquinet*». — Ж.-Ф. де Морепа, о котором идет речь, был министром Людовика XV. Известен своими постоянными столкновениями с королевскими фаворитками, одна из которых, г-жа М.-А. де Шатору, дала ему прозвище г-н Пустозвон (*monsieur Faquinet*).

К стр. 36. «...*Хоронили обожаемого и задушенного розами патриарха тайком*». — Речь идет об умершем в 1778 г. Вольтере, которому духовенство отказало в церковном погребении за то, что он отрицал божественную природу Иисуса Христа.

К стр. 36. «*Взгляните, разве там, по ту сторону Атлантики, не зажглась заря нового дня?*» — Здесь и ниже речь идет о Войне за независимость английских колоний в Северной Америке в 1775—1783 гг. Франция оказывала поддержку восставшим колониям. Для ведения официальных переговоров о заключении американо-французского договора во Францию прибыл Б. Франклин. В 1777 г. в Америку отправился небольшой отряд французских волонтеров, в числе которых был М.-Ж. де Лафайет, в будущем видный деятель Французской революции. В 1778 г. Франция признала независимость США. В Америку был направлен французский экспедиционный корпус под командованием Ж.-Б. Рошамбо.

К стр. 37. «С Уэссана доносится гром корабельных орудий. Ну а чем занимался в это время наш юный принц, герцог Шартрский, прятался в трюме или, как герой, своими действиями приближал победу?» — Речь идет о герцоге Орлеанском, будущем Эгалите, который до 1785 г. носил титул герцога Шартрского. Он добровольно участвовал в войне с англичанами. О его поведении в морском сражении при Уэссане 27 июля 1778 г. сохранились крайне противоречивые отзывы, однако по возвращении в Париж ему устроили триумфальную встречу.

К стр. 38. «*А тут еще беда, которая случилась с «Ville de Paris», Левиафаном морей!*» — Английский адмирал Дж. Родни разгромил в Вест-Индии французскую эскадру адмирала Ф.-Ж.-П. де Грасса, один из кораблей которой назывался «Город Париж».

К стр. 38. «*Что делать с финансами?*» — Финансы королевства давно уже находились в критическом положении. Рост налогов не покрывал дефицита, и правительство широко прибегало к займам. В целом за годы правления Людовика XVI государственный долг утроился и к 1789 г. достиг 4,5 млрд ливров, тогда как

находившаяся в то время в обращении денежная масса составляла примерно 2,5 млрд. Согласно «Отчету о состоянии казны за 1788 г.», дефицит достигал 126 млн ливров, или 20% расходов.

К стр. 38. *«Но быть может, такой кошелек есть у женева Неккера?»* — После отставки Тюрго и отмены его преобразований финансовое положение страны еще более осложнилось. Неккер, став в 1776 г. директором казначейства, а затем генеральным директором финансов, продолжил политику Тюрго, хотя и в более осторожной форме. Однако и более умеренный, реформаторский курс Неккера не встретил поддержки правящих верхов, и в 1781 г. Неккер получил отставку. Ее ускорил скандал, вызванный тем, что впервые в истории Франции Неккер обнародовал сведения о государственном бюджете, показав тяжелое положение финансов.

К стр. 43. *«... Они боятся, как бы в это дело не вмешалась Академия наук».* — По распоряжению Людовика XVI весной 1784 г. Академия занялась рассмотрением вопроса о «животном магнетизме». В ее официальном отзыве от 11 августа 1784 г. магнетизм был признан несуществующим.

К стр. 43. *Кардинал ожерелья Луи де Роган.* — Речь идет о знаменитом «деле об ожерелье». В 1785 г. мошенники, известные под именем графа и графини де Ламот, решили завладеть дорогим ожерельем. С этой целью они обратились к кардиналу де Рогану, зная о его намерении добиться расположения королевы и получить министерскую должность. Они сообщили де Рогану о желании королевы приобрести ожерелье с его помощью. Получив ожерелье у ювелира, кардинал отдал его графине де Ламот. Она обещала вручить его королеве, но на самом деле переправила в Англию. Чтобы усыпить бдительность де Рогана, ночью в Версале ему устроили свидание с женщиной, которую он принял за королеву. Обман раскрылся, когда ювелир потребовал от де Рогана деньги, а тот обратился к королеве, рассчитывая на благодарность за свои услуги. Граф де Ламот и замешанный в этой афере Калиостро скрылись, а де Роган и графиня де Ламот были отданы под суд. Де Рогана суд оправдал. В результате этой темной истории королева была скомпрометирована и пострадала репутация всей королевской семьи.

К стр. 44. *«...Промышленность кричит своим высокооплачиваемым покровителям и руководителям: предоставьте же руководство мне самой, избавьте меня от вашего руководства!»* — Развитие промышленности в дореволюционной Франции XVIII в. сдерживалось сохранением цеховой системы, регламентацией производства и торговли, предоставлением монопольных привилегий отдельным мануфактурам и торговым компаниям. С резкой критикой этих порядков в середине века выступили экономисты-физиократы. Они провозгласили принцип свободы предпринимательства наиболее соответствующим естественному порядку вещей и выдвинули известный лозунг *«laissez faire, laissez passer»* (дайте свободу действовать).

К стр. 51. *«...Педант-военный Сен-Жермен со своими прусскими маневрами, со своими прусскими понятиями».* — К.-Л. Сен-Жермен (1707—1778) — граф, в 1775—1777 гг. военный министр. На этом посту он провел ряд реформ: упразднил отряды мушкетеров и конных гренадер, сократил жандармерию, личную королевскую охрану и швейцарскую гвардию, ввел дисциплинарный устав по прусскому образцу, предусматривавший телесные наказания солдат.

К стр. 53. *«...Чье появление могло быть более желанным, чем появление месье де Калонна?»* — Ш.-А. Калонн (1734—1802) — генеральный контролер финансов Франции в 1783—1787 гг. В 1786 г. он представил королю широкий план реформ, в значительной мере заимствованных из опыта Тюрго и Неккера. Для обсуждения плана реформ он предложил созвать собрание нотаблей — назначенных королем знатных представителей сословий. Однако собравшиеся в 1787 г. нотабли категорически отвергли план Калонна и потребовали от правительства созыва Генеральных штатов для решения вопроса о налогах и возможных реформах. В апреле 1787 г. Калонн получил отставку и вынужден был эмигрировать в Англию.

Говоря о «маленьком грешке» Калонна, Карлейль намекает на подозрение в доносах. Калонна обвиняли в том, что, будучи в доверительных отношениях с оппозиционно настроенным бретонским магистратом Л.-Р. Ла Шалоте, он передал канцлеру Р.-Н. Мопу сведения, компрометирующие Ла Шалоте.

К стр. 60. *«Шесть предложений» нотаблей.* — Речь, очевидно, идет о резолюциях собрания нотаблей по поводу шести предложений Калонна, составлявших первую часть его плана реформ (предложения об учреждении провинциальных собраний, о земельном налоге, об уплате долгов духовенства, о налоге Талье, о торговле зерном и о дорожной повинности). Нотабли одобрили свободу торговли зерном и отмену дорожной повинности, остальные предложения Калонна были подвергнуты резкой критике.

К стр. 62. *«...Давнее средство, известное всем, даже самым простым людям, — заседание в присутствии короля».* — Так называлось торжественное заседание Парижского парламента, на которое являлся король в окружении принцев крови и членов своего совета. Согласно обычаям французской монархии, в таком случае парламентам было обязательно зарегистрировать выносимые на его рассмотрение указы, не давая к ним никаких поправок. Подобным образом 6 августа 1787 г. были зарегистрированы эдикты, предложенные Ломени де Бриенном.

К стр. 66. *«Эдикт о взимании второй двадцатины».* — Двадцатины взимались во Франции с 1750 г. и представляли собой прямой налог в размере 5% стоимости имущества и доходов лиц всех сосло-

вий. У Карлейля, очевидно, допущена неточность. Вторая двадцатина была введена в 1756 г. в связи с началом Семилетней войны. В данном случае речь идет о третьей двадцатине, срок взимания которой истек 31 декабря 1786 г.

К стр. 67. *«Либеральный эдикт о равноправии протестантов»*. — Имеется в виду эдикт от 19 ноября 1787 г. об узаконении браков и гражданского состояния протестантов. Парижский парламент зарегистрировал его в конце января 1788 г. после долгих обсуждений. В провинции сопротивление эдикту было еще сильнее.

К стр. 67. *«...Эдикт о «приведении приговоров в исполнение»*. — Королевская декларация от 1 мая 1788 г. запретила приводить в исполнение смертный приговор раньше, чем через месяц после его вынесения. Она содержала также положения об отмене пыток и о том, что в приговоре должно быть указано, на каком основании он вынесен.

К стр. 70. *«...Пусть пройдет всего лишь три года, и этот требовательный парламент увидит поверженным своего врага»*. — Под «врагом» здесь, очевидно, подразумевается генеральный контролер финансов Э.-Ш. Ломени де Бриенн, который в 1791 г. (через три года после описываемых событий) принес гражданскую присягу и сложил с себя пожалованный ему в 1788 г. сан кардинала. В 1793—1794 гг. подвергся арестам и умер в тюрьме.

К стр. 71. *«Можно учредить второстепенные суды»*. — В дореволюционной Франции существовало три основных типа судебных учреждений: верховные суды (парламенты), суды второго разряда (президиальные суды, трибуналы бальяжей и сенешальств, превоства) и специализированные суды. Здесь речь идет о судах второго разряда.

К стр. 71. *«Таков план Ломени — Ламуаньона»*. — План судебной реформы был подготовлен Ламуаньоном. Цель плана заключалась в том, чтобы подавить парламентскую оппозицию, лишив парламенты права вмешиваться в законодательство и в управление финансами.

К стр. 76. *«Едва комендант или королевский комиссар»*. — В присутствии коменданта или королевского комиссара осуществлялась принудительная регистрация эдиктов провинциальными парламентами, подобная процедуре *lit de justice* в Парижском парламенте.

К стр. 76. *«Оно не приносит добродетельного даяния (don gratuit)»*. — Так назывался регулярный взнос духовного сословия в королевскую казну, вносимый с согласия ассамблей духовенства и заменявший прямые налоги.

К стр. 81. *«Парижский парламент уже однажды высказался в пользу «старой формы» 1614 года»*. — К осени 1788 г. правительство капитулировало перед оппозицией. На май 1789 г. было намечено открытие Генеральных штатов, отменены эдикты Ламуаньона о судебной реформе и восстановлены прежние полномочия парламентов. После этого на первый план выдвинулся вопрос о процедуре работы Генеральных штатов. Парижский парламент высказался за их созыв по форме 1614 г., т. е. за пословную структуру Генеральных штатов и пословное голосование. Лидеры и идеологи третьего сословия и поддержавшее их либеральное дворянство требовали ввести двойное представительство третьего сословия и поименное голосование. Вновь призванный на пост генерального директора финансов Неккер созвал в ноябре 1788 г. второе собрание нотаблей, чтобы определить процедуру созыва и работы Генеральных штатов. Подавляющее большинство нотаблей высказалось за созыв штатов по форме 1614 г.

К стр. 82. *«...Монсеньер д'Артуа и другие принцы заявляют в торжественном «Адресе королю»*. — Речь идет об «Адресе принцев», представленном королю 12 декабря 1788 г. Его авторы требовали сохранить сословную структуру и сословное голосование в Генеральных штатах, а также весь сословный строй, привилегии и феодальные повинности. Авторы «Адреса принцев» впоследствии стали вождями контрреволюции.

К стр. 84. *«Сам Неккер еще за две недели до конца года вынужден представить доклад»*. — В острой борьбе по вопросу о процедуре созыва и работы Генеральных штатов Неккер занял компромиссную позицию. 27 декабря 1788 г. он выступил в Королевском совете с докладом, в котором высказался за двойное представительство третьего сословия. От решения главного спорного вопроса о пословном или поименном голосовании он уклонился.

К стр. 86. *«Бретонское дворянство вынуждено разрешить обезумевшему миру идти своим путем»*. — Дворянство Бретани отказалось участвовать в выборах в Генеральные штаты и составлять наказ в знак протеста против нарушения провинциальных привилегий.

К стр. 132. *«Было воскресенье, когда раскаленные ядра угрожающе нависли над нашими головами; сегодня пятница и «революция одобрена»*. Верховное Национальное собрание подготовит конституцию. — В воскресенье 12 июля в Париже начались столкновения горожан с ранее стянутыми к столице войсками, которые переросли в народное восстание 12—14 июля. После взятия Бастилии Людовик XVI уступил требованию Национального собрания отозвать войска из Парижа. В пятницу 17 июля король посе-

тил Ратушу и утвердил в должностях выбранных парижанами мэра Ж.-С. Байи и командующего Национальной гвардией М.-Ж. де Лафайета. В знак единения с народом король принял из рук мэра трехцветную кокарду.

К стр. 133. «Эти люди сообщают с озабоченным видом, что приближаются грабители, они уже рядом, а затем едут дальше по своим делам, и будь что будет!» — Карлейль пишет о явлении, известном под названием великого страха. В июле — августе 1789 г. по Франции прокатились волны паники. Ходили слухи о «заговоре аристократов», о нашествии банд разбойников и иноземных солдат под предводительством дворян, не желавших платить налоги. Под воздействием этих слухов крестьяне вооружались и объединялись в отряды, а затем начали громить замки и жечь архивы с описями феодальных повинностей.

К стр. 133. «...Вооруженное население повсюду записывается в Национальную гвардию». — После взятия Бастилии в городах развернулась «муниципальная революция», в ходе которой были созданы новые органы местного самоуправления. Образцом для них стал служить городской муниципалитет Парижа — Парижская коммуна. В новых муниципалитетах преобладали местные буржуа, либеральные дворяне и священники. «Муниципальная революция» сопровождалась повсеместным формированием Национальной гвардии.

К стр. 155. «К концу августа наше Национальное собрание в своих конституционных трудах продвинулось уже вплоть до вопроса о праве вето». — Первоначально депутаты Учредительного собрания разделились на «аристократов» (защитников старого порядка) и «патриотов» (сторонников преобразований). Постепенно среди «патриотов» наметилось размежевание. Группа «монархистов» (Ж.-Ж. Мунье, Т.-Ж. Лалли-Толандаль, П.-В. Малюзэ и др.) выступала за конституционную монархию с двухпалатным парламентом и правом короля налагать абсолютное вето на постановления обеих палат. Большинство Собрания составляли «конституционалисты» (М.-Ж. Лафайет, О.-Г. Мирабо, Э.-Ж. Сиейес и др.), предлагавшие учредить монархию с однопалатным парламентом и приостанавливающим вето короля. Более левые позиции занимал «триумvirат» (А. Барнав, А. Дюпор, А. де Ламет), требовавший сильнее ограничить королевскую власть. На крайнем левом фланге находилась небольшая группа депутатов (М. Робеспьер, Ф. Бюзэ, Ж. Петийон и др.), добивавшихся конституционной монархии со всеобщим избирательным правом и отвергавших любое королевское вето. В сентябре 1789 г. подавляющим большинством голосов Учредительное собрание отвергло проект образования верхней палаты и высказалось за предоставление королю права приостанавливающего вето.

К стр. 188. «...Они рыцарски выплачивают пенсию своей матери, когда предъявится Красная книга, рыцарски будут ранены на дуэлях». — Речь идет о двух участниках революции, братьях Шарле и Александре де Ламетах, но сказанное прежде всего относится к первому. Он был ранен на состоявшейся по политическим мотивам дуэли с герцогом де Кастри. В упомянутой Красной книге были записаны фамилии людей, получавших королевские пенсии. Когда ее предъявили Учредительному собранию, стало известно, что семье де Ламет было пожаловано 60 тыс. франков. На следующий день Ш. де Ламет вернул указанную сумму в Собрании. В результате этого мать Ламетов лишилась пенсии и оказалась на попечении у своих сыновей.

К стр. 190. *Гражданская конституция духовенства (или гражданское устройство духовенства)*. — Реформа церкви, проведенная в 1790 г., имела целью поставить католическую церковь на службу государству и превратить священников в государственных служащих. Отменялась административная зависимость французской церкви от Ватикана. Регистрация актов гражданского состояния из ведения церкви передавалась государственным органам. Устанавливалась выборность священников и епископов прихожанами. Все священнослужители должны были принести гражданскую присягу, и им вменялось в обязанность разъяснять прихожанам постановления Национального собрания. Римский папа предал анафеме гражданское устройство духовенства. В результате французское духовенство раскололось на присягнувшее (или конституционное) и неприсягнувшее. Почти все епископы и около половины низшего духовенства отказались принести гражданскую присягу. Неприсягнувшее духовенство, оказывавшее сильное влияние на верующих, встало на путь борьбы с революцией.

К стр. 191. «...Карпантра осажден Авиньоном». — Расположенные на юге Франции Авиньон и графство Венессен со столицей в г. Карпантра были владениями римского папы. С началом революции жители Авиньона сформировали муниципалитет и Национальную гвардию и стали требовать присоединения к Франции. Летом 1790 г. в городе вспыхнуло контрреволюционное восстание, которое быстро было подавлено местной Национальной гвардией. Жители Карпантра предпочли сохранить верность римскому папе. В 1791 г. между Авиньоном и Карпантра началась гражданская война, в которой Авиньон опирался на поддержку Национальной гвардии других городов Юга. В сентябре 1791 г. декретом Учредительного собрания Авиньон и графство Венессен были присоединены к Франции, однако кровавые столкновения на этом не прекратились.

К стр. 195. «*Loi martiale*». — Закон о военном положении был принят Учредительным собранием 21 октября 1789 г. Он давал право местным властям вводить военное положение на подчиненной им территории, использовать Национальную гвардию и регулярные войска для подавления народных волнений.

К стр. 200. *Составление муниципальной конституции.* — В начале революции была осуществлена коренная реформа административно-территориального деления. По закону от 22 декабря 1789 г. вводилось деление страны на департаменты, дистрикты, кантоны и коммуны. Новые органы местной власти были выборными. Однако вразрез с принципом гражданского равенства, провозглашенным в Декларации прав человека и гражданина, Учредительное собрание в октябре 1789 г. ввело цензовую систему выборов и деление граждан на «активных» и «пассивных». Права «активных» граждан получили мужчины, достигшие 25 лет, платившие прямой налог в размере местной трехдневной заработной платы (не ниже 1,5 — 3 ливров) и не находившиеся в услужении. Только они имели право голоса и могли вступить в Национальную гвардию. «Активных» граждан оказалось примерно 4,3 млн человек (при населении около 28 млн человек, из которых взрослые мужчины составляли 8—9 млн человек). Для выборщиков, которые могли избирать депутатов Национального собрания (закон предусматривал двухстепенные выборы в Национальное собрание), устанавливался еще более высокий имущественный ценз. Кандидат в депутаты Национального собрания, согласно декрету от 3 ноября 1789 г., обязан был обладать земельной собственностью и платить прямой налог в размере одной марки серебром (около 52 ливров). Коммуны больших городов делились на секции. По муниципальному закону о Париже от 21 мая — 27 июня 1790 г. столица была разделена на 48 секций (вместо прежних 60 округов, на которые был разбит Париж для выборов в Генеральные штаты): Тюильри, Елисейских Полей, Руль (позднее переименована в секцию Республики), Пале-Руаяль (позднее Бюг-де-Мулен, потом Монтань), Вандомской площади (Пик), Библиотеки (1792, Лепелетье), Гранж-Бательер (Мирабо, Монблан), Лувра (Музея), Оратуар (Французской гвардии), Хлебного рынка, Почт (Общественного договора), площади Людовика XIV (Май, Вильгельма Телля), Фонтен-Монморанси (Мольери-Лафонтен, Брута), Бон-Нуviel, Понсо (Друзей Отечества), Моконсей (Бон-Консей), Рынка Невинных (Рынка), Ломбарда, Арси, Предместья Монмартр (Предместья Мон-Марат), Пуассоньер, Бонди, Тампля, Попенкур, Монтрей, Кенз-Вен, Гравилье, Предместья Сен-Дени (Северного предместья), Бобур (Единения), Анфан-Руж (Маре, Вооруженного Человека), Короля Сицилии (Прав Человека), Отель-де-Виль (Коммунального дома, Верности), Королевской площади (Федератов, Неделимости), Арсенала, Острова Сен-Луи (Братства), Нотр-Дам (Сите, Разума), Генриха IV (Понт-Неф, Революционная), Инвалидов, Фонтен-де-Гренель, Четырех Наций (Единства), Французского театра (Марселя, Марата), Красного Креста (Красного Колпака), Люксамбур (Муция Сцеволя), Терм Юлиана (Борепер, Шалье), Святой Женевьевы (Французского Пантеона), Обсерватории, Ботанического сада (Санкюлотов), Гобеленов (Финистер).

К стр. 230. *«Эта последняя поправка внесена в закон в сравнительно недавнее время одним из военных министров».* — Согласно принятому в 1781 г. ордонансу военного министра маршала Ф.-А. Сегюра, для получения офицерского чина в королевской армии требовалось быть дворянином как минимум в третьем поколении.

К стр. 295. *«И вот в воскресенье 17-го происходит нечто достойное воспоминания».* — В результате «Вареннского кризиса» (так принято называть политический кризис, вызванный попыткой бегства короля в июне 1791 г.) во Франции впервые развернулось массовое республиканское движение. С требованиями низложить Людовика XVI особенно активно выступали парижский Клуб кордельеров и различные народные общества. 17 июля 1791 г. Клуб кордельеров организовал на Марсовом поле манифестацию для принятия республиканской петиции. Учредительное собрание повелело мэру Парижа Ж.-С. Байи разогнать собравшихся. С этой целью на основании закона о военном положении Коммуна Парижа использовала Национальную гвардию под командованием Лафайета. Национальная гвардия открыла огонь по демонстрантам, 50 человек было убито и множество ранено. За расстрелом на Марсовом поле последовали другие репрессивные меры: были отданы под суд лидеры демократического движения, запрещен ряд газет республиканской направленности, закрыт Клуб кордельеров (его заседания возобновились в конце июля). Политическим выражением раскола революционного лагеря на конституционных монархистов и республиканцев явился раскол Якобинского клуба. 16 июля сторонники конституционной монархии (А. Барнав, А. Дюпор, братья Ламет и др.) вышли из него и образовали Клуб фейянов.

К стр. 298. *Принятие конституции.* — Дебаты по конституции закончились в августе 1789 г. Ее принятием 3 сентября Учредительное собрание завершило свою работу. Во Франции установился режим конституционной монархии. Органом законодательной власти являлось однопалатное Законодательное собрание, формировавшееся путем цензовых двухстепенных выборов. Наследственный монарх возглавлял исполнительную власть и, кроме того, обладая правом «приостанавливающего вето», мог отсрочить принятый Собранием закон. Конституция закрепила проведенную реформу местной власти. Вводились выборность судей, гласность судопроизводства с участием сторон и суд присяжных. В конституции декларировались новые внешнеполитические принципы: отказ от завоевательных войн и использования своих вооруженных сил против свободы другого народа.

К стр. 330. *«После должных потоков красноречия война декретирована в тот же вечер».* — В феврале 1792 г. Австрия и Пруссия заключили против Франции военный союз. В самой Франции королевский двор добивался объявления войны, надеясь подавить революцию с помощью интервентов. Жирондисты активно пропагандировали идею революционной войны с тиранами Европы. Против войны выступали фей-

яны, опасавшиеся связанных с нею внутренних потрясений. М. Робеспьер и его сторонники противились объявлению войны, призывая сосредоточить все силы на борьбе с внутренней контрреволюцией. Верх одержали сторонники войны, и 20 апреля 1792 г. Франция объявила войну Австрии.

К стр. 354. «Пусть прежние муниципальные советники сложат с себя полномочия и мандаты перед лицом избравшей их верховной народной власти и передадут их этим новым ста сорока четырем!» — Для руководства народным восстанием 10 августа 1792 г. парижские секции образовали повстанческий центр. В него вошли по три представителя от каждой из 48 секций Парижа. Так возникла Повстанческая коммуна, или Коммуна 10 августа. Она взяла власть в столице в свои руки. В сентябре 1792 г. были проведены довыборы в Коммуну Парижа, и численность ее Генерального совета увеличилась до 288 человек.

К стр. 404. *Провозглашение республики.* — В результате народного восстания в Париже 10 августа 1792 г. монархия пала. Начались выборы в новый орган законодательной власти Национальный конвент. В них участвовали все мужчины, достигшие 21 года и не состоявшие в услужении. Таким образом, было ликвидировано деление граждан на «активных» и «пассивных». 20 сентября Конвент приступил к работе. На следующий день он принял декрет об уничтожении королевской власти, а 22 сентября провозгласил Францию республикой.

К стр. 423. *Три голосования.* — Осенью 1792 г. во Франции разгорелись ожесточенные споры о дальнейшей судьбе короля. Жирондисты звали к тому, что конституция 1791 г. гарантировала неприкосновенность его особы. Коммуна Парижа, секции, народные общества, клубы и коммуны провинциальных городов добивались предания Людовика XVI суду за измену. В Конвенте их требования поддерживали монтаньяры. 15—16 января в Конвенте состоялись голосования по трем вопросам: виновен ли Людовик в злоумышлениях против свободы нации и безопасности государства; нужна ли апелляция к народу по поводу вынесенного приговора; какого наказания заслуживает Людовик? Король был почти единогласно признан виновным; большинством голосов Конвент отверг апелляцию к народу; 387 голосами против 334 Людовик был приговорен к смертной казни.

К стр. 446. *«Carte de civisme».* — Удостоверение о цивизме (гражданской благонадежности) выдавалось революционными комитетами коммун и секций. В период якобинской диктатуры такое удостоверение должен был иметь каждый гражданин Согласно декрету от 17 сентября 1793 г., те, кому было отказано в выдаче удостоверения о цивизме, объявлялись «подозрительными» и подлежали аресту.

К стр. 456. *«...Второй день июня 1793 г. по старому стилю, а по новому — первого года Свободы, Равенства и Братства».* — Здесь Карлейль неточен. Первым годом Свободы называли 1789 год. 22 сентября 1792 г. Конвент постановил отныне датировать все государственные акты первым годом Французской Республики. Согласно введенному осенью 1793 г. республиканскому календарю, летосчисление также начиналось с первого года Республики (1792 г.), а не с первого года Свободы. Республиканский календарь официально действовал с 1 вандемьера II года (22 сентября 1793 г.).

К стр. 471. *«Ведь Вандея еще пылает, увы, в буквальном смысле; негодяй Россиньоль сжигает даже мельницы».* — В первой половине марта 1793 г. на северо-западе Франции началось антиреволюционное крестьянское восстание. Против восставших крестьян, которых возглавили роялисты, были брошены правительственные войска. Военные действия велись с крайней жестокостью с обеих сторон. С января по май 1794 г. на территории Вандеи действовали две правительственные армии, разделившиеся на 20 «адских колонн». Они прочесывали местность, убивали крестьян, разрушали и жгли их дома. Эти карательные акции и имеет в виду Карлейль. По подсчетам современного французского историка, в результате гражданской войны департамент Вандея потерял более 117 тыс. человек, или около 15% населения (*Secher R. Le génocide franco-français: La Vendée-Venge. P., 1986. Partie IV. Ch. 1.*)

К стр. 480. *«...Они говорят... Да будет террор в порядке дня!»* — Карлейль односторонне рассматривает якобинский террор, объясняя его происхождение исключительно злой волей якобинских вождей. Проблема террора во время Французской революции сложна, и споры вокруг нее не утихают до сих пор. Необходимо учитывать, что якобинское правительство создало систему государственного террора в чрезвычайных обстоятельствах, когда в стране одновременно шли гражданская война (крестьянский мятеж на северо-западе и так называемый федералистский мятеж на юге, в котором активно участвовали жирондисты) и война против коалиции. Объяснение истоков якобинского террора внешними, объективными факторами сложилось в классической французской историографии XIX в. Эта точка зрения, известная как «теория обстоятельств», нашла отражение уже у видного представителя школы историков Реставрации Ф. Минье. Но одного этого объяснения явно недостаточно, так как на путь террора французских революционеров вели и субъективные факторы, т. е. особенности их мировоззрения. Причем инициатива в развязывании террора исходила не от якобинских вождей, как считает Карлейль. Изначально они были приверженцами гуманистических идеалов свободы и неприкосновенности личности. М. Робеспьер в первые годы революции настойчиво требовал отмены смертной казни.

Стихийный террор впервые пришел снизу. Уже взятие Бастилии, как показывает Карлейль, сопровождалось кровавыми расправами над теми, в чьем лице толпа видела врагов. Сильный всплеск народного тер-

риоризма, также описанный Карлейлем, произошел в начале сентября 1792 г. Год спустя, 4—5 сентября 1793 г., санкюлоты с оружием в руках вышли на улицы Парижа, требуя от Конвента «поставить террор в порядок дня» и «внушить ужас всем заговорщикам». В ответ на это Конвент решил реорганизовать созданный в марте 1793 г. Революционный трибунал, упростив судопроизводство, и принял декрет об аресте «подозрительных». Жесткость толпы отчасти была реакцией на узаконенное насилие, пытки (их применение официально отменили только в 1788 г.) и публичные варварские казни, распространенные в XVIII в. Кроме того, насилие порождалось свойственным сознанию участников революции стремлением к полному уничтожению старого мира и к основанию нового мира, очищенного от следов прошлого. Это стремление было присуще как народной массе, так и революционной элите.

Другой особенностью мировоззрения французских революционеров, породившей у них упование на спасительную силу террора, была фанатичная вера в правоту своего дела и крайняя нетерпимость к противникам. Они представляли себе французский народ как единое целое, спаянное общим интересом, и считали себя выразителями этого интереса. Во всяком инакомыслящем они видели преступника и врага революции. С подобным взглядом на общество якобинские вожди закономерно пришли к тому, что стали полагаться на террор как на способ разрешения всех конфликтов. Введенный как средство борьбы с врагами революции, государственный террор использовался и для расправы с ее защитниками. Постепенно он превратился в орудие борьбы за власть между якобинскими вождями, и они сами стали его жертвами. По приблизительным подсчетам американского историка Д. Трира, общее число жертв якобинского террора достигло 35—40 тыс. человек (*Gréer D. The Incidence of the Terror during the French Revolution. Cambridge (Mass.), 1935*). В это число не входят погибшие в ходе гражданской войны в северо-западных департаментах.

К стр. 488. *«Осел в священном облачении с митрой на голове... шествует... по направлению к могиле мученика Шалье»*. — Осенью 1793 г. во Франции развернулось движение «дехристианизации», инициаторами которого выступали радикально настроенная интеллигенция и городские низы. Во многих местах закрывались церкви, священников заставляли отречься от сана, католический культ запрещался и заменялся созданным на основе идей Просвещения «культом Разума». Наряду с почитанием разума и прочих гражданских добродетелей распространился народный по своим истокам культ «мучеников свободы»: Ж.-П. Марата, М. Лепелетье и М.-Ж. Шалье. Характерными для того времени церемониями были дехристианизаторские карнавалы, один из которых описан Карлейлем. Отношение народа к «дехристианизации» было неоднозначным. Большинство народа, прежде всего крестьянство, не поддерживало уничтожения католического культа. В этих условиях Конвент 6 декабря 1793 г. осудил крайности антиклерикального движения и принял декрет о свободе культов.

К стр. 496. *«Фактически правительство можно по справедливости назвать революционным»*. — Летом — осенью 1793 г. во Франции сложился режим революционной диктатуры, или, как его официально называли, «революционное правление». Конвент сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Он принимал законы, а исполнительную власть осуществляли его комитеты и депутаты, направлявшиеся в армии и департаменты в качестве комиссаров, наделенных широкими полномочиями. Центральное место в системе органов революционной диктатуры занял Комитет общественного спасения. За борьбу с внутренней контрреволюцией отвечал Комитет общественной безопасности. Для подавления контрреволюции, проведения реквизиций и охраны продовольствия была создана «революционная армия».

К стр. 497. *«В самом деле, Шометт и компания представляют род сверхякобинства, или неистовую «партию бешеных (des Enragés)», которая возбуждает в последние месяцы некоторые подозрения у ортодоксальных патриотов»*. — Карлейль смешивает представителей разных революционных группировок, близких к санкюлотскому движению. Участники активно развернувшей свою агитацию в конце 1792 г. группировки «бешеных» (Ж. Ру, Ж. Варле, Т. Леклерк и др.) были активистами парижских секций и членами Клуба кордельеров. «Бешеные» оказались в числе первых жертв пропагандировавшегося ими террора. Их руководители были арестованы в сентябре 1793 г. Возглавлявший Парижскую коммуну П.-Г. Шометт и его сторонники представляли собой одну из «крайних» группировок в период якобинской диктатуры. Кроме них на левом фланге находились Ж.-Р. Эбер и его сторонники в Клубе кордельеров, а также левое крыло Якобинского клуба. В позициях различных «крайних» группировок имелись серьезные расхождения.

К стр. 517. *«Декрет от 22-го прериала, предложенный Кутоном»*. — В соответствии с декретом от 22 прериала II года о реорганизации Революционного трибунала в качестве единственного наказания за все преступления, рассматриваемые в этом трибунале, устанавливалась смертная казнь. Обвиняемые лишались права иметь защитника, вызов свидетелей и предъявление вещественных улик признавались необязательными. Достаточным основанием для вынесения смертного приговора стали моральные соображения, возникшие у присяжных и вызвавшие у них уверенность в виновности подсудимого.

К стр. 521. *«Носятся смутные слухи относительно аграрного закона: победоносный санкюлотизм становится земельным собственником»*. — «Аграрным законом» в годы Французской революции называли всеобщий равный передел земель. Идея «аграрного закона» выдвигалась в народных петициях, ее защищал

Ж.-Р. Эбер. Для основной массы якобинцев она была неприемлема. В марте 1793 г. Конвент принял декрет, устанавливающий смертную казнь за пропаганду «аграрного закона». Якобинская республика сохранила этот декрет в силе. Вместе с тем якобинцы приняли аграрное законодательство, беспрецедентное в истории буржуазных революций. По декрету 17 июля 1793 г. крестьяне безвозмездно освобождались от всех феодальных повинностей. 3 июня 1793 г. Конвент постановил продавать конфискованные и объявленные национальными имуществами земли эмигрантов мелкими участками с уплатой за них в рассрочку в течение 10 лет. По закону от 10 июня все захваченные сеньорами в прежние годы общинные земли объявлялись собственностью крестьянских общин и крестьяне получали право осуществить равный подушный раздел этих земель при условии, что за него выскажутся не менее 1/3 членов общины. Вопреки утверждению Карлейля это не привело к сколько-нибудь значительному перераспределению земель в пользу бедноты. Стремясь заручиться поддержкой народных низов в условиях обострения политической борьбы и активизации эбертистов, 8 и 13 вантоза II года (26 февраля и 3 марта 1794 г.) Конвент по докладу Л.-А. Сен-Жюста принял два декрета, которые предписывали конфискацию имущества лиц, признанных врагами революции, и использование фонда конфискованных земель для помощи неимущим. Вантозские декреты остались на бумаге и не привели к перераспределению земельной собственности.

